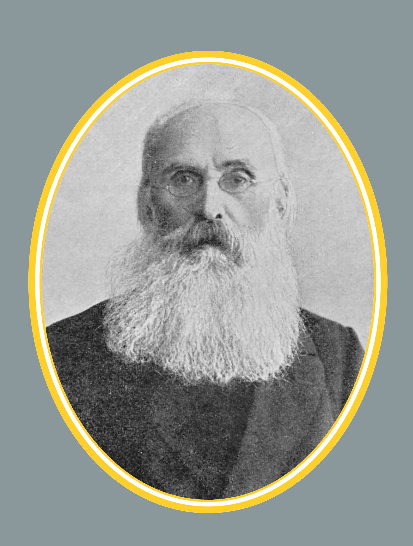
СЕРГЕЙ МАКСИМОВ



ПО РУССКОЙ ЗЕМЛЕ

РУССКАЯ ЭТНОГРАФИЯ

РУССКАЯ ЭТНОГРАФИЯ

Серия главных книг самых выдающихся русских этнографов и знатоков народного быта, языка и фольклора, заложивших основы отечественного народоведения. Книги отражают главные вехи в развитии русского образа жизни – понятий, обычаев, труда, быта, жилища, одежды – воплощенного в материальных памятниках, искусстве, праве, языке и фольклоре:

Ярослав Мудрый
Нестор Летописец
Владимир Мономах
Русская Правда
Нил Сорский
Иосиф Волоцкий
Иван Грозный
Стоглав
Домострой
Соборное Уложение
Азадовский М. К.
Аничков Е. В.
Антоновский М. И.
Анучин Д. Н.
Афанасьев А. Н.
Барсов Е. В.
Батюшков П. Н.
Безсонов П. А.
Бодянский О. М.
Болотов А. Т.
Будилович А. С.
Бурцев А. Е.
Буслаев Ф. И.
Веселовский А. Н.
Гальковский Н. М.
Гильфердинг А. Ф.
Глинка Г.
Громыко М. М.
Даль В. И.
Державин Н. С.
Драгоманов М. П.
Ермолов А. П.
Ефименко А. Я.
Ефименко П. С.
Забелин И. Е.
Забылин М.
Зеленин Д. К.
Кайсаров А. С.
Калачов Н. В.
Калинский И. П.
Киреевский П. В.
Коринфский А. А.
Костомаров Н. И.
Кулиш П. А.
Ламанский В. И.
Максимов С. В.
Максимович М. А.
Мельников П. И.
Метлинский А. Л.
Миллер В. Ф.
Миллер О. Ф.
Надеждин Н. И.
Пассек В. В.
Потебня А. А.
Пропп В. Я.
Прыжов И. Г.
Риттих А. Ф.
Ровинский Д. А.
Рыбников П. Н.
Садовников Д. Н.
Сахаров И. П.
Снегирев И. М.
Срезневский И. И.
Сумцов Н. Ф.
Терещенко А. В.
Толстой Н. И.
Фаминцын А. С.
Флоринский Т. Д.
Худяков И. А.
Чулков М. Д.
Шангина И. И.
Шейн П. В.
Шергин Б. В.
Якушкин Е. И.
Якушкин П. И.

СЕРГЕЙ МАКСИМОВ

ПО РУССКОЙ ЗЕМЛЕ

МОСКВА
Институт русской цивилизации
2013

УДК 39
ББК 63.5
М 17

Максимов С. В.

М 17 По Русской земле / Предисловие, примечания А. Д. Каплина / Отв. ред. О. А. Платонов. — М.: Институт русской цивилизации, 2013. — 960 с.

В книгу выдающегося русского писателя-народоведа С. В. Максимова (1831–1901) включены лучшие произведения из книг «Год на Севере», «Бродячая Русь Христа Ради» и самые известные его сочинения: «Куль хлеба и его похождения», «Крылатые слова», «Нечистая, неведомая и крестная сила».

Современники называли Максимова патриархом народоведения. Во время своих многочисленных этнографических экспедиций он вел фольклорные записи – песен, сказок, легенд, обрядов, пословиц, поговорок. В этнографических книгах Максимова фольклор присутствует в своей естественной среде обитания. Все его книги фольклорные в точно такой же степени, как этнографические. Фольклор воссоздает внутреннюю жизнь народа, этнография – внешнюю. Они как душа и тело русского народа.

ISBN 978-5-4261-0072-5

ПРЕДИСЛОВИЕ

Сергей Васильевич Максимов является одним из самых «укорененных» в русской народной культуре писателей. И не случайно современники называли его одним из столпов русского народоведения. Указатель статей, вошедших в 1909–1914 гг. в посмертное 20-томное собрание сочинений писателя, насчитывает 552 названия. Хотя и это далеко не все его литературное наследие. В периодике Российской империи – 37 журналах и газетах – вышло 342 его публикации, а в типографиях – 84 отдельных издания и переиздания книг.

Однако его имя мало вспоминали в течение первых советских десятилетий. Да и сейчас еще далеко не в полной мере мы представляем, кем является Максимов для русской культуры.

Сергей Васильевич Максимов родился 25 сентября[1] 1831 г. в семье мелкопоместного дворянина (коллежского асессора), почтмейстера, Василия Никитича Максимова в Кологривском уезде Костромской губернии, в посаде Парфентьеве, расположенном на старинном тракте, ведущем из Москвы в Вятку. С образованием костромского наместничества в 1778 г. Парфентьев стал безуездным городом, но почта там была.

Уже сызмальства зародилась любовь будущего писателя к родным местам. В рассказе «Грибовник» он писал: «В самой далекой глуши одной из отдаленных и глухих северных губерний наших, в двухстах верстах от губернского города, завалился бедный городок – посад Парфентьев – красивое лесное место с первозданною природой. <…> Подъезжая к

---

[1] Здесь и далее все даты приводятся по юлианскому календарю.

Парфентьеву, оглянитесь: много ли таких картинных местностей на Руси святой? Кругом обступили горы… По горам стоят густые сухие леса, так называемые боры… Леса кажутся в таком изобилии, что будто разлилось лесное море, среди которого даже не видать и этих блестящих островков с лугами и селениями…».

По второму году младенец Сергий лишился матери и надолго остался с отцом-вдовцом. Лишь спустя десять лет Василий Никитич найдет себе новую жену и у Сергея впоследствии появятся три брата, два из которых (Николай и Василий) оставят заметный след в истории русской науки и культуры. Имевший природный ум взыскательный отец не баловал своих детей, приучая их к труду. Вспоминая о Василии Никитиче, С. В. Максимов рассказывал своему биографу, что отец, «несмотря на свое плохое образование, был человек довольно развитой и просвещенный, много читавший, много видевший на своем веку»[1]. Он поддерживал приятельские отношения с бывшим декабристом, поэтом, другом А. С. Пушкина, П. А. Катениным, который с 1822 г. почти безвыездно проживал в своей родовой вотчине Шаево, неподалеку от Парфентьева, и навещал В. Н. Максимова.

Первоначальное воспитание и начатки образования Сергей Максимов получил в семье, а в 1838 г. был отдан на обучение в Парфентьевское приходское училище. Здесь его наставником стал священник Ризположенского собора, иерей Иван Петрович Яснев, приходившийся мальчику крестным отцом, а возможно, и близким родственником[2]. Срок обучения был двухлетним, единственная классная комната располагалась в доме учителя. Но воспитывали и родня, и природа, и особенно свобода и сообщество разновозрастных посадских детей.

---

[1] *Быков Петр.* Сергей Васильевич Максимов. Биографический очерк // *Максимов С. В.* Собр. соч. Т. 1. – СПб., 1909. – С. IX.

[2] См. подробнее: *Лебедев Ю. В.* О годах учения Сергея Васильевича Максимова (1838–1850) // Костромская земля. – Вып. 3. – Кострома, 1995. – С. 109–118.

По окончании Сергеем приходского училища Василий Никитич определил сына в Кологривское трехклассное уездное училище, а после того как сын проучился здесь два года (в 1841–1842 гг.), повез его в Кострому, где была одна из лучших гимназий того времени. Так Сергей оказался в первом классе, своекоштным, вольноприходящим учеником[1]. Сохранившиеся гимназические документы свидетельствуют о том, что Сергей Максимов учился весьма успешно и был на протяжении всего периода обучения неизменно в числе первых учеников. Здесь он сдружился с будущим известным писателем А. А. Потехиным (1829–1908), который снабжал своего младшего товарища книгами и руководил его чтением. С ним С. В. Максимов сохранит добрые отношения на всю жизнь.

Любознательные, прилежные и одаренные гимназисты-товарищи особенно много читали о русской старине, посещали театр. Так уже в эти годы гимназист Максимов полностью прочел 12-томную «Историю государства Российского» Н. М. Карамзина и его же «Записку о старой и новой России», «глотал» романы М. Н. Загоскина, Вальтер Скотта, зачитывался журналом «Москвитянин» М. П. Погодина, интересовался его сотрудниками, пробовал писать и сам.

Впечатления детства и юности, жизнь в исконно народной стихии, с особенностями крестьянского быта, его обычаями, обрядами во многом объясняют истоки его творчества.

Не случайно, что уже первый по времени самостоятельный творческий труд С. Максимова относится именно к костромскому периоду. Это была речь «Ломоносов как первый русский ученый», произнесенная на торжественном акте в гимназии. По словам П. В. Быкова, «речь вышла дельная, красивая, написана была на тему о Ломоносове как сыне народа и своей искренностью и теплотой произвела, между прочим, сильное впечатление на местного архиерея»[2].

---

[1] С октября 1843 г. С. Максимов был зачислен в благородный пансион на полное дворянское содержание.

[2] *Быков Петр*. Указ. соч. – С. X.

Сергей Максимов мечтает о писательском труде, а потому решает поступать на историко-филологическое отделение Московского университета, которое с января 1850 г. стало самостоятельным факультетом. Однако в связи с революционными событиями в Европе набора летом этого года на новый факультет не было и С. Максимов поступил на медицинский факультет. Вскоре среди его новых друзей оказались будущий выдающийся историк Д. И. Иловайский, будущий знаменитый врач С. П. Боткин. Возник небольшой студенческий кружок, увлеченный народной культурой, новинками литературы и театра.

А к тому времени редакторы журнала «Москвитянин» М. П. Погодин и С. П. Шевырев пригласили к сотрудничеству ряд молодых талантливых писателей, создав так называемую «молодую редакцию» (Аполлон Григорьев, Тертий Филиппов и нек. др.), среди которой особенно выделялся один из самых старших – 27-летний А. Н. Островский. Здесь проявляли живой интерес к народному быту, русской песне.

Вскоре с некоторыми членами этого кружка (Б. Н. Алмазовым, А. А. Григорьевым, Л. А. Меем) и познакомился С. В. Максимов, где особенно сошелся со своим старшим земляком – А. Ф. Писемским.

Через многие годы А. Н. Майков в одном из позднейших писем к С. В. Максимову заметит: «Вы помните наше знакомство с Писемским: не знаю, он ли был крестным отцом ваших первых произведений, но помню, что его трезвый взгляд на жизнь и искусство сильно действовал на вас, еще юношу, и не остался без влияния на дальнейшие ваши труды. Он, кажется, первый и указал вам на изучение жизни русского народа, найдя в вас и нужную для того подготовку, меткий взгляд и разумную наблюдательность»[1].

Эту точку зрения с особой теплотой и нежностью разделял и сам С. В. Максимов, признававший: «Москве я обязан моими первыми литературными связями, моим литературным воспитанием и первыми проблесками моего сознания, что я должен

[1] *Плеханов С. И.* Странник // *Максимов С. В.* Избранное. – М., 1981. – С. 9.

чем-нибудь быть полезен народу»[1]. Каждый, писал он, «побывавший здесь уходил и с более приподнятым челом, уверенностью и твердою поступью, как будто он на свое природное звание получил оформленный и засвидетельствованный патент».

С этим «патентом» молодой студент-писатель явился в 1852 г. в С.-Петербург, надеясь поступить на филологический факультет столичного университета. Но и здесь его желанию не суждено было сбыться. И он вновь возвращается на медицинскую стезю, поступив в Императорскую медико-хирургическую академию. А это была уже другая среда – рассадник нигилизма.

От поглощения этими идеями С. В. Максимова спасает литература. В 1852 г. он познакомился с А. В. Старчевским, издававшим «Справочный энциклопедический словарь», для которого С. В. Максимов получил заказ на ряд статей, в т. ч. на статью о В. И. Дале.

В 1853 г. благодаря Л. А. Мею и А. В. Старчевскому С. В. Максимов входит в редакцию самого массового периодического издания того времени – «Библиотеки для чтения», где уже в январском номере журнала в 1854 г. увидел свет его первый этнографический, бытописательский очерк «Крестьянские посиделки в Костромской губернии», подписанный буквами «С. М.», открывавший читателю духовный мир народной культуры.

Вслед за этим последовали еще пять очерков-рассказов, посвященных народному быту Верхнего Поволжья – «Извозчик», «Несколько слов о музыкальности», «Швецы», «Маляр», «Сергач».

Они были замечены и читателями и в писательской среде. И. С. Тургенев в отзыве на очерк «Сергач» (о поводырях ученых медведей) отмечал верность и меткость наблюдений, высокую художественность изложения и при личной встрече посоветовал молодому автору: «Ступайте в народ, внимательно наблюдайте, изучайте его на месте, запасайтесь свежим материалом! У вас хорошие задатки…».

[1] *Быков Петр.* Указ. соч. – С. XIII.

Такое напутствие уже признанного писателя не прошло бесследно. Весной 1855 года С. В. Максимов оставил академию, столицу и на собственные средства отправился в свою первую «экспедицию» сначала во Владимирскую, а затем в Нижегородскую, Костромскую и Вятскую губернии, еще не имея, как он сам признавался, «никакой школы и поучения».

Он прошел по тем местам, где обитали иконописцы и офени (коробейники), побывал в лесной глуши Вятской губернии, потом прошел на Волгу, изучал знаменитую Нижегородскую ярмарку, познакомился с В. И. Далем, который с 1849 по 1859 год служил управляющим нижегородской удельной конторой.

Это был один из первых опытов непосредственного изучения народного быта в молодом поколении того времени. Итогом путешествия явился цикл рассказов и очерков, которые печатались в «Библиотеке для чтения» и других журналах в течение 1855–1857 гг. («Встреча» (1855), «Кулачок» (1856), «Колдун» (1857) и др.), составив впоследствии книгу «Лесная глушь» (СПб., т. 1–2, 1871).

М. Е. Салтыков-Щедрин писал о ней: «Г-н Максимов принадлежит к числу лучших наших этнографов-беллетристов, и изданное им ныне новое собрание очерков и рассказов служит несомненным тому доказательством. Драгоценнейшее свойство г. Максимова заключается в его близком знакомстве с народом, его материальною, духовною обстановкою. В этом смысле рассказы его должны быть настольной книгой для всех исследователей русской народности наравне с трудами Даля, Мельникова, Якушкина и других»[1].

Правдивые рассказы из народного быта читались с большим интересом. Лесная глушь – собирательный образ родины с ее природой и бедным, но умным и талантливым народом, с особенностями крестьянского быта, его обычаями и обрядами.

Знание народной жизни, нашедшее отражение в художественном творчестве С. В. Максимова, породило особый стиль

[1] Цит. по: *Салтыков-Щедрин М. Е.* Собр. соч. В 20 т. – Т. 9. – М., 1970. – С. 440.

его художественно-этнографической прозы с разнообразными народными типами, фольклорно-этнографическими картинами в живой народной жизни.

Рассказы и очерки были построены на достоверных фактах, и это придавало им характер документальности, не исключающей художественности. Природа и русский крестьянин, в тяжелых жизненных условиях сохранивший живую душу и щедрый поэтический талант, – вот два начала, которые утверждаются в очерках и могут быть положены в основу объединения в единый цикл, казалось бы, совершенно разных по своему характеру очерков и рассказов.

Успех первых опытов воодушевил С. В. Максимова. В 1855 году Морское министерство, возглавляемое братом Государя Императора, молодым Великим князем Константином Николаевичем, при проведении давно назревшей реорганизации флота решает послать «литературную экспедицию» для исследования и описания обычаев населения морских побережий и главных водных артерий России, чтобы использовать полученную информацию для набора новобранцев на флот из этих местностей. А. Н. Островского командировали на Верхнюю Волгу, А. А. Потехина – на Нижнюю Волгу, А. Ф. Писемского – в Астраханскую губернию, Г. П. Данилевского – в Малороссию и Крым, а самого молодого из них – С. В. Максимова – на почти неизвестный Европейский Север.

Уволившись 11 февраля 1856 года по личному прошению со второго курса медико-хирургической академии[1], получив рекомендательные письма к губернским властям и денежное содержание за полгода вперед, в феврале 1856 года С. В. Максимов отбыл из столицы. Тысячеверстный путь до Архангельска он преодолел за пять дней. Затем почти три месяца в библиотеках и архивах шло его «теоретическое» ознакомление с губернией. А когда на реках сошел лед и потеплело, отправился в путь вдоль берегов Белого моря, подробно расспрашивая поморов об их быте и занятиях.

---

[1] *Лебедев Ю. В.* Писатель-первопроходец // *Максимов С. В.* Литературные путешествия. – М., 1986. – С. 16.

Вторая часть путешествия С. В. Максимова пришлась на зимние месяцы: с октября 1856 по февраль 1857 года он проделал долгий путь по льду северных рек – Мезени, Пинеге и Печоре. Конечной точкой его странствия стал Пустозерск – крайний форпост русской государственности в Приполярье.

В результате С. В. Максимов собрал громадный материал дотоле неизвестный русскому образованному обществу. Писатель старался вести записи под свежим впечатлением от увиденного и услышанного. Его очерки, рассказывавшие о жизни и быте северного края, печатались в «Морском сборнике» и многих других журналах.

Автор не только с точностью этнографа запечатлевает увиденное им, но и включает в текст повествования диалоги с крестьянами, проводниками, охотниками-промысловиками, приводит рассказы бывалых людей, предания, песни. Все это создает образ сурового северного края. В текст включаются многочисленные народные приметы, поверья, песни, местные предания...

Воссоздается народная жизнь целого края. С этнографической точностью передает С. В. Максимов материальный быт поморов, ненцев, коми. Он описывает в мельчайших подробностях избушки промысловиков, домашнюю утварь, одежду, пищу, рыболовные и охотничьи снасти. И стиль его очерков приобретает документальную конкретность. Она создается также включением в текст исторических источников, печатных и архивных. С ними вводятся в очерки сведения о поморских посадах, монастырях, городах…

В отличие от цикла очерков «Лесная глушь», здесь рассказчик не только свидетель, слушатель, наблюдатель, но и действующее лицо, герой повествования.

Когда в 1859 году С. В. Максимов собрал, дополнил вышедшие очерки и выпустил объемистую двухтомную книгу «Год на Севере», многие крупнейшие журналы высоко оценили труд молодого писателя. В «Библиотеке для чтения» выступил ее тогдашний редактор А. В. Дружинин, один из ведущих критиков и прозаиков; книгу С. В. Максимова он воспринял

прежде всего как явление изящной словесности, что для тонкого и проницательного ценителя прозы ведущих русских мастеров значило очень много.

Н. В. Шелгунов, рецензировавший «Год на Севере» в «Русском слове», писал: «…г. Максимов… сроднился тесно с русской природой, с русской жизнью… отлично чувствует и понимает ее, и в этом заключается секрет его силы и той поразительной верности, с какой он описывает быт русского крестьянина и простую, но осмысленную верным пониманием жизни и окружающих обстоятельств речь простого русского человека»[1].

Но не только литературные достоинства определяли ценность книги С. В. Максимова. Ее высоко оценили и представители науки. «Записки Русского Географического общества» так отозвались о труде путешественника: «...рассматриваемое сочинение хотя и не представляет систематической связи этнографии и истории (что, впрочем, и не было целью автора), но для того, кто в истории ищет народной жизни, должно быть названо одним из важнейших для нее пособий...».

Венцом общественного признания труда писателя-путешественника было присуждение ему за книгу «Год на Севере» малой золотой медали Русского Географического общества, которое как раз и возглавлял Великий князь Константин Николаевич.

Летом 1858 года, не дождавшись выхода в свет «Года на Севере», С. В. Максимов, видимо не без влияния П. И. Якушкина, отправляется в странствие по южным губерниям в костюме торговца средней руки. Материалы этого путешествия легли впоследствии в книгу «Куль хлеба и его похождения».

В 1860 г. С. В. Максимов отправляется в самое дальнее и длительное путешествие: по поручению Морского министерства – на Амур. Затем полторы тысячи миль морем до японского порта Хакодате, а потом побывав еще и в Маньчжурии. На обратном пути писатель-этнограф по официальному поручению занялся изучением сибирских тюрем (получив возможность ознакомиться с их архивами), быта каторжан и ссыльных.

1 Русское слово. – 1860. – Февраль. – Отд. Критика. Библиография. – С. 13.

С. В. Максимов посетил все места ссылки декабристов, в т. ч. известный Тарбагатай. Описание этих мест в «Сибири и каторге» послужили одним из источников для Н. А. Некрасова в период работы над поэмой «Дедушка». Не исключено, что народные легенды о «вольных землях», отразившиеся в рассказе Н. А. Некрасова о Тарбагатае, появились отчасти под влиянием книги С. В. Максимова, в которой приводились широко бытовавшие в среде сибирского крестьянства рассказы о вольных поселениях, затерянных в лесах, о счастливой артельной жизни их обитателей[1].

Свои богатые наблюдения он изложил впоследствии в капитальном сочинении «На Востоке. Поездка на Амур», где рассказал об обитателях «мертвых домов» старых и новых времен.

Первая часть труда сначала была напечатана в 1862 г. под заглавием «Тюрьма и ссылка» небольшим тиражом с грифом «секретно» для служебного пользования. Позднее он переработал его и печатал в некрасовских «Отечественных записках» в 1868–1869 гг., а затем и отдельным изданием (в 1871 г.) в трех томах под заглавием «Сибирь и каторга».

В этих очерках собран обширный материал по этнографии, истории и статистике тюремной жизни России. Они стали одним из литературных источников рассказов М. Е. Салтыкова-Щедрина[2].

Художественные искания С. В. Максимова шли по пути становления этнографической прозы к циклу этнографических путевых очерков («Год на Севере») и к художественно-документальному эпосу («На Востоке», «Сибирь и каторга»), где от частных явлений писатель переходит к широким социальным обобщениям.

В 1862–1863 годах по заданию морского ведомства С. В. Максимов объездил побережье Каспийского моря и

[1] Документальный материал книги С. В. Максимова Н. А. Некрасов использовал и в другой поэме – «Княгиня Трубецкая» (в «Сибири и каторге» дается подробное описание жен декабристов, пути их в Сибирь и пребывание там и т. д.).

[2] Многие образы и мотивы «Истории одного города» М. Е. Салтыкова- Щедрина восходят к «Сибири и каторге» С. В. Максимова.

Урал. В результате появился ряд очерков и рассказов о жизни местного населения, а также посвященных различным видам местного раскола[1].

Однако после этого путешествия С. В. Максимову пришлось задержаться в столице. За ним в течение двух лет был установлен негласный полицейский надзор в связи со встречей с ним как знатоком русского раскола близкого к А. И. Герцену писателя-этнографа В. И. Кельсиева.

Дело в том, что, обработав материалы архангельской экспедиции, С. В. Максимов в 1861 г. издал книгу «Рассказы из истории старообрядчества по раскольничьим рукописям». Ее появлению в печати предшествовала серия журнальных публикаций[2]. Содержание книги еще более расширилось. Публикуя «Рассказы из истории старообрядчества», С. В. Максимов ставил задачу: восполнить у широкого круга читателей недостаток сведений о внутренней жизни старообрядчества, изложить содержание привезенных им с севера старообрядческих рукописей, пробудить интерес современников к малоизвестным страницам своей истории.

«Рассказы из истории старообрядчества...» подверглись пристальному вниманию ученых и строгой оценке критиков. Участие в полемике приняли «Русский вестник», «Отечественные записки», журнал М. М. Достоевского «Время», «Христианское чтение», издававшееся при Петербургской духовной академии, и другие издания. Диапазон выступлений был широк: от кратких положительных отзывов о литературной новинке до серьезного научно-критического разбора.

---

[1] В «Морском сборнике» появились две – «Из Уральска» и «С дороги на Урал», а остальные, касающиеся раскола («Иргизские старцы», «Ленкорань», «Секта общих», «Молокане», «Духоборцы», «Прыгуны», «Скопцы», «Хлысты», «Субботники», «Божий промысел» и др.), напечатаны в «Деле», «Отечественных записках», «Семье и школе».

[2] Русский раскол (Материалы для его истории) // Иллюстрация. – 1861. – Т. VIII; Русский раскол. Патриарх Никон (по раскольничьим источникам) // Иллюстрация. – 1861. – Т. VIII; «Материалы для истории русского раскола», основанные на трех рукописных источниках: истории о взятии Соловецкого монастыря, повести о страдальцах соловецких и двух посланиях протопопа Аввакума // Сын Отечества. – 1861. – № 38, 40.

В числе выступивших были И. Ф. Нильский, Н. И. Субботин, Н. Я. Аристов.

Неточности и ошибки С. В. Максимова были замечены знатоками. Так, далекими от действительности оказались в книге С. В Максимова характеристики творчества протопопа Аввакума и Андрея Денисова. Но не только ошибки стали предметом обсуждения «Рассказов из истории старообрядчества». Полемику в научных кругах вызвала сама идея такого рода изданий, широкая постановка вопроса о том, как надо издавать старообрядческие рукописи.

С. В. Максимов как писатель-этнограф настаивал на передаче ощущения внутреннего духа старообрядческой среды, осязаемом воссоздании ее в бытописательной прозе. «Во всех сочинениях о русском расколе мы встречаем один весьма важный и существенный недостаток, – писал С. В. Максимов в своем предисловии к книге, – это вообще недостаток знания внутренней его жизни, объясненной в таком поучительном и знаменательном обилии в сочинениях, писанных самими раскольниками».

«Рассказы из истории старообрядчества» стали косвенной причиной привлечения С. В. Максимова по так называемому «делу 32-х»: «Делу о лицах, обвиняемых в сношении с лондонскими пропагандистами».

Российская эмиграция в Лондоне во главе с А. И. Герценом и Н. П. Огаревым, поддержавшая народническую точку зрения на раскол А. П. Щапова, решила вовлечь старообрядчество в революционную антироссийскую деятельность. Предлагалось устроить в Лондоне епископскую кафедру, завести типографию для печатания богослужебных книг по образцам первой половины XVII столетия и открыть училище для детей старообрядцев. Вольная русская типография издала четыре выпуска «Сборника правительственных сведений о раскольниках». В предисловии к ним составитель В. И. Кельсиев обосновал взгляд на старообрядцев как на потенциальную революционную силу.

Весной 1862 г. В. И. Кельсиев по паспорту турецкого подданнного Василия Яни нелегально побывал в России и с целью

объединения революционных сил встречался как с членами старообрядческих общин, так и с участниками революционного движения. С. В. Максимов оказался интересен лондонскому агенту прежде всего как знаток старообрядчества. Однако В. И. Кельсиев остался крайне недоволен С. В. Максимовым, так как лондонский эмиссар принимал раскол за политическую партию, а писатель-народовед видел в нем только известное физиологическое явление государственной жизни, годное как цель для изучения, а не как средство[1].

Опыт публикации «Рассказов из истории старообрядчества» помог С. В. Максимову утвердиться в выборе самостоятельной позиции по вопросам популяризации старообрядческой литературы. Но специальные публикации исторических документов С. В. Максимов больше не предпринимал. Писатель не идеализировал раскол, но как этнограф ценил то, что старообрядчество три столетия преданно хранило верования, обряды, устои, обычаи, характеры и национальное творчество.

Вынужденное пребывание в столице С. В. Максимов использовал с большой пользой. У него появилась возможность обзавестись семьей и ее обустройством. Кроме того, в 1865 г. товарищество «Общественная польза» пригласило С. В. Максимова редактировать издания для народного чтения. Он принял предложение и написал около 20 книжек для народа, где было дано описание различных уголков России: «О русской земле», «Крестьянский быт прежде и теперь», «Мерзлая пустыня», «Дремучие леса», «Русские степи и горы» и др. Кроме этого, он переиздал свою книгу «Край крещеного света» о жизни и культуре вогулов, зырян, вотяков, черемисов, чувашей, мордвы и т. д., где отметил у этих народов черты неповторимой талантливости, самобытной культуры.

Последнее длительное путешествие С. В. Максимова состоялось по заданию Русского Географического общества в 1867–1868 гг. в составе этнографической экспедиции по изучению Северо-Западного края.

---

1 См. подр.: *Щербакова М. И.* С. В. Максимов как публикатор старопечатных книг // Электр. ресурс: http://www.pstbi.ru/institut/book/1997/sher.htm

Писатель побывал в Смоленской, Могилевской, Витебской, Минской, Виленской, Гродненской губерниях, собрал ценный материал, который публиковался в газете А. Краевского «Голос», в журнале «Древняя и новая Россия», в многотомном издании «Живописная Россия» и т. д. Белорусские и смоленские наблюдения впоследствии печатались в некрасовских «Отечественных записках» (1874–1876) под названием «Бродячая Русь». В 1877 г. вышло отдельное издание этого сочинения под названием «Бродячая Русь Христа ради». В ней изображены различные виды бродяжничества нищих, богомольцев, раскольников-скрытников и христолюбцев. Это была не только книга о народе, но и произведение, написанное как бы от лица народа. Творческие пути С. В. Максимова, его представления о русском народе здесь вновь перекликаются с представлениями Н. А. Некрасова в его поэме «Кому на Руси жить хорошо».

В феврале 1868 г. обремененный семьей, испытывающий материальную нужду (издатели платили ему довольно скупо) С. В. Максимов поступил на службу исправляющим должность редактора ежедневной газеты столичной городской управы «Ведомости Санкт-Петербургского градоначальства и столичной полиции». А спустя десять лет был утвержден в должности редактора этого официального издания, где еще после этого прослужил два десятилетия.

Несмотря на то, что служба отнимала много времени и сил, С. В. Максимов продолжал обрабатывать богатейший материал и публиковать новые статьи и книги, а также дополнять и переиздавать изданные ранее.

В 1870-е гг. широкую известность приобрело еще одно сочинение С. В. Максимова, где использовался опыт давних его путешествий. В 1872 г. в журнале «Школьная жизнь» (№ 11–13) был опубликован цикл его очерков «Куль хлеба и его похождения», в следующем году он вышел уже отдельной книгой, еще трижды переиздававшейся при жизни автора (в 1875, 1881, 1894 гг.).

Книга его была адресована детям (прежде всего своим: Ивану и Александру, потом у него еще родились сын и дочь), по выражению писателя, «обреченным на городскую жизнь и

отрезанных от деревенских интересов». Это была поэма о хлебе, гимн русскому хлебопашцу, энциклопедия крестьянской жизни и труда. Хлеб, убеждению С. В. Максимова, – это то фундаментальное начало, которое определяет и быт, и мировоззрение крестьянина, его жизнь с момента появления на свет и до самой смерти. С особой теплотой описывает автор крестьянское житье, связанное с «властью хлеба», используя жанр путешествия-похождения. Он дает подробное описание земледельческого труда, устройства жилищ и хозяйственных построек, пристаней, способов торговли хлебом, его (хлеба) «путешествие» по стране. Писатель рассказывает о строительстве хлебных барок, о ярмарках с их особенностями и нравами. Подробно описывает С. В. Максимов и народные обычаи, обрядовый календарный фольклор, его содержание и характер.

Во время экспедиций и путешествий С. В. Максимов вел и фольклорные записи – песен, сказок, легенд, обрядов, пословиц, поговорок, многие из которых передавал фольклористам. Но самые интересные выражения, фольклорные золотые россыпи, употребляемые в разговорной речи в неизменяемой форме, смысл которых всем понятен, а произношение – нет, С. В. Максимов собирал несколько десятилетий. С 1883 г. на страницах ежедневной газеты «Новости» начинают появляться его заметки, посвященные толкованию отдельных слов и выражений, под рубрикой «Не спуста слово молвится».

В 1890 г. эти очерки были объединены в отдельную книгу под названием «Крылатые слова», которая вызвала большой читательский успех, что потребовало ее переработки и переиздания в 1899 г.

С. В. Максимов расширил понятие «крылатые слова»[1], которыми называл пословицы, поговорки, присловья, устойчивые словосочетания, идущие не только от литературных источников, возникших в быту, объяснения которых следует искать в народных обычаях и верованиях, в терминологии раз-

[1] Под таким названием («Geflügelte Worte») немецкий ученый Георг Бюхман (1822–1884) в 1864 г. издал отдельную книгу, впоследствии неоднократно переиздававшуюся.

личных профессий и занятий, в старинном судопроизводстве, в памятных исторических событиях. «От живого слова, на просторе выбора всевозможных эпитетов, – писал он, – немудрено дойти и до крылатого, свободно, как птица, летающего окрыленным по белому свету»[1]. В них он разъяснял слова и обороты обиходной речи, первоначальный смысл которых утратился или известен только специалистам.

«Крылатые слова» С. В. Максимова, как отметила суворинская газета «Новое время», – это «не научное исследование, не справочная книга, не толковый словарь… Это своеобразное художественное произведение», а толкования крылатых слов для автора «являются не только темою, сколько предлогом заговорить с читателем и увлечь его невидимкою в перекрестный шум народного говора»[2]. Стихия народной речи (в «крылатых словах») воспроизводилась С. В. Максимовым на фоне живых картин народного быта, с этнографическими приметами исторического времени, местного колорита, называя родной язык богатым, сильным, свежим, кратким и ясным.

В 1880-е гг. С. В. Максимов приступает к работе над воспоминаниями о Л. А. Мее, И. Ф. Горбунове, П. И. Якушкине, А. Н. Островском и др., которым было суждено оставить заметный след в русской мемуаристике[3]. Здесь с большой теплотой и симпатией изображены замечательные деятели русской культуры, с которыми С. В. Максимов в течение многих лет находился в дружеских и даже в родственных (как с И. Ф. Горбуновым) отношениях.

На закате жизни С. В. Максимов оставляет должность редактора «Ведомостей Санкт-Петербургского градоначальства и столичной полиции». Однако без работы он не остался. В 1898 г. богатый меценат – князь В. Н. Тенишев – организовал

---

[1] *Максимов С.* По поводу «Крылатых слов» // Новое время. – 1891. – 12 февраля.

[2] Новое время. – 1899. – 25 августа.

[3] Эти воспоминания первоначально публиковались в основном в журнале «Русская мысль» с 1887 г. Очерк о П. И. Якушкине появился в его сочинениях, изданных в 1884 г.

в столице «Этнографическое бюро» и разработал программы этнографических сведений о крестьянах и «городских жителях образованного класса». Бюро ставило задачу собрать материал «о поступках и поведении управляемых» для администрации, а также изучения народных обычаев, обрядов и верований.

«Программа этнографических сведений о крестьянах центральной России», к исполнению которой был привлечен С. В. Максимов, содержала строгую систему наводящих вопросов, на которые должен был отвечать сотрудник бюро, окончательно обрабатывающий сведения, полученные от местных корреспондентов из разных губерний, уездов и волостей средней России.

Такая система сильно затрудняла (если практически не исключала) творческую личную инициативу, чрезмерно регламентировала труд. Тем не менее С. В. Максимов написал целый цикл очерков, который был напечатан в качестве образца отдельным изданием под названием «Нечистая сила» (СПб., 1899). К апрелю 1901 года тяжело больной С. В. Максимов завершил работу над «Крестной силой», но эта часть, как и «Неведомая сила», при жизни автора изданы не были. Этот триптих явился своеобразным этнографическим памятником народной культуры, с большой полнотой воссоздающим поэтический мир народных верований и легенд, который сочетается с ярким красочным описанием крестьянских годовых праздников, создавая этнографию бытового православия.

В 1900 году С. В. Максимов за свой долгий подвижнический труд по предложению А. П. Чехова был избран почетным членом Российской Академии наук «по разряду изящной словесности». А 3 июня 1901 года он скончался от горловой чахотки в С.-Петербурге и был похоронен на Волковом кладбище, на литературных мостках.

Его современник и биограф П. В. Быков за год до смерти писал о нем: «Это удивительно скромный человек далеко не оценен на своей родине, где его имя очень популярно, но не гремит, как гремело бы за границей, если бы Сергей Васильевич, только очень недавно избранный в почетные академики

Императорской Академии наук, – был писателем иностранным… Но такова уж судьба русского писателя за очень немногими исключениями».

На одном из своих юбилеев С. В. Максимов сказал о себе: «Я в самом деле странствовал долго, забирался далеко, видел много и написал много. В деревню я унес свою любознательность»[1]. Глубокое знание быта и нравов народа, верность деталей и живость зарисовки обеспечили С. В. Максимову заслуженную известность и признание в русской литературе.

Народная культура как художественный компонент вошла во все произведения С. В. Максимова и в некотором роде определила их жанровое своеобразие. Это и рассказы, и очерки, и художественно-документальный эпос, и «хождения», и художественная этнография «бродяжничества и нищенства», и фольклорно-этнографическое художественное исследование мировоззрения народа, его поэтических верований и легенд, годового круга крестьянских праздников.

Корни и истоки творчества С. В. Максимова связаны не только с изучением жизни народа как наблюдателя, собирателя. Он слился с ним, сроднился тесно с русской природой и русской жизнью, глубоко понимал быт крестьянина, склад его ума, практическую философию, речь русского человека, народное мироощущение.

Все сочинения С. В. Максимова написаны от лица народа, пронизаны крестьянским взглядом на мир, здравым смыслом и простодушием. Отсюда и неудивительно: С. В. Максимов оставил заметный след в истории отечественной культуры, внес заметный вклад в русское народознание.

А. Д. Каплин

---

1 *Быков Петр*. Указ. соч. – С. VII.

ИЗ КНИГИ «ГОД НА СЕВЕРЕ»

V. Поездка в Соловецкий монастырь

Первые впечатления пути по морю. Воспоминания туземцев о недавнем посещении Белого моря англо-французскою эскадрою. — Мои спутники. — Соловецкий монастырь. — Гостиницы. — Часовни. — Воспоминания о посещении монастыря Петром Великим. — Возмущение соловецких старцев и подробности осады монастыря от московского войска. — Беглецы и старцы. — Настоящее состояние монастыря и его значение. — Поездка на Анзеры и в скит Голгофу. — Соловки с птичьего полета. — Монастырская тюрьма. — Ее внешний вид. — Ее история. — Интересный заточник. — Папулин. — Из истории федосеевского раскольничьего толка. — Похищение древнего иконостаса. — Древние иконы. — Тюремный преступник, рассказ архимандрита Александра. — Земляные тюрьмы. — Мешок. — Побеги. — Великоважные преступники. — Строгость заточения. — Цепные. — Донской есаул. — Игумен Израиль. — Ссыльные. — Интересные из них: Пархомов и Жуков. — Всенародное покаяние. — Возвращение и обратный путь в Кемь.

Шумливо бежит в недальнее море порожистая, неширокая река Кемь, извиваясь прихотливыми коленами, обставленная высокими гранитными берегами; бойко бежит по ней и наш карбас, подгоняемый крутым, не на шутку расходившимся юго-западным ветром. Недавно оставленный нами город Кемь то закроется от нас ближней *варакой*, высокой крутизной каменного,

бесплодного берега, то покажет, как бы для последнего свидания, часть деревянных домов дальней набережной, то Лепостров с его деревянной церковью древней постройки. Наконец, он совсем пропадает из виду, когда уходят далеко вправо и влево берега реки, на этот раз какие-то низенькие, какие-то черные, мрачные с виду. Казалось, что вот сейчас же разольется перед нами громадная ширина Белого моря и начнут метаться, одна на другую, крупные, соленые, для непривычного страшные с виду волны. Как будто нарочно для этого и правая крутизна ближнего мыса, затянувшись туманом, отошла далеко назад. Самый ветер надувал наши два паруса полнее и крепче; чайки выкрикали чаще и тоскливее; море ширилось все больше и больше и бросало в нас уже крепкосолеными брызгами. Мы находились в настоящем море и почти открытом, если бы не выступали направо и налево высокие, словно обточенные, скалистые и щелистые острова из группы Кузовов. Дальние краснеют тускло, как будто надрезанные, прохваченные снизу полосой воды, как дальнее облако, неподвижно врезанное в серый горизонт. Ближние из них ярко выясняются грязным, сероватым гранитом с прозеленью тщедушного сосняка, с прожелтью выжженной солнцем, выцветшей травы, ягеля (оленьего моха), листьев ягоды вороницы и морошки. Некоторые из этих островов не кажут ничего, кроме камня, темного цвета выбоин-щельев и потом опять камня серовато-красного и серовато-желтого. На одном из них прицепилась избушка-таможня.

– Это Попов-остров, – объясняет кормщик. – В избушке солдаты живут. К ним приставай всякий, кто с моря едет, и показывай им, не везешь ли чего из запретного: рому норвежского, чашек чайных, сукна, а либо чего из прочего. Да наши молодцы такие, что и за Кильяками (островами) встанут, не что возьмешь – далеко ведь... Туда досмотрщику несподручно ехать, хоть и карбаса есть у них, и багры, чтобы за чужой карбас ухватиться. Спасаемся же!..

– А вон, гляди, этот остров! – продолжал мой кормщик тогда, как выровнялась новая гранитная скала, несколько большая против других соседних.

– Ехали наши ребята на карбасе три человека: богомольцев везли к угодникам. С ними женок штук до пяти было – и все тут. А на ту пору у нас этот *аглечкой*-то[1] бродил да обиды всякие делал. Едут вот наши ребята – едут, едут наугад, авось-де со врагом с супостатом и не встретимся, и проедем, и святым угодникам молитву воздадим. Ладно – с тем, стало, и едут. Ан глядь-поглядь, из-за одной луды[2] в Кильяках словно бы дымок показался. Стали всматриваться – дымок и есть. Наши ребята этак взяли в сторонку рулем и стали заходить правее за луду: там-де встанем, переждем на лютый час, пусть погуляют, проедут. Ружья у них и были, пожалуй, так, вишь, женского-то полу набралось – дери их горой! Ну вот – хорошо! Слушайте! Обогнули наши молодцы луду ту, пристали. На гору подниматься стали, поднялись – посмотрим, мол, далеко ли супостаты. А они тут и есть под горкой: кто в растяжку, кто стоя, трубочки покуривают, кто как... Насчитали наши ихнова народу, надо быть, сказывали, человек до тридцати. Как, слышь, увидали наших на горе – взболоболькали по-своему да как кинутся под гору назад – так, слышь, только пятки засверкали. А нашим-то и любо; стоят да глядят, что дальше будет. Бегут аглечкие к шлюпке – отчаливать тормошатся, весла хватают... Один оступился, в воду попал – что бык взревел! Так и удрали, так и удрали на свой пароход. Наши после них пистолет нашли, цигаров, спичек хороших таких, ни одна не пропала, а горела, что тебе восковая свечка... Таково-то хорошо, ей-богу!..

Нам завязалось поветерье. Карбас, несколько накренившись на бок, бежал довольно спешно, бойко рассекая несильные, но частые волны. Мы продолжали ехать между островами, оканчивая то тридцативерстное пространство, которое занято ими, начиная от устья реки Кеми. Остальные тридцать верст (изо всех шестидесяти от города до монастыря) идут уже *полым*, по-здешнему, т. е. открытым, свободным от всяких островов морем.

---

[1] Аглечкой – английские военные суда, участвовавшие в морской блокаде России во время Крымской войны 1853–1855 гг. – *Сост.*

[2] Луда – губа, мель. – *Сост.*

Хорошо было сидеть мне в чистеньком таможенном карбасе, предложенном мне предупредительностью доброго кемского городничего. Род каюты, навес над кормою, сделанный наподобие кибитки, обит был зеленым сукном; тем же сукном обиты были и скамейки по сторонам. На полу подостлана была шкура белого медведя, мягкая, удобная для лежанья и сиденья. Навес не угрожал ударами по голове, как во всех других поморских карбасах, лаженных кое-как, только бы сошло дело с рук. Там сквозной ветр дует безнаказанно, там от дождя навесы не спасают, и всегда одолевает одуряющий запах трески, которою запасаются девки-гребцы. Здесь на этот раз ничего из подобного не было; даже и женщин-гребцов заменили на этот раз шесть мужиков, сильных на руки, бойких и острых на язык. Они подобрали весла и, по обычаю всех архангельских поморов, тотчас же принялись за еду. Несутся в мою будку отрывки их разговоров.

Один сообщает прочим, что он вот уже пятый раз в нынешний год ездит в монастырь и съездит, может быть, и еще четыре раза.

– Чего ж больно так разохотился? – спрашивает его другой гребец. – Али весело очень, в привычку вошел?

– И в привычку вошел, и усердие имею: я и в запрошедший год два раза был там, хоть и аглечкой бродил – небось не побоялся. Я ведь более по портному делу, на монастырских работников жилетки шью: любят очень. Поживешь на острову три дни положенных, жилеток до пяти и обработаешь. А деньги особь и за греблю, и за шитье получу; вдвое, стало быть, в барышах и бываю...

– Стало, тебе там и помолиться некогда?

– Какая уж тут тебе молитва? Известное дело!

Слышатся новые толки. Тот же портной сообщает товарищам, что монастырь выставляет бочку дегтю даровую для того, чтобы богомольцы могли смазывать свои сапоги.

– А велят ли сапоги-то мазать?– робко, сдержанным голосом спросила его кемская женка, упросившая нас взять ее с собой.

Портной посмотрел ей на ноги: баба была в сапогах.

– Да хоть голову мажьте, коли *усердие* есть! – отвечал он ей и набил трубочку, коротенькую, прожженную и окуренную до безобразия и постоянной воркотни.

Почуялся прогорклый, неприятный запах махорки. Портной высосал трубку в два приема и очумел, вытаращив глаза, которые на этот раз сделались какими-то оловянными и бессмысленными. Вероятно, в это время он испытывал неземное наслаждение, потому что улыбка, до того времени не сходившая с его лица, на этот раз сияла полнейшею, двойною радостию.

– Нечистый вас, братцы, ведает, как это вы в экой дряни смак находите, будь вам пусто! – послышался голос кормщика.

– Да ведь это кому как, Гервасей Стефеич. Иной, пожалуй, вон из одной-то чашки с тобой и пить не станет, а все свою носит. Так-то!

– Да ведь из головы блудницы зелье-то это поганое выросло, – заметил было кормщик грубо-сердитым тоном.

– Это, брат Гервасей Стефеич, по книгам ведь. А по мне, коли водки в кабаке выпить захочешь, в артельной чарке она завсегда слаще бывает. Я не брезглив: по мне, коли водку пить, так и из ошметка хорошее дело. Верь ты моему слову нелестному!..

Кормщик замолчал на убеждения соперника. Но не молчал этот:

– Ты это знай, Гервасей Стефеич, что табак бодрости придает: в нем сила... Ты посмотри – вон и его высокородие сигарочку закурил. Стало, это хорошо, вон оно што!..

Кормщик хранил уже после того упорное молчание. Остряк заглянул ко мне в будку:

– Ваше высокородие!

– Что хочешь сказать?

– Вот вы теперича изволите в обитель преподобных в первый раз ехать?

– Да.

– А знаете ли, какие там дивные дела случаются?

– Нет, не все знаю.

– На зиму, изволите видеть, месяцев на восемь острова Соловецкие совсем запирает: на них тогда ни входу, ни выезду

не бывает во все это время. Сначала мутят море бури такие, что и смелый и умелый не суется. Попробовал архимандрит за почтой в Кемь послать – все потонули. С октября месяца у берегов припаи ледяные делаются. Так ли, братцы?

– Припаи верст на пять бывают от берега, – подтвердил кто-то.

– Бывают и больше. Вот на ту пору ветры морские, самые такие крепкие, зимние от припаев этих ледяных льдины, торосья такие отрывают и носят, что шальных, из стороны в сторону. Промеж льдин этих не протолкаешься: изотрут они утлый карбасенко в щепу.

– А Михей-то Назаров в четвертом году пробрался! – заметил кто-то.

– Ну, брат, ты мне про это не рассказывай! Про Михея Назарова закон не писан: он ведь блажной. Головушку-то свою где-где он не совал, он ведь, брат, зачурованный. Его и на том свете черти-то голыми руками не ухватят: такой уж!

Все засмеялись.

– Так вот я к тому речь свою веду, ваше высокородие, что монастырь на всю осень, на всю зиму, на всю весну заперт бывает; никаких таких сношений с ним нет. На ту пору они арестантов из казематов выпускают – которые гуляют по монастырю, которые в церковь заходят. В мае (рассказывают монахи), как начнет отходить земля, побегут с гор потоки – прилетает чайка одна сначала, передовая. Сядет она на соборную колокольню и кричит долго-предолго, шибко-прешибко; покричит часок, другой, третий – улетает. Дня через два – через три налетает этих чаек несосветимая сила, проходу от них нету, сами увидите! Живут они на острову все лето, детей (чабарами зовут) тут же и выводят. Монахи и богомольцы их хлебом кормят, и чайки эти совсем ручными делаются, а ведь пугливая, дикая птица от рождения. Вот вам и первое диво!

Все гребцы при этих словах переглянулись. Портной продолжал:

– Осенью прилетают вороны, с чайками драку затевают. Идет у них тут кровопролитие большое, чаек много бывает по-

бито. Чайки улетают с острова все до одной, остаются хозяевами вороны во всю зиму, а по ранней весне и они тоже улетают, тут драки не бывает. Так ведь вот диво-то какое!

Острова, между тем, стали заметно редеть; быстро уходили они один за другим назад. Крепкий ветер гнал нас все вперед скоро и сильно. Сильно накренившееся на бок судно отбивало боковые волны и разрезало передние смело и прямо. Выплывет остров и начнет мгновенно сокращаться, словно его кто тянет назад; выясняется и отходит взад другой – решительная груда огромных камней, набросанных в замечательном беспорядке один на другой, и сказывается глазам вслед за ним третий остров, покрытый мохом и ельником. На острове этом бродят олени, завезенные сюда с кемского берега, из города, на все лето. Олени эти теряют здесь свою шерсть, спасаются от оводов, которые мучат их в других местах до крайнего истощения сил. Здесь они, по словам гребцов, успевают одичать за все лето до такой степени, что трудно даются в руки. Ловят их тогда, загоняя в загороди и набрасывая петли на рога, которые успевают уже тогда нарости вновь, сбитые животными летом. Между оленями видны еще бараны, тоже кемские и тоже свезенные сюда с берега на лето.

Едем мы уже два часа с лишком. Прямо против нашего карбаса, на ясном, безоблачном небе, из моря выплывает светлое маленькое облачко, неясно очерченное и представляющее довольно странный, оригинальный вид. Облачко это, по мере дальнейшего выхода нашего из островов, превращалось уже в простое белое пятно и все-таки – по-прежнему вонзенное, словно прибитое к небу.

Гребцы перекрестились.

– Соловки видны! – был их ответ на мой спрос.

– Верст еще тридцать будет до них, – заметил один.

– Будет, беспременно будет, – отвечал другой.

– Часам к десяти вечера, надо быть, будем! (Мы выехали из Кеми в три часа пополудни.)

– А пожалуй, что и будем!..

– Как не быть, коли все такая погодка потянет. Берись-ка, братцы, за весла, скорей пойдет дело, скорее доедем.

Гребцы, видимо соскучившиеся бездельным сидением, охотно берутся за весла, хотя ветер, заметно стихая, все еще держится в парусах. Вода стоит самая *кроткая*, то есть находится в том своем состоянии, когда она отливом своим умела подладиться под попутный ветер. Острова продолжают сокращаться, судно продолжает качать и заметно сильнее по мере того, как мы приближаемся к двадцатипятиверстной салме[1], отделяющей монастырь от последних островов из группы Кузовов. Наконец мы въезжаем и в эту салму. Ветер ходит сильнее; качка становится крепче и мешает писать, продолжать заметки. Несет нас вперед необыкновенно быстро. Монастырь выясняется сплошной белой массой. Гребцы бросают весла, чтобы не *дразнить* ветер. По-прежнему крутятся и отлетают прочь с пеной волны, уже не такие частые и мелкие, как те, которые сопровождали нас между Кузовами. Налево, далеко взад, остались в тумане Горелые острова. На голомяни, вдали моря направо, белеют два паруса, принадлежащие, говорят, мурманским шнякам[2], везущим в Архангельск треску и палтусину первосолками...

Набежало облако и спрыснуло нас бойким, крупным дождем, заставившим меня спрятаться в будку. Дождь тотчас же перестал и побежал непроглядным туманом направо, затянул от наших глаз острова Заяцкие, принадлежащие к группе Соловецких.

– Там монастырские живут, церковь построена, при церкви монах живет, дряхлый, самый немощный: он и за скотом смотрит, он и с аглечкими спор имел, не давал им скотины. Там-то и козел тот живет, что не давался супостатам в руки...

Так объясняли мне гребцы.

По морю продолжает бродить взводень, который и раскачивает наше судно гораздо сильнее, чем прежде. Ветер стих; едем на веслах. Паруса болтаются то в одну сторону, то в другую, ветер как будто хочет установиться снова, но какой – неизвестно. Ждали его долго и не дождались никакого. Взводень мало-помалу укладывается, начинает меньше раскачивать кар-

---

1 Салма – прилив. – *Сост.*

2 Шняк – речное судно с шестью веслами. – *Сост.*

бас, рябит уже некрутыми и невысокими волнами. Волны эти по временам нет-нет, да и шибнут в борт нашего карбаса, перевалят его с одного боку на другой, и вдруг в правый борт как будто начало бросать камнями, крупными камнями; стук затеялся сильный. Гребцы крепче налегли на весла, волны прядали одна через другую в каком-то неопределенном, неестественном беспорядке. Море на значительное пространство вперед зарябило широкой полосой, осталась на нем словно рыбья чешуя, хотя впереди и кругом давно уже улеглась вода гладким зеркалом.

– Сувоем едем, на место такое угодили, где обе воды встретились: полая (прилив) с убылой (отливом). Ингодь так и осилить его не сумеешь, особо на крутых, а то и тонут, – объясняли мне гребцы, когда, наконец, прекратились эти метанья волн в килевые части карбаса. Мы выехали на гладкое море, на котором уже успел на то время улечься недавний сильный взводень.

Монастырь кажется все яснее и яснее: отделилась колокольня от церквей, выделились башни от стены, видно еще что-то многое. Заяцкие острова направо яснеются также замечательно подробно. Мы продолжаем идти греблей. Монастырь всецело забелел между группою деревьев и представлял один из тех видов, которыми можно любоваться и залюбоваться. Вид его был хорош, насколько может быть хороша группа каменных зданий, и особенно в таком месте и после того, когда прежде глаз встречал только голые, бесплодные гранитные острова и повсюдное безлюдье и тишь. В общем, монастырь был очень похож на все другие монастыри русские. Разница была только в том, что стена его пестрела огромными камнями, неотесанными, беспорядочно вбитыми в стену словно нечеловеческими руками и силою. Пестрота эта картинностью и – если так можно выразиться – дикостью своею увлекла меня. Прихвалили монастырскую ограду и гребцы мои.

В половине десятого часа монастырь был верстах в двух, на которые обещали всего полчаса ходу. Ровно в десять часов мы уже идем Соловецкой губой между рядом гранитных корг[1] с несметным множеством деревянных крестов. Теми же

[1] Корга – каменистая отмель, обнажающаяся во время отлива. – *Сост.*

крестами уставлены и все три берега, развернувшиеся по сторонам. В губе стоят лодьи и мелкие суда; могут, говорят, подходить к самой монастырской пристани самые крупные суда – до того глубока губа!

У пристани толпится кучка народу, из нее выделяется фигура монаха в затрапезном платье. Монах оказался гостинщиком. Он ввел нас в номер, который не мог похвалиться ни особенною чистотою, ни особенным простором. Говорят, что привелось бы поселиться с пятью-шестью соседями в этой узенькой, маленькой комнате и что теперь я один здесь потому только, что *богомольцев поотвалило*, как объяснил мне монах-гостинщик, побежавший докладывать о новоприезжем отцу-архимандриту Александру.

Я остался один, и, Бог весть, сколько темных, нерадостных мыслей пришло мне на ту пору в голову. Вот куда, думалось мне, на тот раз, забросила меня капризная, темная судьба вопреки всех предположений и мечтаний. Это, казалось мне, грань крайняя: дальше идти было можно, но уже недалеко...

«Сию минуту (писалось мною в дневнике) ушел от меня какой-то допотопный варвар, инвалидный офицер в пьяном виде, сменивший своего предместника, который, по его словам, завтра должен был сесть на карбас и ехать в Архангельск. Много говорил он мне всякого вздору: говорил, что если он архангельский, а я костромской, то мы земляки, что солдат солдату брат, офицер офицеру тоже. Чудак принял меня за ревизора и никак не хотел верить, что я прислан от Морского министерства, а не от Министерства государственных имуществ и что приехал я не землю межевать... Хорош бы этакой-то гусь явился к настоящему ревизору. И пришла же блажь для первого знакомства с монахами нализаться до сплетения языка и немощи... И вот – темная, дальняя, скучная, бесталанная сторона и безвыходная уездная жизнь: вся из однообразия, грязи, плесени и неизлечимых наростов, получивших каменистое свойство и характер гнилого чирья, переставшего уже ныть и болеть. Сердце мучится сомнением, неведением будущего, и не смеешь смеяться, и больно и стыдно за виноватого, пойманного с поличным».

– Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас! – послышался за дверью чей-то тихий припев, произнесенный тончайшим фальцетом с прибавлением ударов в дверь.

– Аминь! – отвечал я.

Явился молодой, кудрявый, сытый послушник:

– Отец-архимандрит прислали вам свое благословение: сливок, булку, чухонского масла – и просили извинить, что не могут вас видеть сегодня – они уже в постели...

Крепко заснул и я на новом месте, но рано проснулся: монастырские часы монотонно отбивают минуты. Чайки разнокалиберно, разноголосно кричат во всех углах ограды, на нашей гостинице, на берегу, на воде. Некоторые из них летают мимо окон – и длинноносые, и с утиными носами, и серые, и белые – бездна! Криком своим надоедают невыносимо!.. Прямо перед моими глазами хмуро глядит своими выломанными окнами, с выбитыми стеклами, другая гостиница архангельская, такая же деревянная, обшитая тесом, покрашенным желтою же краской. Разница в том, что та гостиница уже необитаема, тес ее по местам ободран, углы поломаны, крыша разбита. Говорят, ее заменят новою, потому что она решительно негодна для обитания и потому что на нее-то преимущественно и устремлены были выстрелы англичан во время последнего бомбардирования. Архимандрит оставил ее в том виде для того, чтобы богомольцы, приходившие в этот год в огромном числе, могли видеть следы недавнего неприятельского погрома [1].

По прибрежью бродят лошади с колокольчиками на шее; ходят инвалидные солдаты; на причалившей лодье шевелится люд православный; из-за ограды белеются монастырские церкви и несется звонкий благовест, отдающийся долгим эхом. Правее архангельской гостиницы зеленеет осиновый лес, левее – березки, и видятся низенькие белые столбики второй ограды. Дальше сверкает неоглядною, бесконечною гладью море. Чайки продолжают кричать по-прежнему невыносимо тоскливо, у пристани белеет парусок – монахи ловят сельдей на сегодняшнюю трапезу. Солнышко весело светит и разливает приятную, увлекающую теплоту.

Я вышел из номера и пошел бродить подле ограды.

Тут, на прибрежье губы, выстроены две часовни: одна Петровская, на память двукратного посещения монастыря Петром Великим, другая Константиновская, на память посещения монастыря Великим князем Константином Николаевичем [2]. Вблизи их стоит гранитный обелиск на память и с подробным описанием бомбардирования монастыря англичанами.

В первый раз был здесь Великий Петр в 1694 году 7 июня. Прибыл он сюда в нарочно устроенной для него в Англии яхте с немногими приближенными особами, с холмогорским архиепископом Афанасием, недавно только спасшийся в Унских рогах от кораблекрушения. Выйдя на берег, государь тогда же приказал водрузить крест деревянный, который и находится теперь в Петровской часовне. Три дня пробыл он здесь: «В сем удаленном от мира пустынном месте младый самодержец России упражнялся в молитве и богомыслии, а потом, по отправлении молебного пения и по одарении настоятеля со всем братством денежною милостынею, того же июня 10-го дня изволил отбыть обратно к городу Архангельскому, с милостивым обещанием всегда покровительствовать святой обители», – говорит архимандрит Досифей в своем описании Соловецкого монастыря [3]. Второе посещение монастыря Петром I, по свидетельству соловецкого летописца, последовало в 1702 году августа 20 дня. «Он прибыл, – говорит летописец, – на 13 кораблях и стал на якорях близ Заяцкого Острова, и была пальба из пушек, а прежде себя Его Царское Величество изволил прислать наперед, чтобы Великого Государя пришествие архимандрит с братиею ожидал в монастыре, а в судах встречать не ездил. И Великий Государь с корабля с ближними своими людьми, не со многими изволил прибыть в боте в монастырь за полчаса до вечера и, вышед Его Царское Величество на берег, помолился против монастыря и принял от архимандрита благословение; келарь же не со многою братиею подошли с подносом с образом, хлебом и рыбою, и Великий Государь благодарил и изволил сказать: *“будем у вас”*, а прочая братия все стояли по чину, вышед мало из святых ворот. Благочестивый же Государь

не подошел ко вратам, изволил идти кругом ограды монастырския на правую сторону и, обшедши, вшел святыми воротами в монастырь и изволил идти в соборную церковь – благовесту и звону не было – и в соборной церкви помолился и изволил идти в церковь к преподобным чудотворцам и тамо у гробов преподобным прикладывался, потом изволил идти в ризницу, в оружейную, в трапезу и говорил архимандриту, что "завтра кушать буду со всеми своими пришедшими начальными людьми в трапезе". Литургию слушал у преподобных чудотворцев, еже есть во вторник, потом пожаловал он, Великий Государь, к архимандриту в келию и благоволил в тот вечер, еже есть августа в десятый день, в понедельник, у архимандрита кушать. И откушавши, Великий Государь изволил отъехать, часу в шестом ночи, на корабль, а вышеписанные бояре и ближние люди ночевали в гостиной келии. Августа 11-го дня благоволил Великий Государь прийти слушать литургию без благовесту и звону. После соборныя службы братия отъели в трапезе, а он, Великий Государь, изволил войти в монастырь без встречи и с благородным царевичем и Великим князем Алексеем Петровичем, и весь его царский синклит; служил иеромонах с иеродиаконом; пели Великого Государя певчие по скору, по литургии слушал молебен, отпущал один священник со диаконом и благоволил на молебен дачу пожаловать и, отслушав молебен ради благородного царевича, опять изволил ходить в ризницу, и в оружейную, и в прочия службы, и благоволил Великий Государь в трапезе кушать, и благородный царевич, и при нем ближние люди и начальные, а кушанье приспевало все монастырское и питие, а потчевал архимандрит, келарь и казначей и от братии первые. Он, Великий Государь, и благородный царевич сидели купно с бояры и с ближними людьми и, откушав, благоволил по монастырю ходить, по тюрьмам, и благоволил быть у архимандрита в келье до отдачи часов и отбыл Его Царское Величество и с благородным царевичем на корабль ночевать». 12 августа Петр Великий был в монастыре уже без царевича, осматривал с ближними Вараку (гору) и поздно уехал на корабль. 13-го с корабля не съезжал. 14 августа он опять приехал в монастырь,

слушал всенощную и сам стоял с певчими на правом клиросе и пел басом. После рассматривал он грамоты, жалованные монастырю; архимандриту Фирсу повелел носить мантию со скрижалями, посох с яблоками и совершать все по чину Чудова монастыря. За литургией архимандрит служил уже так, как указал Государь. Там же Петр снова стоял и пел на клиросе; «и по святой литургии (прибавляет летописец) изволил идти в гостиную келью, там кушал с благоверным царевичем. Приспешники были дворцовые. Откушав, изволил быть в монастыре и посетить старца Лаврентия Александровца: понеже он из кельи не выходил никуда, ниже в церковь, разве причащения ради». 15 августа Государь, на малых судах, отбыл на корабли, а 16-го наутре отправился в поход. Вечером он был уже в селении Нюхче кемского берега, откуда шла недавно сделанная по его повелению деревянная дорога на Повенец. Архимандрит с келарем и некоторыми монахами ездил на корабли благодарить Государя за посещение. Петр Великий «довольно их потчевал» и велел отпустить в монастырь из Архангельска двести пудов пороху. «Архимандрит, – прибавляет летописец, – возвратясь в монастырь, прямо пошел в церковь, пел молебен с благовестом и звоном за здравие Государя и его спутников; от радости был архимандрит на погребе со всею братиею и довольно *трахтовались*, благодаря Господа Бога за таковое благополучие».

Прямо против монастырских ворот находилась третья часовня, называемая *Просфоро-Чудовою.*

– На этом месте, – объясняли мне монахи, – новгородские купцы обронили просфору, которую дал им праведный отец наш Зосима. Пробегала мимо собака, хотела есть, но огонь, исшедши из просфоры, попалил ее.

В версте от монастыря четвертая часовня, *Таборская*, построена на том месте, где погребены умершие и убитые из московского войска, осаждавшего монастырь с 1667 года по 1677 год [1].

1 Даты, указываемые С. В. Максимовым, отличаются от данных, приводимых впоследствии историками: осада монастыря длилась с июня 1662 по январь 1676 года. – *Сост.*

Поводом к восстанию соловецких старцев, как известно, послужило исправление патриархом Никоном церковных книг. В 1656 году вновь исправленные книги присланы были в монастырь Соловецкий. Старцы, зная уже о московских бунтах и распрях, а равно и о том, что сам исправитель (некогда монах соловецкий) находится под царским гневом, присланных из Москвы книг не смотрели, а, запечатав их в сундуки, поставили в оружейной палате. Церковные службы отправлялись по старым книгам. В 1661 году из Москвы прислано было множество священников для обращения старцев к раскаянию. Московское правительство думало делать благо, но сделало ошибку. Все грозило близкою опасностью и восстанием, дела монастырские принимали воинственное настроение. К старцам присоединились беглые донские казаки из шайки Стеньки Разина. Двое из них, Кожевников и Сарафанов, назначены были, на случай опасности, начальниками. На Никона сочинялись разные наветы; возрастала всеобщая ненависть. Рассказывали за верное, что когда Никон, бывши еще иноком, однажды читал Евангелие во время литургии в Анзерском монастырском ските, то змей пестрый обвился около шеи его и лежал по плечам. Видел это своими очами святой старец Елеазарий. Старцы перестали повиноваться архимандриту Варфоломею и в конце седьмого года, по присылке книг из Москвы, рассмотрели их и написали, в опровержение *новин*, большую челобитную к царю Алексею Михайловичу. Келарь Савватий Абрютин (из московских дворян) с казначеем Геронтием сочинили эту челобитную; старец Кирилл, с двумя послушниками, вручил ее царю на Москве. В сентябре 1666 года Алексей Михайлович потребовал к себе архимандрита и еще другого, жившего там на покое архимандрита Никанора, бывшего царского духовника. Из Москвы с ними отпущен был новопоставленный архимандрит соловецкий Иосиф – затем, чтобы кротостию увещать непокорных. Соловецкие старцы не впустили архимандритов, кроме Никанора, который присоединился потом к расколу. Вместо первых двух, в 1667 году явились новые увещатели, но старцев и эти не убедили. В следующем году пришла царская грамота, повелевавшая старцам «от противности не-

доумения и от непослушания отстать» и быть у архимандрита в послушании. Но соловецкие монахи и этой грамоты не приняли. Явился в монастырь стольник Хитрово с обращенным к Православию келарем Савватием Абрютиным; монастырские и тогда не послушались. Сведав о том, что из Москвы идет в Суму с ратными людьми стряпчий Волохов, к которому должна была еще присоединиться на Двине стрелецкая сотня, старцы собрали собор. Советом этим положено было отослать на поморский берег всех немощных и малодушных, а всем остальным (1670 человек) обороняться до последней капли крови. Монастырь запер ворота 7 марта 1669 года и заявил вооруженное сопротивление. К этому представлялась полная надежда, потому особенно, что монастырь издавна делал огромные запасы съестной провизии и была возможность иметь сношения с ближними монастырскими вотчинами. В монастыре, сверх того, находилось, кроме мелкого ружья, 24 медные пушки, 22 пушки железные, 12 пищалей и, сверх того, свыше 30 000 рублей серебром и медью. Стена была неприступна, твердыня ее неодолима. Все предвещало успех и надежду до такой степени сильную, что и вторая царская грамота была отвергнута. Мирное предложение Волохова сдаться без боя было осмеяно; боевые нападения не имели успеха, и не могли иметь его потому особенно, что Волохов три летних месяца стоял или, лучше, смотрел на монастырские стены, а всю зиму жил под монастырем в бездействии на Заяцком острове. У него было 725 стрельцов против затворившихся в обители 500 человек монахов и бельцев[1]. Только в 1670 году удалось ему захватить главного начальника осажденных, чернеца-будильника Азария, с 37 человеками, выехавших из гавани в море ловить рыбу. В том же году 30 человек вышли из монастыря добровольно, но дело нисколько не подвинулось вперед.

Стряпчий Волохов вызван в Москву. Его место занял голова московских стрельцов Клим Иевлев, явившийся сюда с тысячью человек свежего войска. Этот повел дела если не успешнее, то умнее Волохова: он перевел свои войска на самый остров, ото-

[1] Белец – послушник, живущий в монастыре, но не принявший пострига в монахи. – *Сост.*

гнал весь рабочий скот, захватил все рыболовные снасти, сжег все строения, находившиеся вне монастырских стен, прекратил всяческие сношения монастыря с его вотчинами, особенно с селом Керетью. В 1674 году царь отозвал и его в Москву за притеснения и насилия, которыми он отягощал монастырских крестьян; к тому же, как пишут, его постигла цинга. От нее же, как равно от пушечной и мушкетной стрельбы, в самом монастыре погибло 33 человека. Место Иевлева заступил стольник и воевода Иван Мещеринов. Этот, подступив под монастырь, окопался шанцами, построил 13 городков (батарей) и начал делать подкопы. Осажденные принуждены были производить частые вылазки и всегда успешно: подкопы уничтожались при самом начале. Мещеринов делал приступ, но приступ (23 декабря 1676 г.) не был счастлив. Воевода решился блокировать монастырь во всю зиму, как вдруг представился легкий, неожиданный случай сделать дело скорее и легче. К воеводе представлен был перебежчик монах Феоктист, объявивший, что под одною из башен (Белою) находится подземный проход, ведущий из монастыря к кладбищенской церкви, что этот проход закрыт ветхою калиткою и что перед утреннею зарею ночная стража сменяется и идет по кельям, а в башнях для караула остается только по одному человеку. Ненастная, бурная погода, случившаяся на 22 января, указала на время приступа. Майор Келен, с отрядом и проводником Феоктистом, прошел в отверстие, указанное перебежчиком, отворил святые ворота и впустил через них воеводу с остальным войском. Осажденным, застигнутым врасплох, уже не было никакого спасения и не дано никакой пощады – по свидетельству Семена Денисова [4], который (в своем Выгорецком скиту) написал «Историю о запоре и о взятии Соловецкого монастыря»[1]. Он говорит, между прочим, следующее: «Мужи же

[1] В Архангельском Поморье, можно сказать, нет ни одного селения, где бы нельзя было встретить рукописных списков этого замечательного сочинения, известного более под заглавием «История о отцех и страдальцах соловецких». Еще большим уважением и известностью пользуется «Соловецкая челобитная», сделавшаяся основным догматическим сочинением, опорою во всех спорах староверов и вызвавшая со стороны православных целые сочинения в ее опровержение (*Примеч. С. В. Максимова*).

мужественнии, из них Стефан и Антоний, с прочими тридесяти, изшедши ко вратам на сретение и мужественно за отеческие законы во вратех святых бравшеся, вси смертную чашу испиша, от воинов посечени быша. Отцы Киновии[1] и прочии слуги и трудницы, услышавше, паче же узревше нечаянную, новосодеившуюся плачевную вещь, разбегошася во своя келии и затворишася. Еже услыша воевода не сме долго во обитель внити и посылаша начальники воинов молити и увещевати иноки, да ничтоже бояшеся, изыдут из келий, никоего же им озлобления сотворити обещайся и клятвою крепкою свое завещание печатствова. Отцы же, веру емше, изыдоша на сретение с честными кресты и со святыми иконами. Сей же, забыв обещание, преступи и клятву, повеле воинам иконы и кресты отъяти, иноки же и бельцы за караул по келиям развести».

Далее Семен Денисов пишет, что воевода, возвратившись в стан свой, приказал привести к себе сотника Самуила и бить его перед собственными глазами (Самуил ударов *пястицами* не выдержал и тотчас же умер). Потом приказал позвать архимандрита Никанора.

Этот привезен был на небольших саночках по той причине, что был уже стар и в то же время сильно болел ногами. Воевода говорил ему:

– Рцы ми, Никаноре: чесо ради противился еси государю?

– Самодержавному государю ниже противляхомся, ниже противлятися помышляхом когда, – отвечал Никанор, – зане научихомся от отец к царем чествование паче всего являти. Научихомся от самого Христа воздавати кесареви кесарево и Божия Богови.

– Чесо ради, обещався увещати прочия к покорению, не токмо преступил обещание, но и сам с ними на сопротивление цареви совещался еси? – снова спрашивал Никанора воевода.

– Понеже, – отвечал старец, – Божиих неизменных законов апостольских и отеческих преданий, посреде вселенныя живущим соблюдати не попущают нововнесенные уставы и новинства патриарха Никона: сих ради удалихомся мира, избего-

[1] Киновия – общежительный монастырь. – *Сост.*

хом вселенныя и в морский оток, в стяжание преподобных чудотворцев, вселихомся преподобными их чины и уставы и обычаи тем же благочестием по стопам их руководитися желающе.

– Чесо ради воинства во обитель не пускаете и хотящие внити оружием отбиваете?

– Вас, иже растлити древлецерковные уставы, обругати священных отец труды, сокрушити богоспасительные обычаи пришедших во обитель праведно не пущахом.

На всякий спрос старец давал ответ решительным, твердым голосом. Разгневанный воевода начал его бранить, но старец не потерялся и тут.

– Что величаешися?– говорил он, – и что высишися? Яко не боюся тебе, ибо и самодержца душу в руце своей имею...

При этих словах воевода вскочил с места и бил старца тростью по голове, плечам и по спине, выбил ему зубы, приказал связать по ногам и бросить за оградой в ров. В одной рубашке пролежал Никанор всю ночь, а наутро умер.

По словам Денисова, казнены были потом: старец Макарий, резчик Хрисанф, живописец Федор с учеником его Андреем.

«Тако, – продолжает он далее, – повел прочия из караула привести иноки, числом яко до шестидесяти, и различно испытав и обрете их тверды и непревратны, зельною яростию воскипев, смерти и казни различны уготовав, повесити сия завещав: овыя за выи, овыя за нозе, овыя и множайшия междоребрия острым железом прорезавше и крюком продевше, на нем обесити каждого на своем крюке; иные же от отец зверосердечный мучитель на нозе вервию оцепивши, к конным хвостам привязывати повеле и безмилостивно влачили по отоку, дондеже души испустят».

Выкинутые тела лежали на морском берегу до времени таяния льдов, когда они были погребены на соседней луде, называемой *Женской*. Из оставшихся в живых большая часть разослана была по дальним местам беломорских прибрежьев. Некоторые, более озлобленные, отправлены в дальние города государства на заточение. Иные успели самовольно убежать из монастыря и скрыться. Все те, которые покорились, прощены

и оставлены жить в Соловках. Имена упорных, в числе 33, записаны в раскольничьи синодики и поминаются как страдальцы за веру и мученики. Важно было разъяснить и доказать, что в защиту старого благочестия восстала святейшая в России обитель; в убеждении, что мятеж Соловецкий, одно из крупнейших событий в истории раскола, произвел сам по себе сильное влияние на обольщение простых умов в пользу раскола. Несколько избранных произведены даже в святые. Увлекшийся, но бесспорно даровитый историк Денисов в своей «Истории» сообщил об них краткие жития и обычные велеречивые восхваления их подвигов – обстоятельство существенно важное вообще для истории распространения раскола. Эти бежавшие из монастыря скитальцы (в числе десяти) были собственно пропагандистами, с большим или меньшим успехом укреплявшими в народе веру в старую книгу и старый обычай. Соловецкое сидение с надлежащими последствиями сделало их озлобленными, уверенными в себе и помогло их очень быстрым успехам. Денисов, упомянув о «многострадальных» Епифании, дивном отце Савватии и Игнатии, дьяконе соловецком, указывает проповедников в лице Иосифа Сухого, положившего основу раскола в Суме и Каргопольских пределах, Евфимия Дивного, бросившего первые семена учения в Олонецком уезде, Павла, Серапиона и Логина – в Ковдинской волости и Геннадия Качалова – в Нижнем Новгороде, Тихвине и проч. «И не токмо пустыни (пишет Денисов), и дебри и блата, но и окрест прилежащие грады и веси благочестия светом научивше и просветивше, сторичен плод ко Владыце принесоша». Для пущего успеха дела два фанатика из них (Игнатий и Герман) прибегли к самосожжению.

Весть о покорении монастыря уже не нашла царя Алексея в живых. Мещеринов царем Феодором вытребован был в Москву и здесь судим за расхищение монастырской казны и сокровищ.

Монастырь вновь населялся приходившими и присланными монахами из дальних монастырей, но порядку в нем еще долго не было. «Отсюду, – говорит Семен Денисов далее, – в Киновии умножишася мятежи и безчиния: умножишася по келиям особъядения, варения и пирогощения; умножишася

винопития и пианства и рождающия пианство питий содержание; оставляют яже на пениих молитвословия – исполняют кликов безчиния, яже учащение празднословия, срамословия и лаяний неподобных изношения, яже табаки держания и табакопития и прочие неблаголепные обычаи и деяния».

Показания эти подтверждают и царские грамоты: Феодор Иоаннович (в 1591 г.) воспретил медовый квас; Михаил Феодорович запрещал (в 1621 г.) употребление пьянственного пития и обыкновение жить по кельям особенно, *заговором*, как сказано в грамоте. Алексей Михайлович в 1637 году давал указ о том же, и, уже вследствие прошения игумена Ильи, он же вновь подтвердил указ Михаила Феодоровича о том, чтобы младые, безбрадые трудники в летнее время жили отдельно вне монастыря, а на зимнее время отправляемы были на берег в Сумский острог или Кемь, «или где пригоже, а в монастыре б им зимовать не велели».

Осматривая настоящее состояние монастыря и вникая во все подробности его внутреннего и внешнего устройства, почти на каждом шагу встречаем имя св. митрополита Филиппа, бывшего здесь с 1548 года по 1566 год игуменом. В эти осьмнадцать лет он успел сделать многое, что до сих еще пор имеет всю силу материального своего значения. Поставленный в исключительное положение, любимец грозного царя, щедрого на подарки и милостыню, сам сын богатого отца из старинного боярского рода Колычевых, св. Филипп не стеснял себя в материальных средствах для того, чтобы удовлетворять всем своим стремлениям и помыслам. Он исключительно посвятил деятельность на то, чтобы остров Соловецкий, до того времени сильно запущенный, сделать возможно удобным для обитания: прорыл канавы, вычистил сенокосные луга и увеличил их в числе, провел через леса, горы и болота дороги, устроил для больной братии больницу, учредил по возможности лучшую и здоровую пищу; внутри монастыря, подле сушила, устроил каменную водяную мельницу и для нее провел воду из 52 дальних озер главного Соловецкого острова, в братской и общей кухне устроил колодезь, в который проведена из Свято-

го озера вода через подземную трубу под крепостною стеною. Помпа колодезя этого зимою подогревается нарочно устроенною печью. Другая печь приготовляет теперь в один раз до 200 хлебов. При многолюдстве богомольцев в печь эту ставят две квашни в день, хлеб день отлеживается, на другой день поедается весь. Остатки едят рабочие, остатки же этих остатков превращаются в сухари. Прежде было обыкновение давать каждому богомольцу по широкому ломтю на дорогу, теперь это, говорят, вывелось из употребления. В квасной запасается 50 бочек по 200 ведер каждая.

Сверх всего этого, св. Филипп умножил домашний рогатый скот и на островах Муксалмах выстроил для него особый коровий двор. Он же развел на острове лапландских оленей, которые живут там и до настоящего времени; выстроил просторные соборные церкви и огромную трапезу, вмещающую сверх тысячи человек гостей и братии. Близ монастыря сделал насыпи и разные машины к облегчению трудов работников, построил кирпичные заводы, заменил старинные чугунные плиты – *клепала, била* – колоколами, правителям поморских волостей, тиунам[1], слугам и доводчикам[2] назначил жалованье, и пр. и пр.

Монастырь и в настоящее время находится в таком состоянии, что не нуждается во многом; только пшеница, вино, рожь и некоторое количество соли для монастыря покупное, а все почти остальное он имеет свое. При легком даже взгляде монастырь поражает необъятным богатством. Не заглядывая в сундуки его, которые, говорят, ломятся от избытка серебра, золота, жемчугов и других драгоценностей, легко видишь, что сверх годичного расхода на братию у него остается еще огромный залишек, который пускается в рост на проценты. При мне высыпали из кружек богомольческих подаяний, скопившихся в полтора почти месяца, до 25 000 рублей ассигнациями, но что нынешний год, говорили, один из *неурожайных*, затем, что первый мирный[3]; в *урожайные* годы вынимают до 95 000. Эту

1 Тиун – приказчик, управляющий. – *Сост.*

2 Доводчик – доносчик. – *Сост.*

3 Первый мирный – первый год после окончания Крымской войны. – *Сост.*

цифру монахи считают среднею величиною. Сверх всего того, каждый богомолец покупает просфору, платит за чернила, которыми пишутся имена родных на исподке просфоры, платит за писанье, если только он сам не умеет грамоте. Годовые богомольцы платят деньги. Лубочные виды монастыря стоят 25 копеек вместо 5 копеек назначенных; маленький кипарисный образ стоит 75 копеек; за стихи, описывающие бомбардирование англичан убийственными виршами и переписанные довольно четко на листе, просили с меня 1 рубль 50 копеек. Товары в лавочке для богомольцев, со скудным количеством предметов, дороги неприступно: палочка плохого сургуча стоит 20 копеек (в монастыре почтовое отделение). Спутник мой на Анзеры (в скит) желал записать в синодик на поминовенье своих родных. Монах, сидевший с пером, объявил, что они берут 30 копеек за годичное поминовение и 1 рубль 50 копеек – на вечные времена. Спутник мой решился на первое; писал долго и много; при расчете должен заплатить 6 рублей; оказалось, что 30 копеек берется с каждого вписанного имени, в чем монах, однако, не предупредил заказчика, бесповоротно испачкав шнуровую книгу с ясным указанием имен.

– Хорошо еще, что я призабыл многих, а то нахватал бы сотню, жутко бы тогда пришлось! – простодушно заметил мой спутник.

Торговля производится всюду, чуть ли не во всех монастырских углах: на паперти Анзерского скита продают лубочный вид этого скита, на Анзерской горе Голгофе (в скиту же) продают вид Голгофского скита, и везде кое-какие книги, и везде стихи монаха. Можно купить сапоги из нерпичьей кожи, можно купить и широкий монашеский пояс из той же кожи, довольно хорошо выделанной в самом монастыре. В самом же монастыре пишутся и иконы, шьется платье не только на монахов, но и на штатных служителей, обязанных черными и более трудными работами. Бóльшая половина рабочих живет по обету. Обеты дают они при случае опасностей, которыми так богато негостеприимное Белое море. Тюлений промысел, называемый *выволочным*, соблазнительный по богатству добы-

чи, опасный по отправлению, губит много людей. Зверя бьют на дальних льдинах; льдины эти часто отрываются ветрами и *выволакиваются* в море вместе с промышленниками. Счастливые из них прибиваются к острову Сосновцу или к Терскому берегу. Они-то и дают, в благодарность за спасение, обет бесплатно работать на монастырь три-пять лет. Бóльшая часть уносится в океан на неизбежную гибель.

В монастыре вылавливается морской зверь, вытапливается его сало, выделывается его шкура. Есть невода для белуг[1], есть сети для нерпы и бельков. В монастырскую губу приходит в несметном числе лучший сорт беломорских сельдей, небольших, нежных мясом, жирных. Только крайне плохой засол, какая-то запущенность этого дела мешают пускать их в продажу. Выловленные сельди летом уходят на братскую уху, выловленные осенью частию потребляются, частию идут впрок на зиму. Полотно для нижнего монашеского белья не покупное: оно сносится богомольными женщинами с разных концов огромной России; они же приносят и нитки. Коровы для молока, творогу и масла в монастыре свои; бараны, живущие на Заяцком острову, дают шерсть для зимних монашеских тулупов и мясо для трапезы штатных монастырских служителей в скоромные дни. Лошадей монастырь имеет также своих. Между монахами и штатными служителями есть представители всякого рода мастерств: серебряники, слесари, медники, оловянишники, портные, сапожники, резчики. Все другие мастерства, не требующие особенных познаний, разделены на послушания; таковы: рыбаки, продавцы, пекаря, мельники, маляры.

В этом отношении монастырь представляет целое отдельное общество, независимое, сильное средствами и притом значительно многолюдное. Ежегодные обильные вклады и правильное хозяйство обещают монастырю впереди несчетные годы.

На третий день моего приезда в монастырь я был разбужен поутру громкими криками, раздавшимися под окнами нашей гостиницы и по коридорам ее.

[1] Белуга – правильно белуха, род тюленя. – *Сост.*

– Что там такое? – спрашиваю я гостинщика.

– Гонят женок-богомолок сельдей чистить. Сейчас приплыл карбас с свежей рыбой. Ужо на уху она пойдет, – объяснял он.

– А уготовляли ли вы себе цельбоносное купание во Святом озере вчера? – спросил он меня потом.

Я отвечал отрицательно.

– Все богомольцы немедля по прибытии совершают сей обряд во душевное спасение и телесное здравие. От многих недугов полезна вода. И сколь она холодна и благотворна, то такой уже, говорят, и не обретается в иных местах, кроме честныя обители сея.

– Что же это, батюшка, обязательно для всех?

– Неволи не полагается, но всяк творит по мере сил. Немотствующие не купаются. У нас по монастырским обычаям все богомольцы, искупавшись во Святом озере, идут ко гробу преподобных отец Зосимы и Савватия и ходатайствуют у них об умилостивлении Творца Всевышнего. Затем всякий полагает отправиться воздать молитву при гробе преподобного Елеазара в скиту, сооруженном им на острову Анзерском, и оттуда идут на гору Голгофу, где поминают молитвою предшедших отцов и братию в панихиде при гробе преподобного отца Иисуса Голгофского. Засим, на третий день, посещаются все часовни, места коих освятили своими стопами угодники Божии: одну в трех верстах от обители, близ Исакиевой горы, где первоначально поселились преподобные Зосима и Герман, и все семь пустынь.

При последних словах его раздался звон в малый колокол.

– Это что такое?

– Кончилась литургия, к трапезе звонят, пожалуйте! В сей день полагаются скоромные кушанья.

Я отправился. Огромная трапеза была полна народу; монахи пели. Между богомольцами не видать было женщин: все они, по монастырскому обычаю, угощаются в особой зале, так называемой келарской. Раздалось чтение житий святых того дня, производимое с особого амвона чередным монахом.

При перемене кушаньев, при звоне колокольчика, читалась с амвона и прислуживающими послушниками молитва «Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас». Трапезующие должны были отвечать «аминь». Всем возбранялись разговоры, все обязаны были есть из общей чашки; у всех были деревянные ложки с вырезною благословляющею рукою. Мне попалась ложка с надписанием:

На трапезе благословенной
Кушать братии почтенной.

У соседа моего на ложке было написано просто: «Во здравие братии». Вся посуда была оловянная. Кушанье солить или обливать уксусом обязаны были послушники. На этот раз вся трапеза состояла из четырех блюд: холодное – соленые сельди с луком, перцем и уксусом; треска со сметаной и квасом; уха, удивительно вкусная, из сегодня выловленных сельдей; и каша гречневая с коровьим маслом и кислым молоком. В конце трапезы разносились кусочки просфоры, или богородичного хлеба, освященного в конце пением и разрезанного при том же пении и тогда же. Певчие пели потом молитвы и отпуск, и затем все расходились.

Несметное множество чаек усыпало весь двор монастырский: кажется, на это время слетелись они со всего острова и его берегов. Монахи и многие богомольцы бросали им куски хлеба. Чайки до того были безбоязненны, что хватали хлеб этот из рук; многие клевали проходящих за ноги, за полы платья. Крик был невыносимый, и все это, взятое вместе, представляло странную, хотя и своеобразную картину. Некоторые из монахов пошли удить рыбу на озерах, другие – смотреть на море, где в это время разыгрывались знакомые, обыденные сцены: вот чайка учит своего чабара летать, чабар старается делать то же, что и мать: машет крыльями, бежит скоро вперед, но спотыкается, ударяется утиным своим носом в землю, прискакивает, но в воздухе держится недолго: собственная тяжесть не пускает его от земли дальше четверти аршина. За другим чаба-

ром следит мать и смотрит, как он влез в воду и окунывается, хлопая по воде крыльями и обмачивая голову; чабар на воде держится легко. Дальше все прежнее: мальчишки-работники, *безбрадые трудники*, по словам гостинщика, бродят без дела по берегу, одетые в монастырские подрясники с широкими кожаными поясами и в плисовых круглых колпаках на голове. Мальчишки шалят. Взрослые штатные служители важно толкуют с богомольцами; часы выколачивают половину; чайки кричат, и гул их отдается эхом в стенах монастырских. Кто-то запел: «Воскресение Христово видевше...»

Вернувшись в свой номер, я попросил лошадей, чтобы ехать на Анзерский остров. Потребовали три рубля – и мы отправились. Дорога пошла по Соловецкому острову гладким, исправленным полотном. По сторонам ее потянулся лес со всею обычною обстановкою, невычищенный, со множеством неприбранного валежника. Во многих местах лес этот отдавал решительною дичью. Все в нем напоминало леса наших приволжских губерний: те же высокие деревья, словно и не полярные, не архангельские, та же спутанность сортов и видов их: тут и березовая полоса, перепутанная с ивняком, тут и сосняк с кустами густого цепкого волжского можжевельника. Сосняк перепутан с ельником, даже кое-где между ними проглянула лиственница. Между деревьями, по кочкам, иногда мшистым, иногда обтянутым травою, рассыпались кусты ягод вороницы и морошки. Кое-где красовался цветами шиповник; во многих местах зацветала малина и даже краснела уже ягодами. В воздухе разлита была чарующая свежесть, которою дышишь – не надышишься: то вдруг прольется струя целебной смолки, то здоровый запах травы, то вдруг опять пролетит нежная, эфирная струйка, пущенная зажившими цветами шиповника. Луга, выглянувшие между деревьями, усыпаны были цветами и рисовались таким же пестрым ковром, который так обыкновенен везде, кроме Архангельского края. Местность Соловецкого острова – решительный контраст со всеми соседними ей: природа словно огорчилась, истощенная в береговых тундрах и болотах, и, собравши последние

оставшиеся силы, произвела на острову новый, особенный мир, в котором так всем привольно и так все сродни и знакомо дальнему, заезжему человеку. Вот пошла дорога под гору, на мостик, перекинутый через бойкий ручеек; вот побежала она в гору, взрытую по местам колеями; вот канавы, прорытые по сторонам полотна ее, и опять та же лесная чаща и между нею болото такое же ржавое, такое же зыбкое, как везде и всюду в России, богатой и горами, и болотами, и роскошными лугами. Прекратился лес, открылась поляна, на поляне посеяна рожь. Рожь уже наливается, налив идет к концу; васильки в полной силе. Вправо от дороги, между редко расставленными деревьями, через поляну, засыпанную хвоей, выглянуло озеро большое, рыбное, на этот раз светлое, зеркальное. Лесная чаща продолжает по-прежнему окружать нас со всех сторон и дышит своим здоровым, целебным дыханием. В ней запела даже где-то птичка, другая, третья... Весело на душе, летят все черные мысли прочь, забываешь обо всем прежнем и живешь только настоящим. Пусть бы дальше и больше тянулась эта дорога с увлекательными видами и свежестью; пусть никакое тревожное воспоминание не беспокоит теперь воображения. А воспоминаний этих накопилось так много, ими так сильно утомлена и пресыщена душа, что прежний путь по прибрежьям кажется как будто сном, какой-то сказкой, выслушанной еще в детстве и теперь с трудом припоминаемой.

Ехали мы лесом часа два. За лесом началось поле, на конце которого стоит избушка, и в ней живут два монаха-перевозчика. У избушки этой надо было оставить лошадей и садиться в карбас, на котором предстоял путь через салму (пролив) в 4 версты 300 сажен. Ветру никакого не заводилось: привелось ехать на гребле, между тем как быстрина течения здесь поразительна. К тому же на то время *вода* на том берегу *распалась*, как выразился наш перевозчик, то есть пошла на прибыль, начался прилив и обещал нам навстречу сувой, но сувой оказался несильным, и мы хотя и медленно, но прошли его при помощи только двух весел. По пути нам морем играла белуга у самого карбаса и так близко, что можно было рас-

смотреть, как опрокидывала она свое огромное сильное тело в воду, выгибая над водой спину и выкидывая на шее фонтаном воду. Провожающие нас монахи говорят, что она удивительно быстро ходит, и если уж одной удалось прорвать невод, так все другие уйдут за ней мгновенно.

– Молоко-то у ней тоже белое! – заметил монах.

– А где же его видели? – спросил мой спутник.

– У *пропавшей* (околевшей и выброшенной на берег) видели.

Через полтора часа езды мы были уже на берегу Анзерского острова, подле часовни, на месте которой, говорят, основатель скита Елеазарий работал в избушке деревянную посуду и потом продавал ее приходившим на Мурман поморам. Приготовленную посуду он, по преданию, выставлял на пристани, а сам удалялся в леса от людей. Приплывавшие поморы брали посуду, а в отплату оставляли хлеб и другие съестные припасы, по силе возможности.

От часовни этой мы шли на две с половиной версты пешком до Анзерского скита, раскинутого в ложбине с каменными кельями (в них живет 14 монахов) и таковою же небольшою церковью. Вблизи скита этого ловятся лучшие соловецкие сельди и семга и производятся по осеням промыслы тюленей и морских зайцев.

На острову Анзерском жил несколько лет Никон.

Пустынножительство в этом скиту существует на том же положении, как и в монастыре Соловецком.

В Анзерском скиту нас посадили опять в линейку, чтобы везти на Голгофу, в Иисусо-Голгофский скит, до которого считают $6^1/_2$ верст. На второй версте началась эта высокая, словно сахарная голова, гора Голгофа, чрезвычайно крутая, вулканического вида. Дорога побежала винтом между высокими деревьями, в виду озер, разлившихся у подошвы горы. Словно поставленная на облаках, белелась над нашими головами скитская церковь далеко-далеко наверху. Здесь первоначально жил Елеазар, а после него иеросхимонах Иисус, водрузивший здесь крест и положивший таким образом первое

основание скита в 1712 году. По завещанию его, в скиту воспрещено употребление рыбы и молочной пищи, кроме субботы и воскресенья, и установлено неусыпное чтение Псалтыря. Братии здесь жило в то время 8 человек.

Вид с горы и скитской колокольни поразителен: море протянулось во всей своей пустынности и ушло в безграничную даль океана. Неоглядная даль эта сливается в ближайшей стороне с бойкою, богатою лесною и луговою растительностью острова, с другой, дальней, ограничивается группою островов Муксалмовских. На них пасется монастырский скот. Между Большими и Малыми Муксалмами разливалась салма с необыкновенною быстротою течения, усиленною еще сверх того присутствием порогов. Пороги эти носят название Железных Ворот, едва одолимых гребным карбасом в сухую воду и едва доступных, по быстроте течения, при приливе или полой воде – по-туземному. В самом узком месте этих ворот, с одного берега на другой, перекинут мост для перехода скота и оленей. За Муксалмами выясняется группа островов Заяцких с белою церковью, и вот правее их и ближе весь зеленый и огромный Соловецкий. Среди зелени его лесов светлеют зеркальным блеском то несомненные озера, то врезавшиеся в берег морские губы, которые так легко принять за озера. Между последними отличаются два: одно Исаковское, другое Секирное. Первое выделяется из всех тем, что выстроенная на берегу его пустынь означает место, на котором впервые поселился преподобный Зосима. Второе отличается от прочих не столько пустынью, сколько высящейся над ним горою, которая почитается самою высокою на всем Соловецком лесистом острове. На верхушке горы некогда (во время шведской войны в конце прошлого века) построена была батарея и поставлен маяк. Теперь белеется на том месте церковь.

Затем повсюду кругом, как венец, сверкает громадная, неоглядная масса воды, сверкающей на полном свете полуденного, летнего солнца. Вот на море этом чернеет корга, едва не заливаемая прибылой водой, та корга, на которой ловят монахи морских зверей по осеням и зимам. С колокольни,

на которой вечно ходит круговой ветер (хотя бы под горою и на море была полная тишь и гладь), глаз бы не оторвал от всего, что рисуется и красуется внизу. Гора Голгофа до того высока, что видна с моря верст за 50, по словам туземцев, и до того своеобразна, что чаек, одолевающих криком внизу, в Анзерском скиту – в здешнем Голгофском не могли прокормить. Не водятся также здесь и голуби, и только вороны да орлы способны прилетать сюда вить гнезда и кормиться от сытной и обильной братской трапезы.

В Голгофском скиту не служат молебнов, служат одни панихиды.

На обратном пути в Анзерском скиту нам предложили варенцу и сливок, которых здесь, по словам монахов, в изобилии.

– Тяжелы были времена для обители в запрошедшие годы, – рассказывал мне анзерский монах. – В скиту нашем стекла дрожали от пальбы неприятельских пушек. Страшный дым стоял все время над монастырем; думали уже мы, что случился пожар и загорелась какая-либо из башен. Дым, стоявший над монастырем, минут через пятнадцать разносило ветром, и сердца наши испытывали велие веселие, радовались надеждою. Пришедшие монахи сказывали на другой день, что гроза миновала и молитвами преподобных отец наших Зосимы, Савватия и Германа Соловецких, Елеазара Анзерского и Иисуса Голгофского обитель спаслась и только испытала некоторые повреждения.

Повреждения эти, сохраненные еще на мой приезд, состояли, как сказано, в неисправимых повреждениях архангельской гостиницы. Одно ядро прошибло крышу и спалило образ у дверей холодного собора, другое пробило в одном месте стену; многие расшибли церковные и келейные окна. Все эти ядра, собранные в значительном числе, показывали богомольцам выставленными по прилавку на соборной паперти. Пушки, из которых стрелял монастырь, отец-архимандрит Александр предполагал позолотить и выставить при входе в святые ворота. Также позолочены были и те ядра, из которых одно упало в соборной церкви и не разорвалось и дру-

гое, засевшее в соборной главе и чуть не брошенное вниз по неосторожности кровельщиком впоследствии, когда поправлялись главы и кровля.

Вот что можно услышать от соловецких монахов с присоединением того, что осталось в воспоминаниях самого отца-архимандрита Александра об недавнем бомбардировании монастыря англичанами.

Эскадра английская, как известно, останавливалась около Заяцких островов. Отсюда отправлены были в монастырь парламентеры с просьбою снабдить их пароходы баранами. Архимандрит отказал. Англичане высадились на один из Заяцких островов, и именно на тот, где паслись в то время бараны. Часть их была поймана, не давался долго один козел, но когда был схвачен, лизал руки у врагов, своих владетелей. За такую ласковость англичане отпустили козла, не взявши его с собою. Монастырю, во всяком случае, угрожала опасность. Англичане, державшиеся той системы, чтобы не стрелять и не начинать ссоры с беззащитными селениями, сожгли в то же время Пушлахту и Кандалакшу только после того, когда видели, что жители выбежали с ружьями и стреляли по ним. Англичане знали, что монастырь – сильная крепость, что в крепости этой есть некоторое количество инвалидной команды, есть пушки и боевые снаряды и есть, сверх всего, огромный запас провизии. К тому же, из монастыря получен был отказ в снабжении мясом. Архимандрит знал, что бомбардирование неизбежно. Незадолго до него командир эскадры поручил заяцкому монаху, отправившемуся в монастырь, передать настоятелю подарок. Подарок этот была штуцерная пуля со всем припасом.

– Попенял я им, что посылают пулю, – рассказывал этот монах. – «Послали бы вы, – я говорю, – отцу-архимандриту ружье английское хорошее». – «А пусть, – говорят, – приедет сам – подарим!» – «А мне подарите ружье?» – спрашивал я. «Тебе, – говорят, – не надо ружья». Подавая мне пульку, командир, переглянувшись с другим, стоявшим рядом, усмехнулся.

Собрал отец-архимандрит совет из монашествующей братии и объявил им о своем намерении ехать для личных

переговоров с неприятелями. Одни отсоветовали, другие утверждали в этом намерении. Отец Александр решился на последнее и, благословивши и распростившись со слезами с братиею, сел в монастырский баркас, управление которым доверил он самому опытному кормщику, а в помощь ему выбрал самых сильных из всего количества штатных монастырских служителей.

При холодном противном ветре, против которого с трудом держался баркас и едва спасала теплая монастырская одежда, ехал отец Александр до неприятельских пароходов. Только на рассвете (отправившись после вечерен) он мог достигнуть до них. Выкинут был парламентерский флаг; с парохода неприятельского спущена была шлюпка для переговоров. Настоятель согласился сесть только в таком случае, когда увидел, что на шлюпку вскочило много.

– Отчего ты не давал нам баранов? – спрашивал переговорщик. Переводчик этот чисто говорил по-русски, сказывал, что воспитывался и жил в Архангельске, где и привык так бойко говорить по-русски; сказывался простым солдатом, хотя, по словам отца-архимандрита, и имел на фуражке кокарду.

– Оттого не даем ничего, что вы враги наши! – отвечал архимандрит.

– Мы бы тебе заплатили деньги.

– Денег мне ваших не надо, потому что я монах и не нуждаюсь в деньгах. Я всем обеспечен от обители.

– Мы тебя возьмем в плен и увезем с собой.

– В плен вы меня взять не смеете, потому что я под парламентерским флагом приехал к вам, да и что вам во мне, и зачем вы меня так далеко повезете?..

– Дал бы ты нам баранов – мы бы вас не трогали.

– Дать я вам всего этого не могу, да и не позволит братия.

– А если сам захочешь?

– Сам не хочу и не дам и братии не позволю, потому что мы хотя и монахи, но принадлежим своему отечеству, любим его и молимся за своего государя.

– Ну так мы будем стрелять...

– А мы будем молиться…

– Стрелять мы будем завтра.

– Стало быть, так я и знать буду и так же точно перескажу братии. Поеду и сам приготовлюсь по обрядам нашей церкви к смерти.

Оставив англичан с положительным отказом, отец-архимандрит собрал всю братию и приказал ей исповедью и причащением Святых Тайн приготовиться к завтрашнему дню. На другой день, в самый день бомбардирования, причастился и сам и, не дожидаясь начала пальбы, начал литию[1] с тем, чтобы при пении ее обойти вокруг монастырских стен. Лишь только потянулось шествие по стенам и не совершило еще половины крестного хода, раздался оглушительный гром от пальбы, завизжали пули, некоторые из них носились над головами богомольцев, незначительная часть которых успела пробраться на то время в монастырь. И вдруг – в одно мгновение (которое, по словам очевидцев, неизгладимо останется в их памяти) – раздался сзади шествия страшный крик, и почти все задние ряды повалились ничком на землю. Оказалось, что ядро прошибло стену и пролетело над головами богомольцев, не сделав им вреда. В то же время другое ядро ударило в соборную главу и влетело в церковь, другое пробило кровлю и попалило образ. Гул и пальба не прекращались долго, даже и в то время, когда крестный ход вернулся в собор.

Наконец, все стихло: архимандрит совершал благодарственное молебное пение. Английская эскадра отправилась в Кемь.

При этом присовокупляют, что во время пальбы на монастырском дворе не видали убитою ни одной чайки.

Хотя теперь уже, может быть, уничтожен и последний след повреждений, произведенных в монастыре неприятелем, но, думаю, воспоминания и рассказы о нем слышатся богомольцами и до сих еще пор так же обильно, как слышал и я. Тогда для монахов было это свежо, но мне изменяет память; все, что осталось в ней, я передаю, как могу и помню.

---

[1] Лития – особое богослужение, совершаемое в т. ч. и вне монастыря. – *Сост.*

15 июля 1856 года был последний день моего пребывания в монастыре. В последний раз видел я приветливого, гостеприимного, словоохотливого отца-архимандрита и простился с ним. В последний раз видел я двух схимников с пожелтевшими, словно воск, лицами, в ризах, обшитых спереди и сзади крестами, с седыми, как серебро, волосами. Схимники выходили на трапезу.

Карбас мой был уже готов, – и мы отправились. Понесло нас сначала легоньким поветерьем: летний ветер надул паруса и веял приятной, клонящей ко сну прохладой. Монастырь еще виделся долго нам назади, серея своими стенами из неотесанных камней, плотно лежащих один на другом. Но вот и стену затянуло туманом.

– На Сеннухе ма́ра! – кричит кормщик.

– Что такое? – спросил я.

– Сеннуха – острова, а маара – гляди вон!

Я видел впереди спустившийся туман, который казался дальним, едва приметным берегом. Ехать было невыносимо скучно, к тому же ветер пал, и гребцы сели на весла. Затем пошли обычные, давно наскучившие подробности.

– Батюшко, припади! – говорил один гребец, обращаясь к ветру.

– Припадет – побежим! – подхватил его сосед и товарищ.

– Товарищи, други, не посрамимся! – просил третий, крепко налегая на свое весло.

– Сделайте милость, товарищи, понатужьтесь, там станет легче, – упрашивал кормщик...

Гребцы послушно налегали на весла, хотя и хорошо знали, что *там* не могло быть легче.

Портной наш сидел каким-то сумрачным, как будто обидел кто.

– Что ты такой невеселый? – заметил я ему.

– Из монастыря едучи всегда так надо.

– Разве работы не было?

– Ни одной жилетки не удалось сшить.

– Что же ты там делал?

– А у монахов про житие все слушал... все три дни жития слушал.

Опять по сторонам старые виды, и опять на карбасе густые, наполовину понятные и неинтересные разговоры. Ветер то припадет, то опять стихнет. Дальний остров сначала выплывает словно облако, потом меледится – чуть выясняется в тумане и, наконец, по мере приближения к нему, совсем обозначается ясно и живо с грудами камней, по которым прошли желобки, словно приступки. В тех желобках, где более тени и тень эта долговременна, сверкают лужи дождевой воды сомнительных качеств, черной, как пиво, и все-таки дорогой, в крайних случаях, при летней жаре для заезжих. По лудам, и самым счастливым из них, цепляется кое-какая растительность, и зеленеет у самой воды какая-то скользкая, грязная слизь.

Влево от нас выплывало из-за островов судно. На мачте этого судна засверкала от лучей солнца золотая звездочка, вероятно, крест, без которого не бывает ни одной монастырской лодьи, назначенной перевозить богомольцев из Архангельска, из Сумы и иногда из Кеми. Все мы рады этому судну, и всех занимает оно, и рисуются в моем утомленном воображении следующие картины.

Видится мне дряблая, разбитая ногами и голосом старушонка в крашенинном сарафане, с остроносой сорокой[1] на голове, баба плаксивая, богомольная; вывела она сыновей, дождалась и баловливых внуков. В товариществе попова Гаранюшки баженника-дурачка да Матвеюшки, что позапрошлый год медведь ломал да не изломал совсем, сама с клюкой, Христовым именем пробирается в неведомый ей край.

Дребезжит ее разбитый голос под волоковыми окнами[2] спопутных городов, сел и деревушек. В деревушках видят у старухи котомку за плечами, старенькие лаптишки под котомкой – в избу зовут:

– Богомолушка, кормилица?

[1] Сорока – женский головной убор. – *Сост.*

[2] Волоковое окно – окно для вытяжки дыма в избах, топившихся «почерному». – *Сост.*

– Нешто, родимые.

– Куда Бог несет?

– К Соловецким, родители, за грехи свои Богу помолиться.

– Далеко, кормилушка, далеко. Возьми-ко, сердобольная, гривенку: поставь и за нас свечку там – не погнушайся, богоданная! А вот тебе пятак за проход, пирог на дорогу. Да присядь-ко, касатушка, пообедай.

Бредет эта старушоночка и цокает: рассказывает про свою родину за густыми сосновыми лесами ветлужскими и кедровыми лесами вологодскими. Молит она милостынки и у вагана-шенкурца, и у холмогора-заугольника[1]. Приходит, наконец, и в длинный Архангельск, но уже не с пустыми руками, хотя и с разбитыми, сильно отяжелевшими ногами. Поскупится она заплатить, из бережливости и скопидомства, лишний грош, ее заставят щипать паклю или прясть канатное прядево – и без денег свезут...

Вот она на палубе огромного судна – монастырской лодьи, плоскодонной, безобразной, с старой оснасткой и покроем, посреди густой толпы богомольного люда. Едет тут и бородатый раздобревший купец, которому удалось хватить горячую копейку на выгодном казенном подряде. Едет тут и оставленный за штатом недальний чиновник из духовного звания, распевающий в досужее время церковные стихиры и не пропустивший на своем веку ни одной заутрени и обедни в воскресный день. Едет тут и сухой монах дальнего монастыря из-под Киева, отправленный со сборною памятью и игуменским благословением... Все тут вместе: и светская архангельская дама-вдова с томными глазами, со вкрадчивым разговором и в костюме, имеющем претензию на заметное кокетство, и бойкая щебетунья баба – солдатка из Соломбалы, и длинный семинарист богословского класса, и дальний сельский поп, низкопоклонный, угодливый, приниженный.

Паруса уже налажены, снасти подобраны, остается только вытащить рычагом якорь. Все богомольцы стоят без шапок

[1] Вагана-шенкурца и холмогора-заугольника – традиционные прозвища жителей Шенкурска и Холмогор, городов Архангельской губернии. – *Сост.*

и чего-то ждут с сосредоточенным вниманием и при сдержанном молчании. Раздается сладенький тенорок кормщика:

– Молись, господа! Молись, благословены, – в путь-дорогу пора. Читай, Кондратушко, молитву на путь шествующим!

Вслед за тем раздается звонкий, выровненный развитой до поразительной чистоты голос монастырского служки. Богомольцы творят молитвы на городские церкви и потом на все четыре стороны, из которых на каждой непременно блестит по одному – по два церковных креста.

Судно трогается и бежит, если ветер крепко попутный, и плывет лениво и вяло, плохо лавируя, если поветерье (говоря поморским выражением) кормщику в зубы. Бежит монастырское судно вблизи Летнего берега Белого моря к Ухт-Наволоку и далее открытым морем.

Трудными повенецкими дорогами с Онежского озера идут другие партии богомольцев из ближних к Петербургу губерний. То пробираются они по узким тропинкам через гранитные скалы, выкрытые тундрой с оленьим мохом и лесами с дряблыми деревьями, то плывут они по зеркальным, глубоким озерам в утлых, неудобных лодках или на посад Суму, или на деревню Сороку – людные и богатые селения поморского прибрежья Белого моря. Здесь их также принимают на лодьи или монастырские, или обывательские. В нередких случаях едут богомольцы и в мелких судах, карбасах. Теперь возит их монастырь уже на собственных прекрасных пароходах, и таким облегчением пути все не нахвалятся.

<…>

ИЗ КНИГИ «БРОДЯЧАЯ РУСЬ»

III. Нищая братия

1. Побирушки и погорельцы

Не родом нищие ведутся, а кому Бог даст.
И церковь не строй, а сиротство прикрой да нищету пристрой.

Народные пословицы

I.

На дворе осень. Однако еще не та пора ее, когда неустанные дожди распускают невылазную грязь и холодную, пронизывающую до костей сырость, когда исчезает спокойное настроение духа и серенькая природа кажется еще сумрачнее.

Осень была в начале. Листья деревьев изменили цвет: шершавая осиновая роща из долговязых деревьев окрасилась в светло-желтый, как охра; вишневые приземистые кусты ярко покраснели – листья на них стали как кармин; но дубовый пожелтелый лист еще не перешел в грязный и мрачный бурый цвет. Лиственные леса начали уже навевать грусть и усиливать осеннюю тоску, и только березовые перелески по низинам отливали совсем лимонной окраской умиравшей листвы и приятно для глаз вырезались на темном фоне хвойных лесов, оживляя и скрашивая их мертвенную несменяемую одежду.

Утренники с холодком уже давно начались, и холодная роса усердно выгоняла на солнечную дневную пригреву сочные и маслянистые головки грибов – остаточные признаки растительной силы, несомненно истощенной и значительно ослабевшей. Свежий и сухой холодок днем, задерживавший высыхание всего намоченного росой и дождем, давал чувствовать в теле ту бодрость и силу, которые делают приятным труд и оживляют работы в той мере, в какой умеют ценить это всего больше в деревнях и всего чаще на полях и гумнах.

Я вспоминаю теперь одну такую осень на Клязьме, во Владимирской губернии, когда, потаскавшись пешком в тех местах и натолкавшись между офенями, возвращался я от богомазов навстречу новых впечатлений, которые на тот выход были тоже остаточными.

В самом деле, стояла пора хлопотливой деревенской осени, в самом серьезном ее величии, когда идет строгая поверка и оценка сельских работ и земледельческих знаний. Не богата такими впечатлениями промысловая Владимирская губерния, однако кое-что дает, потому что и на Клязьме крестьяне стараются еще сохранять старинный и заветный характер земледельческого народа.

– Где ни бегают: кто с лучком, кто с иглой, а кто, как и наш брат, с коробочком, – где ни бегают, а к осени домой гоношат, – подсказывает мой товарищ по телеге, красноглаголивый говорун офеня.

– После Покрова опять все на все четыре разойдутся... Так ли я говорю?

Вопрос относился к третьему из нас, сидевшему на облучке и имевшему за эту работу получить от нас, по доставлении на условленное место, «чалковый рупь».

Угрюмо отвечал он в поучительном солидном тоне:

– Мы тоже. По берегам-то Клязьмы в поймах корье дерем.

– Ивовое?

– С черноталу (с ивы). Выждем вот ненастную погоду – и пойдем драть.

– Не от вас ли это колодцы-то копать ходят?

Не дождавшись ответа, мой спутник обратился ко мне:

– Только одним ремеслом и занимаются и на него простираются. Не надо колодцев – и они без дела. Какова промышленность?

– А ты не зубоскаль. Закопаешь, брат, когда что ни посей – ничего не взойдет. У нас вон и на попе кругом поля-то объезжали бабы, да и тут ничего не выдрали.

Разговор продолжался все в таком роде: с насмешливыми, бойкими заметками – с одной стороны, в самом простодушном и откровенном тоне – с другой.

Эта другая сторона любопытна была для меня тем, что разговор ее был резко отличен от обыкновенного и не всегда понятен по множеству новых слов. Наш товарищ успел наговорить их довольно даже за коротеньким обедом, за который сели мы по приезде с ним на место (я их записал тогда и теперь помню).

Он, постучавшись в окно знакомой избы, попросил высокую кичку, высунувшуюся в окно, «припоромить» (приютить). Войдя в избу, тотчас же принялся пить, оправдавшись тем, что он сильно бажает (жаждет), и кружку с квасом назвал «ручкой».

– Покормись, заведай (покушай, отведай)! – говорил он, предлагая мне своего домашнего пирога из-за пазухи, и когда пирог мне не понравился, посоветовал, указывая на деревянный ящик с прорезной высокой спинкой и приподнятой крышечкой:

– Трухни солью-то!

Худенького хозяйского ребенка назвал «непыратым», а себя, после того как приласкал эту девочку, выхвастал «незагнойчивым», что, после хлопотливых допросов и догадок с нашей стороны, оказалось в значении человека «ласкового».

Описывая деревенское хозяйство, он как-то кстати упомянул «баран-де пудок» (робок).

На вопрос мой:

– Знаешь ли ты, что значит слово «робкий»?»

Отвечал:

– Не веду.

Это был один из судогодских лесовиков [1], которые и пастбища до сих пор зовут «пажитями» и вместо посетить

говорят «назрить», вместо толстый – «дебелый», вместо горячий – «ярый» – словом, еще продовольствуются многими старинными оборотами и словами из глубокой древности.

Наслушались мы, наелись и поехали с новым цокуном [2] опять на одной лошадке в телеге дальше.

Но и дальше видим все те же суетливые и торопливые приготовления к годичному испытанию. Куда ни посмотришь – везде хлопотливый спех и видимые следы усиленных и чрезмерных забот и трудов. Ни днем, ни ночью следы эти не исчезают, и если не слышно лихорадочного базарного крика, толкотни и суетни толпящегося народа, зато и в глубокую полночь видно и слышно, что наглазное спокойствие только кажущееся.

На белесоватом безоблачном просвете ночного голубого неба вырезаются обглоданные крылья ветряной мельницы, сменяясь одно другим: совсем обломанное – заплатанным и починенным, и оба то исчезнут во мраке, густо задернувшем землю, то выплывут одно после другого на густую, темную синеву неба. Немазаное колесо так и скрипит, и слышно, как срываются кулаки с зубьев, а песты толчеи так и колотят, словно и они тоже побаиваются и торопятся.

Из того же неодолимого глазом мрака не медлит дать знать о себе шумом и стуком водяная мельница, где вперебой и вперегонку за струями воды, сплескиваемой с колеса в омут, торопливо стучит шестерня. Мигает в маленьком оконце огонек: знать, полусонный мельник зажег его, чтобы смазать вал или заправить мельничную снасть. Пусть быстрее трясется корытцо и спорнее стряхивает готовую горячую муку в подставной сусек: одолели мужики заказами. Всем надобно скоро и всем зараз.

Поворчал он, присел на порог, прислонился к косяку, захотел подремать, а спать нельзя – такова уж эта осень перед Покровом.

И солнышко давно закатилось, и заря прогорела, а в деревнях не до сна: играют огоньки, и спят только малые ребятишки. Долго еще не подниматься на небе солнцу, белеет небо предрассветным блеском еще до зари, а в разных местах спопутного проснувшегося селения уже взлетают на воздух не-

высокие столбы густой пыли. Это веют обмолоченный хлеб и гремят ускоренно цепом на гуменниках торопливые хозяева.

У неосторожных стали вспыхивать овины. Всего один вечер ехали мы, а не одну такую беду видели: первую – прямо, вторую – налево.

Вспыхивала вдали, как порох, свечка; на наших глазах превращалась в пламя и разливала свет от него по темному небу коротким заревом. Упало вскоре зарево, погасла и свечка, предварительно выбросив из себя облачко ярких искр и густого черного дыма, который мы не видали только потому, что мешали вечерняя мгла и даль. Стало быть, сбежались вовремя мужики, растаскивали горевшие бревна, залили водой головешки, затоптали лаптишками затлевшуюся солому, накиданную по гуменнику.

Второе зарево держалось дольше; оно все искрилось и очень скоро встало в ночном мраке и на темном небе огненной полосой несомненного пожара. Так понимают и спутники и в одно слово со вздохом говорят оба:

– Деревня занялась.

– Упаси Бог ветра!

– Клетищи, кажись, горят: словно бы в ихней стороне, али Объедово?

– Видал ты Объедово-то в этой стороне!

– Разве я не знаю, где Объедово-то? Вон оно как будет, Объедово-то твое!

Рукой мой офеня – проходимец своей и чужой земли – указал прямо.

– Ну, так либо Жуковица, либо Шпариха. Шпариха, надо быть, – она самая! – соглашался наш проводник. Но после долгого раздумья он опять отказывался, иногда для очистки совести немного поспорив.

Спор, однако, не выяснял места, деревня не отгадывалась: на ночное время нужна особая сноровка, которой не всякий владеет.

В этом согласились и спорщики:

– Угадай ты ночью-то!

– А не угадаешь.

– Дорога-то тебя как водит? Как она тебя водит? Ты думаешь, все прямо едешь, а она тебя задом поставила да повернула направо совсем. А там ты за поворотом опять влеве очутился. Угадай тут!

– А можно. Дедушка (проходящему старику), где горит?

– Пропастищи горят.

– Совсем, значит, искали не в той стороне; попали пальцем в небо: вот какое дело.

– От овинов надо быть, дедушко?

– От чего больше? От них: от овинов.

Дул ветер в лазейку овина, на яму, где горят сухие дрова, выбивал из них и крутил наверх крупные искры. Одна крупная пролетела сквозь решетины потолка, на которых разостлан сухой хлеб, зажгла солому. В плохо притворенное окно «садила» опять влетел ветер и раздул тлевшее место: занялись и хлеб, и решетины.

Перепуганные мужики не сладили с огнем и ветром: вырвал ветер головешку и вонзил в первую соломенную крышу жилья, да так, что никто того не приметил, – слизнул огненным языком эту избу. А там загорелась и соседняя, и еще третья в другом порядке, да так вся деревня подряд. Кричат на пожаре все что есть мочи. Бегают от избы к избе, словно опоенные, наталкиваются, сшибают с ног ребят и баб, обходящих избы с образом «Неопалимой Купины», который на такие случаи имеется во всякой деревне.

– А все пострелята ребята. Их сторожить оставили да глядеть, а они спать завалились: пригревает теплом-то овинным! – толковал мой спутник, всматриваясь в пожарище.

– Не ребятки тут виноваты, – замечал ямщик, – запа́жины в этом деле беда. На них зерна заваливаются, попадают в зерна искры – искра в сухом зерне лютой зверь. Ты ее затаптываешь, а она тебе лапоть прожигает. Гляди еще, и унесешь его с искрой-то в какое недоброе место: залезает в прошву, не скоро из нее искру-то выколотишь.

– Построить бы мужику овин-то каменный, да железную крышу сделать, да пожарную трубу вдвинуть. Эдакие-то я во

Владимире видал. Вот оно и не было бы беды, – заметил офеня и засмеялся.

– Оставь, парень, шутки-то: завтра, чай, собирать пойдут?

– Что им делать-то осталось?

– До единого человека на сбор выйдут.

Разговор продолжался все на ту же тему, а тем временем взошло солнышко, засиял светленький денек. Осветилась дорога, и на ней большая толпа задымленных, немытых, в рваных армяках погорельцев.

– Какие такие?

– Из Дубков.

– Когда погорели-то?

– Да вот третий день ходим.

– Примите, Христа ради, от нас!

– Спаси тебя Бог на святой твоей милостыньке!

Подали и мы этим людям, этим осенним встречным спутникам, в том убеждении, что уж если они случайно погорели, то у них сгорело все, что было из спасенного и копленого, – дома у них ничего не осталось. Иной без шапки выскочил и второпях не успел захватить армячишка – так и остался. Другой в лаптях на одной ноге, а ребята все в одних рубашонках. Сколько ни было в деревне жителей, все вот они налицо – все вышли на большую дорогу.

– Не осталось ли кого?

– Да дядя Митрий, ветхой человек. Искали его – не нашли.

– Глухой он был и на ногах не твердый: сгорел.

– Еще кого не забыли ли?

– Антон не пошел, у него зять богатый, Федосей, приютил, сам мужик денежный; пошел к кому вздумал. А остальные все здесь в куче, все здесь.

Один время от времени, в подробных и охотливых рассказах о пожаре, схватывается за ухо.

– Что у тебя?

– Сжег ухо-то. Спал я: проснулся, горим. Спасибо еще, что запалило ухо, а то бы и не проснуться. Надо быть, огня в

нутро-то попало и спалило там. Так и закатывает – места не нахожу. Еле-еле успел выскочить.

В самом деле, идет он без армяка и без шапки, лишь подвязался синим платком, выпрошенным в спопутной деревне у встречной бабы.

Это темное пятно, вырезавшееся на светлой веселой картине честного осеннего труда, отодвинулось от нас на дорогу и задний план и исчезло в соседней деревне. Появлялось оно потом еще несколько дней на околицах ближних селений и на проселках унылых заклязьменских мест.

Пятна эти, впрочем, скоро исчезнут. Появление погорельцев в осеннее время явление сколько неизбежное и почти обязательное, столько же и скоропреходящее. Глубоко сознавая нужду, нарождающую подлинную голь, просвечивающую до белого тела, погорельцам охотно помогают все те, которые счастливее работали, давно уже выучились разуметь, что попасть в беду можно от одного сгоревшего овина, от одной желтенькой копеечной свечки, как говорит и ясно доказывает город Москва. В сущности, погорели случайно, несчастие выбрало их на этот год по капризу, но не отказывалось посетить на будущий других очередных.

Погорельцы – нищие временные, а потому не тяготят и не докучают: им бы обогреться да покормиться на время нечаянного случая, – беда избывная. Дать им прийти в себя, приласкать их, чтобы не отчаивались, – и воровать и грабить они не пойдут. Иной хоть и не говорит о подаче милостыни в ссуду с возвращением при первой поправке, да так думает и так сделает. Не в состоянии сделать этого один, может быть, только тот, у которого огонь спалил животину и лопатину [3]. Остаться без лошади, когда негде взять ссуды, потерять овец и корову, когда на базарах приведется потом покупать их на чистые деньги, – вот где для совершенного обнищанья действительные сильные причины. А так как все эти беды сплошь и рядом валятся разом на одну и ту же горемычную голову, то неудивительно, что не бывает таких деревенских пожаров, после которых не оставал-

ся бы хотя один несчастный в совершенном нищенстве, без надежды поправления, с полным правом идти на все четыре стороны. Если у него не хватит находчивости и уменья поступить так, то, пристроившись к родному пепелищу, он не во многом выгадает. По́мочь за угощение вином и едой ему не под силу и не по средствам – та помочь, которая другим людям, подостаточнее и находчивее его, в один день и луга косит, и поля убирает, и избы на пожарищах выстраивает в две-три недели. Для вдов, для солдаток, для сирот и малосильных семей пожар – истинное несчастие.

Из этого несчастного разряда деревенских жильцов выделяется на погорелое место та неимущая братия, которая весь век потом бродит по избам и стучится по подоконьям. Селится она на родном пожарище, на старом месте, в чьей-нибудь бане, которая уцелела от огня и от которой отступился хозяин. Он подарил ее жалкому, бедному человеку, прорубил, глядя на его немощь, пошире окна и переделал банный полок на избяные полати, каменку – на белую печь. Приютившаяся тут бедность с того и жизнь начинает, что ходит по новым строениям и собирает про себя, в замену дров, щепу и стружки.

Если положить по одному такому горемыке на любой пожар и на каждую деревню и если, поверив официальной цифре, свидетельствующей, что на каждый месяц выпадает во всей России тысяча пожаров (а на осенние месяцы в три раза больше), сообразить общее число погорельцев, превращающихся в полных нищих, – можно глубоко призадуматься. Для размышлений и дум здесь простор в обе стороны: и в ту, где скопляется неотразимо и неустанно каждый день совершенно беспомощная нищета, бессильная для себя, бесполезная для других, и в ту сторону, соседнюю с первой и ближнюю к ней, где живет и действует благодеющая сила, которая сдерживает зло нищеты, умеет сокрушать его вовремя и не дает разыграться.

Нищета ходит большими шагами, – да и взаимная помощь, соседское сердоболье за ней поспевают. Погорельцы действуют с открытым лицом и со спокойной совестью; для городов умывают даже лица, одеваются в лучшие платья, заручаются

открытыми форменными свидетельствами – и во всяком случае на сборе, в качестве нищей братии и попрошаек, ходят недолго.

Кто следил за деревенскою осенью на самых местах, тот видел это чудо воочию: погорельцы бродят недолго; раз прошли, другой раз этих в одном месте в нищей братии не увидишь: хожеными путями они не пользуются. На зиму соседское сердоболье их присадит где-нибудь по сватовству и кумовству, а с ранней весны осенние погорельцы уже рубят свои новые избы, после посева яровых и в ожидании озимей. Помогают им все беззаветно, уготовывают милостынькой и себе путь поглаже: авось, того и гляди, и самим не сегодня завтра приведется по этой дорожке прогуляться.

Людская слабость – лень, семейное бессилие да власть Божья, сказывающаяся неурожаем, плодят и множат неимущую братию и в малохлебных местах вырождают невеселые правила. Пропустил два-три дня горячей рабочей поры – значит, наверное потерял если не все, то очень много. Когда своевременно не высохнет хлеб на корню, когда высохший не уберется вовремя с поля, – зерно наполовину утечет (обсыплется), а затем позобает перелетная птица то, что не успеют вколотить в землю и загноить там сильные проливные дожди. Нищий готов.

Удивляться тут собственно нечему: деревенская жизнь в крестьянском тягловом положении – что переход через речку по жердочке: и жердочка тонка, и речка глубока. Сорваться можно каждый день – стоит только чуть-чуть позазеваться, а завязнуть затем в тине (и, конечно, по горло) – неотразимая неизбежность. Вот, между прочим, почему, во всегдашнем страхе подобных опасностей, хлопотлива и суетлива в работах деревенская осень, даже и там, где земля давно отказывается кормить и где не прекращают с ней знакомства и дружбы только по старой памяти, как на этот раз в той местности, куда привел я читателя.

В подобных местностях малохлебной полосы лесных губерний если выпал на несчастную долю земледельцев неурожай, то он сейчас же и скажется прямо: в городах – наплывом нищих, тех самых хозяев, которые все лето питались надеждами, а в начале осени торопливо работали, на что-то рассчиты-

вали; в деревнях – докучливым криком малых ребят и стуканьем палкой в подоконницу стариков и старух. Те и другие, в виду голодовки, по исконному деревенскому обычаю забываются дома и предоставляются самим себе.

А в счастливое урожайное время?

И в такое редкое счастливое время с умного лица русского деревенского человека не сходит невеселая сосредоточенная задумчивость; морщины не сглаживаются; улыбка бывает, но смехом лицо не оживляется, и глаза редко блещут веселостью.

– Зачем умолот считать? К чему себя поверять? Дело известное: не хватает.

– Что Бог даст – все в закромах будет, а нам его, батюшку, поверять не приходится. На Божью власть не пойдешь с жалобой к мировому.

– Грех умолот считать; чего тут считать? И сосчитаешь когда лишний овин, все на то же выйдет: чего тут считать?

И не поверяют себя. Верного ответа на то, каков приполон (прирост), никто сказать не решается и всякий боится; и узнать о том в тех местах от самих хозяев – совсем невозможно. В самом деле, труд учета излишний: даже полный урожай круглый год не прокормит; без прикупки чужого хлеба не обойдешься. А так как хлебная торговля всегда идет на чистые деньги, то и надо промышлять эти ходячие и разменные деньги там, где они водятся.

Во Владимирской губернии, давно истребившей леса, это лучше всего понимают: давно – по пословице – обжегшись на молоке, дуют и на воду. С незапамятной старины в тех местах приобрели промысловый навык и хорошо знают даже про самые отдаленные места, где дают деньги и хорошо кормят.

II.

Недолог осенний день. Скоро набегают сумерки, когда легко смешать встречного прохожего безразлично – с вором и волком. Неохотно везут лошади и то и дело срываются ногами в неожиданные колдобины или скользят поналощенному дождями глиннику и падают. Любя животинку, проводники из кре-

стьянской бедности, занимающиеся извозом по великой нужде и на досуге, осенними вечерами ездить не любят. Нас остановили в первой встречной деревне и высадили в первую случайную избу, лишь только представилась к тому возможность.

Изба, приютившая нас, как и все тысячи прежних, дававших приют и угреву с дорожного холоду и сырости, сразу понравилась и успокоила нас. Большая печь дышала теплом. От нее, с придатком участия наполнявших избу хозяев, было и жарко и душно. Дедушка, лежавший на полатях, метался и поскрипывал полатными брусьями; а с печи, которою завладевают старухи, доносился почти непрерывный стон; даже малые ребятки, свернувшиеся на грязном полу под материнским полушубком, разметались, переплелись ручонками и уткнулись головками самым неудобным способом.

Покормили нас, заезжих людей, чем удалось, однако не дальше неизменного молока и яичницы, которая, за похвальный обычай являться всегда к услугам, называется, между прочим, скородумкой. Надо спать. По-видимому, легкое занятие сидеть в телеге и ехать; но на осеннее время по грязным проселкам в этом – большой труд и великое испытание: устанешь до тоски и истомы. Крестьянская изба, награждающая теплом, особенного ночного спокойствия не дает, но кое-какое получить можно, приноровясь по навыку и приспособясь по опыту.

На печь и на полати не лезешь; там и дышать нечем, да и привычные к ним старики не один раз за ночь слезают оттуда и уходят в сени освежить себя и очнуться. На полу дует, по тяге из дверных щелей и из голбчика над подызбицей [4] – в неплотные окна без двойных рам и в волоковое окно, которое и прорубается, как известно, для этой тяги прямо против печи. Свернулись мы в кутном хозяйском углу, в котором не прорубают окон; свернулись мы тут в верном расчете на посещение тех докучливых хозяев, которые зарождаются во мху в стенах и любят, по обычаю житья на чужой счет, выходить на разбой темною ночью, когда уже в светце и последний уголек на лучине перестал чадить и стрекать. Усталость взяла свое. Клопов мы как будто не слыхали: крепкий, здоровый молодой сон

посетил нас с товарищем в качестве истинного покровителя и услужливого благодетеля.

Проснулись мы, по обыкновению, довольно рано, немного позднее самих хозяев. Проснулись от того холоду, который, по обыкновению, напустила хозяйка, затопившая печь и отворившая дверь в сени настежь. Свежая лучина в светце трещала, и угольки, стрекавшие в поставленную лоханку, шипели, опрокидываясь в воду, и немедленно всплывали на поверхность ее. Дедко сполз с полатей и очень усердно мыл из рукомойника морщинистые и мозолистые руки, много потрудившиеся, а теперь безнадежные. Сквозь полумрак освещения лучиной и насколько позволяла напряженность глаз, можно было высмотреть и другие подробности проснувшейся избы – все, впрочем, как бы заказные для наших деревенских изб и семей без изъятия, однообразные и достаточно невеселые.

Шевелятся на полу проснувшиеся детки в ветхих рубашонках, свалившихся с плеч. Один испуганно-любопытными глазками посматривает в наш угол, как бы дивится новому пятну на однообразной и приглядевшейся картине и в одно и то же время радуется, что пятно это появилось: что оно значит и зачем тут зачернело? Ребятам дают понежиться, побаловаться: никто их не будит и не торопит вставать.

Со вздохами по временам шепчет молитву хозяин, стоя против переднего угла, в котором среди непроглядного мрака затонуло тябло с образами, почернелыми и источенными тараканами, охотливыми до дешевых икон, писанных в Хóлуе красками на яичном белке. Молящаяся фигура хозяина то взмахнет головой, порывисто и круто откинет со лба назад волосы, свалившиеся на лицо во время поклонов, то почешет подмышками, то слазит рукой за спину и не перестает шептать молитвы. Время от времени он прекращает поклоны, обдергивает рубаху и поправляет подпояску. Встал на молитву и дед впереди сына. Хозяйка прежде других поднялась и прежде всех помолилась за перегородкой; теперь она возится с горшками, перетирает их и постукивает. Видно там, как широким огненным языком зализывает печное пламя черное чело печи: слава Богу,

печь с трубой, изба не курная и, стало быть, на ночной холод не выгонит. Можно продолжать осматриваться, хотя, собственно, смотреть нечего. Можно высмотреть одну лишь неизбывную бедность, которою, по деревенской пословице, изувешаны шесты. На стенах ничего не видно, кроме сбруи в нашем углу и над нашими головами; не видать даже и заветных лубочных картинок. Иконы и в самом деле крепко попорчены, и хотя села Хо́луй и По́лех мы оставили всего лишь третеводни, а вот эти иконы и подменить на новые, видно, нечем. На хозяйке сарафан в заплатах, на плечах молодухи ситцевая рубаха, только и есть, что видно; под сарафаном – нижний стан [5] весь из домотканного толстого холста. На обоих хозяевах порты и рубахи тоже из домашней пестряди; видно, и при дешевизне фабричного миткаля, который под боком запасают на всю Россию и Азию, выгоднее обойтись без него, потому что на всякий день не закупишь. Полушубков без заплат мы и не видим, а не пришитые и торчащие дырьями овчинные лоскутья для каждого полушубка словно заказаны были нарочно.

Невеселый вид; невеселая картина!

Все это мы видим, и разглядываем, и обдумываем вот уже целый час, а еще никто не проронил словечка. Все очень мрачно настроены; все высматривают исподлобья и не взглядывают друг на друга, словно взаимно надоели и с вечера ложились побранившись и передравшись, а ничего и похожего не было.

Нам почуялись за все это время какие-то глухие звуки человеческого голоса, да и тем доверяться не решаемся, и они едва ли не создались в воображении нашем. Угрюмо глядит изба; угрюмо смотрят и жители ее. Молодуха, например, как только встала, так и уселась, минуты не медля, за работу. Она подхватила под себя донце прялки и пощипывала торопливыми руками новую льняную бороду, надетую на гребень. Большуха как перетерла горшки, так и полезла за квашней на припечек и с таким усердием начала месить и катать хлебы, что мы не знали, чему подивиться: ее ли торопливости в работе, ее ли способности всюду поспеть и по возможности как можно больше и скорее все переделать.

Еще немного спустя времени и остальные все очутились за работой.

Стали и ребяток подымать с полу на дело. Оживилась изба первым говором, живым словом и опять смолкла и задумалась – над чем? Над тем ли, что вот опять новый день коротать надо: пришел он без твоей воли, но с твоей заботой, длинный день и хлопотливый. Вчерашний – изжили кое-как, а кто его знает, чем этот новый день подарит. Не от воспоминаний ли о вчерашнем, когда ничего веселого в подспорье не выдумалось; не от дум ли при взгляде в непроглядную темень, предшествующую сегодняшнему, стало всем так боязно, и у всех проявилось невеселое, задумчивое настроение духа. И народилось оно так вот вдруг, без видимых причин. На беду и ум отдохнул, и память посвежела; неужели они представляют себе и оценивают только невеселые картины?

Должно быть так.

Заплетая вчера новый лыковый лапоть и думая про кожаные сапоги с голенищами, смекал хозяин про умолот хлеба:

– Хорош был, не в пример лучше прошлогоднего. А давай Бог, если своего нового хлеба хватит от Покрова до зимнего Николы.

– Да нет; и примеру того не было, чтобы даже до Введенья доставало. И до Введенья не протянешь, и надо со своих харчей уходить, оставлять дома только баб со стариками и ребятами – им до Николы хлеба достанет. На Никольских торгах могут прикупить чужого хлеба, а на это надо денег добыть, таких денег, которые можно бы было разменять на мелочь.

И мужик проковырял такую большую дыру кочедыком в лапте, что и лапоть испортил. Отбросив его на лавку, мужик огрызнулся на липовые лыки и стал распутывать новую связку из целой сотни свежих покупных лык. С вечера они отмокли в корыте с горячей водой и расправились, сделались широкими лентами. Чернота и неровности соскоблены ножом. Взято двадцать лык рядом в руку. Стал кочедык – кривое шило – выплетать сначала подошву, затем подъем на колодке и в конце концов пятку.

Хорошо бы тут песню приладить, сама она просится на уста, а где ее взять? На голодный живот и песня не поется.

Пахтая сметану на масло для продажи на сельском базаре, и хозяйка вздумала свое:

– Вот уйдут сами за промыслом: как колотиться? Не уторгует ли опять барынька-становиха на масле по две копейки с фунта; не выпросит ли опять матушка-попадья фунтик в придачу на духовное свое звание, да еще на своем безмене вешать будет? – Сохрани Бог!

Вздумала так, да и вздрогнула.

Маленький баловник надел горшок на голову, да не сдержал его маленькими ручонками, сорвался горшок на пол и разбился.

Бросилась мать за перегородку к печи, нахлопала там сына досыта и сама накричалась до слез:

– Где я теперь горшок-от возьму? В чем я кашу варить буду? Не по соседям же за горшком-то ходить да выпрашивать; ведь и не даст никто, да всяк и пристыдит тебя. Что ты, постреленок, разбойник экой, наделал? Вот и глиняной бы горшок, а сколь дорог!

Долго кричала и еще дольше потом ворчала баба, грозясь на сына, и взглядывала на деда – потатчика ребячьим шалостям и заступника за внуков.

Но и дед не вступился, и дед смолчал: видно, дело говорила баба и велику беду напрокудил внук.

Свесив голову и седую бороду с полатей, старый дед – ежовые в семье рукавицы – думал свою думу, смотря на спину и голову сына, который точал в куту под полатями новый лапоть.

– Пойди, кормилушко, на старое дело, выходи, голубчик, за новыми денежками; ох-охо-хо-хо! Не пора ли уж? – Вот и осенины вглубь пошли: к Покрову подваливают. Хлеб теперь по всему свету сжали, серпы иступили и воткнули их в стену в холодной светелке: тебя серпы эти ждут. Сам я за ними с покойником батюшкой хаживал, и сам один собирал, и тебя выучил; передал тебе те места, где меня знали и почитали; ты сотен по двенадцати приносил, а велика ли корысть?

Старик углубился в расчеты.

– Тупой серп надо выправить, отточить и вызубрить; на то и зубрильщики в соседях живут. Ему за сотню надо дать полтора, а не то и два целковых. Себе серп обойдется в две копейки – дадут четыре, пять копеек. За зиму надают рублей до ста, да шестьдесят проездишь, проешь; тридцать рублев дома останутся на ков, на соль, на государеву подать. А еще завидуют добрые люди, сказывают, что наш-де промысел – самый барышный. А не пойти попробовать?

Немедленно за этим вопросом у деда мелькнул в голове холщовый мешок через правое плечо к левому боку, высокая черемуховая палка, да паперть церковная, да базарная площадка со старцами-слепцами и калеками.

Он дальше не думал и на сына перестал смотреть. Повернулся он на полатях на спину и с тяжелыми вздохами поглядывал в осевшую и покривившуюся матицу задымленного и почернелого потолка.

Все это было вчера, а не то ли же и сегодня, когда в торжественном молчании начался Божий день. Заходили ноги тотчас, как только были спущены с постели на пол, и засуетились руки, лишь только удалось всполоснуть их холодной колодезной водой. Злоба дневи довлеет: вон и под окошком заныли зяблые детские голоса. Истово и настойчиво выпрашивают они подаяние «Христа ради».

– Чьи детки?

– Солдаткины. Солдатка у нас тут на задах живет, Христовым именем бродит.

Опять стук с улицы в подоконницу, на этот раз молчаливый, без приговоров.

– Матренушка, надо быть.

– Она и есть! – отвечает хозяйка, подавая в волоковое окно кусочек обглоданного хлебца.

– Вдова суседская. На краю живет. После мужа в сиротах занищала. Убило его в лесу лесиной, так и не раздышался – помер.

Новый стук, и опять без приговоров.

– Старик Мартын; этот к нам с чужины пришел. У нас на деревне пристал. Живет который уж год!

И этому подали.

– Сами-то вот собирать не выходим, так к нам идут, – объяснял старик дед мудреную истину простым, немудрым и охотливым словом для нас лично.

Больше стуку мы не слыхали: значит, все прошли и всех оделили.

– У нас их всего трое, – объяснил дед своим хладнокровным, спокойным тоном. – В соседней деревне их пятеро: тем тяжелее нашего. В богатых селах десятками убогие водятся.

И стал рассуждать: отчего это так?

– Богателей ли там завелось много, и много они едят и все они пожирают, ничего другим не остается, – как судить?

– Думал я и так: на богатого, мол, бедность веру кладет и к нему подселяется, и выходит: чем больше – тем хуже. Промеж себя бедность не сговорится, наберется ее много: со всеми-то и не сладят, всех-то их и не прокормить.

– Думал я, вот видишь, и на хорошее, а никак в разум свой взять не могу, отчего это в больших селах и городах всякой нищей братии много? Каких хочешь, тех там и просишь: и слепых, и зрячих, и хромых, и безногих. Одного парнишечко за руку водит, иного товарищ возит на тележке – такую маленькую приладили. Во Мстере видал такого, что на одних локотках ходит и не говорит, а мычит словно теленок.

На что только произволение Божие не простирается за грехи наши? И хоть весь ты свет обойди, а во всякой деревне на убогого человека попадешь, а нет – так и по три, по четыре ведется. На всяком вот православном селенье экая повинность лежит – надо так говорить. Никто ее в счет не кладет, а всякий платит, со смирением, по Божьему указу, вон как и наши же бабы даве. Как вот это дело теперь рассудить? Ну-ко, братцы, подумайте!

<…>

КУЛЬ ХЛЕБА И ЕГО ПОХОЖДЕНИЯ

Моим милым детям
Ване и Саше
посвящаю
эти мои вечерние рассказы
в богатом городе
о бедной деревне.

ГЛАВА I

Хлеб – наша русская пища

– Хлеб да соль, – говорит коренной русский человек, приветствуя всех, кого найдет за столом и за едой.

– Хлеба кушать! – непременно отвечают ему в смысле: «Милости просим, садись с нами и ешь». Этим приглашением доказывается наше особенное русское свойство гостеприимства, которое по этой причине и называется чаще хлебосольством. Давно уже нами выговорено: «Брось хлеб-соль на лес, пойдешь – найдешь», то есть накорми первого встречного и незнакомого, но голодного, потому что, если и тебе самому захочется и приведется попросить есть, никто тебе в том не откажет. Хлеб-соль – заемное дело; хлеб хлебу брат, то есть за угощенье – ответ, за любовь – отплата.

Хлебом и солью *встречают* и *провожают* русские люди всякого желанного заезжего гостя и *подносят* хлеб-соль дорогому, любимому человеку, которому желают доказать почтение и покорность.

– Хлеб да вода – солдатская еда! – хвастаются храбрые русские воины.

– Хлеб – всему голова! – уверяют трудолюбивые крестьяне, которые всех ближе и вернее могут судить об этом деле: крестьянин землю пашет, хлеб сеет, собирает и продает; ел бы богач деньги, кабы убогий не кормил его хлебом. Ни о чем так сильно не хлопочут, ни о чем так усердно не молятся Богу простые русские люди, как о росте посеянного хлеба. Без хлеба не крестьянин. Хлеб на стол – и стол престол, а хлеба ни куска – и стол доска. Без хлеба несытно, без него и у воды худо жить, без хлеба – смерть; хлеб – дар Божий, батюшка, кормилец.

Вот что выговорил русский народ про те колосовые растения с мучнистыми зернами, которыми он питается охотнее и больше съедает всех других народов целого света. Вот какое уважение оказывают русские люди этим злакам, которых посев и жатва составляют основу всей нашей русской жизни. Давно всеми признано и доказано, что страна наша преимущественно земледельческая, а потому и самих крестьян или мужиков всего умнее и справедливее привыкли называть хлебопашцами. И в самом деле, нам указана для жизни на земле такая страна, где родятся все роды хлебов: ячмень, рожь, овес, пшеница, гречиха, просо, рис и кукуруза. Поэтому, где только поселились русские люди, всегда там засеваются хлебные растения.

Господь, распределяя свои дары по земле, Русской земле уделил самую разнообразную почву и все климаты Европы. Нашлось на ней место всем хлебным злакам, которых семя или зерно употребляется человеком в пищу. Там, где обильно родится виноград, где снег выпадает только раза два-три и все разы лишь на несколько часов, – за Кавказом, сеют рис, то есть самое нежное и прихотливое хлебное растение. У берегов Черного моря, где бывают уже холода, хотя и непродолжительные, и выпадают снега, но неглубокие, рис пропадает. На место его могут возделывать всегдашнего его соседа, не столь, правда, нежного и капризного, – кукурузу, или маис. Кукуруза, или белоярая пшеница, которою кормили богатырских коней, но только в сказках, – как пища не соблазнитель-

на, а потому в тех же странах предпочитают сеять настоящую пшеницу. Пшеница здесь полный властелин и хозяин. В тех местах, где климат умеренный, то есть зима несурова и теплое время стоит более полугода, пшеница составляет один из главных предметов земледелия. С нею рядом засевают и полбу – ее близкого родича, и просо. Но там, где зима побеждает лето и холод стоит дольше тепла, то есть ближе к северным морозным странам, пшеница не устаивает, часто мерзнет и обманывает надежды. Господство ее ослабевает, начинают властвовать матушка-рожь, батюшка-овес и гречиха – самые любимые хлебные злаки русского народа. Область гречихи и овса короче; царство ржи тянется далеко, даже и по таким землям, над которыми трещат морозы и семь месяцев в году лежат глубокие снега. Она всех менее боится морозов, во время молодости переносит довольно значительный холод и прежде всех созревает. Она господствует еще там, где ячмень, наиболее способный переносить суровый климат, употребляется только на пиво, но рожь сохраняет свое место и там, где начинается полное царство ячменя.

Дальше тех пределов, на которых перестает подниматься и вызревать ячмень, не растет уже ни одного хлебного злака: прозябают только мхи и лишаи и от лютых морозов трескаются и рассыпаются гранитные скалы. Не растет хлебных растений здесь, где кочуют дикие народы, которые вовсе не имеют понятия о хлебе и питаются кое-чем, а всего больше жиром морских зверей и тухлой вяленой рыбой без соли. Да в теплой полосе, в южных степях, попадаются места, пропитанные солью, наполненные солончаками, каковые почти вовсе неудобны для разведения хлебов. Однако и здесь русские люди – исконные земледельцы – пробуют в поте лица сеять хлеб – по святой Божией заповеди, сказанной праотцу нашему Адаму.

Вот об этом-то хлебе и об этом народе, возделывающем хлебные растения и употребляющем преимущественно мучную, хлебную, крахмалистую пищу, я хочу рассказать и прошу моих рассказов послушать. Как – по пословице – от хлеба-соли никогда не отказываются, так и я кладу крепкую надежду, что

вы не откажетесь дослушать до конца эти рассказы о хлебе или, лучше, *Историю о куле с хлебом*. Всякая погудка ко хлебу добра, говорит наш народ, да и моя – старая – на новый лишь лад. Почему я начал говорить именно о хлебе, сейчас объясню.

Отправимся прямо в деревню.

Деревушка, как все, раскинулась по полю, подле лесу, либо на берегу речки, либо, на худой конец, подле стоячего пруда. Издали деревушка кажет темными кучками, разбросанными кое-как, в беспорядке; вблизи распознаем в ней улицу, по сторонам ее стоят избы, в конце часовенка, кое-где колодцы, посередине, обыкновенно, чтобы были всегда на глазах, – амбарушки или клети с хлебом и другим домашним добром. В глухих местах их даже не запирают. Избы, конечно, бревенчатые, от времени почернелые, внутренним устройством очень схожие, наружным видом каждая силится отличиться. У домовитого вычинена, старается казаться опрятною; большая часть – запущенные, обломанные и неряшливые; у самых бедных ушли в землю и похожи либо на хлевы, либо на собачьи конуры. Трубы деревянные, обгрызенные и закопченные; окошки покривились, двери на боку и, отворенные наружу, того и гляди стукнут в спину входящего. Крыши местами сползли, местами провалились, особенно крытые так называемою дранью. Дрань на дождях и снегах имеет дурное обыкновение скоро сгнивать. Вместе с нею сгнивают и те упорки и перекладины, которые прилаживаются на крыше, чтобы сдерживать дрань. На беду, упорки по низу крыши должны быть с желобом, на котором постоянно застаивается вода, не имеющая стока. Ближние соседи разладились и расползлись в разные стороны: всякая туда, где ей показалось удобнее, а перекрыть лень либо недосуг. По скорости, подправляют крыши соломой, и тогда еще обидней: где чернеет дрань, где торчит нестриженными хохлами солома, прикрепленная жердочками. Ветер подсмеивается, потряхивая клочками соломы, и шалит, сбрасывая ее пучками на такого же горемыку соседа. А солома ползет да ползет долой, а дождь ломит прямо в потолок и через него на нос беспечных хозяев – конечно, всем им за то, что – по

привычке русского человека – не обращают они внимания на домашние удобства, называемые комфортом <…>.

Большая часть изб прямо крыта тем материалом, на который в деревнях и цены нет и за который только в городах дают кое-какие деньги. Материал этот – солома: пустые внутри, стебли злаковых растений, остатки после обмолоченного хлеба, о которых и речь наша. На крышах солома ржаная: другие сорта сюда не годятся. Овсяная или яровая солома, мелко изрубленная в сечку, идет на корм скоту; гречишная солома годится только на поташ, а матушка-рожь дает, во-первых, столько соломы, как уже никакое другое хлебное растение, а во-вторых, такую, что ее можно бы назвать нетленною, если бы что-нибудь было вечно под луною. Однако оржаная солома служит кровлей не один год, а до тех пор, пока не растаскают ее ветры. А растаскивают очень легко: набрасывают солому снопиками и, плотно складывая их один подле другого, – соломою же привязывают к жердинкам, очень тонким; жердинка только и нагнетает солому, а перевязь, в которой должна заключаться главная сила, как бы хитро ни делалась, всегда непрочна.

– Отчего не делаете ее прочнее?

– Нам супротив соседей идти невозможно, потому – обижаться будут. Станут спрашивать: откуда такую моду взял? Станут говорить, что над ними и над отцами и дедами смеяться выдумал.

Если же расчесать солому и помакать в жидкую глину да смазать сверху густой глиной – такая соломенная крыша, выкрытая, что называется, под щетку, ни ветров, ни дождей не боится; она служит хозяину своему, прикрывая его убожество и сказывая про его большую нищету, целые десятки лет (лет сорок). Из-за соломы крестьянину не надо покупать ни железа, которое у нас очень дорого, ни досок, ни драни, каковые в безлесных местах немногим дешевле железа.

Пойдем под эту соломенную кровлю посмотреть поближе на крестьянское житье. Путь идет через двор, выстланный той же соломой, которая на этот раз заменяет и булыжную городскую мостовую, и слеживается потом в то вещество, на ко-

тором родится в поле хлеб и которое называется навозом и наземом. У хорошего хозяина солома и на крылечке насыпана, и тогда служит она ковром и половиком обтирать грязные ноги.

И в избу войдем – от соломы не отвяжемся: в теплом уголке у печки лежит соломенник – набитый соломой тюфяк. Молодые спят на соломницах – на простых соломенных рогожках, сшитых веревками: соломницами завешивают окна зимою и подстилают их же под захожего гостя, укладывая его спать. К Покрову старую годовалую солому сжигают и заменяют ее свежей и новой, когда обмолочен хлеб и начинаются холода и длинные зимние ночи. На соломе коренной русский человек родится, на ней и помирает. Умрет он, солому, на которой лежал, выносят за ворота и сожигают.

Но – до смерти еще далеко – мы вошли в избу, когда там родилась новая живая душа, крестьянский сын, будущий кормилец-поилец семьи, вечный труженик и непременно хлебопашец. В избу то и дело заходят соседки понаведаться, подсобить матери-роженице, а пожалуй, и помешать, полюбопытствовать, чтобы было о чем порассказать и посудачить. В деревне скучно, и в глухую осеннюю пору деться некуда, пока не наладились осенние домашние работы. Всякая новость занимает всех. Рождение мальчика почитается счастьем и Божиим благословением. Об этом говорят, этому или радуются или завидуют: лишний тяглец на дому и верный помощник. Он не уйдет в чужой дом, как уходят дочери-невесты жить и работать на мужа и на его семью.

«Родись на Руси человек – и краюшка хлеба готова». Так говорит старинная народная пословица, которая только у нас свята и нерушима. В России всякий имеет право получить клочок земли для своего прокормления, а крестьяне получают лишние против других полосы земли на каждую мужскую душу. Родился новый мальчик, – у отца лишняя прирезка и на этого сына пахотной и сенокосной земли. Во всех других государствах этого обычая давно уже нет; у нас еще очень много лежит такой земли, которая сотворена на службу человеку, но ждет его труда и еще никем не возделана. При очередном пере-

деле деревенской земли миром, то есть всем обществом нашей деревни, вспомнят про нашего новорожденного, выделят землю и на его пай, на его маленький желудок, на большой рост и здоровье. А вот, в углу под образами и знамение будущих его крестьянских занятий: дожинный сноп с колосьями и зернами, подпоясанный той же соломой. Сноп этот последний из поля, когда оно все сжато и убрано. С песнями сопровождали его жнецы в избу хозяина; самая красивая девушка несла торжественно на руках этот сноп-дожинок, украшенный лентами и цветками, голубенькими васильками. Наш ребенок еще очень мал и ничего не понимает: кричит, когда есть захочет, кричит, когда озябнет. На другой, на третий день его поспешат окрестить и для этого *непременно* свезут на село и св. таинство крещения совершат над ним *непременно* в церкви (крестить на дому у крестьян не принято и считается делом незаконным). При крещении он получит на всю свою жизнь имя, которое и будет состоять за ним по его крестьянскому праву, без отчества. Имя дадут в честь того святого, чью память празднует Церковь в тот день, когда мальчик родился. Дадут другое, более ходячее, любимое или желаемое в том только случае, когда выпадет имя греческого святого, которое мужичьему языку мудрено выговорить.

В этот день домашнего счастия в доме родителей, в честь малютки, на его имя, в первый раз первое обрядное блюдо. И это блюдо, заветное крестильное, – из тех же хлебных растений, которых обработка будет для него обязательна – и именно из зерен или крупы, не смолотых в муку, но сваренных в воде, в их настоящем неизмененном виде; это крестильная каша – либо яшная из ячменя, либо пшенная из пшеницы. Бабка, принимавшая ребенка, ходит с этой кашей по всем званым гостям; кто хочет кашу есть, тот должен выкупить ложку, то есть положить грош, по поверью: за кашку грош отдать – младенец жить будет. Отцу дают кашу круто посоленную, с перцем. Каша, сваренная на воде или на молоке, так называемая размазня, будет выручать мать на то время, когда окажется мало ее собственного молока, а ребенок будет просить кушать. Крутая каша пойдет потом выручать на всю жизнь русского человека на не-

счастный случай проголоди и настоящего голода. Каша – мать наша, выговорили русские люди, потому что это блюдо у них ежедневное. На нем целая половина обеда и последняя сыть: кашицей начинает, кашей кончает обед свой даже бедняк. Чем она хуже других блюд – и сказать трудно, а в виде крупеника, то есть запеченная на молоке и яйцах, составляет лакомое блюдо вроде наших сладких пирожных. Немудреное оно кушанье: по пословице, и дурень сварит – была бы крупица да водица. Затем русская каша везде поспела и всюду пригодилась: она и на крестинах новорожденного, и на свадьбе взрослого, при почине нового хозяйства. Она и на своем празднике на день Акулины (13 июня), который потому и зовется праздником каш, что тогда обыкновенно угощают всякую нищую братию. Каша и в складчине по обету накануне Ивана Купалы (23 июня), она и на второй день Рождества для баб – бабьи каши; она и на угощенье молотильщикам – из свежего зерна осенью. Без каши и обед не в обед. Русского мужика, говорят, без каши и не накормишь.

Таким образом, почин в жизни русского совершается хлебным, мучнистым и крахмалистым приношением – кашей. Мать дальше не всегда угождает материнским молоком, которое считается самою здоровою, на первых порах единственно полезною и позволительною пищею. На женщине в деревнях весь дом стоит: она и у печки глядит, чтобы щи не ушли через край, и скатерть на стол кладет, и кошку гонит, чтобы не слизывала с молока детских сливок, и опять к столу, и опять к печке. А там раскудахтались куры, разворчался хозяин, соседка пришла соли попросить – и наш ребенок, ее детище, в зыбке заплакал. Надо покачать, чтобы унялся, горшок щей выхватить из печки ухватом, всем угодить, а самой хоть сквозь землю провалиться. Голова идет кругом, и ног под собой не слышит наша терпеливая труженица, неустанная работница, честная жена крестьянская. Чем угомонить ребенка, когда он раскричится? Покормить грудью или закачать до обморока – времени нет. Придумано давно, как русский свет стоит: напихать в рот ребенку жвачку изо ржаного хлеба или каши, от всех бед прибежище – будет сосать и замолчит. Станет помал-

кивать – значит, стал набираться крестьянской рабочей силы. От жвачки начнут развиваться у ребенка в желудке кислоты, появится резь; от болей он начнет реветь на всю избу. Мать скажет себе, что кто-нибудь взглянул на ее сына черным глазом, сглазил, – и успокоится, пока ребенок ревом своим не велит, как говорится, выносить святых вон из избы. А тут отец постарается пособить беде: привезет от купца с базара или ярмарки пряник-сусленик, опять-таки мучное, да еще с медом: зык и рев еще пуще. Усмиряет мать плаксу песней, да и эта песня, конечно, на ту же стать.

Вот хоть такая:

Баю-баюшки-баю,
Живет барин на краю;
Он ни скуден, ни богат,
У него много ребят.
Все по лавочкам сидят,
Кашу масляну едят.
Каша масляная,
Ложки крашеные,
Ложка гнется,
Сердце бьется,
Душа радуется.

Или на такой склад и лад:

У котика, у кота
Была мачеха лиха.
Она била кота
Поперек живота.
А кот с горюшка,
Кот с кручинушки,
Кот на печку пошел,
Горшок каши нашел.
На печи калачи,
Как огонь, горячи.

Пряники пекутся,
Коту в лапки не даются.

А про «сорокину кашу» кто же из нас в детстве не слыхал!

Стал ребенок подрастать: сначала выучился на дыбки становиться, потом ползать по полу, ходить, ухватясь за лавку. Сотни раз падал и больно ушибался: то синяк высветлеет на личике под глазом, то шишка на лбу или на головке вскочит. Наревелся он не только на свою избу, но и на целую деревню. Наконец стал он держаться на своих ногах без помощи материнских рук, стал ходить вперевалку. До году крестьянский сын всегда начинает ходить.

Как исполнился год жизни и наступил первый день его именин, мать спешит почествовать сына вторым в честь его блюдом и опять хлебным – пирогом именинным. На этот раз кусочек пирога перепадает и на долю именинника, а затем пирог и пойдет ему на всю долгую или короткую жизнь как непременная именинная принадлежность. Впрочем, как все мы хорошо знаем, звать на пирог и не для одних крестьян значит звать на именины: без пирога редко кто на святой Руси именинник; без пирога именинника старые люди под стол сажали.

Попались мы теперь на такое кушанье, которому у нас износу не будет и счет сортам подвести невозможно. Назову главные сорта их. Пирог защипаной глухой, с какой-нибудь начинкой, называется собственно пирогом и, судя по начинке, бывает: гороховик, крупеник (с кашей), грибник (с грибами). Если начинка мясная или рыбная, пирог уже называется кулебякой. Пирог незащипаный зовется расстегаем, вздутый из кислого теста – подовым, из пряженого теста с маслом – сдобным. Пироги бывают долгие, круглые (с курицей, курники), треухи, то есть треугольные и сладкие, начиненные сластями, они же и торты. Бывают ватрушки с творогом, кто их не знает? Бывают пироги защипаные, но без начинки, пустые, называемые пирогами «с аминем». Едал я самые вкусные сибирские пироги, каких редко кому доведется есть в России. В России славились некогда пироги арзамасские с рыбой астраханской. На начинку

в пирог пирожницы наши не спесивы: в пирог все годится, все завернешь, говорят они, но на приготовление вкусного между ними мастериц немного. Где такая заведется, там ее почитают и, когда нужна ее услуга, зовут с честью и поклонами. Она вынет пирог из печи, поставит на стол да и остановится, подхватясь локотком, что скажут: дошел или перешел, упрела ли капуста, похвалят ли? Едят пироги до обеда, но не крестьяне. Хотя, по пословице, пирог обеду ворог: пироги у крестьян подают после обеда на заедку и не глядят на то, сладкий ли он или просто с крутым горохом, который, как известно, не всякие зубы и перемять могут. При этом пироги не пшеничные, не крупитчатые, какие мы все привыкли есть и видеть; наш новорожденный будет есть ржаные и только по большим годовым праздникам пшеничные, но опять-таки не белые крупитчатые. Эти попадут ему в рот разве на тот случай, когда выпишется он в купцы, начнет торговать и наживать лишние деньги на сладкие дворянские и купеческие кушанья. Так, впрочем, и сказано: матушка-рожь кормит всех сплошь, а пшеничка – по выбору.

Между пирогами есть обетные, которые пекутся по обещанию. Так, например, на Ивана Купалу (24 июня) пекут их на угощение странников и нищих; на зимнего Николу опять-таки тот же нищий без пирога за стол не садится. Вообще можем сказать пословицей: «Изба красна углами, а обед – пирогами».

В старину в пользу сборщиков государевых податей с народа собиралась пошлина, которая и называлась «пироговою». Цари своим близким людям посылали в их именины пироги. Словом, пускаясь дальше, из русских пирогов можно совсем не выбраться. «Ешь пироги, – говорит старая пословица, – а хлеб вперед береги». А так как о хлебе и хлебенном и мне доведется много говорить впереди, то и постараюсь поступить так, как подсказывает пословица.

Подрастает наш молодец по неделям и месяцам, от праздника до праздника. Ему не помнить бы их, если бы родители не отмечали праздничные дни добавочными блюдами, и притом так, что почти на каждый праздник особое блюдо, и уже если и в самом деле особое, то опять-таки непременно хлебное

или мучное. Вот на самый большой зимний праздник, накануне великого дня Рождества Христова, в сочельник, – кутья. До появления первой звезды на небе не едят в этот день, в память явления звезды на востоке, возвестившей восточным мудрецам о явлении Спасителя мира – Божественного Сеятеля, Который выходил сеять семя слова Божия, чтобы вырастить хлеб небесный. После звезды выносят эту кутью, или жидкую кашу, сваренную из обдирного ячменя, пшеницы, толстой крупы в воде, наслащенной медом и называемой сытою, очень вкусную и сладкую. Ставят ее на стол, покрытый соломой и скатертью. Из-под скатерти отец семейства вынимает соломинку и по ней гадает: вынулась длинная – будет урожай на хлеб, попалась короткая – надо опасаться хлебного недорода. Под Новый год опять кутья, под Крещенье, во второй сочельник, – третья кутья. Эта кутья называется богатой, рождественская – постной, новогодняя – голодной. Сочельник, или сочевник, оттого так и называется, что едят в эти дни это сочиво, то есть наслащенную кашу без скоромной приправы.

С первого дня Рождества, как известно, начинаются святки. В ночь под Рождество, после заутрени, малые ребята ходят кучками «со славой», то есть поют праздничные стихири, иногда носят с собой вертепы или звезду, получают за то деньги, подарки и опять-таки пшеничные пироги. Для взрослых наступило время веселья, пиров, и второй день святок издавна слывет в народе под именем бабьих каш. На Васильев вечер, или под Новый год, опять каши и обсыпанье большаков в семье зерном в виде гаданья на хлебный урожай.

Опять малым ребяткам удовольствие ходить по чужим избам, распевать хоть бы такую песню (и получать то, чего просят):

Пышка-лепешка
В печи сидела,
На нас глядела,
В рот захотела.
Дайте нам ломоть пирога

Во все коровьи рога;
Не дадите лепешки –
Закидаем все окошки;
Не дадите пирога –
Закидаем ворота.

Или:

Кто не даст пирога,
Сведем корову за рога,
Не дадите ножку,
Мы свинью об сошку.

На Новый год выступает на крестьянском столе мясное блюдо – свинья. Мальчики поют такие песни перед каждой избой.

Накануне Крещенского сочельника святкам конец: нельзя сбираться по избам, петь песен, плясать, надевать харю или маски на лица и шубы навыворот. Нельзя и малым деревенским ребятишкам шататься по домам и стоять толпой под полатями у входных дверей, смотреть на забавы и игры старших, толкаться и щипаться промеж себя. За святками опять побегут дни за днями, неделя за неделей – и все эти недели называются свадебными, потому что в это время преимущественно устраиваются крестьянские свадьбы. Одна из этих недель сплошная, на которой можно есть скоромное каждый день и пекут и едят особое хлебенное: хворосты, хворостень – тонкие и хрупкие пряженые лепешки, сдобное тесто полосками, лентами, пряженное на масле печенье. За сплошной, или всеядной, – неделя пестрая, которая названа так потому, что один день у ней скоромный, а другой постный. А вот за пестрой неделей прикатила и честная широкая масленица – всемирный праздник, самый веселый изо всех: «На горах покататься, в блинах поваляться».

Блины – пшеничные, яшные, овсяные, гречневые, из пресного и кислого теста, из манной крупы, из творогу, блины с луком, с яйцами, со снетками, с маслом, со сметаной и т. д. в бесконечность. Не станем уж говорить об оладьях и пышках,

которые в достаточных семьях заменяют блины и помогают им как разнообразие: «Где оладьи, тут и ладно; где блины, там и мы», – говорит поговорка. «Без пирога не именинник, без блинов – не маслена». Блинами поминают и покойника и празднуют свадьбу, но с той разницей, что на поминках их подают наперед всего, а на свадьбах после всего. На масленой же блины всякий день: и утром, и в полдень, а у доброй хозяйки и вечером, хотя бы и холодные, да лишь бы с маслом, блины во всю длину целой недели. Наедаются блинами до отвалу, оттого и масленица неспроста называется объедухой. И поделом ей за ее обжорство и шалости; на другой же день заговенье на хрен, на редьку да на белую капусту. С первого же дня православная тюря – ржаной хлеб с луком, круто размоченный квасом, да какую хочешь кашу, да какой наберешь кисель: опять мучнистое в виде студня, на опаре и закваске, овсяной, ржаной, пшеничной, или пресный и самый любимый – гороховый. Киселем брюха не испортишь, для него всегда место, и самый большой почет ему – именно в постах и на похоронах. На выручку к киселю саламата, или кулага, – болтушка, сваренная из любой муки, какая попала под руку: жидкий киселек, мучная кашица с солью и маслом. Ливенцы[1] орловские этой саламатой даже мост обломили, когда по горшку со двора вывезли навстречу новому воеводе. Так подсмеиваются над ними соседи.

Постов у нас очень много, и в постном нет недостатка. Назову главнейшее, за всем не угоняешься. На выручку к саламате толокно – толченая немолотая овсяная мука с водой либо квасом и солью: от всех бед прибежище, любимая еда и в дальних дорогах спасенье. Кушанье скорое: замеси да и в рот понеси. Некоторые простаки в реках замешивали, реку-Каму прудили, подсмеиваются соседи. Однако толокно сухим не проглотишь: толоконной мукой поперхнешься на первой щепотке. Чтобы съесть – надо смочить, разболтать его в жидкости. В молоке? – Нельзя: пост да еще и Великий. Водой? – Дело хорошее, особенно если круто присыпать солью. Да такой способ позволителен только в дороге, в чужих людях по скудости и скорости. В сво-

[1] Ливенцы – жители города Ливны Орловской губернии. – *Сост.*

ем дому дозволяется это лишь крайней бедности, дома за толокно с водой просмеют. Худо дело, если в какой крестьянской избе нет – да и в какой же нет? – квасу. Квас, впрочем, такой и напиток древний, что как прознали люди про предков наших славян, так и рассказали про квас и про бани: «Возьмут-де листья, начнут хлестать себя ими так, что сделаются мертвыми, а потом обольются питейным квасом – и оживут». Квас и теперь ни в одной избе со стола не снимается: стоит он тут в деревянном жбане и ждет заезжего или прохожего, чтобы подсвежить их, особенно в летнюю пору. В деревнях по святой Руси за квас никто еще не плачивал денег, торгуют квасом только в городах; в старинных он до сих пор играет видную роль на купеческих свадьбах: на богатых полагается девять квасов, то есть девять кушаний с непременным квасным подливом. Да и квасы бывают разные: не только обыкновенный сыровец из квашеной ржаной муки или печеного хлеба с солодом, но и лакомый – медовый на меду, клюквенный, яблочный, грушевый, даже можжевеловый, на вкус волжских бурлаков. Чтобы не заговориться об квасах, довольно сказать коротко, что этот напиток – наш коренной русский, национальный. Другие народы про него не знают. Вместе с хлебом он выручает из опасностей голодной смерти самую голую бедность. «Ешь щи с мясом, а нет, так хлеб с квасом», – повелевает, зло подсмеиваясь, русская поговорка. В посты квасу особенный почет, да без него ни один работник в работу не нанимается, желая пить его когда вздумается. В подспорье к толокну замешивают на кипятке ржаную муку и солод и упаривают в корчагах на вольном духу эту смесь в виде квасной гущи. Затем студят на холоде – выходит кулага – самое лакомое постное блюдо. Если не выручат щи, на что честнее и вкуснее лапши, которую нередко топором крошат, чтобы было этого хлебенного больше и сварилось оно круче? Для вкуса в посту грибков прикрошат, в скоромные дни подпускают сала. На киселе и толокне и с постом разлучаются. Однако среди поста, на средокрестной неделе, для разнообразия лакомятся крестами; пекут их из кислого теста, в один запекают деревянный крестик. Кому таковой достанется, на счастье того засевают

хлеб будущей весной или тот же самый счастливец бросает в землю первые зерна. И еще в посту хлебенное лакомство в день сорока мучеников, 9 марта. Тогда пекут из хлеба колобки в виде птичек, которые и называются жаворонками, потому что, по поверью, на этот день будто бы прилетают сорок птиц, и между ними жаворонки самыми первыми и главными.

Зима кончается, весна начинается, наступает праздников праздник, Светлое Христово Воскресение, и с ним или вскоре за ним пробуждение всей природы от зимнего сна. Пасха Христова – первый весенний праздник. Пасху Христову чествуют особенным хлебенным, которое называется в одних местах пасхой, в других куличом: его пекут на дрожжах и сдобным, с миндалем и изюмом. Сама Православная Церковь на Святой неделе освящает свое святое хлебенное, называемое артосом. А в субботу на Святой, иногда на Фоминой неделе, причты церковные угощают своих прихожан другим хлебенным блюдом – лапшою, оттого и день такой называется лапшиным. В больших городах с примера Польши к отечественному хлебенному, то есть куличу, прибавили еще так называемые сдобные и сладкие бабы или бабки, пончки и т. п. В Вознесеньев день пекут суеверные люди лесенки, в память восшествия Господня на небеса. Наиболее суеверные люди (например в Орловской губернии) пекут такую же лесенку на 40-й день по кончине кого-либо своих. Лесенку эту смазывают медом для того, чтобы была слаще и выносят торжественно на двор, чтобы подставить ее душе покойника для восхождения от земли. Попоют, помолятся и разделят лесенку на столько кусков, сколько человек в семействе, и каждый обязан тут же съесть свою часть. На них кажется и конец всем обязательным праздничным печеньям целого церковного года, если не считать пирогов, без которых ни одно воскресенье у людей достаточных и ни один из двоенадесятых праздников у бедных людей не обходится.

Столько хлебенного для праздников и по праздникам на рост и здоровье русского человека, чуть не с первого года по его рождении! А так как ребенок чем скорее растет, тем сильнее и есть просит, то ржаного хлеба перепадает на его долю

больше, чем, например, каши. Сверх того сердобольная мать, неподкупный друг своего детища, чтобы не плакало оно и не ныло, охотясь больно и прося неотступно есть, ставит где-нибудь в укромном месте маленький коробок. Приходи к нему, когда вздумается, бери сколько хочешь и ешь сколько влезет. В коробке – колобки, о которых с такой любовью рассказывается в детских сказках: «Я, колобок, по сусекам метен, в сыром масле пряжен» и т. д. Колобки – небольшие круглые хлебцы или толстые лепешки, их обыкновенно пекут из остатков муки от пирога или хлебов. Материнская нежность прибавляет туда масла, чтобы сделать сдобными, смазывает сметаной или размешивает на молоке, чтобы стали послаще: кушанья вкусные и ребятами любимые. Сшалят они, провинятся – отказом в колобке деревенских детей наказывают. А так как матери любят баловать деток, то и колобкам много названий и много сортов: есть кокурки, колобаны, клецки, лепешки, кольца, крендели, витушки, каравайцы, сушки, бублики, пряженцы, толченики, папошники, булочки, баранки. И при этом всякий из них на свою стать.

На материнских колобках да на улице, то есть при достаточной пище и на свежем воздухе, при постоянной беготне и движении, крестьянский сын вырастает скорее и спорее детей городских. Одна разница: деревенским ребятам не проходит даром то, что они поедают так много хлебного, мучного. У них вырастают большие животы, каких не бывает у детей, питающихся бульонами, супами и вообще мясною пищею. Мясо или говядина попадает в деревенские щи очень редко, в самые большие праздники, и то не во все, и то не у всякого. В замену мяса идут овощи: луку очень много, еще более капусты, редька, морковь, картофель.

Беда от большого живота со временем проходит, с летами исчезает, остается только способность есть много, так как мучная пища тогда только напитывает, когда потреблена в большом количестве. Тогда и в теле теплота, и в душе довольство и спокойствие. На теплом Кавказе с трех-четырех лепешек, называемых чурехами, бывают сыты. Попадется работник на

улице с куском черного хлеба больше своей головы – это он про одного себя купил, ни с кем делиться не будет.

Наедается мальчик, чтобы быть сытым и набраться сил. Набирается он силами для того, чтобы хватило их ему на домашнюю помощь. В деревнях детей не нежат, долго не балуют. Поднялся ребенок на ноги, стал твердо ходить и толково все понимать, – его сейчас за работу. За грамоту не сажают, а начинают приучать к хозяйству. Сначала работы полегче: лошадку попоить, пособить запрячь ее, в поле угнать, там посторожить ночью, днем домой привести. Потом работы потруднее и настоящие. Отец пройдет с тяжелой сохой по полю, приготовляя из земли твердой годную под посев – мальчик на той же хохлатой лошадке проедет по тому же полю с легонькой бороной и деревянными зубьями ее разобьет комья земли в мягкий пух, где потом будет так хорошо лежать хлебному зерну, расти на теплых дождях и зреть и спеть на пригреве жаркого солнышка.

Прибавится хлебному едоку от ржаного хлеба новой силы, выучится он ладить с тяжелым хомутом и упругой дугой, научится запрягать лошадей, есть за троих – от бороны переводят его к сохе и к молотьбе хлеба. Дадут ему в руки косу – траву косить или грабли – метать стога, приставят и к другим тяжелым работам. В крестьянской семье будь хоть четверо сыновей – всем будет дело, и всякий нужен, и сидеть без работы каждому будет грешно и совестно. Крестьянская жизнь бедная, тяжелая, день полежать – три потерять. Только тот, кто поработал, – имеет право поесть. Кто не трудится, а только ест, тот заедает чужой хлеб, тот семье своей, отцу и матери, братьям и сестрам, не друг, а злой враг. Во всякой семье приятен работник, а в крестьянской для трутней и лежней и места нет. Насколько крестьяне дорожат лишним работником, видно из того, что деревенских ребят женят очень рано. Как только подойдут законные года, ему отыскивают невесту – чужого человека работницей в свой дом.

Вырос наш молодец, накопил денег, высмотрел себе невесту, накупил подарков, посватался и получил согласие. В день этого согласия, который называется сговором и помолвкой, всех гостей угощают лапшой, то есть такой похлебкой, в ко-

торой сварено накрошенное рубезками тесто. Три «лапшеи» – женщины подносят лапшу мужчинам, а мужья потчуют той же лапшой женщин. Вот и свадьба: жениха и невесту, каждого в своем дому, собственные родители благословляют караваем ржаного хлеба со вделанной в верхнюю корку солонкой с солью, три раза. Эту хлеб-соль возят и в церковь.

На свадебном каравае мы обязаны остановиться вот по какому поводу.

В старинных, самых древних и первых по времени землях русских, каковы Малороссия и Белоруссия, до сих пор сохраняется и справляется особый обряд *каравая*. Вот как делают это в Белоруссии, где обряд такой называется *расчиненьем* (растворением) *каравая*.

В доме жениха собираются мужчины. Женщины из кислого теста замешивают каравай и поют в это время свадебные песни. Изготовив, заставляют мужчину вымести веником печь и сажать каравай, то есть делать бабье дело. Сами поют в это время другие песни. Тот, кто сажал каравай, поднимает правую ногу и бьет сапогом три раза в край печи, чтобы понудить ее испечь хорошенько, – иначе нехорошо будет молодым. Когда учат печь, женщины подхватывают и поднимают дежу (то есть квашню, в которой размешивали хлеб) к самому потолку. Затем того же мужика повязывают утиральником, чтобы походил на бабу и обманул печь, и сажают его в задний угол, чтобы каравай не разошелся. Но вот и поспел каравай. Молодой берет его, садится на лошадь верхом; сват с белою перевязью через плечо едет впереди. Жених отправился за невестой. Каравай лежит на веке, то есть на круглой доске, которою покрывают квашню. Молодого встречает мать невесты (теща) в полушубке наизнанку (шерстью вверх) и с ковшом в руках. Молодой льет воду и бросает ковш через голову, сходит с лошади и подает каравай. Каравай этот всякий обязан поднять и сказать: «Наше выше». Молодая тут же и также в шубе наизнанку. Молодым соединяют руки и вместе поворачивают их три раза, затем вводят в избу и сажают. Девичий косник снимают с головы и дают в руки черную барашковую шапку, которую молодая, два раза

бросив на пол, надевает. Женщины голосят. Наконец молодых выводят, сажают на телегу и покрывают обоих полушубком, опять шерстью вверх. Молодая, выезжая из отцовского дома, бросает через голову пирог, и поднятый пирог этот, подъезжая к женихову дому, бросает через голову уже вперед себя, в знак того, что о старом доме будет хранить память и любовь, а здесь думает заводить любовь вновь. В воротах молодых ждут зажженная солома и мать жениха, также одетая чучелой, в шубу навыворот. Она подает невестке руку, молодая должна ступить на квашню, с квашни на холст, по которому и входит в избу, где снимает шапку и повязывает бабий убор, называемый наметкой. Молодой на другой день идет к тестю звать его *делить каравай*. Когда каравай делят, новобрачных ведут к колодцу и обливают водой их ноги. Суденки эти берет молодой и передает жене, которая обязана налить воды, принести ее в избу и вылить на руки тестю и теще, затем подать им полотенце, а остальную воду вылить на скамейку и вытереть. Все это знаки покорности и готовности к будущим занятиям в доме мужа, и эти лишь первые. Первый хлеб из новой ржи печет молодая. Приготовив тесто, она кладет на крышку квашни пирог и деньги. Пирог и деньги оставляет она и у того колодца, где ей для честного житья вымыли ноги.

Без этих длинных обрядов и свадьба не в свадьбу. Все это делается после венца, когда молодые выйдут из церкви и разъедутся по своим домам с этого окончательного домашнего обряда. Обряд этот сохранился с древнейших времен, и кто поручится за то, что это не тот свадебный обряд, который справляли наши предки славяне в старину, когда еще не были христианами и не подчинялись обычаям Православной Церкви?

Мы рассказали про белорусскую свадьбу. Малороссийская очень похожа, да и в Великороссии свадьба тоже языческое игрище с такими сложными обрядами, которые знают и которыми руководят особые бабы – свахи, на этот раз как бы языческие жрицы. Кстати сказать, что с тех же давних времен седой старины сохранились все обряды около хлеба, о которых я рассказал и вперед буду рассказывать.

Молодые съездили в церковь с колокольчиками и бубенчиками: повенчались. Повенчались – приехали из церкви, в дверях избы их обсыпали зерном – или ячменем, либо рожью – в знак того, чтобы жили богато, ибо хлеб считается знаком Божьей благодати, сытости, здоровья, а стало быть, и счастья. Вошли в избу: новый обряд также самого древнего происхождения, исполняемый одинаково в целой России. Молодой и молодая целуют наперед икону, потом отца и мать, а там опять-таки хлеб и соль. Одна соль худо (просыпать ее – беда), а соль с хлебом не попустит врага сотворить зло на честной крестьянской свадьбе. На другой день у молодого, а в первое воскресенье у родителей молодой – два пира, которые зовутся пирожными днями, пирожным столом. Молодая сама потчует всех пирогами, напрашиваясь на новое пожелание счастья.

Крестьянское счастье не так давно заключалось отчасти в том, что сыновья жили при отцах, воевали с нуждой целыми семьями и совокупными силами и говорили: один и дома бедует, а семеро в поле воюют. Теперь забыли, что две головни и в поле курятся, а одна и на шестке гаснет; теперь по деревням каждому захотелось жить своим домом; начали делиться, то есть маленький достаток еще больше дробить, чтобы уже совсем ничего не было. Разделиться немудрено с согласия деревенского общества, немудрено и новую избу поставить, – очень мудрено в четыре руки делать те же дела, на которые тянулись прежде десять-двенадцать рук. «Что будет, то будет, а будет, что Бог даст», станем делиться и строиться.

Деревенский мир дозволил нарубить бревешек в мирском лесу, выпросив себе за это четверть водки, хотя, по старинному праву, этого делать не следовало бы. Деревенский лес пообщипан, худое лесное хозяйство сделало из лесу рощу, перелесок; не только хороших, но и средней доброты бревен теперь не выберешь: нарубливаются не бревна, а только бревешки, тонкие и кривые. Зимой по снегу, по нашей русской почтенной дорожке на санях, деревья вывезены и сложены подле того места, где хочется встать избой. Возить помогают соседи помочью из-за угощения и не отстанут до тех пор от работы, пока не приве-

зут сотни бревен, непременно сотни. Проходящие пильщики, которые промышляют тем, что ходят по дальним деревням с пилами и ищут и спрашивают: нет ли где работы? – галичане-пильщики распилили бревешки на горбыли (с краю) и на доски (из середины). Ходила пила сквозь сосновое дерево, взвизгивала и позванивала, наскакивая на сучки; хихали пильщики, подвязав платком лбы, чтобы не летели опилки в глаза и не застилали прямой линии, той наглазной линии, по которой пила ходить любит (возьмет вбок – не выдерешь ее, а сломаешь – и купить негде, да и инструмент большой и дорогой). Так или нет, – мужик с горбылями для крыши и пола, с досками для потолка, лавок и перегородки. Ушли пильщики, можно поискать плотника, у которого глаз хоть и не изощрялся на рисовке геометрических фигур, но, по долгому опыту, очень остер и сметлив. Для топора он не мелит мелом и не размеряет циркулем; прямой глаз и привычная и верная рука делают все дело, которое у иных искусников доходит до высокой степени совершенства: можно залюбоваться. Топор русский такие вырубает фигуры в досках, что можно подумать на долото, ножи и разные столярные инструменты. По крышам богатых изб развешаны так называемые полотенца, то есть доски, прибитые и разукрашенные вроде полотенец с кистями и прорезанными фигурами: все это мастерит немудреный топор.

С плотником сладились. А так как дело к спеху и скоро надобно, то подговорил он товарищей. Ударили по рукам, Богу помолились. Стали рыть ямы. Стали ладить из бревен потолще короткие бревна – кряжи (напиленные пильщиками), то есть обожгли их, обуглили с одного конца. Этим концом встанут кряжи, или сваи, в ямы, в сырость; обугленные труднее и дольше будут гнить. Это «стулья» (восемь или двенадцать) вместо каменного фундамента столичных домов. Суеверные люди, заставливая (начиная) избу, в передний угол кладут три вещи: деньги для богатства, ладан для святости, шерсть овечью для тепла. На «стульях» первые бревна, связками по четыре вместе, называются «первый венец». На углах в нижних бревнах выемки, чтобы свободно ложились на них обтесанные верхние

венцы или бревна. Нижние, то есть первые бревна, подобраны потолще – им больше терпеть. После второго венца и на него кладут три или четыре переводины для мощения на них пола, а затем опять венцы (три или четыре) – длинные бревна, во всю ширину и длину избы. В правом углу закладывают поперечные, обтесанные на четыре угла кряжи, или косяки, на красное окно и, еще отступя, косяки – на другое. Между косяками закладывают пространство короткими кряжами, над ними опять венцы (пять, шесть и семь). В левом углу в одном бревне прорубают глубокую щель на волоковое окно, которое непременно должно быть против печи, чтобы была в нее отсюда тяга воздуха и не дымила печь, когда не надобно. Когда накладены верхние и передние венцы, на них кладут поперечные балки или брусья для накатки или настилки потолка и между балками поперек всей избы – матку, или матицу. Изба вчерне готова, самое главное пройдено. Теперь следует подымать и обсевать матицу. Хозяйка варит кашу; хозяин кутает горшок в полушубок, идет в свой сруб и подвешивает горшок к новой балке – матице. Один плотник влезает наверх, обходит последний венец и по пути сеет хмель и хлебные зерна на счастье и благополучие. Проходя затем по поперечному брусу, или матице, на которой висит горшок с кашей, перерубает он топором веревку. Горшок каши ставят в круг, садятся, едят и запивают вином и пивом. Это угощение, называемое маточным, идет сверх ряды за сруб избы, конец которого теперь недалеко.

Выше потолка венцы кладут все короче и короче, в виде конуса, треугольником. Эти венцы заменяют стропила, потому на них кладут, на аршин один от другого, толстые жердины, укрепляя концы их на венцах. Когда положена жердина на самый верх, изба вчерне готова и поглотила столько материалу, сколько понадобится теперь на внутреннее убранство и отделку. Всего дороже честь сытая да изба крытая. Надо, стало быть, торопиться крыть крышу; изба без крыши – что простоволосая баба, да и опасаться надо, чтобы дожди не испортили углов и они не трещали бы подобно ружейным выстрелам, когда изба будет садиться. Крышу настилают либо из драни, либо из со-

ломы, либо, на лучший случай, из тесу, то есть пиленых досок. В лесной глуши кроют, впрочем, теснинами, то есть досками, обтесанными топором, которые прочнее пиленых (пиленые доски обыкновенно тоньше вершка, и потому сильнее коробит их). Кровельные доски прибивают на самом верху, запуская их под опрокинутый желоб, называемый шеломом. На желобе этом, или избяном шлеме, ставится резной гребень с петухами по концам: это уже для красоты и сверх сыта.

Сталась изба четырехстенная, а может она быть и пятистенная, если разгородить ее рубленой бревенчатой стеной. В первой прилаживаются сени с одного боку, во второй сени посередине – и две избы: теплая и холодная. В той и другой четыре угла, налево бабий кут у печки впереди, иногда за дощатой перегородкой. Направо, в ближнем углу, кут хозяйский, или коник, где и ларь приделывается для покладки сбруи и подручных принадлежностей большака семьи. Наискось от печи, направо, прямо против хозяйского кута, – красный кут, большой, самый главный; здесь к углу приставляется стол, а в самом углу прилаживается треугольник или тябло для св. икон – Божьего Милосердия. Сюда всякий входящий молится. Молятся сначала те, которые приходят сюда, когда внесено Божие Милосердие променянное (а не куплено однако ж) у проезжего торговца, – приходят поздравлять с новосельем и приносят опять-таки и непременно хлеб-соль на благополучие.

Изба совсем готова, когда складена печь – мать родная, либо битая из глины, либо складенная из кирпичей. Глину мешают с песком и уколачивают – это основание, или опечье, иногда на деревянном срубе; под ним пустое место – подпечье, в котором любят спать кошки. Затем сама печь на своде с передним выступом – шестом, или очагом, с челом, или устьем, – полукруглым отверстием, которое прямо ведет в самую печь. Печь варит и жарит, греет и парит, да уж и дымит по утрам так, что у всех болят глаза. На печи между потолком оставляется место лежать старикам и приделываются сбоку приступки, а подле них голбец – чуланчик, из которого ход в подызбицу, или погреб, а в голбце – полки для подручной посуды и куша-

ний. От голбца на половину длины избы у входа и на половину вышины ее к потолку на бревне или брусе настилаются полати, где общая хозяйская спальная, род иностранных антресолей. Изба теперь совсем готова: полы настланы, потолок накатан. Само собой, кругом всех стен приделаны для сиденья лавки и даже сделаны подвижные лавочки на ножках вместо стульев; куплены ухваты для горшков и сами горшки, ложки, чашки и плошки; метлы вырублены, лопаты выделаны, ведерки сбиты прохожим бондарем и кадка для воды и т. п.

Теперь уже совсем все готово, а что позабыто, о том можно вспомнить после, а своя избушка – свой простор. Суеверная баба может, пожалуй, и домового перезвать из старого дома, чтобы в новом не прокудил, не шалил, и ставит ему угощенье. Лохматый домовой – мужик добрый, это не то, что леший, который ломает мельницы. Домовой, если полюбит, нет того лучше: лошадям заплетает гривы, по спине хозяев гладит; если во сне начнет давить – значит, предупреждает о каком-нибудь несчастии. Впрочем, бабьих глупостей не переслушаешь и всех их суеверных обычаев не перескажешь. Теперь мы с избой и с хорошим концом на дальний путь наш за хлебом и хлебенным: есть где печь – было бы что есть. Тараканы переползли, и сверчок затрещал за печкой.

Счастье не дается даром, попадает не на всякого. Нашего крестьянина счастливым назвать нельзя. Дома у него так много нужды и бед, что про счастье он только в сказках слышит. Однако пробует искать счастья и дома. Дома счастья не находит: земля плоха и неблагодарна, с трудом прокармливает только своих хозяев. На той земле, где подолгу стоит зима и вместо чернозема, любимого хлебом, лежит холодная глина, земледельцем не выстоишь, круглым пахарем не сделаешься. Не будешь богат, будешь горбат. Пшеничного хлеба не поешь, а в иных местах и ржаной в большую честь, да и тот с мякиной или тем хлебным колосом, от которого отвеяно зерно. Есть на Руси и такие страны, где вместо мякины прибавляют в хлеб траву-лебеду, сосновую кору – мезгу и иную негодную помесь, так что и распознавать бывает трудно, хлеб ли это или высох-

ший комок грязи. В таких местах говорят и веруют, что меж сохи и бороны не ухоронишься, а потому от деревенской земли не бывают сыты и ищут счастья, удачи и хлеба на чужой стороне, в чужих людях и работах. Надо выдумывать промысел и уходить либо с топором в плотники, каменщики, в бурлаки на Волгу, в Петербург в маляры и лавочники, в Москву по торговой части, в трактирные половые.

«Если хочешь пшеничное есть, ступай на Низ»[1], – говорят крестьяне наших северных губерний. Да так и делают. Одни уходят из своей стороны на зиму только, летом возвращаются домой, другие оставляют родную семью и деревню на год, на два и более. В Петербурге и Москве изо всех жителей таких деревенских выходцев больше половины.

На Св. Руси для рабочих людей дорога широкая, для каждого найдется путь и пропитание: иди куда хочешь, в какую угодно сторону, везде в искусных рабочих нуждаются.

Здесь замечательно то, что, куда бы мы ни пошли, в любую сторону и город, найдем, что русский человек себе верен. Не выдумал он разносолов, разных вкусных яств, ни английских ростбифов и бифштексов, но по части хлебенных, мучнистых кушаний превзошел даже себя. Мудрено представить себе такой город, который бы не прославился вкусным хлебным печеньем. Кто не знает Москвы с ее пшеничными калачами из жидкого теста и сайками из теста крутого? А с московскими калачами спорят еще муромские заварные, подсыпанные отрубями.

Для примера пойдем из Петербурга на Волгу: вот, например, новгородский городок Валдай, который звонит на Московской железной дороге колокольчиками; в нем знаменитые баранки – обварные крендельки или хлебные кольца, но только мелкие, не те, которые зовутся сушками и какими славится местечко Мир в Минской губернии и Филиппов с Борисовым в Петербурге. В Валдае девушки с ног сшибают, предлагая хлебный товар свой, приговаривая: «Молодец, купи баранок, да хороших каких!». Вот и сам город Новгород, жителей которого давно уже зовут гущеедами: «Хороши-де пироги, – говорят

[1] Низ – низовья Волги, Нижнее Поволжье, богатое хлебом. – *Сост.*

они, – а гуща и пуще». Вот и Волга: в городе Кашине около нее выпекают особые булки-калитовки – четырехугольные в виде ватрушек с кашей, со сметаной и творогом. Еще дальше по Волге, в Твери, – пряники, в Калязине живут толоконники; в уезде этого города, в Семендяевской волости сплошь булочник да колбасник, прянишник да пирожник – все отхожие люди, досужие на эти мастерства в Москве и Петербурге. Под Нижним село Городец печет пряники, о которых слава идет далеко, они уступают только вяземским, которые привозят сюда, но чаще выпекают здесь на тот же манер и с таким же безграмотным надписанием «коврышка вяземска».

Повернувши с Волги на Москву, у Троицы Сергия, подле монастырских стен в балаганах круглый год угощают блинами, о которых знает также вся богомольная Россия. Мимо московских калачей мы в одну сторону можем попасть через пряничную Вязьму на Смоленск, прославившийся крупой, и на Калугу, где знаменито тесто, то есть та же мука, густо замешанная на воде и соложенная, – тесто сладкое, тягучее, которое, говорят, меряют аршинами и в котором смоляки будто бы целого козла утопили. В другую сторону попадаем мы на Рязань, про которую говорят, что там блинами острог конопатили. Рязанцам велено было проконопатить мохом деревянную их крепость, они все ленились, откладывали дело. Подошла масленица, их приструнили; моху не запасено, а блинов сколько хочешь; они и проконопатили свою крепость блинами.

Калуга и Рязань привели нас в ту сторону за рекой Окой, где пошли черноземные земли, где хорошо родится пшеница и лежат наши степные губернии и между ними Малороссия, справедливо прозванная за свое хлебородье счастливым, благословенным краем. Здесь уже очень неохотно едят ржаной хлеб, сменив его пшеничным, здесь выдуманы и затирки и галушки – самое простое хлебное кушанье, род клецок, сваренных в воде, в борщу, иногда замешанных на молоке или затертых на свином сале, – самое любимое и общее блюдо для целого малороссийского края. Здесь выдуманы и всем известные отварные треугольные пирожки с творогом из пресного

теста, называемые варениками, распространившиеся теперь по целой России. Выдуманы и другие хлебные яства, как паляницы и т. д., которым можно и счет не свести. Не отстала от Малороссии и бедная малохлебная русская страна Белоруссия, придумавшая все-таки свое хлебное, так называемые «колдуны» – такие же вареники, но с мясом.

Несмотря на то, что белорус с приметным усердием сеет хлеб и настойчиво пашет свою неблагодарную, мокрую, болотистую землю, она ему служит плохо. Несмотря на то, что им давно выговорено, что хоть и умирать собираешься, а хлеб сей, – хлеб, однако, его плохо выручает. Вычислено, что собственного сбора хлеба хватает тамошнему крестьянину на $^3/_4$ года. Конец один: надо сделать так, чтобы хлеба, оставшегося лишь на девять месяцев, хватило на двенадцать. Такая нужда и беда выучили и приучили растягивать наличное количество муки на целый год, но, уж конечно, с примесью посторонних веществ: семян различных трав, мякины, в особенности сушеной и истолченной в порошок древесной коры. Хлеб этот непривычный и в рот не возьмет, а не видавший его примет скорее за комок грязи или навоза, чем за людскую пищу. Редкий крестьянин сверх того не прикупит от двух до шести четвертей, если семья человек в десять-двенадцать, и при этом купит вдвое дороже тот же хлеб, который сам продал. Затем уже нигде так не развита болезнь бесхлебья, которое и сказывается тем, что белорусы, как скряги серебро и золото, хлеб прячут, зарывают в землю и ежегодно с этим запасом ждут голодовок. И голодовка придет – хорошего хлеба они не едят. От этих ям самый лучший, беспримесный хлеб у достаточных крестьян пахнет затхлостью и всегда неприятен на вкус. Нужда же заставляет есть и такой хлеб, о котором в Великой России не слыхивали: хлеб «суборной», или смешанный из ячменя, ржи, гречи и других зерен, которых удастся нагрести кое-как и кое-где по уголкам и щелям. Несогласную смесь эту вместе с шелухой и соломой растирают дома на скверных жерновах в муку.

Этим субором засыпают они также след покойника, вынесенного из избы на кладбище, чтобы умерший работник не

уносил из дому свою рабочую силу. В первый день Рождества садятся на полатный столб в черной рубахе и едят колбасу, чтобы уродилась греча; в Рождественский сочельник кладут в избяную стреху под кровлей блины и краюшку хлеба для будущего урожая. На Щедрый вечер (под Новый год) с теми же блинами тамошние девушки ходят завораживаться. Летом, в урочные дни, вертят из домашнего воску свечу и пекут каравай один на всю деревню. Святой каравай этот переносят от избы к избе и, придя, обносят вокруг стола, выставленного против ворот каждой избы. И все это с хлебом, и все это в видах урожая его, и все это сплошь и рядом понапрасну. Не дается белорусам пшеничный хлеб малороссов и разносортные пироги Великой России. Лакомые куски слизнули у них евреи, которые вообще по своим субботним праздниками (шабашам) любят поесть и сладко и вкусно.

Несмотря, однако, на то, что и у белорусов в особые праздники свое хлебенное: весной девичий праздник – пекут *латки*, сдобные булочки, и зовут молодых парней на угощение. В третью субботу после Покрова у всех семей праздник «Дзяды» и «Прадзяды», день воспоминания о родителях, дедах и прадедах. Хозяин отправляется в баню, хозяйка тем временем печет блины и расставляет их кругом стола, по краям, столбушками. Хозяин садится, самый старший в избе говорит: «Святые радзицели! Просим вечеряць з намы!». Покойники будто бы приводят питаться от блинов паром; блины же съедают живые. Кто хочет видеть этих мертвецов, становись в сени и смотри в избу (однако никто не смотрит, потому что может сам в тот год умереть). На следующий день, то есть в воскресенье, опять садятся за стол и за блины и опять зазывают тех, которые вчера не слыхали зову или опоздали и не пришли.

На могилках поминают родителей опять блинами и рассыпают в то же время кашу. По большим праздникам и на большую радость угощаются сырниками – «колдунами» с творогом. Едят «панцак» и «груцу» – суп из толченных в ступе яшных круп. Едят пироги да называют их то булками, то калачами; знают про оладьи под названием «ладок», про «грибок»,

то есть драчену, про «налесники» – пресные булочки и т. д. Хлебенного и у белорусов довольно, тем более что и они по преимуществу возделыватели хлебных зерен, коренные и исконные хлебопашцы. Никаких ремесел они не знают, ни к каким сторонним промыслам не привычны: бедный народ! Оставим их, пойдем дальше, хоть на север – в бесхлебную страну Архангельской и других губерний.

Таким образом, всю Россию по сортам потребляемого хлеба можно разделить на три части. В теплой России – в Малороссии, неохотно едят ржаной хлеб, в средней и северной России в ржаном хлебе все спасенье, пшеничный только по праздникам, в самой северной холодной России ржаной хлеб как лакомство, а в замену его яшный – из ячменя, каковой годится в пищу только на тот день, когда испечен, на другой превращается он в такой крепкий комок, что надо рубить топором и жевать невозможно. Ячменю приходится дозревать в то время, когда солнце хотя светит и греет, но потеряло много силы и земли не прогревает. Ячмень снимают с поля недозрелым и для того ставят стойком колья с поперечинами в виде лесенок, называемых пряслами, и подвешивают снопы. На ленивом солнышке и на ветрах ячмень дозревает, то есть вянет и сохнет, а то и просто солодеет: зерно делается сладковатым. Тем не менее и в этом краю, где рожь плохо родится и ячмень недозревает, выдуманы очень вкусные лепешки и булочки, называемые шанежками. Архангельцев за то и зовут шанежниками и дразнят прозвищем «шаньга кислая». До того шаньги вкусны, что об них стосковались голландцы, прибывшие по зову Петра Великого на своих кораблях в новую столицу Петербург вместо Архангельска.

Царь Петр встретил на прогулке по Неве голландца и спросил его:

– Не лучше ли сюда приходить поближе, чем в дальний Архангельск?

– Нет, не лучше.

– Как так?

– Да в Архангельске про нас всегда готовы были оладьи, а здесь их что-то не видать.

– Если так, – сказал царь, – то этому горю пособить можно. Приходи завтра со всеми земляками своими ко мне во дворец, в гости, я вас попотчую этими оладьями.

Архангельск привел нас на край России. Можно бы пойти в Сибирь и наткнуться там на новое сибирское мучнистое кушанье с мясом или рыбой – на пельмени, то есть крупитчатые пирожки вроде вареников. Без них в тех местах никто не пускается в дальнюю дорогу; напекают их мешками, замораживают и, когда надо есть, разваривают в кипятке: разом и суп, и пирожки с мясом. Пельменями всякий сибиряк считает обязанностью заговляться на каждый пост. Можно думать, что без теплой избы, да уменья строить обыденки (в один день) – бревенчатые избы, да без запасных пельменей мы бы и Сибири не завоевали.

Но о хлебном довольно; довольно, чтобы видеть, насколько этот вид пищи важен для русского человека, то есть не менее как мясо для англичан, салат и другая огородная зелень – для француза, фрукты (как пища) – для жителей жарких стран. За местами же, куда ходит русский человек на промысел, не угоняешься. Трудно перечислить те способы, которыми он промышляет себе хлеб, изнашивает свои силы, старится, теряет зубы, чтобы засесть на печи в деревне и приняться за кисель, легкое стариковское кушанье, на которое и зубов не требуется. Обо всем этом скажу дальше.

С изломанною натруженною грудью, с изношенным по чужим людям здоровьем русский человек лесных малохлебородных губерний идет, если только удастся, умирать в родную сторону, в отцовскую деревню. Здесь желает он и кости сложить, потому что здесь привелось ему впервые увидеть свет Божий. Запасается он свежим и новым холстом, бабы шьют из холста этого саван, и когда умрет этот честный труженик, завернут его в этот саван, положат в гроб, сколоченный из сосновых досок, свезут на погост и опустят в сырую землю, которую он считал и называл своей кормилицей. На могиле помянут его кутьей и последним хлебенным в его честь и память – блинами. Блинами же будут поминать его честное имя и потом еже-

годно в родительские поминальные дни: весною на Красную Горку, на Фоминой неделе, в понедельник, осенью – на Дмитриеву субботу – последнюю перед днем памяти св. Димитрия Мироточивого (26 октября) и т. д. В первый день Пасхи, после заутрени, придут похристосоваться и зароют яичко в могилку, самые близкие родные: жена и дети. Впрочем для них дорога могила и не в указанные и урочные дни, а когда велит сердце.

Придет, хоронясь ото всех, на могилу жена и так будет плакать по мужу надрывным и жалобным голосом:

Моя ты, законная милость-державушка!
Уж я как-то, кручинная головушка, буду жить без тебя?
Вкруг меня-то, кручинной головушки,
Веют ветрушки с западками –
Говорят многие добры людишки с прибавками.
Как жила я при тебе, моя законная милость-державушка,
Было мне сладкое словечушко приятное,
Была легкая переменушка
И довольны были хлебушки!
Не огрублена я была грубым бранным словечушком,
И не ударена побоями тяжелыми,
Тяжелыми, несносными,
Ты придай-ка ума-разума
Во младую во головушку, –
Ты, законная милость-державушка!
Как мне будет жить после твоего бываньица?..
Буду вольная вдова да самовольная,
Буду я жена да безнарядная
И вдова да безначальная.

Придут на могилку дети (особенно дочери) и запоют в память родителя свои печальные *плачки*. <…>

Кто бывал на сельских кладбищах и прислушивался к тону этих песен-плачек, тот мог в напеве их прослышать всю горечь разлуки и всю тяжесть потери столь дорогого семье человека: – лучше уйти скорее прочь!

Плакать и поминать будут покойника до тех пор, пока не затрут его памяти и места погребения другие позднейшие покойники, такие же, как он, пахотники и лапотники – чернорабочие русские люди.

ГЛАВА III
Хлеб сеют

Вышел сеятель сеять – и замерло сердце: что-то будет? На хлебе вся надежда, да на нем же бед и напастей столько, что и не пересчитать всех. Бывает на хлеб недород, а затем и голод и на людей голодная смерть. Может быть полон двор, а может быть корень вон. Может хлеб позябнуть на корню от ранних морозов; в малоснежную зиму – от лютого холода: намочат осенние дожди землю, да вдруг сорвется сухой мороз без снегу – зерно обволочется льдом, как стеклом, – и сопреет, нет ему никакой защиты, не стало ему тепла и угревы под пушистыми снежными сугробами. Гниет хлеб на корню от обильных дождей; заливаясь ими, он мало подымается, не доходит зерном. Может, однако, и подняться, и налиться зерном, да выпадет бешеный град, исколотит солому, выбьет ее с корнем и повалит гнить на корм свиньям. Нападает летучая мошка, подбирается ползучий червь и поедает хлеб в зерне и наливах. Как не замирать сердцу на этот раз? Когда начали сеять озимые, стаскивали ветхого старика с печи – старинного пахаря. У него голова не держится на плечах, руки не владеют и зерен в горсти сдержать не могут. Поддержали ему руку одни, потрясли ее другие:

– Посей ты, дедушко, первую горсточку на твое стариковское счастье, на наше бездолье. Посей, ради самого истинного Бога!

Вышел пахарь сеять, сделавши все, что велел обычай: Благовещенскую просфорку в сусек клал, где хранится старый хлеб, чтобы нового больше прибыло; бабы на этот день не вздували нового огня: кто сдержал старый, к тому просить

ходили, а другие и в потемках просидели на полную очистку совести. Напротив, в Великий Четверток, когда ходили на «стояние» слушать двенадцать Евангелий, после последнего не гасили свечей, а несли огонь на них бережно в кулаке до избы: и ветер свечи не погасил. И вот мелькнула в сердце пахаря надежда. Припомнился выпавший густыми хлопьями снег на Крещение, день простоял теплый, значит, хлеб будет темный (то есть густой). И еще легче стало на сердце. Припомнилось и то, что молились бабы морозу в Великий Четверг, чтобы не бил он овса. Припомнился прохожий солдат: заходил погреться в избу, сказывал, что, когда живал в Польше, видывал там, как в первый день Рождества садятся старики на полатный столб в черных рубахах и едят колбасу, и говорил, что это помогает хлебному урожаю. Хотелось было попробовать сделать так, как указывал солдат, да колбасы взять негде. И опять сомнение на сердце, и опять мелькает надежда: взойдут хлеба – пошлю бабу поваляться по жниве, пусть-де отдаст ей силу на пест, на молотило, на кривое веретено.

– Опять же и семена взял хорошие – óколоть. Как снял с поля хлеб, так и околотил снопы о колоду; летело самое крупное зерно, худые на овине досыхали, да этих совсем не примешивал.

Снова сеятелю припоминается о том, как он на досуге пробовал отобранные семена, клал их в воду: по верху не плавали, а опускались на дно – значит, были хороши. Семена все свежие, годовалые, нет ни одного лежалого: с сорными травами они сумеют сладить – сильны. Примешивал к своим, грешным делом, горсточки три краденых у соседа: взял их мимоходом, когда раз заходили с ним в холодную светелку. И свои семена держал в сухом и холодном месте: не промокали они, не сырели, а стало быть, и не прорастали. Пробовал семена и на руку, на вес прикидывал: тяжелые были. И бабы тоже сказывали. Учили отобрать сотню зерен (да не успел попробовать), учили отобранные эти зерна положить между мокрыми тряпками и держать в теплой избе: если-де не дадут ростков только пяток зерен – значит, хороши, если не выйдет два десятка зерен – отдавай семена бабе на солод, а сам иди покупать новых, чужие

семена одобряют, велят менять и на свои долго не надеяться. Привозные семена лучше: свои деревенские «вырождаются» (то есть перерождаются). Все сделал, все выполнил, как указано. Вот и на пашню вышел к вечеру, чтобы пала роса, и утром на самой заре заборонил семя, пока не успело обсохнуть. Сообразил и то, что месяц не в новолунии и посев ранний, чтобы озимь до морозов успела подрасти и к холоду привыкнуть. Можно бы посмелее ходить, побойчее семена по пашне раскидывать; все соблюл, что заповедано.

– На все власть Божья! Хоть осень и говорит: «я поля уряжу» – да весна подговаривает: «а я еще погляжу». А вдруг скажет власть Божья: «нет тебе, мужичок, хлеба за грехи твои. Велик твой грех передо Мной, забывал Меня, мало молился, на себя больно надеялся. Ступай, мужичок, по подоконьям сбирать и ребятишек возьми за руку: больше соберете».

И опять защемило сердце сеятеля, как только промелькнули в уме голые плечи ребяток, и рубашонки сползли, и на осень обуточек нет, и на зиму шапку им захожий человек подарил. Не лучше ли от такого сраму в эту же матушку сыру землю вместе с зернушком лечь да и заныть в ней? Хорошо еще, если с соседями та же беда случится, и на них выпадет горе такое же, и они пойдут по богатым да по счастливым, и они станут просить подаяния: на людях и стыд легче.

– И продумал я, Господи, зло на соседа, – прости ты меня! Оживотвори мои семена не по грехам моим, а по Твоей святой и великой милости! Без Тебя нет у меня защиты!

Ходит по полю сеятель босым. На груди висит на веревочках лукошко с отборными зернами. Берет он оттуда горсть за горстью и с тайной неслышной молитвой бросает семена по продольным бороздкам, которые провела соха. То обеими руками, то одной рукой приснoравливается он швырнуть семена так, чтобы разбрасывались они равномерно. Сеет молча, словно совершает священное таинство: песня и на ум нейдет, а ходят в голове невеселые мысли. Устанет рука на маху, бросает семена на бок лукошка, чтобы, отскакивая от него, ровнее рассыпались по пашне.

Посеял наш пахарь озимь. Веселые ребятки проехались по полю опять с бороной: зарыли посев в землю, опять повиляла борона боками своими по полю, иногда такая простая, что скорее можно метлой назвать. Борону бросили тут же: не жалко, инструмент дешевый, деревянные зубья не покупные, старые иступились – новые на будущий год чесать и пушить землю станут честнее и легче. Вот зернышко полежало в земле, вспрыснуло поле осенним дождем, зерно почуяло влагу, которую любит, – сказалось под землей и дало наверх зеленый росток, зеленую травку. Когда все кругом начинает вымирать, желтеют и краснеют листья и трава, – озимь отливает яркой зеленью, как веселая весенняя трава, но недолго. Осенний холод и ее не помилует, скоро травка озимой ржи поблекнет, замерзнет и обвалится. Когда долго стоят светлые дни и озими продолжают расти, то, чтоб они не вышли в дудку, на них напускают скот, чтобы он стравил всю траву и спас в зерне силу. Это зовется то́локой, потравой. Это, впрочем, к лучшему: не теряя теперь своей силы наверху, зерно под землею будет выпускать ростки вниз, будет корениться (делать корни) и куститься в мягкой и сочной земле, пока не ударит зима со снегом. Запушит землю первоснежьем, забросает ее потом снегом; зерну хорошо, зерно засыпает в тепле. Снег для зерна – теплая шуба; а мокрый снег для него благодать, для хозяев – счастье. Сверху снегов в воздухе трещит мороз и хватает за уши, под снегом тепло. Да и на зерне своя шуба – то есть щолуха – угрева твердая и надежная. Рожь за то, что лежит всю зиму в земле, называется озимою в отличие от яри, ярицы, ярового, то есть овса, ячменя и пшеницы, то есть однолетних, которые сеются весною и снимаются осенью. Впрочем, озимою бывает в некоторых местах пшеница, как бывает и яровая рожь.

Много разных неожиданных бед валится на хлеб, и все тем нехороши, что нападают врасплох и ничем их отстранить невозможно. От этих невзгод всегдашний страх и опасение. А так как у страха глаза велики, то и пересказать невозможно, чего не придумывают православные пахари, чтобы от-

вратить беду неурожая и бесхлебья! Хлебом мужички добывают деньги, чтобы платить государевы и общественные подати, на хлеб выменивают все, что нужно, и, между прочим, деньги. Заготовляя потребное собственными средствами дома, крестьяне имеют неизбежную нужду в деньгах, чтобы покупать соль, деготь и проч.

В страхе беды от неурожаев наши крестьяне на зимнюю пору то прибегают к молитвам, то гадают по приметам и совершают обряды, перешедшие, по преданию, от предков из далеких языческих времен. На Параскеву-Пятницу (14 октября) гадают по звездам: яркие (думают они) – предвещают урожай и погоду; на Филиповку (14 ноября) по инею судят о непременном урожае овса; на зимнего Николу (6 декабря) также желают инея как доброго предсказателя. Если космата изморозь на деревьях в день Рождества Христова – хорош будет цвет на хлебах, а если выпадет день ясный– урожай на хлеб; если черны тропинки – урожай на гречу; небо звездисто– урожай на горох. Вывозят навоз в родительскую субботу, веруя, что в таком случае уродится всякий хлеб. На Богоявленье ждут снега хлопьями к урожаю, ясного дня к неурожаю. В Вятской губернии, напротив, ждут к урожаю синих облаков на южной стороне неба. На Сретенье капель – урожай на пшеницу. На Благовещенье дождь – родится рожь. На Егорья (23 апреля) в Орловской губернии желают росы, чтобы было хорошо просо, а в лесных губерниях молят мороз. От мороза в этот день – думают там– будут хороши гречи и хорош овес. Ясное утро в этот день – будет ранний посев, ясный вечер– поздний. Теплый вечер на Якова Апостола (30 апреля) да еще к тому же звездистая ночь – несомненно, думают, к урожаю. Тот день, который на Масленой неделе выдался ясным и с солнышком, тот день стараются запомнить, и в такой начинают в Ярославской губернии сеять пшеницу. На Вербной неделе желают мороза к урожаю хлебов яровых– это в Новгородской губернии. В Ярославской на Вербной неделе для тех же целей молят об ясных днях с утренниками. В Светлое Христово Воскресенье в Курской губернии не разводят огня в домах, боясь головни в пшенице, когда пшеничное зерно в

колосе ржавеет и превращается как бы во вредную угольную пыль. На Вознесенье в иных местах в поле не работают, в других стараются запахать поле. И велика милость Божия, коли в Николин день (9 мая) дождик польет.

Но до дождя и мая длинное мертвое время зимы и осени в целых семь месяцев. Все живое попряталось. Ходит мороз да потрескивает. После Рождества он как будто еще сердитей делается, а на Крещенье бывает в полном гневе до свирепости. Забьются земледельцы на печь, и слезать им не хочется: все бы грелись. На улицу добрый хозяин и собаки не выпустит, чтобы не окоченела на лютом морозе.

А в Англии в это время пашут под яровое и совершается ранний посев; в Италии косят во второй раз траву, в Новой Зеландии жнут пшеницу, в Китае – сбор чая самого лучшего и нежного. В наш холодный и сырой Петербург то и дело подвозят из Италии апельсины.

А мужичок-пахарь?

Как медведь в берлогу, ложится он на печь и запирается в избе, если был урожай и за труды тяжелые и праведные наградила мать сыра земля прибылью трех-пяти зерен всхожих на одно посеянное в землю. В феврале у нас еловые шишки в глухом и темном инее, а в Китае сеют пшеницу во второй раз в году, в Новой Зеландии цветут розы, в Персии по соседству с Кавказом расцветают fleurs d'orange – душистые померанцевые цветы. Зима кует у нас морозы и на целые полгода оставляет нашего трудолюбивого крестьянина без большого дела, чтобы, судя его по образцам теплых стран, не осуждали за лень и не бранили за бедность, за бездольное житье.

Прежде всего надо сказать, что у крестьянина всегда мало денег, а нужды все так же болят и поют: покупным добром иные из них и угомонить можно, да всего, что надо, и не укупишь. Приходится самому промышлять и на свою одежду, и на обувь семейным. Чего проще – съездить с деньгами в городскую лавку и купить бумажного ситцу (к тому же теперь благодаря дешевому хлопку и скорости машинного дела ситцы и миткаль очень дешевы). Вместо же того:

Посей, млада, ленку
При дорожке, при току;
Ты, рости, рости ленок
Тонок, долог и высок
Во земельку корешок,
Что вниз коренист,
А вверх семьянист.

Вырастет лен – выдергивай его, околачивай, отрепли от верхней кожицы (кострики), промыкай и прочеши гребнем, чтобы вышло чистое волокно. Из семян на посты масло вкусное выбивается. Избоина, то есть остатки семян под названием дуранды, идет на корм скоту (коровы ее очень любят). Из прочесанных волокон, садясь за прялку или за гребень, прядут пряжу, сучат нитки – дело дремотное: позывает на песни и сказки, а за ним, однако, у баб уходит много зимнего времени. Когда нитки готовы, хозяйки расставляют станы, садятся ткать на мужнины, на свои и на детские рубахи: очень бедные – посконь и дерюгу, все другие – толстый холст, люди с достатком – толстое полотно. А потом: шить новое, починять старое, к заплате прикладывать другую заплату. Промежду работ этих за малыми ребятками и за коровой присмотреть, в печи кушанье изготовить, с соседкой посудачить, натаскать дров, лучины нащепать, за ней присмотреть, когда горит и светит вечером, стрекая углями в подставленную под светец лоханку с водой: свету мало, дыму много, дым глаза ест. Однако пошли бабьи работы, пошли и песни: работают бабы весело, всегда с товарками и очень часто зовут их и сами к ним ходят на помочи, на так называемые супрядки (совместно прясть) и на поседки (вместе сидеть), рассказывать сказки, загадывать загадки и вечеринковые песни петь. Одна из них, впрочем, сама так и сказывается:

Собрались девки на супрятку,
Что на супрятку на сюпалку:
Задумали девки пиво варить,
Коя хмелю, коя солоду мешок;

Наварили девки пива горшок,
Пошли девки гостей зазывать:
Коя тетку, коя дядюшку…
И т. д.

В избах зимнею порою и загадки загадывают старухи бабушки малым ребяткам (развивая их смысл и сметку) – все больше на то же, что так дорого крестьянскому сердцу.

– Баба-яга, вилами нога: весь мир кормит, сама голодна?

– Соха.

– Худая рогожа все поле покрыла?

– Борона.

– На кургане-варгане сидит курочка с серьгами?

– Овес.

– Согнута в дугу летом на лугу, зимой на крючку?

– Коса.

– Летят гуськи, дубовые носки, говорят: то-то-ты, то-то-ты?

– Это шумят цепы, которые молотят-бьют хлеб, чтобы отскочило зерно от колосьев.

И опять:

– Братцы-хлопцы, сестрицы-подлизушки?

– Это цепы и метлы, которые подметают в кучу отбитые цепами зерна с мякиной (их оболочкой).

– Мать – лопотунья, дочь – хвастунья, сын – замотай?

– Опять-таки: лопата, метла и цеп.

– А вот это что будет: стоит волчище, разиня ротище, или – стоит Фрол и рот пол?

– Овин: стоит с дырой или окном наверху, в которое сажают сушить снопы. Он же и «Андрюха – набитое брюхо» (наполненный снопами).

Хмурятся глазки у ребяток, взглядывают они то на мать, то на теток: не подсобят ли? Надумывают по-своему и сказывают старой бабушке или старому дедушке – и ошибаются. А те молчат, велят самим догадываться. Опять хмурятся брови; веселые личики становятся пасмурными: досада берет. А старики опять с новыми загадками:

– Криво-лукаво, куда побежало? Зелено-кудряво, тебя стерегу.

Это попроще, все знают – и разом кричат:

– Городьба в поле и озимь на пашне, хлеб зеленый.

– Режут меня, вяжут меня, бьют нещадно, колесуют – пройду огонь и воду, и конец мой – нож и зубы?

Конечно, не кто иной, как сам хлеб-батюшко, о котором во всю зиму крестьянские думы со страхами.

Впрочем, всех загадок этого рода не перескажешь, да и пересчитать их довольно трудно.

Мурлыкает себе под нос какую-нибудь из заветных русских тоскливую песенку и сам хозяин крестьянской семьи с тяглецами-товарищами: с сыновьями или племянниками. Один подшивает оборвавшуюся конскую сбрую, другой ладит кнутишко, третий взял в руки кочадык – короткое кривое толстое шило (на базаре купил) и ковыряет лапоть из лык. Сам надирал лыки с липы, сам размачивал, очищал от верхней коры, резал на ленты. Слазил было посмотреть в сундучок (скрыню): не завалилось ли бумажных или серебряных денег; видел уж очень хорошие сапоги кожаные на базаре, хорошо бы их смазать дегтем и надеть. Пошарил, глубоко вздохнул да и сел в уголок и тоскливо замурлыкал песню. Приладил колодку, отодрал двенадцать лык и стал переплетать плетень (подошву), загибать наперед на голову (передок) и накручивать обушники (бока или коймы), сводя концы на запятнике и связывая их в петлю, в которую и продел оборы, то есть лыковые же веревки. Надел он новый лапоть на ногу, стал примеривать: нажимает и потискивает, да к такой оказии не привыкать: не баловалась нога кожаными сапогами.

Теперь в лаптях хоть и в дорогу! Сплел мужик лапоть, а царь Петр все умел, все сам делал, мужицкого лаптя не доплел: с тем и помер. Недолго сплесть этакий лапоть, а долго ли в нем напрыгаешь?

Вздумал это мужичок и опять сел, вспомнивши про обоз и дорогу. Взял у бабы пакли от конопли и прошел по лапотному плетню этой паклей (а то и тем же лыком) – подковырял лапти.

А так как времени много, а дела мало, то подковырку сделал узорною – стали лапти писаные. Подостлал соломку внутри и на низ – и готово. Пошел к соседу похвастаться. Войдя в избу и помолясь на иконы, пошутил, – вымолвив:

– Не осуди в лаптях – сапоги в санях!

Посидел, перекинулся тем-другим словом и опять, придя домой, сел ковырять лапти из березовой коры, которые называются ступанцами, заменяют дворянские туфли и служат для выхода на двор по скорому требованию и по домашней нужде – посмотреть на скотину.

На дворе скотина навоз копит. Намокло очень, журчит под лаптем: надо свежей соломы настлать, съездить для этого на гумно, где сваливается солома после хлебного обмолота. Почаще свежей соломы, побольше свежего корма скоту – навоз будет отличный, даст надежды на хлебный урожай.

Навоз пахотной земле и благодатному хлебцу – пища. Всего больше любит хлеб навоз коровий, который всех жиже, медленнее гниет и бродит, но холодные и глинистые почвы освежаются лучше навозом коневьим. Этот навоз силен и горяч; скорее других начинает перегорать и рассыпаться в пыль. За ним должен быть усердный присмотр. На сухих и песчаных полях он плохой слуга, вместе с навозом от овец (похожим на него, но уступающим в силе). Свиной некогда особенно хвалили, но теперь убедились, что он не заслуживал похвалы: хорош как и все. Но хороши все сорта только тогда, когда перемешаны: чего недостает одному, добавляет другой. Конский с коровьим медленнее загорается и рассыпается. Хотя у крестьян для коров и лошадей особые помещения и можно добывать и тот и другой навоз в раздельности, но нужда в разбор не входит и хорошо делает, как оправдывают это и опыт, и наука.

Чем дольше стоит скот в хлевах, тем больше навозу; чем ему там теплее, тем навоз лучше: подстилка больше вберет в себя навозной жидкости (догадливые хозяева прибавляют в подстилке хвою, листья, подсыпают землю). Но чем дольше держится скот на навозной грязи и чем сильнее гниет и бродит

подстилка, тем скоту хуже и опаснее. Надо искать середины, соображать время, не валяться на полатях, а одеться да и выйти на двор посмотреть да и пощупать. Крепко пахнет навозом в хлеве – скоту горшее горе: надо сейчас выгребать навоз в яму; яму всякий раз прикрывать, чтобы не жгло солнце, не разжижал снег или дождь. Появилась плесень – значит, пересох и перегорел, надо облить навозной жижей и прикрыть тонким слоем земли. Словом, гляди в оба, особенно на то, чтобы навоз не прогорал снизу и жижа из него не уходила в землю (опытные хозяева для этого и роют ямы в глиннике, который не умеет пропускать сквозь себя воду).

И вот еще новая забота и новая работа деревенскому хозяину в длинную зиму к весне: борону чинить, соху ладить, о железных вещах позаботиться, в кузницу съездить. На базар выехать проведать: нет ли чего подходящего на деревенскую руку, дешевенького? Попалось что, походить – сговориться либо на обмен того, что самому показалось лишним, либо на деньги, которые дали на базаре за этот лишек, – все равно: будет ли мерка-другая овса, возок-другой дров, пар пять новых лаптей и вся другая мелочь, сработанная на досуге в длинные зимние вечера. А так как базар подгоняется к воскресным дням, то на селе зайдет мужик в церковь Богу помолиться и свечку поставить на пущий рост хлеба-батюшки и на здоровье скота рабочего. Лучше всех разумеет сельский хозяин то, как много значит и в хлебных урожаях, и во всем хлебном хозяйстве здоровый и сытый скот.

Молятся об урожае хлеба Царице Небесной и тому ее образу, который славен в окрестности. Если не проявилось таковой, есть достопамятные на всю северную Русь: Тихвинская, Владимирская и Казанская, на Кострому – Феодоровская, на Подмосковье – Иверская, на замосковные губернии – Смоленская, на Белоруссию – Тупичевская, Остробрамская и т. д. – О скоте молятся великомученику Власию; священники советуют и указывают также на Модеста-святителя. От падежа конского ставят свечи мученикам Фролу и Лавру. Чтобы сохранить скот от зверей: лошадей и овец от волков, коров от медведей, – ста-

вят по церквам восковые свечи иконе великомученика Георгия, а по деревням поют ему же молебны в часовнях. И к чему бы предстательству ни обращаться, чьих бы ходатайств ни вымаливать, Николе Угоднику-батюшке всегдашная честь и земные поклоны перед его образом.

Следом за делом на базаре мужичку и безделье: подсвежить себя вестями и слухами, потолкаться в толпе, позевать по сторонам, забывши на некоторое время о докучной избе. Кстати, о цене на хлеб надо справиться. Перепал в мошну грош-другой за привезенную и сбытую кроху, – по дороге надо зайти к купцу пряничка ребятишкам купить, жене то, что наказала, да и самого себя потешить под елкой[1] – зайти винца испить.

Ужо вечерком и шапка набекрень: лежит мужичок на возу и лошадку похлестывает. Бойко перебирает она ногами и сфыркивает: мороз трещит. Да хозяину до мороза нет дела. В кабаке он согрелся, да и развеселился, песню поет. На встречного ездока наскочил он и ударил в бок отводами раскатившихся саней: обругали. Почтовый ямщик кнутом хлестнул по спине за то же самое. На ухабе сам выскочил и в вожжах запутался и по дороге протащился навзничь лицом: в деревню приехал с синяком и с царапинами.

– Отпирай ворота – убирайте лошадь!

– Ну, уж обрадовался богатству такому: нализался, свет красный, – скажет жена и заплачет.

– А я спать пойду! – скажет пьяный и завалится.

Просыпается он опять для той же тихой и однообразной зимней жизни, между теплой печкой и лавкой, между кутом, хлевом и задворьями. В лес съездит он валежнику набрать. Соскучится крепко или занедужится, заколет в боку, заболит голова – велит он истопить баню, сбегает, выпарится, выздоровеет. Попадет на веселую струю – здоровым духом с ребятками поиграет, игрушку им смастерит из лучинок; бабьих сказок послушает и сам, какие знает, расскажет. Присядет на завалин-

[1] Под елкой – над входом в кабаки прибивалась еловая ветка для того, чтобы неграмотный мужик мог издали определить характер заведения. – *Сост.*

ке на солнечном угреве с соседями, посудачит, про войну поговорит, про разбойников послушает и т. д.

Если уж очень закричит нужда и защемит сердце, заноют ребятишки, прося есть, заплачет жена, распродавши все запасы свои (и куделю, и нитки, и яйца, и топленое масло, и все копченое на недобрый час про себя), тогда одна надежда на извоз и на лошадку:

– Вывози, матушка!

– Пойду в обозы в дорогу. Без меня можешь продать, жена моя верная, овечку, поросеночка, а больно надавит нужда – тащи на базар телку, а то и самую мать ее за рога на веревочку, да тут же на мир, на барский стол, – пусть едят на здоровье!

Есть у пахаря лошадка, которая возила его соху по полю, – он запряг ее в сани, навалил чужой купеческой клади и побрел по ухабистой дороге в извозе, постукивая руками в теплых рукавицах по бедрам, чтобы согреться, и скрипит по обмерзлому снегу своими лаптишками, чтобы поспеть за лошадкой и не отстать от обоза. Не та доля выпала русскому человеку, какая досталась многим другим народам.

<…>

Переломилась зима, прошла ее половина – в крестьянской избе забота и дума; на Аксинью-Полухлебницу (24 января) озимое зерно пролежало в земле половину срока до всхода. Надо осмотреться: не съедено ли старого хлеба больше половины, потому что до нового хлеба осталась половина сроку. В других местах этот полукорм считается еще раньше, то есть на Петра-Полукорма, за три дня до Рождества Христова. Вдруг хлеба не хватит, а тут, кстати, и щи пустые: не сходить ли в чужие люди на чужую работу, добыть деньжонок, хлебца прикупить, не продать ли корову, не сбыть ли теленка? Ты бы, баба, что напасла яиц – торгашу унесла бы. Да не купит ли он пряжу твою, нитки, овечью шерсть, масло топленое, самой больно нужное? Словом сказать, забот полон рот. Завидовать ли нашему крестьянину жителям теплых стран, которым валятся сладкие плоды с деревьев прямо в рот? Положим, что

он про такие страны не слыхивал, тамошних плодов, по непривычке, и есть не станет, а на своей холодной родине ими насытиться не сможет. Да и есть ли чему завидовать? Там полудремота, постоянный сон, чуть не смерть, смерть по крайней мере потому, что лень никогда ничего не совершала. Все хорошее и высокое в человеке приобретается трудом; труд ведет вперед и людей, и народы. Если бы уничтожился труд, нравственная смерть не замедлила бы постигнуть род человеческий. В древние времена землю обрабатывали даже руки полководцев, возвращавшихся после громких побед к мирному плугу. Как в стоячей воде разводятся черви и гады, так постоянный покой и бездействие в людях, не развивая ума, доводят целые народы до младенческого неразвитого разума и до жизни наподобие животных. Чем больше забаловывает человека природа, чем она богаче, тем он ленивее и ничтожнее, недостоин названия человека. Наши предки в незапамятные времена в тех странах жили, но ушли оттуда из боязни умереть заживо. Научившись побеждать природу, когда пришли они снова в жаркие и ленивые страны, тамошние народы, призванные ими на настоящий труд, труда не выдержали и стали исчезать, как летние мухи. Их легко победили люди труда, высокого ума, умеющего и из пустынь делать пажити, и в ледяных странах бороться, и побеждать такую природу, которая до них всех победила и уничтожила. Истинный труд только там, где человек добывает хлеб в поте лица, а не там, где стараются обогатиться внезапно и без труда. Да и спасибо русской зиме и стуже: они – по пословице – подживляют ноги. Делается из русского человека самый выносливый и самый трудолюбивый. Впрочем, есть и у нас такие страны, где золотая для хлеба земля – чернозем – лежит так плотно и глубоко, что поднимать нужно не лошадьми, а волами. Косулей ее не вспахать, надо плуг; в плуг впрягают три-четыре пары сильных волов. Вшестером очень часто тянут они самое тяжелое и самое надежное земледельческое орудие – плуг: он подымает отрезанный пласт земли и переворачивает его. Вместо оглобель у него вальки с постромками; дышло длиннее и больше,

на дышле нож. Плуг берет и широкие и узкие борозды; надрезывая пласт отвесно, подрезывает его снизу ровно и оставляет за собою чистою борозду. Отрезанный пласт он не отсовывает в сторону, а приподнимает его ровно и постепенно и отваливает набок очень правильно. Там, где чернозем неглубок, за рекой Окой к югу, берутся еще за сошонку – за кривую ножонку. В Малороссии с благодатной землей без плуга и без волов совсем ничего не сделаешь.

Вот отошла земля – растаяла, зазеленели лужайки – трава показалась. Отворяй оконницу – сверчок проснулся. Солнышко с месяцем встретились. Весна землю парит. Медведь встал и вышел из берлоги. Заиграли овраги, пошла вешняя вода разрывать берега. Вот и Егорий с водой и теплом. Вывернуты оглобли, брошены сани: надо чинить телегу, осматривать сохи, борону ладить. Наши озими, засеянные прошлой осенью рожью, взошли, то есть ярко зазеленели. Надо запахивать новую пашню под новый хлеб, на Егорья (23 апреля) и ленивая соха выезжает.

Оживился и обрадовался после зимнего отдыха наш пахарь и стал почаще взглядывать на то поле, которое не было новью, не держало в себе прирожденной силы, а было пашней паханой, не один год рождало оно хлеб, не на одно лето тратило свою силу. В истощенную землю семя не бросишь: надо отдать ей то, что взял у нее, придать ей новые силы и новые соки. Такую службу давно уже указано служить навозу, или назему, – скотскому помету, смешанному с объедьями и подстилкою. Им удобряют землю, его *навозят* на поля не в один раз, а с передышкой, на особых телегах, на которых уже не повезешь воеводу. Телега с покатостью назад и с дверцами в эту же сторону, чтобы ловчее было скидывать железными вилами, а подчас и деревянной лопатой. Бывают навозные телеги и с обшитым опрокидным кузовом или ящиком.

Как пропахали землю ранней весной, когда совсем отлегла земля, так и наступило время навозницы, или пора свозить навоз в поле со дворов и из хлевов. Огня в это время в чужой дом уже не дают из боязни, чтобы не сопрел хлеб.

Возить навоз заставляют подростков: по полю разбрасывают сами хозяева – взрослые рабочие.

Выезжает в поле крестьянин и на этот раз, как и всегда, осмотревшись и погадавши по опытным давним приметам и по суеверным обычаям.

По суеверию не пашут на день Симона Зилота (10 мая), думая, что в этот день земля – именинница. Не сеют на другой день, на день памяти обновления Царьграда, чтобы не выбило хлеба градом.

По опыту и приметам пашут, когда дубовый лист развернулся и, стало быть, земля в полной силе и принялась за род. «Коли на дубу макушка с опушкой, будешь мерить овес кадушкой». На Еремея (день пророка Иеремии, 1 мая) подымай, говорят, сетево, на Еремея (день апостола Эрма, 31 мая) опускай сетево. Если к этому дню не обсеялся, значит, ленивый человек: просидишь без хлеба круглый год. Появились комары – рожь сеют, лягушка квачет – овес скачет: пора его сеять, когда уже и гад на то указывает. Бабы даже слышат, что лягушка и квачет-то, выговаривает: «пора сеять». Вообще для посева яровых хлебов, вызревающих в одно лето на *яри*, на ярком припеке летнего солнышка, полагается время весенней поры теплое, когда березовые почки начнут развертываться в листья. Если первая вода, во время речных разливов, велика, – яровой посев ранний, а в противном случае поздний. Березовый листок полон – то и сеять полно. Разница ярового посева от озимого заключается в том, что весной засевают прежде теплую и сухую почву, – осенью ее потом. Весной на холодной и вязкой почве погодят сеять, осенью с озимью поспешат.

Яровые хлеба – собственно овес и ячмень. Бывают, однако, и яровая пшеница, и яровая рожь, также однолетние, успевающие до осени вызревать.

Первое место овсу-благодетелю. Овес главного рабочего, то есть лошадку, кормит (да и самих хозяев не обходит в толокне, в кашице, в каше, в блинах и прочем). Чем дольше стоит конь на овсе, тем больше в нем силы, сеном лошадь требушину набивает, а от овса рубашка по телу закладывается, а затем не

воз едет – овес везет. На худом корму и работнику худо, а при овсе и навоз лучше, и новому хлебу сподручнее. Без скота хлебу худо, без скотоводства нет земледелия.

Вместо колоса у овса бронь, но соломенный стебель на ячмене, как и на ржи, с колосом, а зато самый остистый (бывает ячмень двурядный, шестирядный, бывает и голый). Это – самый северный хлеб, на выручку голодным людям: в хлебцах-житниках, и в блинах, и в пиве, и в каше яшной, которую сам Петр Великий признал самою вкусною и спорою (то есть питательною). Известно, что Петр в одно время решился, оставив дворцовый стол, сесть на месяц на солдатскую еду, велел готовить себе похлебку и щи да кашу, подавать ржаной хлеб, чтобы своим аппетитом определить меру выдачи солдатского пайка. Будучи здоровым и крепким человеком, он определил такое количество, что солдат всего не съедает: остаются излишки. Избыток муки и крупы экономией поступает в артель, продается: отсюда улучшение пищи до праздничных пирогов и чарки водки от Петровых давних времен до нашего времени.

На овес у народа нашего срок посева, вместе со пшеницей, на 15 мая (Пахома-теплого, Пахома-бокогрея); яровые обжинки – *овсяница* – 26 августа (день Натальи-овсяницы). Ячмень сеют, пока цветет калина; опасаются в это время западных и юго-западных ветров и думают, что когда он начнет колоситься, – на то время замолкает соловей. Срок ячменной жатвы определительно не положен, да с ячменем и не спесивятся: сжимая недозрелым, на севере вешают его на стоячих лестницах, решетинах, на столбах, называемых пряслами. Здесь он вянет на ветрах и доходит, сохнет. Ячмень – прихотник, и притом очень большой: не любит холодных почв и отказывается от слишком сухих и мокрых. Овес, напротив, лучше всех вынослив на сырость и холод, родится и на плохой глинистой, и на легкой песчаной, и почти на всех других почвах. Под него даже и не удобряют земли; ячмень же требует всегда хорошей обработки.

Но самый великий прихотник и капризник и самый лучший и дорогой хлебный злак – пшеница (озимая и яровая раз-

ных пород: простая, русская, гирка (голая и красная), арнаутка, белотурка, кубанка, усатка, тюремковая, одесская, ледянка и прочие). Она растет только, где тепло длится по крайней мере четыре месяца, и тогда, когда босая нога может стерпеть холод в пашне (смотрят также и на черемуху, чтобы она расцвела). Пшеница сильно убожит, истощает почву, и в холодных лесных странах за ней очень не гонятся, предпочитая рожь. Мука ярицы не так бела, но зато из пшеницы лучшие сорты крупчатки для самых белых хлебов (о чем и скажем в своем месте). Из нее и лакомый кус – пшеничный пирог, мечта крайней бедности и предмет ее зависти. По закону природы, не любя холодов, пшеница терпелива к жарам и засухам в полное отличие ото ржи, но в подобие со своим родичем – полбой.

Полба уступчивее пшеницы и терпеливее ее. Изморозь ее очень не пугает, не боится она и засухи, а замечают даже так, что в самое сухое время она может расти отлично, тогда как рядом посеянная пшеница-сестрица погибает.

Теперь опять и еще яровой хлеб – греча, от которой любимые зерна русского народа на гречневую кашу, а из них вкусная мука, без которой не бывать бы на свете и масленице. Горе наше гречневая каша: есть не сможется, отстать не хочется, и если уж хлебец ржаной отец наш родной, то гречневая каша – матушка наша. Извозчики да бурлаки говорят еще, что по постам нет кушанья вкуснее и слаще гречневиков, выпекаемых стопочкой и стаканчиком (у малороссов на гречаники имеется даже развеселая, разудалая похвальная песенка). Честь и слава гречке за благую помощь, а нельзя похвалить за характер: где ее так же любят, как и в теплых местах, – в лесных губерниях наших, она не вынослива к сырости и холоду, хотя и не боится засухи. Сеют на счастье на полях и на супесках и всегда поздно, когда уже и ягода земляника закраснеет и отцветут цветы на калине. Смотрят также и на то: не ползают ли еще по крапиве красненькие козявки, которых за то и прозвали гречушками. Убирают гречиху, когда стебли побурели и стали отливать темно-красным цветом (от молодых всходов гречишное поле зеленеет, а от цвету делается белым,

молочным, и, наконец, от созрелых семян – бурым под цвет гречневой каши). Гречу и жнут, и косят, и в последнем случае приделывают к косе маленькие грабли и тогда на поле кладут гречку, как сено, рядами.

Чтобы совсем покончить с яровыми, надо сказать, что хлеба эти в своих местах (где их много) настоящими именами не называются, а слывут под общим прозвищем жита. На юге, по черноземным местам, житом называют рожь, за рекой Волгой к Сибири всякое яровое зерно – жито (и греча, и пшеница, и ячмень, и овес); на севере по Волге и Архангельской губернии жито – только один ячмень, а в Твери и по верхней Волге это только яровая рожь, как уже и сказано.

Уроди же, Боже, всякого жита по закрому на весь крещеный мир: вот и нам опять сеять надо!

Но прежде чем сеять, само собою разумеется, надо приготовить землю, то есть опять вскопать, разрыхлить, но на этот раз уже по сухому и готовому. На земле вырос хлеб – земля отдала ему свою силу, свои соки, все, какие были. Надо их возвратить ей: без этого она не слуга и не работница. Нечерноземные почвы называются тощими, холодными. Поправляет их удобрение, навоз: то, что накопляется на дворах из скотского кала в соединении с соломенной подстилкой. Этот навоз содержит в себе ту питательную силу, которая и нужна почве. Наступает время «навозницы». Работа не очень опрятная, не очень благовонная, но зато она важнее многих и для наших северных земель составляет первое дело: поле с дерьмом – поле с добром. Навоз сбрасывается с телег вилами на поля в кучках. «Навоз отвезем, там и хлеб привезем».

Навоз кладем густо, чтобы потом в амбаре не было пусто. Кучки разбрасываются по полосам, а по полю опять проходит соха. Соха перемешивает навоз с исхудалой землей и прибавлет ей силы плодородия.

Каждый сорт хлеба любит пору. Рожь, например, «золу», то есть то время, когда земля высохнет, и чем суше сделается, тем лучше. Овес, наоборот, любит землю мокрую и, по присловке, как бы говорит пахарю: «Топчи меня в грязь, а я буду

князь». «Если уронишь на землю и на меня твой измызганный старый лапоть и забудешь его на поле – я и сквозь лапоть прорасту». Были бы только сноровка и опыт: неученого и в попы не ставят. Без знания примет, без опыта, без оглядки пахарем быть нельзя. Недаром он гадает всю зиму, а весна пришла – опять все оглядывается.

Овес, ячмень и пшеницу сеют ранние с Юрья (23 апреля), средние с Николина дня (9 мая), поздние с Ивана (15 мая) до Тихона (16 июня), но не во всех местах одинаково: смотря по почве, по стране, по климату. Ячмень, например, сеют либо в Семицкий четверг, либо в Троицкую субботу; на Митрофания (4 июня) – лен и гречу. На первый посев, боясь недоброй встречи, выезжают ночью. Во всяком случае, ни из домашних, ни из привозных семян пахарь никогда не сеет ни одного зернышка, веруя, что тогда заведутся в хлебе черви. Хорошее для посева зерно – крупное, а потому так и сказано: «Лучше голодай, а добрым семенем засевай».

Летом крестьянин перепутан работами, как сетями. В одно и то же время столько дела, что и перекреститься некогда; пот льется с лица градом – и утереться не хочется. «Шапка свалится с головы – шапки поднять не хочу», – говорит наш примерный труженик, русский пахарь, православный крестьянин, выходя в поле на работу.

Ну, тащися, сивка,
Пашней-десятиной:
Выбелим железо
О сырую землю.

***

Весело на пашне...
Ну, тащися, сивка!
Я сам-друг с тобою,
Слуга и хозяин.

***

Пашенку мы рано
С сивкою распашем,

Зернышку сготовим
Колыбель святую.

***

Его вспоит, вскормит
Мать земля сырая,
Выйдет в поле травка,
Вырастет и колос
Станет спеть, рядиться
В золотые ткани.

***

С тихою молитвой
Я вспашу, посею...
Уроди мне, Боже,
Хлеб – мое богатство![1]

Обсеявшись, станут в деревнях усердно Богу молиться, станут молебны заказывать, Пречистой Богоматери праздники справлять: Тихвинской, Владимирской, Казанской. Станут молить теплого дождя до Иванова дня (24 июня) и ясных солнечных дней до Ильина дня (20 июля).

Для роста хлеба и налива хлебного зерна сладким и питательным соком нужна влага. Когда поднялся хлеб и надо ему созревать и поспевать, дожди становятся излишними и вредными. Вот почему считаются те года благодатными и урожайными, когда весной идут теплые дожди, а летом стоят ясные дни. На первый весенний дождь такая и молитва: «Мать Божья! Подавай дождя на наш ячмень, на барский хмель, на бабину рожь, на дядину пшеницу, на девкин лен – поливай ведром». На солнечном свете и на солнечном припеке, на его лучах и тепле хлеб зреет: без солнечных дней на полях надежды плохие. Вот почему говорят крестьяне в половине лета: «Вымолите, попы, дождя до Ивана, а после и мы, грешные, умолим», да когда уже не надо и поздно. Вот почему со страху и по языческим обычаям на урожай бабы идут в поле и катаются там по

[1] Цитируется (с сокращениями) стихотворение А. В. Кольцова «Песня пахаря». – *Сост.*

жниве, приговаривая: «Жнивка-жнивка! Отдай мою силку на пест – на колотило, на молотило – на кривое веретено».

Однако летней порой подолгу пировать и праздновать не приводится: на солнечном припеке трава растет. За яровыми посевами она мигнуть не даст: подбирается пора «навозницы» на пар, на отдохнувшие за целый год поля. Лежа без работы или, как обыкновенно говорят, под паром, пашня спеет и, если прорастает дикими травами, делается пестрою травяной зарослью, то обыкновенно пропахивается, чтобы облегчить потом бороньбу. Когда разрыхлится верхний слой, уничтожится травяная заросль, воздух начинает действовать на нижние слои до тех пор, пока открыт слой верхний. Теперь дело за навозом, и навозница эта начинается в то время, когда озимая рожь в полном наливе (во время между 8 и 17 числами июня).

Едва успеют справиться с этим делом, приближается время сенокоса, косовицы. Первый покос на Ивана Купалу (24 июня), второй на Петров день (29 июня). С Петрова дня пожня: «Дзень-дзень (точат косы) на Петров день», потому и сказано: «Не хвались, баба, что зелено, а смотри, каковы Петровки». Они должны показать луга в полном цвету; полное цветение укажет время сенокоса и пообещает траву душистую, мягкую и питательную. Кузнечики полевые звенят, коростель скрипит, луга наполнены жизнью и пением: косы на плечи, деревянные лопатки, натертые варом с песком, за пояс, – и на луга шелковые, на мураву зеленую. Ласкает коса, шумит трава, и то в одном, то в другом месте ширкает о железное лезвие косы деревянная лопатка, когда коса затупится и начнет застревать и ходить ленивее. «Травы поем, – говорит коса, – зубы притуплю; песку хвачу – опять навострю». Навострилась и опять «пошла щука по заводи, искать тепла гнезда, где трава густа: опять ныряет, весь лес валяет, горы подымает».

Выходи на луга рано утром по росе: сухую траву коса не любит, пусть она сохнет подкошенною как можно ниже, под самый корешок, пусть трава досыхает на солнышке и превращается в сено. Молите о ведре, чтобы не было дождей: их сено не любит, преет, плесневеет и гниет. В это время, в пасмурную

погоду лучше и не ворошить сена граблями, а оставлять его рядами, как клала коса. На сухой погоде, отмолившись от дождя, траву переворачивают и перетряхивают, чтобы высохла и та, которая легла внизу на земле: только тогда из травы станет сено.

Косьба с виду веселая работа: ее любят подправлять песнями и всегда ими кончают ее к вечеру. Ни одна работа не любит такого спеху, как эта, когда всякий ясный солнечный день дорог для косовицы и столько же дорог для уборки. Надо поспешать складывать высохшее сено в кучи-копенки; надо эти копенки накладывать большими кучами, что называется «метать стога», прилаживая их к длинному шесту – стожару и огораживая плетнем или остожьем, чтобы не воровала сено лакомая до него домашняя скотина.<…>

На стогах с сеном, однако, не конец: надо его свозить на дворы и сеновалы по мере надобности, да так, чтобы не было больших утрат в раструске, большой гнили внизу и вверху, где обыкновенно накладываются еловые лапки или березовые ветки. Когда сделано и то и другое, от сена можно и отойти, – да и пора кончать с лугами, опять поступают на очередь поля: поспевает озимь, надо забороновать пар, а там начнут подходить яровые. Работ не огребешься, только успевай поворачиваться! «С Ильина дня работнику две угоды: ночь длинна да вода холодна; и все три заботы: и косить, и пахать, и сеять». Защипывай горох и паши под озимь, дергай лен, да и на коноплю поглядывай: не поспела ли?

Наступает в деревнях из горячих горячее время. И в самом деле – осмотримся.

Наша озимь, в прошлую зиму засеянная, к посевам ярового начинает уже колоситься, то есть на зеленом стебле ее вырастает колос, семенные зерна садятся плотными рядами на верхушке стебля. Затем рожь станет цвесть мелкими невзрачными цветочками, потом наливаться сладеньким молочным соком. В начале июля озими «доходят в наливах», да и батюшка-овес (то есть яровое) до половины дорос. Затем озими начинают зреть и поспевать, так что на Ильин день (20 июля) зажинают жниво: тут первая новина, свежий хлеб, первый

сноп. Бывает и так, что к Ильину дню вся рожь убрана, почему и говорят: «Петр (29 июня) с колоском, а Илья с колобком». Но чаще случается, что на Илью рассчитают, что рожь поспела, но убирать ее не начнут до Успеньева дня. На этот день ржаной сноп – говорят – обязательно именинник.

Наши крестьяне про рожь обыкновенно думают и говорят так: «Рожь две недели зеленится, две колосится, две отцветает, две наливает, две подсыхает». Чтобы узнать, поспел ли хлеб, хозяин его обыкновенно срывает первый попавшийся колос, вышелушивает зерно и берет его на зуб. Если зерно хрустит – значит, хлеб поспел.

И вот мы обошли кругом круглого года опять до того времени, когда надо сеять озими, опять бросать зерно в землю.

ГЛАВА V
Хлеб созрел — убирают

Погляди-ко, жена, в кут, что там пауки наши делают? Очень что-то птицы ощипывались – видел я утром...

– Трое их там (отвечает хозяйка из своего угла про пауков): двое плетут и хлопочут шибко, словно подряд у нас на паутину-то сняли. Третий высунул голову и ноги широко расставил. Слава Богу!

– Ну да как не слава Богу: одолели дожди, передыху не дают.

– Сама, хозяин, видала: кошка лапу зализывала, корова с выгона вернулась – не пошла спать под навес, а подобрала ноги да и растянулась посередь двора. Впереди стада шла вчера рыжая корова. Солнушко в краснáх садилось (алой зарей); туман не подымался, а падал...

– На небо глядеть – хорошо ты надумала. Видно, и нам надо думать с ним вместе.

– Да как не думай – пóмочь надо сбивать, соседей просить: своей силой нам поля не осилить. Ступай-ка сам, да и я уберусь – по бабам похожу, попрошу их пособить хлебушко сжать.

– Уродил нам Господь крепкий хлебушко: матерой стоит! – согласился муж, встал с лавки, надел на голову шляпу свою с перехватом – и вышел.

На улице навозные жуки поползли ему навстречу.

– «Опять добрый знак!» – подумал про себя хозяин. На поле вышел посмотреть, а там собрались вороны и галки целыми хороводами и кричат; на выгоне овцы прыгают, и так высоко и весело, что ему даже смешно стало.

– И это хорошо!

С соседом встретился (тоже выходил глядеть на поле). Сказывал встречный сосед:

– Ходил сегодня ночью в лес валежнику от скуки набрать да не попадется ли грибов. И лукошко брал. Глядел я, брат, на пни: светляки так-то важно светили.

– Вот и я, сосед, про то ж. Не придешь ли завтра пособить? Я вот бабе велю ужо изготовиться. В кабак зайду – водки куплю.

– Без дальних слов, завтра к тебе и сам приду, и всех ребят позову.

– Осталось у меня на погребу стоялое пиво, и хмелем его подправила жена...

– Так я тебе и баб своих всех приведу.

Разошлись. Пошел заказчик по избам. Входил, кланялся, просил нá помочь, ни от кого не получил отказу, – домой пошел.

Солнышко стало закатываться: встали в воздухе толкуны (мошки) густым столбом. Поиграют на одном месте, и вдруг их всех кто передвинет – толкутся на другом месте. По их примеру комары такой же хоровод затеяли, шершни и осы суетливо летают.

Полюбовался мужичок и на это и еще пуще укрепился на том, что быть завтра ведру (ясной солнечной погоде). Ретивее стал припасаться к угощению, поторапливал хозяйку тесто месить на пироги. Возились они долго, улеглись спать, но лишь до первого луча солнечного. Тогда вся помочь соберется в поле, помня и веруя святому правилу, что рука руку моет, зато обе чисты живут. Сегодня я помогу, завтра и мне не откажут. И сноп без перевясла (без перевязи) солома, а с ми-

ром, с товарищами и помощниками, и беда не убыток. Одному страшно, а всем уже не страшно. Если же все за одного, то и один за всех, – это то, что попросту и по-крестьянски называется круговой порукой, а в хлебном поле является бесплатною, готовною помощию, по́мочью.

Собирают по́мочь обыкновенно в праздничный день, когда у всех больше досуга. В Белоруссии, например, в пятницу на себя работать нельзя, к пятнице надо кончать все, что ни делал, и грешно и опасно начинать – например, запрядать новую вязку ниток, начинать шить рубаху. А придется работать на других, соберут они толоку (ту же по́мочь, только под иным именем) – идти можно, потому что пригласивший берет уже весь грех на себя (оттого там и по́мочи чаще по пятницам).

Приглашают на́ помочь такие хозяева, у которых достанет настолько времени, что можно изготовить обед и ужин, есть деньги купить вина, есть солод – сварить пиво. Угощение пойдет как плата, вместо денег. Здесь о последних всякий и вспоминать стыдится.

Денег не берут, как же после этого не покормить тех, которые за меня силы свои истощали, для меня на работе есть захотели и трудились для того лишь, чтобы и я был сыт? В таких случаях стараются не только накормить, но и накормить послаще, повкуснее, побольше. У хозяек это первым в памяти, потому что всякая знает присловку жнецов: «Ела коса кашу – пониже бери, не ела каши – ходи выше», – меньше соломы хозяину в хлебном поле, меньше сена в травяных лугах за скупость, которая все-таки в этом случае бессовестная неблагодарность. В подгородных, особенно в подмосковных, местностях, где наниматели не лучше рабочих (и все протертые и попорченные люди), не задумываются рабочие за худое угощение на помочах выговорить в глаза нанимателям такую сердито сложенную поговорку: «Квас твой квас, перешиб он нас: доберется и до того, кто и затирал-то его» (то есть готовил). После хорошего угощения забирают колосья чуть не под самые корешки, и после хорошего обеда, к солнечному

закату, в один день все поле очищено так, как будто ходили по нем не серп и не коса, а ножницы либо бритва.

Идут на́ помочь со своими серпами и граблями, идут как и в самом деле на праздник или в почетные гости: вырядились в лучшие платья, в красные ситцы, в платки с городочками. Если взглянуть на поле, и гудит оно от людского говора и цветет фабричными цветами из москательных лавок, – значит, по́мочь сбита и работа кипит. Перед началом ее в иных местах хозяйка одна или с другой женщиной выходит в поле, взявши с собою хлеб, соль и водку. Нажавши первый сноп, садятся на него и поют песню, смысл которой заключается в следующем: «Благодарю Бога, дождалась я нового хлеба, снопок жита нажала! Буду жать – не лежать, чтоб копну жита нажать; нажавши, смолотить, каши наварить и гостей накормить». Затем пьют водку и закусывают. Это – зажинки. После них смело приступают к работе, и опять работа кипит.

Подхватила одна охапку колосьев, сколько ухватила левая рука и могла спрятать под мышку, правой рукой отрезала на себя зубастым серпом этот ворошок. Бережно положила его подле себя к ногам, и опять одной рукой захватила и подобрала другой ворох колосьев, и опять их перерезала серпом. Приметнула глазами: показалось на глаз таких пучков четвертей на восемь в охапку – стал, значит, полный сноп. Надо его связать, потрудиться над ним, поворочаться. Надо его подпоясать скрутом или перевяслом, то есть пучками того же хлеба, свитого жгутом, поставить его вверх колосьями на обрезанные концы соломы да и опять собирать новый сноп. Сутул-горбат (кривой зубреный нож) скачет по полю, валит хлебушко. И в спину наклонившимся жнецам постукивает, и голову поламывать начинает – ничего этого замечать не хочется: не торчали бы только на глазах стоячие стебли. Жнут обыкновенно по ветру, начиная подбирать на себя наклоненные ветром колосья; против ветра жать – значит перепутать всю рожь так, что потом не доберешься толку и со всеми переругаешься. Пошел опять серп подбирать, подчищать поле: этот маленький, горбатенький все поле обрыщет, домой прибежит, целый год пролежит,

отдохнет. А теперь пока никому не до отдыха. И серпы на этот конец покупают хорошие, чтобы не ломались, не тупились, и очень часто привозные из чужих земель, между которыми прославилась в изделии серпов Австрия. Ходили туда наши мужички-офени[1] и покупали их из первых рук.

Вот и последний сноп, пожинальный и заветный, прозванный перед сотнями товарищей своих в поле почетным именем: на севере России обжинком, на юге – дожинком. Его отставляют в сторонку и не трогают до урочного часа. Когда поле примет жалкий вид: вместо колосистого моря станет поле, уставленное снопами в линию, строем, как на городской площади солдаты, – тогда снопы вяжут в суслоны или в большие копны: в одних местах по пяти, в других по шести и по девяти снопов в кучу, стоймя, нахлобучив сверху их последний головой вниз, гузном вверх. Сталась над снопами крыша и со скатами для воды. Пусть беспокойно шевелятся все животные: кроты старательно роют норы, мыши громко свистят, лесные птицы спешат в гнезда, водяные купаются и ныряют, мухи льнут и больно кусают; пусть все это наверное предвещает дожди, и сильные, если собаки едят траву и кошки долго умываются: хлебный суслон дождя и сырости не боится, пока прикрыт соломенной покрышкой.

Однако работа кончена: это и видно, а в особенности очень слышно. Повесивши серпы на плечи, идут жницы ужинать с поля в деревню, каши есть со всяким придатком и вкусной приправой, с покупным вином и домашней брагой. Впереди самая красивая девушка; вся голова ее в голубых васильках, васильками украшен и последний сноп с поля – дожинок. Девушку эту так и зовут «толоко́й». Идут жнецы и поют самые веселые песни: пожилые бабы басами, молодые девушки самыми визгливыми голосами, бойкие и веселые прискакивают и приплясывают. Мало таких веселых песен, какие поются на этот раз.<…>

Когда оставалось в поле небольшое количество ржи, рабочие рвали руками сорную траву из этой ржи, рвали «бороду». Самую рожь, то есть колосья, имела право рвать только

[1] Офени – коробейники, торговцы вразнос. – *Сост.*

избранная девушка. Вырывая, она делила колосья на две части и клала их крестом на землю, а посередине, по бокам и на концах клала хлеб. Остальные жнецы вязали огромный сноп, называемый «бабой», и сажали на него избранную девушку. На глазах у ней плели из колосьев и из васильков венки и, когда они были готовы, снимали «толоку» с «бабы», наряжали венками и шли позади ее. «Толока» несла в руках связанный ею крест из колосьев. <…>

Идут деревней, веселее и голосистее поют, выше скачут, хитрее приплясывают. С большим торжеством вносят в избу хозяина поля сноп-дожинок и крест из колосьев, положив его на хлеб. С хлебом и солью встречает и хозяин гостей своих. Девушка-толока садится на почетное место, в передний угол. Туда же ставится и последний сноп с поля. «Толоке» хозяин делает какой-нибудь подарок (помещики целовали ее и дарили красные башмаки). С толоки и угощение начинают: она как бы и в самом деле языческая славянская живая богиня, на место той, которой теперь не веруют, но в древности называли также – толокой и почитали покровительницей жатвы.

Так в угрюмой Белоруссии и в поэтической Малороссии. В нашей суровой Великороссии обычай этот забыли и, помня и уважая последний сноп под именем обжинка, в одних местах оставляют его в поле, называя именинником. Веруют, что, оставаясь там на всю зиму, сноп этот спасает землю от бесплодия. В других местах Великороссии вместо снопа забывают в поле несжатым клок хлеба, называемый «бородой», в третьих – обжинок приносят домой, чтобы на Покров закормить им скотину, заколдовать от болезней на всю зиму, так как со дня Покрова Пресвятой Богородицы домашний скот: коров, овец и лошадей, уже не пускают в поля, а держат дома, в хлевах на дворе под навесами, в возможном тепле. В иных местах великороссийских губерний последний сноп с поля одевают бабой, в поневу и кичку[1], перевязывают поясом, наде-

[1] Понева – в северных местностях так назывался женский головной убор в виде повязки, в центральных и южных губерниях – род юбки. Кичка, кика – головной убор замужних женщин. – *Сост.*

вают платки. Одна баба возьмет его на руки, идет впереди и пляшет: выходит смешно, а не так красиво, как в степных малороссийских губерниях.

Жниво кончено, хлеб убран: на поле ногайском, на рубеже татарском стояли столбы точеные, головки золоченые, – теперь лежат люди побиты, у них головы обриты.

Стало хлебное поле голое, некрасивое на вид; стоят по нем кучки, одна на другую похожие как две капли воды – нет никакого разнообразия; что всегда так приятно глазу. У такого поля переменилось теперь и самое имя: стали его звать пожниво, пожнище, а по тому, какой сорт хлеба рос на нем – ржище, овсище, гречище (пожней зовут окошенный луг, травное место). По сжатому полю вырастет трава и между нею любимые деревенскими ребятами песты – дикая спаржа. На них потом набредут свиньи и начнут поедать всласть.

У жнецов от работ спины болят, – один другому жалуется то на боль в пояснице, то на лом в плечах. Кто на печь прилег отлежаться, а пожалуй, и в баню сходил веником потрепать больные места, чтобы отошло, то есть прекратились приливы крови. Отдыхать после жатвы поспешают: на носу опять работа еще тяжелее жатвы.

На выручку, в защиту и для облегчения человеческой силы придуманы жатвенные машины. За жатвенной машиной в улучшенных ученых хозяйствах пускают вместо ручных для уборки хлеба деревянные и железные конные грабли.

Надо теперь отделять зерно от колосьев, то есть молотить хлеб. Подходит время молотьбы. Греча и просо, например, обыкновенно не любят ждать – сейчас начнут осыпаться и отдохнуть хозяевам не дают, в особенности греча: «государыня гречиха стоит боярыней, а хватит морозом – веди на калечий двор». Иногда тут же на пашне расчищают место, то есть проходят косулей или сохой; дерн свозят в другое место. Оставшиеся коренья вырезают старой ломаной косой, которую не жаль тупить. Поднятое место ногами не протопчешь, не напляшешь до того, чтобы стало очень гладко, как требуется. Убивают огромной тяжелой колотушкой, а кое-где проез-

жают на лошади с большим тяжелым каменным цилиндром, окованным железным листом. Обровняют края топором, и готово: станет ток, как говорят на юге России, или «ладонь», как называют на севере. Иногда для молотьбы расчищают место на реках по льду как природном гладком месте, которое требует очень легкой работы – расчистки снега. Впрочем, на пашнях расчищают ток очень редко. Обыкновенно эти *ладони* заготовлены раньше на гуменниках, подле самых деревень, где стоят овины. Перед молотьбой их только подправляют и сюда свозят снопы с поля на телегах, у которых имеется особое название – андрецов (одноколка, т. е. телега на двух колесах). Бывают андрецы и четырехколесные, как быть телега. Чтобы больше стащить снопов, спереди и сзади укрепляют решетчатые, в виде лестниц, стойки, к которым снопы и подвязываются. Бока андрецов также выше, чем у телег.

Чтобы заставить себя торопиться работать, крестьяне кладут срок на конец августа и 28-го числа этого месяца называют *скирдницей*: хлеб к этому дню должен быть сложен в скирды – долгие и большие клади с подстилкой (от сырости) оплетенного на кольях хвороста, чтобы не подпревало и не солодело зерно на осенних дождях и в мокроте. Длинными скирдами складывают снопы, впрочем, только в хлебородных местах. На севере кладка поменьше и круглая, называемая *одоньем,* вроде стога сена, с острой оберткой на верху из 25–40 копен. Бедные складывают снопы кучей, но поменьше и потоньше, и тогда хлебная кладь зовется *кладушкой.*

Вот и «ладонь», действительно гладкая, как ладонь на руке, совсем готова, хоть бы и молотить начать. Южное солнышко это позволяет; на северном солнце хлеб скорее зреет, потому что солнце дольше светит, но не совсем дозревает, потому что солнце несильно печет. Надобна ему помощь. Помогает огонь, огневой жар. Следует снопы досушивать, чтобы зерно легче отскакивало от колоса, иначе его не выбьешь. Для такой сушки отделяются на краях деревень особые места, называемые *гумнами*, а на них строятся особые здания – *овины.* Овины известны в разных местах под разными именами: зо-

вут их осеть, евня, клуня, шыш. От овина досушенный хлеб будет называться потом в торговле овинным, тогда как дозрелый на солнце в черноземных землях Малороссии и за Окой, в Великой России, слывет, как уже сказано нами, под именем сыромолотного.

Вот и сам овин глядит на «ладонь» одним своим глазом – верхним окном или четырехугольной дырой, называемой садилом. Под окном укреплены жерди в виде балкона. Овин двухэтажный. Верхний от нижнего отделяется деревянным полом, но таким, который весь решетчатый, очень неплотный, с промежутками: наложены тонкие и кривые бревна, называемые колосниками или колесницами. В нижнем этаже яма в земле; в яму складываются дрова и разводится огонь. Жар от него должен проходить в верхний этаж сквозь решетчатый пол, по которому наверху раскиданы развязанные снопы. Один берет из суслона снопы руками, передает другому. Этот в окно-садило принимает снопы и сажает их на пол или, проще сказать, на колесницы. Принявши несколько снопов, развязывают и раскидывают их. Работа распределена самое малое на три руки, как говорят в деревнях:

– Ты, Исай, наверх ступай; ты, Денис, иди на низ, а ты, Гаврила, подержись за молотило!

Жар подсушивает снопы, да, на беду, нередко и поджигает. Овин сгорает как свечка, как порох: надо хлопотать об одном лишь, чтобы не загорелись соседи, не занялась вся деревня. И это бывает нередко. Оглянитесь в деревнях осенью: то и дело горят будто свечки; это сгорают овины, и очень нередко потом ходят по соседним деревням оборванные толпы с немытыми лицами, закопченные погорельцы, просят Христа ради на погорелое место, а место это – целая деревня. Чтобы не летели искры, в верхнем ярусе овина прилаживают около стены доски или лавочки, называемые запажинами. В других местах эти овины, которые помнят царя Гороха и войну грибов с опенками, бросили; вместо них молотят и сушат хлеб в ригах – молотильных сараях с овином, крытых токах с сушилом. Рига больше овина: в нее накладывают 5 тысяч снопов, в овине

помещается самое большое 500. Первый овин обыкновенно называют именинником; именины эти в лесных северных губерниях полагаются 24 сентября, на Феклу-заревницу.

В овине или риге на жару хлеб окончательно дозреет: колос подсохнет, потеряет клейкость и может зерно выпустить, если опять не осыреет и не намокнет. Около овинов молотят хлеб на открытом воздухе. Для этого выждут ясный день, станут вынимать снопы из овина, станут расстилать по длине «ладони» двумя рядами: колосьями или бородой снопа внутрь, комлями или гузлом к покатости ладони, к краям, или *берегам*, ее. Затем, благословясь, за молотьбу, для чего уже и инструмент нехитрый давно готов: вырезана в лесу палка такой длины, чтобы от земли подпирала бороду, приходилась до подбородка. Это рукоятка, ручка. К ней привешена другая палка в аршин длиной и укреплена на кожаном ремешке гвоздочками. Это собственно колотило, или тяпало. Весь дешевый инструмент на севере называется молотилом, на юге, за Москвой, – цепом.

Орудие готово. Теперь ему нужен помощник – сноровка и уменье, да и большая сила и крепкое здоровье: весьма немногие выдерживают эту работу без расстройства его. Работник каждую минуту должен поднять цеп вверх и опустить его вниз 37 раз. Если работать 10 часов, надо нахлопать 22 тысячи ударов очень тяжелым орудием. Только этого и добился вековой опыт, пока не вступилась наука и ученые люди не выдумали машин для того, чтобы сберегать человеческую силу и время, которое может с пользою пригодиться на другое. Придумали молотильные катки и навалили их на спину животных – пусть эти таскают за человека. Выдумали молотилки – целые машины многоразличных систем устройства, и дешевые, и дорогие, с участием людских рук и с помощью водяных паров. Устроили для них мастерские, но продают только богатым людям, господам-хозяевам: крестьянам не купить, а потому эти и остаются при своем горбе и на старом труде. Пожалеть их можно, но не винить же их за бедность и необразование! Да и что ж им делать? Не шуба мужика греет и кормит, отвечают они, а этот

самый цеп. Стало быть, бери молотило и приноравливайся к товарищам: обивай в такт, сперва около колосьев слегка, а потом около перевясла, то есть у тальи снопа и у гузла для того, чтобы и коротенькая солома не ушла от ударов. Пробил один ряд с одного конца до другого, перевороти на другую сторону и опять обивай, а если хлеб сыр, то молоти до 8 раз. При первом отбое получаются зерна самые лучшие. Снопы развязывают и отворачивают. Это первый посад. Солому сгребают граблями с длинными зубьями, вытряхивают зерна и сносят охапками или связывают снопиками.

Намолоченное зерно сгребли граблями на горбок тока во всю его длину гребешком, если мало зерна, и сложили его ворохом или кучей к сторонке, если много. Затем второй посад: опять пошло хлопотать молотило: «Потату-потаты, такату-такаты, а яички ворохом несутся», как верно сказано в народной загадке про молотьбу хлеба. Или так: «Летят гуськи, дубовы носки, – говорят гуськи: чекоты, чекоты, чекотушечки»[1].

Да и опять скажем словами загадки, да только другой: «Бились кругом, перебились кругом, в клеть пошли – перевешались». Кончена молотьба – цепы-молотила на стену повесили до будущего года; у молотильщиков головы болят только до завтрашнего дня – настукали. Оттого-то на такую работу всего меньше охотятся:

– Тит, – иди молотить!

– Брюхо болит.

– Тит, – иди вино пить!

– Ох, дай-ко в полушубок оболокусь, да как-нибудь по стенке доволокусь.

Неленивым и охотливым работникам за труды праведные – от хозяина угощение. За то, что ему хлеба достался ворошок, молотильщикам поставит он каши горшок. За молотьбой уже дела немудреные: сами хозяева своей семьей справятся. <…>

[1] В некоторых местах России при подъеме и опускании цепа при молотьбе хлеба существуют разные приемы: в Великой России бьют всегда от руки, в Малороссии молотят через руку. Захожие с севера люди, «москали» (солдаты и купеческие приказчики), подсмеиваются над «хохлами», говоря: «Хохлацкий цеп на все стороны бьет». (*Примеч. С. В. Максимова*).

Станем же следить и вглядываться, что будут делать дальше.

Теперь нужно отделить зерно от остей, соломы, мякины, колоса, сорных трав и пыли – словом, надо *веять*. Делают это ветром: из большого вороха берут зерна на совок или лопату и взбрасывают вверх против ветра дугой. Мякину, то есть измельченный и разрушенный цепами хлебный колос, как вещество более легкое, подхватывает ветер и уносит прочь от вороха. Легкое зерно ложится ближе к вороху: это охвостье. Еще ближе к куче упадает зерно средней доброты и подле самой кучи самое тяжелое, а стало быть и лучшее, так называемое голова или чело. Охвостье надо еще подсевать на ручном грохоте с двумя ручками: зерно перемешано с семенами сорных трав и годится на корм животным. Чело идет на семена, серединка и на свое пропитание, и на продажу.

Впрочем, я поспешил. Зерно лопатой провеяно, да грохотом не подсеяно, чтобы вконец очистить его, и на этот раз от одной только перебитой соломы. Осталась пыль: худой хозяин пылью не брезгает, хорошая хозяйка подсеянное зерно насыпает на ночвы – плетенную в виде корыта из прутьев мелкую корзинку с наклоном. Сядет она на ветру, поставит на колени и начнет потряхивать, заставляя зерна прыгать вверх; ветер выдувает пыль. Легкие пылинки улетают, тяжелые ложатся сверху: их легко сбросить руками. Работа эта очень утомительна.

Точно так же готовность ученых и просвещенных людей не задумалась прислужиться и на этот раз. Выдуманы сеялки, выдуманы и веялки, круподерки и крупорушки, жатвенные машины, молотильные машины, сортировки для разбора хлеба по сортам, чистилки: решительно все, что надо в сельском хозяйстве, и везде там, где тратится крестьянская сила и действительно в поте лица снискивается хлеб. Простые и дешевые разумными крестьянами приняты, поняты и пущены в ход и дело. Дорогие опять-таки только для богатых: мозолистые крестьянские руки с ними плохо управляются, да и машины ломаются, а починить их некому. Невежество над вымыслами высоких умов смеется, а тем не менее дело впе-

ред не двигается. И об этих машинах мы говорить не будем, так как у крестьян их не видим. <…>

Сколько, однако, ни утомительна ручная работа, продуванье зерна на ветру от пыли – последнее дело в длинной лестнице уходов за хлебным колосом и зерном. Продуты зерна, – теперь их можно положить на ручной жернов, между плоскими, кремнистой породы камнями, и смолоть в муку. Из муки этой можно испечь хлебец и съесть новую новинку: первый хлеб из нележалого зерна не очень вкусный, но зато очень приятный, потому что дело рук своих, добытый тяжелым трудом после мучительных ожиданий и бесчисленных страхов. Молотьбой и веянием отделены зерна от неперевариваемых и непитательных веществ: соломы и шелухи. Зерна высушены для того, чтобы не портились и давали съедомый хлеб. Они смолоты, превращены в муку, чтобы можно было приготовить тесто, и при этом чем больше измельчены, тем лучше: хлебные зерна сами по себе неперевариваемы, потому что обложены оболочкой, непроницаемой для желудочных соков.

Зерна просеяны от непитательных отрубей. Мука смешана с водой, чтобы еще больше облегчить переваривание. Чтобы тесто сделать легкопроницаемым для слюны, желудочных соков, ему придают ноздреватый вид. Этого достигают спиртовым брожением с помощью дрожжей или закваски, то есть старого бродившего хлеба.

Тороватая, нескупая хозяйка ждет для хлебной нови не ржаную муку, а пшеничную. Опытная хозяйка разведет муку на воде, сделает тягучее тесто, оставит его на час в покое, опустит сито в воду, положит на это сито тесто, слегка подавит рукой и добьется того, что вода с сита будет стекать не молочного цвета, а совершенно чистою. Она и сама не знает, что этим выделяет из муки кусочки крахмала, но, живя опытом и наукой дедов, испечет гостям хлеб превосходный. К тесту она прибавит закваски: для дорогих гостей пивные дрожжи, чтобы вышел хлеб самый лучший и самый легкий. Пивные дрожжи – это испод, отсадок пива, когда оно бродило, то есть делалось пивом и крепким. Сберегала хозяйка эти

дрожжи в глубокой посудине (не сливала в бочонок, из которого им легко убежать), освежала там холодной колодезной водой, а теперь примешала к тесту и поставила в теплое место в квашне. Обдала затем кипятком: опарила тесто, оттого и стало оно называться опарой, стала в ней закваска надуваться ноздрями, наполняться воздухом винного спирта. В опаре началось брожение, опара всходит. Может опара и уйти, то есть вылиться из квашни. Но опытная хозяйка вынула ее и начала месить руками очень старательно, около получаса времени, не очень круто, потому что думает печь хлеба не в чашке, а прямо в печи, которую уже затопила и успела нагреть (из холодной печи выходит хлеб тяжелый и не очень хороший). После месива тесто опять на печи, на теплом месте, прикрытое шерстяной тряпкой. В опаре началось второе брожение – спиртовое. Крахмал и клетчатка зерна обратились в сахар; с сахаром и от него в растительных веществах начинается брожение, то есть сильное и как бы внезапное движение веществ, которые принялись разлагаться. Суета и кутерьма эта кончается тем, что сахар превращается в спирт, тот самый, из которого приготовляют на винокуренных заводах водку (но об этом дальше). Вот почему хлеб (особенно ржаной и горячий) всегда отдает в нос крепким запахом спирта и тем же запахом пропитываются булочные, когда выносят горячие булки и начинают продажу. За спиртным брожением в хлебной опаре по химическому закону начнется брожение кислое, уксусное: в опаре вместо спирта зарождается уксус. Хозяйка этого объяснить не сумеет, но по опыту не даст опаре перекиснуть. Попробуем объяснить за нее.

Для того и завела она тесто рано утром: на второе брожение не дала ему подняться до половины, переждала только час времени. А тем временем у ней протопилась печь. Стряпуха сгребла уголья к стороне, чисто подмела печь еловым веничком, выкинула тесто из квашни, начала торопливо валять хлебы и тотчас же посадила их в печь. Печной жар теперь по-своему не скапризничает, а приготовит такой хлеб, какой нашей хозяйке желателен.

Вынет она его на лопате когда знает, постукает, приложит ухо и по слуху знает – долго ли ему сидеть в печи. Засидеться хозяйка не даст, вынет – смочит водицею верхушку, подстелит капустного листа, посадит, даст отдохнуть. А когда соберутся гости и взрежет она хлеб ножом, поперек толстым сукроем, да и смотреть не станет – так точно: набух так, как следует. Отдельные частички, из которых состоит хлеб, так расширились, что масса печеного хлеба совершенно легко может быть переработана органами пищеварения даже избалованных, изнеженных желудков. А так как на хозяйкину новь собрались все такие гости, что привыкли есть хлеб от колыбели и могут съесть великое множество, то их хозяйкина стряпня не удивляет. Молотильщикам не этого надо. Новое блюдо только придирка и на первом месте: без трех горячих не отделаешься, без жареной баранины не сядут, без двух каш да без двух молоков (свежего и кислого), да без пшеничного пирога (пожалуй, хоть из той же нови) и разговаривать не станут. Да винца сначала, да квас во весь обед, чтобы облиться им можно было с головы до пят, да в конце обеда пивца, заправленного хмелем, – тогда и обеденный разговор пойдет весело и опять попоют песен. С песнями и по домам разойдутся.

У наших хозяев все это припасено: милости просим! Распояшьтесь, дорогие гости, кушачки по полочкам! Кушайте на здоровье! – не всякого по имени, а всякому челом!

За стол гости прямо не сядут, а сначала непременно вымоют руки, кстати, смоют грязь, налипшую на работе, да и исполнят прадедовский обычай: русский человек еще ни разу не садился за стол и за еду с грязными руками (разве в виде особого исключения). Редко и выходят из-за стола, опять-таки не сплеснувши рук водой из глиняного с рыльцем рукомойника (так он и приделывается всегда у входа за хозяйкину перегородку; тут висит и рукотерка-полотенце). Хозяйкино дело смотреть, чтобы вода была в рукомойнике, и дело всех православных крестьян сидеть за столом чинно, унимать от смеху смешливых, пустяшных разговоров не водить и смотреть на хлебный стол как на Божий престол.

Проба нови, нового хлеба – праздник. И винца крестьяне купят, чтобы поздравить друг друга заздравной чаркой. Сядут они чинно за стол, чинно нарежут ломоточки нового хлеба, осенятся крестным знамением, и как первый кусок в рот, так и за ухо. Теребят все друг друга за правое ухо, с ласковым приговором: «Первая-де новинка! Больней теребить – слаще скажется». За этой новью, по древнему обычаю, едут вскоре попы собирать новину с крестьян на себя.

Сами крестьяне делают складчины, братчины, варят пиво: пошли бабьи праздники. Для этой хлебной нови спешат после Семенова дня (1 сентября), когда думают, что семена выплывают из колосьев, – спешат работать. Ленивых велит пословица гонять тогда в поле вальком, а не то и плетью. Работают с огнем, выходят на полосу в поле, что называется с *головней*, то есть зажигают костры. На Воздвиженье (14 сентября) последняя копна с поля. 24 сентября, день первомученицы Феклы, называется *заревницей*: зарево от овинных огней всюду видно; издали, как волчьи глаза, светят овины в темных осенних ночах. Начинаются замолотки: спешат с огнем молотить по утрам, чтобы на Покров успеть закормить скотину пожинальным снопом, дожинком, то есть последним снопом с поля. С Покрова начинают держать скот дома. В глухих местах, думают темные люди, что леший вместо ветра выходит из лесу в поле раскидывать снопы и шалит с ними в овинах, а потому надевают тулуп наизнанку, берут кочергу и садятся стеречь и пугать чертову нечистую и злую силу: и в поле, и на овинах.

Добытое зерно складывают в клетях и в амбарах в сусеки. Где хлеба много, а леса истреблены, там ссыпают хлеб в земляные *ямы*. Сухое зерно в этих ямах сохраняется превосходно, в особенности от огня и пропажи. Однако голодные шведы, шедшие с Карлом XII под Полтаву, проходя Белоруссией, придумали такую штуку. Сообразивши, что в зерне довольно теплоты, которая на поверхности земли сказывается тем, что сушит выпадающую росу; перед восходом солнца искали места, где не было росы, и угадывали, выгре-

бали хлеб. Хлебная яма выкапывается в глиняном грунте в виде кувшина, выжигается соломой и обивается берестой. Наружное отверстие закрывают доской и засыпают землей: иногда делается небольшая крыша или колпак. Зажиточные люди выкапывают ямы на гумнах под крышей и, насыпая хлебом, заваливают соломой и сноповым хлебом. Для воздуха совершенно нет доступа; сухое железо не ржавеет, сухая мука не портится, в сухом месте мешок не гниет, а потому и в тех местах уже внуки наталкиваются на дедовские хлебные запасы, превосходно сохранившиеся в течение нескольких десятков лет.

Хлебная новина, мучная новь привела нас к одному концу, однако не вывела. Мы попали на ручные жернова – самое древнее оружие для измельчения зерна на муку, но дошли опять-таки до силы человеческой руки. Руке на двух камнях не смолоть всех ворохов зерен, которые снимаются с широких и длинных полей и обмолачиваются на худой конец четырьмя работниками. Мололи на жерновах в старину, да зато хлеб из муки ели только богачи, которые для этого должны были накоплять новое сословие, так называемых рабов. Сами рабы ели хлебные зерна сырыми, немолотыми, мука считалась положительно роскошью до тех пор, пока люди не познали силы падения воды и движения ветра. Познали сначала первое, потом уже далось людям и другое. Явились на свете мельницы: водяные и ветряные. Время появления на белом свете первых с трудом помнят, появление ветряных не очень давнее.

Вот и можно бы на мельницу поехать и перемолоть весь убранный хлеб в муку, да зерно не велит. Сразу не попадешь и на мельницу: лопатой зерна туда не натаскаешь, горстями не наносишь. Обмолоченный хлеб ссыпан, правда, в амбары, кладовушки или тоже в клети под плотную крышу в защиту от дождя и в сусеки – деревянные ящики, в защиту от сырости. От мышей ему тут не уберечься, да от мышей не уберегается хлеб и тогда, когда был на корню, в поле.<…>

Сильным врагом хлеба в житницах являются мелкие насекомые: долгоносик, или черный червь, жучок с хоботком,

ростом не больше блохи, один из опасных врагов, потому что трудно истребляется. Другой долгоносик белый: он меньше вредит и его легко истребить соленой водой, перцем, напуском муравьев. Третий – пшеничная мошка, которая особенно любит пшеницу. Часто случается, что когда из куколки сделается бабочка, на задней части тела остается остов выеденного зерна; свободны только крылья. Случалось видеть таких бабочек массы, и целые пшеничные поля, так сказать, взлетали на воздух, и улетали с ними тогда все надежды земледельцев. В амбарах число врагов увеличивается животным – хомяком, ненавистным похитителем зерен, точно так же как на полях сурком – зверьком в особенности плодовитым и тем очень докучным. Надо поскорее везти хлеб на мельницу. Чтобы свезти хлеб на мельницу и превратить его в муку, надо его ссыпать в куль, а за кулем надо съездить на базар, если не уберeглось старых кулей. Куль – покупная вещь, и приготовлением их занимаются целые местности. Исключительно кормятся этим ремеслом сотни деревень по лесным местам, около сплавных рек, там, где много выросло лесов липовых. Славится этим в особенности Ветлужский уезд Костромской губернии и много мест в Вятской губернии.

И так на самой половине рассказов наших мы добрались и до куля, а потому здесь и остановимся отдохнуть вместе с пахарями, у которых теперь много горя свалилось с плеч. Старики завалились на печь, девушки засветили лучину, начали прясть, запели песни; покатились с гор на саночках; ребята в снежки заиграли; потянулись долгие вечера и длинные сказки про сильных могучих богатырей. Заснуло на улице, зато оживилось в избах, которые во все рабочее время стояли пустыми. А там веселые святки, развеселая масленица. За то они и веселы, что есть запасы, есть чем полакомиться, приправить беседу яшной брагой или пивом. Потянулась длинная безработная зима, и длинна она кажется затем, чтобы успел отдохнуть натрудившийся вдосталь на летних, весенних и осенних работах наш пахарь. Забыл он о поле. На время с его примера забудем и мы.

На досуге и кстати теперь потолкуем о пустом порожнем рогожном куле; продолжим о нем начатую сказку, если и не веселую и страшную, то во всяком случае, правдивую.

ГЛАВА VI
Куль и мешок

В черных, или лиственных, лесах, в смеси берез, осин, рябин, попадается липа иногда в таком множестве, что липовые деревья вырастают семействами, целыми сплошными лесами. Возвышенный кряж средней России, отделяющий притоки Дона от рек, впадающих в Волгу, покрыт почти сплошь липовым лесом. Отсюда липа идет к северу до верховьев Ветлуги – притока Волги и р. Юга – притока Северной Двины.

Здесь, на другом водоразделе земной возвышенности, начинается краснолесье сплошное, кончается область липы – любимого дерева Петра Великого, насадившего собственными руками большие сады в Петербурге, Киеве, Воронеже, Полтаве, Петергофе, Риге – сады лип, составляющих одно из важнейших дерев русского сельского хозяйства. Липа цветет нежным, душистым цветом, целебным как всем известное потогонное средство и, между прочим, весьма любимым пчелами.

Дикие пчелы очень охотно водятся в липовых лесах, а потому там процветает пчеловодство. В самые древние времена славяне, живя в лесах и называясь за то древлянами, платили дань медом и воском. В наши времена много таких мест в подобных лесах, где люди от липовых лесов получают пропитание и живы липой потому только, что дикие пчелы любят деревья эти, носят сюда мед и приготовляют воск. Лучший мед – благовонный, рассыпчатый и белый, почти как снег, называется липовым и набирается пчелами с липовых цветов. В липовых дуплах пчелы строят ульи; из липовых колод, или кряжей, пчелиные борти – искусственные ульи для тех пчелиных роев, которые отделяются и отлетают прочь от главных роев. Чем выше на деревьях борти, тем лучше для

пчел: иногда подняты они от земли сажен на 5 и на 6. Подняться туда – особое искусство, и мужик-бортник в этом деле как ловкий акробат, показывающий свои штуки за деньги. Здесь показ даром, и дело – для дела.<…>

Из липового дерева, очень мягкого и нежного, – и лагуны, то есть выдолбленные ведерки для хранения меду, для ссыпки зерна (особенно семенного), и множество всяких изделий от ложки до чашки для домашнего крестьянского обихода. Из бревен жгут самый лучший поташ – щелочную соль, пригодную на множество потреб в общежитии. Но всего этого еще очень мало.

Десятки тысяч народу находят в липовых лесах себе пропитание только потому, что липа, как и всякое другое дерево, состоит из коры, луба, древесины и сердцевины. Древесина идет на постройки (зданий) и поделки (крестьянской деревянной посуды). Из молодого луба, то есть волокнистого, неокрепшего подкорья, получают лыко (дерут лыки). Из старого луба, со старых лип, сдирают мочало. Из лык молодых деревьев плетут лапти – обыкновенную русскую обувь, а подковыривая лыковое плетенье веревками из старых канатов, получают эту дешевую обувь дома, непокупную. Только в сытых богатых местах русские крестьяне оделись в кожаные сапоги; во всех лесных местах щеголяют они в лаптях: там, говорят, сосна кормит, липа одевает. Из сосны, из ее молодых, не отвердевших еще слоев древесины делают муку и прибавляют к хлебной муке по нужде малохлебья и из боязни всегда вероятных голодовок.

Перерубая старые липы (что делают обыкновенно весною, когда дерево в соку), получают кряжи известной длины (в $4^1/_2$ сажени). Прорезая на них кору и луб до древесины, получают то, что называют в продаже лубьем и из чего делаются короба – ящики для товаров. Это лубье, содранное с дерева, закатывается в трубки; трубки спускают в мочило или загороженное в лесных ручейках место и нагнетают слоем каменьев. В воде лубье лежит до заморозков, когда его вынимают, раскладывают корою вниз и с помощью коче-

дыка – короткого шила, отделяют явственно видимый слой мочалы. В образовавшуюся таким образом щель вводят палку и, придерживая одной ногой кору, другой двигают палку, по мере того как руками отдирают волокна, или *мочалу*, названную так в отличие от немоченых лык, потому что *мокла* в воде. Три-четыре хороших работника могут в день вынуть 50 трубок и снять с них мочалу. Мочало для стока воды развешивают до зимы. В долгие и темные зимние вечера начинают ткать кули, половики, рогожи и лучший и более прочный вид последних – циновки. В день два рабочих могут выткать 12 кулевых рогож.

Для тканья мочальных рогож тот же закон, как для всех материй, какие мы носим на платье, не исключая дорогих и роскошных шелковых и бархатных. Крайности сходятся. Для рогож нет только освещенных газом фабрик и просвещенных фабрикантов, меньше чести и уважения. В лыко обутый, лыком подпоясанный простоплетеный мужичок лесных губерний и липовых ветлужских лесов устраивает свою ткацкую фабрику очень нехитро: уставляет два дерева концами в стену, а другими в стойку. Это стан. Вдоль идут рогожные закраины, а от них мочальная основа, то есть продольные ленты, основанные на нехитром стану и пропущенные в берды. Бердами, которые приспущены сверху, но ходят на блоке, приколачивается к основе уток, то есть поперечное тканье, а в этом деле – нарезанные ленты мочалы в ширину рогожи. Уточные ленты пропускаются в основу деревянной иглой, прибиваются палочкой или трепальцем – лопаткой и защелкиваются бердом. Бердо (род гребня с деревянными зубьями, сквозь которые продеваются нити основы) – рогожное такое устройство, что одна мочалина идет между зубьями, а другая продевается сквозь самый зуб. Деревянная игла заменяет на этот раз челнок обыкновенных носильных бумажных, шерстяных и шелковых тканей – челнок или колодочку с носками на оба конца и с гнездом в середине, куда вставляется не иглой, а руками через каждый ряд основы, и прибивается бердом, в котором каждая мочалина основы пропускается сквозь спицы.

Такое продеванье замедляет дело, отчего на Ветлуге перестали делать рогожи, находя промысел невыгодным. <…>

Когда уточное мочало пропущено в основу, концы утока срезывают и закручивают, заплетая с концами основы на соломенных жгутах, как и быть надо продажной рогоже. Посмотреть на это дело четверть часа ребенку – значит все понять и узнать, как делается эта материя, из которой шьют кулье. Впрочем, очень часто ткут рогожу и дети (двое), третий, взрослый, сортирует мочало: более прочное и лучшее идет на основу, худшее поступает на уток. Вот и материя, которая во многих случаях так важна и пригодна: бурлаки на Волге распорют куль, приладят мочалу да и пустят рогожу на парус. Купцы-хлебники кладут кулевые рогожи в сенях и комнатах вместо ковра обтирать ноги хлебным продавцам и бурлакам, а сами, под защитой их, натянутых на кибитки, в снег и ветер переезжают с базара на ярмарку, с ярмарки на пристань, в полном удовольствии и безопасности. И здесь, в Петербурге, укутываются в нее от дождя и снега те ломовые извозчики, которые перевозят тот же хлеб с Калашниковой хлебной пристани в городские мучные лабазы. В том же куле укрывается хлеб, а подчас и мука.

Где ткут рогожи, там шьют и кулье. Мучные кули – самые прочные и большие. Рогожа в них называется пудовкой: $1^{3}/_{4}$ аршина[1] длины, $3^{1}/_{4}$ аршина ширины, весом до 16 фунтов[2]. Под овес идет кулье тридцатка, полегче (фунтов до шести). Куль идет как отвлеченная величина за меру зерновых хлебов, означая четверть: овса – шесть пудов пять фунтов, ржи – девять пудов десять фунтов. Худая рогожа не на кулье, а на покрышки тех же хлебных кулей, называется крышечною полупудовкою или таевочною[3].

[1] Один аршин равен 71,12 см. – *Сост.*

[2] Один фунт равен 409,5 г. – *Сост.*

[3] Насколько рогоженный промысел мало кормит, доказывают калужане (жители Мосальского и Жиздринского уездов), которые после таких работ занимаются нищенством, ходят по деревням и собирают на пропитание милостыню. (*Примеч. С. В. Максимова*).

Когда рогожа готова, сшить куль или рогожный мешок и дома немудрено. Впрочем, где делают мочало, там и кули шьют большой изогнутой иглой, в день до двухсот штук. Хлебные кули бывают обыкновенно двойные, рогожа поставляется сюда самая лучшая.

Если куль – покупное дело, то холщовый мешок – дело домашнее. На мешки идут нити из конопли или из ее волокон, называемых пенькой, самых грубых и самых дешевых, так называемая пеньковая пакля – очески, что остается после чесанья гребнем и кажет негодною дрянью. Узел попадет – не брезгают, крупная соломина подвернется – пожалуй, как будто даже и лучше. Холст и полотно, дерюга на мешки и голландское полотно на тончайшие рубашки опять родные братья, точно так же, как по способу тканья они ближние свойственники с той же рогожей на хлебном куле. Куль из рогож веревками, мешок из дерюжного холста грубыми суровыми нитками сшить очень просто даже не бабам, а малым ребятам: мешок шьют либо из одного полотнища, сложенного вдвое, либо из двух половинок. Мешок идет потом и в звании и с достоинством хлебной меры для пшеничной муки и крупчатки: в мешке осминник (четыре четверика) или пять пудов.

На деревенских огородах около гряд с капустой и редькой, или на гуменниках, а чаще и промеж гумна и двора, но всегда на глазах и подле дому, отводится место конопляникам. Очень глубоко взрывают землю, очень обильно, не скупясь, удобряют и сеют маслянистые и круглые семена конопли (конопель, конопле) – растения с так называемыми женскими цветами и замашку – по́сконь – с мужскими цветами (цветы первого растения дают семена, цветы поскони остаются без плода и блекнут ранее женских). Замашка вырастает выше конопли и стоит красивее, метелка ее от ветру машет туда и сюда (оттого и замашка, хотя кое-где зовут ее и дерганцами, и по́сконью). В мае, обыкновенно в середине, около Олены (на день царя Константина и матери его Елены, 21 мая) начинают посевы льнов и коноплей. Конечно, и здесь не без примет и правил: были длинны в конце зимы

ледяные сосульки на крышах и под окнами, мытое белье зимой скоро сохло, хорошо рябина цветет, земля при запашке коренится (то есть обрастает мхом) – значит, льны и конопли будут длинны и хороши. Последняя примета особенно важна: земля стала теплою, в ней началось брожение, если по глыбам поля пошла зелень в виде мха и все поле оделось ею, как одеваются срубы колодцев и полусгнившее, никогда не просыхающее дерево.

Посеявши лен и коноплю, само собой начинают ждать, как об этом и распевают потом летом в хороводах, «чтобы уродился наш конопель, наш зеленой, тонок – долог, бел – волокнист». А так как когда на конопле и замашке завяжется лакомое и вкусное семя, то и повадится вор-воробей в нашу конопельку летати, нашу зеленую клевати. Изловить вора и ощипать крылья-перья трудно, то и стараются его почаще припугивать и сгонять. Для этого на коноплянинках ставят чучело, одетое в разное негодное тряпье с распростертыми руками, в шапке наподобие старика. Стараются уставить чучело так, чтобы оно вертелось и по возможности махало руками. Воробей глуп и на приманку сдается. Опуганные воробьи, однако, не обращают большого внимания и продолжают *пить семя*. Тогда в конопляники сажают живого старого старика с седой бородой, такого беззубого старика, который ничего уже не в силах делать, всю зиму лежит на печи и ест один кисель. Старик сидит в коноплях, время от времени приподнимаясь и спугивая воробьев, и все время ворчит и сердится на свою долю горькую: вот дожил до того, что только и погодился воробьев пугать. Без спугиванья воробьи разворуют семя (а из семени бьют лучшее масло для приправ постных кушаньев). С обереженьем конопля и замашка растут и зреют. Первой поспевает замашка; после, недели через три-четыре, вызревает и самая конопля: листья растения начинают вянуть и желкнуть; верхняя часть стебля принимает желтоватый цвет, а на нижней местами выступают серые пятна. В конце июля или в начале августа посконь поспела, надо дергать; конопля же стоит еще в самой цветущей зелени.

Дергают замашку или пóсконь руками (уход за ней и за коноплей обыкновенно бабье дело). Надерганную раскладывают рядами, но через день стараются мочить, сваливая в реки около запрудок, чтобы не уплывала в чужие руки. Растение мокнет неделю и две, заражает воздух и воду: кислый запах сказывает, где эта мочка совершается; в отравленной реке околевает рыба и только охотно полощутся утки. Стебли вымачиваются, наружная их оболочка при этом сгнивает; остаются мясистые частицы. Замашку расстилают теперь по лугу недели на две и дают больше сохнуть. Высушенную начинают мять, то есть очищать на простых машинах – мялках от древесины полого стебля, называемого кострикой. Рабочий берет горсть конопли в середине пучка, кладет между нижним желобом и верхним языком, плотно придерживает коноплю рукой, медленно тянет к себе, безостановочно нажимая правой рукой сверху вниз верхний язык мялки. Горсть конопли оборачивает он на все стороны и наконец продергивает сквозь мялку всю горсть конопли, которая выходит гладкою и мягкою, без узлов. Мятую пеньку свертывают в кучку весом в 6–7 фунтов, потом начинают трепать деревянным мечом и чесать на гребне с длинными и редкими зубьями. Получаются волокна столь нежные, что могут быть употреблены на довольно тонкие полотна. Посконь употребляют на пряжу, делают холсты, называемые посконными, и носят на здоровье на рубашках, а ту, которая погрубее, пускают на хлебные мешки.

С коноплей (которая поспевает позднее) возня такая же. Волокна-то этого растения и идут на канаты, на рыбацкие большие сети, а потому мы за ним гоняться не станем. На мешки идет худая посконь, которая и полагается безраздельною женскою собственностью: из хорошей они делают рубашечный холст. Где конопли много родится и много ее сеют (например, в средних губерниях), там из конопляных зерен вкусное блюдо масленка: зерна, истолченные в ступе и поджаренные на сковородке с солью и мелко изрубленным луком. Скатанная шариком, в дороге и в поле на работе – не-

заменимое блюдо. Сталось так, как говорит загадка: голову едят, тело бросают, а кожу носят.

Нечего говорить о том, что из семян собственно конопли (женской) выжимают масло, весьма жирное, весьма русским народом любимое, неизбежная приправа и великое спасенье во все среды и пятницы и во множество постных дней для подспорья невкусным постным кушаньям. Где кормят конопляным семенем кур, там эта птица раньше начинает класть яйца и т. д.

Теперь по́сконь готова в то время, когда наступают долгие осенние и зимние вечера и с ними опять соседская помощь по тем же законам старинной общины, артели и братства. Те хозяйки, у которых накопилось много чесаного льну и трепаной пеньки, затевают рабочие вечера прясть на гребнях и прялках льняную и пеньковую куделю. К тому времени и лен поспел. Щипала его хозяйка, вязала небольшими снопиками и клала рядами, так что на Ивана Постного (29 августа) пришлось последнее *стлище* на льны. Как убрала, так и начала она лен сушить и мочить: сушила на солнце, а пошли дожди – в бане и даже в избе, в печи, после хлебов. Высушенный лен брала прядками в левую руку, правой нажимала деревянный язык вроде длинного меча. Делала это опять-таки в бане и там расчесывала: кожура отлетала, разбирался лен по сортам. Хорошо прочесанный пускала она на нитки, очески прибирала на продажу канатчикам и себе берегла на дорогу: на тот же мучной мешок из льняного изгребья или нечистого омялья. Рабочие вечера эти называются супрядками именно потому, что *прядут* на них *совместно* несколько девушек, приглашенных хозяйкой из-за одного угощенья (денег также не берут, да им и не платят). При свете лучины, с песнями и шутками, с загадками и сказками выпрядают нитки на всякую стать: и тонкие и грубые, на мужскую рубаху и на хлебный мешок.

Когда ушли из избы девушки-пряхи и больше не приходили, когда нитки с клубков размотаны были на пялах в длинные пряди по счету, – тогда хозяйка прилаживала деревянный стан.

На вале натягивала основу, в челнок закладывала уток точно так же, как мы рассказали сейчас при мочале. Шуркал челнок, таща за собой нитки между нитями основы, щелкало бердо, нажимаемое ногой, и приколачивало нитку к нитке утока. Выходило наконец и рубашечное полотно, и мешочный холст, как сама хозяйка того хотела.

Не мудрено снять холст со стана, не мудрено скроить его мешком и сшить толстыми нитками. Мудреное дело, когда в бедных местах мешочную дерюгу приходится носить вместо холста на рубашке (затем и дерюга, что голое тело дерет).

– Вот тебе, муж, и от моих трудов праведных на мешки мое немудрое рукоделье! Теперь поезжай на мельницу. Мука из мешка не высыплется: мешок нов-новешенек. Заказывай муку на себя и на базар про чужих и неведомых людей, про барского и купеческого сына, про попа-батюшку и про нищую скорбную братию.

ГЛАВА VIII
На базаре

Базар с татарского слова и степного обычая – торг на свежем воздухе, на открытом месте, прямо с возов. Это условное время и место для еженедельного схода и съезда окрестных жителей для обмена своих избытков. Куль залишнего хлебца остался, надо деньги: сборщик податей приходил – зерном он не берет, а требует ходячие бумажные деньги. На базаре это добро попадается, у купцов бывает. Нет дома соли, да есть хлеб: можно подсменить прямо товар за товар. Можно обменять хлеб на деньги, а деньги на соль: все это тот же обмен, который и называется продажей и куплей, то есть торговлей. Базар это определяет самым точным и ясным образом. Один предлагает, другой берет, и берет затем, чтобы свезти, передать в третьи руки, которым то же самое нужно, да не имеют они того и взять им негде. На базаре, стало быть, нужен передатчик, посредник, купец.

Мне не надо хлеба, надо кожаные рукавицы и валяные сапоги, чтобы не зябли на работе в лесу руки и ноги. Купец возьмет у меня хлеб, даст за него деньги, сам перепродаст мой хлеб тем, кто, живя в городе, не пашет, не орет, а есть любит. На деньги можно выменять, то есть купить, и теплую шапку, и малым ребятам пряников – гостинца, следовательно, и то, чего не нужно и купить хочется не от холода, а по любви родительской. На базар выехал пахарь, который посеял мерку овса, а обмолотил семь либо восемь; по базару ходит и купец с деньгами в кармане, которые для него тот же хлеб. Отдает он деньги в люди, как бы их сеет, и хлопочет о том, чтобы получить барыш по примеру пахаря, приехавшего с барышом лишних мерок овса. Оба – люди почтенные, полезные и необходимые друг другу, не стал бы пахарь с таким усердием трудиться, если бы на избытки его не было покупателя. Наработал бы на себя, да и завалился бы на печь. У обоих важное дело, обоих свела на базаре нужда, и нужда немалая.

В начале базара, когда кабаки заперты и вина не продают, потому что в сельской церкви идет служба, базарный народ также шумлив и суетлив. Волной колышутся толпы; громким гулом отдается базарный разговор далеко по окрестности. Молчалив человек, когда у него на сердце спокойно, суетлив, когда видит, что готовы другие удалить беду, да не всю. Покупают хлеб, да дают не столько денег, сколько нужно и взять хочется. Торгуются и спорят в одном углу, налаживая дело к обоюдной выгоде. Кричат громче всех в другом месте, перебивая один у другого дешевый товар, сбитый с настоящей цены, по уступке от самой крайней нужды и самой оборванной бедностью. Прибыль с убылью смешались – ничего на базаре не разберешь: галдит и шумит он, как будто в том только и все его дело. Верно только одно: пока мужик жал хлеб да обмолачивал, по тяжести работы ставил себе хлеб в высокую цену, кажется, все бы деньги взял за него, а вот на базар привез – велят прислушиваться, что другие скажут и во что труд поставят. Дома хлеб казался выше золота, ржаные зерна слаще пряников, – на базаре хлеб как будто и

посерее сделался, и не с такою любовью глядишь на него, и не так его жалко. На базаре хлебу и имени нет, купец глядит на хлеб, а называет сыпью: на базаре хлеб товаром сделался таким же, как лыко, как деготь, как соль. Стоят воза с хлебом не одни наши. Толстые купцы подходят к возу без крестного знамения, а ткнет своим валяным сапогом в бок саней да и заговорит грубым голосом. На хлеб купец и не взглядывает, словно и глядеть-то на него противно ему. Да лжет. Это, впрочем, не сам купец, а его приказчик. Большому купцу надавали заказов на хлеб, да и сам ждет хороших спросов и больших барышей, вот и послал он по сельским базарам саранчу эту – приказчиков. Кто здесь, кто там, в разброде от одного купца по десяти на разных базарах. Вот и наш покупщик стоит у воза, дает свою цену, да и у продавца не валится с головы шапка, крепится: к чему торопиться? – уже базар цену скажет. Не поддается мужик, ломается, говорит, что озими плохо всходили, листья с деревьев поздно падали, волки под самыми деревнями выть приходят, мышей много, земля плохо промерзла – надо ждать тяжелого года и неурожая, надо за прошлогодний хлеб покрепиться, посдержаться, чтоб не упал в цене, не сдаваться. Вот и нашла коса на камень, и на базаре шум еще крепче: кричит нужда и нужда всякая. По пословице, оба дурака налицо: и тот, который дорого просит, и другой, который дешево дает.

Две бабы едва тащат с одного конца базара на другой большой тяжелый образ, расступается народ, пропуская вперед Божье милосердие: идет нужда церковная сбирать подаяние на починку Божьего храма, на новый колокол, на поправку иконостаса.

Мужик повесил на длинную палку свою лохматую рваную шапку и кричит в разных концах базара: ходит нужда деревенская объявлять о пропаже коровы или лошади, не видал ли кто, а если видел, то, может быть, не знал, кому эта скотина принадлежит: вот и хозяин.

Гнусливо поют слепенькие старички, сидя над деревянными тарелочками, рассказывая про бедного и богатого Ла-

заря: сидит нужда нищенская – самая большая и последняя, хуже ее не бывает.

На базаре всякий о себе и всякий со своим. К вечеру гул перейдет и шум угомонится. Выплакали старцы, выпросили богомолки-бабы: тем и другим насовали грошей сердобольные русские люди, скорые на благотворение, чуткие на нужду и очень чувствительные к плачущей бедности. Такие дела самому бедному человеку – большое удовольствие, и над грошом даже от последнего пятака редкий в таких случаях задумается.

Перемялись и купцы с продавцами хлеба, установилась цена на муку и зерно. Как будто волшебник, невидимый и неслышный, вступился в это дело и помирил обоих спорщиков. Кто установлял цены и назначал таксу – никто не скажет и понять не может. Зимний торг ставит цену; особенно на это мастер Никольский торг, Никольщина, то есть базары перед зимним Николой (6 декабря) и после него. «Никольский обоз для боярской казны дороже золота», – говорит пословица. Вот и весь ответ на такой мудреный запрос любопытного человека. Конечно, если середь зимы цена на хлеб упадет, значит, хлеб дешев, значит, прознали купцы, что хлеба на базары навезено много. Когда возов мало и базар нельзя назвать и базаром, тогда волшебник является живьем в крестьянском нагольном полушубке, в лаптях и рукавицах. Он один за всех торгуется с купцами и налаживает последнюю цену. Если купцу не все воза нужны, остальные хозяева возов начинают бросать и встряхивать в шапке медные деньги со своими заметками, наложенными на монету зубом: начинают вынимать жеребье. Чьи гроши вынет купец, того и счастье: тот и поворачивай к нему на квартиру свой воз. Такой жеребьевый закон во всех делах крестьянских – самый частый и самый любимый. По тому же жеребью, на счастье, сторговавшись при помощи самого бойкого на язык и остроумного рядчика, выбираются везти хлеб, скупленный купцом, туда, куда он прикажет, те извозчики, у которых опростаны возы. Не всегда накладывают хлеб в кулье, очень часто ссыпают из складов прямо в телеги и сани, подкладывая лишь веретье и оберты-

вая в него. Веретье – тот же грубый холст из оческов льна и конопли, сшитый из дерюги или ряднины в три и четыре полотенца, на котором рассыпают зерна для просушки. Теперь он их прикрывает от непогод и подмочи, только муке особый почет – куль и мешок, и опять сверху веретье или рогожа.

Скупленный на зимних сельских базарах хлеб мелкие перекупщики везут к тем крупным купцам, которые выдают им деньги на покупку хлеба. Там и сгружают. От главного купца хлеб идет гужом, то есть сухопутьем, к пристаням, на которых, впрочем, и живут эти главные купцы – хлебные торговцы.

Многие перекупщики носят непохвальное для них прозвище кулаков, шибаев, масов и маклаков в том смысле, что они на деньгах скряги, на торгу что кремень крепки и неуступчивы. «Кто родом кулак, тому не разогнуться в ладонь», – говорит пословица и сказывает настоящую правду: кулаки – самый продувной народ, мещанская голь мелких и больших городов, в которых существуют хлебные склады и пристани. Где большие закупы хлеба, там и они, как шмели, большие недруги крестьянского счастья, – сверх плуга на два фута. Обсчитать и обмерить крестьянина – для него самое великое наслаждение. Проделки свои он считает изобретением высокого ума и своими выходками охотно хвастается. На обман у него нет ничего заветного. Хлеб меряется особою мерой при приеме от земледельца, той мерой, на которую условится: деревянные меры у кулаков поддельные, ненастоящие, не клейменные казенным знаком, а прилаженные дома для надлежащих плутней. Настоящий кулак и на базаре, на всем честном народе, середь белого дня шаловлив и не совестлив. Травленый плут и мятые бока и помимо базара найдется: он прямо в деревню придет задами и с оглядкой. Высмотрит там, чтобы мужиков-хозяев не было дома, остались одни простоватые несмышленые бабы. С ним и товарец, какой любят бабы: яркие ленты, цветные платки и с травами, и с войной, с генералами. Женский глаз соблазняется: надо ему то, что видит. Не жалко того, чего дома много, да денег нет. Кулак не спесив: он согласен поменять ухо на ухо.

Надо бабе деревянную чашку, красиво расписанную олифой и цветами. Насыпай полную чашку зерном и бери себе эту чашку пустую: чашка три копейки себе, бери ее за зерно, насыпанное на 20 копеек!

Про такие бабьи дела так и в песне поется:

Приехали торгаши за задние ворота,
Кобылушку продала, белил себе я взяла,
Коровушку продала, румян себе я взяла,
Одоньицо продала, сурмил себе я взяла.
Муж приехал с поля, с сохой, с бороною,
А я, млада, с печи с донцем, с гребнем,
С кривым веретенцем.
– Где, жена, корова?
– В стадушко прогнала,
Там ее волки серые съели.
– Где же, жена, одонье?
– Одонье сгорело.
– Где же, жена, пепелок:
– Разнес, сударь, ветерок
На боярский на дворок.
<…>

Муж жену не хвалил за такие глупости и страсть к щегольству – наказывал.

Курочка по зернышку глотает – сыта бывает. Маклак по горсточке со двора, а пройдет по всей деревне, – у него не один мешок, а ворох, который на себе и не увезешь. Та же лошадка, что товар привезла, потащит теперь один только хлеб, да кстати, и льну охапку, яиц сотен пять. Маклаку-кулаку все на руку, все метет.

Однако такие плутни только цветочки. По-видимому, дело доброй воли, и лишь торговля с первобытным приемом, как торговали при царе-Горохе и как торгуют теперь с дикими инородцами, с самоедами в России, с остяками и тунгусами в Сибири. Называется такая торговля меновою: товар за товар, и

деньги тут лишнее дело, не надобны. С деньгами тут еще, пожалуй, ничего и не сделаешь.

В таких местах деньги еще в землю прячут, зарывают, берегут: в оборот их, чтобы привели они другие деньги, там не пускают. Затем и выдуман базар, чтобы дело шло на чистоту. Базар деньги любит и деньги ценит. На базарах мужик продавец, а купец показывай ему мошну и кошелек: божбе там не верят. На базарах сами хозяева – корень, а хлеб – воротило: другие товары только подпевают и считаются мелочью, хлеб их затирает и всех шибче кричит. Базарам без хлеба мудрено выстаивать. Другое дело – ярмарки, где хлебам почти нет никакой чести. Там выступают на сцену разные товары другого сорта: красные[1], железные, сохи, косули, серпы, косы, колеса, телеги, лошади, шерсть, – да всех и не перечтешь. На ярмарках больше торгуют сами купцы друг с другом, мелкие сельские покупают у богатых городских, чтобы развозить потом про крестьянскую нужду по мелким торжкам, по зимним базарам. На базарах все-таки мужик главный и больше хлеб, чем что-либо другое. Здесь мужики торгуют сообща, прислушиваясь один к другому и поддерживая друг друга. Тут и кулак держи ухо востро. Вот почему, если в деревнях в кулацких плутнях только цветочки, – на базарах ягодки.

На базаре в быстрых руках фокусника-кулака безмен шалит. На безмене по железному пруту намечены точки, означающие пуды и фунты. Ищет одну точку петелька, и если она проволочная, то верно находит и может встать прямо на точке. Да таких петелек не бывает в ходу: больше веревочные и еще хуже того – широкие ременные. На ременной петельке всегда точка прячется и плохо видна, всегда довольно походу и, разумеется, на руку того, кто держит безмен и проверяет купленное.

На купеческом дворе для приема хлеба с возу прямо в сусеки весы лажены дома и мужикам не показаны: полые гири далеко не настоящего весу ловко умеет подсунуть баловливая рука весовщика-кулака, когда мужики нагребают в высыпанную меру, новую и свежую.

[1] Красные товары – мануфактура, ткани. – *Сост.*

Да и всыпая в купеческую меру зерновой хлеб, сумеет ли догадаться продавец о том, что если мера боками подойдет как раз под казенную точка в точку, то дно у ней может быть вогнуто, в эту яму и лишним горстям не мудрено завалиться. И выйдет так, что воз мерками двумя-тремя стал короче.

И сам дома мерил, и сосед проверял: выходит – ей-Богу, не так.

– Побоялся бы ты, хозяин, Бога!

– Чего мне Бога бояться! Ты сам тут был, – не лошадь же твоя глядела да поверяла.

– Отдай, сделай милость, назад хлеб мой!

– Укажи ты, сделай милость, теперь в моем сусеке – который твой хлеб: я тебе его отберу и отдам.

Станут спорить, браниться, да у кулаков горло шире мужичьего. Опытные крестьяне отстают, утешаясь тем, что «ведь и кулаку кормиться надо». При этом всякому известен купеческий обычай не платить ничего тем рабочим, которые принимают от крестьян хлеб, и предоставлять им пользоваться недовесками и передержками. Горячие и смелые продавцы ищут суда: сегодня ищут, завтра правды дожидаются, а послезавтра, вздохнув из самой глубины сердца, сказывают вслед за отцами и прадедами: «С сильным не борись, с богатым не судись!».

Мерщик может быстро подхватить зерно концом лопатки и слегка подбрасывать в подставленную меру так, что оно ляжет как пух: толкнуть меру ногой – зерно осядет вершка на два. Это один способ. По-другому может мерщик брать хлебное зерно полной лопатой и сыпать, что называется, ручьем: зерно ляжет очень плотно. Но самое тонкое искусство мерщиков состоит в том, чтобы снять гребком горку, всегда образующуюся на верху меры. Небольшое углубление составляет недостачу и, напротив, возвышение – излишек в весе, который, при приеме целыми возами, дает круглые цифры. Пробуют устанавливать здесь правду тем, что продавцы и покупатели хлеба выставляют своих мерщиков.

Рассказывать ли больше про кулацкие плутни, когда они что ни год, то все новые?

Русская пословица, впрочем, так прямо и выговорила: «Всех плутней кулаков и маклаков не перечтешь». Для таких художников, которые, что называется, из-под тебя следы режут, базары – места сердечно любимые.

В некоторых местах (например, в селе Лыскове на Волге, в Нижегородской губернии) кулаки так прилаживают дело, что крестьяне без них и продать хлеб не могут. Зная это, они прямо едут на двор к кулаку, который по-тамошнему называется *прахом*. У кого крестьянин с хлебом встал, тот прах и обязывается быть маклером, ходатаем и продавцом. *Прашит* он, то есть ходит из дома в дом богатых хлебных купцов, спрашивает, кому сколько надо муки или зерна. Прахи здесь делают что хотят и как знают. Мужики только охают и лишь летом, и то с мукой, дерзают становиться на базарах и ожидать вольного покупателя. Зимой без праха ни один крестьянин не сделает дела, каждый из них пил у праха пиво и водку и ел разные кушанья даром. За прокорм расплачивался купец-хлебник: подкупил праха сговорить продавца на уступку.

Бросим маклаков! Пойдем дальше за хлебом. Возьмем тройку, сядем в тарантас, чтобы поспеть поскорее. Поедем на пристань, вслед за веселыми, довольными и счастливыми кулаками поскромнее, однако, под рогоженой кибиткой, чтоб не мочил дождь и не продувал ветер.

ГЛАВА IX
На пристани

Подъезжаем мы к пристани, а к ней и проезду нет: и на тройке купеческих лошадей, выхоленных и хорошо выезженных, далеко не угонишь. Тянется воз за возом длинной вереницей хлебный обоз по торговой дороге: на лошадях в Великой России, на волах в Малороссии. На возах зерновой хлеб уже в двойных кулях, чтобы не высыпался, и мука в двойных мешках из ручного и фабричного холста, чтобы не было раструски. В таком виде хлеб и на суда сложат, не разбирая. Раз-

бирают раньше и видят, что лучшая пшеница доставляется из помещичьих полей, от богатых людей; рожь, напротив, вся куплена у одних крестьян. Покупка у первых сделана сначала с июня, у крестьян (в особенности у кулаков-ссыпщиков) – с августа, когда начинается сборка на базарах. С помещиками и их управляющими идут договоры в барских домах; с крестьянами, как сказано, в грязи и на снегу, подле воза. На базарах – и сборка хлеба, а после них тотчас же формируются партии для отправок на пристани и к портам. Чем ближе к последним, тем слабее базары: всякий везет туда прямо, чтобы не знать посредников, да и купцы предпочитают такие покупки во избежание хлопот с наймами подвод; к тому же они сами теперь видят, что покупают. Это, впрочем, как исключение и для хороших сортов помещичьего хлеба и даже худших сортов крестьянского хлеба. Около пристани все-таки толпятся обозы, вытягиваясь хвостом не на одну версту разом.

Идут сторонкой возчики, запорошенные снегом, и молча постукивают рукавицами, согреваются. Еще молчаливее и еще угрюмее, лениво переваливаясь с боку на бок, плетутся за своими волами чумаки-малороссы, покуривая тютюн (табак) из люлек и изредка покрикивая на своих сильных и сытых, но ленивых волов. Идут они из богатой, благодатной хлебной сторонки всего охотнее по направлению от России к Черному морю, по заветным шляхам (дорогам) на «степу». По степи тянутся они множеством параллельных дорог, предпочитая те из них, на которых лучше кормят: в этом году на одном месте, на следующий – верстах в 15–20 в сторону. Идут дней десять, недели две-три. Пошли дожди, залило балки (степные овраги) – чумак остановится и ждет: для хозяина-торговца на дождях портится хлеб, на шее вола под деревянным ярмом (род хомута) живая кожа преет, делаются раны, и вол совершенно отказывается идти.

Нанимал чумаков ловкач и проныра по заказу хлебного торговца (большею частию также еврея). Чумаки уславливались получить часть платы при наборке хлеба, остальную при сдаче. Выговаривали *магарыч* (сверх ряды условные деньги

на водку), ударяли с евреем в корчме (кабаке) по рукам; никаких письменных документов, по безграмотности, не писали и не подписывали. Давая слово, они исполняли с такой точностию дело, что можно только дивиться: честность чумаков замечательна.

Грузили чумаки очень мелкие фуры или возы свои хлебом, насыпая его в лубочный ящик воза, получая от хозяина (непременно от него) рядно, то есть либо холст домашнего изделия, или равентуг (полушерстяную материю) московского фабричного изделия, покупаемый хозяевами на Ильинской ярмарке в Полтаве, на Крещенской в Харькове и на других многочисленных малороссийских ярмарках. Подстилка эта зашивается, и на мелкий чумацкий воз (прилаженный таким образом для тяжелой соли) докладываются еще мешки с более легким хлебным товаром. Весь воз у чумаков непременно увязан в кожу (у русских в циновку или войлок). Все это необходимо, потому что хлебный мешок обыкновенно в тех местах берется напрокат и до того затаскивается и ветшает, что с 35–40 руб. за сотню новыми падает в цене до 50 руб. за сотню мешков, побывавших раз до 5-ти на чумацких возах.

Не посчастливит чумаку в дороге, – начнется на волов падеж, – он хозяйской клади не бросит и на свой счет наймет амбар, ссыплет хлеб и даст знать хозяину. <…>

Великороссы тянут дорогу в свою сторону к северу. Из благодатных стран черноземных губерний везут возчики хлеб в своих больших телегах на тройках рослых, красивых и сильных возовых лошадей. В других местах ездит хлеб на тех же лошадках, которых впрягали в соху, и на санях, и на телегах, какие попадутся. Покрыт воз рогожей – значит, воз русских возчиков.

Для великорусских хлебных извозчиков, на испытание их полушубков и валяных сапог на ногах, во время возки трескучие морозы, снежные зимы. Под ногами их ухабы – глубокие ямы, остроумно называемые «нырками». Ухнет воз, заскрипят сани, зашевелятся проводники: тощей лошадке, пожалуй, и не вытащить, надо ей подсобить, подхватить пле-

чом. Криком тут и ходьбой вперевалку ничего не сделаешь. Подсобить немудрено: сила есть, да и новой прибыло. В последней деревне кормили лошадей (овсом непременно), поели и сами, да еще и как поели!

Перед столом первым делом вымыли руки, распоясались, сняли полушубки, помолились на тябло[1] иконам, залезли за стол. Один взял нож, нарезал хлеб такими толстыми сукроями, что проезжий француз или немец не надивились бы, записали бы в памятные книжки и рассказали в газетах.

Прибыли щи пустые, чашка исчезла, постукали в краешек – подлей еще! Опять съели, опять постукали. После четвертой чашки щи отошли. Хозяйка второе горячее – лапшу подала. И лапши четыре чашки съели.

– Вареного гороху, ребята, не хотите ли?

– Ну да как не хотеть!

И горох ели. Нет-нет да и запьют квасом. Квасу выпили столько жбанов, что хозяйка про себя ворчать начала. Вслух ворчать она не посмеет: если станет скупиться, станет хуже кормить, извозчики недолго думают: оглобли возов начнут поворачивать от этого двора в другую сторону и в другие ворота, за которыми лучше их уважать станут. Не на одном таком дворе мы останавливались, куда не въезжали извозчики, но удивлялись, как через улицу напротив соседний двор извозчичьи возы облепили словно мухи. Оправдывался обойденный хозяин:

– Мы, видите, были барскими людьми, теперь вольноотпущенные. Не выучились мы обхождению с мужиками, не умеем как потрафить им, – вот и не становятся к нам.

На облюбованном дворе садятся за стол десятками и платят за обед сотнями гривенников.

Каша пришла. Поели ее сначала так, с солью; в другую чашку масла подлили и в третью припустили масла.

– Не надо ли, ребята, молока?

– Да какое оно?

– Белое.

[1] Тябло – полка, на которой устанавливаются иконы. – *Сост.*

– А коли белое молоко, так давай твоего молока белого.

Молоко с кашей ели, и так одно молоко ели. Настоящие едоки ни одного кушанья не потребили без хлеба, ели даже кашу с хлебом: «без соли – без хлеба, половина обеда».

Подала хозяйка пирог, оказался опять с кашей, и пирог съели. Это уж сверх сыта, на заедку, вместо пирожного. Кое-кто уже и лошадей проведать сходил, кое-кого и зевота взяла.

Вылезли наши богатыри-едоки из-за стола с запасом: можно теперь за лошадкой все 20–25 верст дальше пройти пешком и своим могучим плечом подсобить лошадке на проклятых ухабах. Сам же, впрочем, хлеб и ухабы эти выбил.

Пойдет нырять по этим ухабам и новый обоз вслед за другими: обоз большой, длиною в целую версту. Чем ближе время к последнему зимнему пути и к весне, тем обозы эти и длиннее, и торопливее. Тогда по дороге на тройке к пристани, пожалуй, и совсем не проедешь, если не возьмешь стороной. И раз десять не опрокинешься.

Подле пчел всегда в меду; где рубят, там щепы: не станем удивляться, если навстречу нам по дороге к пристани замашут крыльями ветряные мельницы, если, свертывая с ухабистой дороги, мы будем попадать на гати или плотины водяных мельниц и встанут они сами перед нашими глазами безобразно высокими стенами, запорошенными по щелям мукой, как свежим снегом: это крупчатки. Развела их (и всегда во множестве) местная потребность в перемоле хлеба для ближайших потребителей, желающих подешевле покупать муку на местах склада и заготовок хлебного зерна. Плодит их торговая предприимчивость, желающая играть на обе руки: на продажу ближнюю и дальнюю. На крупчатах и мельницах этих происходит *передел* (говоря торговым языком) привозного хлеба для местной муки. Продовольствуется ею и пришлое на пристани население на время летних работ в навигацию; продовольствуются этими же запасами рабочие люди, уходящие на судах в сплаве. Пристани – одни из таких мест, которые вообще кормят много бедного и полуголодного народа.

Вот и самая пристань – живое место для хлебных складов, любопытное место для наблюдения за хлебной торговлей. Зимой на хлебных пристанях совсем глухо, в конце зимы поживее, ранней весной – самый развал. Хлеб до сплава складывается в бунтах, на берегу под открытым небом. Обыкновенно на снегу или, по расчистке его, на земле кладется «постильник» – длинные в два ряда жерди: одни вдоль, другие поперек. Хлебное кулье и мешки накладываются пирамидой, накрываются и обшиваются рогожками и кажут издали стогом сена. Это на богатых и лучших пристанях. На маленьких делается это грубее: бунты прикрывают соломой, дожди их мочат сколько хотят, мука превращается в камень, крупа делается затхлою, рожь солодеет, пшеница и льняное семя преют. Весной на пристанях базары шумят уже каждый день, и притом с утра до вечера. Другие на это время приезжают сюда просто без дела, за одним только, чтобы повеселиться, увлекшись суетней и хлопотливой жизнью. Да и у кулаков расчеты с хозяевами, барыши маленькие. У хозяев барыши большие. Знают про это другие торговцы, торговцы крепкими напитками: открывают временные кабаки, временные трактиры, приглашают цыган петь песни, нанимают актеров на театре играть и т. д. На пристанях – настоящая ярмарка, которая только называется иначе – «караваном», временем хлебного каравана. Идет нагрузка судов хлебом и отправка его по воде, по большим рекам, благодаря тому обстоятельству, что доставка водой дешевле всех других способов доставок, и реки в России разлились очень счастливо и в самом удачном множестве. Чего стоит одна Волга, которую и прозвали за то «кормилицей», «матушкой»![1]

Стоят суда, и в особенности барки, лишь на той Волге, которая, выйдя из безлесных степей, течет вблизи лесов. Под Нижним и дальше к Твери мало уже таких пристаней, вблизи

[1] Хотел было я пересчитать все пристани, но их так много по Св. Руси, что со счету можно сбиться. Есть маленькие (вроде Тетюшинской), есть и большие и знаменитые по Волге: города Волжск, Сызрань, Самара, село Балаково, Рыбинск и опять десятки; на Оке: Елатьма, Муром и проч. На Цне – Моршанск, на Суре – Промзино-Городище и т. д. в бесконечность. (*Примеч. С. В. Максимова*).

которых не пристроилось бы судостроение и торговля готовыми судами. В особенности это сильно развито в тех местах, где, по мелководью Волги, требуется перегрузка хлебных товаров с крупных судов на мелкие и с этих мелких на суда и барки, еще мельче сидящие в воде. В первом случае перегрузка под Нижним и в Нижнем, на втором – в Рыбинске, для прохода в мелкие реки и искусственные каналы.

Здесь приостановимся. Хлеб не нагрузишь, если судна нет. Судов на южных пристанях почти совсем не строят, а приводят сюда готовыми, издалека. Приводят их теми реками, которые текут в Волгу с севера, из густых лесных местностей: из Унжи, Ветлуги, Костромы, Камы. Потом вводят суда эти в реки, которые текут в Волгу с юга из черноземных, хлебородных мест и на которых поместились самые богатые, людные и известные на всю Русь хлебные пристани.

Впрочем, постройка хлебной барки – дело нехитрое; не строят их на богатых южных пристанях только потому, что лесу мало и доски дороги. Могут, однако, строить и там из пригонного леса в готовых бревнах, доставленного в плотах сплавом по рекам, вытекающим из богатых лесов. <…>

Раннею осенью, пока не замерзла земля, легче выдирать древесные корни, уходят лесовики в лес, выворачивают деревья с корнями для барочных кокор, вырубают бревна для плотов. По первому снегу они вывозят свой лесной товар на берега сплавных рек и вяжут плоты. Вяжут плоты древесными гибкими кореньями (вицами, вичью), свернутыми в кольца: длинную ветвь кладут на огонь, чтобы распарить; обгорелую, но еще горячую и дымящуюся, завивают около человека. Он стоит и держит один конец в своих руках, другой ходит кругом его и вторым концом увивают его поясницу. Затем стоит только выпрыгнуть – и кольцо готово. Шьют плоты для пристаней в конце марта (по последнему зимнему пути и во время распутицы стараются вывезти из лесов все срубленные деревья). Тогда же строят и барки (унжаки, гусянки, соминки, тихвинки, беляны и т. д.), поспешая отделкой к ледоходу и спуская их на воду, лишь только выплывает последняя, ледя-

ная пена. Плоты идут к волжским пристаням для постройки тамошних барок, лесные барки тянутся туда же в должность подчалков, для коноводных машин, для кабестанных и грузовых пароходов.

Вслед за судами идут на пристани многочисленные и разнообразные рабочие: пристани всегда хорошо кормят и без работ никого не оставляют. На пристани можно и судно построить, и вот для опыту хотя бы хлебное грузовое. Остановимся, – и посмотрим.

На берегу близ реки выбирают ровное место и обставляют клетками из толстых и круглых поленьев: аршина два в ширину и в вышину. На них станут основывать дно барки, то есть длинные и ровные сосновые доски от двух до четырех вершков толщиной. Сверх досок этих кладут во всю ширину барки – в расстоянии аршина одну от другой, – копани, сосновые деревья, вырытые с корнем и книзу обтесанные: сюда прибиваются нижние доски деревянными гвоздями. В местах, где сходятся концы досок днища, на так называемых стыках, концы к копаням приколачиваются длинными гвоздями. На дно по обоим концам барки ставят толстые деревья, также с корнями. К этим деревьям и головам копаней прибивают обшивку железными гвоздями на низу из самых лучших досок и сверху их нашивают еще по одной тонкой доске. Высоту стен барки доводят до 16 четвертей. Все это делается с глаза, без всяких чертежей и измерений; самые лучшие мастера – самоучки. Барка вчерне готова. При уборке ее, по погрузке, начинают конопатить щели, чтобы не просачивалась и не одолевала вода.

Дно барки конопатят в две пряди: первая свернута жгутом из мочала, обернутого смоленой паклей или оческами пеньки, вторая прядь вся мочальная. Пряди забиваются деревянным молотом, который стукает по конопатке или тупо заостренной лопатке. Конопатчик возьмется за конец пряди руками, повиснет на нем и ногами постукает – не выдралась прядь из пазов барки, значит, благонадежно, хорошо проконопачено. Дно для пущей веры ластят, то есть конопатку обшивают лубком, приколачивая его мелкими железными скобами.

Теперь барку или спускают с клеток на землю, предоставляя самой воде поднять ее при разливе, или местах в четырех по длине барки подкладывают толстые и длинные деревья, спуская концы их в воду. На деревья эти наваливают тот конец баржи, который обращен к реке, разбирают клетки и заменяют их прочными подставками, укрепленными на досках. Когда все готово, подставки выбивают: барка сползает по бревнам в воду, а если начнет упираться, то подталкивают ее сзади шестами.

На воде хлебную барку окончательно снаряжают и украшают: утверждают на столбах крышу, чтобы не мочило хлеб сверху, кладут толстые жерди вдоль и на них такие же поперек, а затем тонкий хвост – это подстилка, чтобы не подмачивало хлеб снизу. А так как воды все-таки не удержишь, то для отлива ее в середине барки приготовляют место вроде коридора, обставленное с обеих сторон лубками. Сюда собирают всю воду и оттуда будут выгонять ее, выбрасывая подвешенными на веревке плицами – деревянными черпаками вроде совка, нос лопатой. Над крышей приделывается «стояно», то есть балкон для проводника барки – лоцмана, а внизу – небольшой ворот для поднятия руля, которым налаживается ход барки. Руль на ней – толстое ровное и длинное бревно, тонким концом на барке, толстым в воде и с придатком досок, чтобы походило на весло: это «правило». Про запас делают настоящие весла, называемые гребками, три каната на якоре, когда надо остановить барку, сходень или длинную доску для входа рабочих на берег. На очень многих в заду, в корме, прилаживается комната для хозяина или его приказчика, с окнами и даже с некоторою роскошью: это «казенка» или каюта. Так как барка, назначенная в Петербург, долго пойдет против воды, то ставится посредине ее мачта, на ней трехцветный флаг, к ней привязывается холщовый или парусинный парус. За нее же цепляется бечева, за которую рабочие, идя по берегу, тянут судно.

Таковы все хлебные барки, где бы они ни были построены (разница между ними незначительная). По местностям им даны и разные названия и, по некоторым особенностям, прозвища. Так, по русским водам плавают: бархаты, беляны, гу-

сянки, коломенки, межеумки, байдаки, мокшаны, унжаки, берлины. Самые настоящие барки – белозерки – длиною 14 сажен, шириной $6^1/_2$, вышиной 10 четвертей, подымают до 10 тысяч пудов клади, строятся в верховьях Шексны; их можно видеть и на Неве, в Петербурге. Это самые большие здешние барки. В сущности же самые большие барки называются белянами: плавают по низовой Волге и то только в разлив, потому что сидят в воде почти на две сажени, но зато и подымают хлебного груза до 150 тысяч пудов. С ними мы встретимся на Волге.

Вообще – сказать правду, не на всякой барке для хлеба покой и безопасность: дождь сверху и вода снизу – плохие соседи. От дождей хлеб мокнет снизу и сверху; особенно мокнет с боков, обращенных к тому коридорцу, откуда отливают воду. Водоливы всегда небрежны. Мешки покрываются плесенью и зеленью от проросших зерен, и хлеб приобретает затхлый запах. Часто такой хлеб и сушить не позволяет городская полиция во избежание невыносимого зловония.

Когда судно только спущено, водяная сила еще страшна ему, если не будет помогать и выручать сила человеческая. На судно нужны рабочие с тачками, чтобы нагрузить его, нужны другие, чтобы сплавить. Первые называются *крючниками*, и именно те, на долю которых выпадает тяжелая работа таскать на спине кулье и мешки, задетые железным крюком. Это все богатыри и силачи от постоянного упражнения силы мышц, это все отдельный промысел, которым питаются десятки тысяч людей русских. Иногда судовая нагрузка производится еще проще. Когда весенняя вода подходит под самую кручу берега, возы с хлебом придвигают к воде и прямо с них по деревянным желобам, накрытым парусиной, ссыпают зерно в самый трюм судна. Вторые рабочие везде называются *бурлаками*. Ежегодно со вскрытием рек они выходят из своих деревень и тянутся на низ, в низовые губернии, большими артелями для подъема судов бечевою. С котомками за плечами шагают они по приволжским деревенькам к пристаням, имея на голове в знак отличия вывеску: деревянную ложку, заткнутую за ленточку на шляпе, – за что шутливо и прозвали

их «водохлебами». Это обыкновенно самая рваная голь и бедность: ей не только сохи купить не на что, но и сеять негде; большей частью бобыли-бездомники. Притом так, что если кто раз пустился в этот промысел, то уже и тянут эту лямку, пока не выкопают самому ямку.

На пристанях их нанимают либо во время приготовления судов к нагрузке, либо после нагрузки, и тогда бурлаки подороже. В первом случае хозяева знают, что пришли самые крайние бедняки, а потому и прижимают их. Почин обыкновенно невеселый: рабочие помещаются в балаганах, которые сами же и строят из лубков и жердей. Днем на нагрузке, ночью, чтобы согреться, раскладывают они в балаганах большие костры дров или щепы. Но когда после морозов пойдут проливные дожди, бурлаки без хорошей одежды и на самом скудном продовольствии от хозяев начинают болеть горячками, цингой, лихорадками и выбывают из списков. На бурлачьи артели с особенной охотой нападают всякого рода болезни. Если ходит по Волге холера, она прежде всех хватается за судорабочих. Свалит одного в балагане, призовут товарищи священника приготовить несчастного к вечности, и если он не умрет и раздышится, то опять встанет на работу.

Работа на берегу кончена: барки совсем готовы в путь. Рано утром позвали священника. Пришел он с крестом и молитвой перед образом, который отпустил с товаром сам хозяин. Служат молебен Спасителю, Божией Матери и Николе Угоднику, которого считают покровителем плавающих. После молебна бурлакам водочное угощение. На другой день опять на судне хозяин:

– Готово ли?

– Готово.

– Ну, в добрый час!

– Спасибо, хозяин! – отвечает за всех лоцман.

Становится он на свое место и кричит громким и певучим голосом:

– По местам садись!

Бурлаки идут на свое место, каждый к своему гребку.

– Молись Богу! – кричит опять лоцман. Все молятся на восход солнца.

Судно снимается с места: обряд исполнен. Видел я его на Северной Двине и на Белом море, видел на реке Мете перед страшными Боровицкими порогами, видел на Дону и на Волге – везде одно и то же, словно спелись и сговорились.

Но гребля сначала только, а затем уже лямка. Работа простая: «лямку три, налегай да при», но очень тяжелая: «надсадно лямке, а еще пуще надсадно бурлаку».

В работе, впрочем, они бодры и неутомимы, но лишь только сбросят с плеч лямку – это самый ленивый и беспечный народ. Так и пословица говорит: «Дома бурлаки бараны, а на плесу буяны». На привалах, после расчетов, они запивают и пьют напропалую. Во время путины на работе у бурлака, что у сироты, когда чистая рубаха, тогда и праздник. Самое высокое наслаждение – спопутная баня: и кости распарить, и белье вымыть и сменить.

Вот они на работе, в пути, что называется у них – ломают путину. Перекинув через плечо свою лямку – широкий кожаный ремень с веревкой – концом и шашкой на конце для захвата бечевы при тяге, впряглись эти люди с разбитой грудью, ненадежные, недолговечные, покрякивая и покашливая. Тяжело ступая и пошатываясь с боку на бок, идут бурлаки по протоптанной десятками лет побережной дорожке, называемой «бечевником». Впереди бурлак, именуемый «шишкой» – человек общих насмешек, в наихудшем лямочном положении: ему труднее и опаснее прочих на случаи, если оборвется бечева. Однако идти передовым охотятся все, потому что у шишки право выбирать дорогу и, следовательно, попадать на торную тропу; он не наминает ног и меньше рвет лапти. Следующим за ним лучше задних, задние уже стянуты с тропы тягой судна на щебень, и бурлацкий гусек всегда сбит на сторону, тянется накось. Задние ближе в воде, в крупном песку и на камнях, шишка с некоторыми передними на тореном и охоженом бичевнике (тропе). Поэтому из-за места у бурлаков всегда ссоры и иногда драки.

– Я выстрелил прежде тебя, – говорит тот бурлак, который вышел вперед и прежде.

На судне остались водолив, он же и плотник, отвечающий за подмочку товара, и лоцман, которого все зовут «дядей», – главный начальник артели и хозяин всего сплавного дела, шуточно прозываемый «букатником» за то, что букаткой называется кусок мяса, говядины – лишняя доля, перепадающая ему перед другими в то время, когда все другие идут по берегу в лямке. Ему хозяин дороже платит и больше его уважает: он, так сказать, лицо привилегированное и повелевающее.

– Проступи, други, проступи!

Не пылят бурлаки пылью, как солдаты, но крепко утаптывают тяжелую дорожку бичевника, бережно ступая и как бы боясь потерять под ногами землю, покачиваясь и переваливаясь. В подспорье работы и в усладу себе разводят бурлаки разноголосные песни, сложенные и завещанные им такими же горемыками, которые первыми прокладывали этот длинный путь огромной баркой чужого хлеба из-за черствого куска своего насущного хлеба. Отголоском сказывают эти тоскливые песни безучастным и пустынным, но охотливым на пересказ берегам кормилицы Волги, что нет тяжелее этого дела. <…>

ГЛАВА XII
(Заключение)
На бирже

До биржи батюшка-хлеб – кормилец всего русского народа, его домашняя пища. На бирже хлеб – товар и предмет заграничного отпуска, новый источник наших народных богатств. Дома хлеб – тот рычаг, то мельничное колесо, которое зацепляет и шевелит все приводы, на которых движется весь состав народной жизни. Из-за него в древние времена отдавались мы в кабалу и сделались рабами и крепостными людьми. Теперь для хлеба же мы стали свободными на возделанной нами земле, чтобы, убирая поля в измененном заново житей-

ском положении, стали сильнее и богаче, с наибольшим удобством и легкостью обеспечивали себя, служили отечеству, платили государству общественные подати для содержания защитников нашей земли и оберегателей нашего труда. Дома у нас от земледелия зависят все промыслы, ремесла, торговля, образование; от избытков излишнего хлеба – другое благо. Через продукты наших полей и лесов в сыром и переделанном виде создавшие порты, пристани и биржи, мы входим в общение с другими народами. Готовным обменом увеличивая богатства всего человечества, мы еще более возвышаем значение своего труда как той добродетели, на которой основано достоинство человека, созданного для исследования, обработки и украшения всего земного шара.

<…>

Век свой бродили русские люди, отыскивая земли, на которых могли бы сеять хлеб, и дошли до того, что заблудились: попали на холодные болотистые земли северных стран. Задние пробовали попадать на черноземные степи, но там кочевали дикие народы, хватали их в плен на арканы, отводили в дальние степи и там продавали, как баранов. Сами же дикари истребляли лиственные леса, чтобы сделать из них луга (а не пашни), добиться травы, вытаптывали этими стадами новые луга, истреблением лесов осушили реки, превратили благодатные земли в пустыню. Проявились степи моздокские, астраханские, крымские и ногайские; понадвинулись они к самому Черному морю; восточные ветры заметали их песком. Сделались из луговых степей рынь-пески, на которых и самим кочевникам стало жить невозможно. Земледельцам и ходить было незачем. Задние начали теснить передних, надвигаться на них, передние стали уходить дальше.

Сначала нашли богатые сибирские земли. Потом, когда смирили татар и покорили их царства, потянулись русские люди за Оку, на степи тамбовские, воронежские и донские, потом за Волгу на саратовские и на оренбургские степи. Когда Екатерина II смирила турок и оружием отбила от них степи, ближние к Черному морю, – пошел народ с неблагодарных

мест севера на эти места, справедливо названные Новой Россией. И до сих пор идут туда на вечное житье, понемногу и потихоньку, но ежегодно и непрестанно. Идут охотно и в другие места, на которые укажет мимолетный слух прохожих людей (хотя бы даже и беглого солдата) о странах и реках, текущих медовою сытью в кисельных берегах. На наших глазах выискивалось много охотников везти топор, соху и плуг по первому призыву: и в Закавказье, и в Крым, и на Амур.

Садясь на плодородные земли, новые пришельцы охотливо продолжали возделывать пашни, получали сильные и роскошные урожаи, всего поесть не могли, кое-что продавали, но большую часть гноили, превращали в ненужную грязь: не было сбыта. Как пламя, не находя себе выхода, тухнет и уничтожается, так и торговая сила, не растрачиваясь по рынкам, останавливалась и умирала. В хлебородных местах не ели хлеба и свиньи, коровы и лошади, – в малохлебных пухли с голоду и умирали черной смертью. Надо бы обменяться и очень просто поправить беду (хотя бы и тем, что вместо своего хлеба привезти к себе в безлесные страны дрова и бревна), но не было дорог, не было путей для сбыта. Надо было явиться Петру Великому, полюбить море, всю жизнь искать такого, которое открыло бы путь в чужие земли, и, потерпев неудачи, не упасть духом. Надо было его железную волю и богатырский дух, чтобы совершилось великое чудо.

До Петра Россия владела одним Белым морем. Петр три раза ездил туда и своими глазами убедился, что на Белое море надежды плохие: и далеко лежит от хлебной России, и негостеприимно, и холодно, и голодно. Устремился он с горя на мелкое море Азовское, но и там потерпел неудачу. Потерпел его гений неудачу только затем, чтобы собрать все свои силы и добиться моря Балтийского. Здесь-то он и прорубил окно в Европу, построил Петербург, соединил его с хлебной Россией каналами и положил почин нашей хлебной заграничной торговле. Петр установил такое правило: запрещать выпуск хлеба за границу, когда в Московской губернии четверть ржи будет стоить более одного рубля. Этим он спасал своих и до времени сдер-

живал заграничные отпуски. Екатерина II, которая старалась ему подражать, установила при всех приморских портах запасные магазины для помещения пятой части, удерживаемой при выпуске хлеба за границу, – и поправила дело. Заграничная торговля пошла поживей, особенно в неурожайные годы, выпадавшие на европейские государства. Через Архангельск и Петербург поплыл русский хлеб в Швецию, Норвегию, Голландию и Испанию. Вскоре и Франция с Англией понуждались в нашем хлебе – в пшенице и ржи, особенно в 1770 и 1771 годах, в конце прошлого и в начале нынешнего столетия.

В это время мы уже имели в своих руках Черное море, которое круглый год держало открытые пути для торговых дел по первому требованию и по горячим заказам. На самом берегу его выросла как гриб Одесса, в два-три десятка лет заполнившаяся десятками тысяч жителей. С меньшею, но также значительною и поразительною быстротой из татарских деревушек вырастали большие города с десятками тысяч жителей: на Дону – Ростов; в устьях Дона, на Азовском море – Таганрог; далее Бердянск, Мариуполь, на Днепре – Херсон; все города с огромной хлебной торговлей, все из-за хлеба и для хлеба, в видах отправки его за границу. На Балтийском море помогали Петербургу Рига и Пернау, а с ними любой из приморских городишек, включительно до Либавы.

Заграничная торговля начала быстро расти и достигла обширного развития. Хотя беспрестанные войны в Европе и мешали ей, затрудняя доставку и отправку такого громоздкого товара, как хлеб, хотя с установлением мира европейцы занялись хлебопашеством и разведением картофеля, тем не менее торговые дела лишь временно были дурны. Вообще же Россия сделалась необходимой для Европы. В Европе увеличивалось население, проявился недостаток земли, развивались мануфактуры и в то же время увеличивалось число рук, оторванных от плуга к ткацким станам, к фабричным и заводским машинам. И все это при том, что ржаная мука до 1847 года не вывозилась в большом количестве по предубеждению иностранцев в том, что хлеб из русской муки тяжел и нездоров и что пшеничная

мука при перевозке морем горкнет и прокисает от обычая наших мельников перед переделом пшеничного зерна смачивать водою, чтобы придать лучший вид. На самых биржах, на местах сделок, успели завестись и крупные шалости на руку торговым людям: разительные колебания цен на хлеб (то упадок их, то возвышение) от сильного влияния биржевых спекуляций, от состояния курса разменных денег, от выходок сильных капиталистов, которые, прибрав в свои руки большие партии хлеба, при новых своих покупках вдруг возвышают цены на мелких партиях. Когда последуют их примеру прочие купцы и начнут закупать хлебный товар, мироеды-кулаки начинают выпускать им на руки свои партии, осторожно сдерживая искусственные цены и ловя в паутину, как пауки муху. Опять на биржах колеблются хлебные цены, а с ними, по зависимости от них, и прочие товары и т. д. <…>

А со своим *кулем хлеба…* распрощаемся: пора! Погонялись мы за ним, сколько хватило наших сил и досуга: теперь не угоняешься. В далеких и чужих странах разыскать его трудно. Пожелаем нашему хлебу счастливого пути, его покупщикам – приятного аппетита: хлеб рушать – на здоровье кушать!

Пожелаем кстати за нашу хлеб-соль по нашему русскому обычаю не гневаться, не браниться, не клеветать на нас, не придумывать всяких напраслин, а для себя же самих поближе знакомиться с честным житьем, с крепкою силою, с добрым сердцем и сильным разумом трудолюбивого русского люда, в поте лица возделывающего свою тяжелую землю и снискивающего хлеб не столько про себя, сколько для других.

КРЫЛАТЫЕ СЛОВА

**Не спроста́ и не спу́ста слово молвится
и до́ веку не сломится**

У – слова и беседа.
Народная пословица.

Предисловие

В одном из суворинских календарей помещен был объяснительный список тех изречений и слов, взятых из иностранных языков, который часто употребляются в различных газетных и журнальных статьях. Эти чужие замечательные мысли, в немногих словах высказанные, по большей части латинскими классиками, конечно, потребовали не только перевода, но и указаний на первоначальные источники как корень и причину их происхождения. Для незнакомых с иностранными языками, для громадного большинства газетных читателей, вовсе не знающих латинского языка, тот календарь, по истечении года, не был забыт и брошен, как вчерашняя театральная афиша, а сделался настольною справочною книгою. В ней газетный читатель мог находить объяснение мимолетных выражений из мертвых языков от изъезженных «suum cuique»[1], «sapienti sat»[2], «dixi»[3] и т. п.

[1] Всякому свое (*лат.*). – *Сост.*

[2] Для умного достаточно (*лат.*). – *Сост.*

[3] Я сказал (*лат.*). – *Сост.*

до внушительного возгласа покойного железного германского канцлера «beati possidentes»[1].

Я задался подобною же задачею, но сделал опыт в противоположном направлении, остановившись для объяснений не над учеными и книжными апофегмами, а над теми мимолетными разговорными, так сказать летучими и крылатыми, словами и ходячими выражениями, которые исключительно принадлежат отечественной речи, имеют корень в русском разнообразном мире и даже получили значение народных пословиц и поговорок. С наибольшим вниманием необходимо было (само собою разумеется) остановиться на толковании тех из них, которые в переносном смысле, с утратою первоначального, оказались либо темною бессмыслицею, либо даже совершенной чепухой. Иные из этих изречений, принятых по наслуху и на веру, но непонятных, не только бессознательно и безотчетно срываются с языка в обиходной разговорной речи, но также ежедневно проникают в журнальную и газетную печать, уже как бы по навыку узаконенными и, по-видимому, для всех и каждого обязательными к разумению.

Конечно, по самому смыслу основной задачи, не привелось рыться в классических сочинениях, а необходимо было обращаться прямо к живому источнику текущей народной жизни, к народным преданиям, верованиям и сказаниям – и всего чаще к отечественной старине, когда родилась и сама пословица, и придумались всякие поговорки, то есть во времена первобытной простоты речи.

Объяснения одних выражений и слов следовало искать в юридическом быте Древней Руси, в приемах розыскного процесса с отвратительным полосованием человеческих спин (слова «подлинный», «подноготный» «московские правды» и т. п.). Толкование других выражений и пословиц можно было найти в мирно-налаженной и спокойно-текущей струе сельской жизни, свободной в ее бытовых проявлениях: земледельческих, промышленных, ремесленных и т. д. (таковы выражения: «баклуши бить», «попасть впросак», «лясы точить», «нужда за-

[1] Счастливы владеющие (*лат.*). – *Сост.*

ставит калачи есть», «ни кола – ни двора», «канитель тянуть»). Смысл третьих подсказывается и восстановляется доселе сохранившимися (и лишь отчасти исчезнувшими, но памятными) народными обычаями и верованиями (слова: «чересчур», «чур меня»; выражения: «семь пятниц на неделе», «горох при дороге», «на улице праздник» и проч.). Многие из бытовых пословиц оправдываются бывалыми событиями, успевшими облечься в форму притчей и в некоторых случаях анекдотов («собаку съел», «на воре шапка горит», «вора выдала речь», «огонь и попа жжет», «семипудовый пшик», «хоть тресни» и др.). Этим последним способом с полною откровенностью народ поспешил объяснить и оправдать свои недостатки и характерные свойства: «задний ум», «русский дух», «русские сваи», что вообще значит – делать и поступать по-русски, «привечать», «угостить» и т. д. Среди всех подобных выражений (вообще сравнительно небольшого количества) в замечательно редких случаях доводится искать толкований в языках соседящих с нами инородцев (в роде: «кавардак», «алала», «ни бельмеса»), а поиски за словами, вкравшимися в русский язык из европейских языков, составляют уже особенный самостоятельный труд. Теперь же представляю кстати лишь несколько образчиков («галиматья», «камень в воду» и проч.).

Углубляясь в дремучий и роскошный лес родного языка, богатого, сильного и свежего, краткого и ясного, на этот раз, конечно, довелось пробраться лишь по опушке. Здесь легче было осмотреться, пересчитать все, что было наглазным, произвести исследования и дать описание всему многочисленному разнообразию родов, видов и пород до валежника включительно.

При объяснении темных слов и непонятных выражений пришлось остановиться на тех из них, которые подсказаны были личною памятью, либо подхвачены на лету при случайных беседах, либо указаны запросами лиц, обративших внимание на эту работу. В значительной доле сослужил делу драгоценный памятник отечественного языка: «Толковый словарь живого великорусского языка В. И. Даля», и, конечно, не раз случалось прислушиваться к тем объяснениям, которые даны

были раньше, с целью их поверки и оценки. Те и другие необходимо было принять, по старой памяти и школьной привычке, как классный урок по предмету русского языка: стараться разгадать эти своеобразные темы как загадки, по мере сил и разумения, и явить скрытую тайну в полном освещении с надлежащею обстановкою и обязательными подробностями. Если, по Св. Писанию: «когождо дело явлено будет – день бо явит», то по народной пословице: «загадка – разгадка, а в ней семь верст правды». Quod potui – feci[1], – скажу древнейшим и авторитетным крылатым выражением из совершенно чужого языка (хотя бы оно и достаточно уже попорхало по белому свету): faciant meliora potentes![2]

КРЫЛАТЫЕ СЛОВА

Долетают до слуха отрывочные выражения из разговора двух встречных на улице про третьего:

– Сам виноват: век свой бил баклуши – вот теперь поделом и попался впросак.

– Грех да беда на кого не живет, – огонь и попа жжет. Погоди: будет и на его улице праздник.

Эти жесткие выражения упрека и мягкие слова утешения, принятые с чужих слов на веру, до такой степени общеизвестны, что во всякое время охотно пускаешь их на ветер, не вдумываясь в смысл и значение. Равным образом и сам их выговоришь не одну сотню раз в год в уверенности, что поймут другие: можно смело пройти мимо. Мало ли вращается в обыденных разговорах разных метафор, гипербол, пословичных выражений и поговорок? – За всеми не угоняешься.

Впрочем, мы на этот раз общему примеру не последуем, хотя бы и по тому поводу, что в иной поговорке слышится совсем уж бессмыслица: будто бы огню дано особое преимущество и попа жечь, а стало быть, может найтись и такой, пред которым бессилен горящий и палящий огонь.

[1] Что мог, я сделал (*лат.*). – *Сост.*

[2] Пусть кто может, сделает лучше (*лат.*). – *Сост.*

Да, наконец, что это за баклуши и какой такой просак? И где эта улица, на которой, кроме места для прохода и проездов, полагается еще и праздничное время?

Любознательные пусть не скучают тем, что им придется, по примеру русского мужика, который для тех поговорок до Москвы ходил пешком и при этом износил трое лаптей, – углубиться в давно прошедшие времена и побывать в местах весьма глухих и отдаленных.

ОГОНЬ ПОПА ЖЖЕТ

В Смутное время Московского государства или в народную разруху не только потрясена была русская жизнь в корень, но и сдвинута со своих основ.

Когда, с призванием дома Романовых, все понемногу начало успокаиваться и все стали осматриваться и принялись чинить разбитое и разрушенное, – появилось первое стремление к новшествам. А так как русский человек издревле жил преимущественно верою, то в этой области и обнаружились первые попытки исправления. Вскоре по восшествии на престол новоизбранный царь Михаил озаботился восстановлением печатного дела: отстроил печатный дом, сожженный поляками, собрал разбежавшихся по иным городам мастеров и приступил к исправлению текста церковных книг.

В 1616 году, по царской грамоте, Троицко-Сергеева монастыря архимандриту Дионисию (успевшему прославиться патриотическими подвигами в Смутное время) указано было исправление Потребника – книги, содержащей в себе чин совершения всех церковных треб, в особенности пострадавшей от различных искажений и невежественных вставок переписчиков и печатников.

Справщики первым делом натолкнулись на лишнее прибавочное слово в молитве на освящение воды: «Сам и ныне Владыко, прииди и освяти воду сию Духом твоим святым и огнем». Справщики, глубоко убежденные в правильности своего открытия, что слово «и огнем» – позднейшая вставка неве-

жественных переписчиков, порешили слово это уничтожить. Если бы дело исправы происходило в Москве, на глазах у царя, и обсуждалось церковным советом, оно обошлось бы мирно, но в Троицко-Сергиевом монастыре из-за краткого слова загорелся сыр-бор и началась долговременная борьба, имевшая печальные трагикомические последствия. На кроткого архимандрита поднялись два «мужика-горлана»: головщик Логин и уставщик Филарет. Первый считал себя знатоком дела, так как при Шуйском печатал «уставы» и наполнял их ошибками, а второй едва знал азбуку, а «священная философия и в руках не бывала». Сговорившись с прочими, оба они отправили донос исправлявшему патриаршие обязанности крутицкому митрополиту Ионе – человеку также мало сведущему в подобных делах. В доносе было сказано, что архимандрит-справщик «Святаго Духа не исповедует, яко огнь есть». Иона потребовал обвиняемых к допросу к себе на Крутицы с бесчестием и позором, как еретиков, а потом допрашивали в Вознесенском монастыре в кельях матери царя Марфы Ивановны. Позорили архимандрита тем, что водили на допрос нарочно в праздничные и базарные дни пешком и в рубище или верхом на кляче и без седла, в цепях. Мало того: подучали уличных бродяг бросать в страдальца песком, калом и грязью за то, что он-де хочет вывести огонь со света. Дионисий все это кротко терпел, с веселым видом, а товарищи его на соборе при допросах «слюнами глаза запрыскивали тем, которые с ними спорили». Несмотря на все эти споры и перенесенные поругания, праведного Дионисия заключили в курной и угарной избе Новоспасского монастыря, кормили впроголодь и, когда вздумается, сажали на цепь, заставляли каждодневно класть по тысяче поклонов. В конце порешили обвиненного в ереси навечно заточить в Кирилло-Белозерском монастыре и только за бездорожьем приостановились исполнением указа. В это время вернулся из польского плена царский родитель Филарет патриархом, взял сторону Дионисия и оправдал его тем, что навел справку у всех вселенских патриархов в их требниках. Местная и мелкая церковная смута затихла. Исправление книг продолжалось без помехи, а

роковое слово приказано уничтожить и не говорить. Чтоб старый поп не натыкался, а бойкий и грамотный не набегал на это слово, – указано его замазать (пишущему эти строки доводилось в архангельских церквах видеть это слово в книгах дониконовской печати заклеенным бумажкой).

Указ исполнили. Описывали между прочими нижегородские десятины Костромского уезда, города Кинешмы и Кинешемского уезда поповские старосты (т. е. благочинные): «привез Воскресенский поп Стефан Дементьев с посаду и из уезду десять служебников печатных, да служебник письменной, да потребник печатной. Что приложено в них было прилог «огня» в водосвящение богоявленский воды в молитве: Сам и ныне Владыко, освятив воду сию Духом твоим святым, а прилог *огня в том в одном месте в них замазали*». И такие операции произвели в 12 случаях (см. «Русская историческая библиотека», изд. археологическою комиссиею, т. 2, Спб., 1875 г., под № 221).

Успокоившись таким образом на том, что замазали чем-то слово в книгах; но что могли предпринять против языка поповского, который, как и у всех простецов, оказался без костей и молол, по навыку? Легкое ли дело с таким легким словом бороться, когда натвердело оно в памяти и закреплялось на языке не один только раз в году, именно за вечерней под Богоявление, а срывалось с перебитого языка и пред Иорданью на другой день, и во многие дни, когда приводилось освящать воду в домах по заказу, и на полях по народному призыву, и на Преполовение, и на первого Спаса по уставу, и в храмовые и придельные церковные праздники для благолепия и торжества перед литургиями.

Стали спотыкаться на этом лишнем и запретном роковом слове чаще всех, конечно, старики-священники, у которых, по выражению царской грамоты, «обычай застарел и бесчиния вкоренились». Как его не вымолвить, когда сроднился с ним язык? Старый священник, хотя, по пословице, воробей старый, которого на мякине не обманешь, да и слово – тоже воробей: вылетит – не поймаешь. Стало быть, тут спор о том, кто сильнее? Догадливый и памятливый стережется не попасть впро-

сак. Идет у него все по-хорошему, начинает истово и ведет по уставу *косно, со сладкопением, не борзяся*, а попало слово на глаза, то и пришло на мысль, что приказано: говорить его или вовсе не говорить? А легкое слово тем временем село на самом кончике языка: и сторожит, и дожидается, когда ему спрыгнуть придет черед и время, и вылетит, что воробей: лови его. Да изъимется язык мой от гортани моея! В книге-то слово запретили, а в памяти тем самым закрепостили еще больше. А тут, вон и свидетели беды такой обступили со всех сторон; другие даже нарочно и уши насторожили, словно облаву сделали, как на какого-нибудь зверя.

В самом деле, как на тот раз и свидетелям быть спокойными и безучастными: скажет поп это слово и точно горячий блин схватил или проглотил ложку щей, с пылу горячих. Потянул с силой воздух, тряхнул головой; иной и ногой с досады пристукнул и плечами покрутил. Обидчивый и нетерпеливый с досады, надумал поправляться и опять налетал на беду. И дивное-то дело: смотрит поп в книгу, пред ним слова стоят, а он про огонь вспоминает и про него говорит.

Так и сложилась в то время (и до нас дошла) насмешливая поговорка: *в книгу глядит* (или *на воду глядит*), *а огонь говорит*. С тех самых пор начал огонь жечь попа в особину, в исключение пред другими. Стала ходить вековечная, несокрушимая в правде пословица о неизбежности для всякого человека беды и греха, с новым привеском, вызванным полузабытым неважным историческим случаем.

Впрочем, только этою незлобивою насмешкою народ и покончил с церковным словом, смущавшим священников, но сам нисколько не убедился в том, чтобы легкой помаркой можно было покончить с великим смыслом и глубоким значением самого слова и объясняемого им предмета. С огнем не велит другая пословица ни шутить, ни дружиться, а знать и понимать, что он силен. Силен живой огонь, вытертый из дерева, тем, что помогает от многих приток и порчей с ветру и с глазу, а, между прочим, пригоден при скотском падеже, если провести сквозь него еще не зачумленную животину. Божий

огонь, то есть происшедший от молнии, народ боится тушить, и если разыграется он в неудержимую силу великого пожара, заливает его не иначе, как парным коровьим молоком. Огонь очищает от всякия скверны плоти и духа, и на Ивана Купалу прыгает через него вся русская деревенщина, не исключая и петербургских и заграничных немцев. Святость огня, горевшего на свече во время *стояний*, на чтении 12-ти евангелий в Великий Четверг признается и почитается даже в строгом Петербурге, и непотушенные свечи из церквей уносятся бережно на квартиры. В местах первобытных и темных, где, как в Белоруссии, языческие предания уберегаются цельнее, почитание огня обставляется таким множеством обрядов, которые прямо свидетельствуют о том, что в огне и пламени не забыли еще старого бога Перуна. На Сретеньев день (2-го февраля) в тех местах, в честь огня, установился даже особый праздник, который зовется *громницей*.

В юридических обычаях еще с тех времен, когда люди находились в первобытном состоянии, огонь служил символом приобретения собственности. Вожди народных общин, вступая на новые земли, несли горящие головни, и вся земля, которую они могли занять в течение дня с помощью огня, считалась собственностью племени. Так как огнем же добыты от лесов пашни и у нас по всей Руси, то поэтому в древних актах населенные при помощи таких способов места постоянно называются огнищами и печищами. Около очага, около одного огня группировались потом семьи, из них вырастали целые села. Появилось в Древней Руси прозвание пахарей огнищанами, справедливое в обоих значениях: от очага и дыма и от расчистки срубленного и спиленного леса.

ВПРОСАК ПОПАСТЬ

Попасть впросак немудрено каждому, и всякому удается это не одну тысячу раз в жизни, и притом так, что иногда всю жизнь те случаи вспоминаются. Между прочим, попал впросак тот иностранец, который в нынешнем столетии приезжал изу-

чать Россию и, увидев в деревнях наших столбы для качелей, скороспело принял их за виселицы и простодушно умозаключил о жестоких, варварских нравах страны, о суровых и диких ее законах, худших, чем в классической Спарте. Что бы сказал и написал он, если бы побывал в городе Ржеве? Побывши в сотне городов наших, я сам чуть-чуть не попался впросак, и на этот раз разом в два: и в отвлеченный, иносказательный, и в самый настоящий. Расскажу по порядку, как было.

Шатаясь по святой Руси, захотелось мне побывать еще там, где не был, и на этот раз – на Верхней Волге. С особенной охотой и с большой радостию добрался я до почтенного города Ржева, почтенного, главным образом, по своей древности и по разнообразной промышленной и торговой живучести. Город этот, старинная «Ржева Володимирова», вдобавок к тому, стоя на двух красивых берегах Волги, разделяется на две части, которые до сих пор сохраняют также древнерусские названия: Князь-Дмитриевской и Князь-Федоровской, – трижды княжеский город. Когда все старинные города лесной новгородской Руси захудали и живут уже полузабытыми преданиями, Ржев все еще продолжает заявляться и сказываться живым и деятельным. Не так давно перестал он хвалиться баканом и кармином – своего домашнего изготовления красками (химические краски их вытеснили), но не перестает еще напоминать о себе яблочной и ягодной пастилой (хотя и у нее нашлась, однако, соперница в Москве и Коломне) и под большим секретом – погребальными колодами, то есть гробами, выдолбленными из цельного отрубка древесного с особенным изголовьем (в отличие от колоды вяземской), за которые истые староверы платят большие деньги. Не увядает слава Ржева и гремит, главнейшим образом, и в приморских портах ржевского прядева судовая снасть, парусная бечевка и корабельные канаты: тросты, вантросты, кабельты, ванты и ходовые канаты для тяги судов лошадьми. Эта слава Ржева не скоро померкнет. Не в очень далеких соседях разлеглась пеньковая Смоленщина, которая давно проторила сюда дорогу и по рекам, и по сухопутью, и с сырцовой пенькой, и с трепаной, а пожалуй, и с отчесанной.

Обмотанными той или другой густо кругом всего стана от низа живота почти по самую шею, то и дело попадаются на улицах молодцы-прядильщики (встречных в ином виде и в другой форме можно считать даже за редкость). Промысел городской, таким образом, прямо на глазах и при первой встрече. Полюбовались мы одним, другим молодцом, обмотанным по чреслам, пока он проходил на свободе: сейчас он прицепится, и мы его в лицо не увидим.

В конце длинного, широкого и вообще просторного двора установлено маховое колесо, которое вертит слепая лошадь. С колеса, по обычаю, сведена на поставленную поодаль деревянную стойку с доской струна, которая захватывает и вертит желобчатые, торопливые в поворотах шкивы. По шкивной бородке ходит колесная снасть и вертит железный крюк, вбитый в самую шкиву. Если подойдет к этому крюку прядильщик, то и прицепится, то есть припустит с груди прядку пенькового прядева и перехватит руками и станет отпускать и пятиться. Пред глазами его начинает закручиваться веревка. Крутится она скоро и сильно, сверкая в глазах, и, чтобы не обожгла белого тела и кожи, на руках надеты у всех рабочих кожаные рукавицы, или голицы. Прихватит ими мастер свежую бечевку и все пятится, как рак, и зорко пред собою поглядывает, чтобы не оборвалось в его рукавицах прядево на бечевке. Он уже не обращает внимания на то, что невыбитая кострика либо завертывается вместе с пенькой в самую веревку, либо сыплется, как песок, на землю. Пропятился мастер на один конец, сколько указано, скинул бечевку на попутные, торчком стоящие рогульки с семью и больше зубцами и опять начинает снова. Время от времени, когда при невнимании или при худой пеньке разорвется его пуповина и разъединится он и со слепой лошадью, и с колесом, – он тпрукнет и наладится. Впрочем, иные колеса (и, конечно, на бедных и малых прядильнях) вертит удосужившаяся баба, а по большей части – небольшие ребята.

Так нехитро налажен основной механизм прядильной фабрики первобытного вида. К тому же, по старинному закону, и это маленькое заведение кочует: оно переносное. У хозяина

невелик свой двор и притом короток, а на вольном воздухе свободней работать, если время не дождливое и не осеннее. Вот он и выстроил свой завод прямо на общественном месте, вдоль по улице – вдоль по широкой. Кто хочет тут проехать – объезжай около; там оставлено узенькое место: лошадь пройдет и телегу провезет. Остальную и большую половину улицы всю занял заводчик: выдвинул колесо. Отступая от него аршина на два, он вбил доску со шкивами и дальше вдоль, один за другим, по прямой линии, стойки или многозубцы на кольях. Колья эти вбил он прямо в размокшую и мягкую землю просохшей городской водосточной канавы, как вздумалось. И по кольям-стойкам знать, что они порядочно покочевали: били их по головам до того, что измочалили. Вертит колесо в шестнадцать спиц, длиною в два с четвертью аршина, баба в ситцах, а на другом конце валяются обгрызанные поленья, «сани», с прикрепленною бечевкою от колеса и припрыгивают, словно бумажка на нитке, которой любят играть молодые котята. По мере того как колесо крутит веревку, эти полешки или «сани» – тяжелые, грубого устройства полозья, – пошевеливаясь, пятятся ближе к машине.

Во Ржеве вообще нет никакого уважения к улицам, или по крайней мере об них господствует своеобразное понятие: они далеко не все служат для проезда.

Действительно, во Ржеве по такой улице не проедешь, потому что там и сям выстроены столбы с перекладиной, до которой самый высокий мужик не достанет рукой. В полное подобие виселиц на всех перекладинах ввинчены рогульками крепкие железные крючья. Это – большие заводы, у больших хозяев, у которых со дворов выходят на простор преширокие ворота. У одного такого заводчика оказалось 20 колес: по двенадцать человек на каждом – это прядильщики. Затем 28 человек колесников да 56 вьюшников. Эти последние на каждую вьюху наматывают девять пудов пеньки, то есть 27 концов по 4 нитки, и работают по три перемены.

Я зашел в одну из таких диковинных непроезжих улиц и прямо у широких ворот на задах большого дома едва не был

сбит с ног и не подмят под сапоги с крепкими гвоздями. Выступила задом из ворот и пятилась до самой средины улицы целая ватага рабочих, человек в двадцать, а тотчас следом за нею другая такая же. Все спины широкие, гладкие, крепкие, серые, белые, синие: такие можно загадать только в воображении на богатырей.

Ржевские богатыри, выдвинувшись из ворот, покрутились на середине улицы перед виселицей. Здесь весело и громко они переговаривались, пересмеивались и насмехались и опять, с гулом и быстро, потянулись вперед, куда потребовали их вороты с колесами, установленные в конце двора под навесом. Эти веселые молодцы считаются первыми бойцами на кулачных боях, которые извести во Ржеве никак невозможно. Тут все налицо, что надо: ребятки, что вертят колеса, – застрельщики, рабочие одного большого хозяина – враги и супротивники соседнего заводчика. Да и самый город с незапамятной старины разбит Волгой на две особые половины, под особыми, как сказано выше, прозваниями: правая сторона за князя Дмитрия Ивановича (Князь-Дмитриевская), левая – за Федора Борисовича (Князь-Федоровская), а место, в котором выходить может стенка на стенку, – где хочешь, если уже удалось отбить от начальства почти все улицы. Если же начальство несогласно, то Волга делает в окрестностях города такие причудливые, как бы по заказу, изгибы и колена, что за любым так ухоронишься, что никто не заметит и не помешает побиться на кулачки.

Я заглянул на тот двор, куда ушла шумливая и веселая ватага бойцов, и увидел на нем целое плетенье из веревок, словно основу на ткацком стану. Кажется, в этом веревочном лабиринте и не разберешься, хотя и видишь, что к каждой привязано по живому человеку, а концы других повисли на крючках виселиц. Сколько людей, столько новых нитей, да столько же и старых, чет в чет понавешено с боков и над головами. Действительно, разобраться здесь трудно, но запутаться даже на одной веревочке – избави Бог всякого лиходея, потому что это-то и есть настоящий бедовый «просак», то есть вся эта прядильня или веревочный стан – все пространство

от прядильного колеса до саней, где спускается вервь, снуется, сучится и крутится бечевка.

Все, что видит наш глаз на дворе, – и протянутое на воздухе, закрепленное на крючьях, и выпрядаемое с грудей и животов, – вся прядильная канатная снасть и веревочный стан носит старинное и столь прославленное имя «просак». Здесь, если угодит один волос попасть в «сучево» или «просучево» на любой веревке, то заберет и все кудри русые, и бороду бобровую так, что кое-что потеряешь, а на побитом месте только рубец останется на память. Кто попадет полой кафтана или рубахи, у того весь нижний стан одежды отрывает прочь, пока не остановят глупую лошадь и услужливое колесо. Ходи – не зевай! Смеясь, поталкивай плечом соседа ради веселья и шутки, да с большой оглядкой, а то скрутит беда – не выдерешься, просидишь в просаках – не поздоровится.

НА УЛИЦЕ ПРАЗДНИК

Не забывая ржевских улиц, вспомним, к слову и кстати, про всякие на Руси улицы. Смотреть же, где настоящие баклуши бьют, пойдем потом в другую и дальную сторону.

Не только та полоса или дорога, которая оставляется свободною для прохода и проезда у лица домов, между двумя рядами жилых строений, называется улицей, но и весь простор вне жильев, насколько хватает глаз, все вольное поднебесье означается этим именем во всей северной лесной Руси. Старинный народ, любя селиться на просторе и прорубаясь в темных дремучих лесах, хлопотал именно о том, чтобы открыть глазам побольше видов. Для этого он беспощадно рубил деревья как лютых и непримиримых врагов, в вековечной борьбе с которыми надорвал свои силы. Затем уже он поспешил встать деревней так, чтобы кругом было светлое место. Не оставлялось на корню ни одного деревца подле жильев. Оттого там, в лесных русских селениях, всякий человек, пришедший с воли, незнаемый, а тем более нежеланный и даже недобрый, называется человеком «с улицы», «с ветру». Там, если приглашают приятеля

«пойти на улицу», то это вовсе не значит посидеть на завалинке или пошататься между рядами домов, а значит погулять на вольном воздухе, в поле и в лесу. Собственно тех улиц, которые мы понимаем и чувствуем под этим строгим именем и образцы которых, с европейского примера, указал нам Петр Великий, – в прямую стрелу проспектов, коренные русские люди пробивать и проламывать не умеют. Они настолько о том не заботятся, что выводят их как бы намеренно и совсем противно петровскому вкусу и указам, и вкривь, и вкось, и тупиками, и такими узкими, что двум встречным не разъехаться. В тупиках или глухих улицах нет вовсе сквозных проездов, в узких же – с трудом прилаживаются обочины или тротуары для пешеходов, а в настоящих и коренных городах и во всех деревнях без исключения уличных полос вдоль дороги даже вовсе не полагается. Уважая и любя соседа, пристраиваются к боку и сторонкой так, чтобы его не потеснить и потом жить с ним в миру и согласии: не всегда в линии, как в хороводе, а отчего же и не в россыпь? Должно строиться так, как велят подъемы и спуски земли, берега рек и озер, лишь бы только всем миром или целой общиной. Без мирского строя, без общинных законов, как известно, нигде и никогда русские люди и не останавливались на жительство, потому что воевать с могучей и суровой природой и с докучливым инородцем одиночной семье было не под силу. Не только земледельцы, но и отшельники в монастырях жили артелями. Только в тех случаях, когда их кругом облагали беды и нужды и приходилось ютиться друг к другу как можно теснее и ближе, зародилось что-то похожее на нынешние улицы с проулками и закоулками. Так сталось в больших городах, спрятавшихся за двумя-тремя стенами. Здесь, когда развилась, обеспечилась и развернулась жизнь и стали разбираться люди по заслугам, по ремеслам и занятиям, отобрались бояре в одно место и устраивались. Духовные, торговые, ремесленные и черные люди выбирали свои особые места и строили избы друг против друга и рядом, чтобы опять-таки не разделяться, а жить общинами и всем быть вместе и заодно. Старинная городская улица, как сельская волость, естественно сделалась политической и адми-

нистративной единицей, устроила свое управление. Она выбирала себе старост и выходила на торжище или площадь, когда собирались другие общины-улицы судить и думать, толковать не только о делах своего города, но и всей земли, тянувшей к нему податями и сносившей в него разнообразные поборы.

Во Пскове и Новгороде несколько улиц, будучи каждая в отношении к другим до известной степени самобытным телом, все вместе образовывали «конец», а все вместе концы составляли целый город, как Новый Торг (или нынешний Торжок) с семнадцатью концами или улицами, как и «государь Великий Новгород» с пятью, «господин Великой Псков» с шестью концами. По этим действительно великим центрам и сильным примерам взяло образцы все множество больших городов и северной России вплоть до Камчатки, так как вся Русь по хвойным лесам устраивалась исключительно новгородским людом и по новгородским образцам. Уладились в них улицы – стали они общинами; жители назвались «уличанами» и еще охотнее и вернее «суседями». Сближаясь интересами, делали и судили дела за «единый дух», в полное согласие: своего не давали в обиду. Как на Прусскую улицу в Новгороде, населенную боярами, хаживали с боем другие улицы и на Торговую подымался Людин конец, где жила рабочая и трудовая чернь, так и в остальных старых лесных городах ходили кулачным боем, стенка на стенку, на Проломную или Пробойную (срединную) Ильинская (нагорная) и Власьевская (окрайная). По русскому древнему обычаю, где ссорились и дрались, тут же вскоре и мирились, как в те времена, когда бои затевались из-за политических несогласий, так и потом до наших дней, когда большие вопросы измельчались до домашних дрязг, до простого желания порасправить свои могутные плечи, ради удовольствия и досужества или из уважения к обычаям родной старины. Задорнее других были улицы Плотницкие и Гончарные, сильнее всех – Мясницкие или, по-старинному, «кожемяки» – вольный слободский народ из окольных слобод.

Захотят свести счеты – и пустячный повод разожгут из конца в конец города: станет каждому досадно и всем невтер-

пеж. А лишь вышла стена на улицу и мальчишки вперед бегут задирать, – другая стенка смекает и, как вода с гор сливается, выступает навстречу первой, не медля. Бежит каждый в кучу в чем слух застал, и, засучив рукава выше локтей, каждый приготовился к бою. Когда направят ребятишек, тогда разгорятся и сами погонят малых назад. Большие и сильные начнут выступать, могучие силачи – «кирибеевичи» – издали смотрят и ухмыляются, пока не придет их час и не позовет своя ватага на дело, в помощь. Были на улицах свои старосты, бывали и свои молодцы-силачи, по двадцать пять пудов поднимали и клали на сторону лихих супротивников, как снопы, по десятку. Были на улицах свои силачи (теперь их смирили и повывели), были и свои красавицы; нарождались свои обиды и придумывались насмешливые прозвища и укоры за недостатки и прегрешения, жили свои свахи и знахарки. И непременно для всякой избы, в каждой улице обязательны были свои праздники, с пирами и пирогами, с гулянками, брагой и орехами. На кулачных боях подерутся, изместят накипелые за долгое время обиды на сердце, а на уличных праздниках – «братчинах» – помирятся, размоют руки и нагуляются. Оттого-то мудреный смысл русской улицы опять на народном языке извратился: «улицей» стали называть всякую гулянку с хороводными песнями, соберется ли она у деревенской часовни или на лужайке за овинами. Улица этого рода и звания не лежит неподвижно в пыли и грязи, а капризно кочует с облюбленного места на хорошее новое – в последние времена в московских ситцах и суконных пиджаках, веселыми ногами и с улыбающимися празднично лицами.

«Петровские соседи, – пишет старая летопись, – разбивши костер старый (то есть башню, как называли их во Пскове) у св. Петра и Павла, и в том камени создаша церковь святый Борис и Глеб». Вот и указание на время праздников и повод к ним, если только они падают непременно на летнее время и, по возможности, на безработное. Богатые города, впрочем, последнего не соображали; им до этого дела не было: на город всегда работала деревня и за него она хлопотала. На улице в городе тогда и праздник, когда подойдет он в главном или

придельном храме той церкви, которую действительно всегда строила на своей грязной улице своим трудом и коштом вкупе и складе вся жилецкая улица. Если попадает тот церковный праздник на теплое время, придумается такой, когда чествуют икону какой-либо явленной или чудотворной иконы Богоматери. Впрочем, большая часть и таких богородских празднеств как раз установлена на летнее время: и Казанская, и Тихвинская, и Смоленская – всероссийские и другие многие местные, «местночтимые».

Не без причины приходится подольше останавливаться на этом объяснении обиходной и столь распространенной поговорки. Как тот же огонь, который исключительно жег старинных попов, – «на улице праздник», представляемый в лицах, становится уже таким же преданием и с таким же правом на полное забвение. Мы переживаем теперь именно это самое время. Однако около сорока пяти лет тому назад я еще был очевидцем и свидетелем такого уличного праздника в далеком, заброшенном и полузабытом костромском городе Галиче, который некогда гремел на всю Русь своим беспокойным и жестоким князем Дмитрием Шемякой и до сих пор славится плотниками и каменщиками[1].

В моей детской памяти ярко запечатлелось необычайное повсюдное безлюдье в городе, не исключая всегда шумливой рыночной площади, и припоминаются теперь огромные толпы народа, сгрудившиеся на одной улице, главной и трактовой, называемой Пробойною. Почтовый ямщик не решился по ней ехать и свернул в сторону, зная, что Пробойная на этот день принадлежит празднику. Большие неприятности и очень тяжелые последствия ожидали бы того смельчака, который рискнул бы расстроить налаженные хороводы и другие игры. Вся Пробойная превратилась в веселый и оживленный бал, развернувшийся во всю ширину и длину ее: «улица не двор – всем простор».

[1] Впрочем, еще в 1857 г. писали в «Москвитянин» Погодина из Новгорода: «С главных улиц праздницкия» (так называемые там хороводы и гулянки) «уже исчезли, а справляются еще по закоулкам и пригородным слободам: Троицкой и Никольской». (*Примеч. С. В. Максимова*).

Несколько хороводов кружилось в разных местах чопорно и степенно по-городскому, с опущенными глазами, с подобранными сердечком губами, выступая в середине густой стены из добрых молодцев, еще в длинных на тот раз сибирках, теперь, ради куцего пальто и жилетки, совершенно покинутых.

Все девушки вертелись в кругу с лицами, закрытыми белыми фатами, в бабушкиных, шитых позументами и унизанных каменьями головных повязках и надглазных понизях или рясках, в коротеньких со сборами парчовых безрукавных телогреях, в широких, вздутых на плечах кисейных рукавах и со множеством колец на руках (галицкий наряд пользовался на Руси, вместе с калужским и торжковским, равною известностью и славою). Хороводы собственно были очень чинны и степенны, а потому скучны. Ни одна девушка не решалась поднять фаты, а покусившийся на это смельчак жестоко поплатился бы перед молодежью-уличанами своими боками. Веселились, собственно, на том и другом конце, где большие и малые играли в городки или чурки. И в самом деле, было забавно смотреть, когда из победившей партии длинный верзила садился на плечи крепкого коротыша и ехал на нем от кона до кона, и гремела толпа откровенным несдерживаемым хохотом. Веселились еще по домам, смотревшим на эту улицу большею частию тремя или пятью окнами, где для степенных и почтенных людей было сварено и выдержано на ледниках черное пиво и брага и напечены классические рыбники, поддерживавшие славу города, который расположился около тинистого большого озера, прославившегося в отдаленных пределах северной России ершами, крупными и вкусными.

Теперь эти праздники там совершенно прекратились, когда на смену хоровода привезли из европейской столицы досужие питерщики французскую кадриль. Готовые пальто и дешевые ситцы победили вконец бабушкины сарафаны и шубейки, и в народные песни втиснулся нахалом и хватом, с гармонией и гитарой, кисло-сладкий ветреный и нескромный романс вместе с «частушками» – коротенькими куплетцами водевильного строя. Теперь и в глухих местах пошло все по-новому, и на

улицах праздников мы больше никогда не увидим и иных, кроме иносказательных, пословичных, понимать не будем.

ВСТАТЬ В ТУПИК

Очутиться в безвыходном положении, оказаться в очумелом состоянии, стать как пень в смущении и недоумении, растеряться так, что не знать что делать, – обычное выражение, народившееся на городских улицах. Городские жители хорошо знают, что «тупиками» называются такие закоулки, которые, подобно мешкам, имея вход, не дают свободного выхода. Эти непроходимые и непроезжие улицы называются также «глухими переулками». Наши города, зачастую расположившиеся у подножия гор и в распределении жилищ очутившиеся в зависимости от направления косогоров и речных берегов, в особенности обилуют такого вида улицами; наиболее же прославилась ими холмистая Москва. Не селились люди как прямее, а строились как ладнее. В старинных городах, когда, вопреки новым узаконениям, дома ставились даже в таком порядке, как вздумалось и как пришлось по зависимости от соседей, – к тупикам этим оказалась как бы намеренная и упрямая наклонность. Много возни и хлопот они причинили тем, кто пускался переделывать и перестраивать этот неудобный порядок. Не избегнул тупиков даже и такой втиснутый в струну аккуратный немец, как регулированный три раза Петербург в своих глухих переулках. Такими еще очень недавно славились его окраины и в особенности первоначально заселенный пункт, какова Петербургская сторона. Доводились и здесь, на ровных болотистых, поемных водою низинах «вставать в тупик, что некуда вступить» в прямом смысле.

БАКЛУШИ БЬЮТ

Баклуши бить – промысел легкий, особого искусства не требует, но зато и не кормит, если принимать его в том общем смысле, как понимают все, и особенно здесь, в Петербурге, где

на всякие пустяки мастеров не перечтешь, а по театрам, островам и по Летнему саду их – невыгребная яма. Собственно незачем и ходить далеко, но за объяснением коренного слова надобно потрудиться хотя бы в такую меру, чтобы подняться с места, пересесть в Москве в другой вагон и, оставив привычки милого Петербурга, снизойти вниманием до Нижнего Новгорода. Нижним непременно и обязательно следует по пути полюбоваться: стоит он того! Перехвастал он и острова, и Поклонную гору, что под Первым Парголовым. Красота его видов – неописанная. Есть у него соперник в городе Киеве, да еще обе эти силы не меряли и не вешали, а потому сказать трудно, кто из них внешним видом привлекательнее и красивее.

Если посмотреть на Волгу и ее берега со стороны города, хотя бы с так называемого и столь знаменитого «откоса», то простор, разнообразие и широкое раздолье в состоянии ошеломить и ослепить глаза, обессилевшие в тесных и душных высочайших коридорах столичных улиц и проспектов. Там, на Волге, на этом месте все есть, к чему бессильно стремятся всяческие и все вместе взятые театральные декорации, размалевывая прихотливые изгибы реки, зелень островов и бледноватую синеву леса, обыкновенно завершающие задние планы картины. Все это здесь могущественно и величественно, как те две реки, которые вздумали именно в этом месте начать обоюдную борьбу своими водами. На них – перевозный паром, на котором установлено до двадцати телег с лошадьми, и работают пароходы. И они, и этот уродливый и большой дощаник кажется ореховой скорлупой. До того высока гора и до того мелко, как игрушечные изделия на вербах, вырисовываются на противоположном низменном берегу церкви села Борок. Теперь уже оно не оправдывает своего лесного названия: леса очень далеко ушли вглубь синеющего горизонта. Но зато какие это леса, те, которых не видно (но они еще уцелели там, дальше, за пределом, положенным силе человеческого взора), леса «чернораменные», керженские, ветлужские! Их редкий из читающих людей не знает. Ими вдохновился покойный знаток Руси П. И. Мельников (Андрей Печерский) в такую меру и

силу, что написанная им бытовая поэма сделала те леса общественным народным достоянием в виде и смысле крупного художественного вклада в отечественную литературу.

Следом за ним на короткое время и мы заглянем сюда в эти интересные леса, куда П. И. Мельников сумел так мастерски врубиться для иных целей. В этих первобытных дремучих дебрях, которые также начинают изживать свой достопамятный век, хотя после П. И. Мельникова и не осталось щепы, зато процветает еще «щепеное» промысловое дело.

В самом деле, эти боры и раменья или совсем исчезли, или очень поредели: много в них и обширных полян, и широких просек, и еще того больше ветровалов и буреломов. Здесь производится издавна опустошительная порубка деревьев на продажу, которой подслужилась столь известная в истории староверья река Керженец. В лесах этого Семеновского уезда Нижегородской губернии издавна завелся и укрепился промысел искусственной обработки дерева в форме деревянной посуды, говоря общепринятым книжным термином, или, попросту, заготовляется на всю Русь и Азию «горянщина», или щепеной товар: крупная и мелкая домашняя деревянная посуда и утварь. Сильный ходовой товар – лопаты, лодки-долбушки (они же душегубки), дуги, оглобли, гробовые колоды, излюбленные народом, но запрещенные законом. Для разносных и сидячих торговцев с легким или съестным товаром и для хозяйства – лотки, совки, обручи, клепки для сбора и вязки обручной посуды – это горянщина; и мелочь: ложки, чашки, жбаны для пива и квасу на столы, корыта, ведра, ковши – квас пить, блюда, миски, уполовники и др. – это щепено́й товар. От этой мелочи и мастера точильного посудного дела называются «ложкарями». Они мастерят и ту ложку-«межеумок», которою вся православная Русь выламывает из горшков крутую кашу и хлебает щи, не обжигая губ, и «бутызку», какую носили бурлаки за ленточкой шляпы на лбу вместо кокарды. Здесь же точат и те круглые расписные чашки, в которых бухарский эмир и хивинский хан подают почетным гостям лакомый плов, облитый бараньим салом или свежим ароматным гранатным соком, и в которые бывшая

французская императрица Евгения бросала визитные карточки знаменитых посетителей ее роскошных салонов.

Для такого почетного и непочетного назначения ходит с топором семеновский мужик по раменьям, то есть по сырым низинам, богатым перегноем. На них любит расти быстрее других лесных деревьев почитаемое всюду проклятым, но здесь почетное дерево – осина. Оно и вкраплено одиночными насаждениями среди других древесных пород и силится устроиться рощами, имеющими непривлекательный вид по той всклокоченной, растрепанной форме деревьев, которая всем осинам присуща, и по тому в самом деле отчаянному и своеобразному характеру, что осиновая роща, при сероватой листве, бледна тенями. Ее сухие и плотные листья не издают приятного для слуха шелеста, а барабанят один о другой, производя немелодический шорох. Это-то неопрятное и некрасивое, сорное и докучливое по своей плодовитости дерево, которое растет даже из кучи ветровалов, из корневых побегов и отпрысков, трясет листьями при легком движении воздуха, горит сильным и ярким пламенем, но мало греет, – это непохожее на другие странное дерево кормит все население семеновского Заволжья. Полезно оно в силу той своей природной добродетели, что желтовато-белая древесина его легко режется ножом, точно воск, не трескается и не коробится, опять-таки к общему удивлению и в отличие от всех других деревьев.

Ходит семеновский мужик по раменьям и ищет самого крупного узорочного осинового пня, надрубая топором каждое дерево у самого корня. Не найдя любимого, он засекает новое и оставляет эти попорченные на убой лютому ветру. То дерево, которое приглянется, мужик валит, а затем отрубает сучья и вершину. Осина легко раскалывается топором вдоль ствола крупными плахами. Сколет мужик одну сторону на треть всей лесины, повернет на нее остальную сторону и ее сколет, попадая носком топора, к удивлению, в ту же линию, которую наметил без циркуля, глазом. Среднюю треть древесины в вершок толщиной, или рыхлую сердцевину, он бросает в лесу: никуда она не годится, потому что, если попадет

кусок ее в изделие, то на этом месте будет просачиваться все жидкое, что ни нальют в посудину. Наколотые плахи лесник складывает тут же в клетки, чтобы продувало их: просушит и затем по санному пути свезет их домой. Эти плашки зовут «шабалой» и ими же ругаются, говорят: «Без ума голова – шабала». Есть ли еще что дряннее этого дерева, которое теперь лесник сложил у избы, когда и цены такой дряни никто не придумает, – есть ли и человек хуже того, который много врет, без отдыха мелет всякий вздор, ничего не делает путного и мало на какую работу пригоден?

Шабалы семеновский мужик привез в деревню «оболванивать»: для этого насадит он не вдоль, как у топора, а поперек длинного топорища полукруглое лезо и начнет этим «теслом», как бы долотом, выдалбливать внутренность и округлять плаху. Сталась теперь из шабалы «баклуша», та самая, которую опять надо просушивать и которую опять-таки пускают в бранное и насмешливое слово за всякое пустое дело, за всякое шатанье без работы с обычными пустяковскими разговорами. Ходит глупая шабала из угла в угол и ищет, кого бы схватить за шиворот или за пуговицу и поставить своему безделью в помощники, заставить себя слушать. Насколько нехорошо в общежитии «бить баклуши» – всякий знает без дальних объяснений; насколько нехитро сколоть горбыльки, стесать негодную в дело блонь, если тесло само хорошо тешет, – словом, бить настоящие подлинные баклуши – сами видим теперь. Таких же пустяков и ничтожных трудов стоило это праховое дело и в промысле, как и в общежитии.

В самом деле, притесал мужик баклушу вчерне и дальше ничего с ней поделать не может и не умеет, так ведь и медведь в лесу дуги гнет, – за что же баклушнику честь воздавать, когда у него в руках из осинового чурбана ничего не выходит? Впрочем, он и сам не хвастается, а даже совестится и побаивается, чтобы другой досужий человек не спросил: каким-де ты ремеслом промышляешь? Однако с баклушника начинается искусство токарное. Приступают к самому делу токари, ложкари – мастера и доточники (настоящие) с Покрова и работают

ложки и плошки до самой Св. Пасхи. Вытачивают, кроме осиновых, из баклуш березовых, редко липовых, а того охотнее из кленовых. За ложку в баклушах дают одну цену, за ложки в отделке ровно вдвое. При этом осиновая ценится дороже березовой, дешевле кленовой. Да и весь щепеной товар изо всех изделий рук человеческих – самый дешевый: сходнее его разве самая щепа, но и та, судя по потребам, в безлесных местах лезет иногда ценою в гору. Если дешева иголка по силе и смыслу политико-экономического закона разделения труда, то здесь около деревянной посуды еще дробнее разделение это, когда ложка пойдет из рук в руки, пока не окажется «завитой» (с фигурной ручкой), «заолифленной» (белилами, сваренными на льняном масле) и подкрашенной цветным букетом, когда, одним словом, ее незазорно и исправнику подложить к яичнице-скородумке, на чугунной сковороде, с топленым коровьим маслом. Для господ и сами ложкари приготовляют особый сорт – «носатые» (остроносые) и тонкие самой чистой отделки: «Едоку и ложкой владеть».

Стоит у ложкаря его мастерская в лесу: это – целая избушка на курьих ножках, без крыши, только под потолочным накатом и немшоная: лишь бы не попадал и не очень бил косой дробный дождик в лицо и спину. В избе дверь одна, наподобие звериного лаза, и окно одно подымное да другая дыра большая. В эту дыру просунул хохломский токарь толстое бревно, насадил на том его конце, который вывел в избу, баклушу и приладился к ней точильным инструментом. К другому концу бревна, что вышел на улицу, прицепил ложкарь колесо, а к нему привязал приученную лошадь: на нее если свистнуть, она остановится, если крикнуть да нукнуть, она опять начнет медленно переставлять разбитые ноги. Ей все равно: она знает, что надо слушаться и ходить, надо хвостом вертеть, а иногда и сфыркнуть в полное наслаждение и для развлечения. Тпру! – значит, десять чашек прорезал резец. Теперь другую баклушу следует насаживать на бревно, а готовые чашки с того бревна-баклуши будут откалывать другие. В третьих руках ложечная баклуша так отделается, что станет видно, что это будет лож-

ка, а не уполовник. Четвертый ее выглаживает, пятый завивает ручку; у шестых она подкрашенною сушится в печах и разводит в избе такую духоту и смрад, что хоть беги отсюда назад и прямо в лес. Кто бы, однако, ни купил потом эту ложку, всякий сначала ее ошпарит кипятком или выварит, чтобы эта штучка была непоганая да и не липла бы к усам и губам.

Покупать у ложкарей готовый щепеной товар станут «ложкарники», кто этим товаром торгует в посаде Городце и селе Пурехе (в последнем главнейшим образом). Они умеют доставлять и продавать эти дешевые, но непрочные изделия туда, где их успевают скоро изгрызать малые ребята, делая молочные зубы, и ломают сами матери, стукая больно по лбу шаловливых и балованных деток, привыкших дома бить баклуши.

СЛОНЯТЬСЯ И ЛОДЫРНИЧАТЬ

Слоняться в смысле бездельничать; *водить слонов* – ничего не делать, даром теряя время, один толковник пустился объяснять случаем из времен Екатерины. Слонов, приведенных царице от персидского шаха, «целые дни водили по Петербургу на показ народу, а за ними целые толпы, преимущественно молодежи, побросавшей всякой занятие, ходили разиня от изумления рот». Для Петербурга такое объяснение может быть и понятно, и вполне заслуженное, но дело в том, что исстари поется в одной песне не слон сло́нится (см. слоняется) – грузно идет, неуклюжий – валит тяжелой походкой, а в сборнике былин Кирши Данилова, при описании богатырского лука, говорится, что у него «полосы были булатные, а жилы слоны сохатные». Отсюда Даль имел полное основание заключить, что не одно лишь животное жарких стран называлось слоном, но что под этим именем разумелось встарь вообще тяжелое или большое животное, которое «сло́ном слоняется» по лесам, хотя бы подобно тому же сохатому сибирскому лосю наших лесов (а сохатый он за то, что рога у него широкие, вилообразные, то есть развилистые или с рассохою). Но и в последнем выражении «сло́ном слоняться» все-таки слона не видно из-за обычного родному языку приема

выражений подобных, например, нижеследующим: поедом ест, поколотом бьется, живмя живет, ревмя ревет, бегом бежит, потребовавших деепричастий для поддержки с целию усиления впечатлений и значения. Едва ли также с большею удачею принимались толковать однородное слово:

Ло́дырничать от лодыря и от лодера. Лодырь или лодер – повеса и бездельник, шатун и плут, гуляка и оборванец – по мнению Даля, происходит от немецкого слова Luder, liederdich. По другим же толкованиям (и также на руку немцам) – от московского доктора Лодера, завещавшего, между прочим, Московскому университету превосходный кабинет восковых препаратов анатомических аномалий. Этот доктор первый познакомил русских со способом лечения искусственными минеральными водами, обязывая пациентов, после питья, продолжительными прогулками и быстрой ходьбой. Тяготясь мучительными ожиданиями господ, кучера собственных экипажей, недоумевая при виде этой суетни и беготни взапуски, отвечали испуганным прохожим на вопросы, что это делается: «лодыря гоняют. Мы сами видели, как из Москвы-реки воду брали»[1]. Таким образом, с экипажных козел раздалось и разлетелось по белому свету верное и острое слово в успокоение доверчивым людям.

Видимо, и в этих случаях приходится с приметы пословичной старухи про дождь – сказывать надвое либо, следуя пословичному выражению, «клещами на лошадь хомут натягивать». Это особенно применимо при истолкованиях чужих слов, заимствованных с иностранных языков. Так, например, происхождение слова «шерамыга» от французского cher ami, приспособленное к тем плутам и обманщикам, которые любят и привыкли все брать «шаром да даром», «поживляться на шаромышку», – бесспорно. Между тем и здесь дают два объяснения. Одни относят время происхождения к 1812 г., когда голодные французы протягивали руки, прося о помощи своим

[1] Нашелся еще и третий толковник, который то же слово производит от английского loiterer (лентяй), но до этого уже так далеко идти, что и с места вставать не хочется. (*Примеч. С. В. Максимова*).

обычным ласковым приветом, другие – к 1814 г., когда, в свою очередь, наши полуголодные солдаты, находившиеся в Париже, заходили в лавки за провизией, и продавцы, ненавидевшие пруссаков, охотливо давали нашим все даром: viens, cher ami! Третье толкование также и здесь готово прислужиться тем, чтобы с барских кучеров перевести на лакеев. Эти-де, видя, как барыни ласково ухаживают за французскими пленными (после 1812 г.), принятыми в качестве гувернеров, подсмеивались над счастливцами, напыщенными и гордыми перед низшими, вертлявыми перед господами, и прозвали их шерамыгами.

Пожалуй, что здесь можно и кончить, имея в виду бесспорные указания на те пословицы и поговорки, которые поступили в русский обиход из чужих земель. Остановимся на более известных.

С немецкого переведены: «задать кому феферу» (перцу); «строить воздушные замки», «знают его, что пеструю собаку»; голод – лучший повар; лебединую песню спеть; смотреть сквозь пальцы; свинью подложить, пускать пыль в глаза и т. д.

С французского: куры строить; он не в своей тарелке; нет героя у камердинера; риск – благородное дело и т. д. – все придумано для городского обихода, что, собственно, не в задаче этого труда.

С более важной стороны для непосредственных заимствований самим народом имеется превосходный источник – церковные чтения и пение – преимущественно для грамотеев. Таковы наичаще встречающиеся, полученные всего больше из Псалтыри: «притча во языцех»; «оставиша остатки младенцам твоим»; «око за око», «зуб за зуб»; «от дел твоих сужу тя»; «истина от земли, а правда с небес» и проч.

ЛЯСЫ ТОЧАТ

В тех же заволжских лесах, о которых было сказано прежде и где бьют настоящие баклуши и вытачивают из них бесконечного разнообразия вещи, также не обманным, а настоящим образом «точат лясы или балясы».

Там не ведут шутливых разговоров на веселое сердце в свободный час и досужее время, истрачивая их на пустяки или «лясы», на потешную или остроумную болтовню. Усердно и очень серьезно из тех же осиновых плах точат там фигурные балясины, налаживая их наподобие графинов и кувшинов, фантастических цветов и звериных головок, в виде коня или птицы: кому как вздумается и взбредет на ум или кто как выучен с малых лет. Работа веселая, позывает на песню и легкая уже потому, что дает простор воображению и нередко руководится рисунком, которым можно угодить, заслужить похвалу и «на водку». Делается напоказ для похвальбы и идет на украшение лестничных перил, поручней на балконах и т. п. …все не в прямую пользу и не для всякого мужика, сколько его ни народилось на свете, а только для богатого и, стало быть, тщеславного. В глазах ложкарей, приготовляющих нужные всем и полезные вещи, такое веселое занятие кажется менее внушающим уважения за последствия, и точеные, на разный рисунок, столбики – пустяковиной сравнительно с ложкой, чашкой и уполовником. Лесной житель привык видеть в природе отупляющее однообразие и обязан всегда любоваться ее строгим и хмурым видом и среди ее жить чаще буднями, чем праздниками. С другой стороны, на обоих оживленных берегах Волги, среди открытого простора и бесконечного движения, особенно «на горах», народились охотники на яркие и пестрые безделушки, которым придают они большую цену, – особенно богатые судохозяева.

Отвечая спросу и угождая вкусу поволжских богачей, в среде семеновских токарей издавна завелся особый сорт промышленников, которых и называли «балясниками». Их досужеству обязаны были своей пестротой и красотой все те суда, в особенности коноводки и расшивы, которые плавали вдоль Волги. Когда они выстраивались рядами во время Макарьевской ярмарки, в самом устье Оки, вдоль плашкоутного наводного моста, выставка эта была действительно своеобразною и поразительною. Подобной в иных местах уже и нельзя было встретить. Она местами напоминала и буддийские храмы с фантастическими драконами, змеями и чудовищами. Местами

силилась она уподобиться выставке крупных по размерам и ярких по цветам лубочных картин, а все вместе очень походило на нестройную связь построек старинных теремков, где балкончики, крыльца, сходы и повалуши громоздились одни над другими и кичились затейливой пестротой друг перед другом. Идя по мосту с Нижнего базара города на песчаный мыс ярмарки, нельзя было не остановиться и можно было подолгу любоваться всем этим неожиданным цветистым разнообразием.

Строгий деловой и казенный вид однообразных пароходов, которые в последнее время, по американскому способу, стали уподобляться даже настоящим многоэтажным фабрикам и заводам, сбил спесь с расшив и коноводок до такой степени, что они теперь почти совершенно исчезли. Исчезло с ними вместе в семеновских лесах и специальное ремесло балясников, уступив место подложным – тем ловким людям, которые «лясы точат – людей морочат», хвастливыми речами «отводят глаза и заговаривают зубы», а угодливыми поступками берут города, то есть все то, чего не достигают другие люди честным трудом и прямыми заслугами. Много таких мастеров в больших городах и в высших сословиях.

СЫР-БОР ЗАГОРЕЛСЯ

Говорят это, когда неожиданно, снегом на голову нагрянула великая неизживная беда либо поднялся шум из пустого. Обе крайности сведены все на тот же сухой сосновый лес, так называемый красный – строевой, величественный в непочатом виде, который докучлив северянину по своему изобилию, но драгоценен по разнообразию приносимой пользы. Нет для великоросса более сокрушительной беды, как если когда займется пожаром этот сырой бор, и помрачится солнце, и потонет в непроглядном дыму вся эта поднебесная красота. Где эти горные кряжи, как добрый конь гривой, покрытые зеленой щетиной сосен, стоявших стройными рядами, как сказочные богатыри, и где эти зеленые долины между гор, пересеченные такими же веселыми оврагами? Среди них, как стадо пугли-

вых овец, стояли белые кудрявые березы. В полугоре без ветра шумела осиновая роща, а за ней в голубой дали опять подымалась щетина дальних боров там за рекою, которая сверкала широким изгибистым коленом, как зеркало. По ребру ближней горы цеплялась узенькая дорога, и ее пересекал, весело журча, говорливый ручей. Все теперь поглощено огнем, и он ничего не пощадит. Вот уже затрещало и занялось и то место, которое заповедали: звали священника с образами и хоругвями, пели всем миром "Слава в вышних Богу" и обходили кругом, и никто не смел въезжать в тот лес с топором. Огонь теперь и заповедное пожрет, все переменит, – старые виды велит забывать и закажет привыкать к новым. Теперь остается одно: прислушиваться и ужасаться – ужасаться тому шуму и треску, который разводит пожар и в сухоподстоях, и в молодняке. Кто бывал свидетелем лесных ураганов, в огненном море производимом большими пожарами, тот во всю жизнь о том не забудет (мне уже пришлось один раз вспомянуть как самовидцу и посильно описать). Кому посчастливилось не быть свидетелем подобных ужасов народного бедствия, тот в «Лесах» Мельникова найдет довольно близкие правде картины. Кто же пожелает проникнуть глубже в этот вопрос и очевиднее понять и ужасы картины, и ужасы последствий опустошения, тот найдет их в бесхитростном, прямодушном и умно написанном сочинении «Очерки Заволжской части Макарьевского уезда». Здесь и автор «В лесах» принужден был искать неподдельно-живых и свежих красок. Следует, в заключение этой заметки, посетовать на злоупотребление, допускаемое в разговорной речи, позволяющей себе уподоблять людской пустяковский шум тому могучему и устрашающему, который подымает лесной богатырь, когда снимется с ним бороться другой такой же силач.

ЛАПТИ ПЛЕТУТ

Лапти плести в иносказательном смысле собственно значит путать в деле и в разговоре. Так по крайней мере разумеет сельщина и деревенщина («путает, словно кашу в лапти обува-

ет»). В городах применяют это выражение к тем, которые медленно, вяло и плохо работают, и применяют, пожалуй, также основательно, так как самый хороший и привычный работник на заказ успевает приготовить в сутки лаптей не больше двух пар. Легко плетутся подошва, перед и обушник (бока); замедляется работа на запятнике, куда надо свести все лыки и связать петлю так, чтобы, когда проденутся оборы, они не кривили бы лаптя и не трудили бы ног в одну сторону. Не всякий это умеет. «Царь Петр (говорит народ) все умел делать, до всего дошел сам, а над запятником лаптя задумался и бросил. В Питере тот недоплетенный лапоть хранят и показывают». Оправдывая таким неверным сказанием самое немудреное дело на свете, предоставленное в деревнях ветхим старикам, которые уже больше ничего не могут делать, – народ около лаптя умудрился выискать некоторые поучения, выдумал и пустил в оборот еще несколько обиходных выражений. Из области технических деревенских производств вообще взято довольно выражений для живого языка и ежедневного руководства.

Кто шатается без дела и не находит места, где бы найти работу и присесть за нее, – тот «звонит в лапоть». Кто вдруг и сразу захотел сделать дело, да не вышло, – остался хвастливый ни при чем, – говорят тому в укор: «Это не лапоть сплесть!». Обеднел кто по своей неосмотрительности, которая, однако, не возбуждает сожаления, про того говорят, что он переобулся из сапог в лапти; а случается, что «переобувают» другие ловкие люди – товарищи в деле и в предприятии. На кого ничем нельзя угодить, хоть разорвись, – на того «черт плетет лапти по три года кряду». Собственно «лапти плесть – однова в день есть» – немного заработаешь, потому что пара лаптей дороже трех и пяти копеек бывает редко, и то подковыренная паклей или тем же лыком. Между тем на этого явного и всеми основательно обвиненного врага и злодея красивых и, по применению к общежитию, наиболее полезных и дорогих деревьев истрачивается ежегодно неисчислимая масса. Достаточно вспомнить, что на лыки для пары лаптей обдирается три молоденьких липовых деревца и что только в таком раннем возрас-

те (до 4–6 лет) они способны удостоиться чести превратиться в обувь. Ее добрый мужик в худую пору изнашивает в одну неделю в количестве двух пар.

Происходит это от уменья ровно подбирать сплошной ряд лыковых лент в дорожку по прямой черте, а также и от добросовестного выбора только самых чистых лык. Не всякое лыко годится в лапотную строку; отсюда и распространенное выражение: «Не все в строку, не всякое лыко в строку», обращаемое советом к тем, которые чрезмерно взыскательны и строги, и к тем, которые неразборчивы в делах, расточительны до излишества в словах, и т. п. «Не все лыком, да в строку» – кое о чем можно и помолчать.

Пока еще дадут мужику возможность обуться в сапоги и в том ему помогут, лапоть все-таки сохранит достоинство отличной обуви: дешевой и легкой для ходьбы по лесам и притом зимою – теплой, а летом – прохладной. Свалился он с ног на улице или завяз в грязи – не жалко: слез терять не станут, а догадливая баба поднимет на палку и поставит в огороде: начнет лапоть ворон и воробьев пугать.

В старину едва ли не всюду, а теперь во многих глухих местах липовый лапоть играл почетную роль измерителя земли при общинных переделах, когда малые клочки хорошей почвы имели важное значение для уравнения всех в правах владения или торжества общинной справедливости. Пахари становятся один против другого и, считая вслух, приставляя один лапоть к другому непосредственно и так, чтобы передок головы одного приходился к запятнику (задку) другого. Поэтому и пол-лаптя принимается в расчет, и двое соглашаются «войти в один лапоть» и т. д.

В ДУГУ ГНУТ

Не в иносказательном, всем понятном смысле, а в прямом, породившем это общеупотребительное «крылатое слово», дуги гнут не одни медведи, а те же простые мужики-сермяги. Медведи в лесу дуги гнут – не парят, а если переломят, то не

тужат. Парит и тужит тот, кто работает этот покупной и ходовой товар на базары обычно в то время, когда настоящий медведь, отыскавши ямы в ветровалах, заваливается в них спать до первых признаков весны. Зимой – временем, столь вообще властным в жизни нашего народа, – и дуги гнут, и колеса тут же, по соседству, работают и сами же собирают их. Особых мест не предоставлено: самый промысел стал теперь кочевать, отыскивая подходящие леса в нынешнее время их поголовного и бессовестного истребления. Например, ильмовые и вязовые дуги считались самими лучшими и предпочитались другим, а теперь там, где владычествовало чернолесье (в срединной России), илим, как говорят, ходит в сапожках, т. е. можно еще найти, но деревья оказываются никуда негодными: всегда с гнилой сердцевиной. Поневоле стали обращаться к ветле и осине. Осина и на этот раз нуждающихся в ней выручает. В 35–50 лет возрастом та осина, которая вырастает на «субоpoвинах» или на возвышенных местах, прилегающих к настоящим борам, не хрупка и прямослойна, а потому признается годной; из нее гнут дуги и ободья. Но где же ей сравниться с высокими качествами древесины илима или вяза? Если живописному дереву – вязу – задалась глубокая и рыхлая, а в особенности свежая и сырая почва по низменным пологостям рек и оврагов, он дает древесину очень вязкую и твердую, крепкую и упругую. Ее трудно расколоть; она не боится ударов и при этом прочна. С ней много хлопот столярам, но зато в изделье она красива по темно-коричневому цвету ядра и по широкой желтоватой заболони и хорошо при этом полируется.

На смену исчезающих вязов всегда, впрочем, годится и даже напрашивается ветла или ива различных пород и многочисленных названий (верба, ракита, бредина, лоза, чернотал, шелюги и т. д.). По России она распространена повсеместно, а в средней полосе, где умеют гнуть дуги и полозья, она является в наибольшем количестве. Ивушка за то воспевается в песнях чаще прочих дерев, потому что докучливо мечется в глаза: по лесам, между другими деревьями, по рекам, оврагам, на выгонах, по сырым покосам. Может она расти на сухих песках

и бесцеремонно лезет в чистые мокрые болота, причем растет необыкновенно скоро: даже срубленный пень быстро покрывается множеством молодых побегов. Вот почему и дуга – чаще ветловая, уподобляемая весьма образно в живом народном языке человеческой неправде: «если концы в воде, так середка наружу; когда середка в воде – концы наружу».

За то, что эти деревья упруги, – с ними обычно поступают так. Сначала непременно парят. На это дело годится всякая жарко натопленная банька, а где уже этим промыслом живут и кормятся, там относятся к делу с большим вниманием и почтением. Там гнут дуги на две руки: либо на котловой, либо на огневой парке. Для этого приспособлены и особые заведения: простой деревянный сруб, смахивающий на плохую избенку, аршина на два в вышину. На потолке наведено земли и дерна, сколько он сможет сдержать, а сквозь стены внутрь проведены две слеги и прорублена дыра с дверкой, чтобы можно было пролезать. В оконце мужик влезет, на слегах уложит вязовые кряжи, на полу зажжет поленья дров и вылезет вон чернее черта. Дверцу в оконце он за собою запрет. Дрова тлеют, а кряжи млеют. Ветлы и вяз так распариваются, что гни их потом, куда хочешь. Это – огневая парня, а если налить водой котел, подложить под него огонь и заставить пустить пар также в наглухо закрытую парню, то и сыр-могуч дуб сдается: придвигай теперь станок и сгибай дерево – не сломится. Свяжи только концы веревкой, да даже хотя бы и мочалом (ценой всего на копейку), и оставь лежать: кряж попривыкнет, слежится, ссыхаясь и замирая так, как ты того хочешь. Когда дуги остынут, их обтесывают топором, потом проходят скобелью, затем просушивают в теплых избах. На просушенных можно уже вырезать всякие узоры, а затем и кольцо продеть, и колокольчик повесить. На охотников, сверх всего, приготовляется краска из коры крушины (которую кое-где, кстати, называют «кручиной»). Толкут ее в порошок и разводят кипятком: выходит оливковый цвет. В расписной, кичливой дуге и не узнаешь теперь красивого вяза и величественного, гордого и могучего дуба.

КОЛОКОЛА ЛЬЮТ

– По городу сплетни пошли, и одна другой несбыточное и злее, – что это значит?

– Колокол где-нибудь льют.

– По деревням бродят вести и соблазняют народ на веру в них. Иная хватает через край, а хочется ей верить: придумано ловко.

– Не верьте, не поддавайтесь: это – колокольный заводчик прилаживается расплавленный колокольный состав из олова и меди вылить в форму и застудить, чтобы вышел из печи тот вестовщик, который, как говорит загадка, сам в церкви не бывает, а других в нее созывает.

Этот обычай народился, конечно, в то время, когда деревянные и чугунные доски, подвешенные к церковным дверям, начали заменять звонкими благовестниками. Шел обычай, вероятно, из Москвы, где, кстати, на Балканах, рядом и о бок с колокольными заводами, живут в старых и ветхих лачужках первые московские весовщицы и опытные свахи. Вся задача на этот раз состоит в том, чтобы пустить слух самый несбыточный и небылицу поворотить на быль. Мудрено ли? С древних времен забавные небылицы и дикие вести и слухи привыкли ходить по стогнам этого города на тараканьих ножках и под них здесь никогда не было нужды нанимать подводы.

Выходила сплетня обыкновенно прямо с колокольного завода, а выпускали ее в угоду хозяину и с полною верою в ее несомненную пользу, как обязательный придаток к искусству отливки, заинтересованные удачею дела работники. С Балкан быстро перелетала весть, как по телеграфной проволоке, в Рогожскую, оттуда перекидывалась, как пожарная искра по ветру, в благочестивое Замоскворечье, а отсюда разлеталась мелкими пташками по Гостиному двору и по всем трактирам, с прибавками и подвесками.

– Проявился человек с рогами и мохнатый: рога, как у черта. Есть не просит, а в люди показывается по ночам: моя

кума сама видела. И хвост торчит из-под галстука. По этому-то его и признали, а то никому бы не в догад.

Это глупое известие – самое употребительное в таких случаях везде и в такой степени, что его можно назвать «колокольным». Конечно, бывают и другие сплетни, каких в Москве вообще не оберешься. Доходит дело до того иногда, что самые недоверчивые люди впадают в сомнение: в сущую ли правду следует верить ходячему слуху или и в самом деле какой-нибудь тароватый церковный староста заказал новый колокол.

Пущен же нелепый слух с тем, чтобы отвлечь внимание праздной и докучливой толпы от своей работы, в уверенности, что в новом колоколе не будет пузырей. Таким способом отвлекают внимание, скрывая день и час родов женщин (лишний человек – помеха). Недавно по берегам Камы в селениях и городах Вятской и Пермской губ. упорно ходили слухи, что вотяки в одном селении зарезали православного священника, который между тем здравствует и до сих пор. В 1890 г. там же и особенно в Сарапульском уезде на 10 декабря ждали мороза в 60 градусов, потом на 15 числе 100 градусов, и потому запасали дрова, пищу для себя, корм для скота, обоконки для окон. Эти слухи распускали заводчики г. Слободского, получившие большой заказ на колокола.

Вообще следует сказать, что этим церковным благовестникам не только приписывается врачебная сила (например для глухих, для больных лихорадками и проч.), но народное суеверие зачастую подозревает в них нечто мыслящее и действующее по своему желанию. Так, например, один сослан был в ссылку за то, что, когда во время пожара хотели бить набат, он «гудку не дал». Царь Борис сослал углицкий колокол в Тобольск за то, что он целый город собрал на место убиения царевича Димитрия. При подъемах новых на колоколенные башни иные упрямятся и не поддаются ни силе блоков, ни тяги веревок, предвещая нечто недоброе и во всяком случае зловещее. В Никольском уезде Вологодской губернии, на реке Вохме, невидимый колокол отчетливо и слышно звонил, указывая место, где надо было строить церковь. Это было в 1784 г.

В 1846 году эта церковь сгорела, причем колокола тоскливо и жалобно звонили, – и с той поры сберегается там поговорка: «звоном началась – звоном и кончилась». Не говорим уже о чрезвычайном множестве провалившихся городов с церквами, колокола которых не перестают в известные дни слышно звонить и под землею, и под водами, напр., в реке нижегородского города Большого Китежа. В одной Белоруссии я знаю таких мест больше десятка. В заволжских лесах Макарьевского уезда Нижегородской губернии большой колокол Желтоводского монастыря будто бы и по сие время подает знак на Св. Пасху в святую Заутреню, когда начинать христосоваться в тех селениях, которые разобщены с селами и лежат среди дремучих лесов, в 60 верстах от гор. Макарьева, и т. п.

Не забудем также и тех исторических фактов, когда колокола имели даже и политическое значение. Перевозка их из одного города в другой служила одним из знаков утраты самостоятельности. Оба вечевые, новгородский и псковский, перевезены в Москву (псковичи так и говорили царскому послу: «волен князь в нас и в колоколе нашем»). В XIV веке Александр Суздальский, возведенный ханом в достоинство великого князя, перевез соборный колокол из Владимира в Суздаль. Тверские князья Константин и Василий Михайловичи должны было отправить в Москву соборный колокол как знак зависимости от Калиты и т. д. Теперь на колокольне Ивана Великого целая так наз. колокольная фамилия, состоящая из 31 звона, в числе которых находятся и удельные: ростовский, новгородский, корсунский и проч. В старину за действием этой «фамилии» наблюдали сами патриархи; к настоящему времени многие колокола лежали неподвешенными, иные неизвестно куда исчезли. Звонили только 16, у других висевших не было языков (клепал или телепней).

СТОЯТЬ ПОД КОЛОКОЛАМИ

В самой Москве, в которой еще в XVII веке, по свидетельству иноземцев, насчитывалось до пяти тысяч колоколов,

«славных слышанием», – впоследствии оказалось удобным «стоять под колоколами» в прямом и переносном смысле, т. е. в последнем значении «слышать» не всегда подколокольный звон, но и сущую «правду-матку». В 60-х годах мне показывали в Москве того оглашенного, который «ходил под колоколами», т. е. принял столь редкую вообще, но не уничтоженную и новым законом «очистительную присягу».

Ограбил он, под видом опекуна, капитал сирот, и когда подросшие наследники потребовали отчета, а улик и доказательств никаких в руках не имели, он согласился «пройти под колоколами». Обычно сделали ему сначала увещание в церкви, и он потом присягал на кресте и Евангелии при колокольном звоне вовсе и среди всенародного множества, которое едва не разрушило церковные стены. Шел он туда посреди живой стены народа с непокрытой головой, но вышел (как и всегда во всех таких случаях) неоправленным: люди таким крайним и резким случаям опасаются верить. Они внутренно убеждены, что «Бог очистительной присяги не принимает». Она остается лишь в виде добровольной сделки ответчика со своею совестью да приканчивает дело с наследниками или вообще с обвинителями, не добившимися удовлетворения иными способами.

Московский купец, среди белого дня, на виду всей Ножовой линии Гостиного двора, наполненной праздными зубоскалами и несомненными остряками, – купец, прогулявшийся по Красной площади под колоколами Василия Блаженного и Казанской, считался человеком отпетым: на него указывали пальцами. Жил он точно на том свете, всеми покинутый и презираемый. Вообще этот способ очистительной присяги признавался самым неудобным и тяжелым, пригодным на крайние случаи и породившим поговорку: «Горе идущему, горе и ведущему». «Хоть при колокольном звоне под присягу пойду» – осталось теперь в виде божбы или клятвы необязательной к исполнению и однородной с подобными: «лопни утроба (глаза)»; «хоть голову на плаху»; «даю руку на отсечение»; «иссуши меня, Господи, до макового зернушка»; «сквозь землю в тартарары провалиться»; «с места не встать»; «детей не видать»; «всему

высохнуть»; «первым куском подавиться»; «ослепнуть, оглохнуть»; «коли вру, так дай Бог хоть печкой подавиться» и т. д.

НА ВОРЕ ШАПКА ГОРИТ

Рассказ довольно простой для объяснения и к тому же весьма известный. Кто его успел забыть, тем напомню.

Украл что-то вор тихо и незаметно и, конечно, скрыл все концы в воду. Искали и обыскивали – ничего не нашли. Думалось на кого-нибудь из своих близких. К кому же обратиться за советом и помощью, как не к знахарю? И не знаясь с бесом, он, как колдун, умеет отгадывать.

Знахарь повел пострадавших на базар, куда обыкновенно все собираются. Там толпятся кучей и толкуют о неслыханном в тех местах худом деле: все о том же воровстве.

В толпу эту знахарь и крикнул:

– Поглядите-ко, православные: на воре-то шапка горит!

Не успели прослушать и опомниться от зловещего окрика, как вор уже и схватился за голову.

Дальнейшего объяснения не требуется, но два однородные рассказа просятся под перо. В видах же полноты и надлежащей точности обязан я напомнить о существовании однородных анекдотов – из восточных азиатских нравов (например, один записан в каком-то даже учебнике для переводов с русского под мудрено-длинным заголовком «Верблюдо-вожатый»). Тем не менее два представляемые мною – коренные русские.

Посланный министерством государственных имуществ лесничий (по фамилии, сколько помнится мне, Боровский) описывал леса Печорского края и бродил по ним, тщетно разыскивая цельные лиственничные рощи, – ходил, конечно, с астролябией и со съестными запасами. За ним бродила целая партия рабочих – таких простаков, что даже позднее этого события я не нашел у них замков, кроме деревянных, против блудливой рогатой скотины. У этих устьцылемов также, по обычаю, была сплочена артель, хотя она, при таком казенном деле и заказе, и не нужна была вовсе. Сбились в артель, или

«котляну», как говорят там, то есть «покрутились» все в один котел и кошель или составили артель продовольственную, чтобы уваривались щи погуще, а каша покруче: «Артельно за столом, артельно и на столе».

Все шло хорошо. Котляна была крепка и работой, и товарищеским согласием. Ходит лесничий по глухой и мокрой тайболе – не налюбуется. Вдруг жалоба: пришли все, сколько народу ни было (и вор пришел, конечно, вместе с прочими), и просят:

– Вор завелся – изведи! Вот у этого смирного парня запасные теплые пимы (сапоги) украли. Где их укупишь теперь, когда заворотят осенины? А в пимах-то были у него деньги запрятаны; не так чтобы очень много, однако около рубля, говорит.

– Стрелы бы тому в бок, кто такую напасть навел! Ты – ученый, все произошел: помоги нам, укажи вора!

Не желая «дискредитировать науки», ученый (по званию и в самом деле) лесничий решился поддержать и уважение к себе, и веру в привезенные им из самого Питера знания. Придумал он позвать предварительно на совещание одного старика, который пользовался у всех большим уважением и был, что называется там, «умная башка».

– Не думают ли на кого товарищи, дедушко? – спрашивал старика молодой лесничий.

– Да все – хорошие люди. Все по артеле-то, что и по работе, равны, как восковые свеча перед Богом в матушке-церкве. Одинаково горят!

– Однако и пальцы на руках не все равны, – заметил лесничий.

– Так ведь эдак-то – борони Бог! – выйдет, пожалуй, у тебя, что кто меньше ростом, тот и виноватый. На такой закон ты не выходи: согрешишь! Может оказаться при такой скорости, что все мы тому злому делу причинны. Думай по-Божески!

– Есть у вас парень чужой, пришлой, – один изо всех не ваш: не он ли побаловал? Может быть, ему чужих-то и не жалко?

– Был – чужой, стал теперь свой, и парень он больно хороший. Замечаем, по котляне-то, что он есть лютой: «есвяной» такой парень! Ну да ведь на работушке силу-то тратит, из

котла опять ее назад берет. Не сумлевайся, не кори молодца – ох, грех великий!

– На мои глаза, больно он шустер и пройдошлив: ловчей всех ваших.

– А и слава те, Господи! Скоро из котла ложку таскает да есть поторапливается – это по нашим приметам и очень прекрасно. Скор на еду – значит, скор и в работе. Однако с чужой ложки не хватает: пошто же на него напраслину выводить за это за самое?

Увидел ученый лесничий, что с атаманом артели не сговоришь, у заступника ее ничего не добьешься: правит он закон и обычай – стоит за артель горой.

Послушал лесничий того совета, который сказал ему старик уходя:

– Коли хочешь узнать сущую правду, ты ищи ее по-другому. Сделай милость, не пугай парня, не обижай его и никому на него не указывай! А я с тем и ухожу, что словно бы и не слыхал от тебя ничего. Суди по-Божьему!

Оставшись один, лесничий задумался. Перед глазами сыр-бор да мшины, ветровалы да буреломы: ничего от них не допросишься. Вдруг на глаза ему попала астролябия, он так и привскочил с места. Из памяти его никак не выходит тот самый пришлый рабочий: на Печоре он к одному нанимался – отошел, у другого тоже не сжил до срока. Надо было показать и старику, и артели, что этот человек нетвердый, а стало быть, и ненадежный, в отмену от прочих и – вероятнее других – виноватый.

Поставил лесничий всех своих рабочих в круг, по знакомому всем им знахарскому способу. Чтобы они не сомневались, он около них и круг очертил палкой и зачурал:

– Синус – косинус, тангенс – котангенс, диагональ, дифференциал, интеграл. Бином Ньютона, выручай! Астролябия и мензула, помогайте!..

Рабочие так и застыли на месте: угадал и угодил барин страшными словами. Когда же он поставил в самой середине их круга астролябию, раздвинул ее ножки и сам к ней приблизился – они уже и глаза опустили в землю, и волоса на бородах

не шелохнутся. Заподозренный лесничим рабочий установлен был прямо против северного румба компасика.

– Смотрите все на меня!

Лесничий шибко разогнал стрелку: она посуетилась, помигала под стеклом и встала перед ним острием прямо против того парня. Его так и взмыло!

– Врет она на меня. Она сможет указать и на другого. Я не согласен. Надо, по закону, до трех раз пытать. Гони ее опять!

И во второй раз, конечно, стрелка указала его: все молчат, словно мертвые. Лесничий опять проговорил «замок» по-новому и снова разогнал стрелку. Все повыступили с мест; подозреваемый дальше всех. Стрелка побегала, вздрагивая, и, словно охотничья собака, тыкалась и суетилась, обнюхивая и отыскивая виноватое место. Рабочие старались догнать стрелку глазами и как вкопанные остановили их вместе с нею на парне. А он уж пал на колена и лицо в траву спрятал. Полежал и говорит:

– Моя вина: берите вашу вещь! Ничего теперь не поделаешь! Ваш меч – моя голова!

Артель долго не расходилась, посматривая то на «начальника», то на мудреный «штрумент». Качали все головами и не могли надивиться:

– Ведь ишь ты! Словно перстом указала.

На подобную же находчивость известного проповедника московского митрополита Платона указывают в двух анекдотах. По одному из них он обличил плотника, укравшего топор у товарища в артели в то время, когда Платон строил свой исторический скит Вифанию, в трех верстах от Троице-Сергиевской лавры. Я передал его в «Задушевном слове» для старшего возраста в VIII томе в № 5 и 6. Теперь заменяю его более коротеньким, заимствованным из книжки «Русского архива», но совершенно однородным с тем, который передан был мною в 1885 г.

«Однажды докладывают митрополиту Платону, что хомуты на его шестерике украдены, что ему нельзя выехать из Вифании, а потому испрашивалось его благословение на покупку хомутов. Дело было осенью, грязь непролазная от

Вифании до Троицкой лавры, да и в Москве немногим лучше. Митрополит приказывает везде осмотреть, разузнать, кто в этот день был, и т. п. Все было сделано, но без всякого успеха. Митрополит решается дать благословение на покупку, но передумывает. Он распорядился, чтобы в три часа, по троекратному удару в большой вифанский колокол, не только вся братия, но и все рабочие, даже живущие в слободках, собрались в церковь и ожидали его.

В четвертом часу доложили митрополиту, что все собрались. Входит митрополит. В храме уже полумрак. Перед царскими вратами в приделе Лазаря стоит аналой, и перед ним теплится единственная свеча. Иеромонах, приняв благословение владыки, начинает мерное чтение Псалтыря. Прочитав кафизму, он останавливается, чтобы перевести дух, а с укрытого мраком Фавора раздается звучный голос Платона:

– Усердно ли вы молитесь?

– Усердно, владыко.

– Все ли вы молитесь?

– Все молимся, владыко.

– И вор молится?

– И я молюсь.

Под сильным впечатлением окружающего и отрешившись мысленно от житейского, вор невольно проговорился. Вором оказался кучер митрополита. Запираться было нельзя, и он указал место в овраге, где спрятаны были хомуты».

ВОРА ВЫДАЛА РЕЧЬ

После указанных случаев, конечно, нет надобности прибегать к объяснению однородного и прямо-таки из них вытекающего пословичного выражения *«вора выдала речь»*. Однако не могу удержаться, к слову и поспопутью, чтобы не передать народной легенды, выслушанной мною в тех же местах, где сотворил свое чудо лесничий, – сказание о бродячем попе и встречном угоднике. Не мог рассказчик с точностью определить подлинное имя святого, но толковал:

– Ссылаются иные на Миколу Угодника, что наши приморские и водяные места «порато» полюбил: «от Холмогор до Колы тридцать три Николы» – сказывают в народе, а говорят, – их больше.

– Здешние старухи, «однако», думают на батюшку Иова Праведного, что видел ты могилку в Ущелье-селе. Там его Литва убила, «честную его главу отсекоша». А он, угодник Божий, как охранял свою матушку-церкву!

Затем следовали тому доказательства в настоящей легенде, которую я записал там, на реке Мезени, и теперь о ней кстати вспомнил.

ПОПОВСКИЕ ГЛАЗА

Вспоминаются на реке Мезени почернелые от времени церкви; вспоминается и этот бедный примезенский, пинежский и кевролький народ, которому и свою избу вычинять очень трудно и некогда: все в отлучках за промыслами и за ячменным хлебцем вдали, где-нибудь на море.

При такой-то церкви жил и тот поп, о котором сохраняется в тамошнем народе живая память. Жил он, конечно, на погосте: на высокой и красивой горке, – далеко кругом видно. «Звону много, а хлеба на погосте ни горсти».

На погостах, как известно, крестьяне не селятся иначе, как на вечные времена до второго Христова пришествия. Их кладут около церкви в гробах, а живут в трех-четырех избах только церковники: поп-батюшка с многочисленным семейством и работницей, да кое-где дьякон, да два дьячка, если не считать на иной случай старого и безголосого, доживающего свой век «на пономарской ваканции».

На таком-то погосте проживал и тот священник, с которым случились дивные происшествия.

Жил он тут очень долго – и сильно маялся. Окольным мужикам было не лучше, да те, по крайней мере, зверя били, а священникам, приносящим бескровную жертву, как известно, ходить на охоту, т. е. проливать кровь, строго воспрещено

издревле. Если крестьян очень потеснит нужда и обложит со всех сторон бедами, они выселятся на другое место и семьи уведут. Стало в храме добрыми молельщиками и доброхотными дателями меньше. В тех местах, сверх того, охотлив народ уходить в раскол беспоповщины: свадьбы венчают кругом пня, хоронят мертвых плаксивые бабы; при встрече со священником наровят изругать и плюнуть на след. Не стало попу житья и терпенья, хоть сам колокольне молись, а про одного себя пел он обедни что-то чуть ли не десять лет кряду. На этот раз, по необычному на Руси случаю, этот поп был очень счастлив: вдов и бездетен.

Решился он на крайнее дело: со слезами отслужил обедню в последний раз в церкви, поплакал еще на могилках, да по пословице «живя на погосте, всех не оплачешь». Помолился он на все четыре стороны ветров, запер церковь замком и ключ в реку бросил. Сам пошел куда глаза глядят: искать в людях счастья и такого места, где бы можно было поплотнее усесться.

– Идет он путем-дорогою (рассказывал мне, по приемам архангельского говора, нараспев, старик с Мезени). Шел он дремучей тайболой, низко ли – высоко ли, близко ли – далеко ли, «челком» (целиком), ижно пересадился, «изустал». На встречу ему пала новáя (иная) дорога. А по ней идет старец седатой и с лысиной во всю голову «шибко залетной» (очень старый). Почеломкалися: кто да откуда и куда путь держишь? – Да так, мол, и так (обсказывает поп-от). – «Да и я, батюшко, тоже хожу да ищу по-миру счастья (старец-от): хорошо нам теперь, что встретились. Худо "порато", что ты черкву свою покинул и замкнул: ты в гости, а черти на погосте. И какой же приход без попа живет? Не урекать мне тебя, когда в дороге встрелись, а быть, знать, тому, как ведется у всех: пойдем вместе. Я тоже бедный. Станем делить, что есть вместе, чего нет – пополам».

Согласился. Шли – прошли, до большущего села дошли: в «облюделое» место попали. Постучались они под окном в перву избу: пустили их ночевать и накормили вдосталь-таки, не «уедно да улежно». Да и обсказывают им про такое-то ли страшенное матерущее дело. У самого богатеющего мужика

один сын есть, как перст один: вселился в того богателева сына бес лукавый. Днем бьет его до кровавой пены, ночью в нем на нехороший промысел ходит: малых деток загрызает, да стал и за девок приниматься. Заскучали мужики, а пособить нечем. Сам отец большие деньги сулит, кто беса выгонит; бери сколь на себе унесть сможешь. А поп-от тут и замутился умом, и товарищу приучился.

– Хороши бы теперь деньгою на голодные зубы. Эка вто́ра, и лихо мне! – способить (лечить) не умею. А старец-от на ответ: «Однако, попробуем – я умею. Ты ступай затым за мной, – быть-то бы я тебя затым в помощники взял».

Пришли они к багателью и обсказались. Вывели к ним парня, что моржа лютого: глазища кровью налиты и словно медведь наровит, как бы зубами схапать да когтями драть. Старичок взял свой меч и рассек его пополам: одну половинку в реке помыл, другую половинку в реке помыл: перекрестил обе – сложил вместех: стал жив человек. И пал затем ему сын в ноги, благодарит Миколу многомилостивого.

Вот тут я тебе на Миколу рассказываю (заметил старик): да, надо быть, он самый и был, затым, что у него в руках ни откуда меч взялся, как его и на иконах пишут. А черковь-то свою он завсегда при себе имеет. Носит он ее на другой руке: за то, знать, он попа-то и попрекнул при встрече.

Дошло у них дело до расчета. Богатый мужик в своем слове тверд, что камень: привел их в кладуху, кладену из кирпича, да столь большую, что и сказать неможно. Справа стоят сусеки с золотом, слева стоят сусеки с серебром: по медным деньгам лаптями ходят, денег – дивно. «Берите, сколько на себе унесете!» И почал поп хватать горстями золото: полну пазуху навалил, полны карманы наклал (знаешь, какие они шьют глубокие), в сапоги насовал, в шапку: «жадает». Начал уж за щеки золотые деньги закладывать, да еще товарища в бок толкает: «что же ты не берешь?» – и приругнул даже, – «победнился». – А мне-ка (говорит старец) – ничего не надо. «Да хоть чего-нибудь схвати!» (поп-от). Сказано: поповы глаза завидущие, руки загребущие. Взял старец с полу три копиецки

и разложил по карманам, третью за пазуху пехнул. И из села пошли. Поп «одва» ноги волочит – столь тяжело ему! Прошли лесом, а он и «пристал»: отдохнуть припросился, «ясти» похотел. Из себя «телесной» такой мужик был!

Пеняет ему старец, святой угодничек:

– Вот ты денег-то нахватал, а хлеба на дорогу не выпросил. Денег при себе много, купить не у чего, а на животе «скет». Я, вот, запаслив: у меня три просвирки осталось. Одну дам тебе, другую сам съем. Отдохнем, да поспим маленько, проспимся: я третью просвирку пополам разломлю». – Съел поп свою просвирку, да словно бы ему еще хуже стало. Скажу уж, согрешу с попом вместе: попово-то брюхо из семи овчин шито. Старец положил кулачок под головку и заснул батюшко, а поп-от из кармана у него просвирку-ту схитил и съел, и спит, словно правой. Пробудился старец: нету просвирки. «Ты, поп, съел?» – Нету, говорит. «Может, зверь лесной приходил?» – Мало ли его по лесу-то шатается. «А может, и птица стащила?» – Да ивон коршун-то над головами вьется, – знать разохотился: глядит он, нет ли у тебя еще запасной, а я не ел. «Делать нечего – дальше пойдем!»

Похряли и опеть. Супротив пала им наустрету река большая да широкая, что наша Печорушка: воды-те благо. А на ней – ни карбасика, ни лодочки, хоть бы на смех колода какая, плот сказать. Поп затосковал, «беднится», а старец догадался: «иди за мной, ничего, что нет на реке мосту». И пошли по водам, как по стеклышку. На середке-то старец остановился, да на самом-то глубоком месте помянул и спросил о просвирке. – «Нету, говорит поп: не ел». И стал тонуть. «Признавайся до зла: вишь, как худо бывает». – Нету, сказывает: не видал просвирки. – Охлябился поп, что «урасливой» (упрямой) конь. И по шею в воду ушел. И в третий раз уж из-под воды выстал, высунул голову: и булькает, и волоса отряхивает, и захлебывается, а все свое твердит: «не ел я твоей маленькой просвирки: много ли в ней сыти-то? Обозлит только!»

– На нет и суда нет: пойдем, значит, дальше. Вышли на берег – отдыхать надо. – Ты бы, батько, посчитал, сколько

ухватил с собой денег-то. – «А теперь и впрямь самое время». Хватил поп в карман, – и вытащил уголья. Сунулся в другой – те же самые черные-расчерные уголья, и за пазухой они же, а в сапогах уж он надавил одну черную пыль. Так он и заревел, задиковал. А старец почал его унимать, да разговаривать. – «Ужоткова, бает, и я свои денежки смекну». Взял рукой в карман, где лежала копиецка, – вытащил пригоршню золота; где другие две копиецки лежали, там то же самое золото. У товарища и слезы высохли. Стал старец сгребать золото в три кучки, – у товарища и глаза запрыгали. – «Вот я опеть стану делиться: эту кучку тебе». И сгребает ее: которая монета отваливается, ту опять в ту же кучку кладет и поправляет. А сам задумался глубоко так-то, словно бы скрозь землю ушел. Вторую кучку стал складывать: «это, говорит, мне». Третью начал сгребать: а у него, надо быть, и глаза не видят, и пальцы не слушаются, и кладет-то их, словно бы отдыхаючи, а глаза у него слезинками застилает. Рассыпается кучка врозь и никак он эту последнюю-то наладить не сможет. Долго он ее складал. А поп-от таращил-таращил глазищи-то, да как спросит:

– А эта-та, третья кучка, кому?

– А тому, кто просвирку съел.

– Да ведь я просвирку-то съел.

– Скажи на милость (нравоучительно толковал мой рассказчик): тонул – не признался; увидал деньги: я, говорит, просвирку-то съел. Ох, грехи наши, все мы таковы! Не выносить нам платна без пятна, лица – без сорому.

ОПРОСТОВОЛОСИТЬ

Поделившись двумя случайными примерами, никак нельзя не припомнить, что в тех дальних местах не так давно приходилось наталкиваться воочию на остатки старинной простоты и честности. Например, в архиве г. Повенца, в делах бывшей паданской нижней расправы (Олонецкой губ.) сберегались записки должников, обеспечивавших долг обязательством: «да будет мне стыдно и волен он пристыдить меня

превсенародно». Не могло быть в этих случаях пущего позора, когда снимали с воров и неплательщиков на базарах и на сходках шапки на квит, в полный расчет. Отсюда и объяснение поговорки: «вор с мошенника шапку снял (т. е. уличил)», «с недруга хоть шапку долой» и другие им подобные. Насколько зазорно для женщины, когда ее «опростоволосят» и всем неприятно «опростоволоситься», настолько и для мужчин важно держать голову покрытою. Из самых ранних исторических актов видно, сколько требователен был обычай прикрывать волоса. Шапки, называвшиеся клобуками, не снимались ни в комнатах, ни даже в церкви. «И виде Ярослава сидяща на отни месте в черни мятли и в клобуце, тако же и вси мужи его». Это в княжеских покоях, а вот и в церкви: «И начата пети св. литургию; и рече Святослав ко Броновине, что мя на главе бодет, и сня клобук!» Впоследствии московские послы в чужих землях не снимали даже перед королями своих горлатных шапок. Им это раз заметили. Старший посол отвечал:

– У нас шапку снимают, когда в нее горох насыпают.

Вследствие всех таких исстаринных обычаев, и до сих пор глупых и безрассудных людей называют «непокрытой головой». В деревенском женском быту «покрывать девушке голову» однозначаще с тем желаемым всеми обрядом, когда расплетут косу, накроют голову бабьим повойником и поведут под венец в церковь. Нелегко перечислить все обряды, которые сопровождают это важнейшее в девичьей жизни событие. С тех пор замужняя женщина не осмелится появляться на людях с открытыми волосами. Эта честь и право остается лишь за девицами, которые, сделавшись невестами, показываются жениху не иначе, как под покрывалом, а находчивая и суеверная, даже и ставши под венцом, кладет кресты, чтобы жить богато, не иначе, как покрытой рукой. Самые молитвы о женихах приурочивается к празднику Покрова, с которого и начинаются зазывные для женихов посылки. Излишне объяснять теперь, насколько невыносима обида лишиться головной покрышки насилием посторонних людей, что применяется к зазорным женщинам в насмешку или в видах мщения. Было

бы долго рассказывать, сколь упорны, ожесточены и продолжительны были те войны, которые предпринимались в защиту этого головного украшения, дарованного Самим Творцом небесным и явленного в особенности в бороде. В старину существовало выражение «быть в волосах», что означало современный траур и заключалось в том, что при всенародной печали, какова царская кончина, кроме одеванья печальной одежды, отращивали еще волоса ниже плеч.

У ЧЕРТА НА КУЛИЧКАХ

Русский человек вообще любит часто вспоминать про эту нежить, нечистого, лукавого и злого духа, причем богомольные люди стараются незаметно сделать рукой крестное знамение или творят про себя глухую молитву. Иные «чертыхаются», впрочем, не столько с сердцов, сколько по дурной, худо сдерживаемой привычке. Посылают и недруга, и докучливого человека, и всех «ко всем чертям» или в «тартарары», еще не так далеко, как это кажется и как думают о том сами сердитые и вспыльчивые люди. Богатырские сказки и священные легенды учат, застращивая, и уверяют, назидая, что как вымолвишь черта, так он тут и появится с длинным хвостом и острыми рогами. Он готов купить душу и потом оказывать за то всякие услуги. Около святых, по пословице, они любят водиться даже в особину, как и в болотах, в таком множестве, что кажется, здесь у них самое лакомое и любимое место для недремлющей и неустанной охоты и стойки. Если же кто живет у черта, да еще при этом на куличках – это уже так далеко, что и вообразить трудно. Последнее выражение только в таком смысле и употребляется, хотя (следует заметить) произносится неправильно. Никакого слова «кулички» в русском языке нет, и уменьшительного имени этого рода ни от какого коренного произвести невозможно. От кулича выйдут куличики, а от кулика – куличкú с знаменательным переносом ударения. Если же восстановим в этом слове одну лишь коренную букву и скажем «на кулижках», тем достигаем настоящего смысла

выражения и можем приступить к его объяснению и оправданию как к православному и крещеному.

Кулиги и кулижки – очень известное и весьма употребительное слово по всему лесному северу России, хотя оно, очевидно, не русское, а взято напрокат у тех инородческих племен, которые раньше славянского заняли студеные страны. Они не сладили с ними и мало-помалу начали вырождаться и «погибоша, аки обри», говоря словами одного из древнейших, но уже в народе давно и совершенно исчезнувших летописных присловий. Слово «кулига» взято у этих несчастных языческих племен и, по обычаю, приведено и окрещено в русскую веру[1]. Вот как это случилось.

Когда дремучий и могучий богатырь студеных стран России, хвойный лес, ослабевает в силах растительных, в нем местами являются прогалины, плешины, поляны. Здесь растет торопливо, сильно и густо трава с цветами всякого вида и ягодами всякого рода в обилии. Эти лесные острова и есть «кулиги». Дикие инородцы, у которых все боги злые и немилостивые, признали такие редкие места за жилища старшего кереметы. А так как и его тоже, что и старшин и всякое начальство, надо умилостивлять приношениями ценного и приятного, то в таких местах собираются до сих пор приносить керемети жертвы. Колют оленей, овец, телок, жеребят; наедаются досыта и напиваются допьяна, поют и скачут. Другого применения этим кулигам дикие звероловы не могли придумать. Пошумят, поломаются, обманут совесть и разойдутся по лесным трущобам, чтобы не сердить и не беспокоить бога. Его это места: оно им зачуровано и потому для всех свято.

Когда пришел сюда же русский человек, то он сейчас вспомнил, что от перегноя трав на этих местах самая плодородная почва, которую любят и рожь, и ячмень. Тут он и поставил избу и приладил крест. Кереметь испугалась, отсту-

[1] Инородческое окончание «га» повторяется в бесчисленном множестве слов домашнего обихода, но в особенности знаменательно в названиях таких крупных урочищ, как озера и реки. Таковы, например: Волга, Ветлуга, Онега (река и озеро), Мягрига, Синдега, Куенга, Лапшенга, Пинега, Вага и т. д. (*Примеч. С. В. Максимова*).

пилась и ушла с того места прочь. А так как русские люди тянулись сюда, по своему обычаю и привычке, целыми артелями, лесные же деревья тоже размножались и жили плотными общинами (сосна – так кругом сосна, ель – так все ель), то переселенцам и пришлось немного призадуматься. Непролазные леса в этих суровых местах на кулиги неохотливы, легче им жить плотной стеной. Полян, то есть травяных островов, или безлесных равнин, в них немного – все больше сырые болота, где хорошо живется только одним чертям, да и из них подбираются особенные – водяники: нагие, все укутанные в тину, умелые плавать на колодах, целый день жить в воде и показываться только ночью.

Задумываться, однако же, привелось недолго таким людям, которые пришли в дремучие леса с сохой, топором и огнивом; начали они рубить деревья топором под самый корень, валить вершинами в одну кучу и в одно место и жечь. Стали выходить искусственные поляны как места для жильев и пахоты; звали их назади, когда врубались в покинутые леса, «лядами, лядиками, огнищами». Это в западных лесах. В северных лесах, когда начали валить их, углубляясь в чащи с речных и озерных побережьев, прозвали такие новые места и валками, и новями, и новинами, и гарями, и росчистями, и пожегами, и подсеками, и починками. Чем дальше заходили вглубь, тем больше растеривали и забывали старые слова и все такие «чищобы» под пожню (для травы) и под пашню (для хлебов) стали звать чужим и готовым словом «кулиги». Так и осталось оно за ними на всем огромном востоке России, и выражение «кулижное хозяйство» принято теперь учеными людьми для пользования в книгах и пущено в ход в их сочинениях. Для хлебопашца в лесах это единственный выход и исключительный способ, отчего, как убеждается читатель, и такое множество синонимов на одно и то же слово, обозначенное в старинных актах общим именем «на сыром корени». «Да то все управит Мати Божия, что есть беды принял о месте сем!»– воскликнул святой и смиренный Антоний Римлянин, один из первых насельников новгородских кулиг и покорителей северных суровых стран.

Для пущего убеждения в географической распространенности и исторической известности слова «кулига» имеем возможность указать даже на Москву. В те времена, когда этот город, по обычаю и приемам всего государства, созидался и ширился в лесных теснинах и трущобах, под жилые слободы отбили места таким же повинным, или кулижным, способом. В слободах этих, которые потом вошли в состав Москвы, выстроились церкви, устоявшие до наших дней под непонятным теперь для москвичей названием Троицы (за Ивановским монастырем), Рождества Богородицы (на Стрелке) и Всех святых (за Варварскими воротами) «на кулижках». Это в трех местах Москвы, где на сухой горе, среди соснового леса, то есть на настоящем бору, несколько раньше выстроена была одна из древнейших церквей Кремля, собор Спаса на Бору. При этом следует заметить, что московские чистобаи (наречие которых принято литературой и в разговорном языке) произносят слово «кулижки» правильно. Грамотеи же, вроде настоятелей тех церквей и составителей указателей, пишут его неверно, заменяя букву «ж» буквою «ш». Повторился тот же придаток к живым урочищам и церквам и в других русских городах, где селения на кулижных росчистях также вошли в городскую границу.

Если остановимся на одной из московских кулижек – именно на той, где близ Ивановского монастыря стояла при царе Алексее изба – патриаршая «нищепитательница», – то в житии Илариона Суздальского прочитаем о том событии. В богадельне этой (женской) поселился демон и никому не давал покоя ни днем, ни ночью: стаскивал с лавок, с постелей, по углам кричал и стучал, говоря всякие нелепости. Благочестивый царь повелел духовного чина людям творить молитвы на изгнание этого беса. Но он стал еще свирепее: начал явно укорять всех, обличать в грехах и стыдить, а иных бил и выгонял вон. На борьбу с ним вышел старец Иларион из г. Суздаля и начал одолевать его обычным способом молитвы, но лишь начнет вечернее пение, бес с полатей кричит ему: «Не ты ли, калугере, пришел выгонять меня?» Начнет старец ночью читать молитвы на изгнание беса, а черт кричит ему: «Еще ты и в потемках расплакался!»

И крепко застучит на полатях и устрашает: «Я к тебе иду, к тебе иду». Свидетели, как, например, схимонах Марко, бывший самовидцем, испугались и хотели бежать из избы, но Иларион остановил их уверением, что «даже и над свиниями дьявол без повеления Божия не имеет власти». Тогда избяной дьявол обернулся черным котом и стал прискакивать к старцу всякий раз, когда этот хотел положить поклон. Цели бес не достиг. Иларион был столь незлобив, что сам враг похвалил его: «Хорошо этот монах перед Богом живет», – и в заключение неравной борьбы принужден был сознаться, что его зовут Игнатием, что он «был телесен и княжеского рода», но что мамка послала его к черту, что из богадельни он выйти не может, так как не по своей воле пришел сюда. Не послушался он и бродячих попов с Варварского Крестца, стоявших там с калачами за пазухой (см. дальше ст. «Эй, закушу»), а даже обругал: «Ох вы, пожиратели! Сами пьяны, как свиньи! Меня ли вам выгнать?»

На этом сравнительно позднейшем сказании, записанном в малоизвестном житии, иные сами готовы (и советуют) основывать объяснение заглавного выражения (конечно, на произволящего).

Когда и на искусственных кулигах становилось жить тесно, а почва начала утрачивать силу плодородия, уходили от отцов взрослые и старшие сыновья, от дядей племянники и т. п. При полной свободе переходов, с помощию людей богатых, которые давали от себя даром и соху, и топор, и рабочую лошадь, брели врозь с насиженных и родимых мест так далеко, что и вести достигать переставали. Да и как и через кого перекинуться словом, когда стали жить у черта на кулижках? Когда припугнули трусливых и диких инородцев огненным боем, который вспыхивал внезапно, гремел гулко и разил наповал и насмерть, – кулиги стали подвигаться еще дальше, где уже, по присловью, и небо заколочено досками, и колокольчик не звонит.

СОР ИЗ ИЗБЫ –

деревенская пословица-закон выносить не велит, и, конечно, не учит она этим приказанием нечистоплотности и

неряшливости, не советует жить грязно (что несовместимо и с распространенностью повсюдного выражения, и с его долговременной устойчивостью). Я при издании своих объяснений обошел ее как такую, которая далеко прежде превосходно истолкована В. И. Далем. Привожу теперь это образцовое объяснение обиходного выражения в его прямом и переносном смысле. «В переносном: не носи домашних счетов в люди, не сплетничай, не баламуть; семейные дрязги разберутся дома, коли не под одним тулупом, так под одной крышей. В прямом: у крестьян сор никогда не выносится и не выметается на улицу. Это через полуаршинные пороги хлопотно, да притом сор стало бы разносить ветром, и недобрый человек мог бы по сору, как по следу или по следку, наслать порчу. Сор сметается в кучу под лавку, в печной или стряпной угол, а когда затапливают печь, то его сжигают. Когда свадебные гости, испытуя терпение невесты, заставляют ее мести избу и сорят вслед за нею, а она все опять подметает, то они приговаривают: «мети – мети, да из избы не выноси, а сгребай под лавку, да клади в печь, чтоб дымом вынесло».

СЕМЬЮ ПРИКИНЬ – ОДНОВА ОТРЕЖЬ

Выставляя в первобытной старинной форме эту древнюю, ясную по смыслу и столь вразумительную для руководства в жизни пословицу, останавливаем внимание собственно на цифре, которая рекомендуется ею.

Цифра семь никогда не служила народу единицею измерений, если не считать семисотных верст, которые, однако, в начале нынешнего столетия покинуты и законная мера версты определена в пятьсот сажен.

У народа свой счет: обходя десяток, он предпочитает вести счет дюжинами, обходя две и три дюжины, начинает считать дробные вещи и более мелкие предметы сороками. В старину, не признавая десятков, не ввели в обычай сотен и, не доходя до них, вели счет девяностами, а потому и выходило тогда «все равно, что девять сороков, что четыре девяно-

ста», а девять сороков с девяностом – пять девяноста; полпята сорока – два девяноста. Отсюда и сороки московских старых церквей и нынешних церковных благочиний, и базарный счет, долго сохранявшийся в поволжских городах, породивший насмешку над бестолковыми торговками-бабами: «сорочи не сорочи, а без рубля будешь». Отсюда и «сорочки» шкурок пушных сибирских зверей: куниц и соболей, вложенных в чехол и рассчитанных ровно на полную шубу, а «полсорок» – на женскую шубку. Сорок недель каждый человек сидит в темнице (по народной загадке), т. е. в утробе матери, и, стало быть, в самом деле, как часто говорится, «сорок недель хоть кого на чистую воду выведут». Через сорок дней или шесть недель надо брать роженице очистительную молитву и столько же дней молиться об усопшем или справлять так называемый сорокоуст. В последний раз покойник пообедает в 40-й день с оставшимися в живых домашними из той чашки и той ложкой, которые обычно выставляются и кладутся на стол. Немало посчастливилось этой цифре и в старинных народных сказках, где богатыри ездят к цели неустанно сорок дней и сорок ночей, наезжают на города, в которые ведут сорок ворот; в царских дворцах – сорок дверей, богатырский меч в сорок аршин длины и т. п. Вообще, «сороковой-роковой» не только в медвежьей охоте, но и в лемешной «забаве» с нынешними «сороковками» зеленого вина, которое, по смешной случайности, разливается и продается из бочек мерою в сорок ведер. «На девяносто» мы уже имели случай натолкнуться, а на «дюжинах» боимся заговориться, хотя не можем не вспомнить, что торговля в некоторых местах требовала считать, в видах личной корысти и рассчета на деревенскую простоту, единиц в дюжине тринадцать.

Между тем цифра семь является в счете так часто, что нельзя на ней не остановиться, и представляется такой подозрительной, туманной и необъяснимой, что невольно хочется признавать этот счет не народным, а чужим и приносным. К нему довелось прилаживаться, как прилаживались и пришлые обычаи к установившимся, крепким и коренным

народным порядкам. Христианская вера принесла семь таинств, даров Св. Духа, вселенских соборов, смертных грехов, звезд в венце, мудрецов на свете, свечей в светильнике алтарном и запрестольном. Седьмой день в неделе указано отдавать Богу и т. д.

Последний факт указал не только на важное значение цифры семь в старину, но и на влияние ее на судьбы научных мировых истин. Когда Галилей открыл спутников великана-Юпитера и по целым ночам, не отрываясь, любовался системой этой планеты, противники его не только не верили открытиям, но утверждали, что они невозможны. Ученое невежество говорило: «как в неделе семь дней, так и на небе семь планет (Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн) и больше быть не может. Соединение малого мира, представляемого человеком, с безграничным миром, вселенной, происходит при помощи наших органов чувств, расположенных в семи отверстиях головы, а именно: два глаза, два уха, две ноздри и рот. Как нет более таких отверстий в голове, так точно не может быть и на небе более семи планет». За такую еретическую веру в систему Коперника, бывшую тогда в гонении, Галилея преследовали инквизиция и римский двор. В 1633 г. совет из семи кардиналов осудил его на заточение. Профессор три года должен был прочитывать еженедельно псалмы покаяния и на коленях, держа руки на Св. Писании, объявлять, что мнение о вращательном движении земли есть ересь; но четыре спутника Юпитера движутся вокруг него и в настоящее время так же точно и непрестанно.

Впоследствии оказалось, что у семи нянек дитя всегда без глазу, как и у этих семи совершенно слепых мудрецов мировая истина. Оказалось также, что у семи пастухов не стадо, и самые праведники (настоящие, а не эти самозванные словесные пастухи), осудившие гениального изобретателя телескопа, стали семь раз в день согрешать.

На св. Руси пригодился и семик – старый языческий праздник, – как дозволенный Церковью веселый весенний праздник на седьмой неделе по Пасхе, в четверг, и не пере-

стала широкая «масленица звать его к себе в гости». У обманщика и неверного в слове человека, также и у бражника объявились на одной неделе семь пятниц («ни одного срока» – для исполнения обещаний, для отдачи взятого взаймы и «семь праздников» – все про себя, на прогул и полное забвение обязательств).

Наконец полюбилась народу и узаконилась в его живой речи эта цифра так, что, например, человека, находящегося в самом отдаленном свойстве или родстве, начали называть «седьмой водой на киселе», хотя уже и пятой воде не дает промываемая му́ка для киселя ни запаха, ни сору, ни пыли того зерна, из которого закрашивается это любимое народное кушанье. Да, к тому же, «седьмая водица на квасине» дает уже такое жидкое пойло, что его и в рот не возьмешь. Положено законом «семерым одного не ждать» ни на пир, ни к работе, ни к обеду. Бойкие и смелые, не дающиеся в обиду люди и сами склонные обижать, стали «огрызаться на распутьи ровно от семи собак» – ни меньше, ни больше. Начали считать «семь пяденей во лбу» умного человека; дружескую услугу, сопряженную с неудобствами, в несвободное время, признали пустяком, не стоящим никакого внимания: «для друга семь верст не околица». Однако убедились, что кому не удастся взять что-либо добром, убедительным уговором и ласкательным словом, тот возьмет «сам-сем и силком». Так и случилось это раз в Москве в памятную годину государственной разрухи и в «семибоярщину», когда семеро бояр насильственно захватили власть. Тогда, точно в самом деле по заказу, оказалось «у одной овечки семь пастухов» и говорили всем народом про Москву: «невелик городок, да семь воевод» (а полагалось на каждый не больше двух). Понадобилось для нее семь холмов, когда, возвеличивая свой город по общечеловеческому тщеславию, стали цари почитать и называть Москву вторым Римом («а третьему не быть»). Всегда удивлялись бывалым и опытным и выражались про них так, что как будто они, в самом деле, «из семи печей хлеб едали», а над вернувшимися домой ни с чем, без всякой науки, прибытия и успеха – под-

смеивались: «он за семь верст ходил есть киселя», этого самого дешевого кушанья, которым, однако, по пословичной же примете, никто, кроме баб, досыта не наедается. Сильный человек обязан ходить на семерых, а иначе его и богатырем не назовут. Не назовут виноватого преступником, а зовут несчастным, признавая в нем жертву обстоятельств падшего брата, и преступление его называют бедою. Поэтому всякий мелкий проступок относится к беде и называется этим именем (бедниться значит жаловаться в обиде). Отсюда и распространенная поговорка, снова понуждавшаяся в цифре семь: «семь бед – один ответ». Ханжам советует высокая народная мудрость, в согласие с Христовым учением: «не строй семь церквей – пристрой семь детей», когда такие явные суеверы намереваются фарисейски тщеславно замаливать тяжкие старые грехи сооружением храмов с золочеными иконостасами и громкими колокольными звонами и т. д. Впрочем, если подводить полный счет всем случаям, где придается мистическое значение цифре «седмь», можно и конца не найти.

ДЕСЯТАЯ ВИНА

Современный и общеупотребительный счет десятками во всяком случае позднейшего приспособления на практике. Едва ли не с прошлого века стали «брать десятого» из бунтовавших скопищ, в которых все были виноваты, но каждый взятый отдельно не имел самостоятельного значения. В плотно сплоченном заговоре невозможно отыскать зачинщиков или подстрекателей, да и лень было производить это, имея перед глазами ясно определенный практический образец. Считали с первого головного из расставленных в строй и оцепленных и выводили из круга следующего за девятым. Его и в солдаты брили на барабане, и кнутом били на кобыле, и плетьми стегали, и батожьем-палками колотили, как указывал закон или приказ укротителя. Отсюда и приговор и поговорка: «десятая вина виновата», хотя для домашнего обихода давно практиковалось правило: «десятью отмеряй, однова́ отрежь».

СЕМЬ ПЯТНИЦ[1]

Роковое мистическое число семь, примененное к одному из дней недели, обращается в справедливый упрек тем общественным деятелям, на которых ни в каком случае нельзя полагаться и им доверять. Эти люди, давая обещания твердые и надежные, по-видимому, не исполняют их: либо не платят долгов в указанные сроки, либо не исполняют обещанных просьб; виляют и обманывают, отлагая со дня на день на все семь дней недели, на все 52 недели круглого рабочего года. Эти люди, у которых всегда «живет и такой год, что на день семь погод», а это все одно и то же, что «приходи завтра», объявляемое просителям и кредиторам. Не иной какой-нибудь день недели из

[1] Предлагаемому толкованию один из рецензентов, разбиравших эту книгу (в первом ее издании) авторитетно предлагает свое, как бесспорную поправку. По его мнению оказывается, что потому семь пятниц на *неделе*, что некогда в Москве на *Красной площади* вдоль Кремлевской стены стояло 15 церквей и между ними большинство Пятницких (все ли семь?). Коренной москвич, приглядевшийся ко множеству церквей, вправе придти в изумление, как могло уместиться столько зданий, хотя бы и малого размера, на таком сравнительно небольшом пространстве (от Никольских ворот до Спасских)? Удивившись, любой москвич, привыкший ко всяким своим диковинкам вроде незвонившего колокола, нестрелявшей пушки, обязательно спросит: для чего и кому понадобилась эта диковинная церковная выставка узеньких, стена об стену, наподобие гостинодворских шкапчиков, деревянных зданий? Не для соревнования же или соперничества в раздаче даров благодати скучились шеренгой молитвенные здания, хотя бы даже и случайно скопившиеся на одном месте! Да и сколько между ними было Пятницких храмов, автором не указано, – неужели так-таки в пользу его толкования ровно семь? Кто же не знает, что для успокоения тоскующей души об усопших вовсе не надобились именно Пятницкие храмы. Важны поминальные дни девятый, двадцатый, сороковой, полугодовой, годовой – личные и установленные церковью (Радуница, Дмитриевская суббота и проч.) – общие. Куда и как исчезли эти церкви сразу и безвестно – очень поучительно было бы знать теперь, когда осталась одна Пятница, да и та поместилась в приметном отдалении от указанной площади (именно в Охотном ряду). – Все это самоуверенным, но обманутым критиком и не указано, а между тем места упраздненных храмов у знатоков московской старины все на счету. Что же касается меня лично, как обвиняемого в ошибке, то в данном вопросе считаю себя вправе придерживаться прежнего личного мнения и в нем укрепиться, поминаючи присных в указанные Церковью дни и предпочтительно на самих могилах. (*Примеч. С. В. Максимова*).

семи взят в упрек другим и в поучение себе по очень давним историческим причинам и выбран обетным по экономическим бытовым условиям нашей народной жизни.

Некогда, в древние, еще языческие времена, этот день недели считался свободным от работ, т. е. праздничным, заменявшим воскресные нынешних христианских времен. В эти дни собирались общественные сходки соседей для торга, т. е. обмена своими произведениями и всякими избытками хозяйства. Не привез кто нужного в этот день или получил на это новое требование, обыкновенно назначал срок исполнения заказа и обязательство на установленный еженедельный торг и сборище – на базар и ярмарку. Обычай этот сохранился до наших дней не только в мелочных заказах, но и в таких крупных предприятиях, как многотысячные платежи по вновь придуманным векселям. От Макарья до Макарья, т. е. от времени закупки товаров на Нижегородской ярмарке до спуска флагов на ней же в следующем году, или от Макарья до Ирбита – для сибиряков, от Макарья до Коренной или иной срочной ярмарки устанавливаются денежные платежи по вековечному русскому обычному торговому праву. От базара до торжка: от последнего до ближайшей ярмарки, – это значит одно и то же, что от пятницы до пятницы, но так, чтобы каждая из них не нарушала в исполнительности обета дружбы и взаимного кредита, – было бы слово твердо – по старине. Особенно это было важно в те далекие времена, когда не развито было бумажное производство с вексельным правом и работали на честное слово в промыслах и торговле.

Что пятница была праздником (в подтверждение указанию толкового словаря Даля и в опровержение предполагаемого им объяснения) и что она, по этому самому случаю, издревле была на Руси обетным срочным днем для исполнения многоразличных и неуловимых обязательств, представляем вкратце собранные нами доказательства.

Девятая пятница, как девятый вал в разбушевавшемся море, не чета другим дням в году и, как исключительная, пользуется в нашем народе и русском быту особенным почетом. Не обходят

этого дня, считая его от дня Св. Пасхи, ни Малая, ни Белая, ни Великая Русь: вся святорусская земля с доисторических времен помнит и до сего дня чтит эту почтенную «девятуху». Приметна и памятна эта пятница суеверным и торговым людям.

Если изъездим всю северную Россию вдоль и поперек, присмотревшись к тем дням, в которые собирается народ для вымена и покупки необходимых товаров, то неизбежно убедимся в том, что пятницам для маленьких торжков или базаров принадлежит самое видное место. Когда же товарный обмен производится в обширных размерах и вызывает людные торговые сходбища, удостаиваемые названия ярмарок, – девятой пятнице также отдается особенное перед всеми преимущество. Если сделаем справку, даже самую легкую, например по сподручным справочным книжкам, мы узнаем, что так называемым девятым отведено больше строк и места, чем соседним с нею по времени вознесенским, троицким и ивановским. Тем не менее говорим это про всю Великороссию, а, принимая в соображение исключительно ее северную лесную половину, увидим, что большая часть «девятых» с двумя-тремя днями подторжья и самых ярмарок приходится производить в грязи по колесную ступицу и в слякоти по колена. Мы имеем полное право удивляться такому неудобному выбору ярмарочных сроков и, по усвоенной всеми дурной привычке, пуститься даже в обличения, насмешки и гражданские сетования, но на этот раз удержимся. Примем в соображение то, что девятые ярмарки, несмотря на бездорожицу и распутицу, все-таки везде бывают многолюдны. Все эти торговые съезды превращаются в ярмарки в тех преимущественных случаях, когда входят в сближение и вступают в деловые торговые сделки разные местности, исключительно удаленные друг от друга и не похожие по роду занятий и промыслов. На девятых, как на международных промышленных выставках, собирается самый разнообразный товар, именно такой, какого ни за какие деньги нельзя приобрести в тех местах, где заусловлены один раз в год на этот самый день эти самые большие годовые съезды. Довольно указать на Коренную в Курске (убитую на нашей лишь памяти бойкою и

ловко рассчитанною железною дорогою), которая именно тем и была знаменита, что на девятую пятницу по Пасхе обе России, северная промышленная и южная земледельческая, здесь обменивали взаимно свои изделия.

Умудрившиеся на тяжких уроках в борьбе с суровой природой практические северяне привычным способом подвергают себя неудобствам бездорожицы весеннего времени именно с тем, чтобы воспользоваться удобствами самой весны. К концу ее в наших деревнях выдается время некоторого досуга. Тогда обеспечиваются на предстоящее страдное время полевых работ необходимыми предметами и орудиями, да кстати и легким отдыхом, с приятными развлечениями на народе: либо в большом селе, либо в городе.

Какою бы раннею ни была Пасха, к девятой неделе после нее, ко второй по Пятидесятнице, посевы обыкновенно бывают окончены, а по положению даже и все поздние. Тянется то самое скучное время, когда при деле не у дел, в ожидании чего-то важного и ответственного, надо бы дело делать, а взяться не за что. Между тем теперь рабочие руки все налицо и дома. Все собрались на полевую страду, как бы далеко, ради подспорья и денег, ни уходили они на отхожие промыслы. Даже фабричные баловни вылезли из-за ткацких станков и побросали челноки и шпульки, и все ткацкие светелки в девяти средних губерниях заперты на замок до глубокой осени. Мужская сила явилась на выручку женской, и теперь (обыкновенно с последних дней Великого поста) все крестьянские земледельческие семьи домой принесли с заработков деньги. Повинные весенние работы заделаны, но затем под руками не осталось ничего подходящего и неотложного. Велят ждать. Желающие могут приправляться и охорашиваться, но беспощадное и неустанное колесо еще не вертится, еще не захватывает всеми петлями и спицами, еще не закручивает до обморока и оцепенения, и сорвавшийся с одной петли еще не попадает и не крутится в другой. Девятая и десятая пятницы, с задними и передними соименными соседками, совпадают именно с этим временем гаданье и страхов всего чаще за яровые всходы, которое называется в деревнях «межи-

парьем». Эта пора от посевов до начала сенокоса, продолжающаяся иногда до четырех недель, показывает только на легкие работы и обязывает лишь самыми грязными, на какие охотливее посылаются девки да ребята. В самом затрапезном платье, подоткнувши высоко подолы, возят они в одноколках навоз со дворов на поля под озимые хлеба, сваливают на полосах кучами и потом, не торопясь и полегоньку, разбрасывают и запахивают. По этой-то причине самая пора называется также «навозницей». Исконные и коренные пахари запасаются силой и предпочитают, во всем лучшем и чистом наряде, потолкаться и погалдеть на том и на другом торжке в ближнем соседстве. Девятая пятница здесь – указчица, вопреки известной пословице, и, кроме торгу подходящим товаром, бывает еще тем хороша, что, собирая народ во многолюдстве, облегчает достаточным хозяевам наймы рабочих. После девятой и десятой, и без особого напряжения слуха, достаточно ясной становится близость одной из тяжелых крестьянских работ. Стук по дворам и избам дает себя знать и подсказывает, что отбивают косы, купленные на пятницких торгах вместе и кстати с серпами и другим необходимым железным товаром. Косы острят теперь, оттягивая лезвие молотком, вроде тупой кирки, на маленькой наковальне и потом подтачивают на бруске и правят деревянной лопаткой, усыпанной песком по смоле. После Петрова дня начинается законное и обязательное для всей северной Руси время сенокоса (в более благодатных странах позападнее и поюжнее первый покос начинается раньше неделей и более, чаще с Иванова дня, т. е. – 24 июня).

Я, впрочем, далеко забежал вперед: весенние пятницы велят остановиться и задают серьезный вопрос о себе самих, о девятой и десятой в особенности. В самом деле, подозревается за ними что-то таинственное и символическое и при таковой исключительности их, в силу множества однородных заведомых народных обычаев предполагаются признаки языческих верований не совсем ясные, по сравнению, например, с семиком, колядой, купалой и т. п., а потому в особенности любопытные.

За справками всего благонадежнее отправиться туда, где старинная народная жизнь сохранилась цельнее и языческие

верования мало поколебались и отлично сберeглись, благодаря изумительному домоседству жителей и уединяющему географическому положению. Около года мне привелось там производить наблюдения, видеть эти самые пятницы лично и слышать про них довольно много, чтобы быть в ответе и рассказать об одной пятнице, которая навязывается всякому, изучающему нравы белорусов.

Буквально на первых шагах, когда привелось удалиться от городов и отдаться наблюдениям в белорусских деревнях, заветным днем недели оказался не тяжелый день понедельник и даже не воскресенье, называемое здесь по-старинному и по-славянски «недзелей» (неделя). Выделяется пятница или, по-тамошнему, «пяценка» и «летка» тем, что по всей этой лесистой, болотистой и исключительно земледельческой стране этот день полагается днем нерабочим: по крайней мере еще до сих времен нельзя шить, нельзя купать ребят, мыть и золить белье. Начатую работу, обойдя запретный день, кончают в субботу и с тем, чтобы тогда же непременно начать новую, предназначенную на следующую неделю. До изумления старательный, терпеливый и трудолюбивый белорус семи русских губерний в этот день старается не работать на себя, не пашет полос пашни своим семейством. Он искушается на такой тяжкий грех лишь по найму, трудится в людях и на чужих с глубокой верой, что эти уже примут на свою душу грех и ответят за него, кому следует и, между прочим, самой Пятнице. Когда в Великороссии остались в народной памяти и в чести только три пятницы (9, 10 и в особенности Ильинская), в Белоруссии, таким образом, опасны и страшны все 52, и между ними требуют особенного себе почета и чествования все весенние, до десятухи (десятой). На них выпали все праздники и игрища с дудой и песнями, так называемые «весенины». Понятно, что, пользуясь таким благоприятным обстоятельством свободных от работ дней, на них основались и те сроки торжков, белорусских «кермашей» и «красного торга», которые особенно дороги и умеют удачно подслужиться перед страдою. Точно так же все работы в больших хозяйствах, когда своими сила-

ми не управиться и надобится великорусская «помочь» или белоруская «толока́» за приличное угощение, везде, по всему русскому западу, производятся в эти дни, как бы в воскресные или праздничные. Принося хозяйству значительную помощь, пятницы, как и прочие обетные дни (заказанные по случаю градобитий, сильных наводнений и других народных бедствий), – являются одним из основных краеугольных камней и нынешних хозяйств. В то же самое время для неимущей братии эти дни – великое спасение и утешение, и потому она здесь является на глазах у всех первою и последнею, выманивает и благодарит, непрестанно распевая «за поящих, за кормящих, за весь мир православный».

В Белоруссии вышло естественным путем также и то, что торговые дни разбросаны по всем пятницам, а более удачным и счастливым местечкам досталось на долю по нескольку таковых разом. Так, в Могилевской губернии, близ самого губернского города, в одном из самых древних местечек, расположенном по подолу Днепра, в Полыковичах (в старину – Отмут) чествуются три пятницы: десятая, одиннадцатая и двенадцатая; в гор. Быхове и местечке Кричеве – десятуха, в местечках Шклове и Журавичах – девятница, да еще, сверх того, сама по себе осенью Параскевьевская перед днем 14 октября, когда празднуется память мученицы Параскевы, нареченныя Пятницы, пострадавшей при Деоклитиане в Иконии и в первые времена христианства на Руси сменившей древнее божество кривичей. Уже потому оно было важно и почиталось сильным, что потребовало такой замены, и боготворение его несомненно было повсеместным, так как понадобилось при этом религиозном перевороте изображение святой греческой не иначе, как в виде *изваяний из дерева*.

В местечке Лукомле (в Сенненском уезде Могилевской губернии) таковое изваяние «Пятенки» собирает в 11-ю пятницу после Великодня (Св. Пасхи) до трех тысяч человек богомольцев из трех соседних губерний (Могилевской, Витебской и Смоленской). При местном храме сохраняется камень, называемый «стопа́», с изображением креста и славянской надписи,

которую по причине давнего, в течение нескольких столетий, усердия богомольцев, выражаемого прикладыванием губ, в настоящее время прочесть нет никакой возможности. Почитается камень как святыня, но по какой причине и с какого повода нельзя было дознаться о том даже из темных преданий. Такую же чудотворную икону заведомо чтут еще в местечке Дивине (Гродненской губернии) и в последнее время еще с усиленным рвением с той поры, когда во время пожара хотели ее вынести, но не могли сдвинуть с места. Везде, конечно, пристраивается также шумный и живой торжок с тою неизменною особенностью его, что количеством народа он, во всяком случае, уступает осенним пятницким торгам, когда свободны все руки и покойно сердце: полевые работы все кончены и начинается время отдыха; для всяких праздников (если имеется на что) – широкий досуг. Тогда выбираются сроками для сходок последние пятницы перед колядами (Рождеством Христовым) и носят общее название «красных торгов». Впрочем, как бы ни путалась в годовых неделях удобная для торгов обетная пора, она старательно выбирает преимущественно пятницы.

Всматриваясь в списки ярмарочных сроков, невольно убеждаешься в том, что если обойден где-нибудь занимающий нас день, то, наверное, потому, что по соседству в другом ближнем месте воздано ему обязательное внимание. Точно так же кажется, что если весенние и осенние ярмарки приурочены к другим выдающимся праздникам, ежегодно сменяющим дни, то устроилось это лишь за недостатком требуемого числа пятниц, т. е. спрос совершенно превысил на этот раз предложение. Из пятницких торгов в этом древнейшем русском крае составляется поразительно длинный список: достаточно сказать, что на одну Могилевскую губернию приходится 17 пятницких ярмарок и в 14 городах и местечках происходят базары обязательно в каждый пятый день христианской недели, несомненно бывший главным праздничным и первым в неделе у языческих кривичей. Соображаясь же с тем обстоятельством, что и у западных славян (у сербов в бадний день, у босняков, галичан и т. д.) почитается «святая Пятка»

(и ее поминают во всех молитвах по поводу хлебного урожая рядом с Пресвятой Девой), – в Белоруссии пятницкие торги, часовни на подолах рек и при них игрища, церкви во имя св. Параскевы служат признаками и прямыми указаниями на древнейшие славянские поселения в крае, совершившиеся во времена дохристианские.

В самом деле, при учете пятницких храмов во всей обширной белоруской стране сравнительно большое число их резко бросается в глаза и притом часто сопровождается следующими обстоятельствами. Первый христианский князь в земле кривичей (Брячислав, а по другим Вячеслав) строит в стольном городе Полоцке три храма: Софии, Бориса и Пятницу в 1203 году. Первая православная церковь в Вильне (и притом каменная и, конечно, весьма небольшая, недавно возобновленная) – пятницкая. Это та самая, в которой Петр Великий крестил предка нашего бессмертного поэта А. С. Пушкина – любимого арапа Ибрагима (Ганнибала); построена женой литовского князя Ольгерда, княжной витебской Марией, на месте языческого капища около 1330 года[1] (здесь она и погребена).

Из других исторических памятников выводится именно то прямое заключение, что славянская Пятница как божество была покровительницею усопших душ. Монастыри ее все – кладбищенские или, как называли в старину, «божедомки». В таком смысле верование это перешло и в Великую Россию, на Восток и Север. Здесь изваяниям Пятниц принадлежит такое же исключительное право и почетное место, здесь пятницкие церкви богаты синодиками, так как богатые люди предпочитали творить молитвы за своих умерших именно тут. Поэтому Пятница явилась покровительницею убогих и нищих во всей древней Руси, и около этих церквей (обычно выстроенных на подоле, у рек и самой воды), во всех местах

[1] Во всех заведомо древнейших городах неизбежно являются пятницкие церкви, так что перечисление и указания постройки в первые годы христианства на Руси становятся совершенно излишними. Припомним лишь при этом, что имя Параскевы было любимым в великокняжеских древних родах и дочь того же полоцкого Брячислава, отданная замуж за Александра Невского, носила это имя. (*Примеч. С. В. Максимова*).

селилась нищая братия своими хатами и логовищами[1]. Где не было воды, там непременно рыли колодцы и пруды. До сих пор белорусские женщины не перестают молиться святой Пятенке о дождях для урожаев, поступая при этом так.

Когда наступает время жатвы, одна из деревенских старух, легкая на руку и этим достоинством всем известная, отправляется в поле ночью и сжинает первый сноп. Связав его, ставит она на землю и три раза молится в это время Прасковье-Пятнице, чтобы помогла рабам Божиим (помянет всех женщин своей деревни, на которых, по белорускому хозяйскому обычаю, лежит обязанность жнитва). Просит старуха об окончании, без скорбей и болезней, тяжелой работы и быть заступницей от лихих людей, особенно тех, которые умеют делать «заломы». Затем берет она свой сноп и, крадучись ото всех, несет его в свою избу. Всякая встреча при этом – недобрый знак.

Для окончательного подкрепления представленных здесь наблюдений и убеждения в древнейшем значении пятого дня всех годичных недель, в той же Белоруссии поступают так:

Осенью, в урочный день поминок по родителям, в так называемый праздник дзядов (дедов), непременно вечером, с пятницы на субботу, каждый дом для своего семейного покровителя – духа-деда – печет блины, режет кабана (свинью) и варит борщи с салом, которых бывает четыре сорта. Все эти кушанья в горшках и на латках расставляются по лавкам. Выступает живой дед, самый старший старик, берет черепеньку с угодьями вроде церковного кадила, кладет в нее смолу и машет, чтобы охватило дымом кушанья. Сядет он потом за стол, положит на него плеть и зачитает самодельные молитвы без склада и смысла, – и беда тому, кто осмелится усмехнуться: под руками лежит и орудие расправы. А бессмысленные и смешные молитвы читает старик перед всяким блюдом, после чего следует легкий загул. Меня уверял этот самый живой образ и религиозное лицо

[1] Так, между прочим, было и близ Москвы, в Троицко-Сергиевской лавре, где Дольный или Пятницкий монастырь (от которого сохранилась теперь только кладбищенская церковь под лавровой горой, на Подоле) собрал слободку из бедных и потребовал от обители особого приюта для убогих и престарелых, преимущественно женщин. (*Примеч. С. В. Максимова*).

кривского культа, старейшина Несторовой летописи, заблудившийся в белорусских пущах до наших дней, что маленькая семья в этот вечер выпивает не меньше четверти водки.

После всего сказанного нам уже незачем переходить в Великоросию, потому что если и попробуем поступить так, то неизбежно встретимся с тем же языческим обликом пятницы, несколько потускнелым (сравнительно с белорусским) и с христианскими образами Параскевы, совершенно потемневшими от времени. Великоруссы на большую часть вовсе забыли в чествуемых пятницах соименное им женское божество. Но изваяния св. мученицы Параскевы в очень многих местах по северной лесной России (в особенности по Олонецкой губернии, вплоть до села Шуи, Архангельской, лежащего уже на берегу Белого моря) почитаются либо явленными, либо чудотворными. Они занимают видные места (в красивых и богатых киотах), либо в церквах, либо в нарочно сооруженных часовнях, при обязательных родниках и копаных колодцах. Затем, кто же по всей России не благоговеет в страхе перед Ильинской пятницей?

ИЛЬИНСКАЯ ПЯТНИЦА

Ильинская пятница – всем пятницам мать и наибольшая: все пятницы в году – тяжелые дни, но эта – опаснее всех прочих и считается таковою с тех самых темных времен, как занялись на земле русская жизнь и народная вера. Как ни напрягали свои усилия христианские учители, чтобы ослабить это суеверие, все попытки их оказались втуне. Заменяли они пятницу мученицей греческой церкви Параскевой, – народ слил оба имени вместе и счел за одно. Снисходя слабости душ и сердец и уважая твердость убеждений и прочность верований, проповедники отделили 12 особенных, обязавши их постом, но народ отстоял все 52, окружил каждую почтением и суеверными страхами и давал в том даже формальные записи. Известна, между прочим, заповедная крестьян Тавренской волости, писанная в 1590 году: «а в пятницу ни толчи, ни молотить, ни каменья не жечи, проводить с чистотою и любовию»

(см. «Крестьяне на Руси» – Беляева, с. 70). Выкидывали пятницу из списка или «Сказания, каким святым каковые благодати от Бога даны и в каковые дни им подобает возносить молитвы», – народ все-таки продолжал чтить в ней богиню: «водяную и земляную матушку» и чествовал праздником по соседству и в равенстве с Ильей – бывшим Громовником. Когда исторические судьбы назначили русскому народу новые встречи, пятница у мусульманских народов оказалась еженедельным праздничным днем, а у самого многочисленного и сильного из языческих инородческих племен «мордвы» – таким же исключительным и заветным: вот, стало быть, и новые веские поводы укрепиться в прадедовском веровании. В молодой России, где Православие сильно мутится новыми толками в духе рационализма или обезличивается равнодушием к делам и обрядам веры, языческая пятница все-таки не перестает смущать. В Купянском уезде, Харьковской губернии, в 1872 г. пронесся слух, что один крестьянин встретил Пятницу, за которою гнался черный черт, – и теперь все крестьяне празднуют этот день как воскресенье (см. корреспонденция «Спб. ведом.», 21 июля 1872 г., № 197). Пробовали в апокрифических писаниях, в списках, распространенных в народе в громадном количестве (разнообразных и несходных), умалить и самое значение поста в Ильинскую пятницу; писали, что «тот человек сохранен будет всего только от плача и рыдания»[1], – и этому не вняли верующие. До сих пор в этот заповедный день ни пашут, ни боронуют. Уверяли, что в награду за этот пост поведутся в благочестивом хозяйстве хорошие, крепкие лошади, а у матерей семейств будут легкие роды[2]. Народ твердит свое: «Если

[1] По моему списку, приобретенному на Печоре в 1867 г. (*Примеч. С. В. Максимова*).

[2] По списку протоиерея Малова, помещенному в его «Письмах к воинам» (Спб. 1831). Во многих, впрочем, списках Ильинская даже не упоминается вовсе: так, во всех распространенных по Малороссии и Белоруссии, и тоже между собою не схожих, ее заменяет либо та, которая предшествует второй Пречистой (Рождеству Богородицы), либо зеленым святкам (Троице), либо, наконец, той, которая бывает перед «Ушесцьем» (т. е. Ушествием или Вознесеньем). Разное распределение – разное и значение у каждой пятницы. (*Примеч. С. В. Максимова*).

зародится в тот день чадо, то оно будет либо глухое, либо немое, либо выродится из него вор, разбойник, пьяница, чародей или вообще всем злым делам начальник». Девицы-невесты молятся 28 октября, в день св. мученицы Параскевы, нареченныя Пятницы, так: Матушка-Прасковея, пошли женишка поскорее!», но на Ильинскую пятницу о таковом желании своем помалчивают. В Белоруссии они даже в открытую распевают: «Породзила меня матушка у несчастный день у пятницу, не велела мне матушка белиться и румяниться».

А где таким образом поют и молятся, там, когда сладится свадьба, перины и все невестино имущество отпускают в дом жениха не иначе, как в пятницу вечером. В Малороссии обрядовый свадебный хлебец «лежень» кладется на стол невесты в пятницу же и лежит до венца под двумя ложечками, связанными красной ленточкой, и т. д.

В столице Белоруссии, в Смоленске, духовенство достигло, однако, того, что отбило пятницы первых четырех недель Св. Четыредесятицы. Там приучили народ (однако лишь только с половины прошлого века) ходить в Авраамиев-Спасский монастырь (один из древнейших в России, как основанный еще в XII веке) и выстаивать особые службы в воспоминание Страстей Господних, известные в Смоленске под католическим именем «Пассий». На повечерях читались, среди церкви, Евангелия Страстей, пелись две песни: «Тебе, одеющегося светом яко ризою» и «Приидите ублажим Иосифа приснопамятного» и читалось поучение с очевидным намерением службою величайшей в христианстве пятницы Страстной недели сокрушить неодолимую мощь и силу языческих пятниц.

В свою очередь в разных местах Великороссии слышится одна и та же легенда о девушке, которой госпожа приказала в этот день работать. Она, конечно, послушалась. Пришла к ней Пятница и в наказание велела, под страхом смерти (и смерть стояла при ней вживе), спрясть сорок мычек и занять ими сорок веретен. Испуганная до лихорадки девушка, не зная, что думать и делать, пошла посоветоваться с опытной и умной старухой. Эта велела напрясть ей на каждое веретено по одной

лишь нитке. Когда Пятница пришла за работой, то сказала девушке: «догадалась!» – и сама скрылась, и сошла беда на этот раз с рук. Во всех других случаях бывает хуже именно потому, что Пятница, ходя по земле, сама за всеми наблюдает (а хождение Пятницы – повсеместно распространенное верование). Ходит она всюду вместе со смертью, а потому немедля и наказует ею: обычно делает так, что скрючит на руках пальцы, а мужчинам вложит в спину стрелье и ломоту. Пятницу все могут видеть, и кто видел – тот хорошо распознал, что это еще молодая женщина. Иногда она очень милует и награждает, а в иную пору жестоко наказывает. У одной женщины, не почтившей ее и работавшей, она просто-напросто содрала с тела кожу и повесила на том же стану, на котором та ткала холст. Попался ей раз навстречу по дороге работник, который отошел от хозяина. Сел этот прохожий закусить, а к нему и напрашивается неведомая красавица, чтобы разделил с нею хлеб-соль. Поели они: «Вот тебе за то награда: иди в это село, найди там богатую девушку-сиротку, бери ее за себя замуж. А я даю тебе сто лет веку». Он так и сделал. Жил он ровно сто лет, и пришла к нему Пятница с тем сказом, что пора-де умирать. Умирать не хочется: «Прибавь еще одну сотню!» Прибавила. Когда исполнился последний день этой второй сотни лет, она опять пришла. – «Еще прибавь сотню!» – Прибавила. Жил-жил человек и самому даже надоело, и такой он стал старый, что по всему телу мох вырос. Приходит святая Пятница и смерть с собой привела: «Ну, теперь пойдем: и вот тебе хорошее местечко здесь остаться». Место очень понравилось, но она повела на другое, которое ветхому старику еще больше полюбилось. Когда привела его на третье, то отворила дверь и пихнула его прямо в ад и промолвила: «Когда бы ты помер на первой сотне своих лет, то жил бы в первом месте, на второй – на другом месте, а то в триста-то лет ты столько нагрешил, что где же тебе и жить, как не у чертей в когтях?»

Этою легендою дается, между прочим, объяснение тому повсюдному на Руси обстоятельству, что пятницким церквам отводятся места на кладбищах (как св. Власию на выгонах) и

«девятничают и пятничают», т. е. по-старинному старухи весь день проводят в строгом посте, воздерживаясь даже от рыбы, и по нынешним обычаям – пьянствуют в память умерших родителей именно в Ильинскую пятницу особо и сверх прочих поминальных и панихидных дней. Понятным делается и название в древнейших городах пятницких концов, приходившихся за окраинами города, как было то, например, в древнем Торжке и в самом древнем Новгороде, а равно и учреждение на «божедомках» скудельниц. Сюда в старину свозились и сваливались в кучу умершие насильственною или неестественною смертию, погибшие на поединках и самоубийцы. Их тела, без отпевания, оставлялись непреданными земле до Ильинской пятницы (в иных местах до Семика), когда благочестивые люди обыкновенно рыли для несчастных могилы, погребали их и, за свой страх, пели по ним панихиды.

В Ильинскую пятницу исстари, как и во все прочие годовые, по селам и городам собирались земледельцы и купцы для торгу, но Ильинская отличалась от прочих тем, что тогда производился суд, расправа и казни, конечно, наводившие еще больший страх и запечатлевшиеся в народной памяти. С преклоненной головой, с согнутой в кольцо спиной, ползает под образами мученицы Параскевы вся женская деревенская Русь. На коленках до жгучей боли и до крови оползают они бесчисленные часовни при родниках, посвященных ее же имени. Любознательные, не утруждая себя слишком и не ходя далеко, могут отчасти видеть это всего лишь за Охтами, на казенных пороховых заводах, – и в поразительных размерах, и с изумительными подробностями, с небольшим в 100 верстах отсюда, в селении Ильешах, Ямбургского уезда. Сюда в течение многих недель общество Балтийской железной дороги зазывает богомольцев объявлениями об экстренных поездах по три раза в день, сверх трех обычных. Поезда довозят до станции Молосковицы, от которой до заветного места всего 14 верст.

Народное религиозное усердие к ильешевской церкви оправдывается еще тем усугубляющим обстоятельством, что при двух предельных алтарях – пророка Илии и велико-

мученицы Пятницы[1] – главный посвящен Николе, издревле заветному для русского народа в такой степени, что все разноплеменные инородцы считают мирликийского святителя русским богом и уже давно чтут его, в свою очередь, наравне со своими богами. Ильешевская же Пятница для поклонения своего указала богомольцам два места: «явления» в неизвестные отдаленные времена, в полутора верстах от церкви, в поле (где теперь часовня) и «поставления», т. е. самую икону в храме погоста. Погост этот в XVI веке носил название Григоровского лешего (т. е. лесного), несмотря на то, что церковь звалась «Великий Никола». Старый погост успел слиться с позднейшею деревнею в нынешнее село.

Образ изваян из дерева и, как все такого рода иконы, наглядно свидетельствует о древнейшем своем происхождении и чрезвычайном народном почитании. Последнее обстоятельство подтверждается именно тем, что образ устоял на месте в числе немногих в России даже в те строгие времена, когда энергически и решительно изгонялись из русских храмов этого вида и характера иконы. Значительное число их было свезено в Новгород и свалено под софийскою звонницею. Какая судьба постигла их впоследствии – неизвестно. Значительную часть, конечно, сожгли.

Перед столь же древним и замечательным изваянием в Ильешах шумно и открыто проявляются, в согласном и дружном сочетании, силы двоеверия, несомненные также и по историческому и этнографическому значению самой местности. Напомню еще раз, что здесь, на этом самом пункте, кончилась свободная, необузданная в стремлениях новгородская колонизация, не знавшая пределов и отдыха отсюда вплоть до Камчатки и американского берега. Здесь же ладно поселилась и мирно ужилась новгородская вера и народность при взаимных одолжениях и обязательном обмене всем с тою инород-

[1] В предупреждение читателей, могущих принять имя Параскевы за переводное (с греч. яз. на славянскую «пятницу»), как это в самом деле на Руси сделано, например, с именем Феодота в Богдана, Мидия в Воина, Синетоса в Разумника и т. д., сообщаем справку о том, что Параскева в переводе с греч. на русский язык значит «уготованная». (*Примеч. С. В. Максимова*).

ческою, которая в летописях путалась под названиями Ижоры и Веси. Когда освящали в недавнее время в Ильешах новую каменную церковь, собравшийся народ проявил такой религиозный экстаз и обставил его такими необычными видами, что удивлялись даже приглядевшиеся к диковинкам. Не отказывается толпа пооткровенничать здесь запоздалыми выходками темного суеверия и теперь, в более спокойное время, не вдохновляющее какою-либо чрезвычайностью события, хотя бы вроде освящения нового храма. Благоговейно припадают эти толпы народа под образ, высоко поднимаемый над головами преклоненных богомольцев и несомый на особых носилках в киоте во время крестных ходов с места поставления на место явления и обратно. Затем, по обычаю всех подобных сборищ, после церковных утренних торжеств с полудня начинается ярмарка с шумом и гамом не одной тысячи празднично настроенного люда. Часовенное место в Ильешах в особенности знаменательно: в то время, когда около иконы сосредоточиваются обряды христианского характера, на месте явления ее обнаруживаются другого рода картины.

Подле самой часовни растет развилистая береза, почитаемая священною за то, что на ней спаслась Пятница от преследования соблазнителя в виде черта. Он с досады начал бросаться в убегающую камнями и завалил ими всю окрестность. Один булыжник попал на березу и там врос в кору так, что теперь его едва видно. И дерево это, и камень на нем удостаиваются особого народного благоговения, но главным образом почитается другой камень, который лежит близ корня. По одной из множества легенд, существующих в народе об этой местности, на этот камень ступила преследуемая злым духом Пятница и с него прыгнула на березу, оставив след ступени. Последняя ясно обозначается большим углублением, достаточно глубоким для того, чтобы просунуть туда руку. В нем скопляется и тщательно сберегается дождевая вода, конечно, грязноватая и сорная. Вода эта целебная: это – слезы праведницы, плакавшей о людских прегрешениях. Вода врачует от всяких болезней и преимущественно от глазных. Впрочем, исцеляет здесь и сель-

ский колокол, под который во время благовеста и звона становятся все глухие. Врачует и песок, и все прочее на этом святом месте, которое привлекает всех болящих. Характер последних в особенности разновиден: это не только окрестные простолюдины, но и та столичная интеллигенция, на которую рассчитывает Балтийская железная дорога, настойчиво напоминая о близости Ильинской Пятницы. Для наблюдателя на месте в особенности может быть интересна именно эта категория наезжих и их классификация. Здесь все действуют в открытую, не стесняясь. То, что под известным давлением в столице таится или скрывается, то в Ильешах, как у себя дома – как бы в каком-нибудь мертвом и глухом захолустье – откровенно высказывается в самых разнообразных с трудом уследимых картинах. Они часто обставляются крайними выходками несдержанного фанатизма и, между прочим, обязательно требуют раздирающих душу воплей кликуш.

Главный интерес для наблюдателя, конечно, представляют во всяком случае эти следы древнего почитания дерева и камня, старинного по существу и облеченного лишь в новую форму. В газетных корреспонденциях нередко наталкиваешься на подобные указания, и в особенности на эти следы человеческих ног на каменьях. Так, например, кроме знаменитой стопы, показываемой в Почаевской лавре, имеется указание на местечко Лукомль (Могилевской губ., Сенненского уезда), где в местной церкви хранится такой же камень со стопой, как уже сказано нами.

Указанием на эти живые урочища и вещественные следы древнего языческого культа мы желаем обратить внимание исследователей и на покинутых славянских богов, и на места их почитания. Сколько известно, изучения в этом направлении не производились до сих пор. Не нашлось до сих пор ни одного досужего человека, который составил бы, по готовым материалам, хотя бы краткий перечень сохраняемых, как заветные, деревьев и почитаемых за святыню каменьев. Те и другие в изумительном множестве рассажены и рассыпаны по лицу земли Русской, оживленные различны-

ми интересными легендами, с достаточною ясностью свидетельствующими о живучести старой народной веры. Вот она въяве с мельчайшими подробностями всего во ста верстах от цивилизующего города и в 14-ти от той самой дороги, которая имеет претензию возить прямо на европейский Запад. Мало того: эти доисторические обычаи и верования имели твердость уберечься в таком пункте, где кончаются крайние русские поселения, где предполагаются по этому случаю три соединенные усилия: католического ксендза, протестантского пастора и православного священника. Наконец, эта местность – вовсе не трущобное захолустье, а весьма известная всей гвардии, как посещаемая ею в последние дни маневров; издавна пролегало здесь Нарвское шоссе и примыкал один из косяков того окна, которое прорубал Петр Великий.

СЕМИПУДОВЫЙ ПШИК

Как у портного на ножницах, – у некоторого кузнеца осталось «на клещах» семь пудов железа. Куда с ним деться и на что употребить? Место глухое и бедное, заказов никаких нет, ездят все на одноколках и не только не обивают шинами колес, но и в самой телеге не найдешь ни одного железного гвоздя. Таких местностей на Руси еще очень много, и для примера можно взять даже целую страну, Белоруссию, которая захватила собою шесть русских губерний. Кто купит топор или обзаведется сошником или запасется заступом, тот уже показывает их всем и хвастается. Кто это видит, тот завидует. Ждет кузнец, пока у какого проезжего лопнет шина или потеряется подкова, а скопленное железо тем временем лежит попусту и ест его ржавчина. Надо же его, наконец, к чему-нибудь приспособить. Выдумал кузнец выковать из него крест.

– Свезу на базар: приглянется какому купцу, захочет порадеть на матушку-церкву – купит.

Вскоре в ближнем селе, подле церковной ограды, на свежем навозе и по колена в грязи загалдел базар на сотни крикливых голосов. Громко, во все горло, заговорила деревенская нужда,

не стесняясь и не оглядываясь. Шатаются между возами мужики и бабы: смотрят товары и ощупывают, хлопают по рукам и торгуются, божатся и ругаются, увидят крест – дивуются:

– Какой ты большой крест выковал!

– Одной рукой не поднимешь!

– Кабы поменьше выковал – на нашу бы колокольню годился.

– Наша не выдержит – рассыплется.

– Ты бы свез его в город: там купят.

– Словно бы он топором его тесал, а рубанком-то и не прошелся: в городе не понравится.

Подходили к кресту и зубоскалили; поднимали за один край – крякали и отходили прочь.

Базар тем временем стал замирать и наконец разъехался. Повез кузнец свое изделье опять домой непроданным.

– Надо крест поменьше сделать: этакой скорей подойдет, и купят, – подумал кузнец про себя и начал перековывать.

Выковался крест в пять пудов; опять лежит на возу на базаре и опять ждет охотника.

– Великонек, друг, великонек: давно присматриваюсь, купил бы да не подходит.

Сделал кузнец поменьше: весил крест три пуда. Кто подговаривался на прошлом базаре, теперь не пришел. Из новых никто не присматривается: все проходят мимо. Один фабричный привязался, захотел пожалеть, а сам насмеялся:

– Ты бы его надел на себя, да и прошелся бы по базару; базар на всякое диво охотлив; может, кто бы еще и подал на бедность.

Кузнец был упрям, как бык. Он сказал себе: хоть надорвусь да упрусь, а потому базарной мирской науки не послушался.

Опять и на этом базаре остался товар на руках. А так как у кузнеца рука легка, а шея крепка, то и на этот раз принялся он за ту же работу и новый крест сделал в пуд. С ним снова набивается. Подошел к базарному товару поп, постукал по нем пальцами, перевертывал. На низу посмотрел, чего не написано ли, – сказывал:

– Поставить на церковь – мал; к осенению – не годится; для напрестольного – груб, в воздвизальных – как его таким-то народу покажешь? А хорош: нескоро изотрется. Ты бы, сын мой, походил по монастырям: не отыщется ли где отшельник. К веригам твой крест ладно прилажен: и неуклюж, и тяжел.

В монастырях кузнецу везде одно толковали:

– Не те времена. К нам ты припоздал: был один такой, что все уходил в лес спасаться, а наконец и совсем скрылся.

– У нас есть спасенники: по кабакам валяются, – юродствуют. Сходи к которому – примеряй!

В кабаках кузнеца утешали:

– Хорош был бы твой крест, когда бы его на шею нашего мироеда надеть разрешили тебе, а ему бы приказано было тот крест носить, не снимаючи во всю жизнь до гроба.

– Большие бы заказы мужик доспел, кабы этак-то!

– А бывало такое дело: одному такому-то где-то из самого Питера дослали, слышь, не то железную медаль, не то крест, тоже вот в пуд весом: носи на здоровье! Как в люди идти, так и надевает. Дома, если спать ложится, разрешали снимать.

Все-таки надо было крест переделывать, а в фунтовых крестах кузнеца еще больше стали путать. Никому он не угодил, да и ставил товар в большую цену; довелось просить и за маленький ту же плату, во что обошлись и большие; ставил в счет все семь пудов старого железного лома. Не клал и не считал только то, что уходило на угар да на обрезки: все, что, по обычаю, кузнецу на клещи полагается.

Наконец, порешил он так, что быть кресту тельником: станет его носить сам на груди под рубахой, на доброе здоровье и на спасенье. Незачем в люди ходить срамиться.

Стал он его накаливать да поколачивать. Раз стукает в плиточку – обрежет. Раздует мехами уголья – опять крест всунет и накалит и опять расколачивает: все ему великим кажется. Начал калить такой уже крестик, что едва клещами защемливает, чуть он в них держится. На беду пришла босомыга-девчонка от матери угольков попросить. И нашла, дура, место: просить углей у кузнеца, что у калашника теста, когда их либо у самого нет, либо

самому нужны. И сказала ту просьбу под руку, когда переносил кузнец крестик из горна на наковальню. Сорвался он с клещей да прямо в ведро с водой, о которое кузнец еще на пущую беду спотыкнулся. «Пшик» – зашипело в ведре, и клубочек белого пара взыграл и обозначился. Пришлось кузнецу хлопнуть по бедрам, расставить ноги, вскинуть руками и вымолвить такие слова, что на всю Русь и теперь еще все отдаются эхом:

– Вот-те и семипудовый пшик!

Впрочем, толкуют про иного кузнеца и по-другому. Этот был посчастливее: к нему на дом или прямо в кузню принесли работу. Понадобилось мужику наварить лемех для сохи.

– Надо бы, вот, друг, поточить: спусти малость!

Пришла, наконец, мужику пора установлять эту соху, – пришел он к кузнецу справиться: не готово ли?

– Прости, друг, ради Бога! Маленько перевалил я твое железо: лемеха у меня теперь не выйдет, а выйдет разве сошник.

– Навари сошник, что делать!

Стал кузнец сошник ладить – не выходит.

– Что же выйдет?

– Топор я тебе выкую, такой топор, что с ним весь свет пройдешь и мне спасибо назад принесешь.

Похвастал мастер – не травы покосил: спина не заболела, а топора не выковалось. Посулил сделать косарь, – и на нем пережег железо. Выхвастался потом на нож, – и на том погорело железа столько, что обушок вышел таким же острым и тоненьким, как самое лезо.

– Что теперь станешь делать?

– Да гвоздь можно выковать, какой хочешь: хоть двоетес, чтобы стена затрещала.

Визжал под молотом и ножик, а гвоздь из него вышел такой маленький, что в сапог вбивать его не стоит и даже в руках держать стыдно.

– Сделай что-нибудь поладнее: что сможешь?

– Можно теперь сделать один только пшик.

– Делай пшик, сделай милость! Хоть чем-нибудь на счастье с тобой поквитаться!

С КОЛОМЕНСКУЮ ВЕРСТУ

В таком нелестном подобии является в представлении московских людей высокий человек, превосходящий на целую голову прочих и, стоя, например, в толпе, мешающий задним видеть впереди себя. По большей части такой человек неуклюж, неловок, неповоротлив, что называется на севере «жердяем» и «долгаем», а повсеместно «верзилой» и «долговязым». Для московских жителей такие большерослые люди представляли подобие тех столбов, которые царь Алексей Михайлович расставил от Москвы до своей любимой загородной летней резиденции – села Коломенского. Это был первый опыт обозначения видными знаками верстовых измерений, существовавших издавна в одном лишь призрачном представлении с обязательною неточностью самой меры. Неточность зависела столько же от сметки расстояний на глазомер, сколько и от условной подвижности или изменяемости самой меры, и при этом не одних только верст, но и саженей. Древнейшая сажень была короче нынешней, и таких требовалось в версту целая тысяча. Впоследствии верста стала составляться из семисот сажен, и такое-то количество их и велел уложить царь Алексей в ту видимую версту, которая ушла в поговорку. Царь Петр I повелел считать в версте пятьсот сажен, что и намечали впоследствии по всем казенным почтовым дорогам пестрыми верстовыми столбами, покрашенными в три национальные цвета. За такой-то столб задел в степи хохол, изумленный невиданною диковинкою, и остался недоволен.

– Ажно проехать стало неможно: проклятые москали верстов по дороге понаставили!

На самом деле консервативное начало высказалось и в этом нововведении: еще на нашей памяти в захолустных местах семисотные версты предпочитались пятисотным, взаимно соперничая. Требовался переспрос: по какому счету принято на проселках, где не поставлено столбов, разуметь дорожную версту. Конечно, всего чаще случалось получать в ответ всем известное объяснение расстояний в нашей про-

странной и неоглядной Руси: «Меряла баба клюкой, да и махнула рукой, – быть-де так!»

КОРЕЛЬСКИЙ ВЕРСТЕНЬ

Кроме коломенской версты на Св. Руси доводится набегать еще на «корельский верстень». Так произносят слово «верста» северные инородцы, да и в самом деле, «верстень» представляет собою весьма характерную особенность и своеобразную единицу меры в тех непроходимых лесистых и болотистых местностях. Не спуста у архангельских поморов сохранилась поговорка: «карельский верстень – поезжай целый день». «Баба мерила, да оборвала веревку». Такие версты и называются «карельскими»: тонки да долги. Прямо смотреть, рукой подать, да надо тянуться через такие зыбуны, где и легкая лисичья нога не удержится. Объезды десятками верст оставляют такое мучительное впечатление, что не забывается десятками лет, и при воспоминании о корельском верстене у испытавшего такое горе пробегает мороз по коже. Переезжает лесничий с карелом на дырявой лодке через широчайшее Топозеро, чтобы попасть на интересный остров с остатками знаменитого раскольничьего скита Федосеевского толка, – и мучается ожиданием половины пути. От берега до берега насулили 12 верст, – истратили пять часов, а все еще далеко до места. По пути оказался маленький болотистый, топкий островок:

– Вот теперь половина будет, – подсказывает карел.

– Вот тут-то, должно быть, и оборвалась у вашей бабы веревка.

В ответ на это замечание следует точное и откровенное объяснение в утешение измученного проезжего человека:

– Задняя половина больше, – передняя половина «горазд – поменьше».

ДВА ДЕВЯНОСТА

Одно девяносто потребовало филологических исследований, два девяноста имеют уже историко-географическое значе-

ние. В записках Академии наук 1878 года, том 31-й, напечатана статья Прусика, директора гимназий в Руднице, в Богемии, в которой доказывается, что это слово неправильно пишется девяносто, и на основании сличений с греческим и латинским названием этой цифры необходимо писать дев*е*носто. По следу этой записки в «Филологических записках» 1879 г., выпуск I, другой исследователь, Ф. Ржига, на основании законов русского языка настойчиво и доказательно опровергает мнение чеха и советует писать девяносто, как принято. Он производит это слово от девять до ста, что подтверждается и в звуковом отношении в области славянской речи. «Непосредственный или последний десяток ко сту до ста будет = 90. Итак, спросим еще: что значит «девять дó ста? или к какому числу можно добавить до ста?

$x + 9 – (100 – 1)$

$x + 9 – 99$

$x = 90.$

Ответ заключается в самом вопросе – это значит, что число *90* достаточно обозначено славянами: девять дó ста = (девяноста) = девяносто».

Вполне подчиняемся этому решению и будем вперед следовать этому указанию, как поступили же в самом заголовке предлагаемой статьи. Для нас же важны не одно, а именно два девяноста.

Народные несчастия, крутые исторические невзгоды, когда приводилось плохо всей Руси, больнее всех городов и областей (даже пограничных) отзывались на срединном городе русской земли, властительном, влиятельном и богатом. Обездолить военным разорением, обессилить грабежом и пожарами, унизить позором набега и надругаться разрушением – все это кстати было именно здесь, в самом центре Руси. Таковым в данном случае является Москва, не в пример прочим городам, и в строго-математическом смысле.

Эта видимая случайность, в самом деле, весьма знаменательна. Первые города от Москвы отстоят на «два девяноста верст»: Владимир, Тверь, Тула, Калуга, Рязань, Егорьевск, Юрьев (*Полесский*, Владимирской губ., очутившийся на поляне,

в полях, среди вырубленых лесов и совершенно истребленных дебрей, – один выделившийся этою особенностью среди всех «залесских» городов и перед своим стольным городом – Володимиром). При этом первому из московских соседей, на которого обращены были исключительно поглощающие стремления Москвы, досталась самая печальная участь, выразившаяся в очень горькой насмешке народного присловья: «у Владимира два угодья: от Москвы два девяноста, да из Клязьмы воду пей». Это – первые из старых, которые не успели обессилеть от поглощающего соседства Москвы и удостоились почетного прозвища губернских, когда Петербург, при Екатерине Второй, начал раздавать звания и дипломы всем заслуженным и производить в соответствующие чины и степени городов не всегда того достойные села, посады и слободы. При этом замечательно, что промежуточные города, соблюдающие до сих пор то или другое значение и сберегшие прежнюю силу и известность, отстоят от Москвы на «одно девяносто» (Коломна, Клин, Серпухов, Руза, Можайск, Переславль-Залесский), т. е. на ту меру, какая из глубокой старины принята была для определения расстояний и, вместе с сороками, составляла общеупотребительный способ и любимую форму счета. Два девяноста значит четыре с половиной сорок, сто восемьдесят. Вышло так, что «четыре девяноста что девять сороков – одно; полпятá сóрока – два девяноста», а затем, как говорят в глухих местах опытные счетчицы: «что полпятáста, что пять-девяноста – все те же девять сороков с девяностом» (вот таким образом и это несклоняемое числительное, вопреки нашим грамматикам, народом склоняется).

Пройти пешком треть девяноста за единый дух и прием очень трудно: надобен на половине пути отдых. Пройти еще такую же треть, как от Москвы до Троицы-Сергия, считается уже подвигом, достаточно успокаивающим религиозное настроение москвичей. Чтобы одолеть целое девяносто, надо уже запрягать лошадь. Ходá лошади стала единицею меры расстояний и невольно выразилась в распределении населенных мест там, где русскому племени пришлось колонизовать страну в междуречьях, где переставали служить плоты и лодки и выру-

чали свои ноги или хода́ благородного животного. На тридцати верстах оно уже уставало само и требовало отдыха и корму. После отдыха оно снова служило на том же пространстве или перегоне и, при взаимных сношениях и обменах соседей, помогало тому, что хозяин мог в одни сутки доехать, сделать дело и вернуться назад. Там, где этим тридцативерстным дорогам, как радиусам в круге, доводилось определять центр, – вырастали торговые села. Группа таковых, тянувших друг к другу, определяла центр уже городом, нередко «стольным» в старину и еще живым в нынешнее время. Города же первого девяноста на втором – порождали города уже первопрестольные, царствующие, княжеские. Таковы все пять вышеупомянутых. Как бы то ни было, указываемое нами явление неотразимо и обязательно явилось во всей суздальской и рязанской Руси; пусть прогуляется циркуль от Москвы, как центра, на Владимир до Мурома, на Ярославль за Кострому до водоразделов и т. д. в любую сторону. Этим способом мы отчасти объясняем себе и ту видимую случайность, при которой города с двумя девяностами расстояния могли создать такой громадный город, как Москва, уже не знающий себе на Руси соперников, имели основание признать его срединным и наименовать сердцем и, как своей и личной, интересоваться его судьбами. Стали поговаривать: «в Москве к заутрене звонят, а на Вологде тот звон слышат».

МОСКОВСКИЕ ПРАВДЫ

ПЕРВАЯ и ВТОРАЯ: «ПОДЛИННАЯ и ПОДНОГОТНАЯ»

На свете правда – одна, и другого приличного эпитета ей нельзя придавать: «ложью, как хошь верти, а правде путь один»; «все на свете мине́тся, опять-таки *одна* только правда остане́тся», – уверенно и смело говорит народ наш. Умелый в родном языке до поучительного образца и ревнивый к отступлениям и неправильностями обиходной речи, наш народ, несомненно, неспроста и неспуста решился прилаживать

к правде странные придатки, поставленные в заголовке нашей статьи. Не назвал бы он правду подлинной на том же основании, как не зовет насмех всем масло масляным, и потому, что неподлинная правда есть уже просто кривда[1]. Равным образом нам приходится теперь говорить не о той правде, которая есть первая из самых первых основ нравственности и справедливости и то первое же и главное, что необходимо иметь всем и каждому и которая в нынешнее время, более чем во все предыдущие периоды человеческого развития, является вопиющею необходимостью. Настоящее наше толкование вынуждается специальною правдою, которая обычно всяческими способами отыскивается на суде и при юридических дознаниях, розысках и следствиях, в прямом расчете, что затаенная правда где-нибудь да отыщется.

В старину до этой правды добирались впотьмах ощупью следующими путями и способами:

Доносчик и обвиняемый приводились в судную избу вместе, но допрашивались порознь: «истцу первое слово, а ответчику последнее». Так это и в пословицу попало.

Первым ставили перед судейским столом обвинителя, который и повторял донос. Приводили обвиняемого. Он божился и клялся всеми святыми и родителями, отпираясь от поклепов и оправдываясь. Местами и временами он изругивался, искоса и в полуоборот волчьим взглядьем посматривая на злодея-доносчика. Приводили снова этого и ставили очи на очи. Давалась «очная ставка».

«Очи на очи глядят, очи речи говорят»: доносчик стоит на своем, обвиняемый, конечно, отпирается. «И не видал, и не слыхал, и об эту пору на свете не бывал». Тогда, по Уложению царя Алексея Михайловича и по древним судейским обычаям, уводили доносчика в особую пристройку «за стеной» судной избы или в «застенок». Там раздевали его донага, «оставляли

[1] Название кривды народ объясняет тем, что неправда на земле пошла от первой женщины Евы, которую Бог создал из кривого ребра. Правда осталась у Бога, а кривда на земле. Она светом началась – светом и кончится. Оттого и выучились люди жить так хитро и ловко, что «где в волчьей нагольной, а где и в лисьей под плисом». – (*Примеч. С. В. Максимова*).

босого и без пояса, в одних гарусных чулочках и без чеботов» – как поется в одной старинной песне. Затем клали его руки в хомут или связывали назад веревками, обшитыми войлоком, чтобы не перетирали кожи; на ноги привязывали ремень или веревочные путы. На блоке и в хомуте двое вздымали к потолку, двое других придерживали за ноги внизу, оставляя всего человека на весу вытянутым на «дыбе» и не допуская его концами ножных пальцев упираться в пол. Палач становился на бревешки, и вывертывал из лопаток руки (что называлось «встряскою»), и затем, как опытный костоправ, вправлял их, вдвинув изо всей силы на старое место. Давали висеть полчаса и больше. Если «на подъеме» он не говорил того, что хотели слышать, тогда начинали «пытать» – допытывалися правды. Палач, или заплечный мастер, мерно бил по нагнутой спине «длинником», хлыстом или прутом («батогом»), а то и просто палкой или даже кнутом – словом, что первое подвернется палачу под руку или на что укажут ему. С вывернутыми из суставов руками, со жгучею болью в груди, на виске «под длинниками» или «под линьками» говорил пыточный с пытки «подлинные речи». Поседелый в приказах дьяк придвигал к дыбе в застенке свой столик: перо у него за ухом и пальцы в крюк. Мучительно-медленным почерком, чтобы какой-нибудь на бумаге крюк не выпустить из рук, «нижет приказный строку в строку, хоть в ряде слов нет проку». В это время доносчик висит на виске и говорит первые пыточные речи или измененные и дополненные показания, ту «подлинную», понятия о которой несправедливо и неправильно перенесли потом на все то, что называется настоящим и имеет вид безобманного и истинного. Часто случалось, что доносчик, под длинниками, т. е. батогами или хлыстами, гибкими и хлесткими прутьями на дыбе, от своих показаний отказывался и сознавался, что поклепал напрасно или спьяну, или из мести и по злобе. Тогда его опять пытали три раза. И сталось так, как говорят пословицы: «на деле прав, а на дыбе виноват; пытают татя на три перемены». Если доносчик с этих трех пыток подтверждал свое пыточное сознание, обвиняемого отпускали. Он успокаи-

вался на той мысли, что «нескорбно поношение изветчика». В противном случае подвешивали на дыбу и этого: «оправь Бог правого, выдай виноватого».

«Били доброго молодца на пра́веже в два прутика железные. Он стоит удаленький – не тряхнется, и русы-кудри не шелохнутся, только горючи слезы из глаз катятся», – выпевают по настоящее время слепые старцы по торгам и ярмаркам. Правится он на правеже («на жемчужном перекрестычке», как добавляется в московской песне с указанием на то урочище, где было место старых казней), правится он, как береста на огне коробится, и с ущемленными в хомуте руками, – «хомутит» на кого-нибудь, т. е. или клевещет и взводит напраслину на неповинного, или сваливает свою и чужую вину на постороннего. В таком, по крайней мере, смысле и значении уберeглось это слово до наших дней вместе с пословицей, обязательно предлагающей «первый кнут доносчику». Оно, впрочем, справедливо со всех сторон, во все времена и во всех местах: старинных и новейших, в школах и артелях и в общественном быту. Доносчику первый кнут не только от старинного палача, но и от современных товарищей и сожителей за этот самый извет.

Если ни страх дыбы в виду подъема и пыток первых, ни хомут, ни кнут не вынуждают вымученного сознания, то подозреваемых «ставили на спицы» (объяснения которым в старинных актах не сохранилось, хотя известны спицы в том орудии старинной мучительной казни, когда колесовали, т.е. колесом ломали преступнику кости). Затем сажали на цепь и к ножным кандалам, сверх сыта, привязывали тяжести. Кормили соленым – и не давали пить. На ободранные спины трясли зажжеными сухими вениками; посыпали солью по тем местам, где кожа содрана была лоскутьями. Очевидец подьячий Сыскного приказа, бывшего тогда на Житном дворе у Калужских ворот, некто Горюшкин, рассказывал, что старые судьи хвастались друг перед другом изобретением новых средств и новых орудий для допросов и пыток. «Случилось мне, – говорил он, – зайти в пытальную палату, или застенок, по окончании присутствия. На полу я увидел кучу лоскутьев окровавленной

кожи, – спрашиваю у палача: «Что это такое? – Как что?! выкройка из спины». Этот же Горюшкин и в том же Сыскном приказе слыхал пословицу пытаемых: «терпи голова – благо в кости скована», и «приветы» колодников одних идущих на пытку от испытавших ее: «Какова баня?» – «Остались еще веники». Пытки считались вполне делом законным и справедливым[1]. Ни власти, ни народ нисколько в том не сомневались: пытка была законом, а дыба и заплечные мастера встречались даже в народных волостных избах, не только в казенных городских. Необходимость и законность пытки были укреплены твердо в понятиях всех и каждого. Надо лишь изумляться всеобщему равнодушию и той нерешительности, с какою подходили законодатели к уничтожению этого позорного, бесчеловечного, безнравственного и бессмысленного способа отыскания следов преступления и степени виновности. В незлопамятном народе остались воспоминания только о самых мучительных и лютых пытках, хотя, правду сказать, некоторые из старых практиковались и в очень недалекие от нас времена.

Осталась, между прочим, в народной памяти – «подноготная», та пытка, которою добивалась на суде, в самообманчивой простоте, никому неведомая и от всех скрытая правда, заветная и задушевная людская тайна. В старину думали, что она, несомненно, явится во всей наготе и простоте, когда палач начнет забивать под ногти на руках и ногах железные гвозди или деревянные клинушки, когда судья закричит и застращает подозреваемого возгласом: «Не сказал подлинной – заставлю сказать всю подноготную!» Тогда пыточному закрепляли кисть руки в хомут, а пальцы в клещи, чтобы не могли они сложиться в кулак или не изловчились бы дать наотмашь.

По некоторым сведениям, в числе замысловатых инструментов пыток находились особого вида клещи, которыми нажимали ногти до такой боли, что человек приходил в

[1] Этот Горюшкин самообразованием достиг того, что был впоследствии приглашен к преподаванию в университете практического законоведения. Своим лекциям он давал драматическую форму, и класс его представлял присутствие, где производился суд по законному порядку. (*Примеч. С. В. Максимова*).

состояние лгать на себя и в личное избавление рассказывать небылицы целыми повестями. По внешнему виду по особому устройству верхней половинки клещей, похожей на столь известную и любимую овощ (brassica napus), орудие пытки носило название «репки». Ею выдавливали правду из ногтей, как колют теперь машинкой орехи и сахар. Отсюда и столь известное и общеупотребительное выражение: «хоть ты матушку-репку пой», а я на то не согласен, по твоему не быть ни за что и ни в каком случае.

ТРЕТЬЯ ПРАВДА: «У ПЕТРА И ПАВЛА»

В Москве, где очень многое по-другому и все своебычно, потому, собственно, шла правда от церкви Петра и Павла, что вблизи ее находился страшный Преображенский приказ, особенно памятный народу с тех самых пор, как стрельцы рассердили Петра, вооружили его против Москвы и он задумал с ней в конец рассориться и навсегда разойтись. Здесь были застенки и дыбы в несчетном количестве; производились бесчисленные пытки и казни и применялись и получали дальнейшее развитие все разнообразные способы допытывания правды. Собственно же «московская правда» давно уже была во всей тогдашней Руси на худом счету. Она обращена была даже в насмешливое слово и понималась как укор и попрек с тех времен, как Москва стала забирать в свои руки всю Русь и мало-помалу становилась главою государства. Любопытным и сомневавшимся советовали искать этой правды «московской» особенно в Пскове, где она сумела выразиться во всем неприглядном безобразии. Псков помог князю Московскому под Новгородом, – псковичи пожаловались ему на московских послов, обижавших людей по дороге, отнимая у проезжих лошадей и имущества и требуя грубо поминок не по силе, – Великий князь взглянул на жалобу грозно, подивился и гораздо больше поверил своим боярам. После падения Новгорода Псков объявил полную покорность, а из Москвы посылались нарочно такие наместники, из которых на каждого приходилось жаловаться. Избранных

челобитчиков Великий князь принимал, но вскоре велел отдавать под стражу. Они думали покорностью смягчить Москву, авось там смилуются и сжалятся: вышли за город навстречу князя Василья, прибывшего во Псков, поклонились ему до земли, а он лучших людей велел схватить и увезти в Москву. Триста саней потянулось по московской дороге под стражей. Князь выехал из Пскова, по словам летописи, без крови, с великою победою, но москвичи, оставленные править городом, не разбирали средств увеличивать свои доходы. Они подстрекали ябедников на богатых людей, брали взятки и посулы и разоряли. Добро, нажитое в прежние времена независимости торговлею и промыслами, теперь переходило в руки московских дьяков. Лучшие люди бросали домы и убегали в чужие земли; иногородние покинули Псков все до единого. Один за все вольные города русские челобитьем к потомству пожаловался на московскую правду псковский летописец такими глубокого смысла словами: «О, славнейший граде Пскове-Великий! Почто бо сетуеши и плачеши? И отвеща прекрасный град Псков: прилетел бо на мя многокрылый орел, исполнь львовых когтей, и взя от мене три кедра ливанова, и красоту мою, и богатство, и чада моя восхити. И землю пусту сотвориша, и град наш разориша, и люди моя плениша, и торжища моя раскопаша, а иные торжища коневьим калом заметаша, а отец и братии наша разведоша» и т. д. С этих пор создались и уберeглись исторические поговорки, что «Москва слезам не верит», ее не разжалобишь («не расквелишь»), она «по чужим бедам не плачет» и прочие живучие поговорки, которые примешиваются ко всякому подходящему случаю в обиходной жизни[1].

После стрелецкого бунта, в 1698 г., дела по полиции и общественной безопасности стали ведаться в Преображенской приказной избе. Новые полки: Преображенский, Семеновский

[1] В пословичных выражениях сохранилась еще память об однородном с правдою московском «часе». Хотя, вообще, русский час – «все сейчас», но полагается очень долгим: со днем тридцать. Московскому же часу определила русская старина срок ровно в целый год: «подожди с московскую годинку – с московской час!». Это же и «московская волокита». (*Примеч. С. В. Максимова*).

и Бутырский – держали постоянные и временные караулы в Кремле, у городских ворот, у кабаков, у церквей, около монастыря, на площадях и прочее. С 1702 года все дела из Судного приказа перешли в Преображенский, который «из избы» переименован был в «приказ».

Здесь всеми делами ведал, и правду искал, и суд творил – не кто иной, как царский любимец и ближний человек, сам князь-кесарь Федор Юрьевич Ромадановский, решавший всякие дела и даже самые страшные о «слове и деле» без апелляции. Это был (по словам кн. Куракина, современника его) «человек характера партикулярного (то есть своеобразного), собой видом как монстр, нравом злой тиран, превеликий нежелатель добра никому; пьян во вся дни; но его величеству верный так был, что никто другой». Сидя за столом в старом боярском кафтане, отороченном узеньким золотым галуном, с длинными густыми усами, всякое дело выслушивал сам этот страшный человек, перед которым никто не смел садиться и во двор к которому никто не имел права въезжать (даже сам царь Петр выходил из одноколки у ворот). Словом, судила та исключительная суровая личность, подобные которой, по русским приметам, нарождаются в целое полустолетие один только раз. Конечно в эти времена охотливее, чем в другие, советовали не бояться суда, а бояться судьи: суд стоял прямой, да судья сидел кривой. В его руках закон был дышлом: он его куда хотел, туда и воротил. «Зачесали черти затылки от его расправы», и долго сохранялась в народе память о «петропавловской» правде, все время пока поддерживалась она робкими, медленными и неудачными попытками к истреблению в корне тех поводов, которые породили самую пословицу. Петр III в сенате, 7 февраля 1762 года, запретил ненавистное «изражение слова и дела»; Екатерина II назвала употребление пытки «противным здравому, естественному рассуждению», но уничтожить ее формальным образом не решилась. Счастливая доля приостановить ее досталась в 1800 году императору Александру I.

Обнаружилась в Москве правда вместо Петра и Павла – «у Воскресенья в Кадашах», в Замоскворечье, в то время, когда

на городских выборах оказались в громадном большинстве голоса за Шестова, имевшего свой дом в этом приходе. Шестов, в 1830-х годах, выбран был в городские головы.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРАВДА: «У ВОСКРЕСЕНЬЯ В КАДАШАХ»

Нравы и обычаи того времени требовали, чтобы в городских головах на Москве сидел такой, который бы всем и всему потрафлял, а если он, сверх того, богат, тороват и хлебосолен, то еще того лучше. Против таких сговаривались целым обществом и если они сами не напрашивались, то их выбирали заочно и потом кланялись и неотступно упрашивали. Особенно важных требований, как к хозяину такого огромного и богатого города, тогда не предъявлялось; ни образования, ни убеждений, ни особенной силы воли и характера вовсе не требовалось. Производились самые выборы на добрую половину в шутку. Раз, однако, привелось ошибиться.

Голова Шестов оказался недюжинным. Загадали на простого, а получили прямого; на иную хитрость хватало и его простоты. Практически полагали все, что он будет не лучше и не хуже прежних, и вдруг довелось услыхать, что голова начинает чудить по-своему: до всякого пустяка в думе доходит сам и сует нос во всякие мелочи, не жалея своей головы. Что-то будет?

Стал он, например, до того доходить, кто пожарных лошадей кормит, почем для них покупают овес и сено. И когда дознался до старых цен, – объявил наново, что сам будет кормить, по прямому закону, с вольной цены, какая установится на торгах. Доискался такими же путями и до фонарного масла, которое покупалось вместе с овсом, и до других статей городских расходов, которые шли особняком. Шел он просто, все по дороге, просто и доходил, не жалея себя и словно не ведая того, что на дворе стояло самое ненастное время, хозяйничала голая, как пузырь, голова графа Закревского, топала и кричала, угрожала и исполняла угрозы. Не замечал, да и не хотел слышать и видеть Шестов, что против него собирались

враги и предпринимались воинственные походы. На городскую казну смотрел он купеческим оком и сторожил и умножал ее так, что когда к концу первого года стали ее считать, то вышло дивное дело, неслыханное событие: возросла казна до больших размеров от скоплений и сбережений и от умного хозяйства. Сам Шестов вошел в большую цену и славу, и имя его сделалось известным даже малым ребятам. И – шутка сказать! – перевернул из-за него наново московский люд старую, уже твердо устоявшуюся на ногах пословицу: «правда к Петру и Павлу ушла, а кривда по земле пошла».

В 50-м году[1] вся Москва только и говорила, что о подвигах этого Шестова и даже лубочная пресса, в те времена столь далекая от всяких политических вопросов дня и притом в то суровое цензурное время, вынуждена была обмолвиться о правде «от Воскресенья в Кадашах» полуграмотным легким намеком[2]. В нынешние времена это почтенное имя совсем исчезает из народной памяти под давлением и влиянием новых выборных земских порядков. Сколько нам известно, заслуги Шестова не почтены толковыми печатными воспоминаниями людей, близко и лично знавших его и, конечно, во множестве еще обретающихся в живых (припоминается лишь небольшая заметка, видимо урезанная цензурой, напечатанная в «Современнике»). Никольский «Петушок» издания тамошнего книгопродавца И. Г. Кольчугина (под заглавием «Турусы на колесах» 1846 г. в типографии Евреинова, с одобрения цензора Зернова) тоже уже не поет о Шестове, представляя своего рода библиографическую редкость. А он, сам петушок[3], робко

[1] Здесь С. В. Максимов допустил неточность: Шестов Андрей Петрович (1783–1847) – купец 1-й гильдии, коммерции советник, потомственный почетный гражданин, московский городской голова (1843–1845). – *Сост.*

[2] В приходе этой церкви Воскресенья в Кадашах, где в старину жили бондари-бочары, обручники-кадочники, – по-старинному кадиши или кадыши, а в указанное время жил исторический городской голова в своем доме. (*Примеч. С. В. Максимова*).

[3] «Петушками», как известно, издавна принято называть в книжной торговле все те дешевые лубочные книжки, которые стаями нарождаются в Москве на Никольской улице и разносятся в коробах владимирскими офенями по всей деревенской России. (*Примеч. С. В. Максимова*).

спрятавшись где-то далеко на насесте, сиплым, простуженным голосом все-таки дерзал выкрикивать: «пришла к нам правда не от Петра и Павла, а от Воскресенья в Кадашах и стала матушка в барышах, а то ведь наша матушка все беднела да бледнела, все хромала да головушкой хворала, – перестала наша матушка хромать» и т. д.[1]

НУЖДА ЗАСТАВИТ КАЛАЧИ ЕСТЬ

Нужда бесхлебных и малохлебных губерний обычно увлекала народ на низовую Волгу. Здесь, за малою населенностию края, очень нуждались в рабочих руках для косьбы роскошных степей и жнитвы неоглядных хлебных полей, а также и для лова рыбы в устьях Волги и на Каспийском море. Там все едят хлеб пшеничный, потому что пшеница – господствующий хлебный злак, и ржаного хлеба не допроситься верховому бурлаку или рабочему. Пшеничные хлебы и булки до сих пор называют там калачами. В подкрепление наших слов мы находим такую заметку известного ростовского археолога А. А. Титова (в предисловии к изданию г. Вахрамеева «Расходная книга патриаршего приказа кушаньям, подававшимся патриарху Адриану и разного чина людям с сентября 1698 по август 1699 г.»): «Русские в XVII столетии ели преимущественно ржаной хлеб. Он был принадлежностью не только убогих людей, но и богачей. Наши предки даже предпочитали его пшеничному и приписывали ему (да и теперь также) больше питательности. Название «хлеб» значило собственно ржаной. Пшеничная мука употреблялась на просфоры, а в домашнем быту – на калачи, которые вообще для простого народа были лакомством в праздничные дни. От этого и поговорка «калачом не заманишь» – самым редким кусом не привлечешь к себе того, кто испытал в чужих руках горькую долю, суровую нужду. Зато иного человека и калачом не корми, а сделай ему то и то, или: «лозою в могилу не вгонишь, а калачом не выманишь» и т. д. До пароходства эта нужда искать заработков при кала-

[1] См. также далее в ст. «Турусы на колесах». (*Примеч. С. В. Максимова*).

чах самым главным образом находила удовлетворение здесь. Десять губерний поступали таким образом. Отсюда идет и другое темное выражение: «неволя идет вниз, кабала вверх». По толкованию В. И. Даля, тут речь идет все о той же Волге и о разгульном бурлацком промысле, с которым связана кабала: задатки взяты, усланы домой в оброк, а остатки пропиты. «Неволя, то есть нужда, идет вниз, по воде, искать работы; вверх, против воды, идет или тянет лямкою кабала», а за нею следом рваная и голодная нищета. Или по иному толкованию этого же знатока народной речи в буквальном смысле: «раб ждет милости за верность, а кабальный все более и более должает и в кабалу затягивается».

ПОПАСТЬ В КАБАЛУ–

в нынешние времена, вследствие неблагополучных условий быта, легче, чем в старину отдаться в кабалу, отчего первое выражение общеупотребительное, а второе, утратив практический смысл, сохранилось лишь в историческом значении, как древний юридический термин. Беззаботный человек, живя спустя рукава, очень часто незаметно и неожиданно для себя попадает в безысходную нужду или, как говорится, «выводит на себя кабалу». Она хотя и не имеет на этот раз старинного смысла, требующего вечной работы или продолжительной выслуги за неоплатный долг, за неустойки в платежах деньгами и трудом, и хоть эта «кабала не кабала, а голова все-таки не своя», по пословице. Зачастую случается, что рабочий, идущий в наймы, принимает на себя кабалу, и таковая в недавнее даже время определялась сроками, если и на слово, без письменных кабальных записей, но с заручкой благонадежными свидетелями как доверенными поручителями. Так, например, на шесть лет приходил на заработки, чтобы выслужить потраченные деньги, тот, которого выкупал купец или священник из крепостного состояния от помещика, либо иной богатый человек из податного состояния освобождал выкупом от рекрутства и т. п.

МОСКВА – ЦАРСТВО

Так обмолвилось одно из присловий, обрисовывающих характер всех городов русских и в наибольшем числе (сравнительно с прочими) сгруппировавшихся около этого города. Его наш народ и очень любит, и нежно ласкает; любя прибранивает и лаская подсмеивается; ее боится и остерегается, но ею же живет и хвалится. Назвал народ Москву матерью всем городам и говорит, что кто в ней не бывал, тот и красоты не видал, хотя она и «горбатая старушка». В ней «хлеба-соли покушать, красного звону и ее самое послушать», хотя в ней и толсто звонят, и сама она «стоит на болоте и ржи не молотит». Она тем и люба народному сердцу, что когда ее соперник Питер «строился рублями и стоил больших миллионов», она, белокаменная и золотоглавая, «создалась веками». Обмолвилось присловье, по обыкновению, не спуста и не спроста и в том случае, когда создавалось изречение «Москва принос любит». «Без дарственного воздаяния не может Москва дел никаких делать», – писали посыльщики устюжского архиепископа Александра еще в XVII веке на Устюг. Московские приказные, по словам тех же посыльщиков, «говорят не обинуяся, что от того же дела мы есть-де хотим». Несколько раньше то же самое и в тот же Устюг протопопу Владимиру пишет протодьякон Владимир (мая 24-го 1658 г.): «сволочись даром не хочется», то есть съездить в Москву без успеха в ходатайстве, а на челобитных только пометы: взять к делу… а к дьякам приступ тяжек».

Неудивительно, что за долгое время и в силу исторических судеб и русской народной воли, за Москвою признан такой важный и крупный эпитет, который взят нами в заголовок прямо из уст самого народа. Он очень хорошо помнит, что Москва населялась жителями изо всех областей земли русской, которые тянули к ней и промыслом, и торгом, и неволей. Он отлично знает, что Москва собрала всю заветную областную святыню, палладиумы покорившихся княжеств и до сих пор бережно сохраняет их, главным образом, в Кремле и в Успенском соборе или в нарочно выстроенных храмах и монастырях. Тем и другим она и

привлекла к себе народную любовь и закрепила внутреннюю связь со всею обширною страною Русского царства, сделавшись сама, в миниатюрном виде музеума, и подобием и представительницею, со званием и титулом «сердца России».

Здесь не место перечислять все те святыни, которые взяты были из покоренных городов и свезены в Москву как победные трофеи вместе со знатными и богатыми семьями горожан. Нам не время доказывать, что еще не так давно у московских застав можно было, без труда и усилий, прислушиваться к разнообразным оттенкам говоров и наблюдать наряды и шляпы как этнографические признаки пришельцев из тех местностей, откуда вышли к этим заставам шоссейные дороги. Наречия и говоры русского племени были здесь все налицо. Всем хорошо известно, что выселение из дальних городов в Москву не только не прекратилось, но еще и усиливается. Нам, однако, время и место – не в первый раз – и снова пожалеть о том, что столь глубокое и очевидное значение города Москвы до сих пор не остановило на себе в надлежащей мере внимания: местные исследователи пробегают мимо этих интересных фактов, сильно бьющих в глаза и в ухо. Все говорят, что Москву собирала вся Русь и сама в ней засела во всей целомудренной чистоте и неприкосновенной целости, но подлинных признаков не приводят. Бесспорными доказательствами этот город переполнен.

Между тем сколько любви и ласки народной, в самом деле, сосредоточивается около этого срединного русского города, который, как цельная государственная область, заручился внутри себя городами, посадами, целыми слободами, классическим, не существующим на самом деле, но действующим, в виде церковных благочиний, «сороком сороков» и 22 монастырями (последние в указанном количестве полагаются обыкновенно на целую губернию или область) и т. п.

БЕЙ В ДОСКУ – ПОМИНАЙ МОСКВУ

Город Москва и богата всем, и торовата: все найдешь, кроме птичьего молока да отца родного с матерью. Была бы

догадка, а в Москве денег кадка. И диковинная, не в пример всем другим городам и селениям: «в ней каждый день праздник (по необыкновенно великому числу церквей); у Спаса бьют, у Николы звонят, у старого Егорья часы говорят», и при этом «грязь не марается, и спать широко». «Москва широка, как доска», у этого города «нет околицы», а потому он нигде «не сошелся клином».

Захотят ли похвастаться родным городом, называют его «уголком Москвы». Она служит меркою для определения величин и расстояния: на свете так много дураков, что их «до Москвы не перевешаешь». Иван Великий – измеритель высот «повыше высокого»; Царь-колокол – тяжестей: «подними-ко!» Пресня хвалится женихами, «все скоморохи»; вся Москва до наших дней и по всей Руси – невестами. Всякий русский город обязательно заручился «московской» заставой, и очень мало таких, где бы не было Московской улицы.

Поминают Москву и в карточной игре («на пиках», например, «вся Москва вистует»), и в детских забавах: прихватывают ладонями оба уха, приподнимают с полу, чтобы показать именно Москву пожелавшему ее видеть; впрочем, сквозь жидкий чай ее всегда видно, а «показать Москву в решето» – значит уже наголо обмануть либо больно одурачить. На Москву загадываются загадки и ее именем упрекают богатых, насмехаются над тщеславными и щеголями, и проч. («а что просишь за Москву?» – спрашивает надменный и хвастливый глупый богач и лезет за пазуху вынимать готовые деньги). Быть в Москве и видеть «золотые маковки» считается за большое счастье и полагается первым душевным утешением богомольного люда и всего православного народа. Все за Москву и все про нее: «бей в доску – поминай Москву»; «звони во всю Ивановскую».

За долгие и многие годы Москва успела выработать свои обычаи и наречие, свои песни, пословицы и поговорки и провела их во всенародное обращение вследствие долговременных связей и неизмеримо-обширного знакомства с ближними и дальними русскими областями. Недаром говорится, что отсюда «до Москвы мужик для поговорки пешком ходил».

ДОЛГИЙ ЯЩИК И МОСКОВСКАЯ ВОЛОКИТА

Когда говорят про недобрых дельцов и судей, про влиятельных лиц и решителей судеб, упрекая их в лености, что они «откладывают дела в долгий ящик», тем вспоминают про тот длинный ящик, который некогда царь Алексей Михайлович велел прибить у дворца своего в селе Коломенском, на столбе. Он ежедневно прочитывал сам вложенные туда челобитья. До того времени челобитные на имя царя клались на гробницы царских предков в Архангельском соборе. Богомольный царь, ревностный к церковному благолепию, поспешил отменить обычай. Ящик сделан был длинный в соответствие свиткам, на которых писались все документы до Петра, заменившего их листами голландского формата, существующими до сих пор. Из царских теремов выходило решение скорое, но, проходя через руки ближних бояр и дальних дьяков, дело «волочилось»: инде застрянет, инде совсем исчезнет, если не были смазаны колеса скрипучей приказной машины. Недобрые слухи про московскую «волокиту» или, еще образнее, про «московскую держь» в народном представлении остались все те же, а кремлевский ящик из длинного превратился в «долгий», про вековечный обиход несчастных просителей и жалобщиков на всем раздолье русского царства. Особенно же это было чувствительно и тягостно для приезжих из областей и дальних мест. В первопрестольном городе им доводилось задерживаться и издерживаться. Это – то же «хождение по передним» нынешних влиятельных лиц, равносильное стоянию на Красном кремлевском крыльце или у дверей старинных приказов. Насколько тяжело было положение просителей, свидетельствует св. Митрофан, епископ Воронежский. Отправляясь в Москву, он считал необходимым, для сокращения сроков московской держи, каждый раз запасаться достаточным количеством денег. Если в монастырской казне их не было, то он прибегал к займам и издержки аккуратно записывал в тетрадь. Одна из них сохранилась. В ней мы читаем о покупке святейшему патриарху «в почесть

40 алтын на лещей и на 23 алтына и 2 деньги осетрины» в то время, когда на себя лично во всю дорогу издержал святитель всего лишь семнадцать алтын «за постой и квас». В Москве он поднес патриарху калач, дал патриаршим истопникам сорок алтын, патриаршим певчим славленных шестьдесят два алтына, пономарям Успенского собора гривну, подьячему Кириллову на сапоги две гривны и прочая «пр́отори и пр́ести, убытки и волокиты», как привычно выражались в те времена, приравнивая даже взятки к волокитам всякого рода.

ВО ВСЮ ИВАНОВСКУЮ

В такой, а не иной форме сохраняется это выражение в устах народа, и взявшийся поправлять мое прежнее толкование сам попался впросак именно по той причине, что обратился не к прямому источнику, а принял его с чужих слов по доверию и обычаю в несколько искаженном виде. Кричать «во всю Ивановскую» (улицу) да хотя бы и «во всю» площадь, что примыкает к Московским соборам (как старается объяснить новый толковник), – нельзя. Это – не в законах живого языка: такой расстановки слов не допустит строгое и требовательное народное ухо. Можно и кричать (и при этом, конечно, осрамиться и прославиться) на всю улицу, на все площади русских городов, и нет нужды, для объявления во всеуслышание царских указов, выбирать из них именно кремлевскую Ивановскую. Для такой цели и по величине и удобствам гораздо приличнее Красная площадь с торговыми рядами, с народной толкучкой, с Лобным, которое так любил грозный оратор Иван IV и «тишайший» царь Алексей – в дни церковных «действ». К тому же с тех же самых давних времен бирючи обязательно кочевали, разыскивая места наибольших народных скоплений, и там кликали на всех крестцах и на все улицы. Вот если зазвонит Иван Великий во всю свою *Ивановскую* «колокольную *фамилию*» (как выражались исстари), «во все кампаны» в 30 колоколов своих, – это окажется внушительнее, величественнее и памятнее для народа в роды и роды, чем крики сиплых от невоздержания дьяков

всех многочисленных московских приказов и на всех площадях широко раскинувшегося города. Издревле Иван Великий был глашатаем великих событий не одной лишь церковной, но и государственной жизни: предупреждал о подступе к кремлевским стенам и святыне злых врагов в виде татар и ляхов, извещал о победах над ними, о радостных событиях в царской семье и проч. И до сих пор звон Ивана Великого возвещает о вступлении на прародительский престол новых царей и первым на всей Святой Руси приветствует их Богом венчанными и превознесенными. Кто бывал в Москве в пасхальную ночь, тот на всю жизнь запечатлевает в памяти очарование необычайным колокольным концертом и входит в должную силу разумения, что значит «во всю Ивановскую» – в самом настоящем смысле. А голосом кричать охотным и безбоязненным людям можно на всех Ивановских улицах, без которых действительно ни один город на Руси не обходится и без которых, вопреки мнению моего обвинителя, едва ли ему удастся объяснить распространенное выражение «кутить во всю Ивановскую».

У добрых соседей во всей гостеприимной Руси не почтить заветного очередного (так наз. уличного) праздника – значит кровно обидеть: все гости на счету, а близких людей ожидает более радушный прием. Вот почему верные дедовским обычаям непременно заходят во всякий дом и обязательно отведывают хлеба, соли и зелена вина, чтобы не показать (хозяйкам-стряпухам), что они ею гнушаются. К вечеру такого праздничного дня на улице, носящей любое название (да хотя бы и без всякого названия), иной, не твердый на ногах, вопреки полицейским и грамматическим запрещениям, возьмет да и вскрикнет весело и громко: «катай-валяй во всю Ивановскую», а не то с этим же окриком нахлещет лошаденку и наладится домой[1].

[1] Г. Никольский и на это изречение дает свое объяснение: «В Москве в XVII в. совершались казни и объявлялись правительственные акты (?) и распоряжения на Ивановской площади (за Москвою-рекою), куда вела Ивановская улица. Глашатаи, оповещая жителей о каком-либо распоряжении или о предстоящей казни, проходя по Ивановской улице, действительно кричали “на всю Ивановскую”» (опять-таки на всю, а не во всю). Никакой площади и улицы там, где указывает наш толковник, нет, если только они не

В живой речи чаще всего «во всю Ивановскую» требует именно удалых или отчаянных выкриков с призывом «во вся тяжкая», а не исключительно со словом «кричать». У Даля имеется прекрасный пример того, сколь изменяет смысл пословицы даже одно слово, неверно подслушанное или намеренно перевранное.

ВО ВСЯ ТЯЖКАЯ

Хотя говорится таким образом чаще всего о таких людях, сбившихся с правильного жизненного пути, которые безвольно отдались всяким порокам, «пустились во вся тяжкие», тем не менее едва ли не из того же источника вытекло это выражение, как и предыдущее «во всю Ивановскую», то есть от того же колокольного звона. Основываюсь в этом отношении на самой форме выражения церковнославянского склада, припоминаю начальные строки служебной книги «Пентикостарион» или проще «Цветной триоди». В ней повелевается перед Пасхальной заутреней: «вжигать свещи вся и кандила; устроять сосуды два с углием горящим и влагать в них фимиама много благовонного». «Тоже ударяют *во вся* кампаны и *тяжкая* и клеплют довольно» (текст этот, по обычаю, печатается киноварью).

В подкрепление этого предположения имеется в виду следующее очевидное и доказанное обстоятельство. В числе проводников в народ различных пословичных и поговорочных изречений довольно видное место занимают духовные лица до семинаристов включительно (с которыми равную честь и славу делят также охотливые передатчики – солдаты). По словарю Даля, а особенно по его пословицам, таких изречений, которые могли выйти из стен семинарий, насчитыва-

исчезли при нивелировке города в позднейшие времена и на нашей памяти. В нынешних справочных изданиях указанная за Москвой-рекой Ивановская улица исстари и по сейчас называется Кожевниками. Даже ранее XVII в. за Москвой рекой была (да и теперь есть) местность, называемая Болотом, и вот на ней-то действительно производились казни, и еще в XVII в. здесь был четвертован Пугачев и казнены его сообщники. (*Примеч. С. В. Максимова*).

ются десятки. Таково, напр., название вина цельным выражением: «его же и монаси приемлют»; и оправдание потребления первой и следующих чарок «стомаха ради и частых недугов»; товарищеский совет: «иже не ври же, его же не пригоже» и таковой же ответ (слыхали мы эту песню) «песня стара» «пета бяху». Из закоптелых семинарских стен, не так давно наполнявшихся воплями истязуемых, объявились в живом языке: и выражение «задать субботки», и молитва: «только бы перенес Бог через субботу», в память того, что по субботам обычно и обязательно секли розгами; «аз да увяз, да не выдрахся», «от фиты подвело животы». «Глас шестый подымай шесты на игумена, на безумена». Когда наши духовные училища прияли малую толику от латинской премудрости, многие изречения классиков, приводимые примерами на грамматические правила, также пущены в обиход, часто в намеренно искаженном виде; нередко переиначивалось латинские фразы переделкою на русский лад вроде: «Квис нон габет клячам, пехотаре (или пеши ходаре) дебет»: так весело подтрунивали школьники над собою, таскаясь гурьбою с котомками за плечами за сотни верст в родные села, когда на Кирика и Улиту (15 июля) распускали на летний отдых, и т. п.

Между прочим, припоминается мне из школьного возраста один образчик подобного рода из практики костромских семинаристов. Наскочивши на тяжелый камень преткновения, полагаемый в грамматике неправильными глаголами, наши латинисты, не устрашась ими, придумали свои особенные. Так, напр., глагол testo обращен в неправильный и проведен по временам в таком виде: testo, slatisti, culagum, scaladare, что в переводе на русской язык означало с комментариями: если ржаное тесто подсластишь ты (солодом напр.), то получишь кулагу – вкусное и всеми любимое во время постов блюдо, особенно если упарить его в корчаге и в печи на вольном духу да подержать малое время на холодке. Точно так же тем же путем, прямо с церковных клиросов и в таком же извращенном толковании, как насмешка, прокрались в народную толпу слова греческие. Так длинные волоса у ду-

ховных лиц стали называть «аксиосами» с повода пострижения их при посвящении в священный сан и произнесении и пении слова «удостоен» несколько раз. Базарную бестолочь, всякую шумливую суетню, крикливые ссоры стали звать «катавасией» за то, что оба клироса певчих сходятся на середине церкви для совместного пения ирмосов, именно как бы для того, чтобы подымать больше шума, вступить в соперничество между собою и поразить наибольшим громогласном.

ПОПОВУ СОБАКУ НЕ БАТЬКОЙ ЗВАТЬ

Даль дает такие толкования в пример того, что когда не только мы с вами, но и еще двое собеседников говорят одну и ту же пословицу на свой лад – и все четыре правы: «Старую собаку не волком звать» – за то, что она устарела, негодна более, не считать ее за волка, не обходиться, как с врагом. «Попову собаку не волком звать»: как ни надоедал поп жадностью и прижимами своими, да не глядеть же на собаку его как на волка: она ни в чем не виновата. «Старую собаку не батькой звать» – не отцом: ответ на требование уважать старика не по заслугам: стар пес, да не отцом же его за это почитать. «Попову собаку не батькой звать»: ответ на требование уважения к людям случайным. Что ни толкуй об уважении к батьке, к попу, да пес его – не батька. В этом виде пословица часто применялася к любимцам барским из дворни». Это объяснение потребовалось (и погодилось) собирателю нескольких десятков тысяч пословиц в течение десятков лет в опровержение обвинения, взведенного на его сборник в том, что «это куль муки и щепоть мышьяку», и между прочим в пояснение, что нельзя прибегать к «огульным» обвинениям. Не справедливо в один обход или обзор, сплошь и подряд, браковать все по той лишь причине, что нечто мне показалось неточным, другое – пятое совсем ошибочным. Надо поправлять да и самому осматриваться, как бы не попасть подобно «куру во щи». Огулом, без разбору обвинять – не на базаре с возов огурцы покупать.

ДОРОЖЕ КАМЕННОГО МОСТА

В комедии А. Н. Островского «Не было ни гроша, да вдруг алтын» одно из действующих лиц говорит:

– Какие серебряные подковы? Какие лошади? Двугривенного в доме нет, а он…

– Позвольте! Это верно. Нам теперь с вами какой-нибудь двугривенный *дороже Каменного моста*.

– Какой мост? Квартальный давеча страмил-страмил при людях, что забор не крашен.

Елеся Островского на этот раз говорит общеупотребительное в Москве, но, по вековечным тесным связям ее, хорошо известное и во всех подмосковных губерниях выражение о дороговизне, уподобляемой дороговизне перекинутого через Москву-реку Каменного моста. Выражение этого рода приспособляется во всех тех случаях, когда может определить и крайнее богатство, и всякую несоразмерную ценность какого-либо имущества или предмета и т. п. Вот тому основание.

Деревянная Русь очень медленно и неохотно покидала свои брусяные избы с горницами верхними (или горними комнатами), надстроенными над нижними жилыми хозяйскими покоями для приема гостей, с повалушами, куда уходили на ночь из топленых изб и холодных горниц спать (повалиться), и прочими хоромами – жилыми и холостыми строениями, принадлежащими к жилищу домовладельца. Богатые заботились лишь о числе этих зданий, и удивленные самовидцы спешили записывать: «а во дворе хоромов четыре горницы с комнатами, да пять повалуш в подклетях, да сенники» (холодные горенки против избы через сени или мост, разделяющий дом на две половины). Церкви каменные строились в первые годы водворения христианства, но каменные жилые здания упоминаются впервые в 1419 году по поводу постройки палат из кирпича московским митрополитом св. Ионою. Впоследствии сделались исторически известными каменные палаты купца Таракана (1470 г.) и боярина Образца (1485 г.). При царе Алексее уже во всю силу действовал

указ 1681 г., предписывавший в Белом городе, по примеру Кремля, строить одни каменные здания. В помощь выдавался уже из приказа Большого дворца кирпич (по $1^1/_2$ руб. за тысячу с рассрочкою на 10 лет) тем, кто хотел строиться в Кремле и в соседних с ним городах: Китае и Белом.

Отец этого любителя зодчества и художества царь Михаил задумал построить через Москву-реку постоянный и прочный мост из кирпича. Дома таких искусных мастеров не нашлось, а потому для него, как и прежде для каменных московских соборов, выписан был мастер палатных дел из Страсбурга Анце Яковсен, прибывший в Москву с родным дядей Кристлером, прозванным Иваном Яковлевым. Эти мастера принялись строить мост, но не достроили. Сорок лет укладывались кирпичи и размывалась кладка буйными весенними водами своенравной реки, до сих пор не изменившей своего разрушительного характера и сохраняющей на том месте остатки камней прежнего моста в виде обманчивых естественных порогов. В медленности и дороговизне постройки народное предание обвиняет князя Вас. Вас. Голицына, любимца царевны Софии, украсившего Москву многими памятниками зодчества. Он нашел, как говорят, какого-то мастера-монаха неизвестного имени, который и завершил дело, не отступая от плана Кристлера, на полное удивление современников и на насмешливую укоризненную память последующих поколений до наших дней. Каменный мост встал царской казне в большую сумму, которая значительно возросла, между прочим, и оттого, что постройкою руководил именно этот избалованный и расточительный любимец царевны и правительницы государства Софии Алексеевны. В. В. Голицын достаточно известен (по несомненным официальным документам) как стяжатель богатств многими бесчестными путями, без разбора способов. Довольно памятна и народу его непомерная жадность к личному обогащению: дорого стоящий государственной казне его бесплодный пресловутый Крымский поход, за который он все-таки получил от правительницы чрезвычайные драгоценные награды, в числе которых одна золотая медаль оказалась стоимостью более

30 тыс. руб. Позор свой он к тому же старался оправдать тем, что всю вину сложил на гетмана Самойловича, который по этому случаю был сослан в Сибирь. Когда князя судили, он, выслушав приговор, произнес громогласно: «Мне трудно оправдаться перед царем». Когда его сослали в Пинегу, то в погребах его роскошно обставленного дома нашли 100 тыс. червонцев и до 400 пудов серебряной посуды. Рассказывали, что он, при заключении мира с Польшей, выговорил себе из контрибуции 100 тысяч рублей, а с крымского хана взял две бочки с золотой монетой. Таков был этот «ближний боярин» и при этом носивший самый высокий титул «оберегателя большой царственной печати».

Дороговизна моста при постройке окончательно запечатлелась в памяти москвичей от таковой же и при починке его, когда началась чистка города по воцарении императрицы Елизаветы. Оказалось, что этот мост (он же и Всесвятский) загроможден лавками и палатками, в которых живут люди. Между быками была укреплена плотина и пристроены мельницы. Весенний лед спирал здесь и вредил мосту настолько, что требовал ежегодной починки. Крестьянин Кузнецов брал на себя поправку, просил 8120 рублей и право построить мельницы. В последнем требовании Сенат отказал и после уговоров принужден был сдать подряд ему же, с денежною надбавкою (за 8770 руб.).

БОБЫ РАЗВОДИТЬ

Теперь это значит пустяками заниматься, побасенки рассказывать, с прямым желанием подлаживаться, угодничая находчивым, острым или веселым словом. «Иной ходит до похода, бобы разводит», – как подсмеивается поговорка. Выражение это взято от обычного не только в старину, но и в наши дни способа ворожбы, по которому раскидывали бобы (или разводили) и гадали по условным знакам, как ложились эти продолговатые плоские зернышки обыкновенного огородного стручкового боба. Повезло ему счастье избрания с древ-

нейших времен. Искусство разумения предсказательной силы в будущем приобреталось наукой, передавалось за особую высокую плату не всякому встречному, но каждому в тайне. Опытных мастеров выписывали, например, в Москву из далеких стран, какова Персия, доискивались их в глухих лесных и болотистых трущобах, какова наша озерная Карелия. Прятали их самым тщательным образом потому, что уличенных и сознавшихся в колдовстве, по старинным московским законам, предавали лютым казням. В старину науке волхвования – искусству разводить чужую беду бобами – обучали всяких чинов досужие люди, но больше всего простолюдины. Чаще всех владели тайнами ворожбы и гаданий коновалы, среди которых это искусство уберегается и до сих пор, наравне с цыганами. В таких же кожаных сумках хранятся у них бобы, травы и росной ладан. Бобами гадальщик разводит и угадывает; ладаном оберегает на свадьбах женихов и невест от лихих людей, при родах от сглазу и от ведунов. Умея ворожить бобами, умели на руку людей смотреть и внутренние болезни у взрослых и младенцев узнавать и лечить шептáми. Траву богородскую дают пить людям от сердечной болезни без шептов; норичную траву дают лошадям. И зубную болезнь лечат, и щепоту, и ломоту уговаривают, и руду (кровь) заговаривают, и тому подобное.

Не одного из таких знахарей в строгие времена застенка и пыток сжигали живыми в срубах с сумками и с наколдованными в них травами и бобами всенародно в Москве на Болоте.

Из «розыскных дел о Федоре Щегловитом и его сообщниках», изданных Археографическою комиссиею, видно, между прочим, следующее: царевна Софья узнала, что постельничий Гав. Ив. Головкин водил в Верх, в комнату царя Петра Алексеевича, мурзу князя Долоткозина и татарина Кодоралея. Они там ворожили по гадательной книге и на письмах предсказали, что царю Петру быть на царстве одному. За такое предсказание их обоих отвезли в застенок, пытали и в заключение сожгли на их спинах гадательную книгу и письма. Здесь родилась и пословица: «Чужую беду на бобах разведу, а к своей ума не приложу».

ШИШ НА КОКУЙ!

Долго, почти до наших дней, находилось в обороте у москвичей это непонятное и утратившее подлинный смысл выражение, обращавшееся к тем, которым доводилось сказать: «Пошел прочь, уходи вон» и тому подобное. В сущности, оно в цельном виде представляется еще большою загадкою, однако в то же время такою, которая не только облегчает, но и прямо ведет к объяснению. Говорили с прибавкой: «Фрыга, шиш на Кокуй!»

Если остановимся на давней и известной привычке русского человека перестраивать на свой лад заморские слова и иностранные выражения согласно требованиям языка и уха, то увидим, что «фрыга» есть испорченное до неузнаваемости прозвание всякого иноземца Западной Европы и перестроенное из «фряга» и «фрязина». Явилось оно, конечно, в то время, когда объявились на русской земле эти пришельцы, находившиеся под особым покровительством Ивана Грозного, и потребовалось для каждой нации отличительное прозвание. Письменные дьяки стали распознавать «немцев», за незнанием русского языка, принужденных отмалчиваться на вопросы и, прибегая к пантомимам, казаться немыми. Оказались «немцы Амбургския земли» ввиду того, что из торговых ганзейских городов (Бремена, Гамбурга, Любека, Данцига и проч.) первыми явились передовые купцы, искавшие в неизвестной стране дел и торговых промыслов и уже издавна успевшие сознаться с Великим Новгородом. Объявились и другие немцы (из нынешней Австрии), которым волей-неволей приходилось приурочить отдельное прозвище: стали их называть «немцами Цесарския земли» (в противоположность азиатским народам, которые назывались общим именем «басурман»). Выходцы из Швеции и Норвегии названы были «свейскими немцами». Зауряд с итальянцами весьма редкостные французы получили прозвище «фрязинов». Когда письменные люди ввели эти различия в грамоты и договоры, народ всех немцев окрестил в одно имя «фрягов», «фрыги» и на том утвердился. Москов-

ским людям это звание было не только понятно, но и любезно и мало того – внушительно. Перед изумленными очами их в священном Кремле с 1479 года возвышалось величественное и дивное каменное здание Успенского собора, напоминавшее имя хитреца-зодчего, прозванного «хитрости ради» Аристотелем и записанного в актах «фрязином» (из Венеции). Да и сами иноземцы в Московском государстве в те времена представляли собою редкость и большую диковинку.

Истерзанная и измученная Русь, в самое живое время строения своего, на юге чужеземными и дикими кочевыми народами монгольского племени, на западе и севере остановленная в своем поступательном движении к заселению свободных земель племенами германской расы, – Русь, умудренная опытом, сделалась опасливою, недоверчивою. Она замкнулась в самой себе, и когда точно определились ее политические границы, последние получили значение крепкой стены, сквозь которую не всякому можно было проникнуть без дозволения и охранных грамот. Получивший таковое разрешение не иначе мог проходить по русской земле, как с «опасным листом», под зорким глазом московских приставов, в строго определенном числе лиц, роде занятий и целей прибытия. При этом охотливее давалось единичное разрешение лишь тем «хитрецам», которые своею наукою и художеством могли быть полезны царственному или царскому двору. Предпочтительною свободою перед немцами пользовались, по издавна установившемуся обычаю, лишь одни византийские и морейские греки как люди той нации, от которой привиты догматы православного христианского исповедания. Все прочие иноземцы были стеснены и во въезде в нашу страну, и во время пребывания в ней. Ограничивал их даже свободолюбивый и своекорыстный Новгород. Он отвел ганзейским купцам особое место, где и закрепил их стенами и запретительными правилами. Воспретил он на «восемь шагов кругом, около немецких дворов, постройку всяких зданий»; новгородские молодцы около этого места не смели собираться играть на палках – обычная новгородская игра (перевранная, в свою очередь, в немецком документе в слово

«велень»). Ворота вечером запирались наглухо и спускались с цепей злые собаки. Русские могли посещать немецкий двор только днем. Новгородцы и иноземцы смотрели одни на других с подозрением и недоброжелательством.

Не внушали русским людям того же самого и греки, несмотря на большую свободу в силу религиозных связей и зависимости русской Церкви от греческого патриарха. Милостыня нужна была для греков, а московскому правительству – по временам греческий авторитет. Духовные лица привозили с собою многоцелебные мощи и чудотворные иконы, а богатые люди являлись с товарами: вместо алмазов и других камней привозили подделанные стекла; да из этих же купцов многие начали воровать, товары доставлять тайно, торговать вином и табаком. Глубоко и тяжко поражено было религиозное чувство богомольного русского люда, когда распознал он плутни заезжих греков, являвшихся с поддельными святынями. Они несли с собою: иорданскую землицу, частицы мощей святых угодников, даже часть страстей Господних, то есть орудий страданий, губы, трости и прочее, наконец часть жезла Моисеева. За деньги продавали они святое миро, священные и бесценные реликвии променивали на московское золото, соболей и белок. Немецкие купцы, в свою очередь, подсовывали плохие и короткие сукна, сбывали всякую дрянь, продавали мед в самых малых бочках, сладкое вино в малых сосудах и дурного качества и соль в малых мешках, а принимали, например, воск не иначе, как с тугой набивкой, и тому подобное. За все это впоследствии, чтобы проникнуть грекам в Московское государство через границу, в городе Путивле нужно было явиться в качестве патриаршего посла с грамотою к государю или примкнуть к свите какого-нибудь именитого греческого архиерея. В Москве им стало также не легче: у русских людей уже укоренилось то убеждение, что как немцы, так и греки ищут только денег и средств к жизни. «Голодной их жадности никогда не наполнить, как дырявого мешка. Их очи никогда не насыщаются, но всегда алкают все больше и больше и хотели бы высосать кровь из жил наших, мозг из костей наших».

Когда цареградский патриарх Иеремия прибыл в Москву, то на подворье, где он жил, нельзя было никому приходить и видеть патриарха, ни ему самому выходить вон. Только монахи, когда хотели, то выходили с царскими людьми на базар и под их же охраною возвращались назад. На базар дозволялось и немцам являться не для одних только покупок необходимых вещей и продуктов или для вымена их на собственные немецкие изделия, но и для развлечения среди крикливых и живых площадок. Вся народная городовая жизнь собиралась тут нараспашку в любезном виде как для привычных к таковым сборищам восточных людей, так и для прочих европейцев, знакомых с площадною жизнью. Для тех и других здесь было много развлечений и приманок. Обжившиеся в Москве немцы сновали в народных толпах с утра до вечера, резко выделяясь своими куцыми камзолами и высокими сапогами среди серого лапотного московского люда.

Немцев в Москве скоплялось мало-помалу довольное число из тех мастеров, которые либо вызваны были из Германии, либо добровольно выехали из Ливонии, Пруссии и западнорусских городов. Уже во времена Ивана III, без всякого сомнения, существовала значительная немецкая колония, и в ее среде, кроме ремесленников, были и лекаря, а впоследствии даже и учителя комедийному делу, когда царь Алексей клал основание русскому театру. Нужда во врачах была более личная государева, чем общественная, а потому лекаря с помощниками и аптекарями обязательно жили в Москве и получали или готовый двор, или деньги на дворовое строение. Некоторые уходили обратно в свое отечество с обещанием превозносить царскую милость и «в иных государствах распространять». Многие оставались на постоянное житье «служить на государево имя», то есть молиться за царя и оставаться в России навсегда. Если иноземцы объявляли это при въезде, то со вступлением в русские пределы получали они проводников, не платили за подводы и пользовались от казны кормом. Некоторым, и по прибытии в Москву, давали корм и питье, как сказано в одном из указов, «для их скорби и иноземства».

Дворы отводились, где случилось из записанных на государя (конфискованных, например, за корчемство), без разбора среди туземцев и старожилов. Когда же, благодаря усилившемуся покровительству (особенно во времена Грозного), число заезжих иноземцев увеличилось в значительной мере, им предназначено было особое место, отведена отдельная слобода. При этом руководились все-таки тем отчуждением и нетерпимостью к иноверцам, которая воспитывалась в народе, ревностном в деле Православия, под влиянием и внушением духовенства. Впрочем, считая протестантов менее католиков зараженными духом религиозной пропаганды, наши предки допустили пасторов и кирки в том убеждении, что они, удовлетворяя нуждам природных протестантов, не сделаются оплотом и орудием совращения православных. Начало протестантской церковной общины в России относят к 1669–1670 годам, ко времени пребывания в Москве лютеранского пастора Тимина Бракема, который временно и правил богослужение.

Для немцев назначено было то косогорье, которое на краю Москвы спускалось к Яузе и носило имя «Кокуя», может быть, по тому русскому названию дня Ивана-Купалы, который издревле чествовался немецкими, как и русскими людьми, с резкими и поразительными доказательствами в виде зажигания костров, прыганья через огонь, танцев, пиров во всю ночь и т. п.[1] Здесь у иноземцев были свои нравы, свои обычаи и вера, и самый образ жизни совершенно не был похож на московский. Всем русским во времена допетровские вступать в браки «с девками немецкой слободы» считалось неслыханным делом. Впервые нарушил этот обычай дядя царицы-матери Петра Великого Федор Полуектович Нарыш-

[1] Места игрищ в честь Купалы издревле назывались кокуем. Чтобы не ходить далеко – укажем под самым Петербургом на подобную местность. По Нарвской дороге в девяти верстах от столицы находится липа, ветви которой, переплетаясь с ближайшими деревьями, составляют как бы природную беседку, замечательную еще тем, что Петр Великий неоднократно отдыхал под ее тенью. На это место в Иванову ночь сходятся ижорки и, разложивши большие костры, проводят тут всю ночь, распевая песни, в которых вспоминают имя Купалы, потом сжигают белого петуха и начинают плясать. Это игрище ижорцы называют «кокуем». (*Примеч. С. В. Максимова).*

кин, женившись на девице Гамильтон (Авдотье Петровне). Теперь это название «Кокуй» забыто, специальный характер исключительно немецкого селения утратился. Местность эта стала слыть под именем «Немецкой слободы», и памятник старины сохранился лишь в кирке, очень давней и оригинальной постройки – именно 70-х годов XVI столетия. Впоследствии Петр Великий вызвал слободу из ничтожества, возбуждая в народе сильный ропот и нескрываемое негодование москвичей, когда после каких-либо удачных баталий и вообще по приезде в Москву он не заезжал поклоняться кремлевской святыне, а направлялся прямо на Кокуй. Здесь он веселился и пировал, не разбирая праздничных дней и ночей. Так поступил он в 1702 году, когда возвратился из-за границы без бороды и в немецком платье и проехал прямо в дом виноторговца Монса, где с его дочерью и Лефортом прокутил целую ночь. На другой день он брил уже бояр всех, кроме двух. Через пять дней, когда надо было выходить по случаю новолетия (1 сентября) на Красную площадь и здравствовать народ – царь пировал у Шейна, много пил и велел шутам резать последние боярские бороды. Бритый царь с бритыми боярами, немецкими женами и дочерьми пировал потом у Лефорта. Франц Яковлевич (по словам современника его, кн. Куракина) «был прямой французский дебошан и вообще человек забавный (то есть любитель увеселений) и роскошный».

Задолго до Петра и в течение всего предшествовавшего времени двух столетий ни чужемцам, ни их местожительству не оказывалось особенной чести. Те и другие были лишь терпимы русскими людьми как неизбежное зло, с мягкою и благодушною снисходительностью, «ради их скорби и иноземства». Враждебное отношение началось еще во 2-й половине XVI в. Иностранцам только во времена Олеария позволили ходить в своем платье. Не любили их и за хищничество, и за то, что они, не будучи людьми высших нравственных качеств, обращались с москвичами грубо.

Приходилось пришельцам жить среди новых людей иной веры и несхожих обычаев в очень суровой и дикой стране, жить

опасливо и под постоянным страхом на лучший конец обратной высылки, изгнания. Скажут: «подите от нас – вы нам засорили землю!» Не только в живой памяти, но и перед глазами происходили случаи жестоких казней тех иноземцев, которые были несчастливы в отправлении ремесла и проявлении своих знаний, как лекарь Леон, как Бомелий: «Забыли вы страх Божий и великое государево жалованье». Надо было принижаться, казаться смущенными, льстить для личной безопасности и семейного спокойствия. Вследствие исключительного положения перед московским боярином, гордо задравшим назад на дерзкий козырь голову, покрытую высокою горлатною шапкой, и выпятившим толстый, ожиревший сытый живот, сухопарый немец в куцем камзоле и узеньких панталонах, не скрытых полами одежды, мог казаться смешным. В глазах равнодушной черни, на московском базаре, в толпе, он являлся фигурой, возбуждавшей жалость, рассчитывающей на покровительство и как бы молящей о защите. Не могло здесь быть места озлоблению, презрению, преследованиям: не станут с ними особенно якшаться, но не удержатся от того, чтобы и милостиво, и снисходительно не потрепать по плечу, не погладить по спине: «Не бойся, – мы тебя не обидим». Этим беднягам, скромно зарабатывающим на торгу хлеб, всегда уступчивым и, видимо, угнетенным, указан строгий закон оставаться на рынках только до солнечного заката. Ни один из них не имел права ночевать вне своей оседлости, в городе, то есть в Москве. Всякий должен был уходить в свою слободу, брести очень далеко, в самый конец города, на Кокуй. Для напоминания об этом сроке, расхаживали особые приставы со внушительным орудием в виде длинной палки. Кто удачно расторговался, да в увлечении барышом замешкался, тому кричали: «Фрыга, шиш на Кокуй!» Ступай, добрый человек, домой под эту добродушную поговорку и тотчас за этим ласково-насмешливым окриком, каким добрые хозяйки обычно сгоняют на насесть шальных куриц, залетевших в избе на стол или лавки.

Вспомнил об этих нравах иноземцев и о самом выражении сын Артамона Сергеевича Матвеева, будучи в ссылке. Из

Пустозерска он писал в свое оправдание против клевет лекаря Давыдки (Давида Барлова), распускавшего слухи о якобы награбленных богатствах: «Пьяный вор, датский немчин, будучи на Москве, только славы учинил, как его возили пьяного через лошадь и через седло перекиня, или в корете положа вверх ногами, и ребята вопили вслед: “пьяница, пьяница, шиш на Кокуй!”»

КУРАМ НА СМЕХ

Ни одно из домашних животных не представляет наибольших поводов к презрительным насмешкам или унизительным уподоблениям, как куриная порода, с древнейших времен сделавшаяся домашнею и очень полезною. Именно женская половина этого вида, наиболее оказывающая куриных услуг людям (некоторые курицы приносят до ста двадцати яиц ежегодно), вызывает самое большое количество насмешек. Петух, гордый султан, поддерживающий семейный порядок в строжайшей дисциплине, щеголь и крикун, сумел отстоять себя во мнении просвещенной и мыслящей публики. Над ним не насмехаются. Смеются над теми людьми, кто ему уподобляется, петушится, то есть либо чванится и величается, либо без особой нужды, по задорному характеру, лезет в спор и драку. Зато на курицу посыпались всякие насмешки, впрочем, не столько заслуженные ею одной, сколько всем куриным родом. И в самом деле, как рак – не рыба, так и курица – не птица; например, всем природа дает перья для полета – у ней они только для украшения и при этом слабо прикреплены к мягкой коже и часто выпадают и легко выщипываются. Короткие, круглые и тупые крылья тоже не для дальних и повсюдных передвижений: из холодных стран в теплые и, в свое время, обратно. Несмотря на то, что издали слышен бывает шум куриных перелетов, на самом деле «гора родит мышь»: перелеты, не больше хороших скачков, ничтожны и забавны своими претензиями до смешного. Курицы не делают гнезд, а высиживают яйца на голой земле, в поразительное отличие от прочих пернатых. Они боятся воды и забавляются только

пыльными и песчаными ваннами, пропуская, на солнечном пригреве, пыль и песок между перьями, развернутыми веером. Они флегматиками бродят по двору и, обладая ненасытною прожорливостью, заботливо и хлопотливо ищут зерен, которых им всегда мало. Кажется, по этой-то самой причине они и пребывают в постоянной задумчивости и меланхолии и, выведенные из такого положения невзначай и особенно темной ночью, начинают беспокойно шуметь, кудахтать так, что не скоро затихают. Когда их ментор и патриарх, привыкший прежде всего заботиться всею душою о семействе и потом уже о самом себе, найдя целую кучу зерен, расхвастается о том, – ненаходчивые и неизобретательные куры ему верят. Они вдруг схватываются с места: как шальные, начинают суетиться, как будто услыхали какую-то чрезвычайную новость и рассчитывают увидеть невиданное чудо. Они спешат вперегонку друг за другом, бегут сломя голову, толкаются, семенят ногами, комически повертываются и зря, на полном доверии начинают тыкать короткими и крепкими клювами у ног своего повелителя. Петух, однако, пошутил, обманул: рассказывал, что просыпана целая горсть, а на самом деле оказалось, что всех зерен – только щепоточка, да и то сомнительного качества, вперемежку с мелкими камушками. Так же флегматически, вперевалку бредут обманутые куры дальше, ничем не смея выразить своего неудовольствия и очевидной обиды. Довольный испытанным повиновением, общим доверием и вообще всем домашним порядком, хвастливый при всяком случае и со стороны очень смешной своим самодовольством петух в это время уже успел взлететь на первую попавшуюся кафедру – на забор, на кадку – и воспел самому себе хвалебную песнь так громко, что она слышна далеко в соседней деревне. Конечно, все эти проделки очень забавны.

Именно эта забавная петушья ревность и эта самая смешная куриная покорность с безответной подчиненностью уронили всю куриную породу во мнении людей. Ничего не может быть обиднее и унизительнее сказать или сделать на смех этим смешным курам (совсем худо, «если курам смех»),

как ничего не может быть жалчее и опять-таки в то же время забавнее «мокрой курицы».

Вялый в работе, неповоротливый в движениях человек, на которого нечего и рассчитывать, обзывается, с великой досады, этим самым унизительным прозвищем «мокрой курицы», потому что непригляднее ее, попавшей под дождь и не успевшей спрятаться под навес и на насест, трудно уже представить себе что-нибудь другое.

«Слепая курица» есть тот человек, который бестолково тычется и суетится, разыскивая вещь, лежащую, что называется, у него на носу. Толпа на базаре, горожане на бульваре ходят долго и много, но без всякого толку – это они, как куры, бродят. Утлая избушка сказочной бабы-яги и всякой иной ведьмы стоит не иначе, как на курьих ножках: такая неустроенная и необрядная, что хуже ее не бывает.

Против этого мимоходного сообщения довольно пространно возражает г. Никольский (сначала в газете «Южный край», потом дословно в воронежских «Филологических записках», 1891 г., вып. IV–V). Он прямо, ничтоже сумняся, ставит сказочную избушку «на курьях», а не на курьих ножках.

В олонецких краях, где умели цельно сохранить (более, чем где-либо) песенную и сказочную старину, избушка на курьих ножках снабжена еще придатком «на веретенной пятке», то есть до того неустойчива, что свободно могла поворачиваться как укрепленная на тонком конце вертлявого веретена («пятке»). Иван-Царевич так и говорит ей: «Устойся – устойся – туда тынцем (то есть тыном, забором), ко мне крыльцем. Мне не век вековать, одну ночь ночевать». Весь интерес сказки вертится именно на архитектурной особенности и исключительности этой постройки, а вовсе не на местоположении ее. Напрасно мой судья взвел напраслину на сказочников, что они не понимали выражения «на курьях»; стали-де искать к прилагаемому (на курьих) существительное, каким и оказалось «ножки». На Севере в особенности всем известно, что курья – тот изгиб реки, который отделяется от главного русла большим коленом, образуя остров. Так

делает это Печора и сделала Двина против Холмогор, отрезавши большой остров – «Кур-остров», на котором уместилась целая волость с деревнями, и в одной из них, как всем известно, родился наш гениальный Ломоносов. Напрасно, стало быть, выписывал автор из словарей целую группу финских слов, которые довели его лишь до неверного понятия о курье как «о высохшем русле реки или оврага, теряющегося в болотах». Стремясь поместить «едва заметную убогую избушку» еще как можно дальше – в курье, «в оврагах и лощинах, где русского духа слыхом не слыхать», как видим, сам толковник забрел без всякой надобности в болота и там доброхотно завяз. Кур-островская курья течет себе вольно, пропуская даже пароходы, да и в избах побережных деревень петухи поют, напоминая, что старинное славянское имя им – кур («куре-доброгласне»), да и сейчас «попал, как кур во щи» и уже по нем супруга из его гарема называется курицей. Отсюда от него же прилагательное законное «курий», а от особи женского пола, по произволу, и куричий, и курячий, и даже «курицын сын» как слегка бранное и насмешливое[1]. Слово же «куриный», рекомендуемое оппонентом, относится ко всей птичьей породе, ко всему семейству этих пернатых животных. Теперь как же объяснит автор предлагаемой мне поправки со своим финским аршином московское урочище «на курьих ножках», где стоит (между Поварской и Арбатом) церковь Николы, чрезвычайно далеко от Москвы-реки? И, наконец, как он посоветует приспособить к имени обитательницы избушки производимое с финского «ягать» и «яжить» к белорусской старухе, которая зовется «бабой-Югой», а чаще просто «Югой»? В Белоруссии, при чрезмерном обилии бо-

[1] В «Вопросах Кирика и Слове христолюбца» сказано: «Кумирную жертву ядят, и кур (петухов) им режут». В 1289 г. кн. Мстислав установил с берестьян подать со ста «по 20 *куров*, а княгине Витовтовой давали с дыма (то есть с каждого двора (очага) – *Сост.*) в кухню по *курети* (по курице) и по 10 яиц. По «Русской правде» за куря взыскивали по 9 кун и т. д. В цельном своем виде живым сохраняется до сих пор старинное имя современного петуха при выражении о неудачнике: «попал, как кур во щи». При этом объясняется, что таковое изречение применено было еще к судьбе первого самозванца (по свидетельству современника М. Бэра). (*Примеч. С. В. Максимова).*

лот, о болотистых курьях и не слыхивали, даже и в тех местностях, которые соседят с финскими племенами.

ГДЕ КУРЫ НЕ ПОЮТ

Природа из числа куриных пород наделила только весьма немногих приятным голосом и, в числе их, кое-каким однообразным и крикливым нашего домашнего петуха. Вещее пение его и перекличка всех его родичей и соседей служат по ночам заменою строго выверенных деревенских часов, а днем – указателем погоды и даже предсказателем грядущего. Запели первые петухи – это полночь: ворочайся на другой бок; вторые поют перед зарей, третьи на самой заре – вставать пора. Если же днем или ночью они распоются не вовремя, то либо видят злого духа и гонят его прочь, либо предсказывают покойника, либо новые указы будут, либо начнется ненастье. Если поют они целую ночь, то напевают всем на голову какую-нибудь непрошеную беду и неминучую напасть. За это преимущество, предоставленное петуху природою, в исключение перед прочими, за это право петь он получил в замену коренного и древнего имени «кур» и наиболее употребительного в деревенском быту названия «кочетом» прямо определяющее и его право, и способность петь – повсеместное имя петуха. Оно равнозначаще с церковнославянским «петель», с древненовгородским «пеун», или певун, с нынешним казацким и белорусским «певень» и с малорусским «пивень». Все это он, тот самый (по художественной картинной характеристике одного из зоологов) гордый, поющий посреди своего гарема султан, украшенный короною, гребнем и хвостом, который великодушно заботится сначала о слабейшем поле и только потом уже о себе самом. Этот патриарх и ментор вполне совмещает в себе смешную, но все-таки умилительную поэзию куриного быта. В упорной кровавой битве, сражаясь шпорами, клювом и крыльями, он прогоняет из своих владений чужих пришлецов и тогда возвещает с высокого места далеко разносящеюся триумфальною песнью об унижении бегущего

врага. Поэтому называется он уже в санскритском языке (самом древнем из известных языков) «krikavâka».

Бывают, однако, такие случаи, что нарушаются уставы естества, и на грехе курица свищет, силится спеть петухом, как равным образом случается, что, по пословице, кому поведется, у того и петух несется (спорышком – уродливым куриным яичком в твердой скорлупе, без белка, с одним желтком). Тот и другой случай предсказывают великие беды. Суеверие обратило это уродливое маленькое яичко – «спорыш» или «сносок» – в петушье яйцо, из которого высиживается василиск, то есть дракон или змей. Если же заметят, что курица подарила таким спорышком, то твердо убеждаются в том, что она хочет перестать нестись. Большею частью таким заподозренным птицам немедленно рубят головы, а потому сложилось и пословичное убеждение: «не петь курице петухом, а и спеть, так на свою голову»[1]. Впрочем, судя по разным местностям, в этом случае замечается некоторое противоречие: так, например, в южной России таких поющих кур считают плодливыми, называют «носкими» курами и не режут их. Вообще же наиболее распространено то мнение, что «не к добру курица петухом поет».

Вот на этом же самом юге России нашлось такое село, где куры совсем не поют по особенно важной причине. Такое знаменитое село отыскалось в Волынской губернии, в тридцати верстах к западу от уездного городка Староконстантинова. Зовется оно Чернелевка и расположено на реке Случи и при пруде, довольно живописно и удобно: на большой (не почтовой, а торговой) дороге. По ней несколько раз проезжали цари, а потому и прозвана она «царской». По-видимому, для крестьянского благосостояния есть уже видимая причина в союзе с тем местным условием, что земля в селе чернозем-

[1] Какая бы птица ни залетела в избу, надо изловить ее и сорвать голову с приговором «На свою голову!». Это же надо сказать громко, если собака начинает выть по ночам, и при этом обязательно перевернуть под головою подушку. Как бы собака ни выла, в обоих случаях к худу: воет, держа голову к земле, – быть покойнику; задрала голову вверх – быть пожару, и т. п. (*Примеч. С. В. Максимова*).

ная, способная достаточно вознаградить крестьянский труд. В прямое и законное последствие того сами жители ничего не знали, кроме земледельческих работ: если кто мало-мальски владел топором, тот уже считался у них и прямо назывался всеми «мастером». По этому же самому поводу в неурожайные годы сельчане, за ненаходчивость и косность в быту своем, – мученики нужды и кабальные рабочие за самую ничтожную заработную плату. На пущее бездолье обрекла их недавно изжитая крепостная зависимость. То было такое время, когда крестьяне от хищных и ненасытных глаз прятали в землю не только деньги, но зарывали в ямах даже самый хлеб, – словом, те времена, когда народ назывался и считался быдлом (скотом) и создалась поговорка: «плебана для пана, а попа для хлопа». Тамошний народ до сих пор твердо помнит и охотливо рассказывает (оправдывая свою с трудом поправимую бедность) про недавние «пански времена», и про «войтову пугу или плеть», и про «войтову бирку». На последней безграмотные войты или сельские старосты нарезками замечали количество принятого зернового хлеба и прочее. Длинною плетью с толстым кнутовищем (которую всякий войт обязан был носить всегда при себе как знак власти и достоинства) выгоняли в поле до восхода солнца, а с закатом его распускали по домам без платы. Если во время работы иная мать наведывалась к колыбели грудного ребенка, ее наказывали этой самой войтовой плетью. Точно так же ею же поощрялись ленивые к работе. Ходит войт по полосам и похлопывает. Того войта, который забыл, по рассеянности, свою пугу дома и, не имея ее в руках, попадался на глаза пану, растягивали тут же и наказывали другой такой же плетью, каковая всегда была на глазах. Для пущего вразумления обычно брали эту длинную пугу в середине и били так, чтобы она наказывала обоими концами: тонким и толстым за один раз, но в несколько приемов. Тогда не смотрели на то, что крестьяне по целым месяцам питались одной бульбой (то есть картофелем), а продолжали крепко их мучить.

По словам самих сельчан: «волк ягнят так не душит, как душили нас, – не было к нам никакой жалости». В жаркие лет-

ние дни косили панское сено в сермягах, надетых прямо на голое тело: ни у кого не было рубах. – Дадут лен прясть, но при этом не довесят, – надо было добавлять своей пряжей на вес: такова была войтова бирка! Бывало весной каждой хозяйке в хате раздадут по 20 яиц и велят осенью доставить 20 кур: не донесла этого числа, – либо прикупай у жидовок в корчме, либо плати по гривеннику за каждую, недостающую до полного счета птицу. Приводилось больше расплачиваться не птицами, а деньгами. «Село до такой степени занищало, что не подойди к тому времени воля, – сталось бы большое худо: все бы поднялись бунтом».

«Стали говорить соседи и все проезжие с обозами, не то из жалости к нашей куриной подати, не то на смех, за недостачу всегдашнюю у наших жинок кур, – называть наше село не настоящим именем, а всегда так-то: “это то село, что куры не поют”».

Настоящее название села с языка у соседей пропало. Таким и слывет оно в народе до сих пор, изживая прежние невзгоды, но оставаясь на людских памятях как ведомые и видимые горемыки – особняки. В Белоруссии так и говорили в те времена с полною уверенностью, «что дере коза лозу, а вовк козу, вовка мужык, мужыка пан, пана юрыста, а юрыста чертов трыста».

КАЗАНСКИЕ СИРОТЫ

«Казанский сирота», а равно и «нищий» из того же места, как московский жулик и петербургский мазурик, – тип особенный и самостоятельный. Это – не тот сирота, который, оставшись безродным и круглым, жмется и прячется по углам, чтобы не заметили, не задели и не обидели. Он робостью и смиренством вызывает сердобольную слезу и в беспомощном положении всегда находит покровителей. В самых бедных деревушках, которые сами стоят без покрышки, эти бедняки с голоду не умирают, потому что «за сиротою сам Бог с калитою» – с тем мешком, со сборным подаянием, который стал

историческим именем еще с 1340 года, со смерти первого московского князя Ивана Калиты.

Казанский сирота – назойлив и докучлив: от него не отвяжешься. От других его всегда можно отличить по особому мундиру и ухваткам. При внешних признаках отмены, он притом совсем не сирота и не нищий, а таким лишь прикидывается. Он – плут нагольный и образцовый притворщик: нищенством и попрошайством он простодушно промышляет, как подобные ему пензенские валуны, клепенские (смоленские) мужики и ведомые всему московскому люду и русскому миру воры и сквозные плуты – гуслицкие нищеброды. Разница у казанских с этими лишь только в местностях промысла: казанские «Волгам шатал, базаром гулял», и все князья, не без достаточных, однако, на то причин и оснований.

Большею частию они – потомки бывших казанских мурз – «плешь-мурзы-Булатовичи», живой остаток старинных времен и ходячие исторические документы. Их породило и забаловало московское угодничание, считавшее своею обязанностью их ласкать и приваживать не только в первые времена по завоевании всех татарских царств, но и в позднейшие, когда совсем уже «отошла татарам пора и честь на Русь ходить». Еще царь Алексей Михайлович полагал обязательством и долгом для себя награждать этих плутов и попрошаек свыше всяких мер, особенно если мурзы решались переменить веру. В исторических актах много таких примеров. Вот один из довольно обычных.

В 1640 году задумал креститься Бий мурза, Корел мурзин, сын Исупов. Его сейчас же поспешили назвать «князем Иваном» и наградили царским жалованьем «для крещенья», как бы в задаток, около 250 тогдашних рублей. Потом, когда был послан «под начал», т. е. приготовиться к крещению в монастыре у особого старца, ему дали жалованье за подначальство: «28 рублей, 32 алтына 2 деньги». Затем он «видел государевы очи и челом ударил после крещенья». А за то даны ему из серебра кубок, стопа, братина и ковш, «шуба атлас золотной на соболях, пугвицы серебряны золочены, шапка горлатна, атлас

золотной, бархат червчат; камка куфтер желтая да лазоревая, да кармазин, 40 соболей в сорок рублей, денег 160 рублей; с конюшни жеребец аргамачей сер с конским нарядом: цена жеребцу 60 рублев, конского наряду 91 рубль 18 алтын. Стоил этот крещеный татарин всего 906 рублев и 18 алтын с деньгой. Да сверх того на всю жизнь обеспечен поденным кормом и питьями в достатке, а на последующее потомство поместным окладом 1200 четвертей да деньгами 150 рублей. Через четыре года (в 1644 году) князя Григорья Сунчалеева Черкасского наградили при крещеньи еще щедрее, потому что «изволил крестить сам великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович всея России». «А купель была обита кругом сукном червчатым настрафилным, по краем у тое купели и в купель впущено того же сукна $^{1}/_{4}$ аршина, а около купели запон атлас желт, 4 рубли 2 деньги».

Этот стоил 969 руб. только при одном челобитье на царских очах. Не забудем при этом, что в те времена русский лекарь получал, например, государева жалованья в год 9 рублей да 2 алтына в день столовых, что составляет в год всего до 30 руб.

Расплодились казанские нищие, – завелся у них и суеверный, но злой обычай, выраженный коротким и непонятным изречением «приткнуть кому грош». Это значит, по примеру казанских нищих, воткнуть в избу, назло богачу, эту медную монету с ясным расчетом и прямым желанием, чтобы тот разорился и захудал.

ХЛЕБАЙ УХУ

Пословица «хлебай уху, а рыба вверху» – не нелепица: опять-таки по той же коренной причине, что у народа «не спуста слово молвится». Оно идет из тех же мест, о которых я уже имел повод и случай упомянуть, рассказывая о таких же призрачных бессмыслицах пословичных выражений. На Низовой Волге, куда сходится рабочий народ со всех сторон (с преобладанием, однако, пензенских и других черноземных), хозяева рыбных ватаг кормят его черной или частиковой рыбой, кото-

рая ловится круглый год, кроме трех летних месяцев. В такую уху, следовательно, идут в свежем и живом виде: стерлядь, мелкий шип, судак, белорыбица, сазан, лосось. К черной же рыбе, хотя и с белым мясом, относятся: лещ, окунь, чехонь, вобла, тарань, жерех, подлещик, шемая, усач, щука, линь, сопа, берш и сом (и этот сорт рыбы весь я переименовал). Вся эта рыба – рабочая снедь. Ее не жалко: вари и жарь, и в пирог загибай, и в ухе хлебай, а настоящая рыба вверху, то есть идет в верховые купеческие города и в обе столицы. Настоящей рыбой считается дорогая в цене и выгодная в продаже – красная, то есть хрящевая и бескостная: благородный осетр, любимая нашим купечеством белуга и самая вкусная изо всех – севрюга. К этому сорту рыб относят еще шип осетрий и белужий ублюдок, только никак не стерляжий, которым привычно обманывают малоопытных в обеих столицах, продавая его заместо настоящей кровной и породистой стерляди.

Могу предупредить сомнения и вопрос. К числу таковых же бытовых поговорок в зависимости от промыслов относится следующая: «пришла честь на свиную шерсть». Это бывает осенью и зимой, когда кулаки-скупщики крестьянского изделья являются менять на горшки и горянщину всякое бабье рукоделье и все, принадлежащее им одним, по вековечному праву: лен, пеньку, нитки, а на этот раз и свиную шерсть, то есть щетину. Образчиков в этом роде в обращении всенародном, конечно, очень много и писать об этом очень долго.

ПОДКУЗЬМИТЬ И ОБЪЕГОРИТЬ

Отвечая на запрос о значении этих слов, никак не могу согласиться с тем, что они – полная бессмыслица из случайного подбора имен. Не спустá слово молвится – во всяком случае и в особенности, если принять к рассуждению второе слово. Сколь величествен в представлении народом самый мифический образ св. Егория, столь же знаменателен в народной жизни этот день, то есть не астрономическое число празднования в честь великомученика, а ближайшие окружающие его дни,

вроде осенних Кузьминок, зимней Никольщины и т. п., среди которых указанный представляется лишь починным или срединным, как бы своего рода эрою. Вся группа последующих дней составляет определенный период, на который упадают известные сроки обязательств, вынуждаемых в деревенском быту либо общественными, либо домашними требованиями, а в экономической жизни указуемых временами года и явлениями природы. «У Егорья по локоть руки в красном золоте, по колени ноги в чистом серебре, а во лбу-то солнце, во тылу месяц, по косицам звезды перехожие», – поет былина, подслушанная мною на побережьях Белого моря. Егорий разъезжает в поднебесье на белом коне, в лесах раздает наказы зверям, которые все у него в строгом подчинении; на полях спускает он на нивы питательные живоносные росы и, приглашая сюда деревенский домашний скот, обещает ему на все лето защиту от зверей и покровительство при питании[1]. Он начинает красную весну и указывает срок посевам, отчего и называется «Егорий – ленивая сошка»: выезжает запахивать на этот день пашню даже лежебока, если не желает на весь год «подъегорить», то есть обмануть и обездолить семью, оставив ее на чужом, горьком хлебе. К этому сроку весеннего бесхлебья все запасы подошли к концу: осталась одна надежда на милость Господню и на св. великомученика, который, по этому обычному явлению в сельской жизни и народном хозяйстве, зовется повсюду «голодным» (в отличие от Егорья холодного – 26 ноября). С Егорьева дня начинают обычно весенние хороводы, выгоняют вербой, сбереженной от Вербного воскресенья, в первый раз скот в поле и запахивают пашни. Из дальней, глубокой старины, ведавшей твердо свои права и руководившейся свободою, в исторический «Юрьев день» в старину (до конца XVI века) этим днем точно определялись сроки всякого рода наймам рабочих, сделкам промышленных и предприимчивых людей и сроки платежей у торговцев. Две недели до

[1] У белорусов на нем: белый плащ, на голове – венок, в руках колосья; ноги босые. По приказу матери он отворяет небесные ворота, и с выездом его на земле начинается настоящая весна. (*Примеч. С. В. Максимова*).

осеннего Юрьева дня и одна неделя после него полагались конечным сроком, когда крестьяне садились на новые земли и обязывались отдавать половину или треть жатвы за пользование ими: либо богатому купцу или ловкому промышленнику, либо сильному князю или честному монастырю. Кроме этого срока, ни владелец не мог отказать, ни сам крестьянин отбиться от работ и уходить с земли к другим. Борис Годунов «подъегорил» весь крестьянский русский люд тем, что отнял у него это право переходов от худых владельцев к хорошим. По старой памяти и по неизменному почтению к старине, это обычное правило отчасти уберeглось до наших времен во всей неприкосновенности. В самом деле, Егорий починает полевые работы (весной), как он же их и кончает (осенью). Древние сроки наймов на весь этот рабочий период в нынешние времена лишь сократились, ограничившись в иных случаях Семеновым днем, «летопроводцем» (1 сентября) – началом бабьего лета и концом посева озимей, в других – днем Покрова, который кончает уличные хороводы, сменяя их для молодежи посиделками в натопленных избах. При наймах в другие работы выговариваются более отдаленные сроки, каковы, например, кузьминки (начало ноября – древние «братнины») как начало зимы. Это такое время, когда въявь обнаруживаются итоги и плоды летних полевых работ и можно из своего ячменя, с придачей с женина огорода хмеля, сварить разымчивое пиво. Может «подъегорить» рабочий наемщика, давши слово или взявши задаток, – не придти в срок на работу; – может подкузьмить, то есть обмануть, и мироед-хозяин при расчете с наймитом за потраченный полугодовой труд с весеннего Егорья до осеннего «Кузьмы-Демьяна». Может и купец в одно и то же время и подкузьмить, и подъегорить, не прибывши в заговоренное время с готовыми деньгами для расплаты или с готовым товаром для рассчета. Кстати, можно и самому рабочему вскоре «просавиться» или «проварвариться» (кому как угодно), то есть на своих сладких пивах, а равно и на покупном зеленом вине прогулять все заработки, увлекшись зимними никольщинами, когда во всяком доме пиво. В деревенском

быту никольскую брагу пьют, а за Никольское похмелье – бьют: одних раньше – на Варвару (4 декабря), других – днем попозднее, на день памяти преподобного Саввы Освященного, некогда создавшего известную лавру близ Иерусалима «над юдолью плачевною» (то есть над долом или долиною Иосафатовою). Во всяком случае, плачевная юдоль, постигающая бражников, на этот раз является вполне заслуженною. Так и приговаривал сердитый муж, подстегивая плеткой ленивую жену, которая частой гульбой расстроила хозяйство: «просавилася еси, проварварилася еси».

ОЧУМЕТЬ

Очевидцы московской чумы 1771 г. отметили следующие признаки нежданной страшной гости: «выговор больных невразумителен и замешателен, язык точно приморожен или прикушен, или как у пьяного». По новейшим наблюдениям медиков, болезнь развивается обыкновенно чрезвычайно быстро, почти внезапно, сказываясь прежде всего сразу наступающей крайней слабостью («скоропостижным расслаблением», как выразились московские врачи – очевидцы прошлого века). Одновременно появляется озноб, вскоре сменяющийся жаром, и сопровождается затем сильною головною болью во лбу и висках. Слабость бывает так велика, что больной не только не в состоянии двигаться, но с трудом ворочает языком. На другой уже день головная боль переходит в помрачение сознания с беспокойством и даже бурным бредом. Воспоминание об этой картине глубоко запечатлелось в народной памяти и выразилось в новом слове, цельно сохранившемся до сих пор, хотя и применяемом к явлениям, значительно слабейшим. Кто забудется в тяжких думах о нерадостном настоящем или уйдет воспоминаниями в милое и дорогое прошлое и погрузится так, что ничего на слышит и не сразу спохватится на вопрошающий оклик, – тот человек очумел или одурел. Чумеют от угара, от приступов дурноты, при головокружении и т. п.

ЗАБАВАМ НЕТ КОНЦА

Голубей гонять, синиц и чижей ловить, о погоде разговаривать, баклуши бить, балясы точить и т. д. – все одно и то же значит: заниматься пустяками, ничего не делать, пожирая труды делателей. Если же и приспособиться к какому-нибудь занятию, то все равно из него выйдет либо «семипудовый пшик», либо «дыра в горсти». Однако два первые бездельные занятия оба таковы, что, по некоторым причинам, останавливают на себе внимание и вынуждают призвать на помощь память и личные наблюдения, а на крайний случай – рассказы приятелей и товарищей.

СИНИЦ ЛОВИТЬ

В густых кустах, а еще того чаще – на опушках хвойных рощ, если только они, подобно сосновым, не растут быстро, как грибы, вьют себе гнезда эти пташки-синички – одни из самых маленьких в разнородном пернатом царстве. За это они и преследуются неотвязчиво в народных пословицах: говорят, если прапорщик не офицер, то и синица не птица, хотя в самом деле: «невеличка-синичка, да та же птичка». Не велик человек чином, званием или заслугами, да кстати и ростом невысок, но сметлив и способен к большим делам, может и за себя постоять, от нападок отбиться и нагрубить и при случае больно уязвить: это благодаря тому, что у него, как у синицы, «ноготок востер». Эта же птица собиралась когда-то зажигать море в посмеяние и поучение тем, которые, при своем нравственном ничтожестве или физическом бессилии, хвастливы на дела чрезвычайные. На тонких и слабых синичьих ногах они собираются лезть на крутые горы и брать крепкие города.

В сказках сказывается: «полетела птица-синица за тридевять земель, за сине-море океан, в тридесято царство, в тридевято государство», что бывает обыкновенно на самом деле раннею осенью. В теплых странах за морем, хотя бы даже для нас за Аральским и Каспийским, где (опять-таки, по послови-

це) синица – птица уже просто, по всенародному убеждению, что за морем все едят, – стало быть и синиц, синица дожидается летнего времени наших стран. Тогда она, вслед за другими, в своих стаях летит подвесить на елке свое теплое гнездушко, обыкновенно похожее с виду на вязаный денежный кошелек.

Летом синица из Сокольников, Нескучного сада или Марьиной рощи вылетает в самый город Москву целыми стаями и разгуливает, видимо, беззаботно по песчаным косам и на отмелях несчастных рек счастливого города: на Москве и Яузе. Впрочем, для нее там есть и такая речушка, которая обесславлена именем этой самой невеликой птички. В синичьих стаях все свои кровные и ближайшие родные в нисходящем потомстве, потому что у этой птицы особый от других обычай – воспитывать птенцов при себе до позднего возраста.

Прилетают синицы в богатый город и, со своей стороны, пощеголять голубым темечком на веселой головке, при беленьких щечках, и оживлять эти отравленные фабричными отбросами местности веселыми движениями и беспокойной суетней. То, как маленькие стрелки, они перепархивают с лужайки на песок, то бегают по веткам, по бревнам, по палке, брошенной и забытой уличными ребятишками. Синице все равно: обращена ли на бегу ее вертлявая и живая головка, как у всех, кверху или на верху очутилась спинка, или зобок, или шаловливый хвостик: словно она не ощущает в себе никакой тяжести, как комнатные мухи, которые бродят по оконным стеклам вверх и вниз, сюда и туда и не затрудняются ходить по потолкам.

Утром просыпаются синицы раньше всех, – где еще до воробьев. Андрей-воробей еще и не собирается вылетать на реку исклевать песку, потупить носку, – синицы уже набегались, напорхались, нахлебались, когда у них что ни клевок, то и глоток. Иную личинку или яичко и в микроскоп не разглядишь, а синичка увидит и съест. Глаз не поспеет следить за каждым ударом ее клюва, острого и коротенького, как шило: до того они быстры и часты. Все это проделывают синицы с полною беззаботностью и очевидною доверчивостью: школьники-де пока еще спят самым крепким остаточным

сном, с которым обыкновенно они расстаются сердито и ворчливо. Да и домовые и фабричные сторожа также спят, так как в этих местах на такие их дела будочники совсем не взирают. Куда на ту пору девались столь присущие этим птицам их прирожденная робость и чуткость?

Да вот и они обе вместе: лишь только поднялось повыше солнышко и взыграло разом на кресте Ивана Великаго и на орле Сухаревой башни, синицы не узнать: она позволяла до тех пор свободно наблюдать за всеми своими игривыми проделками, – теперь к ней и не подступайся. Даже так, что сама наступит на кончик соломинке, а другой в то же время приподымется – она уж и испугалась до смерти и стрекнула прочь, как искорка. За одной полетели и другие, как пульки: только мы их и видели. «Пырк-пырк-пырк» – и исчезли.

Ранним утром, когда синица обнаруживает откровенную и любознательную доверчивость, ловят ее в сети только неумелые и ленивые птицеловы или те, которые продают певчих птиц в знаменитом Охотном ряду. Для них с древнейших времен держится в Москве специальный торг певчими птицами и собаками на Собачьей площадке, которая в последнее время стала кочевать по Москве и никак не найдет себе нового, облюбленного и насиженного места. Торг бывает в Сборное воскресенье, то есть первое в Великом посту (неделя Православия).

Кочевало торжище Сборного воскресенья даже и по самой площади Охотного ряда: было оно сначала на площадке у Мясных рядов, потом перевели его к самой церкви Параскевы-Пятницы, затем – к дому Бронникова, а отсюда, спустя немного времени, к дому Челышова. Теперь оно не то на Лубянке, не то в Зоологическом саду, но тут и там обезличенное и ослабевшее. Не так давно богачи и даже титулованная знать, а с ними всякие любители и особенно псовые охотники, являлись на этот день обязательно со своими выкормками и воспитанниками: поискать лучших, похвастаться собственными. Эта была настоящая выставка и говорящих скворцов, и умнейших собак. Съезжались очень издалека, а в особенности из Коломны и Тулы. Охотники были здесь все налицо.

ГОЛУБЕЙ ГОНЯТЬ

Для иных эта работа – забава и шалость, за которую вообще не хвалят, а *городских* ребят родители их считают непременною обязанностью награждать волосяной выволочкой. Для других, не только взрослых, но даже старых, легкая забава переходит в серьезное занятие, требует особой науки и доводит до любительской страсти со всеми неудобными последствиями.

Как всякое безотчетное влечение, эта страсть также неудержима, необузданна и заразительна. Ею заболевают целые города и в них такие умные люди, как дедушка Крылов (баснописец), и такие могущественные, богатые и сильные люди, как братья Орловы-Чесменские. Однако, как не дающая никаких практических результатов, игра все-таки у нас не пользуется уважением и вызывает насмешки. Думают даже, что нет позорнее несчастия, как свалиться с голубятни и убиться до смерти в безумном увлечении при напуске и подъеме голубей. Слово же «голубятник» обратилось в презрительное и бранное: «В голубятниках да в кобылятниках спокон веку пути не бывало», – уверяет народная пословица.

О городских ребятах выговорилось слово неспуста, именно потому, что серьезно поставленная гоньба голубей, с соперничеством на пари, как игра азартная укрепилась исключительно в наших городах и преимущественно в торговых. В деревнях такими пустяками заниматься некогда, разве воспитывая голубей на продажу. Однако же и здесь голубей заменяют скворцы. Тем не менее здесь твердо верят, что «сегодня гули, да завтра гули, ан и в лапти обули». Зато невозможно представить себе ни одного мало-мальски порядочного города, в особенности старинного, где бы не было настоящих голубятников-любителей. Правда, что нынешнее строгое время, перевернувшее многое наизнанку, а главное, потребовавшее строгого и сторожливого взгляда на жизнь, в значительной степени ослабило эту купеческую страсть и городскую забаву. В некоторых городах она достигла до крайних пределов не

больше двадцати пяти-тридцати лет тому назад. Город Тула выделялся более всех других и почитался столицею всяких забав с певучими и непевучими птицами. Он сделался даже притчею во языцех и предметом народных насмешек. Москва, совместившая в себе несколько городов разом, конечно, оказалась не в силах отстать от повальной страсти к козырным голубям, говорящим скворцам, драчливым петухам и т. д. Она прославила курских соловьев и заставила завести для себя заводы канареек в Медынском уезде Калужской губернии, на так называемом Полотняном заводе. Голуби дались легче прочих птиц, потому что оказались более повадливыми к людям и их жилищам и более забавными и послушными.

В самом деле, найдется ли на Руси такой город с мучными рядами и лавками, где бы не шумели сильными и громкими взмахами сизяки (одичалые голуби) на длинных заостренных крыльях, помогающих быстрому, грациозному и продолжительному полету? Они либо нежно целуются, сидя на крышах, и томно, громко и приятно для уха воркуют, то хлопочут и суетятся около налитой дождем лужи или на водопойной колоде и притопывают проворными и нежными лапками, на которых задний палец касается земли! Они в кучке и не ссорясь между собою клюют выброшенные из лавки целыми горстями зерна, а самчик в густом и красивом мундире, как гусар былых времен на балу, ходит вокруг своих дам, растопырив шейные перья. Такими голубиными проделками можно только любоваться. Вообще не ошиблись люди, признавая эту птичью породу за идеал кротости, целомудрия, невинности и любви (но не ума, которым голуби всех пород вообще не отличаются). Понятна городская любовь к ним, особенно если припомним, что на любителей имеются в природе до двухсот различных видов, и между ними такие занимательные, как воркун или бормотун (он же зобастый), большой, глинистого цвета, и когда воркует, то вздувает зоб пузырем, за что зовется еще дутышом. Трубастый распускает хвост, подобно павлину, колесом или опахалом; плюмажный ерошит свой воротник из перьев. У хохлатого или козырно-

го – хорошенький чепчик и мохны на ногах, делающие его похожим на одетую по парижской моде богатую городскую девочку (иногда у него этих чепцов нет). Белый «чистяк» с черными крыльями носит на них повязки и ходит в кругах, за что ему особенное предпочтение перед другими породами. Огнистый носит на груди манжеты. Рыжий турман, всегда голоногий и изредка хохлатый, на лету вертится кубарем через голову, через какое-нибудь крыло боком или через хвост ничком. Он так иногда усердствует править свое дело, «катается вразнобой», что, не рассчитав места, разбивается головой о крышу своей голубятни. Египетский голубь, когда воркует, заливается хохотом, сидя и покачиваясь на стрехах и на сучьях, – словом, всякий вид голубей очень красив и все чистоплотны, кротки и обходительны («голубчик» и «голубка» обратились в самые нежные и сердечные ласкательные приветствия). Голуби привязаны к своим жилищам, кормят других птиц своим кормом и насчет времени очень аккуратны. Этими последними свойствами и воспользовались люди, чтобы сделать из этих птиц серьезную для себя забаву.

Она у солидных людей искала досуга и знала свое время. В праздничный день и во всякое воскресенье теплой летней порой горожанин-любитель поднялся с постели рано, сходил помолиться к заутрене, отстоял обедню. Вернувшись домой, сейчас горячего пирожка поел, щей похлебал, соснул немного, наверставши то время, что израсходовал ранним утром; попил кваску и как был в халате или в рубахе при жилете, так и полез на голубятню и на крышу. Взял он в руки длинную мочальную веревку с хвостом, спустил голубей и замахал мочалом в круги; чем дальше, тем больше. Дошло, наконец, дело до подпояски, а у азартного человека – до халатной полы. Тогда трудно бывает представить себе что-либо смешнее этой бородатой фигуры, которая к тому же и присвистывает, и хлопает в ладоши, и пристукивает палкой, прикрикивая на голубей: «Кысь-кысь!» – пока они ходят в кругах.

Он вскинул сначала ободистого или кладного, которые больше любят летать одинцами и не могут подолгу тешить

хозяина в жаркие и тихие дни. Он на этой голубятне родился и здесь выхолен; теперь ему проба.

Поднялся он хорошо, взлетел весело: то притонет, как будто бы в воду приспустился, то немного подастся наниз, то опять полетит крепко. Стал он спускаться, выкруживать книзу: потягивается, вертит шеей на ту и другую сторону. Хозяин доволен: будет хороший летальщик на все лето, в жаркие дни станет летать мягко.

Вот и испытанные «повивные» или «налетные», выпущенные парами и всем гнездом. Не торопятся; круги словно рисуют на бумаге: выходят гибкие, совершенно круглые. Всем кажется, что стоит там для них в воздухе прямой шест и они его видят во всей прямизне и стараются выводить около него спиральные круги, точно часовую пружину тянут: чем выше, тем завивистей и проворней. И все еще летают на виду. Видит глаз и чувствует любительское сердце, что там, в воздушных кругах, голуби «сплывутся или вскипятся» все в кучу и прямо над головой, затем исчезнут.

На это время уже чуть не половина небольшого, но старинного города навострила глаза и, не спуская их, любуется и утешается чужой радостью, которая на этот день и раз как будто своя, домашняя и даже отчасти общая городская гордость. Ребятишки, побросавши городки и бабки, собрались со всех улиц и сгрудились тесной кучей около того места, где хозяин голубей проверяет число кругов, какое сделали птицы до исчезновения из глаз. Считают с ним вместе и все те, кто любуется; при этом, конечно, просчитываются, заводят споры, ссорятся ребята и дерутся. Сто кругов полагаются обязательными для лучших повивных; после двадцати исчезают из глаз, «теряются летальщики» и т. д. В особенности оживляются группы зрителей, когда с двух разных голубятен вскинули по паре и обе на дальней высоте, сплылись и исчезли. Вопрос о том, в чьей будке они очутятся, куда обе пары выкружат, – настолько живой и горячий, что делаются заклады или пари. Спор идет о том, чья голубка переманит; один продал голубя, другой купил его, подсадил к голубке, кормил

пшеницей, держал их в одной клетке несколько недель и не выпускал на волю. Голуби совыкались: голубка привязчива, а голубь всегда обходителен и ловок. Придет пора, что можно на него и понадеяться, спустить его на свидание и для встречи с прежней голубкой. Теперь чья-то возьмет? Вот они все четверо выкружили; книзу идут твердо, все шибче и резвее, не изменяя взлетов, не ломая кругов. В самом низу кружат очень сильно. Но не в этом дело, а куда повернут? Повернул голубь за старой подругой, а за ним потянула в чужую будку и новая; разом все, как по команде, уселись в ряд на гребне крыши. Побежденная пара, без ссор и дальних споров, остается собственностью того, к кому прилетела. Был чужак, теперь стал свояк, «пришатился».

Хорошо выдержанных в жаркий и тихий день можно смело вскидывать раза четыре – они нимало не ослабнут. Летанье отменное, «сплывка» веселая. На Таганке, на Полянке и в Рогожской у Андроньева монастыря это хорошо понимают и высоко ценят, гулом и выкриками делая настоящий базар. На это твердо рассчитали и сами владельцы-любители. Голубя любить, надо его и холить и все предусмотреть.

Переманка голубей у охотников почитается делом законным и справедливым. Голое воровство наказывается суровым самосудом как одно из тяжких преступлений. Молодых ребят поколотят родители само по себе, а сверстники прибавят к недополученному дома.

КАЗЮКИ

Острые на язык, находчивые на ответ, сорви-голова – тульские оружейники, изнемогая около горнов шесть дней в неделю, на досужий час праздничных отдыхов умеют превращаться из оборванцев, пропитанных кузнечным и медяным запахом, в добрых молодцов. Не из одной только корысти на веселую выпивку облюбили они всякую Божью птицу, гоняются за ней, водятся с ней, холят и воспитывают. Птицелов Перова в картине, всем известной, художественно

изображает то состояние духа, каким проникается подобный любитель.

– Присядь, бачка, чижи летят! – упрашивал в оно время проходящего человека тот «казюк», просьбу которого обратили теперь в насмешливое присловье всем гулякам.

Он на тот, как и на этот раз, приладил западню, а сам, пустив заводного чижа, припал за куст, да там и замер. Старательно он самца выбирал; все присматривался; задолго до охоты отсаживал, а теперь на него уже вполне понадеялся.

По сучьям березы бегают эти зелененькие чижи, вольные и беззаботные, – и чирикают. Заводной, как только выпустили его на точок и услышал он чириканье, так и стал тотчас же «мастерить» – заманивать. Один чиж прилетел на западню – и заморозил охотнику сердце. Хлопнул западок, – так словно из ружья выпалил и растопил сердце: первый чиж попался.

А заводной все зазывает: призовет – обойдется, да так, что не знаешь: дивиться ли тому, как это умеет оказывать такую ласку такая маленькая пичужка или свое сердце сдерживать, – не мешать заводному обманывать. Иной мастерит на все девять позывов, а вольные самки так колом к нему и бросаются. Начинают чижи драться между собою и пищат. От удовольствия и наслаждения у охотника дыхание спирается в горле – целый день сидел бы да смотрел на птичьи проделки.

На соседней липе тем временем проявился зеленый молодец покрупнее заводного. Привел этот с собой своих целую стаю и всех при себе держит. Западню видит, а к ней нейдет. Раз подскочил, да тотчас же приподнял и взъерошил затылок, затрещал, – да и прочь. Точок опустел весь, только один верный домашний друг и остался на нем.

– Провалиться бы этому самцу сквозь землю! Не дорог конь – дорог заяц.

Надо теперь новый точóк розыскать, опять начинать охоту сначала:

– Тю-пик!

Это красноголовый щегленок некстати прилетел над охотничьей неудачей подсмеяться.

Туляки, впрочем, и щеглятники (их же дразнят: «щегол щаглуе на дубочьку»). Не дают они спуску и синицам: одна какая-нибудь махнет, как колокольчиком, – казюк и замлел. Опять присел, стал прислушиваться, измучился – до того хороша эта синичка: в пении сильна, и полна, и многословна.

– Ти-гю-динь! – и расстановочку сделает необыкновенную.

Завтра и на синичьи стаи напустит казюк заводного. Один такой у него уж отсажен.

ТИПУН НА ЯЗЫК

Порода голубей и вообще всякая домашняя птица останавливает на этом общеупотребительном ответном выражении «типун бы тебе на язык» всякому, кто пугает недобрыми вестями, стращает худым предсказанием, высказывает слишком откровенно какое-либо злое пожелание. У птиц, исключительно принадлежащая им болезнь эта, по объяснению Эльпе в 1-й серии «Обиходной рецептуры», – особое поражение гортани, полости носа, иногда покровов языка; то, что хозяйки дома обычно принимают за «типун», на самом деле есть особый придаток на кончике языка, вроде коготка, облегчающий при клеваньи подхватить языком зерна.

ДЕЛО В ШЛЯПЕ

Некоторые думают производить его в виде переводного слова с французского языка, хотя, по многим признакам, выражение это можно считать коренным или если и заимствованным, то в очень далекие времена. Метать жеребьи, определяя очереди, – прием, известный библейским евреям, – практиковался и на Руси. Шляпа, валянная из овечьей шерсти, также издревле русский народный головной убор, и белорусский колпак-магерку мы видим на скифских изваяниях. В эти шляпы на всем разнообразном протяжении русской земли бросаются всякие жеребьи в виде условных знаков – будут ли то каменные или надкусанные и нащербленные ру-

билом монеты, или кусочки свинца с меткой на счастье – при спорах и наймах. «Жеребей – Божий суд» (говорит пословица); «жеребей метать – вперед не пенять». Чья метка вынется, на том человеке и всем спорам конец; его право на получение заказа перед соперниками на куплю и продажу, на поставку лошадей в разгон и т. д. неоспоримо, и дело в шляпе ожидало лишь очереди: надевай ее на голову – теперь дело твое из нее уж не выскочит.

ЭЙ, ЗАКУШУ!

Это выражение в виде предупреждающей острастки и легкой угрозы народилось в Москве и здесь до сих пор бродит, вращаясь в среде торгового люда. Появление его в обиходной речи относят к началу нынешнего столетия и, приписывая ему историческое и бытовое значение, требует от нас обстоятельных объяснений.

Покойно, сытно и сладко жилось честным старцам в смиренных кельях честных обителей, а еще того лучше, беззаботнее в богатых лаврах и ставропигиях. Пели у них на крытых переходах слепые нищие про Алексея – человека Божьего; «пили-ели сладко, жили хорошо», особенно в прошлом столетии, когда монастыри эти владели крестьянами и Троицко-Сергиева лавра была помещицею более чем ста тысяч душ чудотворцевых. Худо жилось заштатным гулящим попам, которые с давних времен представляли целый класс людей без средств к жизни и определенных занятий.

Тут и запрещеные, и бесприходные, все – гуляки и бражники: шатаются по веселым местам, валяются по царевым кабакам с тех самых времен, когда всякие деяния впервые выучились записывать и с народом стали разговаривать писаными грамотами. Задумают ли удалые казаки поход на татар или просто добрые молодцы соберутся погулять и пошалить по матушке Волге, – безместные попы тащатся за ними. Когда поплыл Ермак забирать Сибирь, в его отряде шли три попа и сверх того старец-бродяга, который «правило правил, и каши

варил, и припасы знал, и круг церковный справно знал». Бродили попы и за Стенькой Разиным, нашлись таковые готовыми к услугам и у Емельки Пугачева. Чем больше нарастало лет и приближали они наше бедовое время – число безместных попов сильно увеличивалось. В конце прошлого и в начале нынешнего века оно было изумительно. Указы совсем перестали действовать: попов они вовсе не устраивали, а, стало быть, и не смирили. Шатались они по кабакам и нагуливали больную печень; болтались по базарам и среди народных скопищ говорили скаредные речи и творили неподобные дела. Дошатались и договорились в конец до того, что на их артель пало сильное подозрение в кровавых событиях московской чумы 1771 г. Московская чернь убила полумалоросса, полумолдавана архиерея Амвросия Зертис-Каменского, который любил раздавать, по жестокому нраву, плети и розги направо, налево и вдоль всего белого духовенства. Даже священники, приносившие бескровную жертву, были сечены до крови. И сами они убегали от приходов своих, и насильно их отгоняли от церквей. Скопилось таковых «безместных» к началу нынешнего столетия великое множество, почуявшее уже силу и возобладавшее смелостью. Кто не успел пристроиться в раскольничьих скитах поповского согласия, те вышли прямо на московские площади. На перекрестках они протягивали руку, на людных «крестцах» предъявляли всенародно свои рваные вретища и объясняли свои безысходные и неключимые беды. В Москве особенно прославился «Варварский крестец», что образовался из Большой Лубянки, Солянки и улицы Китая-города, носящей название свое от церкви великомученицы Варвары. Здесь, на дороге из Замоскворечья, собирался торговый люд во всенародном множестве с самым легким и плохим товаром, но дешевым и подходящим всякому на руку. Тут и бесприходные попы приладили своего рода торговлю, чем умели и чего от них могли на рынке требовать.

Этот спрос на попов свободных, гулящих и безместных в особенности усилился в то время, как француз спалил Москву, когда погорели все церкви и стояла «мерзость запусте-

ния» даже в кремлевских соборах. Опасливое духовенство последовало примеру Августина (Виноградского), правившего епархиею за митрополита Платона, удалившегося с чудотворными иконами Владимирской и Иверской в Муром. На все великое множество московских церквей далеко недоставало требоисправителей не только в то время, когда Москва наполнена была пожарным смрадом, на улицах валялась конская падаль, торчали закоптелые каменные фундаменты и печи. Собравшиеся со всех сторон священники получали заказ и находили дело далеко потом, когда кое-какие храмы успели уже обновить или подправить. Кладбищенские же хотя и все оставались целыми, но стояли без причта и без пения. Деревянные поповские дома все пригорели. Ничего не пощадил француз: всех ворон поел, все драгоценности расхитил; над святыней надругался; многое с собой увез.

На подобном безлюдье и среди такого полного разрушения громадного города безместные попы обрели себе злачное место, чтобы было где править слово истины. Полюбился им пуще всего «Варварский крестец», и стали все они здесь собираться. Кому их было нужно, так про то все и знали. Походят безместные по толпе, присядут на лавочку, – все поджидают. Волоса, известные на рынках более под именем гривы, торчат из-под шляп с широчайшими полями всклоченными; засели в них пух и сено. Бороды не расчесаны, нанковые линючие подрясники подпоясаны веревочкой; на плечах выцветшие на солнышке камплотные рясы еле держатся. Иные обуты в лаптишки, и хоть бейся об заклад, на ком больше заплат.

Все забрались с первым светом, когда чуть еще начинал он брезжиться. Рыночные торговки, по своему сердоболию и по чужому обычаю, успели всех попов оделить калачами. Иной забытый или запоздалый и обделенный сам припросит:

– Ныне от тебя еще не было благостыни: давай калач-от!

Калачи попами не поедались, а прятались за пазуху.

– Зачем холодному и голодному прятать, лучше съесть: может быть другая калачница новым и свежим облагодетельствует?

Мы сейчас увидим, какую с этими калачами безместные попы «Варварского крестца» выкинут штуку[1].

Идет к ним купец или иной нуждающийся в попах человек, а они уже его по шапке и по походке издали видят и обступают. Выслушивают, что кому нужно: заупокойную или заздравную обедню?

Первые в то тяжелое время были в наибольшем требовании.

– Помянуть надо.

Мало ли народу побито под Тарутиным, под Малоярославцем, а того еще больше под Бородиным? Другому хочется о своем избавлении помолиться, да притом не иначе, как в своей приходской церкви, а духовного отца нет: еще не вернулся. Иному это сейчас хочется сделать, потому что он в тот день именинник.

– Ну, что-ж тут толковать, – мы это дело справим, мы это можем.

– Цена какая будет?

– Что предъявляешь?

– Чтобы со звоном и пением, и пуще всего не пропускать ничего и не торопиться.

– Имеются ли готовые просфоры в указанном церковными постановлениями количестве?

– Заручились: одна-таки просвиренка уцелела и торгует мягкими.

– В каком количестве и все ли пять, и суть ли, сверх того, запасные?

1 Обычай этот многие относят к более древним временам, доводя его даже до Ивана Грозного и бывших грозных пожаров, вроде Всесвятского. В измененном отчасти виде он дожил и до наших времен ввиду того, что московские приходы отличаются своею неравномерностью, вызвавшею ненормальные явления с наемными священниками. Это – особый бытовой тип Москвы, не встречающийся в других епархиях. В Москве, где в церквах нужны две обедни (поздняя и ранняя), издавна выработался «тип ранних священников». Наем священников поденно, понедельно, помесячно, погодно в Москве практикуется в широких размерах. Персонал «наемных батюшек» или «ранних» не может отличаться, конечно, достоинствами, но и отношение к ним штатных причтов не представляется нормальным. Им стараются заплатить поменьше, заставить их работать побольше и третируют, несмотря на сан, как наемников. Это приводит к явлениям, иногда крайне соблазнительным. (*Примеч. С. В. Максимова*).

Оказывалось все налицо.

– Полагается поминальная запись: есть ли она?

– Сгорела, затерялась: потолкаться, чтобы написали, было не к кому.

– Вот и препятствие, труд и болезнь: писать надо. А я сам-то поразучился. Да и веществ тех для рукописания, грех ради наших, ни у кого не промыслишь: здесь на торгу не полагается.

Через плечо другой поп смотрит, лукаво прищурив левый глаз и преклонив ухо. Впрочем, на этот раз он смотрит более из любопытства и отчасти лишь из соглядатайства: на самом деле попы, мужичьим базарным обычаем, уже метали жребий. Звонили они в шляпе грошами и установили очередь между собою, по порядку вынутых монет. Торгуется умелый и самый бессовестный, а служить пойдет тот, который последним вынул свой ломаный грош. Умелого и недопускают до жеребья, а высылают его вперед, по общему назначению и полным голосованием: он получает отсталое и «свершонок».

Бойкий старается сбивать заказчика на словах. Торгуется, сбавляя цену копейками. Закидывает всякими мудреными словами, запутывает устрашающими и неожиданными вопросами:

– Касательно полных поминок всех надлежащих имен или только новопреставленных: как читать?

– На всех ли сугубых ектениях совершать полное поминовение или токмо на первой?

Выговаривает и число выходов из алтаря для каждения, называя кутью «коливом», толкует и о многом неподходящем и, встречаясь с кремневым упорством заказчика, выхватывает из-за пазухи даровой и дешевый калач. Держит его в руке и обсказывает:

– От продолжительных и пустых разговоров я уже и есть восхотел. Эй, закушу!

Между тем остальные попы все уже отошли прочь и, невидимо для наемщика, скрылись в рыночной толпе. Все они калачей своих еще не начинали: по Номоканону, следуя священническим правилам, не принимали они ни капли питья, ни

крохи пищи со времени вчерашнего солнечного заката. Так, по крайней мере, все думают.

Думает таким же образом и тот заказчик, перед которым, как Мария египетская в Иорданской пустыне, стоит последний поп и, как свеча перед иконою, теплится.

– Закусит тот поп калача, – уж он не петух: обеден петь на весь день не годится. Прячь-ко, батько, калач-то за пазуху! По чистой совести надо бы тебя изругать в корень, да вот «пришло по-тá, что подай попа». От вора отобьешься, от подъячего откупишься, – ну, а от попа как и чем теперь отмолишься?

ВОЛЬНОМУ ВОЛЯ

Удельные князья писали обычно в своих договорах друг с другом: «а боярам и детям боярским и слугам, и крестьянам вольная воля». Вот с каких пор сохранилось до наших времен это выражение, по строгим требованиям нашего языка, кажущееся такою же бессмыслицей, как «масляное масло», «поздно опаздывать» и тому подобные неправильности, допускаемые иногда в обиходной речи. Когда складывалась эта поговорка, на самом деле волен, то есть свободен, был каждый крестьянин, носивший в себе умелую и привычную силу, владевший великой тайной из дикой земли создавать плодородную почву и пустую, ничего не стоящую своим трудом и искусством превращать в ценную. За таковую уже охотно платят деньги. За пользование ею требовали подати и повинности, и их соглашались платить. Земля делалась «тяглом», и крестьянин с землею и земля с крестьянином так тесно были связаны, что друг без друга они не имели никакого значения. Земля без крестьянина – мертвая пустошь, липкая грязь, «дикая пасма»; крестьянин без земли становился бобылем, бездомным и бесприютным человеком, которого уже никто не жалеет, но все охотно презирают. Ему необходимо было садиться на землю, и если он расчистил новую и ничью – становился полным хозяином; если занял чужую, то, не переставая быть свободным человеком, жил здесь как наемщик, платил трудом за пользо-

вание, а захотел – отошел. Если он забирал при этом на чужой земле у владельца скот и орудия, хлеб на прокорм и семена, он все-таки был только должником: рассчитался по чести и совести – и опять был свободен. У вольного воля, таким образом, была правом, привилегией, означала свободу для действий и поступков: жить на земле, доколе наживется, и уходить, куда вздумается. Пользовались этой свободой переходов только именно вольные люди, какими почитались в те времена: сыновья при отцах, братья при братьях, племянники при дядях, – все, не вступившие в обязательства или свободные – уволенные от таковых. Всем вольным предоставлялась полная воля, потому что были еще холопы и рабы. Эти вечно принадлежали господам и, как вещь, могли быть заложены, проданы и даже убиваемы без суда и ответа. Такие кабалили себя сами, продаваясь от крайней бедности или от мучительных притеснений богачей и тому подобного. Из того же древнейшего права на вольную волю, каким наравне с крестьянами пользовалась и дружина, и на том же северо-востоке Московского государства совершился великий акт объединения государства. Усевшийся на своей «опричнине» князь, почерпая из земли, как богатырь, новые силы, богател и крепнул. У сильнейшего князя стало выгодно служить, и дружинники, по праву свободного перехода, потянули в Москву. С многочисленными дворами пришли сюда бояре даже с далекого опустошенного юга и облегчали таким образом московскому князю собирать русскую землю, становиться самовластным государем. Сама дружина, с усилением княжеской власти, начала утрачивать свои вольные права и главное – право «отъезда» на службу в другие края. Уже на Ивана Третьего сыпались боярские жалобы, что он «нынеча силу чинит: кто отъедет от него, тех безсудно емлет». Сын его, Василий, немилых ему бесцеремонно гонит вон: «пойди, смерд, прочь, не надобен ми еси», а сын его Иван Грозный отъехавших бояр уже смело и открыто называл «изменниками». Он убежденно высказал Курбскому: «а жаловати есмя своих холопий вольны, а и казнити вольны ж». Вот в чьи руки попала дружинная «вольная воля», остававшаяся тако-

вою еще некоторое (недолгое впрочем) время за крестьянами. Своевольное боярство отомстило убиением царевича Дмитрия в Угличе, избранием в цари человека низкого, без всяких нравственных убеждений (старейшего из Рюриковичей Василья Шуйского) и всеми ужасами смутного безгосударного времени начала XVII века.

БЕСПУТНЫЙ

«Не быть в нем пути», – говорят про такого человека, который явно не встал на прямую дорогу, обычно ведущую к цели, а выбрал или «попал на неправый, кривой или ложный путь житейский», как выразился Даль и подкрепил общеизвестными живыми изречениями: «Идешь по безпутью к погибели своей», «на безпутной работе и спасиба нет». К нашим удельным князьям приходили с воли свободные люди, бояре-дружинники, и нанимались к ним на службу двояким способом: навсегда – служить до смерти, или на время, «сколь поживется». Первые получали «кормленье» – право собирать известную часть доходов не только с городов, но и с целых волостей. Вторые – мелкие бояре – получали разные должности при дворе, где и служили в разных чинах, пользуясь за службу содержанием или жалованием (то есть что пожалует князь) с каких-либо доходных своих статей, смотрели – что теперь называется – из «чужих рук», а не брали, как первые, своею «властною рукою». А так как современное слово «доход» в старину называлось «путем»[1], то и княжеские наемники этого рода получили прозвище «путных», или «путников». Иные прямо оправдывали свое звание тем, что разъезжали по поручениям князя, обычно провожали и охраняли в дорогах во время переездов княжеские семьи, но вообще они были на каком-нибудь «пути». Одни собирали на бойких проездных дорогах «мыт» и пользовались доходом от сбора пошлин за товары, провозимые по земле князя. Другие держали путь по владениям князя

[1] Так и писали: «...отдали землю на льготу, да в том ему и путь». – (*Примеч. С. В. Максимова*).

для сбора ко двору съестных припасов с сел и деревень[1] (это «стольничий путь»). «Окольничий», при походах и разъездах царских, посылался вперед и приготовлял станы, или места царских остановок. У царя Алексея указан был «сокольничий путь», то есть состоял при дворе чиновник, ведавший охоту, и имелись под его рукой рассыльные, собиравшие по дальним волостям соколов, кречетов и иную ловчую птицу. Лица, занимавшие подобные должности, так и назывались: «боярин с путем, сокольник с путем» и т. п. До строгих времен собирателей земли – московских царей – у «путных бояр» оставалась в силе и праве «вольная воля». Высмотрев более богатого и тароватого князя, охочего в посулах, уходили к нему. Здесь такие «послуживцы» получали поместья; так, между прочим, народились из них помещики на свободных землях вольного Новгорода, когда их стал раздавать Иван Третий. Вообще этот класс людей был подвижным (они даже не обязаны были сидеть в городе). Впоследствии многие из них домотались со своим вольным правом, переходя с места на место, до того, что сошли на очень низкую и незавидную степень. На Литве, например, они заняли у панов должности управляющих имениями, стали приказчиками, войтами и даже прямо слугами. Оставшимся при старинном праве и звании «путных» довелось очутиться без прежних почетных путей, а при неудачах в жизни без промыслов было удобно и легко стать совсем «безпутными» в современном обидном смысле. Неимение определенных занятий все-таки главным образом зависит от того, что у таких людей и в личном характере «не было проку».

НЕТ ПРОКУ

Когда пришельцы-дружинники давали удельным князьям поручные записи служить ему самому и его детям и не отъезжать ни к кому другому, то им, как сказано, давались «в кормленье» и целые города, и большие волости. Эти были

[1] Даже у вольного Новгорода из глубокой старины приписывались волости «на путь тысяцкого». (*Примеч. С. В. Максимова*).

надежны за клятвою, данною либо «по рукам» (на личном доверии), либо за порукою сильных и влиятельных людей (каковы были митрополиты и духовные владыки стольных городов), и крепки на месте за крестным целованием, также с записью. Эти бояре назывались большими, в отличие от меньших путных, и «введенными». Тут были и приезжие из Литвы или с великокняжеских русских столов, и владельцы значительных уделов. Из этого-то иерархического беспорядка, при совместном служении у московских князей, и выродилось самобытное явление нашей истории – местничество, созданное предками «отчество», дававшее поводы считаться преимуществами рода, а не личным качеством и заслугами. Стало очень важным и щекотливым право, «кому с кем сидеть и кому над кем сидеть» в советах и думах.

Кормление им давалось «с правдою» и «без правды», то есть с наростом обычных доходов, еще право суда с теми пошлинами, которые полагались за разбирательство, решение дела и приговоры. Иным, сверх всего, жаловались поместья в вотчину с правом перехода из единоличного в потомственное владение. Можно было эти владения продавать, обменивать на лучшие земли, дарить излюбленному человеку, отдавать в закуп для молитв по грешной душе своей честным монастырям. Этот способ пожалования сел и деревень назывался отдачею «в прок». Такие счастливцы на свои пустые земли могли звать к себе рабочих людей и «добрых»: свободных от тягол (обязательств ранних) и «неписьменных» (нигде не прописанных). Этим жилось привольно; кормленье шло впрок. Вся суть его заключалась в том, чтобы быть сытыми, на что они сами указывали великим князьям, когда обращались с жалобами, говоря с полною откровенностью. Так, двое бояр (один русский, другой литовский выходец), назначенные вдвоем на один город, били челом, что «им обоим на Костроме сытыми быть не с чего». А чтобы сытыми быть, посланные на кормленье, вместо того чтобы тем городам и волостям расправу и устрой делать и всякое лихо обращать на благо, чинили злокозненные дела, не были пастырями и

учителями, но сделались гонителями и разорителями. Бывало так, что один выпросит у горожан на себя «посул», а потом потребует еще и на жену. И «вошло в слух благочестивому государю, что наместники и волостели многие города и волости учинили пусты», разбежался народ кто куда: иные крестьяне разошлись по монастырям бессрочно и без отказу, другие разбрелись безвестно. Деревни запустели, и наместника и пошлинных людей уцелевшим на местах прокормить нельзя: нечем. Между тем наместник и волостели были «честнее» воевод (то есть, по старинному значению, чином и заслугами и в общественном, и государственном положении стояли гораздо выше), – чего же могли ожидать от этих, более низких, самые малые черносошные? «Великого князя (отвечают иные жалобы) половиною кормят, а большую себе берут»; по выражению Ивана Грозного: «от слез и от крови богатеют». Воеводы наезжали не только с детьми, но и с родственниками, а так как им была и честь большая и корм сытный, то они привозили с собою всякую челядь, большую дворню. Сверх того, около них же пристраивались с площадей оскуделые люди – подьячие, которые, в свою очередь, «кормились пером». Всем посадские люди несли корм: и деньгами, и пирогами, говядиной и рыбой, вином и пивом и сальными свечами, лошадям овсом и т. д. в бесконечность. Кормленщики разъедались, и чем дальше они кормились от Москвы, тем необузданнее действовали. Мирские люди тех мест нередко вызывались даже на самоуправство, оправдываясь про себя тем, что «до Бога высоко, а до царя далеко», «и лаяли» воевод и «хаживали на них бунтом». Пробовали воевод указами смирять, сокращая поборы, ограничивая приносы. Петр Великий «шельмовал» их, но только один из них высветлел на темном фоне старинного народного быта. То был Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин – любимец царя Алексея: он не хотел кормиться на псковском воеводстве, а всемерно старался поднять благосостояние города. Все остальные были на один образец, как образно показано в драме А. Н. Островского. На вопрос о том, каков будет новый воевода, сказано отчаянно безнадежным

голосом из толпы молодых посадских: «Да, надо быть, такой же, коль не хуже». Когда спознали, что и в воеводах нет пути и не было проку, то есть ни добра, ни пользы, это звание в 1764 г. совершенно отменили.

ВЫДАТЬ ГОЛОВОЙ

Этот обычай известен был еще в XII веке, когда с князя за вину бралась волость, а прочих людей отдавали головой, причем последняя выражала понятие о личности. Отданный головою за долг поступал к заимодавцу с женою и детьми в полное рабство и в работу, которую и отбывал до тех пор, пока не покрывал весь долг. Во время местничества оскорбитель был бит батогами и потом обязан был просить униженно прощения у обиженного и жалобщика: кланяться в землю и лежать ничком до тех пор, пока оскорбленный не утешится и не поднимет со словами: «повинную голову и меч не сечет». Словом, в старину это означало предание суду за преступление с лишением гражданской свободы, а также во временное рабство за долги. Тогда «брат брату (шел) головой в уплату», а теперь – нечаянно, без умыслу выговорить в неуказанное время неподлежащему человеку условленную тайну значит то же, что «выдать головой».

ПРАВДА В НОГАХ

Хотя пословица и укрепляет в том бесспорном убеждении, что в ногах правды нет, однако в недавнюю старину ее там уверенно, упорно и с наслаждением искали наши близорукие судьи, с примера, указанного татарскими баскаками. Сборщики податей, а впоследствии судные приказы, взыскивавшие частные долги и казенные недоимки, ставили виноватых на правеж, то есть истязали. По жалобе заимодавца приводили должников босыми. Праведчики, то есть пристава или судебные служители, брали в руки железные прутья и били ими по пятам, по голеням и икрам (куда попадет). Били

с того самого времени, когда приходил судья, до того, когда он уходил домой.

Били доброго молодца на правеже
В одних гарусных чулочках
И без чоботов, –

говорит одна старина – былина. Бивали так новгородских попов и дьяконов «на всяк день от утра до вечера нещадно». Чаще всего ограничивали срок битья согласием должника заплатить долг или появлением поручителя. Бирон казенные недоимки, накопившиеся от неурожаев, вымогал тем, что в лютую зиму ставил на снег и все-таки в отмороженных ногах бесплодно искал правды. Стали толковать: «душа согрешила, а ноги виноваты» и «в семеры гости зовут, а все на правеж». Истязуемые умоляли безжалостных заимодавцев: «дай срок, не сбей с ног!». Бессильные и безнадежные, когда «нечем было платить долгу, бежали на Волгу». Все эти болезненные вопли и бессильные жалобы ушли в пословицы и, с уничтожением правежного обычая, приняли более смягченный смысл. Плачевный вывод из суровой практики старых времен погодился в нынешние времена лишь в шутливый и легкий упрек доброму приятелю. Стали уверять, что «в ногах правды нет» тех, которые, придя в гости, церемонятся, не садятся[1]. Точно так же: «дай срок, не сбей с ног» – обращают теперь к тем, кто в личных расчетах торопит на работе, понуждает на лишние усилия сверх ряды и уговора в тяжелом труде, затеянном либо на срок, либо в самом деле наспех, и т. д. Над упраздненным правежем начали уже и подсмеиваться в глаза заимодавцам: «На правеж не поставишь!» (не что возьмешь!) Какая же, в сущности, правда в ногах? «В правеже не деньги», то есть иск по суду мало надежен, – сознательно говорят и в нынешние тяжелые времена всеобщего безденежья.

[1] И. М. Снегирев говорит, что в буквальном своем значении и в свое время пословица эта заменяла нынешнюю: «На нем взятки гладки», то есть ничего с него взять нельзя, напрасны и мучительные домогательства, как бесцельны и настойчивые просьбы. (*Примеч. С. В. Максимова*).

ЛОЖЬ КРИВАЯ

Диво варило пиво: слепой увидал, безногий с ковшом побежал, безрукий сливал; ты пил да не *растолковал*?

Или так: безрукий клеть обокрал, голопузому за пазуху наклал, слепой подглядывал, глухой подслушивал, немой караул закричал, безногий в погонь погнал?

Таковы, на досужий час зимних вечеров, две из народных загадок, вообще очень скупых на отвлеченные понятия и вращающихся преимущественно в кругу видимых предметов и обычных вещей. Указание для отгадки в данном случае сделано на то несмываемое пятно, которое уже целые века сберегается целым на роде человеческом, и на то, в чем, по писанию, весь мир лежит. Оно со светом началось и со светом кончится. Им красна всякая человеческая речь, что, по народной пословице, живет и ходит на тараканьих ножках (того и гляди – подломятся). Его люди терпят, но от него пропадают. С ним весь свет пройдешь, но назад не воротишься. Словом, загадка указывает на ложь или, по точному и более употребительному народному выражению, на неправду, столь же древнюю, как мир, и имеющую отцом своим дьявола («от Бога дождь, от дьявола ложь»), с передачею в наследие всем людям через первую жену. Появление этого порока на земле наш народ объясняет тем, что Бог создал жену из кривого ребра, оттого и пошла *кривая ложь*, или, короче сказать самым правильным русским словом, кривда. Она крива, по злому насмешливому выражению, как московская оглобля в городских пролетках или санках. Это, по тем же пословицам, либо простая дичь, либо дичь во щах, либо личинка с начинкой, либо дудки. Она же околесная и сивый мерин, она кривые моты мотает, гнет дугу черемуховую, и если заговорит, то не иначе, как во всю губу и всегда на ветер. По временам она же самая – и красное словцо, гоголевские сапоги всмятку и его же Андроны, которые едут и Миронов везут, и т. д. «Правда осталась у Бога жить на небесах, а кривда пошла гулять по белому свету».

Люди, обладающие живым и пылким воображением и впечатлительностью (не исключая, конечно, прежде всего и

детей), никак не могут ограничиться представлением голого факта, а должны непременно его идеализировать. Часто, рассказывая одно и то же придуманное ими, то есть распространяя ложь, они доходят, наконец, до того, что сами убеждаются в правдивости личных фантастических образов. С каждым разом, придавая своей лжи художественную законченность и видя, что их ложь действует сильнее правды, они, наконец, доходят до того, что, по пословице, перед ними леса нагибаются и сыр-бор преклоняется. Таков, между прочим, тот путешественник, который, рассказывая о том, что он сам видел, как дикие ели воображаемых детей его, всякий раз заливался горючими слезами. Про таких-то и говорят наши пословицы, что «кто их переврет – трех дней не переживет» и «один врал – не доврал, другой врал – переврал, третьему ничего не осталось». Один сморозит, а другой плетет кошели с лаптями либо прямо несет колеса на турусах (или наоборот); один выворачивает дело наизнанку, другой лошадь через шлею валит; иной так путает, что и сам дороги домой не найдет, – и все они, попросту сказать, врут. От иного вранья уши вянут, в глазах зеленит, святых выноси и сам выходи. Под другое вранье иглы не подбить, через третье не перелезть, четвертого вранья за пазуху не уберешь.

Если, как сказано и доказано, лжей много, то, во всяком случае, правда одна, и та непременно – голая.

ПРАВДА ГОЛАЯ

Александр Невский сказал: «Не в силе Бог, а в правде», а русский народ говорит: «И Мамай правды не съел». Однако на всем свете, по народному убеждению, правду говорят только дети, дураки да пьяные. В самом деле, многие ли ищут истину и любят правду?

К слову: в последних двух словах, при некотором обусловленном сходстве, есть существенная разница. Истина – «все, что есть», что справедливо, верно и точно, является достоянием человеческого разума или, говорится, *истина от*

земли, в смысле правдивости и правоты, а *правда с небес*, как дар благостыни. По объяснению В. И. Даля, истина относится к уму и разуму, а добро или благо – к любви, нраву и воле. Благо во образе как в форме, доступной пониманию, есть истина. Свет плоти – солнце, свет духа – истина. Истина же во образе, на деле, во благе и есть правда, как правосудие и сама справедливость, суд по правде. По Псалтырю «истина от земли возсия, а правда с небес притече». Истина присуща только богам (ее-то и не знал Пилат и громогласно просил объяснения); стремиться к истине – значит желать быть добродетельным. Вот почему она встречается так редко. Да и правда, будучи не нагою, не дерзает являться в свет иначе, как прикрытою ложью, чтобы, по русскому выражению, не колоть глаз, то есть не возбуждать ненависти. Правда не так сладка людям, как плоды заблуждения и обманов, да притом же ее трудно проверить, а потому и народный совет: «С нагольной правдой в люди не кажись». Нагая правда, то есть прямая, без обиняков, не на миру стоит, а по миру ходит, то есть не властвует людьми, не начальствует над ними, а, истомившись, сама лжи покорилась. Всякий правду хвалит, ищет, любит, знает, да не всякий ее сказывает, в том убеждении, что и хороша святая правда, но в люди не годится. Пробовала правда спорить с кривдой, да свидетелей не стало, а сталось так, что у всякого Павла оказалась своя правда, и все оттого самого, что она живет у Бога. Если хороша эта правда-матка, так не перед людьми, а все же только перед одним Богом. И трава перекати-поле, подхваченная ветром, унесла на себе кровавые следы, которые обнаружили убийцу, и ракитов куст тем же способом за правду постоял, но все-таки правде в людях нигде нет места, и не по той же, в самом деле, причине, что она ходит нагишом. Ее уж с древнейших времен, когда настояла надобность изображать в лицах, попросту изображали голою (отсюда и русское выражение: «Правдолюб – душа нагишом»). Ввиду господствующей лжи современные любители и искатели правды советуют одно утешение – в молчании с убеждением и верою, что правда все-таки есть

на свете. «Все в нем минется, а правда останется». Под прикрытием лжи можно долго изловчаться, однако до тех только пор, пока не грянет гроза, очищающая и освежающая воздух, и не разразится буря, ломающая все гнилое и попорченное. «Правда есть, так правда и будет», – говорит пословичная народная мудрость.

ГЛАС НАРОДА – ГЛАС БОЖИЙ

Выставляю в заголовке эту мировую, всесветную пословицу, конечно, не для толкования ее, а собственно потому, что один из рецензентов моей работы упрекнул в пропуске ее, а сам поспешил дать неверное объяснение. Имея в виду только те «крылатые слова», которые требовали толкований или давали повод к пояснительным рассказам, я намеренно не коснулся «Vox populi – vox Dei» как такого изречения, которое ясно всем, как Божий день. Судья мой советует для наглядного объяснения этого выражения отправиться в северную Русь и указывает на тамошние церкви или, собственно, на ту к ним пристройку, которая называется трапезою. В этой пристройке собирался народ, сходившийся на погост помолиться, поговорить о своих делах и постановить мирское решение, обязательное для всех. Под церковным кровом решение это, как бы освященное, являлось уже в то же время как бы Божиим гласом, исходящим из храма Божия. На самом деле вот какие данные получаются из актов об этих трапезах и вот о каких фактах они свидетельствуют.

В деревянных храмах северной России, представляющих собою изумительные образцы самостоятельного и самобытного народного зодчества, на западной стороне собственно храма (обыкновенно холодного) и вплотную к нему пристраивалась эта вдвое и втрое бóльшая часть церкви – трапеза. Стены ее вытесаны и гладко выскоблены; крыша покрыта скалой и тесом с рубцами наплотно, чтобы не было кáпи. Спереди, при входе, построено подпапертье с крыльцом на столбах и с двумя лестницами, в северную и южную стороны. И крыльцо,

и лестницы забраны досками в брусье. Из трапезы в церковь вели двери с полотенцами и туда же смотрело одно длинное окно со ставнями, когда кончалась служба, чтобы отделить эту пристройку от священного места. Четыре окна выходили на улицу, пятое, побольше, служило дымоволоком, так как трапеза была курная. Отступя от стены на такое расстояние, чтобы можно ходить кругом, стояла печь, которая чадила и грела. Среди трапезы построены скамьи с «причелинами» (дощатыми спинками), на которых садились мирские люди, когда сходились на совет по всяким делам (конечно, лишь в зимнее время). Здесь выслушивались указы и приказы, сказывались вести обо всем полезном и любопытном и «о всякой нуже, чтобы ведома была народу». Тут в древние времена происходили пиры-братчины и пиры-поминки по умершим родителям. Трапеза, во всяком случае, представляла совершенный особняк от церкви, хотя и была прирублена к ней вплотную: сторож, охранявший церковь, тут в трапезе и спал. Он обязан был мыть пол только два раза в году: к Христову Рождеству и на святую Пасху и топить печь осенью, зимою и весною каждый день еловыми дровами. Где не было земских изб, там, естественно, церковные трапезы заменяли их место, не внушая к себе исключительного почтения, каким пользовался самый храм. По актам, касающимся церковно-общественного быта холмогорской и устюжской епархий, доказывается это обстоятельство наглядным образом. В одном случае разбора дела не стеснились тяжущиеся принять церковную трапезу за съезжую земскую избу. Так, например, своевольничал отец с детьми: косил чужой луг и травил скотом огород. Обиженные пожаловались земскому судье на тех «сильных людей». Главный обидчик схватил жалобщика за ворот и хотел удавить. Дети его выступили с ножами и кричали: «бей да режь его!». Свидетелей было много и все подтвердили единогласно, что был крик: «возьмите да убейте!». В другой раз пришел в трапезу поп безобразно пьяным, бранил всех ненадобною бранью скаредно, и за горло хватал, и о пол ударил. Вырвал у одного старичка костыль, волочил старца по полу, по трапезе,

бил кулаками: «о голову руку свою расшиб до крови и кровь его на стол текла и на пол». По словам другого акта: в трапезах вообще бывали «поносы большие во весь рот».

Довольно рискованно предполагать, чтобы «из этой передней части Божия храма исходивший» глас народа назывался, по его правдивости, «гласом Божиим». Подобные факты скорее можно причислить к несметному сонму доказательств случайной пословицы «Суд людской – не Божий».

СЧАСТЬЕ ОДНОГЛАЗОЕ

– Не в котором царстве, а может, и в самом нашем государстве жила-была женщина и прижила роженое детище. Окрестила его, помолилась Богу и крепким запретом зачуралась, – довольно-таки с нее одного: вышел паренек такой гладкий, как наливное яблочко, и такой ласковый, как телятко, и такой разумный, как самый мудрейший в селе человек. Полюбила его мать пуще себя: и целовала-миловала его день и ночь, жалела его всем сердцем, и не отходила от него на малую пяденочку. Когда уж подросло это детище, стала она его выпускать в чистом поле порезвиться и в лесу погулять. В ино время то детище домой не вернулось – надо искать: видимо дело – пропало. Не медведь ли изломал, не украл ли леший?

А та женщина называлась *Счастьем*, и сотворена была, как быть живому человеку: все на своем месте и все полюдскому. Только в двух местах была видимая порука: спина не сгибалась и был у ней один глаз, да и тот сидел на самой макушке головы, на темени: кверху видит, а руками хватает зря, что нащупает и что под самые персты попадется на удачу. С таковой-то силой-помощью пошло то одноглазое Счастье искать пропавшее детище. Заблудилось ли оно, – и с голоду померло, или на волков набежало, – и те его сожрали, а может, и потонуло, либо иное что с ним прилучилось – не знать того дела Счастью: отгадывать ему Бог разума не дал – ищи само, как ты там себе знаешь. Искать же мудрено и не сподручно: видеть не можно, разве по голосу признавать.

Так опять же ребячьи голоса все на одно. Однако идет себе дальше: и может, оно прислушивается, может, ищет по запаху (бывает так у зверья) – я не знаю. В одной толпе потолкается, другую обойдет мимо, третью околесит, на четвертой, глядь-поглядь, остановилось. Да как схватит одного такого-то, не совсем ладного, да пожалуй и самого ледащего, прахового, сплошь и рядом что ни на есть обхватит самого глупого, который и денег-то считать не умеет. Значит, нашла мать: оно самое и есть – ее любимое и потерянное детище. Схватит Счастье его себе и начнет вздымать, чтобы посмотреть в лицо: оно ли доподлинно? Вздымет полегонечку, нежненько-таково, все выше да выше, не торопится. Вздымет выше головы, взглянет с темени одним своим глазом да и бросит из рук, не жалеючи, прямо оземь: иной изживает, иной зашибается и помирает. Нет, не оно! И опять идет искать, и опять хватает зря первого встречного, какой вздумается, опять вздымает его к небесам и опять бросает оземь. И все по земле ходит, и все то самое ищет. Детище-то ее совсем сгибло со бела света, да материнское сердце не хочет тому делу верить. Да и как смочь ухитриться и наладиться? Вот все так и ходит, и хватает, и вздымает, и бросает, и уж сколько оно это самое делает – счету нет, а поискам и конца краю не видать – знать до самого светопреставления так будет! Правду молвят в народе: «счастье что трястье – на кого захочет, на того и нападет».

Таковую притчу слышал я от старика-раскольника на реке Мезени, но после нигде с нею не встречался и ни в каких изданных сборниках не нашел.

ГДЕ РУКА, ТАМ И ГОЛОВА

Рука согрешит – голова в ответе.

Пословица.

Взятая в буквальном смысле, всем известная и повсюду распространенная пословица может показаться ненужной, лишней, пустословной, вызывая прямой и короткий ответ:

конечно так, само собой разумеется. В самом же деле пословица заключает в себе глубокий смысл и есть ни что иное, как юридический термин, от старины до наших дней не утративший своего значения. В старину послухи или свидетели при поголовном безграмотстве, ручаясь в данном показании, подавали полуграмотному дьяку правую руку и тем как бы давали собственноручную (или, вернее и по-старинному, «заручную» подпись). Во многих случаях требовалось даже наложение самой руки или обеих вместе на бумагу свитка поручной записи, – прием, объясняемый словом позднейшего сочинения – рукоприкладство или, короче и проще по-русски, подписи, вместо составленного на немецкий лад. В некоторых случаях она заключалась в том, что послухам или видокам обмазывали правую ладонь черной краской и делали оттиск на свитках в столбцах, называемых поставами (гербовую бумагу начали употреблять с 1699 года). Во всяком случае человек ручался на данное показание на суде, становился порукою другого человека по старозаветному выражению, часто встречаемому в старых актах: «ты о том не тужи, в том моя голова». Было все равно: ограничивался ли он одним лишь голословным показанием, или целовал Евангелие, крест, сырую землю, или скреплял все клятвы подписью на бумажном листе. Отсюда и «держать чью руку» значит стоять за того, быть на его стороне при выборах и клятвенных ручательствах, и «играть в одну руку» – действовать во всем заодно. В старину «порукой» назывался и тот человек, который брал подсудимого себе на руки, ручался ответом за него. Порукой считалась и целая семья купцов, остававшаяся как бы в закладе дома на родине, когда (по Котошихину) торговые люди ездили в чужие земли, чтобы «им в иных государствах не остатися». Со времен той же старины «поручным» называется всякий задаток, особенно деньги, взятые или данные при битье по голым рукам или по рукавице при условиях всякого рода: наймах, продажах, куплях, обменах. Точно так же до сих пор отцы жениха и невесты покрывают полами кафтанов руки и ударяют ими в знак окончательного согласия на брак,

то есть одновременно этим способом подписывают брачный контракт и свидетельствуют его у нотариуса. То же самое делают барышники при продаже лошадей, хлопая в иных случаях неуладицы по нескольку раз до последнего, когда бьют по рукавицам, прихватив на этот раз руками повод продажного коня, и т. д. До сих пор на общинных сходах при составлении мирских приговоров верители подают грамотеям руки, что и зовут «отбирать руки» и проч. Так велико значение этой верхней конечности человеческого тела в жизни и обычаях русских людей. В то же время столь разнообразны в живой речи применения в иносказательном смысле этого существительного имени женского рода.

Ленивый человек, привыкший ничего не делать и сидеть праздно, «поджал руки»; у таковых, конечно, по этой причине и всякое дело «валится из рук». Иной городской извозчик или почтовый ямщик сумеет запрячь лошадь «под руку», то есть на пристяжку, да в езде часто не знает «своей руки», то есть не знает правила держаться «парадной», то есть узаконенной у нас в России правой стороны при направлении в езде (в Англии и в Японии «парадная» сторона – левая). Иные бестолковые или тупые люди «руки не знают», то есть не разбирают права или лева. Прежние рекруты, приведенные из глухих мест и требовавшие на ученьях привязки к одной ноге сена, к другой соломы, чтобы уметь разбирать очередь той или другой ноги при маршировке. Человек, от постоянно преследующих его неудач пришедший в отчаяние, растерявшийся до того, что не знает, как поступать дальше и что ему делать, «опустил руки». Драчливый и вздорливый человек, посягая на смирного, «поднимает руки»; нападая на податливого, «прибирает его к рукам» и на худший конец «налагает руку», то есть порабощает и притесняет. Воры, у которых «руки с ящичком», действуя с товарищами, «играют с ними в одну руку», и если поживились случайно или нажились окончательно, – они «нагрели руки». Бывают руки тяжелые, легкие, длинные, как бывают толстые шеи и медные лбы и т. п.

ПРИТЯНУТЬ К ИСУСУ

В 1732 году тайная розыскных дел канцелярия из Москвы переведена была в Петербург, и хотя Петр Третий уничтожил ее, но Екатерина поспешила восстановить. При Екатерине разыскивание правды, как известно, поручено было знаменитому Степану Ивановичу Шешковскому, тайному советнику, получившему особую известность в 80-х годах прошлого столетия, когда он сделался главным распорядителем в делах тайной экспедиции. По сыскной части он был виртуоз еще в молодых летах и на первых шагах в служебной карьере. Но когда стал заведовать политическими розысками, пользуясь полною доверенностью императрицы, он сделался грозою всех по причине грубого и неумолимого личного характера. Шешковский наводил ужас одним своим именем: Радищев, написавший известное сочинение «Путешествие из Петербурга в Москву», упал в обморок, когда услыхал, что дело его поручено Шешковскому. При встречах с последним Потемкин приветствовал его всегда одним и тем же вопросом: «Каково кнутобойничаешь, Степан Иванович?» – Помаленьку, ваша светлость, потихоньку! – обычно, потирая руки, отвечал он и подобострастно кланялась при этом его небольшая мозглявая фигурка, одетая в серый сюртучок, скромно застегнутый на все пуговицы. Принимая, по свидетельству поэта Г. Р. Державина, важный, грозный и таинственный тон, с заложенными в карманы руками, он не чинился ни с кем, кто попал в его лапы, не различая знатных дам и ростовского архиерея Арсения Мациевича от Емельяна Пугачева и от всех прочих, обвиняемых во «враках», как привычно выражались в то время. Шешковский пускал в ход и розги, и кнут, и свою толстую палку. Смотрел он спокойно и бесстрастно, считая удары и наслаждаясь, когда работали его палачи. Иногда он увлекался до того, что вскакивал с места, выхватывал кнут и бил им сам. Допрос с вынуждением признания он начинал не иначе, как внезапно ударяя своей толстой камышевкой под самый подбородок заподозренных лиц с такой силой, что тре-

щали и выскакивали зубы. Затем следовали всевозможные истязания, включительно до того стула, на который сажал свою жертву самородный отечественный инквизитор и патентованный палач. Стул этот особым механизмом опускался под пол, где скрыты были готовые секуторы с орудиями пыток. Допросчик был холоден и неумолим – по характеру, звероподобен – по воспитанию; но при этом старался казаться богобоязненным человеком: усердно посещал церкви и каждую обедню вынимал три заздравные просфоры. По преданию, та комната тайной экспедиции, где он снимал «пристрастные» допросы с истязаниями, вся изувешена была иконами. Вопросы, обращаемые к жертве, Шешковский уснащал текстами Священного Писания. Когда раздавались стоны, вопли и мольбы о пощаде, ханжа-пустовер начинал кощунствовать, впадая в гораздо худшую крайность: он начинал читать на то время акафист Божией Матери или «Иисусу Сладчайшему, души утешению, Иисусу многомилостивому» По догадке г. А. Н. Корсакова («Историч. вестн.», декабрь 1886), в этих оригинальных приемах Шешковского, «верного пса» (как он сам расписался под своим портретом), следует, по всему вероятию, искать основания этому очень распространенному выражению, поставленному в нашем заголовке. Иначе и объяснить его трудно ввиду странного состава самой фразы с таким неожиданным сопоставлением в речах глубоко и искренно верующих русских людей.

ПОСЛОВ НЕ РУБЯТ

В давнюю старину подкупленный убийца прокрался темною ночью к богатому вельможе, но чем ближе подходил к спальной, тем сильнее одолевал его страх. Когда же увидел он воочию перед собою намеченную жертву, погруженную в глубокий безмятежный сон, разбойник вдруг почувствовал, что та рука его, которая держала отточенный нож, стала мертветь и отыматься. Приняв это явление за Божье наказание, испуганный злодей начал сам будить обреченного на смерть. С трудом

собравши силы и справившись с языком, нанятый разбойник объяснил своей жертве, что злые враги хотят его извести, но Бог выбрал его в посланцы, чтобы сообщить о злодейском умысле и велеть остеречься.

– Я бросаю нож, но ты вели казнить меня: весь я теперь в твоей воле!

– Послов не секут, не рубят, – ответил князь, – а домой отпускают. Ступай и ты туда, откуда послан, – благо темно здесь. Ступай скорей, чтобы я тебя и в лицо не видал. Повинную голову и меч не сечет!

НЕ В КОЛЬЦО, А В СВАЙКУ

Самым малым деревенским ребятам известно, что без кольца играть в свайку нельзя: нет никакой забавы и невозможно показать ловкости в руках и зоркого прицела глазом. Умеет сковать свайку всякий деревенский кузнец: выберет троетесный гвоздь, обколотит углы, обровняет их так, чтобы казалось толстым шилом, и наварит на толстый конец из обрезков железа толстую и тяжелую голову (чем она тяжелее, тем лучше). Свайка готова: и на потеху малых ребят, и на похвальбу верным глазом взрослых. Надо попадать в кольцо так, чтобы не только угодить в серединную точку, но чтобы кольцо проскочило и завизжало, и с быстротой вонзилось тотчас же в землю, а того лучше в гнилые бревна подызбицы. В подобном случае попробуй вытащить эту «редьку» тот, кто проиграл, то есть не попадал в кольцо, а бил его по внешнему краю и вышибал свайкой из намеченного кона навылет или просто забивал кольцо глубоко в землю, ударяя в него головой свайки. За такие неловкие удары приходится долго служить, вытаскивая свайку, и часто наклоняться, чтобы передать ее счастливому игроку. Этот берет тонкий конец гвоздя или хвост свайки в кулак и всей пятерней броском вонзает в землю, причем самая свайка успевает раз перевернуться в воздухе. При верно намеченном ударе она обязательно падает на свой хвост, который и вязнет в земле. Наловчившиеся пробуют бросать

свайку, придерживаясь за хвост двумя пальцами правой руки, поочередно. Самый ловкий становится к кольцу спиной в таком расстоянии, что, предложивши острие ко лбу и наклонившись вперед, бросает через голову свайку так удачно, что она не только попадает в свое место, но и самое кольцо бешено взметывается с земли и задорно визжит у самой головки. Теперь от уличной забавы (как это ни покажется странным) для нас необходим переход к такому важному народному бытовому вопросу, как обычное народное право в применении его к наследованию имуществ. По этим народным законам, издревле установленным и нигде не напечатанным, но тем не менее общим и однообразным для всей России, в применении их к женщине, между прочим, заповедано «бабьему добру от бабы не отходить». Жена – хозяйка своего добра: все, что принесено ею в мужнин дом, принадлежит ей одной, будет ли то кладка (деньги от жениха в виде платы за невесту), или сундук (т. е. приданое в смысле даров от родителей носильным платьем, бельем и нарядами) и т. д. По смерти мужа, если она останется бездетной вдовой, все это она уносит с собой. Вдовою при детях, в значении хозяйки, она остается лишь до совершенных лет ребят, иначе пользуется только какою-нибудь частью имущества (чаще половиною). Во всяком случае, «мать при сыне – не наследница», точно так же, как «сын наследует отцу, но отец не наследует сыну». Мать хотя и великий человек (в мучениях родит, грудью кормит), но отец стоит выше матери: он родит, дети – его кровь, он властитель и хозяин, как Бог надо всем светом. На этом основании женщина и в семейном быту, и в юридических правах весьма ограничена, сильно обездолена и всегда обижена, особенно при имущественных разделах. Немудрено, но очень долго приводить все многочисленные доказательства тому, что «женский быт – всегда он бит» или «бей шубу – теплее, бей жену – милее» и т. п. При свекрови сноха – подчиненная безответная работница с распределением очереди (обычно по неделям) для отправления обязанностей стряпухи. Младшей снохе труднее всех, потому что она всех ниже значением, а старшая сноха, будь она

даже вдовою, сохраняет свое почетное положение и ее больше слушают. Только в том случае младшая поднимается на одну ступень выше, когда вернется в семью родная дочь, выданная на сторону замуж и успевшая овдоветь. При дележе, по смерти родителей, сестры при братьях должны довольствоваться тем, что захотят им выделить на справу к свадьбе, если мать при жизни своей не успела исполнить свою главную и священную обязанность – выдать дочь замуж (хлопоты о женитьбе сыновей лежат на отцах). Только в том случае делится имущество на равные части, когда наследницами являются дочери. Во всяком случае, до сих пор нерушим вековечный закон, выраженный пословичною формулою: «сестра при брате – не вотчинница». Отсюда же становится понятным иносказательное выражение, наше крылатое слово – «не в кольцо, а в свайку» идет имение, то есть поступает в собственность сына, а не дочери. Это значит, что заготовленное и сбереженное родителями имущество всего чаще не приращается, но проматывается по закону: «отцы наживают, детки проживают», и по пословице: «наживной рубль – дорог, даровой рубль – дешев».

ПО ЗЕМЛЕ И ВОДА, –

как живое и живучее слово перестанет считаться непонятным или дешевого смысла, если взглянуть на него как на древний юридический термин. Ясно, что в спорах о владении землей установилось естественным образом право владеть и водами, протекающими в границах земельного участка. По земле присуждалась и вода. Вся трудность, вызывавшая путаницу отношений и споров, заключалась в точном определении межей, когда живые урочища не помогали резкими особенностями и яркими очертаниями и приметами. В таких спорах обыкновенно являлись решителями дела указания стариков: приводилось свидетельствовать с соблюдением некоторых таинственных обрядов. В Каргополе сохранился самый старинный: доказывающий свое или чужое право кладет на голову кусок дерна, то есть «мать сыру-землю», и с ним обходит по

граням. В других местах дерн успели заменить честною иконою. В древней Ростовской земле епископ посылал священника с крестом св. Леонтия. Крест ставился на спорную землю, и свидетели должны были, удостоверясь крестом ростовского первомученика, определять: которой из двух тяжущихся сторон должна принадлежать земля. Таким образом, и в Ростовском княжестве «развод земли» производился так же по совести, «а не как в других местах (говорит описатель чуда св. Леонтия), где обыкновенно суды и тяжбы производились и лилась кровь». Самое же право владения определялось выражением: «куда топор и соха ходили» – по ту грань в лесу и на полях надо считать землю собственностью лица, поселившегося и приложившего труд на таких новях.

ПОКАМЕСТ

Здесь, между прочим, следует искать происхождения слова «покамест» как старинного, оставшегося кое-где в ненарушенной форме: «ждали по ка, – подождем и по та», то есть подольше, – слышится зачастую. «По ка (по какое место) укажут, по та и отрубишь» – обычно говорят плотники северных лесных губерний. «По ка мест живется, по та мест и жить стану», а индо уже подсмененное общеупотребительным наречием – пока, покудова, на северо-востоке России – дока, докуда, поколь, поколе, на юго-западе – поколь, покелева, покелича, покедь, поколи; на юге – покаме, покамест, покилича, а у белорусов и малороссов по́ки и допо́ки. По ка место как сложное существительное издревле склоняется в любимой и более употребительной форме множественного числа, например, как в старых актах, «по кех мест те судные деньги (то есть взятые взаймы) за ними, исполщиками (половинщиками в работах), побудут (вперед за условленную работу), а где ее запись выляжет, тут по ней суд» и проч.

Или так, как поступал Петр Великий.

Он что-либо прикажет исполнить, да непременно тотчас же и пристращает: «Если в срок не исполните, то велю

сковать за ноги и на шею положить цепь и держать в приказе “покаместо” (пока) выписанное исполнится». Такой, между прочим, указ послал он за своею подписью архангельскому вице-губернатору ближнему стольнику Ладыженскому.

Кому рассказывают про такое дело, которое он отлично знает и помнит, видел его очень ясно, своими глазами, а не усвоил по слухам, тот обыкновенно (в лесной Северной России) отвечает:

– Не рассказывай: я на межевой яме сечен.

Хотя это и не требует дальнейших разъяснений ввиду того, что межи или границы земельных угодий обыкновенно обозначаются «гранными ямями», тем не менее такое выражение обязывает остановиться на весьма важном народном обычае. Гранные ямы – такие места, которые не только представляют собою жизненный глубокий интерес для деревенских соседей в вопросе владения землею, водою и лесом, но имеют значение такого исторического явления в народной жизни, которое требует изучения как самобытное.

«Гранные ямы» прежде всего замечательны тем, что практический смысл прорывших эти ямы первыми на пользование будущих поколений научил зарывать сюда для признака уголья. Чтобы зарубить на память и закрепить такую надежную примету, что называется сверх сыта и окончательно, прикидывали сюда черепки горшков как негниющие (успевшие сохраниться в курганах до наших времен цельными). Рассчитывали на долговечную прочность также и углей, так как хорошо выжженный древесный уголь не гниет. «Уголь такой же негной, как нетленен и черт» (по пословице), особенно если первый, будучи положен в виде дров в ямах, истлеет без пламени, не сгорая, а медленно под костром земли, окладенной дерном. Уголь там, как говорят лесовики, тает, то есть поспевает от одного жара: дерево изникает на месте, как бы воск или олово. Тогда и вторые, то есть черти, по народному поверью, сумеют оценить достоинство такого вещества. «На межевом бугре, на угодьях да на черепках, черти в свайку играют», – думают суеверы и пословично говорят: «когда нечем черту играть, так угольем».

В те времена, когда руководили людьми прадедовские обычаи, межевые границы подчинялись особым правилам и определялись совершенно иными способами.

До времени изобретения мензул и астролябий оставались еще целые века впереди, а для измерения земельных имуществ не существовало никакой определенной единицы. Говорили и писали в актах «по туле и владение, куда топор и соха ходили» или по-другому: «по ка места плуг и соха ходили». Каждый брал на свою долю столько земли, насколько хватило у него сил для обработки ее. Стало быть, земля, никем не занятая в ту пору, измерялась личными трудами и силами первых насельников. На общинных землях, где каждый владелец участка ежегодно сменялся, способ определения границ временного владения сопровождался особенными оригинальными приемами, в обезличение общего права и в подкрепление коренного народного неписаного закона. Такой прием еще можно наблюдать в особенно яркой картине на землях Уральского казачьего войска, живущего до сих пор строгим общинным строем.

На реке Урале у тамошних казаков и по сейчас сохранился таковой старинный яицкий обычай при косьбе лугов. В силу законов общинного владения (особенно бережно и упрямо соблюдаемых этими казаками), все казаки, имеющие право на сенокошение, по тому же правилу, как и при рыбных ловлях, в назначенный день общего покоса – на ногах. Ждут сигнала. Когда он подан, все бросаются на луг и на те места, кто где захочет. Всякий спешит в запуски обойти косой, захватить желаемое место вокруг – «обкосить» до заката солнца. Обкошенное пространство на этот удалой и удачливой раз считается собственностью казака, и он может с семьей своей косить тут траву и при этом ни за что не посмеет завешиваться в чужой обкос. Паев здесь не разверстывают, а предоставляют все дело силе и расторопности, как и на багренном, и на плавенном рыболовствах. Сенокосные отводы делаются только тем казакам, которые не могут отлучаться по службе, но в самом ограниченном размере (не более стога на каждую служилую лошадь).

С 10 мая начинается ковыльцое, которое продолжается на общественных землях «обволочным» и кончается третьим сенокошением – общим «валовым».

Туман, застилавший грани владений, давно уже рассеялся перед планшетом съемщика, перед вехой и цепью межевщика-землемера. Теперь положен конец прежним захватам сильных и возникшей неугомонной борьбе между куренями рядовых казаков и хуторами влиятельных или богатых чиновников. Прекратились неурядицы, жалобы и иски – это неизбежное зло между «соседями» нынешними и «шабрами» старинными.

Конечно, в те стародавние времена эти споры и тяжбы, доходившие на полевых рубежах до драк, увечий и даже убийств, возбуждались неясностью межевых знаков. Это продолжалось даже и в то время, когда появились записи в актах, принявших народные термины на корне их происхождения в живом языке: рубежей – от рубить (резы на деревьях) и граней – от гранить (насекать) знаки на камнях и других твердых предметах. Ни в одном из актов нет ни одной черты, по которой можно было бы теперь выразить в цифрах величину чьего-либо владения. Немного также поправили дело и попытки правительственной власти, учреждавшей «меженины» (размежевания), которая сочинила так называемые разводные или разъезжие грамоты и писцовые книги, в величайшем множестве сохранившиеся в наших архивах. Принимались за признаки границ такие урочшца, которые истреблялись временем. Межи «западали», как выражались и в давнюю старину, как говорят и в настоящее трудное время. Алчность поземельного соседа всегда стояла настороже и, при оплошке и ослаблении бдительности соперников, являлась во всеоружии захватов, готовая и на насилие, и на открытый бой. Вековечная пословица оправдалась в лицах: «Межи да грани, ссоры да брани». Обозначалась беспокойная чересполосица.

Где земля представляла особые удобства жизни, там межевые споры были бесконечны: потребность в земле вынуждала одних жителей входить в те участки, которые сосед отвел для своих занятий, признавал своею принадлежно-

стью и засчитывал давность пользования и владения. Соседи, работавшие рядом межа об межу, грани свои перепахивали и, впахавшись в чужое, обыкновенно защищались тем, что «межи-де запали», то есть изгладились. Те и другие хозяева доказывали свое право на спорный участок, опираясь на живое фактическое обладание им, обезличенное приложением личного труда или затратою денежного капитала. Чем пособляли спорным делам?

Полюбовно устраивались такими способами: оба соперника выходили на спорный участок и предъявляли доказательства давнего владения. Чтобы спокойно владеть дальше вперед на неопределенное время, ставили метки, зарубали условные знаки на деревьях, отмечали особенно приметные и выдающиеся места и т. д.

Когда колебалась в доказательствах одна сторона и осиливала ее противная более вескими данными, а сладу и мировой все-таки не было, отыскивали, приводили на межи «знахоря», вполне доверяясь его свидетельству и решению. Этот «знахорь» (назывался так старинными актами) не был, по нынешнему нашему распространенному понятию, колдуном, умеющим портить и править людей, шептать и заговаривать. Старинный «знахорь» актов являлся просто знающим, опытным лицом, убеленным сединами, отягченным обилием лет и пользующимся всеобщим уважением как человек сведущий и опытный во всяких деревенских делах и задачах и, наверно, в детских годах сеченный вместе с товарищами вблизи или на этих самых межах. Доверие к ним народа выразилось в одном акте в такой общепринятой формуле: «Доселе была моей пожни межа по та места, а ныне по та места, по ка места отведут, как отвести подымет думу знахорей». Отводили земельные угодья знахари. Обе спорящие стороны оставались довольны, а велось таким образом несомненно исстари, с тех времен, когда существовало между нашими предками нетронутое язычество и первобытная форма отношений. Вот она какова в цельном и образном виде по старинному юридическому акту.

Встал судья из митропольчих посланцев на пожни, на наволок реки Шексны, в лугах, и говорил ответчику:

– Ты, Левонтей, перекосил государя моего митрополита пожню ту, на коей стоишь. Отвечай!

– Я ту пожню косил, а меж не ведаю. Ее заложил у меня в деньгах Сысой, а указал, господине, ее косите по та места́, чего на мне ищут, – говорил Левонтей.

Отвечал Сысой:

– То, господине, пожня моя, а ино вели повести знахорем, а у меня той пожни разводных (мировых) знахорей нет.

Спрашивает судья:

– Кто у вас знахорей есть на разводные межи?

– Есть у меня старожильцы – люди добрые. Те знахари стоят перед тобою, – оправдывался Сысой.

Этим свидетелям говорил судья:

– Скажите, браты, нам право: знаете ли, куды той пожни митрополиче с Сысоевой пожнею межа? – Поведите нас по меже!

Знахори отвечали:

– Знаем, господине: пойдите за нами, а мы тебя по меже поведем.

И под леса повели они судью от березы к трем дубкам, стоявшим середь пожни, а отсюда по берегам к вяловатой (развилистой) ветле, по самые рассохи (разрезы, где слились под острым углом две речки, по подобию развилин матушки-сохи Андреевны).

– Вот здесь межа митрополичья с Сысоевой.

Сысой сказал последнее слово:

– Знахорей у меня нет: дума этих свидетелей подымет (то есть, полагаясь на их совесть, верю им и вполне соглашаюсь с их указанием и вашим решением).

Во времена христианства в спорах о межах прибегали к «образу Пречистыя». Когда соглашались на такой способ, один старожил брал образ Богоматери, ставил его себе на голову и в сопровождении прочих знахарей шел по меже от дуба, на котором намечен был знак. Пошел немного до стоп-

няка, повернул направо, а когда вышел к паренине[1], за перелеском, то прямо указал гранные копаные ямы. От них, возле паренины, шел пожней на горелый липовый пень и здесь предъявил свидетелям ямы. Дальше он указал на дубок и на резаные на нем грани и опять шел вперед до речки, где уберeглась еще «грановитая сосна» (то есть порезанная знаками крестика, очка, угла, квадратика) или где стоит дуб со ссеченым (срубленным) верхом, что тоже означало границу и служило приметой, и т. д.

Такой стык или рубеж, казавшийся «знахорю» верным и справедливым, становился бесспорным на будущее время для обоих соседей. Когда со временем полюбовное размежевание таким способом объявилось недостаточным, начали прибегать к содействию государственной власти, у которой имелась на такие случаи особая должность «межевщиков».

Размежевальщик, он же и судья или писец, являлся на спорную землю, призывал тяжущихся и свидетелей, учинял разъезд, то есть делал пропашной борозду, устраивал межу, клал грани (то есть зарубки на стоячих деревьях), копал ямы и т. д. Добродушные старики, и потехи ради, и чтобы не отстать от обычаев старины, собирали ребятишек, клали их на эти взрытые сохой борозды (на которых любят ложиться зайцы) и секли их с наказом и приговорами для забавы и утехи скучавшего и сердитого, заезжего в дальнюю сторону межевщика[2]. Затем судья этот писал на бумаге разъезжую или раз-

[1] Третье гулевое поле, обыкновенно оставляемое под выгон скота, оно же и паровое поле, а степняк – сложенная в порядке куча: либо ворох булыжных камней, либо дрова или бревна, сложенные в клетки, обыкновенно счетом. (*Примеч. С. В. Максимова*).

[2] В доказательство, насколько этот первобытный обычай был повсеместным на русской земле, приводим выписки о таких же приемах на Дону, у казаков. Один автор пишет (г. Харузин): «Казак, облюбовав себе место, подводил к его границам своего малолетнего сына и больно сек его тут, чтобы помнил границу: это на его же пользу делалось: по смерти отца, он уже хорошо знал границы своего наследства» (толковали автору старики). Другой писатель о Донском войске (г. Тимощенков), как очевидец, говорит: «Граждане, сошедшись с гражданами других пограничных станиц, согласились насчет меж и поставили грани. Для того, чтобы они лучше помнились в народе, граждане собрали всех взрослых мальчиков как из своей, так и

водную грамоту по общепринятой форме. Тогда уже, вместо старинного сырого дерна на голову, прикладывалась горячая восковая или сургучная печать на бумагу, а на нее клались руки свидетелей, совершалось воочию людьми, неумелыми грамоте, то действие, которое сохранилось до наших дней уже в отвлеченном и переносном значении «рукоприкладства». К нему присоединились потом: присяга с поднятою правою рукою, сложенною в молитвенный крест, чтение или повторение за священником клятвенного акта, заключительное целование креста и слов Спасителя, то есть Евангелия, и наконец своеручная подпись на присяжном листе.

ГРЕХ ПОПОЛАМ

С грехом пополам бывает такое дело или даже самая жизнь, что можно выразить также словами: кой-как, так-сяк, с примесью добра и худа, горя и радости, довольным быть нечем, а, впрочем, ничего – не жалуемся, а терпеливо сносим: от греха не уйдешь. Грех пополам – это уже совершенно другое. Пополам с водою и молоко рыночное продается, пополам делят, по обычаю, и общую находку, а «озорники все рвут пополам да надвое». Несогласные семейные наследство делили: пополам перину рубили, не смотрели на то, что давно уже сложилась насмешка на таких людей: «Кувшин пополам – ни людям, ни нам». Пополам также люди торгуют, то есть работают на складочный капитал соединенными силами находчивого ума и налаженной опытом привычки. Впрочем, с такими приемами и воры мошенничают и крадут. В лавке торговец за свой товар запрашивает, покупатель дает свою цену, конечно, меньшую. Между посулом этим и запросом образуется, таким образом, разность. Она уменьшается по мере того, как

изо всех других станиц, водили их толпою по меже и секли розгами в тех местах, где стояли грани. Как кого высекут, так и пустят бежать домой. Делая это, они надеялись, что каждый мальчик до старости будет помнить то место, где он был сечен. В некоторых станицах казаки сообщали, что и пастухов в прежние годы секли на границах, дабы они помнили их и не гоняли бы скотину, куда не следует». (*Примеч. С. В. Максимова*).

соперники борются, слаживаются каждый на своих резонах. Выходит так, однако, что разность все еще такова, что им ее не осилить: тому и другому тяжело и невыгодно, а желательна сделка ради знакомства и других добрых чувств. Вот тогда-то эта разность оказывается «грехом» в смысле помехи, которую и решаются, с обоюдного согласия и по взаимному уговору, рубить на две равные половины, как бы бревно или полено, попавшие под ноги и мешающие ходу.

Таково самое простое, всем известное толкование этого выражения. Нередко каждому доводилось даже применять толкование его на деле, но у нас имеется про запас другой повод, чтобы указать иные применения греха пополам. В народной русской жизни здесь важно то, что этот обычай перешел в судебные разбирательства при исках и тяжбах: суды решают платить ответчику только половину той суммы, которая с него ищется. Так на Дону у казаков и таких же сибирских казаков (иртышских). Во-вторых, этот обычай упоминается еще в эпических песнях. Так, например, Илья Муромец говорит своему крестному отцу:

Батюшка крестный Самсон Самойлович,
Покажи ты половину греха на меня.

У донских казаков, в случае погибели скота во время езды, пастьбы или в случае недостатка доказательств для решения спора, станичный суд определяет платить ответчику только половину той суммы, которая с него ищется.

ОСОБ СТАТЬЯ –

слово вовсе не позднейшего происхождения, как сочинение приказных, шутливо пускаемое в оборот в нынешние времена, а очень старинное и при этом важного юридического смысла. В значении всего опричного и неуместного и как исключительная особенность оно применялось, например, к земельной собственности. Это было в те далекие времена,

когда все населенные местности, вроде деревень, тянули к своей волости и когда самые церкви с их имуществом находились в полном распоряжении мира, избиравшего для заведывания церковным имуществом особого приказчика. Таким землям нелегко было выделиться от мира, а надо было во всю силу тянуть заодно с черными волостными людьми. Бывали исключения. Старые и богатые церкви и монастыри взятками, подкупами, лестью и разными способами иногда добивались того, что писцы писали все их деревни «особ-статьей», то есть отдельно от волости. Тогда они имели уже и свои подушные книги, и своих приказчиков. Эти обители и приходы уже, «опричь черных людей», сами назначали подати земские и государственные и служили службы. В таких редких и исключительных случаях и монастыри и церкви получали название «особных» (неправильно объясненное в «Толковом словаре» Даля тем, что «в таких обителях каждый из братий жил на своем иждивении»). Позднейшие подьячие давали совсем другое толкование. Один квартальный не так давно отвечал: «я не человек, а лицо, а губернатор – особа».

В КРАСНУЮ СТРОКУ –

говорят, диктуя пишущему: «начинать с красной строки, писать в красную строку».

«Ярославские епархиальные ведомости» приводят любопытные сведения о значении этих обоих слов, рассказывая о том, как у нас в старину переписывали книги.

Приступая к переписыванию, писец возносил к Богу молитву о благополучном окончании предпринятого труда. Некоторые книги писались в течение 2–3 лет. Летопись, около 180 листов, написана монахом Лаврентием, в 1377 году, в 76 дней, то есть по $2^1/_2$ листа в день. Еще медленнее писалось Остромирово Евангелие, хранящееся теперь в Петербурге, в Императорской публичной библиотеке: оно писано на пергаменте 203 дня, то есть по 100 строк в день. Принимаясь за переписывание книги, писец, для ведения строк в равном

одна от другой расстоянии, проводил на бумаге прямые параллельные линии. Писали крупно – уставом, или мельче – полууставом и буквы ставили прямо. Каждую букву писали в несколько приемов. На каждой странице оставляли широкие «берега» во все стороны, то есть поля. Чернила употреблялись железистые, сильного раствора, глубоко проникавшие в пергамент. Удивительно, что цвет чернил большинства старинных рукописей сохранился до сих пор: они не выцвели. Смотря по уменью и усердию, книги писались весьма различно. Заглавные буквы писались красными чернилами, киноварью; отсюда – название «красной строки». Иногда заглавные буквы затейливо украшались золотом, серебром, разными красками, узорами и цветами. В орнаментации русских рукописей, преимущественно заглавных букв, входили разные фантастические существа: чудовища, змеи, птицы, рыбы, звери и т. п. В начале каждой главы или в конце помещалась заставка, нарисованная сложным узором.

У НАС НЕ В ПОЛЬШЕ

Заданное к объяснению и подслушанное в Великороссии выражение это, кажущееся неясным и в виде загадки, станет понятным с забытым или просто недосказанным придатком. Оно объясняет взаимное отношение супругов – говорят всегда таким образом: «у нас не в Польше, муж жены больше». Говорит это забаловавшийся, увлеченный своим мужниным правом, как бык рогатый, задуривший мужик жене, когда видит, что последняя старается забрать в свои руки значение и власть в семье. «Не в Польше жена – не больше меня!» – толкуют иные по-другому. В самом же деле говорится это без надлежащих справок, а с ветру, с чужого (солдатского) голоса. Известно, например, что в Подляхии муж с женой обращается так же деспотически и грубо, как и в наших местах. Он также готов бить жену за всякие пустяки, а безропотное терпение польской крестьянки выражается и в народных песнях, где жена называет мужа своего «па-

ном». И польская замужняя женщина, как великорусская (по песням же), «вековечная слуга», оправдывает мужнину тяжелую руку тем, что побои его свидетельствуют о силе мужчины и его достоинстве. Если казнит, то, стало быть, может и миловать. Он может всегда защищать жену от посторонних обид. Физическая слабость женщины вызвала потребность в защите со стороны сильного. И этот принцип сохраняется у всех западных славян до черногорцев включительно, особенно же у сербов. Там славянская женщина не протестует против семейного ига даже пороком и преступлением, но в великорусской семье подобное явление представляется уже довольно ясным. У нас имеется на этот случай и объяснительное выражение, и крылатое слово «срывать сердце», одинаково относящееся к тому и другому лицу, составляющему крестьянскую семью. При этом неизменна и древняя поговорка про жен: «день ворчит, ночь верещит, плюнь да сделай». Только, может быть, в высших сословиях Польши можно найти признаки женского преобладания в семье и несомненное участие в общественных делах и политических движениях, породившее начало поговорки, которая потребовала в ответ предлагаемую заметку. Существует в живой речи еще и такое выражение, обращаемое как окрик или упрек озорнику и своевольнику, привыкшему к самоуправству: «У нас не Польша, есть и больше».

КАМЕНЬ ЗА ПАЗУХОЙ –

остался в обращении с тех пор, как во время пребывания поляков в Москве в 1610 году последние хотя и пировали с москвичами, но, соблюдая опасливость и скрывая вражду, буквально держали за пазухой кунтушей, про всякой случай, булыжные камни. Об этом свидетельствует очевидец, польский летописец Мацеевич. «С москалем дружи, а камень за пазухой держи», – с примера поляков стали поговаривать и малороссы одним из своих прислови й в практическое житейское свое руководство и для оценки великороссов.

ВДОВА – МИРСКОЙ ЧЕЛОВЕК

Писатели подслушали верно, но не точно поняли эту юридическую, а не бытовую пословицу, выражающую почет и уважение вдовам, а вовсе не упрек или осуждение за подозрительное житье и недобрые деяния. На мирских сходах теперь, как и древле, женщина не являлась, так как не имела права голоса, пока оставалась в девицах или пока находилась замужем, то есть жила за мужем, за его спиною и под его охраной. Когда же она теряла мужа, то уже не возвращалась в отцовскую семью, а становилась сама себе госпожой и в доме хозяйкой. На самостоятельность указывают: и первая русская княгиня Ольга своим примером, и первый свод законов «Русская Правда», трактующая о вдове-матери, «яже сидети начнет с детьми». Припомним Марфу Посадницу на новгородском вече в особенности и тогда поймем легко и свободно, что вдова должна быть мирским человеком, то есть полноправным и самостоятельным членом разумно организованного общества. Если она, как в старину, не обязана являться на сходы, так и теперь она имеет право послать туда своего уполномоченного. В старину даже иногда и судебные акты совершались на дому тех женщин, которые не желали являться на сход. Теперь в иных случаях вдовы приводят на сход своих старших сыновей; в других случаях являются сами не иначе, как надевши на голову мужскую шапку покойного мужа и т. п.

Точно так же неверно толкуют пословицу «на вдовий двор хоть щепку брось» – не клевету, брань или недоброе слово, а добрую помощь, хотя бы растопками в печь. Вдове при детях предоставляется право полновластной хозяйки: она остается на месте, то есть в избе покойного мужа, пока не вышла снова замуж. Вдова старшего брата сохраняет в больших семьях свое почетное положение и ее как старшую сноху всех больше слушают: большая сноха распоряжается домашними работами. Говорят: «овдовеет – поумнеет», то есть более молчаливая, владеющая при муже ограниченными правами, которые расширяются с его смертию, получает возможность предъявить во всю силу весь запас знаний, приобретенных опытом прежней

жизни, и усилить проявление их на независимом просторе, при самостоятельном и ответственном образе действий и т. д. По пословице прямого смысла: «у вдовы обычай не девичий».

БИТЬ ЧЕЛОМ И БЫТЬ В ОТВЕТЕ

Оба выражения коренные русские – и первое из них с несомненным византийским пошибом – ведут свой род из Москвы и сохранились в языке как остатки московских дворцовых обычаев. Соберутся бывало бояре в «передней» Кремлевского дворца рано утром и после обеда в вечерню, – и только одни самые ближние бояре, имевшие право входить в «комнату» или собственно в кабинет государя. По словам Котошихина, «уждав время», бояре или входили туда, или на старом месте ждали выхода. Завидев царя, бояре и прочие чины кланялись государю большим обычаем, то есть в землю, прикасаясь лбом полу, а иные и постукивали им так, чтобы было слышно и ведал бы въяве государь про их любовь и усердие. От таких-то свычаев и обычаев пошло в оборот и до наших дней уцелело выражение «бить челом» в основном смысле «кланяться» и со всеми его разновидными применениями: на кого – значит жаловаться, в чем – извиняться, на чем – благодарить, чем – подносить подарки, о чем – просить. С просьбами и на честной поклон, перед царскими очами, большею частью и ходили ежедневно бояре в царские хоромы. Государь выходил к ним, по обыкновению, в тафье (шапочке вроде скуфьи или татарской тюбетейки), иногда в шапке. Ни ту, ни другую он никогда с головы не снимал «против их боярского поклонения». После приема царь шел в церковь, а по выходе от обедни начинал в передней, а иногда в самой комнате «сиденье с бояры». Это и называлось царской палатой или думой. При этих думных людях и всегда лично присутствовавший царь слушал судные дела и челобитные. Здесь же он назначал боярам должности и, между прочим, ту ответственную и важную, которая прямо обязывала государственных чинов «быть в ответе». Это значило вести переговоры с иноземными послами (переговоры и ответ одно

и то же), давать царские ответы или решения посольских дел. Происходили они всегда в особой палате, называвшейся и «ответною», и «посольскою». «В ней, – по свидетельству И. Е. Забелина, – подобно как и в Грановитой палате, устроен был тайник, тайное окошко, из которого государь слушал иногда посольские совещания». А по Котошихину: «А как им, послам, велят быти у думных людей в ответе и им потому-ж велено ездить в ответ учтиво». Затем, по общему закону, кто первый в совете, тот первый и в ответе, а по истории и ее свидетельству: «били, били, и бояре волком выли»: при Грозном – от опричнины и во все другие времена – от стрельцов-молодцов. По старинной поговорке: «они стреляли, да и мошну не забывали» (то есть обижали и грабили). Вероятно, с тех же пор и приметы: «лоб свербит или чешется, то либо кланяться спесивому, либо челом бить с правой стороны мужчине, с левой – женщине», и поговорка: «богатый-то с рублем, а бедный-то с челом»; «бей челом на Туле, а ищи на Москве» (намек на времена самозванщины); «я тебе челом, а ты уж знаешь, о чем» и т. п.

ЧИН ЧИНОМ

В этом ходячем выражении разговор идет, конечно, не о том чине, который велят почитать и о чем ходил по Москве анекдот, относившийся к Н. В. Гоголю. По возвращении его в Россию, после долгого пребывания за границей, один знакомый поинтересовался спросить: что его, свежего человека, отвыкшего от русских обычаев и порядков во время долгого пребывания в Западной Европе, прежде всего поразило в Отечестве. Николай Васильевич будто бы отвечал, что на первых же шагах в таможне самую первую фразу он услыхал на китайском языке: «чин чина почитай»[1]. Отвечал он так, сильно ударяя на звук «ч». В нашем выражении заключается толкование другого рода,

[1] Происхождению этого изречения основательно относят ко временам местничества, когда говорили: «чин чина почитай, а меньшой садись на край». Тогда же говаривали в свое утешение: «род службе не помеха». (*Примеч. С. В. Максимова*).

прямо применительное к тем случаям, когда нужно бывает поступать неторопливо, а исполнять все по порядку, степенно, как установлено приличием и обычаями, – так сказать, по церемониалу. Выражение «чин чином» или «чин по чину» прямо народилось в тех народных приемах, какими обставлялось самое чинное (в смысле степенного, чопорного, ломливого, требующего изысканной обрядовой вежливости) свадебное торжество с последующим пиршеством. Самые свадебные дары и даже сласти носят название «чинов». За сговором следует веками установленный церемониал. Вот, например, «чин поезда жениха» в дом невесты: 1) дружка или старший боярин с чинами – обувью, притираниями и другими подарками, с пряниками и орехами невестиным подругам; 2) большие бояре или прочие дружки с благословенным образом жениха; 3) сам жених со своим тысяцким, то есть посаженным отцом, каковым бывает обыкновенно крестный отец; 4) свахи и 5) лагунные бояре, обыкновенно двое, едущие в конце поезда с лагуном пива или ведром водки, чем и угощают встречных, чтобы не взглянули недобрым глазом или не вынули из-под поезда следов на несчастье новобрачных. А вот и «чин невесты» при выходе из дома в церковь под венец: 1) дружки; 2) бояре с благословенными иконами; 3) жених с тысяцким; 4) особо сваха жениха; 5) невеста со свахами (тетками и другими родными); 6) постельные бояре с приданым невесты и 7) лагунные бояре. После венца из церкви жених садится в сани или телегу рядом с невестой. Тот же порядок соблюдался и на свадьбах московских царей, лишь с большим количеством свадебных чинов, с большею пышностью и торжественностью, но с соблюдением основного народного чиновного устава. Стало быть, чин – не только самый порядок, установленный для определенного торжества, но и лицо, им заведующее и за него ответственное: «чин (ведется и устанавливается) чином».

БЕЗ ЧИНОВ –

в смысле «будьте, как дома, не церемоньтесь» сохранилось со времен московских царей, которые иногда снисходили

до того, что кушали в комнате запросто, без чинов, с некоторыми боярами, окольничими, думными дворянами и думными дьяками. Они приглашались по особому благоволению государя и сидели, в забавные времена местничества, на этот раз уже без мест. Милостивое внимание заглушало едкую боль щекотливого чувства, непомерному развитию которого очень способствовало само законодательство: в Уложении царя Алексея, например (в X главе), весьма подробно и точно оценена на деньги честь каждого лица. Можно судить поэтому, насколько тяжело было «сиденье» без чинов, если только это не было «сиденье» «перед царскими очами». Без того и вне священного царского дома (а нередко и в нем самом) были бесчисленные сутяжнические дела о бесчестье, даже одним словом, даже опискою в титуле. Вот какие слова и выражения были выписаны из челобитных как наносившие бесчестье: «Вольно тебе лаять, шпынок турецкий! – Из-под бочки тебя тащили. – Не Воротынский-де ты лаешь. – Ребенок! Сынишко боярской! – Мартынуша-мартышка. – Черти тебе сказывают! – Трус! Отец твой лаптем щи хлебал. – Отец твой лапотник, сулил сыромятную кожу и яловичьи сапоги. – Разоренье мне от тебя! – Мучил ты меня! – Что ты смотришь на меня зверообразно?» и проч. А вот что указал царь относительно исков по поводу простых описок на письме: «Буде кто в челобитье своем напишет в чьем имени или в прозвище, не зная правописания вместо о – а, или вместо а – о, или вместо ь – ъ, или вместо ять – е, или вместо и – і, или вместо о – у, или вместо у – о и иные в письмах наречия, подобные тем, по природе тех городов, где кто родился и по обыкностям своим говорить и писать извык; то в бесчестье не ставить и судов в том не давать и не разыскивать, а кто кого назовет князем без имени – и за то править бесчестье». Большая беда бывала тому, например, кто напишет отчество, кому не следует, без «вича» или кого в брани назовет князем без имени, то есть, например, вместо князь Иван скажет просто князь. Также и относительно недописки или прописки в чине само правительство установляло строгие взыскания: «кто пропишет бесхитростно –

чин или честь и в том даст подкрепление по св. Евангельской заповеди, под клятвою – тому того дела в вину не ставить и судов на них не давать». «А кто бесчестные слова напишет нарочно и на того суды давать и править бесчестье по Уложенью». За «такие скверные небылишные позорные слова» били батогами нещадно в подклетке, в одной рубашке, чтобы иным впредь воровать было неповадно. Бывало так, что ограничивались отсылкою виновных в тюрьму, а случалось, что наказывали ссылкою в сибирские города, если бесчестье словами было крепко выражено. Такова, например, перебранка: одни говорили: «Знали бы-де вы дядю своего Оску, палача, да липовую плаху» (у их дяди отсекли голову), – а другие им отвечали: «Пойдем-де прочь, что с таким псаренковым внуком говорить». Иной бесчестил такою неподобною лаею: «Не дорог твой и отец, что привез мертвому немчину голову отрезав: тебе б у меня живу не быть». Или вот как другой издевался над подьячим: «Добр подьячей, да язык высуня пишет», «Если б я, шед, и сзади его ударил, и язык бы ему пришиб» и т. п.

ГДЕ РАКИ ЗИМУЮТ

По народным приметам, этою завидною способностью знания владеют *хитрые люди*, умеющие отыскивать свое благополучие и устраивать благосостояние такими способами и при таких условиях, которые заурядным людям вовсе неизвестны. Хотя знатоки этого сорта не пользуются сочувствием прочих и об них отзываются с презрительною досадою, но уму их отдают преимущество. Предполагают, что они владеют исключительным знанием и выдающимися способностями. Сведения о местах нахождения рачьих зимовок, по суеверным понятиям, очевидно предполагаются исключительными, не каждому доступными, а лишь избранникам. От последних требуется если не полное изучение таинственных сил природы, то, во всяком случае, обладание одним из величайших ее секретов. Даже самый вопрос, обращенный в такой форме, в какой стоит он в нашем заголовке, способен поставить «в тупик, что некуда

ступить». Над дешевым ответом всякий поспешит как будто задуматься, даже по той простой причине, что не было случая об этом подумать прежде. Да и стоит ли самый вопрос внимания? И само-то водяное животное, принадлежащее к роду скорлупчатых насекомых (Crustacea) и представляющее вид речных раков (astacus fluviatilis), по русскому выражению, «ни рыба, ни мясо», именно то дрянное среднее, что возбуждает отвращение и брезгливость. В северной лесной России этого «зверя», который «по ножницам – портной, а по щетине чеботарь», в самом деле, употребляют в пищу с большим разбором и под сомнением. Потребляет их далеко не вся православная Русь. Раков, как и зайцев, не едят староверы, бережно уберегающие древние народные обычаи и суеверия и охраняющие их с особенною любовию и ревностию. Не могут лакомиться раками очень многие из таких людей, у которых этого рода съедомое вызывает болезненные припадки (в виде накожной сыпи или красноты), называемые в медицине диким неудобь-сказуемым словом идиосинкразии. Мало употребляет их в пищу и Сибирь, в каком бы виде ни подавали и каким бы соусом не замаскировали этих животных, которые, по народной загадке, в баню входят черными, а выходят красными и которые, в отличие от прочих, только одни в целом свете краснеют от горя.

Не без причины же взяты в пример эти скорлупчатые съедобные и не без основания около этого класса животных отыскал народный язык довольно-таки всяких иносказательных выражений. Отправляются ловить раков утопленники; краснеют, как рак, со стыда уличенные и пойманные в дурных мыслях на слове и в худых делах с поличным на месте. Пятятся раком отупелые в предрассудках и изжившиеся на устарелых и вымирающих верованиях и убеждениях в силу грядущего нового, не стерпя его света и убоясь его силы. Чрезвычайно забавны наши раки именно этою исключительною способностью – ходить не так, как все животные даже одной с ними породы. Иные ходят твердым размеренным шагом; омар с быстротой стрелы движется по каменистым рифам и песчаным мелям и, как хорошо направленная пуля, сильным прыжком бросается

на добычу. Наш рак – наоборот: ползает, пятясь назад даже с некоторою виртуозностью. Как тени, бродят раки около углов скал: глаза упорно направлены вперед, но крючковатые ноги изгибаются в сторону. Эти роющие многочисленные ноги с ножницами и щиплющими клешнями, с недоверчивыми сяжками и щетинами, которые все чего-то ищут и вздрагивают, силятся сказать что-то таинственное, таращатся, грозно пошевеливая усами, но на самом деле эти движения скорее противны, и рак кажется смешным и комическим до пародии. Немецкие зоологи так обрисовывают их характер и нравы: «Об умственной их жизни едва ли можно сказать хоть что-нибудь. Эти обитатели тьмы и глубины представляются как бы подвижными образами, живыми представителями и олицетворением сна, но в них нередко проявляется черта хитрости или страсти. Искусством не отличается ни одна порода раков (то есть ни речные, ни крабы, ни шримсы, ни ктырь и гарнат, ни омары); зато они все известны силою своего оружия. При нападении видна ярость в их глазах. Если двое из них встретятся, то бросаются один на другого, щиплют и дергают. Во всяком их движении видны холодные, впрочем, предусмотрительные флегматики. Скудное развитие чувств указывает на низкую ступень, которую раки занимают в животном царстве. Слух, однако, по-видимому, обладает большою тонкостью; обоняние тоже замечательно развито; даже ощущения вкуса лишены, кажется, не все раки, хотя орган вкуса у них до сих пор верно не установлен. Все эти челюсти и ногочелюсти, усаженные щетинками и щетками, обращенные в пилы, когти, ножи, – все они представляют у речного рака искусное вооружение и ненасытную работу этих органов».

Понятно, с какою легкостию и искусством и в то же время очень глубоко, при таких орудиях, вырывают себе норы наши речные раки, когда внезапные холода с крутым морозцем разом превращают всюду в мелких реках воду в стекло вплоть до самого дна. Немудрено раку войти в первое удобное место под камнем и еще легче просверлить нору, разрывая ногами целые горсти песку и, с помощью других ног,

откидывая их далеко от норы. Здесь он впадает в оцепенение и оставляет его тотчас, как только животворная теплота восстановит отправления тела. В норах раки и дожидаются весны, но видали их и между полярными глетчерами. Хотя и дознано, что несколько поколений могут размножаться без оплодотворения и раки отличаются плодородием (у самки омаров насчитали до 12 тысяч яиц), но и старые умеют зимовать. Не спуста слово молвилось и потому еще, что рак растет во всю жизнь, которая продолжается до 20 лет. В глубине норы скрывается самка, самец на стороже у входа держит свою боевую клешню поперек отверстия. В конце весны они только перелиняют, то есть сбросят кожу, которая лопается, подобно коре на дереве. В безопасном убежище они выждут отвердения новой кожи и опять живут, когда так называемые «жерновки», или «камни», или «глаза» рачьи – два угловатые каменистые сростка, содержащие углекислую известь и животную студень, – растворятся в желудочном соке. В новом мундире, при старых орудиях, которые вполне обеспечивают раков, как паразитов, для присасывания к другим живым телам, эти животные, перезимовавшие и перелинявшие, остаются все теми же хищниками. Таковы наши раки и по природе, и по своему внешнему виду. Даже коротенькие и маленькие из их породы смеют запускать ничтожный коготь в самую большую и сильную рыбу. Напрасно она увертывается и вывертывается: коготь паразита неотразимо вцепляется в тело, – и измученная болью рыба сама прыгает рыбаку прямо в лодку. Раки неподражаемым образом препарируют в воде трупы утопленников, собираясь изо всех нор, из-под каждого камня грозными и жадными толпами.

НАШИ СПЯТ

Это выражение до такой степени распространено всюду и хорошо известно, что редкий не слыхал его от тех, кому во время беседы неожиданно доведется громко зевнуть и в оправдание себя обмолвиться таким словом. По всему ве-

роятию, оно выговорилось теми первыми, которым довелось мириться с новым распределением работ и времени отдыха. Городские сроки не сходствуют с деревенскими, запаздывая против них: в деревнях спать ложатся раньше, особенно на безработице, в глухое осеннее и зимнее время. При этом чем глуше местность и первобытнее деревенские нравы, тем раньше гасят в избах огни. В некоторых местностях этот приговор при вечерней зевоте сопровождается указанием и на самую местность, где раньше ложатся и о которой тоскуют на чужбине. С чужих слов принятое выдается потом за свое и с течением времени становится родным и домашним. Так, например, в Горах, то есть в местности правого берега Волги от устья Оки к Суре, говорят: «наши за Волгой давно спят». Местные исследователи быта и нравов имели полное основание предположить, что приговор этот занесен сюда шерстобитами, являющимися именно из Заволжья (Семеновского и Макарьевского уездов), где обычно кончают работу и ложатся спать раньше, чем в Горах.

СОБАКУ СЪЕЛ

Таких выражений, не имеющих определенного смысла и не допускающих объяснений, в нашем богатом обиходном языке очень много. Вот и еще один из известных всем пример. Все, на что иные не обращают внимания, к чему другие не питают уважения, считая то пустяком, называется очень часто «трын-травой». В какой же ботанике мы разыщем ту траву, которая называется трыном и которая при этом всякому нипочем, ни для кого не имеет цены? Точно так же с трудом поддается объяснению весьма распространенное выражение «собаку съел»[1]. Это – тот, кто изучил до тонкости

[1] Впрочем, нельзя ли искать объяснения в обычае начетчиков хвалиться бойким чтением, когда они, громогласно читая (например на церковных службах), «борзятся», ведут это дело с такою поспешностью, что даже захлебываются? Слышатся отрывистые вскрики, чавканье и рявканье, непривычному уху простых людей кажущиеся подобными звукам собачьего лая. Старинные дьячки, для которых в самых богослужебных книгах указыва-

или искусства какую-нибудь науку, ремесло, торговый промысел, мастерство и т. п., тогда как настоящую «собачину» едят только небрезгливые китайцы. Они считают ее даже лакомым блюдом при исключительных условиях их поваренного искусства, имеющего дело со всякими слизняками и даже птичьими гнездами, приправляемыми столь прославившейся китайской голодовкой. У нас на Руси петрозаводцы попробовали нечаянно поесть собачины, так с той самой поры им от насмешек прохода нет. Всякий встречный их дразнит: «боску съел!». Или так – «боска, боска! на тебе костку!». Произошел этот несчастный случай с олончанами в Шелтозерском обществе, Петрозаводского уезда, таким образом.

В одной деревушке приготовились справлять свадьбу. В жениховой избе, по обычаю, шла накануне большая стряпня до поздней ночи. Северный человек, вследствие климатических влияний, вообще ест много, обязательно четыре раза в день на четыре выти, как говорят там (завтрак, обед, паужин и ужин). Олончане же сами про себя давно когда-то выговорили: «наши молодцы не дерутся, не борются, а кто больше съест, тот и молодец». На веселых свадьбах съестное угощение изготовляется в особом изобилии. Олончане в таких делах не отстают, по силе обычаев, от прочих. Мать жениха

лось правило петь и читать «косно, со сладкопением, неборзяся», не так давно давали прямой повод к таким уподоблениям. В актах археографической экспедиции свидетельствуют о том, что в церквах ввелося от небрежения многогласное пение, поют и говорят голоса в два, и три, и в четыре; читали псалмы борзо, вдруг, в несколько голосов и при чтении стояли лицом не к царским дверям, а назад или на сторону. В другом регламенте читаем следующее: «Худой и вредный и весьма богопротивный обычай вшел в службы церковные и молебны двоегласно и многогласно петь, так что утреня или вечерня на части разобрана, вдруг от многих поется и два или три молебна вдруг от многих певчих и чтецов совершаются. Сие сделалось от лености клира и вошло в обычай, и, конечно, должно есть перевести такое богомоление». Певцы пели, псаломщики читали, дьяконы говорили ектении, а священники возгласы, не выслушивая и не дожидаясь друг друга: все в один голос. Смущались души богобоязненных простолюдинов, и даже вызывались с его стороны горькие сетования и вынужденные насмешки: вот, значит, и впрямь проглотил в грамоте собаку, коли по-собачьи залаял, читая по книге. (*Примеч. С. В. Максимова*).

на этот раз надумала угостить «богоданную» новую родню, между прочим, щами с убоинкой, то есть с мясом свиным и коровьим. Чтобы капуста упрела, она выставила щи на шесток на ночь, чтобы на другой день опять уварить их и подать с пылу горячими. Затем она печь скутала и сама легла спать. В ту же ночь надумала ощениться собака, которых в тех местах предпочитают называть корельским словом «боска», но ценят едва ли не больше, чем в других местах. Где она забава, шут, почтальон, комедиант и игрок в домино, спутник и оберегатель дома и стад, – здесь она помощник в борьбе, товарищ на охоте и проводник и, сверх всего, в то же время упряжное животное: возит воду, а при случае и воеводу. По этой причине везде на Севере для такой суки заботливо отводят особую щипковую закуту, а в данном случае шелтозерка положила суку на горячую печь. Щенята жары не стерпели и расползлись, а сослепа попадали с печи прямо на печную загнетку и во щи. Собрались свадебные гости, подали «шти» – показались собачьи морды, уши и лапы: все разбежались и всем рассказали; дошло и до нас.

ПУСТОЗВОН

Это укоризненное слово, обращаемое к тем краснобаям, которые увлекают внешним блеском слов и постройки речей, но в результате их не оставляют того поучительного впечатления в памяти, на которое надеялся и рассчитывал внимательный слушатель. На каких данных основывается переименование краснобаев в пустозвонов? Невольно припоминаются нередкие в глухих городах и селах случаи такого рода. Нерадивые и нетрезвые священники велят звонить по праздникам для прилики. Сам батюшка в подгуле сидит дома, а пономарь позвонит в один большой колокол, а потом заведет и перезвон «во вся», по порядку заутрени и обедни. Звон сзывает прихожан, а потом незаметно приучает их к тому очевидному факту, что тут каждый раз – явный обман, напрасная тревога. Надо быть равнодушными. Иной усердный богомо-

лец бедняк-старичок придет к Божьему храму и, взглянув на запертые церковные двери, махнет рукой, покачает головой. И неудивительно, если он при этом накажет заочным укором и наградит бранным словом того, кто произвел этот призывной, но бесцельный звон, – «пустозвоном».

ГОЛ, КАК СОКОЛ

К кому только не приравняли совсем бедного, бездомного, неодетого и необутого человека! Говорят: гол, как осиновый кол, как перст или бубен, как сосенка. Такие уподобления, взятые для примера, наглядны и весьма понятны и в пальце, скудно прикрытом волосами, и в бубне, обечка которого нарочно обтягивается сухой кожей, тщательно очищенной от шерсти («тяжбу завел – сам стал, как бубен, гол»). Если всем хвойным деревьям судила природа смотреть вершинами только в высокое небо, то сосне заказано это строже других. Исполняя такое назначение, сосна стремится охотнее ели занимать самые возвышенные места, обрастает все горы своей семьей, борами, и не любит соседей. Она глубоко, как редька, пустила свой корень в сухую, большею частью песчанистую землю, но затем растеряла все ветви почти вплоть до вершины и густо скопила их только здесь в виде шапки. Большая часть ствола этих высочайших деревьев во всем свете является совершенно голою и такою же стройною, как все столь прославленные южные пальмы. На просторе, который сосна очень любит, древесный ствол высоко очищается от сучьев, потому что сосна сбрасывает отмирающие сучья и в молодом возрасте дает самые длинные, крепкие и голые жерди. Словом, все эти принятые в разговорном языке сравнения и уподобления с полным правом пользуются общим кредитом. Их довольно бы, но почему-то понадобился еще сокол – хищная птица, один из известнейших тиранов воздушного царства.

Природа снабдила сокола грозными орудиями, настолько надежными, чтобы быть ему сытым и не линять от не-

достатка пищи. Серый глаз с острым, холодным и жестким взором, угрожающий погиб клюва, расставленные люто когти – все это признаки могучего силача. Он по природе опытный воин, неподвижно покоится он в прозрачном воздухе, но его пронзительный взор видит все пернатое царство. С быстротою молнии, как всякий хищник, он падает на жертву и, как гастроном, медленно наслаждаясь, высасывает ее теплую кровь. Сокол еще, сверх того, обучается бить на лету особым, любимым охотниками приемом: он сперва подтекает под намеченную жертву, взгоняет ее, испуганную, ввысь, потом сам выныривает сзади и, взмахнувши крыльями, взлетает вверх и тотчас опускается в то самое время, когда испуганная птица падает как бы с последнею надеждою на спасение. Он, как живой нож, быстро распарывает ее, перерезая горло, и пьет кровь не так, как ястреб, который щиплет куда ни попало, а как запойный пьяница.

Этот-то своеобразный полет и оправдывает ту ходячую поговорку, что «видно сокола по полету, как доброго молодца по ухваткам». На длинных и широких крыльях, подобно орлам, сокол показывает всю силу величавого стремления и поразительную красоту парения. Как рыба в воде, он парит в воздухе, как бы покоясь на незримом облачном столбе, и сам воздух стремится к нему навстречу целыми потоками, ищет и окружает его, проникает в него, подымает и носит.

Оперен сокол так же, как и все летающие птицы, представляя в воздухе непроницаемое целое из бородок перьев, переплетенных между собою. При этом он свободно и красиво плавает в воздушном пространстве, и вся фигура его отличается теми же мягкими контурами, которые при ярких цветах, вообще предназначенных всем хищным птицам, делают из сокола красавца. За это его восхваляют и в песнях, и в пословицах, и в поговорках. Для русского доброго молодца нет лучшего уподобления и наибольшей похвалы. Зачем же этой красивой птице придается такая несчастная, унизительная прибавка, какая указана нами в заголовке? Если сталось так по набалованной привычке к приятному для уха созвучию,

то отлично выручает и заменяет кстати подслужившийся и успешно выполняющий свою службу осиновый кол.

Действительно, мертвенно гол и гладок другой «сокол» – одно из старинных стенобитных орудий, которое обыкновенно выливали из чугуна, подвешивали на железных цепях и ломились им во всякую стену, каменную и деревянную, с большим успехом. Если изловчались придвинуть сокола к воротам, то и от железных створов летели только осколки да куски. Это – то же тяжелое бревно, окованное на одном конце и называвшееся также тараном или, еще проще, бараном. Под именем сокола идут и большие ручные ломы, которыми обычно ломают и гранитные камни, и каменную соль. Ручная баба или трамбовка вроде песта – тоже сокол, в работе и от нее не только голый, но и ясный сокол.

ПЕЧКИ И ЛАВОЧКИ

К слову о крестьянской избе, где печь занимает целую треть всего помещения, а лавки наглухо приделываются к трем стенам обычно четырестенного рубленого бревенчатого жилого сруба. Всего-то счетом сто бревен, каждое не больше 8 вершков в толщину, обеспечивают любую крестьянскую семью и на сырое осеннее, и на холодное зимнее время. Затем, в тесноте да не в обиде, имеется в избе все то, для чего господам купцам и дворянам надобится целый десяток комнат.

Вглядимся, в самом деле, и вдумаемся именно мы, обязанные платить для помещения своих семей в здешней столице тысячи рублей ежегодно.

До первого деревенского пожара русский крестьянин уладился в своем тесном жилье таким образом:

В левом углу, первом от входа, поставлена либо битая из глины, либо кладеная из кирпичей печь – «мать наша» в самом широком значении. Около нее – многое добро и всякая благодать, что выражается великим словом «семейный очаг», понятным всему человеческому роду и драгоценным каждому мыслящему существу. Все пространство между печью и сте-

ною с волоковым окном, выходящим на улицу, принадлежит женщинам и носит название «бабьего кута». Это и кухня, и рабочая женская комната, и будуар. Угол этого отделения избы так и зовется «жернов угол», где стоит жернов и ставятся прялки. Если это место и не отделяется от прочей избы перегородкой или ситцевой занавеской, то подвешенная к потолку зыбка показывает, что тут уже детская. Затем следует «красный или большой почетный угол» с иконами на тябле и с обеденным столом – все вместе: моленная, столовая и гостиная. Отсюда к задней стене и в угол «коник или хозяйский кут» – рабочий кабинет и спальная хозяина, с разными пожитками, орудиями и сбруей под лавкой в ларе. Над этим кутом настланные полати – общая спальня и гардеробная: одним краем уширяются на пристройку к печи из досок. Это – «голбец» или чулан для поклажи провизии и для схода ее в подызбицу – подручную холодную кладовую. Он пристроился к печи, и на нем всегда сидит дед, которому, вместе с бабой, отдается во владение вся теплая печь. Здесь они, как в богадельне, и доживают свой век, получая тут и спальную, и, на случай, рабочую комнату. В подпечке – место для котят, в запечке – для щенят. Подле печки приделывается шкапчик, удобно заменяющий целую буфетную комнату. Под лавку печного бабьего кута или «стряпного угла», обыкновенно, сметается весь сор избы веником.

Начав с печи, так как она первая встречает всякого входящего с улицы в избу, и кончив ею, мы обошли по лавкам все крестьянское жилье, известное целому свету своим гостеприимством. Для гостя – за столом самое почетное место в красном углу, под образами, на столе – все, что есть в печи; для спанья на ночь – та лавка, которая идет от коника под самые святые образа.

Если же гость очень измок и зазяб, – ему предлагается место на самой печи, вообще без всякого стеснения и при полной готовности и радушии. Полежать на печи да крепко выспаться, за стол залезть, да из печи сытно поесть, на лавке посидеть – покалякать, да хоть и опять на печь и снова за стол. Это ли не житье, не блаженство? Это ли не дружба, что водой не разольешь, когда

все вместе: и эти самые печки, и все лавочки? «Кто сидел на печи, тот не гость, а свой» – говорит уже прямо другая пословица.

ДЫМ КОРОМЫСЛОМ

Та же печка или, собственно, дым из ее широкого жерла или трубы дал повод к разным общеупотребительным выражениям и поговоркам. В так называемых курных избах, которые ставятся без труб, дым из устья печи валит прямо в избу и выволакивается «волоковым» окном, открытыми дверями либо дымоволоком, выведенным в сени. Говорят: «тепло любить – и дым терпеть», «и курна изба, да печь тепла». Выходит дым из труб над крышей, судя по состоянию погоды, или так называемым восходящим потоком, либо «столбом» – прямо вверх, либо «волоком» – стелется книзу, либо «коромыслом» – выбивается клубом и потом переваливается дугой. По этому гадают на ведро или ненастье, на дождь или ветер и говорят: «дым столбом, коромыслом» про всякую людскую сутолоку: многолюдную ссору со свалкой и суетней, где ничего не разберешь, где «такой содом, что пыль столбом, дым коромыслом, – не то от таски, не то от пляски».

Когда подымала пыль столбом московская рать Ивана Третьего, шедшая громить Новгород в сухое лето 1471 г., тогда и дым коромыслом буквально и успешно сыграл свою историческую роль на всех трех дорогах, которые вели от Москвы. Тогда немилосердно жгли села и пригороды, убивали без разбора и сострадания и малых и старых и «клали пусту всю землю». Между прочим, осаждали Вышгород и стали сильно теснить огменными «приметами». Вышгородцы защищались храбро, стреляли метко и убили одного из предводителей, а камнями ловко раздробляли головы. Да не было у осажденных воды, их начала мучить жажда. Дым, переваливаясь через стену и застревая в забралах (наличниках шлемов), слепил глаза и сильно беспокоил. Осажденные не выдержали: вышли со крестами, и воевода их кричал: «Учините над нами милосердие, мы же вам животворящий крест целуем».

БРАТАТЬСЯ

С древнейших времен Руси побратимство умело выражаться в особом слове и оригинальном обычае «крестового брата». Совершенно чужие люди обменивались тельными крестами и обязывались на всю жизнь взаимной помощью и дружбой, более крепкими узами, чем те, которые существуют между кровными родными. Обменявшись, крестились и обнимались, называясь потом «побратимами» и «посестрами». Не так давно в бурлацких артелях заболевший рабочий, которого обычно бросают на дороге на произвол судьбы, если имел крестового брата, был обеспечен. Побратим, несмотря на все тяжелые невыгоды остановки, хлопотал о больном, пока тот не поправится и не удастся его пристроить к какому-нибудь делу. Этот же обычай приладили русские люди к инородцам, наиболее оказавшим способности и заявившим стремления к обрусению (в особенности вотякам)[1]. Однако похвальным обычаем злоупотребляли, пользуясь беззаветной искренностью и простотой полудикарей, то есть делались побратимами на те случаи, где предполагался перевес выгод и услуг, и переставали держаться обычая, когда он начинал стеснять. На этот случай сохраняется много забавных анекдотов. Однако в этом христианском обычае чисто русского происхождения (теперь, кажется, совершенно исчезнувшем) нельзя не видеть одного из действительных средств к тесным сближениям с аборигенами дремучих лесов на всем пространстве колонизационного движения русского племени. Братались – и плотнее садились на новых землях.

КАША САМА СЕБЯ ХВАЛИТ

Какая ни уварись: изо ржи – оржаная, из ячменя – яшная, из гречи – грешневая, всякая каша хороша и каждая сама за себя ответит. Нечего ее хвалить и попусту слова терять, когда налицо самое дело в незатейливом и скромном виде, с наглядными и ощутительными достоинствами. Никто не мудрил, не

[1] Удмуртам. – *Сост.*

ломал головы: налил в горшок воды, насыпал крупы, присолил, поставил на огонь, – она и уварилась. Не зевай только, чтобы каша не перекипела, когда вода забьет ключом, и не ушла бы из горшка: это очень худо и всегда не к добру. А вскипит в меру и уварится густо – нет для русского человека вкуснее и слаще этого кушанья, и потому еще, что оно непременно требует масла; «овсяная каша тем и хвалилась, что с коровьим маслом родилась». Замечают даже так, что русского мужика без каши и не накормишь. Да и она, в самом деле, везде с ним, выручая его даже и там, где нет ничего: и в лесу, где лишь одни пенья да коренья, и на реках, где песок да каменья. Мало крупы для нее, – можно ее повернуть на кашицу и все-таки остаться довольным: спорое кушанье – из малого выходит большое. Оржаная каша даже благодарнее пшенной, а с грешневой всегда такое дело, что и «есть не хочется, а отстать не сможется». В самом деле, это заветное, можно сказать, – даже ежедневное народное кушанье: точно какое «святое», добрый друг и охранитель, обрядовое приношение, как бы осколок старой языческой веры наших предков. Вероятно, вся эта честь за то доброе свойство каши, что она встречает и умеет с честью поддержать человека на первом и на последнем пороге его жизни. Ей главное, красное место и на крестинах, и на свадьбах как заветному праздничному блюду, вроде блинов на масленице, яиц на Пасху и т. д. Крестильную кашу даже покупать надо, то есть платить повитухе деньги с приговором: «кашу на ложки, а молодец (новорожденный) на ножки». Для каши уряжен издревле особый праздник (на Рождество Христово «бабьи каши»). На нее и гадают (летом румянится она в печи к дождю, зимой к снегу, вылезла в печь – к добру, из печи ушла – к худу). На ней расчет у рабочих и достоинство самой работы («ела коса кашу – ниже бери, не ела ее – ходи выше»). У плотников, при постройках новых крестьянских изб, издавна велся такой обряд. Когда строение было готово вчерне, ладились «подымать и обсевать матицу», то есть тот поперечный брус, на который застилается потолок. Когда она поднята и укреплена в последнем венце, – варят кашу, кутают горшок в полушубок и

подвешивают на веревке к матице. Плотник лезет на потолок, обходит настланный накат этот, рассыпая рожь и хмель на счастливое житье в новом доме. Проходя по матице, он рубит топором веревку, на которой висит горшок с кашей, и садится с товарищами есть это сладкое и масляное кушанье. Едят они с приличным угощением водкой и пивом от хозяина – сверх ряды за сруб избы. Затем опять следуют в живом языке выражения и уподобления, заимствованные от этого всенародного кушанья, – значит, «сыт пострел, коли каши не ел», потому что всякому брюху должно быть любо, «если глаза видят кашу», во всей ее простоте и скромности. Зачем выхваляться хорошему человеку теми доблестями, которые и без того всем видны? Что хорошо, того нечего хвалить, – иначе выходит самохвальство, то есть докучливый и оскорбительный порок, выродившийся из тщеславия. За это он и осмеивается, с легкого сердца, а погрешивший и уличенный хвастун приравнивается к каше: то к оржаной, то к гречневой.

И ЗВЕРЮ СЛАВА

Животное царство дало много подобий, пригодных для пословичных выражений и крылатых слов. Так, между прочим, наблюдения над животным царством из пернатых привели к уподоблению галкам людей, ненаходчивых в трудные минуты жизни и ввиду неожиданных препятствий. Все у них идет хорошо, ведется по привычным приемам, и вдруг остановка такого рода и свойства, что иные имеют дурное обыкновение при этом широко раскрывать свой рот. Чтобы достигнуть такому человеку намеченной цели, надо начинать дело сначала. Полоротые дикари захолустных мест получили такое насмешливое прозвище, заслуженное ими явно показанным изумлением при виде невиданных и незнакомых диковинок (таковы костромские галичане, которые в Москве свою деревенскую ворону узнали; таковы же ярославские пошехонцы и многие другие). Причина заключается в добытых наблюдением данных из жизни галочьей породы вороньего рода. Строит галка гнездо, – и

все идет у ней хорошо, умно, даже очень остроумно: отыскала прутик, подняла, подбросила, повертела – значит взвешивала, делала выбор и примеряла подходящую ветку – не всякая годится. Иную не унесешь, другую стащишь да не уложишь. Выбрала птица ветку, взяла ее клювом поперек за середину и установила для облегчения полета полное равновесие. Летит умная и смышленая птица к гнезду – и вдруг поглупела: ветка, взятая поперек, не идет в маленькое отверстие гнезда. Стоило бы ухватить ветку или прутик за один конец и свободно просунуть другим концом, а между тем птица бьется изо всех сил, стараясь просунуть, хлопает крыльями, вертит головой и хвостом, – и не попадает. Выбившись из сил, она бросает ветку и летит за новой, с которою начинается такая же возня, как в сказке про белого бычка. Кто всматривался в галочьи гнезда, тот видал, как много под ними разбросано сухих прутиков и веток: все это собранные материалы, но, без ватерпаса, топора и скобля, не прилаженные к сооружению в должную меру. Выходит, по пословице: «галка не прытка, и палка коротка», «разбросались палки на чужие галки»[1].

[1] По отношению к названиям птиц в нашем родном языке замечательна выдержанность при усвоении их в звукоподражании. Не говорим уже о зловещей кукушке, накричавшей свое прозвание целому свету и всем народам, хитрый, осторожный, выступающий театральною поступью с гордо приподнятой головой и высматривающий умными и пронзительно-зоркими глазами ворон называется в Белоруссии необыкновенно верно, в соответствии его крику на полете, – «круком». «Карр», а всего чаще «крра», «грра» с самыми первыми признаками весны должен слышаться ежеминутный неустанный крик в городских садах и пригородных рощах, где много старых деревьев. На них-то и накидывается птичья стая, со времен Творения привычная жить большими колониями, бесчисленными артелями, – стаи вороньего рода сплошь черные и белоносые грачи (этим-то звуком «грра» и рекомендует себя при первой встрече старая птица этого рода). Прислушайтесь, когда летит за добычей самая маленькая изо всего вороньего рода птица с коротким и толстым клювом, черно-серая цветом, похожая на ворону, но отмеченная особым именем «галки», – прислушайтесь к крику ее внимательнее: она ясно сама выговаривает свое неважное имя. Весной, сидя парочками, галки умеют очень мило болтать вполголоса и на разные лады, подобно шебетунье-сороке, – как подметил то прислушливый к жизни природы и ее голосам профессор Дмитрий Кайгородов. Такой естественный народный прием в присвоении прозваний довольно нагляден, обычен и понятен, не требует представления дальнейших доказательств. (*Примеч. С. В. Максимова*).

Лентяй, вечный соня и неповоротливый лежебока обзывается именем хомяка, неисправимого хищника зерен, который и больно кусается, и терпеливо сидит в своих норах и проходах. Таким понят он у нас (у немцев хомяк превратился в пословицу, рисующую образчик скупости, соединенной с гневною яростию).

Кто работает суетливо, но без пользы и добрых последствий; кто всю жизнь хлопочет, состоя при одном и том же деле или ремесле, мучительно перебиваясь в нужде, тот трудится, что белка в колесе.

Болтливую, неугомонную бабу – рыночную торговку, свах и прочих разносчиц вестей и сплетен, зовут сороками, с сорочьим языком, сравнивая их с долгохвостой птицей. Вертушка эта непоседливо прыгает, пляшет в присядку на задворках и неугомонно стрекочет – сокочет, гостей пророчит, на хвосте вести приносит. Она скажет вороне, ворона борову, а боров всему городу. «Сорока пустая» – это всякий пустомеля, любящий много болтать: наскажет он тебе даже и то, «на чьей сороке изба сидела». Вообще эта птица, совершенная лисица между пернатыми, народом нелюбима. Ее считают проклятой трижды: одни говорят, что она, склонная воровать чужое добро, утащила у великого постника и подвижника не то просвирку, не то лепешку с окна кельи. В Москве толкуют, что она навела врагов на боярина Кучку, владевшего той землей, где стоит теперь белокаменная русская столица. В этом же городе обернулась сорокой-птицей и улетела Марина Мнишек, когда супруг ее, Самозванец, был убит московскими людьми. Всякий раз эту птицу проклинали, и она спешила оставлять такие места с тем, чтобы в них никогда уже больше не появляться. Все тому рады, потому что сороке заказано предсказывать всякие беды и напасти. К тому же она – воровка, или, как говорят в народе, – «охоча до находки», – в сущности же она наделена страстью к блестящим вещам, которые таскает и прячет.

С другой стороны о вороне – родной сестре белобокой сороки – не установилось одинакового мнения: кто считает ее воровкой, кто приписывает ей похвальные добродетели, кто

находит в ней комические стороны, применимые к людским свойствам. Большой рот ее пригодился в укор тому, кто имеет дурную привычку, слушая, разевать рот. Дураковатый ходит, постоянно держа его незакрытым; рассеянный и несметливый умеет прозевать подходящее дело и полезное начинание. Полоротая ворона, одетая в павлиньи перья, понадобилась для укора и насмешки над тем, кто не по заслугам хвалится и гордится и, чествуемый не по достоинству, даже наружно старается показать себя вороньей гордой выступкой. Коренастая неуклюжая ворона, мерно расхаживающая по двору, распустив на груди перья, важно кивает головой при каждом шаге – не столь величественно, сколь смешно: «ворон соколом не бывает», по словам пословицы. И за море летала, а вороной вернулась. Плох сокол, если ворона с места сбила, и частенько бывает в жизни и службе, что «сокол (снимается) с места, ворона (садится) на место».

Настойчивый до докучливости человек уподобляется у нас дятлу – той птице пурпурового цвета, которая на верхушке дуба или сосны откалывает куски коры и щепки от ствола длинным сильно сжатым клювом. Последний служит и ударным молотом, пробующим крепость дерева и отыскивающим гниющее, наполненное червячками и насекомыми для пищи, – и буравом, высверливающим из-под коры добычу. Долбит он неустанно (и «как у него голова не разболится» – острит народная поговорка): его странное стучанье раздается в лесу даже и в ночную пору. Настойчиво он долбит кору в то время, когда его сильные ноги и черные глубоко-вонзающиеся когти вместе с хвостом, на который дятел упирается, как на палку, помогают ему целые сутки не оставлять дерева и по нескольку часов держаться перпендикулярно на стволе, как на намеченной жертве. Со скоростью ящерицы обегает птица кругом дерева и все лезет вверх, потому что вниз она лазить не умеет.

Бестолковый, туго смекающий и плохо вникающий в чужие речи и мысли человек, сидя, хлопает глазами, «как сыч» (не сова или филин, а совушка). Особенно удачно это уподобление по тому видимому признаку, который делает глаза птицы

подобными человеческим. Значительно увеличивает это сходство кружок из перьев, окаймляющий эти огромные глаза, от которых не ускользает ни малейшее движение жертвы. Днем меланхолически неподвижная и молчаливая птица, поводящая из стороны в сторону плохо-видящими глазами, действительно дает легкую возможность к составлению укоризненного сравнения, пригодного для смешных и досадных людей.

Глухой человек и по свойствам, в нем замеченным и приравненным к лесной птице глухарю или тетереву-косачу, в самом деле обнаруживает характерное наружное сходство. Сидит в архангельских лесах в тайболах этот глухарь на дерезе и равнодушно-смело глядит (не шелохнувшись и покачиваясь с боку на бок) на прохожих и проезжих людей. Словно он никогда их не видывал и про их хищные наклонности не слыхивал, а сам впервые старается ознакомиться. Куда направляются шаги охотников, туда и птица смотрит (за это почитают их и зовут глухарями). Когда же птица на току надувает горло, распускает крылья, семенит ногами и, как пьяная, ворочает глазами, тогда охотник может смело подойти к ней и удачно застрелить: птица страстно увлеклась и никого теперь неспособна заметить. Их при завоевании Амура солдаты просто убивали палками.

Орлиный и соколиный взгляд, ястребиный взор в смысле уподобления известного выражения глаз человека, как немой, но высшей речи его – выражения, весьма всем известные не по одним поэтическим произведениям. Выбор именно этих птиц, а не иных, можно назвать самым счастливым: хищные птицы в особенности наделены от природы остротой зрения. Она обеспечивает им жизнь, облегчая добычу продовольствия разбойным способом, на чужой счет. Пернатое царство, в отличие от прочих животных, почти все одарено завидным преимуществом острого зрения.

В жаркий летний день у завалинки избы в пыльной ямке беззаботно и с очевидным наслаждением купается курица, распустив крылья и перья хвоста. Она совершенно забыла о своих цыплятах и вдруг всколыхнулась: вытянув шею, начинает она повертывать то тот, то другой глаз, направляя зрение

в небесную глубь и лазурь. При этом издает она необычные тоскливые звуки, подобно умоляющему стону. Она горбится и надувается и делается спокойнее лишь тогда, как все цыплята сбежались к ней и она успела прибрать их под себя и прикрыть крыльями. Птица заметила врага, очень высоко плавающего в воздухе, и самому зоркому человеку кажущегося нисколько неподозрительной маленькой точкой. Это плавает ястреб, умеющий намечать жертву с такой выси, где сам совершенно скрыт от людских взоров. Оттуда же взвившийся почтовый голубь превосходно видит свою голубятню и падает прямо на нее. Глазной хрусталик всех этих птиц наделен способностью делаться более или менее плоским или слабо выпуклым для наибольшей дальнозоркости. У голубя, например, глазной хрусталик может значительно изменять свою кривизну из плоской в выпуклую и наоборот. Сверх того, природа озаботилась снабдить птиц лишним против нас веком – третьим, внутренним, прозрачным и тонким. Оно непосредственно прикрывает собою глазное яблоко: при каждом движении наружных век внутреннее, быстро вращаясь, обтирает и прочищает зрачок, освежает его и придает зрению новую энергию и силу.

ШИВОРОТ НАВЫВОРОТ

Шиворот «навыворот», как и «зад наперед», – однородное несчастие и прямая неудача: сделать вовсе не так, как бы следовало, истолковать превратно, разъяснить извращенно, сказать и поступить совсем наоборот, думать затылком, как говорят попросту крепкие задним умом деревенские русские люди. Шиворот в обиходном употреблении разгуливает по свету и в смысле ворота, и в значении затылка, одинаково в народной жизни имеющих большое значение. Для пущего позора обычно бьют по шеям, сгоняя прочь с занятого места и отказывая от дела, в расчете, что у русского человека шея крепка: многое на ней висит тяготой и бременем – и ничего, выносит себе. Блажен и счастлив тот, кто «сваливает с шеи» – отделывается от докучного дела и освобождается для

отдыха; но не завидует никто тому человеку, который «берет на свою шею», то есть на свой ответ, конечно обязываясь при этом разнообразными хлопотами и многочисленными заботами. За тот же шиворот хватают тех, которых ловят на месте преступления или ведут на суд и к ответу. Равным образом бывает обязательно для всех, как непреложный закон: «по шее и ворот». И самый ворот также имеет большое значение и получает разнообразный переносный и прямой смысл. В последнем значении он служит даже важным племенным этнографическим признаком, по которому легко различаются северные русские люди, пристрастные к косому вороту на верхнем (армяках и полушубках) и на нижнем одеянии (рубахах), от южных жителей (малороссов и белорусов). Эти последние искони предпочитают прямой ворот – с разрезом по середине шеи на гортани – косому, застегнутому на правом боку для пущей защиты груди от холода. В старорусских обычаях этот ворот играл даже более значительную роль: он отличал боярина от простолюдина тем козырем, который на торжества и царские выходы прикреплялся, весь вышитый золотом, серебром и жемчугом, сзади шеи, на затылке к вороту парадного кафтана (зимой к нему пришивался ожерелок, то есть меховой воротник). Расшитый козырь торчал так внушительно, придавая осанке прямое и гордое положение, что до сих пор сохранилось выражение «ходить козырем»: надменно, высоко и прямо держа голову и не сгибая спины, с полнейшим сохранением важного достоинства и вида, с видимым презрением ко всем прочим. С тех пор все, что резко выдается вперед, как бы наступает и грозит, зовется козырем, начиная с кожаного зонтика, пришитого к картузу или шапке, и кончая передком саней, дерзко загнутых кверху. Оказалась козырем та игральная карта, которая бьет остальные масти, и «козырь-девка», которая выделяется от подруг находчивостью, веселым духом, видным ростом и бойкими ухватками и всегда и везде впереди всех.

Ни один боярин ни разу не надевал своего ворота наизнанку и навыворот не по одному лишь тому, чтобы не стать

в глазах других посмешищем. С последнею целью выворачивали наизнанку, на исподнюю, выворотную сторону все носильное верхнее платье, чем особенно любил забавляться грозный царь Иван Васильевич, а за ним и московская чернь. Обреченные на такой позор отягощались еще тем, что их сажали на лошадь лицом к хвосту. И в наши дни, когда второпях надевается платье и нечаянно загнется ворот, поправляют его с невольной улыбкой и поспешностью – и теперь так же точно надеть платье наизнанку значит не к добру: «биту быть», как спроста говорят мужики. К добру выворачивают намеренно они же овчинные шубы и полушубки только на свадьбах, как родители жениха, при встрече молодых из-под венца, чтобы наглазно показать им желание свое быть богатыми, жить в тепле и холе. В старину чаще всего практиковался этот способ выворачиванья одежды наизнанку или – по-деревенскому – наизворот в самосуде над пойманными на месте и уличенными в грязном деле. Однако этот прием не исключителен для русских людей, а, по всему вероятию, сохраняется с древнейших времен. Он, между прочим, употреблялся среди библейских евреев.

ЗАДАТЬ КАРАЧУНА

И прииде к Новугороду архиепископ Аким, и требища разори, и Перуна посече и повеле врещи в Волхов. Он же, плаваша всквозе великий мост, вверже палицу свою на мост и рече: «на сем мя поминают новгородскыя дети»; ею же и ныне, безумне упивающеся, утеху творят бесом.

Новгор. 2 летопись,
под 988 годом, стр. 1 и 2.

Всякий знает, что «задать карачуна» значит то же, что пришибить, убить или злодейски замучить кого-либо, уничтожить что-либо в корень. Это слово, при случае, заменяет слова: мат и капут (как говорят просвещенные горожане

по-немецки), извод (как понимают крестьяне наши по-русски). Все это каждый из нас знает, но не всякому известно существование старинного русского слова, означающего определенное в году время. В последнем издании 1888 года Новгородской летописи (по синодальному харатейному списку) под 1143 годом записано: «стояше вся осенина дождева, от Госпожина дни до Корочюна, тепло, деже (дождь) и бы вода велика вельми в Волхов и всюде, сено и дръва разнесе». Уже по одному этому летописному указанию, записанному новгородским грамотеем в столь древние времена, легко догадаться, что слово «карачун» происхождения очень старинного, и притом славянского корня.

Корень этот заключается в глаголе «коротать», по прямому указанию начертания этого слово в летописи (в обоих случаях к сохранением звука «о»). До сих пор во многих местах Великороссии именем Корочуна зовется день Спиридона-поворота, то есть 12 декабря, или «солноворот». Тогда наступает конец нарастанья темных ночей и, по народному календарному выражению, солнце идет на лето, а зима на мороз. Столь важное время – с обычными молитвенными гаданьями и практическими предсказаниями из опытных наблюдений – начинает хозяйственный период, который кончается на днях равноденствия. На сорок мучеников, 9 марта, кончается зима, начинается весна, знаменуясь прилетом жаворонков на проталины. Все время, когда длятся самые короткие дни, старинные новгородцы называли корочуном, до последнего дня, когда начинают убывать ночи. Имя этого дня и придано всему длинному предыдущему периоду времени. Действует очевидная, но непонятная (темная) сила, *укорачивающая* светлую половину суток. Когда христианство, вступив в борьбу с язычеством, между прочим сменяло имена богов именами святых, на месте Корочуна встал «Поворот-Спиридон», и все предшествовавшее время с канунным заговеньем 14 ноября стало позднее называться филипповками (от дня св. апостола Филиппа) и Рождественским постом как предшествующим дню Рождества Христова (у карпатских славян также до сих пор коро-

чуном называются святки)[1]. Понятным становится изумление новгородского летописца столь продолжительной дождливой погоде и странному физическому явлению запоздалой зимы, непонятному и чудесному в глазах современника, когда и климат был суровее, и погода устойчивее. Очевидно одно, что кто-то борется с той злой силой, которая умерщвляет жизнь природы, напускает леденящие лютые морозы. Ведьмы-вьюги заслепляют глаза, злые метели засыпают все пути и тропы – ни входу, ни выходу, ни света в очах. При этом, видимо, происходит и борьба света со тьмой, добра со злом, с преобладанием последних над первыми. Царствовал, хозяйничая над землей в это время, этот самый Корочун – подземный бог, повелевающий морозами. По толкованию знатока славянской мифологии Киркора, подземный бог воевал со светлым богом Перуном, и зная, что родится «божич» (красное солнышко), оборачивался в медведя, набирал стаи волков (метели) и гонялся за женою Перуна (громовницей, или калядой, или пятницей), которая пряталась между ивняками и на деревьях и там родила сына Дажбога. Этот-то и сокрушал лютого врага, сменяя долгие ночи такими же светлыми днями на тепло[2].

Значение этой таинственной силы, производящей непонятный переворот, когда «солнце пошло на лето, а зима на мороз», не только понималось, но требовало обрядового чествования даже в более позднейшие времена, например, при последних московских царях. Основываемся на изустном пре-

---

[1] Под Корочуном, указанным новгородскою летописью (так называемою Первою, изд. 1888 г., с. 134), надо принимать именно день преподобного Спиридона, епископа Тримифийского, 12 декабря. Это ясно видно из последующего текста летописной записи, что в *ту ночь* озеро Ладожское замерзло, но ветер разбил лед («растьрза и вънесе в Волхово»). Причем льдом поломало городской мост и снесло неизвестно куда («без вести») четыре городни (то есть либо 4 сруба, насыпанных землей и каменьями для укрепления в виде быков или устоев под мостом, либо четыре обыкновенные сваи). Во всяком случае в следующем 1144 году «делаша мост весь через Волхов, по стороне ветхого, новь весь». (*Примеч. С. В. Максимова*).

[2] См. «Живописная Россия», изд. Вольфа, где оппонент мой («Филолог. зап.», Воронеж, 1891 г.) увидит, что этот рассказ *не мною выдуманная сказка*. (*Примеч. С. В. Максимова*).

дании, не многим известном, и приводим нижеследующее сообщение, заимствованное из «Нового Времени». 12 декабря звонарный староста московского Успенского собора был допускаем в Кремлевский дворец, перед светлые царские очи, для донесения о годовых суточных переменах. Так 12 декабря объявлял он царю, что «отселе возврат солнцу с зимы на лето, день прибывает, а нощь умаляется». За эту радостную весть Великий Государь жаловал ему двадцать четыре серебряных рубля. 12 июля тот же звонарный староста приходил к царю с известием, что «отселе возврат солнцу с лета на зиму, день умаляется, а нощь прибавляется». За эту весть его обыкновенно запирали на сутки в темную палатку на Ивановской колокольне. «В действительности этого курьезного обряда не дозволяет сомневаться общее изустное предание старых звонарей Ивана Великого, переходившее с давнего времени и сохранившееся до наших дней», – добавляет корреспондент.

В силу этих представлений о смене тьмы на свет среди пустынных болот и в дремучих лесах России, при вое голодных волков, щелкающих железными зубами, сохранилось имя покинутого бога и живое о нем представление. До сих пор верят, что в самый день св. Спиридона Тримифийского медведь поворачивается в берлоге с одного бока на другой. До сих пор во время святок непременно стараются сами люди наряжаться медведями. Словом – память о старом боге Корочуне жива и за справками об его более определенном существовании стоит лишь отправиться к белорусам. У них Корочун в живой речи и до сего дня – злой дух, сокращающий жизнь, а в переносном смысле – нечаянная и преждевременная, в молодых летах, смерть: «Корочун его возьми!» – до сих пор там побраниваются со зла. Там еще не свыклись с «Поворотом», как великороссы, но Корочуна хорошо помнят. Это – «старый дзед (дед) – сива борода». Он носит эту седую бороду длинною; сам ходит в белой шубе, но всегда босоногим и без шапки. В руках он держит тугой лук и железную булаву, и когда рассердится, то ударяет ею в пень, вызывает вихри и рассылает их по земле, а самым стуком производит трескучие морозы. Зато и зовут его кое-где

«морозом» и «зюзей». Молитва ему такая: «Хадзи куцью есть: на чугунную бороду железным кнутом». Это темное мифическое выражение значит так: «не мешай уродиться хлебу и всему тому, что можно положить сковородником (железным кнутом) в чугун или на сковородку (железную борону)». При этом и священнодействие в полной форме: в самый вечер каляды за ужином или «куцьей» бросают первую ложку праздничной кутьи за окно для умилостивления сердитого бога с вышеупомянутым ласкательным приговором. А затем во время колядок чествуют его обязательно и безбоязненно тем, что водят живого медведя с козой, благодаря местечку Сморгонам, где князь Радзивилл научил обучать этих неповоротливых, но понятливых зверей затейным пляскам. Нет под боком цыгана с живым медведем – сами наряжаются зверем, выворачивая кожухи наизнанку.

В замену предложенного нами толкования, Я. Никольский, написавший рецензию на эту книгу (в воронежских «Филологических записках») предлагает свое. Он спопутно сделал легкий упрек за доверие к Далю, конечно не сообразивши того, что на доверии к своему прислужливому уху, при легком напряжении памяти, очень просто достигнуть того же результата, производя слово корочун от коротать, подобно словам «лгун», «говорун», «драчун» и т. п. С большою самонадеянностью рецензент уверяет, что слово произошло от старинного слова «карак» – нога, и находит его одного корня со словами: «окорок, окорочь, корачиться (да заодно уж) и корячиться, корточки, закорки, корча и даже каракатица». Чтобы закрепить свое авторитетное мнение, он вспомнил, что в одной из былин «князь Владимир от посвиста Соловья-разбойника ползает на корачках, а княгиня ходит раскорякою», заглянул мимоходом в «Этнографический сборник» 1864 г., а там в окончательное подкрепление ему указано сибирское поверье, что 12 декабря Спиридон начинает выворачивать ноги молодым курицам. Не погнушавшись на этот раз начисто отвергнутым им Спиридоном-поворотом, рецензент поворотил неожиданно в противоположную сторону. Он толкует (сославшись также по словарю Даля на южных славян, где у сербов «карачити» зна-

чит ходить, у хорват «корак» – шаг и проч.): «при желании, чтобы кого-либо взял карачун, подразумевается не смерть, а то ужасное состояние, когда человек жив, но не может делать движений или же двигается с большим трудом ползком, что всего резче проявляется при параличе. Не отсюда ли и народное название этой болезни кондрашкою, переделанное затем в Кондратия Ивановича?» С своей стороны считаю себя обязанным сделать последнее замечание. Г-н Киркор, несомненный и признанный знаток литовской и белорусской народности, отождествляя Карачуна с Ситивратом, Зюзей, Морозом, как подземного бога, рассказывает (мною повторенный) миф о борьбе его с Перуном – миф, легкомысленно приписанный моему изобретению. А что в посуле карачуна любому недоброхоту заключается пожелание гибели, смерти – это тоже верно и по словарю белорусского языка. Верно также и то, что к некоторым выражениям прилаживается двоякое объяснение, на выбор производящего (чему указаны и в этой книге примеры). Так, между прочим, пока мой судья путался в финских лесах и словах, разыскивая кулигу, нашел ее в болоте у Москвы-реки («на низкой местности близ непросыхающих луж»), объявился сам черт не из этого болота, а живьем из купеческой семьи той же Москвы (см. в настоящем издании дополнение к ст. «У черта на куличках»). «Опасно искать ученым взглядом того, чего бы найти хотелось», – сказал искушенный многолетним опытом Даль.

ЧЕРЕСЧУР[1]

Вовсе не с тою целию, чтобы поставить читателя в тупик и затруднить разгадкой, я придумал и выставил такой, повидимому, странный заголовок. Пользуясь известным грамматическим правилом, дозволяющим всякой части речи быть подлежащим, принимаю за таковое всем знакомое и общеупо-

[1] Из двух способов начертания этого слова берем звуковой как наиболее свойственный русскому уху и общепринятый великороссийским народом. (*Примеч. С. В. Максимова*).

требительное наречие. Ставлю же его в заглавие своей статьи по той причине, что оно дает тему для беседы. Эта тема может показаться и новою, и любопытною, лишь только мы зададим себе самый простой вопрос: что значит это русское слово и откуда оно произошло?

Применение загадочного слова «чересчур» в обиходной речи для каждого совершенно понятно. Неясно лишь его происхождение, так сказать, – колыбель и место его родины.

Если мы расчленим (говоря учебным выражением) слово «чересчур», то есть разделим на обе составные части наше наречие, то получим предлог «через» и существительное «чур».

«Чур» – у наших предков, у язычников-славян, могло быть божеством не особенно высокого ранга, скорее полубогом, мифическим существом, однако таким, что имя его повсюду знали и особенно чествовали. В Белоруссии, например, «чур» до сих пор не забыт (как случилось в Великороссии), но пользуется особенным уважением. Он почитается покровителем и оберегателем границ поземельных владений и еще живет на земле как существо, которое может награждать и наказывать, любить и ненавидеть и т. п.[1]

Все славянское племя, и в том числе русская ветвь его, – преимущественно хлебопашцы. Вот, например, старорусский богатырь Чурило Пленкович, не помнивший ни отца, ни матери, идет от короля в Литве в свою сторонушку, на свою родину, а все дойти не может. Идет он дорогой широкой и осматривается, а все видит, что пахарь попахивает. День идет до него – дойти не может, а прислушается – все пахарь лошадку понукивает. И на третий день все одно и то же, и видит и слышит, как у пахаря соха поскрипывает. Насилу он дошел, словно в образное предсказание исторических судеб земледельческой Руси, которую, после Киева и Волхова, надо было искать на Клязьме, на Печоре, за Камой, на Иртыше и далее. Всем по-

[1] Между прочим «чура» у запорожцев и малороссов был нечто вроде мальчиков-оруженосцев, доверенных, воспитанников. Так у Богдана Хмельницкого чурой был Иванец – впоследствии Ив. Март. Бруховецкий. (*Примеч. С. В. Максимова*).

нятно и известно, до какой степени любит и ценит, холит и удабривает всякий земледелец свой участок. Ту почву, которая родит хлеб и питает семью, он зовет не иначе, как «матерью» (сырой землей). Проще сказать, крестьянин боготворит землю: плодотворную силу ее почитает за божество, чествует приношениями и жертвами и устанавливает особые праздники с песнями и плясками. Так было и у всех народов на земле, а у нашего языческие верования и суеверное боготворение земли как питательной почвы соблюдается до сих пор в такой мере, что можно их наблюдать и ясно видеть. В особенности это удобно делать в тех местах, где вся жизнь зависит от земледелия, как в Малороссии и Белоруссии, там, где языческие верования еще борются с христианскими, как в указанных странах и в глухих отдаленных местностях Великороссии.

Везде и всякому дорог тот участок земли, от которого он питается, который с величайшим трудом отбил от леса и болота, удобрил, возделал и буквально полил своим потом. Всякий строго следит за своей полосой земли и старается не запахивать чужой, соседней, но есть лихие, дерзкие и бессовестные люди, которые любят жить чужим добром и трудом. Существуют в природе такие могучие и неожиданные явления, в виде ураганов с лютыми дождями и гибельными наводнениями и проч., что смывают и разрушают определенные межи так, что потом бывает трудно разобраться в своем и чужом. Надобится посредник, который разобрал бы споры и прекратил ссору; желательна такая сила, которая сберегала бы межи от разрушения и истребления. Но где найти и то, и другое, когда и самые межи невозможно определить с точностию и пределы поземельных граней выяснить на почве, точно так же, как делается это пером и циркулем на бумаге?

В старину, да и теперь там, где земли много и лежит она в диком состоянии, будучи никому не принадлежащею, поневоле прибегали к случайным и неточным межам. В старинных актах мы то и дело наталкиваемся на такие обозначения границ: «с каменя на вяз, да с березы долом прямо через поперек бору к грановитой сосне, и на ней граница крест».

Налетала на ту сторону огненная стрела молнии, и сгорало столетнее дерево, как свечка; вырывал ураган развесистый вяз с корнем, и замывал песком и илом бешеный ливень вместе с тем и все другие грани и знаки. Наконец, размножалось население в такой степени, что валил топор весь дремучий бор, соха и борона превращали лес в пашню и пожню. Затем размывало овраги и буераки, высыхали ручьи и колдобины, и все те приметные урочища, вообще называемые живыми, которые служат более надежными признаками поземельных граней. У кого же искать защиты и к кому обращаться за управой? Приходилось надеяться не на усталую и неверную память старожилов, а на сверхъестественную силу, на случайности и неизменное народное «авось». В старину, привыкшую верить в чудесное, так и поступали в подобных случаях, что искали помощи в той же матери – сырой земле. Нашли – или лучше – заподозрили в ней такую новую силу, которая оберегала межи, удерживала дерзких и своевольных нарушителей чужих владений, останавливала зазевавшуюся или разгулявшуюся соху, тупила, запутывала и ломала размахавшуюся косу, расходившийся топор. Эта сила и был «чур» – справедливое существо, как помощник матери-земли в той правде, которую искали при земельных спорах, в запутанных чересполосных владениях[1].

«Чура» как всякую живую и действующую силу олицетворяли, представляя его в видимом образе, в деревянном изображении, имевшем форму круглыша, короткого обрубка толщиной в руку. На нем вырезались условные знаки, обозначавшие семью и владельцев. Такие обрубки сохранили древнее название свое в известных словах, уцелевших до нашего времени, каковы: чурбак, чурка, чурбан, чурбашка, чурак, чурок, чушка. Они ставились в давнюю старину по межам на тех местах, «куда топор и соха ходили», как привычно выражались

---

[1] Насколько было важно перепахиванье межи или уничтожение пограничных знаков, видно из «Судебника» Ивана Третьего, в котором, как известно, вместо пени «Русской Правды» впервые узаконено битье кнутом на торгу. «Торговая казнь» ожидала всякого, кто решался уничтожать чужие чурки и заезжал сохой в чужую полосу пахотного поля, наравне с татьбой. (*Примеч. С. В. Максимова*).

в старинных владенных актах. Несмотря на грубость работы и ничтожность того материала, из которого вырубались, эти «чурки», стоящие на границах, почитались предметами священными и неприкосновенными. Безнаказанно их нельзя было уничтожать; вырванные случайно должны быть заменены новыми тотчас же, чтобы не свела неосторожных рук судорога, чтобы не высохли они на том же самом месте. На нем уже предполагалась невидимо поселившаяся сила, которую следовало бояться, так как ей предоставлено право наказывать: насылать беды и наделять болезнями до пожизненной слепоты и преждевременной смерти включительно. В Белоруссии до сих пор можно видеть, с какими стараниями и опаскою опахивают эти «чуры», боясь того духа, который поселился в них. Там это – небольшие курганчики или бугры, нарочно насыпанные на межах и очень нередко огороженные частоколом, состоящим именно из толстых и коротеньких чурок. Ни один белорус не покусился разрыть хотя бы одну такую земляную кучку. Этими покровителями пограничных примет и знаков и защитниками прав собственности в Белоруссии еще до сих пор не отвыкли клясться. Там часто говорят таким образом: «чуро́чками клянусь, што гэтаго не буду дзелать»[1].

В Великороссии «чур» как божество совершенно забыт, – осталось в памяти только его имя, да в глухих лесных местах кое-какие обычаи из далеких времен язычества. По всей Великороссии слово «чур» перенесли прямо на поземельные границы и этим именем зовут всякую межу, грань, рубеж и т. п. Говорят «не ступай за чур» (за черту); «не лей через чур» (через край), «наше по чур» (то есть по эту грань) и т. д. Затем по всей обширной России чураются и зачуровываются, то есть делают себя и разные вещи заговоренными, неприкосновенными, заповедными; словом, не забыли выражения, старого как русский белый свет и родная мать сыра-земля: «чур меня!».

---

[1] См. «Словарь белорусского наречия» Носовича. Восстановляю эти указания в свою защиту против подозрений, высказанных в «Новороссийском крае» и настойчиво и самоуверенно повторенных (перепечатанных) в «Филологических Воронежских записках». (*Примеч. С. В. Максимова*).

А. К. Киркор в статье «Следы язычества» («Живописная Россия», т. III) говорит: «Чур белорусов – бог, оберегающий границы поземельных владений», а затем далее: «в то же время чур является домашним пенатом, так что каждый дом, каждое семейство имеет своего чура, охранителя домашнего очага, преследующего и отгоняющего демонов мрака». Я воспользовался для своего рассказа первым значением ввиду задачи объяснить слово «чересчур»; г. Никольскому (рецензенту моей книги) понравилось и понадобилось второе. Понравилось между прочим потому, что в слове «пращур» ему послышалось слово чур, а понадобилось, конечно, с целью противопоставить свое объяснение, основанное на почитании предков. К этому чуру «как духу предка защитнику семьи», он и отнес все то, что принадлежит, по моему мнению, пограничному чуру. Забывши на этот раз самим же высказанное убеждение, что «мифология славян вообще – дело темное и запутанное», автор сам поспешил в поучение всем доказать это на самом деле, запутавшись со своим чуром-пращуром на самом открытом и ярко освещенном месте этой мифологии. Сомнительному чуру он приписал те свойства и действия, которые нераздельно принадлежат «дзядам и прадзядам», которых поэтически описал Мицкевич, и прозаически, но очень наглядно и открыто чествуют белорусы в первый день «колядок». В первую куцью (постную кутью) первую ложку бросают за окно «дзядам», души которых слетаются на этот день навещать потомков. Их громко вызывают и приглашают «хадзице куцью есьць». В иных местах их изображают даже в лицах: старый дед в черной рубахе, с колбасой в руках лезет на печной столб и т. п. А молятся и гадают при этом, исключительно имея в виду урожай хлебов, а не межевые вопросы. Весной же установлен самостоятельный праздник «Дзяды» (также Радоуница), отправляемый чрезвычайно торжественно, с весенним обновлением природы пробуждая память о погибших отцах и дедах. Именно на том основании, что это отдельный культ и особый цикл верований, я не останавливался на них при вопросе о рубежах, имевши случай личными наблюдениями по-

верять границы белорусских суеверий, отделяя коляду от купалы, чуров от дзядов и т. д. (Эти исследования своевременно были подробно изложены мною в печати.)

ЧУР МЕНЯ

Едут или идут несколько человек в товарищах по одной дороге. Зазевавшийся и неосторожный путник, ранее проходивший тут, обронил какую-нибудь вещь. Вещь эта валяется забытою, и кто-нибудь другой ее непременно подымет. Хозяин оброненной вещи, видимо, не спохватился о своей потере и не возвращался ее отыскать и взять. Взять чужое, конечно, все равно что украсть; от такого греха избави Бог всякого человека. Все так и думают: «Нашел, да не сказал – все равно что украл». Чужую, однако ж, вещь, которая валяется на проходном пути, велят считать за находку: не искал, а набрел на нее неожиданно. Это бывает так редко, что всякому приятно зачесть за особое свое счастье: «Бог послал». Если бы вернулся хозяин, объявил, представил доказательства – бесспорно, чужую вещь отдать надо. Отдать ее следует и в том случае, когда бы можно было разыскать владельца; да где же его уследить в незнакомом месте, в целой толпе неизвестных прохожих людей, между которыми всегда можно рассчитывать на обманщика? Он вклеплется, назвав чужую вещь своею. Всего же чаще случается так, что лежит чужая потеря среди чистого поля, в бесследном перелеске и на проезжей дороге.

Хотя находке и не велят радоваться, как об утрате горевать, однако кому же ее взять, когда шло несколько человек? Из глубокой старины установлено так, что, если спутников двое, находку надо делить пополам с товарищем. Не всегда это бывает легко и возможно (смотря по вещи). Если шли втроем, впятером и разделить никак нельзя, да и из деленого каждому почти ничего не достанется и вещь может быть дележом испорчена, в целом же виде она кому-нибудь очень бы погодилась, – как поступить? На этот-то раз выручает одно только слово, этот самый «чур».

«Чур одному!» – спешит выговорить тот, который первый заметил находку. Этим запретным словом он бесспорно и бесповоротно заручил ее за собой как нераздельную собственность: «чур одному – не давать никому». И чтобы вконец было верно слово на деле, к находке притрагиваются рукой. «Чур чуров и чурочков моих!» – говорят при этом в Белоруссии.

У белорусов это слово во множественном числе относится ко всем тем вещам и предметам, которые, будучи приговорены словом «чур», как присвоенная находка становятся для всех запретными, являются собственностию единоличною, а не общественною. Клады, например, спрятанные в земле, считаются общим достоянием всех ищущих, но остаются собственностию того, кто умеет «чуроваць» (по белорусскому выговору), то есть словом «чур» ослаблять и разрушать волшебную силу наложенного запрета или очарования. «Чурую землю, веды и гроши», – говорится в местных сказках. Например, тамошний рыбак из тверских осташей, ведомых и искусных истребителей озерной рыбы, никогда не возвращается с ловли домой с пустыми руками. С белорусом случается противное, потому что бородатый осташ в кожаном фартуке зачурал во всей стране для себя все рыбные места, все подводные тайники. Как «чаровник», он видит даже, где подо льдом кучатся лещи, спят щуки и т. д. Осенней порой, когда небо покрывается черными облаками, осташ уверенно бросает в озеро сети. Буря вздымает волны, покрытые пеной, а он, как нырок: то появится на ребре самой большой волны, то низвергнется в кипящую бездну; только и видно, как крутятся над ним крикливые птицы-рыбалки. Он знает, что иные породы рыб ловятся только в непогодь, другие – когда тихо и ясно, а потому зовет ветры на озеро, волнует воду, поднимает и беспокоит рыбу, а когда этого не нужно ему, он гонит ветры прочь и возвращает на землю день ясный. Такова сила чарования, ведомая практическим великороссам, по понятию суеверных белорусов.

«Чур пополам, чур вместе», – торопятся выговорить все товарищи, если все увидели находку разом или когда ранее усмотревший ее не успел или не догадался ее «зачурать»,

то есть заповедать. По этой причине скорее чурают ее, доколе кто не увидал, – вся тайна и все права в этом. Обыкновенно же поступают так, что, по взаимному соглашению, обязывают того, кто возьмет себе находку, платить соответственную долю товарищам.

Зачурованные, то есть чуром приговоренные, присвоенные находки на этом основании называются также «чурами». А тех людей, которым находками случайно посчастливило в жизни, зовут «чураками».

По народному поверью, помогало слово «чур» с неизвестных времен тем, кто находил клады, то есть зарытые в земле сокровища. Зарывались клады с зароками, например на три головы молодецкие, на сто голов воробьиных и т. п. Три головы должны погибнуть при попытке овладеть кладом – следующему по счету, четвертому, он обязательно достанется.

Надо зарок знать и притом помнить, что клад стережет злая сила – нечисть. Когда клад «присумнится», то, есть выйдет наружу и покажется блуждающим огоньком, и выговоришь зарок, черти начнут стращать, отбивать клад. Тут слово «чур» и очерченный круг только одни и выручают, спасая от мучений.

По народному верованию, на архангельском Севере клады достаются только тем, которые «не обманывают Бога», то есть кто, заприметя клад, скажет три раза: «Чур мой клад, с Богом пополам». Это значит, что дан твердый обет половину из открытого отдать на доброе дело или в пользу церкви.

«Чур меня!» – говорят (и вслед за тем спешат положить на себя крестное знамение) те люди, которых поражает какое-нибудь неожиданное явление: не расшибло бы чем, не убило бы как-нибудь.

Каждый из нас с ранних детских лет хорошо помнит, насколько важно было в товарищеских играх оставить за собою занятое место, хотя бы в игре в медведя, или оставить себя безопасным от ударов и от «ожогов», например в игре мячом (в «лапту»), на рюхах (в «городки»). Кому надо отойти по какому-нибудь частному поводу в сторону, вне порядка игры, тот обязан оговориться: «Чур моя ямка, чур мое место, чур меня!»

Зачуровавшийся, равно как и заговоренное место, – становятся священными и неприкосновенными, как бы и впрямь какая-нибудь важная пограничная собственность.

Путник в дороге, догнавший другого пешехода, добрым приветом «мир дорогой» зачуровывает, заговаривает его в свою пользу: вместе идет, коротает время, чтобы не было скучно, сокращаются расстояния, меньше чувствуется усталость и проч.

Деревенские колдуны-обманщики и знахари-лекаря, действуя на воображение, опутанное в туманную существенность, вызывают или нечистых духов, или темные врачебные силы такими заговорами и мольбами, в которых неверующий человек не найдет никакого смысла. Эта бессмыслица в суеверных людях даже увеличивает и страх, и веру. Когда ловкие и опытные колдуны видят, что воображение верующих достаточно напугано, они выговаривают страшное слово: «Чур меня, чур!» Этим они желают показать, что нечистая сила уже явилась, невидимо присутствует тут, у него за плечами, и готова творить всякое зло. Но колдун, сильный человек, ее обуздывает, останавливает одним этим могучим словом «чур меня, чур», то есть не тронь меня, не смей тронуть, в то самое время, когда нежить готова кинуться на людей и натворить разных бед и напастей. За проговоренным же словом все стали безопасны и неприкосновенны, как за каменной стеной, потому что заручены вызванным добрым духом, всегда готовым на помощь, чуром: они «зачурованы» – заговорены от нечистой силы. Для пущей уверенности в том колдуны обратившихся к ним за помощью очерчивают кругом, за который уже не посмеет заскочить самый бойкий и дерзкий чертенок. Велика сила этого слова, и им пользуются все суеверные люди с древнейших времен и повсеместно. Народ твердо убежден в том, что от нападения вражьей силы только тем и избавиться можно, если поспешить очертить вокруг себя круг, хотя бы перстом или палкой, и заручиться заговором, и оградиться криком «чур меня!».

Таким образом, немудреное слово неважного бога живет на русском белом свете заведомо вторую тысячу лет. Всякому делается известным оно с младенчества и пришедшему в

зрелый возраст напоминает дорогое и золотое время детства, весну человеческой жизни.

НАКАНУНЕ

Таково свойство всех чисто народных праздников, доставшихся в наследство от предков и цельно сохранившихся со времен славянского язычества, что они начинаются с вечера того дня, который посвящен тому или другому богу. Так, начинают с вечера и прыгают через огни во всю ночь на Ивана Купалу, перед днем перелома лета. Точно так же в святой вечер, начинающий двенадцатидневные коляды и совпадающий с Рождественским сочельником христианских времен (перелом зимы), стелют на обыкновенный стол солому и, покрывая скатертью, ставят обетные кушанья: разварные зерна, насыщенные медовым или маковым соком, овсяный кисель, блины, толокно и т. п. Это – первая кутья, «постная» и первая коляда.

В Малороссии и Белоруссии вторая кутья (исчезнувшая в Великой России) поедается с вечера, накануне городского Нового года, в деревенский Васильев вечер, в языческую «щедровку». Эта кутья самая важная; эта коляда настоящая: ласая, мясная, товстая (толстая), щедрая, жирная, богатая, а потому и любимая. Она почтена многими прозвищами за то, что требует непременно мясных кушаньев и, по мере возможности, в роскошном обилии. Здесь первое место принадлежит колбасам разных сортов, ветчине, студню – все из свинины, все жирное и все мясное. С колбасой лезет старший в семье на печной столб в черной рубахе и съедает всю колбасу в расчете на урожай всякого жита. Самая кутья поедается теперь с коровьим молоком или топленым скоромным (а уже не постным) маслом. Девушки хватают со сковородок первые блины и из горшков первые ложки кутьи и бегут с ними на перекрестки гадать – прислушиваться. Молодые ребята выбирают из среды своей самого рослого и красивого парня, одевают его стариком в парик из кудели и в рваное вретище. Это – щедрец, который водит по домам ватагу товарищей, распе-

вающих для подачек особые песни, называемые «щедровками». Молодежь также теперь «щедрует» (гадает), тогда как накануне Рождества она «колядует», славит Христа и коляду. Существенная разница здесь заключается в том, что песен-колядок очень много и они весьма разнообразны, а щедровки от древнейших времен остались в виде маленьких осколков и притом в замечательно ничтожном числе (меньше десятка) и с однообразным содержанием. Великоруссы-псковичи поют: «Щедрин-ведрин, дайте вареник, грудочку кашки, шматок колбаски», а коренные белорусы: «Дарите не барите, коротки свитки – померзли лытки, коротки кожушки – померзли петушки, матка казала, штоб кусок сала» и т. п.

Третья кутья бывает в Крещенский сочевник (неправильно сочельник, ибо слово происходит от сочива, именем которого назвается всякий сок из семян: мака, льна, конопли и проч.). Такая кутья (последняя в году) носит прозвание «голодной», потому что она опять постная и оттого, что на этот раз все запасы съедены. Во время первой кутьи первою ложкою чествуют мороз и зовут его есть кутью зимой, а летом просят жаловать мимо, лежать под гнилой колодой, не губить посевов. Тогда же обязываются домовые хозяева подарками и приношениями духовным лицам. Отдаривались здесь, откупались подарками и в Великороссии за грехи, преследуемые этими самыми служителями веры.

В Архангельской губернии под кануном разумеют те «богомольные дни», когда чествуется заветный праздник особо в каждом селении всею общиною, в одном из домов поочередно. Складчина требует, чтобы все участники приносили съестные припасы «по силе – по мочи». В складчину же варят пиво, кое-где освящаемое духовенством. Оттого самое празднество называется «пивá», а самый напиток, с вечера заправленный хмелем, именуется кануном, канунным пивом. Начнут молитвой в сельской церкви за обедней, а кончат попойкой и играми. Чтобы не смешивать таких канунов, справляемых в известные дни (например, на Ивана Богослова, 8 мая, на Илью, на Петра и Павла и проч.), для прочих праздников имеются свои назва-

ния: «богомолья, по́варки». Я видел одно торжество, которое мне называли «борода». То было окончание уборки сена (или, все равно, хлеба). Зовут на «бороду», когда дожнут и свяжут последний сноп (белорусские «дожинки», великорусские «обжинки»). Одну кучу стеблей оставят на ниве с колосьями горсти на три; солому разогнут, присыплют туда горсть земли и начнут завивать бороду. Девушки соберут по меже цветы, подовьют их к бороде и разбросают по ниве около того места. Тогда уже идут в избу хозяина угощаться, затем водить хороводы, петь песни, играть во всякие игры. Из кушаньев здесь играет общественную роль «отжинная каша».

Христианская Церковь уступила народным привычкам и вековым обычаям и в свою очередь начинает чествовать наступающий праздник также с вечера, совершает «правила». А это последнее слово – перевод с греческого «канон», превратившееся на русском языке в «канун» и выражающееся церковными песнопениями в похвалу святого или чествуемого праздника. Эти стихиры, или похвальные тропари, эти ирмосы, или вступительные стихи, выражающие содержание прочих стихов канона и других, иногда читаются, иногда поются на заутренях и вечернях. На таких канунах как начале отправления праздника, по известным правилам, или, проще, в вечер наступающего знаменательного дня, приготовляются и праздничные столы с символическими кушаньями, то есть «справляют канун». Оттого и все такие дни, «кануны», и всякое совершившееся событие, всякое законченное дело к известному дню, но во всяком случае в этот, который предшествует срочному или видному празднику, за день, с вечера, породил прямое и ясное выражение «накануне», то есть случилось на тот день и в тот раз, в самый канун. Таким образом, а не иначе, мы вправе понимать слово, поставленное в заголовке, в его расчлененной форме.

Канун, сделавшись самостоятельным словом, выражающим определенный день, в свою очередь допустил в языке новое и законное выражение «канун кануна», то есть день до кануна, вечер перед кануном. Говорят и «накануне третьего года», то есть в четвертом году. В самом деле, и священник

ездит и собирает кануны – всякие приношения; и по усопшим совершают кануны, то есть поминки; и в начале и по окончании полевых работ заказывают кануны, то есть молебны; и варят канунцы, то есть заготовляют домашнее пиво и питейный мед. С успехом читают кануны по усопшим на дому приглашенные начетчики. Пошло даже и на то, как откровенно высказывает поговорка, что «хоть сусек снести, только канун свести», лишь бы изловчиться совершить поминки по усопшим родителям. Зато водятся и такие скаредные люди, которые за чужими канунами своих покойников поминают; а иные, руководясь таким правилом, совсем забывают про то, что «если все кануны справлять, ин без хлеба стать».

ОПРИЧЬ

Подобно двум наречиям, потребовавшим наших объяснений, каковы: «чересчур», «покамест» и «накануне», третье наречие (которое, однако, может быть и предлогом), – именно «опричь, опрочь», старинное «опроче», замечательно тем, что в свое время послужило основою к составлению грозного смыслом и значением существительного имени «опричнины». В прямом смысле употреблялось слово исстари славянщины для обозначения всего отдельного, обособленного в правах, в значении исключенной из общего счета единицы, поставленной вне правил, «что-либо на окроме». Например, после того как низложен был вечевой город и на северо-востоке России разорен татарами стольный Владимир и заброшен Ростов, великие князья жили в своих «опричниках», то есть наследственных городах: то в Твери, то в Переславле, то в Костроме, то в Москве, и города перестают влиять на население, которое как земледельческое продолжает жить «опричь» их и само собою складывается и крепнет в государство. Так и во всем прочем. По старинным актам, от крестьян отписывали деревни и починки опроче; архиереям указывали «опричь святительского суда, не вступаться ни во что же». В духовных завещаниях писали прямо «даю я моей княгине два села

в опришнину», то есть отдельно от детей, как прибавку к ее родовому наследству. Этим словом (с таким же прозрачным смыслом) подозрительный московский царь Иван Грозный назвал особое войско своих телохранителей и боярских карателей. В число их, как известно, он отобрал шесть тысяч молодых людей всякого звания и сословия и взял с них присягу в том, что они отказываются от отца и матери и что будут знать только его одного и доносить ему на изменников. Царь наделил их за такие клятвы поместьями и домами, отнятыми у опальных бояр, и отличил сверх того особыми наружными знаками: собачьими головами и метлами. Эти знаки отличия должны были понимать так, что верные царские слуги грызут его лиходеев и выметают измену из государства. Мало того, Грозный все государство поделил на две части: земство и опричнину. Последняя подчинена была дворцовому правлению и пользовалась особыми правами. Сюда приписаны были, сверх богатых и населенных городов, ближних к Москве, те далекие залесские города, которые уберегли еще гордый дух и вековую вольность свободной и строптивой новгородчины. Всем этим непосредственно ведал сам царь, а земщиной управляли бояре. Опричники, выметая измену и накидываясь на заподозренных, вели свое дело с таким усердием, озлоблением и дерзостью, что стали всем в тягость и возбудили к себе всеобщую ненависть. Измученный народ вынужден был прибегнуть к злому сарказму и в однозначащем наречии – в слове, теперь совершенно заменившем его, – «кроме», «окромя», подыскал свое приватное прозвище, приличное по деяниям телохранителей, и высказался бранным словом «кромешники». Оно оказалось кстати именно в смысле исчадий ада, особенного выделившегося из видимого мира царства сатаны, – внешнего места – во тьме кромешной, иде же есть плачь и скрежет зубов. Грозный понял это ругательство по-своему, отнеся его к боярскому и народному нелюбию опричников за их преданность к нему. На самом деле прозванием этим, отнесенным именно к ратникам служилой опричнины, народ сумел различать «опричнинцев», то есть жителей областей,

вошедших в царскую собственность, и придумал тогда, и до сих пор сохранил в памяти (теперь в шутливом смысле) поговорку: «просим к нам всем двором опричь хором», что значит: иди сам угощаться и всех своих тащи – всем будет место. В те варварские времена, сидя на борзых конях с привязанными к седлам метлами, удалые опричники могли своевольничать, разъезжая по улицам, но не входить в дома. Сюда прятались все, кому попадались навстречу эти буйные ватаги, из опасения не только иметь с ними какое-нибудь дело, но даже и встречаться. Что же и делать? – надо покоряться: опричь худого, ничего хорошего не жди, – «вот тут бери, а опричного нашего ничего не тронь», – тех ищите, кто лучше нас, – думали и говорили русские люди. Сам царь поставил тоже правило отчуждения и для самих опричников, освобожденных им от суда и управы, и брал с них присягу в том, чтобы они не дружили с земскими людьми. И, в свою очередь, это новое государственное учреждение сам старался скрывать и прятать от сведения иноземных государей. В наказах гонцам, отправляемым к польскому королю Сигизмунду, давалось ясное наставление: «когда у вас спросят, что такое опричнина, – скажите: мы не знаем опричнины». Разрешая торговлю англичанам, Грозный оставался последовательным: он освободил иноземных гостей от суда этих опричников. Семь лет было грозно это звание и страшно название: в 1572 году земщина получила прежнее имя «России», а опричники стали именоваться «дворовыми», и то же название присвоено было городам и волостям, приписанным к царскому двору.

НИ КОЛА – НИ ДВОРА

Несмотря на то, что кол в виде и смысле короткого шеста, с одного края заостренного, очень пригоден к употреблению для обрисовки крайней бедности («гол как кол» – так и пословица говорит), в указанном нашим заголовком крылатом слове он употреблен не в том общепринятом значении, а в другом. На одно из очень оригинальных и неожиданных

случайно натолкнулся г. Александр Борзенко. Он пишет в «Московских ведомостях» 1877 года, № 237: «Привелось мне летом нынешнего года идти вверх по течению небольшого ручья, впадающего в Волгу (в Ярославской губернии). Скоро очутился я среди местности, поросшей высокой бурьяноватою травой и мелким кустарником, изрезанной небольшими впадинами с болотистым дном. Вдали, на пригорке, чернелись крестьянские избы, за ними желтела нива, еще выше раскинулся лес, венцом зелени охватив склоны холма. С трудом выбрался я к деревне, постучался в первую попавшуюся избу, ища проводника. Вызвался крестьянин, по имени Иван Матвеевич. Вышли мы на пахотное поле.

– Вот мои два «кола», – сказал Иван Матвеевич.

– Где? – спросил я.

Иван шагнул с тропинки к пашне.

– Вот полоска – два сажня ширины – это один «кол», а вот другая такая же полоска – это другой «кол». В деревне у нас шесть дворов и на каждый двор два кола, – продолжал он.

– Стало быть, все живущие у вас в деревне имеют двор и кол?

– Все, кроме одного. Отставной солдат к нам вернулся, так у него нет «ни кола, ни двора», а кормится он сапожным мастерством.

Поговорка стала понятна. Кол – это полоса пахотной земли, шириною в две сажени. Следовательно, не иметь кола – значит не иметь пашни; не иметь двора – значит жить у других. Итак, «ни кола – ни двора» употребляется в крестьянском быту для обозначения человека, не имеющего недвижимого имущества и живущего личным трудом, а вовсе не в смысле дурного хозяина, как предполагает Даль. О дурном хозяйстве говорится вернее и прямее: «Сокóл хоть на кол, да гол что мосóл».

ГОРОХ ПРИ ДОРОГЕ

Незавидна участь людей богатых, но тороватых и тех смиренных бедняков и бедовиков, которых всякий готов оби-

деть, подобно участи всем известного, а русским людом любимого стручкового растения и плода (pisum), называемого горохом, когда он посеян подле проезжей дороги. «Кто ни пройдет, тот скубнет (ущипнет)». Тогда, ввиду очевидного соблазна, зачем же и сеять его на видном месте (он и так оттеняется в поле своею веселою и густою зеленью); зачем и оперять его, утыкая хворостом? Пройдет мимо один зоркий прохожий, нащиплет целую китину (охапку), прижмет левой рукой под мышкой, правой начнет пощипывать и шелушить.

Для разрешения вопроса приходится идти в давнюю старину, когда расселился православный русский народ по лицу родной земли своей. С готовым запасом, на шитых плотах и в долбленых комягах, плыл он по рекам, но попадал в межуречьях на волока. По таким надо уже было тянуться сухопутьем, подвергаться опасностям долговременного безлюдья, испытывать тяжелые беды от захватов в пути неожиданно нагрянувшими холодами и видеть ежечасно впереди самую жестокую и тяжелую смерть от голода. Она, впрочем, и не медлила там, где сами на нее шли и доброй волей напрашивались. Сколько же смертей постигло русских людей на то время, когда они клали тропы по непролазным северным лесам, торили пути по диким и совершенно безлюдным и обширным пустыням холодных стран и проложили такую длинную неизмеримую дорогу, как та, которая увела в Сибирь. Она помогла от домашнего безхлебья родины расселиться по тамошним девственным местам и на благодарной почве. Конечно, по людской молве, а в иных случаях на крик бирючей по базарам и торжкам, расхваливавших новые места и суливших всякую на них благодать, снимались охотники с родных насиженных гнезд семьями, артелями. В горячее время переселений (в начале XVII века), когда достигли обратные хвалебные зазывные слухи испытавших приволье вновь открытых мест, шел народ толпами, одна за другой. Передним рядам было худо, задним стало лучше: все приловчились, заручившись мудреным опытом и испытанною наукой. Стало так, как говорится в пословице: «передний

заднему мост». Испытавший беды на самом себе сделался не только опасливым, но и жалостливым для других, вольно и невольно оставляя по дороге следы, приметы и разного рода памятки для руководства.

Указателем пути и вожаком в дороге прежде всего служит звездное небо, а на нем в особенности та звезда, которая раньше всех появляется и позднее других скрывается в той именно стороне, где лежат самые холодные места. Об них же можно наводить точные справки и на древесных стволах, которые с северной стороны всегда обрастают мохом, кутаясь в него, как в шубу. Помогают: и направление течения струй в попутной речонке, и следы ветра, намеченные на снежных сугробах, и множество других признаков, добытых долговременным опытом скитанья по лесам и указанных, и доказанных, и передовыми пришельцами из русских, и давними насельниками тех стран, то есть инородцами. Выручило же главным образом доброе христианское чувство памятования о задних, несомненно неопытных и обязательно страждущих.

В Архангельской и Вологодской губерниях лесные избушки, названные образным славянским словом «кушней» (от кущи), в Сибири переиначенные в «заимки», – великие, но мало оцененные пособницы при народных переселениях (особенно первые). Никому они не принадлежат и неизвестно, кто и когда их срубил, а по заплатам на щелях видно, что их чинил тот, у кого нашелся досуг и топор. Изба стоит без хозяина, заброшенною в лесу, значит, она мирская: забредшего в нее некому выгнать; к тому же она и не заперта. Вместо окон в ней щели, вместо двери – лазейка; печь заменяется каменкой; пазы прогрело солнышко и вытрусил ветер; углы обглоданы и расшатаны. Чтобы в конец не обездолили лютые бури, хижина приникла к земле: на потолки (крыш нет) накиданы каменья и густо навален дерн, даже веселая травка там выросла и завязались небольшие березки. В такой избушке на курьих ножках, пожалуй, и не выпаришься, хотя она и очень похожа на деревенские баньки, – и тепло она держит кое-какое. Нехороша она видом и складом, но зато хороша обычаем. Про без-

домного случайного человека в ней всегда оставляется какой-либо припас – кадочка соленой трески, ведерко с солеными сельдями, голая соль в берестяной коробочке, сетка с поплавками половить свежей рыбы в соседнем озерке или речонке; вместо стакана – выдолбленная чурочка и т. п. Вот и низенькие лавки, где посидеть можно, и усталому человеку сладко выспаться. Вот в углу и полочка со старенькой иконой – Богу помолиться. Отсиделся здесь некто из передних, ушел – и владей избушкой, кому надобно. Дай, Господи, повладеть тому, кому доведется отсиживаться от лютых морозов, злых вьюг и проливных дождей. Кто отсиделся, тот поблагодарил тем, что оставил здесь из своих припасов, какие оказались у него излишними и каковыми не жаль поделиться. Кому снова довелось испытать подобное, – поступай таким же образом по вековечным примерам и по правилу, нигде не записанному, но всем известному по на́слуху.

В Сибири эта забота об участи отсталых и задних до сих пор, как остаток старины, очевидно сохранилась в полках, приделанных снаружи домов, под кухонным окном. Сюда домовитые хозяйки ставят остатки из съестных припасов для нищей братии и для прохожего человека. В последнее время этим воспользовались беглые с каторги и мест поселения, – и добрый обычай оказался вдвойне милосердным и полезным: голодным бродягам нет нужды прибегать к воровству и грабительским насилиям: поешь и проходи мимо. Времена изменяют обычаи, из которых многие стали уходить в предание. Между прочими и горох сеют теперь подальше, особенно на больших и проезжих дорогах, но в глухих местах этот старозаветный прием не покинут. Его еще можно видеть воочью, во свидетельство старинной загадки (на церковных богомольцев): «Рассыпался горох на четырнадцать дорог». Там еще поступают даже так, что к посеянному гороху присевают рядом репу, что называется сверх сыта. Пословица вопрошает прямо: «За репу кто хвалится?» – и сама же отвечает ясно: «Репой да брюквой люди не хвалятся». Да и что же, в самом деле, бывает на свете дешевле пареной репы?

ЧУЖОЙ КОНЬ

Понятие об этом и самое имя составилось также из юридических обычаев, на этот раз самых древних. Источник находим в первом письменном памятнике русского законодательства, замечательного небольшим количеством статей и мягким тоном при наложении взысканий за преступления. Они ограничивались по большей части денежными пенями (продажами) и мерами, определяемыми взносом ходячей монеты – гривны. Этот драгоценный памятник, известный под именем «Русской Правды», составленный киевским князем Ярославом (Мудрым), относится к 1016 году. В нем-то и заключается буквальное объяснение пословицы, всем известной на словах и на деле: «с чужого коня среди грязи долой». В «Правде» написано: «Аще кто всядет на чуж конь, не прошав, ино ему три гривны» (то есть платить за конокрадство). Мимоходом скажем, что при разборе юридических терминов требуется чрезвычайная осторожность, не всегда соблюдаемая нашими исследователями. Встречаются ошибки при различении, например, таких двух общеупотребительных до сего дня выражений: «бить челом» – это значит просить о чем-либо, а «ударить челом» – поднести какой-либо подарок и т. п.

СВИН ГОЛОС

Говорят обычно: «Кричать в свин голос» (по объяснению Даля) – «кричать не вовремя, некстати, до поры или спустя пору, заранее, а особенно запоздно». Повод к этому выражению дали те грязные и глупые домашние животные, которые в летнюю пору, гуляя без пастуха, бегут с поля домой всегда поздно, когда уже подоили коров и загнали овец, нередко даже ночью, с ревом и хрюканьем. В отчаянии, что замешкались и загулялись по рассеянности и несмышлености и нашли ворота крепко запертыми, свиньи разводят хрюканье до самого утра и визжат, как зарезанные. Кто помнит деревню, тот не забыл этих ежедневно и в разных местах повторяющихся сцен

отчаяния и жалоб, где своя вина валится на чужую голову. Не соображает глупая свинья того, что вот и ворота крепко заперты, и хозяева сладко спят, – ничего больше делать, как ложиться спать на том самом месте, где стоишь. К чему же вопли и отчаяние, когда перед глазами пример: собака-жучка свернулась кольцом у заваленки и спит себе молча и крепко? Отсюда – по настойчивости применения и точности живых наблюдений – имеется в языке еще выражение: «в свины полдни», то есть тоже поздно, и при этом настолько поздно, как это могут делать люди, совершенно ленивые, рассеянные, непривычные не только ценить золотое время, но и соблюдать часы. К ним-то и обращается этот злой и насмешливый, но справедливый упрек, известный, однако, не только великороссам, но и белорусам – «свинья полудня не знает».

ПОПРОСТУ – БЕЗ КОКЛЮШ

Сидит человек на лавочке, весело ухмыляется, перебирает ногами, болтает всякий вздор, что и понять невозможно, – это он «коклюши перебирает». Другой подошел, нахмурил брови, придал лицу не только серьезное, но и строгое выражение, старается говорить низкими нотами; временами урывками подсмеется, не говорит прямо, а как бы прячась и крадучись, говорит одними намеками, что называется обиняками, – этот человек «коклюши плетет». Говорил бы лучше все прямо и просто – «без коклюш»! А иной придумал хитрость, подставил приятелю ногу, товарища обманул – «коклюшку подпустил». Малое слово, смешное для уха, не всякому понятное, в самом деле означает ничтожную, маленькую и простую вещицу: точеную палочку, утолщенную на одном конце и с пуговкой на другом; под пуговкой на ней обязательная шейка. Это и есть коклюха или коклюшка – название, обязанное своим корневым происхождением коке, то есть яйцу. Целыми десятками повисли они на нитках – бумажных, шелковых и золотых, ниспускаясь с мягкой подушки, как в старинные времена на лоб и виски русских

круглолицых красавиц свисали бисерные и жемчужные начелья. На одной подушке, называемой кутузом, – именем, давшим, между прочим, прозвище родоначальникам героя Отечественной войны, – висит этих коклюшек так много, что неприглядевшемуся глазу невозможно разобраться – совсем лабиринт. Когда шевелит ими мастерица и издают они тупой деревянный звук, щелкая друг о друга, – в глазах уже положительно рябит. Перебрасывает она теми, которые висят под носом; затем быстро перекидывает руку на другую, на третью сторону кутуза, откуда коклюшки подбрасывает к себе и опять кидает их вбок или снова назад. Понять невозможно здесь ни системы, ни плана и даже нельзя поверить наглазно, что выйдет от этой суетни рук. Там на кутузе лежит невидимый сколотый узор и мастерица следует ему слепо и послушно, а зато и суетня рук, и порча глаз: выходит у ней кружево, годное и на воротник, и на чепчик. Это – очень хитрое и мудреное дело, а в умелых и привычных руках доводимое до изумительной виртуозности. Во всяком случае работы наших кружевниц замечательны отчетливостью и беззастенчивыми продавцами выдаются (не без основания) за иностранные. Самые лучшие кружева плетутся во Мценске (Орловской губернии) тамошними мещанскими девицами; похуже в слободе Кукарке (Вятской губернии), но более известны и распространены кружева балахнинские (из города Балахны, Нижегородской губернии). Так и говорится: «кутуз да коклюшки – балахнинские игрушки», а также «балахнинские мастерицы плести мастерицы» – столько же (по двоякому смыслу присловья) кружева, как и сплетни. К последним особенно располагает совместная работа: чистая, тихая, молчаливая и очень скучная. Она опасна для глаз и плохо вознаграждается. Все мастерицы, с причислением сюда вологодских городских и подгородних, находятся в руках плутоватых и бойких скупщиц. Эти дают достаточно благоприятный повод, чтобы перемыть их косточки и на их счет, и на очистку совести, позлословить. При таких занятиях и самая работа хорошо спорится.

ПО-РУССКИ

Объяснить это слово с полнейшею ясностию и надлежащею точностию очень трудно и почти невозможно. Разобрать по частям – немудрено и каждой дать толкование позволительно, но слишком вдаваться и в частные объяснения будет весьма утомительно. Жить и поступать, говорить и думать, одеваться и даже обуваться, причесываться и наряжаться, петь и плясать, бранить и бороться и т. д. обязательно делать русскому человеку по-своему, и совсем не так, как принято другими народами чужих земель. Но и в своей земле не все из упомянутого делается так на Волге, как на Волхове, хотя тоже по-русски, в том, и другом, и десятом случае. А по-московски, например, совсем уже не так, как по-петербургскому. На это можно собрать целую кучу доказательств, а чтобы не легла она тяжелым камнем, коснусь здесь слегка и возьму на этот раз лишь подходящее.

Несмотря на строгую заповедь, нелегко человеку познать самого себя, то есть изучить нрав и сердце, а, спознавши коечто из прирожденного и приобретенного, еще труднее сознаться в недостатках. Не только из людей, но из целых народов не видим мы откровенных, знаем больше замкнутых в себе или гордых, или хвастливых собою. Тем не менее народ наш пытался сделать над собою поверку и, по привычной откровенности и прямоте характера, покаялся в кое-каких случайных пословицах. Их, конечно, немного, как и быть должно. Сам в своем деле никто не судья, пусть лает собака чужая, а не своя. По такой причине за справками к соседям мы не пойдем (мало ли что люди болтают: всех не переслушаешь), но, ограничившись сделанными попытками домашней оценки, из этого живого источника возьмем наудачу более ходячие выражения.

РУССКИЕ СВАИ

Их три, и кто их не знает, и кто ими не тычет, вопреки буквальному евангельскому изречению о бревнах, прямо в

глаза, да и так часто, что пора бы и перестать? Ведь, в самом деле, наше «авось» не с дуба сорвалось. В стране, где могучие силы природы свыше меры влиятельны и властительны, и в тысячелетней борьбе с ними мы еще далеко не смирили леса, не обсушили почву, не смягчили климат (как удалось это сделать, например, в тацитовской Германии). Поневоле приходится на авось и хлеб сеять. По зависимости от этого, на многие ли другие дела можно ходить спокойно, с верным расчетом на удачный исход и несомненный успех? Где нельзя бить наверняка, а работать все-таки надо, там поневоле приходится поступать очертя голову и закрывши глаза. Кто горьким опытом жизни беспрестанно убеждался в том, что заказной труд его непременно худо оплатится, а из десяти в девятое рабочий совсем не получит расчета, тот обязательно исполнит заказ «как-нибудь», как тверские кимряки, которые шьют сапоги, пригодные лишь от субботы до субботы (их еженедельного базарного дня). И в личных интересах он поступит так же точно, с прямым убеждением, что на его век хватит. Работу, где не вознаграждается труд, а иногда еще требуют сдачи, то есть производят вычеты и штрафы, он сделает небрежно, чтобы поскорее подыскать другую и на ней наверстать испытанные и рассчитанные потери. Если со стороны скупщика и заказчика – стремление донельзя понизить цену, иногда прямые злоупотребления, то со стороны кустаря-мастера – тоже желание сбыть товар похуже. В погоне за каждой копейкой, которых выручается так мало, о тщательной работе немного заботятся. Здесь, при крайней дешевизне изделий, «авосем» служит огромный навык в работе, а «небосем» – экономическая теория разделения труда. С голоду да с холоду приходится и на незнакомый, и на непривычный труд ходить по вере, что смелыми владеет Бог, а смелостью берут города. Одному любителю в Калужской губернии удалось развести канареек, а теперь там целые заводы и при них новое производство – клеточное. Приходится набрасываться на работу с отчаянным криком: «Не бось», то есть чего боятся, – выступай смелей, не трусь! – Принимайся, благословясь: что-нибудь да выйдет.

Не для чего, стало быть, удивляться, если такие обычные выражения обратились в пословицы и поговорки:

– Небось, дождь будет? – А ты, небось, этому рад.

Может быть, и все эти три сваи, на которых стоит русский человек, оттого глубоко вбиваются в землю, что самая русская почва мягкая, свежая, девственная и, стало быть, податливая.

Там пускай себе авоська вьет веревки, а небоська петлю закидывает. Пускай досужие люди в городах, в теплых и светлых покоях, при обезличенной жизни умозаключают о том, что эти три сваи суть живые силы, действующие будто бы даже как самостоятельные существа. Пускай охотливые люди, стоя в беззаботной сторонке и с безопасного края, строят на этом явлении свои отчаянные теории, – с них за это податей не берут, а еще самим за такой труд платят деньги. Обвиняемым самим видно яснее других, что эти три родные «набитые» братья всегда вместе, всегда друг другу помогают и живут в вековечных и близких соседях, – никак с ними не развязаться и не разделаться: помогайте, пожалуйста, вы, умные люди! Самим никак не сладить, когда русаку и возрастать приходится на авось, а придя в полный возраст и принявшись за свой ум, ежедневно видеть и убеждаться, что «авосевы города всегда стоят негорожены, авоськины дети бывают не рожены» и «авось да небось к добру не доводят». Идите на подмогу с наукой и искусствами, а не с напрасным обвинением и насмешками. Сам народ давно сказал, что «немудрено жить издеваючись, мудрено жить измогаючись». Привычно винят больше и чаще всего в наглядном и доказанном несчастии и, пожалуй, пороке русского человека его задний ум.

ЗАДНИЙ УМ

По объяснению довольно известной пословицы – это то, что у немца напереди, разум, как высшая познавательная способность, помогающая изобретать и приводить в исполнение, развитая наукой нравственная сила, довольно очевидная в мастерствах и художествах. Конечно, за немца в народ-

ном представлении сходит тут всякий иноземец без разбора: механик-англичанин, француз-парикмахер, итальянец с шарманкой и обезьяной и настоящие германцы: «штуки-шпеки – немецки человеки», отсюда поголовно исключаются все азиаты. Но укрепилось убеждение, что «у немца на все струмент есть и он без штуки и с лавки не свалится», конечно, без рассуждения о том, что иноземный мастер приладился производить одну только известную работу, которую, не скучая и с постоянством, исполняет целую жизнь, оттого в ней силен и отчетлив. Русскому за скудостью специальных знаний, за неразвитием экономической теории разделения труда, когда одному рабочему всю жизнь приходится вытачивать одни только часовые зубчатые колесики, а другому пружины, – русскому велела судьба поспевать всюду, на всякую работу, о которой до того он и не помышлял. Особенно доставалось круто в походной жизни солдату и офицерскому денщику, которым доводится подвергаться ежедневным экзаменам по всем видам немецких ремесленных цехов. При таких условиях нечего удивляться тому, что развивалась низшая познавательная душевная способность: догадливость или находчивость – то, что привычно называется сметкой. И впрямь выходит так, как образно подсказывает поговорка, основательно убеждающая в том, что до чего доходит немец разумом, до того русский вынужден доходить глазами: первый изобретает, второй перенимает. Зато уже эта переимчивость, от долгого и частого употребления, в свою очередь доведена до изумительных и поражающих размеров. Она же, в ожидании чужих образцов и готовых примеров, и облепила. Выродился тот задний ум, в котором откровенно сознаются и говорят, что если бы он, как у немца, стал у русака напереди, то с ним бы тогда и не сладить. Без того только одни крупные утраты. Задний ум всегда рассчитывает на память и в ее запасах и приобретениях ищет уроков и руководства. При виде успехов новых изобретений он труслив и недоверчив, становится в тупик и, придя в себя, начинает разбираться в то время, когда требуется немедленный ответ. Дело не ждет,

а задний ум все медлил, копался, осматривался – и упустил время. Не воспользовавшись благоприятным моментом, он многое потерял. Этот-то роковой случай и засчитывается в упрек, и задний ум подвергся насмешке, когда по усвоенной привычке, ввиду неудачи и осязательных потерь, остается хозяину его развести руками, преклонить голову и всю пятерню запустить в волоса и почесать ею затылок. Сюда именно и поместило воображение наблюдателей этот задний ум, и за дурную привычку, осваиваемую с детства, нарекли ему такое характерное и остроумное имя.

В. И. Даль на эту же тему записал следующий народный анекдот: «Голодный татарин лег спать и видел во сне кисель с сытой. Проснувшись тотчас, он ощупался кругом – ложки нет. Почесав бритый затылок, он встал потихоньку, нащупал впотьмах ложку в посланце, положил ее за пазуху и лег опять спать – да уже киселя не видел. “Беда нашему брату, – сказал он на другой день, – кисель есть, так ложки нет; ложка есть, так киселя нет”». К этому случаю и говорится пословица: «Кабы у цыгана тот ум напереди, что у мужика назади – то-то б богато жил». Прожитым опытом, как оставленным богатым наследством, действительно, обеспечен русский человек. Хотя он и утешается, и оправдывается тем, что «заднее (то есть прошлое) – Божье», но говорят сторонние люди, более наблюдательные и знающие: «бей русского – часы сделает»: пора отставать от старых замашек замыкаться в правилах изжившей свой век прадедовской науки и браться за ум. «Мужик хоть и сер, да ум его не черт съел». Он только медленно работает, потому что мало упражнялся в отвлечениях, а под лежачий камень вода не течет. На что мы мастера и большие искусники, это – *ругаться и драться*.

РУГАТЬСЯ И ДРАТЬСЯ

Не в исключительный упрек нашим газетам и загульным вечеринкам, в полную откровенность следует признавать эту дурную привычку за наше родовое и племенное

свойство. Привычка эта доведена до сквернословия, в искоренении которого бессильны всякие меры, включительно до попыток современного благотворительного общества распространения духовно-нравственных книг и брошюр. Сотнями тысяч разносится, раздается даром, расклеивается и десятками тысяч покупается за семитку печатное на листе и за трешник в виде брошюры не говоренное Златоустом поучение, а русский человек тем не менее что раз выговорил, на том и уперся. Он говорит: не выругавшись, и дела не сделаешь; не обругавшись, и замка в клети не отопрешь. В первом случае не жаль бранных слов для других, во втором – нет пощады и самому себе. В обоих же, как и во всех прочих, на брань слово очень легко, дешево покупается! В виду опасностей, при горячке в спешных работах лучше затыкать уши тем, у кого они нежно устроены. Иноземный моряк в бедовое время плавания становится смиренным, молчаливым и сумрачным, как те самые темные тучи, которые знаменуют опасность, – в нашем старинном флоте на то же время нарождались такие в ругательствах искусники, что следует зачесть им это мастерство в богатырство.

Везде чуется накипевшее на сердце недовольство, которое обуздано как будто лишь одними случайными обстоятельствами, но выжидает, однако, повода и пользуется им для срывания с сердца. Затем опять терпение в молчании, мотанье на ус, видимое равнодушие и обманчивое безучастие к совершающимся событиям, то меланхолическое «себе на уме», которое также обращают в упрек и осуждение. Его все-таки побаиваются очень серьезно и основательно и уважают в то же время, зная, что это исторический продукт и законный способ действий. «Себе на уме» учится у решительных и умелых, выслушивает опытных и откровенных, выжидает своего времени, держит ухо востро и, выходя на дело, редко уже ошибается. В значении самозащиты и образа действий в жизни это – одна из самых характерных черт русского народного характера.

В старину (как свидетельствуют о том народные былины) соберутся, бывало, могучие богатыри к ласковому князю

за почетный стол. Рассказывают о своих удалых подвигах, высчитывают, сколько побили злых поганых татар, сколько душ христианских из полону вывели, испивают чары зелена-вина, истово ведут речи по-ученому, чинно чествуют гостеприимство, величают хлебосольство, пируют – прохлажаются. И сидеть бы так до полуночи и до бела света. Да один через край выхвастался, не по-русски и не богатырским обычаем повыступил, – как стерпеть:

У нас, на Руси, прежде всякого дела не хвастают,
Когда дело сделают, тогда и хвастают.

Хвастуны – не в наших нравах среди смиренного житья и молчаливых подвигов. Таково у нас вековечное правило: собой не хвастай, дай наперед похвалить себя людям. Разрешается хвастать только при сватаньях, а смиренье – всегда душе спасенье, Богу угожденье, уму просвещенье. Этою добродетелью русский человек многое выслужил и еще больше того получил, на свой пай, в наследие и про обиход.

Не спускали богатыри вины виноватому, попрекали его насмешками, наказывали ругательствами, не смотрели на то, что княгиня Апраксеевна сама на пиру сидит. При этом не разбирали и старых заслуг, и великих богатырских подвигов.

На что были славны богатыри Алеша Попович и Чурила Пленкович, а ни тому, ни другому, ни третьему не было ни прощенья, ни снисхожденья.

Говорили Алеше Поповичу:

– Ты хвастунишка, поповский сын!
А живи во Киеве со бабами,
А не езди с нами по числу полю!

Упрекали Хотену Блудовича:

– Отца у тя звали блудищем,
А тебя теперь называем уродищем.

Даже Настасья Романовна не утерпела при женской скромности и смирении, чтобы не выбранить и братца родимого, почтенного старца Никиту Романовича:

– Ай же ты, старая собака, седатый пес!

И даже богатырскому коню – безответному существу – нет прощения. Едет Добрыня на подвиги, а конь спотыкается не у места и не вовремя. Добрыня ругается:

– Ах ты, волчья снедь! Ты, медвежья шерсть!

Чужих, пришлых хвастунов старые богатыри не только обрывали и обрушивали, но и жестоко наказывали. Попробовал было татарский богатырь на пиру поневежничать: есть по-звериному, пить по-лошадиному и притом еще похваляться и хвастаться, что у него косая сажень в плечах[1]. На него за то напустили не какого-нибудь храброго богатыря, а мужичонку плохонького, ростом маленького, горбатенького, худенького, хромоногонького, в полное посмеяние и надругательство. Однако тот татарина из тела вышиб, по двору нагим пустил. Бились они и боролись всякий своим способом (какая же ругань без драки?). А русская борьба отличается:

На ножку перепадает,
Из-под ручки выглядает.
Бьет правой рукой во белую грудь,
А левой ногой пинает позади.

Русская борьба – на два манера, по условию и по обычаям: в обхват руками крест на крест – левой рукой через плечо,

[1] Впрочем, эта гипербола слишком сильна, особенно для людских плеч, и в живой речи ею злоупотребляют неосновательно: косую сажень исстари принято считать от большого пальца вытянутой левой ноги по диагонали человеческого тела до конца указательного пальца правой руки (или наоборот): тут около трех аршин. Более близкою к правде отчасти окажется маховая сажень раскинутых крестом рук от среднего пальца правой до такового же левой: тут $2^1/_2$ аршина. Да ведь и притом, каков сам измеритель ростом. (*Примеч. С. В. Максимова*).

правой под мышки или под силки, а затем, как усноровятся: либо подламывают под себя, либо швыряют на сторону и кладут на бок и на спину через ногу. По другому приему, с носка, вприхватку, берут друг друга одной рукой за ворот, а другой не хватать. Лежачего не бьют – лежачий в драку не ходит; мазку (у кого кровь показалась) также не бьют; рукавички долой с рук. В сцеплянке, то есть в одиночной схватке, бой бывает самый жестокий, потому что ведется в рассыпную, а не стена на стену, где не выходили из рядов. В единоборстве иногда просто пытают силу: «тянутся», садясь наземь и упершись подошвами ног, хватаются руками за поперечную палку и тянут друг друга на себя. Иногда палку сменяют крючком указательного пальца. Татарская и вообще степная борьба ведется также по-своему: татары хватаются за кушаки и левыми плечами упираются друг о друга; перехватывать руками и подставлять носки не разрешается. Другой способ (у калмыков) совсем дикий: сходятся в одних портах без рубашек, кружатся, словно петухи, друг около друга; затем, как ни попало, вцепляются и ломают один другого, совсем по-звериному, даже как будто бы и по-медвежьи.

Иной и крепок, собака, не ломится,
А и жиловат татарин, – не изорвется.

С дикими ордами старинные русские люди иначе и не начинали, как единоборствами, и не кончали споров без драк в рукопашную, стена на стену, когда еще не знали огненного боя, а ведались только лучным боем (стрелами из луков). Также стена на стену, на общую свалку хаживали предки наши, когда не устанавливалось ладов и мира между своими, как бывало у новгородцев с суздальцами, у южной Руси с северною, у черниговцев с суздальцами, у новгородцев с чудью и немцами, как теперь бывает на кулачных боях. И нынешние бои как наследие старины представляют расчеты по поводу накопившихся недоразумений и неудовольствий двух противных лагерей. Они и бывают трудно искоренимыми ис-

ключительно в старинных городах, где борются два направления: жители, например, одной стороны реки, разделяющей город, – мелкие торговцы или пахари, живущие же по другую сторону – фабричные. Или правая вьет канаты, а левая торгует хлебом и фабрикует сукна, холст; в Казани одна стена – суконщики, другая – мыловарни и т. п.

Если не удавалось в старину отсидеться за деревянными стенами в городках и надо было выходить в чистое поле, выбирали для этого реку и становились ратями друг против друга. Суздальцы против черниговцев стояли, в 1181 году, на р. Влене таким образом две недели, смотря друг на друга с противоположных берегов, и переругивались. Припоминали старые неправды и притеснения, укоряли взаимно друг друга племенными отличиями, обращая их в насмешку и раззадоривая. Доставалось и самим князьям – предводителям. Южане обругали новгородцев «плотниками» и, похваляясь аристократическим своим промыслом – земледелием, выхвастывались силою, боевым искусством и богатством своим; «заставим-де мы вас себе дома строить», а по пути обозвали и новгородского князя «хромцом». Не оставались в долгу и эти. Собираясь на брань, они послали сказать врагам, также попутно посмеявшись над их князем: «да то-ти прободем трескою (жердью) черево твое толстое» и т. п. Точно так же и под Любечем долго стояли новгородцы противу киевлян и не решались переправиться через р. Днепр, пока первые не выведены были из терпения обидами и грубыми насмешками. Киевский князь Ярослав точно так же в ссоре с тмутараканским Игорем счел необходимым бросить в него бранное и оскорбительное слово: «Молчи ты, сверчок!» Начали биться. Битва кончилась победою Игоря, а народ стал с той поры, в посрамление бранчливого, подсмеиваться над ним: «Сверчок тмутаракан победил».

Так поступил и Мстислав Тмутараканский, сын св. Владимира, еще в 1022 г., согласившись побороться с Редедей, косожским князем, по свидетельству «Слова о полку Игореве». – «Для чего губишь дружину? – говорил Редедя. – Лучше сами сойдемся бороться, будем биться не оружием, а борьбою». Боролись

крепко, боролись долго. Мстислав стал изнемогать: Редедя был велик ростом и силен. Взмолился «храбрый» Мстислав к Пречистой Богородице, обещая построить во имя ее церковь, – собрал все свои силы и ударил врага об землю. Потом вынул свой нож и «зареза Редедю пред полкы косожскими».

С тех дальних первобытных времен перекоры и всякого рода переругиванья в дешевой форме вызова и задоров или собственно «брань» стали употребляться, подобно слову «битва», в переносном значении, для замены слов «война» и «сражение». На самом деле существовал издревле особый порядок. За бранью следовала или «свалка» в рукопашную, или «сшибка» на кулачки, или даже прямо потасовка, как схватка за «святые волоса», и в этом удобном виде поволочка, лежа на земле или стоя на ногах из стороны в сторону, с боку на бок, пока кто-либо не ослабнет первым. Брань одна или окончательно решала спор, или разжигала страсти других враждующих до драки, когда они вступали в дело, принимая участие и сражаясь всем множеством. Частные и отдельные схватки переходили во всеобщую свалку, «завязывалось сражение», то есть сильное поражение насмерть ударами или оружием. Таковое несомненно должно, с разгаром страстей и общим одушевлением до самозабвения, перейти в подлинный «бой». Побоище делается повсюдным, раздражающим зверские инстинкты при виде пролитой крови и увечий. В конце концов настоящая «битва» объемлет все поле сражения. Здесь уже принимают участие не только отдельные полки и отряды, но целые армии, полчища[1] со всеми современными приемами баталий включительно до батального огня, то есть такого, когда ружейная и пушечная пальба производятся без команды, беспрерывно, пока не прогремит барабанный отбой либо не расстреляются из сумок все запасные патроны. А засим – и неизбежные последствия, то есть либо победа Петра Ве-

[1] С переносом ударения это слово получает двоякое значение: полчи́ще значит большой полк, имеющий число людей свыше определенного количества, и по́лчище – сильная рать, могучая сила – армия. (*Примеч. С. В. Максимова*).

ликого на Полтавском поле и «побой» Карла XII, которые вспоминаются до сих пор церковным празднеством – благодарственным молебном со звоном – 27 июня, в день Сампсона Странноприимца; точно так же – либо «Бородинское побоище», не указавшее с точностию перевеса сил сразившихся русских с французами на этом поле в Можайском уезде Московской губернии; либо «Мамаево побоище», которое ввергло всю Русь в продолжительное рабство и оскорбительную зависимость от диких орд. Надо было пройти долгому времени, чтобы последнее великое несчастье народа могло благодушно превратиться в насмешливое выражение и шуточный укор. Он обращается в таком виде к тем людям, которые беспутно ведут в доме хозяйство и, производя ненужные перевороты, достигают страшной неурядицы и даже полного имущественного разгрома со ссорами, драками и следами боевых знаков в виде синяков, желваков, колотых ран с рассечкой и ушибных подкожных и легких царапин ногтями и т. п. Где вам с нами «биться-ратиться, мужики вы лапотники, деревенщина-засельщина, воры-собаки, голь кабацкая!» А тем временем по полям ходит ветер, все подметает и разносит: брань на вороту не виснет и в боку не болит, а бранят – не в мешок валят. Пьяный мужик и за рекой бранится, да ради него не утопиться; не кидаться же, в самом деле, в воду от лихого озорничества: собака и на свой хвост брехает.

Бывало так, что враждующие соседи досыта наругаются, отведут душу, да на том и покончат и разойдутся: так нередко случалось у новгородцев с суздальцами. Затевать долгие и большие бои было невыгодно: одни без других жить не могли, потому что жили частыми обменами, вели живую торговлю. У новгородцев водились товары на всякую руку, вывезенные даже из-за моря, у суздальцев на зяблую и мокрую новгородскую страну заготовлялся хлеб-батюшко. Закичатся новгородцы – суздальцы захватят их торговый город и складочное место Торжок – и запросят купцы у пахарей мира по старине, с крестным целованием. Тогда обходилось дело и без драки, без рукопашных схваток, без лучного боя. Заломается суздальская

земля, – новгородцы наймут рати, накупят оружия, вызовут недругов с очей на очи, поругаются – отведут душу. Да надо же и подраться – «сердце повытрясти». Ругательствами подбодрились, охочих витязей на борьбу выпустили – еще больше разожгли сердца. Когда попятили богатырей на стену, дрогнула вся стена как один человек и закричала свой «ясак» – обычное заветное слово (новгородское «за св. Софию», псковское «за Троицу» и т. п.), и пошла стена на стену. Произошел бой «съемный»: войска сошлись вплоть и сразились «врукопашную». Всякий здесь борется не силой, а сноровкой и ловкостью: схватясь с противником, старается свалить его наземь и побоями кулаками и ударами дубиной или холодным оружием довести его до того, чтобы он уже не вставал на ноги.

И не слышно было в бухтанье да охканья!
И взял он шалыгой поколачивать,
Зачал татарин поворачиваться,
С боку на бок перевертываться;
Прибил он всю силушку поганую, –
Не оставил силушку неверную на семена.

В Липецкой битве, на берегах ручья Липицы, новгородцы не согласились биться с суздальцами на конях. Они спешились и разгорячились до того, что сбросили с себя порты (шубы, рубахи) и сапоги; стали сражаться налегке, врассыпную. Суздальцы побежали. Вопль и стоны изломанных, избитых и раненых слышны были за несколько верст. В другой раз, когда Александр Невский наказывал немцев за дерзкую выходку, тоже за похвальбу «покорить себе славянский народ», новгородцы смяли их с берега на лед, жестоко бились на нем в рукопашную, поразили врагов наголову и потом гнали их по льду на расстоянии семи верст. Когда тот же Александр Невский бился со шведами на берегах Невы, витязи его так разгорячились в битве, что совершили богатырские подвиги. Один новгородец, преследуя неприятелей, спасавшихся на корабль, вскочил на доску, был сброшен с нее в воду вместе с

конем; но вышел из воды невредим и снова ринулся в битву. Другой пробился к златоверхому шатру шведского предводителя и подрубил его столб: шатер рухнул; это обрадовало русских и навело уныние на врагов.

Из взаимных бранных перекоров, разжигавших на битву или собственно бой (оттого они часто в старину назывались «бранью»: «броня на брань, ендова на мир»), остались многочисленные следы в так называемых присловьях, где одна местность подсмеивается над недостатками или пороками другой. Иные из этих насмешливых прозвищ до того метки и злы, что немедленно вызывают на ссору и драку современных невинных потомков за грехи или недостатки виновных предков.

Впрочем, собственно браниться, то есть в ссоре перекоряться бранными словами, по народным понятиям, не так худо и зазорно, как ругаться, то есть бесчестить на словах, подвергать полному поруганию, смеяться над беззащитным, попирать его ногами. С умным браниться даже хорошо, потому что в перекорах с ним ума набираешься (а с дураком и мириться, так свой растеряешь). Зато кто ругается, под тем конь спотыкается.

Хотя лучше всякой брани «Никола с нами!» – тем не менее забалованная привычка часто и говорить, и делать с сердцов, и даже не сердясь ругаться и без всяких поводов браниться – привычка, как видим, вековечная, досталась нам от предков и укрепилась так, что теперь с нею никак уже и не развязаться. Еще в глубокую старину народ убедился в том, что брань на вороту не виснет, и это укрепил в своем убеждении так твердо, что уже и не сбивается. В позднейшие времена он еще больше утвердился на том, когда, по указу государеву (Екатерины II), и заглазная брань отнесена к тому же разряду. Сказано, что она виснет на вороту того человека, который ее произнес. Затем известно, что не помутясь море не уставится, без шуму и брага не закисает, стало быть, без брани, когда далеко еще не все у нас уряжено, скроено и сшито и приходится все перекраивать, а сшитое распарывать, без брани – не житье: как ни колотись, сколько ни мучайся. Соблюдай лишь при этом одно святое, незыблемое правило: «языком и щел-

кай и шипи, а руку за пазухой держи», хотя, однако, одною бранью и не будешь прав.

ГОВОРИТЬ

По-русски говорить – это не одно только уменье изъясняться на своем родном языке, что не очень легко на таком богатом и поэтому очень трудном. Обыкновенно удивляются, откровенно сетуют и наивно высказывают жалобы наши матросы, например, когда во время плаваний при обращениях с туземцами требований их те не понимают и желаний не исполняют:

– А ведь я ему русским языком говорил!

Несмотря на глубочайший комизм подобных жалоб и, по-видимому, необычайное простодушие темных людей, здесь, в сущности, заключается нечто более серьезное, оправдывающее призрачную наивность. Кругосветный матрос, сибирский казак, закавказский солдат глубоко убеждены в том, что, сказавши по-русски, они выразились точно. Это – не по самомнению, что только на русском языке можно выражаться таким образом, а по привычке, сделанной с малых лет – говорить прямо, решительно и коротко. Этот способ непривычным посторонним людям кажется грубоватым и неприятным именно потому, что простые деревенские люди говорят мало, не привыкли даром пускать слова на ветер. Не прибегают они к иносказаниям и не знают льстивых подходов, обходных приемов и подслащенных слов, предоставляя это городским людям. К словоохотливым из заезжих они прислушливы, но опасаются им вполне доверяться. Болтуны из соседей и своих не пользуются никаким уважением, считаются пустыми и бездельными людьми, зачастую подвергаются насмешкам и обидному презрению. Во всяком случае, по деревенским понятиям, болтуны, с неизбежною примесью хвастливости и рисовки собою, «бахвалки» по коренному народному выражению, – люди неумные, дураки: «Язык болтает, а голова не знает». Языком молоть спустя одно и то же, что день-деньской

по базарам болтаться без всякого дела и в то же время другим мешать дело делать. Пословичные приметы ведут даже к таким решительным и смелым заключениям: «коли болтун, так и врун; врун, так и обманщик; обманщик, так и плут; плут, так и мошенник, а мошенник, так и вор». Между тем иначе, как просто, ясно и коротко, по народному убеждению, и говорить по-русски нельзя. Образный язык роскошно снабжен для того всеми данными: старайся лишь ими пользоваться. В противном случае, в глазах русского человека и по выражению тех же матросов и солдат, будет уже «на манер французский» и, может быть, даже немножко и «по-гишпанистей».

Впрочем, не одни деревенские люди о родном языке такого строгого понятия.

– Кажется, по-русски я тебе сказал; кажется, русским языком я тебе говорю! – с сердцем и сильным упреком сплошь и рядом и ежедневно обращаются образованные люди к бестолковому или лентяю, не пожелавшему или позабывшему исполнить поручение или приказание. Чего уж хуже: стоит ли после того с таким человеком язык понапрасну трепать? – Очевидно, что с ним нельзя вести никакого дела.

Отсюда же и «отрезать по-русски» значит сказать решительное и окончательное, прямое и бесповоротное слово, напрямки, начистоту, по всей голой правде. По правде русак хочет жить, но мало ее видит, про нее только слышит и целый свой век тужит об ней. Один из самых честных и умных князей сказал своему народу, что «не в силе Бог, а в правде». Ему охотно поверили. Потом, немного осмотревшись, узнали правду Сидорову да Шемякин суд, затем познакомились с той, которую в Москве у Петра и Павла выбивали длинными прутьями из пяток, когда человек был подвешен за руки на дыбу. Мимоходом в то же время русские люди узнали правду «цыганскую», которая оказалась хуже всякой православной кривды, да «греческую» – еще страшнее («коли грек на правду пошел, держи ухо востро!»). А с тех пор, как стали заводиться новые порядки, русак решил, что теперь вся правда – в вине, и по-прежнему слезно горюет: «и твоя правда, и моя

правда, и везде правда, а нигде ее нет». Он охотно ее ищет и стал, однако, очень недавно находить – в суде. Последнее русское приобретение пришлось теперь кстати и, что называется, ко двору, тем более что давно уже откровенно выговорилось: «за правду не судись: скинь шапку, да поклонись». Недаром же и первый свод законных постановлений носит название «Русской Правды» еще с 1016 года.

ПРИНЯТЬ И УГОСТИТЬ

Вот здесь наша слава, честь и хвала безраздельные и беспримерные. Если обойти весь свет и потолкаться у всех народов, даже между азиатскими, которые в особенности отличаются гостеприимством и у которых оно не только народный обычай, но и религиозный закон, – подобной русской готовности и уменья обласкать заезжего и захожего гостя положительно нигде найти нельзя. Широко раскрыты наши ворота для званых и незваных, как бы подчас ни были неудобны последствия и как бы ни разнообразились причины, породившие подобное явление. Русское радушие оттого велико и сильно, что, народившись среди бесприветной природы и в бесприютной стране, выучилось ценить чужую нужду в посторонней помощи и понимать опасности тех, кто стучит в окно и просит приюта. Начало этому доброму и высокому чувству лежит во мраке далеких времен, когда заселялась русская земля и передние переселенцы, испытавшие суровую школу передвижения по дремучим необитаемым лесам, выучились помнить о задних. Десятки похвальных обычаев, обращенных на пользу бесприютных и заблудившихся, сохранились во всей целости до наших дней, несмотря на то, что круто изменяется образ нашей великой земли. Житейские невзгоды в первобытной суровой стране, смирившие человека и научившие его одновременно общинному быту, артельному труду и круговой поруке, положили в основание характера беспредельное добродушие. С последним же, как известно, непосредственно соединяется великая христианская заповедь

любви, проявляющаяся участием, состраданием и готовностью помощи не только тем, которые открыто просят, но и тем, которые неслышно страдают и гордо молчат. Так называемая тайная милостыня темною ночью, неслышной походкой, осторожно спрятанной рукой так же деятельна и распространена, как и подача на выходах из церквей, на базарных и ярмарочных площадках и ранним утром из домашнего окна при дневном свете громко вымаливающим и выстукивающим просьбу в подоконья. Из-под них, как известно, ни один и ни разу не отходил еще без святой Христовой милостыни. Если мы, между прочим, обратим внимание на разнообразие приветов, ласковых встречных слов, из которых, говоря по-книжному, составляется целый словарь, – мы наглазно убедимся, сколь богато русское сердце и как роскошно разлито в нем, во всем своем разнообразии, благородное сочувствие и участие приветливым словом и делом. Не одному тяжелому, но и всякому малому труду посылаются встречным и мимоходным свидетелем добрые пожелания успехов и Бога на помочь. Опасные моменты в жизни и все преткновения предусмотрены и взыскиваются словом живительным и подкрепляющим упавшую энергию. Вовремя сказанное слово умеет и плечам придать новую силу, и уменьшить боль в ноющей ране. Заявление теплого сострадания совершает великие чудеса там, где была потеряна всякая надежда и наступало время рокового отчаяния.

Складные и необычайно разнообразные приветствия становятся бесконечными в те времена, когда русский человек, вообще «гулливый» (по тому же пословичному признанию), распахнет душу и выставит праздничную хлеб-соль. Собственно праздничных пиров у русака меньше трех дней не бывает, словно и впрямь в честь святой Троицы. «Добро пожаловать» и «милости просим» получают такое разнообразие и оказываются в таком широком применении, что нет возможности уследить до конца. Русский человек вообще терпелив до зачина и всегда ждет задора, но лишь дождался помощи в товарищах – «ни с мечом, ни с калачом не шутит».

Каков он в бою, таков и на пиру, где, по пословице: «пьют по-русски, но врут по-немецки». В таком случае выражение «принять по-русски» распадается на двоякий смысл: в бою и в недоброе время – это значит принять и прямо и грубо расправиться, пробрать, угостить так, что покажется солоно. В мирное время и на счастливый час – это значит принять с душой нараспашку и с сердцем за поясом и угостить до положения риз (по семинарскому выражению) и по-крестьянскому: «что было, все спустил: что будет – и на то угостил!»

БОЖИТЬСЯ

Призыванием имени Божьего во свидетельство сказанной правды и самою клятвою как поличным доказательством у нас на Руси зачастую злоупотребляют так, что божба потеряла подобающую ей силу. Тем не менее на нее предъявляют требования изверившиеся люди и в ней ищут успокоения совести и подкрепления своего убеждения, когда другие пред ними ротятся и клянутся. Делается так или по дурной привычке, или из личных корыстных видов, но во всех случаях вопреки евангельской заповеди, повелевающей говорить только «да» или «нет», и в полном согласии с древними, далеко не покинутыми приемами и обычаями языческих времен. Проповедники слова Божия запрещали употреблять в клятве имя Бога, а у нас «ей-богу!» стало равносильно евангельскому «ей-ей!», простому «да», и идет оно мимо ушей и не вменяется уже ни во что. Не больше верят и таким тяжким заклинаньям, как «лопни мои глаза, развались утроба на десять частей», как «с места не встать – света белого (креста на себе) не видать»; как ссылка на телесную сухотку: «отсохни руки и ноги; всему высохнуть; иссуши меня, Господи, до макова зернушка»; как базарное перед большими праздниками – «праздника честного не дождаться, разговеться бы Бог не привел, и куском бы мне подавиться». Не больше веры и тому, кто скажет: «вот Бог видит» и при этом наклонится и сделает такое движение правой рукой, как будто берет горсть земли и

затем подносит руку ко рту, как будто бы ест эту мать-сырую землю (а иные даже, например у белорусов, и на самом деле едят ее). Бывают, однако, и такие клятвы, которые не признаются «малыми», но настоящими «тяжкими», судя по условным понятиям и местным вкусам. Иному верят, если он просто удостоверяет, что у него сегодня ни пито, ни едено, что у него крохи во рту не бывало, что у него только вода на лице была и т. п. Клятва своими детьми почитается везде одною из самых убедительных и строгих. Ее не вменяют в правду только в устах цыган, над которыми за то и подсмеиваются зло, говоря: «цыган божится, на своих детей слыгается» или «шлется на своих детей». Усердно божится и клянется купец за добротность товара, в котором он знает толк, перед тем бестолковым и слепым покупателем, которому понравился товар по внешности, но неизвестен по внутренним качествам. Тем охотнее божится продавец, чем больше покупатель обнаруживает готовности купить, не умея разобраться в добротности неотложно необходимой вещи. В торговле столько обманов в подделке, столько казовых концов, а стало быть, обширное поле для ошибок и промахов, что недоверие невольно ищет себе поддержки и оправданий в божбе и тяжких клятвах. Некоторые продажные вещи до того обманчивы и так подделаны, что на них может «обмишулиться» самый опытный глаз и привычная ощупь. Затем, чем темнее продаваемая вещь, тем больше недоверия покупателей и больше клятв от продавцов, которые «поневоле клянутся, коли врут». Так, например, нет ничего труднее купить хорошую лошадь (у цыган даже совсем не советуют их покупать). Не покупают коня деньгами, покупают всего чаще удачей. Кто бывал на конных торжках и ярмарках, тот легко вспомнит и вполне согласится с тем, что нет больше шуму, отчаянной божбы и бессовестных клятв, как именно на этих местах, где действуют наглые и дерзкие на словах барышники. Они и язык особенный выдумали для своих плутней, и по конюшням держат целые аптеки и химические лаборатории. Вот почему сталось так, как подсказывает верно сложенная поговорка: если барышник «не божится,

то и сам себе не верит, а если божится, то люди ему не верят». В старину будто бы купцы имели обыкновение божиться вслух, а про себя отрекаться от выговоренной клятвы. Теперь замечают, что совсем вывелась из употребления эта старинная «отводная» клятва, задняя мысль с отводом от себя по такому способу: «лопни глаза» (например бараньи), «дня не пережить» (собаке), «отсохни (вместо «рука») рукав» и т. п. Теперь говорят: «люди праведно живут: с нищего дерут да на церковь кладут». Теперь стоит лишь пройти мимо места продажи и купли, чтобы услыхать самую разнообразную и беззастенчивую божбу на всякие лады, перемешанную с грубыми перекорами и сильною руганью.

Ввиду такой несостоятельности божбы и клятвы при неверном расчете на то, когда правда себя очистит, придуманы разные способы острастки, чтобы добиться уверенности в зачуровываемой голой истине. Самоед никогда не согласится соврать, стоя на шкуре белого медведя и держа его голову в руках: он убежден еще, что за показную ложь съест его этот зверь при первой же встрече на Новой Земле. Старинные казаки боялись целовать дуло заряженного ружья, и теперь присяга на ружнице у донских казаков употребительна во многих станицах. Она считается вполне убедительною и страшною, если у ружья со взведенным курком поставлена будет святая икона. То же снимание со стены иконы и целование ее при свидетелях почитается еще клятвенным доказательством там, где ружье не играет такой большой роли, как у казаков, и где думают, что снимать для клятвы икону значит «потянуть руки на Бога». Икона на голове, а кое-где, вместо нее, кусок свежего дерна также иногда служит бесспорным доказательством настоящей правды, как самая тяжкая божба (о чем я уже имел случай говорить в другом месте). У белорусов до сих пор живо выражение «землю есць», то есть клясться землей, – и не исчез обычай, в доказательство истины, класть в рот щепотку земли и жевать ее. Тверда и неизменна только та клятва, которую несут миром, когда идут круговой порукой, то есть стоят все за одно и каждый за всех.

ОДЕВАТЬСЯ

В наглядное доказательство того, насколько изменяется даже на нашей памяти не только внутренний смысл народной жизни, но и внешние отличительные этнографические признаки русского человека, достаточно остановиться на одежде, и здесь, не уходя в дальнейшие скучные подробности, ограничиться, например, лишь одним головным убором. Не говоря об исчезнувших уже женских киках, кокошниках, покойниках и сороках[1], – более устойчивые мужские шляпы становятся теперь также большою редкостью.

До освобождения крестьян на глазах у всех было больше десятка сортов этой головной покрышки, носивших отличительный покрой и соответственные названия. По ним опытный, приглядевшийся глаз мог уверенно различать принадлежность их владельцев известной местности: шляпы, как наречие и говор, служили верными этнографическими признаками и точными показателями. Весьма многие, несомненно, и помнят классические «гребневики» на головах московских извозчиков из подмосковных деревень, разъезжавших на зимних санках и на отчаянных клячах. Помнят и базарную общеизвестную «ровную» шляпу, где тулья была одинаково ровна около дна или верха и около полей на низу. Солидные старички и до сих пор ее не покидают, дорожа ее удобствами, именно потому, что «дело в шляпе», – в буквальном смысле поговорки: хранится синий ситцевый платок с завернутыми в нем деньгамии, личный паспорт, нужные бумажонки, со счетами и расписками, с письмом от баламута-сына из Питера и проч. Молодежь требовала на эту ровную шляпу цветную ленточку с оловянной раскрашенной пряжкой. Из этой шляпы выродилась «перепонка» всей новгородчины – не слишком высокая, а середкой на половине: стопочкой и коробочком. Некоторые местности у семеновских и макарьевских

[1] Последний женский убор, соро́ка – некрасивый, был особенно распространен, В. И. Далю еще удалось видеть сороку ценой в десять тысяч рублей. (*Примеч. С. В. Максимова*).

мастеров-кустарей требовали перелома этих ровных шляп по самой середине, другие делали перехваты ближе ко дну для украшения их в этих местах лентами и пряжками. В первом случае выходили шляпы «с переломом», во втором «с перехватом», где ленточка, пришитая ближе кверху, спускалась к полю накось, как у рязанцев. Для Поволжья валяли из овечьей же шерсти, заваривали в кипятке и сушили на солнце, вместе с теплыми валяными сапогами, шляпы «верховий» и шляпы «срезок» (пониже и пошире). Сваляют покрепче, чтобы войлок стоял лубом, наведут поля пошире (у верховий узенькие), подошьют лакированную кожу и, вместо ленты, кожаный ремешок, наведут пушок или ворсу – выходит шляпа «прямая» или «кучерская», на потребу этим важным и гордым городским особам. Изготовлялся в семеновских валяльных избах и ублюдок среди шляп, называвшийся полуименем «шляпок», и настоящие уроды по форме и покрою: «ровный шпилек» (ибо был еще «шпилек московский»), «кашник и буфетка». Ровный шпилек похож был на опрокинутый кувшин, в каких до сих пор продают в Москве молоко, а кашник имел поразительное сходство с опрокинутым горшком, в каких обычно варят щи и кашу. Для поволжских инородцев изготовляются особые шляпы: «чувашки» всегда черного цвета и «татарки» – всегда белые и некрасивые: либо грибом, либо первозданным колпаком наподобие скифских (или тоже белорусских) мегерок. Как под шляпами городского фабричного дела с широчайшими полями или крыльями всегда легко и просто можно было видеть священников, так из-под «бриля» глядит серьезное, усатое и мужественное лицо малоросса. Одним словом – во всех этих и других неупомянутых случаях воочию подтвердилась истина изречений «по Сеньке и шапка» или «по Ереме колпак, по Малашке шлык».

В настоящее время за этими и иными разновидностями народного наряда нашим ученым обществам, для пополнения музеев, приходится гоняться с трудом. Многие уже, как выражается сам народ, и прозевали, а что еще остается на виду, на все то надо, что называется, смотреть в оба. Всякие пре-

образования и улучшения последних десятилетий, в самом деле, всколебали коренную народную жизнь до самого дна, доведя ее даже до таких видимых мелочей. На смену старинных заветных шляп вышел даже в глухие деревни городской щеголь-картуз с лакированным светлым ремешком и шелковой ленточкой. Вместе с ним появилась, вместо балалайки, гармоника в руках франта при жилетке, дождевом зонтике, серебряной цепочке красносельского изделия и в смазных скрипучих сапогах. Вспомнилась мужичья шляпа как раз в то самое время, когда «Спирьки», «Стрелочки» и самые плоские «частушки», коротенькие, но безобразные, выступили на смену смолкающей не вовремя, но, по-видимому, в очередь – бесподобной народной песни.

К изумлению, уберегается еще в обычаях прародительская стрижка волос «в скобку», наподобие буквы П, когда ножницы обрубают волоса в середине лба, а затем опять прямо по затылку кругом всей головы, обойдя уши для того, чтобы они были закрыты волосами. Надо ушам быть прикрытыми, чтобы не зябли, если больше полугода стоит холодное время, точно так же как по той же причине выгоднее на рубахах и полушубках запахивать грудь косым воротом, чем распашным прямым (усвоенным малороссами и белорусами). Впрочем, коренные русские люди, более дорожащие старинными обычаями и обрядами и придерживающиеся старой веры, стригутся все еще «под дубинку» в отличие от господской стрижки по-польски или по-немецки с косым пробором и висками и от солдатской «под гребенку»: гладко, насколько захватят казенные ножницы. Под айдар – круглая казачья стрижка, обрубом, не в скобку, под чуб или верховку. Под Нижним по Волге, вопреки обычаю, макушки не стригут и самый способ называют «ардаром». Староверский способ требует обруба волос ровного кругом всей головы и при этом простригают макушку, то есть «гуменце», что делалось встарь на «постригах», когда отрокам княжеским наступал возраст возмужалости. Это производится до сих пор при посвящении священнослужителей. Староверы упорно веруют, что такой прием облегчает дости-

жение благодати свыше при молитвенных возношениях и земных поклонах, через открытое темя прямо в голову.

ПРИВЕЧАТЬ

Насколько цены и важности придается народом обычаю приветов и в какой мере они обязательны и требовательны во всем множестве подходящих, неожиданных и обязательных случаев, может служить резким доказательством обращение среди грамотных в народе особых записей в виде образцов и руководств. Их можно встречать отдельными статьями в различных письмовниках, издаваемых московскими книгопродавцами для обучения вежливости и хорошему тону. Некоторые записи представляют собою любопытные кодексы старинных нравов, и в этом смысле они имеют большую этнографическую и историческую ценность. Жители городов, конечно, в особенности понуждались в этих указаниях для изъявления доброжелательства и ласковых слов, столь драгоценных для доброго соседства и дружелюбных отношений. На это досужая городская жизнь дает множество поводов и открывает широкий простор в различных бытовых случаях.

Один из таких сборников, как памятка про себя и заметки про свой домашний и общежительный обиход, написан был жителем ярославского города Мышкина еще в 1779 г. и случайно отыскан П. Н. Тихоновым. Он напечатал этот сборник в «Ярославских губернских ведомостях» 1888 г., и в нем 4 страницы принадлежат именно этому отделу «приветствий».

Иностранцам больше всего бросался в глаза обычай взаимных приветов и добрых пожеланий при встречах. Так, например, уже при Петре I живописец Бруэн, посетивший Москву, свидетельствует: «Русский, входя в дом другого, не переступит порога, не перекрестившись раз пять перед иконою и не прошептав: “Господи, помилуй меня”, или иногда: “Даруй, Господи, мир и здравие живущим в сем доме”». После сего обряда начинаются обоюдные поклоны, а наконец и разговор». И далее: «Когда они потчуют своих друзей, то таковое начинается

обыкновенно с десяти часов утра и продолжается до часу пополудни, когда все расходятся для отдыха по домам» и т. д.[1]

Этот же иноземец своеобразно засвидетельствовал и о русском гостеприимстве и хлебосольстве, которое равно было свято и в убогих хижинах, как и в царских палатах. «Чистосердечно думаю, – пишет этот Бруэн, – что в целой вселенной нет двора, особенно столь пышного, как российский, где бы частный человек мог найти такой хороший прием, о коем воспоминание глубоко врезалось в моем сердце». Петр поручил Меншикову представить этого редкого художника вдовствующей царице Прасковье и трем своим племянницам, дочерям царя Федора, с которых просил написать портреты. Вот каков был прием: «Когда я подошел к царице, то она меня спросила, знаю ли я по-русски? – на что князь Александр ответил отрицательно. Потом государыня велела наполнить маленькую чарочку водкою и предложила оную собственноручно сему вельможе, который, опорожнив, отдал в руки прислужнице, а сия, наполнив еще водкою, подала царице, которая предложила ее мне. Она также поднесла нам по рюмке виноградного вина, что повторено было и тремя малолетними княжнами. После сего большой бокал был наполнен пивом, который царица сама подала князю Александру, а сей последний, отведав несколько, отдал его прислужнице. Та же самая церемония была и со мною, и я также, поднесши сосуд к губам, отдал его назад: ибо при сем дворе, как я узнал после, нашли бы весьма неучтивым, если бы кто осмелился

[1] Следует заметить, что в обычаях московского царского двора в приветах царем подданных существовала разница. Так, напр., желая оказать высокую милость ласковым словом, царь спрашивал светских людей «о здоровье», а духовных «о спасении». Царь Алексей привечал протопопа Аввакума при встрече вопросом: «Каково, протопоп, поживаешь?» – и шапку-мурманку бывало приподнимал. А после того все бояре челом да челом: «благослови-де нас и помолися о нас». Согласно Мышкинскому сборнику, священника исстари приветствовали одним словом: «Священствуй!» – Кто возвращался от него с исповеди, того встречали приветом: «Поздравляю, избавясь от греховного бремени!» А ему советуется (в Сборнике) отвечать: «Грешен я, опять принимаюсь грешить. О, невоздержность!» и проч. (*Примеч. С. В. Максимова*).

опорожнить последний стакан пива, предлагаемый хозяином или хозяйкою». Впоследствии, когда художник начал работу, ему пришлось убедиться в полном радушии: «Каждое утро с усиленными просьбами мне предлагали различные напитки и закуски, а нередко оставляли обедать, угощая даже мясом, хотя это было во время поста. В продолжение дня несколько раз потчивали меня вином и пивом» и т. д.

Я принялся было в одно время собирать эти приветствия как настоящие мимолетные крылатые слова и всматриваться во все их разнообразие, но в том и другом случае и счет потерял, и утомился в поисках и погоне. Впрочем, большую часть этого сборника я успел разъяснить и напечатать в десяти номерах детского журнала «Задушевное слово».

Вот, например, какие возможны сцены, когда употчиванные гости прощаются с хлебосольными хозяевами:

– На хлебе – на соли, да на добром здоровье! – заводит один.

Ему отвечают хозяева.

– Дай Бог с нами пожить да хлеб-соль поводить.

Бойкий гость подхватывает:

– Что в Москве в торгу, то бы вам в дому.

Находчивый хозяин спешит отблагодарить:

– В долгий век и добрый час (то есть и вам-де тоже).

– Дай тебе Господи с нашей руки да куль муки!

– Ваши бы речи да Богу в уши!

– Прощения просим!

– На свиданье прощаемся. Живите Божьими милостями, а мы вашими.

– Путь вам чистый!

– Счастливо оставаться!

Затем хлопнула дверь и хозяева остались одни в доме, а гости разъехались.

В самом деле, подобное явление в народном обиходе и в живой речи чрезвычайно знаменательно как неизменный вековой обычай, не имеющий подобия ни у одного из других народов белого света. Начинаясь в глубокой древности, добрые

приветы встречают простого русского человека со дня его рождения. Забывались старые, перерабатывались на новые и придумывались свежие, сообразно новейшим обычаям, но не повидались вовсе и не ослабевали. К былинному привету, обросшему, так сказать, мохом: «Бог тебе помочь, оратаюшко, с края в край бороздки пометывати, пенье-коренье вывертывати, пахать, да орать, да крестьянствовать!» – присоседилось: «Чай да сахар милости вашей!» Сказавши себе, что «ласковое слово лучше мягкого пирога», наш народ сумел разнообразить и подсменять самое любимое и наиболее прочих распространенное, известное на всем лице православной земли русской приветствие «Бог нá помочь».

Еще в самом раннем возрасте грудному младенцу сказываются эти ласковые приветы и добрые пожелания. Когда ребенок, освободившись от пеленок, потягивается и улыбается, – ему спешат пожелать и сказать:

– На шутá потягуши, на тебя поростуши.

Когда моют ребенка в бане, обязательно приговаривают:

– Вода б книзу, а сам бы ты кверху.

Надевая рубашку, пришептывают:

– Сорочке бы тонеть, а тебе бы добреть.

И заговаривают заученым зароком, полученным от ворожей, – когда опрыскивают водой от лихого взгляда, – от сглаза:

– С гуся вода, с лебедя вода, а с тебя, мое дитятко, вся худоба на пустой лес, на большую воду.

На ком видят обнову, тому говорят:

– Платьице б тонело, – хозяюшка б добрела (или: «дай Бог износить, да лучше нажить!»).

Исходя из того простого практического убеждения, что добрый привет покоряет сердца, наш народ нашелся в ласкательных пожеланиях на всякий случай, где только видит труд, и, точно предчувствуя его неудачу, поощряет работающего намеком на то, откуда следует ожидать удачу. На починный добрый привет возвращается такой же благодарственный ответ. На то и другое требуется сметка, подготовка обучением не всегда по книжкам или писаным тетрадкам, а по общеприня-

тому навыку, со слов и мимолетных образчиков. Про деревенский обиход из числа пожилых женщин и особенно из бойких вдов вырабатываются истинные профессора по находчивости в привете, – кажется, даже до настоящих импровизаций. Обрядовая нужда (крестильная, свадебная, похоронная и т. д. в бесконечность) предъявляет сильное и неизбежное требование на мастериц этого рода, которые и являются в форме свах для веселых и бойких приговоров, в форме повитух для руководства сложными приемами, обязательными для ребенка и роженицы, и в виде плачей или плакальщиц для горьких причитаний и воплей, по найму, на могилках по погостам.

Иная из таких опытная, находчивая и, что называется, присяжная выйдет на деревенскую или сельскую улицу и начнет ласкаться, показывать свое досужество и доказывать мягкое, доброжелательное сердце даже до излишеств болтливого языка. Встретилась с соседкой: «легки ли, девушка, твои встречи?» – и ответу не ждет, не нуждается (бывают и такие приветы и не для одних ненаходчивых и неприготовленных). Идет дальше: тешет домохозяин сосновое бревно, ухнет, ударит топором и отрубит щепу: «сила тебе в плечи!» – ответа также не требуется или довольно и «спасиба» (спаси Бог и тебя, а славу Богу лучше всего). Иному: «Бог нá помочь!» Другому: «Весело работке!» Навстречу гонят корову с поля: «Сто тебе быков, пятьдесят меринов: на речку бы шли да порыкивали, а с речки шли – побрыкивали». На реке бьет вальком прополосканное белье младшая невестка из соседней избы: «Белéнько!» – услышит и она короткое приветствие. Детки ее тут же подле ловят рыбу на удочку: «Клев на уду!» и в ответ от них: «Увар на ушицу». Набежала досужая мастерица на легкое слово и на такую, которая шла белье полоскать. «Свеженько тебе!» – Забежала в ближайшую избу присесть на лавочке и на ходу покалякать, рассказать про то, что сейчас видела и слышала: старшая невестка сидит за ткацким станом и щелкает бердами и челноком: «Спех за стан» (или «шелк да бумага»). – Ответ: «Что застала на утóк, то тебе на платок!» В другой избе хозяйка печет овсяные или яшные блины

и стряпает яичницу-глазунью (она же исправница и верещага), – и эту заласкивают пожеланием: «Скачки на сковороду!» Иная наелась блинов до икоты, – ей: «Добром – так вспомни, а злом – так полно!» Хозяин вернулся из бани, помылся – попарился: «С легким паром!» – и ответ от находчивого: «Здоровья в голову!» Стали собираться и остальные домашние тут же: «Смыть с себя художества, намыть хорошества!» – и на это благодарный отзыв: «Пар в баню – чад за баню!» За нее благодарят: «На мыльце – белильце, на шелковом веничке, малиновом паре». Один наливает воду в чан: «Наливанье тебе!» Ответ: «Гулянье тебе! сиденье к нам!» Другой ест в день Спаса первое яблочко, – перекрестился и выговорил: «Господи, благослови, – новая новинка, старая брюшинка». А тут на погосте же в церковных рядах деревенский откормленный торговец стоит у створов своей лавки с дегтем, солью, веревками и солеными судаками (твердыми, как березовыя поленья) – человек нужный (верит в долг), – как его не оприветить: «Бог за товаром!» или: «С прибылью торговать!» В ответ на первый случай: «В святой час да в архангельской!» На второй: «Дай Бог в честь да в радость!» Особенно много сказывается ласковых слов у хлеба-соли, при полевых работах, и бесконечно-неуловимы они при свадебных торжествах, где бывают и ласкательные, и бранные, и шутливые.

Шутливые приветы бывают такие, как, например, отдыхающему после работы: «Вашему сиденью наше почтенье!» Чихнувшему говорят: «Сто рублей на мелкие расходы!» или: «Спица в нос невелика – с перст». На чох, впрочем, чаще всего говорят: «Будь здоров».

Бывают и шутливые ответы: «Хлеб да соль!» Ответ: «Ешь да свой!» Привет охотнику: «Талан на майдан!» Ответ: «Шайтан на гайтан!» (черт на подпояску). «Каково Бог вас перевертывает?» Ответ: «Да перекладываемся из кулька в рогожку». Шутят и такими приветствиями: «Поздравляю с плешью». И зазывают шутливо: «Милости прошу к нашему грошу со своим пятаком!» Везде, по пословице: «привет за привет и любовь за любовь, а завистливому хрену да перцу, – и то не с нашего стола».

Умелый замечать свои слабости и шутливо над ними острить и подсмеиваться, русский человек и в данном случае не воздержался от этой привычки. Он сложил целую песенку про «дурня-вальня», которого учила мать поклонам и ласковым словам на дорожные встречи. Он все говорил невпопад, а зато его «били, били – колотили». Сказочка эта в стихах известна всем воспитавшимся в деревне с детства и, судя по множеству разноречий, весьма распространена и многим известна.

Так как на всякие случаи жизни сложились у народа свои особые приветы и кто хорошо знает их, тот зачастую может по словам приветов узнать, из какой губернии прохожий доброжелатель и даже из какой более или менее обширной местности. Иначе приветствует встречного русский человек из северных губерний, иначе – из южных, но везде и у всех одно сходство: поминать Бога и желать добра. «Не помолившись Богу – не ездить в дорогу», а святым именем Его желать добра всякому трудящемуся – встречному и поперечному.

Той, которая доит корову, в Холмогорах говорят: «Море под буренушку!» (доильщица благодарно отвечает: «Река молока!»). Таковым по Волге желают короче: «Ведром тебе!», а под Москвой нежнее и лучше: «Маслом цедить, сметаной доить!» Входя в лавку, привечают купца: «Бог за товаром!» – на Севере; «С прибылью торговать!» – по всем другим местам подмосковным, и «Сто рублей в мошну!» – в Поволжье. По всей России отъезжающему: «Счастливый путь!», а на Севере: «Никола в путь, Христос подорожник!» – по тому исконному верованию, что Никола помогает и спасает не только в море и в реках, но и на сухом пути. В Сибири кое-что посвоему, а многое и по старой русской привычке.

В одно из путешествий моих по Тобольской губернии я попал с дороги в жарко натопленную избу, когда в ней собрались так называемые посиделки. Хозяйка избы, по сибирскому обычаю, созвала своих родственниц, старух и молодых, из своей деревни и из соседних – погостить к себе, посидеть и побеседовать. Ходила сама, просила:

– Всем двором опричь хором! Хлеба-соли покушать, лебедя порушать, пирогов отведать.

Пришла каждая с прялкой (гребней в Сибири нет) и со своим рукодельем. Работают здесь на себя – по сибирскому обычаю, а не на хозяйку – по великорусскому. Когда все собрались, у хозяйки уже истопилась печь. Когда гости немного поработали, – накрыли стол и поставили кушанье все разом, что было в печи. Отошла хозяйка от печи, отвесила длинный поклон в пояс, во всю спину, да и спела речисто и звонко с переливами в голосе:

– Гостюшки-голубушки! Покидайте-ко прялочки, умывайте-ко ручонки! Не всякого по имени, а всякому челом. Бью хлебом да солью да третьей любовью.

Кушаньев подали вдоволь. Тут были неизменные сибирские пельмени, которыми там заговляются и разговляются. Были пшеничные блины и оладьи, одни на яичных желтках, другие – на яичных белках, блины гороховые, оладьи вареные, лапша с бараниной, пирог с осердием (или легким), пирог репной, пирог морковный, российская драчена, которая в Сибири называется каржовником, молоко горячее, каша яшная и просяная (гречневой в Сибири нет), репные паренки, грибы с квасом.

Угостивши «на доброе здоровье», меня проводили обычным всей Св. Руси и вековечным напутствием:

– Счастливого пути!

– Добрых встреч! – подговорил кто-то сбоку.

Неровен час, – на грунтовых дорогах всякая беда может случиться: настукает бедра и спину на глубоких ухабах, которые в Сибири называются нырками; в ином месте выбросит из саней; в лесу нахлещет лицо сосновыми ветками. Летом колесо сломается, а починить негде; лошади пристанут среди дороги, а сменить их нечем; мост провалится: они все такие непрочные, и т. п. Я сел в кошеву. Ямщик оглянулся: все ли готово, ладно ли уселся, не забыл ли чего?

– С Богом! – отвечаю я ему.

– С Богом – со Христом! – проговорил он и ударил по лошадям.

– Скатертью дорога! – подговорил кто-то со стороны.

– Буераком путь! – подшутила разбитная девушка из гостивших и угощавшихся прях.

РУССКИЙ ДУХ

Нянина сказка «О царь-девице» восстает теперь в памяти, как вчера сказанная, а из похождений Ивана-царевича припоминаются такие картины.

Выехал он из дремучих лесов на зеленые луга и увидел избушку – и в ней старуха. Сидит она на лавке: шелко́в кудель точит, через грядку про́сни мечет, в поле глазами гусей пасет, а носом в печи поварует.

Говорит она Ивану-царевичу:

– Доселе русского духу слыхом не слыхано, видом не видано, а ныне русский дух во-очью является, сам на́ дом ладом.

Вторая старуха на другом конце в новой избушке говорит по-новому:

– Фу, фу, фу! Досель черный ворон кости расейской не занашивал, а ноне кость в глаза копает (или: в очи вержет)!

Отвечает добрый молодец не очень вежливо, но зато прямо по-русски:

– Дам тебе поушину, будет в спине отдушина; дам в висок – посыплется песок! Ты бы, старушка, не училась много богатыря спрашивать – училась бы кормить да поить, на постелю спать уложить.

Если мы этого доброго молодца сказки приравняем к Илье Муромцу былин, станет ясен нам образ русского колонизатора, ведущего дело с недобрыми лесными силами. Вот смело пришел он и открыто заявил старинным языком о заветном обычае – все то, что, между прочим, составляет народный характер и дух в переносном значении этого последнего слова. Не погрешим нисколько, если примем слово это и в том значении, которое придает ему одна поговорка. Она тоже в свою очередь выражает иносказание, говоря, что «от мужика всегда пахнет ветром, а от бабы дымом». Не только внешняя

обстановка, но и потребляемая известным народом пища имеет влияние на его животный, специфический запах. Поражают обоняние свежего человека все азиатские народы, пристрастные к употреблению чеснока и черемши, но между ними резко выделяются евреи от цыган, и всякий носит свой особый запах: китайцы и персияне, киргизы и самоеды – в особенности те, которые усвоили ношение шерстяного и мехового платья. В равной степени влияют и ароматические приправы к блюдам, и пахучесть господствующих растений страны и т. п.

Со своей верой, при своем языке, мы храним еще в себе тот дух и в том широком и отвлеченном смысле, разумение которого дается туго и в исключение только счастливым, и лишь по частям и в частностях. Самые частности настолько сложны, что сами по себе составляют целую науку, в которой приходится разбираться с усиленным вниманием и все-таки не видеть изучению конца и пределов. Познание живого сокровенного духа народа во всей его цельности все еще не поддается, и мы продолжаем бродить вокруг и около. В быстро мелькающих тенях силимся уяснить живые образы и за таковые принимаем зачастую туманные, обманчивые призраки и вместо ликов пишем силуэты. Счастливы мы лишь энергией в усилиях и неустанным исканием той правды, которая, однако, составляет лучшее украшение художественных созданий текущего гоголевского периода литературы.

Если мы пойдем дальше в объяснении того, что значит «по-русски», то лишь с великим трудом можем свести концы: до того своеобразна и самобытна наша родина! И одеваемся мы не так, как другие, и едим не то, что прочие, и даже носим прическу, кланяемся встречному по-своему, а русская печь, в прямом и переносном смысле, печет совсем уже не так, как до сих пор говорят и пишут. Не забудем при этом, что мы переживаем то трудное время именно теперь, когда освежается и изменяется весь налаженный строй нашей жизни. Изменяется не один внутренний быт, но и внешний облик. Та самая прирожденная и коренная старина, которая совсем недавно, едва не вчера, была у нас перед глазами, стала бесповоротно

уходить в предание. Даже самое консервативное явление, как народный костюм, сделался игрушкою прихотливой моды. Мы стоим теперь как раз на том круговороте и пучине, где встретились два противоположные течения, и очутились мы на том рубеже, где старая изъезженная дорога начала уже затягиваться мохом и зарастать травой, а взрытая новая еще не укатана. Такие места, обещая обилие материала для наблюдений, интересны, но самое время переломов и переворотов, увлекающее новизной явлений, нельзя считать особенно удобным. Еще не видать ничего определившегося и законченного. Лишь кое-где по стрежу реки рябят сильные струи, текущие в упор и навстречу, а на полотне дороги засветлели местами уже накатанные, но еще пока свежие колеи.

НЕТОЛЧЕНАЯ ТРУБА

Вместе с трубами, из которых выходит дым столбом и коромыслом, припоминается еще какая-то необычная «труба нетолченая», когда в самом деле бывают только: деревянные досчатые, битые глиняные да кладенные кирпичные трубы. Между тем упомянутое выражение довольно употребительно. Где много народу, – говорят: «Народу – нетолченая труба!», и хотя говорят так все, но тем не менее неправильно, скрадывая одну гласную букву и обезличивая ходячее выражение в повальную бессмыслицу. Впрочем, в живом разговоре такой прием – дело нередкое и бывалое. Говорят же вместо без «вымени» – «без имени овца – баран»; не до «обедни, коли много бредни» (вместо «обредни» – от обряжаться, наряжаться: и к шапочному разбору не попадешь, если начнешь притираться да румяниться, передеваться да охорашиваться, и проч.). Говорят: «Вот тебе, Боже, что нам негоже», перетолковывая по-своему коренную малороссийскую поговорку: «От тоби, небоже (убогий, нищий), що нам негоже» и т. п. Таких примеров злоупотребления извращенным словом можно насчитать десятки.

Если мы в указанном слове восстановим скраденный скороговоркой гласный звук, поставив его на подобающее место

между двумя согласными, то выйдет труба «нетолоченая». С этим словом уже можно примириться и его объяснить.

В народном языке «толочить» значит то же, что «торить» путь и дорогу, проход и проезд одинаково в людской тесноте и в сугробном или непроездном месте. Если, по обычаю и закону старины, узка в коренных русских городах улица, то с подручного и неглавного образца почему таковая не труба? Если кровь бежит ручьем, а привычно говорят, что она бьет из жилы трубой, то почему же, когда на улице праздник, народу, запрудившему ее так, что и конца края не видно, не валить на встречу той же трубой, шумной толпой? Сквозь нее не только не протискаться, да и не пробить ее, что называется, пушкой. Надо много труда и ловкости, чтобы проторить или «протолочить» себе сквозь народную стену путь! А затем уже конечно – «где торно, там и просторно».

СЛОВО И ДЕЛО

Настоящая речь не о делах и поступках коварных и лживых или ленивых и рассеянных людей, у которых слово расходится с делом и выходит из того или злонамеренный обман, или досадная неудача. Вспомнилось это «крылатое слово», некогда грозное в слитной грамматической форме, страшное своими последствиями, а теперь превратившееся в легкую и невинную шутку. В смысле юридического термина оно упразднено почерком царственного пера. Ненавистное слово перестали говорить, хотя «дело» еще долгое время оставалось в полной силе. Оно из рук страшного, жестокого и могущественного «князя папы Ромадановского» (при Петре) тайком передано было (Екатериною II) (по личному сознанию того самого человека) в руки, в надежные руки «ничтожного, низменного человека» – мстительного и злого Шешковского. Лишь в самом конце прошлого столетия начали забывать это крылатое слово, и самые документы о нем заброшены на полки и валяются в углах государственного архива… Крылья подрезаны, хвост выщипан, острый и наносивший смертельные удары клюв сгнил и отва-

лился, – но тем не менее оно господствовало в православной Руси около ста лет. Стало быть, об нем можно теперь к слову вспомнить и кое-что спопутно рассказать.

Вылетало грозное крылатое слово, как бы и в самом деле мелкая птичка воробей, – там, где ему доводилось свободнее или казалось привольнее, но обычно предпочитало оно городские площадки, бойкие торговые места, людные улицы – вообще всякие места народных сходбищ. Это, во всяком случае, выходило по той причине, что слову необходимо было на полете оглядываться и зорко высматривать: имеются ли на лицо неглухие люди, лишние свидетели и притом в «достодолжном количестве».

Упадало «крылатое слово» на чью-нибудь бедную головушку, вцеплялось крепкими когтями, долбило стальным клювом, распускало из-под крыльев мелких пташек, милых детушек, оперенными и навостренными. Знали они куда сесть и кого клевать, однако так, что эти жертвы валились на землю истерзанными трупами, изуродованными до неузнаваемого в человеческом теле образа и подобия Божья.

До того это слово прижилось на Руси и приладилось к нравам, что, смолкнувшее здесь, по сю сторону Уральского хребта, оно продолжало орать во все широкое горло по площадям и бойким местам в Сибири. Тут и там оно выговаривалось озлобленными или непутевыми людьми, такими, кому нечем было поступаться и нечего жалеть. Выкрикивалось сдуру и спьяна, нередко от праздности и скуки, зачастую под влиянием личных неудовольствий, в виде мщения или вследствие безвыходно тяжелого житья, для развлечения и впечатлений.

«Слово и дело» до Петра проявлялось весьма редко и всегда по убеждению: из любви к царю, государству и вере. Когда укреплялись разные нововведения и порождали собою недовольных, – сказывались страшные слова на сочинителей и распространителей в народе подметных тетрадок, сочиняемых монахами и староверами, вроде посланий и толкований протопопа Аввакума с товарищами. Петровские преобразования увеличили число недовольных и усилили количество вино-

вных, особенно к концу царствования Петра, когда возрастала и самая правительственная подозрительность, свидетельствуя о великих опасностях, мнимых и действительных. В народе воспиталась и окрепла страсть к доносам до такой степени, что указ 1714 года принужден был ограничить значение «слова и дела», определяя их делами, касающимися государева здоровья и высокомонаршей чести, бунта и измены. Сказавшие или написавшие роковое выражение, обрекавшиеся до того на смертную казнь, застращивались великим наказанием, разорением имущественным и ссылкою в Сибирь, на каторгу. В следующем году указ облегчал доносчикам подходы: они могли идти прямо ко двору государеву, объявлять караульному сержанту. Этот обязан был представлять челобитную самому царю. Однако доносчики продолжали во множестве докучать царю, «не давая покою везде, во всех местах» и несмотря на страх жестоких наказаний. В 1722 году обязали священников объявлять об открытых им на исповедях преднамеренных злодействах, а челобитчиков с «государственными великими делами» дозволено принимать и во время божественного пения и чтения. С годами значение нашего «крылатого слова» возросло до тех крайних пределов, какие видим при Анне Ивановне, руководимой Бироном. В Сибири для ссыльных и каторжных оно явилось соблазном: выпустивших его с уст на вольной ветер освобождали на время от тяжелых каторжных работ.

Объявившего за собою «государево слово» немедленно отдавали сержанту и вели пешком за 400–600 верст в Иркутск: держали крепко и только в случае изнеможения сажали на подводу. Многие болтали из желания получить награду, иные рассчитывали, во время пути, на утечку в лес и неизвестность, иные прямо спекулировали с тех самых пор, как завелись первые и настоящие тюрьмы. Один солдат выкричал такое: «В бытность мою за окианом-морем нашел я место рождения крупного жемчуга и три места тумпазные». Монах говорит за собою такое великих государей и святительское дело: «Поставлена церковь без святительского благословения, и в ней убился человек; промышленный человек привез с моря руду серебря-

ную и тое руду плавил, и из той руды родилось серебро». На суде оказалось, что руда не серебряная, а старца побили шелепами, чтобы «впредь неповадно было иным такие затейные слова говорить и никаких великих государей дел не заводить». Один каторжный сказывал товарищам: «Неприятель идет на Россию: у китайцев войска собираются, мунгалы ружья приготовляют» (а монголы облаву делали на лосей). Другой каторжный болтает в кухне: «Поднимается на нашего государя иноземец; у того иноземца силы до 600 тысяч, а у нашего до 250 тысяч». Глупые речи праздных болтунов у каторжной печи приняты за «государево слово» и потребовали «дела»: допросов, пытки, суда и осуждения.

Наступил новый век, и повелись иные порядки. В 1817 году крестьянин Ермолаев за непристойные речи приговорен был к наказанию плетьми. Решено было вырвать ему ноздри, поставить поведенные знаки и сослать на каторгу. Император Александр вырыванье ноздрей отменил для всех, а приговоренного простил, по объявлении ему приговора. Ссыльный на работе при казенном зимовье, придя в избу, бросил топор, рукавицы и шапку и изругался. Будучи спрошен: «Кого ругает?» – отвечал: «Тех, кто безвинных ссылает». Государь решил оставить этого ссыльного «в нынешном положении, но без наказания». Третий ссыльный забыл в руднике лопату, товарищ стал помогать разыскивать ее, приставник заметил: «Ты исправь прежде государеву работу, а потом ищи мужичью лопату». У оговоренного сорвалась с языка брань, за которую его посадили под строгий караул в оковах и стали ждать приговора из сената. Государь Александр I повелеть соизволил: «Освободить от законного наказания, подтвердя ему, чтобы впредь постарался исправиться» и т. д.

ПЕСНИ ИГРАТЬ

Когда бродил я во Владимирской губернии в Вязниковском уезде по офенским деревням для изучения быта и для сбора искусственного словаря этих бродячих торгашей, пришлось

недели две прожить в селе Хо́луе, где пишут иконы яичными красками. Меня начала там одолевать скука. Я повадился ходить на мельницу на реке Тезе, где молодой парень-мельник, проторговавшийся на мелком товаре, охотливо за штоф пива сказывал офенские слова новые и исправлял прежде пойманные и записанные. Раз он пожалел меня:

– Ты что в кабак не зайдешь? Скучно тебе! А там чудесно песни «играют». Теперь офени, перед Нижегородской ярмаркой, домой поплелись: каких только песен они из разных-то мест не натаскают! Друг дружку перебивают; друг перед дружкой хвастаются. Расчет получили – им весело. Сходи в кабак!

На этот раз впервые остановилось мое внимание на странном выражении «играть песни», когда они в самом деле поются. Слышалось это выражение и прежде, но, по обычаю, бессознательно пропускалось мимо ушей, хотя в этой упорно-неизменной форме оно настойчиво повторялось всюду в иных местах.

Когда архангельский Север развернул свою многообразную и многострадальную жизнь и потребовал вдумчивых наблюдений, напросилась и песня, тогда еще там не совсем испорченная. Местами в виде обрывков она была на устах и в действии, вызывая игру и требуя движений. Хотя к балалайке успела уже, для голосовой поддержки, пристроиться привезенная с Апраксина рынка гармония, но еще можно было слышать в перебое ее хриплых тонов сиповатые звуки извековной дуды – «сипоши», которая в Поморье так и называлась («сиповкой»).

Первая «игра песен», которую довелось наблюдать, были «вечерковые» или, по времени года, святочные. В тесной и душной полутемной избе разыгрывался «заинька», сохранившийся с глубокой старины, заманчивый своей классической простотой, повсюдный и любимый до докучливости, немудреный напевом, небогатый вымыслом: «Где ты был-побывал?» Что бы ни рассказывал про него ответный хор, взявшиеся за руки пары молодцов и девушек неустанно кружились; при конечном стихе кружились еще быстрее, подпевали возможно скорее и живее, почти бормотали. За «заинькой» играли «ста-

рину». На сцену выходила девушка и садилась в кругу хоровода. Парень ходил кругом и пел: «Вкруг я келейки хожу, вкруг я новые хожу, – младу старину бужу: спасенная душа, встань, встань: к заутрене звонят, на сход говорят». Старица отвечает с целым хором: «Не могу я встать, головы поднять: голова моя болит, грудь-сердечушко щемит».

А вот когда певец рассказал ей, что миленький идет, гостинцы несет, – она вскакивает с места и поет вместе с хором: «Уж и встать было мне, поплясать было мне». Затем снова быстрое кружение и веселый припляс в виде новгородского «бычка», подмосковной «барыни», малороссийского «журавеля» и всероссийской «камаринской». И эта «старица» кончалась поцелуями. Таков же и «голубь», с одним различием, что стоящие друг против друга пары целуются все вместе одновременно. Да такова и почтенная более глубокой стариной «Как со вечера цепочка горит». Эта песня начинается плавным пением, а кончается круженьем, щелканьем языком, свистами и топаньем каблуками, когда девица решилась сойти с терема, соблазнившись тем, что «на улице сушохонько, в переулочке темнехонько, что башмачки не стопчутся и чулочки не смараются».

С такими любовными играми, как с самыми поцелуями, на которые, по пословице, «что на побои нет ни весу, ни меры», можно было бы не кончить, если бы эти самые обрядовые и открытые знаки любви и привета не приводили прямо к своей цели. Близость мясоеда, пригодного, по досугу своему, для свадеб, объясняет и оправдывает старинный обычай. На смену его выступает целый ряд настоящих «действ» со сговора до венца, полное сценическое представление с начала до конца, когда «играют свадьбу». Здесь только одними песнями и объясняется символическое значение свадебных обрядов, а зато и эти самые песни не столько разнообразны, сколь чрезвычайно многочисленны. И здесь уже ясно видится несомненный, бережно сохраненный след дохристианского обряда, потребовавшего так же, как и все, песенной помощи. Воспевают любовь в весенних хороводах, и в старинных (те-

перь полузабытых и даже изуродованных) можно было видеть представление полной деревенской свадьбы с выбором невесты и отдельно жениха, с последующими семейными раздорами и расчетами. И «сеяли просо», чтобы разыграть заключительную сцену похищения, «умыканья» невесты как драматический бытовой эпизод: он до сих пор не утратил во многих коренных русских местностях своего доисторического значения. И «плавала по морю белая лебедушка, пленяя сизого селезня», чтобы справлял весенний хоровод свою вековую службу для выбора невесты, заплетался бы плетень на союз да любовь и завершался, запечатывался невинными и откровенными поцелуями, это согласие суженой на зимних вечерках, чтобы вступить затем в целый ряд «свадебных игр». Для этих предвенечных действ на родном языке и нет уже иного названия. Безуспешно истомились здесь благочестивые ревнители веры, искоренявшие языческие обряды, проповедники живого слова и составители Кормчей книги, воспрещавшей дьявольские песни и бесовские игрища[1]. Тем не менее свадебные недели и теперь заключаются языческой «масленицей», с катаньем целыми поездами и заключительным сожиганием чучелы. Таково положение песенного дела в Великороссии. Когда привелось перенести наблюдения в более древний и совершенно противоположный русский край, какова Белорусия, оказалось не только то же самое, но и в более целостном и обширном развитии. Оказались в лицах и «женитьба Терешки», и выдача невесты за немилого, и мак на горе, требующие сценического представления или, что называется там, «танок» (пляска, танец). Когда зажинают хлеб и когда отжинают его, совершаются полные священно-

[1] Известная, даже слишком популярная игра песни, или вернее, сочиненного романса «Вниз по матушке по Волге» с хлопаньем в ладоши сидящих друг против друга на полу, в подражание ударам весел, с атаманом, расхаживающим между рядами и прикладывающим кулак к глазу при разговоре с есаулом о погоне, – доказывает то же стремление к изображению песенного смысла в лицах. К сожалению, излюбленная песня эта – не народная, и самое представление, приделанное к ней, – вышло из солдатских казарм по следам «Царя Максимилиана». (*Примеч. С. В. Максимова*).

действия, сопровождаемые переодеваньями и целым циклом пьес, которые и приурочиваются к обычному времени и играются только тогда и ни за что ни в какое другое. Там даже и письменные записи, со слов знающих, чрезвычайно затруднены именно тем, что белорус становится в тупик при требовании песни в сухом пересказе. Он понять не может, чтобы песню можно было снять с голоса и вести ее рассказом, как сказку, да притом еще так, что при этом отсутствует вся приличная и обязательная обстановка: хоровая поддержка и образное пояснительное представление в лицах. Доводится не выслушивать с глазу на глаз, а прислушиваться, выжидая поры-времени, когда вживе и въяве развертываются живые картины в движении и действии в той веселой обстановке, которая обрисовывается словами великорусской пословицы: «песни играть – не поле орать».

С ХОЗЯИНА НАЧИНАТЬ

Таков обычай при угощениях водкой и всякими крепкими напитками на всем бесконечном протяжении православной Руси – похвальный обычай, требуемый вежливостью и приличием. Русская подлинность его и вообще древность происхождения сомнительны, как и обычай чокаться, заимствованный у европейцев. В старину на Руси пили круговую: из одной чаши мед, из одной чарки зелено вино, причем как будто даже вежливо было доказывать небрезгливость и побратимство, подобное «из одной печи хлеб есть, из одной чашки щи хлебать» и т. п. Чокались, то есть постукивали, тихо поколачивал хрупкими вещами, чокались кружками с давней старины, а со введения христианства чокались пасхальными красными яичками. Начали постукивать рюмками, стаканами и бокалами, когда принимались пить за здоровье друг друга, за присутствующих и отсутствующих, за умерших и имеющих родиться, «за всех и за вся православные христианы». При этом чокнутся и поцелуются, а стало быть, и побратаются, то есть подружатся братски на век. По этим

поводам и та большая стопа, и та ендова, из которых поочередно пили, называлась «братиной» и «побратиной».

Побратимство в старину, и в нашем народе, делалось не шутя и обставлялось важными обрядами: обыкновенно молились в избе – перед иконой, в чистом поле (как сказывают былины про богатырей) – на восход солнца, либо на тельник (шейный крест). Затем обнимались и давали друг другу зарок на вечную дружбу и клятву на взаимную помощь во всех подходящих случаях жизни. Затем менялись крестами и делались «крестовыми», как бы родными братьями. Обычай этот твердо держался не так давно и был свят и нерушим, как мы уже имели случай доказать и рассказать.

Обычай чокаться, между прочим, объясняют тем желанием, чтобы все пять чувств принимали участие при дружеской выпивке и пожелании здоровья и всяких успехов. Четыре чувства обязательно участвуют, как зрение, обоняние, вкус и осязание. Недостает места для участия с товарищами пятому живому чувству – слуху. Чок в бочок его выручает, примиряет с прочими и оправдывает перед ними.

Удобно чокаться и побратимить в тех случаях, когда каждый свою чарку держит, из своей чашки пьет (как староверы-федосеевцы). Как же поступать, когда на всех одна чарка и наливает ее сам хозяин, подносит первому гостю? Всегда этот упирается, зная обряд и порядок, и охотно чванится, и притворно ломается, отстраняя наружной стороной кулака правой руки налитой сосуд, кланяясь и прося «начинать с хозяина». Только старинные остряки улавливали тот момент, когда уламывался спесивый и протягивал уже руку: неожиданно и быстро опрокидывали они на лоб себе «стыдливую рюмку», рассчитывая на скрытное, но несомненное легкое неудовольствие от шутливого обмана. Конечно, при этом всякий счел бы себе в обиду и, в лучшем случае, нашел бы неприличным, если бы хозяин наливал и потчивал его «через руку», то есть оборотя кулак пальцами кверху (что неприлично).

Хотя «чокаться» и коренное русское (по звукоподобию) слово, но есть основание предполагать, что обычай «начинать

с хозяина» – не старинный русский, а произошел в более поздние времена, – по крайней мере, в народе подслушана нижеследующая историческая легенда.

Петр Великий сидел раз в одной незнакомой компании и спросил соседа справа:

– Ты кто такой?

– Я – дворянин такой-то.

– А ты? – спросил он соседа слева.

Тот оказался таким же дворянином. А как спросил он третьего, то и получил в ответ, что этот не только не дворянин, а даже вор. Царь Петр отозвал того вора и сказал ему:

– Будь ты моим братом и поедем вместе.

– Куда же нам ехать?

– Поедем в государев дом: тут казны неведомо что. На возах ее не увезешь.

Вор рассердился и сказал:

– Как же ты, братец, Бога не боишься? – Кто нас поит и кормит и за кем мы слывем, и хочешь ты на него посягнуть. Я знаю, куда лучше ехать: поедем к большому боярину. Лучше взять у него, а не у государя.

Пришли они к «большому» боярину, богатому и спесивому.

– Постой, – говорит вор: я пойду во двор и послушаю, что там говорят.

Вернулся он и сказывает:

– Нет, брат, дурно говорят: хотят звать завтра царя кушать и хотят водку дурную и злую подносить. Не хочу никуда ехать, домой пойдем.

Царь и спрашивает:

– Где же, братец, нам с тобой видеться?

– Увидимся завтра в соборе.

Как они пришли в собор, так и увидал вор, что царя просят кушать, и услыхал, что он велел просить и того человека-побратима своего. Его стали просить, и неспесивый поехал со всеми вместе.

Говорит вор царю:

– Первую чарку станут подносить, – ты ее без меня не пей.

Когда стали подносить, то царь и сказал:

– Я прежде хозяина умирать не хочу: пущай прежде хозяин сам попробует – выпьет.

Как только хозяин выпил, то его и разорвало.

«Знать, с этова-то первые-то чарки прежде хозяина и не пьют».

Таким образом, попробовал заключить свой рассказ воронежского гарнизона Елецкого полка бывший сержант Михайло Петров, в 1744 году, на тему: «Первой чарки прежде хозяина никогда не пьют: какову чашу нальешь и выпьешь, такову и гости». Слыхал он от старых людей то (что мы сейчас также услыхали), а самого Петрова за такие продерзостные слова били кнутом и с вырезанием ноздрей послали в Сибирь на житье вечное. Не слушай народных легенд, а тем паче не пересказывай их. Сказалось крылатое горячее «слово», и свершилось мучительное кровавое «дело».

Екатерина II сказала запретительное слово на «слово и дело» и одним этим подвигом могла бы заслужить историческую память и уважение потомства. 19 октября 1762 года объявлен всенародно всемилостивый указ, в котором, между прочим, было сказано: «Ненавистное изражение, а именно “слово и дело”, не долженствует значить отныне ничего, и мы запрещаем не употреблять оного никому. А если кто употребит отныне в пьянстве или в драке или избегая побоев и наказания, таковых наказывать тотчас так, как от полиции наказываются озорники и бесчинники».

ПОДАВАТЬСЯ ПО РУКАМ

Брат брату головой в уплату.

Пословица.

– Подавайся по рукам! – скажет один в смысле доброго совета и утешения человеку, потерпевшему какую-либо неудачу, попавшему в беду или в особенности испытавшему горе. – Что же делать: надо было сообразоваться со своими силами,

предвидеть печальный исход и быть осмотрительным и т. п. – подавайся по рукам (чужим):

– Легче будет волосам (твоим)! – доскажет другой, либо сам советник, либо за него (невольно и непременно) свидетель выговоренной жалобы и сетований.

Цельная пословица в указанной форме известна всем, прошедшим суровый искус прежнего воспитания со школьной скамьи, как руководящее наставление на те случаи, когда озлобленный учитель или строгий инспектор хватал за чуб и начинал таскать из стороны в сторону за волосы. Облегченному способу «подаваться по рукам, чтоб легче было волосам», научил, конечно, школьный опыт, а пословица все-таки дошла из глубокой отечественной старины, откуда и взята напрокат. Между прочим, в семинариях, ремесленных мастерских и других заведениях, включительно до трактиров, где вообще производится выучка деревенских мальчиков, эта наука так и называлась «натаскиваньем».

Во времена младенчества народа при разбирательстве споров и тяжб, для выяснения темного смысла исков прибегали к первобытному способу по закону: «кто сильнее, тот и правее». Противники хватали друг друга за волосы, и кто первым перетягивал, тот и признавался правым (отсюда и поговорка: в поле две воли – кому Бог поможет). В Москве сохранилось предание и указывается место на берегу речки Неглинной (скрытой теперь в трубе), где соперники, при свидетелях (послухах) из добрых или лучших людей и под наблюдением судных мужей (вроде присяжных заседателей), решали спор проявлением физической силы в потасовке. Один становился на правом берегу узенькой речки, второй – на левом. Наклонив головы, они хватались за волосы. При этом, по преданию, побежденный обязан был взять соперника на спину и на закорках перенести его через речку: этим и кончались всякие претензии и прямые взыскания. Противники должны были выходить на битву рано утром, натощак, как бы на присягу, надев на себя доспехи, то есть железные латы и шишаки. Они обязаны были сражаться одинаковым

оружием: большею частью ослопами или дубинами. Людям слабым или неумелым в боях дозволялось приглашать наймитов или наемных бойцов, не разбирая того, что боярину доводилось биться с каким-либо холопом или купцу с черносошным мужиком или скоморохом. Так и говорят пословицы: «в поле съезжаются, так родом не считаются» (а дерутся), и «коли у поля стал, так бей наповал», а судебный устав указывал: «а досудятся до поля (если нечем решить тяжбу, как Божьим судом, то пусть и дерутся) да не став у поля помирятся» (то есть допускается и мировая). Так выражается и поговорка: «до по́ля воля, а в поле по неволе» (то есть если вышел на место поединка, то уже и дерись, хотя бы только даже и за святые волоса). Если кто был убит на поединке, то его противник получал лишь одни доспехи убитого и лишался всякого другого удовлетворения. Стало быть, в исках было прямое побуждение щадить жизнь своего противника, что доказывается и указанным выше старанием уравновесить силы соперников. Для соблюдения законных условий при поединках всегда обязаны были (по Судебнику Грозного) присутствовать: окольничий, дьяк и подьячий. В пользу их, как и в пользу казны, взималась пошлина.

Еще Псковская Судная грамота доказывает стремление законодательства по возможности ограничить и смягчить судебные поединки. Потому более легкая форма, кажущаяся нам теперь забавною и едва вероятною и выразившаяся потасовками, имела основание удержаться в обычаях народа. Она сумела просуществовать даже до того времени, когда отменены были (в 1566 году) поединки, а дела велено решать по обыскам. На месте московского «поля» построена была боярином Салтыковым каменная церковь Троицы в 1657 году, существующая до сих пор в так называемом Китай-городе, у Никольской улицы, и именуемая в церковных актах «Троицею в Старых Полях». Предполагая, что если были старые поля, то должны быть и новые, то есть другие места, отведенные для поединков, стараются искать их в названиях других церквей, забывая, что через сто лет по уничтожении

поединков место их уже имели полное право называть «старым полем». При этом, конечно, впадают в ошибки, увлекаясь и смешивая места судебных полей с действительными полями, то есть пашнями, засеянными хлебом или безлесными незастроенными равнинами, лежащими за городом. Те и другие присущи были обширной Москве, сложившейся из множества слобод и деревень. Такова церковь Георгия, названная «на Всполье» за то, что очутилась как раз на окраине, на выгоне, где начинались околица и поля и кончалась группа жилищ за Москвой-рекой, на Ордынке. Такова же и по той же причине и там же улица Полянка. Другой – Георгий на Всполье за Никитскими воротами, где теперешний Арбат, еще во времена царя Алексея скудно населенный и отделявшийся от города огромным пустырем, носил прямое название «Поля». Третья церковь Екатерины на Всполье, близ Серпуховских ворот, тоже была на выгоне. Затем ни о каком храме в новых полях ни в актах не упоминается, ни в народных прозваниях не указывается. Некоторые исследователи подозревают еще место поединков в Белом городе, у церкви Пятницы-Параскевы, что в Охотном ряду. Может быть это и так (хотя и не имеется на то прямых доказательств). Для кулачных боев как особого вида забав, восходящих до глубокой древности, в Москве отведено было также отдельное место на Старом Ваганькове. Бились же на кулачки (один на один, стена на стену и сцеплянкой – свалкой) в Китае, в Белом каменном городе и в Земляном городе (в последнем даже на нашей памяти у Яузского моста). Царь Михаил Федорович прогнал отсюда бойцов и указом запретил народу ходить на Старое Ваганьково смотреть, как бьются знаменитые бойцы казанские, тульские и калужские. Из их среды выделились и прославились: Алеша Родимый, Тереша Кункин, Никита Долговязый, братья Подходкины и Зубовы. Замечательно, что и самое название местности, в противоречие нынешнему ее назначению как кладбища, происходит от слова «ваганиться» (сохранившегося на Севере), что значит: играть, шутить, шалить и проч.

ПРОЮРДОНИТЬ И ПРОЮЛИТЬ

Точно так же затребованное для объяснения слово *проюрдонить* в смысле (согласном и с толкованием Даля) проиграть (либо в карты, либо в кости) и вообще беспутно промотать – не является выражением без смысла, корня и почвы. Вероятно, корень слова лежит в азартной игре юрдон, которая в веселое царствование Екатерины Второй сначала появилась при дворе, а затем распространилась повсюду вместе с макао, штосом, мушкой (а ля муш: кто первым поймает), марьяжем (отсюда выраженные «марьяжиться») и проч. Был ли юрдон похож на нынешнюю юрдовку, за давностью лет теперь определить трудно. Наш авторитетный толковник Даль сомневается в иноземном происхождении этого выражения, находя в словах «юрить», «юра» и «юр» сродство с «юлить», «юла» и заподозрил участие в слове чудского корня «юр» (башка). Говорят в одинаковом смысле и безразлично проюрдонить и проюлить, что указано и Далем со ссылкою на костромской говор. Во всяком случае, если слово «проюрдонить» остается в подозрении, то «проюлить» уже не подлежит сомнению в своем русском происхождении, будучи хорошо известным в смысле игорного занятия, даже в Сибири за Байкалом, в тамошних каторжных тюрьмах. Здесь, на досуге, за глазами сторожевого бдительного надзора, людьми сильных страстей ведется бесконечная и азартная игра самодельными картами и костями. В играх второго сорта играет главную роль юла, вертушка, с гранями по ребру и цифрами, заместо костей. Ее вертят двумя пальцами, играя на деньги (по объяснению самого же Владимира Ивановича Даля). Не так давно, на нашей памяти, эти юлки вертелись, юлили гранями одна за другой, пущенные сильной и опытной рукой на столиках в восемь клеток майданщиками или мошенниками на всероссийских ярмарках. Теперь, расчистив на тюремных нарах место от казенных полушубков и собственной рвани, бросают эти юлы тюремные люди, загадывая просто на чет и нечет по самому простому способу: надо торопиться и оглядываться. С картами больше возни и опасностей, и при-

том, когда их отберут, делать новые и долго, и трудно. Юлу не так жалко и отдать надзирателю, и легче ее спрятать; к тому же и сделать новую невелика хитрость. Попадется в праздничном приварке для арестантского стола говяжья кость либо принесет ее со стороны сердобольный человек, – ее распиливают крученой суровой ниткой, постоянно смачивая ее в растворе золы и березового угля. Один пилит, другой подливает щелок, чтобы нитка не загорелась и не разорвалась. Садясь с готовой юлой за игру, ведут ее, как и все гуляющие на свободе азартные игроки, особенным счетом, с условными выражениями, как и у клубных игроков в лото и бостон: у юлки 9 очков – это лебедь, 11 – лебедь с пудом, 5 – петушки, 4 – чеква, и т. д. Там же, в этих же каторжных тюрьмах на Карийских золотых промыслах за Байкалом, мне рассказывали следующее (что я и записал в свое время, в 1860 г., и напечатал в своей книге «Сибирь и каторга»): «Здесь деньги на вино и вещи сбываются тем бывалым тюремщикам, которые вышли из тюрьмы на так называемое пропитание и на краю заводского селения, в особой слободке, обзавелись домком-лачужкой, а в ней и *юрдовкой*, то есть заведением, удовлетворяющим всем арестантским нуждам и аппетиту на вино, харчи и игру. Вещи, сбываемые сюда всегда в наличности, уходили, хотя и на наличные деньги или на обмен ухо на ухо (товар за товар), уходили, разумеется, далеко ниже своей стоимости, например, шинель, ценимая в казне в 2 рубля 17 коп., отдавалась в юрдовках за 75 коп. и самое большое за полтора рубля». Вообще следует сказать, что где только ни производились работы каторжными, везде имелись обязательно на выгоне, где-нибудь в овраге, эти слободки. Им, по установившемуся повсеместно обычаю, непременно присваивалось название «юрдовок» по тем же законам, по каким придается имя всяким городским улицам, переулкам, площадям и т. д. Некоторым юрдовкам удалось превратиться в целые селения с сохранением этого названия, к сожалению, неизвестного В. И. Далю и, вследствие этого, не занесенного им в его изумительно полный и точный словарь. Еще одна коротенькая заметка. Известно, что игры в карты стали входить

в моду при дворе в царствование Анны Иоанновны. Любимцы государыни, Бирон и Остерман, играли на крупные суммы с иностранными послами. Играли в то время преимущественно в «фарс» и «квинтич». При Петре III упоминаются: «ломбер» – игра, выдуманная в Испании и называвшаяся, в сущности, «гомбер» (hombre – тень), так что только «по ошибке» мы до сих пор говорим «ломберный», а не «гомберный стол» – «кадрилия», «пикет», «контра», «панфил» (в простонародии – «филя», «простофиля» или «дурачки»).

ДЕНЬГИ В СТЕНУ

В архангельских краях, именно около Холмогор, известно выражение «давать в стену деньги», везде во всех прочих местах давно исчезнувшее, да и здесь более памятное лишь в начале текущего столетия. Оно упоминается в грамоте, писанной полууставом на пергаменте и хранившейся в соловецкой монастырской ризнице. Этот акт выдан был около 1470-х годов третьему преемнику преподобного Зосимы, игумену Ионе (Ивону), от господина государя Новгорода, от всех пяти концов на вече, на Ярославском дворе, за восемью вислыми свинцовыми печатями: владыки, посадника, бояр, степенных тысяцких и проч. Этим документом предоставлялось обители преподобных Зосимы и Савватия право на вечное владение всеми Соловецкими островами, в предупреждение обид от новгородских боярских людей и «корельских детей» (то есть жителей). В грамоте, между прочим, сказано: «А кто имеет наступитися на те островки через сию жалованную великого Нова-городу грамоту, и той даст великому Нова-городу сто рублев в *стену*». По объяснению автора «Описания Соловецкого монастыря», изд. архимандритом Досифеем в 1836 году, «древнее присловье давать в стену деньги или собирать деньги в стену не вышло еще из памяти холмогорских поселян-старожилов около посадных волостей. Сими словами означается у них оклад денежный или тягло, относимое на счет государственной казны, что надлежит взыскать без упущения и заплатить непремен-

но». Полное доверие к этому объяснению несколько поколеблено в прошлом году сообщением нашего известного ученого деятеля и неутомимого исследователя Севера, основательно изучившего быт лопарей, нашего консула в норвежском Финмаркене Д. Н. Островского, в одном из заседаний Этнографического отдела Географического общества. У лопарей, издавна считающихся христианами, в их погостах, в стенах церквей и часовен, наш любознательный консул находил вбитыми в бревна серебряные монеты – по большей части рубли и полтинники, сохранявшиеся нетронутыми, по-видимому, с очень давних времен. На одном строении он насчитал приблизительно до четырехсот рублей. Обветшалость целого часовенного строения и прогнившие стенные бревна в труху и пыль указывали время, когда следовало свободно и без труда вынимать вбитые деньги и на них сооружать новые дома молитвы. Такое буквальное и наглядное осуществление древнего выражения прямее всего указывает на специальное назначение известной подати в пользу исключительно одних церковных зданий, – и это в целой тысяче верст от города Холмогор.

Совершенно противоположное значение указанному очень старинному выражению имеет то, которое недавно придумано и как новое крылатое слово вылетело оперенным лишь в последнее время, почти вчера. Оправдывает себя полтиной за рубль и меньшею единицею плут-купец, припрятавший капитал и мошенническим ловким способом желающий расплатиться со своими обманутыми кредиторами. Этот прием в настоящие дни настолько общеизвестен, что не обязывает ни на какие дальнейшие толкования, которые в достаточном избытке дают разбирательства дел гражданских и уголовных в наших окружных судах и палатах. О нашем старорусском способе взыска долгов посредством «правежа» упомянуто в другой статье.

ПОД БАШМАКОМ

Подчинение мужа жене, характеризуемое этим выражением, очевидно заимствованным с чужого языка (как ду-

мали с одного из западных) в форме переводного («под туфлей»), в настоящее время разъяснено известным профессором Д. И. Иловайским иным путем и способом. «Башмак, – пишет нам историк, – слово татарское и обозначает вообще обувь, сделавшуюся у нас в известном своем виде принадлежностью специально женской обуви. В дополнение к этому объяснению напомню обычай восточных, то есть азиатских деспотов повергать на землю побежденного и пленного государя и предводителя и наступать на него ногою в знак своей полной над ним власти. Откуда и у нас сохраняется выражение "быть под пятою", то есть "быть под игом"».

ПОД ИГОМ

Иго – собственно перекладина вроде виселицы, употреблявшаяся с древнейших времен, и, говорят, применена была впервые римлянами к побежденным самнитянам. Обезоруженные побежденные, снявши доспехи, вереницею подходили под перекладину, утверждаемую у кресла торжествующего победителя, который восседал на нем в это время, любуясь позором врагов. С них впоследствии, в ближайшие и нынешние времена, взамену ига начали брать контрибуции в разных формах, начиная с денежной. В Древней Руси иго татарское требовало также денежных податей, но знаменовалось также еще так называемою ханскою «басмою», присылавшеюся из Орды на Русь, которую князья наши должны были встречать с почетом и знаками особого внимания. Что такое была эта басма, нашим историкам до сих пор не было в подробностях известно… Карамзин знал только то, что это была ханская грамота с печатью. Д. И. Иловайский говорит, что нашим историкам осталось неизвестным сообщение польского историка Нарбута, сделанное еще в 1840 г.

Нарбут сообщает, что какой-то любитель старины, знакомый с письменностью литовских татар, нашел в одной их рукописи, написанной арабскими буквами на татарском языке с примесью литовско-русского наречия, следующее объяс-

нение интересующего нас предмета: «Ханская басма была не что иное, как деревянный ларчик, двенадцати дюймов в длину и пяти в ширину, наполненный растопленным воском, который окрашивался в тот или другой цвет, смотря по желанию хана. На этой восковой массе, пока не совсем застывшей, оттискивалась ханская стопа прямо давлением босой ноги. На такой оттиск клалась подушечка, сшитая из дорогой материи и набитая пропитанною запахом мускуса хлопчатою бумагою. Ларчик закрывался высокою крышкою и завертывался в шелковую материю, затканную золотом и серебром. Для пути его вкладывали в кожаный мешок, который вьючился на богато убранного и покрытого пурпуровою попоною верблюда. Этого верблюда вел особо для того назначенный чиновник, а для стражи и почета его окружали двенадцать ханских знаменоносцев или уланов».

В СОСЕДЯХ

Пословичное правило советует жить миром с теми людьми, которые поселились домами рядом, бок о бок, двор о двор, стена об стену или межа-с-межой и зовутся в более частых случаях соседями (или, вернее, суседями, соседящими вместе) или шабрами (по испорченному старинному летописному от сябер, сябр). Применение похвального правила обеспечивается давними законами, нигде не записанными, но всеми обязательно соблюдаемыми. Чтобы быть и слыть добрым соседом, конечно, не следует нарушать границ чужой собственности: не захватывать своими строениями или огородными грядами соседской земли.

Это прежде и главнее всего. Затевая на своем участке новые постройки, всякий обязан помнить святое правило – не стеснять соседа ничем. Для этого каждый огораживается забором или плетнем; устанавливает грани и кладет на них клейма, которые служат и знаками собственности, и знаками происхождения. Не только нельзя зарыть вырытую им, для просушки земли, канаву, но и свою надо направить так, что-

бы она не подмыла амбара, не затопляла соседского огорода. Опытный и совестливый человек не решится прорубить дверь не только из своей избы, но и из сарая во двор к шабру и не дерзает не только прогонять здесь свой скот на пастьбу или водопой, но и сам осмеливается проходить по чужим владениям, ради сокращения пути и иных уважительных причин, не иначе, как с разрешения. Он вправе требовать места для прохода только в таком случае, когда другого пути нет. Когда надобятся для общего пользования дороги, улицы и переулки, всякий обязан от своего участка отрезать требуемое количество земли и притом соблюдать, чтобы проездное или прогонное место не было тесно.

Можно закрыть этот путь, если он никому не нужен и если нашелся другой, который может удобно его заменить. Хозяйкам из давних времен указано не бросать сору на чужой участок и не позволяется даже ссыпать золу под соседском забором. Кто проведет к себе воду из общественного источника и этим его изубожит, тому, по мирскому приговору, достанется плохо: велят все переделать из нового по-старому и заплатить денежный штраф. Что каждый выбрал себе и огородил свое излюбленное место, тем и владей, как знаешь, но без сторонних ущербов, помня одно, что если сосед дрова рубит, то нас не разбудит. Святое правило, изжитое веками и добытое долговременным опытом, прямо говорит: «не купи двора, купи соседа». Он не запретит брать из своего колодца воду для питья даром и разве, на случай порчи сруба или журавля, попросит пособить починкой, из совести. Он вообще явится первым на помощь с топором или могучим плечом во всех тех случаях, где одному невозможно справиться, и т. п. Конечно, эти коренные и другие подобные им и многочисленные правила установились не сразу, а после множества ссор и пререканий, следы которых в обилии встречаются в старинных актах юридического характера, открывая обширное и любопытное поле для ученых исследователей. Жалобами и спорами установлялось то могучее начало общинного права, которым сильна и крепка наша Русь. Каждый при своем является вместе со всеми, на общем деле, неодолимою силою.

Входя в область так называемого обычного права, соседские права занимают в нем одно из обширных мест и по разнообразию своему представляют благородный материал для обширных ученых изысканий и бытовых народных картин. Понадобятся объяснения межевых законов обычного права и земельных порядков, скажется разница между забором, изгородью и пряслом, обнаружится удивительное искусство крестьян невооруженным глазом, при помощи одного топора, проводить, например, через леса межевые линии, чуть ли не верстовые и притом с поразительною точностью и т. д. Соседят русские люди не только с деревенскими свояками и сватами, а «суть князи муромскыи и рязанскии (татары) в сусудех», говоря летописным выражением. Покупая же соседа, то есть приселяясь к инородцам, наши переселенцы действуют в этом случае с осмотрительностью и осторожностью: так, например, при заселении богатых оренбургских степей в конце прошлого века наши, привычные и повадливые без разбора ко всякому соседству, неохотно соседились с башкирами, у которых господствует племенная страсть к конокрадству. С другими, как с лопарями и вотяками, охотно братались наши люди, меняясь тельными крестами и называясь крестовыми братьями, сестрами, с зароком вечной дружбы и взаимной помощи при нужде и т. п.

Если углубиться больше в этот живой вопрос, выяснится крупная разница в крестьянских хозяйствах: великорусских общинных и белорусских подворных. В последних запахивание чужих полос продолжается годами и представляется явлением заурядным, вызывающим множество тяжб. Каждый домохозяин из племени кривичей, дреговичей и древлян заботится всецело о своем лишь благосостоянии. Желание одних привести в известность межи разрушается всегдашним несогласием других. Вопреки всероссийскому общинному строю деревенской жизни, здесь не только в обществе, но и в семьях все стремится к отдельному, независимому друг от друга самостоятельному быту. Община давно здесь исчезла, и слабые следы ее лишь тускло выражаются в единственном остатке

славянской старины – в толоках или помочах – обычае, применяемом в тех же случаях, как и в Великороссии. Ни о круговой поруке, ни о каких земельных переделах и о прочем здесь не имеют ни малейшего понятия после продолжительных стремлений к обезземелению крестьян местными панами.

ОТ НАВАЛА РАЗЖИВАЮТСЯ

В торговле (московской по преимуществу) слово «навал» получило особенное своеобразное значение: зовут довольно обычный купеческий прием в сделках с иногородними оптовыми покупателями, состоящий в том, что, сверх заусловленного, стараются навязать лишнее, по большей части залежалое. Такой расчет основан на том, что в глухих местах на темных людей всякий товар разойдется, если приложить к тому старанье и уменье. Весь товар идет на кредит, а навальной уже сверх сыта, а чтобы оптовой покупщик не упрямился приемом, для этого имеются в Москве давно приспособляемые приемы в разнообразных угощениях по трактирам, загородным гулянкам и иным увеселительным местам, чтобы затуманить глаза в то время, когда лавочные молодцы накладывают и упаковывают товар. Многие от этого навала успели разориться, о чем в особенности отлично помнят, точно и подробно знают сибиряки и указывают имена. Опуская значение постановленного в заголовке выражения в московском смысле, Даль дает свое, говоря: «навал (в пословице) понимается в значении навала покупателей, а не товара; коли толпа, народ валит валом, – разживаются от бойкого сбыту, почему и бойкое, торное место купцу дорого, а насиженое на бою, куда заборщики валят по привычке, вдвое дороже». Припоминая, что собирателю пословиц приходилось отбиваться от таких строгих судей, по приговору которых весь сборник не был допущен в печать, смягченное толкование было вынужденно (в оправдательном ответе оно и приведено). На самом же деле оба явления очевидны и действительны в практической жизни, а стало быть, в равной степени надобятся и годятся обе приведенные причины наживы от навалов.

ДАВАТЬ СЛАЗУ

Во всех тех частых случаях, когда на малое много охотников, желающих приобрести предлагаемое или продажное, и потому представляются затруднения разойтись по миру – по согласию, издавна установился своеобразный обычай. Зародился он на деревенских базарах и вообще на местах торговых сходок и сделок, где зачастую, говоря книжным термином, спрос превышает предложение. На привозный товар, особенно на самый ходовой и верный, как, например, хлебное зерно, набирается целая толпа покупателей. Большею частью это – продувные, опытные и ловкие барышники, за многочисленностью и разнообразием получившие множество прозваний. Они устанавливают цену, усердно торгуясь и безжалостно притесняя продавца. Наиболее ловкие до такой степени сбивают цену, что всякому чрезвычайно выгодно дать ее и нажить барыши. Как извернуться, чтобы не обидеть соседей и товарищей по промыслу? С ними, по пословице, доведется детей крестить. Придумали так, чтобы решение вопроса, без раздражения до брани и драки и без неизбежных последующих упреков, предоставить судьбе или жребию. Последний и является в форме ломаного гроша или другой медной монеты с затиснутой зубом щербинкой и т. п. Жребий каждого бросается в шапку, в ней встряхивается и вынимается. Чей первым попался под руку, тот и указал на счастливого владельца: за ним или товар при купле, или тот подряд на какую-нибудь наемную работу, которая соблазнила сотни людей, но понуждалась лишь в десятках. Удачник обязан откупиться от товарищей, которым не осчастливило, чтобы не было им напрасного и обидного разочарования: он должен от себя внести условленную сумму. Последняя определяется еще раньше где-нибудь в кабаке и даже выдается на руки тому, кто окажется опасным либо по задорному нраву, либо по толстому карману, либо по упрямству и стойкости в своих намерениях. Его необходимо отвлечь от торгов, чтобы отстал, не набивал цены или, в крайнем случае, готов был охотно передать, по жеребьевому обычаю, взятую им работу или порядок.

Эта мошенническая сделка, зародившаяся на грязных сельских площадках, перенесена была даже в высокие и светлые залы здания Правительствующего Сената и не так давно практиковалась там, когда сдавались с торгов питейные откупа, быстро обогащавшие многих и ловко спаивавшие народ. В этих случаях отсталое достигало до десятков тысяч рублей, особенно когда охотились на дело люди с огромными связями, титулованными именами и сильными денежными залогами. Этот способ устранения опасного и лишнего соперника от соблазнительного подряда или даже и просто от такого дела, которое дает голодному хотя малые средства к пропитанию, называется различно – именно потому, что он многообразно и повсюдно применяется. Говорят: «дал отсталого», «взял отступное», получил «слам», дал «слаз». Последнее слово (то есть слаз) наиболее употребительно, хотя, по-видимому, и наименее понятным образом объясняет внутренний смысл свой. Но это только по-видимому. В сущности, это слово, действительно, родилось на постоялых дворах, в ямщичьих кругах, но на сенатских торгах оно предпочиталось всем другим, однородным и более вразумительным. Оно же понравилось и современным подрядчикам на всевозможные казенные и общественные работы, когда являются на торги зачастую люди без гроша в кармане, особенно евреи, составившие из этого дела особый мошеннический промысел. Теперь без них уже ни одни торги не обходятся и иные юркие люди этими плутовскими приемами не только кормятся, но и наживают изрядные деньги.

Густой толпой накидывались извозчики-троешники на пришедшего седока, желавшего ехать в длинную путину от места до места так, чтобы больше уже нигде не торговаться и не искать новых желающих везти, не подвергаться неожиданным, безвыходным и обидным притеснениям. Один из толпы выделялся – это рядчик: он и торговался, запросивши вперед невероятную цену. Сбавляя с нее с упорством по четвертаку и по полтине, он истощал терпение нанимателя и достигал того, что последний платил двойную сумму против попутчика, сидевшего с ним рядом в том же тарантасе. Сам рядчик

не ездил, – он только устанавливал цену по общему закону во всех сделках подобного рода «торговаться одному, а копаться (метать жребий) всем». Поедет с седоками тот, кто ухватился последним за самый конец палки и веревки, а всем остальным привелось «слазить» с козел, уступать свое место и за то получать отступное, «слаз», всегда деньгами и никогда выпивкой. Эта последняя сделка на вино не будет уже отступным, а зовется «срывом», взяткой, именем литок (литка), старинного могорца (могорец), переименованного теперь в магарыч (чаще употребительный при продаже лошадей). Магарычи обычно пропиваются, и если они выпиты, то и дело покончено; если же кого после них взяло раздумье, тот уже опоздал. Говорится также: «кто о барышах, а кто о магарычах» и «барыш барышом, а магарычи даром», потому что и здесь, как и при других крупных сделках, иные намечавшиеся в ярмарочных и базарных торгах «с магарычей так же расторговываются», а иные только лишний раз напиваются. Этот же самый слаз брал ямщик и в тех случаях, когда являлся единственным соперником, но имел перед собою товарища, которому везти сподручнее, так как он обратный, а потому сговорчивый. Выгоднее для этого охотника «дать слазу», оставить себе хоть что-нибудь: все равно надо ему возвращаться порожняком, и притом совершенно даром. И маленькая рыбка на этот раз – по пословице – лучше большого таракана.

ЧТО НИ ПОП, ТО И БАТЬКА

Если суеверный народный обычай при встрече со священниками, почитаемой дурным знаком, указывающий на некоторые предосторожности, вроде бросания щепок на след и другие приемы, народился во времена глубокой древности, то доказанное и выписанное выражение несомненно позднейшего происхождения, хотя также старинного[1]. Толковники

[1] Дурным предзнаменованием служат также встречи с девкой, со вдовой, с монахом, вдовцом, холостяком, с пустыми ведрами и т. д. (*Примеч. С. В. Максимова*).

объясняли нам, что во времена язычества на Руси священник как представитель новой веры, проповедник христианства и креститель мог быть грозным для тех, которые еще коснели в идолопоклонстве. Когда встречный снимал перед ним шапку, складывал руки так, что правая рука приходилась на ладонь левой и подходил под благословение, значит, прав человек: получи благословение и ступай своей дорогой. В противном случае, скажи: кто ты, и во что веруешь, и умеешь ли крест класть на лоб; если же ничему таковому не навык и не научился, – ступай ко властям гражданским. Эта власть «отдаст за приставы» и пособит духовному клиру приобщить к стаду верных новую овцу более надежными и внушительными средствами, чем устная убеждающая проповедь. Наше крылатое слово относится уже к тому времени, когда священство сделалось в народном быту настолько обыкновенным и обязательным явлением в значении отдельного сословия, что народ почувствовал некоторые неудобства и тяготы, стал поговаривать «от вора отобьюсь, от приказного откуплюсь, от попа не отмолюсь». Тогда уже спознали, что у последнего «не карманы, а мешки», привыкли к поповским обычаям, которых оказалось очень много. «Родись, крестись, женись, умирай – за все попу деньги отдавай», – говорилось с сердцов и запечаталось в пословичном выражении. В свое время узнались поповские глаза завидущие, руки загребущие и поповы детки непутные, редко удачливые, и поповские замашки и норов, который на кривой не объедешь. Дошли и до таких тонких наблюдений, что выучились узнавать попа и в рогоже; стали отмечать не только поповых дочек, но и поповых собак и куриц. Познакомились и со вдовой-попадьей, которая всему миру надокучивает, и с замужней, которая обычно на всех деревенских пирах требует себе почетного места, тискается вперед, толкает под бока локтями и, не глядя, наступает на ноги, ищет места задом.

С самых древних времен крепостничества и до последних дней его издыхания выработались такие взаимные отношения рабов к властям и начальствам всякого вида: общая покорность в помещичьих вотчинах земским властям, бес-

прекословное и быстрое повиновение приказам земской полиции, робкое и льстивое обращение с начальниками разных статей, как, например, с лесничими, с так называемыми водяными инженерами и прочими чиновниками по многочисленным специальностям. Чиновник видоизменился в имени: стал зваться всем крестьянством без различия «барином». Не только помещичьи, но удельные и государственные крестьяне начали отличаться, например, в лесной России именно тою мягкостью и податливостью в обращениях со всеми властями, которая породила характерную народную черту лукавства, выраженную столь определенным и коротким сказом: «что ни поп, то и батька». Тогда народ вполне был убежден в том, что он «есть барский» и свободно позволял «вить из себя веревки». Выходило, во всяком случае, так, что при множестве властей, не обузданных в определенных границах в своем значении и влиянии, всякий оказывался барином: кто раньше встал, палку взял, тот и капрал, или что ни поп, то и батька. В новейшие времена, для кого безразлично служить в том или другом месте, работать, угождать и льстить все равно кому бы то ни было, для такого человека, конечно, то же самое, что ни поп, то и батька, и т. д.

НАЧАЙ

Я просил наборщика набрать, а корректора не исправлять этого слова, стоящего в заголовке, на том основании, что чувствуется в нем такое плотное слияние начального предлога с управляемым существительным, каковое слияние замечается и в самом обычае с народною жизнью. Из двух частей речи народилась одна. Это нарицательное имя, означающее всем известную и для каждого обязательную установленную подать, родственно, по внешней форме и внутреннему смыслу, например, со словами настол (русский калым или плата, полагаемая на стол за невесту), наславление – сбор в руках духовенства, вещественный знак благодарности за духовное славленые при посещении домов со крестом и св. водою, нахрап и нахрапы –

взятые насильем взятки и жадно награбленные состояния вымогателей, нарост – деньги, даренные крестным отцом, или то же, что общеупотребительный назубóк и прочее. Все эти старинные слова, подобно приданому, подушному и т. п., издавна склоняются по всем падежам обоих чисел. Говорят, например, смело и не оглядываясь на свидетелей таким образом: не жалел кум нáростов крестникам – ударение на первом слоге, чтобы не смешивать с болезненным возвышением на живых телах, – не жалел этих подарков: без нáроста никогда не подходил к купели, рассчитывая этим привлечь любовь крестного сына, и на щедром нáросте достигал того же и у кумовьев. На том же основании и наше составное слово, удалившееся смыслом на неизмеримое расстояние от своего корня (чай – растение, а начай – мелкая взятка, плата сверх условия или за небольшой труд), начинает в живой речи подчиняться всем грамматическим правилам. Кое-где уже дерзают говорить во множественном числе; примерно так: пошли поборы, да взятки, да разные начаи; всем праздникам бывает конец, а начаям конца нет и в год приходится раздать на начая́ столько, что карман трещит. Хотя от начаев богат не будешь, однако иные семьи давно уже помаленьку живут этими самыми начаями. Стало быть, и нам не только обязательно выдать начай, но можно остаться при этом без карманных денег от выданного сегодня начая и быть по праву всегда недовольным частным начаем[1]. Если, в самом

[1] В купеческих счетах на Волге давно уже значатся «начайные» деньги, стоящие рядом с наводочными и нахлебными. В указанном же примере следую тому же образцу, который указан давно установившимся обычаем, приложенным к слову «завтра» (заутро, завтрие) как существительному среднего рода. Родительный падеж будет, по желанию, или завтрея, или завтрего, или завтрева (не далее до завтрева). А затем дательный – день к вечеру, а работа к завтрему, – к тому же времени можно теперь из Петербурга и в Москву попасть – к завтрею, завтра, заутру. Когда завтра будет? (винительный) – ответ: никогда. Сегодня не сработаешь – завтреем не возьмешь (творительный). В творительном говорится и так: завтрим, заутром; в предложном, стало быть, о завтрее, о завтрем, о заутре. Вообще у завтра нет конца, между прочим, нет конца и предела той свободе обращения с родным языком простого народа, не стесненного грамматическими правилами, навязанными в школах. Своеволье (если только имеем право так выразиться) доходит до изумительных дерзостей. Укажу на один курьезный пример. Знакомое нам

деле, кажется странным склонение этого слова в единственном числе, то, минуя бытовое явление, когда эти поборы часты, многочисленны и мелки, мы все-таки не должны забывать, что это слово новое, создавшееся почти на нашей памяти. Оно еще не содержалось так, чтобы могло гнуться и склоняться по грамматическим правилам подобно тому, как с явною смелостью и решительностью проделывают то же и с таким же составным существительным «заграница», когда стали туда почаще ездить и интересоваться ею даже и те темные люди, которым известна была до тех пор лишь одна Белая Арапия. Свободные в обращении с родным языком, как ветер в поле, коренные русские люди с природным, старинным давно уже не церемонятся. Например, молоко в нынешней форме своей проводится на севере России по всем падежам множественного числа, вопреки запрета всех наших грамматик, прославившихся противоречиями, недописанными законами и недоделанными правилами. Там твердо уверены, что молоки бывают разные, друг на друга мало или совсем не похожие: пресное и квашеное или кислое, топленое и парное, простокваша и варенец, творог, сметана и сыры, – вообще все молочные продукты, имеющие одно общее название «скопов». Вот почему и едет смело и решительно на архангельский базар подгородная баба и дерзко и бессовестно кричит на всю площадь, предлагая свой товар в разнородных сортах и во множественном числе любому учителю и ученику гимназии.

Слово «начай» действительно новое, но составленное по тому же старому закону, как хлеб-соль, да еще и с челобитьем

со школьной скамьи из уст учителя русского языка личное местоимение в родительном падеже множественного числа во многих местах, среди мещанского купеческого и крестьянского люда принято за существительное имя и дерзостно склоняется на разные лады, конечно, в значении «не моего, чужого», принадлежащего другим. Говорят: иха, ихо, а потому, ихова, ихой, ихому, иху, ихи, ихим, ихих, ихими. Затем, конечно, по последовательности усвоенного привычкою правила: ихния, ихна, ихно, ихнова, ихному, ихну, ихни, ихних, ихним, ихными и т. д. Это, впрочем, то же самое, что «ейный» петербургских кухарок, у которых замечается особенная наклонность уродовать родной язык – говорить: «уседчи», вместо ушел, то есть в замену прошедшего времени всех залогов глагола говорить причастиями и деепричастиями прошедшего времени. (*Примеч. С. В. Максимова*).

ради спасиба. Оно лишь в середине нынешнего столетия дерзнуло счастливо посоперничать и с притворною ласковостью и с обманом подсменять заветную и старинную «наводку, наводочку, навино». Год, когда началось повальное московское чаепитие, с точностью определить трудно: говорят, что вскоре «после француза» получила свое начало трактирная жизнь и дикие, домоседливые купцы начали посещать театры, отдавшись обоим развлечениям с неудержимым увлечением и охотою. Изменились люди до того, что давно уже в Великороссии сложилась поговорка, что «ныне и пьяница наводку не просит, а все начай». Исключение представляют два родственные народа: белорусы и малорусы, за которыми, в числе многих древних привычек, осталась и эта просьба, высказываемая откровенно и напрямик, – «на горилку». На больших дорогах, вблизи племенных границ, эта просьба ямщика, обращаемая к проезжему, смело засчитывается в число этнографических признаков таковых границ. Так, например, по Псковской губернии все просят «начаек». В Витебской и Смоленской тот же почтовый ямщик, почесывая спину и в затылке, выпрашивает на прощанье «навино». Почтовая «наводка» сделалась даже обязательною, законом установленною прибавкою (от 5 до 10 коп.) для едущих даже по казенной надобности, освобожденных от платы шоссейной и за экипаж (по 12 коп.). Право это до того всосалось в плоть и кровь ямщиков на всем пространстве русской земли, что отказ считается невероятным и вызовет неприятные сцены. Обещанная прибавка к наводке, наверное, обещала ускоренную езду, а приведенная в исполнение по пути натурой тешила и веселой песней, и острыми прибаутками, и приговорами. Насколько скудна деревня и велика деревенская нужда, можно видеть из того разнообразия указаний, которым наскоро и счет подвести нельзя. Со всех ног мчатся босоногие ребятишки отворять проезжим ворота, выходящие на деревенские поля, а если ворота из деревни на выгоны остаются незапертыми и даже сняты с петель и нет даже такой работы, те же ребята гурьбой стоят у вереи и ждут подачки, что сбросят: пряники, баранки, медные копеечки,

орехи. Не догадался запастись всем этим проезжий, – смелые бранятся, малые во всю глотку ревут и все-таки бегут следом в подпрыжку, пятки сверкают.

В одних местах, как в той же Новгородчине, прямо, без всяких обиняков просят на хлебушко; подавайте этим, ради Христа Самого подавайте; своего хлеба не хватило им далеко до Николы зимнего, а привозный и продажный купить совсем не на что. В местах посытнее просят на калачики – на сладкий кус, на пшеничные баранки; на Кавказе и за Кавказом – на кишмиш. Красным девицам дают на орешки, горничным – на помаду, барышням либо на булавки, либо на перчатки; солдатам – на табачок и т. д. Складывают правую руку в горсточку и вытягивают ее во всю длину навстречу прохожему малые дети, прося на орешки, где их нет, и на пряники, где их пекут да не дают даром. Суют руку и взрослые, говоря еще проще: «Прибавь на бедность». Часто услышишь: «Подайте на погорелое», хотя последние бывают двух сортов: правдивое и лживое. А иной «Абросим совсем не просит, а дадут – не бросит»: ему, пожалуй, уж и не такая великая нужда в милостыни, да от дарового не велят отказываться, если уже расходилась милостивая и неоскудевающая рука дающего. Степенный старик с окладистой бородой, с подвешенным на груди планом храма и со внушительным видом выпевает: «…будьте вкладчики в церкву Божию, на каменно строенье» (на кабацкое разоренье – подсмеиваются остряки). Молодой парень с длинной палкой от собак и с блюдечком, накрытым шелковой тряпицей, для доброхотных даяний просит «на благовестное колоколо». Подачки или подарков просят даже на свадьбах: «на шильце, на мыльце, на кривое веретено». Выражение «шильцем и мыльцем» вошло даже в поговорку о тех людях, которые, по бедности, пробиваются кое-как, но не выпускают из рук ничего подходящего и ничем не пренебрегают. Малые нищие молят «на хлебец копеечку», большие «для праздника Господня: телу во здравие, душе во спасенье от своих трудов праведных». Это очень длинно и нараспев, и в таких местах, где надо надокучать, чтобы разжалобить, надо долго петь, чтобы обратить

внимание. В архангельской тайболе, в самых глухих и совершенно безлюдных местах, ветхие старики-кушники, неспособные за увечьем или старостью к работе и от долгого житья в пустынном одиночестве даже разучившиеся говорить, мозолистую правую руку, сложенную корытцем, протягивали мне со словами: «не сойдет ли что с твоей милости?» Тут уже нет определенного вида нужды, ибо все нужно, ничего нет, кроме общественной курной избы. Этому, что ни дашь – все ладно: яичко ли, недоеденный пирог. Здесь, пожалуй, за деньгами не очень гоняются, ничему они не послужат, потому что и купить негде и нечего в этой мертвой лесной пустыне. Остался один, не помнящий добра желудок, который и просит хлебушка, а в прочих желаньях не на чем остановиться, все неизвестно, а былое забыто и замерло. Тут все ясно, а потому и коротко. В населенных местах нужда болтлива; она просит распевая и длинными стихами, и коротенькою складною речью, всегда уныло и протяжно. Придуманы праздники и с ними установлено, когда и о чем просить: яичка и сыров на Пасху, ветчинки и колбаски на Рождество, блинов на могилах. К этим временам прилажены длинные стихи, распеваемые в Белоруссии особыми артелями так называемых волочебников, в Великороссии мальчиками, разными нищими и т. п. Во всяком случае, здесь нужда мудрена: пошла на все выдумки, хотя на самом деле истинная нужда скромна и молчалива.

ИЗ КУЛЬКА В РОГОЖКУ

Мужик надрал лык с липовых деревьев в мае, когда поднимается древесный сок, а кора сидит слабо, и сделал надрез сверху вниз. Соком отдирается кора от ствола и в июле сама отпадает. Собранное лыко до октября кладут в речки или ямы, где оно очищается от верхней коры и клейкого вещества. Связал мужик надраное лыко вязками, сложил на воз и свез на базар. Нашлись у него покупатели. Здесь, по давнему обычаю, ждут этого доброго и трудолюбивого человека лиходеи затем, чтобы запутать простоту и сбить на его товар цену. Сами ткачи не

торгуются, а подсылают бойких молодцов. Когда эти установят бессовестную цену, покупщики, стоявшие в кучке и в стороне с тем видом, что как будто вся эта плутни не их дело, – начинают бросать жеребий. Кому вынется, тот и принимает покупку, остальным выдает он отступного, каждому по 5, 10, 15 копеек. Промышленный человек раздал это лыко подручным рабочим из вольных охотников, а то и сам принялся за выделку, если есть у него своя зимница – большая холодная изба с небольшими окнами, заложенными соломой. В ней стоит пыль столбом, жар, духота и смрад, каких поискать в иных мастерских. Тут едят и спят и время проводят так, что, выспавшись немного в сумерки, в 10 часов вечера встают на работу до рассвета, когда завтракают, потом с час отдыхают и снова работают. Труда много, но изделия идут на базарах за бесценок. Наживаются, как и всегда и везде, кулаки как скупкою и перепродажею рогож, так и торговлею мочалом. Из коры стволов приготовляется луб, из коры ветвей выделывается мочало, для чего оно раздирается на мелкие ленты. Из них на станах, стоящих посредине зимниц, ткут рогожи разных сортов и наименований тем же способом, как и шелковая материя (с основой и утоком): через большое бедро снуются мочалочные ленты, концы которых связываются в один узел и натягиваются на деревянную раму; уток продевается иглой в $^{3}/_{4}$ арш. длины, которая имеет на обоих концах дыры для вдевания лент. Из двух рогож большой иглой, согнутой в дугу, шьется куль: лучший сорт – верхи – идет в нем на покрышку, испод составляет внутреннюю сторону куля. Это кулье с хлебом в бунтах покрывается таевкой, вытканной гораздо длиннее и несколько шире. Если из прорванного крюком или из худо сотканного и потому всегда легкого на вес куля высыпался хлеб на покрышки, то не все ли равно – на ту же рогожу, но лишь с худшим исходом и лишним трудом для рабочих. Лежал хлеб в зашитом куле: хорошо ему было. Высыпался он – и испортил все дело. От непогоды, под дождем спрятался по случаю один находчивый возчик в распоротый куль: ему стало немножко ловчее, да подняли на смех товарищи. Насмешки обидели, он прикрылся таевкой, но

выиграл немного: рогожа стоит коробом, защищает спину, но не прикрывает головы, вода течет за ворот, да притом надо постоянно запахиваться, потому что тяжелая рогожа лезет себе с одного плеча на другое. Сделалось не только не лучше, но даже несравненно хуже, хотя и приличнее, по крайней мере теперь некому насмехаться, потому что все товарищи облачились таким же образом. Ошибся в чем-либо иной человек (не рогоженый возчик, а, например, городской щепетильный житель), рассчитывал поправиться, изловчиться, придумал новый способ и снова неудачно: «поправился из кулька в рогожку». Это еще хорошо или так себе, все около того же, ни хуже, ни лучше, одинаково. Но бывает невыносима неудача в тех случаях, когда приходится сказать и самому себе (и посторонние люди с этим вполне согласны): «попал как кур во щи», или «от дождя да в воду», или «попал из огня да в полымя» и т. д.

НЕ ВСЕ – ОДНО

Это ответное указание тому, кто обычно путается не только в понятиях, но путает и смешивает самые употребительные и привычные слова. В последних от замены даже одной только буквы, одного звука выходит совсем другое и вовсе не похожее ни в представлении, ни по наружному виду. На это имеется прекрасный пример в очень распространенном на Нижней Волге и в Оренбургском крае с чужого языка коротенькое выражение, усвоенное русскими поселенцами: «То ишак, а то ишан». И в Сибири, и на Кавказе, и в том же Оренбургском крае ишаком называется животное конской породы, equus asinus – известный всем осел (в его прямом, а не переносном на людскую породу смысле). Впрочем, местами зовут ишаком плохую лошаденку, особенно малорослую (маштак), да местами он же и «лошак», и «мул» (европейский), хотя и здесь большая разница, зависящая от помесей. От конского жеребца и ослицы – осляк, он же и мул; от ослячьего жеребца и конской кобылы – полуконь или лошак; обычно сами по себе животные эти неплодные, плодлив из них один осел – ишак, про которого русские люди го-

ворят (в загадке): «родился – не крестился, умер – не спасся, а Христа носил». Значит, выходит так, не ради остроумия или на брань: то осел, а то иман – мусульманское духовное лицо, пользующееся в своей среде полным и глубоким уважением и достаточно доказавшее русским властям и деревенским соседям особенностойкий фанатизм в своей вере и издревле прославившийся возбуждением такового же в других святошах. Нередко могилы таких иманов служат местом поклонения пилигримов как священные и украшаются прочными каменными памятниками, веселящими утомленный взор иногда среди самых глухих и отчаянных пустынь в песчаных степях.

ОТВОДИТЬ ГЛАЗА

В том значении, в каком понимается это выражение в городском быту и осуществляется на практике более видимым образом в чиновничьем, младшими над начальством, есть уже переносное. Корень его скрывается в народном суеверии. Прямой смысл – морочить, зачаровать; леший, например, отводил так, что обойдет кругом, заведет в трущобу и заставит безвыходно плутать в лесу. Колдуны и даже знахари (колдун – чародей и волшебник, знается с нечистой силой, знахарь-ворожей или самоучка-лекарь может прибегать к помощи креста и молитвы) – оба эти молодца умеют напускать наваждение или мару на глаза. Никто не видит того, что стоит перед глазами, а все видят то, чего нет вовсе. Довольно известен такой забавный пример.

Неведомые мужики едут на базар и видят толпу, глазеющую на какое-то диво. Остановились они и присмотрелись; не уразумели сами – стали других расспрашивать. Отвечают им:

– Вишь ты, цыган сквозь бревно пролезает, во всю длину. Бревно трещит, а он лезет.

Проезжие стали смеяться:

– Черти-дьяволы! Да он вас морочит: цыган подле бревна лезет и кору дерет. Так и ломит ее, – вон, глядите сами.

Услыхал эти слова цыган, повернулся боком к проезжим да и говорит:

– А вы чего тут не видали? Глядите-ко на свои возы: ведь горят. Сено на них горит.

Оглянулись проезжие и в самом деле видят, что горит на возах сено. Бросились они к своему добру: перерубили топором гужи, отхватили лошадей из оглобель и слышат, как позади их вся толпа, что стояла около цыгана, грохочет раскатистым хохотом. Повернулись проезжие опять к своим возам – как ни в чем не бывало: стоят возы, как стояли, и ничего на них не горит. Точно таким же образом в народных суевериях и предрассудках следует искать объяснения и других крылатых слов, например

НЕ КО ДВОРУ, –

равносильное не к рукам (не к роже кокошник, не к рукам пироги), выражение это происходит от приметы, что не всякая лошадь удается, идет впрок, годится. Глубоко убеждены все, что, например, сивая лошадь черноволосому покупателю не ко двору. Соловых и буланых стараются обегать, их не любит домовой и обижает. Любит он особенно вороных и серых: чистит скребницей, заплетает гривы и хвосты, холит, гладит, подстригает уши и щетки. На нелюбимую садится, ездит всю ночь и ставит ее в стойло всю в мыле, после чего животное начинает спадать с тела. Когда очень осерчает, то перешибает у ней зад, протаскивает в подворотню, забивает под ясли, даже закидывает ее в ясли вверх ногами, – лошадь вертится и мотает головой. Это злой кучер насыпал ей несколько дробин в ухо, зная, что лошадь от этой операции должна околеть: ушной проход у животного устроен с таким изворотом, что дробь не может высыпаться обратно. Эти мошеннические проделки кучеров, в зависимости от стачки с барышниками, применяются всегда с тех случаев, когда хозяева не соглашаются обменять или продать лошадь, оказавшуюся не ко двору. У таких домовой заплетает колтун, расчесать который невозможно, а остричь – опасно. Иная бьется всю ночь, топчет и храпит: это опять домовой, то есть кучер, ворующий корм. На плохом корму и не в холе и без домового образуется колтун. Против проказ этой не-

жити, обыкновенно совершаемых ночью (днем неизвестно, где домовой бродит), суеверные люди подвешивают в конюшнях убитых сорок: он их не терпит. В богатых хозяйствах держат козла: любит ли его домовой, умеет ли задабривать или просто боится – неизвестно. Известно только то, что в конюшни забегает иногда маленький зверек ласочка (ласка, норок, mustella nivalis) из хорьковой породы, зимою вся белая. Она бегает по стенам, залезает в уши и мучительно щекотит: лошади потеют и болеют. Она не любит козла и от него уходит, а козел – верный слуга ведьме, да к тому же еще никто не видал, чтобы домовой, который на всех ездит, даже на людях, – когда-либо взнуздывал рогатого козла. Он и на конюшне служит по подобию человека, который всю жизнь шатается без дела, то есть служит, по пословице, за козла на конюшне. И таким людям точно так же всегда недосуг: «надо лошадей на водопой проводить».

ЧУЖОЙ КАРАВАЙ

Старинная пословица говорит: «на чужой каравай рта не разевай», иногда с прибавкой, кажется, позднейшего вымысла: «а пораньше вставай да свой припасай». Смысл руководящего правила первой половины внушителен и без объяснительного совета второй. Является здесь отчасти странною ссылка на непочатой печеный хлеб, а не на иную снедь более вкусную, заманчивую и соблазнительную для всякого любящего поесть на чужой счет и незаслуженно. Не из одного же поползновения к созвучию и складной речи выдумалась эта общеизвестная поговорка. Каравай в бытовом смысле имеет особенно важное значение, несомненно восходящее к древнейшим славянским временам и сохранившееся в свадебных обрядах малороссов и белорусов (в Великороссии только кое-где в южных губерниях, например, в Воронежской, Тамбовской, Курской, на Дону).

Выпила девица вина из бутылки, принесенной женихом, сняла с себя пояс, обмотала им ту бутылку и в таком виде возвратила сосуд принесшему – значит, согласна на брак, сделалась невестой, подписала контракт и, за безграмотством, узелком

пояса указала место печати (в Великороссии этот обычай заменен посылкою жениху белого полотенца невестина рукоделья). Теперь она ни в каком случае не имеет права отказать жениху, который начинает производить затраты, готовясь к свадебному пиршеству. Белорусские волостные суды, в случае отказа невесты, приговаривают ее родителей к денежному вознаграждению жениха в размере произведенных им трат: на пропой (угощение) родственников; «посажную (свадебную свинью) жених заколол, обручальные кольца купил» (не принимают лишь подлежащими возврату те деньги, которые употреблены были на подарки самой невесте). Со дня заручен начинается стряпня «каравая» в обеих семьях: невестиной и жениховой. Здесь-то сосредоточивается главнейшим образом вся мистическая часть обряда, до сих пор отстаивающая себя от всех прочих церковных обрядов. Эти – сами по себе, но языческие символы прежде всего и впереди прочих. «Расчиненье» каравая (растворение теста) имеет вид особого священнодействия, где жреческие обязанности возлагаются на какую-нибудь, непременно замужнюю, женщину, причем все мужчины удаляются вон из хаты. Мальчик бегает по соседям и собирает гостей[1]. Сажает каравай в печь не иначе, как с общего благословения, мужчина, голова которого повязана бабьим платком. При этом поют соседки, «каравайницы», особые «каравайные» песни, между прочим о том, как бояре печь затопили железными дровами, как шелковые дымы вышли и выпекся каравай, как колесо. А затем все это для того, что «у нашего господаря кудрявая голова, ен кудрями потрясе, нам горелки унесе». Так как это бывает в субботу, всегда накануне венчанья, то на следующий день каравай становится главным символом и выступает на первое место. В обоих случаях (и у жениха, и невесты) каравай выносится из чулана или с гумна на веке (крышка на квашне), несется двумя девочками, ставится на стол перед сговореными. Каждый из них должен приложить к

[1] На Дону, когда сажают каравай в печь, то все собрание держится за лопату; свахи освещают печь, и эти свечи, обвитые лентами, на другой день вручаются жениху и невесте пред алтарем. Теперь все это стало там забываться и не везде исполняется. (*Примеч. С. В. Максимова*).

караваю лицо свое и поплакать. Только после того начинается благословение родителями. Перед отъездом под венец жениха и невесту три раза обводят кругом стола, и они целуют свои караваи, берут их в руки и с ними выходят из хаты. Священные хлебы эти увозятся в церковь, кладутся на аналое, а по возвращении домой обрядовая возня с ними все еще не прекращается. Молодых встречает мать невесты, обязательно в надетом навыворот кожухе (шерстью вверх) и в мужицкой шапке для богатой жизни. Начинают расплетать косу, надевают наметку – убор замужней женщины – делят каравай так, что первые два куска даются новобрачным, а остальные непременно каждому из свидетелей и участников брачного пиршества. Режет каравай ребенок, а куски раздает гостям сват.

Для последней цели этот пшеничный пирог печется большим: на верхней корке делается крест и украшения в виде птичек, свернутых из теста. Украшают также маленькими венчиками, золочеными бумажками; на веточки вешают ягоды калины и проч. Калине приписывается также мистическое значение, и она воспевается в песнях в применении к невесте: «пришел час, пора и годиночка, – зацвела калиночка». «Сгибаю каравай (как поется в песне) с цветками, с перепелками, с дорогими маковками». В прежнее время с этим караваем, завернутым в холст, ходили к пану, к священнику и к иным почетным лицам на поклон.

Не без намерения привелось остановиться на подробностях обычая именно в силу его символического значения и притом замечательного своею обязательностью во всех местностях Белоруссии, где мне ни доводилось расспрашивать и прислушиваться к описанию свадебных обрядов. Везде они поразительно одинаковы; везде каравай, подобно именинным пирогам, масляничным и погребальным блинам, родильной каше, святочным колбасам и пасхальным яйцам, играет роль священного хлеба. Обязательно его расчинение с таинственными обрядами и песнопениями и дележ также со священнодействиями, подобными переходу от венца в хату через огонь, подобными поджиганью невестиной косы двумя свечами, сло-

женными накрест и сидению на деже, приему молодых в вывороченной шубе, выходу новобрачных после отдыха с полотенцем, которое держат они за оба конца и т. п. В таком смысле и религиозном значении каравай мог быть принят, в исключение перед прочими яствами, в пословицу, упрекающую тех, кто любит и привык оживляться чужим добром, не запастись собственным трудовым. Белорусский каравай (по песне): «Сам Бог месит, Пречистая святит, Ангелы воду носят, Христос приступает, хустою (платком) накрывает». Во всяком же случае обряд «каравая», перешедший в обычаи христианские, с ними смешавшийся и ими освященный, не утрачивает значения древнейшего языческого обряда доисторических времен. Он исчез в Великороссии под известным влиянием наиболее энергического и усердного давления проповедников христианства и насадителей православных обрядов, но сохранился вместе со множеством других старинных в Белой и Малой Руси под шумок долговременной борьбы двух исповеданий, выразившейся унией[1]. Народ предпочел вековечную старину и дорожит ею до сих пор, как наследием предков тех «дзядов» (дедов), которых признает олицетворенными, живыми духами и в честь их повсеместно установил особые праздники, обставленные многоразличными мистическими обрядами.

По-белорусски выходит таким образом, что после символического закрепления договора поясом жених и невеста получают право жить до венчания между собою брачно и они уже называются теперь молодыми, то есть новобрачными. В Малороссии требуется еще отбывание «весилля» – угощения, которое также не совпадает с церковным венчанием, так как обычай не считает необходимою одновременность двух актов, принятую великорусским крестьянством. В этом обстоятельстве для Малороссии заключен тот важный смысл, что брак

[1] В. И. Даль в своем Толковом словаре привел приговор на свадебном пиру, когда вынимают каравай: «Мой каравай в печь перепелкой (небольшой птичкой), из печи коростелкой» (то есть с припеком, значительно покрупнее). Указан также старинный свадебный чин каравайника, обязанного во время свадебного домашнего священнослужения носить каравай. (*Примеч. С. В. Максимова*).

признается целым обществом, и это признание важнее церковного. Малороссийскому караваю в данном случае придается более глубокое значение, чем первоначальному договору при сговоре – значение к тому же и окончательно решающего права на законное сожительство. В Малороссии так и толкуют: «хоть по чарци выпить, да караваю зъисты, а усе-таки треба».

ПРИХОДИ ВЧЕРА

В указанном смысле насмешки выпрашивающему заветную или себе нужную вещь действительно слышится чаще. В виде же ответа должника заимодавцу – редко, разве в форме сарказма при жалобе последнего на первого, которого он и не видал, и не застал дома, и ответа такого слышать не мог. Так как завтра все равно, что вчера, то заимодавцев обыкновенно потчуют должники «завтраками». У такого завтра обыкновенно нет конца, и от таких угощений еще никто, как белый свет стоит, не бывал сыт. Собственно же совет приходить вчера имеет более глубокое и знаменательное значение, если углубиться в беспредельное море народных суеверий и примет и припомнить изумительную доверчивость и пристрастие народа ко всему необычайному и чудесному.

Здесь все дело в том заключается, что проклятый царь Ирод имел «двадесять поганых дщерей во едино время. Шествие творяще святии отцы по горе Синайской и сретошася им двадесять жен простоволосых и вопросиша святии отцы проклятых: "Что вы есте за жены, и куда грядете? Отвечали проклятии: мы есмы дщери Иродовы, идем род человеческий мучити и кости ломали и зубы скрежетати". – "Что имена ваши?" Они проклятии, отвещали (это – по Нижней Волге): "Имена наши – царапея, цепонея, скучая, дулея, ищея, шатушка, колея, камнея, чихнея, тандея, знобея и тряска"». Надо отбиваться от нападения – а чем? – умываться на заре нашептанной водой, отписывать на пряниках и есть ведомые знахарями слова (отнюдь нельзя их развертывать – хуже будет), можно и на кресте на бумажке привязывать. Змеиной выползок целый месяц носить –

помогает; засохшая лягушка способит, кусок свиного сала на том же кресте целит: она, проклятая дщерь Иродова, свиньи боится. Прибегают и к сильным решительным средствам: уносят больного в лес, завязывают над головой два сучка березы (боятся Иродовы дщери и этого дерева) и велят больному кричать: «Дома нет – приходи вчера!»[1]. Сам знахарь приговаривает: «покинешь – отпущу, не покинешь – сама сгинешь».

– Стало ли больному лучше, помогло ли?

Планетчик сказал: Находка не спроста. Вишь, эта болезнь не ему сделана; да он случайно набрел на нее: с болотной кочки она, знать, в него и заскочила. Видно уж, сердешный, с тем в землю пойдет.

Видя, что ничто не помогает, стали больного «жалеть», оказывать любовь свою: кто принес соленых огурцов, кто кислой капусты столько, что здоровому молодцу в три дня не съесть. Начали угождать больному: в сенцы на холодок вынесут – горит он, так прохолодиться; помогут ему составить ноги на пол и дверь настежь отворят – очень уж пот-то его одолел: пущай обсохнет!

– Впоследние ведь! Одна нога у него уж, видимое дело, в гробу. Лекарь-то Бог что ли; вложит он душу-то, когда она вылетать собралась?

Бывает и так, что проказник домовой, который любит щипаться, толкать под бок и будить ночью, гладить рукой и проч., но неохотлив говорить, – вдруг что-нибудь скажет, обычно позовет по имени. Кому это почудится, тот обязан сказать ему (мысленно, чтобы не рассердить этого вообще доброжелательного старика) любимое его слово, владеющее для всех нечистых великою силою: «Приходи вчера!».

ПУСТОБАЙКА

Выражение «приходи вчера», взятое в прямом его смысле, без применения в качестве зарока и заклинания – не что

[1] Такой же заговор применяется и к чуме, во время скотского падежа и во всех болезненных случаях, где предполагается действие живой злоехидной силы. (*Примеч. С. В. Максимова*).

иное, как бессмыслица, без толку и значения. Ею пользуются, между прочим, балаганные шуты, рассчитывая на то, что в числе прочих шуток-прибауток она сойдет за острое словцо, вызовет к себе внимание толпы и возбудит в ней смех, а может, на счастье и хохот. В сущности, «приходи вчера» относится к разряду «пустобаек», составляющих вместе с пословицами, поговорками, присловьями и загадками особый отдел народных изречений, довольно богатый материалом, но скудный смыслом и потому стоящий ниже всех и стоящий дешевле всех соседей. В отдел пустобаек следует отнести и все те изречения, на которые потребовались от меня объяснения. Их дать нельзя либо потому, что за поисками красного слова или яду на острие насмешки они оказались бессмыслицами (как «сивый мерин», который «врет»), либо выхваченные из иностранных языков они там и корни оставили, и жало занизили. Такова – «свинью подложить», как недавно заимствованная для обогащения языка и крадучись пробирающаяся в народ наравне с родственными ей дворянскими, господскими и взамену устарелых или набивших оскомину и сильно надоевших от чистого оборота на житейском базаре. Таковы – «подсыпать кому перцу, запустить шпильку, поставить горчишник, задать закуску, подвести под сюркуп» и проч. В деревнях взамен этого слова давно уже пользуются не менее бессмысленными. Есть и гораздо лучшие хотя бы потому, что домашние, а не бременская фальщь, не гамбургская гаванская сигара, не прусское настоящее шампанское из Берлина (например, «влить кому щей на ложку» или однородное с заимствованным «всучить щетинку»). На своей родине эти крылатые слова несомненно имеют источник и указывают то место, где они народились и откуда, как вольные птицы, вылетели в мир Божий, стали порхать и переделывать по белому свету. Такова, между прочим, первая, пришедшая на память, «навязать медведя», несомненно заимствованная с немецкого и употребляемая в смысле «одурачить». Один путешественник уверял немцев, что он видел в Польше, как два медведя съели друг друга дочиста. А в Польше знаменитый враль,

пане Коханку (Радзивилл), рассказывал о том, как сам он изобрел для ловли тех же медведей повозку с острым железным дышлом, которое намазывалось медом. Охотливый до этой сласти зверь приходил и лизал все дальше и дальше, налегая на дышло до тех пор, пока конец последнего не проходил целиком сквозь медвежью тушу и не показывался наружу. Тогда гайдуки, спрятанные в повозке, выходили, навинчивали на острие гайку, чтобы зверь не соскочил, запрягали лошадей и отвозили добычу в местечко Сморгоны.

В число домашних, коренных русских пустобаек (или, что то же, «пустоговорок» и «приговорок») относятся, между прочим, те прибаутки и присказки, которые ищут только склада или замерли в своей первоначальной форме, давно утратившей смысл. На такие прибаутки охочи были наши недавние удалые ямщики, помахивавшие кнутом с веселым покриком на лихую тройку, вроде: «по всем – по трем! коренной не тронь, а кроме коренной и нет ни одной». Мотай-де себе на ус и смекай про себя, сколь мой обиняк остроумен и замысловат, сколь в нем много скрытого под иносказанием глубокого смысла и сколь я сам удал и весел, чтобы воспользоваться перед другими правом получить прибавку в казенной наводке – не на косушку, а на весь полуштоф. Мастера были на такие «художества»-досужества сбитеньщики, которых в наше время заставили примолкнуть и не орать по городским улицам и площадям с припевом и вприпляску: «Ульяна! Ульяна! садись-ко ты в сани, поедем-ко с нами, во нашу деревню – у нас во деревне много див увидишь: курочку в сапожках, петушка в сережках, утку в юбке, козу в сарафане, корову в рогоже» и т. п. Горласты и самодовольны были господа-пирожники, тоже известные остряки, любимцы толпы, находчивые на встречные вопросы поперечными ответами. И эти молодцы «с лавочкой на животе» также смолкли и шатаются с легким приговором козлиным голоском: «пироги горячи!» (холодные-то!) или «с пылу, с жару!» (в обеденную пору после ранней утренней заготовки). Остряки балаганные старики осматриваются; раешники приговаривают сонными голосами и не действуют так, как бывало в недавнюю старину.

Благопристойность сохранена, и городское благочиние соблюдено, но язык потерпел большой ущерб, потерявши источник обогащения. Всем известно, что из подобной болтовни многое поступило в обиход в значении пословиц и поговорок и также стало нравственной притчей, руководящим житейским правилом и поучением в подлинной форме народного закона. Конечно, «иная пословица не для Ивана Петровича», потому что, по опыту, «не всякая пословица при всяком молвится».

Существуют в соседстве и недальнем родстве и такие прибаутки (пустобайки), которые уцелели как дорогое достояние веков и с той самой поры свободны и правы перед самой строгой цензурой. Они когда-то, в незапамятные времена, выдуманы, затвержены и обязательны до сего дня. Таковы сказочные прикрасы: «в некотором царстве, не в нашем государстве», «я там был – мед-пиво пил, по усам текло, в рот не попало». Конечно, и эти «присказки, когда сказка будет впереди» получают пословичное значение, когда умело приспособляются к тому или другому бытовому случаю и житейскому событию. Все равно: исходят ли они от местных обычаев или зависят от личных привычек людей, – их принимают в живую речь, как приятных гостей. Народный вкус умеет гостеприимно обмыть их, очистить, наскоро принарядить и посадить рядом с испытанными друзьями и давно ведомыми знакомыми. В кучах складных слов, как в мусоре, умеют отобрать то, что годится и про домашний, и про общественный обиход. Иные пустобайки прямо входят в тот разряд и вид крылатых слов и мимолетных изречений, на которые так способны и счастливы французы и которые, под названием каламбура, имеют большой успех в обществе. Это – игра слов, с двояким смыслом, является, например, в такой народной прибаске: «я в лес (влез) и он в лес, я за вяз (завяз) и он за вяз (за то же самое дерево)».

Именно в этом отделе «пустословие» следует искать место того множества выражений, которые при всех стараниях в поисках, при всем напряжении в догадках совершенно не могут быть объяснены, потому что говорятся спустя, прямо с ветру и вздорно.

СКАНДАЧОК

Иногда вместо того чтобы сказать про человека, поступившего опрометчиво, сделавшего что-либо на авось, как ни попало или, проще, намах, говорят, что он отпустил скандачка – и попался в беду. В редких случаях пользуются этим словом в ближайшем к настоящему значению смысле про таких людей, которые придумают ловкий оборот в разговорной речи или остроумный прием на выход из запутанных обстоятельств в общественном быту. Тогда говорят: «Он поступил с кондачка», и при этом пишут слово в том виде, как оно теперь у нас напечатано. Здесь ошибка явная, по силе тех же укоренившихся обычаев – давать превратные толкования окончательно определившимся в языке словам и выражениям. Особенно страдает слово «нарочито», которым сплошь и рядом заменяют слово «нарочно», где прямо подсказывается и прилаживается оно в смысле умышленно, с намерением, тогда как «нарочитый» всегда сохраняет свое древнее значение (вышедшее из обычая) чего-либо отличного, значительного и даже именитого. Так же точно ошибочно при описаниях в газетах каких-либо народных гуляний, благотворительных торжеств, детских елок и т. п. употребляют вместо «сласти» (как лакомства и сладкие закуски, покупные вещи фабричного изделия) – «сладости». Забывают, что последнее слово обозначает исключительно лишь качество всего сладкого на вкус и то ощущение его с последствиями услады и наслаждения, то есть всего приятного не только одним чувствам, но и душе. В слове, вызвавшем эту мимоходную заметку, некоторые усмотрели происхождение слова от названия духовной песни «кондака», всегда сопровождающей как продолжение и разъяснение другой церковной песни в честь Спасителя, Богоматери и святых праведников тропаря. Ничего общего здесь нет, и ни в каком случае даже самого отдаленного смысла заподозрить невозможно. Тропарь есть такая церковная песнь, в которой или излагается образ жизни какого-либо святого, или указывается в общих чертах на образ совершения какого-нибудь церковного праздника.

В соответствие тропарю в кондаке воспевается в кратких выражениях христианское значение подвигов святых, славословится Спаситель или Богородица.

Значение нашего слова не потребует никаких натяжек и чрезвычайных поисков, если обратимся к картинам народного быта, и на этот раз прямо-таки к русской пляске, во всем разнообразии приемов. Можно плясать чинную великорусскую и разудалого казачка, ходить голубца и делать малороссийскую метелицу, то есть становясь попарно в круг, каждой паре плясать на три лада бурно. Можно, с присвистом и вскриками, пуститься вприсядку, то есть, опускаясь внезапно на корточки, так же быстро вскакивать навытяжку во весь рост. По пословице «и всяк пляшет, да не как скоморох», потому что бывают изумительные мастера выбивать ногами штуки и откалывать разные колена. Вот такие-то добрые молодцы и делают «скандачок», то есть, ловко и сильно ударяя пяткой в землю, немедленно затем вскидывают носок вверх. По этому начальному вступительному приему уже сразу видать сокола по полету, который, несомненно, и расшевелит стариковские плечи, и потешит глаза товарищей и молодиц. Он сумеет за скандачком и ударить трепака, то есть пустить дробный топот обеими ногами с мелким перебором. Разуважит он подгулявших зрителей всласть, по самое горлышко, и артистическими коленами вприсядку с вывертами и прискоками, для которых, впрочем, еще не выработано определенных приемов и точных законов, по примеру бальных или театральных танцев.

ИГРАЙ НАЗАД

Известно, что в нашем богатейшем языке существуют десятки названий иносказательного смысла, нежных – ласкательных и грубых – укорительных, которые усвоены любимому народному напитку. Напивается также каждый по-своему, сообразно с характером, званием и даже ремеслом. Говорят: сапожник настукался или накуликался, портной наутюжился или настегался, купчик начокался, приказный нахлестался,

чиновник нахрюкался, музыкант наканифолился, немец насвистался, лакей нализался, барин налимонился, солдат употребил либо нагрелся. Если всякий другой разночинец может наторопиться, то солдат, в должное и дозволенное время, имеет право и подгулять. С одной такой компанией служивых один раз так и случилось. После приятельского угощения она набрела на скрипача-цыгана и заставила его играть. Играл он долго – устал. Пришло время гулякам расплачиваться. Самый богатый дал гривну. Музыканту показалось мало, и он варом пристал к нему, чтобы прибавил еще пятак, объявляя, что:

– Один камаринский больше стоит, а я сыграл его десять раз.

– Нет у нас ни гроша, хоть все карманы вывороти. На вот – испытай сам! А коли лишку сыграл, так сам давай нам сдачи: играй камаринского на пятак назад!

СТАРЫЙ ВОРОБЕЙ НА МЯКИНЕ

Князь Кутузов молвил слово,
Хоть нескоро, да здорово:
Старый воробей!

Из патриотической песни
Отечественной войны.

Опытную птичку воробья, пожившего год-другой и налетавшегося по Божьему свету, не приманишь на те кучи, где сложена ворохом мякина (она же пелева и полова, древнеславянское и евангельское плевелы), – не обмануть птички этим призрачным видом сжатого и сложенного в скирды хлеба. В мякине нечем воробью поживиться: это – хлебный колос, избитый цепами в мелкую труху, от которого самым усердным образом отвеяно съедобное зерно хлебных злаков. За последним именно и гоняется эта маленькая домашняя птичка, отличающаяся кратковременною жизнью и торопливостью истратить свой жизненный порох. Этим хлебным зерном она и жива. В Сибири, до прихода русских, воробей был неизвестен; с покорением же этой страны земледельческим русским наро-

дом и с заведением в ней пашен прилетел и этот повадливый вор, вооруженный опытом и острым глазом, привыкшим отличать хлебные скирды от мякинных ворохов. В хлебородных местах этот вор притом же докучлив и настолько многочислен, что потребовал мистических заклинаний, признан проклятой птахой, породил особую легенду о своем происхождении от чертей и в Малороссии приравнен к жидам. Тем не менее воробей счастливее многих людей, которым приходится – по пословице – «сеять хлеб, а есть мякину», «ходить по солому, а приносить мякину», примешивая ее в опару в таком избытке, что выпеченный хлеб кажет комком грязи, поднятым на проезжей дороге, а потребленный в пищу производит у непривычных людей острые желудочные колики и другие болезни. Такова, между прочим, судьба белорусов, питающихся так называемым пушным хлебом, который колет рот, язык и горло, но скудно питает. «Все едино – что хлеб, что мякина», – в отчаянии говорят там и в других безхлебных местностях русского Севера в те времена, когда совсем нечего есть и стучится в дверь и лезет во все окна настоящая голодовка. «Чем бы ни обмануть, только бы набить брюхо».

Голодный молодой воробей на мякину, по неопытности, сядет, – старый пролетит мимо. Старая крыса почти никогда не попадает в мышеловку. Редкий счастливец излавливал старого ворона и даже старую форель. «Старого моржа-казака не облукавишь», – уверяют архангельские поморы, промышляющие на Новой Земле. Причина чрезвычайно прозрачна и может остановить внимание лишь по нижеследующему обстоятельству.

ЛИСОЙ ПРОЙТИ

Так говорят про хитрого, изворотливого человека, с неожиданною ловкостью умеющего обойти явную и неминучую беду.

Все старинные путешественники по полярным странам, в одно слово, как будто сговорившись, рассказывают о глупости даже столь всем известного по своей хитрости зверка – лисицы. Рассказы их основаны на тех наглазных фактах, что лиси-

цы всегда попадали в руки из самых незамысловатых, грубого устройства, ловушек. При этом попадала не одна, а по нескольку; зверок смотрел любознательно во все глаза, когда перед ним охотник налаживал пасти и сетки и клал съедобную приманку. Как только он уходил, лисица тотчас попадала в западню либо головой, либо быстрыми и сторожливыми мягкими лапами. Бывали случаи, что в течение четырех часов в одной ловушке находилось до пятнадцати лисиц. Однако те счастливые времена прошли давно, остались едва вероятные предания, – в нынешние времена (как говорят) «народ хитер стал». Не столько человек успел изловчиться в измышлениях хитрых западней и в заметании своих живых и пахучих на чуткий нос зверя следов, сколько выучилось быть осторожным всякое животное. Много пало искусившихся зверей как искупительных жертв прежде, так что оставшимся в живых теперь осталось одно только – очень поумнеть. Так и сбылось.

В самом деле, для чего же и лежит приманка, как не для того, чтобы ее съесть? Для чего же протянута эта проволока, прилажены стояком и накось щепки и палки, на какие и глазам смотреть страшно? Вот в одном месте навешаны сети, болтаются по ветру концы толстых и тонких веревок. Сколько лет и зим приходилось бегать по этим дремучим лесам, по веселым и светлым перелескам, а таких невиданных диковинок никогда не приходилось примечать. Все кругом внушает сильное подозрение, и зверь бежит прочь, как бы говоря про себя: «хоть я вижу и чую, что ты зовешь меня в гости и угощение выставил напоказ, – и я очень люблю мясо и есть хочу до тошноты, а не пойду: поймаешь, задавишь и шкуру сдерешь».

Лиса в самом деле на ходу постоянно держит нос против ветра, знает переулки и закоулки, входы и выходы; все это она твердо удержала в памяти по наследству или с тех пор, как довелось однажды подвергнуться опасности. Теперь, когда и самые дикие захолустья облюдели и ожили, этот ценный зверь к неизвестным предметам приближается медленно, что называется – на цыпочках, и недоверчиво обнюхивает издали, по ветру: каждый шаг для него подозрителен. Лису теперь можно

поймать только на незнакомую ей приваду. Если же какую она раз попробовала, – к той не подойдет никогда. Она доучилась до того, что умеет притворяться мертвой: охотник думает, что положил лисицу на месте, а между тем она у него на глазах вильнула хвостом и – улизнула.

КАНИТЕЛЬ ТЯНУТЬ

Из нагретой штыковой меди да и из благородных золота и серебра, – вытягивают проволоку и из нее, ухватив клещами и плавно подергивая, не спеша и с великим терпением, позывают силою на себя, волочат нити и бити: и тонкие проволочки, вытянутые в длину и кругло утонченные (это – нити) и затем сплющенные до возможной тонины, а потому плоские (это – бити). Последние-то и называются канителью, которая с равным блеском и успехом навивается в фортепианах и арфах на басовые струны и употребляется на офицерские эполеты и для вышивания по сафьяну, сукну и бархату. Так как в последнем случае канитель погодилась на церковные ризы, то и надо полагать, что искусство тянуть ее перешло к нам, вместе с Христовой верой, из Греции, по крайней мере мастерили ее в тех городах, где много было святынь, монастырей и церквей, как в Киеве, Новгороде, Пскове и Москве. Когда Москва победила и ослабила все города на Руси, канительное дело перешло все сюда. В первопрестольной и в ближайших к ней шести селах четырех уездов (Московского, Бронницкого, Подольского и Богородского) оно свило себе прочное гнездо. Малые кустарные заведения ручными воротами тянут проволоку мелкими номерами, а плющат большие фабрики. Работают обыкновенно конным приводом канитель крупных номеров.

Фабричному производству этих изделий минуло уже сто лет (первая фабрика, основанная около 1770 года, существует до сих пор), и в сравнении с иностранным наше далеко превосходит, да и самые изделия широко распространяются. В особенности большое требование на московскую канитель заявляют на Нижегородской ярмарке азиатские купцы и серебряную

в большом количестве завозят в самую даль – в Индию. Стало быть, и в самом деле тянули канитель столько лет – и не зевали. Впрочем, десять лет тому назад оборвались те именно нити и бити, которые шли в дальнюю Индию: спрос страшно упал и перепугал. Давай справляться по всем землям, по всем ордам – и г. Алексеев, первый московский канительный фабрикант, дошел до корня беды, ни ближе, ни дальше, как у французов в Лионе и у немцев в Нюренберге. Придумали там новый способ и довели канитель до 40 пробы и непомерно удешевили, а наружный вид сохранили такой же. Купил москвич новые машины – и наладил дело. Теперь не только восстановился прежний спрос, но и несколько поднялся. С той поры клещи и вороты остались только у кустарей, и медленная работа, при которой волочебным нитям, кажется, и конца края нет, скоро перестанет служить притчею во языцех и стоять в числе насмешливых поговорок. Довольно на замену его про обиход и того уподобления, чисто деревенского и народного, которое применяется к человеку, медленно говорящему или вяло работающему, что он делает это так, «как клещами на лошадь хомут натягивает».

ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ

По объяснению И. М. Снегирева («Русские в своих пословицах») на славяно-германском Севере четверг был посвящен Турову или Громову дню (Thurstag). В этот день этому суровому богу, называемому славянами Перуном, молились о дожде. Проповедь Христовой веры обезличила языческую святость самого дня и обесцветила верования в старинного бога. Обо всем несбыточном стали говорить в смысле вышеприведенного выражения.

ЗАТРАПЕЗНЫЙ

Еще на нашей памяти, вплоть до пятидесятых годов, обучавшиеся в духовных училищах и семинариях дети бедного провинциального духовенства ходили в халатах, носивших

название «затрапезных». Эти халаты представляли собою узаконенную обычаем и, кажется, обязательством форму для всех семинаристов, исключая лишь тех, у которых родители были побогаче. Те имели возможность одевать детей или в шинели, или в нанковые длиннополые сюртуки до пят, или, как острили сами семинаристы, «по сие время». Это обстоятельство пришло мне на память ввиду недавно встреченного объяснения слова «затрапезный» именно тем, что подобные хламиды всего чаще можно было встречать за монастырскими обедами в трапезах. Отсюда же и самое название перенесено на всякое платье из материала самого дурного качества, поношенное, измятое и истрепанное, дозволительное только в монастырских стенах и терпимое лишь в семинарских классах, на плечах бедных учеников или же мастеровых мальчиков. Известный М. М. Сперанский в подобной затрапезе пришел в ворота Александро-Невской лавры учиться, а потом в ту же лавру в торжественной процессии привезен был на погребение графом, знаменитым сановником, как крупная историческая личность, обессмертившая свое имя огромными трудами, каковы: «Полное собрание законов Российской империи» и систематический «Свод законов». Эта резкая противоположность в его замечательной жизни послужила, между прочим, темою для надгробного напутственного слова.

Как бы то ни было, объяснение слова «затрапезный», несмотря на указанную легкость в изыскании корня, в этом смысле неверно. Произошло название вовсе не от того платья, которое носили семинаристы или в какое одевали бывшие помещики своих крепостных, содержа их в затрапезных или застольных покоях. Это – просто материя, пестрядь или пестрядина или прямо «затрапез», «затрапезник», получившая свое название от фамилии купца Ивана Затрапезникова, которому Петр Великий передал основанную им фабрику в г. Ярославле. Передал ее царь в поощрение способностей и полезной деятельности, подобно тому же, как это сделал с Никитой Демидовым, получившим от него уральский Невьянский завод и т. п. Фабрика изготовляла пеньковую грубую и дешевую ткань, пригодную для тюфяков, рабочих халатов, шаровар и т. п.

Столь различное применение пестряди в общежитии вызвало и разнообразные ее сорта. Эта пестрая или полосатая, чаще всего с синими полосами, ткань в торговле до сих пор носит разные названия от ниток основы: третная, где одна нитка основы белая, а две синие; половинчатая – две нитки синие и две белые; погоняй-ка – в одну нитку редкими полосками, самая грубая; путанка – вся в полосатых крапинках; тяжина, в которой уток идет наискось, не образуя прямой решетки, как вообще принято. Есть еще скворцовая (по цвету), наволочная, рубашечная и проч. С этой тканью отчасти соперничает и ее подсменяет голландский тик с косыми нитками и тоже полосатый, по-видимому, образец и родоначальник нашего прославленного православного затрапеза.

Интересна судьба самой фабрики, живописующая нравы того времени. По смерти хозяина ею заправлял зять, майор, до совершеннолетия наследника. Муж сестры этого мальчика возымел намерение воспользоваться его состоянием и оттеснить свояка. С этой целью он украл шурина от учителя, накупил ему голубей и стал всячески развращать его всеми пороками праздности. Мальчик бегал по улице в шутовской одежде, играл с фабричными в бабки, а когда этого недоростка управляющий-зять отправил в Ригу учиться, интригующий зять опять его выкрал. Для пущего успеха он склонил на свою сторону тещу, полоумную, вздорную бабу, постоянно пьянствовавшую со своими фабричными до того состояния, что приходила в неистовство – бросалась ножами, кусалась. Дошло дело до властей. Коммерц-коллегия приняла сторону того зятя, который имел свою шелковую фабрику и, конечно, средства, чтобы подкупить судей. Сенат перерешил дело и наказал коллегию неожиданным, редкостным по тем временам способом: определил взыскать штраф в пятьсот рублей.

ДЕНЬ ИНОХОДИТ

Эта пословица «день иноходит, да два не ходит», применяемая к хорошим, но загульным мастерам, требует некоторого пояснения, так как самое выражение очень метко и образно.

Первое слово взято от ход*ы* лошади, то есть ее выступки и побежки, которые бывают, как известно, разных видов. Это – либо шаг, то есть простой переступ ноги, равный шагу человека, самая тихая побежка; либо это рысь, когда конь поднимает ноги накрест, – левую переднюю и затем тотчас же правую заднюю и так далее в очередь; либо в притруску – мелкой рысцой, либо часто и размашисто – большой крупной рысцой. Либо, наконец, лошадь ходит иноходью, когда обе ноги одного бока заносит вместе, выкидывает разом, иногда с перевалом и перебоем, в три ноги, – ни в тех ни в сех: ни рысь, ни иноходь. С такой ходой, как иноходь – красивой перевалкой с боку на бок, – знатоки не мирятся и говорят: «иноходец в пути не товарищ». Это не всегда годная к работе лошадь, а чаще всего щегольская, то есть совершенно такая, что «день ходит, а два со двора не сходит», точь-точь как говорят о пьяницах, в трезвом виде всегда исправных и работящих. Да и к одним ли пьяницам применимо это выражение? Не заключается ли в нем отчасти знакомая черта характера вообще всякого рабочего человека, особенно по сравнению с мастеровыми из немцев?

ЗА ПОЯС ЗАТКНУТЬ

Несмотря на всем известную простоту и ясность этого выражения, употребляемого иносказательно в смысле быть доточником или мастером своего дела, самое значение пояса невольно останавливает нас для кое-каких заметок. Мы не историю пишем, а потому не будем говорить о том, как в отмщение за позор и бесчестье по поводу сорванного пояса на свадебном великокняжеском пиру (с Василия Косого) поднялась война, имевшая следствием свержение с престола побежденного великого князя Василия Васильевича Темного. Словом, мы не будем объяснять исторического значения русской подпояски, так как за нею есть и другие достоинства. В самом деле, можно ли найти и указать, даже в настоящее время, хотя бы на одного простого русского человека, вышедшего из деревенской среды, который не имел бы на себе подпояски или

пояса? Даже в тех случаях, когда городские обычаи заставляют надевать немецкое платье, деревенская привычка, скрытно для посторонних наблюдательных глаз, остается нерушимою и святою. Святым считается это непременное обязательство в силу того, что при святом крещении всякий православный младенец опоясывается при молитве о препоясании силою ленточкой или шнурком по рубашке. Ходить без пояса по рубахе считается основным и тяжелым грехом, хотя и допускается в некоторых редких случаях неимение опояски сверх кое-какой мужской верхней одежды, например кушака или подпоясника, то есть ремня с набором или пряжкою. Отсутствие этой туалетной принадлежности возбуждает у самых простых людей серьезное недоумение и вызывает искренние насмешки. Ни одна догадливая и любящая мать не пустит своего парнишку, рассеянного и необрядливого, без пояса на улицу в силу издавна укоренившегося поверия о порчах сглазу. И по пословице: «Рассыпался бы дедушко, кабы его не подпоясала бабушка». У русских людей, наиболее преданных заветам старины, как, например, у раскольников, этот обычай получает даже строгое мистическое значение. Так, при молитве, налагая истовый размашистый крест во всю длину вытянутой руки, нельзя класть этого знамения поперек, то есть опускать ниже пояса. За крестным знамением следует и малый начал, или поклон, святым иконам опять-таки поясной, то есть во всю спину. Уверяют при этом, что в старых людях, особенно принадлежащих беспоповщинским сектам, сохранилось поверие о делении человеческого тела на две половины: верхнюю – чистую, где помещается душа и сердце, и нижнюю – нечистую, где орудие плоти; «все мы по пояс люди, а там – скоты». Во всяком случае, каждая русская женщина имеет пояс, шерстяной, шелковый, бумажный или плетеный нитяный домашнего дела, поверх сарафана, а в жаркое летнее время, при спешных работах в поле, пояс переносится прямо на рубаху. Заткнувши за этот пояс полу рубахи, сбоку, работающая, как вол, и сильная русская женщина еще с большею легкостию, с усердием и без помехи отправляет свой честный труд поистине в поте

лица своего. Даже и самая крестьянская нужда и деревенское горе являются в наглядном представлении не иначе, как подпоясанными, хотя бы на этот раз и лычком. По длинной до самых пят белой рубахе подпояска, на левом плече серп, в руке ведерко с квасом, под правой мышкой охапка сжатых колосьев – вот и жнея. Обе рукавицы, заткнутые обоими большими пальцами за кушак спереди, и кнут, круто заткнутый сбоку, немного назад, – вот и удалый ямщик, поблекший уже на красивом фоне картин русского быта, стираемый с лица земли обер-кондукторами и изгоняемый кочегарами в засаленных и чумазых блузах. Топор назади, наискось по спине, закрепленный в петле кушака, означает плотника, приметного и Петербургу ранним утром, с восходом солнца, и вечером, перед закатом его: нарубился, натесался, заложил топор за пояс так, что лопасть с лезом и обух с проухом пришлись снизу кушака, острием к земле, а деревянное топорище просунулось вверх к левому боку, – плотник теперь пошел спать и отдыхать. Обязательный обычай и прием при употреблении подпоясанного одеяния, конечно, вызвал и такие промыслы, которые удовлетворяют этим насущным потребностям. Не говорю о кушаках, для которых на Руси – в разных местах мастеров очень много, но и такая мелочь, как узенькие пояски, обратила на дело ремесла очень многих. Очень славятся пояски тагайские, из симбирского села этого имени, и про́мзинские, той же губернии Алатырского уезда (указаний на другие местности мы не имеем). Богатые семьи покупают шерсть, прядут, красят и потом раздают бедным женщинам на дом для плетенья. Такой шерстяной пояс продается не дороже двух копеек. Но ничего не может быть приятнее покупки на монастырском празднике или ценнее подарка знакомой богомолки, удостоившейся сходить к соловецким угодникам или киевским чудотворцам, – именно в виде подобного пояска, изделия монашеских чистых рук. Как известно и видно из вышеприведенного указания, эти руки отбили от мирян промысел изделиями столь нужного и распространенного предмета. В больших монастырях продажа поясов составляет изрядную статью дохода, крупнее всех

для киевского Михайловского монастыря с мощами Варвары-великомученицы. Эти пояса в особенности почитаются в народе вместе с медными и серебряными колечками, полежавшими у мощей в раке святой; ими богомолки в свою очередь весьма с выгодою поторговывают, не без обычных обманов подделками. Особенно заманчивы и прекрасны на девичий взгляд шелковые пояски с вытканными молитвами – рукоделье женских монастырей: «По поясу-то пояски, а по пояскам-то поясочки (полоски) и слова молитовки нанизаны! И сколько тут много всякой благодати и спасенья!»

СПУСТЯ РУКАВА

Таким чрезвычайно распространенным выражением либо хвастаются ввиду легкой и хорошо знакомой работы, либо исполняют обыкновенную или трудную неохотно, небрежно, кое-как, чтобы только сбыть ее с рук и убежать. «Бегать же с засученными рукавами» – совсем уже ничего не делать, а просто суетиться, зачастую мешая настоящим делателям. Не попало для разъяснения это изречение в ряд других, потребовавших по личному убеждению или по подсказу посторонних лиц, – не попало в первое издание этой книги по своей простоте и очевидному смыслу. Рецензент ее указал на это обстоятельство как на существенный пропуск, предупредив замечанием, что выражение обязано своим происхождением истории и что здесь подразумевается «древняя одежда с длинными, спускавшимися до земли рукавами, заимствованная от татар»[1]. На это могу сказать в тоне самого рецензента: «пора перестать верить» или, лучше сказать, злоупотреблять ссылками на татар и их влияние в разнообразных заимствованиях, воплотившихся в русскую речь и народный быт. «Ото-

[1] А терлик (несомненно монгольское слово) – самая употребительная и обычная одежда удельных князей и московских царей? Кашинский князь пробежал мимо Твери в одном только таком терлике – халате, похожем на узкий кафтан, почти без сборов. Но он был узкий и имел короткие рукава, даже и впоследствии в одеждах московских царей из дома Романовых. (*Примеч. С. В. Максимова.*)

шла пора татарам на Русь ходить», – говорит историческая пословица, применимая в настоящее время, когда позднейшие исследования отбили у татар не только много слов, якобы от них полученных, а между ними оказались половецкие, а кнут даже немецким, но еще большее число обрядовых частностей в жизни, до затворничества женщин включительно. Длинные рукава мы видели в зимнее время и на Амуре у манчжур и китайцев, выдумавших меховые маленькие наушнички, но еще не знакомых ни с рукавицами, ни с перчатками. Озябли руки – китаец спустил загнутый рукав и греется. Неужели нужно было прийти татарам на Русь, чтобы научить бороться с лютыми морозами, оберегая зябкие конечности? Старинные «теплуги», хотя бы в виде шубы, а в особенности полушубка, наиболее удобного для работ, сшитого в обхват и покороче, имеют в рукавах ту особенность, что они кроятся узкими, но длинными или, говоря обычным выражением народным, долгими. Делается так с расчетом на запас для набора в сборки к плечам (в полушубках) или чтобы засучивать, отвертывая края (в шубах). Накатанные и засученные рукава не мешают работе ни в лесу с топором, ни с ухватом у печки. Отработал, спустил рукава, стал отдыхать. На рукавицы (кожаные голицы с шерстяными варежками) нет прямых указаний в древних актах, но «перстатые» рукавицы (перчатки) привозились из-за границы, как видно из договоров с ганзейскими немцами. Коренной русский сарафан (встарь бывший мужскою одеждою) у женщин потребовал на рубахах длинных рукавов во весь стан и тоже для набора в сборки ради удобств, а для красоты женские рукава шьются широкими. Таковою изображена на картине, приложенной к Святославову сборнику, сама княгиня и та женская фигура, которая изображена на новгородской иконе в часовне Варлаама Хутынского. Такие же вздутые рукава рубах при безрукавных телогреях и шугаях на борах сзади представляют бесспорное русское одеяние, какого нельзя уже нигде больше встретить. При всей наклонности к подражаниям под увлечением модой, при всей слабости к заимствованиям, исторически доказанным борь-

бою духовенства и властей с нововведениями в обычаях и одежде, не все взято у татар, не все можно им приписывать. Даже крутой и настойчивый Петр Великий принужден был уступить. Так, например, одевая Русь в немецкое платье голландского покроя, сибирским жителям, «ради их скудости», дозволил он оставаться в прежнем платье.

ТУРУСЫ НА КОЛЕСАХ

Про иных ловких людей говорят так, что они умеют подъезжать «турусами», «подпускать турусы», то есть подправлять лестью медоточивые искательные речи, простирать ими неприготовленных и неосторожных врасплох. «Нести же турусы на колесах» – значит уже городить всякий вздор и болтать попустому, потому что «турусами» называется также сонный бред, обыкновенно бессвязный и пустяшный. В первом же значении это слово для объяснения своего отправляет нас в те стародавние времена, когда еще не был изобретен порох и на войне не были приспособлены огнестрельные оружия. Действовали стрелами в открытом поле и стенобитными машинами, когда защищающиеся уходили отсиживаться в города, окруженные рвами и огороженные бревенчатым тыном, сверху заостренным. В чистом поле против вражеских стрел русские витязи надевали доспехи, состоявшие из железной кольчатой брони (кольчуги), а иногда из досчатых лат (папорзи). Головы охраняли железными шлемами в виде воронки, а шеи – кольчужной сеткой. Про всякой случай имели они на руке большой деревянный щит, окованный железом и обтянутый сыромятной кожей – широкий сверху и суженный книзу и притом окрашенный в любимый русский красный («червленый») цвет. Когда расстраивались и ослаблялись неприятельские ряды войск тучами стрел и затем следовал неизбежно рукопашный бой, – пускались в дело обоюдоострые мечи, даже «харалужные» (то есть из восточной вороненой стали), копья или сулицы, секиры или боевые топоры и, наконец, ножи, которые даже у всяких из простого народа открыто имелись всегда при себе либо за поя-

сом, либо припрятанными за голенища. Когда неприятели облагали осажденный город и прекращали самую возможность сообщения его с окрестностями, пускались в ход стенобитные машины или «пороки». Из одних метали большие камни и бревна, из других зажигательные снаряды, чтобы теми и другими производить в городе разрушение и пожар. При неудачах против стойких прибегали к хитрым машинам в виде досчатых башен с отверстиями на боках, поставленных на низких и толстых колесах. Эти-то туры или турусы, столь известные средневековой рыцарской Европе, знакомы были и монголам, завоевавшим Русь. Точно так же темною ночью, после беспрерывных во все сутки приступов, подкатывали они их под самые стены, и еще с большим успехом пускали в осажденных тучи стрел, и еще с вящим удобством приставляли к стенам лестницы и лезли прямо в город. На деревянные русские города монголы пришли уже тогда, как выучились брать большие азиатские, укрепленные глиняными и каменными стенами, а не удобосгораемыми бревнами, как все наши русские. «Устремишася к монастырю со всех сторон, с лестницы, и со щитами, и с тарасы на колесех». Против этих подвижных укреплений придумано было особое орудие. Вот что мы прочитали в «Ковенских губернских ведом.»: «Месяца три тому назад, во время дождей, оползла часть возвышающегося над Неманом громадного кургана, известного под названием “горы Гедимина”. В размытой дождями глинистой почве найдено любопытное средневековое железное орудие, редко встречающееся даже в музеях. Это – железный болт, весом около двух фунтов, яйцевидной формы, с пирамидально выкованным острым концом и выровненным квадратным тупым. Самый болт имеет в длину около двух вершков, в диаметре – более полутора вершка. Из тупого конца идет железный стержень, длиною около четырех вершков. Болт этот, по определению некоторых знатоков средневекового военного быта, предназначался для метания и разбивания подвижных досчатых укреплений, применявшихся, преимущественно, при осаде замков, а также при полевых военных действиях».

НИ ДНА – НИ ПОКРЫШКИ

является в значении шуточной брани в России; в Сибири же советуют принимать пожелание это не за легкую шутку, а в самом строгом смысле зложелания. Там разумеют под дном гроб с неотъемной крышкой, будет ли он сколочен из досок, как у православных, или окажется выдолбленной колодой, как у беспоповщинских староверов, или «домовиной» – такой же однодеревой долбленой колодой, которую любят и православные в северных лесных губерниях, несмотря на то, что употребление колод запрещено законом. Эту домовину, в шутку называемую там деревянным тулупом, привычно сулят вору или обидчику («возьми себе на домовину»). Разумея завет всегда думать о смерти, верующие люди, особенно старухи, заранее шьют себе саваны и запасают гробы: саваны прячут на дне сундука, гробы – на чердаках или подволоках. Соблюдают при этом лишь то поверье, чтобы гроб был в меру, по росту, ибо, если окажется не в меру велик – быть в доме новому покойнику. Таким образом, заданное выражение, по сибирскому толкованию, оказывается самым злым пожеланием – именно быть похороненным без гроба, умереть без покаяния и возвратиться в лоно матери-земли без обрядового честного погребения. У малороссов заменяется оно одинаковым по смыслу: «щоб тебе поховали на растаньках». А расстани или распутье, то есть перекресток, где сходятся несколько дорог, – и в Великороссии недоброе место: на нем любят шалить черти (в Белоруссии они играют здесь в виде особых духов «вихрей»). Здесь в старину хоронили самоубийц, казненных преступников и злодеев всякого рода, по словам одной старинной песни: «промеж трех дорог, промеж тульской, рязанской, владимирской».

АЛЛИЛУЙЯ

«Несет такую аллилуйю, что уши вянут», говорят по привычке и по завету от прежних людей и удивляются неприличию выражения. Между тем в Тамбовской и Пензенской

губерниях сохранилось слово «алала, алалуя», что означает всякую чепуху, бессмыслицу и даже сонные грезы, ночной бред спящего. В ходу также глагол «алалыкать» – невнятно говорить, картавить, то есть объясняться либо с пригнуской, либо с пережовкой – мямлить; «алалуить» же означает в прямом смысле – болтать вздор[1]. Ясно, что здесь в говоре спутаны совершенно различные понятия – явление, нередко замечаемое в живой речи, основанное на соблазне созвучий. Но как объяснить бранные слова «халдей» и «халда» – однозначащие и в равной мере обращаемые бранные прозвища (в первом случае к мужчинам, во втором – к женщинам) вообще к людям бесстыжим и грубым, горланам на миру и наглецам в компании? Приписывать ли случайности, основанной на одном лишь необъяснимом созвучии, или отправляться за поисками в исторические справки? Известно, что греки и римляне, сознавшись с жителями междуречья Тигра и Ефрата (Месопотамии), именно занятого издревле Ассирийским и Халдейским царством, не взлюбили их и слово «халдей» обратили в бранное и укоризненное. Это слово у цивилизаторов древнего мира обозначало понятие шарлатана – звездочета и кудесника. Халдеи, изобретатели астрономии как искусства по звездам предсказывать будущее, в то же время держались веры в демонизм, и последний вызвал сильное развитие в Халдее колдовства или магии.

ХАЛДЕЙ

В России слово «халдей» сделалось всенародно известным и ненавистным и обратилось в крепко-ругательное, вероятно, от того обычая, личным свидетелем которого был иностранец Олеарий (Адам, голштинец, известный ученый), имевший случай два раза посетить Московию. Он записал между прочим та-

[1] Вместо аллилуйя говорят еще и «ахинею», что означает тот же вздор, чепуху, бессмыслицу, нелепицу, бредни, чушь, аллу – в прямом значении (по объяснению В. И. Даля) и пошлости, глупости – в переносном. (*Примеч. С. В. Максимова*).

кой странный обычай: за восемь дней до Рождества Христова и до Крещенья по улицам бегали люди и подпаливали прохожим бороды тем особенным огнем, который получается от вспыльчивого корешка травы-плавуна (Lycopodium). Особенно нападали они на крестьян, приезжавших в Москву в торговые дни. Впрочем, кто хотел, мог за копейку откупиться от подобного ущерба и великой обиды. «Их зовут халдеями (пишет Олеарий), потому что они изображают тех служителей царя Навуходоносора, которые разжигали печь вавилонскую для трех еврейских отроков. В Крещенье их окунали в прорубь и таким образом очищали их от халдейства (и осквернения себя масками и костюмами)». В пояснение известия Олеария следует заметить, что это, очевидно, были добровольцы, а не те певчие, которые в это же самое время принимали участие в церковном чине, называвшемся «Печным действом», происходившим на утрени в неделе св. Отец (за неделю или две до Рождества) в Москве в Успенском соборе, в Новгороде – у Софии.

«Халды-балды и ха́лды-ба́лды» как пустословие и одновременно праздношатательство с наибольшею охотою относит наш народ и по сейчас к тому бродячему племени, которое старается прославить себя и тем и другим (ворожбой и брехней) и которое явилось к нам из той же южной Азии и живет под именем цыган. Еще при патриархах халдеями назывались потерянные и бесшабашные люди, которые потешали толпу и в святочное время надевали хари, не считая позором для себя бесовские действия. Их, как сказано уже, по окончании святок всякий год крестили в Иордане как вновь вступающих в число православных. Отсюда и неисчезнувший до сих пор обычай наряжавшимся на святках окунаться в крещенских прорубях, а в старину самое право наряжаться попалось не иначе, как с патриаршего благословения.

НИ БЕЛЬМЕСА

Ленивый школьник ни «бельмеса» не смыслит очень часто, то есть в прямом переводе на русский язык – «ни аза

в глаза», и еще прямее и точнее – «ничем ничего», то есть даже самой первой азбучной буквы: «аз, да увяз, да не выдрахся», – как привычно острили старинные семинаристы. Хотя к слову «бельмес» и прилажена настоящая поговорка «не смыслит ни бельмеса, а суется бесом», тем не менее слово не наше, а заимствовано от татар, где этим именем честят всякого неуча-дурня и болвана, ничего не смыслящего. В Турции это слово также целиком годится в ответ не говорящему по-турецки, когда из слов его ни одно не понятно. Там «бельмес» прямо значит – «не понимаю». В план настоящей работы, по множеству уважительных причин, не могло войти объяснение тех вращающихся в языке слов, которые взяты с иностранного целиком или, по требованию русского языка и народного вкуса, перестроены так, что потеряли свой прирожденный облик. Вот хотя бы, например, слово шарманка. Кто бы мог думать, что название этого музыкального инструмента зависит не от тех ширмочек, из-за которых обычно выскакивает с палкой и сердито покрикивает пресловутый хохотун и драчун Петрушка, а от немецкой песенки. С нею явились заморские нищие впервые, и незатейливый романсик так пришелся по вкусу нашим бабушкам и дедушкам, что потребовался русский перевод, до сих пор пользующийся всероссийскою известностью. Немецкая песенка известна под заглавием «Scharmante Catherine» (почему во всей Польше и на юге России самый инструмент называется еще проще – «Катеринкой»). На русском языке эта песня томно и нежно докладывала о том, что «Во всей деревне Катенька красавицей слыла, и в самом деле девушка как розанчик цвела; прекрасны русы волосы по плечикам вились и все удалы молодцы за Катенькой гнались», и т. д. В этой области исследований интересны не только сами передатчики и распространители, но и самый способ передачи и переделки чужих слов. Подобная задача иного характера, и ее, несомненно, исполнят другие, могущие и знающие. Попробую, впрочем, сделать несколько указаний из этой области «чужеземных переводных крылатых слов».

КРАСНОГО ПЕТУХА ПУСТИТЬ,

в смысле совершить поджог, объясняется заимствованием. У немцев этому выражению буквально соответствует «den rothen Hahn aufstecken» и малороссийское «червоного пивня пустить». У нас «подпускают» или прямо-таки «сажают» красного петуха на кровлю из мести за донос или преследование преступных деяний уличенные, или пойманные, или наказанные злодеи. Обещанием поступить так держат в страхе и вынуждают молчание целых селений, например, шайки конокрадов и других мелких воров. Поджигают селения беглые с каторги и мест поселения в Сибири, когда переполнится чаша терпения мирных жителей от частых набегов, краж и грабежей этих придорожных бродяг. За пойманных передних мстят поджогами задние, еще гуляющие на свободе. Первым делом проявляет свое существование на земле и в близком соседстве обвиненный в Сибирь арестант, проскользнувший мимо глаз тюремных дозорщиков на лесную волю и прогулку, и т. п. Петух издревле у славян и скандинавских народов служил символом бога огня, в умилостивление которого и приносился он в жертву. Остатки этого обычая приношения, обезличенные и растерянные, говорят, существуют еще у некоторых славянских племен и у финнов. У древних германцев петух также был посвящен громовержцу Тору.

КАК КАМЕНЬ В ВОДУ

(по-польски и по-украински так же точно, слово в слово) бросает дело неудачный и вышедший из терпения после тщетной борьбы с препятствиями, и ежедневно погружается в глубокий и живительный сон сильно истомившийся рабочий человек. Он опускается на ночное ложе, как ключ или топор на дно. Иной человек от всяких неудач в жизни и от своих прегрешений и личных недостатков «пропадает, как камень на дно упадает». Нужно ли этому образному выражению искать начала (как уже сделали некоторые) в языческих временах и вести его от симво-

лического обряда бросать камень в воду при заключении мира с врагами? Так, по крайней мере, объясняли ученые наши. Да и вообще следует ли делать напряженные усилия для объяснения таких слов, которые ясны сами по себе[1]?

ГАЛИМАТЬЯ

Жил себе в Париже врач, обладавший необыкновенным даром смешить своих больных в такой степени, что вынужденный смех служил освежающим и зачастую целительным лекарством. Приедет он, насмешит и уедет, не оставив ни клочка рецептов. Между тем больной уже почувствовал облегчение, обрадовался, похвастался перед знакомыми, всех удивил и соблазнил. Доктор – по имени Галли Матье – вошел в моду и получил обширную известность и практику. Его стали приглашать нарасхват и, конечно, затруднили ему личные посещения: надо было придумать новый способ. Он стал вместо себя рассылать своим пациентам печатные листки, в заголовке которых стояло его имя, а под ним разнообразные остроты и каламбуры. Отсюда производят обычай называть бессвязный и бессмысленный вздор, словесную чепуху именем и фамилией оригинального и счастливого целителя душ и телес. Впрочем, у народа для пустословов, вздорных болтунов, умелых городить такую чепуху, от которой вянут уши, алалой (по звукоподражанию, как уже сказано раньше, от алалыкать или картавить, нечисто произносить буквы и слова), имеется и на это слово, подобно многим другим потускневшим от долговременности, иное толкование. Оно зависит

[1] Другое дело такие выражения, как, например, употребительный в г. Болхове (Орловск. губ.) такой совет: «без козла с узла» – это значит в покупке или при продаже будь решительнее, чтобы другой не подвернулся и из-под носу не унес бы вещь, тебе очень нужную, или сам купец не раздумал бы и не попятился. Попадаются и такие поразительные случаи, как в Архангельске, где поговаривают до сих пор: «день ушел между чахи и ляхи», то есть и не знаю куда, ни в тех – ни в сех, без дела, ни туда – ни сюда, и не видал, как ушел и в самом деле, как древний киевский князь Святополк Окаянный, про которого говорит летопись, что он «ушел между Чехи и Ляхи» и в Киев больше не возвращался. (*Примеч. С. В. Максимова*).

от анекдота о французском адвокате, отличавшемся рассеянностью и скороговоркой. Защищая по обычаю того времени на латинском языке какого-то Матьяса, у которого украли петуха, он называл самого клиента петухом, говоря вместо Gallus Matthiae – galli Matthias. Предлагается желающим на выбор любое толкование.

ЧЕРЕЗ ПЕНЬ В КОЛОДУ

Кто побывал в охранных или удаленных глухих лесах ради охоты или кто попадал в них случайно заблудившимся, тот припомнит такие трущобы, в которых не только не проставишь ноги, но с понятным страхом, в виду явной опасности затеряться и завязнуть, поспешишь обратиться вспять на намеченную и оставшуюся назади тропинку. Вот вырванные с корнем деревья, костром навалившиеся друг на друга. Это – ветровалы. Они давно уже валяются тут без призора, так давно, что, обманчиво прикрытые корой и обломанными сучьями, представляют собою гниль стволов, превратившихся в труху, в которой вязнет по колена и с трудом вытаскивается нога. По этому лесному кладбищу без изнеможения нельзя сделать десятка шагов. В иных местах невозможно даже проставить ноги: на ветровалы навалились переломленные пополам, яростным налетом ураганов, березы и сосны. Это – буреломы. Вершины их уже начали превращаться в гниль и такую же пыльную и вязкую труху, но стволы от корней еще продолжают проявлять некоторые признаки жизни в редких случаях. Вообще же заглушенные окрестными ломом и хламом они безнадежно, как кости скелета, простирают к свету свои высохшие и обессиленные ветви. И эти непролазные трущобы, и все такие сорные и неопрятные леса, эти торчащие дуплистые пни буреломов и сваленные колоды ветровалов, дром да лом, доступны лишь всемогущей силе и непреоборимой власти напускного огня. Для заблудившегося охотника, для потерявшегося грибовника один исход: мучительно шагать, следуя примеру умелого и привычного медведя, через дуплистый пень и попадать непре-

менно и обязательно в трухлявую колоду. Захотел отворотить от пня – налез на колоду: другого пути нет, как и для тех, кто привык вяло и неумело вести дела, тяжело и неохотно приспособляя свою силу к работе, «валять через пень колоду». При всем старании и напряжении у них остается, – что и в лесу, – тот же дром и лом, дрязг и хлам.

ХОТЬ ТРЕСНИ

Хоть разорвись, ничего не поделаешь; хоть тресни, хоть лопни, а дело заканчивай! – внушительно велит судьба злосчастному и приказывает подневольному и подчиненному суровый хозяин или строгий начальник, зачастую сами непривычные и неумелые производить заказанную работу. Этому суровому приказанию выучил едва ли не тот хвастун, который, посмеиваясь над чужими пчелами, хвалил своих.

– Ульи те же, а пчелы ростом в кулак.

– Как же они попадают в улей, как пролезают в узенькой леток (или лазок)?

– Пищит да лезет. У нас строго: хоть тресни да полезай.

НА ФЫРОК И НА ПОПА

На голом персте – именно на большом пальце правой руки, – сгибая его взад, делают между обоими сухожилиями ямку: это – соколок. Привычные к употреблению нюхательного табаку этой ямкой пользуются как табакеркой, насыпая туда чихательного зелья ровно на две понюшки и на добрый прием за один раз. Те, которые носили табак в рожке, нюхали его не иначе, как с этого «соколка», другие же с ногтя того же большого пальца, прижатого к указательному, и этот способ назывался уже нюханьем «на фыро́к».

В последнем слове в грамматическом смысле вышла особая часть речи, наречие, столь своеобразная и замечательная в нашем богатейшем языке, действующем с большею правильностью и свободою, чем все наши казенные и учебные грам-

матики. В данном случае характерно слитие союза не только с существительным именем (в именительном, винительном и предложном падежах), но и с наречием. Образовавшиеся чрез такое слияние наречия бывают не только поразительны, но и знаменательны своею неожиданностью. Так, например, «на попа», столь употребительное и известное в среде рабочих всякого рода, – значит: стойком поставить хоть что-нибудь, торчмя, например, товарный тюк или квасную бочку. Натощак едят пироги и ставят их на попа: начинкой к себе на вид, с намерением сдобрить ее сверху подливкой из рыбной ухи или мясного супа. Ставят на попа или тем же торчком рюху уличные мальчишки в игре «городки или рюшки» выбитую из кона деревяшку.

ПИРОГ С ГРИБАМИ

У императрицы Елизаветы Петровны был любимый стремянной, человек атлетического сложения, крепкий телом и духом, Гаврила Матвеевич Извольский, которого она иногда навещала в его уютном жилище, угощалась любимой своей яишницей-верещагой, блинами, домашней наливкой и проч. Она позволяла ему говорить прямо правду, веря тому, что Извольский предан был ей душой. Это придавало Извольскому известную смелость, которая не могла нравиться придворным и могла при случае простираться до обидных дерзостей и незаслуженных оскорблений. Елизавета любила также награждать Извольского. Раз, заметив, что он нюхает табак из берестяной тавлинки, она подарила ему серебряную вызолоченую табакерку устюжской работы с чернью. Гаврило поклонился до земли, но, взглянув на подарок, промолвил, что лучше бы когда царица пожаловала золотую. Елизавета благосклонно выслушала просьбу и хотела уже идти и переменить, но стремнянной заметил, что эта серебряная будет у него будничною, а та, золотая, праздничною.

Другой раз, на именины этого Гаврилы, императрица прислала ему пирог, начиненный рублевиками. Когда он благодарил за подарок, она спросила его:

– По вкусу ли пирог с груздями?

– Как не любить царского пирога с грибами, хотя бы и с рыжиками?

Завистливым придворным как-то раз удалось словить этого невоздержного на язык и зазнавшегося баловня на каком-то неосторожном слове. Вследствие доноса он попал не только в опалу, но, как водилось, в оно строгое время по выговоренному «слову и делу» прямо в страшный Преображенский приказ. Там он высидел несколько времени и был прощен лишь по особому ходатайству своей жены.

С той поры, когда хвастались перед ним близостью ко двору, особенно те женщины, которых царица допускала к себе временами, когда, лежа на софе или в постели, любила слушать старинные сказки или городские новости, всем таковым хвастунам Гаврило Извольский стал советовать обычным своим выражением:

– *Ешь пирог с грибами, а язык держи за зубами*. Не разглашай, что бывал во дворце и говаривал с государыней. А не то жилы вытянут, в уголь сожгут, по уши в землю закопают!

«Такие угрозы, заимствованные из Преображенских и Константиновских застенков, нередко тогда употреблялись, когда хотели кого-либо пристращать» (по свидетельству московского археолога и бывшего цензора Ивана Михайловича Снегирева). Стало быть, едва ли не здесь, в этом анекдотическом случае, следует искать нарождение нашего, столь всем известного, мудрого пословичного совета и теперь строго предлагаемого на подходящий час и в опасное время.

ПОД КРАСНУЮ ШАПКУ

Только в недавнее время как запугивающее выражение это стало забываться ввиду всесословной воинской повинности. Дрожь и трепет наводило оно, когда обращалось в особенности к тем, которые не освобождены были, как дворяне, от тяжелой солдатской лямки. Надевали шапку не красную, а лишь такую, которая не имела козырька, но в старину действи-

тельно всякий сдатчик, ставивший за себя рекрута, обязан был снабдить его красной шапкой, бердышом и прочим.

Совсем еще бодрые с виду и словоохотливые старики даже и теперь рассказывают про недавние времена рекрутчины, когда от суровых тягостей 25-летней тугой лямки солдатчины бегали не только сами новобранцы, но и семьи их. Из «дезертиров» составлялись в укромных и глухих местах целые артели дешевых рабочих и целые деревни потайных переселенцев (например, в олонецкой Карелии, в Повенецком уезде близ границ Финляндии).

В земских домах водились стулья, в ширину аршин, в длину – полтора; забит пробой и железная цепь в сажень. Цепь клали на шею и замыкали замком. Однако не помогало: бегали удачно, так что лет по 15 и больше не являлись в родные места.

Объявят набор, соберут сходку с каждого двора по человеку, поставят в ширинки на улице.

Спрашивает староста у десятников:

– Дома ли дети у этих отцов?

– Нету (скажут): в бегах.

– Искать надо в завтрашней день.

Ищут день, ищут два, ищут три, найти не могут. Спрашивает у домохозяев:

– Где дети?

– Не знаем. Не находятся рекруты дома – сбегли.

Не знают родители, где они хранятся.

Спросит сам голова у этих отцов и рыкнет:

– Служба – надо.

– Не знаем, где дети – в бегах.

– Ступайте ныне домой, а завтра приходите все в земскую: я с вами распоряжусь.

Приходят эти отцы через ночь.

– Ступайте на улицу, и сапоги разувайте, и одежду скидайте с себя до одной рубашки.

И босыми ногами выставят отцов на снег и в мороз.

– Позябните-ко, постойте: скажете про детей. А если не скажете, не то еще будет.

– Не знаем, где дети!

Пошлют поснимать на домах крыши; велят морить голодом скот на дворах. Через три дня посылали какую-нибудь соседку скот покормить.

– Не знаем где дети, – в бегах![1]

Прорубали на реке пешней прорубь. Отступя сажен пять, прорубали другую. Клали на шею родителям веревку и перетаскивали за детей из проруби в прорубь, как пропаривают рыболовную сеть в зимние ловли, в «подводку» (удочки на поводцах по хребтине с наживками или блестками, на навагу, сельдь и проч.).

«И родители наубег. И бегают. Дома стоят пустыми. И скот голодом морят».

Эту пытку можно бы, в отличие от подноготной, назвать «подледною», но, кажется, уже об этом довольно.

ТУРУ НОГУ ПИШЕТ

Бессмыслица одной очень старинной песни и другой таковой же сказки, смущавшая нас с детских лет и со слов нянек, останется таковою, если отправиться за объяснением к слову тур, дикий бык, зубр, некогда водившийся по всей Руси (теперь только на Кавказе в горах и в Беловежской пуще Гродн. губ.), воспетый в былинах и упомянутый в известном завещании Владимира Мономаха детям. Поется «в старинах»: «Что царь делает?» – Туру ногу пишет. Стул подломился, царь покатился. Коза пришла: – «Где коза?» – В горы ушла. – «Где горы?» – Черви выточили. – «Где черви?» – Птицы исклевали и т. д. Когда же вспомним, что на Севере издавна, а в Архангельской губ. до сих пор «турок» и «тур» означает печной столб, основание которого, называемое ногой, всегда расписывается красками очень пестро, то выражение становится совершенно понятным. Печка обыкновенно складывается из необожженных кирпичей на деревянном фундаменте – этом самом турке, – который и об-

[1] Из книги г. Барсова «О причитаниях Северного края». (*Примеч. С. В. Максимова*).

шивается у богатых крестьян досками и раскрашивается всего чаще красной краской фута на два или на полтора от пола. Этот обычай до сих пор также сохраняется в Малороссии. Там женщины не только белят свои хаты еженедельно внутри и снаружи, но иная искусница еще обводит оконца каемками охрой или синькой. По печке особливо она выводит узоры, петушков и такие цветы, каких еще никто не видывал.

НАСТОЯЩИЙ КАВАРДАК

Сытая, обеспеченная жизнь досталась на долю уральских казаков, но зато невеселая и тяжелая служба. Не будем говорить о несчастных походах в Хиву и туркменскую степь, кончавшихся измором целых отрядов. Достаточно упомянуть о казачьей службе на сторожевых постах внутри Киргизской и Туркменской степей, чтобы понять тяжелые невзгоды жизни и походов в необитаемых пустынях. Это большею частью степи, покрытые толстым слоем сыпучих песков и отдельными песчаными холмиками, называемыми барханами, или те же пески вперемежку с твердыми солончаками и солеными грязями. С трех сторон облегли эти унылые мертвые пространства землю Уральского войска, вдоль которой протекла богатая рыбой река Урал – по старому Яик–золотое донышко. Он-то и кормилец всего войска. Из-за него в течение 260 лет казаки не нуждались в обработке полей и хлебопашестве на землях, которые оказались чрезвычайно плодородными, производящими наилучшую во всей России пшеницу.

Придя сюда, вот уже триста лет тому назад, казаки расположились селениями преимущественно на берегах Урала с притоками. Здесь отсиживались они от хищных кочевников и отсюда производили удалые набеги в степь для устрашения и наказания туркмен, хивинцев и киргизов. Тревожная боевая жизнь научила отваге, переезды по необитаемой голодной степи – осторожности не только против живого и дерзкого врага, но и против того, который подкрадывается незаметно и тихо, но бьет также наверняка и кладет насмерть после долговремен-

ных и мучительных страданий. Этот враг – голод, от которого не всегда в силах спасти и гостеприимный киргиз, будучи сам полусытым и круглый год в проголоди.

Отправляется ли казак на долгий срок сторожевой службы в степь, едет ли он разыскивать скот, который либо сам отшатился, либо отогнали киргизы, – во всяком случае уралец без съестных запасов не пускается. Между этими припасами едва ли не главное место занимает неизменный кавардак – ломти красной рыбы (всего чаще осетра), просоленные и провяленные на горячем солнышке и имеющие большое подобие с балыком. Они нарезываются ремнями исключительно для домашнего потребления и в продажу не поступают. Тем не менее, несмотря на свою глухую неизвестность, в своем месте и в нужное время, кавардак служит великую, неоценимую службу. Запихнет его казак на походе в рукав и, не слезая с коня, сыт и доволен. Кавардак – пища и лакомство и веселый собеседник неграмотного человека, лучше всякой газеты, подобно тем, которыми являются для оставленных дома казачек арбузные и подсолнечные семечки. Он же служит за газету и книгу и подсменяет беседу, когда все переговорено и в глухой степи нет ни малейших поводов к обмену мыслями. Едет казак – и грызет кавардак. Он же, да еще разве песня про удалые подвиги, коротает и докучное время, и томительный путь, но, очевидно, не он в своем настоящем невинном значении принят в разговорный язык в известном условном смысле.

Мы (не казаки, а городские жители) привычно называем этим неподходящим словом всю ту бестолочь, раздоры и ссоры, которые развели и замутили искусно пущенные в оборот сплетни, и всю ту хлопотливую суетню от бестолковых и опрометчивых распоряжений, которая кончается такими пустяками, что в них и не разобраться. Как бы в пояснение такой мути и путаницы в делах человеческих – во многих местах варят настоящий кавардак вроде болтушки. В нее, как в солянку, годится всякая всячина, и чем больше, тем лучше, наудалую, что выйдет: лук и толченые сухари, соленый судак и свежая рыба. В густой и мутной болтушке, когда станешь есть, – ни-

чего неразберешь, кроме хруста на зубах песку, который также полагается в числе приправ и принадлежностей этого невзыскательного бурлацкого варева, невкусного и сваренного в расчете лишь на привычные и голодные желудки. На Волге кавардаком зовут ловцы пшенную кашу, которую, к нашему великому удивлению, варят там с рыбой в явное доказательство, что русское горло – что бердо: долото проглотит.

С БУХТЫ-БАРАХТЫ

Кто поступает так, как понравилось ему на первый взгляд, без всякого предварительного обсуждения, не имея никакой надобности и без всякой определенной цели, – у того, конечно, очень часто выходят бестолочь и неудачи. Смысл таких поступков объясняется коротким словом «зря», сокращенным из «назря», на глаз, на зрение, как глянул или глянулось или как понравилось, так и сделал. Впрочем, в нашем языке, богатом на всякого рода эпитеты до поразительной роскоши, существуют и для объяснения того же понятия другие однозначащие выражения человеческих дел и поступков. Таковы: наобум, опрометчиво, как ни попало, бестолково, ни с того ни с сего и т. д., – все-таки выходит «зря», что головой в «копну» и «спустя рукава». Но если уже очень силен порыв «наобум» и о поступке «с бухты-барахты». Кто-то придумал какую-то бухту, назвал ее Барахтой, но до сих пор мы не встречаем еще такого знатока и бывальца, который указал бы нам, где находится и какого моря часть представляет собою эта бухта Барахта. Никому, как и первому автору этого выражения, не отказано в праве и возможности необдуманно говорить «сдуру, что с дубу» или, что одно и то же, поступать «с бухты-барахты» и, в самом деле, при несчастном случае биться руками и ногами, как упавшие в воду: «бух и барахты». «Не поглядел в святцы да бух в колокол», а потом и барахтайся, возись, оправдывайся и оправляйся. Для барахтанья достаточно подручной и попутной речонки, а грудные дети умеют это делать, на утешение родителям, и на мягкой перинке.

СИЛА СОЛОМУ ЛОМИТ

Под соломой мы привычно разумеем остатки, в виде стеблей, от обмолоченного хлеба всяких сортов и представляем ее себе не иначе, как целым ворохом, непременно кучей, сгребенной лопатами в горку, в рыхлую груду. Отсюда охапками или теми же ворохами солома берется на подстилку и на крыши, на шляпы и другие плетенья разного рода, на поташ и даже на подпояску снопов. Вынутый из «соломы» одинокий сухой стебелек, от которого отбит колос и годится лишь в зубах поковырять, называется «соломиной». Для надлома ее не требуется никакой силы, и смешно было бы вспоминать это слово и говорить об нем. Ни в каком случае мы не имеем права подозревать нелепицы или темного смысла в изречении, которое народ твердо установил в пословицу, обычно выработанную житейским опытом. Если бы он желал выразить смешную бессмыслицу, то сказал бы точно и правильно: «сила соломину ломает». Между тем говорится вековечная правда, равно известная и испытанная всеми народами мира: «ломит сила солому», – то есть могучее и властное побеждает слабое, хрупкое и ломкое. «Сила все ломит» (а не ломает), – говорит общеупотребительная поговорка. Ломать, переламывать может и слабая рука новорожденного младенца, но ломить и ломиться в состоянии лишь уверенная в себе крепкая сила, она напирает, валит налегая, опрокидывая и руша в сборе, скопом. К тому же следует помнить о том, сколько надобится человеческих усилий, чтобы, пройдя все степени земледельческого труда, добыть про домашний обиход ворох соломы. Сколько мужественного геройского терпения требуется для того, чтобы после трудов праведных иметь возможность и право подостлать соломки, чтобы на ней отдохнуть, поваляться и выспаться. Силою одного человека это можно сделать, но обычно требуется на такие работы соединенный труд, помочь или толока. После работы испытаются: и ломота в спине, особенно когда жнут на корню выспевший хлеб и сажают его для просушки

в овинах, – и едкая боль в руках и плечах, и истома во всем теле, когда на токах отбивают спелое зерно и добывают солому и мякину, то есть высохшие стебли и избитые цепами колосья, «Нивка – нивка! – отдай мою силку!» – отчаянно кричат суеверные бабы, катаясь по жнивью, когда кончат вязать последний сноп и завязывают ему бороду.

Некуда больше идти за объяснениями: если и жил-был на свете известный царь-горох, то про царицу-солому еще нигде не слыхать ни в сказках, ни в песнях, ни даже в загадках. Ни мифологические и исторические, ни бытовые и юридические, ни всякие другие справки не представляют выхода для толкований, заподозренного в бессмыслице изречения иного, кроме приведенного сейчас.

ДО ПОЛОЖЕНИЯ РИЗ

Это выражение известно было еще в начале прошлого столетия. Так, посланный в Московскую губ. при Екатерине I в 1726 г. граф Матвеев на ревизию для выяснения вопроса о том, сколь тяжела для крестьян подушная подать, писал между прочим, что в Суздале он пробыл долго. 24 ноября, в день именин императрицы, угостил всякого чина людей 70 человек «до положения риз». Выйдя, по всему вероятию, из-за монастырских стен, за которыми не были редкостью крайности такого рода после грубых развлечений, для мирян изречение это было понятно по тем двум праздникам положения риз: Богородичной (2 июля) и Господней (10 июля), которые чествовались сооружением храмов этого названия.

НЕ БЫВАТЬ СКОРЛАТОМУ БОГАТОМУ –

тому щеголю, который изысканно и богато, не по средствам наряжается, тратится на дорогую одежду. Эта очень древняя пословица получила начало в то время, когда на Руси сукна были редкостно и очень дороги, – особенно это французского дела сукно красного цвета. Платье из него

было в таком почете, что его передавали по завещанию и заносили в духовные записи. Так поступил Иван Данилович Калита, оставивший сыну «скорлатное портище», и Иван Иванович «опашень скорлатен». Владимир Василькович, купив в 1286 г. село Березовичи, дал, между прочим, 5 локоть такого же скорлата. Опашень же был не иное что, как долгополый широкий кафтан, с широкими, но короткими рукавами. У московских царей шит он был из золотной материи, надевался поверх станового кафтана у мужчин. Нашивали его и царицы. Слово это сохранилось кое-где и доныне. Это собственно scarlatum, écarlate, scharlach или также по-русски «шарлах», яркий багрец.

«Скурлатами немилостивыми» (по знакомому созвучию) называются в русских былинах шайки разбойников, палачи, – и последние, несомненно, по искаженному имени Малюты Скуратова и со времен неистовых деяний опричнины.

ЕМЕЛИНА НЕДЕЛЯ

Болтуна и враля, принявшегося за свое привычное и досадное ремесло, слушатели останавливают, когда он сильно и бойко развяжет язык, выражением «ну, мели, Емеля, твоя неделя!». Породил ее, очевидно, обычай, издревле установившийся в крестьянских хозяйствах, особенно во многосемейных, держащихся старинных уставов и прадедовских порядков – работать по очереди, в сроки, всем бабам-невесткам и взрослым дочерям-невестам. Эти занятия уряжает либо свекровь, либо, за ее смертию, старшая невестка, занимающая в семье должность большухи-заказчицы. Большею частию каждая из младших работает понедельно. Понедельно бабы стряпают, мелят крупу и зерно на ручных жерновах. «Вот ты, баба, зерна мели, – говорит муж жене: а много не ври, а мели хоть день до вечера!» Понедельно бабы смотрят за коровами, доят их и сливают молоко и т. д. Это объяснение, конечно, не отрицает права и не отнимает возможности искать его и в очередях отправления церковных служб и духовных треб

соборными священниками в городах и больших селах. Издревле они правят требы недельными «чредами». В самом слове «треба», по толкованию В. И. Даля, не только заключается смысл отправления таинства и священного обряда, но предполагается связь со словом «требити», то есть очищать от всякие скверны плоти и духа, как требятся плевелы, когда веют хлеб. Что же касается до значения очереди в смысле чреды, то она обязательна не только священникам, но и архиереям для заседаний в Святейшем Синоде. Собственно же для священников, по давнему народному обычаю, нет череды только лишь на мельнице: когда священник или дьякон привезут свой хлеб, мельник старается поставить их на очередь прежде всех других, ожидающих помола. Для этих установлен другой закон, точно и беспрекословно соблюдаемый в деревнях и ясно высказанный пословично: «не попал в свой черед, так не залезешь вперед»; «жить на ряду – вести череду» и «чей черед, тот и берет». Эти правила неохотно соблюдаются лишь в больших городах и особенно в столичных, против чего недавно придуманы и приняты так называемые хвосты в театральных и железнодорожных кассах, и т. п.

НИ В ЧОХ, НИ В ЖОХ (НЕ ВЕРЬ)

1. ЧОХ

«На чох здравствуй!» – поздравляй, желая доброго здоровья тому человеку, который, невольным образом, напряженно чихнул: таков обычай, повсеместный в России. Он исчез лишь в больших городах и в среде интеллигентных обществ, где не только выговорено, но и применено к делу твердое убеждение, что «на всякой чих не наздравствуешься». Свято соблюдаемый в селах и деревнях обычай старины применим не только к людям, но и по отношению к животным, например, к лошадям, вызывая оригинальное исключение. Чихнувшему коню следует поздравствовать, но тотчас же и обругать, например, так: «будь здоров, черт бы тебя драл».

С глубокой древности чиханье считалось известного рода знамением. Полагается чихать вовремя и кстати. Чихание с полночи до полудня признается вредным. Точно так же нехорошо чихать за столом. С полудня до полночи, напротив, чиханье – хороший знак. Особенно же много обещает оно, когда при совещании оба собеседника чихнут одновременно.

У нас этот непокинутый обычай успел уже подвергнуться насмешке, выразившейся непонятными приветами и ответами. Чихнувшему говорят: «Салфет вашей милости!» – находчивый привычно отвечает на это: «Красота вашей чести!» В прошлом веке, когда в язык ворвалось множество странных выражений, даже в среде высшего и фешенебельного общества говорилось там серьезным тоном, – теперь этот привет посылается в шутку. Удерживался этот язык, и этот привет, по заимствованию, в среде лакейского сословия, когда еще прокармливалось оно богатыми барами во время крепостного права. Охотнее теперь желают после чиху так: «Сто рублей на мелкие расходы!» Теперь более убеждены в том, что «в чох, да в жох, да в чет нельзя верить», а потому и придумано такое бранное пожелание: «Чох нá ветер, шкура на шест, а голова – чертям в сучку играть!»

2. ЖОХ

Жох – это в детской уличной игре положение бабки или казанка (части ноги животного под щеткою, так называемый путовой сустав) хребтиком кости вверх, противоположное кóнке (бабка, подброшенная с руки кверху и упавшая на землю правым боком называется ницка, а левым – плоцка). Этим способом подбрасывания костей гадают не только на очередь игры (конаются), но и на счастливую удачу и несчастный случай, как в чет и нечет, в орлянку и т. п. азартные игры. В последнем случае счастье говорит надвое: орел и решетка или по другим условным выражениям кóпье, когда монета ляжет личной стороной (тот выиграл и берет деньги с кону), и решето, когда ляжет никой, ничкой вверх (проиграл всю ставку). Эта любимая игра простого народа, обычная на всех базарах,

полицейскими мерами мало-помалу вытеснена с площадей и заперта в темных закоулках и на задворьях. В старину, и притом в самую отдаленную, борьба с жохом и чохом велась духовными лицами с церковных кафедр и при помощи рукописных посланий и поучений. Суеверный обычай причислен был к кощунским и строго преследовался наравне с чернокнижьем верующих «в рожение месяца, и в наполнение (полнолуние), и в ветох (ущерб), и в преходня звезды, и во злые дни и часы». Известно одно из малых поучений второй половины XVI века, когда вера в звездозаконие и планеты особенно развилась на Руси одновременно с натиском латинских новизн в русскую жизнь, литературу и искусство, когда появились альманахи, планидники и другие гадательные книги астрологического содержания.

Поучение, обличающее более древнюю веру в жох и чох, сопоставляет ее с верою в недобрые встречи по пути и во птичий грай («встречная и чеховая прелесть неверных язык»). Почиталась недоброю встреча со священником и дьяконом и с нищими еще гораздо ранее, чем появились поучения, и осталась таковою до наших живых времен. Встреча с духовными лицами почиталась несчастною с тех времен, когда языческая Русь, не всегда увещанием, а чаще насилием, обращалась в христианство и принудительно крестилась в воде и сгонялась в церкви. Несмотря на то, что, по словам поучений, во священный чин посвящались делатели непостыдные, правящие слово истины, неразумные люди гнушались встреч с таковыми, отворачивались и даже бранили «в то время многим поношением». Впрочем, время, видимо, изменило это последнее суеверие, как и относительно нищих: встреча с монахом теперь полагается в числе счастливых, а с нищим и того более, может быть, оттого, что первая случается реже, а последняя так часта и обычна, что притупляет внимание и ослабляет всякую опасливость. Также исчезло в народе и суеверное значение встреч со свиньей и конем лысым, то есть имеющим долгое белое пятно в шерсти на лбу (круглое называется «звездочка»). Встречи со свиньей опасаются только

продавцы раков, убежденные опытом в том, что запах свиной их убивает, то есть они засыпают.

ПО СХОДНОЙ ЦЕНЕ

Г-н Никольский накоротке и как бы мимоходом объясняет это изречение, производя его от сходней. «Сходни в лавке (говорит он), с которых запрашивающий втридорога торговец ворочал набивавшего цену покупателя». Это остроумное объяснение было бы убедительно, если б при лавках действительно существовали неизбежные и обязательные сходни. Пока известны в торговых помещениях, где помногу раз в день сходятся в цене и расходятся: полки и прилавок – держать запасные и раскладывать напоказ затребованные товары, да необходим еще разве навес, чтобы не выгорали от солнца крашеные материи. Впрочем, из Москвы вышли на Русь самые мудреные выражения, начало и корень которых только и можно найти там. При очистке грязного и запущенного Китай-города во время пребывания императрицы Елизаветы у торговых рядов оказались скамьи, *каменные приступки* и другие постройки, загромождавшие пространство и препятствовавшие проезду. Их велено сломать, а погреба засыпать. Не на этих ли приступках при уходе покупателя, чтобы не упустить его, купец сказывал крайнюю цену. Она получила наименовавание сходной, не всегда такой, которая была для купца подходящей, а такой, что была покупателю по карману, не то чтобы и дешевая, а скорее безобидная: пришелся товар по вкусу и плата за него не дороже прошлогодней и за такую именно цену покупали знакомые люди. В настоящее время в Москве домовладельцы называют «сходом» доход от квартир, а торговцы, передающие насиженное торговое помещение другим, продолжают платить «за выход», то есть выдают известного размера премию. У Даля, в словаре, ни этого слова, ни схода в указываемом значении нет, но есть объяснение столь употребительных на всех морских и речных пристанях «сходней» – подвижных мостков, сколоченных из досок с перилами и набитыми брусками.

ГЛУПАЯ БАБА И ПЕСТУ МОЛИТСЯ

Пословица народилась от побасенки, как одна старуха вздумала помолиться Богу в церкви. На селе она сроду не бывала и, встретив на пути мельницу, приняла ее за храм Божий: к тому же и на мельницах она сроду не бывала. Знавала только попов, которые наезжали, по указным праздникам, «со славою». Приводилось и ей давать им «отсыпного»: мукой, крупой, пшеном; откупалась и печеным хлебом, свежими яйцами и т. п. Спрашивает она бородатого старика, всего выпачканного мукой: «Не вы ли попы будете»? – Мы. – «А где у вас тут Богу помолиться»? Он ей указал на толчею: вот тут! А в ней, по обычаю, ходят на рычагах деревянные бойцы-песты, да постукивают, и все себе толкут, не уставая и не останавливаясь, по указанному издревле закону: «пест знай свою ступу». Глупая баба и помолилась песту: больно уж он сильно ворочает и словно бы и сам шепчет какую-то молитву, подсказывает и облегчает.

Такой же путь для розысков объяснения темных пословиц в народных сказках, притчах, рассказах и побасенках указывают и прочие родственные нам племена. Между прочим, мне привелось встретиться в Белоруссии с очень распространенною пословицею, очень непонятной с первого раза, но нашедшею полное и ясное объяснение в сказке. Говорят: «пускай тот середит, кто вверх или на небо глядит». Оказывается, что шла себе путем-дорогой лисица и нашла поджаренную говядину, а подле налаженную железную пасть. Догадавшись, что это ловушка, она не притронулась к мясу, а дождалась медведя. Спрашивает его: «Куманек-голубчик, ел ли ты что-нибудь сегодня?» – Нет, кумушка-голубушка, не случилось. – «Ну, пойдем, я сведу тебя в такое место, где хорошая пища лежит. Сама бы я съела, да сегодня середа: ведь я католичка». Подвела лиса медведя к той говядине. Лишь только он сунулся к ней, как железо обхватило его поперек и подняло кверху. Лисица взяла кусок и съела. Медведь с навесу говорит: «Кумка-голубка, ведь у тебя сегодня середа». – Эх, кумок-голубок, нехай той серадзиць, кто у гору (вверх) глядзиць!»

НЕ ВО ВРЕМЯ ГОСТЬ

Извековный прадедовский закон велит всякого пришедшего в дом, хотя бы и незваным, посадить и зачесть дорогим гостем, а если найдутся в доме запасы, то и угостить. Запасливость, впрочем, необязательна; требуется лишь радушие, ласковое слово, добрая беседа: «не будь гостю запаслив – будь ему рад». Конечно, приятно, если пожаловал добрый человек в то время, когда в доме скопились запасы, и обидно и досадно, если он посетит в то безвременье, когда скопленное и храненое все до остатка истреблено. А то недоброе, с сердцов выговоренное изречение, что не во время (пришедший) или незваный гость хуже татарина, явно народилось в живой речи в те времена, когда Русь находилась под татарскою властью. Покорители не щадили побежденных, и еще Плано Карпини, посещавший татарские улусы в XIII веке, заметил в этом народе непомерную гордость, ярко высказывавшуюся презрением ко всем другим народам, страшную жадность, скупость и свирепость: убить человека им ничего не стоит. Всякий татарин, если ему случится приехать в подчиненную страну, ведет себя в ней как господин: требует всего, чего только захочет. Наши летописи полны рассказов о притеснениях татарских баскаков и о жадности ханских придворных. Вообще насилие у них преобладало над обманом даже в торговле. При встрече и столкновении с такими степными нравами Монголии, какие сохранились в татарах до конца их исторического поприща, русские люди невольно, с грозным принуждением привыкли всякого татарина, пришедшего в дом, считать властным гостем, всегда незваным и всегда не вовремя. Извратилось понятие о госте, и самое хлебосольство утратило добрые черты, когда с появлением татар во многом изменились самые условия жизни и произошло огрубение нравов. Дикому произволу и неудержимой разнузданности этих новых хозяев Русской земли некоторыми нашими историками (как К. Н. Бестужев-Рюмин) приписывается небывалое явление в бытовом строе народной жизни – затворничество жен-

щин и у достаточных классов постройка теремов. В условия, на которых татары принимали в подданство какой-нибудь народ (по завещанию Чингиз-хана), входило между прочим – брать десятого отрока или девицу, отвозить их в свои кочевья и держать в рабстве. На этом же сильном праве, конечно, основались и злоупотребления. Вот почему зажиточные люди стали запирать жен и дочерей, будучи вынуждены обычаями самих татар, считавших все на Руси своим, увозить чужих жен и похищать девиц. С извращением и порчею нравов, об руку с ними, естественным образом охладели мягкие отношения к гостю и резко изменились самые представления об нем. Стали говорить: «Гость на двор и беда на двор; гости навалили, хозяина с ног сбили; и гости не знали, как хозяина связали; краюшка не велика, а гостя черт принесет – и последнюю унесет» и т. д. почти все в этом смысле.

В ЧУЖОМ ПИРУ ПОХМЕЛЬЕ

С первых князей русских идет слава о пирах и наклонности весело проводить время, пить и пировать. С княжеских съездов для замиренья после споров и распрей за удел, со свадебных пиршеств доносится до нас веселый отклик старины, как живой и вчерашний, со вспышками на ссоры и перебранки и с полною готовностью идти в драку, драть бороды и ломать ребра. В своем месте об этом было говорено с достаточною подробностью; на этот раз останавливаемся здесь, собственно, ввиду такого старинного обычая. Гости, приглашенные на пир (именно на пир, а не на обед, после которого обычно и начинались пиршества), обязаны были платить за честь быть приглашенными. Самому хозяину угощение, при дешевизне съестных припасов, было недорого, а у воевод и это было приносным или даровым. Они-то в особенности и отличались подобным гостеприимством (действовавшим например для московского купечества до дней гр. Закревского). «Если немецкий купец приглашается на такой пир (пишет С. М. Соловьев), то знает, как дорого обойдется ему эта честь». Это «похмелье» в пере-

носном смысле значения тягостного состояния духа как болезненного явления после чрезмерного злоупотребления крепкими напитками усугублялось, кроме траты здоровья и сил, еще и материальными лишениями. Заздравные чаши, как и до сих пор на крестьянских свадьбах и на крестинах чарки, требуют денежного вклада на румяна молодой, на зубок новорожденному и т. п., а на это и почтенная старина была изобретательна: «Первую пить – здраву быть, вторую пить – себя веселить» и т. д. По пословице «не всякому Савелью веселое похмелье; ваши пьют, а у наших с похмелья головы болят». Да так и в песне поется: «Что не жалко мне битого-грабленного, только жальче мне доброго молодца похмельненького!»

ВЗЯТКИ ГЛАДКИ

От воевод и подьячих невольно навязывается этот прямо и легкий переход к недоброму обычаю, с которым ведется борьба еще со времен Судебника Ивана Грозного, когда современная взятка называлась еще «посулом», по старинному смыслу этого слова, а не по нынешнему[1], – словом, когда взятки еще не были гладки, то есть можно было их брать. Для просителя они были посулом, для приемлющего – взяткой, за которою еще царь Борис сек дьяков и возил по городу с повешенным на шею незаконным приносом: деньгами в мешке, мехом, соленой рыбой, с чем виноватый попадется. Другой иностранец видал, как во избежание подозрений подвешивали взятки к иконам, а деньги всовывали в руки вместе с красным яйцом при христосованье. Обязательно сложилась на Руси поговорка, что «на Москве дела даром не делают». А сюда шло все, что подойдет и, конечно, чем сами богаты. Монастыри несли и везли пироги, цельные рыбины, ведра рыжиков, маканые сальные свечи и даже резные гребни («да с молодым подьячим да с дьячим племянником в погребе выпоено церковного вина на семь алтын»). Устоялся обычай из-

[1] На нынешнем посуле, по народной поговорке, «что на стуле: посидишь да и встанешь». (*Примеч. С. В. Максимова*).

давна и стоял на своем основании крепко именно потому, что всякий служащий продолжал смотреть на свое дело как на кормление. Выработался даже способ давать взятки: «Придя к дьяку в хоромы, не входя (наказывал взяточник-стольник своему слуге), прежде разведай: веселый дьяк, и тогда войди, побей челом крепко и грамотку отдай. Примет дьяк грамотку прилежно, то дай ему три рубля да обещай еще. А кур, пива и ветчины самому дьяку не отдавай, а стряпухе». «А к Кириле Семенычу не ходи: тот проклятый все себе в лапы забрал. От моего имени Степки не проси (а сходи к нему): я его, подлого вора, чествовать не хочу. Понеси ему три алтына денег, рыбы сушеной да вина, а Степка – жадущая рожа и пьяная». Лучшей характеристики старинным взяточникам придумать нельзя. И затем зачастую писали все: «и чем мочно, хотя займи, а подъячего почти», а остаются и поныне взятки гладкими у тех, кому дать нечего и для тех, кто не дает ничего.

ТОЛК В МОЛОКЕ

Известную поговорку, обращаемую к невеже, самоуверенному и самонадеянному, но не способному разуметь истину в ее настоящем смысле, – поговорку: «знаешь толк, как слепой в молоке», Даль объясняет такой прибауткой или анекдотом: вожак покинул на время слепого. «Где был?» – Да вот молока похлебал. – «А что такое молоко?» – Белое да сладкое. – «А какое такое белое?» – Как гусь. – «А какой же гусь?» Вожак согнул локоть и кисть клювом и дал ему пощупать: Вот какой! – «А знаю!». И по этому слепой понял, какое бывает молоко.

ХОРОШО-ТО МЕД С КАЛАЧОМ

Эту хвастливую поговорку Даль объясняет также побасенкой или «прибаской» (как он называет). Один хвастался: «Хорошо-то мед с калачом», а другой спрашивает: «А ты едал?» – Нет, не едал, да летось брат в городе побывал, так там видал, как люди едят.

РАССУДИ – ТОПОРОМ РАЗРУБИ

Судились кузнец с мясником: один другого чем-то обидел. Придумали каждый задобрить судью: один сковал топор, другой быка отвел.

Пришли на суд. Первым заговорил кузнец.

– Господин судья, рассуди нас, как топором разруби.

А мясник свое говорит:

– Нету, брат: тут дело быком прет.

ТРЯСЕТСЯ, КАК ОСИНОВЫЙ ЛИСТ

Осина или дрожащий тополь, в исключение с прочими деревьями, снабжена некоторою особенностью в строении листового черешка. Черешок листа длинный, часто длиннее чем пластинка, и широко сплюснут. У места соединения черешка с пластинкой находятся большею частью две железки, как это бывает и у многих из прочих видов тополя. Такое устройство листового черешка причиною, что от малейшего ветерка или движения в воздухе лист начинает дрожать. Так объясняется это явление ботаниками. Народ твердит свое, слепо веруя преданиям предков и не наводя справок о том, растет ли в Св. Земле этот вид из подсемейства ивовых и большого отдела сережчатых растений, – народ упрямо верует, что на этом дереве повесился Иуда-предатель. С тех пор осина со всем нисходящим потомством во всех странах света была неправедно проклята. При этом забыли, что она приносит сравнительно с другими древесными породами наибольшую человечеству пользу, особенно нашему русскому. В деревнях из нее вся домашняя посуда, а в городах даже и та бумага, на которой печатаются эти строки.

ДОРОГО ЯИЧКО К ХРИСТОВУ ДНЮ

Все хорошо вовремя, и едва ли настоит надобность объяснять эпитет яичка тем мелким историческим фактом, что

в XV веке во Пскове архиепископский наместник брал с крестьян, игуменов, попов и дьяконов по новгородской гривне за великолепное яйцо. Если уже соображать старинную ценность не материальную, а нравственную, то, несомненно, дороже стоило не псковское, а московское яйцо времен царских, когда этого рода пасхальные дары жаловались по выбору: иным золоченые, другим простые красные; иному по три, другим по два и по одному (младшим). Немногие бывали осчастливлены яйцами, расписными по золоту яркими красками в узор или цветными травами, «а в травах птицы, и звери, и люди». Московскому патриарху каждогодное великолепное яйцо стоило, кроме разных материй, три сорока соболей и ста золотых. Подешевле обходились лишь «принос» или «дар» именитому человеку Строганову, представителю целого края России: он обыкновенно подносил государю и царевичу по кубку серебряному, по портищу бархата золотного, по сороку соболей и, наконец, каждому члену царского семейства известное число золотых.

Для задачи объяснения ходячих выражений и крылатых слов гораздо важнее значение, например, «новоженой куницы» – платы за венчание, по необыкновенной живучести с первых веков истории доныне. Название ценного пушного зверка в этом смысле кое-где сохранилось до сих пор, что очень знаменательно. Учреждение этой подати в казну удельных князей – очень древнее, одновременное с «полюдьем» и «погородьем», теми данями и дарами, которые собирали князья во время объездов своих волостей для вершенья судных дел. Эти дани упоминаются еще в XII веке, потом это название исчезает, но куница до сих пор не забылась в народе. В Белоруссии всякий жених, кроме свадебных угощений, обязан «годзиць куницу», то есть платить священнику за венец. Это исполняют сваты, обязанные, сверх того, непременно поднести матушке-попадье петуха. Может быть, в очень отдаленную и глухую старину, когда меха пушных зверей заменяли деньги и были «кунами» – ходячею разменною единицею, куница или ценность ее полагалась мерою при

покупке в дом работницы. И это могло быть повсеместным обычаем. Теперь же в Великороссии куница вспоминается еще при свадебных обрядах, но старинный прямой и безраздельный смысл ее совершенно утрачен. По-старинному, например, на нашей памяти величали новобрачных пожеланием (около Галича):

Кунья шуба до́ полу,
Божья милость до́ веку.

Сваты приходят в невестин дом «не за куницей, не за лисицей, а за красной девицей». Кое-где просят выкупом за невесту куницу да еще и лисицу (по пристрастью к созвучиям) с придатком золотой гривны да стакана вина. Дружки, в приговорах своих, также безразлично приплетают сюда еще соболя («повар – батюшка, повариха – матушка, встань на куньи лапки, на собольи пятки» и т. д.). В северо-западной России народ гораздо последовательнее и тверже в старых памятях и заветах. Так, например, там везде значение куницы перенесено и на самое заявление священнику о желании венчаться. «Куницу мириць или годзиць» являются целой гурьбой и потом хвастаются: «Уж хвала табе, Господзи, куницу помирили и запывидза (запоины, пропоины невесты) пошла». Во время крепостного права куницей исстари назывался также выкуп у пана-владельца невесты вольным человеком, избравшим крепостную девицу, которая таким образом выходила в чужую вотчину, и за нее давали деньги. Священнику за венец не всегда платят наличными деньгами, а иногда рассчитываются и работой. В некоторых местах (например Витебской губернии) слово куницу также забыли (говорят: «попа мириць»), но смысл сохранился, и сейчас можно слышать это старинное выражение цельным на окраинах той же губернии, смежных с губерниями: Смоленской и Могилевской. Надо надеяться, что изречение это и здесь затеряется, когда окончательно исчезнут все следы крепостного быта и потускнеет об нем представление.

ИЗ ПОЛЫ В ПОЛУ

Передается ли старшинство в семье, старейшинство или главенство в деловом предприятии, право на расправу и всякого рода распоряжений и приказаний непосредственно из рук в руки, из полы в по́лу. В последнем буквальном смысле поступают на основании обычного права, вместо подписи контракта и нотариуса, при купле-продаже. Покупщик и продавец ударили по рукам, хлопали ладонями – значит установили цену. Остается передать проданное (например корову, лошадь и т. п.) в руки покупателя. Накрывают правую руку углом подола и берут за поводок (веревку у коровы, недоуздок у лошади – узда не продажная, как у русских людей, так и у кочевников в особенности). Прикрытою рукою сдает продавец, таковою же принимает покупатель. Акт купли-продажи вошел в полную силу. Затем следует обычный могарыч – спивки, слитки со счастливого или удачливого покупателя.

ПУСКАТЬ ПЫЛЬ В ГЛАЗА –

или, что одно и то же, мотать из тщеславия приобретенное или наследственное имущество, жить шире наличных средств, хвастаться, надувать и морочить, щеголяя всякими способами, – московский археолог И. М. Снегирев пытается объяснить это выражение историческим примером. Он приводит его из сочинения Рафаила Барберини, бывшего в XVI веке свидетелем в Москве одного тяжебного поединка, когда соперники бились в поле (у церкви Троицы, что «у старых поль», – нынче просто «в Полях»). Бились, как известно, в доспехах: и тот, кто дал взаймы деньги, и тот, который отрекается и не хочет платить. При этом Барберини сообщает, что очень смешон был способ вооружения тяжущихся: «доспехи их так тяжелы, что, упавши, они не в силах бывают встать». В таком-то вооружении оба сражаются до тех пор, пока один из них не признает себя потерявшим поле. «Мне рассказывали, что однажды случилось литвину иметь подобный поединок с москвитянином.

Литвин никак не хотел надеть на себя все вооружение, а взял только нападательное оружие, да еще украдкой захватил мешочек с песком и привязал его к себе. Когда дело дошло до боя, он бегал легко и прыгал из стороны в сторону около москвитянина, который, по причине тяжелого оружия, едва мог медленно двигаться. Улучшив время, литвин искусно подскочил к нему и пустил в отверстие наличника щепоть песку (как у немцев по пословице: «Sand in die Augen zu streun»), так что ослепил его, и в это самое время железным топором начал ломать на нем оружие. Москвитянин, не могши ничего видеть, признал себя побежденным, и литвин остался победителем. После этого случая москвитяне не стали уже позволять иностранцам вступать с ними в подобные поединки».

ЧЕРТУ БАРАН

Во всех концах России, не исключая Белоруссии, самоубийцам приурочивается вековечное прозвище «черту баран», в котором чувствуется и то презрение, какое глубоко вкоренилось в народном убеждении по отношению к этим преступникам, и сказывается та основа поверья, из которой выродилось это живое крылатое слово. На самоубийство, как и на множество других преступлений, помимо доброй воли и порченой природы, натравливает нечистая сила или дьяволы, черти всякого рода и всегда «нежить». В этом случае черт творит зло в личных расчетах, но по особому приказу и прямому указанию верховного своего начальника – сатаны, несмотря на то, что иногда цель наущения, по-видимому, ничтожна. В данном случае покусившийся на свою жизнь наказывается как бы временным превращением в животное для того, чтобы черти на том свете до сорокового дня могли ездить на нем неустанно или возить на нем воду. Человек, таким образом, доброхотно сам себя принес, вместо обетного и обрядового барана, в жертву подземным богам, злой и нечистой силе. По глубокому народному верованию, она одна является здесь основной причиной неумолимого греха, толкая в воду, накладывая на шею

петлю и подвешивая трупы на деревья в укромных лесных местах и на балках холостых строений по задворкам: бань, овинов, амбаров и проч. В Белоруссии при этом твердо укоренилось даже такое повсеместное верование, что того человека, который вынул из петли удавленника и хотя бы оживил его, всю жизнь во время сна будет преследовать таинственный голос, нашептывая: «Зачем ты его спас; зачем ты его увел от нас?» За то принято народом за правильный закон всюду хотя и хоронить самоубийц на кладбищах, но где-нибудь в углу и поодаль от прочих могил. «Черта потешил – из себя барана сделал, – говорят в Новгородской губернии: – сунул голову в петлю, а черт и затянул ее; он и натолкнул на греховную мысль, и пособил привести ее в исполнение». Сорок дней умершая душа всякого человека ходит по мытарствам; непогребенная душа скитается по миру; самоубийца отдает душу черту и не допуская ее до мытарств.

УБИТЬ БОБРА

Выражение это, обращаемое к неудачливому человеку как насмешка ввиду приобретения им дурного, вместо хорошего, например, товара и других разных предметов до жены включительно, произошло, конечно, от того зверька, который дает на воротники густой мех. Такая горькая неудача предполагается равносильною тому, как если бы, намереваясь убить ценного зверя, хотя бы и речного (castor fiber), не говоря уже о драгоценном морском (lutra), – довелось убить свинью. Так, между прочим, поступили калязинцы: они свинью за бобра купили, и за то эту неудачу как забавный случай обратили им в вековечную насмешку, в виде присловья. Обман темных людей поставлен таким образом в зависимость от тех серебристых волосков, которые увеличивают ценность морского зверька, но ничего не стоят в виде щетины домашнего животного. Известен анекдот, как глупый денщик, из усердия и услужливости, выщипывал из воротника своего барина-офицера эту красивую особенность меха на том соображении,

что сам барин выщипывал такие же сединки из своих волос на голове и бакенбардах. В доказательство того, что именно речной бобр дал повод к сочинению выражения служит то обстоятельство, что некогда в России бобры водились почти везде и о бобровых гонах упоминается во всякой владенной записи. Теперь их нет нигде, за самыми ничтожными исключениями кое-каких рек в белорусских и пинских болотах, как в свою очередь сделался редкостным драгоценный камчатский бобр, особенно тот, который ловится около мыса Лопатки у камня Гаврюшкина. Цена ему на месте, в невыделанном, а лишь просоленном виде, в последние годы была очень высока, начинаясь с 600 руб., и ввиду того, что бобр того же вида, но пойманный на Командорских островах, на северной оконечности острова Медного, у так называемого Бобрового камня, стоит всего 150–200 руб.

ХОТЬ СВЯТЫХ ВОН ВЫНОСИ

Иногда говорится так при случаях совершенно противоположного и непохожего смысла, а «святыми» в полное согласие весь русский народ называл те иконы, которые ставит на тябле (особой по́лочке) и держит в киотах, чтит и бережно охраняет. Староверы, несомненно по обычаю предков, почтение к этим живописным изображениям Спасителя, Богоматери и святых угодников довели даже до крайности, например прикрепляя занавеси и задергивая лики от всех приходящих православных. Впрочем, во многих местах завешиваются иконы во время пиршеств, пляски и других развлечений; нельзя сидеть в шапке, свистать: все это большой грех.

Иконопочитание во всей Руси простирается с древнейших времен до того, что если и существовал (еще до Грозного) иконный ряд в Москве и ими «торговали», продавая на деньги, тем не менее этот термин к иконам неприменим, а заменен словом «менять», «выменивать». Когда в 1540 г. псковичи усомнились в приобретении принесенных на продажу «старцами-переходцами из иных земель» изображений Ни-

колы и Пятницы «на рези в храмцах» (изваянных из дерева в киотах), новгородский владыка сам молился на эти иконы, перед ними молебен пел, проводил до реки Волхова на судно, а псковичам наказал эти иконы у старцев «выменять» и встретить их соборно. Понятие о Боге и купле, очевидно, не совмещается в уме нашего народа, как не совмещалось оно и во времена язычества. Исстари же ведутся и особые приветы и приспособлены разные приемы в соответствие почитанию икон, называемых и «святынею», и «Божьим милосердием». «Честь да место – Господь над нами – садись под святые!» – привечают гостя и «кладут» под святые умирающего, вживе обмытого и одетого в саван. Если таковой больной поправился, выздоравливает от тяжкой болезни, про него говорят, что он «из-под святых встал». Зато говорят также и надвое: «Хоть святых вон выноси» – про тех, которые врут не в меру, «и святых выноси и сам уходи», и про бестолковый гам и крик на миру в замену обычного «поднялся содом»: пусть святые иконы не видят греховных людских развлечений и не слышат свиста пустодома. И действительно, выносят прежде всего святые иконы на случай пожарного бедствия в деревнях и при переходе из старой избы во вновь построенную и т. д. Объединявшая Москва, забирая под свою высокую руку обессилевшие удельные города, этим же способом пользовалась как чрезвычайно ловким политическим приемом. Все нижнее тябло в иконостасе большого Успенского собора украшено таковыми иконами-палладиумами из разных русских стран, как победными трофеями. К числу таковых относятся также и колокола, о чем я уже имел случай упоминать в своем месте. Здесь, вероятно, и начало вышеприведенному и повсюду распространенному изречению.

НЕ В БРОВЬ, А ПРЯМО В ГЛАЗ

Общеизвестное изречение это можно было бы обойти без разъяснения, тем более что и пословицы наши на большую часть имеют недоброе свойство «колоть не в бровь, а прямо в

глаз». Не столько личная привычка искать начала в исторических событиях, сколь требовательность со стороны вынуждает иногда останавливаться на таких намеках, которые могут быть и сомнительны, но более или менее освещают самый предмет и придают жизненный смысл ходячему выражению. Такова, между прочим, на указанную тему легенда, сохранившаяся у казаков и разъясняющая так называемый второй паек. Вот как записана она в «Терских ведомостях».

«В стародавнюю пору у Грозного Царя Ивана Васильевича была война с татарами. Долго воевали они, но война ничем не кончилась. Вот татарва и говорит Грозному Царю:

– Не будем больше воевать, а вот мы вышлем бойца, а вы, русские, своего высылайте. Если наш богатырь побьет вашего, то все вы наши рабы, а коли ваш победит, то мы будем вечными рабами русских.

Подумал Грозный Царь и согласился. Выходит с татарской стороны великан саженного роста и хвалится над русскими:

– Кто, мол, такой явится, что со мной вступит в бой великий: убью его, как собаку поганую.

Глубоко вознегодовал Грозный Царь за такую похвальбу нескромную и решил примерно наказать злого татарина. Сделал он клич по всей рати. Долго не находилось охотника. Грозный Царь начал уже сердиться. Но вот нашелся один – так, небольшой казачишка. Идет к государю, в ноги кланяется и говорит:

– Царь-батюшка, не прикажи казнить, – дозволь, государь, слово вымолвить.

Приказал Грозный Царь встать, приказал слово сказать.

– Я даю свое слово, – говорит казачишко, – великий царь, что убью этого поганого татарина каленой стрелой, прямо в правый глаз; если ж этого не сделаю, то волен ты, государь, в моей жизни…

Вышел он на поле ратное, навел тетиву на тугом луке и угодил стрелой татарину чуть повыше глаза правого, прямо в бровь. Повалился злой татарин, а казачишко бросил лук и стрелы и пустился в бег… Царь послал гонцов за ним… Привели его к государю.

– Ты что же бежишь, ведь ты же убил врага лютого, – говорит Грозный Царь.

– Да, царь-батюшка, врага-то я убил, да слова своего не выполнил: попал не в глаз, а в бровь, и стыдно стало мне явиться пред твои очи государевы.

– Я прощаю тебя, – говорит Грозный Царь, – и хочу наградить тебя за такую услугу немалую.

– Спасибо, государь, что ты хочешь дать радость твоему рабу недостойному. Вот моя просьба к тебе. Я не буду просить многого, а коль возможно, то пусть жене моей, когда я на службе, идет второй паек, а коли будет Твоя милость, то и всем женам казачьим.

Возговорил тогда царь-батюшка, повелел давать второй паек всем женам казачьим, да прибавил:

– Пусть будет паек этот на веки вечные неизменным, поколь будет стоять Земля Русская.

С тех пор и получают казаки второй паек».

КОНЦЫ В ВОДУ

Это изречение стараются объяснить также историческим путем, приписывая Грозному новый способ казней, смирявших заподозренных в измене новгородцев. Толкуют так: с камнем на шее велел царь бросать граждан в реку Волхов и, стало быть, на дне его хоронил концы мучений жертв и успокаивал свою мятежную совесть. Играли ли камни тут какую-либо роль – сомнительно. Точные известия показывают лишь то, что обреченные на потопление жертвы отвозились привязанными к саням к Волховскому мосту. С него и бросали в реку мужчин. Жен и детей со связанными руками и ногами свергали с другого какого-то высокого места. Младенцев привязывали для той же цели к матерям. Камней, очевидно, на шеях не было, потому что дети боярские и стрельцы обязаны были ездить на челноках по Волхову и прихватывали баграми, кололи копьями и рогатинами и усиленно погружали таким способом на дно реки. Так делалось ежедневно в течение пяти недель. Несмо-

тря на такую доступную справку, один из толковников счел нужным сослаться еще на времена бироновщины и на основе преданий повторил рассказ о таком же способе казней, производимых, однако, втайне, чтобы скрыть следы. Сообщение вероятное, но оно не имеет за собою точно проверенных исторических данных хотя бы по мемуарам иностранцев.

КАНДРАШКА ХВАТИЛ

Постиг внезапный и даже роковой смертельный удар, по предположению историка С. М. Соловьева, как обиходное выражение господствует со времен Булавинского бунта на Дону в 1707 году. Бахмутский атаман «Кандрашка» Булавин (Кондратий Афанасьев), избрав себе в шайку Ивашку Лоскута, Филатку Никифорова и иных гулящих людей (человек с 200), убил князя Долгорукова, офицеров и солдат. «И старшин также хотел добить, но не застал, потому что, в одних рубашках выскочив, едва ушли. И они, воры, за ними гоняли и за темнотою ночи не нашли, потому что розно разбежались».

СНЯВШИ ГОЛОВУ, ПО ВОЛОСАМ НЕ ПЛАЧУТ

В смысле, что если стряслась большая беда и посетило крупное горе, то уже излишне тосковать о мелочных неприятностях. Впервые будто бы применил это народное изречение, в свое утешение, Петр Великий, убедившись фактом измены Мазепы в невинности казненного им доносчика на гетмана полтавского полковника Искры. Царь скорбел и раскаивался, и когда убедился в справедливости доносов Кочубея и Искры, приказал Мазепу проклинать. Митрополит Киевский с двумя архиереями первым исполнил это повеление в Глухове. Затем в Московском Успенском соборе Стефан Яворский, в сослужении архиереев и в присутствии высших чинов, трижды возгласил: «Изменник Мазепа за клятвопреступление и за измену великому государю буди анафема!» Прочие архиереи пропели трижды «буди проклят!».

МЕЖ ДВУХ ОГНЕЙ

То мучительное или томительное состояние, когда затруднен человеку выход из стесненного и затруднительного положения, также стремятся оправдать историческим путем, уподобляя равносильному унизительному положению удельных князей – в Орде. Их приводили к хану не иначе, как очищенными и освященными всемогущим стихийным началом – огнем. Проходил князь к ханской ставке между двумя зажженными кострами. Но насколько основательно и требовательно и в этом случае искать исторического объяснения здесь, а не в обиходных случаях, например, лесных пожаров, когда опыт учит для их обессиления и прекращения напускать встречный огонь? Иметь неосторожность попасть между двумя огненными стенами – тоже не из веселых положений.

С такими усердными розысками, основанными на легкой подозрительности, можно дойти до сомнительных толкований (и это на лучший конец), если не до простой и бесцельной забавы (на худший). В числе подобных толкований могут оказаться и такие:

«Праздновать трусу», – не какому-нибудь злому духу (или подчиняться беспокойному неестественному настроению души), а уподобляться польскому полковнику Струсю, которого разбил на голову Минин с Пожарским 22 октября 1612 года.

Конечно, «в чужой монастырь со своим уставом не пойдешь» – это всякому понятно из практики жизни, и для того вовсе не нужно старинным монастырям получать свои судебные права. Довольно знать, каким уставом направляется жизнь: живет ли инок своим особым хозяйством или общежительным, иначе «богорадным». Во всяком случае, объяснение подобных общепонятных изречений можно сделать и скучным, и приторным.

При других объяснениях можно в самом деле очутиться меж двух огней: кого, например, следует разуметь под куликом, которому далеко до Петрова дня: болотную ли птицу, или пьяницу-работника, который любит куликать, то есть не кричать куликом, а опиваться вином. Как здесь разобраться?

«Согнуть в три погибели» – значит не иначе, как таким мучительным способом, который практиковался при пытках и прямо доводил до смерти: привязывали к ногам голову; в веревку ввертывали палку и начинали накручивать ее до такой степени, чтобы голова пригнулась к ногам бесповоротно и вплотную. Тут можно добиться только того лишь, чтобы сосчитать действительно три «погибели» в смысле «погибов» тела, а не доказать неизбежность архивных справок на всякие подходящие случаи, где приходится опираться на сходстве слов или на созвучиях.

С превращением важной работы в праздную забаву достигнешь того, что, вопреки пословице, у всякого словца не дождешься конца.

Приложение

Недовесок к «Крылатым словам»

ЩЕЛКОПЕР

Щелкопер – довольно известное укоризненное или бранное слово, недавно лишь утратившее живой корень своего происхождения. Оно, ввиду многих однозначащих и новых, начинает выходить из употребления с тех пор, как перестало быть и казаться совершенно понятным даже до очевидности. По объяснению Даля, это – пустой похвальбишка (бахвал) и обирало, а по Гоголю – достойный презрения ничтожный человек, шатающийся без дела, скалозуб, занятый на полном досуге пересмеиваньем чужих недостатков, но сам владеющий в то же время избытком собственных, непризнанный обличитель, в некоторых случаях даже опасный, друг Хлестакова, душа Тряпичкин, бумагомаратель. В бессмертной комедии оба бранные слова недаром вместе и рядом вылетели из уст городничего, возмутившегося до бешеного раздражения; в его время щелкоперы и бумагомаратели уживались в близком соседстве, даже сидели рядом, будучи одной семьи, кровнородственными. До

второй половины истекшего столетия, пока еще мало были известны и вообще не вошли еще в общее пользование стальные перья, а перья машинного очина доступны были лишь губернским и торговым городам, казенное и частное письмоводство производилось гусиными перьями. Этот сорт и существовал в продаже пачками, круто перевязанными крепкой бечевкой красного цвета, наподобие сахарной. Каждый писец обязан был выработать в себе уменье чинить перья, и, конечно, не всякому оно давалось, но зато иными достигалось до высокой степени совершенства и поразительного искусства, чему доводилось не только удивляться, но и любоваться. Ловко срежет он с комля пера ровно столько, чтобы можно было надрезать расщеп, и оба раза щелкает. Повернет перо на другую сторону и опять щелкнет, снова срезавши из ствола или дудки пера именно столько места, чтобы начать очин. Прежде всего, конечно, он вынет из дудки сердцевину, прикинет перо на свет, прищурит глаз, поскоблит обушком ножа цепкую пленку, на ногте большого пальца левой руки отщелкнет в последний раз с кончика расщепа ровно столько, сколько нужно по вкусу любого писца. Перо теперь окончательно излажено «по руке». Отмахнувши кончик бородки, иной для доброго приятеля из той же бородки сделает елочку – и получается готовое оружие для прицелов. Скрипит оно в руках другого умелого мастера, который действует также, склонив голову набок, откинув глаза в одну сторону, а пожалуй, даже и язык на отброс. До сих пор перо только щелкало под перочинным ножом на весу и на свету – теперь оно заскрипело в упор по белой бумаге. Стало, словом, так, как предлагается досужей загадкой: голову срезали, сердце вынули, дали пить, стали говорить. А затем бумага терпит, перо пишет – на темные глаза деревенского люда, приученного не верить тому, у кого перо за ухом, – пишет про то, что не стешешь и не вырубишь потом топором, и зачастую недоброе на чужую голову. Бывало, старый подьячий – по пословице – «за перо возьмется, у мужика мошна и борода трясется». В эти-то, теперь уже далекие, времена в том многочисленном сословии, которое было вспоено чернилами,

в гербовой бумаге повито, концом пера вскормлено, всегда выделялись особые мастера для изготовления готовых чиненых перьев, особенно для сварливых и капризных начальников. Подбирался сюда народ ни к чему другому не способный, обычно грамоте мало разумеющий и даже в писцы-копиисты не годившийся. В эти самые нижние слои чернильного царства по большей части оседали сыновья местных влиятельных лиц, так называемые матушкины, умственно бессильные, нуждавшиеся в покровительстве сильных и сами охотливые до коренной льготы, предоставленной обычаем всем этим щелкающим, а не скрипящим перьям, быть свободными от занятий далеко прежде других. Они уходили из судов и приказов тотчас, как все требуемое для чернильной фабрики количество чиненых перьев было ими изготовлено. Всякий из таких счастливцев-пустозвонов был свободен снова идти гранить мостовую, зубоскалить в общественных садах и на городских бульварах обижать невинных, задевать бессильных и т. п.

НЕЧИСТАЯ, НЕВЕДОМАЯ И КРЕСТНАЯ СИЛА

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Предприняв исследование быта великорусских крестьян-землепашцев, я обратился к покойному С. В. Максимову как к знатоку народных верований, прося его помочь мне разобраться в материалах, собранных по моей программе от местных сотрудников.

Труд, который оставил мне С. В. Максимов, не облегчил моей задачи, заключавшейся в том, чтобы, опираясь на сообщенные факты народной жизни, придти к общим выводам и установить связь между верованиями крестьянина и его деятельностью, под которой я разумею поступки и поведение человека вообще.

Но сама по себе работа С. В. Максимова имеет большие достоинства, и это одно налагает на меня обязанность выпустить ее в свет, не говоря уже о том, что имя автора, оставившего такие труды, как «Сибирь и каторга», «Год на Севере», «Крылатые слова» и пр., настолько высоко стоит в нашей народнической литературе, что лишить русских читателей последнего сочинения С. В. Максимова было бы преступлением.

В настоящем своем труде С. В. Максимов пользовался не только фактами, сообщенными моими сотрудниками, но и собственным огромным запасом наблюдений, собранным им еще в молодые годы, когда по образу пешего хождения, одетый странником, он отправлялся в народ. В живых образах рисует автор и

мужика, и бабу как тенетами опутанных верой в нечистую силу; с метким юмором характеризует простоватого русского черта и его незатейливые проказы и в то же время с удивительной глубиной оттеняет ту борьбу между миром язычества и христианства, которая и доднесь не закончилась еще на Святой Руси.

Язык С. В. Максимова своеобразно-народный и, не преувеличивая, можно сказать, что умеющих применять его так, как это делал автор «Сибири и каторги», больше не будет.

Над рукописью, оставленною покойным автором, пришлось поработать, чтобы приготовить ее к печати, а последняя часть трилогии – «Крестная сила» – была даже не вполне закончена, так что ее пришлось дополнить при помощи собранных мной материалов. Весь этот труд завершен А. А. Яблоновским.

Кн. В. Н. Тенишев.

НЕЧИСТАЯ СИЛА

I.
ЧЕРТИ-ДЬЯВОЛЫ
(Бесы)

В народном сознании глубоко укоренилось верование, что сонмы злых духов неисчислимы. Очень мало на Божьем свете таких заповедных святых мест, в которые они не дерзали бы проникать; даже православные храмы не освобождены от их дерзких нашествий. Эти бесплотные существа, олицетворяющие собою самое зло, – исконные враги человеческого рода; они не только наполняют безвоздушное пространство, окружающее вселенную, не только проникают в жилища, делая многие из них необитаемыми[1], но даже вселяются в людей, преследуя их беспрестанными искушениями.

[1] Напр., трудно представить себе любой большой русский город, в котором не указывали бы на дома, населенные чертями и покинутые по причине разных проказ нечистой силы, производящей шум и возню, швыряющей камнями, щепой, песком и т. п.

Насколько многочисленны эти незримые людские ненавистники, можно судить по богатству самых разнообразных прозвищ этой нежити, лукавой и нечистой силы. Более чем к сорока именам черта, насчитанным В. И. Далем (в его Толковом словаре великорусского языка), еще следует присоединить тот десяток духов, которым присвоены особенные имена и предназначены определенные места для пребывания, и сверх того перечислить те прозвища, которые вращаются в живом народном языке, но еще не подслушаны и не уловлены[1]. Повсеместное же пребывание чертей и их свободное проникновение повсюду доказывается, между прочим, существованием общих верований и обычаев, усвоенных на всем пространстве великой православной Руси. Так, например, в деревенских избах почти невозможно найти таких сосудов для питьевой воды, которые не были бы покрыты если не досчатой крышкой или тряпицей, то, в крайнем случае, хоть двумя лучинками, положенными «крест на крест, чтобы черт не влез». Равным образом, среди русского простонародья нелегко натолкнуться на такого рассеянного или забывчивого человека, который, зевнувши, не перекрестил бы своего рта, чтобы святым знамением заградить туда вход нечистому духу. То же самое, с произнесением слов «свят, свят, свят», исполняется и во время грозы при каждом раскате грома, так как черт боится молнии и прячется за спину людей, чтобы Господь не поразил его. Эти обычаи и приемы, может быть,

[1] Вот для любознательных эти названия: агорянин или огарянин (Орловской губ. и уезда), бес, нежить, нечисть, злой дух, демон, сатана, дьявол, черт, вельзевул, царь тьмы, князь тьмы, царь ада, царь преисподней, змий, кромешный, враг, «тот», «он», ворог, вражья сила, недруг, неистовый, лукавый, нечистый, луканька, не наш, недобрый, недобрик, нелегкий, нелегкая, нечистая сила, нечестивый, неладный, соблазнитель, блазнитель, морока, мара, лихой, игрец, шут, шайтан, черная сила, черный, неключимая сила, некошный (т. е. нечистый или поганый), ненавистник рода человеческого, леший, лесовик, дворовый, банник, гуменник, кикимора, русалка, полевой, полевик, водяной, хозяин, хохлик, шиш, шишимора, шишига, шиликун, отяпа, летучий, огненный змей, несветик, рогатый, пралик, немытый, немытик, левый, идол, окаянка, окаяшка, шехматик, сопротивник, нехороший, анчутка безпятый, родимец, супостат, шутошка, дерт (в Шуйском уезде Владимирской губ. «д» вместо «ч»), т. е. черт.

столь же древние, как само христианство на Руси, поддерживались потом более позднейшими, но столь же почтенной старины, народными легендами[1].

Обратимся к описанию многоразличных коварств и разнообразнейших похождений этих духов дьявольской породы, не ограниченных в своей деятельности указаниями явно определенного места (как дома, леса, воды и пр.) и точно обозначенного времени.

1. ДОМА

Хотя чертям для их похождений и отведена, по народному представлению, вся поднебесная, тем не менее и у них имеются излюбленные места для постоянного или особенно частого пребывания. Охотнее всего они населяют те трущобы, где дремучие леса разрежаются сплошными полосами недоступных болот, на которые никогда не ступала человеческая нога, и лишь осторожно шагают длинноногие болотные птицы. Здесь на трясинах или заглохших и заросших озерах, где еще сохраняются пласты земли, сцепленные корнями водорослей, человеческая нога быстро тонет, а неосторожного охотника и дерзкого путника засасывает в глубь подземная сила и прикрывает сырым и холодным пластом, как гробовой доской. Тут ли не водиться злой дьявольской силе и как не считать чертям такие мочаги, топи, ходуны-трясины и крепи-заросли благоприятными и роскошными местами для надежного и удобного жительства?

[1] Одна из таковых, чисто великорусского происхождения и повсеместно распространенная, повествует, что некий святой подвижник (по преданиям Поволжья – Андрей Блаженный) встретил беса, всего выпачканного.

– Иди обмойся водой речной, – посоветовал святой: что ты таким пакостным ходишь?

– К реке меня не пускает ангел, а велит идти в ту первую избу, где стоит непокрытою кадка с водой и где она не ограждена крестным знамением. Туда я и иду. Мы все там всегда и обмываемся.

Порченные и кликушки во время припадков беснования громогласно, при всем народном множестве, определяют, даже подлинным счетом, число бесов, которые залетели к ним через рот и гложут их животы (чаще всего сорок).

– Отчего ты, черт, сидишь всегда в болоте? – спрашивает обездоленный болотистой и мокрой родиной белорус своего рогатого и хвостатого черта.

– Привык! – коротко и ясно отвечает тот, и отвечает как за себя лично, так и за других, столь же неохотно переменяющих старое и насиженное место жительства на неизвестное, хотя бы и лучшее, новое.

– В тихом болоте черти водятся, – неизменно верят великороссы.

– Было бы болото (подкрепляют они, с другой стороны), а черти будут.

– Не ходи при болоте: черт уши обколотит, – доброжелательно советует третья из множества и столь же распространенная пословица[1].

– И вылез бы черт из болота, и пошел бы в деревню к мужику на свадьбу, да попа боится, – выдают за истинно проверенное наблюдение.

Болотные черти живут семьями: имеют жен, плодятся и множатся, сохраняя свой род на бесконечные времена. С их детьми, бойкими и шустрыми чертенятами (хохликами), такими же черными (в отличие от немецких красненьких)[2], мохнатыми и в шерсти, с двумя острыми рогами на макушке головы и длинным хвостом, не только встречались деревенские русские люди, но и входили с ними в разнообразные сношения. Образчики и доказательства тому в достаточном количестве разбросаны в народных сказках и, между прочим, в известной всем пушкинской сказке о работнике Балде. Один солдат, строгих николаевских времен, проносил чертенка в тавлинке целый год со днем. Некоторые уверяют, что черти – востроголовые, как птицы сычи, а многие, сверх того, уверены, что эти духи непременно хромые. Они сломали себе

[1] Из подобных пословиц в народе вращаются, напр., еще следующие: «навели на беса, как бес на болото»; «ходит черт по мхам, по борам, по болотам»; «всякий черт свое болото хвалит»; «вольно черту на своем болоте орать»; иной ворочает в доме, как черт в болоте, и правит домом, как тот же черт болотом, «гнилого болота и черти боится» и т. д.

[2] У наших чертей красными бывает только колпак на голове.

ноги еще до сотворения человека, во время сокрушительного падения всего сонма бесов с неба[1]. Так как на землю было свержено нечистой силы очень много, то она, во избежание вражды и ссор, очертила свои владения кругом. Этот круг возымел особое действие и силу: всякий попавший в него и переступивший след нечистого обязательно блуждает и без помощи особых средств из него не выйдет и не избавится от дьявольского наваждения.

Когда народная фантазия наделила чертей многими человеческими свойствами, последовательность воображения потребовала изобретения дальнейших сходств и уподоблений. Бесспорно решено, что эти духи подвержены многим людским привычкам и даже слабостям: любят ходить в гости друг к другу, не прочь попировать с размахом. На своих любимых местах (перекрестках и росстанях дорог) черти шумно справляют свадьбы (обыкновенно с ведьмами) и в пляске подымают пыль столбом, производя то, что мы называем вихрями. При этом люди, бросавшие в такие пыльные столбы ножи или топоры, удачно разгоняли свадьбу, потом на том месте находили всегда следы крови, и после того какая-нибудь слывшая ведьмой колдунья долго ходила либо с обвязанным лицом, либо с подвязанной рукой. На пирах, устраиваемых по случаю особенных побед над людьми, равно как и на собственных свадьбах, старые и молодые черти охотно пьют вино и напиваются; а сверх того любят курить табак, получаемый в дар от догадливых и трусливых людей[2]. Самое же любимое занятие, превратившееся у чертей в неутолимую страсть, это – игра в карты и кости. В игре для чертей нет удержу и не установлено законов: проигрывают все, что есть за душой (а душа им полагается настоящая, почти такая же, как у людей). Впрочем, если пойдет дело на полную откровенность, то окажется, что дьявольская сила виновна в изобретении и самого вина и табачного зелья, да и нечистая игра в карты с передержкой и подтасовкой от-

1 Как сообщают из Смоленской губ., черти летели с неба сорок дней и сорок ночей, и кто где упал, тот там и остался хозяином.

2 Олончане даже к рыболовным сетям привязывают листовой табак.

несена прямо к бесовским же вымыслам и науке. Конечно, все эти наветы требуют тщательной проверки ввиду того, что уже слишком во многом обвиняют чертей, например, даже в изобретении таких злаков, как чай и картофель, – не далее начала прошлого столетия вошедших во всеобщее употребление. В последнем случае оказывается явный поклеп; первое же обвинение – в изобретении вина и табачного зелья – затемняется противоречивыми показаниями. Очевидно, свидетели, недостаточно уверенные в самом факте, стремятся лишь настойчиво навязать то, в чем сами не вполне убеждены и еще колеблются. Так, например, вологжане думают, что предков их выучил варить веселое пойло какой-то странник в благодарность за то, что один добрый мужик приютил его: посадил за стол, нарезал несколько ломтей хлеба, поставил солонку с солью, жбан с квасом. Вдвоем они открыли несколько кабаков, и потянулся туда народ бесчисленными толпами. Во Владимирской губ. черт (также в виде странника, в лаптях, в кафтане и с котомкой за плечами) поведал тайну варить пиво встречному бедняге, который выплакал ему свое житейское горе и разжалобил его. Счастливый мужичок впоследствии похвастался своим уменьем царю, а неизвестный царь велел варить во всем государстве это самое пиво, которое теперь прозывают вином. У смоляков черт со своим винокуренным мастерством нанялся в работники и научил доброго хозяина гнать водку, как раз накануне свадьбы дочери и т. д.

В рассказах о происхождении табака еще больше разногласий: то он вырос из могилы кровосмесителей (сестры и брата), то из головы евангельской блудницы (Вятская губ.), то из тела свихнувшейся чернички, убитой громом (Пензенская губ.), то, наконец, из могилы какого-то неведомого человека (Симбирская губ.). У вологжан есть поверье, что разводить табак выучил встречного в лесу помещика неизвестный черный охотник и т. д.

В подобных догадках и розысках дошли досужие люди до забавного и веселого. Раз у черта (рассказывают мещовские калужане) померла теща и захотел он ее помянуть получше.

Собрал он всех грешников по этой части, то есть курильщиков и нюхальщиков. Вот куритель курит-курит да сплюнет. Черт увидал это и велел всех курильщиков прогнать: они теще его все глаза заплевали. А нюхальщиков всех оставил: они понюхают и их прошибет слеза – значит, и хорошо для поминок-то чертовой тещи. У тех же калужан, придерживающихся старой веры (в Мещовском уезде), сложилась насмешливая поговорка: «наша троица в табаке роется» (намек на то, что нюхальщики роются в табакерках тремя пальцами и как раз теми, которые слагаются для крестного знамения).

2. В ЛЮДЯХ

Все прямые отношения нечистой силы к человеческому роду сводятся к тому, что черти либо проказят, прибегая к различным шуткам, которые у них, сообразно их природе, бывают всегда злы, либо наносят прямое зло в различных его формах и, между прочим, в виде болезней. Словом – черти устраивают против людей всякие козни и исполняют главное свое назначение, состоящее в многообразных искушениях. Для облегчения своей деятельности во всех ее направлениях дьявольская сила одарена способностью превращений, то есть черти могут совершенно произвольно сменять свою подозрительную и страшную бесовскую шкурку, принимая личину, сходную с людскою и вообще принимая формы, более знакомые и привычные для человеческого глаза.

Превращения. Переверты всякого рода и разновидные перекидыши производятся чертями с такою быстротою и внезапною стремительностью, какой не в силах представить себе людское воображение: последовательно проследить быстроту этих превращений не может самый зоркий глаз.

Всего чаще черти принимают образ черной кошки, почему во время грозы догадливые деревенские хозяева всегда выбрасывают животных этой масти за дверь и на улицу, считая, что в них присутствует нечистый дух (отсюда выражение, что при ссоре пробегает между людьми черная кошка).

Не менее того черти облюбовали образ черной собаки, живых людей (при случае, даже малого ребенка) и великанов огромного роста, вровень с высочайшими соснами и дубами. Если задумает черт выйти из своего болота в человеческом образе и явиться, например, бабе в виде вернувшегося из отлучки мужа, то он представляется всегда скучающим и ласковым. Если же встречается он на дороге, обернувшись кумом или сватом, то является непременно пьяным и готовым снова выпить, да сделает так, чтобы сват очутился потом либо на краю глубокого оврага, либо в колодце, в помойной яме, либо у дальнего соседа и даже на сучке высокого дерева с еловой шишкой в руке вместо рюмки вина.

Остальные превращения идут в последовательном порядке. Черти оборачиваются: в свинью, лошадь, змею, волка, зайца, белку, мышь, лягушку, рыбу (предпочтительно щуку), в сороку (из птичьего рода это любимый образ) и разных других птиц и животных. Из последних, между прочим, в неизвестных, неопределенного и страшного вида[1]. Перевертываются даже в клубки ниток, в вороха сена, в камни и пр. Вообще черти принимают самые разнообразные формы, какие только способно допустить пылкое людское воображение, однако же не без некоторого ограничительного законного предела. Такой предел существует и упорно оберегается: не всегда, например, решаются черти представляться коровой, самым дорогим и полезным домашним животным, да подобному перевертышу и самая глупая баба не поверит. Не дерзают злые духи прикидываться петухами-вестниками приближения светлого дня, который столь ненавистен всякой злой силе, и голубями – самой чистой и невинной птицей в целом мире, памятуя, Кто удостаивал принимать на себя образ этих милых и ласковых воркунов из царства пернатых. Точно так же никто не видал злой нежити в ослиной шкуре, так как всей их нечистой породе, со времен явления Христа на земле, стало известным, что сам Господь благоволил из-

[1] В лесу с лесом «равен», говорят в Сарапульском уезде Вятской губ., в поле с травой, а в людях с человеком (равен, т. е. схож).

брать осла для Своего победоносного шествия во святой град, к прославлению Своего божественного имени и учения.

Какой бы образ ни принял на себя дьявол, его всегда выдает сиплый, очень громкий голос с примесью устрашающих и зловещих звуков («дух со страху захватывает»). Иногда он каркает черным вороном или стрекочет проклятой сорокой. По черному цвету и шерсти животных и птичьих перьев тоже распознается пришествие хитрых бесов, и притом именно бесов, потому что, например, колдуны и ведьмы, в отличие от чертей, бывают перевертышами исключительно белых и серых цветов. Зато при всяком превращении черти-дьяволы так искусно прячут свои острые рожки и подгибают и свертывают длинный хвост, что нет никаких сил уличить в обмане и остеречься их.

Искушения. Смущать человеческий род соблазном или завлекать лукавством – прямая цель дьявольского пребывания на земле. Причем люди искупаются по прямому предписанию из преисподней и по особому выбору самого князя тьмы или сатаны. Стараются совращать с пути блага и истины те наиболее искусные черти, у которых наука искушений доведена до высокой степени совершенства в течение бесчисленного ряда лет неустанной и неослабной работы. Искуситель всегда налицо: зазвенело в левом ухе – это он летал сдавать сатане грехи того человека, сделанные за день, и вот теперь прилетел назад, чтобы снова стать на страже и выжидать случая и повода к соблазнам. Искуситель, по народному представлению, неизбежно находится у человека с левого бока и шепчет ему в левое ухо о таких злых деяниях, какие самому человеку и в ум не пришли бы без коварных наветов черта. «Черт попутал», – уверенно и обычно говорят все, испытавшие неудачу в начинаниях, а еще чаще те, которые нежданно впали в прегрешение. Могут попутать свои грехи, могут попутать недобрые люди, но, по народным понятиям, и в том, и другом случае действуют колдуны, ведьмы и злые духи кромешного ада. Для последних личный прямой расчет заключается не в том, чтобы связываться, например, с ворами и разбойниками – людьми уже испорченными, а главным образом в том, чтобы увиваться

около хороших людей, испытанной твердости правил и добрых нравов. Во всех таких случаях бесы работают с полной уверенностью в победе и с верой в свою великую силу: «черт горами качает» – говорится испокон века. Вот несколько народных рассказов, характеризующих власть чертей над человеком.

Жил в деревне парень хороший, одинокий и в полном достатке: лошадей имел всегда штуки по четыре; богомольный был – и жить бы ему да радоваться. Но вдруг ни с того, ни с сего начал он пьянствовать, а потом, через неделю после того, свою деревню поджег. Мужики поймали его на месте: и спички из рук еще не успел выбросить. Связали его крепко, наладились вести в волость. На задах поджигатель остановился, стал с народом прощаться, поклонился в землю и заголосил:

– Простите меня, православные! И сам не ведаю, как такой грех прилучился, – и один ли я поджигал, или кто помогал и подговаривал – сказать не могу. Помню одно, что кто-то мне сунул в руки зажженную спичку. Я думал, что дает прикурить цыгарку, а он взял мою руку и подвел с огнем под чужую крышу. И то был незнакомый человек, весь черный. Я отдернул руку, а крыша уже загорелась. Я хотел было спокаяться, а он шепнул: «Побежим от них!» Кто-то догнал меня, ткнул в шею, свалил с ног – вот и связали. Оглянулся – половина деревни горит. Простите, православные!

Стоит на коленях бледный, тоскливо на всех глядит и голосом жалобно молит; слезами своими иных в слезы вогнал. Кто-то вымолвил:

– Глядите на него: такие ли бывают лиходеи?

– Видимое дело: черт попутал.

– Черт попутал парня! – так все и заголосили. Судили-рядили и порешили всем миром его простить. Да старшина настращал: всей-де деревней за него отвечать придется. Сослали его на поселенье. Где же теперь разыскать того, кто толкал его под руку и шептал ему в ухо? Разве сам по себе, ведомый парень-смирена, на такое недоброе дело решился бы?

Один молодец с малых лет приобык к водке, да так, что когда стал хозяином и некого было бояться, пропил все на

смех людям, на пущее горе жены и детей. Насмешки и ругань не давали ему прохода.

– Дай-ка я удавлюсь, опростаю руки. Некому будет и голосить, а еще все будут рады! – подумал молодец про себя, а вскоре и всем стал об этом рассказывать.

Один старичок к его речам прислушался и посоветовал:

– Ты вот что, друг, когда пойдешь давиться или заливаться (топиться), то скажи: душу свою отдаю Богу, а тело черту. Пущай тогда нечистая сила владеет твоим телом!

Распростился мужик со своими, захватил вожжи и пошел в лес. А там все так и случилось, как быть надо. Явились два черта, подхватили под руки и повели к громадной осине. А около осины собралось великое сборище всякой нечисти: были и колдуны, и ведьмы, и утопленники, и удавленники. Кругом стоят трясучие осины, и на каждой сидит по человеку и все манят.

– Идите поскорее: мы вас давно ожидаем!

Одна осина и макушку свою наклонила – приглашает. Увидали черти нового товарища, заплясали и запели; на радостях кинулись навстречу, приняли из рук вожжи, захлестнули за крепкий сук – наладили петлю. Двое растопырили ее и держат наготове, третий ухватил за ноги и подсадил головой прямо к узлу. Тут мужик и вспомнил старика и выговорил, что тот ему велел.

– Ишь, велико дело твое мясо, – закричали все черти. – Что мы с ним будем делать? Нам душа нужна, а не тело вонючее.

С этими словами выхватили его из петли и швырнули в сторону.

В деревне потом объяснял ему тот же старик:

– Пошла бы твоя кожа им на бумагу. Пишут они на той бумаге договоры тех, что продают чертям свои души, и подписывают своей кровью, выпущенной из надреза на правом мизинце.

Так как во всякого человека, которого бьет хмелевик (страдает запоем), непременно вселяется черт, то и владеет он запойным в полную силу: являясь в человеческом виде, манит его то в лес, то в омут. А так как бес выбирает себе место прямо в сердце, то и не бывает тому несчастному нигде покоя и

места от страшной тоски. Пока догадаются исцелить такого человека единственным надежным средством «отчитыванием», то есть пока не прочитают над ним всей Псалтири три раза, – коварный враг человеческого рода не перестанет смущать его и производить свои козни.

Овдовела, например, одна баба, да и затужила по муже: начала уходить из избы и по задворкам скрываться. Если она, склонив голову на руки, сидит на людях, то кажется, что она совсем одеревенела – хоть топором ее секи. Стали домашние присматривать за ней из опасения, как бы она руки на себя не наложила, но не углядели: бросилась баба вниз головой в глубокий колодезь. Там и нашли окоченелый и посинелый труп ее. Добрые люди ее не обвинили, а пожалели:

– Черт смутил, скоро поспел, в сруб пихнул: где слабой бабе бороться с ним?

Благочестивые же, строгие люди, положивши за грешную душеньку крестное знамение, не преминули открыто выговорить, в суд и в осуждение самоубийцы, заветную мысль:

– Коли сам человек наложил на себя руки – значит, он «черту баран»[1].

«Черту баран» в равной мере и тот, кто прибегает к насильственной смерти, и тот, кто совершает поджог, убийство по злой воле (по внушению дьявола), и те, которые попадают в несчастье от неравновесия душевных сил переходного возраста. Все душевнобольные и ненормальные суть люди порченые, волею которых управляет нечистая сила, кем-либо напущенная и зачастую наталкивающая на злодеяние – себе на потеху. Тешат эти люди черта – делают из себя для него «барана» – в тех случаях, когда вздумает бес прокатиться, погулять, потешить себя, а то и просто возить на них воду как на существах совершенно безответных, беззащитных, подобно овцам, и вполне подчиненных. Для того-то, собственно, и выбрано это самое кроткое безответное животное. Оно же у бесов любимое, в противоположность козлу, которого черти

[1] Иногда – и гораздо реже – это выражение заменяется двумя другими: черту свечка, черту кочерга (уголья мешать в геенне огненной).

боятся от самого сотворения мира (вот почему держат до сих пор козлов на конюшнях). Кроме того, на самоубийцах на том свете сам сатана разъезжает таким образом, что запрягает одних вместо лошадей, других сажает за кучера править, а сам садится на главном месте в развалку, понукает и подхлестывает. По временам заезжает он на них в кузницы и там подковывает бараньи копыта подобно лошадиным. Когда же сатана сидит на своем троне в преисподней, то всегда держит на коленях Иуду, Христопродавца и самоубийцу, с кошельком в руках, из которого всем бесам отпускаются деньги на разные расходы по делу соблазнов и взысканий за содеянное грешными людьми. В таком виде сатану и на иконах пишут, и на тех картинах Страшного Суда, которые обычно малюются на западных стенах православных храмов. А чтобы вернее и удобнее попали во власть нечистой силы все утопленники и удавленники, – их стараются похоронить там, где они совершали над собою тяжкий грех самоубийства, причем погребают этих несчастных под голою насыпью, совсем без креста и вне кладбищенской ограды.

Проказы чертей. Первыми жертвами при забавах нечистой силы являются обыкновенно пьяные люди: то черти собьют с дороги подвыпивших крестьян, возвращающихся домой с храмового праздника из соседних деревень, то под видом кума или свата вызовутся на такой раз в провожатые. Ведут видимо по знакомым местам, а на самом деле, смотришь, человек очутился либо на краю обрыва горы, либо над прорубью, либо над водою, на свае мельничной запруды и т. п. Одного пьяного мужика посадил дьявол в колодец, но как и когда – несчастный человек не мог сообразить и припомнить: был на игрище, вышел на крыльцо прохладиться, да и пропал. Стали искать и услыхали крик в колодце. Вынули и узнали следующее:

– Позвал сват пить чай да пиво. Выпил чашку пива и увидал, что не у свата я в гостях, а в колодце, да и не пиво пью, а холодную воду. И не стаканчиком ее пью, а прямо в захлебку.

Однако наряду с этими злыми шутками, черти, по воззрениям народа, сплошь и рядом принимают пьяных под свое

покровительство и оказывают им разнообразные услуги. На первый взгляд, в таком поведении чертей можно усмотреть как будто некоторое противоречие. В самом деле: черт, злая сила, представитель злого начала, и вдруг оказывает людям добрые услуги. Но на самом деле противоречия здесь нет: каждый пьяный есть прежде всего слуга черта: своей греховной страстью к вину он «тешит беса», и потому черту просто нет расчета причинять своим верным слугам какое-нибудь непоправимое зло, – напротив, есть расчет оказывать им помощь. Сверх того, никто другой, как именно черт наталкивает на пьянство, наводит на людей ту болезнь, которая зовется хмелевиком, или запоем: он, следовательно, в вине, он и в ответе. Не наказанием же считать его заботы о пьяных и его хлопоты около тех, которые прямо лезут в огонь или воду, и не карает же он, в самом деле, если забавляется с охмелевшим человеком и шутит шутки, хотя бы даже и злые (что ему и к лицу, и по нраву). Привел пьяного к куму в гости – велел раздеваться; захотелось пьяному пить – указал на целый ушат с пивом: пей да зубы не разбей, – долго оно на дворе стояло, замерзло. Раздевшись, испытуемый стал разуваться, озяб. Осмотрелся и видит, что сидит на сломанном пне и босая нога стоит в снегу, а вдали огонек светит. Увидал его, схватился бежать и бежал, как угорелый. На горе по обрыву последний сапог потерял; у окна свата стучал и кричал: замерзаю, пустите! – И предстал разутым, раздетым, без шапки. Сват с досады спрашивает: «Где тебя черт носил?» – отвечает с уверенностью и твердым голосом: «Он-то меня и носил!» И в самом деле: на откосе валеный сапог нашли, шапку и полушубок сняли с сучка в лесу, а рукавицы валялись подле проруби на реке, из которой угощал давишный кум холодным пивом.

Черт любит, говорят, пьяных по той причине, что таких людей ему легче наталкивать на всякий грех, внушать дурные мысли, подсказывать черные и срамные слова (очень часто хлесткие и остроумные), наталкивать на драку и на всякие такие поступки, для которых у всех, за неимением верного, есть одно дешевое и вечное оправдание: «черт попутал».

– По пьяному-то делу мало-ль чего не бывает, – толкуют опытные люди, – напустит «он» жуть (страх) либо тоску, так и незнамо что представится. Со страху да тоски руки на себя наложишь, а он и рад: начнет под бока подталкивать, на ухо нашептывать. Ты только петлю накинь, а он под руку подтолкнет – и затянет. Затем они и на землю являются, чтобы ввести человека в грех или нанести какой-либо вред.

Трезвые и степенные люди взводят на бесовскую силу немало и других поклепов и обвиняют ее в самых разнообразных злодеяниях и даже в посягательствах на человеческую жизнь. Так, например, во время грозы бес, преследуемый стрелами молнии, прячется за человека, подвергая его явной опасности. Поражая беса, Илья Пророк или Михаил Архангел могут убить и невинного. Вот почему во время грозы надо креститься. Надо поступать подобным же образом перед едою и питьем, помня, что нечистая сила любит проказить, оскверняя неосвещенные сосуды чем ни попало. Это (по свидетельству житий), между прочим, любимые шалости чертей, к каковым они также прибегают для соблазнов.

Похищают детей. Вращается часто в деревенском быту ругательное слово *оммен* (т. е. обмен, обменыш), основанное на твердом веровании в то, что дьявол подменяет своими чертенятами некрещеных человеческих младенцев. Без разбору черти уносят и тех, которых в сердцах проклинают матери, и таких, которым в недобрый час скажут неладное (черное) слово вроде: хоть бы леший тебя унес. Уносят и младенцев, оставленных до крещения без надлежащего присмотра, то есть когда младенцам дают заснуть не перекрестивши их, дают чихнуть и не поздраствуют ангельскую душу, не пожелают роста и здоровья. Особенно не советуют зевать в банях, где обыкновенно роженицы проводят первые дни после родов. Нечистая сила зорко сторожит и пользуется каждым случаем, когда роженица вздремнет или останется одна. Вот почему опытные повитухи стараются не покидать матерей ни на одну минуту, а в крайнем случае, при выходе из бани, крестят все углы. Если же эти меры предосторожности не бу-

дут приняты, то мать и не заметит, как за крышей зашумит сильный ветер, спустится нечистая сила и обменит ребенка, положив под бок роженицы своего «лешачонка» или «обменыша». Эти обменыши бывают очень тощи телом и крайне уродливы: ноги у них всегда тоненькие, руки висят плетью, брюхо огромное, а голова непременно большая и свисшая на сторону. Сверх того, они отличаются природной тупостью и злостью и охотно покидают своих приемных родителей, уходя в лес. Впрочем, живут они недолго и часто пропадают без вести или обращаются в головешку.

Что касается судьбы похищенных детей, то черти обыкновенно носят их с собой, заставляя раздувать начавшиеся на земле пожары. Но бывает и иначе. Похищенные дети отдаются на воспитание русалкам или проклятым девкам, у которых они остаются, превращаясь впоследствии: девочки в русалок, мальчики в леших. Сюда же, к неизвестным «тайным людям» или к самим дьяволам, поступают «присланные дети», то есть случайно задушенные матерями во время сна. И в том, и в другом случае душа ребенка считается погибшей, если ее не спасет сама мать постоянными молитвами в течение 40 дней, при строжайшем посте. Ребенок, унесенный «тайными людьми», делается сам тайным человеком: невидимо бродит по белому свету, отыскивая себе пропитание. Пьет молоко, оставленное в горшках неблагословленным, снимает с крынок сметану. Если же ребенок похищен дьяволом, то последний помещает его в темной и тесной темнице. Хотя в темнице нет ни огня, ни кипящей смолы, как в кромешном аде, зато ребенок навсегда лишается света и будет вечно проклинать свою мать за то, что она не уберегла его. Впрочем, для матери, осыпаемой упреками посторонних и страдающей от личного раскаяния, имеется из этого мучительного положения выход. Необходимо три ночи простоять в церкви на молитве; но беда в том, что не всякий священник разрешает это. Тем не менее несчастные матери слепо веруют, что если ребенка похитили тайные люди, то он, по молитве, явится на своем месте целым и, по окропления святою водою, останется невредимым. Но зато матерям с чертями

предстоит много хлопот, так как приходится подвергать себя тяжелым испытаниям, которые не по силам женской природе.

Лишь только наступит ночь и, женщина, оставшись одна в церкви, встанет на молитву, как тотчас же начинает она подвергаться всяким ужасам: позади поднимается хохот и свист, слышатся топанье, пляски, временами детский плач и угрозы. Раздаются бесовские голоса на соблазн и погибель:

– Оглянись – отдадим!..

Кричит и ребенок:

– Не мать ты мне, а змея подколодная!

Оглянуться на тот раз – значит на веки погубить себя и ребенка (разорвут черти на части). Выдержать искушение – значит увидеть своего ребенка черным, как уголь, которого на одну минуту покажут перед тем, как запеть вторым петухам.

На вторую ночь происходит то же самое, но с тем лишь различием, что на этот раз ребенок не клянет своей матери, а твердит ей одно слово: молись! После первого петуха появляется дитя наполовину тела белым.

Третья ночь – самая опасная: бесы начинают кричать детским голосом, пищат и плачут, захлебываясь и с отчаянными взвизгами, умоляя взять их на руки. Среди деланных воплей до чуткого уха любящей матери, храбро выдерживающей искус, доносятся и нежные звуки мягкого голоса, советующего молиться:

– Матушка, родная ты моя! Молись, молись – скоро замолишь.

Пропоет третий раз петух – и дьявол бросает перед матерью совершенно белого ребенка, то есть таким, каким она его родила.

– Теперь ты мне родная мать – спасибо: замолила! – прокричит дитя и мертвым, но спасенным, остается лежать на церковном полу.

За отказом священников, беспокойства сокрушающихся матерей доходят до крайних пределов, и только благодаря богомольным настроениям они находят успокоение в хождениях по монастырям и в увещаниях благочестивых старцев,

признаваемых за святых. От старцев тоскующие матери и приносят домой уверенность в том, что и душа заспанного младенца пойдет туда же, куда все души прочих умерших детей, то есть прямо в святой рай, к самому Господу Богу.

Соблазняют женщин. Из некоторых житий святых особенно по афонскому Патерику и из народных сказок довольно известны сладострастные наклонности всей бесовской породы. Эти наклонности проявляются как в личных поступках отдельных бесов, так и в характере людских искушений, потому что бесы всего охотнее искушают людей именно в этом направлении. В истории борьбы христианства с язычеством в Византии есть немало указаний на ту же блудную наклонность дьяволов и на связь их с гречанками того времени. Стоит и в наши дни, у нас на Руси, поскучать молодой бабе по ушедшем на заработки муже, в особенности же вдове по умершем, как бесы и готовы уже на утеху и на услуги. Пользуясь способностью перекидываться (принимать на себя всякие личины) и ловкостью в соблазнах и волокитствах, бесы добиваются полных успехов. Начинают, например, замечать соседи, что баба-вдова иногда то сделается как бы на положении беременной, а то и опять ничего незаметно, нет никаких перемен. В то же время она со всякой работой справляется отлично, летом выходит в поле одна, а делает за троих. Все это, вместе взятое, приводит к предположению, что баба находится в преступной связи с дьяволом. Убеждаются в том, когда начнет баба худеть и до того исхудает, что останутся только кожа да кости. Прозорливые соседки видят даже, как влетает в избу нечистый в виде огненного змея, и с клятвою уверяют, что на глазах у всех бес влетел в трубу и рассыпался огненными искрами над крышей.

Поверья об огненных змеях настолько распространены, а способы избавляться от их посещений до того разнообразны, что перечисление главных и описание существенных может послужить предметом особого исследования. Рассказы о таких приключениях поражают своею многочисленностью, но в то же время и докучным однообразием. Входит бес во временную сделку с несчастной, поддавшейся обману и соблазну,

и всего чаще с женщиной, допустившей себя до полного распутства. Оба стараются, по условию и под страхом тяжелого наказания, держать эту связь в величайшей тайне, но греховное дело с нечистым утаиться не может. Находится достойный человек, которому доверяется тайна и отыскивается средство благополучно прекратить это сношение. Помогает в таких случаях накинутый на беса (обычно являющегося в виде дородного мужчины) лошадиный недоуздок. Отваживают от посещений еще тем, что нащупывают у соблазнителя спинной хребет, какового обычно у этих оборотней не бывает. Иных баб, сверх того, спасают отчитываньем (от блудного беса по требнику Петр Могилы); другим помогает чертополох (cisium и carduus) – колючая сорная трава, равно ненавистная всей нечистой силе. Приглашают также в дом священника служить молебен; пишут во всех углах мелом и дегтем кресты, курят из ручной жаровенки ладаном и проч.[1]

Рассказывают, что иногда и сами черти налетают на беду и остаются в дураках: убегают от сварливых бедовых баб опрометью, добровольно и навсегда. Болтают также, что от подобной связи рождаются черные, глупые и злые дети, которые могут жить очень недолго, так что их даже никто не видит...

Дьявольское наваждение. В сознании простых людей еще окончательно не решено, в чем заключается причина болезней, постигающих человеческий род: в божеском ли попущении, или в дьявольском наваждении. По сличении сведений, полученных более чем из 50 местностей относительно происхождения различных недугов, – оказывается, что значительный перевес на стороне последнего мнения. При этом известно, что некоторые болезни, как, например, лихорадки, в народном представлении рисуются в форме живых существ, имеющих определенный старческий вид и каждая свое особое имя, как

[1] Как всем известно, хотя бы по словам повсюду распространенной поговорки, черти всего больше боятся ладану («ладан – на чертей, тюрьма – на воров»), а вследствие того и введены в обычай сумочки-ладанки, носимые вместе с крестами на шее. В такие сумочки нашивают вместе с какой-либо святыней кусочки этой пахучей смолки. Бывает, впрочем, зачастую и так (по пословице же), что у иных «ладан на вороту, а черт на шее».

дщери Иродовы. Общее количество лихорадок доходит до двенадцати (а по некоторым сведениям даже до семидесяти), причем все они представляются в виде косматых, распоясанных старух. Против лихорадок издавна вращается в народе целый молитвенный список, присутствие которого в доме считается, подобно такому же апокрифическому сказанию о сне Богородицы, за действительное и сильное целебное средство. Как заболевшие, так равно и желающие предохранить себя от будущих напастей должны носить тот и другой список на шейном кресте, зашитыми в тряпичку.

Лишь в некоторых местностях удалось различить причины болезней, распределив их по двум основным разрядам. Выходит так, что все болезни (особенно эпидемические, вроде холеры и тифа) посылает сам Бог, в наказание или для вразумления и лишь немногие зависят от насыла злым человеком или от порчи колдунами и ведьмами. Зато все душевные болезни, и даже проказу, всегда и бесспорно насылает черт. На него и показывают сами больные, выкликая имя того человека, который принес, по указанию и наущению дьявола, порчу и корчу и нашептал всякие тяжелые страдания.

В некоторых местностях существует полная уверенность в том, что на всякую болезнь полагается особый дух и что каждый из этих духов имеет свой вид: напр., для лихорадки – вид бабочки, для оспы – лягушки, для кори – ежа и т. п. Сверх прочих, существует еще особенный бес, насылающий неожиданные и беспричинные острые боли, пробегающие схватками в спине, руках и ногах. Такой бес называется «притком» (отсюда и обычное выражение «попритчилось»). Для пьяниц черти приготовляют в водке особого червя (белого, величиной с волосок): проглотившие его делаются горькими пьяницами и т. п.

Все болезни, которыми чаще всего страдают женщины, как, например, кликушество и вообще порчи всякого рода (истерии) приписываются бесспорно бесам. Причем сами женщины твердо и непоколебимо убеждены, что это бесы вселились внутрь испорченных, что они вошли через неперекрещенный рот во время зевоты или в питье и еде. Подобные болезни уче-

ные доктора лечить не умеют; тут помогают только опытные знахари да те батюшки, у которых водятся особые, древние молитвенники, какие имеются не у всякого из духовных.

Хотя и придумана давно деревенская пословица: «Богу молись, а черта не гневи», но существует и такая истина, которая выше всякой греховной болтовни и легкомысленных правил: «без Божьей воли и волос на голове человека не пропадает». Если черт – лиходей для человека только по Божию попущению, то во всяком случае бесовскому влиянию положен известный предел и самое пребывание нечистой силы на земле ограничено определенными сроками. Так, еще повсюду сохранилось убеждение, что при благовесте в церквах после третьего удара вся бесовская сила проваливается в преисподнюю. В то же время сознательно твердо держится вера, что ко всякому человеку при его рождении приставляется черт и ангел. Оба они не оставляют человека ни на одну минуту, причем ангел стоит по правую сторону, а дьявол по левую[1]. Между ангелом-хранителем и дьяволом-соблазнителем стоит постоянная вражда. Каждый из них зорко следит друг за другом, уступая первенство сопернику лишь в зависимости от поведения человека: радуется, умиляясь, ангел при виде добрых дел; осклабляется, хохочет и хлопает в ладоши довольный дьявол при виде послушания его злым наветам. Ангел записывает все добрые дела, дьявол учитывает злые, а когда человек умрет, ангел спорит с дьяволом о грешной душе его. Кто из двух победит – известно единому Богу.

Впрочем, до того времени на всякий час готово для утешения молитвенное слово:

«Ангел мой, сохранитель мой! сохрани мою душу, укрепи мое сердце на всяк день, на всяк час, на всякую минуту. Поутру встаю, росой умываюсь, пеленой утираюсь Спасова Пречистова образа. Враг-сатана, отшатнись от меня на сто верст, на тысячу, на мне есть крест Господень! На том кресте написаны

[1] Сведущие люди держатся, вследствие подобного верования, того правила, что никогда не плюют на правую сторону и ложатся спать на левом боку, чтобы держать лицо обращенным к своему ангелу и не видать во сне дьявола.

Лука и Марк, и Никита-мученик: за Христа мучаются, за нас Богу молятся. Пречистые замки ключами заперты, замками запечатаны, ныне и присно, и во веки веков, аминь».

II. ДОМОВОЙ-ДОМОЖИЛ

Выделился из осиротелой семьи старший брат и задумал себе избу строить. Выбрал он под стройку обжитое место. Лес рубил «избяной помочью»: сто бревен – сто помочан, чтобы вырубить и вывезти каждому по бревну. Десятком топоров успели повалить лес поздней осенью, когда дерево не в соку, и вывезли бревна по первопутку: и работа была легче, и лошади меньше наломались. Плотники взялись «срубить и поставить избу», а если сладится хозяин с деньгами в этот же раз, то и «нарядить» ее, то есть сделать все внутреннее убранство, доступное топору и скобелю. Плотники подобрались ребята надежные, из ближнего соседства, где испокон веку занимаются этим ремеслом, и успели прославиться на дальные окольности. Помолились на восход солнца, выпили «заручную» и начали ляпать с ранней зари до самой поздней.

Когда положили два нижние бревна – два первые венца так, что где лежало бревно комлем, там навалили другое вершиной, приходил хозяин, приносил водку: пили «закладочные». Под передним, святым углом, по желанию хозяев, закапывали монету на богатство, и плотники сами от себя – кусочек ладану для святости. Пусть-де не думают про них, с бабьих бредней, худого и не болтают, что они знаются с нечистой силой и могут устроить так, что дом для жилья сделается неудобным.

Переход в новую избу или «влазины», новоселье в особенности жуткая пора и опасное дело. На новом месте словно бы надо перероидться, чтобы начать новую тяжелую жизнь в потемках и ощупью. Жгучая боль лежит на сердце, которое не чует (а знать хочет), чего ждать впереди: хотелось бы хорошего, когда вокруг больше худое. Прежде всего напрашивается неотразимое желание погадать на счастье. Для этого вперед

себя в новую избу пускают петуха и кошку. Если суждено случиться беде, то пусть она над ними и стрясется. За ними уже можно смело входить с иконой и хлебом-солью, всего лучше в полнолуние и обязательно ночью[1].

Искушенные житейским опытом хозяйки-бабы, поставив икону в красный угол, отрезают один сукрой от каравая хлеба и кладут его под печку. Это – тому незримому хозяину, который вообще зовется «домовым-доможилом». В таких же местах, где домовому совершенно верят, и лишь иногда, грешным делом, позволяют себе сомневаться, соблюдается очень древний обычай, о котором в других местах давно уже и забыли. Кое-где (например по Новгородской губ., около Боровичей) хозяйка дома до рассвета (чтобы никто не видал) старается три раза обежать новую небу нагишом, с приговором: «Поставлю я около двора железный тын, чтобы через этот тын ни лютый зверь не перескочил, ни гад не переполз, ни лихой человек ногой не переступил, и дедушка-лесной через него не заглядывал». А чтобы был этот «замок» крепок, баба в воротах перекидывается кубарем также до трех раз и тоже с заученным приговорным пожеланием, главный смысл которого выражает одну заветную мысль, чтобы «род и плод в новом доме увеличивались».

О происхождении домовых рассказывают следующую легенду. Когда Господь при сотворении мира сбросил на землю всю непокорную и злую небесную силу, которая возгордилась и подняла мятеж против своего Создателя, на людские жилья тоже попадали нечистые духи. При этом неизвестно, отобрались ли сюда те, которые были подобрее прочих, или уж так случилось, что, приселившись поближе к людям, они обжились и пообмякли, но только эти духи не сделались злыми врагами, как водяные, лешие и прочие черти, а как бы переродились: превратились в доброхотов и при этом даже оказались с привычками людей веселого и шутливого нрава. Большая часть крестьян так к ним привыкла, так примирилась с ними,

[1] Ночью же в новый дом и скотину перегоняют. Счастливыми днями для новоселья считаются двунадесятые праздники, и между ними в особенности Введение во храм Богоматери.

что не согласна признавать домовых за чертей и считает их за особую отдельную добрую породу.

Никто не позволяет себе выругаться их именем. Всегда и все отзываются об них с явным добродушием и даже с нежностью. Это вполне определенно выражается во всех рассказах и согласно подтверждается всеми сведениями, полученными от сотрудников в ответ на программные вопросы по демонологии из разных концов Великороссии.

Каждая жилая деревенская изба непременно имеет одного такого невидимого жильца, который и является сторожем не только самого строения, но, главным образом, всех живущих: и людей, и скотины, и птицы.

Живет-слывет он обычно не под своим прирожденным именем «домового», которое не всякий решится произносить вслух (отчасти из уважения к нему, отчасти из скрытой боязни оскорбить его таким прозвищем). А величают его, за очевидные и доказанные услуги, – именем «хозяина» и за древность лет его жизни на Руси «дедушкой»[1].

Поскольку все это разнообразие имен и прозвищ свидетельствует о живучести домашнего духа и близости его к людским интересам, постольку он сам и неуловим, и неуязвим. Редкий может похвалиться тем, что воочию видал домового.

[1] Рассказывая о домовом, всего чаще называют его просто – «он» или «сам», но еще чаще «доброжилом» и «доброхотом», а в Вологодской губ. (Кадниковском уезде) даже «кормильцем». По всему лесному северу России за свое охотливое совместное жительство с православным русским людом домовой зовется «суседком» и «батанушком» (батаном – не то в смысле бати-отца, не то братана, т. е. неродного брата). В семьях Олонецкого края величают его даже почетным именем «другая половина». Во всяком случае он *«доможил»* и за обычай житья в тепле и холе – «жировик», за некоторые житейские привычки – «лизун». За то, что он все-таки существо незримое, бесспорная и подлинная «не́жить» (ни дух, ни человек), домовой, в обход настоящего и прямого звания его, прозывается еще и считается «постеном» (а также «по-стень» – от стени или тени) как призрачное существо, привидение. Зовут его еще иногда «карноухим» за то, что будто бы у него, в отличие от настоящих людей, не хватает одного уха. В видах особого исключения, называют его еще «некошным» (некошной) в тех только случаях, когда он не ладит с хозяевами избы, хотя это прозвище более прилично (и чаще применительно) ко всяким другим чертям, например, к водяным и лешим, а к домовому духу не прилаживается и, собственно, не подходит.

Кто скажет так, тот либо обманулся с перепугу и добродушно вводит других в заблуждение, либо намеренно лжет, чтобы похвастаться. Видеть домового нельзя: это не в силах человека (в чем совершенно согласно большинство людей сведущих, искусившихся долгим опытом жизни). И если кто говорит, что видал его в виде вороха сена, в образе какого-либо из домашних животных, тот явно увлекается и строит свои догадки только на том предположении, что домовой, как всякий невидимый дух с нечеловеческими свойствами, наделен способностью превращаться, принимая на себя разновидные личины и даже будто бы всего охотнее образ самого хозяина дома. Тем, кто пожелал бы его видеть, предлагают нелегкие задачи: надо надеть на себя, непременно в Пасхальную ночь, лошадиный хомут, покрыться бороной зубьями на себя и сидеть между лошадьми, которых он особенно любит, целую ночь. Говорят даже, что если домовой увидит человека, который за ним таким образом подсматривает, то устраивает так, что лошади начинают бить задом по бороне и могут до смерти забить любознательного. Верно и вполне доказано только одно, что можно слышать голос домового (и в этом согласны все поголовно), слышать его тихий плач и глухие сдержанные стоны, его мягкий и ласковый, а иногда и отрывисто-краткий и глухой голос в виде мимоходных ответов, когда умелые и догадливые хозяева успевают окликнуть и сумеют спросить его при подходящих случаях. Впрочем, все, кто поумнее и поопасливее, не пытаются ни видеть этих духов, ни говорить с ними, потому что, если это и удастся, добра не будет: можно даже опасно захворать. Впрочем, домовой по доброму своему расположению (к большакам семьи – преимущественно и к прочим членам – в исключение) имеет заветную привычку наваливаться во сне на грудь и давить. Кто, проснувшись, поспешит спросить его: «к худу или добру?» – он ответит человеческим голосом, словно ветер листьями прошелестит. Только таким избранным и особенно излюбленным удалось узнать, что он мохнатый, оброс мягкой шерстью, что ею покрыты даже ладони рук его, совершенно таких же, как у человека, что у него, наконец, име-

ются, сверх положения, рога и хвост. Часто также он гладит сонных своею мягкою лапой, и тогда не требуется никаких вопросов – довольно ясно, что это к добру. Зла людям он не делает, а напротив, старается даже предостеречь от грядущих несчастий и временной опасности.

Если он временами стучит по ночам в подызбице, или возится за печью, или громыхает в поставцах посудой, то это делает он просто от скуки и, по свойству своего веселого нрава, забавляется. Давно и всем известию, что домовой – вообще большой проказник, своеобразный шутник, и где обживется, там беззаботно и беспричинно резвится. Он и сонных щекочет, и косматой грудью на молодых наваливается также от безделья, ради шутки. Подурит и пропадет с такой быстротой, что нет никакой возможности заметить, каков он видом (что, однако, удалось узнать про лешего, водяного и прочих духов – подлинных чертей). В Смоленской губ. (в Дорогобужском уезде) видали домового во образе седого старика, одетого в белую длинную рубаху и с непокрытой головой. Во Владимирской губ. он одет в свитку желтого сукна и всегда носит большую лохматую шапку; волоса на голове и на бороде у него длинные, свалявшиеся. Из-под Пензы пишут, что это старичок маленький, «словно обрубок или кряж», но с большой седой бородой и неповоротливый: всякий может увидеть его темною ночью до вторых петухов. В тех же местах, под Пензой, он иногда принимает вид черной кошки или мешка с хлебом.

Поселяясь на постоянное житье в жилой и теплой избе, домовой так в ней приживается на правах хозяина, что вполне заслуживает присвоенное ему в некоторых местностях название доможила. Если он замечает покушение на излюбленное им жилище со стороны соседнего домового, если, например, он уличит его в краже у лошадей овса или сена, то всегда вступает в драку и ведет ее с таким ожесточением, какое свойственно только могучей нежити, а не слабой людской силе. Но одни лишь чуткие люди могут слышать этот шум в хлевах и конюшнях и отличать возню домовых от лошадиного топота и шараханья шальных овец. Каждый домовой привыкает к своей избе

в такой сильной степени, что его трудно, почти невозможно выселить или выжить. Недостаточно для того всем известных молитв и обычных приемов. Надо владеть особыми притягательными добрыми свойствами души, чтобы он внял мольбам и не признал бы ласкательные причеты за лицемерный подвох, а предлагаемые подарки, указанные обычаем и советом знахаря, за шутливую выходку. Если при переходе из старой рассыпавшейся избы во вновь отстроенную не сумеют переманить старого домового, то он не задумается остаться жить на старом пепелище среди трухи развалин в холодной избе, несмотря на ведомую любовь его к теплому жилью. Он будет жить в тоске и на холоде и в полном одиночестве, даже без соседства мышей и тараканов, которые вместе со всеми другими жильцами успевают перебраться незваными. Оставшийся из упрямства, по личным соображениям или оставленный по забывчивости недогадливых хозяев, доможил предпочитает страдать, томясь и скучая, как делал это, между прочим, тот домовой, которого забыли пригласить с собой переселенцы в Сибирь. Он долго плакал и стонал в пустой избе – и не мог утешиться. Такой же случай был и в Орловской губ. Здесь, после пожара целой деревни, домовые так затосковали, что целые ночи были слышны их плач и стоны. Чтобы как-нибудь утешить их, крестьяне вынуждены были сколотить на скорую руку временные шалашики, разбросать подле них ломти посоленного хлеба и затем пригласить домовых на временное жительство: «Хозяин-дворовой, иди поколь на спокой, не отбивайся от двора своего».

В Чембарском уезде (Пензенской губ.) домовых зазывают в мешок и в нем переносят на новое пепелище, а в Любимском у. (Ярославской губ.) заманивают горшком каши, которую ставят на загнетке.

При выборе в избе определенного места для житья домовой не разборчив: живет и за печкой, и под шестком, поселяется под порогом входных дверей, и в подызбице, и на подволоке, хотя замечают в нем наибольшую охоту проводить время в голбцах (дощатых помещениях около печи со спуском в подполье) и в чуланах. Жена домового «доманя»

(в некоторых местах, например во Владимирской губ., домовых наделяют семействами) любит жить в подполье, причем крестьяне при переходе в новую избу зовут на новоселье и ее, приговаривая: «дом-домовой, пойдем со мной, веди и домовиху-госпожу – как умею награжу».

Когда «соседко» поселяется на вольном воздухе, например, на дворе, то и зовется уже «дворовым», хотя едва ли представляет собою отдельного духа: это тот же «хозяин», взявший в свои руки наблюдение за всем семейным добром. Его также не смешивают с живущими в банях баенными и банными (если он бывает женского пола, то наз. «волосаткой»), с поселившимися на гумнах, овинными и т. п. (см. об них дальше). Это все больше недоброхоты, злые духи: на беду людей завелись они, и было бы большим счастьем, когда бы они все исчезли с лица земли. Но как обойтись без домового? Кто предупредит о грядущей напасти, кто скажет, какой масти надо покупать лошадей, какой шерсти выбирать коров, чтобы водились они подолгу? Если говорят, что скотина «не ко двору», то это значит, что ее невзлюбил своеобразный капризник «дворовый хозяин». Кто умеет слушать и чутко слышит, тому домовой сам своим голосом скажет, какую надо покупать скотину. Разъезжая на нелюбимой лошадке, домовой может превратить ее из сытого круглыша в такую клячу, что шкура будет висеть, как на палке. В Меленках (Владимирской губ.) один домохозяин спрятался в яслях и увидел, как домовой соскочил с сушила, подошел к лошади и давай плевать ей в морду, а левой лапой у ней корм выгребать. Хозяин испугался, а домовой ворчит про себя, но так, что очень слышно:

– Купил бы кобылку пегоньку, задок беленькой!

Послушались его и купили. И опять из-под яслей хозяин видел, как с сушила соскочил домовой в лохматой шапке, в желтой свитке, обошел кругом лошадь, осмотрел ее да и заговорил:

– Вот это лошадь! Эту стоит кормить, а то купил какую-то клячу.

И домовой стал ее гладить, заплел на гриве косу и начал под самую морду подгребать ей овес.

В одной деревне Череповецкого уезда (Новгородской губ.) домовой, навалившись ночью на мужика и надавливая ему грудь и живот, прямо спросил (и таково сердито!):

– Где Серко? Приведи его назад домой.

Надо было на другое же утро ехать в ту деревню, куда продал хозяин лошадь, и размениваться. А там тому рады: и у них, когда вводили лошадь на двор, она фыркала и артачилась, а на другое утро нашли ее всю в мыле. Один хозяин в упор спросил домового, какой шерсти покупать лошадь, и домовой ему повелительно ответил: «хоть старую, да чалую» и т. п.

Бывают лошади «двужильные» (переход от шеи к холке раздвоенный), в работу негодные: они служат только на домового. Кто об этом дознается, тот спешит продать такую лошадь за бесценок, потому что если она околеет на дворе, то сколько лошадей ни покупай потом – все они передохнут (счетом до 12-ти) и нельзя будет больше держать эту скотину. Вот только в этом единственном случае всякий домовой, как он ни добр нравом, бывает не уступчив, и чтобы предотвратить его гнев, пробуют поколелую лошадь вытаскивать не в ворота, а в отверстие, нарочно проломанное в стене хлева, хотя и это не всегда помогает.

Зная про подобные напасти и не забывая проказ и капризов домового, люди выработали по всей великой Руси общие для всех обычаи при покупке и продаже лошадей и скота, а также и при уходе за ними.

Когда купят корову или лошадь, то повод от узды или конец веревочки передают из полы в полу и говорят пожелания «легкой руки». Покупатель снимает с головы шапку и проводит ею от головы и шеи, вдоль спины и брюха «новокупки». А когда «новокупку» ведут домой, то из-под ног по дороге поднимают щепочку или палочку и ею погоняют. Когда же приведут корову во двор, погонялку эту забрасывают:

– Как щепочке не бывать на старом месте, как палочке о том же не тужить и не тосковать, так бы и купленная животина не вспоминала старых хозяев и не сохла по ним.

Затем «новокупку» прикармливают кусочком хлеба, а к домовому прямо обращаются и открыто, при свидетелях, кла-

няются в хлевах во все четыре угла и просят: поить, кормить, ласкать и холить и эту новую, как бывалых прежних.

С домашнего скота добрый домовой переносит свои заботы и на людей. Охотнее всего он старается предупреждать о несчастьях, чтобы умелые хозяева успевали приготовиться к встрече и отвратить от себя напасть заблаговременно. Люди догадливые в таких случаях без слов разумеют те знаки, какие он подает, когда ему вздумается. Так, например, если слышится плач домового, иногда в самой избе, то быть в доме покойнику. Если у трубы на крыше заиграет в заслонку – будет суд из-за какого-нибудь дела и обиды; обмочит домовой ночью – заболеет тот человек; подергает за волосы – остерегайся жена: не ввязывайся в спор с мужем; не грызись с ним, – отмалчивайся, а то верно прибьет и очень больно. Загремит домовой в поставце посудой – осторожнее обращайся с огнем и зорко поглядывай, не зарони искры, не вспыхнула бы непотушенная головешка, не сделался бы большой пожар и т. д. Плачет и охает домовой – к горю, а к радостям скачет, песни играет, смеется; иногда, подыгрывая на гребешке, предупреждает о свадьбе в семье и т. п.

Все хорошо знают, что домовой любит те семьи, которые живут в полном согласии, и тех хозяев, которые рачительно относятся к своему добру, в порядке и чистоте держат свой двор. Если из таких кто-нибудь забудет, например, замесить коровам корм, задать лошадям сена, то домовой сам за него позаботится. Зато ленивым и нерадивым он охотно помогает запускать хозяйство и старается во всем вредить: заезживает лошадей, мучает и бьет скотину; забивает ее в угол яслей, кладет ее вверх ногами в колоду, засоряет навозом двор, давит каждую ночь и сбрасывает с печи и полатей на пол хозяина, хозяйку и детей их и т. д. Впрочем, помириться с рассерженным домовым нетрудно, – для этого стоит только положить ему под ясли нюхательного табаку, до которого он большой охотник, или вообще сделать какой-нибудь подарок вроде разноцветных лоскутьев, старинной копейки с изображением Егорья на коне или просто горбушки хлеба,

отрезанной от непочатого каравая. Однако иногда бывает и так, что, любя хороших хозяев, он между тем мучает скотину, а кого любит – на того наваливается во сне и наяву, не разбирая ни дня, ни ночи, но предпочитая, однако, сумерки. Захочет ли домовой объявиться с печальным или радостным известием или просто пошутить и попроказить, – он предпочитает во всех таких случаях принимать на себя вид самих хозяев. Только (как успевали замечать некоторые) не умеет он при этом прятать своих лошадиных ушей. В таком образе домовой не прочь и пособить рабочим, и угостить иного даже курительным табаком и помешать конокрадам, вырядившись для этого в хозяйское платье и расхаживая по двору целую ночь с вилами в руках и т. п. Под г. Орлом рассказывают, что однажды домовые так раздобрились для своих любимых хозяев, что помогали им в полевых работах, а одного неудачливого хозяина спасли тем, что наладили его на торговлю и дали возможность расторговаться с таким успехом, что все дивились и завидовали. Заботы и любовь свою к семьям иной «доможил» простирает до такой степени, что мешает тайным грехам супругов и, куда не поспеет вовремя, наказывает виноватого тем, что наваливается на него и каждую ночь душит. При этом так как всей нечистой силе воспрещено самим Богом прикасаться к душе человеческой, то, имея власть над одним телом, домовые не упускают случая пускать в ход и шлепки до боли и щипки до синяков. Не успеет виновная, улегшись спать, хорошенько забыться, как почувствует в ногах тяжесть и пойдет эта тяжесть подниматься к горлу, а там и начнет мять так сильно, что затрещат кости и станет захватывать дыхание. В таких случаях есть только одно спасение – молитва, да и то надо изловчиться, суметь собраться с духом и успеть проговорить вслух ту самую, которую не любят все нечистые: «Да воскреснет Бог»[1]...

[1] Во многих глухих местах Костромской губ., а по сведениям от сотрудников и в Калужской, сохранился очень древний обычай подвешивать над стойлами конюшен и над насестами в курятниках «куриных и лошадиных богов». Для коней таковым «богом» служит особенный камень с дырой, для кур – горлышко от кувшина.

Пока наступит та блаженная пора, когда эта великая молитва громко раздастся на всю святую Русь и оцепенеет намертво вся нечистая сила, наивные деревенские хозяева долго еще будут темною ночью, без шапки, в одной рубахе ходить в старый дом и с поклонами упрашивать домового духа пожаловать в новые хоромы, где в подызбице самой хозяйкой приготовлено ему угощение: присоленный небольшой хлебец и водка в чашке. Суеверия, основанные на воззрении на природу, тем дороги и милы простому, нетронутому сомнениями уму, что успокоительно прикрывают черствую и холодную действительность и дают возможность объяснять сложные явления самыми простыми и подручными способами. Проказами домового объясняют как ненормальные уклонения и болезненные отправления организма, так и всевозможные случаи повседневной жизни. Вот несколько примеров. Усиленно катается по полу лошадь и мучительно чешется об стенку и ясли не потому, что недобрый человек посадил ей в гриву и хвост ветку шиповника, а потому, что ее невзлюбил домовой. На утренней заре холеный иноходец оказался весь в мыле не оттого, что сейчас вернулся на нем молодой парень, всю ночь гулявший тайком от отца и ездивший по соседним поселкам с песнями и товарищами, а потому, что на нем ездил домовой. Поднялось у молодой бабы в крови бушеванье и почудилось ей, будто подходит к ней милый, жмет и давит, – опять виноват домовой, потому что как только баба изловчилась прочитать «Отчу» – все и пропало.

III.
ДОМОВОЙ-ДВОРОВОЙ

Как ни просто деревенское хозяйство, как ни мелка, по-видимому, вся обстановка домашнего быта, но одному домовому-доможилу со всем не управиться. Не только у богатого, но у всякого мужика для домового издревле полагаются помощники. Их работа в одних местах не считается за самостоятельную и вся целиком приписывается одному «хозяину».

В других же местах умеют догадливо различать труды каждого домашнего духа в отдельности. Домовому-доможилу приданы в помощь: дворовой, банник, овинник (он же и гуменник) и шишимора-кикимора; лешему помогает «полевой», водяному «ичетики и шишиги» вместе с русалками.

Дворовой-домовой получил свое имя по месту обычного жительства, а по характеру отношений к домовладельцам он причислен к злым духам, и все рассказы о нем сводятся к мучениям тех домашних животных, которых он невзлюбит (всегда и неизменно дружит только с собакой и козлом). Это он устраивает так, что скотина спадает с тела, отбиваясь от корму; он же путает ей гриву, обрезает и общипывает хвост и проч. Это против него всякий хозяин на потолке хлева или конюшни подвешивает убитую сороку, так как дворовой-домовой ненавидит эту сплетницу-птицу. Это его, наконец, стараются ублажать всякими мерами, предупреждать его желания, угождать его вкусам: не держать белых кошек, белых собак и сивых лошадей (соловых и буланых он тоже обижает, а холит и гладит вороных и серых). Если же случится так, что нельзя отказаться от покупки лошадей нелюбимой масти, то их вводят во двор, пригоняя с базара, не иначе, как через овчинную шубу, разостланную в воротах, шерстью вверх. С особенным вниманием точно так же хозяйки ухаживают около новорожденных животных, зная, что дворовой не любит ни телят, ни овец: либо изломает, либо и вовсе задушит. Поэтому-то таких новорожденных и стараются всегда унести из хлева и поселяют в избе вместе с ребятами, окружая их таким же попечением: принесенного сейчас же суют головой в устье печи, или, как говорят, «подомляют» (сродняют с домом). На дворе этому домовому не подчинены одни только куры: у них имеется свой бог.

Прибегая к точно таким же мерам умилостивлении домового-дворового, как и домового-доможила, люди не всегда, однако, достигают цели: и дворовой точно так же то мирволит, то без всяких видимых поводов начинает проказить, дурить, причиняя постоянные беспокойства, явные убытки в хозяйстве и проч. В таких случаях применяют решительные

меры и вместо ласки и угождений вступают с ним в открытую борьбу и нередко в рукопашную драку.

По вологодским местам, крестьяне, обезумевшие от злых проказ дворовых, тычут навозными вилами в нижние бревна двора с приговором: «вот тебе, вот тебе за то-то и вот это». По некоторым местам (напр. в Новгородской губ.) догадливый и знающий хозяин запасается ниткой из савана мертвеца, вплетает ее в треххвостную ременную плеть и залепляет воском. В самую полночь, засветив эту нитку и держа ее в левой руке, он идет во двор и бьет плетью по всем углам хлева и под яслями: авось как-нибудь попадет в виновного.

Нередко домохозяева терпят от ссор, какие заводят между собой соседние дворовые, – несчастье, которое нельзя ни отвратить, ни предусмотреть. В Вологодской губ. (в Кадниковском уезде, Васьяновской волости) злой «дворовушко» позавидовал своему соседу, доброму дворовушке, в том, что у того и коровы сыты, и у лошадей шерсть гладка и даже лоснится. Злой провертел дыру в чане, в котором добряк-дворовой возил в полночь с реки воду. Лил потом добряк, лил воду в чан и все ждал, пока она сравняется с краями, да так и не дождался: и с горя на месте повис под нижней губой лошадки ледяной сосулькой в виде «маленького человека в шерсти».

Оттуда же (из-под Кадникова) получена и такая повесть (записанная в дер. Куровской как событие 80-х годов прошлого столетия).

«Жила у нас старая девка, незамужняя; звали ее Ольгой. Ну, все и ходил к ней дворовушко спать по ночам и всякой раз заплетал ей косу и наказывал: "Если ты будешь ее расплетать да чесать, то я тебя задавлю". Так она и жила нечесой до 35 годов – и не мыла головы, и гребня у себя не держала. Только выдумала она выйти замуж, и когда настал девичник, пошли девки в баню и ее повели с собой, незамужнюю-ту, старую девку, невесту-ту. В бане стали ее мыть. Начали расплетать косу и долго не могли ее расчесать: так-то круто закрепил ее дворовушко. На другое утро надо было венчаться – пришли к невесте, а она в постели лежит мертвая, и вся черная: дворовушко-то ее и задавил».

Не только в трудах и делах своих дворовой похож на доможила, но и внешним видом от него ни в чем не отличается (так же похож на каждого живого человека, только весь мохнатый). Затем все, что приписывается первому, служит лишь повторением того, что говорят про второго. И замечательно, что во всех подобных рассказах нет противоречий между полученными из северных лесных губерний и теми, которые присланы из черноземной полосы Великороссии (из губ. Орловской, Пензенской и Тамбовской). В сообщениях из этих губерний замечается лишь разница в приемах умилостивления: здесь напластывается наибольшее количество приемов символического характера, с явными признаками древнейшего происхождения. Вот, например, как дарят дворового в Орловской губ.: берут разноцветных лоскутков, овечьей шерсти, мишуры из блесток, хотя бы бумажных, старинную копейку с изображением коня, горбушку хлеба, отрезанную от целого каравая, и несут все это в хлев, и читают молитву:

– Царь дворовой, хозяин домовой, суседушко-доброхотушко! – я тебя дарю-благодарю: скотину прими – попои и накорми.

Этот дар, положенный в ясли, далек по своему характеру от того, который подносят этому же духу на севере, в лесах, – на навозных вилах или на кончике жесткой плети.

Домовые-дворовые обязательно полагаются для каждого деревенского двора, как домовой-доможил для каждой избы, и баенники для всякой бани, овинники или гуменники для всех без исключения риг и гумен (гумен, открытых со всех сторон, и риг, прикрытых бревенчатыми срубами с непротекающими крышами). Вся эта нечисть – те же домовые, отличные лишь по более злобным свойствам, по месту жительства и по затейным проказам.

IV.
БАЕННИК

Закоптелыми и обветшалыми стоят врассыпную, по оврагам и косогорам, утлые баньки, нарочно выставленные

из порядка прочих деревенских строений, готовые вспыхнуть, как порох, непрочные и недолговечные. По всем внешним признакам видно, что об них никто не заботился и, изживая недолгий век в полном забросе, бани всегда имеют вид зданий, обреченных на слом. А между тем их задымленные стены слышат первые крики новорожденного русской крестьянской семьи и первые вздохи будущего кормильца-пахаря. Здесь, в жарком пару, расправляет он, когда придет в возраст, натруженные тяжелой работой члены тела и смывает трудовой пот, чтобы, освеженным и подбодренным, идти на новые бесконечные труды. Сюда несет свою тоску молодая девушка, обреченная посвятить свои силы чужой семье и отдать свою волю в иные руки; здесь в последний раз тоскует она о родительском доме накануне того дня, когда примет «закон» и благословение церкви. Под такими тягостными впечатлениями в одном из причетов, засчитывающих баню-парушу в число живых недоброхотов, выговорилось про нее такое укоризненное слово:

На чужой-то, на сторонушке.
На злодейке незнакомой:
На болоте баня рублена,
По сырому бору катана.
На лютых зверях вожена,
На проклятом месте ставлена.

Укоры справедливы. Несмотря на то, что «баня парит, баня правит, баня все исправит», – она издревле признается нечистым местом, а после полуночи считается даже опасным и страшным: не всякий решается туда заглянуть и каждый готов ожидать какой-нибудь неприятности, какой-нибудь случайной и неожиданной встречи. Такая встреча может произойти с тем нечистым духом из нежити, который под именем баенника поселяется во всякой бане за каменкой, всего же чаще под полком, на котором обычно парятся. Всему русскому люду известен он за злого недоброхота. «Нет злее банника, да нет его

добрее», – говорят в коренной Новгородчине под Белозерском; но здесь же твердо верят в его всегдашнюю готовность вредить и строго соблюдают правила угодничества и заискивания.

Верят, что банник всегда моется после всех, обыкновенно разделяющихся на три очереди, а потому четвертой перемены или четвертого пара все боятся: «он» накинется – станет бросаться горячими камнями из каменки, плескаться кипятком; если не убежишь умеючи, то есть задом наперед, он может совсем зашпарить. Этот час дух считает своим и позволяет мыться только чертям; для людей же банная пора в деревнях обыкновенно полагается около 5–7 часов пополудни.

После трех перемен посетителей в бане моются черти, лешие, овинники и сами банники. Если кто-нибудь в это время пойдет париться в баню, то живым оттуда не выйдет: черти его задушат, а людям покажется, что тот человек угорел или запарился. Это поверье о четвертой роковой банной «смене» распространено на Руси повсеместно.

Заискивают расположение банника тем, что приносят ему угощение из куска ржаного хлеба, круто посыпанного крупною солью. А чтобы навсегда отнять у него силу и охоту вредить, ему приносят в дар черную курицу. Когда выстроят после пожара новую баню, то такую курицу, не ощипывая перьев, душат (а не режут) и в таком виде закапывают в землю под порогом бани, стараясь подогнать время под Чистый четверг. Закопавши курицу, уходят из бани задом и все время отвешивают поклоны на баню бессменному и сердитому жильцу ее. Банник стремится владеть баней нераздельно и недоволен всяким, покосившимся на его права, хотя бы и временно. Зная про то, редкий путник, застигнутый ночью, решится искать здесь приюта, кроме разве сибирских бродяг и беглых, которым, как известно, все на свете нипочем. Идущий же на заработки и не имеющий, чем заплатить за ночлег, предпочитает выспаться где-нибудь в стогу, под сараем, под ракитовым или можжевеловым кустом. Насколько баенник высоко ценит прямую цель назначения своего жилища, видно из того, что он мстит тем хозяевам, которые это назначение изменяют. Так, во мно-

гих северных лесных местностях (напр., в Вологодской губ.) в баню вовсе не ходят, предпочитая париться в печках, которые занимают целую $^1/_3$ избы. Бани же здесь хотя и существуют, но благодаря хорошим урожаям льна и по причине усиленных заграничных требований этого продукта, сбываемого через архангельский порт, они превращены в маленькие фабрички-трепальни и чесальни. Тех, кто залезает в печь, баенник, помимо власти и разрешения домового, иногда так плотно заставляет заслонкой, что либо вытащат их в обмороке, либо они совсем задохнутся[1]. Не любит баенник также и тех смельчаков, которые хвастаются посещением его жилища не в указанное время. Так как на нем лежит прямая обязанность удалять из бани угар, то в его же праве наводить угар на тех, кем он недоволен. На такие случаи существует много рассказов.

Нарушающих установленные им правила и требования баенник немедленно наказывает своим судом, хотя бы вроде следующего, который испытал на себе рассказчик из пензенских мужичков. Как-то запоздавши в дороге, забрался он, перед праздником, в свою баню после полуночного часа. Но, раздеваясь, второпях вместе с рубахой прихватил с шеи крест, а когда полез на полок париться, то никак не мог оттуда слезть подобру-поздорову. Веники сами собой так и бьют по бокам. Кое-как, однако, слез, сунулся в дверь, а она так притворена, что и не отдерешь. А веники все свое делают – хлещут. Спохватилась баба, что долго нет мужа, стала в оконце звать – не откликается, начала ломиться в дверь – не поддается. Вызвонила она ревом соседей. Эти пришли помогать, рубили дверь топорами – только искры летят, а щепок нет. Пришла на выручку баба-знахарка, окропила дверь святой водой, прочла свою молитву и отворила. Мужик лежал без памяти; насилу оттерли его снегом.

Опытные люди отвращают злые наветы своих баенников тем вниманием, какое оказывают им всякий раз при выходе из

1 Во Владимирской губ., между прочим, держится такое поверье, что мыться в банях не грешно только мужним женам, а вдовам и девицам грешно: «но, коли с молитвой, то и им прощается».

бани. Всегда в кадушках оставляют немного воды и хоть маленький кусочек мыла, если только не мылись щелоком; веники же никогда не уносят в избу. Вот почему зачастую рассказывают, как, проходя ночью мимо бани, слышали, с каким озорством и усердием хлещутся там черти и при этом жужжат, словно бы разговаривают, но без слов. Один прохожий осмелился и закричал: «Поприбавьте пару!» – и вдруг все затихло, а у него у самого мороз побежал по телу и волосы встали дыбом.

Вообще, шутить с собой баенник не позволяет, но разрешает на святках приходить к нему завораживаться, причем самое гаданье происходит следующим образом: гадающий просовывает в двери бани голую спину, а баенник либо бьет его когтистой лапой (к беде), либо нежно гладит мохнатой и мягкой, как шелковая, большой ладонью (к счастью). Собрались о святках (около Кадникова, Вологодской губ.) девушки на беседу, а ребята на что-то рассердились на них – не пришли. Сделалось скучно, одна девка и говорит подругам:

– Пойдемте, девки, слушать к бане, что нам баенник скажет.

Две девки согласились и пошли. Одна и говорит:

– Сунь-ка девка, руку в окно: банник-от насадит тебе золотых колец на пальцы.

– А ну-ка, девка, давай ты сначала сунь, а потом и я.

Та и сунула, а банник-от и говорит:

– Вот ты и попалась мне.

За руку схватил и колец насадил, да железных: все пальцы сковал в одно место, так что и разжать их нельзя было. Коекак выдернула она из окна руку, прибежала домой впопыхах и в слезах, и лица на ней нет от боли. Едва собралась она с такими словами:

– Вот, девушки, смотрите, каких банник-от колец насажал. Как же я теперь буду жить с такой рукой? И какой банникот страшный: весь мохнатый и рука-то у него такая большая и тоже мохнатая. Как насаживал он мне кольца, я все ревела. Теперь уж больше не пойду к баням слушать[1].

---

[1] Сообщивший этот случай прибавляет, что местные крестьяне считают рассказ вполне достоверным.

В сущности баенник старается быть невидимым, хотя некоторые и уверяют, что видали его и что он старик, как и все духи, ему сродные: недаром же они прожили на белом свете и в русском мире такое неисчислимое количество лет.

Впрочем, хотя этот дух и невидим, но движения его всегда можно слышать в ночной тишине – и под полком, и за каменкой, и в куче свежих неопаренных веников. Особенно чутки к подобным звукам роженицы, которых по этой причине никогда не оставляют в банях в одиночестве: всегда при них неотлучно находится какая-либо женщина, если не сама бабка-повитуха. Все твердо убеждены, что баенник очень любит, когда приходят к нему жить родильницы до третьего дня после родов, а тем паче на неделю, как это водится у богатых и добрых мужиков. Точно так же все бесспорно верят, что банища – места поганые и очень опасные, и если пожару приведется освободить их и очистить, то ни один добрый хозяин не решится поставить тут избу и поселиться: либо одолеют клопы, либо обездолит мышь и испортит весь носильный скарб. В северных же лесных местах твердо убеждены, что баенник не даст покоя и передушит весь домашний скот: не поможет тогда ни закладка денег в углах избяного сруба, ни разводка муравейника среди двора и тому подобное.

V.
ОВИННИК
(Гуменник)

На деревенских задворках торчат безобразные, бревенчатые строения-овины. Словно чудовища с разинутой черной пастью, готовою проглотить человека целиком, обступают они со всех сторон ряды приземистых жилых изб. В сумерки, а особенно ночью, при легком просвете на утренних зорях, овины своим неуклюжим видом настраивают воображение простого человека на фантастический лад и будят в душе его суеверный страх. Задымленные и почернелые как уголь, овины являют из себя (как подсказывает загадка) «лютого волчища, у него выхвачен бочище, не дышет, а пышет».

Так как без огня овин не высушишь, а сухие снопы – что порох, то и суждено овинам гореть. И горят овины сплошь и рядом везде и каждую осень. Кому же приписать эти несчастия, сопровождающиеся зачастую тем, что огонь испепелит все гумно со всем хлебным старым запасом и новым сбором? Кого же завинить в трудно поправимом горе, как не злого духа, и притом совершенно особенного?

Вот он и сидит в низшей части строений, где разводят теплины и днем пекут деревенские ребята картошку, сидит в самом углу подлаза, днем и ночью. Увидеть его можно лишь во время Светлой заутрени Христова дня: глаза у него горят калеными угодьями, как у кошки, а сам он похож на огромного кота величиной с дворовую собаку, – весь черный и лохматый. Овинник умеет лаять по собачьи и, когда удается ему напакостить мужикам, хлопает в ладоши и хохочет не хуже лешего. Сидеть под садилом в ямине (отчего чаще зовут его «подовинником») указано ему для того, чтобы смотреть за порядками кладки снопов, наблюдать за временем и сроками, когда и как затоплять овин, не позволять делать этого под большие праздники, особенно на Воздвиженьев день и Покров, когда, как известно, все овины бывают «именинниками» и, по старинным деревенским законам, должны отдыхать (с первого Спаса их готовят). Топить овины в заветные дни гуменник не позволяет: и на добрый случай – пихнет у костра в бок так, что едва соберешь дыхание; на худой же конец разгневается так, что закинет уголь между голосишками и даст всему овину заняться и сгореть. Не позволяет также сушить хлеба во время сильных ветров и безжалостно больно за это наказывает.

Гуменник хотя и считается домовым духом, но самым злым из всех: его трудно ублажить-смирить, если он рассердится и в сердцах залютует. Гордо на овин рукой махни: ни кресты по всем углам, ни молитвы, ни икона Богоматери Неопалимой Купины не помогут, и хоть шубу выворачивай мехом наружу и стереги гумна с кочергой в руках на Агафона-огуменника (22 августа). Ходят слухи, что в иных местах (напр., в Костромской губ.) овинника удается задабривать в его именинные дни.

С этой целью приносят пироги и петуха: петуху на пороге отрубают голову и кровью кропят по всем углам, а пирог оставляют в подлазе. Однако сведущие люди этим приемам не доверяют и рассказы принимают за сказки.

В Брянских лесных местах (в Орловской губ.) рассказывают такой случай, который произошел с бабой, захотевшей в Чистый понедельник в риге лен трепать для пряжи. Только что успела она войти, как кто-то затопал, что лошадь, и захохотал так, что волоса на голове встали дыбом. Товарки этой бабы со страху кинулись бежать, а смелая баба продолжала трепать лен столь долго, что домашние начали беспокоиться. Пошли искать и не нашли: как в воду канула. Настала пора мять пеньку, пришла вся семья и видят на гребне какую-то висячую кожу. Начали вглядываться и перепугались: вся кожа цела, и можно было различить на ней и лицо, и волосы, и следы пальцев на руках и ногах. В Смоленщине (около Юхнова) вздумал мужик сушить овин на Михайлов день. Гуменник за такое кощунство вынес его из «подлаза», на его глазах подложил под каждый угол овина головешки с огнем и столь застращал виновного, что он за один год поседел как лунь. В вологодских краях гуменника настолько боятся, что не осмеливаются топить и чистить овин в одиночку: всегда ходят вдвоем или втроем.

Из Калужской губ. (Мещовского у.) получились такие вести. Лет 40–50 тому назад одного силача, по имени Валуя, овинник согнул в дугу на всю жизнь за то, что он топил овин не в указанный день и сам сидел около ямы[1]. Пришел этот невидимка-сторож в виде человека и начал совать Валуя в овинную печку, да не мог изжарить силача, а только помял его и согнул. Самого овинника схватил мужик в охапку и закинул в огонь. Однако это не прошло ему даром: выместила злобная нечисть на сыне Валуя – тоже ражем детине и силаче и тоже затопившем овин под великий праздник: гуменник

[1] На Феклу-заревницу (зарево от овинных огней) происходят обыкновенно «замолотки» (начинают молотить по утрам с огнем): это первый именинный огонь, на Покров – вторые именины.

поджег овин и спалил малого. Нашли его забитым под стену и все руки в ссадинах – знать, отбивался кулаками.

На кулаках же ведут свои расчеты все эти духи и тогда, когда случается, что они между собою не поладят. Вот что пишут на этот счет из Белозерского уезда (Новгородской губ.).

К одному крестьянину приходит вечером захожий человек и просит:

– Укрой меня к ночи – пусти ночевать.

– Вишь, у самого какая теснота. Ступай в баню: сегодня топили.

– Ну, вот и спасибо, я там и переночую.

На другое утро вернулся чужак из бани и рассказывает:

«Лег я на полок и заснул. Вдруг входит в баню такой мужик, ровно бы подовинник, и говорит:

– Эй, хозяин. На беседу к себе меня звал, а сам пущаешь ночлежников: я вот его задушу.

Поднялась той порой половица и вышел сам банник.

– Я его пустил, так я его и защищаю. Не тронь.

И начали они бороться. Боролись долго, а все не могут одолеть друг друга. Вдруг банник крикнул мужику:

– Сыми крест да хлещи его.

Поднялся я кое-как, стал хлестать, – оба они и пропали».

Угождения и почет гуменник так же любит, как все его нечистые родичи. Догадливые и опытные люди не иначе начинают топить овин, как попросив у «хозяина» позволения. А вологжане (Кадниковского у.) сохраняют еще такой обычай: после того как мужик сбросит с овина последний сноп, он, перед тем как ему уходить домой, обращается к овину лицом, снимает шапку и с низким поклоном говорит:

– Спасибо, батюшка-овинник: послужил ты нынешней осенью верой и правдой.

Не отказывает овинник в своей помощи (по части предсказания судьбы) и тем девицам, которые настолько смелы, что дерзают мимо бань ходить гадать к нему на гумно. Та, которой досталась очередь гадать первой, поднимает на голову платье (как и в банях) и становиться задом к окну сушила:

– Овинник-родимчик, суждено, что ли, мне в нонешнем году замуж идти?

А гадают об этом всегда на Васильев вечер (в канун Нового года), в полночь между вторыми и третьими петухами (излюбленное время у овинника и самое удобное для заговоров).

Погладит овинник голой рукой – девушка будет жить замужем бедно, погладит мохнатой – богато жить. Иные в садило суют руку и делают подобные же выводы смотря потому, как ее погладит. А если никто не тронет, – значит в девках сидеть.

VI.
КИКИМОРА

Не столь многочисленные и не особенно опасные духи из нечисти под именем «кикиморы» принадлежат исключительно Великороссии, хотя корень этого слова указывает на его древнее и общеславянское происхождение. На то же указывают и остатки народных верований, сохранившихся среди славянских племен. Так, в Белоруссии, сохранившей под шумок борьбы двух вероучений – православного и католического, – основы языческого культа, существует так называемая Мара. Здесь указывают и те места, где она заведомо живет (таких мест пишущему эти строки на могилевском Днепре и его притоках указали счетом до пяти), и повествуют об ее явлениях вживе. В северной лесной России об Маре сохранилось самое смутное представление, и то в очень немногих местах[1]. Зато в Малороссии явно таскают по улицам при встрече весны (1 марта) с пением «веснянок» чучело, называемое марой или мареной, а великорусский морок – та же мрачность или темнота – вызвала особенную молитву на те случаи, когда эта морока желательна или вредна для урожая.

[1] Напр., в Пошехонье, где «мару» представляют красивой, высокой девушкой, одетой во все белое, но зовут ее «полудницей», относя прямо к «полевым духам». В Олонецкой губ. мара – невидимое существо, живущее в доме помимо домового, но с явными признаками кикиморы (прядет по ночам на прядке, которую забыли благословить, рвет куделю, путает пряжу и т. п.).

Так, например, в конце июля, называемом «калиниками» (от мученика Калиника, 29 июля), на всем русском севере молят Бога пронести калиники мороком, то есть туманом, из опасения несчастья от проливных дождей, особенно же от градобоя. Если же на этот день поднимается туман, то рассчитывают на урожай яровых хлебов («припасай закрому на овес с ячменем»). Солнце садится в морок – всегда к дождю и проч.

Если к самостоятельному слову «мор» приставить слово «кика» в значении птичьего крика или киканья, то получится тот самый дворовый дух, который считается злым и вредным для домашней птицы. Эта кикимора однозначаща «с шилиморой»: под именем ее она зачастую и слывет во многих великорусских местностях. А в этом случае имеется уже прямое указание на «шишей» или «шишигу» – явную нечистую силу, живущую обычно в овинах, играющую свадьбы свои в то время, когда на проезжих дорогах вихри поднимают пыль столбом. Это те самые шиши, которые смущают православных. К шишам посылают в гневе докучных или неприятных людей. Наконец, «хмельные шиши» бывают у людей, допившихся до белой горячки (до чертиков).

Из обманчивого, летучего и легкого, как пух, призрака южной России дух «мара» у северных практических великороссов превратился в грубого духа, в мрачное привидение, которое днем сидит «невидимкой» за печью, а по ночам выходит проказить. В иных избах мара живет еще охотнее в темных и сырых местах, как, например, в голбцах или подызбицах. Отсюда и выходит она, чтобы проказить с веретенами, прялкой и начатой пряжей[1]. Она берет то и другое, садится прясть в любимом своем месте: в правом от входа углу, подле самой печи. Сюда обычно сметают сор, чтобы потом сожигать его в печи, а не выносить из избы на ветер и не накликать беды, изурочья и всякой порчи. Впрочем, хотя кикимора и прядет,

[1] В Калужской губ. (в Жиздринском у.) это же привидение, которое видают в лунные ночи за самопрялкой или за шитьем, так и называют – марой. Эта страшная растрепанная мара сидит и гремит самопрялкой. Как погремит, так и будешь одну куделю прясть целый день; пошьет у кого, тот одну рубашку в неделю не кончит: все будет перепарывать и т. д.

но от нее не дождешься рубахи, говорит известная пословица, а отсюда и насмешка над ленивыми: «спи, девушка: кикимора за тебя спрядет, а мать выткет».

Одни говорят (в Новгородской губ.), что кикиморы шалят во все святки; другие дают им для проказ одну только ночь под Рождество Христово. Тогда они треплют и сжигают куделю, оставленную у прялок без крестного благословения. Бывает также, что они хищнически стригут овец. Во всех других великоросских губерниях проказам шишиморы-кикиморы отводится безразлично все годичное время. Везде и все уверены также, что кикимора старается скрываться от людей, потому что если человеку удастся накинуть на нее крест, то она так и останется на месте.

Твердо убежденные в существовании злых сил обитательницы северных лесов (вроде вологжанок) уверяют, что видели кикимору живою, и даже рассказывают на этот счет подробности:

– Оделась она по-бабьему в сарафан, только на голове кики не было, а волосы были распущены. Вышла она из голбца, села на пороге подле двери и начала оглядываться. Как завидела, что все в избе полегли спать и храпят, она подошла к любимому месту – к воронцу (широкой и толстой доске в виде полки, на которой лежат полати), сняла с него прялку и села на лавку прясть. И слышно, как свистит у ней в руках веретено на всю избу и как крутятся нитки и свертывается с прялки куделя. Сидит ли, прядет ли она беспрестанно подпрыгивает на одном месте (такая уже у ней особая привычка). Когда привидится она с прялкой на передней лавке, быть в той избе покойнику. Перед бедой же у девиц-кружевниц (вологодских) она начинает перебирать и стучать коклюшками, подвешенными на кутузе-подушке. Кого невзлюбит – из той избы всех выгонит.

В тех же вологодских лесах (в Никольском уезде) в одной избе ходила кикимора по полу целые ночи и сильно стучала ногами. Но и того ей мало: стала греметь посудой, звенеть чашками, бить горшки и плошки. Избу из-за нее бросили, и стояло то жилье впусте, пока не пришли сергачи с плясу-

ном-медведем. Они поселились в этой пустой избе, и кикимора, сдуру, не зная с кем связывается, набросилась на медведя. Медведь помял ее так, что она заревела и покинула избу. Тогда перебрались в нее и хозяева, потому что там совсем перестало «манить» (пугать). Через месяц подошла к дому какая-то женщина и спрашивает у ребят:

– Ушла ли от вас кошка?

– Кошка жива да и котят принесла, – отвечали ребята.

Кикимора повернулась, пошла обратно и сказала на ходу:

– Теперь совсем беда: зла была кошка, когда она одна жила, а с котятами до нее и не доступиться.

В тех же местах повадилась кикимора у мужика ездить по ночам на кобыле и, бывало, загоняет ее до того, что оставит в яслях всю в мыле. Изловчился хозяин устеречь ее рано утром на лошади:

– Сидит небольшая бабенка в шамшуре (головном уборе-волоснике) и ездит вокруг яслей. Я ее по голове-то плетью, – соскочила и кричит во все горло:

– Не ушиб, не ушиб, только шамшурку сшиб.

Изо всех этих рассказов видно лишь одно, что образ кикиморы как жильца в избах начал обезличиваться. Народ считает кикимору то за самого домового, то за его жену (за каковую, между прочим, признают ее и в Ярославском Пошехонье, и в Вятской стороне), а в Сибири водится еще и лесная кикимора – лешачиха[1]. Мало того, до сих пор не установилось понятия, к какому полу принадлежит этот дух.

Определеннее думают там, где этого проказника поселяют в курятниках, в тех уголках хлевов, где садятся на насест куры. Здесь занятие кикимор прямее и самая работа виднее. Если куры от худого корма сами у себя выщипывают

---

[1] Вятские обруселые пермяки так называемого Зюдлинского края, проходя мимо нечистого места, где живет их «кусьдядя» с женой «кикиморой», слыхали в ночную пору детский плач и говор. Значит, живут они семьями.

В хлевах у этих вятчан на место кикиморы живет «стриж», который, поселившись среди овец, вместо всяких паразитов выстригает у нелюбимых животных почти всю шерсть догола. Представляют себе этого злодея в виде птицы сыча с крыльями из мягкой кожи, непокрытой перьями.

все перья, то обвиняют кикимору. Чтобы не вредила она, вешают под куриной нашестью лоскутья кумача или горлышко от разбитого глиняного умывальника или отыскивают самого «куричьего бога». Это камень, нередко попадающийся в полях с природною сквозною дырою. Его и прикрепляют на лыке к жерди, на которой садятся куры. Только при таких условиях не нападает на кур «вертун» (когда они кружатся, как угорелые, и падают околевшими).

В вологодских лесах (например в отдаленной части Никольского у.) за кикиморой числятся и добрые свойства. Умелым и старательным хозяйкам она даже покровительствует: убаюкивает по ночам маленьких ребят, невидимо перемывает кринки и оказывает разные другие услуги по хозяйству, так что при ее содействии и тесто хорошо взойдет, и пироги будут хорошо выпечены и пр. Наоборот, ленивых баб кикимора ненавидит: она щекочет малых ребят так, что те целые ночи ревут благим матом, пугает подростков, высовывая свою голову с блестящими на выкате глазами и с козьими рожками, и вообще всячески вредит. Так что нерадивой бабе, у которой не спорится дело, остается одно средство: бежать в лес, отыскать папоротник, выкопать его горький корень, настоять на воде и перемыть все горшки и кринки – кикимора очень любит папоротник и за такое угождение может оставить в покое.

Но единственно верным и вполне могущественным средством против этой нечисти служит святой крест. Не возьмет чужой прялки кикимора, не росклокочет на ней кудели, не спутает ниток у пряхи и не оборвет начатого плетенья у кружевниц, если они с молитвой положили на место и прялки с веретенами и кутузки с коклюхами.

На Сяможенских полях (Вологодская губ., Кадниковский у.) в летнее время особая кикимора сторожит гороховища. Она ходит по ним, держа в руках каленую добела железную сковороду огромных размеров. Кого поймает на чужом поле, того и изжарит.

Мифы о кикиморе принадлежат к числу наименее характерных, и народная фантазия, отличающаяся таким богатством

красок, в данном случае не отлилась в определенную форму и не создала законченного образа[1]. Это можно видеть уже из того, что имя кикиморы, сделавшееся бранным словом, употребляется в самых разнообразных случаях и по самым разнообразным поводам. Кикиморой охотно зовут и нелюдимого домоседа, и женщину, которая очень прилежно занимается пряжей. Имя шишиморы свободно пристегивается ко всякому плуту и обманщику (курянами), ко всякому невзрачному по виду человеку (смолянами и калужанами), к скряге и голышу (тверичами), прилежному, но копотливому рабочему (костромичами), переносчику вестей и наушнику в старинном смысле слова, когда «шишки» были лазутчиками и соглядатаями и когда «для шишиморства» (как писали в актах) давались (как, напр., при Шуйских), сверх окладов, поместья за услуги, оказанные шпионством.

VII.
ЛЕШИЙ

«Стоят леса темные от земли и до неба», – поют слепые старцы по ярмаркам, восхваляя подвиги могучих русских богатырей и борьбу их с силами природы. И в самом деле: неодолимой плотной стеной кажутся синеющие вдали роскошные хвойные леса и нет через них ни прохода, ни проезда. Только птицам под стать и под силу трущобы еловых и сосновых боров, эти темные «сюземы» или «раменья», как их зовут на севере. А человеку, если и удастся сюда войти, то не удастся выйти. В этой чаще останавливаются и глохнут даже огненные моря лесных пожаров. Сюземы тем уже страшны, что здесь на каждом шагу, рядом с молодой жизнью свежих порослей, стоят тут же деревья, приговоренные к смерти и валяются уже окончательно сгнившие и покрытые, как гробовой доской, моховым покровом. Но еще страшны сюземы тем, что в них

[1] Несколько полнее обрисовывается он в самых глухих лесных трущобах. Здесь сохранился рассказ о том, что кикиморы о святках, в ненастную погоду, рожают детей, причем страшно стонут и воют. Новорожденные же их, тотчас по явлении на свет, вылетают из избы через трубу на улицу, где и живут до Крещенья.

господствует вечный мрак и постоянная влажная прохлада среди жаркого лета. Всякое движение здесь, кажется, замерло; всякий крик пугает до дрожи и мурашек в теле. Колеблемые ветром древесные стволы трутся один о другой и скрипят с такою силою, что вызывают у наблюдателя острую, ноющую боль под сердцем. Здесь чувство тягостного одиночества и непобедимого ужаса постигает всякого, какие бы усилия он над собой ни делал. Здесь всякий ужасается своего ничтожества и бессилия. Здесь родилась мрачная безнадежная вера дикарей и сложилась в форму шаманства с злыми, немилостивыми богами. В этих трущобах поселяется и издревле живет тот черт, с которым до сих пор еще не может разлучиться напуганное воображение русского православного люда. Среди деревьев с нависшими лишаями, украшающими их наподобие бород, в народных сказках и в религиозном культе первобытных племе издревле помещены жилища богов и лесных духов. В еловых лесах, предпочтительно пред сосновыми, селится и леший, или, как называют его также, лесовик, лешак[1]. В этих лесах

[1] В Новгородской губ. (в белозерских краях) и в ярославском Пошехонье этому духу дают еще название «вольного» и все с тою же целью, чтобы не обижать его общепринятым прозвищем. В Олонецкой же губ. лешего зовут «лядом» («ляд тя возьми», «пошел к лядам», т. е. ступай ко всем чертям) и еще проще прямо «лесом», сознательно веруя в то же время, что «лес праведен – не то что черт». Прозвищем «праведного» леший неизменно пользуется во всех лечебных заговорах. Великие знатоки всех лесных порядков и трущобных обычаев – олончане и онежане – знают не только о том, что у леших имеется свой царь-воевода, но и как надо звать его по имени. Если кто-либо из его подданных чем-либо обидит лесника, – последний говорит заклятье, жалуясь в нем на «праведного леса», причинившего лихо, и просит избавить от беды. В противном-де случае будет послана грамотка царю в Москву, и царское величество пришлет два приказа (отряда) московских стрельцов да две сотни донских казаков и вырубят они лес в пень. В подтверждение такой острастки около рябины кладется и грамотка. Старожилы лесовики, перед отправлением на сплав или рубку, умеют предохранять себя, знают, как «заклясть леса». Они отыскивают лядину, т. е. такую возвышенность, которая обросла мелким лесом и где, между прочим, присоседилась рябина. В ней-то и вся сила обороны. Вырубается такая ветка, у которой была бы «отростелина» (отпрыск), и еще несколько рябиновых палочек. Одни кладут против сердца, другие на спинной хребет, а без тех и других наговор царю Мусаилу не действителен, и прошение он оставит у корня рябины без последствий, и никаких угроз не побоится.

наиболее чувствуется живой трепет и леший является его олицетворенным представителем.

В ярославском Пошехонье лешего называют даже просто «мужичок», а в Вологодском полесовье лешему даны даже приметы: красный кушак, левая пола кафтана обыкновенно запахнута за правую, а не наоборот, как все носят. Обувь перепутана: правый лапоть надет на левую ногу, левый – на правую. Глаза у лешего зеленые и горят, как угли. Как бы он тщательно ни скрывал своего нечистого происхождения, ему не удается это сделать, если посмотреть на него через правое ухо лошади.

Леший отличается от прочих духов особыми свойствами, присущими ему одному: если он идет лесом, то ростом равняется с самыми высокими деревьями. Но в то же время он обладает способностью и умалиться. Так, выходя для прогулок, забав и шуток на лесные опушки, он ходит там (когда ему предстоит в том нужда) малой былинкой, ниже травы, свободно укрываясь под любым ягодным листочком. Но на луга, собственно, он выходит редко, строго соблюдая права соседа, называемого полевиком или «полевым». Не заходит леший и в деревни, чтобы не ссориться с домовыми и банниками, – особенно в те, где поют совсем черные петухи, живут при избах «двуглазые» собаки (с пятнами над глазами в виде вторых глаз) и трехшерстные кошки. Зато в лесу леший является полноправным и неограниченным хозяином: все звери и птицы находятся в его ведении и повинуются ему безответно. Особенно подчинены ему зайцы. Они у него на полном крепостном праве, по крайней мере он даже имеет власть проигрывать их в карты соседнему лешему. Не освобождены от такой же зависимости и беличьи стада, и если они, переселяясь несметными полчищами и забывая всякий страх перед человеком, забегают в большие сибирские города, причем скачут по крышам, обрываются в печные трубы и прыгают даже в окна, – то дело ясное: значит, лешие целой артелью вели азартную игру и побежденная сторона гнала проигрыш во владения счастливого соперника. По рассказам старожилов, одна из таких грандиозных игр велась в 1859 году между русскими и сибирскими лешими, причем победили

русские, а продавшиеся сибиряки гнали затем из тайги свой проигрыш через Тобольск на Уральские горы, в Печорскую и Мезенскую тайболы. Кроме большой игры артелями, лешие охотно ведут и малую, между собою, с ближайшими соседями, и перегоняют зайцев и белок из колка в колок почти ежедневно. А то случается и так, что нагонят в эти колки зайцев и угонят мышей и т. д. У леших же в подчинении находятся и птицы и в полной зависимости от них все охотники: любимцам своим они сгоняют пернатых чуть не под самое дуло. Кого же задумают наказать за непочтение к себе, – у тех всегда осечка.

Кому удавалось видеть лешего, хотя бы и через лошадиное ухо, те рассказывают, что у него человеческий образ. Так, например, в Новгородчине видали лешего во образе распоясанного старика в белой одежде и белой большой шляпе. Олончане же настолько искусились в опознавании всей лесной нечисти, что умеют отличать настоящих леших в целых толпах их от тех «заклятых» людей, которые обречены нечистой силе в недобрый час лихим проклятьем. Леший отливает синеватым цветом, так как кровь у него синяя, а у заклятых на лицах румянец, так как живая кровь не перестает играть на их щеках. Орловский леший – пучеглазый, с густыми бровями, длинной зеленой бородой; волосы у него ниже плеч и длиннее, чем у попов. Но, впрочем, в черноземной Орловской губернии лешие стали редки, за истреблением их жилищ (т. е. лесов), а потому за наиболее достоверными сведениями об этой нечисти следует обращаться к жителям севера. Здесь эта нечисть сохраняется местами в неизменном старозаветном виде (напр., в Вятской и Вологодской губ.).

Настоящий леший нем, но голосист; умеет петь без слов и подбодряет себя хлопаньем в ладоши. Поет он иногда во все горло (с такой же силой, как шумит лес в бурю) почти с вечера до полуночи, но не любит пения петуха и с первым выкриком его немедленно замолкает. Носится леший по своим лесам, как угорелый, с чрезвычайной быстротой и всегда без шапки[1].

[1] В карачевских и брянских лесах его всегда видят с огромной дубиной в руках.

Бровей и ресниц у него не видно, но можно ясно разглядеть, что он – корноухий (правого уха нет), что волоса на голове у него зачесаны налево. Это удается заметить, когда он иногда подходит к теплинам дроворубов погреться, хотя в этих случаях он имеет обыкновение прятать свою рожу. Владея, как и прочая нечисть, способностью перевертываться, леший часто прикидывается прохожим человеком с котомкой за плечами. При этом некоторым удавалось различать, что он вострого-ловый, как все черти. С последним показанием, однако, сведущие люди не соглашаются, признавая в лешем, как и в домовом, нечисть, приближающуюся к человеческой природе, а многие прямо-таки видят в нем «оборотня», то есть человека, обращенного в лешего.

Лешие умеют хохотать, аукаться, свистать и плакать по-людски, и если они делаются бессловесными, то только при встрече с настоящими живыми людьми. Во Владимирской губ.[1], где леших крестьяне называют «гаркунами», прямо уверены в том, что эта нежить произошла от связи женщин с нечистой силой и отличается от человека только тем, что не имеет тени.

Лешие не столько вредят людям, сколько проказят и шутят, и в этом случае вполне уподобляются своим родичам-домовым. Проказят они грубо, как это и прилично неуклюжим лесным жителям, и шутят зло, потому что все-таки они не свой брат, крещеный человек. Самые обычные приемы проказ и шуток леших заключаются в том, что они обходят человека, то есть всякого, углубившегося в чащу с целью собирать грибы или ягоды, они либо «заведут» в такое место, из которого никак не выбраться, либо напустят в глаза такого тумана, что совсем собьют с толку и заблудившийся человек долго будет кружить по лесу на одном и том же месте. Но зато, выбравшись кое-как из чащи, натерпевшийся страху искатель грибов непременно потом будет рассказывать (и может быть, вполне чистосердечно), что он видел лешего живым, слышал его свист, его ауканья и хлопанье в ладоши.

[1] По сведениям из Меленковского уезда.

Однако во всех таких приключениях, нередких в деревенской жизни (особенно после гулянок со сватами и пиров с кумовьями), шаловливый и сам гульливый леший все-таки не ведет людей на прямую погибель, как делает это настоящий дьявол. Притом же от проказ лесного можно легко отчураться, – конечно, прежде всего молитвой и крестным знамением, а затем при помощи известных приемов, которым учат с малолетства, по заповедям отцов и прадедов. Так, заблудившемуся рекомендуется присесть на первой колоде, снять с себя и выворотить наизнанку носильное платье и затем в таком виде надеть на себя. Обязательно при этом также левый лапоть надеть на правую ногу или правую рукавицу на левую руку. Если же в беду попало двое или трое, то им следует всем перемениться одеждой, предварительно выворотив ее наизнанку (в этом случае рекомендуется подражать обычаю того же лешего, у которого все навыворот и наизнанку). Можно точно так же вызволиться из беды, проговоривши любимую поговорку лешего, которую удачливые люди успели подслушать у него издали: «шел, нашел, потерял». А кто спохватится закричать: «овечья морда, овечья шерсть», перед тем леший исчезает с криком: «а, догадался!».

Бывают, впрочем, случаи, когда все способы борьбы с лешими оказываются бессильными. Это случается раз в год, в тот заповедный день, когда лешие бесятся (4 октября). В этот день знающие крестьяне в лес не ходят.

На Ерофея-мученика указано лешим пропадать или замирать. Перед этим они учиняют неистовые драки, ломают с треском деревья, зря гоняют зверей и, наконец, проваливаются сквозь землю, чтобы явиться на ней вновь, когда она отойдет или оттает весною, и начать снова свои проказы все в одном и том же роде.

Вообще, побаиваясь злых и неожиданных затей лешего, лесной народ не прочь над ним посмеяться, а пользоваться его именем как ругательным словом вся крещеная Русь считает первым удовольствием («иди к лешему», «леший бы тебя задавил» и т. п.).

Существование «лесовых» внесло в жизнь и быт лесных обитателей своеобразные верования, не лишенные некоторых нравственных правил, так что миф о леших недаром просуществовал на земле тысячелетия. По народным воззрениям, леший служит как бы бессознательным орудием наказания за вольные и невольные грехи человека. Так, помимо того, что он заставляет бесконечно блуждать по лесу рассеянных людей, забывших осенить себя крестным знамением при входе в глухие трущобы, – он же является мстителем и во многих других случаях. В Никольском уезде (Вологодской губ.), например, леший на виду у всех унес в лес мужика за то, что тот, идя на колокольню, ругался непотребным словом. Еще сильнее карает леший за произнесение проклятий, и если случится, например, что роженица, потерявши в муках родов всякое терпение, проклянет себя и ребенка, то ребенок считается собственностью лешего с того момента, как только замер последний звук произнесенного проклятия. Обещанного ему ребенка леший уносит в лес тотчас по рождении, подкладывая вместо него «лесное детище» – больное и беспокойное. В случае же, если каким-нибудь чудом заклятого ребенка успеют окрестить ранее, так что взять его сразу нельзя, то леший ждет до 7 лет отрочества и тогда сманивает его в лес. (Лешему дана одна минута в сутки, когда он может сманить человека.) В лесу проклятые живут обыкновенно недолго и скоро умирают. А если и случится, что кто-нибудь из них, по усиленным молитвам матери, выживет, то находят его в самом жалком виде: ходит он одичалым, не помнит, что с ним было, и сохраняет полнейшее равнодушие ко всему, что его может ожидать при совместной жизни с людьми[1].

Деревенские слухи очень настойчиво приписывают, между прочим, лешим страсть к женщинам и обвиняют их в нередких похищениях девушек. Кое-где рассказывают об этих связях

[1] У олончан в их густых и непочатых лесах, кроме леших, живут еще особенные «лесные старики» или «отцы», которые, собственно, и занимаются тем, что сманивают в лес детей, но с какою целью держат их там и чем кормят – самые сведущие люди сказать не могут.

с мелкими подробностями и уверяют, что похищенные девушки никогда не рожают детей. В Тульской губ. (в Одоевском у.) указывают на окрестности села Анастасова и уверяют, что в старину, когда около села были большие леса, девушки сами убегали к лешим, жили с ними года два-три и затем возвращались домой с кучей денег и т. п. Едва ли, впрочем, во всех подобных рассказах лешие не смешиваются с заведомо сладострастными чертями дьявольской породы. Лешим также навязывают жен одинаковой с ними породы (лешачиха, лешуха) и детенышей («лешеня»), но в этих духах отчасти подозревают живущих в камышах русалок из некрещеных младенцев, отчасти проклятых людей, которые, в ожидании светопреставления от безделья также проказят (отчего и зовутся, между прочим, «шутихами»).

VIII.
ПОЛЕВОЙ

Одна белозерская вдова рассказывает у колодца соседке:

– Жила я у Алены на Горке. Пропали коровы, – я и пошла их искать. Вдруг такой ветер хватил с поля, что Господи Боже мой! Оглянулась я – вижу: стоит кто-то в белом, да так и дует, да так и дует, да еще и присвиснет. Я и про коров забыла, и скорее домой, а Алена мне и обсказывает:

– Коли в белом видела, значит полевой это.

У орловских и новгородских знающих людей, наоборот, этот дух, приставленный охранять хлебные поля, имеет тело черное, как земля; глаза у него разноцветные; вместо волос голова покрыта длинной зеленой травой; шапки и одежды нет никакой.

– На свете их много (толкуют там): на каждую деревню дадено по четыре поленика.

Это и понятно, потому что в черноземных местах полей много и мудрено одному полевику поспевать повсюду. Зато лесные жители, менее прозорливые, но не менее трусливые, видали «полевых» очень редко, хотя часто слыхали их голос. Те же, кто видел, уверяли, что полевик являлся им в виде уродливого,

маленького человечка, обладающего способностью говорить. Вот что рассказывала на этот счет одна новгородская баба.

– Шла я мимо стога. Вдруг «он» и выскочил, что пупырь, и кричит: «Дорожиха, скажи кутихе, что сторожихонька померла». Прибежала я домой – ни жива ни мертва, залезла к мужу на полати, да и говорю: «Ондрей, что я такое слышала?» Только я проговорила ему, как в подызбице что-то застонало: «Ой, сторожихонька, ой, сторожихонька». Потом вышло что-то черное, опять словно маленький человечек, бросило новину полотна и вон пошло: двери из избы сами ему отворились. А оно все воет: «Ой, сторожихонька». Мы изомлели: сидим с хозяином словно к смерти приговоренными. Так и ушло».

Относительно доброго, но проказливого нрава полевик имеет много общего с домовым, но по характеру самых проказ он напоминает лешего: так же сбивает с дороги, заводит в болото и в особенности потешается над пьяными пахарями.

С полевиком особенно часто можно встретиться у межевых ям. Спать, например, на таких местах совсем нельзя, потому что детки полевиков («межевчики» и «луговики») бегают по межам и ловят птиц родителям в пищу. Если же они найдут здесь лежащего человека, то наваливаются на него и душат.

Как все нечистые духи, полевики – взяточники, гордецы и капризники. И с этими свойствами их крестьяне вынуждены считаться. Так, например, орловские землепашцы раз в году, под Духов день, идут глухой ночью куда-нибудь подальше от проезжей дороги и от деревни, к какому-нибудь рву и несут пару яиц и краденного у добрых соседей старого и безголосого петуха – несут в дар полевику, и притом так, чтобы никто не видал, иначе полевик рассердится и истребит в поле весь хлеб.

У полевиков, в отличие от прочей нечисти, любимое время – полдень[1], когда избранным счастливцам удается его видеть

[1] В Ярославском Пошехонье знают особого духа «полудницу»: красивую высокую девушку, одетую во все белое. Летом, во время жатвы, она ходит по полосам ржи, и кто в самый полдень работает, тех берет за голову и начинает вертеть, пока не натрудит шею до жгучей боли. Она же заманивает в рожь малых ребят и заставляет их долго блуждать там. Здесь, очевидно, народное поверье сливается с наивной деревенской моралью, придуманной для острастки ребят.

наяву. Впрочем, очевидцы эти больше хвастают, чем объясняют, больше путают, чем говорят правду. Так что, в конце концов, внешний облик полевика, как равно и его характер, выясняются очень мало, и во всей народной мифологии это едва ли не самый смутный образ. Известно только, что полевик зол и что подчас он любит сыграть с человеком недобрую шутку.

В Зарайском уезде, например, со слов крестьян записана такая бывальщина:

«Сговорили мы замуж сестру свою Анну за донецкого крестьянина Родиона Курева. Вот на свадьбою, как водится, подвыпили порядком, а потом сваты в ночное время поехали в свое село Ловцы, что находится от нас недалеко. Вот сваты-то ехали-ехали, да вдруг и вздумай над ними подшутить полевик, – попали в речку обе подводы с лошадьми. Кое-как лошадей и одну телегу выручили и уехали домой, а иные и пешком пошли. Когда же домой явились, то свахи, матери-то жениховой и не нашли. Кинулись к речке, где оставили телегу, подняли ее, а под телегой-то и нашли сваху совсем окоченелою».

IX.
ВОДЯНОЙ

Мечется и плачет, как дитя больное
В неспокойной люльке, озеро лесное.

В этом двустишье говорится о небольшом озере, берега которого все на виду и настолько отлоги, что разбушевавшийся ветер гонит две волны, нагонную и отбивную, разводя опасное волнение, так называемую толчею. В бурю оно неприступно для рыбачьих челнов, хотя именно в эту пору обещает более богатую добычу. Но и во всякое другое время, как вообще все озера круглой формы, оно пользуется недоброй славой бурного и беспокойного: самые малые ветры заставляют его колыхаться, как бы от тревожных движений какой-то невидимой чудовищной силы, покоящейся на дне

его. И достаточно одного случая неудачного выезда в заподозренное озеро, окончившегося гибелью человека, чтоб в окольности, где всякий на счету и каждого жалко, прослыло оно «проклятым». Пройдут года, забудется имя несчастного, но случай останется в памяти с наслойкою придатков небывалого: простой случай превращается в легенду на устрашение или поучение грядущим векам. Одна из таких легенд связывается с именем суздальского князя Андрея Боголюбского, устроителя Залесской страны, памятного также по своим благочестивым деяниям. В темную ночь, на 29 июня 1174 г., коварные царедворцы, в заговоре с шурьями и женою князя, изменнически убили его. Брат князя, Михаил, свалил казненных убийц в короба и бросил в озеро, которое с того времени до сих пор в роковую ночь волнуется. Короба с негниющими, проклятыми телами убитых в виде мшистых зеленых кочек колыхаются между берегами, и слышится унылый стон: это мучаются злобные Кучковичи. Коварная и малодушная сестра их брошена, с тяжелым жерновым камнем на шее, в темную глубь другого, более глубокого, озера Поганого.

На всем пространстве Великой России попали в сильное подозрение и приобрели добрую и худую славу в особенности небольшие, но глубокие озера, нередко в уровень наполненные темной водой, окрашенной железною закисью. Они обилуют подземными ключами и теми углублениями дна в форме воронки, которые образуют пучины, где выбиваются воды из бездны или поглощаются ею. Темными ночами, в одиночестве, к таким водоемам никто не решается подходить. Многим чудится тут и громкое хлопанье точно в ладоши, и задавленный хохот, подобно совиному, и вообще признаки пребывания неведомых живых существ, рисующихся напуганному воображению в виде туманных призраков. А так как этому воображению не указано предельных рамок, то и те светлые озера, которые очаровывают своими красивыми отлогими или обсыпчатыми, крутыми берегами, привлекательные веселым и ласкающим видом, не избавлены также от поклепов и не освобождены, в народном представлении, от подозрений.

Во многих из них все, начиная от чрезвычайных глубин, от разнообразной игры в переливах света и причудливых отражений на ясной зеркальной поверхности, – настраивает послушное воображение на представление картин в виде следов исчезнувших селений и целых городов, церквей и монастырей. С образца и примера четырех библейских городов, погребенных за содомские грехи в соленых водах Мертвого моря, народная фантазия создала несколько подобных легенд о наших русских озерах. И у нас, как и у других народов, оказались такие же подземные церкви и подводные города. Так что в этом отношении французская Бретань ничем не отличается от русской Литвы. Во французской Бретани в незапамятные времена поглощен морем город Ис, и рыбаки, во время бури, видят в волнах шпицы церквей, а в тихую погоду слышится им как бы исходящий из глубины звон городских колоколов, возвещающих утреннюю молитву. «Мне часто кажется, что в глубине моего сердца (пишет Эрнест Ренан) находится город Ис, настойчиво звонящий колоколами, приглашающими к священной службе верующих, которые уже не слышат. Иногда я останавливаюсь, прислушиваясь к этим дрожащим звукам, и мне представляются они исходящими из бесконечной глубины, словно голоса из другого мира. В особенности, с приближением старости мне приятно во время летнего отдыха представлять себе эти далекие отголоски исчезнувшей Атлантиды».

В 30 верстах от гродненского Новогрудка разлилось небольшое озеро (версты на две в диаметре) по имени Свитязь – круглое, с крутыми береговыми скалами, поглотившее город того же имени за грехи жителей, нарушивших общеславянскую заповедь и добродетель гостеприимства (они не принимали путников, и ни один из таковых в их городе не ночевал). Поэт Литвы Мицкевич вызвал из недр этого озера поэтический образ женщины («Свитязянки»), превратившейся, подобно жене Лота, в камень за такое же нарушение обещания не оглядываться назад после выхода из города, обреченного на гибель. Еще в 50-х годах прошлого столетия

виден был в этом озере камень, издали похожий на женщину с ребенком, но теперь он затоплен водой и рвет у неосторожных рыбаков сети[1].

В Керженских заволжских лесах, некогда знаменитых в истории нашего раскола, в 40 верстах от г. Семенова, близ села Люнды (оно же и Владимирское) расположилось озеро «Светлоярое», на берега которого в заветные дни (на праздники Вознесенья, Троицы, Сретения и чествования имени Владимирской Божьей Матери, с 22 на 23 июня) стекается великое множество богомольного люда (особенно на последнюю из указанных ночь). Напившись святой водицы из озера, которое неустанно колышется, и отдохнувши от пешего хождения, верующие идут с домашними образами, со старопечатными требниками и новыми псалтирями молиться к тому холму (утору), который возвышается на юго-западном берегу озера. Разделившись в молитве на отдельные кучки, молятся тут до тех пор, пока не одолеет дремота и не склонит ко сну. На зыбких болотистых берегах вкушают все сладкий сон – с верою, что здешняя трясина убаюкивает, как малых детей в люльке, и с надеждою, что если приложить к земле на угори ухо, то послышится торжественный благовест и ликующий звон подземных колоколов. Достойные могут даже видеть огни зажженных свеч, а на лучах восходящего солнца отражение тени церковных крестов. Холм и вода скрывают исчезнувший православный город Большой Китеж, построенный несчастным героем верхнего Поволжья, русским князем Георгием Всеволодовичем, убитым (в 1238 г.) татарами в роковой битве на реке Сити, закрепостившей Русь татарам. Когда, по народному преданию, безбожный царь Батый с та-

[1] Подобными провалившимися церквями, вообще, богат весь болотистый и лесистый Северо-западный край. В Литве провалился город Рай в окрестностях целебного местечка Друскеник. Белорусские провалы представляют существенные затруднения для учета всех тех жилых мест и Божьих храмов, которые поглощены водой и скрыты в озерах. Оттуда также слышатся и костельные звоны, и церковное пение, шум и людской гомон многолюдных площадей; на поверхность воды временами выплывают св. кресты и книги, Евангелия и т. п.

тарскими полчищами разбил князя, скрывшегося в Большом Китеже, и убил его (4 февраля), Божья сила не попустила лихого татарина овладеть городом: как был и стоял этот город со всем православным народом, так и скрылся под землею и стал невидимым, и так и будет он стоять до скончания века.

Еще более странными верованиями, ввиду редких и любопытных явлений природы, поражает громадная страна, занявшая весь северо-запад России и известная под именем «Озерной области».

Здесь непокоренная, дикая и своевольная природа представляет такие поражающие и устрашающие явления, объяснение которых не только не под силу младенчествующему уму, но которые заставляют довольствоваться догадками и предположениями даже развитой и просвещенный ум. Среди олонецких озер существуют, например, такие, которые временно исчезают, иногда на долгие сроки, но всегда с возвратом всей вылившейся воды в старую обсохлую котловину[1]. В одном озере (Шимозере, в 10 кв. верст величины и до 4 саж. глубины) вся вода исчезает так, что по пустынному полю, бывшему дном, извивается только небольшой ручей, продолжающий течь и подо льдом. Пучина другого озера (Долгого) никогда не усыхает окончательно, как в первом, но вода и здесь убывает значительно; к Рождеству лед садится прямо на дно, образуя холмы, ямы и трещины; весной вода наполняет озеро, переполняет его и затем начинает показывать новое чудо – течение обратное. Вода третьего озера (Куштозера), высыхая, уводила с собою куда-то и рыбу, доходящую в озере до баснословных размеров. Рыба снова возвращалась сюда, когда с проливными осенними дождями озеро снова наполнялось водой в уровень с высокими берегами, а иногда и выше, до горной гряды, окаймляющей озерную котловину. Четвертое озеро (Каинское) высыхало так,

---

[1] Такие исчезающие озера лежат на юг от Онежского озера, близ границы Новгородской губ. Их пока насчитали семь, и расположены они в двух уездах: в вышегорском – Куштозеро, Каинское, Ундозеро, Качозеро и Андозеро, и в лодейнопольском: Шимозеро и Долгозеро.

что дно его казалось дикою степью: люди ходили здесь как по суше. Однажды, два года кряду, крестьяне косили здесь сено и довольно удачно сеяли овес.

Эти в высшей степени любопытные явления, несомненно, ждут еще научного объяснения, хотя и теперь известно, что они зависят от строения известковых горных пород, господствующих в этом краю, – и от существования подземных рек, следы которых ясно уловлены, и скрытое подземное течение ясно доказано. Видимые следы их обнаружены через те провалы, которые зачастую здесь появляются и известны под именем «глазников» или «окон». Сверх того, скрытое под землею, пребывание этих рек доказывается тем, что на тех местах, где, выщелачиваясь, оседает земля и образует пустоты, выступают на поверхность маленькие озера. В других случаях та же река выходит в виде огромных размеров родника (до 10 саж. в диаметре), никогда не замерзающего, а вода бьет струей, напоминающей клубы дыма из большой пароходной трубы.

Как же объяснить подобные загадочные явления темному уму, воспитанному на суевериях, если не призвать на помощь нечистую силу? И народ наш так и делает.

В Олонецком краю, богатом до чрезмерного избытка бесконечною цепью озер, имеются такие, где, заведомо всем окрестным жителям, поселился водяной. И слышно его хлопанье в ладоши, и следы свои на мокрой траве он оставляет въяве, а кое-кто видал его воочью и рассказывал о том шепотком и не к ночи. Тихими лунными ночами водяной забавляется тем, что хлопает ладонями по воде гораздо звончее всякого человека, а когда рассердится, то и пойдет разрывать плотины и ломать мельницы: обмотается тиной (он всегда голый), подпояшется тиной же, наденет на вострую голову шапку из куги (есть такое безлистное болотное растение, которое идет на плетушки разного рода и сиденье в стульях), сядет на корягу и поплывет проказить. Вздумается ему оседлать быка или корову, или добрую лошадь, считай их за ним: они либо в озерных берегах завязнут, либо в озерной воде

потонут. Водяному всякая из них годится в пищу[1]. Один олонецкий водяной так разыгрался и разбушевался, что осмелился и над людьми вышучивать свои злые проказы: вздумает кто в его озере искупаться – он схватит за ногу и тащит к себе в глубь омута на самое дно. Здесь сам он привычно сидит целыми днями (наверх выходит лишь по ночам) и придумывает разные пакости и шалости.

Жил он, как и все его голые и мокрые родичи, целой семьей, которая у этого олонецкого водяного была очень большая, а потому он, как полагают, больше всех товарищей своих и нуждался в свежих мертвых телах. Стал окрестный народ очень побаиваться, перестал из того озера воду брать, а наконец и подходить близко к нему, даже днем. Думали-гадали, как избавиться, и ничего не изобрели. Однако нашелся один мудрый человек из стариков-отшельников, живших в лесной келейке неподалеку. Он и подал добрый совет: «Надо, говорит, иконы поднять, на том берегу Миколе-угоднику помолиться, водосвятной молебен заказать и той святой водой побрызгать в озерную воду с кропила». Послушались мужички: зазвонили и запели. Впереди понесли церковный фонарь и побежали мальчишки, а сзади потянулся длинный хвост из баб и рядом с ними поплелись старики с клюками. Поднялся бурный ветер, всколыхнулось тихое озеро, помутилась вода – и всем стало понятно, что собрался водяной хозяин вон выходить. А куда ему бежать? Если на восход солнца, в реку Шокшу (и путь недальний – всего версты две), то как ему быть с водой, которая непременно потечет за ним следом, как ее поднять: на пути стоит гора крутая и высокая? Кинуться ему на север в Оренженское озеро – так опять надо промывать насквозь или совсем взрывать гору: водяной черт как домосед и мало бывалый перескакивать через

[1] В Олонецком краю водяные до того прижились, что завели полные деревенские хозяйства и в старину из омутов выгоняли свои стада пастись на берегу реки: коровы были все черные и гладкие. Одной такой чернушкой соблазнился крестьянин села Ухты (Вытегорского у.) и, подкравшись к стаду, ловким приемом отогнал ее, да так удачно, что у него, при всей бедности, одна корова никогда не переводилась, и была она сытее, круглее и молочнее всех соседских.

горы не умеет, не выучился. Думал было он пуститься (всего сподручнее) в Гончинское озеро по соседству, так оттуда-то именно теперь и народ валит, и иконы несут, и ладаном чадят, и крест на солнышке играет, сверкая лучами: страшно ему и взглянуть в ту сторону. «Если (думает он) пуститься смаху и во всю силу на реку Оять (к югу), – до нее всего девять верст, – так опять же и туда дорога идет по значительному возвышению: сидя на речной колоде, тут не перегребешь». Думал – думал водяной, хлопал голыми руками по голым бедрам (все это слышали) и порешил на том, что пустился в реку Шокшу[1]. И что этот черт понаделал! Он плывет, а за ним из озера целый поток уцепился, и вода помчалась, как птица полетела, по стоячим лесам и по зыбучим болотам, с шумом и треском (сделался исток из озера в реку Шокшу). Плывет себе водяной тихо и молча, и вдруг услыхали все молельщики окрик: «Зыбку забыл, зыбку забыл!» И в самом деле – увидали в одном куту (углу) озера небольшой продолговатый островок (его до сих пор зовут «зыбкой водяного»). Пробираясь вдаль по реке Мокше, водяной зацепился за остров, сорвал его с места, тащил за собой около пяти верст и успел сбросить с ноги лишь посередине реки. Сам ринулся дальше, но куда – неизвестно. Полагают, что этот водяной ушел в Ладожское озеро, где всем водяным чертям жить просторно повсюду и неповадно только в двух местах, около святых островов Коневецкого и Валаамского. Тот же остров, что стащил водяной со старого места, и сейчас не смыт, и всякий его покажет в шести верстах от Виницкого погоста, а в память об реке Мокше его зовут Шокшостровом. С уходом того водяного стал его прежний притон всем доступен. Несмотря на большую глубину озера, до сих пор в нем никто еще не утонул, и назвали это озеро Крестным (Крестозером) и ручей тот, проведенный водяной силой, Крестным.

Водяной находится в непримиримо враждебных отношениях с дедушкой домовым, с которым, при случайных встречах, неукоснительно вступает в драку. С добряками-домовыми

[1] Дело происходило близ Гонгинского погоста нынешнего Лодейнопольского уезда, Олонецкой губ.

водяные не схожи характером, оставаясь злобными духами, а потому всеми и повсюду причисляются к настоящим чертям. Людям приносят они один лишь вред и радостно встречают в своих владениях всех оплошавших, случайных и намеренных утопленников (самоубийц). На утопленницах они женятся, а еще охотнее на тех девицах, которые прокляты родителями.

В выборе мест для жительства водяные неразборчивы и вместо чистых и прозрачных озерных пучин охотно селятся в реках, причем из рек предпочитают те, которые прорезаются сквозь непроницаемые чащи еловых боров и тихо, и медленно пробираются в низменностях и впадинах. Сюда, сквозь сеть сплетшихся корней, никогда не проникают солнечные лучи; здесь опрокинутые в воду деревья бурелома никем не прибираются и никому не нужны. Они или образуют естественные мосты, или самородные плотины, а между ними получаются те глубокие, обрывистые омуты, какие намеренно устраиваются около мельниц. Тут любят водиться крупные щуки, и нередко приселяются речные богатыри, придорожные разбойники, усачи-сомы. Не брезгуя ни лесными, ни мельничными омутами, водяные духи предпочитают, однако, «пади» под мельницами, где быстрина мутит воду и вымывает ямины. Под мельничными колесами они будто бы обыкновенно любят собираться на ночлег. В это время ловкие и зоркие мельники видали духов в человеческом образе с длинными пальцами на ногах, с лапами вместо рук, с двумя, изрядной длины, рогами на голове, с хвостом назади и с глазами, горящими подобно раскаленным угольям (это в Смоленской губ.). Во Владимирской губ. водяного знают седым стариком; в Новгородской (Череповецкий у.) видали его в виде голой бабы, которая, сидя на коряге, расчесывала гребнем волосы, из которых бежала неудержимою струею вода. У вологжан (напр., Никольского у.) водяные духи, имея человеческий вид, обросли травой и мохом и росту бывают очень высокого, а в Грязовецком уезде они черные, глаза у них красные, большие, в человеческую ладонь, нос величиною с рыбацкий сапог; в Кадниковском видали духа в виде толстого бревна, с небольшими крыльями у перед-

него конца, летящим над самою водою. У орловского водяного борода зеленого цвета, и только на исходе луны – белая, седая; волосы точно так же длинные и зеленые. Из воды в этих местах он показывается только по пояс и очень редко выставляется и выходит весь. Ярославский водяной (в Пошехонье) любит гулять по берегу, наряжаться в красную рубаху; уломский водяной (Новгородская губ.) несколько раз уличен был самовидцами в том, что прикидывался иногда свиньей. В вологодских реках водяной принимает иногда вид и образ громадной рыбы (пудовой щуки), одетой меховым покровом, которая, в отличие от всех рыбных пород, при плавании держит морду обычно не против течения, а по воде. Раз видели такую рыбу крылатой (в Двинской волости), видели все до единого, и ни один человек не дерзал к этой реке подходить. Нашелся, однако, смельчак, который и разобрал, в чем дело: оказалось, что ястреб вонзился когтями в огромную щуку и столь глубоко и крепко, что не мог их вытащить из рыбьей спины в то время, когда погружался в воду. Там он захлебнулся и погиб, а затем, мертвым телом, с распростертыми в предсмертных судорогах крыльями, закоченел и стал появляться таким образом на щуке под водою и над водою. В Тульской губ. (в Одоевском у.) в зарослях реки Упы (около села Анастасова) поселилась птица, водяной бык, или выпь[1], невиданная здесь до тех пор и неслыханная. Не было сил разуверить крестьян в том, что этот ночной рев, похожий на рев коровы, не производит водяной черт, а издает птица во время сидки на яйцах...

Недоброжелательство водяного к людям и злобный характер этого беса выражается в том, что он неустанно сторожит за каждым человеком, являющимся, по разным надобностям, в его сырых и мокрых владениях. Он уносит в свои подземные комнаты на безвозвратное житье всех, кто вздумает летней порой купаться в реках и озерах после солнечного заката, или в самый полдень, или в самую полночь. (Эти

[1] Ardea Stellaris – букалище, напоминающее водяного зеленоватым цветом ног и клюва и сходное с зловещею совою серым оперением. Когда водяной кричит выпью, значит он перекликается с лешим.

«дневные уповоды» считает он преимущественно любимыми и удобными для проявления своей недоброй и мощной силы.) Кроме того, на всем пространстве громадной Великороссии он хватает цепкими лапами и с быстротою молнии увлекает в глубь всех забывших при погружении в воду осенить себя крестным знамением. С особенным торжеством и удовольствием он топит таких, которые вовсе не носят тельных крестов, забывают их дома или снимают с шеи перед купаньем. Под водою он обращает эту добычу в кабальных рабочих, заставляет их переливать воду, таскать и перемывать песок и т. д. Сверх того, водяной замучивает и производит свои злые шутки с проходящими, забывшими перекреститься во время прохода нечистых мест, где он имеет обычай селиться и из водных глубин зорко следит за оплошавшими. Таких «поганых» мест много в лесистых местностях северной России, и почти все они известны там на перечет.

Кровоподтеки в виде синяков на теле, раны и царапины, замечаемые на трупах, вынутых из воды утопленников, служат наглядным свидетельством, что эти несчастные побывали в лапах водяного. Трупы людей он возвращает не всегда, руководясь личными капризами и соображениями, но трупы животных почти всегда оставляет для семейного продовольствия.

Хорошо осведомленные люди привычно не едят раков и голых рыб (вроде налимов и угрей) как любимых блюд на столе водяного, а также и сомовину за то, что на сомах вместо лошади, ездят под водой эти черти.

Как и вся бесовская сила, водяные любят задавать пиры, и на них угощать родичей из ближних и дальних омутов, и вести сильные азартные игры. Так известен рассказ о том, как куштозерской водяной князь связался на азартной игре в кости с могучим царем таких больших владений, как озеро Онего. Для этого богача и риск был нипочем, и в игре он был искуснее, и потому захолустный царек-князек проигрывался всякий раз, как только снимался играть с могучим царем на крупных ставках. Все такие ставки обыкновенно кончались тем, что проигрывал он и воду, и рыбу, а затем и себя самого кабалил.

Проигравшись в пух, он и уходит к царю Онегу зарабатывать проигрыш и живет у него в батраках, пока не очистится. Когда же исполнится договорный срок, он возвращается в свое логовище с водой и обзаводится новой рыбой.

По известиям из черноземных мест Великороссии (губ. Калужской, Рязанской, Тульской и др.), водяные для своих пиров имеют хрустальные палаты. Орловцы прибавляют еще, к прочим украшениям хрустального дворца, золото и серебро из потонувших судов и камень «самоцвет», ярче солнца освещающий морское дно.

Никогда не умирая, водяные цари тем не менее на переменах луны изменяются: на молодике они и сами молоды, на ущербе превращаются в стариков. Около Орла поговаривают о библейских фараонах, потопленных в Чермном море: им тоже указано жить в воде, но, в отличие от бесов, они должны умирать, а при жизни неизменно оставаться в одном и том же образе: в человеческом туловище, но с рыбьим хвостом вместо ног. Наоборот, водяные северных холодных лесов, чумазые и рогатые, вместо всяких хрустальных палат с серебряными полами и золотыми потолками довольствуются песчаным полом обширных водоемов.

Подобно тому как плотникам не мешает дружба с домовым, а для охотников обязательна связь с лешими, – с водяным также приходится людям входить в ближайшие сношения, находиться в подчинении у них и заискивать.

От водяных чертей доводится терпеть и всего больше страдать, конечно, мельникам, хотя шутки шутят они и над рыбаками, и над пчеловодами. Привычные всю свою жизнь иметь дело с водой, мельники достигают таких удобств, что не только не боятся этих злых духов, но вступают с ними в дружеские отношения. Они живут между собою согласно, на обоюдных угождениях, руководясь установленными приемами и условленными правилами.

Пословица говорит, что «водой мельница стоит, да от воды и погибает», а потому-то все помыслы и хлопоты мельника сосредоточены на плотине, которую размывает и про-

рывает не иначе, как по воле и силами водяного черта. Оттого всякий день мельник, хоть дела нет, а из рук топора не выпускает и, сверх того, старается всякими способами ублажить водяного по заветам прадедов. Так, например, упорно держится повсюду слух, что водяной требует жертв живыми существами, особенно от тех, которые строят новые мельницы. С этой целью, в недалекую старину, сталкивали в омут какого-нибудь запоздалого путника, а в настоящее время бросают дохлых животных (непременно в шкуре). Вообще, в нынешние времена умиротворение сердитых духов стало дешевле: водяные, например, довольствуются и мукой с водой в хлебной чашке, и крошками хлеба, скопившимися на столе во время обеда, и т. п. Только по праздникам они любят, чтобы их побаловали водочкой. Сверх этих обычных приемов задабривания водяных, многие мельники носят при себе шерсть черного козла как животного, особенно любезного водяному черту. Осторожные и запасливые хозяева при постройке мельниц под бревно, где будет дверь, зарывали живым черного петуха и три «супорыжки», то есть стебля ржи, случайно выросших с двумя колосьями; теперь с таким же успехом обходятся лошадиным черепом, брошенным в воду с приговором. В тех же целях на мельницах все еще бережно воспитываются все животные черной шерсти (в особенности петухи и кошки). Это – на тот случай, когда водяной начнет озлобленно срывать свой гнев на хозяев, прорывая запруды и приводя в негодность жернова: пойдет жернов, застучит, зашепчет да и остановится, словно за что-нибудь задевает.

Удачи рыболовов также находятся во власти водяных. Старики до сих пор держатся двух главных правил: навязывают себе на шейный крест траву Петров крест[1], чтобы не «изурочилось», то есть не появился бы злой дух и не испортил всего дела, и из первого улова часть его или первую рыбу кидают обратно в воду как дань и жертву. Идучи на ловлю, бывалый рыбак никогда не ответит на вопрос встречного, что он идет ловить рыбу, так как водяной любит секреты и уважает

[1] Петров крест – он же заячий горошек.

тех людей, которые умеют хранить тайны. Некоторые старики-рыболовы доводят свои угождение водному хозяину до того, что бросают ему щепотки табаку («на тебе, водяной, табаку: давай мне рыбку») и с тою же целью подкупа подкуривают снасть богородской травкой и т. д.

А затем и у рыбаков, как и у охотников, сохраняется множество рассказов о неудачных встречах с водяными, о шутках, проказах этих духов и т. п.

Пчеловоды поставили свое чистое дело – уход за прославленной «Божьей угодницей» пчелкой – также в зависимость от водяного и исстари придерживаются обычая кормить его свежим медом и дарить воском, понемногу из каждого улья, накануне Спасова дня (Преображения Господня), ночью, до петухов. Точно так же об ту же пору несет пчеловод первый рой или «первак» в пруд или болото и там его топит. При этом он судит так, что когда водяному станет в воде душно, – он ломает лед, вода прибывает, делается разлив. Такой разлив, хотя, быть может, и не затопит пчельника, да худо уже то, что накопляется в воздухе излишняя сырость, а она-то и составляет для пчелок сущую погибель, неустранимое несчастье: ко всему выносливо Божье созданьице, но нескольких капель косого дождя достаточно для того, чтобы погиб целый улей. Опасливые суеверы из пчеловодов не задумываются бросать водяному сот с медом первой нарезки фунтов по 5–10 зараз. В награду за такие подарки водяной дает кукушку и приказывает хозяину пчел посадить эту птицу в отдельный улей и поставить его где-нибудь в сторонке, чтоб никто не видал и не открывал. Если кто этот улей откроет, то птица улетит, а за нею улетят и все пчелы. При этом знающие люди толкуют, что мед от таких пчел, которых напускает водяной, будет плохой на вкус и не столь сладкий, и соты не такие, как у настоящих пчел: у этих луночки в сотах выходят крестиками, а пчелы водяного строят соты кружочками.

Кроме услуг профессионального характера, водяные бывают полезны и в некоторых других случаях. Так, например, для того, чтобы отыскать место нахождения тела утопленни-

ка и похитить его из объятий водяного, достаточно пустить на воду деревянную чашку с тремя восковыми свечами, прикрепленными по краям: погрузившись, она останавливается – и всякий раз над тем местом, где лежит утопленник. Это поверье лишний раз доказывает, насколько еще существенна и жива в народе вера в водяного и могуществен беспричинный страх, порождаемый этой верой. Водяной, подобно всем духам из нечисти, не только «дедушко», как привычно зовут его, но и подлинный «пращур», каковым имеет он бесспорное право считаться.

Впрочем, подобно тому как с истреблением лесов, ослабевает вера в леших, и за справками о них приходится обращаться уже на далекие окраины, в темные вологодские сюземы и непролазные костромские раменья, – так и с высыханием рек и осушением болот, постепенно тускнеет образ водяного и начавшиеся среди водяных предсмертные беспокойства выражаются пока в переселениях или переплывах из святых озер в поганые. Но для них все же еще много остается приволья и простора в громадной озерной олонецкой стране и в тех неодолимых болотах, которые разлеглись во множестве мест громадными площадями, составляющими целые страны, подобно белорусскому Полесью, вятскому Зюздинскому краю и т. д. Здесь, в удобных местах, живут не по одному, а даже по нескольку водяных вместе. Кругом же и около, вблизи и вдали, остаются все те же мыслящие живые люди, неспособные в своих верованиях отрешаться от тех вещественных и материальных образов, которые рисует им воображение, ограниченное лишь пятью чувствами.

X.
РУСАЛКИ

Поэтический образ фантастических жилиц надземных вод, вдохновлявший поэтов всех стран и соблазнявший художников всех родов изящных искусств, еще живет в народном представлении, несмотря на истекшие многие сот-

ни лет. В качестве наследства от языческих предков славян, принесенного с берегов тихого Дуная на многоводные реки славянского востока и на его глубокие и светлые озера, этот миф значительно изменился в Великороссии. Из веселых, шаловливых и увлекательных созданий западных славян и наших малороссов русалки в стране угрюмых хвойных лесов превратились в злых и мстительных существ, наравне с дедушкой водяным и его сожительницами, вроде «шутовок» и «берегинь». Таким образом, между малороссийскими «мавками или майками» и «лешачихами» лесной России образовалась большая пропасть, отделяющая древние первобытные верования от извращенных позднейших. Русалок, поющих веселые песни восхитительными и заманчивыми голосами, заменили на лесных реках растрепы и нечесы: бледнолицые, с зелеными глазами и такими же волосами, всегда голые и всегда готовые завлекать к себе только для того, чтобы без всякой особой вины защекотать до смерти и потопить. При этом следует заметить, что в Великороссии даже не всегда про них знают. В редких местностях вообще об них вспоминают и рассказывают, как о существах живых и действующих, подобно прочей злой и уродливой нечисти. Но зато повсеместно сохранилась, так называемая «русальная неделя» и «русалкино заговенье» (на Петровки, или апостольский пост). И эти празднества ясно показывают, насколько северная лесная русалка не похожа на ту, которая пленяла и вдохновляла, между прочим, и наших великих поэтов.

Уже одно то, что русалка изображается (например, в приволжских местах) в виде соломенного чучела, а кое-где даже в виде взнузданного лошадиного черепа, укрепленного на шесте, – показывает, как потускнел и вылинял в Великороссии поэтический миф о грациозной красавице-русалке. Только в слабых и постепенно смолкающих песенных отголосках еще мелькает образ этих красивых существ и сберегаются об них слабеющие воспоминания. Но зато тут успели уже войти в обычай иные чествования, именно чествования кукушки – весенней вестницы. Девушки крестят ее в лесу,

кумятся между собою и завивают венки на березе (завивают на семик в четверг, а развивают на следующее воскресенье, приходящееся в Троицын день). Тем не менее на десятой неделе по святой Пасхе, сохранившей древнее народное название «русальной», или «русальской», ни одна деревенская девушка не решится пойти в лес без товарок, именно из боязни «злых русалок», которые, по народному представлению, на это время переселяются, из речных и озерных омутов в леса. В ту же самую пору мужики принимаются «русальничать», то есть гулять на все лады и пить целую всесвятскую неделю до самого заговенья.

Вот почему за точными справками о русалках необходимо обращаться на юг – к малороссами. В Великороссии же более подробные сведения о русалках получаются, главным образом, из губерний Тульской, Орловской, Калужской и Пензенской[1]. Но и здесь веселый образ русалки омрачается недобрыми, злыми свойствами.

Оставляя с Троицына дня воды и рассыпаясь, вплоть до осени, по полям, перелескам и рощам, русалки выбирают себе развесистую, склонившуюся над водою иву или плакучую березу, где и живут. Ночью, при луне, которая для них ярче обычного светит, они качаются на ветвях, аукаются между собою и водят веселые хороводы с песнями, играми и плясками. Где они бегали и резвились, там трава растет гуще и зеленее, там и хлеб родится обильнее. Тем не менее от русалок не столько пользы, сколько вреда: когда они плещутся в воде и играют с бегущими волнами или прыгают на мельничные колеса и вертятся вместе с ними, то все-таки не забывают спутывать у рыбаков сети, а у мельников портить жернова и плотины. Они могут насылать на поля сокрушительные бури, проливные дожди, разрушительный град; похищают у заснувших без молитвы женщин нитки, холсты и полотна, разосланные на траве для беленья; украденную пряжу, качаясь на древесных ветвях, разматывают и подпевают

[1] Из этих мест преимущественно получены Этнографическим Бюро сведения о русалках.

себе под нос хвастливые песни. В таких случаях находятся разнообразные средства и способы для борьбы с затеями лихих русалок, чтобы делать их безвредными для деревенского домашнего хозяйства. Кроме церковного ладана (незаменимого средства против всякой нечистой силы) – против чар и козней русалок отыскалось еще снадобье, равносильное священной вербе и свечам Страстной недели, – это «полынь, трава окаянная, бесколенная». Надо только пользоваться ее силою и применять ее на деле умеючи. Уходя после Троицына дня в лес, надо брать эту траву с собою. Русалка непременно подбежит и спросит:

– Что у тебя в руках: полынь или петрушка?

– Полынь.

– Прячься под тын, – громко выкрикнет она и быстро пробежит мимо. Вот в это время и надо успеть бросить эту траву прямо русалке в глаза. Если же сказать «петрушка», то русалка ответит:

– Ах ты моя душка, – и примется щекотать до тех пор, пока не пойдет у человека изо рта пена и не повалится он, как мертвый, ничком.

Хотя во Владимирской губ. и помнят еще древних русалок и признают даже два их вида (водяных и домашних), но ни те, ни другие не отмечаются такими нежными, привлекательными чертами, как южные их сестры. Поверья северян и южан связаны между собою лишь в том общем убеждении, что русалки – людские дети, умершие некрещеными, либо потонувшие или утопившиеся девушки. Во многих местах думают, что это – дети, обмененные в то время, когда роженицу оставляют одну в бане, и она лежит без креста, а ребенок подле нее спит некрещеным.

Всем русалкам разрешается выходить из воды еще на Светлое Воскресенье, когда обносят кругом церкви плащаницу. И потому в это время надо запирать двери в храме как можно крепче, из опасения, как бы не набежали русалки.

В этом поверьи, на первый взгляд несколько странном, можно различить следы древнеславянского почитания душ

умерших: весною, когда вся природа оживает, по верованию древних славян, оживали и души умерших и бродили по земле.

Эта связь между природой и душами умерших привлекала к себе внимание многих ученых, которые делают в этом направлении настолько остроумные сближения, что на них необходимо остановиться хоть на короткое время.

Души умерших, то есть русалки, суть представители царства смерти, тьмы и холода, поэтому-то с наступлением весны хотя они и оживают, но обитают все-таки в темных недрах земных вод, еще холодных весною. С Троицына дня русалки оставляют воды и живут в лесах на деревьях.

Но вот наступает время купальских дней. Солнце, купаясь в водах, освещает эти воды и оживотворяет. Уместно ли русалкам, представительницам смерти, обитать в водах, освященных купаньем живоносного солнечного божества? И вот, по тому же народному поверью, они оставляют воды и лезут на зеленые деревья, служившие, по верованию древних славян, жилищем мертвецов.

Так, между прочим, объясняет русальские праздники А. В. Балов, доставивший самые интересные данные по великорусской демонологии из Пошехонского уезда (Ярославской губ.).

Все вообще народные поверья подчиняют русалок водяному как их властителю, вследствие чего и в нашем труде привелось сопоставить оба писания рядом.

XI.
ОБОРОТНИ

От русалок прямой переход к оборотням – таким же мнимым существам, почти однородного происхождения. Чтобы стать настоящей русалкой, то есть потерять навсегда право и возможность возвратиться в первобытное состояние, по народным толкам, необходимо четыре года. Только девушкам-самоубийцам возврата назад нет. Точно так же не закрыт путь для обратного превращения в людей всякого сорта оборотням, не исключая даже волколаков, крепче других зачурованных.

Эти «волкодлаки» (по-старинному) или «волколаки»[1], по современному произношению малороссов и белорусов, суть всего чаще люди, обращенные в волка, который затем может оборачиваться в собаку, кошку, в куст, пень и проч. (Ведьмы также обращаются в волколаков и обращают других). Несмотря на то, что это поверье свойственно всем европейским народам (*франц*. Loup-garou, *нем*. Wehrfwolf и проч.), но наибольшею распространенностью и устойчивостью оно пользуется на юге и западе. Так, например, в то время как в Великороссии вера в волколаков привилась чрезвычайно слабо, – в среде белорусов и малороссов она является самою законченною, полною живых образов и совершенно искреннею. У них стоит лишь найти в лесу гладко срубленный пень, воткнуть в него с приговорами нож и перекувырнуться через него – станешь вовкудлаком. Порыскав волком, надо забежать с противной стороны пня и перекувырнуться обратно; если же нож кем-нибудь похищен, то придется остаться перевертышу навек волком. Так объясняет это поверье Даль в Толковом словаре великорусского языка.

Что касается великорусских воззрений на волколаков и оборотней, то, не навязывая доказательств, почерпнутых из личных наблюдений, мы имеем в настоящем случае возможность представить подкрепление в сообщениях, полученных нами от многочисленных корреспондентов из лесных и подмосковных (южных черноземных) губерний. Так, например, из Смоленской губернии (из Дорогобужского уезда) г. Гринев пишет:

«Вера в оборотней среди народа существует и теперь, хотя далеко и не в такой степени, как это было сравнительно немного времени тому назад».

Из Новгородской губ. (Череповецкого уезда) сообщают:

«В настоящее время в оборотней редко кто верит: есть несколько стариков, которые говорят, что оборотни есть».

---

[1] «Волкодлаки» как название составилось из двух слов, причем «кудла» принята в смысле косматой и растрепанной шерсти, какая бывает у шершавых или кудлатых собак и каковою в особенности отличаются волки.

Из Вологодской губ. (Тотемского уезда):

«Людей оборачивали в волка или медведя когда-то очень давно, когда были сильные колдуны; впрочем, есть вера, что и ныне “в зырянах” еще есть такие колдуны, что могут человека пустить волком».

Из Вятской губ. (Сарапульского уезда):

«Раньше, в старые годы, были такие колдуны, что целые свадьбы могли оборачивать в волков. Едет свадьба под венец или из-под венца – и всю свадьбу сделают волками; навсегда так и бегают. Теперь этого нет, не слыхать вовсе».

Таковы на выдержку известия с севера, а вот из подмосковных местностей – из Рязанской губ. (Скопинский уезд): «в оборотней крестьяне верят и боятся встречи с ними». Из Саратовской губ. (Хвалынский у.): «в оборотней народ верит и представляет их в виде свиньи, коровы, собаки, козла или вообще чудовища. Люди в оборотней обращаются сами собой, для чего надо воткнуть два ножа в рот, прочитать заклинание и три раза перекувыркнуться».

Из Калужской губ. (Мещовского у.): «Узнать оборотней легко можно по тому, что у них задние ноги имеют колена вперед, как у человека, а не назад, как у волка. Людям они вреда не делают, кроме тех, кто их испортил; те не должны им попадаться на встречу». Из той же губ. (Медынского уезда): «В существование оборотней верят, но волколаков не знают. Оборотнями делаются колдуны: скидываются чаще всего в свиней, скидываются кошками, собаками, даже петухами или сорокой».

Из Пензенской губ. пишут: «…при въезде в село Шигонь, Ипсарского уезда, в восточной стороне находится пересохший ручей, называемый Юр. Из-под моста по ночам выходят гусь и свинья, происхождение которых неизвестно, и нападают на проходящих, особенно на пьяных. По мнению народа, эти животные – оборотни и колдуны» и т. д.

Сопоставляя все эти противоречивые рассказы об оборотнях, нельзя не придти к заключению, что вера в них значительно ослабела и рассыпалась на множество осколков, из которых с трудом можно составить себе цельное пред-

ставление об этой нечистой силе. Даже в северных лесных трущобах, считающихся колыбелью всяких суеверий, миф об оборотнях не вылился в законченную форму. Оборотни здесь – существа временные, а не постоянные, являющиеся таковыми на ту лишь пору, когда требуют различные обстоятельства (напр., желание отомстить и даже подшутить и т. п.). В таких случаях оборотнями «скидываются на время» сами колдуны или, как называют их в Вологодских краях, «опасные». Здесь «оборачивают» некрещеных младенцев, девушек, лишивших себя жизни, – и в настоящих оборотней, и в обменок, и в русалок без всякого различия. Сами колдуны обращаются в таковых же после смерти в тех случаях, «если колдун продал свою душу черту». Избавить его можно лишь в том случае, если перед смертью перерезать ему на ногах сгибательные пяточные сухожилия. Тогда он уже теряет возможность ходить или шататься по земле. «Оборотни (пишут из Кадниковского у.) бывали еще на нашей памяти (т. е. в памяти живущего поколения), когда целые свадебные поезда, прямо из-за стола, колдуны пускали волками»...

XII.
КОЛДУН-ЧАРОДЕЙ

Прошло то доброе старое время, когда под шумок веретена охотно слушались повести о геройских подвигах могучих богатырей – на нашей памяти наступают иные времена, когда под стук швейных машин на устах присяжных сказочников-портных стала уже смолкать сказка-складка. Но колдун-чародей все еще не забыт и все еще властен и крепок, несмотря на свое почтенное долголетие. Он точно тот старый дуб, у которого давно гниет сердцевина, но которого не свалила буря благодаря лишь тому, что его корень так глубоко проник в землю, как ни у одного из прочих лесных деревьев. Самая внешность колдуна, строгая и внушительная, очень напоминает старый дуб. Вспомните обсыпанную снегом фигуру чародея, который стоит на переднем плане превосходной

картины нашего жанриста (В. М. Максимова). Внезапно этот чародей явился на свадебный пир и всех напугал не на шутку: молодые вскочили с места и остолбенели от страха, батюшка-поп находится в тревоге, а все остальные настолько испуганы, что на лицах их одновременно можно читать выражение и страха, и раскаяния: забыли, дескать, позвать колдуна – жди теперь беды; он оскорблен, он отомстит, и запоздалым угощением его теперь не задобрить.

Суеверный страх перед колдунами покоится на общенародном убеждении, что все они состоят в самых близких отношениях с нечистой силой и что черти не только исполняют все их поручения, но даже надоедают, требуя для себя все новой и новой работы. Что ни придумают чародеи – все чертям ни по чем, одна забава: выдумал один колдун заставить их овин молотить – в одну ночь измолотили так, что и соломы обирать не надо: осталась одна мякина. Дал другой меру овса и меру льняного семени, велел обе смешать и отобрать по зернушку, каждое в отдельное место: думал, что над льняными зернами, скользкими и увертливыми, черти надсадятся, а они в полчаса всю работу прикончили. Пошлют иные колдуны на елке хвою считать, каждую иголку перебрать, чтобы бесы покололи себе лапы, изошли кровью от уколов, а они сказывают верным счетом да еще самодовольно ухмыляются. Другие затейники на осину им указывают: сосчитайте, мол листья (а осиновый лист, как известно, не податлив: без ветру изгибается, без устали шевелится, ухватить себя лапами не дается). Долго черти с ними бьются; пот с них льется градом, несмотря на то, что на осине листьев меньше, чем иголок на елке, – однако и глазом заказчик едва успеет мигнуть, как работа у чертей окончена. Опять осклабили они зубы, опять навязываются на работу. Вбил один колдун в озеро кол и оставил конец над водой: «заливайте, говорит, кол». Стали черти заливать – не могут... «Теперь не скоро явятся, – думает колдун, – дня два промучаются, а я тем временем отдохну от них». Однако колдун ошибся: хотя он наказал носить воду решетом, да забыл его зааминить, сделать по молитве таким, чтобы они не могли навести свои чары –

превратить решето в лукошко. Вот черти и залили кол. Снова пришли, расхохотались: давай им что-нибудь потруднее. Тогда колдун озлился: «Вот вам чурбан из того проклятого дерева, которое вы любите за то, что на нем удавился Иуда, и под корою которого видна кровь (кора под кожицей красновата); чурбан я вырубил во весь свой рост да с одного конца отсек от него пол-аршина. Надо вытянуть кряж так, чтобы стал по мерке снова вровень с ростом». Тянули черти три дня целых – ничего у них не вышло. Пришли покаяться и опять просить работы, хотя бы еще поскучнее, например, песок с берега перетаскать в реку по песчинке, или еще мудренее: развеять куль муки по ветру да и собрать его по порошинке.

Колдуны бывают природные и добровольные, но разницы между ними нет никакой, кроме того, что последних труднее распознать в толпе и не так легко уберечься от них. Природный колдун, по воззрениям народа, имеет свою генеалогию: девка родит девку, эта вторая приносит третью, и родившийся от третьей мальчик сделается на возрасте колдуном, а девочка ведьмой. Впрочем, помимо этих двух категорий колдунов, существуют, хотя и очень редко, колдуны невольные. Дело в том, что всякий колдун перед смертью старается навязать кому-нибудь свою волшебную силу, иначе ему придется долго мучиться, да и мать-сыра земля его не примет. Поэтому знающие и осторожные люди тщательно избегают брать у него из рук какую-нибудь вещь, даже самые близкие родные стараются держатся подальше, и если больной попросит пить, то не дадут из рук, а поставят ковшик так, чтобы он сам мог до него дотянуться. Рассказывают, что один колдун позвал девку и говорит: «На тебе!» Та догадалась: «Отдай тому, у кого взял». Застонал он, заскрипел зубами, посинел весь, глаза налились кровью. В это время пришла проведать его племянница; он и к ней: «На, говорит, тебе на память!» Та спроста приняла пустую руку, – захохотал он и начал кончаться.

Для «невольного» колдуна возможно покаяние и спасение: их отчитывают священники и отмахивают в монастырях, для «вольных» же нет ни того, ни другого.

Посвящения в колдуны, в общем, сопровождаются однородными обрядами, смысл которых повсюду сводится к одному – к отречению от Бога и Царствия Небесного и затем к продаже души своей черту. Для первого довольно снять с шеи крест и спрятать его под правую пятку или положить икону на землю вниз ликом и встать на нее ногами, чтобы затем в таком положении говорить богохульные клятвы, произносить заклинания и выслушивать все руководящие наставления сатаны. Лучшим временем для этого, конечно, считается глубокая полночь, а наиболее удобным местом – перекрестки дорог как излюбленное место нечистой силы. Удобны также для сделок с чертом бани, к которым, как известно, приставлены особые духи. При заключении договоров иные черти доверяют клятвам на слово, другие от грамотных требуют расписки кровью, а неграмотным велят кувыркаться ведомое число раз через столько-то ножей, воткнутых в землю[1]. Когда все обряды благополучно окончены, к посвященному на всю жизнь его приставляются для услуг мелкие, бойкие чертенята.

Для изобличения колдунов в некоторых местах (например в Пензенской губ.) знают три средства: вербную свечу, осиновые дрова и рябиновый прут. Если зажечь умеючи приготовленную свечу, то колдуны и колдуньи покажутся вверх ногами. Равным образом, стоит истопить в Великий четверг осиновыми дровами печь, как тотчас все колдуны придут просить золы. Рябиновая же палочка помогает опознавать этих недоброхотов во время Светлой заутрени: они стоят задом к иконостасу. Это повсюду считается самым верным средством, и если встречаются разноречия, то лишь в указании времени, (напр., в Орловской и Саратовской губерниях полагают более удобным моментом для наблюдений – пение Херувимской за пасхальной обедней, причем советуют надеть на себя все чистое и новое до последней ниточки). В Новгородской же губернии колдунов опознают несколько иначе. Для этого советуют взять в руки первое яйцо молодой курицы и во время Светлой заутрени стоять на таком месте,

[1] До 12-ти раз, как сообщают из Пензенской губ.

откуда видно было бы всех молящихся; тогда у колдунов удается заметить даже рога на голове. В Калужской губ. колдуны узнаются по тому, что на Св. Пасху приходят в чужую избу огня просить и т. п. Наконец, есть и еще несколько способов, отличающихся большой странностью; в числе их один, например, такого рода: надо положить нож острием кверху и прочитать воскресную молитву («Да воскреснет Бог») с конца: тогда колдун либо заревет, либо начнет скверно ругаться. В Сарапульском у. Вятской губ. указывают еще на «сорокообеденный ладан» (пролежавший на престоле во время сорокоуста). Если такой ладан растереть в порошок и всыпать в вино, пиво и дать подозрительному человеку выпить, то он начнет ходить по избе с одного угла на другой и дверей не найдет. Этот способ тем хорош, что, если в это время дать колдуну напиться поганой воды, хотя бы из лоханки, он охотно выпьет и затем потеряет всю силу.

Все эти заботы о приискании предохранительных средств против колдунов вытекают непосредственно из непоколебимой народной веры «в порчу». Здесь, в этой порче, и сосредоточена, собственно, вся деятельность чародеев, и ею же объясняется их влиятельное значение в деревенской среде, наружное уважение к ним, почетные поклоны при всякой встрече и угощения водкой в виде отступного. Тем не менее под наружными признаками заискивающего почтения скрытно таятся зародыши глубокой ненависти, которая и вспыхивает всякий раз, как только отыскивается смельчак-обличитель, который выведет на свежую воду все чародейские штуки. Над опростоволосившимся колдуном охотно смеются, причем вслед за насмешками быстро наступает утрата всякого доверия к нему, полное равнодушие и невнимание. Это на лучший конец. В тех же случаях, когда озлобление скоплялось долгое время и вызвалось неудачею злобных выходок чародея, – общее негодование сопровождается жестокими побоями, напоминающими расправы с конокрадами. Но есть способ и единолично расправиться с колдуном. Для этого достаточно бывает ударить его наотмашь левой рукой, не оборачиваясь назад. Если при этом

прольется кровь, то чародей уже испортился и в колдуны больше не годится. Он перестает быть опасным и затем, конечно, теряется в самых задних рядах, пребывая в полном презрении и совершенном отчуждении.

Темное дело «порчи», – в какой бы истерической форме она не выражалась: в форме ли кликушества, омерячения, падучей, беснования и даже пляски св. Витта, – производится «сглазом», заговорами, «напуском» и «относом». Наговаривают на хлеб, соль, воду и проч., напускают по ветру и по следу, посылают порчу на «относ»[1], то есть подкидывают наговоренные вещи, и кто их поднимет, тот и захворает. Примеров такого рода порчи рассказывают бесконечное множество: нашла баба наговоренное яйцо у колодца и зачала на голоса кричать; подняла другая на дороге узелочек с рубахой, крестом, поясом, цепочкой и угольками – и лишилась еды, тоска напала, все не милы стали; отнесла назад туда, где нашла, и начала поправляться.

Приемы, к которым прибегают, насылая порчу, очень разнообразны. Сильному колдуну довольно взглянуть своим недобрым косым взглядом, чтобы заставить чахнуть. Колдуну послабее нужен заклятый порошок, чтобы бросить его на намеченную жертву по ветру: дело сделано, если хоть одна порошинка попадет на человека или скотину. Вынутый след, то есть щепотка или горсточка земли из-под ног обреченного, в мешочке подвешивается в чело печи, а в трубе замазываются глиной волоса его; начнет земля и глина сохнуть – сухотка обуяет и того человека. Через наговоренную сильным колдуном вещь достаточно перешагнуть, на зачурованное место стоит сесть, чтобы захворать. Иной колдун только лишь слегка ударит по плечу, ан смотришь – человек испорчен.

Тот колдун, который причинил порчу, снять ее уже не в силах, – надо искать другого, хотя бы и слабенького. И наоборот: если свой колдун успел обезопасить от всяких чар, то чу-

1 «Относы», т. е. вещи, снятые с заразного больного и отнесенные на дорогу или повешенные в лесу на суке. Болезнь уходит в дерево или в того неосторожного, который поднимет или снимет те вещи. Осторожные же никогда не поднимут находки, не перекрестясь и не обдумавши ее с молитвой.

жому тут нечего делать. Последнее всего виднее замечается на свадьбах, около которых преимущественно и сосредоточивается деятельность колдунов.

Чтобы избавить молодых от порчи, колдунов обыкновенно зовут на свадьбы в качестве почетных гостей, причем приглашенного еще в дверях избы встречает сам хозяин низким поклоном, со стаканчиком водки. Вторую чарку колдун попросит сам и затем уже смело начинает кудесить с доброй целью предупредить возможность порчи: берет из рук хозяйки поднесенные хлеб и соль, разламывает хлеб на кусочки, круто посыпает солью и разбрасывает по сторонам. Плюнувши три раза на восток, входит он в избу, осматривает все углы, дует в них и плюет, потом в одном сыплет рожь, в другом свою траву, в остальных двух золу: рожь против порчи, траву на здоровье молодых. Оглядит пристально пол: не набросано ли желтого порошка – ведомого, опасного зелья; заглянет в печь: не кинуты ли на загнетку с угольями такие травы, от которых смрад дурманит у всех головы, а у иных баб вызывает рвоту (бывали случаи, когда поезжане из-за этого смрада покидали избу и свадьбу отсрочивали). Затем колдун выходит на двор и три раза обходит лошадей, назначенных для поезда под жениха и невесту. Заглядывает под хомут: не подложил ли какой-либо недоброхот репейника или иных колючек. В избе обсыпает молодых рожью, заставляет проходить через разостланный под ноги черный полушубок и этим в конец изводит навеянную порчу. Провожая до церкви, он на каждом перекрестке и под каждыми воротами (которые считаются самыми опасными местами) шепчет заклинанья. Из-под венца велит ехать другой дорогой. На свадебном пиру принимает первые чарки и напивается прежде всех до полного бесчувствия. Тогда только его увозят домой с выговоренными подарками, сверх денег: холстом и расшитыми в узор, но не в кресты, полотенцами.

В лесных захолустьях еще живы рассказы о том, как целые свадебные поезда лихие люди оборачивали в волков, как один неприглашенный колдун высунул в окно голову и кри-

чал ехавшему по селу поезду «дорога на лес!», а колдун приглашенный отчуровывался своим словом: «дорога на поле!», и с соперником сделалось то, что у него выросли такие рога, что он не мог высвободить головы из окна, пока на обратном пути не простили его и не высвободили. Другой раз под ноги передней лошади колдун бросил рукавицу на волчьем меху, и лошадь зафыркала, остановилась как вкопанная и задержала весь поезд, который должен совершить свой путь без помех и препятствий. Против всех этих козней колдунов придумано бесчисленное множество самых разнообразных, хотя и мало действительных средств: тут и лук, и чеснок, и янтарь, и ладан, столь ненавистные чародеям, и крест, нашитый на головной платок невесте, и монета, положенная ей с наговором в чулки, и иголки без ушков, зашитые в подоле платья, и льняное семя, насыпанное в обувь. Все эти меры предосторожности обыкновенно составляют заботу свахи, хотя у колдуна, в свою очередь, припасен гороховый стручок о девяти горошинах – средство, перед которым ничто не устоит.

Колдуны, большею частью, – люди старые, с длинными седыми волосами и нечесаными бородами, с длинными неостриженными ногтями. В большинстве случаев они люди безродные и всегда холостые, заручившиеся, однако, любовницами, которые к таким сильным и почетным людям очень прилипчивы. Избенки колдунов в одно окошечко, маленькие и сбоченившиеся, ютятся на самом краю деревень, и двери в них всегда на запоре. Днем колдуны спят, а по ночам выходят с длинными палками, у которых на конце железный крюк. Как летом, так и зимой надевают они все один и тот же овчиный полушубок, подпоясанный кушаком. По наружному виду они всегда внушительны и строги, так как этим рассчитывают поддерживать в окружающих то подавляющее впечатление, которое требуется их исключительным мастерством и знанием темной науки чернокнижия. В то же время они воздерживаются быть разговорчивыми, держат себя в стороне, ни с кем не ведут дружбы и даже ходят всегда присупившись, не поднимая глаз и устрашая тем взглядом

исподлобья, который называется «волчьим взглядом». Даже и любовниц своих они не любят и часто меняют их. В церковь они почти никогда не ходят и только, страха ради иудейска, заглядывают туда по самым большим праздникам. Все это, взятое вместе, с одной стороны, совершенно порабощает напуганное воображение захолустных обитателей, а с другой – придает самим колдунам необыкновенную уверенность в своих силах. Вот характерный рассказ, показывающий, как велико обаяние колдунов в народной массе и как самоуверены в своей «работе» эти темные люди.

– Уворовали у нас деньги, – передавал один крестьянин, нуждавшийся в помощи колдуна, – пятнадцать целковых у отца из полушубка вынули. Ступай, говорят, в Танеевку к колдуну: он тебе и вора укажет, и наговорит на воду али на церковные свечи, а не то так и корней наговоренных даст. Сам к тебе вор потом придет и добро ваше принесет. Приезжаем. Колдун сидит в избе, а около него баба с парнишком – значит, лечить привела. Помолились мы Богу, говорим: «Здорово живете!». А он на нас, как пугливая лошадь, покосился и слова не молвил, а только на лавку рукой показал: садитесь, мол! Мы сели. Глянь, промеж ног у него стеклянный горшок стоит с водой. Он глядит в горшок и говорит невесть что. Потом плюнул сначала вперед, потом назад и опять начал бормотать по-своему. Потом плюнул направо, потом налево, на нас (чуть отцу в харю не попал) и начало его корчить да передергивать. А вода та в горшке так и ходит, так и плещет, а ему харю-то так и косит. Меня дрожь берет. Потом, как вскочит! хвать у бабы мальчишку, да и ну его пихать в горшок-от!.. Потом отдал бабе и в бутылку воды налил: велел двенадцать зорь умывать и пить давать, – а потом велел бабе уходить.

– Ну, говорит нам, и вы пришли. Знаю, знаю, я вас ждал. Говори, как дело было.

Я так и ахнул: угадал, нечистый! Тятька говорит: так и так, а он опять:

– Знаю, знаю! С вами хлопот много!

Отец его просит, а он все ломается, потом говорит:

– Ну, ладно: разыщем, только не скупись.

Отец вынул из кармана полштоф на стол. Колдун взял, глотнул прямо из горла раза три, а отцу говорит:

– Тебе нельзя! – и унес в чулан вино. Выходит из чулана, сел за стол и отца посадил. Начал в карты гадать. Долго гадал и все мурлыкал, потом содвинул карты вместе и говорит:

– Взял твои деньги парень белый (а кто в наших деревнях, и по волосам, и по лицу, не белый?).

Потом встал из-за стола и пошел в чулан. Выносит оттуда котел. Поставил его посередь избы, налил воды, вымыл руки и опять ушел в чулан. Несет оттуда две церковные (восковые) свечи; взял отца за рукав и повел на двор. Я за ними. Привел под сарай, поставил позадь себя, перегнулся вперед и свечи как-то перекрутил, перевернул. Одну дал отцу, одну у себя оставил и стал чего-то бормотать. Потом взял у отца свечу, сложил обе вместе, взял за концы руками, а посреди уцепил зубами и как перекосится – я чуть не убежал! Гляжу на тятьку – на нем лица нет. А колдун тем временем ну шипеть, ну реветь, зубами, как волк, скрежещет. А рыло-то страшное. Глаза кровью налились, и ну кричать: «Согни его судорогой, вверх тормашками, вверх ногами! Переверни его на запад, на восток, расшиби его на 777 кусочков! Вытяни у него жилу живота, растяни его на 33 сажени!». И еще чего-то много говорил. Затем пошли в избу, а он свечи те в зубах несет. Остановил отца у порога, а сам-от головой в печь – только ноги одни остались, и ну мычать там, как корова ревет. Потом вылез, дал отцу свечи и говорит:

– Как подъедешь к дому, подойди к воротному столбу, зажги свечу и попали столб, а потом принеси в избу и прилепи к косяку: пускай до половины сгорит. И как догорит, то смотри, не потуши просто, а то худо будет, а возьми большим и четвертым (безымянным) пальцем и потуши: другими пальцами не бери, а то сожжешь совсем и пальцы отпадут.

И так он велел сжечь свечи в три раза. Приехали мы с отцом домой и сделали, как велел колдун. А ден через пять приходит к нам Митька – грох отцу в ноги: так и так – моя

вина! И денег пять целковых отдал, а за десять шубу оставил, говорит:

– Сил моих нет, тоска одолела. Я знаю – это все танеевский колдун наделал[1].

Таковы те приемы, при помощи которых колдуны поддерживают в народе свое обаяние. Но в то же время они твердо знают, что внешнее почтение быстро сменяется ненавистью, когда чары переступят меру и начнут наносить обиды. Правда, случаи резких самосудов уголовного характера стали замечательно редки, но о случаях презрения к колдунам-неудачникам, связанного с потерею всякого уважения к ним, еще поговаривают во всех захолустьях как лесных, так и черноземных губерний. Здесь еще возможны случаи публичных состязаний двух соперников на почве хвастливого преимущества.

На этот счет в южных великоросских лесных захолустьях (например в карачевских и брянских местах) существует ходячий рассказ такого содержания.

– В старые времена на конце одного села жила-была старуха. Нос у ней был синий, большой. Как ночь, старуха то свиньей, то собакой скидывается, и все белогорлистой. Скинется – и ну по селу ходить: где солдатке под ноги подкатится и сведет бабенку с пути чистого, а где мужа с женой норовит разлучить. Грызть не грызет, а только под ноги подкатывается. А на другом конце села жил колдун. И невзлюбил тот колдун старуху, начал он ее изводить и на селе похваляться: я-де ее доконаю! Вот как настала ночь и старуха, скинувшись свиньей, пустилась по селу, колдун встал посередь села и говорит: «Стой, говорит, у меня двенадцать сил, а у тебя и всего-то пять!» Завизжала свинья и сделалась вдруг бабой. Тут народ и давай ее кольями бить: «Откажись, – говорят, – окаянная сила!» С неделю после того она с печи не сходила, чтобы синяков не показывать, а там отдышалась и опять за свое. И вздумала она раз на метлу сесть: «на метле, – говорит, – он меня не уловит». Но только это она на середину села выехала, как он и почуял, почуял да на одном колесе в погоню

[1] Рассказ И. Каблукова (сообщено из Саранского у., Пензенской губ.).

за ней как пустится, сшиб ее с метлы, да тут и заповедал ей больше этим ремеслом не заниматься.

В северных лесных местах, – именно в Тотемских краях, – общеизвестен между прочим такой случай.

На одну свадьбу, для предохранения молодых от порчи, приглашен был колдун. Когда молодые отправились в церковь, то заметили около своего дома неподвижно стоящего человека. Возвращаясь назад, увидели его опять в том же положении, словно пригвожденным к месту. Когда свадебный колдун приблизился к нему, то все слышали как тот просил: «Отпусти ты меня – не держи, сделай милость». – «Я и не держу тебя – ступай». Тогда стоявший сорвался с места и бегом, во все лопатки, пустился прочь. Всем стало понятно, что то был колдун, подосланный для порчи: его узнал защитник и чарами своими заставил его простоять на одном месте во все время венчанья и не вредить.

Но если вера в колдунов еще очень сильна в отдаленных местах, захолустьях, то в местностях, прилегающих к крупным центрам, она стала значительно ослабевать. Из подмосковных фабричных мест, например, компетентный свидетель с полною уверенностью сообщает, что там «колдунов теперь очень мало, сравнительно с недавним прошлым» (Владимирская губ., Шуйский у.). Случалось, говорят бабы, их штук по пяти на одну деревню приходилось. Всех баб, бывало, перепортят. Бывало, все кликали, а нынче на целую волость пяти-то не наберешь, лекарок больше теперь. Сообразно с такой переменой, и рассказы о колдунах из центрального района получаются совсем в другом роде. Вот, например, рассказ о столкновении колдуна с солдатом.

Вернулся домой солдат и попал прямо на свадьбу к богатому крестьянину. Все за столом сидят, а на почетном месте, в переднем углу, сидит, развалившись, и чванится Савка-колдун. Не стерпел солдат, задумал с ним погуторить: начал «прокатываться» на его счет, смешки подпускать. Не вытерпел и Савка-колдун, ударил по столу кулаком, зарычал:

– Эй, кто там крупно разговаривает? Кажись, солдат-от уж больно «дочий». Погодь, я его достану, в самое нутро достану.

Сватья и свахи повалились в ноги, стали умолять:

– Савелий Федорович, кормилец, прости его, во век твоей милостью будем довольны!

– Ладно, выгоните только этого солдатика, а то я и сидеть у вас больше не стану.

Заговорил и солдат:

– Ты, Савелий Федорович, не больно на меня наступай, лучше давай-ко потолкуем с тобой, а потом поворожим и поглядим, кто скорее уйдет отсюда.

– Ну, давай ворожить!

Взяли оба по стакану с водкой. Колдун стал нашептывать в свой, положил какой-то корешок, песочку присыпал и дал солдату выпить. Тот перекрестился и сразу выпил, так что все не успели даже глазом мигнуть. Ухмыляется солдат, да еще и спрашивает:

– Что вы на меня выпучили глаза? ничего со мной не случится. Глядите лучше на Савелья Федоровича.

Над своим стаканом солдат не шептал, а прямо высыпал свой порошок:

– Прими-ка, Савелий Федорович: выпей и ты на здоровье.

Проговорил Савка отворотные слова и выпил. А солдат велел припереть дверь и дружкам наказал не выпускать колдуна из-за стола.

Начало Савку прохватывать, стал он с почетного места проталкиваться. До середины избы не доскочил, как все повалились со смеху.

С той поры побежденный колдун заперся в своей хате, никуда не выходил и к себе никого не впускал. Вера в него поколебалась навсегда, хотя бабы приняли за колдуна и солдата.

Пользоваться помощью колдуна, как равно и верить в его сверхъестественные силы, наш народ считает за грех, хотя и полагает, что за этот грех на том свете не угрожает большое наказание. Но за то самих чародеев, за все их деяния обязательно постигнет лютая, мучительная смерть, а за гробом ждет суд праведный и беспощадный. (Здешний суд для них не годится, по крайней мере, не только жалоб на колдунов не поступает в

правительственные суды, но ввиду явных обид не приглашаются для разбирательства даже волостные и земские власти).

Самая смерть колдунов имеет много особенностей. Прежде всего колдуны заранее знают о смертном часе (за три дня), и, кроме того, все они умирают приблизительно на один манер. Так, например, пензенских чародеев бьют судороги и настолько сильно, что они не умирают на лавке или на полатях, а непременно около порога или под печкой. Если над таким колдуном станут читать «псалтырь», то в полночь он вскакивает и ловит посиневшего от страху чтеца. Вологодские колдуны перед смертными страданиями успевают дать родным словесное завещание: если умрет в поле – не вносить в избу, умрет в избе – выносить не ногами вперед, по обычаю всех православных, а головой, и у первой реки заблаговременно остановиться, перевернуть в гробу навзничь и подрезать пятки или подколенные жилы. От смоленских колдунов не требуется и подобных завещаний: все там твердо знают, что необходимо тотчас же, как только зароют могилу колдуна, вбить в нее осиновый кол[1] с целью помешать этому покойнику подыматься из гроба, бродить по белому свету и пугать живых людей[2]. Умирают колдуны непременно очень долго, так как им указано мучиться сверх положенного. Одна орловская колдунья, например, умирала целых шесть дней: к вечеру совсем умрет – затихнет, положат ее на стол, а на утро она опять залезет в подполье и снова жива. Вытащат ее оттуда, а она опять начнет мучиться: корежит ее и ломает, вся она посинеет, высунет раздутый язык наружу и не может спрятать. Дивуется народ, а не догадается снять конек (верх крыши) или хотя бы одну жердочку, чтобы облегчить предсмертные страдания[3]. Короче сказать, все рассказчики, рисующие ужа-

[1] В Владимирской губ. кресты на таких могилах обыкновенно не ставят и верят, что колдуны обычно умирают в банях, в стоячем положении.

[2] Вбивают кол, обыкновенно по общественному приговору, в тех случаях, когда родные не позволяют при погребении положить в могилу осиновой палки.

[3] В других местах сев. лес. губ. с тою же целью, чтобы дать душе простор выйти вон из тела и из избы, снимают целые крыши, веруя, однако, при этом, что черти могут вылететь и привычным своим путем в трубу.

сы предсмертных страданий колдунов, не находят слов для выраженья этих мук. Иные из колдунов доходят до того, что бьются головой об стенку, стараясь расколоть себе череп, рвут себе язык на куски и т. п. Один из них не велел жене подходить к нему и смотреть на его лицо, а когда она, бабьим обычаем, не послушалась, то после смерти мужа шесть недель лежала неподвижно, как полоумная, и все время смотрела в одну точку. Самые похороны колдунов – вещь далеко небезопасная и, зарывая их в землю, надо смотреть в оба, чтобы не случилось какой-нибудь беды. Так, на похоронах одного колдуна (Орловская губ., Брянский у.) крестьяне не заметили, как дочь его, повинуясь слепо воле умершего, положила в могилу свежей сжатой ржи. Сейчас же после этого грянул гром, нашла грозовая туча с градом, и выбило все полевые посевы. С тех пор каждый год, в день похорон этого колдуна, стало постигать «Божье наказание» (и в самом деле, в течение 83, 84, и 85 гг. град при грозе побивал хлеб лишь в одной этой деревне), так что крестьяне, наконец, решили миром разрыть могилу, вынуть гнилой сноп и только тогда успокоились (выпито при этом было видимо-невидимо).

Подводя итоги злой деятельности колдунов, можно с уверенностью сказать, что почти все деревенские напасти имеют прямую или косвенную связь с кознями чародеев. Эта нечисть вредит человеку, вредит скотине и переносит свою ненависть даже на растения. Вред, приносимый человеку, всего чаще выражается в форме болезней. Колдуны, например, «насаживают килы» на людей, то есть устраивают так, что здоровый человек заболевает грыжей или злокачественными темно-синими нарывами, сопровождаемыми невыносимой болью и необъяснимой тоской: человек просто на стену лезет. Запои также насылаются колдунами, когда несчастный бросает семью, уходит куда глаза глядят, иногда налагает на себя руки. Колдуны же отнимают у человека разум, делают его припадочным, возбуждают у мужа отвращение к жене и обратно и вообще нагоняют все те болезни, от которых бедняков отчитывают, а людей достаточных возят по монастырям,

к св. мощам. Что касается растений и животных, то, как выше было сказано, колдуны, уступая настойчивым требованиям нечистой силы, вынуждены обращать свою деятельность и на них[1], причем эта деятельность поддерживает среди темного населения постоянную нервную напряженность, проистекающую от беспрерывного ожидания нечаянных несчастий и непредусмотренных бед. Дело доходит до того, что крестьяне, например, купивши новую скотину, стараются укрывать ее подальше от недобрых глаз ведомого колдуна: стоит ему провести рукой по спине коровы, чтобы отнять у нее молоко или по спине лошади, чтобы посадить ее на задние ноги. Над лошадьми – особенно в свадебных поездах, – влияние колдунов безгранично: захочет – не пойдут с места, или падут на пути во время движения поезда в церковь. Повальные падежи скота относятся также к работе колдунов.

Из растений колдуны всего более вредят хлебу, отлично понимая, что, уничтожая крестьянские поля, они причиняют величайшее несчастье не только отдельным лицам, но целым крестьянским обществам. Чаще всего чародеи прибегают к так называемому залому или закруткам (иначе «куклы»).

Залом представляет собою очень спутанный пучок стеблей еще несжатого хлеба, надломленных в правую и левую сторону, закрученных в узел вместе с золой и присыпанных у корней солью, землей с кладбища, яичной скорлупой и распаренными старыми зернами. Если зола взята из печи одного хозяина, то залом сделан с расчетом нанести вред ему одному, предвещая различные бедствия: пожар, падеж скота и даже смерть. Так думают южные великороссы черноземной полосы и придесненские жители (Брянского уезда.); северные же (например в Пошехонье) боятся заломов еще больше, твердо веруя, что последствием таких закруток неизбежно является полный неурожай на всем поле. Крестьяне этих мест убежде-

[1] Есть, однако, растения, животные и даже вещи, которые помогают волшебству: филины, совы, черные, без всякого пятнышка, кошки, лягушки, змеи и всякие пресмыкающиеся гады безразлично; 12 железных ножей – для превращений в оборотней, осиновая зола, добытая у соседей в Великий четверг; сажа из церковной печи, травы: разрыв-трава, любжа, иван-да-марья и др.

ны, что если они и успеют предупредить или ослабить козни колдунов на испорченных полосах, то все-таки выросший хлеб не будет «спориться», то есть его будет расходоваться в семье гораздо больше обычного среднего количества, так что придется раньше времени покупать хлеб на стороне. Сверх того, с зачурованной десятины зерно получается легковесное и по количеству на половину не сравняется с соседними. Такой хлеб ни один хозяин поля не решится пустить для домашнего потребления, а постарается поскорее продать его на сторону. Кроме дурного качества зерна, залом имеет еще ту особенность, что с ним чрезвычайно трудно бороться: что бы ни делали хозяева зачурованного поля, как бы ни вырывали и ни жгли залома, но загаданная беда непременно сбудется, если не отслужить молебна с водосвятием и не попросить самого священника вырвать крестом всю закрутку с корнем. Правда, кроме священника, во многих местах хлебородных губерний возлагают еще надежды на опытных стариков и даже на ловких знахарей. В Карачевском уезде, например, в селе Ячном жил 75-летний старик, которого всюду возили «развязывать» заломы старинным и очень мудреным способом[1]. Старик этот приносил с собой на загон изломанное колесо, срезанный залом клал в ступицу и сжигал на глазах хозяев, от которых требовал лишь посильного угощения на дому. Не таков был мещанин из Малоархангельска, тоже специалист по части заломов. Этот брал дорого и выезжал на места неохотно. Зато он уж вполне, бывало, обнадежит и успокоит не только самого потерпевшего, но и всех соседей. Приезжал он обыкновенно с книжкой и по ней читал молитвы (требник Петра Могилы): «Мне, говорит, его московский митрополит дал и сказал: кормись и поминай меня!» Самое чтение он обставлял очень торжественно: «Залом-залом, взвейся под огнем, рассыпься пеплом по земле, не делай вреда никому! Огонь очищает, бо-

[1] Надо вставать по три зари до восхода солнца и нашептывать воду. А шептать надо долго, так что иной дед шевелит-шевелит губами и языком, да так и заснет. Нашептанной водой обрызгивают весь загон, и потом уже залом срезают и сжигают.

лезни прогоняет», – так говорил он в июле и притом обыкновенно поднимал руки кверху, держа ладони обращенными к огню, который наказывал приготовить к его приходу. Затем дул на все четыре стороны и говорил какие-то таинственные слова. Куда сам он не ездил, туда посылал либо три палочки (две сложит крестом, третьей прикроет и велит ими поднимать залом), либо давал записку с заклинательными словами, которую приказывал сжечь вместе с заломом, а пепел привезти к нему для окончательного отговора. Мужики при этом удивлялись тому, что откуда бы ветер ни был, но пламя тянуло прямо на него.

Кроме заломов, равносильным и едва ли даже не большим несчастьем следует считать так называемые прожины (или прорезы). Это не недочет в снопах или копнах, а та дорожка во ржи, в вершок шириною, которая проходит с одного края загона до другого и по которой все колосья срезаны. Срезают их жучки и черви в то время, когда рожь в цвету, и потому, конечно, никаких следов человеческих ног по сторонам никогда не замечается, а напротив, стенки ржи бывают даже приметно гуще, чем в других местах той же хлебной полосы. Но крестьяне объясняют это явление тем, что колдун, делая прожин, стоит в это время обеими ногами на двух иконах, как на лыжах, и ведет дорожку, как колесо катит.

Когда опытные хозяева замечают прожин, то зовут священника и подымают иконы, придавая между ними большое значение «Святцам» (иконе 12-ти праздников с Воскресеньем в середине). Священник идет по прожину с крестом и кропит по сторонам святою водою. Если же эти меры предосторожности не будут приняты, то результаты прожина скажутся и надежды на урожай не оправдаются: на корню по всему полю рожь как будто бы хороша, то есть соломой велика и зерном прибыльна, но как только сжали ее, привезли на гумно и начали молотить, то сейчас же стали замечать, что вместо 5 или 4 мер с копны вышло лишь по две, а то и по одной чистого зерна. Одни при этом толкуют, что затем колдуны и прожин делают, чтобы переливать зерно в свои закрома (пятое со все-

го поля), другие объясняют беспричинною злобою и желанием всем хозяевам полного недорода[1].

XIII.
ВЕДЬМА

В духовном стихе, записанном (А. В. Валовым) в Пошехонье, Ярославской губ., душа ведьмы, уже завершившей свое земное существование, следующим образом кается в своих грехах:

«От коровушек молочко отдаивала,
Промеж межи полоску прожиновала,
От хлебушка спорынью отымывала».

В этом стихе дается полная характеристика злой деятельности ведьмы, так как эти три деяния составляют специальные занятия женщин, решившихся продать свою душу чертям. Впрочем, если внимательно всмотреться в облик ведьмы в том виде, в каком он рисуется воображению жителей северной лесной половины России, то в глаза невольно бросится существенное различие между великорусской ведьмой и родоначальницей ее – малорусской. Если в малорусских степях среди ведьм очень нередки молодые вдовы и притом, по выражению нашего великого поэта, такие, что «не жаль отдать души за взгляд красотки чернобровой», то в суровых хвойных лесах, которые сами поют не иначе, как в минорном тоне, шаловливые и красивые малороссийские ведьмы превратились в безобразных старух. Их приравнивали здесь к сказочным бабам-ягам, живущим в избушках на курьих ножках, где они, по олонецкому сказанию, вечно кудель прядут и в то же время «глазами в поле гусей пасут, а носом (вместо кочерги и ухватов) в печи поваруют». Великорусских ведьм обыкновенно смешивают с колдуньями и представляют себе не иначе, как в виде старых, иногда

[1] Такие же прожины делают лесные муравьи в траве, прокладывая себе дороги, иногда в 2–3 верстах от муравейника, но таким прожинам не придается зловещего значения.

толстых, как кадушка, баб с растрепанными, седыми космами, костлявыми руками и с огромными синими носами. (По этим коренным чертам во многих местностях самое имя ведьмы сделалось ругательным). Ведьмы, по общему мнению, отличаются от всех прочих женщин тем, что имеют хвост (маленький) и владеют способностью летать по воздуху на помеле, кочергах, в ступах и т. п. Отправляются они на темные дела из своих жилищ непременно через печные трубы и, как все чародеи, могут оборачиваться в разных животных, чаще всего в сорок, свиней, собак и желтых кошек. Одну такую свинью (в Брянских местах) били чем ни попало, но кочерги и ухваты отскакивали от нее, как мячик, пока не запели петухи. В случаях других превращений побои также считаются полезною мерою, только советуют бить тележной осью и не иначе, как повторяя при каждом ударе слово «раз» (сказать «два» значит себя сгубить, так как ведьма того человека изломает). Этот ритуал избиения, определяющий, как и чем надо бить, показывает, что кровавые расправы с ведьмами практикуются весьма широко. И действительно, их бьют и доныне, и современная деревня не перестает поставлять материал для уголовных хроник. Чаще всего ведьмы подвергаются истязаниям за выдаивание чужих коров. Зная повсеместный деревенский обычай давать коровам клички сообразно с теми днями недели, когда они родились, а равно и привычку их оборачиваться на зов, – ведьмы легко пользуются всем этим. Подманивая «авторок» и «субботок», они выдаивают их, до последней капли, так что коровы после того приходят с поля такими, как будто совсем потеряли молоко. Обиженные крестьяне утешают себя возможностью поймать злодейку на месте преступления и изуродовать, отрезавши ей ухо, нос или сломавши ногу. (После того в деревне обыкновенно не замедлит обнаружиться баба с подвязанной щекой или прихрамывающая на ту или другую ногу). Многочисленные опыты в этом роде производятся повсеместно, так как крестьяне до сих пор сохранили уверенность, что их коровы выдаиваются не голодными соседками, не знающими, чем накормить ребят, а именно ведьмами. Притом же крестьяне,

по-видимому, не допускают и мысли, что коровы могут потерять молоко от болезненных причин или что это молоко может быть высосано чужеядными животными.

Ведьмы имеют чрезвычайно много общего с колдунами, и если подбирать выдающиеся черты в образе действий тех и других, то придется повторяться. Они также находятся между собою в постоянном общении и стачке (вот для этих-то совещаний и изобретены «лысые» горы и шумные игры шаловливых вдов с веселыми и страстными чертями)[1], точно так же тяжело умирают, мучаясь в страшных судорогах, вызываемых желанием передать кому-нибудь свою науку, и у них точно так же после смерти высовывается изо рта язык, необычно длинный и совсем похожий на лошадиный. Но этим не ограничивается сходство, так как затем начинаются беспокойные ночные хождения из свежих могил на старое пепелище (на лучший случай – отведать блинов, выставляемых за окно до законного сорокового дня, на худший – выместить запоздавшую и неостывшую злобу и свести непокончeнные при жизни расчеты с немилыми соседями). Наконец, успокаивает их точно так же осиновый кол, вбитый в могилу. Словом, бесполезно разыскивать резкие границы, отделяющие волхвов от колдунов, так же точно, как ведьм от колдуний. Даже история тех и других имеет много общего: ее кровавые страницы уходят в глубь веков, и кажется, что они потеряли свое начало – до такой степени укоренился в народе обычай жестокой расправы с колдунами и ведьмами. Правда, против этого обычая еще в

1 За отдаленностью или прямо за неимением лысых гор, для свиданий признают достаточно удобными чуланы и особенно бани, причем для надзора за ними существует «ведьмак». По всему югу Великороссии это – либо колдун, либо упырь-кровосос, который, по общему всем славянским народам поверью, ходит после смерти и морит людей. Всего же чаще ведьмак – доброе существо, не только ничего злого не творящее, но даже старающееся быть полезным: он ведьмам мешает делать зло, запрещает ходить мертвецам, разгоняет тучи и пр. Он и по смерти не теряет свой силы. Рассказывают, что не раз видали его, как он дерется с мертвецами на могилах и всегда побеждает. По причине этой путаницы понятий, не дающих ясного представления о ведьмаках, и за принадлежностью к украинским поверьям упырей-мертвецов – ночных бродяг – не находим надобности обоим дать отдельные описания.

средние века выступали наиболее просвещенные отцы Церкви, но в ту суровую эпоху проповедь кротости и незлобия имела мало успеха. Так, в первой половине XV века, одновременно с тем как во Пскове во время моровой язвы сожгли живыми двенадцать ведьм, – в Суздале епископ Серапион вооружается уже против привычки приписывать общественные бедствия ведьмам и губить их за это: «Вы все еще держитесь поганского обычая волхвования, – говорил св. отец, – веруете и сожигаете невинных людей. В каких книгах, в каких писаниях слышали вы, что голода бывают на земле от волхвования? Если вы этому верите, то зачем же вы сожигаете волхвов? Умоляете, почитаете их, дары им приносите, чтобы не устраивали мор, дождь ниспускали, тепло приводили, земле велели быть плодоносною? Чародеи и чародейки действуют силою бесовскою над теми, кто их боится, а кто веру твердую держит к Богу, над тем они не имеют власти. Скорблю о вашем безумии, умоляю вас, отступите от дел поганских. Правила божественные повелевают осуждать человека на смерть по выслушании многих свидетелей, а вы в свидетели поставили воду, говорите: “если начнет тонуть – невинна, если же поплывет – то ведьма”. Но разве дьявол, видя ваше маловерие, не может поддержать ее, чтобы не тонула, и этим ввести вас в душегубство?» Однако гласом в пустыне прозвучали эти слова убеждения, исполненные высочайших чувств христианского милосердия: через 200 лет, при царе Алексее, старицу Елену сжигают в срубе как еретицу с чародейскими бумагами и кореньями после того, как она сама созналась, что портила людей и некоторых из них учила ведовству. В Перми крестьянина Телева огнем жгли и на пытке дали ему три встряски по наговору, что он напускает на людей икоту. В Тотьме в 1674 г. сожжена была в срубе, при многочисленных свидетелях, женщина Федосья по оговору в порче и т. д. Когда (в 1632 г.) из Литвы дошли вести, что какая-то баба наговаривает на хмель, чтобы навести моровое поветрие, – то тотчас, под страхом смертной казни, тот хмель запретили покупать. Спустя еще целое столетие (в 1730 г.) сенат счел нужным напомнить указом, что

за волшебство закон определяет сожжение, а через сорок лет после того (1779 г.) епископ Устюжский доносит о появлении колдунов и волшебников из крестьян мужеского и женского пола, которые не только отвращают других от правоверия, но и многих заражают разными болезнями посредством червей. Колдунов отправили в сенат как повинившихся в том, что отреклись от веры и имели свидание с чертом, который приносил им червей. Тот же сенат, узнавши из расспросов колдунов, что их не раз нещадно били и этими побоями принудили виниться в том, в чем они вовсе не виноваты, распорядился воеводу с товарищем отрешить от должности, мнимых чародеев освободить и отпустить, а архиереям и прочим духовным особам запретить вступать в следственные дела о чародействах и волшебствах, ибо эти дела считаются подлежащими гражданскому суду. И вот с тех пор, как блеснул впервые в непроглядном мраке животворный луч света, – накануне XX столетия мы получаем нижеследующие известия все по тому же чародейскому вопросу о ведьмах:

«Недавно (пишет корреспондент наш из Орла) в начале 1899 г. чуть было не убили одну женщину (по имени Татьяна), которую все считают за ведьму. Татьяна поругалась с другой женщиной и пригрозила ей, что испортит ее. И вот что произошло потом из-за уличной бабьей перебранки: когда на крики сошлись мужики и обратились к Татьяне с строгим запросом, она им обещала превратить всех в собак. Один из мужиков подошел к ней с кулаком и сказал: “Ты вот ведьма, а заговори мой кулак так, чтобы он тебя не ударил”. И ударил ее по затылку. Татьяна упала, на нее, как по сигналу, напали остальные мужики и начали бить. Решено было осмотреть бабу, найти у ней хвост и оторвать. Баба кричала благим матом и защищалась настолько отчаянно, что у многих оказались исцарапаны лица, у других покусаны были руки. Хвоста, однако, не нашли. На крик Татьяны прибежал ее муж и стал защищать, но мужики стали бить и его. Наконец, сильно избитую, но не перестававшую угрожать женщину связали, отвезли в волость (Рябинскую) и посадили в холодную. В волости им сказали, что за

такие дела всем мужикам попадет от земского начальника, так как-де теперь в колдунов и ведьм верить не велят. Вернувшись же домой, мужики объявили мужу Татьяны, Антипу, что жену его, должно быть, порешат послать в Сибирь и что они на это согласны будут дать свой приговор, если он не выставит ведра водки всему обществу. За выпивкой Антип божился и клялся, что не только не видал, но ни разу в жизни даже не заметил никакого хвоста у Татьяны. При этом, однако, он не скрыл, что жена угрожает оборотить его в жеребца всякий раз, когда он захочет ее побить. На другой день пришла из волости Татьяна и все мужики явились к ней договариваться о том, чтобы она в своей деревне не колдовала, никого не портила и не отымала у коров молока. За вчерашние же побои просили великодушно прощения. Она побожилась, что исполнит просьбу, а через неделю из волости получился приказ, в котором было сказано, чтобы впредь таких глупостей не было, а если что подобное повторится, то виновные за это будут наказаны по закону и, кроме того, об этом будет доводиться до сведения земского начальника. Выслушали крестьяне приказ и порешили всем миром, что наверняка ведьма околдовала начальство и что поэтому впредь не следует доходить до него, а нужно расправляться своим судом».

В деревне Теребеневе (Жиздринского у., Калужской губ.) семилетняя девочка Саша говорила матери, что она с теткой Марьей, у которой жила в няньках, каждую ночь летала на лысую гору.

– Когда все заснут, погасят огни, тетка Марья прилетит сорокой и застрекочет. Я выскочу, а она бросит мне сорочью шкуру, надену я ее – и полетим. На горе скинем шкуру, разложим костры, варим зелье, чтобы людей поить. Слетается баб много: и старых, и молодых. Марье весело – свищет да пляшет со всеми, а мне скучно в сторонке, потому что все большие, а я одна маленькая.

То же самое Саша рассказала отцу, а этот бросился прямо к Марье:

– Безбожница, зачем ты мне дочь испортила?

Заступился Марьин муж: вытолкал дурака за порог и дверь за ним затворил. Но тот не унялся и к старосте. Подумал, подумал староста и говорит:

– Нет, я тут действовать не могу, – иди к попу и в волость.

Думал, думал отец и надумал сводить свою дочку в церковь, исповедать ее, причастить и попытаться, не возьмется ли священник ее отчитать. От исповеди, однако, девочка сама отказалась.

– Ведьмы не молятся и не исповедуются!

И в церкви повернулась к иконостасу спиной. Священник отчитывать отказался и посоветовал девчонку хорошенько выпороть.

– Какой сорокой она скидывалась, куда летала? И ты, дурак, веришь болтовне ребенка?

Между тем у избы встревоженного отца толпа мужиков и баб не расходится, и девчонка продолжает болтать свой вздор.

В волости жалобщику поверили и Марью признали за колдунью. Порылся писарь в законах и оповестил:

– Нет, брат, против черта ничего не поделаешь: никакой статьи противу его я не подыскал.

Пало на Марью подозрение, и слава ведьмы стала расти. Стали соседки следить за каждым ее шагом, припоминать и подмечать всякие мелочи. Одна рассказывала, что видела, как Марья умывалась, перегнувшись через порог на улицу; другая, что Марья черпала воду на сутоках, третья, что Марья в ночь на Ивана Купалу собирала травы и т. п. Каждый шаг несчастной женщины стали перетолковывать в дурную сторону. Мальчишки из-за угла начали в нее камнями бросать. Ни ей, ни мужу нельзя стало на улице показываться, чуть в глаза не плюют.

– Хоть бы ты, батюшка, вступился за нас! – умолял Марьин муж священника. Священник пробовал убеждать толпу и успокаивать Марью, но ничто не помогало и, в конце концов, невинная и кроткая Марья умерла в чахотке.

С того времени прошло лет 15. Саша уже давно выросла, давно уверяет, что рассказ ее – чистая выдумка, но теперь ей уже

никто не верит: вошла девка в полный смысл и поняла, что этого рассказывать не следует. Девка она хорошая, но ни один жених за нее не сватается: никому нет охоты жениться на ведьме.

Придется, вероятно, и ей, сидя в старых девках, обратиться к промыслу ворожеи, тем более что такие занятия почти не опасны и очень выгодны. Мимо ворожеи не пройдут ни удалые молодцы, ни красные девицы, ни обманутые мужья, ни ревнивые жены, потому что и нынче, как в старину, живет в людях вера в «присуху». Не надо ни лысых гор, ни придорожных росстаней, достаточно и деревенских заваленок, чтобы, узнавая сокровенные тайны, усердно заниматься приворотами и отворотами любящих и охладевших сердец: и себе на руку, и посторонним в помощь. В таких делах для ловких людей еще много простора, как бы ни назывались эти ловкачи: ведьмами или ворожеями, гадалками или знахарками, бабками или шептуньями. Вот несколько примеров из практики современных ведьм и гадалок.

Один крестьянин Орловской губернии тяжко провинился перед новобрачной женой и, чтобы как-нибудь поправить дело, обратился за советом к хваленой старухе-знахарке, о которой шла молва как о заведомой ведьме. Знахарка посоветовала своему пациенту пойти в луга и отыскать между стожарами (колья, на которых крепятся стоги сена) три штуки таких, которые простояли вбитыми в землю не менее трех лет; затем наскоблить с каждой стожары стружек, заварить их в горшке и пить.

А вот еще случаи из практики ворожей.

– От суседей нет мне промытой воды, – жаловалась также известной калужской ведьме одна девушка, служившая у богатого купца: обещал взять замуж да и обманул. Все смеются, даже малые ребята.

– Ты только принеси мне лоскут от его рубахи, – обнадеживала ее ведьма, – я отдам церковному сторожу, чтобы он, как станет звонить, навязал на веревку этот клок, тогда купец от тоски не будет знать, куда деться, и сам к тебе придет, а ты посмейся ему: я, мол, не звала тебя, зачем пришел?..

Жаловалась и другая бедная девушка, пожелавшая выйти за богатого крестьянина, которому она не нравилась.

– Ты, если можно, достань его чулки с ног, – присоветовала ведьма. – Я отстираю их и наговорю воду ночью и дам тебе три зерна: одно бросишь против его дома, а другое ему под ноги, когда будет ехать, третье – когда он придет...

Случаев таких в практике деревенских ведьм бесконечно много, но замечательно, что знахарки и ведьмы воистину неистощимы в разнообразии своих рецептов. Вот еще несколько образчиков.

Любит мужик чужую бабу. Жена просит совета.

– Посматривай на дворе, где петухи дерутся, – рекомендует ведьма: возьми на том месте земельки горсточку и посыпь ее на постель твоей разлучницы. Станет она с мужем твоим вздорить, – и опять полюбит он свой «закон» (т. е. жену).

Для присухи девиц советуют вынашивать под левой мышкой, в течение нескольких дней, баранки или пряники и яблоки, конечно, прежде всего снабженные наговорами, в которых и заключена главнейшая, тайно действующая сила.

Только знающие и избранные ведьмы болтают не на ветер заговорные слова, а закладывают в наговоренные вещи именно то, что потом будет врачевать, успокаивать и утешать, по желанию. Точно самым целебным зельем наполняется наболевшее сердце, когда слышат уши о пожелании, чтобы тоска, давившая до сих пор, уходила прочь «ни в пенье, ни в коренье, ни в грязи топучи, ни в ключи кипучи», а именно в того человека, который оскорбил, разлюбил или обманул обещаниями и т. п. Для влюбленных ведьмы знают такие слова, что, кажется, лучше и слаще их и придумать никому нельзя. Они посылают присуху «в ретивые сердца, в тело белое, в печень черную, в грудь горячую, в голову буйную, в серединную жилу, и во все 70 жил, и во все 70 суставов, в самую любовную кость. Пусть эта самая присуха зажгла бы ретивое сердце и вскипятила горячую кровь, да так, чтобы нельзя было ни в питье ее запить, ни в еде заесть, сном не заспать, водой не смывать, гульбой не загулять, слезами не заплакать» и т. п.

Только исходя из уст ведьм, слова эти имеют силу «печатать» чужое сердце и запирать его на замок, но и то лишь в том случае, когда при этом имеются в руках: наговорные коренья, волосы любимого человека, клочок его одежды и т. п. Всякому обещанию верят и всякое приказание исполняют: подкладывают молодым ребятам голик под сани, если желают, чтобы кто-нибудь из них в текущем году не женился, сжигают его волосы, чтобы он целый год ходил, как потерянный. Если же выпачкать ему поддевку или шубу бараньей кровью, то и вовсе его никто любить не будет.

Но самое действительное средство в любовных делах – это таинственный талисман, который добывается из черной кошки или из лягушек. Из первой, разваренной до последней степени, получается «косточка-невидимка», делающая человека, который ею владеет, невидимкой. Косточка равносильна сапогам-самоходам, ковру-самолету, суме-хлебосолке и шапке-невидимке. Из лягушки достают две «косточки-счастливки», с одинаковым успехом служащие как для приворотов, так и отворотов, возбуждающих любовь или вызывающих отвращение. Об этих кошачьих и лягушечьих косточках отзываются и в сказках с полною верою в их чародейство. Добываются эти косточки очень легко: стоит выварить в котелке совершенно черную кошку – и получатся «крючок и вилочка», или стоит посадить в муравейник двух лягушек, чтобы получить «крючок и лопатку». Крючком задевают ту, которую желают привлечь к себе (или незаметно прицепляют ей на платье). Вилочкой или лопаткой отталкивают от себя ее же, когда успеет она надоесть или совсем опостылит. Немного при этом требуется обрядов и не особенно трудна подготовка. От муравьиной кучи надо уходить задом наперед, чтобы леший не мог догнать, когда пойдет искать следов; тогда оба следа будут вести в лес, а из лесу следа не будет. В иных случаях советуют по 12 ночей кряду ходить к тому муравейнику и обходить его молча три раза, только на тринадцатую ночь дается в руки подобное сокровище. Впрочем, можно обходиться и без этих подходов. Неудача постигает лишь в том

случае, когда пристегнутый к платью крючок отмеченная девица не проносит на себе три недели кряду и т. п.

По всем приведенным данным можно заключить, что некогда влиятельная и страшная власть ведьм, устремленная, главным образом, на любовные дела, теперь замыкается в пределах бабьего царства. В этом, конечно, надо видеть большое счастье и несомненный успех просвещения. Уже из многих мест, и притом славящихся своим суеверием, доносятся, например, такие отрадные вести:

– В старину ведьм много водилось, а нынче что-то не слыхать.

– Теперешняя ведьма чаще всего сводня. Так что ведьмы не только обмирают, по старому обычаю, на Силу и Силуана (30 июля), опившись краденого молока от чужих коров, но, по многим несомненным признакам, при новых порядках и вовсе приготовились к настоящей смерти.

XIV. КЛИКУШИ

В деревенской Руси чрезвычайно распространен особый вид нервных женских болезней, известных под именем «кликушества». Эта болезнь проявляется в форме припадков, более шумных, чем опасных, и поражает однообразием поводов и выбором мест для своего временного проявления. Та часть литургии верных, которая предшествует пению Херувимской и великому выходу со св. Дарами, в далеких глухих селах оглашается криками этих несчастных. Крики несутся в такой странной разноголосице, что на всякого свежего человека способны произвести потрясающее впечатление не одною только своею неожиданностью или неуместною дерзостью. При этом не требуется особенной сосредоточенности внимания, чтобы заметить, насколько быстро сменяется мирное молитвенное настроение присутствующих. На всех лицах появляется выражение болезненной тоски и вместе сердечного участия и сострадания к несчастной. Ни малейшего намека на резкий

протест, ни одного требования удалить «одержимую» из храма. Все стоят молча, и только в группе женщин, окружающих больную, заметно некоторое движение: они стараются успокоить «порченую» и облегчить ей возможность выстоять всю обедню вплоть до того времени, когда с выносом св. Даров обязательно исчезнет или смолкнет вся нечистая сила. Это мягкое и сердечное отношение к кликушам покоится на том предположении, что не человек, пришедший в храм помолиться, нарушает церковное благочиние и вводит в соблазн, но тот злой дух, который вселился в него и овладел всем его существом. Злой дух смущает молящихся нечеловеческими воплями и разными выкриками на голоса всех домашних животных: собачий лай и кошачье мяуканье сменяются петушиным пением, лошадиным ржанием и т. п. Чтобы прекратить этот соблазн, четыре-пять самых сильных мужчин охотно выделяются из толпы и ведут больного до царских врат к причастию, искренно веруя при этом, что борются не с упрямством слабой женщины, а с нечеловеческими силами сидящего в ней нечистого. Когда кликуша начинает успокаиваться, ее бережно выводят из церкви, кладут на землю и стараются укрыть белым покрывалом, для чего сердобольные женщины спешат принести ту скатерть, которою накрыт был пасхальный стол с разговеньем, или ту, в которой носили на пасхальную заутреню для освящения яйца, кулич и пасху. Иные не скупятся поить сбереженной богоявленской водой, несмотря на то, что эта вода и самим дорога, на непредвиденные несчастные случаи. Знающие и опытные люди при этом берут больную за мизинец левой руки и терпеливо читают молитву Господню, воскресную и Богородичную до тех пор, пока кликуша не очнется. Кроме молитв, иногда произносятся особые заговоры, которыми велят выходить нечистой силе «из белого тела, из нутра, из костей, суставов, из ребер и из жилов и уходить в ключи-болота, где птица не летает и скот не бывает, идти по ветрам, по вихорям, чтобы снесли они злую силу в черные грязи топучия, и оттуда бы ее ни ветром не вынесло, ни вихорем бы не выдуло» и т. п.

С такою же заботою и ласкою относятся к кликушам и в домашней жизни, считая их за людей больных и трудноизлечимых. От тяжелого труда их освобождают и дают поблажку даже в страдную пору, при скоплении утомительных работ: они обыкновенно редко жнут, а в иных местах и не молотят. (Если же иногда, во время припадков, и применяются кое-какие суровые меры, подчас похожие на истязания, то все это делается из прямого усердия, в простоте сердца). Когда после удачных опытов домашнего врачевания больная совершенно успокоится и семейные убедятся в том, что злой дух вышел из ее тела, ей целую неделю не дают работать, кормят, по возможности, лучшею едою, стараются не сердить, чтобы не дать ей возможности выругаться «черным словом» и не начать, таким образом, снова кликушничать. У некоторых истерические припадки обостряются до такой степени, что становится жутко всем окружающим: «порченая» падает на землю и начинает биться и метаться по сторонам с такою неудержимою силою, что шестеро взрослых мужиков не в состоянии предохранить ее от синяков и увечий. Изо рта показывается пена, глаза становятся мутными и, вся растрепанная, кликуша, в самом деле, на вид делается настолько страшной, что всякие резкие меры, предпринимаемые в этих случаях, становятся отчасти понятными. При усмирении расходившейся в припадках больной обыкновенно принимают участие все досужие соседи, так что набирается полная изба сострадательного народа: кто курит ладаном около лежащей, обходя ее с трех сторон и оставляя четвертую (к дверям) свободною, кто читает «Да воскреснет Бог», чтобы разозлившегося беса вытравить наружу и затем выгнать на улицу.

Общепринятый способ для успокоения кликуш во время припадков заключается в том, что на них надевают пахотный хомут, причем предпочтение отдается такому, который снят с потной лошади. По мнению крестьян, баба, лежа в хомуте, охотнее укажет, кто ее испортил и ответит на обычный в таких случаях вопрос: «Кто твой отец?». В некоторых местах (Меленковский у., Владимирской губ.), надевая на больную

хомут, вместе с тем привязывают еще к ногам ее лошадиные подковы, а иногда прижигают пятки раскаленным железом[1]. Об «отце» спрашивают кликушу (около Пензы) через раскрытую дверь посторонние женщины, когда больную с хомутом на шее подводят к порогу, причем спрашивающие стараются убедить, что открытием тайны она не обидит сидящего в ней «батюшки» (отвечают кликуши во время припадка, всегда в мужском роде). В Жиздринском у. (Калужской губ.) кликуш выводят на двор и запрягают в соху: двое волокут больную, а двое тянут соху и т. д. Около Орла, хотя и знают про этот способ, но предпочитают ладан, собранный из двенадцати церквей и двенадцать раз в одно утро вскипяченный в чугуне и по ложечке слитый в штофы: этот настой дают пить больной. В Болховском уезде (той же губ.) в одном селе продают подобный ладан под названием «херувимского» (им кадят в киевских пещерах во время Херувимской песни), причем «одну росинку дают на трынку» (одну крупинку за копейку).

Кроме ладана и богоявленской воды, признается еще целебною, и даже имеющею решающее действие на перелом болезни и изгнание беса крещенская вода, освещаемая в прорубях рек и озер, а за неимением таковых – в колодцах и чанах. В Вологодской губ. кликуш, раздетых до рубашки, несмотря на трескучие морозы, макают в прорубь, опуская в воду ногами, лишь только успеют унести кресты и хоругви. В Орловской губ. одному свидетелю удаюсь видеть, как к колодцу и кадушке с водой, приготовленной к освящению (реки нет), привели бабу-кликушу в валенках и тулупе, с головой, накрытой шерстяным платком, как потом раздели ее, оставив в одной рубашке, и как двое мужиков ведрами лили на нее с головы холодную воду и, не внимая ее крикам, ознобили ее до дрожи во всем теле. После этого те же мужики накинули ей на плечи тулуп и, отведя в караулку, надели там на нее сухое и чистое белье, отвели домой и потом хвастались долгое время, что с этой поры баба перестала выкликать и совсем выздоровела.

[1] Лечат и так: ноги вдевают в гужи или хомут, бьют кнутом – и с приговором: «хлещу, хлещу – беса выхлещу».

Не менее действительною помощью при пользовании кликуш признается также «отчитывание». Берутся за это дело те старые девицы, полумонашенки-полумирянки, которые известны всюду под именем «черничек». Впрочем, участие их считается мало действительным и приглашаются они большею частью, что называется, для очистки совести. Чаще же всего отчитывание производит старичок-священник, из тех, которые сами опростели до неузнаваемости и утратили даже многие внешние признаки, усвоенные духовными лицами. Из таких священников особенно дороги и близки народу те, которым удалось запастись редкостною и ценною книгою большого требника Петра Могилы (впрочем, за неимением требника, отчитывают и по Евангелию). Про таких целителей ходят дальние слухи; на них охотно указывают, к ним смело отправляются, как к тому «попу Егору», о котором сообщают из Орловской губ.: «…отчитывает дюже хорошо, в церкви, над головою кликуши, семь Евангелий по семи раз читает и унимает крик сразу». В местности, где живет этот поп Егор, и народ подобрался болезненный, с большой наклонностью к кликушеству. Вот что рассказывала на этот счет одна крестьянка: «Баб сорок бегут по деревне, кто куда. Сами простоволосы (а нешто это можно – сама Божья Матерь, и Та покрывала волосы), а оне еще без понев, так что почитай все у них наруже, и кричат во всю глотку всякая свое: "Где она? где колдунья? мы сейчас разорвем ее на куски!", "Дала свояку напиться, а он-от (злой дух) у нея сидел, а теперь у меня в животе". Другая сказывает: "Дала мне колдунья вина, пей-пей говорит, зелено вино – здоровее будешь, а только я выпила, и стал у меня в животе кто-то сперва аукать, а из живота в рот перешел и стал выражать плохие слова, непотребно ругаться". От третьей бабы соседи слышат: "Молочка кисленького принесла, говорит: у тебя нетути, да вот к чему и призвела". Мужики, глядя, что их бабы орут без конца, собрались все, вызвали колдунью и пригрозили: "Если да ежели ты еще что нашкодишь, живую зароем в землю и осиновый кол в глотку забьем"»...

Совсем иного характера получаются вести из тех местностей, где старые порядки наталкиваются на новые приемы молодого поколения. Например, в одном селе, при старом священнике, жила только одна старуха-кликуша, которой он не верил, хотя и не предпринимал против нее никаких строгих мер. Вскоре, однако, стала выкликать ее дочь, а следом за ней заголосила другая молодая женщина (конечно замужняя, так как кликушество исключительно болезнь бабья, не девичья). И еще залаяла молоденькая бабенка к тому времени, когда старик-поп передал место своему молодому сыну. Последний во всеуслышание поспешил объявить в храме, что если хоть одна крикунья осмелится нарушить церковную тишину, так он с места отправит ее в губернскую больницу, и если ее там признают притворщицей, то передаст властям, чтобы они поступили с нею по всей строгости законов. Бабы замолкли и стоят теперь во время служб смирнехонько. Смолкли кликуши и у другого священника (а было их много), когда одну из них он заставлял ходить говеть постом по 2, по 3 недели, приказывая становиться перед аналоем и молиться отдельно от прочих и вслух. В другом месте выписали в церковь снимок с одной чудотворной иконы Божией Матери. Деревенские попросили у себя отслужить Владычице всенародный молебен, и как только икона показалась на краю селения, одну молодую бабу схватило: начала она ломаться, корчиться и визжать. Подхватили ее два мужика, чтобы не дать ей упасть в невылазную грязь (дело было после сильного дождя), но священник велел мужикам отойти от кликуши. «Кормилец, перепачкается, упадет!» – «Пускай падает, а если не отойдете – позову сотского». – Баба не упала, хотя и продолжала визжать, пока не дождалась строгого внушения от священника, который пристыдил ее при всем народе. Тогда она кричать перестала и все время смирно и молча ходила за иконой. Когда же поднесли св. икону к крайней избе, около которой стояли уже все и ждали, то вдруг хозяин этой избы, мужик лет под 50, ни с того, ни с сего, принялся изображать из себя кликушу: ломался, кривлялся, но не визжал, как первая баба-поросенком, а мычал коровой. Эта неожидан-

ность так всех поразила, что раздался общий, неудержимый, раскатистый хохот и, когда священник пристращал сотским, виноватый начал умильно просить прощения и отпущения.

Исходя из того убеждения, что непритворные кликуши издали чувствуют приближение священника, и наглазно убеждаясь в том, что «сидящий» (т. е. бес) не допускает прикладываться к св. иконам и преклоняться под них на крестных ходах, все, радеющие этим больным женщинам, с особенным старанием и настойчивостью ищут помощи у духовных лиц и в монастырях у прославленных мощей и чудотворных икон. Киевские Пещеры, Михайловский монастырь с мощами великомученицы Варвары, даже те церкви, в которых имеются изображения Богоматери «Нечаянной Радости», а также целителя Пантелеймона, чаще других оглашаются воплями кликуш и являются, так сказать, излюбленными лечебницами. Неудачи, испытанные в одних местах, нисколько не охлаждают надежды искать помощи в других, хотя бы и отдаленных, но также прославленных. Эта вера в помощь святыни, именно по отношению к этому виду людской порчи, настолько сильна в народе, что даже волхвующие колдуны вынуждены делать уступку столь твердо установившимся верованиям: наиболее сметливые из них и ревнивые к своей славе и общественному положению, прежде чем приступить к волшебным действиям, обыкновенно зажигают перед иконами в избах лампадки, держат в руках зажженные восковые свечи, ставят на стол чашку с водой и опускают туда медный крест, снятый с божницы, уголек и щепотку соли. Над водой читают молитвы. Больная пьет эту воду по три зори и выздоравливает, но не совсем: кричать перестает, но по временам продолжает чувствовать в теле ломоту и судороги. Всезнающие старухи в таких случаях успокаивают тем, что порча сделана на железе – на замке, оттого-де она и крепка и просидит до самой смерти[1].

[1] Тот человек, который берется отчитывать, не должен употреблять в течение шести недель спиртных напитков. Один севский (Орловской губ.) пономарь не выдержал и был за то жестоко наказан: идет ли он, или едет – лезет ему на встречу целая печь; остановится он – печь рассыплется так, что ему нет ходу туда, куда его звали отчитывать.

Вообще, темные люди с большим трудом разбираются в этой бабьей болезни, которая у нас на Руси очень распространена и временами вспыхивает в той или другой местности в виде эпидемии. Путаются и теряются именно в тех случаях, когда является надобность отличать истинных страдалиц от притворщиц. Из показаний самих больных, как бы ни были искренни, подробны и точны эти показания, правды не узнаешь: она скрывается под личиною самообмана, который настолько велик, что даже мнимые кликуши привыкли говорить твердым голосом и в спокойно-уверенном тоне. Здесь почти нет возможности уловить фальшивую нотку, а тем менее заподозрить лукавое намерение обмануть и ввести в заблуждение слушателя. Заученное притворство в приемах и словах можно уловить лишь в таких случаях, когда на оплошавшую нападет, что называется, дока. Да и то не всегда, потому что семейный гнет, требующий изворотливости и научающий самоохране, – умудряет даже слепцов. Недаром сложилась пословица, что «все золовки хитры на уловки». Иной молодой бабе разом выпадут на долю все невзгоды безобразных и несогласных семей: объявится и свекровь змея-лютая, подберутся и золовки-колотовки, и деверья-кобели, и ото всех за все про все посыплется «невестке в отместку», да так, что и белый свет станет не мил. Для бездомной сироты, у которой нет выхода, так как и сбежать-то ей некуда, нервное расстройство на несомненной истерической почве являлось в таких случаях прямым и законным следствием роковой домашней неурядицы. Кликушество является единственным спасением и для тех молодух, которых приняла новая незнакомая семья в ежовые рукавицы после воли и холи в родительском доме: когда искренние слезы не помогают и семейные мучители не унимаются, на сцену является тот же протест, но в усиленной форме кликушества, с выкриками и с обвинениями в порче, насланной кем-либо из наличных членов новой семьи (чаще всего обвинение падает на свекровь). Такой протест, – все равно, ловко ли подучилась от умелых кликуш эта новая порченая всем штукам, или самостоятельно измыслила свои, производит уже потрясающее

впечатление, и новоявленная кликуша в глазах всех является обреченною жертвою, не столько наводящею страх, сколько внушающею чувство сострадания. Здесь действует общее убеждение, что кликуша не сама по себе кричит и мучается, а кричит сидящий в ней злой дух, который и начинает бушевать, лишь только попадет в неприятную обстановку чужой семьи. Злой дух требует пребывания в родной семье: там он успокаивается и возвращается затем в чужую, уже в умиротворенном состоянии, и молчит до новых благоприятных поводов. Такая форма искусственного кликушества зачастую практиковалась в тех местах, где еще тверды были основы старорусской семьи, с большухой во главе, со старшими и младшими снохами.

Сверх семейного гнета, на устойчивость кликушества в далеких захолустьях имела также влияние и слепая вера, что одержимые бесом владеют даром прорицания. Принимая на себя эту личину мнимых ворожей, притворные кликуши, более или менее удачно, работают на этой почве уже с явными спекулятивными целями. Но хитрость и лукавство, конечно, удаются до первого промаха, который и решает дело полным исцелением. Ослаблению кликушества в его искренних или лживых формах в значительной степени помогли также преобразования последних времен, содействовавшие, между прочим, улучшению социального положения женщин в семье. Установился обычай «разделов», получивший широкое применение после манифеста 19 февраля, в форме дележа женатых братьев по смерти отца. Облегчились «отделы», когда почин дележа с отцом предоставлен сыну, и «отходы», когда отходящий сын требует выдела, хотя бы без всякого вознаграждения, и идет на сторону лишь по тому побуждению, что «не желает работать на чужие рты» (холостой брат на женатого). К этим новым основам семейно-хозяйственной жизни крестьян присоединились и другие, выразившиеся в стремлениях земства к увеличению школ и развитию рациональной медицины, в корень колеблющих веру в колдунов и успокаивающих кликуш возможностью подвергнуться исследованиям и лечению в земских больницах. В настоящее время уже из многих мест-

ностей, и притом таких далеких и глухих, как Вологодская и Олонецкая губернии, получаются сведения в таком роде: «ныне год от году число случаев поражения этою нервною болезнью постепенно уменьшается». Так, например, в Двиницкой и Сямженской волостях (Кадниковского уезда Вологодской губ.) таких кликуш не более двух-трех, тогда как ранее они считались повсюду десятками и т. д.

XV. КЛАДЫ

Безграничная в суеверных измышлениях и неудержимая в поисках чудесного, народная фантазия сумела изобрести особых духов, которые охраняют зарытые в земле сокровища и ценности, известные под именем кладов. В южных окраинах Великороссии этот дух зовется «кладовиком», а подручные его – «кладенцами», и только в Севском у., Орловской губ., главный дух, по недоразумению, носит имя Кудиара. На севере же его иногда попросту зовут «кладовым» и признают, что эти сторожа действуют всегда вдвоем: один из них «лаюн», прозван так за то, что обращается в собачку-лайку при первом покушении на похищение клада, другой – «щекотун», оберегающий клад в виде белобокой птицы сороки-щекотухи. В Белоруссии этот дух превратился в маленького бога – Коншу, которого просят указать место кладов и помочь их отрыть, а при удаче благодарят, оставляя в его пользу известную часть добычи. Уже по этому последнему признаку видно, насколько древен народный обычай взрывания кладов и насколько устойчива вера в их существование. Обычай этот создали тяжкие условия быта, в которых складывался исторический строй жизни русского земледельческого народа. Близкое соседство с кочевыми ордами диких племен, живших опустошительными и внезапными набегами, и желание оградить интересы потомков-наследников указало этот странный путь охранения имущества, нажитого тяжелым трудом. Со времени первых печенежских и половецких набегов вплоть до татарских по-

громов, когда мирная жизнь земледельцев очутилась на краю гибели, русские люди неутомимо придумывали всевозможные меры самозащиты личной и охраны имущественной. Но в те трудные времена ни на кого нельзя было положиться, и потому люди доверяли свое имущество только матери-сырой земле. Этот обычай не утратил своего глубокого практического значения и в последующее время, когда в народную жизнь ворвались новые враждебные элементы в сопровождении всяких внутренних неурядиц в виде разбоев, казачества и крепостного права. Разнузданное своеволие, не знавшее меры и предела и приученное к легкой наживе путем грабежа или собирания оброков, устремило всю свою алчность на чужие плоды трудовых сбережений и повергло народ в совершенную нищету, возможную только в дни истинного лихолетья. От этих насилий люди вынуждены были бежать в неоглядную даль, искать новых земель и там, запасаясь новыми сбережениями, покинуть старый обычай взрывания добра в землю. На прежних же местах, как, например, у исконных земледельцев – белоруссов, и до нынешнего дня обмолоченный хлеб зарывается в ямы, и притом тем же способом, как и в те времена, когда войска Карла XII шли на соединение с Мазепой. (Известно, что шведские солдаты, выходя на поля перед солнечным восходом, разрывали ямы, наполненные рожью, узнавая эти места по отсутствию росы, которую высушивала скрытая теплота зарытого зерна). У великороссов точно так же еще жива любимая святочная игра «хоронить золото и чисто серебро».

По всему громадному северу России, от финляндских до сибирских границ и от Соловецкого монастыря до Троице-Сергиевской Лавры, в народе живет память о тех грабительских временах, которые известны под общим именем «панщины». Это имя несомненно указывает на ту эпоху, когда шайки разноязычного и разноплеменного народа опустошали Русь в тяжелую годину междуцарствия. «Панами» для олонецких озерных местностей и беломорского поморья были и отряды шведских войск, и примешавшийся к ним всякий бездомный сброд, вроде того, который, отбиваясь от польских войск Ли-

совского и Сапеги, грабил народ от Волги до Сев. Двины и Пинеги включительно. Это были небольшие горсти людей, умевшие нападать врасплох и беспощадно грабить мелкие и разобщенные селения лесных местностей, – шайки, подобные тем, которых в костромских лесах заморозил Сусанин, а олонецкая баба истребляла, обливая горячим овсяным киселем[1]. Атаманам этих разбойничьих шаек приписываются великие богатства, которые они, в случае полных неудач, спешили зарывать в землю. Вот образчик подобных преданий, записанный в Кадниковском у., Вологодской губ., могущий служить прототипом однородных рассказов.

«Выбрали себе паны притон в одном месте и стали из него наезжать и грабить, всего чаще по праздникам, когда народ расходился по церквам и на базары. Заберут паны что получше, а деревню зажгут. Этим они вывели народ из всякого терпения. И вот, согласились против них три волости и окружили притон так, что разбойникам некуда было деться. Стали они награбленное добро зарывать в землю в большой кадке, и неспроста, а с приговором, чтобы то добро никому не досталось. Атаман ударился о землю, сделался черным вороном и улетел. Товарищей же его всех захватили и “покоренили”»[2].

Разбои, принявшие, благодаря полному неустройству управления, обширные размеры, отчасти обязаны были своими чрезвычайными успехами еще тому, что народ не переставал видеть в руководителях шаек чародеев, спознавшихся с нечистою силою. В этом убеждены были не только все члены шайки, но и сами атаманы, которые выделялись из толпы природным умом, пылким воображением, исключительною телесною

[1] Замечательно, что память об этом событии сохранилась в Лодейном Поле под именем «Киселева дня» и целая группа деревень, имеющих общее название «Рокзы», чествует его в четверг Троицыной недели.

[2] Особый вид старинной казни разбойников, сохранившийся в преданиях Вологодского края. Он состоял в том, что у большого дерева обрубали с одной стороны корни, для чего немного поднимали его рычагами и накренивали, чтобы образовалась пустота и можно было в нее просунуть человека. Затем дерево опускали на свое место и таким образом «подкоренивали» под ним живых людей, как бы накрывая их колпаком.

силою и даже увлекательным даром слова. Разину, например, этому поволжскому богатырю-чародею, сам Илья-Муромец годился только в есаулы. И неудивительно, конечно, что, обладая такой сверхъестественной силой, Разин обогащался и откупами с проходящих торговых судов, и даже царскою казною с разграбленного и сожженного им первого русского корабля «Орла». Неудивительно также, если тревожная жизнь, среди поисков новой добычи и преследований со стороны правительственных властей, вынуждала Стеньку зарывать в землю награбленные сокровища. По крайней мере, народ верит в это, и все длинное побережье, от Симбирска до Астрахани, все эти лесистые Жигулевские горы и песчаные голые бугры Стеньки Разина – в народном воображении до сих пор считаются местами, где зарыты бесчисленные клады: там лодка с серебром затерта илом на песках, здесь, в Жигулях, у Разина дупла – сундук полон платья, а сверху, как жар, горит икона, и заклята та поклажа на 300 лет; там в полугоре, у спуска к Волге, зарыто 12 нош[1] серебра в чугуне, покрытом железным листом, здесь, в Шиловской шишке (горе близ с. Сенгилея), подвал, а в нем на цепях четыре бочки золота, охраняемого большим медведем, Замечательно, что народ определяет ценность клада с большой точностью. Так, в селе Шатранах (Буинского у., Симбирской губ.) лежит, по преданию, казны 10 мер (пудов) золота, 2 сундука жемчуга и 4 пуда меди. Это сокровище принадлежало брату Степана Разина, Ивану, и тот, кому достанется клад, – должен медные деньги раздать нищим, по прямому смыслу зарока. Кроме Степана Разина, составляющего центральную фигуру во всей истории поволжской вольницы, наш народ знает еще бесконечное множество более мелких удальцов и просто разбойников, обладавших сверхъестественной силой и зарывавших в землю богатые клады.

Так, в Двиницкой волости (Вологодской губ., Кадниковского у.) разбойник-атаман, прозванный за свою неуловимость «Блохой», приставил к своему кладу целую свору злых рыжих

[1] Ноша – мера того, сколько может унести на себе сильный бурлак или крючник.

собак. Кузьма Рощин, грабивший в Муромских лесах купеческие караваны, оставил после себя множество кладов в так называемом Рожновом бору. Это предание настолько свежо, что некоторые старожилы называют даже по именам его сподвижников и укрывателей[1]. В Брянских лесах, и вообще в южной лесной части Орловской губ., также называют много мест, где скрыты клады, зарытые полумифическим разбойником Кудеяром. Говорят, что над камнями, прикрывающими эти сокровища, не только вспыхивают огоньки, но два раза в неделю, в 12 часов ночи, слышен бывает даже жалобный плач ребенка. Этот Кудеяр (время деятельности его с достоверностью не указывается) на всем пространстве великорусской украйны, от Саратовского Поволжья вплоть до устьев Десны, до некоторой степени предвосхищает славу самого Степана Разина. Сверх вышеупомянутых орловских местностей, в семи уездах Воронежской губ. существуют урочища, носящие его имя. Указывают, например, его «лог», памятный ставками многочисленных табунов украденных им лошадей, его лощину «мертвушу» – притон шайки, «городище» среди Усманского громаднейшего казенного леса, окруженное высоким валом и обрытое широкою канавою, даже со следами въездных ворот, и затем множество ям и курганов его имени, в которых находили человеческие кости, кинжалы, пики, бердыши, кольчуги, кольца, перстни, татарские монеты и проч. Вот почему не уменьшается страсть к отысканию кладов в Усманской даче, внушающей своим мрачным величием невольный страх и порождающей в народе смутные рассказы о том, что здесь заметны даже следы канавы, по которой намеревались некогда спустить целое озеро, называемое «Чистым», чтобы достать со дна его, из огромных выходов и погребов, бочки золота и серебра, сундуки с дорогими камнями и мехами, даже целую старинную карету, сплошь наполненную деньгами, и т. п. Страсть к легкой наживе повсюду расплодила множество кладоискателей, которые до такой степени увлекаются идеей быстрого обогащения,

[1] К последним причисляют, между прочим, господ Боташовых, деятельность которых описана Мельниковым в его романе «В лесах».

что зачастую кончают однопредметным помешательством. Эти несчастные маньяки вызывают бесконечные насмешки и сплошь и рядом делаются жертвами обмана. За дорогую цену им продаются особые «записки кладов», к их услугам находятся руководители, заведомо приводящие на пустое место, заранее прославленное и искусно обставленное всеми признаками таинственного урочища, и т. д. Вот несколько образчиков таких помешанных фанатиков. Один из известных симбирских кладоискателей занес в свою «запись» о кладах следующий эпизод: «А вот нищий Василий Семеныч доподлинно взял поклажу в селе Красной Поляне, а научил его, как взять, – заштатный дьякон: все больше молитвами отчитывал из требника Петра Могилы. За тем требником ездили мы три раза в Ливу (село Корсунского уезда), да дорого просят: сто рублей, да еще надул подлец-лубянишные глаза Евсейка, а денег обобрал много. На что был богат Филипп Чистяков – четыре расшивки[1] имел – да и те все прожил в клады. Одначе Бог поможет (заключает свою запись неисправимый фанатик-кладокопатель), весной возьмет малу толику. Есть у целовальника под горой книга "Немая строка": по ней вызывать можно».

И умирая, не поживившись ни единым кладом, этот старик закончил свою запись следующим завещанием, напоминающим бред умалишенного:

«А как Бог велит, – поучает он своих детей, отчитываем Разину поклажу, только первее наперво сто рублей, как помру, отошлите дедушке в Божью церковь, ко Владимирской Божией Матери. А мать, чтобы не знала: все в питейный угодит. А золото, куда положу, – шепну опосля, смотрите только, как бы обменяли: чай все крестовики[2]. А если уж менять, так из-под виду, а для казны места немного. А святую икону, что на поклаже лежит, освятить доведется».

1 Совершенно исчезнувшее теперь на Волге украшавшее пристани пестро размалеванное, грузовое судно, большое, парусное и плоскодонное.

2 Совсем исчезнувший и ставший нумизматической редкостью серебряный рубль времен Петра с крестом из четырех букв П, который, конечно, ни в каком случае не мог очутиться в разинских кладах.

В воронежской украйне прославился другой убежденный чудак, исходивший весь тот край вдоль и поперек, разыскивая клады Кудеяра, между которыми один состоял из 60 парных воловьих подвод серебра, 10 пудов золота и целого лотка драгоценных камней. Около этого помешанного образовалась целая толпа плутоватых пособников из мещан и отставных солдат, являвшихся с предложениями заговоров и записей, таинственных талисманов, завернутых в грязные тряпицы, вроде комка глины, добытой в полночь с могилы удавленника, помогающего, как известно, добыче кладов.

При содействии тех же кладоискателей образовалась целая своеобразная наука о различных способах отрывать и находить клады. Для получения клада надо, прежде всего, знать зарок, с которым он положен, а эти заклятия настолько капризны, что без записей или подсказов знающих людей невозможно и приступать к делу. Так, например, на большой дороге, между почтовой и казенной просекой, зарыт клад: чтобы найти его, надо спеть 12 песен, но таких, чтобы ни в одной не было сказано ни про друга, ни про недруга, ни про милого, ни про немилого. Лежит другой клад под сосной; чтоб получить его, нужно влезть на эту сосну вверх ногами и спуститься назад точно так же – вниз головой. Разбойники обычно зарывали свои сокровища «на сто голов человечьих», но значение этого заклятия мудрено отгадать: сотому ли дураку приходить, чтобы дались те деньги на голодные зубы, или следует самому быть разбойником, чтобы загубить сто человек, прежде чем взяться за заступ[1].

Бывают на клады и такие мудреные заклятия: «попадайся клад доброму человеку в пользу, а худому на гибель», или еще: «тому это добро достанется, кто после моей смерти тотчас же голым пропляшет»; зарывают и на человека определенного имени, – это, если можно так выразиться, «именные» клады.

[1] Существует очень распространенный рассказ об одном счастливце, которому удалось подслушать волшебный зарок «на сто голов» и даже перехитрить колдуна, зарывшего клад; когда колдун говорил: «человечьих» – счастливец шептал: «воробьиных», когда колдун говорил: «сто голов», – счастливец шептал: «осиновых колов».

Для заурядных искателей чужого зарытого добра исстари существуют могущественные средства, при помощи которых можно одновременно узнать и место нахождения клада, и способ добычи его. Беда только в том, что эти средства даются нелегко. Таковы цвет папоротника[1], разрыв-трава, шапка-невидимка и косточка-счастливка. Первый, хотя и принадлежит к числу бесцветковых растений, но в ночь на Ивана Купала, когда, по народному убеждению, все цветы на земле достигают наивысшей силы расцвета, – горит несколько мгновений огненно-красным отливом. Вот этот-то момент и должен уловить кладоискатель, чтобы обеспечить за собой успех. Нечистая сила, охраняющая клад, очень хорошо знает таинственные свойства папоротника и, с своей стороны, принимает все меры, чтобы никому не позволить овладеть цветком. Она преследует смельчаков диким хохотом и исступленными воплями, наводящими ужас даже на человека не робкого десятка. Однако на все эти острастки нечистой силы всероссийское предание советует не обращать внимания, хотя, как говорят, не было еще случая, чтобы самый хладнокровный смельчак остался равнодушным ко всем этим ужасам. Но зато бывали случаи, когда папоротник сам собой попадал некоторым счастливцам в лапоть, задевавшим его нечаянно ногою. С той поры такие избранники все узнавали и видели, замечали даже место, где зарыт клад, но лишь только, придя домой, разувались и роняли цветок, как все знания исчезали и счастье переставало улыбаться им. Некоторые думают даже, что стоит положить цветок за щеку в рот, чтобы стать невидимкой. Впрочем, для последней операции придумана особая косточка, которую находят в разваренной черной кошке[2].

[1] По вологодским приметам, это скатертник-кочедыжник, названный первым именем за узоры на листьях и корневище.

[2] Добывается шапка-невидимка еще и таким образом: во время Христовой заутрени, когда обходят церковь крестным ходом, надо бежать домой, встретить на дворе своего домового, сорвать с его головы шапку и надеть на него свою и с непогашенной свечой бежать назад в церковь, чтобы поспеть к крестному ходу, и т. п.

Разрыв-трава также отыскивается в ночь на Ивана Купалу. С ее помощью можно ломать все замки, сокрушать все препоны и разрушать все преграды. Но так как и она, подобно папоротнику, держит цвет не дольше того времени, которое полагается для прочтения Символа веры и молитв Господней и Богородичной, то имеется, следовательно, достаточное основание считать ее просто сказочным зельем.

Сверх таинственных обрядов и сложных приемов, из которых ни одного нельзя позабыть, – для искателей кладов придуманы еще заговоры и даже молитвы. Те и другие сотканы из гнилого прядева пустых слов: «Пойду в чистое поле, во леса дремучие, запорные грязи, через океан-море». А здесь «стоит столб, а на нем сидит Спас-Пресвятая Богородица». «За болотом немного положено – мне приходится взять. Отойди же ты, нечистая сила, не вами положено, не вам и стеречь». При розыске таинственных сказочных цветков главная мольба заключается в том, чтобы черт поиграл им да опять отдал и не шутил бы, не глумился над рабом Божьим. В самодельных же молитвах, придуманных для раскрытия клада, рассчитывают на то, чтобы силою слов и знамением креста сокрушить нечистую силу, приставленную сторожить клад и «отчитывать» самый клад[1]. Впрочем, прямой нужды в этом отчитывании не имеется, но требуются особые благочестивые приемы в тех случаях, когда над кладом находится или часовня, или поставлен крест, или висит на золотой цепи икона Богородицы в золотой ризе, или же, наконец, подвешена одна лампадка. И то, и другое, и третье знаменует присутствие такого клада, который спрятан с таким зароком, чтобы нашедший его построил церковь, или часть приобретенного разделил нищим, или разнес по чтимым монастырям. Народное воображение даже над кладами великого чародея и беспримерного богача Стеньки Разина поставило в некоторых местах иконы Богоматери и перед ними повесило неугасимые лампады.

[1] По Поволжью известны так наз. вызывные книги, где и записаны эти молитвы, достаточно длинные и довольно ловко подделанные под общепринятый способ молитвенных церковных возношений.

Когда, при помощи папоротника, клад будет найден, то кладоискатель еще не может считать свое дело оконченным, так как мало найти клад, но нужно еще уметь взять его. Иным счастливцам не надо ни молитв, ни заклинаний, ни вызывных книг, ни руководителей – к ним сами клады напрашиваются, а у иных неудачников уже найденные, отрытые – из рук уходят, не даются. Чтобы взять клад, надо знать известную сноровку. Если клад, выходя из-под земли, превращается в какое-либо животное или даже в живого человека, то надо его ударить наотмашь левой рукой со словами «аминь-аминь, рассыпься». Без этого кладом не овладеешь. К одной калужской нищенке в то время, как она шаталась по селу, приставал петух, теребил ее за подол, совался под ноги: ударила его старуха палкой – и рассыпался петух деньгами. Один уломский старик-гвоздарь шел как-то из деревни в город. Дело было под вечер. Вдруг средь поля что-то загрохотало. Оглянулся – катится бочка, а со стороны кричит чей-то голос: «перекрести дорогу!» Старик испугался, отскочил в сторону – покатилась бочка мимо, а в ней ясно слышен был звон серебряных денег. В той же Уломе (Новгородской губ.) деревенские ребята пошли искать клад и по пути позвали с собой одинокого старика, жившего на краю села в избушке. Старик отказался: «зачем идти искать – коли Бог захочет, так и в окошко подаст». Долго искали клад ребята, но ничего не нашли. На обратном пути увидали под кустом мертвого барана. «Давай подкинем его старику в окошко». Утром увидал у себя старик мертвого барана, взял, благословясь его за ноги, чтобы выбросить на двор, а баран и рассыпался по избе червонцами. Одному пензенскому дьякону каждый полдень являлся неведомый мужик со всклокоченными волосами и бородой, в синей изорванной рубахе и таких же портках. Появится – убежит в сарай и пропадет, и все на одном и том же месте. Смекнул дьякон, в чем дело, и стал рыть в том месте землю. Вырыл яму в сажень глубиной и наткнулся на пивной котел, прикрытый сковородкой. Хотел было его вытаскивать, да вдруг услышал чей-то грубый голос: «А что ты тут, добрый человек, делаешь?» – «А тебе какого черта нужно?» – ответил

дьякон и тотчас же услышал, как в руках его дрогнул котел и затем медленно и тяжело начал погружаться в землю. Догадайся дьякон позвать того человека на помощь – и стал бы богачом. У других неудачников случается и по-иному. Роют двое, сговорившись поделиться поровну, да стоит одному подумать про себя, как бы нарушить договор – и тотчас же полуотрытый клад загремит и провалится. Иные даже домой принесут отрытое с намерением исполнить зарок, предписывающий сделать какое-нибудь пожертвование, но, залюбовавшись сокровищем, спрячут до доброго случая, а потом раздумают: у таких вместо денег оказываются либо черепки разбитого горшка, либо стекольные верешки от бутылки.

XVI.
ЗНАХАРИ-ШЕПТУНЫ

Всякий человек, умудренный опытом и заручившийся каким-либо знанием, выделяющим его из среды заурядных людей, получает право на название знатока или, что одно и то же по корню слова, – знахаря. Житейская практика показала, однако, некоторую разницу в бытовом применении этих двух слов. Первое из них присваивается тем, кто знает толк в оценке всякого рода вещей, умеет верно определять доброту, качество и свойство предметов – словом, кого обычно называют иностранным именем «эксперта». Всякий же знахарь, пользующийся общим уважением за выдающиеся знания, приобретенные личным трудом, и за природное дарование, собственно есть не кто иной, как самоучка деревенский лекарь, умеющий врачевать недуги и облегчать телесные страдания не только людей, но и животных.

Строго говоря, мы не имели бы никакого права причислять этих людей, промышляющих лечением болезней, к категории тех, которые знаются с нечистой силой, если бы суеверные, основанные на предрассудках понятия еще не господствовали властно в народной среде. В деревенском же быту продолжают смешивать знахарей и ворожбитов, знаха-

рок и ворожей с чародеями, то есть колдунами и колдуньями. Это делается по вековечной привычке во всем необычном подозревать сверхъестественное и по простодушной вере, что во всем, не поддающемся нашему разумению, несомненно должно быть участие и работа таинственных сил, хотя бы и не злобных. Сами знахари своими приемами врачевания и требованием при этом особенной или странной обстановки поддерживают это заблуждение не столько в видах корысти, сколько по глубокому убеждению, что иначе действовать нельзя, что так повелось искони и что очень мудрено довериться силе целебных снадобий, если они не заговорены заранее или не нашептаны тут же на глазах больного, так как главная сила врачевания заключается в словах заговора, а снадобья служат лишь успокоительным и воспособляющим средством. Поэтому-то и зовут знахарей «шептунами», именно за те «заговоры» или таинственные слова, которые шепчутся над больным или над снадобьем. Заговоры воспринимаются или изустно от учителей, или из письменных записей, в изобилии распространенных среди грамотного сельского населения под названием «цветников», «травников» и «лечебников». Произносятся они полушепотом, с целью, чтобы не услышал непосвященный человек (иначе заговоры не имеют никакого значения) и чтобы остались они неотъемлемой собственностью одних только знахарей. Сопровождаются заговоры различными движениями рук и губ для того, чтобы удержать силу слов или, как говорится, «запечатать замок». Знахари, даже искренне убежденные, тоже проделывают это, хотя они во многом отличаются от колдунов, между которыми так много плутов, принявших на себя личину притворства ради явного корыстного обмана. В этом особенно часто обвиняют тех мастеров, которые бродят по деревням и известны нод именем «коновалов». Они, собственно, лекари-знахари, избравшие своею специальностью лечение лошадей, но дерзающие лечить и других животных, и даже людей. Некоторые из них, вроде ладожан и егорьевцев (из Рязанской губ.), давно уже отнесены в число несомненных колдунов, чему способствует и внешний наряд их,

состоящий, как и у самоедских и сибирских шаманов, из разнообразных ремешков, колечек, сумочек, бляшек и т. п. В довершение сходства ладожане и егорьевцы вечно похваляются своими связями с нечистой силой.

Главное отличие между колдунами и знахарями состоит в том, что первые скрываются от людей и стараются окутать свое ремесло непроницаемой тайной, вторые же работают в открытую и без креста и молитвы не приступают к делу: даже целебные заговоры их, в основе своей, состоят из молитвенных обращений к Богу и св. угодникам как целителям. Правда, знахари тоже нашептывают тайно, вполголоса, но зато открыто и смело действуют: «…встанет раб Божий благословясь и перекрестись, умоется свежей водой, утрется чистым полотном; выйдет из избы к дверям, из ворот к воротам, выступит под восточную сторону, где стоит храм Введения Пресвятой Богородицы, подойдет поближе, поклонится пониже, попросит смотреть лестно, и повсеместно, и повсечасно». Колдун действует зачастую по вдохновению: разрешает себе выдумку своих приемов и средств, лишь бы они казались внушительными и даже устрашали. Он выжидает и ищет случаев показать себя в возможно импонирующей обстановке, хотя бы и с растрепанными волосами и со всклокоченной бородой. На свадьбы и за праздничные столы он является незваным и старается придти неожиданно, словно из под земли вырасти, и т. п. Знахарь же идет торной дорожкой и боится оступиться: он говорит по-ученому, как по писаному, придерживаясь «цветника» или как наставлял его покойничек-батюшка. Знахаря не надо разыскивать по кабакам и не придется заставать полупьяным, выслушивать грубости, смотреть, как он ломается, вымогает плату, угрожает и застращивает своим косым медвежьим взглядом и посулом несчастий впереди. У знахаря не «черное слово», рассчитанное всегда на зло и беду, а везде «крест – креститель, крест – красота церковная, крест вселенный – дьяволу устрашение, человеку спасение». (Крест опускают даже в воду перед тем, как задумают наговаривать ее таинственными словами заговора, и, таким образом, вводят

в нее могущественную целебную силу). У знахаря на дверях замка не висит; входная дверь открывается свободно: теплая и чистая изба, с выскобленными стенами, отдает запахом сушеных трав, которыми увешены стены и обложен палатный брус; все на виду, и лишь только перед тем, как начать пользовать, знахарь уходит за перегородку Богу помолиться, снадобье приготовить: и тогда оттуда доносятся шепты и вздохи. Выговаривая себе всегда малую плату (копеек пять-десять), знахарь говорит, что берет деньги Богу на свечку, а чаще довольствуется тем количеством яичек от домашних кур, какое принесут, а то так и ничего не возьмет и, отказываясь, скажет: «дело божеское – за что тут брать?» Впрочем, плата, даваемая знахарям, не считается зазорной – главным образом потому, что ею оценивается лишь знание и искусство, а не волшебство или чародейство. К тому же знахарь не мало трудится около своих пациентов, так как крестьяне не обращаются к нему по пустякам, а лишь в серьезных случаях. Прежде чем больной пришел за советом, он уже попользовался домашними средствами: ложился на горячую печь животом, накрывали его с головой всем, что находили под рукой теплого и овчинного: водили в баню и на полке околачивали вениками до голых прутьев, натирали тертой редькой, дегтем, салом, скипидаром, поили квасом с солью – словом, все делали и теперь пришли к знахарю, догадавшись, что приключилась болезнь не от простой «притки», то есть легкого нечаянного припадка, а прямо-таки от «уроков», лихой порчи или злого насыла, напуска, наговора и чар. Теперь и надо раскинуть умом, потрудиться отгадать, откуда взялась эта порча и каким путем вошла в белое тело, в ретивое сердце?

Входит в человека порча в следующих случаях:

Сглазу или, что одно и то же, *от призору.* Бывают глаза у людей хорошие, добрые, счастливые, и наоборот – дурные: «черный глаз, карий глаз, минуй нас!». «Озевает» человек своим нехорошим взглядом встречного и испортит. От «недоброго часа» сглаз приходится отчитывать три зори, а от «худого часа» и порчи надо отчитывать 12 зорь.

По следу: злые люди вынут земли из-под ступни проходящего человека и бросят ту землю на дерево, отчего хворь не пройдет до тех пор, пока дерево не засохнет, а с ним вместе и порченый человек не помрет. Освободить от несчастья в таких случаях может лишь самый опытный знахарь. Но если бросить землю на воду, то знахарь помочь не в силах, как бы ни старался. Он только скажет: «сделано крепко и завязано туго – мне не совладать: одна теперь тебе надежда на спасение, если была в сапогах соломенная подстилка».

От притки, которая считается много привязчивее сглаза и трудно распознается, отличаясь самыми многосложными и запутанными признаками. В них мудрено разобраться: то ли это «схватило» вдруг без всякой причины, то ли это припадок, вызванный старым внутренним повреждением, внезапно и неожиданно обострившимся, то ли, наконец, хворь, прикинувшаяся в бане.

От изурочья или, что то же, *от уроков*. Под этим именем разумеется заочная посылка порчи. Лиходеи посылают порчу всякими путями и способами: в пище, по воде, по ветру[1]. Как пулей из ружья, поражают они ударом по пояснице вроде «утина», напуском жестокого колотья в грудь и болей в живот, да таких, что приходится криком кричать и кататься по земле от невыносимого страдания.

От клади, которую чародеи зашивают новобрачным в подушки или перины. Это женский волос, спутанный комком, косточка, взятая на кладбище, три лучинки, опаленные с двух концов и несколько ягод егодки (волчьих ягод). Знахарь устраняет от молодых порчу тем, что опаляет кладь на огне, уносит на речку и спускает на воду. Пекут также для клади лепешки с разными снадобьями и угощают ими или подкидывают, чтобы сами приговоренные нашли и съели.

От удара или *щипка* привязывается порча, когда сильный колдун, проходя мимо бабы, как бы ненароком щипнет ее спереди или хлопнет сзади, да еще и прихвалит: «Какая ты, шут, гладкая!».

[1] Выйдет на улицу, встанет против ветра, скажет какое ему нужно слово, ветер подхватит, и кто первый дыхнет, тот и изурочится.

От оговора – когда «не в час молвится». Рассказывают, например, такой случай: вышла баба после родов рано на улицу, к ней подошла соседка и сказала: «сидела бы лучше дома». Баба испугалась, заболела, у ней разлилось молоко, и в конце концов она умерла.

Относом портят не умышленно и не по злости, а ненароком: делано было на другого, а подвернулся посторонний и неповинный человек. Отхаживают в таких случаях тоже знахари, но необходимо, чтобы они были сильнее тех, которые наслали порчу. Самый способ лечения отличается большой простотой: знахарь должен пойти на распутье, где скрещиваются дороги, и бросить там узелок с зашитыми в нем золой, углем и кусочком глины от печного чела. Таким относом отводится порча от того больного, к которому знахарь был позван. Но относ имеет свою опасную сторону, так как всякий, кто первым наткнется на отнесенный узелок, непременно будет испорчен. А это, в свою очередь, влечет дурные последствия для первого больного, уже излечившегося от порчи при помощи узелка: однако, когда его душа, в свой смертный час станет выходить из тела, сатана скажет ангелу Божию: эта душа моя, она зналась со мною, приносила мне на распутье хлеб-соль[1].

От какой бы из перечисленных причин ни приключилась болезнь человеку, знахарь, как и весь деревенский русский мир, глубоко убежден, что всякая болезнь есть живое существо. С нею можно разговаривать, обращаться к ней с просьбами или приказаниями о выходе вон, спрашивать, требовать ответов (не говоря уже о таких, например, болезнях, как кликушество, когда сидящий внутри женщины бес не находит даже надобности скрываться и, еще не видя приближающегося

[1] В Калужской губ., Жиздринском у., в Бытчинской волости, существовал очень странный обычай подобных относов. На светлый праздник, когда садились разговляться, хозяин семьи отрезал от каждого кушанья по кусочку, отливал хлебова и молока и, по окончании еды, все это относил на расстани и просил злых духов поберечь его скот на пастьбе. Один старик покаялся в этом священнику и, по убеждению последнего, постарался усовестить и повлиять на соседей, причем имел такой успех, что обычай относов стал прекращаться. Теперь если и придерживаются его, то только люди закоренелые в суеверии, да и те действуют тайно, чтобы никому не попасться на глаза.

крестного хода или проходящего мимо священника, начинает волноваться и выкрикивать женским языком мужские непристойные ругательства и кабацкие сквернословия). Бывают случаи, когда болезни даже олицетворяются. Так, самый распространенный недуг, сопровождающийся ознобом и жаром, и известный под общим именем лихорадки, есть не что иное, как одна из двенадцати дочерей библейского царя Ирода (а по другим сведениям из 4)[1]. Знахарь умеет распознать, какая именно в данном случае овладела его пациентом: одна ли, например, ломовая или трепуха, или две вместе. Он определяет, которая из них послабее, положим, знобуха или гнетучка, чтобы именно с такою-то и начать борьбу. Больной и сам умеет подсказать, гноевая ли это (если лихорадка напала в то время, когда свозили навоз на поле), или подтынница (если болезнь началась, когда усталый он свалился под изгородь в лугах и заснул на мокрой траве). В том же случае, когда объявились сильные боли в крестце или разломило в пояснице так, что не продохнешь, – всякий знахарь понимает, что это «утин» и что в этом случае надо положить больного животом на порог избы, взять тупой косарь в руки, насекать им спину и вступить с этим утином в переговоры, спрашивая его и выслушивая ответы: «Что рублю? – Утин секу. – Руби гораздо, чтобы век не было» и т. п.

Бесконечное разнообразие знахарских приемов и способов врачевания, составляющее целую науку народной медицины, сводится, в конце концов, к лечению травами[2]. Как лечат знахари – это составляет предмет особого исследования, предоставленного врачу-специалисту. Нам же остается досказать о том положении, какое занимают знахари и знахарки в деревенской среде в качестве людей, лишь заподозренных в сно-

---

[1] Живут они в ущельях каменистых гор и летают по воздуху: кого поцелуют, тому не миновать беды.

[2] Знахари гордятся своими ботаническими сведениями и хвастаются тем, что им известно 99 сортов трав (более скромные упоминают лишь о 77). Из этих трав для каждого знахаря обязательно держать всегда дома 12: цикуту или одолим, семена белены, корень лапчатки, богородицкую траву, волчьи ягоды, корень морковника, корень папоротника, куричью слепоту, паутинник, земляные орехи, купавку, бузинный цвет.

шениях с нечистою силою, но отнюдь не продавших ей свою душу. Хотя житейская мудрость и велит не обвинять никого без улики, но житейская практика показывает другое, и на обвинение знахарей деревенский люд не скупится. Так, например, ночью знахарям нельзя даже зажечь огонь в избе или продержать его дольше других без того, чтобы соседи не подумали, что знахарь готовит зелье, а нечистый ему помогает. Но, живя на положении подозреваемых, знахари тем не менее пользуются большим уважением в своей среде. Объясняется это тем, что знахарями делаются люди преимущественно старые, одинокие холостяки или старушки-вдовы и престарелые девицы, не сделавшиеся черничками потому, что захотели быть лекарками и ворожеями. Положение подозреваемых невольно делает знахарей слегка суровыми и очень самолюбивыми и самоуверенными. Да и подбирается сюда не только народ смышленный, но и положительно стоящий выше других на целую голову. Оттого у знахарей не выходит с соседями ни особенно близкой дружбы, ни хлебосолий, ни откровенных бесед: тайна пуще всего им на руку. Но в то же время их интересуют чужие беседы, деревенские повести, взаимные соседские отношения. Зайдет знахарь в трактир или харчевенку, сядет незаметно в сторонку и прислушивается: у кого украли лошадь, увели корову, на кого падает подозрение и на ком оно, после галденья и общих споров, остановится. Как умный человек, подбирая в запас мелкие крохи, он сумеет потом в них разобраться, а глупая деревня думает, что если мужик умеет лечить, дает умные и добрые советы, то должен же он и колдовать, и ворожить, и отгадывать. Если он умеет лечить скотину, – рассуждает деревенский люд, – то почему ему не пользовать и людей? помог от одной болезни, стало быть, должен пособить ото всех? При таком положении вещей не мудрено, что все врачебное дело в деревне держится на знахаре. Впрочем, наряду с знахарем пользует больных и бабка-лекарка. Она, так сказать, дополняет знахаря по той причине, что бывают по женской части такие дела, в которые мужчине никак не проникнуть. Бабки-повитухи работают вполне независимо, на свой страх и ответ, причем

в некоторых случаях им даже отдается предпочтение перед мужчиной-знахарем, так как бывают такие болезни, где только женская рука, нежная и мягкая, может принести действительную пользу. Так, например, все воспаления глаз всегда и повсюду доверяются лечению исключительно одних знахарок: никто лучше их не сдувает бельма, никому так ловко не вдунут в глаз квасцов, смешанных с яичным белком. Сверх того, бабка усерднее знахаря: она забежит к своему больному раза три на день. В лечении детских болезней точно так же нет равных знахаркам, хотя и по «сердечным» делам они не утратили заслуженно добытую славу. Они охотно берутся «снимать тоску» с того человека, который лишился любви, но заставить полюбить не могут, так как «присуха» – дело греховное и дается только колдунам. В этом собственно и заключается существенная разница между колдунами и знахарями: то, что наколдуют чародеи, – знахари и знахарки снимут и поправят. И слава их в этом отношении так велика, что к ним со всех концов стекаются деревенские люди за помощью. Но еще чаще обращаются к ним в самых обыденных житейских случаях. Вот несколько примеров: молодая баба на третий день после свадьбы ушла от мужа; родные пытались ее вернуть, советовались со знахаркой и получили в ответ, что от насильной любви баба может умереть. Сама баба почувствовала однажды жалость к мужу и просила колдуна внушить ей любовь к нему. Этот взялся, но предупредил, что «все равно, любовь эта будет через окаянного». Ходят к знахарям в случае беды и с целью поворожить и погадать, хотя это и не составляет прямой профессии знахарей: вор объявился, лошадь увели, корова из поля домой не приходила – все к знахарю или к бабке-ведунье. Бабушка-ведунья сейчас все расскажет и беду как руками разведет. Иная, чтобы не потерять уважения и поддержать к себе веру, бобы разводит, раскидывает карты, на воду пускает восковой шарик, шепчет и вдумчиво смотрит, в какую сторону укажет шарик, какой мужик в воде покажется ей: черный или белый. Сметливая баба из расспросов уже раньше кое-что поняла. Если не укажет она прямо, то поведет около, а соседские воры все на счету и у всех

на примете. А если и не скажет она правды, не поможет на недобрый час, то ведь все-таки это не ее прямое дело. Так все и понимают: спасибо ей и за то, что старалась пособить и не отказалась утешить в тяжелое время умелым сердечным советом. Знать, обманули ее карты, надо быть, замутилась вода. Во всяком случае – знахарь не чародей, ворожея – не ведьма.

При всем почете, какой выпадает в удел знахарям, им, однако, приходится считаться с современными веяниями, а подчас и отвечать перед начальством. Вот что поведал на этот счет один из известных знахарей, возле двора которого «подвод больше десятка каждый день стояло».

«Нашлись у меня завистники и донесли попу и уряднику, что я черной магией занимаюсь. Я ничего не знаю, сижу дома – глядь: ко мне в хату приходят поп с урядником, а избу понятые окружили. Наперво поп обратился ко мне:

– Ты, Михайло, сказывают, лечишь народ по книжкам от всяких болезней, так покажи нам свои книги?

А я ему наоборот говорю:

– Лечу, папаша, это правда. И разные у меня коренья и травы есть, и книга тоже есть: по ней я разбираю, каких кореньев от какой хвори дать, и с молитвою творю это. А вреда никакого я не делал людям.

Урядник как крикнет на меня:

– Ты не разговаривай с нами, а подавай твои книги и коренья, а мы их становому представим. Тебя за Сибирь загонит он за это леченье.

Я не испугался его. Открыл укладочку, где лежала книга моя и коренья, и говорю:

– Извольте брать к себе всю укладку: тут все леченье мое. Только прошу вас, не растеряйте листков из книги да корешков не трусите: дюже трудно собирать их.

Урядник отвез укладочку мою к становому, а тот книгу и коренья к доктору отправил. А доктор посмотрел мою книгу и сказал:

– Это безвредная книга: травник называется.

Так все и отдали мне назад.

XVII.
ПЛОТНИКИ И ПЕЧНИКИ

О плотниках и печниках распространены в народе многочисленные рассказы, свидетельствующие о том, насколько мстительны и недоброжелательны эти люди в тех случаях, когда им не доплачивают условленной суммы хозяева и подрядчики. Особенно дурной славой пользуются те из плотников, которые известны своим искусством, вроде костромских галичан, знаменитых издревле владимирских «аргунов», вологодских, вохомских и т. д. Так как по известному присловью их «топор одевает, топор обувает, да он же и кормит», то мастерство свое они умели довести до замечательного искусства и даже до шаловливых фокусов, которыми успевают они «морочить глаза» темных суеверных людей. А если отводят глаза, да при этом еще застращивают и похваляются местью, то чем и объяснить все это, как не уверенностью их в помощи нечистой силы, с которой они несомненно знаются?

Про вохомских плотников (в Вологодской губернии Грязовецкого уезда) известен такой рассказ. Однажды они не получили сверх расчета обычного угощения пивом и водкой, и, когда ушли, хозяин послал сына посмотреть новую избу. Вернулся тот перепуганным и рассказал отцу про такое диво, что тот сам пошел проверять и увидел то же самое. Только что вошел он, как выскочила маленькая мышь, за ней другая побольше и еще больше, а последние стали выбегать ростом с сытую кошку. «Запрягай, сынок, поскорее лошадь, поезжай за тем мастером, зови его на влазины, а в Петрецове захвати четверть водки!» Приняли плотника с хлебом-солью и низкими поклонами в новом доме. Выскочила маленькая мышь, а мастер только и сказал ей: «Скажи в стаде, чтобы сейчас убирались вон». Не успели они выпить по второй, как большие и маленькие мыши труском и вприскочку выбежали из избы мимо них в двери и в поле.

Около села Кубенского (в 30 верстах от Вологды) по сей день стоит ветряная мельница, совершенно новая, но больше

десяти лет не употреблявшаяся в дело. Тем же вохомским плотникам не доплатил мельник трех рублей, и с первого же дня помола всякий раз его отбрасывало от жерновов с такой силой, что он навзничь валился на пол. Приводил он на свою ветрянку и священника с молитвой, но и это не помогло. Плотники советовали купить мельницу другому мужику и обещали ему, что она будет хорошо работать, но тот купить побоялся, а за ним и все прочие опасаются.

В Орловской губернии (под самым городом) подслушали бабы, как владимирские плотники, достраивая хату, приговаривали: «Дому не стоянье, дому не житье, кто поживет, тот и помрет», – и подсмотрели, что бревна тесали они не вдоль, а поперек, а потом напустили червей. Стали черви точить стены, и едва успел хозяин помереть, как развалилась и хата его.

В Сарапульском уезде (Вятской губернии) построили плотники новый дом. Пришли они попрощаться да и сказали хозяйке: «Ну, тетка, тебе не спасибо, вовек будешь помнить, как ты нас поила-кормила». И вот за то, что она докучала им попреками, укоряя, что много у ней выпили и еще того больше съели, они посадили ей кикимору: никого не видно, а человеческий голос стонет. Как ни сядут за стол, сейчас же кто-то и скажет: «Убирайся-ка ты из-за стола-то!» А не послушают – начнет швырять с печи шубами или с полатей бросаться подушками. Так и выжила кикимора хозяев из дому. Сказывали знающие люди о причинах этого происшествия, но разное: одни говорили, что либо на стояке, либо под матицу плотники подложили свиной щетины, отчего и завелись в доме черти. Другие предполагали, что под дом зарыт был когда-то неотпетый покойник или удавленник и что плотники знали про то и намеренно надвинули к тому месту первые венцы, когда ставили сруб.

Точно так же нельзя было жить в одной избе в Скопинском уезде Рязанской губернии по той причине, что как только сядет семья за стол, так и летят чашки с печи и с полатей лапти, онучи и пр. И иконы поднимали – не помогло.

В Пошехонской деревне (Ярославской губернии) мышкинские плотники сделали так, что как придет вечер, так на

повети и начнет плакаться жалобный голос: «Падаю, падаю – упаду». Придут посмотреть – никого нет. Бились и мучились так до той поры, когда пришел в избу свой же пошехонский швец, ведомый знахарь. «Помоги!» – просят его хозяева. – «Ничего, – говорит, – не горюйте». Вышел потом портной ночью, услышал слово «падаю», прошептал свое, какое знал, да и крикнул: «Коли хочешь валиться, то падай на хлеб!» Вслед за тем что-то со страшным треском упало, а после этого в избе уже не «диковалось».

В Белоозерском уезде (Новгородской губернии) в деревне Иглине у крестьянина Андрея Богомолова плотники так наколдовали, что кто из его семьи ни войдет в новую избу, всякий в переднем углу видит покойника, а если войдут с кем-нибудь чужим – не видят. В первую же ночь сына Михаила сбросило с лавки на пол. Решили сломать избу эту и поставить новую. Стали ломать – и нашли в переднем углу под лавкой вбитым гвоздь от гроба.

Такая же недобрая слава установилась и за печниками и каменщиками. Последние в особенности прославились злыми шутками, и притом на всю святую Русь. Найдется ли на ее широком раздолье хотя один такой счастливый город, в котором не указали бы на заброшенный нежилой дом, покинутый и заколоченный наглухо? В таких захолустных домах поселяются черти и по ночам возятся на чердаках и швыряют чем попало и куда попало. В городе Сарапуле (Вятской губернии) в 1861 году пишущему эти строки указывали на соборной площади подобный таинственный дом, а три года тому назад об этом же самом доме сообщали, что верх так и стоит необитаемым уже много лет. Рассказывали, что, как только кто-нибудь поселится в этом доме, в первую же ночь слышится голос: «А, окошки поставили! двери сделали!» И поднимется вслед за тем шум, а наутро оказывается, что все стекла в окнах и дверях выбиты. Лет шесть тому назад этот дом так и стоял с разбитыми стеклами. Теперь окна заколочены досками.

В смысле чертовщины за обширную Белокаменную тоже никто не поручится, а в Петербурге на нашей памяти на

Фонтанке, близ Калинкина моста, существовал беспокойный дом с зелеными колонками. Лет 10–15 тому назад на такой же дом на Литейной (или на Моховой) указывали все газеты, и толпы любопытных собирались к нему в таком множестве, что вмешалась полиция.

«Один каменщик (пишет корреспондент из Сарапула) из крестьян села Мостовой передавал следующее: “Когда трубу кладем, так артути в перышко гусиное линешь, плотный-то конец оставишь на волю, а другой замажешь. Как затопят после того печку – она и застонет, а хозяева боятся: ”Смотрите-ка, мол, каменщик какую штуку удрал“».

О такой же приблизительно штуке сообщает и орловский сотрудник: «Плотники просверлят дыру и вставят в нее бутылочное горлышко – ветер дует в это незаметное для глаз отверстие, причем происходит завывание, а хозяин думает, что в его жилище поселили лешего».

Грязовецкие вологжане рассказывают о своих плотниках, что они кладут в один из срубов избы деревянную куклу для того, чтобы «наводило» временами на хозяина страх. А делают это так: по три зари подрядчик спрашивает рабочего, находящегося на срубе: «Что стукаешь?» Рабочий отвечает: «Лень на шабаш». Подрядчик говорит: «Лешему строить шалаш».

Из Шуйского уезда (Владимирской губернии) пишут: сговорились плотники с печниками и вмазали в трубу две пустые незаткнутые бутылки по самые горлышки[1]. Стали говорить хозяева: «Все бы хорошо, да кто-то свистит в трубе – страшно жить». Пригласили других печников. «Поправить, – говорят, – можно, только меньше десятки не возьмем». Взялись сделать, но вместо бутылок положили гусиных перьев, потому что не получили полного расчета. Свист прекратился, но кто-то стал охать да вздыхать. Опять обратился хозяин к плотникам, отдал уговорные деньги на руки вперед, и все успокоилось.

Погрубее и попроще месть обсчитанных печников заключается в том, что один кирпич в трубе закладывается так,

[1] Вместо бутылки кладут в стену пискульки из речного тростника, дудочку из лубка липы, лозы.

что печь начинает постоянно дымить, а плотники засовывают в пазах между венцами во мху щепочки, которые мешают плотной осадке. В этих местах всегда будет продувать и промерзать. Точно так же иногда между концами бревен в углу кладут в коробочку камни: не вынувши их, нельзя плотно проконопатить, а затем и избы натопить. Под коньком на крыше тоже прилаживается из мести длинный ящичек без передней стенки, набитый берестой: благодаря ему в ветреную погоду слышится такой плач и вой, вздохи и вскрики, что простодушные хозяева предполагают тут что-либо одно из двух – либо завелись черти-дьяволы, либо из старого дома ходит сжившийся с семьей доброжелатель домовой и подвывает: просится он в новый дом, напоминает о себе в тех случаях, когда не почтили его перезовом на новое пепелище, а обзавелись его соперником.

Всех этих острасток совершенно достаточно для того, чтобы новоселья справлялись с таким же торжеством, как свадьбы: с посторонними гостями и подарками, с приносом хлеба-соли и с самыми задушевными пожеланиями. Плотников задабривают еще далеко загодя: когда сговорятся насчет условий – пьют заручное, когда положат первый ряд основных бревен – пьют «обложенное», когда заготовленный сруб перенесут и поставят на указанное место – опять пьют или «мшат» хату. Точно так же пьют при установке матицы (это тот брус или балка, который кладется поперек всей избы, и на нем настилается накат и укрепляется потолок). Матицу «поднимают» и «обсевают» в полной обрядовой обстановке, повсеместно одинаковой, как завет седой старины. Вот как это делается: хозяин ставит в красном углу зеленую веточку березки, а затем из среды плотников выступает такой, который половчее прочих и полегче на ногу. Это – «севец», как бы жрец какой, отгонитель всякого врага и нечистого супостата. Он и начинает священнодействовать: обходит самое верхнее бревно, или «черепной венец», и рассевает по сторонам хлебные зерна и хмель. Хозяева же все это время молятся Богу. Затем севец-жрец переступает на матицу, где по самой середине ее привязана лычком

овчинная шуба, а в карманах ее положены: хлеб, соль, кусок жареного мяса, кочан капусты и в стеклянной посудине зелено вино (у бедняков горшок с кашей, укутанный в полушубок). Лычко перерубается топором, шуба подхватывается внизу на руки, содержимое в карманах выпивается и поедается. Весь этот обряд имеет, разумеется, символическое значение: зеленые веточки березки, которую хозяин, предварительно обрядя, ставит в переднем углу вместе с иконой и зажигает перед ними свечку, – служат символом здоровья хозяина и семьи; шуба и овечья шерсть, вместе с ладаном заложенные под матицу, обозначают изобилие всего съедобного и тепло в избе.

XVIII. ПАСТУХИ

Крестьяне обыкновенно выбирают в пастухи человека безземельного, неспособного, по слабости здоровья или по иным причинам, к полевым работам. Но при этом принимается в соображение, что если пастух и немощен телом, то, взамен того, он владеет особой, необъяснимой и таинственной силой, при помощи которой влияет на стадо и спасает его от всяких бед и напастей. Таких необычайных пастухов очень много в лесных местностях. Здесь верят, что они (по словам пастушьего заговора) оберегают скотину от «лютого зверя черного, от широколапого медведя, от перехожего пакостника – волка, рыскуньи – волчицы, от рыси и росомахи, от змеи и всякого зверя, и гада, и от злого и лихого человека». Эти заговоры пастухи обязаны знать прежде всего, так как крестьяне придают этому большое значение: если в прежние времена не слыхать было на пастухов жалоб, то, стало быть, и заговорные слова говорились ими не на ветер, стало быть, они действительно владели той силой, которая не каждому дается. Нет явных следов, чтобы пастухи знались с лешими или луговыми и прибегали к их помощи, но людская молва и в этих знахарях не прочь подозревать связь с чародеями, а, пожалуй, и с самими лешими. По крайней мере, в Олонецкой

губ. (Каргопольском у.) уверены, что для удачной пастьбы опытные пастухи обещают лешему корову или две, так как волков и медведей напускает на стада эта лесная нежить[1].

От леших, между прочим, запасаются пастухи «спуском», то есть особым заговором, при помощи которого колдуны отыскивают потерявшееся животное и сами этими чарами руководствуются.

Когда придет время спускать скот на пастьбу, пастух у всякой скотины промеж ушей и с крестца состригает клок шерсти и закатывает его в чистый воск[2]. Этот шарик он впоследствии прячет под камень, около того места, куда обычно ходит стадо на водопой, и предварительно читает длинный заговор, причем шарик этот держит в одной руке, а в другую берет висячий замок. И сам пастух, и все хозяева крепко верят в охранительную силу этого заговора и настойчиво уверяют, что медведь боится его и перестает давить коров. Кроме этого заговора, перед первым выгоном скота на пастбище производится еще особый обряд «обхода», необходимый для того, чтобы стадо не расходилось летом и не блуждало бы по лесам. Заключается этот обряд в том, что пастух обходит стадо со свечей, с которой стояли Светлую заутреню. Часть этой свечи он заделывает в свой берестяной рожок и уверен, что на звук такого рожка скот станет сходиться скорее и охотнее, а хищные звери быстрее убегать прочь.

Таким образом, питаясь лишь кое-какими крохами, оставшимися от трапезы старого язычества, пастушеский быт, в самом корне своем, давно уже подчинился христианским верованиям и обычаям. С того самого времени, когда первые проповедники христианства, увлекшись дешевым

---

[1] Замечательно, что в Казанском Поволжье самих леших, из благоговения к могуществу их, называют «пастухами», потому-де что они перегоняют с места на место скотину, которая, вследствие множества насекомых, в стада не сгоняется. Без помощи леших пастухам приходится худо, а лешие, начальствуя над зверями и перегоняя их с места на место, в пастушьих делах очень опытны.

[2] В некоторых местах эту шерсть запекают в хлеб и накануне выгона кормят этим хлебом скотину для того, чтобы она ходила вместе, дружным стадом.

созвучием, подменили языческого бога Велеса мучеником греческой церкви Власием, – последний стал защитником рогатого скота подобно тому, как другие мученики римской церкви, Флор и Лавр, считаются покровителями лошадей. На краю городов, непременно у самых выгонов, кое-где и теперь сохраняются древние церкви, освященные обязательно во имя священномученика Власия. Эти церкви встречаются преимущественно в северных городах, начиная с Холмогор и Вологды, продолжая Костромой, Ярославлем, Псковом и Новгородом и оканчивая самой Москвой и старыми подмосковными большими городами.

Впрочем, по нынешним временам, уже и в глухих местах Пошехонья перестают верить в разные таинственные и загадочные приемы пастухов. Теперь, пожалуй, не только забыли, но и совсем не знают, что для розыска заблудившегося животного надо положить на перекрестке крест из лучинок или палочек, сделанный не руками, а губами, и т. п. Но зато теперь начинают понимать, что магическая сила пастухов, позволяющая им, по желанию, собирать скот в одно место, имеет очень простое объяснение: не жалея нескольких фунтов соли, нынешние пастухи рассыпают ее на одном месте, на какой-нибудь уединенной лужайке и, таким образом, приучают скот не разбивать стада и собираться на указанном месте, при первом же звуке рожка, пощипать вкусной соленой травы.

НЕВЕДОМАЯ СИЛА

I.
ЦАРЬ-ОГОНЬ

Древнее почитание огня, основанное на величайших услугах, оказанных им человечеству, и в настоящее время не совсем изгладилось из народной памяти. Хотя это теперь лишь обрывки чего-то целого, разбитые и не скрепленные в

одну непрерывную цепь, но и по ним с полным основанием можно заключить, что эти обломки былого миросозерцания представляют собой не что иное, как остаток древнего богопочитания. Стихия, дающая тепло и свет, снизошла с неба, чтобы разделить свою власть над человеческим родом лишь с другой, столь же могучей стихией – водой, которая ниспадает в виде дождя и снега, образуя на земле родники, ручьи, реки и озера, а в смеси с солями – и моря. Эти последние оказались прямыми и облегченными путями для заселения земного шара, огонь же пришел на помощь для повсеместного распространения и закрепления оседлости человеческого рода на материках. Многоводные русские реки привели первых насельников на обширные, глубокие озера, на берегах которых основались самые первые опорные пункты, послужившие средоточием политической жизни и прикрытиями дальнейшего ее разветвления по междуречьям, в дремучих непочатых лесах. Сюда врубился топор и при содействии огнива проложил дороги и отвоевал места, удобные для земледелия, а стало быть, и для оседлой жизни. На срубленном и спаленном лесе объявились *огнища*, или пожоги, они же новины или кулиги – места, пригодные для распашки. Народился на русской земле, в самое первое время ее истории, особый класс поселян-огнищан или «житых людей», хозяев-землевладельцев, крестьян-пахарей; выработался особенный вид крестьянского хозяйства, огневого или кулижного, общего всей северной лесной России, дожившей от времен Рюрика до наших дней[1].

Но, составляя основу человеческой культуры на земле, огонь вместе с тем является и истребителем ее: при неудачном и несчастливом применении он временами проявляет могучую и страшную силу, которая сметает с лица земли все, что попадается ей на пути, и которая заставляла первобытных людей

[1] Тот же огонь, который пособил земледелию укорениться в лесах, содействовал в степных местах развитию скотоводства «напуском палов», или искусственных пожаров, осенью или ранней весной выжигающих все луга, пастбища и покосы, чтобы старая трава – ветошь – не мешала расти молодой и чтобы попутно сгорали зародыши вредных насекомых, до саранчи включительно.

в благоговейном трепете поклоняться огню и умилостивлять его молитвами и жертвами. Та же сила поддерживает и в современном поколении неизбывное тревожное состояние души, и в этом отношении лесная и деревянная Русь находится даже в особенном, исключительном положении перед прочими странами: она представляет собой как бы неугасимый костер, который, никогда не потухая совершенно, то ослабевает, то разгорается с такой чудовищной силой, что пропадает самая мысль о возможности борьбы с ним; целое море пламени каждый год огненным вихрем проносится из конца в конец по нашей многострадальной земле и без остатка истребляет леса, засеянные поля, деревни, села, города. Выросшие под впечатлением этих вечных пожаров, русские люди воспитали в себе наследственный, заразный страх перед силой огня: они целыми веками живут под его грозной властью, почти не помышляя о борьбе и только цепенея от ужаса. Впрочем, и то сказать – русские пожары так грандиозны, что хоть кого приведут в панический страх. Пишущему эти строки приходилось наблюдать один из таких колоссальных пожаров в 1839 году в Костромской губернии. Это было поистине нечто потрясающее. Потускнело солнце на безоблачном небе в знойную июльскую пору, называемую верхушкой лета, и в самый полдень стало так темно, что надо было зажигать огни. Прозрачный воздух превратился в закопченное стекло, сквозь которое яркий диск жгучего светила казался кружком, вырезанным из красной фольги, дозволявшим безопасно смотреть на себя: не переломляются лучи, не льется животворный свет и не исходит живительная теплота.

То был год страшных лесных пожаров. В ста верстах от пожарища чувствовалась ужасающая сила огня-царя и его сокрушительное господство над дремучими лесами. Ясно видны были и трофеи его несомненных побед; дым в подветренной стороне до того сгустился, что перед полуднем начали изменяться цвета предметов: трава казалась зеленовато-голубой, красные цвета стали желтыми. Пепел, а с ним перегорелые листья, затлевший мох, еловые и сосновые иглы переносились через стоверстное расстояние, и дождевые капли, про-

летая по воздуху, наполненному пеплом, принимали красноватый оттенок. Народ говорил: «Идет кровавый дождь», – и был уверен, что начинается светопреставление. И действительно, в иной день в воздухе, наполненном дымом, трудно было дышать; домашний скот искал спасения в воде и только там получал некоторое облегчение. Люди в страхе толпились по улицам и боялись входить в дома. Некоторые молитвой и покаянием приготовлялись к смерти и встрече антихриста. По лесным деревням мужчины надевали на себя чистое белье, женщины спешили шить себе саваны.

Ужас, повсюду распространившийся и охвативший не только людей, но и домашних животных, в некоторых местах достигал наивысшего предела, где раскаленная огненная стена надвигалась, как плотная военная рать с метким огненным боем. При вое урагана в одном месте вспыхнуло – это порыв ветра перебросил галку (горящую головню) или огненный шар (свившуюся, скрученную жаром пылающую лапу, оторванную бурей от ели) – вспыхнуло, стало быть, загорелось свежее место; примолкло – значит, разгорается, дунул новый порыв ветра – раздул огонь в пламя. Оно своим треском, шипеньем, свистом и визгом дает знать о том, что вошло в полную силу и стало неудержимым. Теперь оно понесется все вперед и вперед, на громадных расстояниях сметет с лица земли все, что попадется навстречу. Один очевидец[1] пробовал описать это поразительное зрелище, и мы с его слов постараемся дополнить картину лесного пожара.

«При грозе, в сухие годы, жарким днем в глухом чапыжнике иль на бору, заваленном валежником, вид обширного лесного пожара бывает поразительно величествен. Напирающая по ветру грозная стихия сплошным пламенем пожирает на пути своем весь сухой вереск, валежник от ветроломов и разных лесных промыслов, сухой мох, торф, стоячие сухары и самые сучья свежих деревьев. Сплошное пламя взлетает по ним, как истинный Змей-Горыныч, с неимоверною быстротою.

[1] Граф Н. С. Толстой: «Заволжская часть Макарьевского уезда Нижегородской губернии».

Этому способствует раскаленная атмосфера, предшествующая пожару и иссушающая хвою и листья зеленых деревьев от макушки до половины дерева гораздо раньше, чем пламя подступит под пни корчащихся, трещащих и обливающихся смолою сучьев. Прибавьте к этому вой урагана, завыванье волков и других зверей, спасающихся от гибели, раскаты грома, блеск молнии, озаряющей мглу небесную. Стонут падающие исполины, пламенными радиусами рассекающие воздух. Дым клубится мглистыми, багряно-синими, кроваво-красными волнами. Кипят и пылают смоляные фонтаны, тончайшими струйками бьющие из каждого излома лопнувшей коры огромных хвойных мачтовиков. Пожирает громадные ребра необъятных костров (ветроломов), нагроможденных в хаотическом беспорядке исполинскими грудами в десяток и более сажен вышиною, в несколько десятков верст протяжения и в сотню сажен поперечника. И не в пожар костры эти могут привести ночного путника в содрогание, представляя нередко самые фантастические образы фосфорическим светом своим, но в это время они просто ужасны».

Этот лесной пожар (того же 1839 года), охвативший девять уездов двух смежных губерний (Костромской и Нижегородской), начавшийся 29 июля, потух лишь 5 сентября, когда выпал глубокий снег. В некоторых местах удалось ослабить свирепость огня, а в иных и вовсе остановить яростный напор его искусственными мерами: зажигали «встречный пожар» из заранее приготовленного горючего материала, сваленного около проездных дорог и нарочно вырытых канав. Их оберегали рабочие, вооруженные метелками из свеженарубленных длинных березок[1]. Ползучий огонек в подготовленных небольших кострах из сухого моха, лапок и шишек сначала бессилен, но затем начинает шириться против ветра и ползет навстречу коренному пожару. На пути своем намеренно вызванное пла-

[1] Тем же способом – напуском встречных палов – руководятся в русских и сибирских степях, когда разгорается напускной напольный огонь: охватит деревню, захватит врасплох косцов между небом и землей без укрытия и разольется огненным морем.

мя уничтожает все то, что могло бы служить пищею грозно наступающему врагу. «По мере расширения своего (говорит один из очевидцев, принимавших участие в тушении пожара в Заволжских лесных чащобах Макарьевского уезда Нижегородской губернии) и по мере согревания атмосферы, искусственный огонь становится сильнее и сильнее. Пройдя несколько десятков сажен, он сам уже делается пожаром и стремится все быстрее и быстрее навстречу противнику, несмотря на противодействие ветра, который лишь определяет направление отрываемых горящих лап и путь коренного пожара, идущего по свежим, неотожженным местам. Ветер, вызванный движением пожара, не может помешать медленному расширению встречного пламени, ползущего с травки на травку, и только лишь замедляет его в наступательном действии. Наконец, искусственный пожар вступает в палящую огнедышащую атмосферу гонимого ветром настоящего пожара и яростно бросается навстречу ему. Бой по всей линии оглашает окрестность по мере скопления противных сил. Эти мгновения бывают торжественны! Тут чудятся и артиллерийские залпы, и взрывы, и пламенные зубчатые строи лесных великанов, напирающих друг на друга и борющихся всеми крутимыми жаром, переплетенными своими ветвями. Пламя вздымается стена на стену и, при страшных порывах, проявляет мгновенно исчезающие смерчи или столбы клубящегося огня, винтом взвивающегося к небу. После этой общей схватки, где рухнул не один величавый титан, презиравший ярость всех ураганов, все затихает. Пламя садится, и смрад, несжигаемый им, покрывает окрестность, чадит, ест глаза и стелется низом во мраке; одни необъятные груды ветроломных костров долго пламенеют еще в смрадном чаду и, от времени до времени садясь и рушась, извергают миллионы искр, исполинскими фейерверочными снопами рассыпающихся над пожарищем. Картина из грозно-величественной делается грустной, тяжелой и печальной, как после битвы. В особенности грустны, тяжелы и печальны последствия таких роковых явлений, когда им предшествует засуха и сопровождает их подъем из болот вредных испарений,

от которых начинаются падежи скота и повальные болезни на людях. В таких случаях суеверные пророчества о новых предстоящих бедствиях обыкновенно усиливают сердечную тоску и душевные тревоги среди обездоленных и угнетенных».

Естественно, что под влиянием подобных устрашительных явлений природы мог свободно укрепиться культ почитания огня; этот культ выразился у славян в поклонении Перуну, а у соплеменной Литвы – в почитании Знича. Но начало его восходит ко временам доисторическим, когда древний человек, пораженный зрелищем молнии и грома, обоготворил это явление природы и тем положил начало поклонению огню, которое сохранилось и до наших дней. В Вильне и теперь могут указать то место, где горел вечный огонь и жил жрец, его охранявший, а по всему северо-западному краю великорусская «моланья», «мола́тка» (молния) зовется не иначе, как «Пе́руном» (ударение на первом слоге). Это мгновенное освещение тучи и неба огненной струей повсюду среди славянских племен признается небесным огнем и издревле называется священным, причем если гром ударит в человека или в строение, то никто не станет их спасать, считая это сопротивлением воле Божией. Предрассудок этот распространен как в целой Литве, так и в Белоруссии, и понятно, что он порожден верой в Перуна. Тот же предрассудок можно наблюдать и в Великороссии: если молния зажжет строение, то крестьяне считают это Божьим наказанием, ниспосланным свыше. Противиться ему невозможно, но надо воспринимать с чувством умиления и благоговейной покорности; точно так же людей, убитых молнией, многие считают святыми. Между прочим, из Ярославской губернии получаются такие сведения: «Кто умоется водой во время первой грозы, тот в течение целого года не будет хворать никакой болезнью». Средством, предохраняющим человека и его имущество от гибельного действия молнии, является тот же огонь: следует держать в доме головню от пожара, происшедшего от молнии, но когда молния опять причинит пожар, то пламя можно тушить не иначе как исключительно одним молоком (или молоком от бурой только коровы). По-

следний предрассудок еще настолько распространен, что его можно считать общим для всего женского населения России. Не хватит молока – заливают квасом, но отнюдь не водой. От воды же такой огонь только больше разгорается. Существует и другой предрассудок (вполне, впрочем, невинный), к которому точно так же прибегают при тушении пожаров, происшедших от молнии: в костер пожара бросают яйцо, так называемое первохрестное (им первым привелось похристосоваться), в предположении, что только им одним можно затушить пламя (верят также, что если бросить яйцо против ветра, то можно отклонить в ту сторону направление пламени).

Когда в христианской Руси этот небесный огонь из глиняных рук Перуна передан был в незримую длань библейского пророка Илии и подковы копыт огневидных коней его вместе с огненными колесами пламенной колесницы начали выбивать искры и производить гром, явилось верование, что рука всехвального пророка мечет на землю молниеносные стрелы, чтобы разить на смерть злых духов, враждебных человеку. Ведая про то, злые, но трусливые бесы в неописуемом смятении мечутся по земле, отыскивая себе надежные места для защиты. Обыкновенно скрываются они в жилых и нежилых строениях, вскакивая через открытые двери и окна и влетая через печные трубы и всякого рода отверстия. Столь же нередко спешат они укрыться в густой хвое, в тени развесистых листьев деревьев, за всяким подходящим прикрытием. В числе последних самыми надежными, вполне безопасными считаются в блудливом бесовском сонме живые люди, застигнутые под открытым небом на лошади или в телеге, так как небесная огненная стрела находит виноватого всюду и разит без разбора, убивая из-за бесов и людей (бесы вполне безопасны от ударов молнии лишь в чистом поле на межах). Илья, впрочем, знает невинность того человека, которого избрал дьявол себе для защиты, и жалеет Божье создание, хотя в то же время твердо убежден, что все равно тот человек, в которого успел вселиться дьявол, погиб бы, так как злодей не покинет своей жертвы уже во всю жизнь и рано или поздно заставит потонуть или повеситься.

Илья, усердный Божий помощник в борьбе с нечистой силой, не только не враг человеческому роду, но радетель и старатель за православный люд; убивает он избранного, как случайную жертву, в уверенности, что Бог милует и приемлет таких несчастных, удостаивая их Царства Небесного, так как они явно сослужили полезную службу людям своей смертью, которая вместе с тем вызвала одновременно и смерть злого духа. Вот почему для заграждения себя от дьявола, кроме общепринятого обычая крестить рот при зевоте, издревле установилось благочестивое правило налагать на себя крестное знамение и при всякой вспышке молнии со словами самой простой молитвы: «Свят, свят, свят».

Осторожные хозяева в деревнях предусмотрительно соблюдают все, что указывается вековечными обычаями, зародившимися в глухие и давние времена безверия, чтобы обезопаситься от беса, не допустить его прятаться в избе и тем подвергать ее в грозное время опасностям пожара.

С этой целью опытные, пожилые деревенские хозяйки советуют: «Во время грозы нельзя быть с растрепанными волосами, в подоткнутом платье – много места тут укрываться анчутке-беспятому (бесу). Всякую посуду в избе надо опрокинуть, если она пустая; налитую следует поспешно закрестить. Не надо в голове искаться: не одну такую бабу стрела забила насмерть, других же оглушила». Полезно также держать на чердаке громовую стрелу или чертов палец (белемнит – скипевший или вообще сплавленный ударом молнии песок). В последнее средство слепо веруют все поголовно, и, найденный на песчаных берегах речек, этот конусообразный камень в виде пальца бережно прячут и тщательно хранят. Но всего полезнее держать пост, особенно в Ильинскую пятницу, или мазать молоком косяки дверей и окон, полезно также вывешивать за окно полотенце с покойника. Если же бес не побоится ни того, ни другого, то, наверное, не устоит он перед горящей свечкой, с которой молились в Страстной Четверг на «стояниях», когда читались 12 евангелий Господних Страстей. Хороши и пасхальные, а того лучше богоявленские свечи – уверяют бого-

мольные деревенские люди, не раз применявшие этот способ на деле с видимым успехом.

– Громовых стрел два сорта: от огненных происходят пожары, а каменные или чугунные убивают людей, расщепляют деревья[1], – толкуют словоохотливые деревенские старушки, и каждая из них на случай грозы припасает ладан, чтобы посыпать его на уголья в печной загнетке или на раскаленную сковородку, так как «черт ладану боится».

Кроме «небесного» огня, великую силу имеет также тот сорт огня, который обычно называется «живым».

Крутили мужики около палки веревку, веревка загорелась. Приняли огонь на сухую смоляную спицу – развели костер. Разобрали огонь по домам и старались его долго поддерживать. Очень его ценили и почитали, потому что это был именно «живой огонь», из дерева вытертый, свободный, чистый и природный. Вологодские мужики сняли колосники (жерды) с овина, изрубили их на части и также терли, пока те не загорелись. Огнем таким разожгли они костры: один на улице, другой в скотском прогоне, третий в начале поскотины и четвертый в середине деревни. Через второй костер перегнали они весь скот, чем и воевали с сибирской язвой.

Вообще как мера борьбы с болезнями живой огонь в большом употреблении. В одной деревне, например, умирал народ от тифозной горячки и крестьяне, чтобы избавиться от нее, задумали установить праздник, положивши чествовать Николу Угодника. Собрались они всей деревней, от мала до велика, и положили тушить в избах все огни до последнего уголька, для чего залить все горнушки (печурка, загнетка, бабурка и проч.). При этом мужики строго-настрого наказывали бабам не сметь топить печей, пока не будет приказано, а сами притащили к часовне два сухих бревна, прикрепили к одному рукоятку, как у пилы, и стали тереть одно бревно о другое. Но на этот раз, как ни бились, ничего не вышло: бревна нагрелись, даже обуглились, а огня не появилось. «Значит, – заклю-

1 По мнению захолустных крестьян, молния особенно часто ударяет в телеграфные столбы, так как они неугодны Богу.

чили крестьяне, – не указ, Богу не угодно. Надо попробовать в другое время!» И порешили устроить праздник на третье воскресенье после Пасхи. Снова принялись за бревна – огня добывать. На этот раз промеж бревнами в щели всколыхнулось как бы малое-малое пламя, и огонек обозначился. Подхватили его на сернички, подложили огонь под костер, разожгли, стали через огонь прыгать по-козлиному, а стариков и малых детей на руках перетаскивали. Разнесли потом огонь по домам, затопили печи, напекли-нажарили. Затем подняли иконы, позвали священника, пригласили всех духовных, стали молиться. За молебном начали пировать, безобразить в пьяном виде на улицах и бесчинствовать до уголовщины: соседку-помещицу за то, что она не послушалась мирского приговора и затопила печи, не дождавшись общественного огня, наказали тем, что выжгли всю ее усадьбу с домом, службами, хлебными и всякими запасами.

Все подобные священнодействия, переданные народу по прадедовскому завещанию, предпринимаются, главным образом, в виду защиты себя и домашнего скота от повальных болезней. Там, где эти падежи часты, как, например, в Новгородской губернии, для вытиранья живого огня устраивается даже постоянное приспособление в виде машины, так называемый «вертушок»[1]. Два столба врыты в землю и наверху скреплены перекладиной. В середине ее лежит брус, концы которого просунуты в верхние отверстия столбов таким способом, что могут свободно вертеться, не переменяя точки опоры. К поперечному брусу, одна против другой, приделаны две ручки, а к ним привязаны крепкие веревки. За веревки хватаются всем миром и среди упорного молчания (что составляет непременное условие для чистоты и точности обряда) вертят брус до тех пор, пока не вспыхнет огонь в отверстиях столбов. От него зажигают хворостины и подпаливают

[1] В старой Новгородчине (в Череповецком уезде) подобный обычай укрепился настолько, что крестьяне не ожидают даже каких-нибудь внешних поводов для вытирания огня, а ежегодно в Ильинскую пятницу добывают себе живой огонь и затем затопляют им все печи.

ими костер. Как только последний разгорится, все бросаются к стаду, которое еще накануне священного дня было сбито в табун и выгнано в поле к ручью, и затем, не пропустив ни одной животины, перегоняют всех через огонь. А чтобы вера в очистительную силу этого огня стояла в деревне крепче, по обеим сторонам костра выкапывают две ямы: в одну зарывают живую кошку, в другую собаку – этим отнимают у чумных оборотней силу бегать по дворам кошками и собаками и душить скотину. Этот обычай окуривания практикуется и в Олонецкой губернии (например, в Петрозаводском и Лодейнопольском уездах), где он является в форме строго обязательного карантинного обряда с тем различением, что в одних местах костры зажигаются обыкновенными спичками, в других стараются добыть из бруска живой огонь[1].

Уверовав в скрытую, таинственную силу живого огня, крестьяне вместе с тем не теряют благоговейной веры в мощь и влияние всякого огня, каким бы способом он ни был добыт. Коренной русский человек, с малых лет приглядывающийся к родным обычаям и привыкший их почитать, не осмелится залить или плюнуть в огонь, хотя бы он убедился на чужих примерах, что за это не косит на сторону рот и виноватые в этих проступках не чахнут и не сохнут. Точно так же те, которые придерживаются старых отеческих и прадедовских правил, не бросят в затопленную печь волос (чтобы не болела голова), не перешагнут через костер, не сожгут в нем экскрементов человеческих из боязни корчей и судороги тем людям. Почтение к огню во многих местностях Великороссии (а в Белоруссии повсюду) доведено до того, что считают великим грехом тушить костер на полях, теплины на ночном и т. п., предоставляя самому огню изнывать в бессилии и тухнуть. Оберегая огонь от набросов нечистот, сжигают в печах сметенный сор и не выносят его вон, не выбрасывают через порог, чтобы не разнесло ветром и чтобы недобрый человек по нем, как по следу, не на-

[1] Маленький брус кладется на порог избы. Пять человек берутся за другой, больший, и начинают пилить, как пилой; добытый огонь принимают на трут, а с него уже на сернички.

слал порчи[1]. При наступлении сумерек огонь зажигается всегда с молитвой, и если при этом иногда начнут ссориться между собой невестки, то свекровь говорит:

– Полно вам браниться, удерживайте язык, аль не видите, что огонь зажигают?

И ссора прекращается, перебранка смолкает.

– Огонь грех гневить – как раз случится несчастье, – говорят крестьяне, вспоминая известную легенду, предостерегающую от перебранок при зажигании огня. Вот эта легенда или, вернее, нравоучение:

«Зажглись на чужом дворе два огня и стали между собой разговаривать:

– Ох, брат, погуляю я на той неделе! – говорит один.

– А разве тебе плохо?

– Чего хорошего: печь затапливают – ругаются, вечерние огни затепливаются – опять бранятся...

– Ну, гуляй, если надумал, только моего колеса не трогай. Мои хозяева хорошие: зажгут с молитвой и погасят с молитвой.

Не прошло недели, как один двор сгорел, а чужое колесо, которое валялось на том дворе, осталось целым[2]».

Когда на Руси появилось христианство, оно хотя и ломало коренные народные обычаи, но в то же время зорко присматривалось к наиболее упрочившимся предрассудкам и старалось осторожно обходить их. Поэтому и огонь, издревле почитаемый русскими людьми, оно приняло под свое священ-

---

1 Отсюда и выражение «выносить сор из избы», то есть разглашать семейные тайны, не держать секретов.

2 Подобная легенда известна и малороссам, с той разницей, что огонь недоволен был хозяйкой за то, что она заметает его грязным веником и ничего не подстилает, ничем не укроет (не сгребет на плошку и не спрячет в печь). «Она, может быть, исправится», – советовал другой огонь, у которого хозяйка была добрая – всегда, бывало, его перекрестит и сбережет. Сошлись оба огня у той же плохой хозяйки. «Ну что, поправилась?» – «Нет, сегодня же сожгу ей избу». Услыхала угрозу сама виновная и тотчас же сгребла уголья в загнетку и стала потом всегда делать так, т. е. загребать огонь особым веником, а отнюдь не тем, которым метут полы, всеми мерами стараясь избегать дотрагиваться до огня ножом или топором или говорить про огонь что-либо бранное или неприличное и т. п.

ное покровительство. Провозвестники нового учения оценили в огненной стихии ее очистительное начало и, угождая всеобщим верованиям, признали в нем освящающую силу. В таком смысле внесли слово «огонь» и в молитвенные возношения, поставив его с изумительным дерзновением неизмеримо высоко, наравне с дарами Святого Духа. Несколько веков стояло это слово в церковных требниках не на своем месте и произносилось в возгласах при освящении воды в навечерие Богоявления: «Сам и ныне Владыко, святив воду сию Духом Твоим Святым и *огнем*», пока не догадались, что это явная и грубая ошибка, противная коренному смыслу христианского верования. Так было до 1616 года, когда духовному люду привелось твердо убедиться в том, что этого придатка нет в тех греческих богослужебных книгах, с которых переведены все «обиходы» церковные. Поэтому в богатых церквах велено было отобрать те требники и заменить их исправленными, а в бедные приходы, которым было не по силам покупать новые и дорогие книги, приказано было ехать поповским старостам (нынешним благочинным) и то предательское слово зачернить, замазать, заклеить бумажкой. Самим же священникам указом предписано этого «прилога не говорить». Указ был исполнен в точности, без всякого прекословия, и только не налаживалось дело у стариков священников, которые по закоренелой привычке продолжали говорить это слово и, спохватившись, оправлялись и досадовали на себя, делая беспокойные телодвижения. Кончилось тем, что на эти случаи свидетели поповских неудач приладили к старой поговорке новый «прилог» – стали говорить: «грех да беда на кого не живет – огонь и попа жжет». И кроме того, шутки ради стали укорять виновных в обмолвках попов при честном народе: «На воду глядит, а про огонь говорит». Справедливость требует, однако, заметить, что далеко не везде исправление священных книг окончилось столь мирным и безобидным образом. В центре России оно вызвало недовольство, и в Москве, например, исключение из молитвы лишнего слова произвело неожиданное смятение. Из скромных келий монастырских дело книжных справщиков

вынесено было на шумные городские площади и попало на суд и осуждение всякого праздного сброда. За старое и ненужное слово заступились убежденные суеверные люди, которые населяли окрестные городские слободы, занимаясь ремеслами, и те, которые торговали в самом центре города. К ним пристала и беспокойная голытьба, шатавшаяся без дела по площадям и улицам. И вот в базарной толпе пронесся страшный слух: появились-де на Москве еретики, которые хотят огонь из мира вывести. Известием этим особенно встревожились ремесленники, более прочих нуждающиеся в огне для работ.

– Выйдет указ, по еретическому наущению, погасить огни – и погасят, – уверенно говорили бывалые люди из кузнецов, оружейников, серебренников, царских поваров и проч.

– Наколдует еретик своим дьявольским наваждением, и самые огни на земле погаснут, – толковали промеж себя наиболее суеверные.

А в торговых рядах и на площадях им поддакивали:

– Огонь, как и вода, очищает всякую скверну. В огне сам Господь являлся людям и говорил с ними. Огонь нисшел с небеси; кто такой дерзкий осмелился его уничтожить?

Первым заметил в книгах ошибку и первым решился исправить ее знаменитый архимандрит Троице-Сергиева монастыря Дионисий, незадолго перед тем содействовавший убедительными воззваниями своими ко всему православному русскому люду спасению отечества от внутренних смут и нашествия чужеземцев. Ему поручено было исправление книг, испорченных неграмотными переписчиками и невежественными справщиками, но один из них сделал на архимандрита донос, весь смысл которого сводился к тому, что архимандрит-де – подлинный еретик, не исповедующий Духа Святого, «яко огнь есть». Крутицкий митрополит Иона, человек ума невысокого, образования малого, характера слабого, управлявший церковными делами за отсутствием патриарха Филарета, еще томившегося в плену у поляков, доносу поверил. Когда слух о мнимом еретичестве троицкого архимандрита достиг до келий Вознесенского монастыря, где жила инокиней мать царя, на-

чали суд и дело. В царицыных кельях допрашивали заподозренного с двумя его товарищами – справщиками. На допрос главного виновника старались водить через весь город, среди враждебно настроенной, грубой и дерзкой толпы. Водили Дионисия на посмешище, хотя и в монашеском одеянии, но в рубище и цепях, а чтобы еще резче выделить его из толпы, иногда сажали на клячу без седла. Суеверы из невежественных ремесленников и торговцев с нескрываемой злобой бросались наносить ему всякие оскорбления: иной швырял палкой, другой подбегал вплотную и плевал в лицо. На людных местах летели в него комья грязи и кала, сыпался песок, выливались помои. Праведный старец, убежденный в своей правоте и людском неверии и заблуждениях, все оскорбления переносил без ропота и жалоб. Если же замечал в озлобленной толпе знакомые лица, то ласково им улыбался. Когда грозили ему заточением, ссылкой в дальние Соловки, требуя отречения от исправы слова, он коротко отвечал судьям: «То мне и жизнь! Я этому рад!»

Тем временем (в 1619 г.) вернулся царский родитель, Филарет Никитич, и взял все это дело в свои мощные руки. Между прочим он спрашивал иерусалимского патриарха, приехавшего в то время в Москву за милостыней:

– Есть ли в ваших греческих книгах прибавление «и огнем»?

– Нет. И у вас быть тому не пригоже.

Списался Филарет с прочими вселенскими патриархами и получил ответ. Тогда Дионисий был оправдан и вместе с товарищами возвратился в монастырь, сохранив за собой прежнее звание настоятеля.

Кроме живого огня, русские люди придают большое значение так называемому «освященному огню». Это огонь, вынесенный из церкви после великих священнодействий и в то время как бы получивший особенную силу и исключительную благодать. В Великий Четверг после чтения Страстей благочестивые люди несут из церкви зажженные свечи, с которыми стояли в торжественные моменты важнейших богослужений. Причем важное значение придается не толь-

ко огню, но даже свечам. Так, «венчальная» свеча зажигается при трудных родах и иногда ставится в изголовье умирающего в расчете на то, чтобы скорее кончились страдания. «Пасхальная» свеча, по влиянию и благодати равносильная с прочими, имеет громадное значение для пастухов, у которых будет сохранно стадо, если в рожок закатан будет воск от этой свечи. «Богоявленская» и «четверговая» свечи, кроме защиты во время грозы, имеют еще особые свойства: первая, как и «венчальная» свеча, помогает в родах и при смерти, вторая владеет могучей силой уничтожать чары колдунов и лечить лихорадки, ею выжигают на косяках дверей и окон кресты, чтобы злые духи не посещали жилищ. Затем всякая свеча, побывавшая в храме и там купленная, обладает магической силой при разных случаях, перечисление которых, по многочисленности, было бы утомительно[1].

Признавая за огнем целебную и предохранительную силу, наш народ в то же время сохранил уверенность, что священный огонь имеет и множество других полезных для человека свойств: чем, например, наказать непойманного вора, ловко ускользнувшего и схоронившего концы? Для этого надо взять восковую церковную свечу, известную всюду под именем «обидящей» («за обидящего»), и прилепить перед образом оборотным концом для того, чтобы, подобно свечке, стоящей нижним концом вверх, Господь таким образом поворотил душу врага, навел на неизвестного вора такую тоску, чтобы тот раскаялся и возвратил украденное. Еще дальше пошли те суеверные фанатики, которые приготовляют свечи из человеческого жира в расчете, что такая свеча делает обладателя ее невидимым. Вера в эту свечу-невидимку до сих пор так велика, что люди добровольно обрекают себя на законную кару за разрытие могил. Не менее суеверен и другой обычай – «отогревание покойников». По некоторым сведениям, он состоит

[1] Эта вера в силу свечей распространена всюду, но в особенности она сильна в Белоруссии, где существуют не только «врачующие» и «спасающие» свечи, но издревле устроен даже специальный праздник «Громницы», совпадающий с Сретением Господним (2 февраля).

в том, что тело усопшего, накрытое простыней и положенное на железную решетку, подогревается снизу костром из березовых дров (отнюдь не сосновых и не осиновых, так как на осине Иуда задавился). Обычай этот соблюдается лишь раскольниками и притом тайно и непременно ночью.

Последние два обстоятельства: тайна, не поддающаяся поверке, и указание на раскольников как на виновных в такого рода суеверии, дают право глядеть на это сообщение как на злую сплетню, так как на раскольников, как и на мертвых, привыкли взваливать все, что угодно. Но, с другой стороны, способы поминания усопших родителей чрезвычайно разнообразны, и один из них действительно называется «греть родителей». Практикуется он во многих местах (между прочим, в Тамбовской и Орловской губерниях) и состоит в том, что в первый день Рождества среди дворов сваливается и зажигается воз соломы в той слепой уверенности, что умершие в это время встают из могил и приходят греться. Все домашние при этом обряде стоят кругом в глубоком молчании и сосредоточенном молитвенном настроении. Зато в других местах около этих костров, взявшись за руки, весело кружатся, как в хороводе на Радонице (во вторник на Фоминой неделе)[1].

В массе суеверий, не поддающихся никаким влияниям и внушениям и уживающихся рядом с христианскими верованиями, выделяется одно, где огонь также играет влиятельную роль и где поразительна именно живучесть обмана и его повсеместное распространение. Это бабьи расказы о «Летучем» (он же и «Налетник» или «Огненный змей»), являющемся в виде сказочного чудовища – достойного соперника храбрых и могучих богатырей, «Змея-Горыныча», превратившемся в удалого доброго молодца – женского полюбовника.

Многие женщины, особенно в местах, живущих отхожими промыслами, передают священникам на исповеди, что

[1] На юге и западе России народное верование, что умершие души не перестают жить за гробом, выражается ежегодными празднествами в честь некогда боготворимых «дзядов» (предков). Вера эта сохранилась и в Великороссии в обычаях Дмитриевой субботы, Красной Горки и Радоницы, о чем будет сообщено в своем месте.

их отсутствующие, а часто и умершие мужья являются к ним въяве и спят с ними, то есть вступают в половое сношение. Сплошь и рядом не только вдовы, но и замужние женщины, войдя в доверие с любознательными школьными учительницами, охотливо рассказывают им о своих похождениях подобного рода со всеми мелкими подробностями[1]. Изучающим деревенский быт или наблюдающим его по обязанности соседства часто доводится получать указания даже на те избы, куда летят огненные змеи, и на тех женщин, с которыми они находятся в плотском сожитии.

Рассказы подобного рода чрезвычайно распространены, причем бросается в глаза удивительное однообразие частностей этого явления и его печальных, нередко трагических последствий.

Хотя самая основа этого стойкого поверья лежит, несомненно, в существовании того явления природы, которое называется «огненными метеорами», но в глазах темного люда оно получило вид и характер верования в нечистую и злую силу. Иконография успела даже закрепить в представлении молящихся этих уродливых крылатых и хвостатых чудовищ, изображая их в виде змеев, дышащих пламенем и несущих на своих хребтах женщин, обреченных на погибель или влекомых на соблазн.

У огненного змея голова шаром, спина корытом и длинный-предлинный хвост – иногда до пяти сажен. Прилетая на свое место, он рассыпается искрами, которые вылетают как бы из решета, а летает он так низко, что бывает виден от земли не свыше сажени. Посещает он исключительно таких только женщин, которые долго и сильно тоскуют об отсутствующих или умерших мужьях. Самое же посещение, по словам одной простодушной орловской бабы, происходит следующим образом: «Умер у меня старик, а я и давай тосковать, места себе не нахожу. Так вот и хожу, как оголтелая. Вот ночью сижу у окна и тоскую. Вдруг как осветит, подумала я: пожар – вышла на двор. Гляжу, а старик-покойник стоит передо мной: шляпа черная,

[1] Более 20-ти сообщений этого рода получено из разнообразных местностей России.

высокая, что носил всегда по праздникам, сапоги новые, армяк длинный и кушаком подпоясан. С той поры и начал ходить».

Самого посетителя сторонним людям не видно, но в избе слышен его голос: он и на вопросы отвечает и сам говорить начинает. Сверх того, посещения его заметны и потому, что возлюбленная его начинает богатеть на глазах у людей[1], хотя в то же время всякая баба, к которой повадился змей, начинает худеть и чахнуть (говорят: «полунощник напущен»), а иная изводится до того, что помирает или кончает самоубийством (все случаи женских самоубийств приписываются змею). Есть, впрочем, средства избавиться от посещения змея. Совестливая и стыдливая баба спохватится и обратится к колдуньям за советом, а уж те укажут, как узнать, кто по ночам приходит: настоящий ли муж или сам нечистый. Для этого они велят в то время, как избранница сидит за столом с огненным змеем и угощается всем, что он приносит и выставляет, уронить со стола какую-нибудь вещь и затем, поднимая ее, наклониться и поглядеть: не копытами ли ноги, не видать ли между ними кончика конского хвоста? Если затем окажется, что прилетевший змей подлинно черт, то, чтобы избавиться от него, надо сесть на порог, очертиться кругом, расчесать волосы и в то же время есть коноплю. Когда же змей спросит: «Что ешь?» – надо отвечать: «Вши». Это ему столь не по нутру, что он «попихнет в бок или больно ударит, но с того случая больше летать не станет»[2].

---

[1] Во многих местах (между прочим, в Орловской и Ярославской губерниях) огненного змея называют «южом» и, признавая за ним способность обогащать возлюбленных, придумали для обиходного языка подходящие выражения. Кто бережлив и запаслив, тот, «как юж, все в дом тащит». Кто же быстро богатеет, тому, вероятно, «юж деньги таскает», и т. п.

[2] Слепая вера в существование огненного змея, приносящего золото и вообще доставляющего богатства, доведена до того, что существует даже способ добычи этого змея вживе. Для этого следует достать «спорышек», т. е. маленькое уродливое яичко, суеверно признаваемое за петушье (в нем один желток и нет белка), и носить его шесть недель под левой мышкой, и когда вылупится змей, то надо на ночь лечь спать в нежилой избе (например, в бане). Во сне черт передаст этого змея в услуги смельчаку на определенный срок и при известных условиях. Тогда отогретый змей начнет носить деньги.

Ходят повсеместно слухи о том, что от огненных змеев женщины рожают детей, но большей частью недолговечных («как родился, так и ушел под пол») или прямо мертвых. Рождение уродов точно так же приписывается участию змея, причем бабки-повитухи, которые ходили принимать таких детей, зачатых от нечистой силы, рассказывают, что дети родятся «черненькие, легонькие, с коротеньким хвостиком и маленькими рожками». На помощь и как бы в поощрение таким верованиям прибегают и шатающиеся по деревням странники. Они от всех подобных проказ и нечистой силы во образе огненных змеев пишут на бумажках сорок раз псалом «Да воскреснет Бог» и велят надеть на крест и носить, не снимая.

Устойчивость верований в огненных змеев, а тем более живое и наглядное олицетворение их несомненно находится в связи с тем представлением, какое существует вообще о происхождении самого огня. Здесь разнообразие народных воззрений, резко расходящихся между собою, явно свидетельствует о том, что к первобытным понятиям уже успели примешаться те новые, которым довелось вступить в открытую борьбу с языческой стариной. Но победа еще далеко впереди, а пока на боевом поле обе враждующие стороны обнаруживают достаточно сил и стойкости.

Наиболее господствующее убеждение заключается в том, что первый огонь изобрели бесы в то самое время, когда они были изгнаны с неба. При этом рассказывается легенда о том, как Бог со св. Петром и Павлом ходили по земле и неожиданно увидели костер, разведенный и охраняемый бесами. Бог приложил палочку, и, когда она загорелась, бесы вздумали ее отломать. Тогда Господь ударил этой палочкой о камень, полетели искры, и с той поры люди узнали, как добывают огонь из камня. Так думают и в Малороссии, где эта легенда общеизвестна. В решительном противоречии с ней находится великорусская легенда, свидетельствующая, что огонь дан людям самим Богом, который ниспослал его с небес на помощь первому человеку по изгнании его из рая, когда человек очутился в безвыходном положении и не

знал, как готовить себе пищу. Бог послал молнию, которая расколола и зажгла дерево, и тем показал способ добывания столь чтимого и признаваемого святым «живого огня». Другие легенды стараются примирить оба начала, признавая два огня: адский и небесный, а одна из легенд говорит, что до первого греха первых людей огня на земле не было. После же грехопадения отворились адские ворота и пламя вырвалось оттуда и появилось на земле, чтобы причинять людям вред пожарами, обманывать вспышками на местах кладов, смущать огневидным появлением в воздухе самих бесов в виде огненных змеев и т. п. Кроме адского огня, был послан с неба и тот огонь, которым зажигались жертвы, приносимые Богу, и устранялись многочисленные бедствия, посещавшие людей и домашних животных в виде различных болезней. Теперь (свидетельствует один из наших корреспондентов со слов верующих) «тот и другой огонь смешались вместе и их не различишь». Но несомненным считается лишь то, что на болотах огни зажигают водяные, чтобы заманивать и топить неосторожных путников; на кладбищах огонь горит над могилами праведных людей; на местах кладов зажигают огонь для обмана легковерных охранители зарытых сокровищ – «духи-кладовики». И все-таки остаются неразрешенными вопросы: каким огнем сжигается масленица, через какой огонь прыгают в Купальскую ночь? И здесь, несомненно, лишь одно, что в святую ночь, называемую также и светлою, по всему громадному пространству святой Руси около храмов зажигаются костры, а в окнах жилищ – лишние свечи во славу Воскресшего Господа, показавшего нам свет.

II.
ВОДА-ЦАРИЦА

Еще на заре человеческой истории люди отчетливо сознавали великое значение водной стихии. Это подтверждает и мифология всех стран и всех народов, и позднейшие философские системы древних, которые, при всей их наивности, все-таки

успели установить один незыблемый принцип: как без огня нет культуры, так без воды нет и не может быть жизни.

Сообразно с таким пониманием мировой роли воды, языческие народы всех времен неизменно обоготворяли эту стихию как неиссякаемый источник жизни, как вечно живой родник, при помощи которого оплодотворялась другая великая стихия – земля.

Позднее, с распространением христианства, вера в божественное происхождение воды хотя и умерла, но на обломках ее выросло убеждение в святости и в чудодейственной силе этой стихии. Замечательно при этом, что такого рода убеждение в целительных свойствах воды разделяется, наряду с христианскими народами, и магометанами, и евреями, и почти всеми представителями современного язычества.

Пишущему эти строки привелось как-то посетить один из крымских монастырей, привлекавший тысячные толпы богомольцев. Монастырь славился своим бассейном-купальней, погружаясь в который больные, по словам монахов, получали исцеление.

Эта, разделенная на две половины, мужскую и женскую, купальня достаточно просторна была для того, чтобы одновременно могли погружаться в воду около десяти человек. Она наполнялась водою из того родника, который подле выбивался из-под отрога Яйлы.

При самом выходе из скалы целебного родника, под часовенным навесом, находится колодец, из которого запасаются водой для домашнего пользования. Над ним служат молебны, и здесь же даже мусульмане у выручки покупают восковые свечи и поручают передавать их в церковь. В другой раз пишущему эти строки случилось побывать в урочище, называемом «Черный Ручей» (в верстах 2–3 от Мстиславны (Могилевской губ.). Сюда некогда, во времена борьбы православных братств с униатами, устраивался крестный ход братчиков, теперь оставленный. Ближе ручья, почти в самом городе, находится родник, называемый «Здоровец», с отличной ключевой водой, почитаемой целебной. «Черным» назван ручей за то, что

в нем накопляется и оседает достаточное количество грязи, которою больные мажут себе глаза, получая облегчение. К такому средству прибегают не только окрестные православные и католики, но едва ли не чаще и охотнее прочих евреи, наиболее страдающие всякими глазными болезнями.

Если перенесем наши наблюдения выше, на север, то и здесь найдем немало таких же прославленных родников, привлекающих толпы богомольцев. Напр., в 5–7 верстах от реки Мсты, возле погоста, называемого «Пятницей», из-под пригорка бьет сильный родник, скопляющий в колодезном срубе воды столько, что можно тут искупаться. Родник этот прославился бесчисленными случаями чудесного исцеления больных, и ежегодно, в 10-ю пятницу после Пасхи, здесь устраиваются крестные ходы. Высоко над толпою вздымаются носилки с большою киотою, в которую поставлено деревянное изваяние иконы св. Параскевы-Пятницы, несомое над головами народной толпы, длинной цепью склонившейся на коленях. Пелена, висящая на иконе, признается также лечебною, и ею обтирают лица и глаза. (Торговля удачно приладилась и здесь, по крайней мере ярмарка из года в год с нетерпением ожидается не только окрестными жителями из Боровичского уезда, но и отдаленного Тихвинского)[1].

Довольствуясь на этот раз тремя указаниями, почерпнутыми из личных наблюдений, мы оставляем в стороне другие сообщения, доставленные из каждой губернии, главным образом, потому, что они однородны и слишком многочисленны. Притом же и в этих трех указаниях достаточно ярко выражается древняя, присущая не одному православному люду, слепая вера в родники и почтение к ним не как к источникам больших рек-кормилиц, а именно как к хранителям и раздавателям таинственных целебных сил. Это одно из наследств седой старины, но из разряда таких, которые наиболее усердно оберегаются и, несмотря ни на какие соблазны, не исчезают. Если

[1] Больных детей привозят купать и купаются сами родители на той же реке Мсте в подобном же роднике, при селе Белом, у часовни Скорбящей Божьей Матери.

в доисторические времена, вместо храмов, посвящали богам ручьи и колодцы, а христианство взяло под свое покровительство наиболее выдающиеся из них, – то все-таки осталось еще много таких, которые, сохраняя за собою общее древнее название «прощей», не признаны Церковью, но признаются народом за святые, и к которым народ сходится в известные дни на богомолье[1]. В то же время эти родники или криницы представляют собой несомненные памятники седой старины, когда младенческий ум подозревал в них явное, хотя бы и незримое присутствие и, во всяком случае, близкое участие высших существ. Милостивым заботам этих существ и поручались такие места. Здесь попечительная мать-сыра земля устроила так, что ключом бьющая из нее водяная жила и сильна, и непрерывна. Народившийся поток обилен чудесной водою, зимою не поддающейся даже лютым морозам, а летней порой в палящий зной, холодной, как лед, чистой и прозрачной, как хрусталь, и при всем том обладающей особенным вкусом, резко отличающим ее от воды прочих источников. Достаточно одних этих свойств, чтобы сделать подобные урочища заветными и назвать их «прощами» – словом, самый корень которого свидетельствует о древности происхождения[2]. Действительно, здесь издревле искали прощения и отпущения, то есть духовного и телесного освобождения от внутренней душевной тяготы и от внешних телесных повреждений, и именем «прощеника» до сих пор зовется всякий, чудесно выздоровевший или исцеленный на святом месте. Хотя в Великороссии лишь по некоторым местам сохранилось это слово в живом языке (по всему вероятию, вследствие стремления духовенства, а в особенности монастырей, к искоренению языческих обычаев и верований) – но зато в Белоруссии оно употребляется повсеместно.

[1] Ярославский корреспондент, который дает это объяснение, указал три таких в южной части Пошехонского уезда. В подкрепление его сообщений, имеются сведения о двух прощах в Меленковском у. (Владимирской губ.).

[2] Хотя в Далевском словаре *живого* великорусского языка «проще» дано иное толкование, очевидно, зависящее от неполноты собранных сведений, но точно указан корень: «простой, прощать, простить – сделать простым от греха; «проща» – прощение, разрешение духовное, индульгенция католиков».

Название «проща» присвоено и тому Черному Ручью, о котором выше упомянуто, и тем криницам, которые, подобно находящимся в местечках Лукомле (Могилевской губ.), Дивине (Гродненской) и др., выбрасывают из недр земли на ее поверхность воду с целебными свойствами, подкрепленными верою многих десятков поколений. Эта вера сохранилась и в настоящем поколении, привлекая к прощам в урочные дни огромные толпы народа, так что эти многолетние сборища вошли даже в поговорку. Когда собирается много народа на ярмарку, или торжок, на обычное гулянье и пр., говорят: «идут, как на прощу»; к радушному хозяину охотно собираются гости также, «как на какую-нибудь прощу» и т. д. В довершение полного сходства, при этих прощах, кроме обычных кермашей, или красных торгов, устраиваются еще и игрища молодежи с песнями и хороводами. По народным представлениям, прощи находятся под особым покровительством св. Пятницы – не той св. мученицы Греческой Церкви, пострадавшей за Христа при Диоклетиане в Иконии, в 282 году, которую вспоминает Церковь Православная 28 октября под именем Параскевы, изреченныя Пятницы, а иной, особенной, своей, и поныне обретающейся в живых и действующей. Эта Пятница всеми тремя главными русскими племенами согласно чествуется в определенный день недели, именно в пятый, считая с понедельника, и, кроме того, в виде исключения, в девятую либо десятую пятницу по Пасхе и в грозную Ильинскую – последнюю перед 20 июля – днем св. пророка Илии. В преимущество перед всеми святыми Православной Церкви, за исключением Николая Чудотворца (так наз. Николы Можайского), сохранился обычай изображать ее в виде изваяния из дерева. Обычай такой несомненно уцелел с тех времен, когда обращение в христианство было большею частью внешним и пользовалось готовыми формами старой веры, более или менее удачно видоизменяя или приспособляя к ним обрядовую часть церковного чина. Лишь впоследствии новое учение стало понемногу входить в плоть и кровь, отступая, однако, перед тем, что успело уже слишком глубоко проникнуть в народную жизнь и соста-

вило коренную и незыблемую основу верований. К числу таковых, между прочим, относится почитание пятницы именно в связи с занимающим нас вопросом[1].

Начиная с крайних границ болотистой Белоруссии, от берегов Десны и Киева до далеких окраин Великороссии и Белого моря, – поклонение образу Параскевы Пятницы в виде изваяния остается до сих пор неизменным и всенародным. Точно таким же образом всюду на этом громадном пространстве земли, населенной православным людом, целебные родники-криницы и святые колодцы – поручены особому покровительству святой Пятницы. Эта связь имени Пятницы с источниками текучих вод не ограничивает силы народных верований в нее как в защитницу вообще воды, в самом широком значении этого слова. Это вытекает, между прочим, из того, что в старинных городах, укрепившихся на высоких берегах больших рек, подобно Киеву[2], Брянску и другим, пятницкие храмы построены на низменностях, у самой воды – древний обычный прием, который, помимо Великого Новгорода и Торжка с их пятницкими концами, наблюдается и близ Москвы, в Троице-Сергиевской Лавре. Кроме того, во многих местах, а в особенности в Белоруссии, сохраняется обычай молиться о дождях, потребных в весеннее время для всходов и в летнее для урожаев, обязательно святой Пятнице, и непременно с некоторыми суеверными приемами: молитвы возносятся в таинственной ночной обстановке и состоят из таких прошений, самодельная форма которых указывает также на давность их сочинения.

Иконы Пятницы, охраняющие св. колодцы, признаются (за малыми исключениями) явленными, а, стало быть, и чудотворными, причем преимущество отдается скульптурным изображениям этой святой, но скульптура эта, разумеется, младенческая, она составляет древнейшую форму русского

[1] Описанию чествования Пятницы отведено будет отдельное место в третьей части трилогии – «Крестная сила».

[2] Здесь, на Подоле, под Лаврской горой, находился Дольный или Пятницкий монастырь, от которого сохранилась теперь кладбищенская церковь.

искусства, существовавшую еще во время язычества и в наши дни имеющую археологическое значение. Это изделия тех времен, когда мастера не дерзали еще слишком удаляться от плоской резьбы для изображения естественных округлых фигур, и грубый резец в форме долота, направляемый младенческою рукою, был в состоянии лишь намечать признаки лицевых органов. Но невзыскательные молельщики равнодушно относятся к явным неудачам первобытных художников.

– За грехи наши (говорят орловские богомолки при виде нераспознаваемого почернелого изваяния Пятницы, находящегося в г. Брянске в Петровском женском монастыре) обрызгали матушку золой наши бабы-грешницы, что по пятницам белье бучили (т. е. при стирке обычно пересыпали белье золой для щелока).

– Истыкали наши беспутные женки нашу святую иголками, когда шили рубахи свои по пятницам, – толкуют архангельские поморы в селе Шуе, объясняя точки и полосы червоточины на такой же темной и очень старинной иконе Пятницы, представленной также в виде грубого изваяния.

Не столько бревенчатые стены и дощатые крыши охраняют святые колодцы, сколько именно эти изображения Пятницы в том или другом виде, и от их присутствия зависит и самая святость и целебность воды. А чтобы не иссякала спасающая и врачующая благодать, приносятся к подножию икон посильные жертвы: рыбьей чешуйкой серебрятся на дне колодцев серебряные гривенники и пятиалтынные, через головы толпы, предстоящей и молящейся, передаются или прямо бросаются разные изделия женского досужества, часто с громким заявлением о прямой цели жертвования: сшитое белье в виде рубах, полотенца на украшения венчика и лика, вычесаная льняная кудель или выпряденные готовые нитки, а также волна (овечья шерсть) («Угоднице на чулочки!» – «Матушке-Пятнице на передничек!» – кричат в таких случаях бабы). Все это – в благодарность за полученные щедроты и в ожидании будущих милостей: чтобы, не умаляясь и не иссякая, текли дары невещественной благодати, как текут холодные светлые

струи живого источника. Эти вещественные приношения образу поступают обыкновенно в пользу ближайших жителей, причем предполагается, что последние примут на себя заботу по охране святынь от засорения и осквернения[1]. В селе Овстуге (Брянского у., Орловской губ.) в св. колодце иссякла вода от того, что одна женщина выполоскала в нем свое грязное белье; в другом месте вода иссякла по той причине, что нечистая женщина дерзнула в источнике выкупаться. В первом случае многие слышали, в течение целых трех недель, подземный шум уходящего в Киев (в Днепр) источника, на месте которого, под старою деревянною церковью во имя св. Параскевы, остался только обвалившийся погнивший сруб. То было давно, и сведение о событии сохранилось в памяти старожилов как смутное предание. Но в Муромском уезде (Владимирской губ.), в селе Спас-Сечень, рассказывают о недавнем случае, относящемся приблизительно, к 1881–82 гг. истекшего столетия, по поводу явления нового чудотворной иконы Параскевы Пятницы. Один крестьянин, проездом мимо суглинистого холма, вблизи села, заметил вновь пробившийся ключ. Подивился он и забыл. Но напомнил о том тайный голос, говоривший во сне одной богомольной старушке: «Иди к горе, увидишь у подножья ключик, а в нем на дне чудотворную икону. Вынь ее и вели мужичкам строить тут часовню». Народ старухи не послушался, а икона, поставленная в церкви священником, – «ушла» и вновь, как была, с ликом св. мученицы Параскевы в серебряном окладе оказалась на дне источника. Так повторялось до трех раз, пока над родником не построили часовни и не списали копию с иконы, которую тут же и повесили (подлинник поставили в церкви). Случилось, однако, так, что в первый же год по явлении одна баба,

[1] В целях предупреждения краж пожертвований (вообще кражи представляют поразительно редкое явление) ходят различные устрашающие легенды, подобные следующей, записанной в Уломской местности (Ярославской губ.). В с. Кондате крестьянин Тюфтярь ковшом, приделанным на лапке, задумал было таскать из св. родника деньги. Но лишь только наступила ночь, как к нему явился старик и приказал отнести назад награбленное. Видение повторялось, и Тюфтярь вынужден был послать дочку исполнить веление.

бывшая «с придурью», вздумала взять из колодца воды для стирки белья. Тотчас же вода в нем пропала, а через несколько дней источник пробился в другом месте, позади часовни. Новый колодец существует и до сих пор, считаясь целебным, а иконе еще недавно молились в церкви всей деревней как чудотворной о прекращении падежа на скот.

В виду такого повсеместно распространенного почитания воды, – первые просветили темных людей и последующие за ними основатели монастырей, святые отшельники, одною из главных забот ставили себе рытье колодцев. Послуживши хозяйственным нуждам в тех случаях, когда на высоких берегах, но далеко от воды строилась первая келья и первый деревянный храм, эти колодцы, вскопанные работавшим без устали руками подвижников, стали почитаться святыми. Они сделались местами особого почитания как видимые следы благочестивых подвигов на земле святых просветителей и молитвенников. В настоящее время трудно припомнить хотя бы один из старинных нагорных монастырей, который не обеспечился бы на подгорном подоле часовенным строением, укрывающим родник, обделанный обычно каменной кладкой или заключенный в деревянный сруб. Все такие колодцы народными преданиями обязательно приписываются трудам подвижников, просиявших благочестием на ближние и дальние страны. Так, между прочим, преподобному Сергию, уроженцу г. Ростова, просветителю ростовской страны и защитнику всей земли Русской, приписываются все те святые колодцы, которые почитаются целебными и находятся в окрестностях этого древнего русского города. Таков один из трех, находящийся вблизи с. Поречья. С происхождением его предание соединяет благоговейную память и о совершившемся чуде. Когда преподобный возымел мысль покопать колодец, у него в руках не оказалось необходимых орудий. Он обратил взгляд к ростовскому Авраамиеву монастырю и стал молиться преп. Авраамию, первому по времени и самому ревностному борцу с языческой мерью, чтобы тот помог ему: тотчас, по его молитве, явился и заступ, чтобы вырыть яму, и топор, чтобы

укрепить бока бревенчатым срубом. Другой колодец (в версте от г. Петровска), окруженный болотом, через которое путь идет по мосткам, выделяется и зеленоватым цветом, и сернистым видом воды, действию которой предание приписывает то обстоятельство, что бывшая при Екатерине II моровая язва не коснулась этого ярославского городка. Вблизи Ростова и того места, где, согласно преданию, апостол Иоанн Богослов вручил преп. Авраамию жезл для сокрушения идола Велеса, сохраняется, как памятник, каменная часовня над неглубоким колодцем, снабженная ведром и ковшом. Не оставляется без внимания прохожих и другой, более скромный, родник без прикрытия, с маленьким самодельным из бересты ковшиком, пробившийся из-под березки. В летнюю пору эта березка всегда обвешана разноцветными ленточками, а в источник набросаны медные деньги.

В народном представлении, таким образом, становятся священными не только колодцы, вскопанные святыми подвижниками, но также и те, появление которых вызвано каким-либо чрезвычайным случаем, как, например, так называемые громовые ключи, бьющие из-под камня и происшедшие, по народному поверью, от удара грозы. Подле таких ключей всегда спешат поставить часовенку и повесить образа, по нынешним обычаям – Богоматери. В двух (известных нам) случаях в число святых колодцев записаны те родники, которые вызваны были падением тяжелых колоколов, свалившихся с колоколен на улицу во время церковных пожаров и т. п. В этих неожиданных явлениях природы, принимаемых за знамения особой милости Божией, ищут наглядных проявлений тайных и скрытых сил, не утрачивая слепой веры в эти силы и их целебное свойство и при неудачах. Последние объясняются личным недостоинством, греховностью, недостатком веры и разнообразными мелкими упущениями подготовительного и обрядового характера со стороны самих прибегающих к помощи. От этих же причин, между прочим, зависит и то, что и так называемая «спорная вода» не всегда и не везде проявляет издревле присущую ей чудесную силу.

Эта вода, взятая из того места, где соединяется течение двух рек, имеет таинственную способность решить вопрос об участи трудно больных, не встающих долгое время с постели: к животу или смерти ведет их теперь таинственная судьба. Собственно же, как устья всех рек, так и источники главнейших из них не отличены особенными знаками народного почтения и признательности, хотя эти реки и величаются иногда «кормилицами». Даже исток такой величайшей благодетельницы русского народа, препетой и превознесенной, какова Волга, остается без всякого внимания, в полном пренебрежении. Вместо величественного сооружения над истоком Волги высится часовня в виде сторожевой будки, сооруженная окольным людом. Конечно, местные жители бессильны, по ограниченности своего кругозора, понять весь смысл мирового значения нарождающейся тут реки, и к тому же они не знают, что вода источника владеет целебною силою и заслуживает, не менее всех прочих, украшения богатым иконостасом.

За нашими главными и за некоторыми из второстепенных рек сохранились, в виде легенд, следы олицетворения их как живых существ богатырского склада. Это остаток древнего мифического представления, родившегося в ту эпоху, когда первые две реки (Западный и Южный Буг), указавшие славянам путь переселения из-за Карпат, прямо названы были Богом. Наиболее известен рассказ о споре Волги с Вазузой по поводу старейшинства. Эти две реки порешили окончить свой спор таким образом: обе должны лечь спать, и та, которая встанет раньше и скорее добежит до Хвалынского моря, будет первенствовать. Ночью Вазуза встала раньше и неслышно, прямым и ближним путем, потекла вперед. Проснувшаяся Волга пошла ни тихо, ни скоро, а как надо. Но в Зубцове она догнала Вазузу, причем была в таком грозном виде, что соперница испугалась, назвалась меньшей сестрой и просила Волгу принять ее к себе на руки и донести до Хвалынского моря[1].

1 Вазуза весною вскрывается раньше Волги и своим ледоходом будит Волгу от зимнего сна (наглядное оправдание заносчивости перед главною рекою побочного притока).

Другая сказка менее известна, но не менее замечательна. Волга оказывается любимою дочерью слепого отца и сестрою Сожи и Днепра. Отец задумал их выделить и объявил о том только обеим дочерям (Соже и Волге), а от непокорного сына Днепра скрыл о своем намерении. Днепр, однако, подслушал, как обещал отец наградить Волгу красивыми городами, Соже подарить лучшие места, а Днепру уделить мхи и болота. Первою проснулась Волга, прибежала к отцу со словами: «Батюшка, пора уходит». Слепой отец велел ей подойти поближе, ощупал ее и, убедившись, что она действительно Волга, так как тело у нее, как вообще у всех счастливых, обросло волосами, благословил ее идти красивыми местами, селениями и городами. Загремела Волга и ушла. Проснулся Днепр и, увидев, что Сожь еще спит, и решившись обмануть отца, обвернул руки паклей, так как тело у него было гладкое, и, подражая голосу сестры, сказался отцу Сожью. Слепой ощупал и поверил. Днепр бросился бежать, сколько набралось у него сил, разрывая горы, изгибался коленами – спешил, чтобы сестра тем временем не успела проснуться. Проснулась и Сожа: бежит к отцу, сказывается своим именем, но старику пришлось награждать ее лишь теми местами, которые остались у него в запасе, то есть мхами и болотами.

Этот же Днепр в олонецких былинах является в виде женщины под именем «Непры Королевичны»[1]. На этот раз она вступает в богатырский спор на пиру князя киевского с Доном Ивановичем. В единоборстве она осталась побежденной. Дон убил ее каленой стрелой и сам, в отчаянии, пал на ножищекинжалище. Вот от этой-то крови и потекла «Непра-река»: «во глубину двадцати сажен, в ширину река сорока сажен».

Олицетворение рек на этих примерах, однако, не остановилось, в народной памяти сохраняются такие же рассказы относительно рек: Десны, Западной Двины, Шачи и Красивой Мечи. И хотя время уже успело стереть краски с этих мифических сказаний, тем не менее русский народ продолжает проявлять на время скрытые, но вечно живые верования.

[1] Собственно именем Непры зовут Днепр все прибрежные его жители, белорусы Могилевской губ.

Относительно прочих больших водоемов, каковы озера, дело обстоит несколько иначе. Одновременно с расширением новгородской колонизации по русскому лесному северу, озерам суждено было занять одно из видных мест как в истории самого заселения, так, в особенности, в истории распространения христианства. Начиная с первых опытов основания монастырей на озерных островах в окрестностях самого Новгорода (Кириллова на р. Волхов и Липенского на острове озера Ильменя, в середине XIII в.), – большие и малые озера, которыми изобилует весь северо-запад Новгородской области, служили приманкою для людей, искавших пустынного жития. Острова на них, дикие и пустынные, представляли многие удобства как для созерцательной жизни, так и для благочестивых подвигов тех отшельников, которые искали полного уединения. Во всей громадной стране, известной под именем Озерной Области, немного найдется таких больших и малых озер, на островах которых не было бы основано обителей, лишь бы только представлялась возможность устроиться на них малым хозяйством. На самом большем из озер всего света, и притом наиболее негостеприимном, – Ладожском, на пустынной скале в начале XIV столетия стоял монастырь Валаамский, давший происхождение трем другим монастырям на том же озере: Коневскому, Свирскому на р. Свири и на дальних островах Белого моря – Соловецкому. Тем же путем взаимного влияния и братской связи возникли, в течение того же столетия, но еще в большем числе, монастыри на островах другого обширного озера – Онежского (числом до шести). Последовательно затем на островах озер: Черемецкого, Кубинского, Белоозера и на берегах всех прочих озер явились отшельники, трудами рук своих прочищавшие дремучие леса, ставившие малые деревянные церкви и подле них утлые кельи, выраставшие потом в многолюдные обители. Из последних многие приобрели огромное значение и влияние. В народной жизни они имеют глубокий исторический смысл как образцы прочных хозяйств и пособники в заселении громадных стран, до тех пор неизвестных и со-

вершенно диких. Озера здесь стали заветными священными местами для молитвенных посещений богомольного люда. Святыми эти озера не были названы, хотя они и были таковыми в истинном смысле этого великого слова. Однако за некоторыми из них оставлены кое-какие исключительные преимущества, вроде сохранения на поверхности воды следов того праведника, который к месту водворения проходил как посуху, отчего сохранилась как бы тропа в виде струи, выделяющейся особым цветом. Не стесненная в старых формах олицетворения природы, народная фантазия и в применении к христианским порядкам не знает ни границ, ни удержу. Так, по народным представлениям, в светлый день Христова Воскресения «играет солнце», в полночь, предшествующую дню Крещения Господня, колышется вода в реках и озерах, трепетно разделяя праздничную радость всех слеповерующих и проч.[1] Святыми названы народом другие небольшие озера, во множестве разбросанные по лесной России, и притом не только те, которые оказались в соседстве с монастырями. С некоторыми из таких святых озер соединены поэтические легенды о потонувших городах и церквах. Из глубины этих озер благочестивым верующим людям слышатся звон колоколов, церковное пение и видятся кресты и куполки затонувших храмов. Таковы из наиболее известных и выдающихся: в северо-западной Руси – озеро Свитязь близ грозненского Новгорода (Новогрудка), воспетое Мицкевичем, и Светлоярое в Керженских заволжских лесах, близ г. Семенова. Последнее до сих пор привлекает на свои берега тысячи народа, верующего, что в светлых струях пустынного лесного озера сохраняется чудесным образом исчезнувший, во времена нашествия Батыя, город Большой Китеж[2].

1 Об этом смотри подробнее в «Крестной силе».

2 В своем месте (в книге «Нечистая сила») мы уже имели случай говорить о значении озер в этом отношении, а равно и о том, в какой форме сказываются народные представления о водохранилищах этого вида, как известно, весьма разнообразных. Есть озера святые, есть, в противоположность им, поганые, есть чудные и чудные, т. е. необыкновенные, странные и поразительные по внешней красоте или целебной силе.

При погружении св. и животворящего креста в воду из нее, силою и наитием св. Духа, изгоняется дьявольская скверна, и потому всякая вода становится безукоризненно чистою и непременно святою, то есть снабженною благодатью врачевания не только недугов телесных, но и душевных. «Богоявленской воде» в этом отношении всюду придается первенствующее значение, и она, как святыня наивысшего разряда, вместе с благовещенскою просфорою и четверговою свечей, поставляется на самое главное место в жилищах, в передний правый угол к иконам. Освященная по особому чину в навечерие Крещения Господня, эта святая вода перед прочею, освящаемою в иное время, – имеет то преимущество, что на случай смерти, при полной невозможности приобщиться св. Тайн, она может заменить их и, во всяком случае, умиротворить беспокоящуюся совесть умирающего и близких его. В обыкновенное время, при нужде, пьют эту воду не иначе, как натощак. При этом существует повсеместное непоколебимое верование, что эта вода, сберегаемая круглый год до новой, никогда не портится (не затхнет и не мутится), а если и случится что-нибудь подобное, то это объясняется прикосновением к сосуду чьей-либо нечистой руки. Точно так же повсюду сохраняется суеверное убеждение, что в верхних слоях освященной в чанах воды заключается наиболее благодатной силы, устраняющей недуги и врачующей болезни. Поэтому всякий спешит зачерпнуть воды прежде других, вследствие чего нарушается церковное благочиние криками и перебранкой, невообразимой суетней и толкотней, как на любом базаре.

Что касается неосвященной воды, то и к ней наш народ относится с большим почтением: вода, находящаяся в реках и озерах, имеющих истоки, безразлично почитается чистою, и притом в такой степени, что исключительно ей одной поручается, например, охранение тех св. икон, которые, за ветхостью, приходят в негодность и теряют изображение ликов. Такие иконы благочестивая ревность не дозволяет предавать огню, а обязывает «пускать на воду», не иначе как с краткою молитвою, оправдывающею вынужденный прием. Охрана

чистоты воды доведена в некоторых местах до таких крайностей, что никто из верующих не решится плевать в воду, а тем более производить в ней испражнения и т. п. Стихийная природная чистота воды, сделавшая ее единственным, верным и легким, очистительным средством, потребовала в самые глухие времена язычества особого себе чествования, выразившегося в торжественном празднике Купалы. Как предшественники этого главнейшего праздника, во многих местах еще сохраняются определенные дни, когда производится обязательное «обливание водой» – обычаи, в некоторых случаях успевшие пристроиться к христианском праздникам[1]. Обливают холодной водой всех, проспавших одну из заутрень на неделе Св. Пасхи (эти заутрени, как известно, совершаются согласно уставу, «порану»). В некоторых местах, как, напр., в г. Весьегонске (Тверской губ.), этот обычай превратился в самостоятельное празднество. Вечером, в день заговенья на Петровский пост, здесь разрешается всякого, проходящего по улице, обливать из окон водой вполне безнаказанно, и если осмотрительный и догадается ходить по середине улиц, то все-таки и здесь он подвергается опасности: из-за ближнего угла на него налетает кучка молодежи с ведрами, наполненными, на лучший случай, колодезной водой, а то так и квасом и даже квасной гущей. Крики, беготня и смех прекращаются только с закатом солнца. Ради тех же забав, но исключительно направленных молодыми ребятами против девушек, последних обливают водой (в Пошехонском у.) на каждый второй день весенних и летних праздников, в первый день Петровского поста (Моршанский у., Тамбовской губ.), когда не спасают хозяев в избах даже запертые двери, в Чистый понедельник и в день Преполовения. Обычай обливания водой носит совершенно другой характер в тех случаях, когда он

[1] Не говоря уже о далеко не исчезнувшем обычае купанья в морозные дни в крещенских прорубях всех, надевавших на себя личины на святках, нельзя не указать на очень распространенные прием – выставлять за окна сосуды с водой перед кончиной кого-либо из членов семьи: каждый день, в течение всех сорочин, души умерших прилетают сюда купаются и очищаются от плотских грехов, чтобы предстать святыми на судилище.

получает название «мокрицы»: в этой форме он сохраняет явные осколки цельных языческих праздников, устраивавшихся в предупреждение бездождия и сопровождавшихся песнями и плясками на краях прудов и берегах рек.

В настоящее время в черноземной полосе России этот обычай состоит в следующем: мужики тайно сговариваются между собою, и когда бабы соберутся купаться, отправляются, крадучись, за ними «строить мокриду». Улучив время, они внезапно бросаются на купальщиц и, прежде чем те успеют раздеться, спихивают всех в воду с криками: «Дождь-дождь, приди к нам». При этом предполагается несомненный успех опыта, если все бабы примут его за невинную шутку и ни одна из них не изругается, не рассердится даже на детей, которые также стараются брызгаться, набравши воды либо в рот, либо в пригоршни. Во многих местах (между прочим, в Орловской губ. и уезде) за то же дело «вызова дождя» берутся сами бабы: сговорится их три или четыре и начнут с конца деревни «незазнама» обливать водой, то есть всякого, кто ни попадется навстречу, при этом каждый облитый, почитая обычай священным, не обижается и лишь шутя и добродушно выругается. Для пущей торжественности и придачи шуткам наибольшего оживления, иных баб по несколько раз спихивают в реки, а за неимением рек, мочат в колодцах. В Пензенской губ. стараются обливать лиц из духовного звания и непременно с головы, – чем вернее достигается цель прекращения чар колдуний, удерживающих дождь. В Рязанской губ. (в глухом Егорьевском у.) девицы и непорочные вдовы, пребывающие во вдовстве более 10 лет, в белых рубахах, тайно от всех, ходят на ближний родник, расчищают его и молятся Богу. Во Владимирской губ. (в Меленковском у.) такие же девицы, выйдя ночью в поле, читают акафист, потом пашут болото, а старухи расстилают на огородах рубахи, и если на них осядет роса, то это считают добрым признаком – будет дождь.

Прибегая к таким чрезвычайным мерам для вызова дождя, наш народ в то же время очень чтит дождевую воду. Выбегая на улицы босыми, с непокрытыми головами, деревенский

и городской люд становится под благодатные небесные потоки первого весеннего дождя, пригоршнями набирает воду, чтобы вымыть лицо три раза; выносит чашки, собирая целебную влагу, и в крепко закупоренных бутылках сохраняет ее круглый год, до нового такого же дождя. Точь-в-точь так же чтит народ и речную воду, когда пройдет весенний лед и реки вскроются. Вот что пишет на этот счет известный знаток народного быта Ф. Д. Нефедов из Костромской губ.: «…едва пройдет весною лед по рекам и ручьям, только что очистится вода, как все дети, взрослые и старики бегут на берег: зачерпывают пригоршнями воды и умывают три раза лицо, голову и руки. Обычай этот исполняется не в одних деревнях и селах, но и по всем городам, не исключая губернского – Костромы».

Эти обычаи приводят нас к целому ряду суеверных гаданий, где воде предоставлено главное место, подобно так называемым отчерпыванью воды и прощению у воды. В первом случае (например в Углицком у. Ярославской губ., близ границы Ростов.) при болезни домашних животных или ввиду какой-либо неприятности окачивают водою крест или медный образок, стараясь спускать эту воду на уголья, облепленные воском и ранее спрыснутые богоявленскою водою; в то же время читают про себя самодельные молитвы и кропят и поят тех, кто нуждается во врачебной помощи. «Прощение у воды» испрашивается больным и обездоленным. Обычай этот покоится на том убеждении, что вода мстит за нанесенные ей оскорбления, насылая на людей болезни. Поэтому, чтобы избавиться от таких болезней, на воду опускают кусочек хлеба с низким поклоном: «Пришел-де я к тебе, матушка-вода, с повислой да с повинной головой – прости меня, простите и вы меня, водяные деды и прадеды!» Отступая по одному шагу назад, до трех раз повторяют этот приговор с поклоном и во все время заклинаний стараются ни с кем не разговаривать, не оборачиваться и ни одного раза, конечно, не налагать на себя крестного знамения. В вологодских краях верование в чары воды, без участия церковного ее освящения, приурочивается даже к Великому четвергу, когда большуха-хозяйка, почерпнувши воды из ко-

лодца, святит ее тем, что опускает в ведро «серебрушку» (непременно серебряную монету) и умывает ею ребят своих для здоровья. Тогда же девицы с этой водой бегут на хмельник «до вороны» (пока эта зловещая птица не закаркала), умываются и молятся приговором: «Пусть и меня так же любят молодцы, как любят хмель добры люди». На святках повсеместно, при гаданьях, девицы смотрят в воду, чтобы увидеть суженого-ряженого, а ворожеи – ворога, причинившего кому-нибудь вред. Колдуны на воду нашептывают, чтобы наслать беду на недруга, и вообще, редкое гаданье обходится без того, чтобы вода не играла в нем существенной роли. Так что выработался даже целый кодекс обрядов, которые, несмотря на самые неблагоприятные географические условия для обмена и заимствований, все-таки поражают своим сходством: сопоставленные рядом в цельной группе, они ясно свидетельствуют о существовании всеобщей старой веры и являются в настоящее время ни чем иным, как ее обломками. На развалинах этой старой веры, разрушенной христианством, наш народ и строит свое миросозерцание, причем одной рукой он держится за старую веру, а другой – за христианство. Эта обычная путаница старых и новых понятий приводит к поразительной неустойчивости народного мировоззрения: веруя, например, в гадания, наш народ в то же время верит, что есть несчастия, которых не устранишь гаданьями. «Воде и огню Бог волю дал» – говорит он в утешение и успокоение на те случаи, когда нарушается в природе равновесие и вода, в меру питавшая землю, из явной благотворительницы временно превращается в лютого врага, наводящего страх отчаяния. «Где много воды – там жди беды», «Хороши в батраках огонь да вода, а не дай им Бог своим умом зажить». Никакими гаданьями таких бед не предусмотришь, никакими заговорами не устранишь – остается одна надежда на молитву о Божьей помощи не только в то время, когда стряслось несчастье, но, главным образом, когда оно только что собирается и посещение его только возможно. Впрочем, в наше время, когда обмелели реки и повырублены леса, народ страдает не столько от изобилия, сколько от недостатка воды,

и редкий год проходит без того, чтобы в любом русском селе или деревне православные не молились о ниспослании дождя. Выработаны даже своеобразные подготовительные приемы для такого рода коллективных молебствий.

Созвал староста сходку, – и не обсказывал, зачем потревожил, а прямо приступил к тому, чтобы порешили старички, сколько собирать с каждого двора пятаков на молебен и когда подымать иконы. Поднялась вся деревня на ноги, как один человек: засуетились и заспорили промеж себя бабы, как принимать иконы, чем ублаготворять духовных: надо печь пироги – на голодное их не примешь. Запрягли мужички лошадей в телеги – ехать за вином да сладкой наливкой. Двое выборных ушли позвать на мольбу батюшку-священника со всем причтом, посулили плату за общий молебен, да в особину, по гривне с дома; пообещали прислать за духовными подводу.

В назначенный день поднялись ранехонько: еще и звону в селе не было слышно. Натощак (не только никто ничего не ел, а даже воды не пил) отправились все, конечно одетыми во все лучшее и чистое, отстаивать заутреню и обедню. После нее станут вынимать те иконы, которые укажет батюшка. Церковный фонарь принимает старостин сын; больших херувимов (хоругви) берут молодые ребята, на очередь промеж собою. Иконы нести охотятся все бабы, а потому надо устанавливать порядок: наиболее чтимую икону понесет та девица, которая побойчее всех и покрасовитее; остальные иконы, по двое на каждую, принимают на руки, обернутые платками или полотенцами, другие бабы и несут, приложивши одним краем к плечам. Никаких разговоров богоносцам на все это время не дозволяется, и даже сельские колокола мешают тому, не переставая звонить во вся, пока крестный ход можно видеть с колокольни.

В деревне, на площадке около колодца, уже все приготовлено и место излажено: вынесен стол, покрытый чистой скатертью, и поставлено на нем блюдо под святую воду; подставлены чистые скамейки под иконы. Учительница наладила умелых девиц, к ним пристали чернички – составился

хор. Когда во время водосвятного молебна запели из канона: «Даждь дождь земле жаждущей, Спасе!..» – все пали на колена и на лицах молящихся, как в зеркале, отразилась вся гнетущая тоска от напряженных и несбывающихся надежд на благодатные теплые дождички.

С деревенской площадки иконы несут в поле «на зеленя» и, если попадается по дороге родник или хотя бы и высохший колодец, тут останавливаются и снова поют молебен, как бы вызывая иссякшую воду на знакомое старое место. Отдельные, частные молебны продолжаются по особым приглашениям в домах и, когда все они окончатся, – в более просторной избе начинается подкрепление сил и затем полное угощение в складчину до сыта и до пьяна, чтобы искреннею, от души, выговорилась благодарность: «За хлеб-за соль, за лапшу-за кашу, за милость вашу». Во всяком случае, главная цель достигнута: пришли на мольбу в благоговейном настроении, – разошлись успокоенными, с надеждою на милость Божию.

III.
МАТЬ-СЫРА ЗЕМЛЯ

Третья, по старинному счету, мировая стихия – земля – почтена наивысшим хвалебным эпитетом: с незапамятных времен она называлась «матерью» и у всех народов, а в том числе и у нас, русских, была возведена на степень божества. Впрочем, в наши дни от былого почета остались лишь обезличенные признаки и потускнелые следы древнего богопочтения, да и то в приметно меньшем количестве, чем по отношению к огню и воде. Но тем не менее, по народному убеждению, и самая святость целебных родников и колодцев главным образом зависит от того, что исходят они непосредственно из благодатных и неисчерпаемо богатых недр матери – земли сырой. По всеобщему верованию, самая стихия эта настолько свята и чиста, что не держит в себе ничего нечистого и в особенности враждебного людям. Лихих недоброхотов в виде ведьм и колдунов земля «не принимает», и

до сих пор требуются особые обряды, чтобы прекратить выход из могил этого сорта покойников и посещение ими живых людей и заветных мест. Даже тот умерший, труп которого долгое время не разлагается, – по народным понятиям, несомненно был при жизни великим грешником, потому что он «не изготовляется к погребению в сырой земле». И напротив, если новорожденный ребенок выделяется весом тела от прочих детей, то он не жилец на божьем свете, его «тянет» к себе земля. Вся нечистая дьявольская сила от крестного знамения и «воскресной» молитвы проваливается не иначе, как «сквозь землю», не оскверняя святости земных недр, и т. п. [1]

Связь человека с землей устанавливается и Священным Писанием: «Всяк человек – земля есть и в землю отыдет». Ту же мысль выражает и пословица: «Сверх земли не положат даже нищего и бездомного». Саженку вдоль да полсаженки поперек – для каждого полагается обязательным. А затем вся та земля, куда схоронены кровные и близкие, называется родительскою и считается священною: она могущественна до такой степени, что горсточка ее, взятая с семи могил, укрывающих заведомо добродетельных людей, спасает всех родичей, оставшихся в живых, от всяких бед и напастей. Почти такой же силой обладает и вообще родная земля. Вот что свидетельствует на этот счет орловский корреспондент:

«2 августа 1897 г. из села Яковлева (Орловского уезда) отправились на переселение в Томскую губернию 24 семейства, и каждая семья взяла с собой несколько горстей родной земли.

«”Может случиться, – говорил один из переселенцев, – что на новом месте мы попадем на такую воду, которая для питья не годится, – так мы положим в воду нашу землю, вода и станет вкусной“».

Сверх того, родную землю зашивают в сумочку с ладаном (называемую вообще «ладанкой») и носят с шейным крестиком в уверенности, что этим способом можно избавиться

[1] Здесь надо полагать, между прочим, основу самой страшной народной клятвы, перед которой, говорят, отступает всякое подозрение: «провались-ся мне», «чтоб я сквозь землю провалился» и пр.

от тоски по родине. Но вера в целебное свойство родной земли почти повсюду исчезла, сохранившись только у тяжелых на подъем вологжан и олончан, живущих в глухих окраинах северных губерний. Приезжая на чужбину, эти люди (особенно в тех случаях, когда прибывший намеревается остаться здесь на более или менее продолжительное время) высыпают на землю горсть родного песку и, ступая по нем, приговаривают: «По своей земле хожу». При этом они твердо верят, что, «если захватить с собой родной земли, тебе заздоровится, не будешь болеть и скучать по родине». В этих глухих местах уверенность в силе родной земли настолько велика, что к подобного рода приемам прибегают даже богомольцы, отправляющиеся к киевским или соловецким угодникам: доведется помереть – товарка не откажет закрыть глаза и посыпать на них «родимой землицы». У матерей нет большего горя, как известие, что их сыновья, умершие на чужбине, не запаслись родной землицей и похоронены без нее[1]. У таких людей до сих пор нет божбы страшнее заклятия: «Не видать мне сырой земли» и вернее врачебного средства – как «прощанье» на том самом месте, где случилась какая-нибудь беда или внезапная болезнь, например, вроде болезненного припадка от неведомой причины, известного под неопределенным названием «притки». На то место, где притекла притка, ходят «прощаться» на девяти вечерних и девяти утренних зорях. Становятся лицом на восток и говорят заклятие, причем так как «притка» является наказанием за какую-нибудь вину, то и самое заклятье носит характер извинения: «Прости, мать-сыра земля, в чем я тебе досадил!» После каждого причета дуют и плюют через правое плечо и кланяются в землю. Но плюют только «примерно», так как в тех местах, где «прощаются», плевать на землю вообще считается большим грехом. Если попритчится скотине, то хозяева сами «прощаются» за хворое животное на повети или сеновале, так как твердо верят, что власть родной земли распространяется на животных. В иных местах эта вера захо-

[1] Указан даже и состав земли, зашиваемой в ладанку: берут щепоть из-под печки, прибавляют такую же с росстаней дорог и из-под приворотной земли.

дит так далеко, что создались даже своеобразные обряды. Так, в Ветлуге (Костромской губернии), если покупают скотину в другом селе и желают, чтобы она не тосковала по своему стаду, то среди поля оборачивают ее головой в ту сторону, где она куплена; затем берут из-под передней левой ноги ее комок земли и натирают морду, а другой комок завязывают под яслями, думая, что ни корова, ни лошадь не уйдут уже дальше того места, откуда взята земля. Саратовцы (Хвалынский уезд) подобным же способом при переходе в новую избу переманивают старого домового: из-под печки старой избы они посыпают в лапоть горсть земли и высыпают ее под печку новой.

Особенное отношение нашего народа к матери-земле сырой выражается, между прочим, в так называемых земных поклонах. В старину русские люди при встрече с наиболее уважаемыми лицами кланялись до самой земли, касаясь до нее лбом или, взамен того, ударяя оземь шапкой. Эта форма, приличная теперь лишь людям низкопоклонным, не уважающим себя, была обычна в старой Руси, как законное установление и перестала действовать лишь в недавние времена во всех слоях и сословиях народа. Но все-таки, по отношению не к лицу властному, а к самой матери-земле сырой этот обычай упрямо отстаивается во многих местностях. Так, например, весной (в Орловской губернии и уезде) при ударе первого грома все бабы, перекрестившись, кланяются в землю и целуют ее.

В тех же местах сын, дерзнувший оскорбить на миру родную мать или отца, обязательно целует землю после того, как произнесет клятву, смотря на небо и перекрестясь троекратно. Точно так же заподозренный в каком-либо мирском несчастье, вроде поджога, кражи и т. п., целованием земли вполне удовлетворяет и успокаивает своих односельцев. Самое же важное значение земли исстари признавалось в межевых спорах при разделе земельных участков. Межевые знаки, до изобретения мензул и астролябий, были неточны по той причине, что намечались по живым урочищам, подвергающимся под влиянием стихий всевозможным изменениям. Пограничные споры соседних владельцев были бесконечны, особенно в тех

случаях, когда не оказывалось налицо письменных записей: дожди смывали последние признаки граней, а старческая память старожилов была ненадежна. Но так как неудобства чересполосицы все-таки требовали решительного ответа в ту или другую сторону, то кое-где, в глухих местах, были придуманы особые приемы для полюбовных размежеваний. Так, в Олонецкой губернии (Каргопольский уезд) на нашей памяти еще соблюдался обычай класть на голову вырезанный из спорной земли кусок дерна. С ним доказывающий свое или чужое право на землю шел по той меже, которую признавал правильною, законною. При генеральном межевании 1744 г. этот обычай применялся в смысле бесспорного и вполне законного доказательства. Например, в Ярославской губернии старший чин, заведывавший этим делом, приглашал, по общему приговору, того старика, который признавался наиболее знающим и памятливым, вырезал из земли дерновый крест и клал его на голову свидетеля. Этот прием кое-где сохранился и до наших дней, а лет 40–50 тому назад он практиковался весьма широко. Так, например, в Пошехонском уезде при наделе крестьян помещиками, по объявлении указа об уничтожении крепостного права, некоторые общества не позволили переделять своих полос на том основании, что их отцы либо деды обходили эту полосу с землей на голове. Из Череповецкого уезда сообщают, что в земельных спорах в виде клятвы и теперь берут землю в рот, кладут на голову, на спину, за пазуху. В знаменитой кустарным железным производством Уломе произошел в 1896 г. такой случай: спорили о меже на покосе два крестьянина двух соседних деревень (Чаева и Миндюкина) одной волости (Колоденской). Настоящей межи никто не помнит, землемера взять негде: как быть? Долго галдели, переругиваясь, и вдруг смолкли, когда один чаевский старик взял «кочку» земли и со словами: «Пущай эта земля задавит меня, если я пойду неладно», – пошел по «воображаемой» меже таким твердым и уверенным шагом, что с того времени стала та межа фактическою, бесспорною. Подобный же спор был решен несколько лет тому назад между крестьянами

той же Уломской волости, деревни Коротова и крестьянами деревни Карпова Дмитриевской волости. Так как пословица недаром говорит, что «межи да грани – ссоры да брани», то, чтобы уничтожить или, по крайней мере, ослабить эти ссоры, в старину, когда делали пропашкой межевую борозду, всегда сгоняли сюда ребятишек, клали на эти грани и секли с наказом и приговором, чтобы каждый помнил отцовский участок. Так, между прочим, бывало и у казаков на Дону, так водилось и в Новгородчине, где часто слышалось выражение: «Ты меня не учи, ты мне не рассказывай: я на межевой яме сечен». Теперь, когда на межах перестали сечь, но все еще решают межевые споры божбой и клятвами, вместо дерна кладут на голову святую икону. В одном случае (в Ярославской губернии) около Ростова спорщики удовлетворились, когда один из присутствующих, довольно ветхий старик, вспомнил и сообщил о том, что ему привелось быть свидетелем, как дед нынешнего владельца обходил этот самый клин земли с большим куском вырезанного из нее дерна, положенного на голову.

Глотанье сырой земли суеверными людьми точно так же не ушло еще в область предания: вести об этом обычае доходят из разных местностей. Так, например, орловский корреспондент сообщает о следующем случае. Однажды под г. Орлом через овраг, удобный для нападения лихих людей на задремавших или оплошавших проезжих, темною ночью возвращался домой крестьянин Талызенков. Как из земли выросли перед ним три человека с дубинами. Подбежали к нему, схватили лошадей под уздцы – остановили.

– Стой, – говорят, – подавай деньги!

– У меня, братцы, денег нет: в городе все потратил.

По голосу грабители узнали своего односельца – соседа по избам, узнал и он старых приятелей.

У грабителей и руки опустились. Одни из них спохватился и говорит:

– Что же нам теперь, Алексей Осипыч, делать? Куда нам себя определить? Нас три души живых – твоя одна. Пустить тебя целым – ты скажешь про нас; тогда живым нам не быть.

Талызенков был мужик торговый, денежный, цену себе ставил высокую. Собрался он с духом и отвечает:

– Не скажу я про вас никому. Умрет это дело на этом самом месте. Чем хотите, тем и поклянусь.

– Съешь, – говорят, – комок земли, тогда поверим.

Он съел, и его отпустили. И только после смерти всех трех мужиков рассказал Талызенков об этом случае своему соседу Афанасию Чувакину.

– Отчего же, – спрашивал рассказчика наш корреспондент, – ты раньше не рассказал об этом?

– Боялся, что убьют, да и нельзя рассказывать, коли съел земли.

– Почему нельзя?

– Да уж нельзя! Нельзя потому, что можно большое несчастье произнесть (т. е. перенесть).

Крестьянка деревни Пушкина (в той же Орловской губернии) рассказала, как одного непокорного сына мать выгнала из своего дома и как он, поступивши с женой на барский двор, повел тяжелую и скорбную жизнь, что стало ему невтерпеж и довело до раскаяния. Стал этот сын (Григорий Сухоруков) просить старосту заступиться за него у матери.

Приходит Любава (мать) на барский двор, просит непокорный сын у нее прощенья: кланяется и божится. Мать не сдается, не верит ему и говорит:

– Если хочешь, чтобы я тебе простила, съешь этакую глыбину земли.

– Ты меня, мать, подавишь.

– Коли не съешь, меня, значит, не почтишь, и я не прощу, а коли съешь – иди опять жить домой.

Григорий послушался, съел и стал после того жить так, что никому лучше того не придумать.

Оба случая произошли, по свидетельству рассказчиков, не дальше 20–25 лет тому назад. А вот свежие, почти вчерашние указания на тот же прием клятвы, основанной на мотивах совершенно иного характера. В «Неделе» было сделано указание на распространяющийся в Холмском уезде Псковской

губернии гражданский брак среди крестьян. Мотивы этого брака вызваны экономическими и юридическими особенностями быта, а самый брак сопровождается тем же древнейшим образом богопочитания матери-земли сырой. Пока девица живет в семье с отцом, она покойна за его спиной, будучи обеспечена отцовским наделом. Но после смерти его надел числится за нею только до ее замужества, а затем, по местному обычному праву, отходит в общее мирское пользование. И вот, чтобы избежать беды, девицы и выдумали внебрачное сожительство. Гражданский брак заключается с некоторою торжественностью: родственники сговариваются, берут икону, зажигают перед ней свечи, перед которыми жених и невеста, разодетые по-свадебному, «кусают землю», то есть берут пястку земли и глотают ее в знак любви и верности до гроба. Обходя церковный брак из-за земельных выгод, молодые, конечно, не думают в это время о том, что будущие дети их зачтутся незаконнорожденными и прав на дедушкин надел не будут иметь никаких.

Особенность наружных воззрений на мать-сыру землю дала основание чародеям и здесь воспользоваться для своих недобрых целей тайными, могучими свойствами этой стихии. Применение земли в чарах чрезвычайно разнообразно. Взять хотя бы всем известное «вынимание следа», состоящее в том, что на месте, где стоял обреченный человек, вырезают ножом часть дерна или из-под ступни его соскабливают пол и над этими следами колдуют.

Впрочем, чародейственной силой земли пользуются не только колдуны, но и обыкновенные люди, прибегающие, в случае беды, к заступничеству и покровительству своей «кормилицы». Это видно, между прочим, из обычая опахивать деревни. Обычай *опахиванья* является даже своего рода священнодействием со всею тою мистическою обстановкою, которая вообще приличествует всякому древнему обряду и которая рассчитана на то, чтобы самый обряд сделать внушительным и страшным. Толпа женщин с распущенными волосами, в одних белых рубахах, в глухом сумраке ночи, возбужденная всей внешней обстановкой и условными околичностями обрядового чина, становится

опасной для всякого случайного свидетеля этого религиозного «действа». Совершение его преимущественно предоставляется женщинам того селения, которому угрожает занос чумы на скот, тифа на людей и т. п. и которое необходимо оградить со всех сторон таинственным, заколдованным поясом земли, вырезанным сохою в ширину сошника и глубиной не менее трех вершков.

Почин самого обряда всюду предоставлен старухам, крепче верующим и более осведомленным в порядке совершения чина «опахивания». Они и выбирают подходящую полночь и оповещают женское население шепотком, чтобы не знали и не слыхали мужчины. Для того чтобы таинственная цель была достигнута, считается необходимым участие в обряде по малой мере девяти девок и трех вдов (как и высказывается это в обрядовых припевах). Оповещенные старухами с вечера, все девицы и бабы прокрадываются за околицу и, выйдя в поле, снимают с себя одежду до рубахи, причем иные повязывают голову белыми платками, а девицы развязывают косы и распускают волосы наподобие русалок. На одну вдову, по общему выбору и приговору, надевают тайком унесенный хомут и впрягают ее в оглобли (обжи) сохи, также припрятанной заранее. Другая вдова берется за рукоятку, и обе начинают косым лемехом разрывать и бороздить землю, намечая тот «продух», из которого предполагается подъем и выход земляной силы, невидимой, непонятной, но целебной и устрашающей самую смерть[1].

[1] В обжи впрягают непременно беременную, правит ею старая дева как отличная по поведению; прочие бабы помогают тащить соху, а вдовы в прорезанную борозду сеют песок. Подслушан при этом такой приговор: «Когда наш песок взойдет, тогда к нам смерть придет». В такой обстановке обряд этот известен Далю. В Бюро присланы сведения из Нижнеломовского уезда (Пензенской губернии), из которых видно участие в процессии парней: впереди старухи, сзади девицы, соху в середине волокут ребята. В Новгородской губернии в соху запрягают молодую телку, две девушки ведут ее за рога, две погоняют, одна держит соху, двое ей помогают. Чем позднее узнают об этой проделке в деревне, тем вернее успех самой затеи. К ней в иных местах (как во Владимирской губернии Судогодского уезда) стали примешивать нечто церковное, православное: так, например, самая старшая, идя впереди всех прочих, несет в руках икону Богоматери или св. Власия; сопровождающие поют: «Да воскреснет Бог», на перекрестках проводят сохой крест и в копаных ямах кладут церковный ладан и т. д.

А в это же время все остальные девицы и вдовы (замужние не всегда допускаются как неподходящие, нечистые) идут за сохой с кольями и палками, со сковородами, заслонками и чугунами. У девяти девиц девять кос, в которые они и производят беспрерывный звон. Звонят, кричат и поют с неистовым рвением, которое прямо указывает на глупую цель – запугать и прогнать смерть. Ей и грозят в обрядовых песнях и причитаниях: «Смерть, выйди вон, выйди с нашего села, изо всякого двора! Мы идем, девять девок, три вдовы. Мы огнем тебя сожжем, кочергою загребем, помелом заметем, чтобы ты, смерть, не ходила, людей не морила. Устрашись – досмотри: где же это видно, что девушки косят, а вдовушки пашут?»[1] Обойдя околицу по огородам и гуменникам, вся эта женская ватага врывается на улицу настолько уже взволнованная, с таким подъемом нервного настроения, что ничего не замечает по сторонам и ничего не хочет видеть, кроме спасительной сохи. Все, что попутно обратит на себя общее внимание, вроде, например, выскочившей из-под подворотни собаки, спрыгнувшей с подоконника кошки, – все принимается за несомненного оборотня, в которого перевернулась эта самая злодейка «скотья смерть», черная чума, огневая горячка. С гамом и ревом бросается вся сопровождающая соху свита на этих собак и кошек и бьет их насмерть. Разбуженные мужики выглянут осторожно из окошка да и спрячутся за косяк, чтобы не приметили бабы: потому что последние не задумываются напасть на встречного мужчину, признавая и в нем необлыжного оборотня. Притом же мужчина самым появлением своим оскверняет священнодействие и, стало быть, мешает благополучному завершению таинства. В деревне Юшиной (Орловского уезда и губернии) задумали бабы опахиваться. Узнали про это парни из соседней деревни и решили пошутить: с вечера забрались в соседние ракиты и в них притаились. Но когда процессия подошла к тому месту, шутники заревели медвежьими голосами. Однако женщины не

[1] В некоторых местах, например в Орловской губернии, обряд этот так и называется – «гонять смерть».

испугались, они сбились в одну кучу и все, как одна, начали швырять в засевших парней камнями, палками. Видя же, что это не берет, они натаскали затем к дереву, на котором засели ребята, охапки соломы и подожгли. Шутники, как майские жуки, свалились на землю и начали сказываться своими именами, но женщины не только не поверили им, но пришли уже в полное остервенение. С теми же криками: «Бейте коровью смерть», – они продолжали бросать грязь и каменья, пока не устали и пока шалуны-парни не были избиты в кровь.

Сохраняя такой внушительный, устрашающий характер, обряд опахивания дожил до наших дней, вероятно, по той причине, что в распоряжении крестьян не имеется иных предупредительных мер против занесения эпидемических болезней. Притом же этот обряд, перешедший к нам от темных времен глубокой старины, считается надежным уже по той причине, что распространен повсюду и притом нередко выполняется с участием христианских святынь, которые как бы закрепляют обычай и узаконяют приемы[1]. В некоторых случаях обряд из временного, вызываемого первыми признаками надвигающейся беды, становится обязательным и совершается ежегодно в условное время. Например, в Калужской губернии каждый год под праздник Преполовения собирается ночью огромная ватага девиц, сопровождаемая парнями, из которых один, самый молодой и пригожий, правит сохою, запряженной несколькими парами девушек. Впереди этого шествия (рассчитанного на то, чтобы избавить деревню не от одного мора, но и от всякого рода напастей) идет вдова и несет икону. И опять беда тому, кто попадется навстречу этому ночному шествию. В Болховском уезде (Орловской губернии) «гоняют смерть» обычно после Петрова дня и об избранной ночи извещают мужчин, требуя их согласия и не-

[1] Так, из Пензенской губ. (Инсарский уезд) доходят слухи, что чернички (полумонашенки) в самую полночь уходят на дальний родник и там совершают освящение воды, подражая до мельчайших подробностей священникам. Затем все-таки впрягаются в соху, на концах которой укрепляют восковые свечи, и таковые же держат в руках, когда с пением церковных песен начинают опахивать деревню.

вмешательства. К принадлежностям обряда присоединяются также икона (на этот раз Богоматери), восковая свечка и дегтярница с помазком: дегтем намечают крест на каждых воротах и такой же крест честная вдова вырезает сохою на бугре за деревней. На этом месте раскладывается затем костер, и все женщины прыгают через него для завершения обряда. Дегтем мажут также и тех, кто нечаянно встретится на пути. В других деревнях носят образ св. мученика Власия, признаваемого по всей святой Руси покровителем домашнего скота, и к свечам прибавляют еще ладан[1]. В деревнях Нижнеломовского уезда Пензенской губернии во главе подобного шествия видели старух с иконами Спасителя, Успения Богоматери и медного распятия на груди и слышали вместо стихов заклятия, пение молитв Богородичной и Господней. В этом случае в обряде «опахиванья» принимали участие все жители деревни, без различия возраста и пола. Ко внешней церковной окраске прибавляется еще суеверное требование, чтобы, расходясь по домам, не оглядываться ни на зов, ни на вой, ни на угрозы, если не хочешь, чтобы не осталась шея искривленною и нечистая сила не сгладила ту черту, которую провела соха вокруг деревни.

В ночь на 1 июня 1897 г. восемнадцать крестьянок деревни Полонской Весьегонского уезда (Тверской губернии), чтобы не допустить занесения в свою деревню сыпного тифа, валившего людей в соседней волости, «опахали» свою деревню: одна из женщин шла впереди с иконою в руках, за нею следовала другая верхом на помеле, потом третья с кочергой и черепом какого-то животного. За этим авангардом шествовали две бабы, запряженные в соху, которою управляла третья баба, и, наконец, все остальные гурьбой, с шумом, криками и бранью замыкали процессию. (За нарушение тишины и

[1] В Судогодском уезде Владимирской губ. опахиванье предпочитают производить под Духов день, а в иных местах в ночь на 24 июня, причем поют «Да воскреснет Бог», проводят сохой крест на всех перекрестках селения, в копаные ямы закладывают ладан и т. п. Опахиванье производится не всегда всем селением, но и своей семьей, причем хозяин опахивает свой двор на жене, запряженной в соху, и т. п.

порядка все участницы этой процессии были привлечены к уголовной ответственности по 38 статье Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями.)

Хотя, таким образом, уголовный суд и решился выступить на помощь усилиям духовенства и, в замену церковных назиданий, прибег к законной каре, тем не менее вера в мать-сыру землю все-таки сохраняется незыблемо. Даже и там, где, по-видимому, Христово учение успело уже войти в плоть и кровь, стоит снять с языческих обрядов наложенные тонким слоем христианские краски, чтобы обнаружились черты древних языческих верований.

В Духов день (в Сольвычегодском уезде Вологодской губернии и по Вятке), в день Успения Богоматери (в Тихвинском уезде Новгородской губернии), на Симона Зилота – 10 мая (без различия местностей) по православным деревням обязательно служатся всенародные молебны. Народ собирается к часовням, толпится на площадках и окропляется святою водою не потому, что в эти дни совершаются молебствия по случаю избавления от бед, а потому, что в эти дни мать-сыра земля бывает именинница[1]. Хотя праздник именинного чествования земли существует далеко не повсеместно, но в то же время на всей Руси великой крестьяне строго придерживаются правила, что в эти дни никто не смел ни копать, ни рыть ям, ни пахать полей. Делается это для того, чтобы не обидеть кормилицу-землю и чтобы не осерчала она, и без того своенравная и капризная, тугая на подъем и скупая на

[1] На Духов день, по объяснению, доставленному из Вятской губернии, земля потому именинница, что в этот день она сотворена: когда Господь создавал землю, злые духи сказали ему: «Мы не будем тебе помогать». А начальник их украл клочок земли и положил себе за щеку. Здесь у него земля начала расти быстро. От боли во рту он начал бегать и разбрасывать землю по сторонам, где упало много – встали горы, а где мало – обозначились бугры и холмы. Когда происходила на небе война и архангел столкнул дьявола на землю, чтобы он сквозь нее провалился, сверженный на лету взрыл землю своими рогами так, что на ней поделались лога и овраги. В указанных выше местах считается также грехом беспокоить именинницу, и крестьяне, нисколько не стыдясь и вовсе не скрываясь, припадают на колени и по нескольку раз целуют землю.

милости. В некоторых местах наших лесных северных губерний уважение к кормилице-земле (здесь очень суровой и неласковой) сопровождается даже некоторым заискиванием: в Успеньев день в теплую погоду считается большим грехом ходить босиком. За соблюдением такого обычая следят очень внимательно, не позволяя малым ребятам ходить разувши.

Умилостивление земли и способы испрошения ее милостей настолько многочисленны и разнообразны, что в среде опытных хозяев существует на этот счет целая наука. Попробуем взять из этих способов только те, где под новыми наслоениями всего заметнее сохранились следы седой старины.

Поставлен на поле стол, покрытый чистой скатертью. На нем серебрится на солнышке водосвятная чаша, желтеют свечки и сереет большая коврига печеного хлеба. Перед столом полукругом стоят бородачи с иконами в руках, закрытыми полотенцами. Против них поместился священник с причтом, а за ними и весь этот народ, от чрева матери обреченный в поте лица своего снести хлеб свой. Молебен отпели: толпа зашевелилась и загудела, как пчелиный рой. Подали священнику севалку – лукошко с веревочкой, чтобы ловко было перекинуть ее через плечо, – берет он из нее горсть сборной ржи от каждого двора и ловко, привычной рукой разметывает зерна по пашне. Затем идет он краем поля, поперек всех загонов, и кропит все полосы святой водой. И чью полосу окропляет, тот хозяин крестится, а иной еще сверх того шепчет про себя, какую знает, молитву. Иконы относят в церковь, попа с дьячком зовут в избу и предлагают посильное угощение, в полную сыть.

Кроме священника, крестьяне еще чаще поручают делать засев какому-нибудь ветхому, преклонному старику, который сам и указывает, в какой день начинать засев. Такой старик считается первым человеком на селе. Рука у него легкая, удачливая, а с легкой руки – если не куль муки, то, во всяком случае, почин дорог. Этих стариков обыкновенно стаскивают с печи, чтобы они шли священнодействовать. У иного голова на плечах не держится, руками он не владеет, зерна

в горсть с трудом загребает и зря рассыпает. Его выведут на зеленя под руки, пособят и рукой потрясти. Он же, зная свое дело и ожидая, что его позовут, успел уже с вечера сходить в баню и надеть чистое белье, а днем засева (обходя тяжелые дни – среду и пятницу) назначил Благовещенье[1]. Выходит он сеять натощак, а разбрасывая по полосам зерна, шепчет молитву: «Зароди на все души грешные, на всякого проходящего и заходящего, на калек и нищих, на братию имущую и неимущую» и пр.

Это тот же почетный старец Белой Руси, который в первый день Рождества (на Колядах) в черной рубахе садится на печной столб, гадает об урожае и говорит затверженные непонятные слова, которые в наши дни надо переводить на живую речь и толковать. Так, например, он кличет: «Иди, мороз, кутью есть на чугунную борону с железным кнутом», то есть если придешь, то было бы что положить на сковороду (чугунную борону), было бы что вынуть сковородником (железным кнутом) из печи и поставить на стол.

В некоторых местах (даже под самым г. Орлом), когда выходит засевальщик в поле, то, снявши шапку, молится на восток: «Батюшка Илья, благослови семена в землю бросать. Ты напой мать-сыру землю студеной росой, чтобы принесла она зерно, всколыхала его, возвратила его мне большим колосом».

Или кличут так: «Кузьма-Демьян – матушка полевая заступница, иди к нам, помоги нам работать!»

При посевах всяких сортов хлеба великую роль играет так называемая благовещенская просфора, которую крестьяне или получают кусочком из рук священника при раздаче в конце обедни антидора, или сами подают за евхаристией,

[1] По мнению вологжан, легкие дни – понедельник и вторник, а среда и тот день, на который случилось Благовещенье, тяжелые. К слову, о легких и несчастных днях: из Порховского уезда Псковской губ. прислан перечень этих дней, которые строго соблюдаются и в которые крестьяне не работают и даже не делают шагу из дому: в январе 2 и 23, феврале 2 и 20, марте 4, 7 и 21, в апреле 3 и 20, в мае 2 и 26, в июне 9 и 23, в июле 3 и 20, в августе 4 и 6, в сентябре 4 и 26, в октябре 6 и 21, в ноябре 3 и 25 и в декабре 4 и 20. В эти дни зарождаются все недобрые люди и колдуны.

чтобы вынули части за здравие живущих и за упокой умерших. Просфору эту или кладут в сусеки, чтобы увеличить силу плодородия зерен, или на дно лукошка-севалки и в мешки с зерном. По окончании же сева просфору делят между семейными и съедают. На вопрос священника о значении этого обычая подмосковные крестьяне отвечали, что так-де поступали и завещали делать отцы и деды. Сам же обычай этот укоренился до такой степени, что, например, под Орлом просфоры пекут дома, разной величины, от обыкновенной до полуфунтовой; по форме они схожи с церковными, но лишь с оттиском на верхней половинке обыкновенного шейного креста. В Тамбовской губернии стараются напечь просфор столько, чтобы на каждого члена семьи пришлось по одной. В некоторых местностях (например, в Боровичах) значение благовещенской просфоры отчасти оспаривается силою и действием хлебца-«крестовика», какие обычно пекут по всей православной России, на средокрестной (четвертой) неделе Великого поста. Печенье этих «крестовиков» связывается обыкновенно с суеверными гаданьями о том, кому доведется в тот год сеять и какие сорта хлеба. Счастье выпадает тому, кому достается «крестовик» с запеченными в нем заметками: одни для мужчин, другие для женщин. Если хлебец достанется ребенку, то, по обычаю, например, крестьян Ковровского уезда (Владимирской губернии), ребенка ведут или несут в поле и дают ему взять горсть семян (если же ребенок грудной, то за него разрешается исполнить святую обязанность матери).

Следом за окончанием сева начинается самое мучительное в трудовой деревенской жизни время, когда по мелким и случайным признакам настоящего доводится судить о темном будущем. До сих пор с ранней осени, с посева озимей, прибегали к гаданьям, вопрошая небо, насколько оно будет милостиво к земле-кормилице, в какую силу-меру станет отвечать ее насущным нуждам и помогать ее силам в тех случаях, когда они окажутся утомленными или истощенными. По заветам древнейших предков, в зимнюю пору то прибегают к церковным молитвам, то к суеверным заговорам и разно-

образным причетам, служат и молебны в церквах и домах и втихомолку задабривают ласковым словом и обетными приносами того нечистого, который зовется «полевиком». Гадают об урожаях отдельно для всякого хлебного злака, а попутно и на огородные овощи, причем соблюдаются урочные для каждого из них сроки, намеченные еще в старину: и на христианские праздники из двунадесятых, и на простые дни, не чествуемые святой Церковью, но избранные всенародным почитанием. Доискиваются прямых указаний – по блеску звезд на Параскеву-Пятницу, на день Рождества Христова, на Якова-апостола и на последние сутки масленицы, – и по облакам, и по ущербам луны, и по солнцу. Принимается в расчет и то, насколько космата изморозь на деревьях и сколь силен иней, велик мороз, ясны утренники, черны тропинки и прохожие дороги. Какой день на масленой неделе выдался ясным, тот день стараются запомнить, чтобы в соименный ему начать сеять. В родительскую субботу все спешат вывозить навоз на поля; на Вербной неделе в Новгородской губернии для урожая желают мороза; в Ярославской в то же время молят об ясных днях. На Вознесеньев день в иных местах в поле не работают, в других стараются запахать пашню в прямом расчете умилостивить кормилицу-землю и порадоваться за нее, когда снизойдет великая небесная милость и на вешнего Николу польет хороший и теплый дождик, и т. д.

Призывая на помощь небесные силы для ответов на мучительные вопросы об урожае, вопрошают и самую виновницу бесчисленных тревог и бесконечных забот – мать-сыру землю. Вопрошают ее в иных случаях с тем детским простодушием, которое вообще свойственно всем первобытным верованиям и которое в таком изобилии разлито во всех народных предрассудках и суеверных обрядах. Так, например, выселенцы из старой и коренной Руси на южные окраины Московского царства унесли с собой и сохранили до сего дня, между прочим, такой обычай (подмеченный в Тамбовской губернии): в Васильев вечер, во вторую кутью, накануне нового гражданского года крестьяне, пришедшие от заутрени, идут на перекрестки, где

вычерчивают на земле перстом или палкою крест, прилегают к тому месту ухом и слушают, что скажет земля. Послышатся звуки, похожие на то, что едут сани с грузом – будет год хлебородный, если пустые – неурожайный.

По народным воззрениям, земля не только отвечает на все вопросы о будущем урожае, но и сама дает указания, когда пахать, сеять и пр. Развернулся дубовый лист, стало быть, земля вошла в полную силу и принялась за род: «Коли на дубу макушка с опушкой, будешь мерять овес кадушкой». Березовый лист стал уже величиной с полушку – значит, земля показывает время, когда следует запахивать пашню, и на Егорья (23 апреля) выезжает даже «ленивая соха». Когда сама земля мокра, то любит, чтобы в это время доверяли ей овсяное зерно («Сей овес в грязь – будешь князь»). Зато рожь надо сеять в сухую землю («Сей рожь в золу да в пору», – советуют исконные земледельцы). Вообще на это время земля из своих нор выпускает лягушек, которые скачут и квачут: «Пора сеять» («Лягушка квачет, овес скачет»). Раннее яровое в черноземных губерниях сеют, когда земля совсем сгонит весеннюю воду, и если цвет ягоды калины будет в кругу, то такой сев считается поздним. Впрочем, для глаз опытных хозяев имеются и другие приметы: советуют, например, наблюдать за известным кустарником, называемым «волчье лыко»: зацвели ягоды на нем сверху (а цвести начинают они тотчас, как стает снег) – лучше начать посев ранний; цветут с середины – средний; снизу пошли – поздний. Начнет цвести козелец (он же и лютик) желтыми цветами – земля приказывает сеять овес; зацветает черемуха – пришла пора пшеницы; расцветает можжевельник – время сева ячменя. Когда яблони в полном цвету – садят картофель, когда земляничные кустики словно бы спрыснули молоком – пришла пора сеять гречиху. Лист полон – и сеять полно. Когда на Ивана Купалу собирают росу, отрывают в муравейниках масло и рвут целебные травы, то в это время говорят: «Земля-мати, благослови меня травы брати, твою плоду рвати: твоя плода ко всему пригодна» и т. д. По обилию шишек на ели судят о хорошем урожае на

все яровые хлеба; если же такое обилие замечается на соснах, то это предвещает хороший урожай одного ячменя. Сильный цвет на рябине предсказывает хороший урожай льна, обилие орехов обещает яровой хлеборocc на будущий год (оба урожая на один и тот же год никогда не сходятся). И нет сомнения в той святой истине, какая исповедуется всем русским миром, что «земля любит навоз, как лошадь овес, как судья принос». «Для того и кладут навоз, чтобы больше хлеба родилось, а полбу, чтобы людям годилось». «Где лишняя навозу колышка, там лишняя хлеба коврижка». «Какова земля, таков и хлеб». О даровании же хлеба насущного на худых и холодных землях молят в умилении сердца и преклонив колена в церквах, в избах и на зеленых полях – на последних, когда показалась веселая и радостная улыбающаяся зелень всходов. Широко и размашисто кладутся крестные знамения и во всю трудовую спину поясные поклоны. Звонко, с восторгом разливаются голоса поющих молебен. Искреннее увлечение всех предстоящих очевидно: все настроены благоговейно. Но в то же время кто может поручиться за то, что если бы была своя воля действовать, то не вырвались бы толпой бойкие бабы, не сбили бы священника с ног и не начали катать его по зеленям, а сами кувыркаться рядом, пожалуй, даже и с приговором: «Нивка-нивка, отдай твою силку, пусть уродится долог колос, как у нашего батюшки-попа волос».

IV. СВЯЩЕННЫЕ РОЩИ

В Ильешах, столь известных петербургским православным жителям, тысячами отправляющимся туда на Ильинскую Пятницу по Балтийской дороге, наблюдается следующая поразительная картина: над опущенными долу головами коленопреклоненных богомольцев проносится высоко поднятая на носилках тяжелая киота с деревянным изваянием явленного образа Пятницы. С трудом продвигаясь вперед, счастливая и восторженная группа богоносцев лишь

благодаря ловкости, приобретенной долгим опытом, никого не увечит в этой цепи неловко распластавшихся по земле людей. Замедляемый всякими помехами, крестный ход из храма «Великого Николы» (с прицепами пророка Илии и мученицы Параскевы) направляется к часовне, находящейся в полутора верстах от него, то есть от места «поставления» чудотворной иконы к месту ее «явления».

Здесь, подле самой часовни, стоит развесистая старая береза, служащая как священная предметом благоговейного почитания. В кору ее, на некоторой высоте от земли, врос булыжный камень так глубоко, что теперь едва приметен. По легенде, это – тот самый камень, который был брошен озлобленным, сладострастным дьяволом в убегавшую от его соблазнов Пятницу, спасавшуюся на этом дереве. А подле дерева, у самого корня, есть другой камень, который привлекает главное внимание всех богомольцев. Это – тот камень, на который уперлась стопою Пятница, чтобы быстро вскочить на дерево, и оставила тут глубокий след стопы своей. Вода, скопляющаяся здесь, признается народом за слезы праведницы, плачущей о людских прегрешениях. Эта вода врачует от всяких болезней и преимущественно глазных, точно так же, как и песок и мелкие камушки[1], рассыпанные на этом святом месте, и как церковный колокол, под который во время благовеста становятся глухие в надежде исцеления. Наше внимание в настоящем случае, главнейшим образом, останавливает этот след человеческой ноги, почитаемый таковым в силу слепого фанатизма, но, на самом деле, не имеющей ни малейшего сходства с обыкновенным следом человека уже в виду своей чрезмерной величины. Замечательно, что подобного рода камни, существующие во множестве, пользуются благоговейным почитанием не только среди православного населения, но и в католическом

[1] Камни, обладающие чудотворной силой, ничем не отличаются от обыкновенных булыжников. Сливая с них воду, врачуют болезни, приключившиеся от дурного глаза. Такой же силой обладает и песок, взятый из св. колодцев и около рак св. угодников (например, преп. Евфросинии в Московском Вознесенском женском монастыре). Этим песком лечат от запоя, тайком подсыпая в питье.

мире, причем суеверное воображение народа создает целые легенды о происхождении этих камней, окружая их ореолом святости. Так, например, подобного рода камень указывают в Почаевской Успенской лавре, близ австрийской границы. Такой же камень, называемый «стопою», с изображением креста и славянской надписью в течение не одного столетия усердно лобызают поклонники в местечке Лукомле (Сенненского уезда, Могилевской губ.). В церковь, охраняющую изваяние Пятницы, во вторую пятницу после Пасхи собирается до трех тысяч богомольцев из трех соседних губерний (Могилевской, Витебской и Смоленской), и находящийся здесь камень-стопу, о котором не сохранилось даже легенды и на котором уже нельзя разобрать в конец истершуюся надпись, чтут не менее самого образа. В 3–4 верстах от г. Пошехонья (Ярославской губ.) около часовни-прощи, близ села Федоровского, лежит камень с круглыми углублениями, собирающими дождевую воду. Эта вода также считается целебной и ежегодно (11 сент.) привлекает массу богомольцев. На месте, где стоит часовня, спал некогда благочестивый человек, которому явилась во сне преподобная Феодора Александрийская и повелела построить на том месте часовню. Проснувшись благочестивый человек святой жены не видал, но заметил на камне следы ее ног[1]. Также на камне следы ног оставил Зосима Соловецкий, в 40 верстах от с. Белого, на Мсте, в Боровичском у. Новгородской губ., отдыхавший здесь на пути в Новгород, куда он шел для исходатайствования у веча владельческой записи на свой пустынный остров (27 сентября ходят сюда к «Камню» для поклонения). Коневецкий монастырь, стоящий на одном из островов Ладожского озера, сберегает внушительной величины скалу, одиноко стоящую и называемую «Конь-камень», давший свое имя и острову, и обители. До прибытия сюда преп. Арсения жители, боготворившие этот камень, ежегодно оставляли здесь в жертву богам лошадь. Св. Арсений приступил к камню с молитвой, окропил его св. водой и на вершине водрузил крест. Боги-духи в виде черных воронов улетели, а воздвиг-

[1] Об этом смотри более подробно в третьей части трилогии.

нутая наверху часовня, сделавшись предметом почитания, наглядно показывает тот прием, каким пользовались пустынники при борьбе с языческими суевериями[1]. Таково однообразие верований при поражающем различии народного характера, расового происхождения, при полнейшей политической и географической отчужденности. Не исчезает это изумительное сходство и в дальнейшей последовательности, хотя бы в виду той связи, которая существует между обоготворением воды и почитанием осеняющих родники деревьев.

Наши «заповедные рощи», по своему происхождению и по своей идее, несомненно имеют много общего с священными пущами глубокой древности: и там, и здесь «заповедь» преследует одну цель – охрану деревьев. Несомненно точно так же, что охрана, опиравшаяся на страх и совесть каждого, была более деятельна и спасительна, чем нынешняя усердная и бдительная стража и больно бьющие по дырявым карманам денежные штрафы. Нельзя и предположить себе, чтобы могли быть допущены такие хищнические набеги беспощадного топора, какие возможны теперь, под властным влиянием подкупа и под защитою корыстолюбивых властей. Только один огонь да острые зубы времени могли тут хозяйничать и оставаться без наказания; но и против них существовали препоны в виде различных предохранительных мер, каковые отчасти можно наблюдать и теперь. Опасение навлечь на себя тяжкий грех и в настоящее время служит главною уздою для тех нарушителей неписаного, но гласного закона, которых не коснулась еще городская цивилизация и куда не дошел еще купец-съемщик и подрядчик. В Грязовецком уезде (Вологодской губ.) грешит тяжко даже тот, кто решается срубить всякое старое дерево, отнимая, таким образом, у него заслуженное право на ветровал, то есть на естественную, стихийную смерть. Такой грешник либо сходит с ума, либо ломает себе руку или ногу,

[1] Упомянув о более известных священных камнях, привлекающих больных глазами, считаем необходимым заметить, что в редкой из северных губерний не находится по нескольку подобного рода святынь с отпечатком стоп, сберегающих целебную влагу.

либо сам в одночасье (скоропостижно) помирает. Та же участь (по убеждениям тотемских лесовиков) постигает и того, кто решится срубить дерево, *посаженное руками* человека и взлелеянное им. В Орловской губ. считаются неприкосновенными рощи, выросшие на церковищах – местах старых церквей: «все равно что в церковь залезть (говорят тамошние жители), что бревно вырубить», а потому, при нужде, эти деревья могут идти лишь на постройку новой церкви или на поправку старой часовни. В Вологодской губ. (Никольский у.) нарушителей целости заповедных рощ непременно должна убить молния, как убила она одного крестьянина тотчас после того, как он подсек, без всякой надобности, огромную пихту, росшую в том лесу, который, видимо для всех, был не только заповедным, но и спасительным, так как корнями своих деревьев он скреплял почву обсыпчивого песчаного берега реки Вохмы, на высоком и почти отвесном берегу которой сберегалась издревле Тихоновская церковь. В селе Бруснеце (Тотемского у.) до сих пор цела священная сосна; под ней некоторые благочестивые люди ежегодно видят, во время пасхальной заутрени, горящею пудовую восковую свечу. Не выходя из тех же вологодских лесов, еще достаточно сохранившихся, наталкиваемся на подобную заповедную рощу в Кадниковском у. (при деревне Глебове), замечательную по необыкновенно старым деревьям. Об одном из них – высокой сосне, сложилось даже предание, что она не поддается никаким человеческим усилиям: вместо отброса щепы мечет искры, неисправимо тупит лезвие топора, а сам смельчак, дерзнувший рубить эту сосну, непременно надорвется нутром, начнет чахнуть и невдолге помрет. Другая же ель (при деревне Середней) спасается местным предрассудком, что будто с уничтожением ее постигнет неожиданное большое общее несчастье. В тех же местах толстые дуплистые деревья находятся в безопасности потому, что в дуплах нашли себе приют совы и филины, испускающие странные, пугающие звуки, показывающие, что тут живет сам леший и «глумится». Большую роль, в смысле охраны деревьев, играет и то внушительное впечатление, какое производят леса, в

особенности хвойные, одним своим внешним видом. Их вечное спокойное однообразие сильно повлияло на умственное и нравственное развитие не только младенческих племен инородцев, но и пришлых насельников севера славянской расы. Постоянный мрак хвойных лесов не мог не произвести на всех живых существ самого подавляющего влияния. Среди лесных ужасов сложились верования первобытных племен: в высоких, почти недоступных, горных борах, а равно и в красивых рощах, поселились высшие силы, народные божества: они-то и наложили строгие заповеди охранения таких мест. Самые деревья, отдельные от прочих и выделяющиеся из ряда других массивностью и долголетием, способные возбуждать трепетное душевное настроение даже в городских жителях и цивилизованных людях, в глазах дикарей оказались стоящими под нравственною защитою особых существ. В ветлужских лесах прославилась всеобщим богопочтением береза, разделенная на 18 больших ветвей, имеющих как бы 84 вершины. Когда буря сломила одну из них и сбросила на засеянное поле – хозяин последнего принял это за гнев незримого охранителя и оставил весь хлеб неубранным в пользу бога. У таких вероисповедников всякое дерево в заповедных рощах, поваленное бурей, считается признаком несчастья для ближайшего окольного люда. Деревья в них с нависшими ягелями, украшающими их на подобие висячих бород, также попали, в качестве избранников, в религиозный культ и воспламенили воображение сказочников. Подобного рода деревьями, покрытыми до самой вершины мхом, и в самом деле оживляющими угрюмые хвойные леса, придавая им в то же время внушительный вид долговечности и обилия, – украшаются жилища и владения богов и их избранников и любимцев – храбрых и могучих богатырей. Той же участи удостоилась в особенности ель, вообще стоящая, по своим внутренним качествам, ниже сосны, но наружным видом выражающая высшую степень строгости, спокойствия и торжественности. Впрочем, среди православного русского люда место ели, по необъяснимым причинам и едва ли не по простой случайности, заступили другие деревья и преимуще-

ственно сосна. Практическому великорусскому племени пришлись по вкусу сухие сосновые боры как наиболее удобные места для жительства. Поэтому и выбор священных деревьев, естественным образом, стал падать на сосны. От постройки часовен с постановкою в них образов зависело то обстоятельство, что известные участки сосновых лесов становились через то священными, в смысле недозволенных к вырубке, обязательных к охранению, заповедных. От явлений св. икон (исключительно Богоматери) на ветвях или у корней деревьев, подобно Костромской, Федоровской и Курской Коренной, самые деревья признавались святыми, но уже не в охранительном смысле заповедных, а таких, из которых сооружались престолы алтарей, созидаемые на местах явлений. В южной части Череповецкого уезда обращает на себя внимание обилие таких сосновых рощ, где часовни являются показателями полного запрещения вырубок, и в трех волостях заповедь эта усилена еще тем, что здесь не дозволяются хороводы и всякие сходки для каких-либо веселых развлечений. За срубленное дерево или осквернение чем-нибудь всей рощи предполагается скорое и несомненное возмездие в виде слепоты и иных болезней, и даже смерти. Около деревни Острова сберегается сосновая роща, в которой устроено теперь несколько ям – «морянок» для пережигания угля, но первый крестьянин, дерзнувший положить почин этому лесному промыслу, ослеп.

Тем же страхом болезни и смерти оберегаются избранные деревья, отмеченные каким-либо чрезвычайным или чудесным событием и признанные священными, а равным образом и те, которых игра природы выделила какими-либо отметами в росте, направлении ветвей, уродливостями ствола, сплетениями корней и проч. (подобно березам ветлужской и ильешевской). Сюда причислены дуплистые сосны с особенностями в расположении пустот выгнившего нутра, чем при лечении детских болезней пользуются суеверные женщины. Если священник не соглашается «пронять» больного ребенка сквозь ризу или поставить под престол на несколько часов кувшин с водой, чтобы потом окачивать из него больных, то на такие

случаи имеются общедоступные дупла, испытанные в дарах исцеления: через отверстие их «пронимают», то есть протаскивают несколько раз детей, а иногда пролезают и сами взрослые с одного бока целебной сосны на другой. Конечно, наибольшим почтением и известностью пользуются те деревья, на которых отразилась игра природы, и раздвоившийся ствол оставляет свободным широкое отверстие, удобное для проемов и пролазов (так называемые «воротца»). Таких деревьев не особенно много и они все на счету, но почитание их еще настолько же действительно, насколько и почтенно по своей древности. Так в житии Адриана, Пошехонского чудотворца (ум. в 1550 г.), записано: «Бысть некогда в пошехонском пределе, при реках Ияре и Уломе, церковь св. пророка Илии и тамо ростяще древо, зовомое рябиною. Прихождаху же и священницы из близлежащих весей и привносяху образ святые мученицы Параскевы, нареченныя Пятницы, молебныя пения совершающе. Людие же, для получения здравия, сквозь оное древо пронимаху дети своя, инии же, совершенного возраста, и сами пролазаху и получаху исцеления».

В сообщении из Пензенской губернии имеется указание на такое дерево, около которого целостно сохранился полный обряд довольно сложного священнодействия, очень поучительный в том смысле, что наглядно объясняет происхождение старого обычая почитания прощей[1]. Около заштатного города Троицка, бывшего в начале заселения этой окраины крепостью и конечно окруженного в свое время громадным лесом (липовым), до наших дней сохранились три липы, прославившиеся на все окрестности. Они выросли из одного корня, но получили общее название «Исколена», объясняемое легендою. В те далекие времена на это место ходила из крепости, для уединенной молитвы, некая «проста-свята» девка (а по

[1] Там, где их нет или до них очень далеко, обходятся иными способами и все-таки «пронимают» больных ребят, протаскивая их сквозь ступени сквозных (не подшитых досками) лестниц. А насколько этот прием считается действительным, можно судить по тому, что во многих местах вылупившихся из яйца цыплят продевают сквозь ступицу колеса, чтобы куры лучше вышли и большие неслись.

другим сведениям три «просты-святы девки»). Сладострастный прохожий, желавший одну из них изнасиловать, встретил отчаянное сопротивление и за то убил ее. «Из колен» убитой и выросли эти три липы, потребовавшие вскоре часовенку с образом и охрану в виде плетня и наложения клятвенного устрашительного запрета, закрепленного в соседях недавним живым случаем: местный священник, при помощи станового, поревновал успеху Исколены, забравшейся на самую вершину горы и выстаивающей на ней третью сотню лет, и пожелал срубить ее. Но пригнанный сюда народ с топорами не сдался ни на какие увещания, требования и угрозы – и рубить святое дерево не пожелал. Тогда принялись сами подстрекатели, но при первом же ударе топора из дерева брызнула кровь и ослепила дерзновенных. Понадобился совет знающих старушек, чтобы обоим ослепленным испросить прощения у дерева и получить исцеление. Исцеление, впрочем, испрашивается и до сих пор при соблюдении следующей обстановки. Стараются приехать к дереву до солнечного восхода, конечно, с тою целью, чтобы чужой посторонний человек не сглазил. Больной, если в силах, ползет на коленях, что делает также и провожающая его старуха. С молитвой «дай Бог в добрый час» она крестится, отплевывается на все четыре стороны, зажигает четыре восковых свечи, из которых одну прилепляет к иконе, а остальные – к каждому из деревьев. Больного она раздевает донага и кладет на землю так, чтобы головой он касался до корней (в полтора-два обхвата), обсыпает пшеном и опутывает нитками, а в заключение обливает водой и одевает в новое или чистое белье (старое поступает в жертву дереву вместе с нитками, которые вешаются на ветви). Больной и жрица кланяются дереву земным поклоном, с молитвою: «Прости, матушка-сыра земля и свято дерево, отпусти!» Зажженные свечи тушатся, и больной со старухою выползают задом из ограды с тем, чтобы тут же приняться за трапезу вместе с прочими провожатыми родными, которые до того времени стояли за оградой и молились. Едят также не просто, а старуха прежде всего берет каравай хлеба и щепотку соли и

относит их вместе с бельем больного к дереву. Это предназначается в пользу бедных, которые первыми придут на горячие следы жертвоприношения. «В спасительную и целительную силу этого дерева крестьяне так сильно верят (свидетельствует корреспондент г. Лентовский в сообщении от 15 мая 1899 г.), что разубедить их нет никакой возможности и даже, пожалуй, опасно: сочтут за богохульство. Я однажды сломал несколько сучьев этой липы и бросил их с целью узнать: будут ли по этим сучьям ездить. И, действительно, через три дня увидел, что сучья не тронуты, а вправо, в объезд, был проложен новый след, по которому и стали ездить[1].

Благодатная сила избранных священных деревьев далеко не ограничивается указанными приемами: не только кора и щепа от стволов, но и мочки корней обладают силою врачевания и от зубных капризных болей, и от других болезней. Помогают и в сыром виде, и в настоях, и в виде талисмана, зашитого в нагрудных ладанках и в тряпичках, завязанных узлом и подвешенных в избах под матицу, чтобы не посещали те дома черти. В темной Уломе настойкой из коры деревьев, расщепленных молнией, лечат лихорадку. В Леушинском женском монастыре люди, страдающие зубной болью, изглодали с заповедной и врачебной сосны всю кору и успокоились только тогда, когда чудесные свойства иссохшего дерева перешли на другую сосну. К таким целителям приносятся посильные дары из числа тех, которые пригодны на потребу их оберегателям, а там, где оберегателей (как близ родников в лесах) не полагается, целительные деревья и соседние с ними украшаются ленточками, разноцветными лоскутками и пр.

Простодушные верования и в данном случае, конечно, доходят до крайностей, объяснимых лишь устойчивостью до-

[1] В данном случае замечательно то исключительное верование, что прибегают к врачебной силе дерева девушки, желающие сохранить свое целомудрие, и матери, приезжающие сюда с новорожденными с тою же предохранительною целью. В подобном веровании идут и далее, рассчитывая на то, что и при случайно нарушенном целомудрии Исколена не оставляет без помощи обращающихся к ней. Дерево лишает согрешивших девиц способности деторождения и помогает, таким образом, укрытию всяких следов.

верия к прадедовским преданиям. Так, например, между священными и обыкновенными попадаются деревья проклятые. Во главе их стоит общеизвестная, с трепещущими листьями, осина, проклятая самим Христом за то, что на ней удавился Иуда, и потому неудобная к посадке вблизи жилища. В некоторых местах находятся в сильном подозрении даже ели и сосны. Их также избегают присаживать к прочим деревьям в садах и огородах (напр., в Меленковском у., Владимирской губ.) за то, что они не послушались Спасителя, когда Он молился в саду Гефсиманском и сказал им, чтобы они не шумели и не мешали Ему. Священным считается всякое «божье» дерево (кустарниковое с пахучими листьями камфорного запаха, артемизия) за то, что, по уверению орловских пахарей, его сам Бог насадил в раю прежде всех других дерев, и потом священную вербу. Ими никогда не топят печей, а освященные пучки вербы, которою выгоняют в Егорьев день скотину в поле, истребляют не иначе, как бросая их не в печной огонь, а на речную воду.

Кроме проклятой осины, в сосновых и еловых лесах вырастают еще такие деревья, которые носят название «буйных» (Череповецкий у.). Им приписываются особые свойства – именно разрушительная сила, скрытая и тайная, угадать и указать которую могут лишь одни колдуны. Такое дерево, с корня срубленное и попавшее между другими бревнами в стены избы, без всяких причин рушит все строение и обломками давит насмерть неопытных и недогадливых хозяев. Даже щепа от таких бревен, подложенная со зла лихим знающим человеком, ломает и разрушает целые мельницы. Знающие люди во время грозы никогда не садятся под сосну и ель, всегда предпочитая им березу, если уже выпал неизбежный повод к укрытию.

В Череповецком уезде (в Горской волости) кустарниковое растение – можжевельник, редко достигающее величины дерева, изумляет своими необычными размерами, которые тем более удивительны, что растет этот можжевельник на рыхлом голом песке. Ясно, что дерево как будто стоит под особым покровительством какого-то таинственного существа, и за то, вероятно, этот можжевельник сплошь увеши-

вается тряпками и даже полотенцами, на которых нашиты красные или черные крестики.

Хотя в этом сообщении, полученном прямо с места, не указано явных поводов к таинственным приношениям, тем не менее и в данном случае несомненны следы признательности за благодатные дары, получаемые здесь от необыкновенного дерева. Более странными могут почитаться искания врачебной помощи у деревьев, давно умерших и даже успевших предаться, в известной степени, гниению. Например, тех же маленьких детей, страдающих бессонницей, сердобольные матери стукают пятками ножек об стенки нежилых строений. Точно так же человек, наломавшийся на работах до таких болей, от которых, что называется, некуда деваться, старается ослабить жгучие страдания тем, что трется обнаженной спиной о подпорки заборов или бежит к овину и на середней стенке его проделывает то же.

С подобными образцами можно было бы идти дальше, если бы они не вводили нас в тот отдел программы, который посвящен народным лечебным средствам. Там найдут свое место и чудодейственные растения, которым приписываются волшебные свойства, и растения, совершенно не существующие, вроде сказочного зелья «разрыв-травы» или цветка бесцветкового папоротника.

КРЕСТНАЯ СИЛА

I.
СВЯТКИ

В крестьянском быту святки считаются самым большим, шумным и веселым праздником. Они обнимают собой период времени от Николина дня (6 декабря) до Крещенья (6 января), то есть как раз тот месяц, когда земледельческое население, обмолотив хлеб и покончивши со всеми работами, предается отдыху.

Святки считаются праздником молодежи по преимуществу, хотя и взрослое население не остается равнодушным к общему веселью и к тому приподнятому, несколько торжественному настроению, которое свойственно всем большим праздникам в деревне. Но все-таки центром празднеств служит молодежь: ее игры, песни, сборища и гаданье дают тон общему веселью и скрашивают унылую деревенскую зиму. В особенности большой интерес представляют святки для девушек: в их однообразную трудовую жизнь врывается целая волна новых впечатлений и суровые деревенские будни сменяются широким привольем и целым рядом забав и развлечений. На святки самая строгая мать не заставит дочку прясть и не будет держать за иглой в долгие зимние вечера, когда на улице льется широкой волной веселая песня парней, когда в «жировой» избе, на посиделках, заливается гармония, а толпы девушек, робко прижимаясь друг к другу, бегают «слушать» под окнами и гадать в поле. Гаданье составляет, разумеется, центр девичьих развлечений, так как всякая невеста, естественно, хочет заглянуть в будущее и, хоть с помощью черта, узнать, кого судьба пошлет ей в мужья и какая жизнь ожидает ее впереди с этим неведомым мужем, которого досужее воображение рисует то пригожим добрым молодцем, ласковым и милым, то стариком-ворчуном, постылым скрягой, с тяжелыми кулаками.

О том, как совершается гаданье, мы подробно скажем в главе «Новый год», здесь же заметим только, что обычай вызывать своего суженого и, в особенности, так называемые страшные гаданья довольно заметно отражаются на душевном состоянии гадальщиц. Почти на протяжении всех святок девушки живут напряженной, нервной жизнью. Воображение рисует им всевозможные ужасы, в каждом темном углу им чудится присутствие неведомой, страшной силы, в каждой пустой избе слышится топот и возня чертей, которые до самого Крещенья свободно расхаживают по земле и пугают православный люд своими рогатыми, черными рожами. Это настроение поддерживает не только самое гаданье, но и те

бесконечные рассказы о страшных приключениях с гадальщицами, которыми запугивают девичье воображение старухи и пожилые женщины, всегда имеющие про запас добрую дюжину страшных историй. Чтобы дать читателю представление об этих «святочных» рассказах, являющихся плодом народной фантазии, приведем рассказ крестьянки Евфросиньи Рябых, записанный в Орловском уезде. «Пришла я с загадок и задумала суженого вызвать – страх хотелось мне узнать, правда это или нет, что к девушкам ночью суженые приходят. Вот стала я ложиться спать, положила гребенку под головашки и сказала: "Суженый-ряженый, приди ко мне мою косу расчесать". Сказавши так, взяла я и легла спать, как водится, не крестясь и не помолившись Богу. И только это я, милые мои, заснула, как слышу, полез кто-то мне под головашки, вынимает гребенку и подходит ко мне: сдернул с меня дерюгу, поднял, посадил на кровати, сорвал с моей головы платок и давай меня гребенкой расчесывать. Чесал, чесал да как зацепил гребенкой за косу, да как дернет – ажно у меня голова затрещала. Я как закричу... Отец с матерью вскочили: мать ко мне, а отец огонь вздувать. Вздули огонь, отец и спрашивает: "Чего ты, Апрось, закричала?" – Я рассказала, как я ворожила и как меня кто-то за косы дернул. Отец вышел в сенцы, стал осматривать двери – не видать ничего. Пришел он в избу, взял кнут и давай меня кнутом лупцевать – лупцует да приговаривает: "Не загадывай, каких не надо, загадок, не призывай чертей". – Мать бросилась было отнимать – и матери досталось через меня. Легла я после того на постелю, дрожу вся, как осиновый лист, и реву потихоньку: испугалась да и отец больно прибил. А утром только я поднялась – вижу, голова моя болит так, что дотронуться до нее нельзя. Глянула я около постели своей наземь – вся земь усыпана моими висками. Вот как "он" меня расчесывал. Стала я сама расчесывать косу, а ее и половины не осталось – всю почти суженый выдернул».

А вот еще один рассказ, записанный в Череповецк. уезде Новгородской губ.: «Собрались, это, девки на беседу в самый сочельник, перед Рождеством – не работать (в сочельник какая

работа: грех), а так погадать да “послушать” сходить. Вот погадали, погадали, а одна девка и говорит: “Пойдем-кось, девоньки, к поросенку слушать: у нас сегодня большущего закололи и тушу в амбар стащили, пойдемте”. Вот и пошли, надо быть, пять девок. Сняли с себя кресты, немытика помянули, очертились ножиком, и одна, которая посмелее, говорит: “Чушка, чушка, скажи, где мой суженый-ряженый?” А поросенок им из амбара: “Отгадайте три загадки, тогда отгадаю всем суженых. Наперво отгадайте, сколько на мне щетинок?” Отгадывали, отгадывали девки – не отгадали: где сосчитать щетинки на свинье? А поросенок им другую загадку: “Сколько на мне шерстинок?” Тоже думали, думали девки – не отгадали. А поросенок опять: “Сколько во мне суставов?” Опять не отгадали девки, а поросенок как рыкнет: “Ну, так я вас всех задавлю”. Девки бежать. Прибежали на беседу – лица на них нет. А хозяйка-то беседы, видно, догадливая баба была, бывала в этих делах: сейчас четырем девкам на голову горшки глиняные надела, а этой, коя загадывала, подушку положила. Вдруг как вломится в избу свинья. Схватила с одной девки горшок, думала это голова, да о пол, схватила с другой – о пол, да так со всех четырех, а с пятой схватила подушку и убежала».

Как ни страшны сами по себе такие рассказы для напуганного воображения молоденьких слушательниц, однако в веселые святочные вечера даже эти ужасы не могут удержать девушек в хатах, и как только на селе зажгут огни, они, как тени, скользят по улице, пробираясь на посиделки. Да и не мудрено: до страха ли тут, когда впереди ожидают танцы, маскарады, игры, песни и когда к этим беседам так долго и так много готовились. Почти целый месяц приготовлялись: девушки шили наряды, парни готовили маскарадные костюмы и выбирали «жировую» избу.

Последний вопрос – о выборе избы для посиделок – повсюду считается очень важным и решается сообща. Чаще всего, за 2 за 3 рубля какая-нибудь одинокая солдатка или полунищая старуха уступает молодежи свою избу, позволяя вынести домашнюю рухлядь и убрать все так, как захотят на-

ниматели. Деньги за избу платятся наличными или отрабатываются, причем только в очень немногих местах девушки освобождаются от взносов. В большинстве же случаев деревня не знает привилегии дам и обкладывает девушек наравне с парнями, а местами даже заставляет их платить больше, так что если парень вносит шесть коп., то девушка должна платить двенадцать, а в случае бедности – день жать.

Святочные посиделки начинаются обыкновенно не ранее 6 декабря и отличаются от всех других посиделок тем, что и парни и девушки рядятся. Это своего рода деревенский бал-маскарад. Правда, ряженье – в особенности в первые дни святок – бывает самое незамысловатое: девушки наряжаются в чужие сарафаны (чтобы парни не узнали по одежде) и закрывают лицо платком, и только самые бойкие наряжаются в несвойственною одежду: парни – в женский, девушки – в мужской костюм. Это последнее переодевание практикуют чаще всего гости, приходящие на посиделки из чужих деревень, чтобы легче было интриговать и дурачить знакомых. Самая же «интрига» в таких случаях бывает также крайне незамысловата: обыкновенно парень, переодетый девкой, выбирает себе в кавалеры какого-нибудь влюбчивого и простоватого парня и начинает его дурачить: заигрывает с ним, позволяет вольные жесты и пощипывания, назначает свидания и даже дает нескромные обещание. К концу вечера простофиля-кавалер обыкновенно пламенеет от страсти и умоляет свою даму, чтобы она осчастливила его немедленно. Но дама, обыкновенно, кокетничает и уступает не сразу. Зато потом, когда все-таки она выйдет на свидание и влюбленный парень заключит ее в объятия, из избы выскакивает целая ватага хохочущих молодцов, которые быстро охлаждают любовный пыл простофили, набивая ему полные штаны снегу. Приблизительно такой же характер носят интриги девушек, наряженных парнями. Они тоже выбирают себе наиболее простоватых девиц, ухаживают за ними, уговаривают за себя замуж и даже выпрашивают иногда в залог платок, колечко и пр. Справедливость требует, однако, заметить, что интриги подобного рода далеко не всегда

отличаются скромностью. Случается, что какая-нибудь расшалившаяся солдатка, наряженная парнем, выкинет такую штуку, что присутствующие девушки сгорят со стыда. Но таких солдаток обыкновенно успокаивают сами же парни, которые с хохотом и криками разоблачают озорницу почти донага и в таком виде пускают ее на улицу, где еще вываляют в снегу. Вообще сдерживающим началом на посиделках служит присутствие в «мировой» избе посторонних людей в лице ребятишек и пожилых мужчин и женщин. Особенно стесняют ребятишки: иной парень и рад бы позволить себе какую-нибудь нескромность в отношении интересующей его девушки, но он видит, что с полатей свесилась голова мальчишки – брата девушки, который все примечает и, в случае надобности, скажет матери, а то и отцу шепнет. Эти лежащие на полатях контролеры иногда так раздражают парней своим неусыпным надзором, что дело кончается побоями: один из парней берет веник и с ожесточением хлещет ребятишек, в то время, как другой припрет дверь и никого не выпускает из избы. Экзекуции такого рода сплошь и рядом достигают цели, и ребятишки с ревом и плачем без души разбегаются по домам, как только их выпустят.

Сдерживающим началом служит до некоторой степени и присутствие на посиделках чужих парней и девок, пришедших из соседних деревень. Их принимают как гостей и стараются, чтобы все было прилично и чинно. Хозяева беседы, как парни, так и девицы, встают с лавок и предлагают их занять гостям, а во время танцев обращают строгое внимание, чтобы чужие девки не оставались без кавалеров и чтобы с парнями-гостями танцевали девки «первого сорта», то есть самые пригожие. Впрочем, бывают случаи, когда именно присутствие на посиделках чужих парней, явившихся незваными гостями, служит причиной ожесточенных ссор и даже драк. Вот что на этот счет сообщает наш корреспондент из Вологодской губ. Никольск. у.: «Если какой-нибудь парень из чужой деревни вздумает "ходить" (ухаживать) за девкой и посещать игрища, то он непременно должен выставить парням-однодеревенцам девушки, в виде отступного, водки – в противном случае он

платится побоями и даже увечьем. Избитый, в свою очередь, редко оставляет побои без отмщения и, подбивши парней своей деревни "выставкою" им водки, является в сопровождении целой ватаги в село к оскорбителям и врывается на игрище, где и завязывается, обыкновенно, свалка. Девки, в таких случаях, разбегаются по домам, а парни выходят на улицу и дерутся уже не на кулаки, как в избе, а «плахами» (поленьями). Драки подобного рода происходят по несколько раз, возобновляясь все с новой силой, и кончаются или тем, что коренные парни как побежденные соглашаются принимать на игрище чужаков "без водки" или как победители "сдирают" с противников водку, которую и распивают на посиделках[1].

Кроме танцев (кадриль, ленчик, шестерка) и гаданий, любимым развлечением на посиделках являются так называемые игрища, под которыми следует разуметь, между прочим, представление народных комедий, где и авторами, и актерами бывают деревенские парни. В одной из таких комедий фигурируют, например, какой-то король Максимилиан, его непокорный сын Адольфий и приближенный короля Марк-гробокопатель; в другой главным лицом является Степан Разин со своими разбойниками и красными девушками, причем центром пьесы служит кровавая расправа Разина с корыстным купцом; в третьей, наконец, центральной фигурой является помещик и т. д. Обо всех этих пьесах мы скажем несколько ниже, здесь же позволим себе заметить, что игрища в огромном большинстве случаев поражают наблюдателя грубостью нравов, так что отцы Церкви не напрасно называли их «бесовскими». Конечно, нельзя отрицать, что в доброе старое время св. отцы подходили к вопросу с известным предубеждением и видели в игрищах только остатки язычества и того двоеверия, с которым они так энергично боролись. Но невозможно в то же время упускать из виду, что добрая половина игрищ сама по себе составляет

[1] Такие драки в большом ходу не только в Вологодской губ., но почти повсеместно. Объясняется это тем, что на девок своей деревни парни смотрят как на своего рода коллективную собственность, которую и защищают от ухаживанья посторонних людей. Во всеобщем употреблении точно так же и водка, которая одна дает право ухаживать за «чужими» девками.

остаток варварства, поражающий стороннего наблюдателя своим откровенным цинизмом. Этот цинизм ужасен еще тем, что он почти всегда переходит в жестокость и издевательство над слабыми, то есть над деревенскими девушками, за которых некому вступиться. «Деревенские парни, – пишет наш корреспондент из Череповецк. у. Новгородск. губ., – позволяют себе на беседах такие дикие выходки, что только привычка здешних девиц к терпению и цинизму мужчин останавливает их от жалоб в суд». Для образца укажем несколько излюбленных святочных игр, практикуемых почти повсюду.

1) *Игра в кобылы.* Собравшись в какую-нибудь избу на беседу, парни устанавливают девок попарно и, приказав им изображать кобыл, поют хором:

Кони мои, кони,
Кони вороные...

Затем один из ребят, изображающих хозяина табуна, кричит: «Кобылы славные, кобылы! Покупай, ребята!» Покупатель является, выбирает одну девку, осматривает ее, как осматривают на ярмарке лошадь, и говорит, что он хотел бы купить ее. Дальше идет торговля, полная неприличных жестов и непристойных песен. Купленная «кобыла» целуется с покупателем и садится с ним. Затем, с теми же жестами и песнями, происходит переторжка, после чего начинается ковка кобыл. Один из парней зажигает пук лучины (горн) другой раздувает его (мехи), третий колотит по пяткам (кузнец), а покупатель держит кобылицыны ноги на своих, чтобы не ушла.

2) *Игра в блины.* Эта игра столь же популярна, как и предыдущая, и состоит в том, что один из парней берет хлебную лопату или широкий обрезок доски, а другой поочередно выводит девушек на середину избы и, держа за руки, поворачивает их спиной к первому парню, который со всего плеча дует их по спине. Это и называется «печь блины».

3) *Игра в быка.* Парень, наряженный быком, держит в руках, под покрывалом, большой глиняный горшок с приделан-

ными к нему настоящими рогами быка. Интерес игры состоит в том, чтобы бодать девок, и притом бодать так, чтобы было не только больно, но и стыдно. Как водится, девки подымают крик и визг, после чего быка убивают: один из парней бьет поленом по горшку, горшок разлетается, бык падает и его уносят.

4) *Игра в гуся.* Гусь приходит тоже под покрывалом, из-под которого виднеется длинная шея и клюв. Клювом гусь клюет девок по голове (иногда пребольно), и в этом состоит все его назначение.

5) *Игра в лошадь.* Над лошадью ребятам приходится много трудиться, чтобы приготовить ей, сверх покрывала, голову, похожую на лошадиную. Но смысл игры все тот же: лошадь должна лягать девок.

6) *Игра в кузнеца.* Это более сложная игра, представляющая собой зародыш деревенской комедии. В избу, нанятую для бесед, вваливается толпа парней с вымазанными сажей лицами и с подвешенными седыми бородами. Впереди всех выступает главный герой – кузнец. Из одежды на нем только портки, а верхняя голая часть туловища разукрашена симметрично расположенными кружками, изображающими собой пуговицы. В руках у кузнеца большой деревянный молот. За кузнецом вносят высокую скамейку, покрытую широким, спускающимся до земли пологом, под которым спрятано человек пять-шесть ребятишек. Кузнец расхаживает по избе, хвастает, что может сделать все, что угодно: замки, ножи, топоры, ухваты и, сверх того, умеет «старых на молодых переделывать». – «Не хочешь ли я тебя на молодую переделаю?» – обращается он к какой-нибудь девице не первой молодости. Та, разумеется, конфузится и не соглашается. Тогда кузнец приказывает одному из ряженых стариков: «Ну-ка, ты, старый черт, полезай под наковальню, я тебя перекую». Старик прячется под пологом, а кузнец бьет молотком по скамейке, и из-под полога выскакивает подросток. Интерес игры состоит в том, чтобы при каждом ударе у кузнеца сваливались портки и он оставался совершенно обнаженным. Когда всех стариков перекуют на молодых, кузнец обращается к девушкам, спрашивая у каждой: «Тебе,

красавица, что сковать? Тебе, умница, что сковать?» И каждая девица должна что-нибудь заказать, а затем, выкупая приготовленный заказ, поцеловать кузнеца, который старается при этом как можно больше вымазать ее физиономию сажей.

Все перечисленные игры (в которых мы должны были опустить наиболее циничные пассажи) при всей грубости и жестокости все-таки не заключают в себе ровно ничего такого, что оскорбляло бы религиозное чувство человека и что, так или иначе, связывалось бы с христианскими верованиями и обычаями. Но, к сожалению, существует целая группа других игр, которые окрашены не только цинизмом, но содержат в себе элемент несомненного кощунства. Такова, например, *игра в покойника* (местами эта игра называется «умрун», «смерть» и т. д.). Состоит она в том, что ребята уговаривают самого простоватого парня или мужика быть покойником, потом наряжают его во все белое, натирают овсяной мукой лицо, вставляют в рот длинные зубы из брюквы, чтобы страшнее казался, и кладут на скамейку или в гроб, предварительно привязав накрепко веревками, чтобы, в случае чего, не упал или не убежал. Покойника вносят в избу на посиделки четыре человека, сзади идет поп в рогожной ризе, в камилавке из синей сахарной бумаги, с кадилом в виде глиняного горшка или рукомойника, в котором дымятся горячие уголья, мох и сухой куриный помет. Рядом с попом выступает дьячок в кафтане, с косицей назади, потом плакальщица в темном сарафане и платочке и, наконец, толпа провожающих покойника родственников, между которыми обязательно имеется мужчина в женском платье с корзиной шанег или опекишей для поминовения усопшего. Гроб с покойником ставят среди избы, и начинается кощунственное отпевание, состоящее из самой отборной, что называется, «острожной» брани, которая прерывается только всхлипыванием плакальщицы да каждением «попа».

По окончании отпевания девок заставляют прощаться с покойником и насильно принуждают их целовать его открытый рот, набитый брюквенными зубами. Нечего и говорить,

что один вид покойника производит на девушек удручающее впечатление: многие из них плачут, а наиболее молоденькие, случается, даже заболевают после этой игры[1]. Кончается игра тем, что часть парней уносит покойника хоронить, а другая часть остается в избе и устраивает поминки, состоящие в том, что мужчина, наряженный девкой, оделяет девиц из своей корзины шаньгами – кусками мерзлого конского помета.

В некоторых местах та же игра в покойника варьируется в том смысле, что покойника, обернутого в саван, носят по избам, спрашивая у хозяев: «На вашей могиле покойника нашли – не ваш ли прадедка?» Находящиеся в избе, разумеется, приходят в ужас. Бывали случаи, когда маленькие ребятишки падали в обморок и долго после того бредили.

К игре в покойника взрослое население относится с полным осуждением. В народе ходит даже слух, что тот, кто изображает покойников, будет схвачен ими в лесу и утащен неведомо куда. Так, в Никольском у. Вологод. губ. рассказывают, что один парень, надевавший на святках саван, был утащен покойником в болото и отдан во власть диавола. Диавол долго бил парня дубиной, заставляя снять с себя крест и бросить его болото. Однако несчастный, несмотря на жесточайшие мучения, все-таки не покорился и креста не снял, чем и спасся от смерти, отделавшись только тяжкими увечьями.

Но, несмотря на такие «страшные» рассказы, обычай рядиться покойниками еще очень распространен по всему нашему северу, и в том же Никольском у. Вологодской губ. покойниками наряжается не только молодежь, но и женатые мужики, и притом по нескольку человек сразу, так что в избу для посиделок врывается иногда целая артель покойников. У всех у них в руках туго свитые жгуты, которыми они беспощадно хлещут парней из чужой деревни и приезжих девиц (гостьев). Достается, впрочем, и своим девицам, которым, без дальнейших разговоров, наклоняют голову и хлещут по спине до синяков.

1 Характерно, что и в этой игре парни намеренно вводят скабрезный элемент, приводя в беспорядок туалет покойника: «хоша ему и самому стыдно, – говорят они, – да ведь он привязан – ничего не поделает».

Из числа других игр, представляющих собой зародыш младенческой комедии, необходимо указать на очень распространенную «игру в барина». Эта комедия, несомненно, носит сатирический характер, и происхождение ее восходит ко временам крепостного права. В избу для посиделок ряженые вводят под руки человека необыкновенной толщины, в высокой шапке, с лицом, густо вымазанным сажей, и с длинным чубуком в руках. Это и есть «барин». Подле него суетятся казачок, подающий огня для трубки, и кучер (он же бурмистр), гарцующий на палочке верхом и хлещущий бичом то палочку, то девок. Барин неповоротлив, глух и глуп, кучер, наоборот, хитрая бестия, хорошо знающая барские вкусы и барскую повадку. Барин усаживается и начинает ворчать и ругаться, а кучер подобострастно вертится около и поминутно спрашивает: «Что прикажете, барин-батюшка?» Самое представление начинается с того, что кучер, обращаясь к парням, спрашивает у них, не желает ли кто жениться, и приказывает спрашивать разрешение барина. Вслед затем один из парней приближается к барину, кланяется в ноги и говорит:

– Батюшка-барин, прикажи жениться.

– Что-о? Не слышу, – переспрашивает глухой барин.

– Жениться! – кричит во весь голос парень.

– Телиться?

– Жениться!

– Ягниться?

– Жениться!

– А, жениться!.. Ну, что ж, женись, женись, выбирай девку!

Парень выбирает девушку. Товарищи его подхватывают ее под руки и подводят к барину. Девушка, разумеется, всеми силами упирается и не идет. Тогда кучер бьет ее «шелепугой» (бичом) и кричит: «Благодари барина, целуй барина». Как только девушку подведут к барину, с него как рукой снимет прежнюю апатию и сонливость: он делается необыкновенно подвижен, оживлен, рассыпается мелким бесом и то лезет целовать и обнимать девушку, то делает полные непристойно-

сти жесты. Кучер же в это время изо всех сил помогает барину ухаживать и придерживает увертывающуюся от поцелуев девушку. Потом к барину подходит второй парень, который тоже испрашивает разрешения жениться, и так продолжается до тех пор, пока все не переженятся.

В некоторых местах эта сатирическая комедия представляется с различного рода вариантами, причем характерно, что комедия не застыла в раз навсегда определенной форме, а подверглась целому ряду изменений, сообразно с новейшими переменами в судьбе барина. Так, например, в ней нашло свое отражение и современное помещичье оскудение. По крайней мере, наш смоленский корреспондент свидетельствует, что в Юхновском у. действующими лицами пародии являются промотавшийся помещик и его слуга-пройдоха. Пародия начинается монологом помещика, который жалуется на трудные времена и на то, что народ от рук отбился. Ему, барину, сейчас нужны денеги, он вчера дотла проигрался в карты, а староста, между тем, не несет оброка[1], хотя давно должен был бы явиться. От нетерпения барин наконец кличет слугу:

– Ванька новый!

– Чего изволите, барин голый?

– Что-о? Что ты сказал?

– Я говорю: чего изволите, мол, барин?

Барин посылает слугу в лавку набрать товару в долг. Но слуга возвращается и говорит:

– Не дает лавочник-то. Говорит: этакому шерамыжнику да в долг давать? Твой, говорит, барин больше ничего, как мазурик...

– Молчи, молчи, дурак! – прерывает барин расходившегося лакея. Но лакей не унимается.

– Я что же-с, я молчу... А только лавочник говорит: этакому, говорит, жулику – и в долг? Сохрани меня Боже... Еже-

[1] Анахронизм этот не так велик, как может показаться с первого взгляда, так как помещики чрез сельских старост собирали оброк с крестьян и после их освобождения, пока крестьяне не согласились пойти «на выкуп»; в общем, при освобождении крестьян «выкуп» земли у помещиков не был обязателен, и во многих местах «оброк» на пользование ею платился весьма долго и продолжался бы, может быть, и дольше, если бы крестьяне платили его исправно.

ли бы, говорит, порядочному господину – я с моим удовольствием, а твоему, говорит, беспортошному барину ни в жисть... Много, мол, развелось их нынче, рвани всякой...

Барин, наконец, не выдерживает и кидается на лакея с чубуком. Лакей убегает, и на его место является староста. Барин очень рад старосте, но боится прямо спросить про оброк и заводит разговор издалека, осведомляясь о деревенской жизни и о своем хозяйстве. Староста начинает с того, что на деревне все обстоит благополучно и незаметно возбуждает у барина надежду на получение денег. Но, как только эта надежда переходит в уверенность, староста докладывает, что хотя и все благополучно, но жеребец издох.

– Что? – кричит барин, – мой жеребец?

– Ваш, батюшка-барин, ваш. И дом сгорел.

– Что-о? Мой дом?

– Ваш, сударь, ваш. И рожь уродилась такая, что сноп от снопа – столбовая верста, а копна от копны целый день ходьбы. – Помещик подавлен всеми этими известиями, а староста не унимается и выкладывает все новые и новые беды, пока барин не прогоняет его.

Кончается пьеса тем, что к барину является кредитор, и барин опрометью, без души улепетывает от него на улицу.

Эта пародия очень нравится крестьянам, так что актеровлюбителей не только принимают с распростертыми объятиями, но угощают и дарят деньгами.

До сих пор мы останавливались преимущественно на таких играх и забавах крестьянской молодежи, которые рисуют святочные развлечения нашего народа с отрицательной стороны. Но есть, разумеется, много игр совершенно невинных, характеризующих лишь наивность и простоту деревенских нравов. Из таких игр можно указать, для образца, хотя бы следующие.

Игра в голосянку. На посиделках какой-нибудь бойкий парень выходит на середину избы и громким голосом произносит:

Ну, давайте-ка ребята,
Голосянку тянуть.

Кто не дотянет,
Того за волосы-ы-ы-ы!..

И парень, а за ним и все другие начинают тянуть это «ы» до бесконечности. Посторонние же посетители (ребятишки и пожилые) всячески стараются рассмешить участвующих в игре и тем заставить прервать звук «ы». «Эй, ты, Егорко, лопнешь! – кричат они какому-нибудь парню. – Смотри, как шары-то (глаза) выпучил!» Окрики эти сопровождаются обыкновенно самым заразительным смехом, и потому Егорка, не удержавшись, в конце концов расхохочется и оборвет звук «ы». Тогда на него наскакивает целая толпа и теребит за уши, за нос, за волосы. Азарт при этом бывает так велик, что теребят даже не участвовавшие в игре.

Почти такой же азарт вызывает игра в молчанку. Она состоит в том, что по команде «раз, два, три» все парни и девушки должны хранить самое серьезное молчание. Эта игра напоминает «фанты», потому что не выдержавшие молчания подвергаются какой-нибудь условленной каре, например: съесть пригоршню угля, поцеловать какую-нибудь старуху, позволить облить себя водой с ног до головы, бросить в рот горсть пепла, сходить на гумно и принести сноп соломы (последнее наказание считается одним из тягчайших, так как ночью на гумно не ходят из опасения попасть в лапы «огуменника», одного из самых злых домашних чертей). Исполнение штрафов за нарушенное молчание производится по всей строгости уговора, а если кто-нибудь откажется съесть, например, уголь, то его начинают «катать на палках». Для этого толпа бойких ребятишек находит где-нибудь три-четыре круглых и гладких полена, раскладывает их на пол и всей артелью валит на эти поленья виновного, после чего парни подхватывают несчастного за ноги и за руки и начинают катать по поленьям (операции этой очень часто подвергаются и девушки, хотя и кричат при этом от боли).

С посиделок молодежь расходится далеко за полночь. Но так как веселое настроение, поднятое танцами и играми,

не проходит сразу, то парни обыкновенно не идут по домам спать, а продолжают шалости на улицах. Объектом этих шалостей чаще всего служат мирно спящие крестьяне, над которыми проделываются всевозможные штуки. Сговариваются, например, два парня подшутить над каким-нибудь дядей Семеном и придумывают такую «игру»: берут мерзлого конского помета, распускают его в горшок с горячей водой, так чтобы образовалась жижица, затем вместе с этим горшком и метлой подходят к Семеновой избе и становятся один подле окна, а другой с горшком у самой стены, так чтобы его не было видно из избы. После этого стоящий под окном начинает стучаться и кричать чужим голосом:

– Эй, хозяин! А, хозяин! Подь-ка сюда на минутку!

Встревоженный дядя Семен, заслышав шум, встает, лезет кряхтя с полатей и первым делом отворяет окно и высовывает голову:

– Что надыть?

Но в эту минуту парень, прижавшийся у стены, быстро макает метлу в горшок и мажет дядю Семена по лицу. И пока Семен, отплевываясь и чертыхаясь, разберет, в чем дело, парни уже будут далеко, и долго в тишине деревенской ночи будет раздаваться их смех и ожесточенная брань дяди Семена.

Еще чаще расшалившиеся парни «пужают» спящих обывателей стуком в стены избы. Для этого толпа головорезов приставляет к переднему углу, где стоят иконы, толстый «стяг» (жердь) и изо всей мочи ударяет концом стяга в стену. Удар нередко бывает так силен, что вся изба приходит в сотрясение и иконы, если они плохо прикреплены к божнице, падают на пол. В таких случаях рассвирепевший хозяин в одном рубашке выскакивает из избы и с топором в руках преследует озорников. Это «стуканье», разумеется, вызывает со стороны степенных домохозяев искреннее негодование, тем более что тут замешано, некоторым образом, неуважение к святыне. Поэтому если разбуженному хозяину удастся настигнуть кого-нибудь из озорников, то дело часто кончается тяжкими побоями и даже увечьем. Впрочем, для предупре-

ждения «стуканья» некоторые хозяева соединяются даже в компании и, подстерегая парней на месте преступления, беспощадно бьют их батожьем.

Но самой излюбленной шалостью деревенской молодежи следует признать заваливанье ворот и дверей изб всяким деревенским хламом: дровами, бревнами, сохами, боронами и проч. Взявшись за это дело целой гурьбой, озорники так завалят все выходы из избы, что утром все хозяева очутятся как в плену и нередко до вечера будут потом разбираться. Иногда, для большей потехи, парни взбираются на крыши заваленных изб и выливают в трубу ведро воды, после чего хозяева, как очумелые, носятся по избе и даже взывают о помощи к соседям[1].

До сих пор мы останавливались, главным образом, на святочных забавах деревенской молодежи. Но и взрослое население в эти веселые вечера не любит сидеть дома и предается свойственным его возрасту развлечениям, в ряду которых едва ли не главное место занимает хождение в гости, взаимные угощения и отчасти азартные игры. Последние, с развитием путей сообщения, проникли даже в такие медвежьи углы, как Вологодская губерния, где играют и ребятишки, и парни, и взрослые мужики. Ребятишки, конечно, играют на денежки из тонко обструганной березы, а взрослое население – на настоящие деньги. Любимая игра – «хлюст», «мельники», «окуля» (окуля – дама бубен, она ничем не кроется и ничего не кроет[2]). Игра сопровождается обыкновенно большим воодушевлением и нередко переходит в такой азарт, при котором крестьяне забывают все, бранятся и жестоко дерутся, нанося друг другу тяжкие побои. Характерно, что такой же азарт овладевает мужиками и тогда, когда они играют не на деньги, а, например, в бабки. В Никольском уезде Вологодской губ. бородатые

1 С не меньшим удовольствием молодежь утаскивает в поле (иногда за несколько верст) сани и телеги спящих однодеревенцев, разрушает поленицы дров и разваливает печи в банях.

2 Масти на крестьянском языке носят несколько иное название, чем в образованном обществе: трефы называются «крести», пики – «виши», дама – «краля», валет – «холоп», король – «бардадым»... козырной туз – «необыгримка» и пр.

игроки в бабки часто из-за одной или двух ладышек ссорятся и дерутся, как ребятишки, а некоторые, как уверяет наш корреспондент, охотно соглашаются, чтобы их изо всей мочи ударили кулаком с ладышкой в лоб, но с условием, чтобы спорная ладышка была отдана им. При игре на деньги азарт доходит до того, что некоторые записные игроки не только проигрывают большие деньги (до 10 руб. и более), но оставляют своим счастливым соперникам даже одежду, так что возвращаются домой почти нагишом, в одной рубашке. Есть деревни, где почти все крестьяне обратились в страстных игроков, сражающихся в карты даже летом, в сенокос и жатву.

Чтобы закончить характеристику деревенских святок, необходимо еще, хотя вкратце, упомянуть о святочных или, как их называют крестьяне, «святовских» песнях. Особенность этих песен состоит в том, что они сопровождаются играми – различными хождениями девиц, то рядами, то кругами. Игры, разумеется, придают значительный интерес посиделкам и вносят оживление в крестьянские вечеринки. Вторая особенность «святовских» песен заключается в том, что они составляют исключительную принадлежность рождественских и новогодних вечеров и в остальное время года предаются совершенному забвению, так что самое пение их, помимо святок, считается в народе грехом. Понятно, таким образом, что песни эти, составляя запретный плод в течение целого года, являются любимыми святочными развлечениями деревенской молодежи. На беседах они начинают входить в употребление уже с зимнего Николы, но пение их в это время еще не сопровождается играми и только с наступлением рождественских вечеров игры вступают в свои права.

Наш вологодский корреспондент (Никольск. у.) разделяет святочные песни на три группы, в зависимости от сопровождающих их игр. В первую группу он включает те песни, при пении которых девицы, присутствующие на беседе, разделяются на два равных ряда, причем оба ряда устанавливаются таким образом, чтобы лица обоих рядов девушек были обращены друг к другу. Когда послышатся первые слова песни, первый

ряд девушек начинает идти ко второму, который в это время стоит на месте. Подойдя к нему, первый ряд расступается, девицы поворачиваются в другую сторону, спиной к лицу девиц второго ряда, берутся снова за руки и идут к своему прежнему месту. А в то же время и второй ряд оставляет свое место и идет вслед за первым рядом до другого конца избы, где оба ряда, распустившись, поворачиваются на своих местах и, взявшись за руки, идут туда, где стоял второй ряд; здесь, снова распустившись, опять берутся за руки и вторично идут к месту, занимаемому первым рядом, и т. д. Как образчик святовских песен первой группы можно указать следующую, записанную в селе Юзе Вологодской губ., Никольского у.:

По горам да девки ходили.
Да по крутым красны гуляли,
Да и мечем горы шибали[1],
Да напишу ли я грамотку,
Да с по белу бархотку,
Да отошлю ли я грамотку
Да родимому батюшке:
Да что велит ли мне батюшка
Да мне с по игрищам ходить?
Да ты ходи, дочи, веселись,
Да с кем не сойдешься, поклонись.
Да ты по старому ту поклонись,
Да ты со младым то пошути,
Да ты от младого прочь пойди.

Ко второй группе святочных песен относятся такие, которые поются с «отливами», то есть вопросно-ответные или диалогические. Для пения их участвующие разделяются, как и в первой группе, на два равных ряда и точно так же, взявшись за руки, становятся на двух противоположных концах избы. Но так как песни второй группы состоят из вопросов и ответов, то при самом исполнении их сохраняется диалогиче-

[1] Бросать, бить, кидать.

ская форма: вопросы поются одной стороной, а другая только «отпевает» (отвечает).

Вот образец такой песни:

Загануть-ли,
Загануть-ли,
Да красна девка,
Да краспоневка,
Да семь загадок,
Да семь мудреных,
Да хитрых мудрых,
Да все замужеских[1],
Да королецких[2],
Да молодецких?

Это вопрос, который поется одной стороной. Другая же отпевает:

Да загони-ко,
Закогони-ко,
Да красна девка,
Да красноперка,
Да семь загадок,
Да семь мудреных и т. д.

Когда вторая сторона пропоет свой ответ, первая предлагает вопрос-загадку:

Еще гриет,
Еще гриет,
Да во всю землю,
Да во всю руську,
Да во всю святоруську?

[1] Т. е. таких, которые под силу только мужскому уму.

[2] Королевских.

Вторая отвечает:

Солнце гриет,
Солнце гриет
Да во всю землю,
Да во всю руську,
Да святоруську.

Дальнейшие загадки, по своей трудности, ничем не отличаются от первой. Спрашивают, например, что светит во всю ночку и отвечают – месяц светит, что сыплют во все небо – звезды сыплют и т. д.

Третью группу святочных песен составляют песни хороводные. Участвующие в игре девицы образуют круг и стоят, не передвигаясь с места, во время пения. По за-кругу же ходит одна какая-нибудь девушка, изображающая собою «царевеня» (царевича), который обращается с вопросами к царевне (царевну изображает весь хор).

Царевень. – Ты пусти во город,
Ты пусти во красен.
Царевна. – Те по ще во город,
Те по ще во красен?
Царевень. – Мне девиц смотреть,
Красавиц выбирать.
Царевна. – Тебе коя люба,
Коя прихороша,
Коя лучше всех?
Царевень. – Мне ка эта люба,
Эта прихороша,
Эта лучше всех.

С этими словами «царевень» выводит из круга выбранную им девушку и, взявши своей левой рукой ее правую руку, с пением быстро ведет ее по за-кругу. Когда песня кончится, ее начинают сызнова и поют так до тех пор, пока царевень не

выберет из круга всех девиц. Таким образом, в конце игры образуется целая «пленница» (вереница) девушек, предводимая царевичем. При пении же в последний раз «Возьму я царевну – царевень», увлекая за собою всю цепь, делает несколько спиралеобразных поворотов, и на том игра оканчивается.

II.
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Рождественский сочельник повсеместно проводится крестьянами в самом строгом посте, едят только после первой звезды, причем самая еда в этот день обставляется особыми символическими обрядами, к которым приготовляются загодя. Обыкновенно перед закатом солнца хозяин со всеми домочадцами становится на молитву, потом зажигает восковую свечу, прилепляет ее к одному из хлебов, лежащих на столе, а сам уходит во двор и приносит вязанку соломы или сена, застилает им передний угол и прилавок, покрывает чистой скатертью или полотенцем и на приготовленном месте, под самыми образами, ставит необмолоченный сноп ржи и кутью. Когда, таким образом, все приготовлено, семья снова становится на молитву, и затем уже начинается трапеза.

Солома и необмолоченный сноп составляют непременную принадлежность праздника. Они знаменуют собой пробуждение и оживление творческих сил природы, которые просыпаются за поворотом солнца в зимы на лето[1]. Садовые же растения и плоды, а также подсолнечные зерна считаются в народной мифологии как символ оплодотворяющего землю дождя.

Кутья, или каша, разведенная медом, также имеет символическое значение. Она знаменует собой плодородие и употребляется не только в сочельник, но и на похоронах и даже на родинах и крестинах (в последних двух случаях она подается с маслом). Самая трапеза в Рождественский сочельник совершается среди благоговейной тишины и почти молитвенного

[1] По календарю, этот перелом зимы приходится на Спиридона-поворота, 12 декабря.

настроения, что, однако, не мешает крестьянам тут же, во время трапезы, гадать о будущем урожае, выдергивая из снопа соломинки, и заставлять ребят лазить под стол и «цыкать» там цыпленком, чтобы хорошо водились куры.

По окончании вечери часть оставшейся кутьи дети разносят по домам бедняков, чтобы и им дать возможность отпраздновать «богатую кутью», и затем в деревнях начинаются колядки.

По свидетельству большинства наших корреспондентов, обычай колдовать в Рождественский сочельник за последние 5–10 лет стал выводиться, но все-таки и теперь он далеко не повсеместно забыт деревенской молодежью, которая видит в нем не только веселое препровождение времени, но своеобразную доходную статью. Есть места, где практикуется не только рождественская коляда, но и Васильевская (под Новый год), и крещенская (в Крещенский сочельник). Коляда состоит в том, что парни, девушки и мальчики собираются группами и, переходя от одного двора к другому, поют под окошками, а иногда и в избах, песни то в честь праздника, то как поздравление хозяев, то просто ради потехи и развлечения. За это им дают копейки, хлеб, а иногда подчуют водкой.

В Грузинской волости, Новгородского уезда, из колядованья выработался интересный обычай «цыганьичанья», который, по словам нашего корреспондента, состоит в том, что в первые два дня великого праздника молодые девушки, одевшись в разноцветные и сшитые не по росту платья, накидывают себе на плечи большие распущенные платки (на манер цыганского костюма) и ходят по дворам и домам одни – с гармонией и балалайкою в руках, а другие – с лукошками. Вся эта веселая ватага распевает цыганские песни, играет, пляшет и выпрашивает все, что попадется на глаза, причем в случае отказа хозяев «по цыганской совести» бесцеремонно тащит все, что плохо лежит. Часто случается, что эти русские цыганки уносят разные вещи у своих соседей, но соседи редко обижаются и обыкновенно предлагают выкуп за свое добро. На вырученные деньги девушки покупают себе гостинцев на

весь праздник, причем обычай запрещает, чтобы «на колядовые» деньги покупалось что-нибудь полезное.

Кроме деревенской молодежи, в колядах принимает участие и сельское духовенство, хотя справедливость требует отметить, что обычай этот распространен чрезвычайно мало и имеет значение чисто местное. Но тем не менее он существует, и притом не где-нибудь в лесном захолустье, а в Курской губ. Вот что пишет нам по этому поводу один священник: «Эта “коляда” была для меня совершенною новостью, я о ней даже и не слышал, а теперь самому пришлось волей-неволей ехать за подаянием. – “Да, ваше дело такое, что вам нужно ехать, – подбодрял меня церковный староста, – покойный о. благочинный по нескольку возов с одной деревни, случалось, собирал, и вам всякий даст, я с вами сам поеду”. Отправляемся в деревню “в коляду”, в дом идет староста и говорит: “Батюшка в коляду приехал”. Выходит хозяин: “В коляду приехали?” – спрашивает у меня. – “Да”, – отвечаю я в смущении. – “Что ж, ваше дело такое, на нови нужно дать, пойдемте в амбар”. Я стараюсь как можно скорее уйти из амбара, чтобы не смотреть, как мне ссыпают коляды. Видя мое смущение, некоторые хозяева замечали: “Вы дужа рахманны, нужно быть посмелей, покойный о. благочинный сам каждого хлеба требовал. Ну, ничего, даст Бог, поживете с нами, пообвыкнете”...»

Как на оригинальную особенность, связанную с колядованием, нужно еще указать на следующий обычай, практикуемый в Вологодск. губ., Кадниковск. у. Здесь мальчишки 7–10 лет ходят по избам сбирать лучины на вечера, причем распевают такие песни:

Коляда ты, коляда,
Заходила коляда,
Записала коляда,
Государева двора,
Государев двор середи Москвы,
Середь каменныя.
Кумушка-голубушка,

Пожертвуйте лучинки
На святые вечера,
На игрища, на сборища.

Если лучины дают, то в благодарность еще поют: «Спасибо, кума, лебедь белая моя, ты не праздничала не про... на базар гулять ходила, себе шелку накупила, ширинки вышивала, дружку милому отдавала. Дай тебе, Господи, сорок коров, пятьдесят поросят да сорок курочек».

Если же лучины не дали, то пожелания принимают совсем другой характер: «Дай же тебе Господи – одна корова и та нездорова, по полю пошла, и та пропала».

День Рождества Христова как почитаемый одним из самых великих праздников крестьяне начинают самым благочестивым образом: отстоят литургию, разговеются и только потом уже начинаются те бесшабашные празднества, которые заканчиваются поголовным пьянством и неизбежными в таких случаях бесчинствами и драками. Пьют очень много; в некоторых местах, как, например, в Краснослободском уезде, Пензенской губ., существует даже обычай, в силу которого каждый, кто хочет, будь то знакомый, незнакомый, русский, татарин, мордвин – все равно, может зайти в любую избу и пить, сколько угодно, причем никто из хозяев не скажет ему ни слова. К концу дня обыкновенно все мужики за 25 лет еле ноги волочат, многие женщины тоже. Среди этого разливанного моря и ненасытного разгула отрадное исключение составляет только деревенская детвора (и отчасти парни и девушки), которые ходят по дворам и славят Христа. Славильщики обыкновенно поют тропари и кондаки празднику и лишь в конце вставляют так называемые присказки. Вот для образца одна из таких присказок:

Пречистая Дева Мария
Иисуса Христа породила,
В яслях положила.
Звезда ясно сияла,
Трем царям путь показала –

Три царя приходили,
Богу дары приносили,
На колени припадали,
Христа величали.

Христославов крестьяне принимают очень ласково и радушно. Младшего из них обыкновенно усаживают на шубу, постланную в переднем углу мехом вверх (делается это для того, чтобы наседки сидели спокойно на гнездах и выводили больше цыплят), а всех остальных оделяют мелкими деньгами, пирогами, мукой и баранками. На вырученные деньги ребята нанимают обыкновенно избу для бесед, куда, кроме девушек и парней, ходят молодухи, вдовушки, солдатки и пожилые люди из числа непьющих.

III.
НОВЫЙ ГОД

В ночь под Новый год бесчисленные сонмы бесов выходят из преисподней и свободно расхаживают по земле, пугая весь крещеный народ. Начиная с этой ночи вплоть до кануна Богоявления нечистая сила невозбранно устраивает пакости православному люду и потешается над всеми, кто позабыл оградить свои дома крестом, начертанным на дверях жилых и нежилых помещений. В эти страшные вечера, говорит народная легенда, Бог на радостях, что у Него родился Сын, отомкнул все двери и выпустил чертей погулять. И вот, черти, соскучившись в аду, как голодные, набросились на все грешные игрища и придумали, на погибель человеческого рода, бесчисленное множество развлечений, которым с таким азартом предается легкомысленная молодежь.

Так говорит строгая легенда, созданная благочестивыми людьми в поучение ветреной молодежи. Однако молодежь до сих пор не прониклась смыслом этого поверья и по всей великой Руси проводить святки в весельи, распевая песни, затевая игры и устраивая гаданья.

Гаданье составляет любимое святочное развлечение. Гадают кое-где и под Рождество, и под Крещенье, но самым верным и действительным считается гаданье под Новый год (если только гадающий не забудет соблюсти все необходимые условия, то есть будет гадать без креста, без ножа и не благословясь).

Почти все способы гаданья имеют одну цель – узнать, скоро ли, куда и за кого выдадут замуж (или на ком женят) и как сложится жизнь в чужой семье, среди чужих людей. Эти вопросы, по понятным причинам, всего больше интересуют женскую половину деревенской молодежи, и потому естественно, что девушки отдаются гаданию с особенным увлечением.

Наиболее распространенными видами гаданья считается литье олова или воска, гаданье с петухом, выбрасывание за ворота башмаков или лаптя и обычай «хоронить золото». Но все эти способы гаданья практикуются повсеместно, а самый ритуал их настолько общеизвестен, что нет надобности говорить о нем вновь. Можно только указать на кое-какие местные особенности того или другого гаданья. Так, в некоторых глухих губерниях (напр., в Вологодской) при гадании с петухом считается необходимым украсть у кого-нибудь из причта наславленного овса[1] и этим овсом обсыпать свои кольца. То же гадание в Муромском уезде обставляется такими особенностями: гадальщицы раскладывают на столе щепотку крупы, кусок хлеба, ножницы, золу, уголь и ставят миску с водой. Ежели затем петух клюнет крупу или хлеб, то суженый будет из богатой семьи, ежели ножницы – портной, ежели золу – табашник, воду пить станет – муж будет пьяница, а если уголь вздумает клевать – то девушка не выйдет замуж совсем.

Кроме этих общеизвестных способов гаданья, существуют еще и такие, которые почти неизвестны в городах и практикуются только в деревне. Так, например, в Курской губ. девушки под Новый год ходят в хлев и обвязывают овец и коров поясами, а наутро смотрят: если овца или корова станет головой к воротам, то девушка выйдет замуж, если задом или боком – то придется ей еще год просидеть в ожидании женихов.

[1] В глухих местах причту дают иногда вместо денег продукты хозяйства.

Этот способ гаданья редко обходится без шуток и глумления со стороны деревенских парней. Вот что на этот счет рассказала одна баба нашему корреспонденту из Обояни: «Один раз стали наши девки гадать, пошли в овчарух, обвязали овечек поясами да и ушли в хату. А ребята поразвязали овец, наловили собак, обвязали их поясами да и пустили в овчарух. Пришли наутро девки – глядь, а вместо овец собаки... И что ж бы вы думали, – закончила рассказчица свое повествованье, – повышли те девки замуж, и у всех до единой собачья жизнь была».

В Вологодской губ. вместо овец и коров при гаданье девушек играют роль лошади. Гадальщица надевает коню мешок на голову и завязывает на шее, после чего садится верхом, задом наперед, берет в зубы хвост и гонит лошадь. Если при этом лошадь пойдет к воротам, то девушку нынче же выдадут замуж, и наоборот – если в хлев или к забору, то в нынешнем году никто не посватается.

Тот способ гаданья тоже, разумеется, не обходится без шуток парней, которые стараются испугать лошадь и хохочут, когда всадница свалится на землю. Но всего чаще проказят парни при так называемых гаданьях в овинах и в банях. В ночь под Новый год девушки толпой тихонько пробираются к овину, который считается страшным местом, потому что здесь обитает злой дух «овинник», и каждая, подняв сарафан, становится задом к окошечку, выходящему из ямы овина, и говорит прерывающимся от страха голосом: «Суженый-ряженый, погладь меня». Если затем девушке покажется, что ее погладили мохнатой рукой – то, значит, муж у нее будет богатый, если голой – то бедняк. Проделав это, девушки идут в овраг, где находится баня, снимают с себя кресты и сеют золу, которую потом каждая из них высыпает отдельной кучкой возле печки. Здесь они проделывают то же самое, что у окна овина, только подходят к челу печки передом – и тоже просят суженого погладить их. Вот тут-то и случается, что вместо нечистого духа в овин и в баню забираются ребята и проделывают над гадальщицами непристойные, а иногда и прямо жестокие шутки, которые частенько кончаются трагически.

(Наш пензенский корреспондент рассказывает об одном случае, когда гадальщица, которую схватил парень, спрятавшийся в овине, умерла от испуга.) Но в тех случаях, когда парни не мешают девушкам, гаданье в бане заканчивается тем, что, насыпав кучки золы, девушки на другой день идут смотреть в баню: если на кучке заметен след ног в сапогах – то девушка выйдет за богатого, если в лаптях – за бедного, если, наконец, будут видны следы от удара кнутом – то муж у девушки будет сердитый и будет бить жену.

В огромном большинстве случаев девушки гадают одни, без участья парней. Но есть способы гаданья, в которых принимает участие молодежь обоего пола. Сюда относятся, например, гаданья на расстанях дорог (известно, что перекрестки дорог – любимое место нечистой силы). Парни и девушки садятся здесь в кружок, очерчивают себя кругом, прикрываются белой полотняной скатертью и напряженно вслушиваются в тишину морозной зимней ночи. Если кто-нибудь услышит звон колокольчика – значит девушка выйдет в ту сторону замуж, а парень оттуда возьмет жену. Точно так же предвещает свадьбу и собачий лай, причем по характеру лая определяют даже свойства жениха (или невесты). Хриплый, грубый лай знаменует старого, ворчливого жениха, звонкий – молодого. Если лай послышится вблизи, то и жених будет из ближнего села; если послышится лай далекий, едва уловимым, то и жених будет из дальних мест. Всего чаще, конечно, гадальщики, настроенные на любовный лад, слышат или звон колокольчика, или собачий лай. Но бывают случаи, когда до них доносятся звуки, предвещающие несчастье, например, звук топора (смерть) или звук поцелуя (потеря чести для девушки). Гаданье на перекрестках дорог требует, чтобы никто из гадающих не выходил из круга, пока все не будут «расчерчены», то есть пока кто-нибудь из присутствующих здесь же, но не участвующих в гаданье, снова не очертит кругом гадающих – иначе гаданье не сбудется.

К числу совместных гаданий, в которых принимает участие молодежь обоего пола, следует отнести и подблюдные

песни, которые, как известно, составляют лишь особый вид святочного гаданья. Впрочем, подблюдные песни, по общему отзыву наших корреспондентов, почти повсеместно выходят из употребления, и молодежь к ним относится далеко без той серьезности, какая наблюдалась в старину. Теперь пение этих безыскусственных, полных ребяческой наивности песенок-загадок сплошь и рядом прерывается разухабистым, фабричным мотивом, визгливыми звуками гармоники, а то и просто замечаниями непристойного характера. И единственно, кто еще не дает окончательно умереть подблюдной песне – это деревенские девушки: они еще сохранили вкус к поэзии отцов и дедов и, собираясь в Васильев вечер «закидывать кольца», наблюдают, чтобы подблюдные песни распевались чин чином и чтобы старинные обряды сохранялись при этом во всей полноте, то есть чтобы воду, куда опускают кольца, приносили из проруби, чтобы приносил ее парень первородный (первенец) или девушка «последняя» (т. е. младшая в семье)[1] и т. д.

Все виды гаданий (в особенности, так называемое страшное гаданье с зеркалом) считаются благочестивыми людьми за грех. Но еще больший грех совершают те, кто рядится и надевает «хари» (маски). В особенности, это развлечение считается неприличным для женщин и девушек. Во многих местах де-

[1] Для интересующихся можем указать еще следующие, очень распространенные способы святочного гаданья: в Васильев вечер девушки ходят под окна и подслушивают разговоры соседей, стараясь по отдельным, долетающим до них словам узнать свою судьбу. Еще чаще ходят слушать на церковную паперть, причем если гадальщикам почудится, что в пустой церкви поют «Исаия ликуй» – то замужество в этом году неизбежно – наоборот, если послышится «Со святыми упокой», то гадальщицу ожидает смерть. В большом ходу точно так же гаданье «на чулок» и «на замок». В первом случае девушка, ложась спать, оставляет на одной ноге чулок и говорит: «суженый-ряженый, разуй меня». – Во втором случае она привязывает к поясу замок, запирает его и ключ кладет под голову, тоже со словами: «суженый-ряженый, отомкни меня». К этому же способу относится обычай «класть колодези под головы». Колодезь – не что иное, как лучинки, положенные четырехугольником. Приговор в этом случае почти такой же, как и в предыдущих: «суженый-ряженый, приезжай коня поить». – Наконец, в большом ходу еще обычай ходить в полночь в курятник, ловить петуха на нашесте и по цвету перьев его определять цвет волос будущего мужа.

вушка из богобоязненной семьи, воспитанная в твердых правилах крестьянского приличия, ни за что не позволит себе не только надеть маску, но и просто нарядиться в несвойственный ее полу и возрасту костюм. Даже для парней маска, купленная в городе, считается непристойной забавой и настолько тяжким грехом, что провинившемуся остается только один способ поправить дело – это выкупаться в проруби в день Богоявленья.

Однако несмотря на такое строгое отношение к обычаю рядиться, ни одни деревенские святки не проходят без того, чтобы парни не устроили себе потешных развлечений с переодеванием. Еще загодя они подготовляют самодельные маски, бороды из льна и шутовские костюмы, состоящие из самых худых зипунов, вывороченных шерстью наружу, полушубков и пр. В сумерки желающие рядиться собираются к кому-либо в хату и одеваются кто цыганом, кто старым дедом, кто уродом-горбачем. При этом почти всегда устраивают кобылу, то есть вяжут из соломы чучело, немного похожее на лошадь, которую затем должны нести четыре парня. Когда все оделись, отправляются по деревне с песнями и криком. Впереди всех едет верхом на кобыле горбатый старичок с предлинной бородой (для этого наряжают мальчика-подростка). За ним ведут медведя на веревке цыган и солдат, а затем уже следует целая толпа ряженых парней и подростков. Шумной, веселой ватагой врываются ряженые в дома, пляшут, поют, предлагают гадать и выпрашивают табаку и денег. Обойдя все дома более богатых соседей, вся эта толпа вваливается в святочную избу, и если денег насобирали довольно, то начинает бражничать.

Мы так долго останавливались на новогодних развлечениях деревенской молодежи только потому, что эти развлечения, как уже было сказано, составляют центр русских святок и что никто другой, как именно молодежь, дает тон общему веселью и своим жизнерадостным настроением, своими проказами, песнями и смехом заражает взрослое население, заставляя и его тряхнуть стариной и вспомнить молодость. Впрочем, забавы взрослых далеко не носят такого шумного характера и почти целиком направлены на исполнение дедовских обычаев,

освященных Церковью и временем. Притом же день Нового года представляет собой своего рода рубеж, отделяющий прошлое от будущего. В этот день даже в самой легкомысленной голове шевелится мысль о возможном счастье или несчастии, а в сердце роятся надежды, может быть, и несбыточные, и ребяческие, но все-таки подымающие настроение и вызывающие какое-то смутное предчувствие лучшего будущего. В трудовой жизни крестьянина-пахаря, которая вся построена на случайностях и неожиданностях, это настроение приобретает особенную остроту, порождая те бесчисленные приметы, своеобразные обычаи и гаданья, которые приурочены к кануну Нового года и к самому Новому году.

Гадает взрослое население, разумеется, только о том, что составляет центр всех деревенских помыслов, то есть об урожае, причем, сплошь и рядом, гаданье как суеверное желание узнать будущее сливается в данном случае с приметой, то есть с наблюдением, проверенным опытом стариков. Вот, например, как гадают об урожае крестьяне Пензенской губ., Краснослободского уезда. В канун Нового года, около полуночи, двенадцать стариков (по числу месяцев в году), избранных всем обществом за примерную жизнь и испытанное благочестие, идут к церковной паперти и ставят здесь снопы хлеба – ржи, овса, гречи, проса, льна и пр., а также кладут картофель. На утро Нового года те же двенадцать стариков приходят в церковную ограду и замечают: на каком из снопов больше инею, того хлеба и надо всего больше сеять.

Кроме этих местных примет, есть и общие, распространенные по всей Великороссии. Так, например, почти повсюду крестьяне верят, что если в ночь под Новый год небо будет звездное, то в наступающем году будет большой урожай ягод и грибов[1]. Не довольствуясь, однако, приметами, народная

[1] Что касается крестьянских примет вообще, то большинство из них поражает своей наивностью и первобытностью миросозерцания. Однако попадаются и такие, которые делают честь народной наблюдательности и пытливости крестьянского ума. Интересующиеся могут на этот счет найти у Глеба Успенского («Власть земли») много подробностей и чрезвычайно глубокую оценку народных примет.

фантазия придумала целый кодекс *гадания* об урожае. Так, в Козловском уезде крестьяне, отстоявши утреннюю обедню, уходят на гумно и зубами выдергивают из кладушек былинки. Если выдернется былинка с колосом, полным зерна, то год будет урожайный, если с тощим – неурожайный. Еще более своеобразный обычай наблюдается в Саранском уезде, Пензенской губ. Здесь крестьяне в канун Нового года пекут отдельный каравай хлеба, взвешивают его, кладут на ночь к образам, а утром снова взвешивают и замечают: если вес прибавится, то наступающий год будет урожайными (в таком случае каравай съедается семейными), если же, наоборот, вес убавится, то год будет неурожайный (в этом случае каравай отдают скотине, чтобы она меньше голодала во время бескормицы)[1]. С той же целью – определить урожай будущего года – крестьяне после заутрени ходят на перекресток, чертят палкою или пальцем на земле крест, потом припадают к этому кресту ухом и слушают: если послышится, что едут сани с грузом, – год будет урожайный, если пустые – будет недород[2].

После урожая вторым властителем деревенских дум является, как известно, скотина. Ее здоровье и благополучие в значительной мере обусловливают и благополучие хозяев. Поэтому нельзя удивляться, что скотина точно так же составляет центр, вокруг которого создался целый цикл новогодних примет и обычаев. Так, например, во многих селениях центральной полосы России в Васильев день принято колоть так называемых кесаретских поросят (Васильев день называется иначе «Кесаретским» по имени Василия Великого, архи-

[1] Известен также повсеместный новогодний обычай обсыпания зерновым хлебом, по преимуществу овсом или хмелем (символ изобилия). Обсыпают обыкновенно с различными приговорами, вроде: «уж дай ему Бог, народи ему Бог, чтобы рожь родилась, сама в гумно свалилась». Зерна засевальщиков тщательно сберегают до весны и ими начинают засевать яровые поля.

[2] Из числа других новогодних примет, не имеющих прямого отношения к урожаю, можно указать следующие: если утром, в день Нового года, первой придет в дом женщина, то это неминуемо принесет несчастье; если мужчина – то счастье. Если в день Нового года есть в доме деньги – весь год не будешь в них нуждаться, но только при условии, если никому не дашь взаймы. (На том же основании даже ребятишки не дают взаймы костыг и бабок.)

епископа Кесарийского). Зажаренный кесаретский поросенок считается как бы общим достоянием: все желающие односельцы могут приходить и есть его, причем каждый из приходящих должен принести хоть немного денег, которые вручаются хозяину, а на другой день передаются в приходскую церковь и поступают в пользу причта. Обычай требует, чтобы кесаретский поросенок непременно был жареный и подавался на стол в целом виде (неразрезанным), хотя бы по величине он походил на большую свинью. Перед едой старший в семье поднимает чашку с поросенком вверх до трех раз, приговаривая: «Чтобы свиночки поросились, овечки ягнились, коровушки телились». По окончании же трапезы хозяин обыкновенно вызывает из числа гостей смельчака, который решился бы отнести кости поросенка в свиную закутку. Но охотников на такое рискованное дело почти никогда не находится, так как кости надо носить по одной, а в закутке в это время сидят черти, которые только того и ждут, чтобы выискался храбрец и явился в их компанию. Тогда они быстро захлопнут за вошедшим дверь и среди шума и гама будут бить его по голове принесенными костями, требуя назад съеденного поросенка. Понять происхождение этого обычая нетрудно: основная идея его заключается в сборе денег в пользу духовенства, которое за это должно молить Бога о здоровье и плодовитости скотины. Что же касается участья в этом обычае нечистой силы, приютившейся в свином закутке, то это не более как один из тех остатков язычества, которые переплелись с христианскими обрядами еще в те незапамятные времена, когда на Руси господствовало двоеверие. Доказательством того, что обычай колоть кесаретских поросят имеет именно такое значение, может служить аналогичный же обычай, практикуемый в Сольвычегодском уезде, Вологодской губернии. Здесь крестьяне в день Нового года, рано поутру, съезжаются на погост со всего прихода, и каждый привозит свиные туши: кто четверть, кто половину, а кто и целую свинью, глядя по усердию и достатку. Туши эти жертвуются в пользу причта, а головы их кидают в общий котел и варят щи, которые и съе-

даются всем миром. Обычай этот соблюдается очень строго, и не пожертвовать в Новый год духовным лицам свинины считается непростительным грехом, так как жертва эта делается в благодарность за благополучие скота в прошедшем году и с целью умилостивить Бога и предохранить скот от падежа – в наступающем году.

Из сказанного позволительно заключить, что кесаретский поросенок центральных губерний и свиные туши Сольвычегодского уезда, по идее своей, ничем не отличаются друга от друга и составляют один обычай. Вся разница между ними состоит в том, что в центральных губерниях при помощи кесаретского поросенка в пользу духовенства собираются деньги, а в Сольвычегодском свинину привозят натурой, и духовные лица сами уж должны продать ее особым скупщикам[1].

IV.
КРЕЩЕНЬЕ ГОСПОДНЕ

В центральных губерниях Великороссии канун Богоявления называется иногда «свечками», так как в этот день после вечерни, когда совершается водосвятие, деревенские женщины ставят к сосуду, в котором освящается вода, перевитые лентами или цветными нитками свечи. Уже один этот обычай показывает, что водосвятие, совершаемое в канун Богоявления, крестьяне считают особенно важным торжеством. И действительно, весь этот день они проводят в строжайшем посте (даже дети и подростки стараются не есть «до звезды»), а во время вечерни маленькие деревенские храмы обыкновенно не могут вместить всей массы молящихся. Особенно велика бывает давка во время водосвятия, так как крестьяне сохранили убеждение, что чем раньше почерпнуть освященной воды, тем она святее.

[1] Существует мнение, что кесаретский поросенок режется в память того, что Пресвятая Богородица приносила в храм обрезывать младенца. Поэтому, будто бы, кесаретским поросенком и угощают, по преимуществу, зятьев. Но нетрудно видеть, что такое объяснение слишком натянуто и страдает искусственностью, не говоря уже о том, что обряд обрезания и угощения зятьев не стоят между собой ни в какой связи.

По возвращении с водосвятия каждый домохозяин со всей своей семьей с благоговением отпивает несколько глотков из принесенной посудины, а затем берет из-за иконы священную вербу и кропит святой водой весь дом, пристройки и все имущество, в полной уверенности, что это предохраняет не только от беды и напасти, но и от дурного глаза. В некоторых губерниях, сверх того, считается за правило вливать св. воды в колодцы, чтобы нечистые духи не забрались туда и не опоганили воду. При этом, однако, необходимо строго наблюдать, чтобы никто не брал воды из колодца до утра 6 января, то есть до освящения воды после обедни. По совершении всех этих обрядов св. вода обыкновенно ставится к образам, так как крестьяне не только веруют в целебную силу этой воды, но точно так же твердо убеждены, что она не может испортиться и что если заморозить богоявленскую воду в каком угодно сосуде, то на льду получится явственное изображение креста. Приблизительно такое же священное значение приписывается крестьянами не только воде, освященной в церкви, но и просто речной воде, которая в канун Крещения получает особую силу. По народному представлению, в ночь с 5 на 6 января в реке купается сам Иисус Христос – поэтому во всех речках и озерах вода «колышется», и чтобы заметить это чудесное явление, необходимо только прийти в самую полночь на реку и ждать у проруби, пока «пройдет волна» (признак, что Христос погрузился в воду). Это общераспространенное верование создало в крестьянской среде обычай, в силу которого считается большим грехом ранее истечения недели мыть белье в той реке, на которой происходило крещенское водоосвящение. Нарушители этого дедовского завета считаются приспешниками и помощниками черта, так как при погружении св. креста в воду вся нечистая сила в страхе и ужасе, не помня себя, бежит от него и, хватаясь за белье, которое полощут в проруби, выскакивает наружу. Вода, почерпнутая из проруби в канун Крещения, считается целебной и помогает в особенности женщинам-кликушам – необходимо только, идя от проруби, не оборачиваться назад и произносить молитву.

В день Крещения, лишь только ударит колокол к заутрени, в деревнях начинается движение: благочестивые люди спешат зажечь вязанки соломы перед избами (для того, чтобы Иисус Христос, крестившийся в Иордане, мог погреться у огня), а особые мастера-любители, испросив благословение у священника, хлопочут на реке, устраивая «ердань». С необыкновенным старанием они вырубают во льду крест, подсвечники, лестницу, голубя, полукруглое сияние и вокруг всего этого желобчатое углубление для протока воды в «чашу». Подле чаши во время богослужения становится причт, и при чтении ектении особый знающий человек сильным и ловким ударом пробивает дно этой чаши, и вода фонтаном вырывается из реки и быстро заполняет сияние (углубление), после чего длинный осьмиконечный крест точно всплывает над водою и матовым серебром блестит на ее поверхности. На это торжество стекается обыкновенно масса народа, и стар, и млад – все спешат на «ердань», так что толстый лед, в полтора аршина, трещит и гнется под тяжестью молящихся. Привлекает прихожан не только красота зрелища и торжественность богослужения, но и благочестивое желание помолиться, испить освященной воды и омыть ею лицо. Находятся удальцы, которые даже купаются в проруби, памятуя, что в освященной воде человек не может простудиться (как выше было сказано, всего больше купаются те, кто на святках рядился и надевал «хари»).

Праздник Крещения Господня принадлежит к числу тех, которые больше других очищены от языческих наслоений, хотя и здесь имеются своеобразные обряды и обычаи, в которых христианская вера как бы переплетается с языческим суеверием. Из числа таких обычаев можно, например, указать на «освящение скота» самими крестьянами. Вот как свершается этот обряд в Орловской губ. После обедни, которая на Крещение отходит рано утром, крестьяне расходятся по домам и поздравляют друг друга с праздником; потом один из членов семьи берет с божницы икону с зажженою перед ней свечей, другой – кадильницу, третий – топор, четвертый (обыкновенно сам хозяин) надевает вывороченную наизнанку шубу

и берет миску с богоявленскою водою и соломенное кропило. Сделав эти предварительные приготовления, вся семья отправляется на скотный двор в следующем порядке: впереди, согнувшись, несет сын или брат домохозяина топор острием книзу, так что оно касается земли; за ним кто-нибудь из женщин несет икону (по большей части Воскресения Христова), далее идут с кадильницей и, наконец, хозяин с чашею воды. Шествие совершается торжественно, среди полнейшего молчания, причем процессия останавливается посреди двора, где разложен особый корм для скота: печеный, разломанный на куски хлеб, ржаные лепешки, сохраненные для этой цели от праздника Рождества Христова и Нового года, хлеб в зерне и намолоченные снопы ржи, овса и других хлебных растений, оставленные к этому дню с осени (оставляют обыкновенно по шести снопов каждого хлеба). Когда процессия останавливается, хозяйка выпускает из хлевов, до тех пор запертую, скотину, которая с недоумевающим видом бродит по двору и, наконец, накидывается на лакомую пищу. Между тем процессия обходит вокруг скотины с образом, причем хозяин окропляет св. водой каждую голову крупного и мелкого скота в отдельности. Этот обход делается три раза, после чего топор крестообразно перебрасывается через скот, и участники процессии направляются обратно в избу. Определить истинный смысл этого обычая сами крестьяне не могут, и объяснения их разноречивы: одни говорят, что соблюдение этого обряда угодно Богу, другие уверяют, что обряд имеет в виду умилостивление домового, который-де не будет обижать скотину кормом, третьи, наконец, свидетельствуют, что таким путем скот гарантируется от падежа, так как всякие скотские болезни пресекаются топором, брошенным накрест. Но, кажется, проще всего будет предположить, что обряд этот возник во времена отдаленной древности, когда храмов Господних было еще мало и когда благочестивые хозяева, по нужде, сами должны были исполнять обязанности священников, окропляя св. водой свою скотину. Тогда же этот, по основе своей, христианский обычай подвергся языческим искажениям и явился топор, пресекаю-

щий изурочье и напуск болезни на скотину, и вывороченная на изнанку шуба как средство угодить бесам, которые все носят наизнанку. Таким образом, в данном обычае не трудно установить все признаки того двоеверия, которое, как ржавчина, насквозь проело христианские обряды наших крестьян.

С той же целью – предохранить скот от болезней и от порчи колдунов и ведьм – крестьяне некоторых губернии (например Орловской) считают за правило непременно приезжать, а не приходить на крещенские богослужения. На вопрос одного из наших корреспондентов, чем вызывается такой обычай, один крестьянин ответил так: «Да как же, в церкви на иконе написан Егорий на белом коне; значит, конь этот не простой, а вроде как святой будет, потому в церквах он стоит. Притом же сам Егорий, перед тем как убить ему змею огненную, что людей жрала, освятил в речке воду и заехал в ту воду на коне, чтобы, стало быть, коня своего освятить и чтобы змея уже никакой вреды – ни жалом, ни огнем – лошади его не сделала. Вот теперича и мы также: в реку, конечно, лошадь не загонишь, потому вода очень студенная, так пусть хоть по льду пройдется и освятится малость – святая ведь вода-то на Крещенье».

Из числа других крещенских обрядов и обычаев можно указать на особый вид гаданий и на смотрины невест, приуроченные к этому дню. Гаданье на Крещенье, в общем, те же, что и на Новый год, и на Святки. Исключение составляет лишь так называемое гаданье с кутьей, состоящее в том, что гадальщицы, захвативши в чашку горячей кутьи и скрывши ее под фартуком или платком, бегут на улицу и первому попавшемуся мужчине швыряют в лицо кутьей, спрашивая его имя. Еще более оригинален другой вид специально крещенского гадания: в сочельник, после заката солнца, девушки нагие выходят на улицу, полют снег, кидают его через плечо и затем слушают: в которой стороне послышится что-нибудь, в ту сторону и замуж выдадут.

Обычай устраивать на Крещенье так называемые дивьи (девичьи) смотрины принадлежит к числу вымирающих. Он

сохранился лишь в самых глухих местах, где еще не исчезли предания старины и где браки устраиваются с патриархальной простотой, по выбору родителей. Смотрины происходят либо в церкви, во время литургии, либо на городской площади, где катаются матери с дочками, а мужской пол стоит стеной и производит наблюдение. «Все невесты, – рассказывает наш вологодский корреспондент, – наряженные в лучшие платья и разрумяненные, выстраиваюся в длинный ряд около «ердани». При этом каждая старается выставить напоказ и подчеркнуть свои достоинства». Между невестами (называемыми также «славушницами») прохаживаются парни, сопровождаемые своими родительницами и выбирают себе суженую. При этом, как водится, заботливая родительница не только внимательно рассматривает, но даже щупает платья девиц и берет их за руки, чтобы узнать, не слишком ли холодны руки у славушницы. Если руки холодны, то такая невеста, хотя бы она обладала всеми другими качествами, считается зябкой и потому не подходящей для суровой крестьянской жизни. (Славушницы выходят на смотрины обязательно с голыми руками, без рукавицы.)

V.
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Сретенье Господне (2 февраля) не считается в крестьянской среде большим праздником. Очень часто крестьяне, в особенности неграмотные, даже не знают, какое событие вспоминает в этот день Православная Церковь, а самое название праздника – «Сретение» – объясняют таким образом, что в этот день зима встречается с летом, то есть начинают ослабевать морозы, и в воздухе чувствуется приближение весны. Приписывая Сретенью лишь значение календарного рубежа, крестьяне соединяют с этим днем множество земледельческих примет: «на Сретеньев день снежок – весною дожжок», – говорят они, гадая о будущих дождях. Капель в этот день предвещает урожай пшеницы, а ветер – плодородие фруктовых деревьев,

почему садовники, пришедши от заутрени, «трясут деревья руками, чтобы были с плодами». Если в Сретеньев день тихо и красно, то летом будут хороши льны и прочее. По погоде этого дня судят также об урожае трав, для чего бросают поперек дороги палку и наблюдают: если снег заметет ее, то и корм для скота «подметет», то есть травы будут дороги. Наконец, в Сретеньев день хозяйки начинают усиленно кормить кур, чтобы были носки. Что касается религиозных обычаев, связанных с этим днем, то их, на всем пространстве Великороссии, почти не существует, лишь кое-где (например в Вологодской губ.), крестьяне обходят свои дома с иконою Сретения Господня или Спаса, причем когда икону приносят в дом обратно, то вся семья, с домохозяйном во главе, падает ниц и вопиет: «Господи Боже наш, войди к нам и благослови нас».

VI. ВЛАСЬЕВ ДЕНЬ

При распределении даров благодати между святыми угодниками христианской Церкви, значительная доля ее досталась св. великомученику Власию. Ему поручено было покровительство и защита всего живого, служащего в помощь и пригодного на потребу человека, еще с тех первоначальных времен, когда на простом созвучии имен (Власий приравнивался языческому Велесу) можно было укрепить веру доверчивых и успокоить подозрения сомневающихся. Впоследствии, по мере того как народная жизнь, во всех своих проявлениях, развивалась, благодатной силы Велеса оказалось недостаточно, понадобилось участие иных добрых сил, новых помощников и покровителей. В русском православном мире в помощь земледельцам явились св. мученики Борис и Глеб, пчеловодам – Зосима и Савватий Соловецкие, оберегателем домашней птицы – Сергий Радонежский и т. д. Все они явились в дополнение к тем святым, которые перешли из греческой Церкви и завещаны Древнею Русью: св. Георгий Победоносец – для рабочего скота, а с ним св. Афанасий и

Кирилл (2 мая). Для всякой птицы, идущей в пищу, услаждающей слух и истребляющей вредных насекомых, и т. п. – покровителями служат сорок мучеников, утопленных за веру в Севастийском озере (исключительно для гусей – Никита-мученик); для овец – св. Анисим (15 февр.) и вровень с Егорием, в одинаковую с ним силу значения и почитания, – защитники лошадей св. муч. Флор и Лавр (в народном языке часто сливающиеся в одно имя Флор-Лавр или еще чаще «Фролы»). Празднованье Егорьева дня и Фролов отличается особым чествованием, так что в этом отношении святые эти затмевают не только меньших угодников, но и столь почтенного, по первородству и древнему преемству, как св. Власий.

В настоящее время присвоенная честь и то значение, которое приписывалось Власию в доисторическую эпоху, сохранились более в народном календарном языке, чем в церковных празднествах и обрядах. Власия зовут «бокогреем» и «сшиби рог с зимы» за то, что память этого греческого священномученика падает на 11 февраля, то есть на то время, когда зимние холода часто становятся более мягкими и морозы уже не столь велики. Солнце начинает сильно пригревать, и в тамбовских краях говорят, что «с Власьева дня полоз саней покатится и корова бок греет», что значит, в переводе на общепонятный язык, что следы шагов и полозьев, остающихся в феврале на снегу, начинают «лосниться», а это и называется «полоз покатится». Замечают также, что выпущенная на прогулку скотина ввиду того, что на дворе еще очень холодно, старается встать так, чтобы солнышко ударяло на нее. Те же тамбовцы на Власьев день стараются вообще не работать, в расчете предохранить свой скот от падежа. Молитвы во время самой эпидемии обращаются, помимо всех других святых, прямо к Власию: «Св. Власий, дай счастья на гладких телушек, на толстых бычков, чтобы со двора пили-играли, а с поля шли-скакали». Эта вера цельной убереглась в черноземной России, где давние выселенцы из коренной и срединной Руси, удаленные от влияния Москвы и Киева и дошедшие до полного отчуждения на окраинах государства, до сих пор являют образцы полного двоеверия. В ко-

ровниках и хлевах ставят образ св. Власия. Запасаются подобными иконами от владимирских ходебщиков на случаи общих молебнов, как, например, в первый день выгона скота в поле, и в особенности, в день Преполовения и во время падежа скота. С иконою св. Власия обходят без священника больных: овцу, барана, лошадь и корову, связанных хвостами и выведенных на деревенскую площадку. По обходе зараженных гонят их за село, в овраг и там, в память языческих обрядов, побивают животных камнями и припевают: «Мы камнями побьем и землей загребем, землей загребем – коровью смерть вобьем, вобьем глубоко, не вернешься на село». Затем на трупы набрасывают усердно столько щепы и соломы, чтобы сделать костер, способный спалить всех четырех жертвенных животных без остатка. Так поступают в Чамбарском уезде (Пензенской губ.). В резкую противоположность этому обычаю, на глухом севере, например, в Кадниковском у. Вологодской губ., чествование Власьева дня знаменуется многолюдным молебствием, съездом целых волостей и бесчисленными молебнами (простыми и водосвятными) в промежуточное время между заутреней и обедней. Это празднество сопровождается также следующим местным обычаем: на особые столы, а за недостатком их, прямо на церковный пол кладутся караваи ржаного хлеба, который священники кропят святою водою и хозяйки скармливают скотине. «Власьев день» (пишут оттуда) – праздник по всем приходам на три дня и больше. Варят пиво, покупают водку, приглашают всю родню – словом, празднуют широко и разгульно. В обилии вологодских жертвенных хлебов, таким образом, до некоторой степени богатая храмами северная лесная Русь сберегала родственное племенное сходство с малоцерковною черноземною украйной Великороссии. Зато на севере, в среде более раннего заселения страны, с примечательной последовательностью и в явной неприкосновенности сберегались на окраинах всех древних лесных городов храмы во имя священномученика Власия, намеренно строившиеся некогда на главных городских выгонах (в Вологоде, Костроме и др.). Там же, где Власьевские церкви вошли в срединную черту городов (как

в Москве, Ярославле и проч.), они служат лишь мерилом и показателем постепенного роста городского населения. Вместе с тем все эти города представляют собою однородные картины – в дни, посвященные церковному празднованию св. великомученика Победоносца Георгия и св. муч. Флора и Лавра, с тем приметным различием, что в первом случае главная роль принадлежит женщинам, во втором – исключительно мужчинам. На этих двух праздниках и сосредоточивается, собственно, всенародное молитвенное настроение в пользу тех домашних животных, которые составляют основу и главную поддержку всего домашнего строя жизни и деревенского быта. По смыслу этого закона, и самые празднества являются выдающимися, обставленными доступною торжественностью и очень яркими проявлениями слепой и твердой веры в могущественную помощь святых защитников и покровителей. Эти два праздника, по их распространенности, мы имеем полное право назвать именно всенародными и всероссийскими.

VII.
КАСЬЯН-НЕМИЛОСТИВЫЙ

В ряду святых угодников, чтимых православным народом, Касьян занимает совершенно исключительное место – это нелюбимый святой, «немилостивый». В некоторых местах, как, например, в Пензенской губ. Саранского уезда, он даже не считается святым и не признается русским, а само имя Касьян слывет как позорное. В Вологодской же губ. (Кадник. уезда) Касьяна считают как бы «опальным» святым и рассказывают о нем следующую легенду: «Св. Касьян сначала был светлым ангелом, почему Бог не имел нужды таить от него свои планы и намерения. Но затем святой этот соблазнился на обещания и уловки нечистой силы и, перейдя на сторону диавола, шепнул ему, что Бог намерен свергнуть всю сатанинскую силу с неба в преисподнюю. Однако впоследствии Касьяна стала мучить совесть, он раскаялся в своем предательстве и пожалел о прежнем житье на небе и о своей близости к Богу. Тогда Господь

внял мольбам грешника и сжалился над ним, но, из осторожности, все-таки не приблизил его к себе, а приставил к нему ангела-хранителя, которому и приказал заковать Касьяна в цепи и бить его по три года тяжелым молотом в лоб, а на четвертый отпускать на волю».

Но не это отступничество от Бога послужило источником охлаждения православных темных людей к Касьяну, а главным образом его «немилостивое» отношение к бедному народу. Вот что говорит на этот счет другая легенда, записанная в Зарайском у. Рязанской губ. «Однажды Касьян вместе с Николаем Чудотворцем шел по дороге и встретился им мужичок, который увязил воз в грязи. “Помогите, – просит мужичок, – воз поднять”. А Касьян ему: “Не могу, – говорит, – еще испачкаю об твой воз свою райскую ризу, как же мне тогда в рай придти и на глаза Господу Богу показаться?” Николай же Чудотворец ни словечушка мужику не ответил, а только уперся плечом, натужился, налег и помог воз вытащить. Вот пришли потом Николай Угодник с Касьяном в рай, а у Николая-то вся как есть риза в грязи выпачкана. Бог увидал это и спрашивает: “Где это ты, Микола, выпачкался?” – “Я, – говорит Николай, – мужику воз помогал из грязи вытаскивать”. – “А у тебя отчего риза чистая, ведь ты вместе шел?” – спрашивает Господь Касьяна. – “Я, Господи, боялся ризу запачкать”. Не понравился этот ответ Богу, увидал Он, что Касьян лукавит и определил: быть Касьяну именинником раз в четыре года, а Николаю Угоднику, за его доброту, два раза в год». – Хотя эта легенда пользуется на Руси самым широким распространением, но все-таки есть места, где ее не знают. Так, в Новгородской губ. (Борович. у.) крестьяне несколько иначе объясняют тот факт, что день Касьяна празднуется только раз в четыре года (29 февраля). «Св. Касьян, – говорят они, – три года подряд в свои именины был пьян и только на четвертый год унялся и праздновал своего ангела в трезвом виде – вот почему и положено ему быть именинником через три года раз».

Сообразно с такой оценкой нравственных свойств Касьяна установилось и отношение к нему: крестьяне не только не

любят, но и боятся этого святого: «Касьян на что взглянет – все вянет», – говорят мужики и твердо верят, что у Касьяна недобрый взгляд: если он взглянет на скотину – околеет скотина, взглянет на лес – засохнет лес и погибнет, взглянет на человека – будет тому человеку великое несчастье. Применительно к такому пониманию в народном языке сложилось даже несколько поговорок, характеризующих «глаз» Касьяна. Про угрюмого, тяжелого и несообщительного человека говорят, что «он Касьяном смотрит». Про человека, способного сглазить, замечают: «Касьян косоглазый, от него, братцы, хороните все, как от Касьяна, – живо сглазит, да так, что потом ни попы не отчитают, ни бабки не отшепчут». «Глаз Касьяна» считается настолько опасным, что в день 29 февраля крестьяне не советуют даже выходить из избы, чтобы не случилось какого-нибудь непоправимого несчастья, в особенности опасно считается выходить до солнечного восхода (в Орловской и Рязанской губ. крестьяне стараются даже проспать до обеда, чтобы таким образом переждать самое опасное время).

К этой характеристике св. Касьяна в Вологодской губ. прибавляют еще одну черту, которая рисует этого святого врагом человеческого рода. Здесь существует легенда, что Касьяну подчинены все ветры, которые он держит на двенадцати цепях, за двенадцатью замками. В его власти спустить ветер на землю и наслать на людей и на скотину мор (моровое поветрие). В Вятской же губ. к этой легенде присовокупляют, что сам Бог приказал образ св. Касьяна ставить в церквах на задней стене, то есть над входною дверью.

При таком воззрении народа на св. Касьяна не мудрено, что високосный год повсюду на Руси считается несчастным и опасным, а самый опасный день в этом году – Касьянов.

VIII. ПЛЮЩИХА

Под таким названием известен в народе день св. Евдокии, празднуемый 1 марта. Название это связывается с переменами,

происходящими в это время в природе: от теплой погоды снег начинает подтаивать, оседать и как бы сплющивается. В некоторых местах св. Евдокия называется также «свистуньей», потому что в это время начинают дуть и свистать весенние ветры, а в старину народ именовал ее «весенницей», так как эта святая женщина заведывала у Бога весною. У нее хранились ключи от весенних вод: захочет «весенница» – рано пустит воду, не захочет или прогневается – задержит, а то так и морозы напустит. Оттого в доброе старое время крестьяне боялись св. Евдокии и 1 марта никогда не работали.

Но зато теперь в день св. Евдокии деревенская Русь не устраивает никаких религиозных торжеств и ничем не отличает этот день в ряду второстепенных церковных праздников. Только бабы обязательно приходят в церковь и заказывают молебны перед иконой Евдокии, так как эта святая считается покровительницей овец. Зато в календарном отношении с днем Евдокии связывается много примет, предвещающих хорошие урожаи, хорошую погоду и пр. «На Плющиху погоже – и все лето пригоже», – говорят крестьяне. – «Отколь ветер на Плющиху подует, оттоль придет и весна». Но в то же время крестьяне сознают, что в начале марта погода еще бывает капризна и вместо весеннего тепла разражается иногда метелью. «На Евдокию еще собачку в сидячку снегом заносит», – говорит народ о таких капризах погоды. Однако эти случайные вспышки зимы уже никого не обманывают, все знают, что св. Евдокия – предвестница весны и что весеннее солнце скоро возьмет свое. В некоторых деревнях женщины и дети начинают даже «кликать весну», для чего влезают на крыши или на пригорок и поют приличествующие случаю песни (веснянки). Точно так же во многих местах крестьяне приносят в этот день из лесу сучьев, топят избы, «чтобы весна была теплая», скидывают с кровли снег, а вечером примечают: если на крышах сосульки долгие, то и лен будет хороший, в особенности куделью. Вообще крестьяне верят, что на Евдокию-«Капельницу» все подземные ключи закипают, а бабы с этого дня начинают белить холсты.

IX.
СОРОКИ

День сорока мучеников Севастийских (9 марта) носит на языке народа название *Сорок*, а иногда *куликов*. В этот день, по воззрению крестьян, прилетают из теплых стран сорок птиц и первая из них – жаворонок. «Бывает, – уверяют опытные старики-крестьяне, – что прилетают жаворонки и раньше, да только те непутящие: прилетит и вмерзнуть может. А уж тот жаворонок, который на Сороки прилетит, тот настоящий, он не сдохнет».

Сороки с полным основанием можно назвать детским праздником: еще накануне женщины месят из ржаной муки тесто и пекут «жаворонков» (в большинстве случаев, с распростертыми крылышками, как бы летящих, и с хохолками), а утром, в день праздника, раздают их детям. Кроме того, утром же одна из женщин делает на дворе сорок соломенных гнездышек и в каждое кладет по яичку из теста (это делается отчасти для того, чтобы куры не ходили по чужим дворам, а неслись дома, отчасти же с целью потешить ребят). Когда жаворонки поспеют, дети берут их и громадной гурьбой, с криками и звонким детским смехом несут куда-нибудь в сарай или под ригу – закликать жаворонков. Там они сажают своих птиц всех вместе на возвышенное место и, сбившись в кучу, начинают, что есть мочи, кричать: «Жаворонки, прилетите, студену зиму унесите, теплу весну принесите: зима нам надоела, весь хлеб у нас поела». В некоторых местах (например в Орловской губ.) эта детская песня заменяется другой: «Уж вы кулички-жаворонки, солетайтеся, сокликайтеся. Весна-красна, на чем пришла? На кошечке, на бороночке, на лошадиной голове, на овсяном снопочку на ржаном колосочку, на пшеничном зернышку-у-у!..»

Эта песня поется несколько раз. Затем ребятишки разбирают своих жаворонков и с тою же песней бегут по деревне. Так продолжается до самого обеда: деревня полна детских песен, детского крика, детского смеха. Набегавшись вволю,

ребятишки опять собираются в одно место и начинают есть своих ржаных птиц. Едят обыкновенно всю птицу за исключением головы, которую малыши берегут каждый для своей матери. Кончается празднество тем, что ребятишки целуются между собой, поздравляют друг друга с весенним праздником и разбегаются по домам. А дома каждый мальчик отдает голову жаворонка матери со словами: «На-ко, мама, тебе головку от жаворонка: как жаворонок высоко летел, так чтобы и лен твой высокий был. Какая у моего жаворонка голова, так чтобы и лен такой головастый был». Так протекает этот прекрасный детский праздник в Орловской губ. В Пензенской же жаворонки пекутся и для взрослых, которые по этим птичкам гадают. Прежде чем посадить жаворонков в печь, закладывают в каждого какую-нибудь вещицу: кольцо, щепку, копейку. Каждая из этих вещей имеете символическое значение: кольцо, например, обозначает свадьбу, щепка – гроб, копейка – деньги и т. д. Но в других губерниях взрослые предоставляют жаворонков в исключительное распоряжение детей, сами же занимаются более гаданиями о будущем урожае, стараясь по погоде, какая была на Сороки, определить погоду весны и лета. Если, например, на Сороки было морозное утро, значит, жди весной сорок «утренников».

X.
МАСЛЕНИЦА

Устанавливая сырную неделю с ее полускоромной пищей, Православная Церковь имела в виду облегчить христианам переход от мясоеда к Великому посту и исподволь вызвать в душе верующих то молитвенное настроение, которое заключается в самой идее поста как телесного воздержания и напряженной духовной работы. Но эта попечительная забота Церкви повсеместно на Руси осталась гласом вопиющего в пустыне, и на деле наша масленица не только попала в число «праздников», но стала синонимом самого широкого, безбрежного разгула. В эту неделю наш скромный и набожный

народ как бы разгибает свою исполинскую спину и старается в вине и веселье потопить все заботы и тяготы трудовой будничной жизни. Насколько при этом бывает неудержим народный разгул, можно судить уж по одним эпитетам, которыми наделил народ масленицу. Она называется «веселой», «широкой», «пьяной», «обжорной», «разорительницей». Сверх того, ни одна неделя в году не изобилует так происшествиями полицейского характера и не дает такого значительного числа мелких процессов у мировых судей.

Празднование масленицы почти повсюду начинается с четверга, хотя работы во многих местах прекращаются уже с понедельника, так как крестьяне, озабоченные наступающим праздником обжорства, разъезжают по соседним базарам и закупают всякую снедь. По общему отзыву наших корреспондентов, закупки такого рода бывают, применительно к крестьянскому бюджету, очень велики: семья среднего достатка в 5–6 душ затрачивает от 5 до 10 руб. на водку, рыбу, постное масло, гречневую муку и всякие сладости. А если к этому прибавить еще расходы на обновки бабам и девушкам, то будет вполне понятно, почему масленица называется «разорительницей».

Впрочем, крестьяне, при всей их сдержанности и бережливости, не тяготятся этими расходами, так как на масленицу приходится принимать гостей и самим ходить в люди и, стало быть, нужно и угостить прилично, и одеться по-праздничному, чтобы соседи не засмеяли. Сверх того, масленица – любимый праздник у крестьян, когда вся православная Русь, от мала до велика, веселится до упаду и когда широкая русская натура любит развернуться вовсю. В масленичную неделю более чем скромная физиономия русской деревни совершенно преображается. Обыкновенно тихие, безлюдные улицы полны подгулявшего, расфранченного народа: ребятишки, молодежь, старики – все высыпало из душных хат за ворота и всякий по своему празднует широкую масленицу. Одни катаются на тормозках и салазках или с хохотом «поздравляют блины», опрокидывая в снег пьяного мужика, другие с надсадой орут песни

и, пошатываясь, плетутся вдоль деревенской улицы, третьи в новых нагольных тулупах сидят на завалинках и, вспоминая свою юность, глядят на оживленные группы, столпившиеся у качелей, и на всю горластую шумную улицу, по которой взад и вперед снуют расфранченные девушки, подгулявшие бабы, полупьяные парни и совсем пьяные мужики. Всюду весело, оживленно, всюду жизнь бьет ключом, так что перед глазами наблюдателя в какие-нибудь пять минут промелькнет вся гамма человеческой души: смех, шутки, женские слезы, поцелуи, бурная ссора, пьяные объятия, крупная брань, драка, светлый хохот ребенка. Но все-таки в этой панораме крестьянской жизни преобладают светлые тона: и слезы, и брань, и драка тонут в веселом смехе, в залихватской песне, в бравурных мотивах гармоники и в несмолкающем перезвоне бубенцов. Так что общее впечатление получается веселое и жизнерадостное: вы видите, что вся эта многолюдная деревенская улица поет, смеется, шутит, катается на санях. Катается особенно охотно: то там, то здесь из ворот вылетают тройки богачей с расписными, увитыми лентами дугами или выбегают простенькие дровни, переполненные подвыпившими мужиками и бабами, во всю мочь горланящими песни. От этих песен изнуренные, костлявые, но разукрашенные ленточками и медными бляхами крестьянские лошаденки дрожат всем телом и под ударами захмелевших хозяев мчатся во весь дух вдоль деревенской улицы, разгоняя испуганные толпы гуляющих. Никогда не достается так крестьянским лошадям, как в дни масленицы. Обыкновенно очень сердобольные к своей скотине крестьяне берегут и холят лошадей больше, чем собственных ребят, но на масленицу, под пьяную руку, всякая жалость к скотине пропадает. На худых, заморенных клячонках делают десятки верст, чтобы попасть на так называемые съездки, то есть грандиозные катания, устраиваемые в каком-нибудь торговом селе. До какой степени бывают велики эти «съездки», можно судить по тому, что, например, в селе Куденском (Вологодской губ. и уезда) лошадей на кругу бывает от 600 до 800. Еще с утра из всех окрестных деревень съезжается

сюда молодежь и останавливается или у родных, или в тех домах, где есть «игровые» или знакомые девушки. А часам к трем пополудни начинается катанье. Катают, как водится, всего охотнее молодых девушек, причем девушки, если их катает кучер из чужой деревни, должны напоить его допьяна и угощать гостинцами. Много катаются и бабы (причем, из суетного желания похвастать, подвертывают сзади шубы, чтобы показать дорогой мех, и никогда не надевают перчаток, чтобы все видели, сколько у них колец). Но всех больше катаются «новожены», то есть молодые супруги, обвенчавшиеся в предшествовавший мясоед, так как обычай налагает на них как бы обязанность выезжать в люди и отдавать визиты всем, кто пировал у них на свадьбе.

Есть предположение, что масленица в отдаленной древности была праздником, специально устраиваемым только для молодых супругов: для них пеклись блины и оладьи, для них заготовлялась пиво и вино, для них закупались сласти. И только впоследствии этот праздник молодых стал общим праздником. Не беремся судить, насколько это предположение справедливо и как велика его научная ценность, но, несомненно, что почто подобное в старину было. По крайней мере, на эту мысль наводит существование множества масленичных обрядов и обычаев, в которых центральное место предоставляется «новоженам». Сюда, например, относятся так называемые столбы.

«Столбы» – это в своем роде выставка любви. Обычай этот принадлежит, несомненно, к числу древнейших, так как, по своей ребяческой наивности и простоте, он ярко напоминает ту далекую эпоху, когда весь уклад деревенской жизни не выходил за пределы патриархальных отношений. Состоит этот обычай в том, что молодые, нарядившись в свои лучшие костюмы (обыкновенно в те самые, в которых венчались), встают рядами («столбами») по обеим сторонам деревенской улицы и всенародно показывают, как они любят друг друга.

– Порох на губах! – кричать им прохожие, требуя, чтобы молодые поцеловались.

Или:

– А нуте-ка, покажите, как вы любитесь?

Справедливость требует, однако, заметить, что праздничное настроение подвыпивших зрителей создает иногда для «новоженей» (и в особенности для молодой) чрезвычайно затруднительное положение: иной подкутивший гуляка отпустит столь полновесную шутку, что молодая зардеет, как маков цвет. Но неловкость положения быстро тонет в общем праздничном весельи, тем более что и самые «столбы» продолжаются недолго: час, другой постоят и едут кататься или делать визиты, которые точно так же входят в число ритуальных обязанностей молодых. В некоторых местностях (напр., в Вологодской губ.) визиты начинаются еще в мясное (последнее перед масленицей) воскресение. В этот день тесть едет звать зятя «доедать барана». Но чаще первый визит делают молодые. Обыкновенно в среду, на масляной, молодой с женою едет в деревню к тестю «с позывом» на праздник и после обычных угощений возвращается уже вместе с тестем и тещей. Случается и так, что масленичные визиты молодых носят общесемейный характер: молодые с родителями жениха отправляются в дом родителей невесты и начинается угощение сватов. Молодые при этом играют роль почетных гостей: их первых сажают за стол и с них начинают обносить яствами. Пиршество обыкновенно длится чрезвычайно долго, так как масленица – праздник еды по преимуществу и обилие блюд считается лучшим доказательством гостеприимства. После бесконечного обеда молодые обыкновенно катаются на санях вместе с бывшими подругами невесты, а сваты в это время начинают уже свою попойку, которая заканчивается только к ночи с тем, чтобы на другой день начаться снова уже в доме родителей жениха.

Не везде, однако, масленичные визиты молодых проходят так мирно и гладко. В некоторых местах, например, в Хвалынском уезде (Саратовской губ.) визит молодых к теще и поведение при этом зятя принимает иногда характер резко выраженной вражды. Это бывает в тех случаях, когда молодой считает себя обманутым. Тут уж, как ни старается теща «разлепешить-

ся в лепешку» перед молодым, но он остается непреклонным. На все угощения отвечает грубо: «не хочу, от прежних угощений тошнит... сыт, дома наелся», а то и просто нанесет теще какое-нибудь символическое оскорбление: накрошит блин в чашки с кислым молоком, выльет туда же стакан браги и вина и, подавая жене, скажет: «На-ко, невинная женушка, покушай и моего угощенья с матушкой: как тебе покажется мое угощенье, так мне показалось ваше». Иногда раскуражившийся зять не ограничивается символами и при теще начинает, по выражению крестьян, «отбивать карахтер» молодой жене. А случается, что и теща получит один, другой подзатыльник. Достойно примечания, что ни молодая, ни теща почти никогда в таких случаях не протестуют, так как сознают свою вину. Удивительно также, что тесть не только не останавливает зятя, но по уходу молодых считает своим долгом поучить старуху, чтобы лучше смотрела за девками[1].

Кроме молодых, масленичные визиты считаются обязательными и для кумовьев. Родители новорожденных детей ходят к кумовьям «с отвязьем», то есть приносят им пшеничный хлеб – «прощенник» (этот хлеб приготовляется специально для масленицы, он печется с изюмом и украшается вензелями). В свою очередь кум и кума отдают визит крестнику, причем оделяют его подарками: кроме «прощенника», кум приносит чашку с ложкой, а кума ситцу на рубашку, более же богатые кумовья дарят свинью, овцу, жеребенка.

Кроме «столбов» и обязательных визитов, в некоторых отдаленных углах северных губерний уцелели еще остат-

[1] Отмечаем малораспространенный, но очень оригинальный обычай, наблюдаемый в Пензенской губ., – это «хождение молодых с мылом». В среду или четверг масленицы отец молодых посылает их к свату. Здесь их угощают деревенскими сластями, а вечером сюда же приходят подруги молодой и ее родственники. В этот вечер молодая вспоминает свое девичье житье (так назыв. перегулки, как бы повторение свадьбы) и веселье продолжается далеко за полночь. Наутро же переночевавшие у тестя молодые ходят с визитами к родственникам, причем берут с собою кусочки мыла и пирожки по числу родных. Придя в дом родственника и помолившись, они дают хозяину кусочек мыла и пирожок, а домохозяин отдаривает их мелкими деньгами.

ки весьма своеобразного масленичного обычая, в котором также фигурируют молодые и происхождение которого восходит ко временам очень отдаленной старины. Так, в Вологодской губернии крестьяне собирают с молодых дань «на меч», т. е., попросту говоря, требуют выкуп за жену, взятую из другой деревни. Уже само название этого выкупа – «на меч» – показывает, что обычай возник еще в ту эпоху, когда и мирный земледелец нуждался в оружии, чтобы защищать свой очаг, и свое достояние, то есть приблизительно в эпоху удельных князей (а может быть, и ранее, потому что сам факт уплаты выкупа, и притом не родителям невесты, а ее односельчанам, позволяет заключить, что возникновение обычая относится к родовому периоду).

В нынешнее время, когда в оружии уже нет надобности, деньги, полученные с молодого, идут, конечно, не «на меч», а на водку (которая распивается всем миром) и на чай-сахар для баб.

По свидетельству нашего корреспондента, эта своеобразная подать взыскивается или в день свадьбы, или в мясное (последнее перед масленицей) воскресение и притом взыскивается по всей строгости обычаев: ни просьбами, ни хитростью молодому от выкупа не отвертеться.

Не менее оригинальный обычай сохранился и в Вятской губ. Известен он под именем «целовника» и состоит в том, что в субботу, на масленице, подгулявшая деревенская молодежь ездит целовать молодушек, которые живут замужем первую масленицу. По установившемуся ритуалу, молодая подносит каждому из гостей ковш пива, а тот, выпив, трижды целуется с ней.

В старину одним из наиболее популярных масленичных развлечений были кулачные бои: крестьяне и горожане одинаково любили поразмять косточки в драке и побоища сплошь и рядом принимали грандиозный характер, заканчиваясь иногда более или менее тяжелыми увечьями. Но в наше время забава эта взята под опеку полиции и заметно выводится из употребления. Однако и теперь во Владимирской губ. и в медвежьих углах далекого севера, а также кое-где в Сибири

уцелели любители кулачных развлечений. Так, например, наш вытегорский корреспондент (Олонецкой губ.) сообщает, что в некоторых волостях у них и поныне устраиваются настоящие сражения, известные под невинным названием «игры в мяч». Состоит эта игра в следующем: в последний день масленицы парни и семейные мужики из нескольких окольных деревень сходятся куда-нибудь на ровное место (чаще всего на реку), разделяются на две толпы, человек в тридцать каждая, и назначают места, до которых следует гнать мяч (обыкновенно сражающиеся становятся против средины деревни, причем одна партия должна гнать мяч вниз по реке, другая вверх). Когда мяч брошен, все кидаются к нему и начинают пинать ногами, стараясь загнать в свою сторону. Но пока страсти не разгорелись, игра идет довольно спокойно: тяжелый кожаный мяч, величиною с добрый арбуз, летает взад-вперед по реке и играющие не идут дальше легких подзатыльников и толчков. Но вот мяч неожиданно выскочил в сторону. Его подхватывает какой-нибудь удалец и, что есть духу, летит к намеченной цели: еще 20–30 саженей и ловкий парень будет победителем; его будут прославлять все окольные деревни, им будут гордиться все девушки родного села!.. Но не тут-то было. Противная партия отлично видит опасность положения: с ревом и криком она прорывается сквозь партию врагов и со всех ног кидается за дерзким смельчаком. Через минуту удалец лежит на снегу, а мяч снова прыгает по льду под тяжелыми ударами крестьянского сапога. Случается, однако, и так, что счастливец, подхвативший мяч, отличается особенной быстротой ног и успеет перебросить мяч на свою половину. Тогда противная партия делает отчаянные усилия, чтобы вырвать мяч, и пускает в ход кулаки. Начинается настоящее побоище. Около мяча образуется густая толпа из человеческих тел, слышатся глухие удары ног, раздаются звонкие оплеухи, вырывается сдавленный крик, и на снегу то там, то здесь алеют пятна брызнувшей крови. Но осатаневшие бойцы уже ничего не видят и не слышат: они все поглощены мыслью о мяче и сыплют удары и направо и налево. Постепенно над местом

побоища подымается густой столб пара, а по разбитым лицам струится пот, смешиваясь с кровью... Такой необыкновенный азарт этого русского «лаун-тенниса» объясняется тем, что проиграть партию в мяч считается большим унижением: побежденных целый год высмеивают и дразнят, называя их «киловниками» (очень обидная и унизительная кличка, обозначающая верх презрения). Наоборот, победители пользуются общим почетом, а парень, унесший мяч, положительно становится героем дня, с которым всякая девушка считает за честь посидеть на вечерках. Некоторым объяснением азарта служит и водка, которую на пари выставляют местные богачи, угощая потом победителей.

В других губерниях хотя не знают игры в мяч, но кулачные бои все-таки устраивают и дерутся с не меньшим азартом. Вот что сообщает на этот счет наш корреспондент из Краснослободского уезда (Пензенской губернии). «В последний день масленицы происходит ужасный бой. На базарную площадь еще с утра собираются все крестьяне, от мала до велика. Сначала дерутся ребятишки (не моложе 10 лет), потом женихи и, наконец, мужики. Дерутся, большею частью, стеной и «по мордам», как выражаются крестьяне, причем после часового упорного боя бывает «передышка». Но к вечеру драка, невзирая ни на какую погоду, разгорается с новой силой и азарт бойцов достигает наивысшего предела. Тут уже стена не наблюдается – все дерутся столпившись в одну кучу, не разбирая ни родных, ни друзей, ни знакомых. Издали эта куча барахтающихся людей очень походит на опьяненное чудовище, которое колышется, ревет, кричит и стонет от охватившей его страсти разрушения. До какой степени жарки бывают эти схватки, можно судить по тому, что многие бойцы уходят с поля битвы почти нагишом: и сорочки, и порты на них разодраны в клочья.

Сообщения наших корреспондентов о кулачных боях очень немногочисленны и носят, так сказать, характер исключений. Это, разумеется, дает полное основание предположить, что и в крестьянском быту средневековые нравы посте-

пенно отходят в область преданий и что успехи грамотности отражаются на характере народных развлечений самым благоприятным образом.

Но если кулачные бои как обломок темной эпохи средневековья мало-помалу исчезают с лица русской земли, то зато в полной силе сохранился другой старинный обычай, не имеющий, впрочем, ничего общего с грубой и дикой дракой, – это русский карнавал. Мы употребляем это слово, конечно, не в том смысле, какой придается ему в Италии или во Франции, хотя западноевропейский карнавал с его заразительным, ликующим весельем, с его разряженной смеющейся толпой, оживленно пародирующей в уличных процессиях, имеется и у нас, – только, разумеется, условия нашего климата и особенности деревенского быта не позволяют этому празднику принять характер того пышного торжества, какое мы наблюдаем у народов Запада. Наш деревенский карнавал гораздо проще, беднее и первобытнее. Начинается он обыкновенно в четверг на масляной неделе. Парни и девушки делают из соломы чучело, одевают его в женский наряд, купленный в складчину, и затем в одну руку вкладывают бутылку с водкой, а в другую блин. Это и есть «сударыня-масленица», героиня русского карнавала. Чучелу становят в сани, а около прикрепляют сосновую или еловую ветку, разукрашенную разноцветными лентами и платками. До пятницы «сударыня-масленица» хранится где-нибудь в сарае, а в пятницу, после завтрака, парни и девушки веселой гурьбой вывозят ее на улицу и начинают шествие. Во главе процессии следует, разумеется, «масленица», рядом с которой стоит самая красивая и нарядная девушка. Сани с масленицей влекут три парня. За этими санями тянется длинная вереница запряженных парнями же салазок, переполненных нарядными девушками. Процессия открывается песней, которую затягивает первая красавица, с передних саней; песню дружным хором подхватывают остальные девушки и парни, и весь масленичный поезд весело и шумно движется по деревенской улице. Заслышав пение, народ толпой высыпает на улицу: ребятишки, взрослые и даже пожилые

крестьяне и крестьянки спешат присоединиться к шествию и сопровождают «масленицу» до самой катальной горы, где «сударыня-масленица» и открывает катание. Те самые парни, которые привезли ее на гору, садятся в сани, а прочие прикрепляют к саням салазки и целым поездом с хохотом, визгом и криком, несутся по обледенелой горе вниз. Катанье обыкновенно продолжается до самого вечера, после чего «сударыня-масленица» снова водворяется в сарай. На следующий день, в субботу, «масленица» снова появляется на улице, но теперь уже в сани вместо парней впрягают лошадь, увешанную бубенцами, колокольчиками и украшенную разноцветными лентами. Вместе с «сударыней» опять садится девушка, но уже не одна, а с парнем, причем у парня в руках четверть водки и закуска (и то, и другое покупают в складчину). За сани же, как и прежде, привязывают салазки, на которых попарно сидят девушки и «игровые» парни. Эта процессия с пением ездит по селу, причем парни пользуются всякой остановкой, чтобы выпить и закусить. Веселье продолжается до вечера, причем в катаньи принимают участие не только девушки, но и женщины. Последние, по сообщению нашего орловского корреспондента, катаются вместе с «сударыней-масленицей» не столько ради удовольствия, сколько для того, чтобы «зародился длинный лен». В воскресенье вечером «масленица» сжигается. Этот обряд обставляется со всей доступной для деревенской молодежи торжественностью. Еще загодя, ребятишки, девушки и парни несут за околицу старые плетни, испорченные бочки, ненужные дровни и проч. и складывают из этих горючих материалов огромный костер. А часов в 8–9 к этому костру направляется печальная процессия, причем девушки жалобными голосами поют: «сударыня-масленица, потянися». У костра «масленицу» ссаживают с саней и становят на снег, потом снимают с елки лепты и платки и делят их между девушками и поют масленичные песни. Когда же раздадутся снова песни: «шли, прошли солдатушки из-за Дона, несли ружья заряжены, пускали пожар по дубраве, все елки, сосенки погорели, и сама масленица спалилась» – пар-

ни зажигают «сударыню-масленицу». Сожжение масленицы оставляет, так сказать, заключительный аккорд деревенского веселья, за которым следует уже пост, поэтому присутствующие при сожжении обыкновенно швыряют в костер все остатки масленичного обжорства, как-то: блины, яйца, лепешки и пр. – и даже зарывают в снег самый пепел масленицы, чтобы от нее и следов не осталось.

Этот последний день масленицы называется «прощеным», и крестьяне посвящают его заговенью. Часа в 4 пополудни на сельской колокольне раздается печальный, великопостный благовест к вечерне и, заслышав его, подгулявшие мужички истово крестятся и стараются стряхнуть с себя веселое масленичное настроение: пустеют мало-помалу людные улицы, стихает праздничный говор и шум, прекращаются драки, игры, катанье. Словом, широкая, пьяная масленица круто останавливается и на смену ей приходит Великий пост. Приближение поста отражается и на душевном настроении крестьян, пробуждая у них мысль о покаянии и полном примирении с ближними. Едва смолкнет церковный звон и отойдет вечерня, как по избам начинают ходить родственники и соседи, прося друг у друга прощения. Низко, до самой земли кланяются крестьяне друг другу и говорят: «Прости, Христа ради, в чем я перед тобой согрешил». – «Прости и ты меня», – слышится в ответ та же просьба.

Впрочем, этот прекрасный, полный христианского смирения обычай стал понемногу вымирать. По свидетельству наших корреспондентов, в некоторых центральных губерниях он уже почти не существует, но зато в лесных губерниях севера, где обычаи вообще устойчивы и крепки, «прощание» соблюдается весьма строго и существует даже особый ритуал его. Пришедший просить прощения становится около дверей на колени и, обращаясь к хозяевам, говорит: «Простите меня со всем вашим семейством, в чем я нагрубил вам за этот год». Хозяева же и все, находящиеся в хате, отвечают: «Бог вас простит и мы тут же». После этого пришедшие прощаться встают и хозяева, облобызавшись с ними, предлага-

ют им угощение. А через какой-нибудь час прощаться идут уже сами хозяева, причем весь обряд, с угощением включительно, проделывается сначала[1].

Так, перекочевывая из избы в избу, ходят до света, причем, проходя по улице, и мужчины, и женщины считают долгом что есть мочи кричать: «Сударыня масленица, потянися!» или: «Мокрогубая масленица, потянися!».

Что касается деревенской молодежи, то она или совсем не придерживается обычая прощаться, или же прощанье ее принимает шутливый характер. Вот что на этот счет сообщает наш орловский корреспондент: парни и девушки становятся в ряд и один из парней подходит к крайнему с правой стороны и говорит ему: «Прости меня, милый Иван (или милая Дарья), в чем я перед тобой согрешил». Тот (или та) отвечают: «Бог тебя простит и я тут же». После этого три раза целуют друг друга. Так проходит прощающийся весь ряд и становится к стороне, за первым идет прощаться второй и т. д. При прощании, конечно, не обходится без шуток.

Некоторую особенность представляет прощанье в семейном кругу. Вот как это происходит в Саратовской губ. Вся семья садится за ужин (причем последним блюдом обязательно подается яичница), а после ужина все усердно молятся, и затем самый младший начинает кланяться всем по очереди и, получив прощенье, отходит к стороне. За ним, в порядке старшинства, начинает кланяться следующий по возрасту член семьи (но младшему не кланяется и прощенья у него не просит) и т. д. Последнею кланяется хозяйка, причем просит прощения только у мужа, глава же семьи никому не кланяется.

Хотя обычай просить прощения у родных и соседей, как только что было сказано, заметно выходит из употребления, но зато чрезвычайно твердо держится обычай прощаться с покойниками. По крайней мере, наши корреспонденты единодушно свидетельствуют, что такого рода прощанье сохранилось повсюду. Обычай ходить на кладбище в последний день масленицы поддерживается, главным образом, бабами.

[1] Точно таким же образом прощаются и в Орловской губ.

В четвертом часу пополудни они кучками, в 10–12 человек, идут с блинами к покойникам и стараются ничего не говорить по дороге. На кладбище каждая отыскивает родную могилку, становится на колени и бьет по три поклона, причем со слезами на глазах шепчет: «Прости меня (имя рек), забудь все, что я тебе нагрубила и навредила». Помолившись, бабы кладут на могилку блины (а иногда ставят и водку) и отправляются домой так же молча, как и пришли. При этом считается хорошим признаком, если на третий день на могиле не остается ни блинов, ни водки: это значит, что покойнику живется на том свете недурно и что он не помнит зла и не сердится на принесшего угощение.

XI.
ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Наш народ не только соблюдает посты во всей строгости церковного устава, но идет в этом отношении значительно далее, устанавливая, сплошь и рядом, свои постные дни, неизвестные Церкви. Так, почти в каждом селе, в каждой деревне можно встретить благочестивых старух и стариков, которые «понедельничают», то есть кроме среды и пятницы, постятся и по понедельникам. Некоторые же, в своей душеспасительной ревности, доходят до того, что за несколько лет до смерти или перестают совсем есть скоромное, или налагают на себя пост в частности: никогда, например, не едят мяса, молока, яиц, рыбы; не едят ничего с маслом, будь то скоромное или постное; безусловно воздерживаются от вина, от курения; дают обет никогда не есть яблок, картофеля, не пить квасу и пр. Наряду со стариками, добавочные посты налагают на себя и девушки, которые «выпащивают» женихов. До какой степени педантично крестьяне соблюдают свои обеты, можно судить по следующему, очень характерному случаю, рассказанному одним священником Вологодской губ. Какая-то деревенская старушка признавалась этому священнику на духу, что окаянный смутил ее и заставил в пост есть «скором».

На вопрос же священника, что именно она ела, – старушка поведала, что ела редьку, семена которой, перед садкой, были ращены в молоке. На том же основании крестьяне считают непростительным грехом пить постом чай с сахаром: чай и сам по себе напиток полугреховный, а с сахаром он считается безусловно скоромным, так как сахар, по понятиям крестьян, приготовляется из костей животных. При таком аскетически-строгом отношении к постам неудивительно, что и молоко матери считается для грудных ребят тоже греховной «скоромью», и еще не далеко ушло то время, когда в крестьянских избах стон стоял от ребячьего крика, так как во время строгих постов грудных детей кормили постной пищей, приказывая матерям не давать им груди.

Теперь, к счастью, это обыкновение повсеместно вывелось, и хотя молоко матери по-прежнему признается греховной «скоромью», но грех этот считается небольшим и падает он не на младенца, а на мать. Зато и теперь дети, уже отлученные от груди, обязательно должны соблюдать посты наряду с взрослыми. «Соблюдение постов, – пишет нам саратовский корреспондент из Хвалынского уезда, – не только влияет на здоровье, но и отражается на жизни детей. В большинстве случаев отнятие от груди ребенка совпадает с летним жарким временем: отнимают, по крестьянскому выражению, “на ягоды”, то есть в конце июня, в июле и августе и, таким образом, осложняют расстройство пищеварения ягодами, огурцами, яблоками, арбузами и пр., вследствие чего нередко появляется кровавый понос, а затем наступает и смерть. Но тем не менее “оскоромить младенческую душеньку” мать ни за что не решиться, и если ребенок умрет, то, стало быть, это Божья власть, и значит, ребенок угоден Богу». Такая же строгость в соблюдении постов предписывается и тяжко больным. Один фельдшер из Тотемского у. (Вологодской губ.) рассказывал нашему корреспонденту, что никак не мог убедить крестьян, больных кровавым поносом, пить молоко и есть яйца, так как в то время был пост. На все увещания больные отвечали ему: «Святые, вон, еще чаще постились, да дольше нас грешных

жили, а Иисус Христос сорок суток подряд ничего не ел». Вообще, крестьяне и крестьянки, особенно из числа пожилых, радеющих о спасении души, скорее решатся умереть, чем «опоганить душу» скоромной пищей, и только молодые, в редких случаях, уступают настояниям врачей и фельдшеров, да и то не иначе, как с разрешения духовного отца, который тщательно взвешивает, насколько болезнь серьезна и насколько постная пища может быть опасна для здоровья больного. При этом нелишне будет заметить, что если разрешение дается легко, то крестьяне теряют уважение к такому священнику как стоящему не на высоте церковных требований и способствующему своими поблажками тому «легкому» отношению к постам, какое свойственно только избалованным господам. «Нынче, – говорят они, – только нам, мужикам, и попоститься-то, а ученые да благородные постов соблюдать не будут – им без чаю да без говядины и дня не прожить».

Применительно к такому взгляду на посты, каждая деревенская хозяйка считает своим долгом иметь «постную» посуду, то есть особые горшки, миски и даже ложки, предназначенные исключительно для постных дней. Правило это соблюдается настолько строго, что богобоязненная баба ни за что и ни под каким видом не даст в своем доме поесть скоромного «даже проезжему»: «Мне страшно, как увижу, что в пост едят скором», – скажет она в свое оправдание. Исключение делают разве для «нехристей» – цыган, татар, немцев, да, пожалуй, для господ, – но и в таком случае посуда, из которой ели скоромное «нехристи», долгое время считается как бы оскверненной и хозяйки не велят домочадцам есть из нее, «пока татарин не выдохнется».

Кроме воздержания в пище, крестьяне считают необходимой принадлежностью поста и половое воздержание: считается большим грехом плотское сожительство с женой в постное время и виновные в таком проступке не только подвергаются строгому внушению со стороны священника, но выносят немало насмешек и от своих односельчан, так как бабы до тонкости разбираются в таких вещах и по дню рож-

дения младенца прекрасно высчитывают, соблюдали ли супруги «закон» в посты. Особенно зорко следят бабы, чтобы «закон» соблюдался деревенским причтом: считается несмываемым срамом для всей деревни, если в беззаконии будет изобличен пономарь, дьячек, дьякон, а особенно священник. У Глеба Успенского приводится случай, когда мужики чуть ли не всем «обчеством» потребовали объяснения у батюшки, которого бабы изобличили в нарушении правил Великого поста. «Что же это ты, батя?– укоризненно покачивая головой, спрашивали мужики, – все то ты говоришь нам “абие, абие”, а у самого то у тебя выходит одно «бабие”».

Следя строго за собой, взрослое население неослабно следит и за деревенской молодежью, наблюдая, чтобы парни и девушки не затевали игрищ и ни под каким видом не смели петь мирских песен, не говоря уже о плясовых и хороводных. Вместо этих песен, молодежи предоставляется петь так называемые стихи, по характеру своему близко подходящие к старообрядческим «псальмам». Все эти стихи отличаются своим грустным, монотонным напевом, близко подходящим к речитативу, – по содержанию же большая часть стихов носит характер религиозный или нравоучительный. Для образца приводим один из таких стихов.

– Мати Мария,
Где ты спала, ночевала?
– Во Божьей церкви, во соборе
У Христа Бога на престоле.
Мне приснился сон страшный,
Будто я Христа Бога породила
В пелену его пеленала,
В шелковый пояс обвивала...
Тут пришли жиды, нехристиане,
Взяли нашего Бога распинали,
В ручки ножки гвоздей натыкали.
Стала Мати Мария плакать и рыдать,
Стали ангелы ее утешать:

–Ты не плачь, не плачь, Мати Мария,
Твой сын воскреснет из гроба.
Затрубите вы в трубу золотую,
Встаньте вы, живые и мертвые!
Праведным душам – царствие небесное,
А грешным душам – ад кромешный:
Им в огне будет гореть – не сгореть,
Им в смоле кипеть – не скипеть.

Если столь строгое воздержание от всего греховного и соблазнительного соблюдается, в большей или меньшей степени, во все посты, то легко представить себе, насколько педантично постятся крестьяне в Великий пост, подготовляя себя к говению и к достойной встрече величайшего из христианских праздников – Св. Пасхи. Во время говения многие старики и старухи едят один раз в день и притом отнюдь не вареную пищу, а в сухомятку: хлеб или сухари с водою. Наиболее же благочестивые стараются, по возможности, ничего не есть всю Страстную неделю, разрешая себе только воду. Для детей в благочестивых семьях «дневное голодание» обязательно только в Страстную пятницу, так как народ верит, что полное воздержание в этот день от пищи дает постнику прощение от всех грехов, совершенных после последней исповеди. Правда, дети лишь с большим трудом выдерживают столь строгий пост и нередко, по забывчивости, свойственной ребяческому возрасту, хватаются за корки, но таких «бесстыдников» матери останавливают обычной угрозой: «А вот, поп тебе как отрежет ухо, да как отхлещет тебя кобыльей ногой, – так будешь знать!».

Говеют крестьяне обыкновенно раз в год, Великим постом, и в преклонном возрасте несут эту христианскую обязанность с поразительной аккуратностью: некоторые старухи говеют даже два, три и четыре раза. Но зато молодые крестьяне, по отзывам некоторых приходских священников, иногда позволяют себе манкировать говеньем, не бывая на исповеди по нескольку лет кряду. Правда, сами же священники при-

бавляют при этом, что такие безбожники составляют редкое единичное явление, так как крестьяне верят, что человек, не бывший семь лет у исповеди и не причащавшийся Св. Тайн, уже составляет добычу дьявола, который может распорядиться таким человеком по своему усмотрению.

Всего охотнее крестьяне говеют на первой, четвертой и Страстной неделе. В это время говеющие стараются как можно меньше говорить, чтобы не проронить пустого слова; по вечерам, если есть в семье грамотный, читается какая-нибудь божественная книга, и все слушают или молятся. Все церковные службы говеющие посещают добросовестно и аккуратно, а перед исповедью кланяются друг другу в ноги, прося простить Христа ради согрешения. Обычай не позволяет только, чтобы старшие кланялись в ноги младшим. Поэтому «большак», идя на исповедь, ограничивается лишь тем, что скажет домочадцам: «простите, коли зря сделал», и слегка поклонится.

Каждый взрослый говельщик, подходя исповедоваться, кладет в стоящее возле священника блюдо мелкую монету, а в некоторых приходах заведено, сверх того, класть вместе с монетой и свечу, которая точно так же поступает в доход священника. После исповеди, прослушав «правило», говеющий кладет еще одну монету, уже на блюдо возле псаломщика, и после разрешительной молитвы все расходятся по домам, поздравляя друг друга «с очищением совести»[1].

К принятию Св. Тайн готовятся как к празднику: каждый старается приодеться, по возможности, лучше, а некоторые женщины из самых богатых деревенских жительниц (не крестьянки) считают даже за грех являться к причастию не в новом наряде. Девушки же, по народному обычаю, должны приступать к таинству с расплетенной косой: волосы при этом

[1] Некоторые священники жалуются (в нашем распоряжении имеется несколько таких жалоб), что крестьяне-говельщики подчас недобросовестно расплачиваются с причтом: «за исповедь еще положит что-нибудь, а за правило только тычет пустой рукой в блюдо». Эти случаи недобросовестной расплаты дают повод делать самые широкие и, конечно, непродуманные обобщения о крестьянской непорядочности и о том, что, дескать, при всей строгости мужицкого поста крестьянин все-таки не прочь пойти на обман.

либо распускаются по плечам, либо завязываются в пучок, но в косу ни в каком случае не заплетаются.

После причастия считается великим грехом плевать, смеяться, ругаться, сердиться и ссориться, так как этим можно отогнать от себя святого ангела, который бывает при человеке после принятия Св. Тайн. Считается также грехом класть земные поклоны, так как при неосторожном движении человека (а в особенности беременную женщину) может стошнить, и тогда рвоту придется собирать в чистую тряпочку и жечь в печи, чтобы предохранить св. дары от невольного осквернения. За все эти грехи, как и вообще за неблагоговейное отношение к причастию, Господь иногда жестоко наказывает нечестивых, а иногда вразумляет их. В Пошехонье, например, известен на этот счет такой рассказ. Один раскольник, притворившись православным, причастился в церкви вместе со всеми, но причастия не проглотил, а удержал во рту. Придя домой, он раскрыл один из ульев и бросил туда причастие. Но вечером того же дня раскольник услыхал, что в подполье, где у него стояли ульи, раздается пение и поют так хорошо, что рассказать нельзя. Спустившись в подполье, раскольник заметил, что пение исходит из того улья, в который он бросил причастие. Когда же он раскрыл его, то увидел, что пчелы сделали из сотов престол и на престоле лежит выброшенное им причастие, от которого исходит ослепительный свет. Испуганный раскольник во всем покаялся священнику и стал православным.

Для полноты характеристики Великого поста необходимо остановится еще на некоторых обрядах и обычаях, приуроченных к крестопоклонной среде и вербному воскресению и составляющих особенность великопостных почитаний. В среду крестопоклонной недели во всех крестьянских домах пекут из пресного пшеничного теста кресты по числу членов семьи. В крестах запекают или куриное перышко, «чтобы куры велись», или ржаное зерно, «чтобы хлеб уродился», или, наконец, человеческий волос, «чтобы голове легче было». Кому попадется крест с одним из этих предметов, тот считается счастливым. В среду же крестопоклонной недели

«ломается» пост и маленькие дети ходят под окна поздравлять хозяев с окончанием первой половины поста. В некоторых местностях этот обычай поздравленья выражается в очень оригинальной форме: ребятишек-поздравителей садят, как цыплят, под большую корзину, откуда они тоненькими голосами поют: «Здравствуйте, хозяин – красное солнышко, здравствуйте, хозяюшка – светлый месяц, здравствуйте дети – яркие звездочки!.. Половина говенья переломилась, а другая наклонилась». Простодушных ребят-поздравителей принято обливать при этом водой, а затем, как бы в награду за перенесенный испуг, им дают кресты из теста.

В Вербное воскресенье крестьяне во время утрени молятся с освященною вербой и, придя домой, глотают вербные почки для того, чтобы предохранить себя от болезни и прогнать всякую хворь. Детей своих (а также и скотину) крестьяне слегка хлещут вербой, приговаривая: «Не я бью – верба бьет, верба хлест бьет до слез». В этот же день бабы пекут из теста орехи и дают их для здоровья всем домочадцам, не исключая и животных. Освященную вербу берегут до первого выгона скота (23 апреля), причем всякая благочестивая хозяйка выгоняет со двора скот непременно вербой, а самую вербу затем или «пускают на воду», или втыкают под крышу дома, с тою целью, чтобы скотина не только сохранилась в целости, но чтобы и домой возвращалась исправно, а не блуждала бы в лесу по нескольку дней.

Наряду с этими общепринятыми обычаями, связанными с священной вербой, в некоторых местах, как, например, в Козловском уезде (Тамбовской губ.), существует мнение, что освященная верба, брошенная против ветра, прогоняет бурю и, брошенная в пламя, останавливает действие огня, а воткнутая в поле – сберегает посевы.

В том же Козловском уезде распространено верование, что всякий трус, желающий избавиться от своего недостатка, должен в вербное воскресенье, по приходе от заутрени, вбить в стену своего дома колышек освященной вербы – средство это если не превратит труса в героя, то, во всяком случае, прогонит

природную робость. В уездах же Темниковском и Елатомском, той же Тамбовской губ., советуют всем неплодным женщинам есть почки освященной вербы, уверяя, что после этого женщина непременно начнет рожать детей.

XII. БЛАГОВЕЩЕНИЕ

По силе народного почитания и по размерам чествования христианских праздников в сельском быту, отведены первые места Рождеству Христову и Св. Пасхе, с тем различием, что на юге России и западе воздается большая честь и хвала первому, а по всей Великороссии – второму. На третьем же месте излюбленных торжественных дней Св. Церкви повсеместно поставлен день 25 марта – Благовещение Пресвятыя Богородицы, и притом в самые первые времена водворения на нашей земле Православия. Ярослав I, оградивший город Киев каменною стеною со входными в нее золотыми воротами, построил над ними Благовещенскую церковь и сказал устами летописца: «Да сими врата благие вести приходят ко мне в град сей молитвами Пресвятыя Богородицы и св. архангела Гавриила – радостей благовестника». Такой же храм был сооружен над воротами новгородского кремля, и затем вошло в обычай ставить надворотные благовещенские церкви во всех больших старых монастырях, включительно до позднейшего из них – Александро-Невской лавры.

В обиходе трудовой деревенской жизни самый праздник считается днем полнейшего покоя и совершенной свободы, понимаемых в таком обширном значении, что, например, во многих черноземных местах целые семьи вечером, при закате солнца, идут на мельницы и здесь располагаются на соломе все, и стар и млад, для мирной беседы о том, какова будет наступающая весна, каков посев, какова пахота, каков урожай. В этот день благословения на всякое доброе дело, в особенности же на земледельческий труд, – в день, когда даже грешников в аду перестают мучить и дают им отдых и свободу, –

величайшим грехом считается мельчайшая работа, даже отход или отъезд в дорогу для заработков. Не праздное веселье с приправою праздничного разгула, а именно сосредоточенное, молчаливое раздумье приличествует этому празднику совершенного покоя, свободы от дел, основанной на непреложном веровании и повсеместном убеждении, что «в Благовещеньев день – птица гнезда не завивает, девица косы не заплетает». Доказательство (по старинной легенде) у всех на глазах: кукушка не имеет своего гнезда, она не умеет его строить и потому старается положить яйца в чье-либо чужое и готовое. Она несет такое божеское наказание за то, что дерзнула в Благовещеньев день свить себе гнездо, когда даже глупая курица на такую работу не пускается[1]. В качестве продолжения этого поверья существует и еще одна легенда: птичка снегирь не пустил в свое гнездо кукушек и снялся драться с самцом, которого и убил. С тех пор кукушка осталась горемычною вдовою, а сам победитель остался навсегда с несмываемым знаком боя и победы: со следами крови кукушкина самца на своих перьях и на всем красном зобу. Все птицы в особенности бодро и радостно встречают этот праздник – поверье, отразившееся на прекрасном обыкновении выпускать на волю заточенных в клетки птичек, проникшее в цивилизованные города и породившее там особый род спекуляции в виде торговли птицами, совершенно почти неизвестной в наших деревнях.

Ни на один день в году не приходится столько примет и гаданий, как на день Благовещенья: от него находится в зависимости наибольшее количество тех верований, которые укреплены на практических хозяйственных основах. Повсюду (как уже было упомянуто) главные надежды на успех земледельческого труда возлагаются на «благовещенскую просфору», являющуюся выдающейся принадлежностью праздничного чествования. В русских церквах ни в один из годовых или двунадесятых

[1] Придумано и так: если иная птица, по забывчивости, и совьет теплое гнездышко для своих малых птенчиков, то молния обязательно сожжет то гнездо. А видали также, что виновная птица некоторое время не летает по воздуху, а ходит по земле и яйца носит болтунами, – это Бог наказал ее за непочтение ко дню Благовещенья.

праздников не продается такого количества просфор. Каждый полагает своею обязанностью запастись хотя бы одним таким освященным хлебцем. Даже там, где приходов было мало, где церкви были значительно удалены и влияние духовенства было ничтожно, и там такие хлебцы пекутся самими крестьянами по числу членов семьи и неосвященными употребляются для той же цели. Их кладут в севалку на обеспечение благополучия всходов и урожая; измельченными в крошки смешивают с посевными семенами, примешивают в корм рабочему скоту и т. д. Сами хозяева посевного хлеба в поле из мешка в мешок не пересыпают. В день сева никому и ничего в займы не дают, пустые мешки с поля везут, а не несут, и с Благовещенья никто и никогда не станет сеять, чтобы не накликать неурожая. Есть даже поверье, что в какой день случился этот праздник, тот полагается несчастным для посевов и пахоты, а следующий за ним день самый удачный и счастливый.

Благовещенская просвирка, обнадеживающая хлебопашцев, не отказывает в своей силе-помощи, между прочим, и пчеловодам, по молитве их о том, чтобы «повелел Господь пчелам начать святые меды, желтые и белые, и частые рои в пожитке и миру христианскому в удовольствие». Просфорным порошком, смешанным с медом, прикармливают пчел (Тамбовск. губ.).

День Благовещенья, как и многие другие праздники, не обходится без того, чтобы не пристроили к нему некоторых суеверных примет и древних обычаев, например, относительно огня. Огонь стараются не зажигать ни в этот день, ни накануне, и вообще с этого дня считается грехом сидеть и работать с огнем по вечерам: иначе праздник, обиженный и непочтенный, накажет тем, что напустит на пшеницу головню, на пчел – ленивое роенье, и удачлив будет тот, кто догадается в этот день сжечь несколько щепоток соли в печи, а также и тот, кто с Благовещенья начинает спать в клети, так как жженая соль имеет целительную силу в горячках и лихорадках, а спанье на холоде, вообще, обеспечивает здоровье, укрепляя его.

Для тех верующих, у которых пугливое воображение настроено так, что всякий выдающийся в году день либо предве-

щает беду, либо ласкает надеждой на лучшее, – Благовещеньев день также кое-что обещает. Так, например, если хозяйка между праздничной заутреней и обедней возьмет помело и сгонит с нашеста кур, то к Светлому празднику они уже постараются нестись, чтобы приготовить к празднику свеженьких яиц для христосования. Уверяют также (несомненно, по живым наблюдениям), что испорченные, забалованные люди, завистливые на чужое добро, стараются в этот день украсть, осторожно и незаметно, хотя какую-либо безделицу («заворовывают»), чтобы пользоваться удачей в своем ремесле на целый год, так как если не поймают вора в этот день, то не попадется он и впредь.

XIII.
ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ

Образное представление о событиях четвертого дня Христовых страстей (четверг Страстной недели) под влиянием церковных обрядов положило начало особым символическим приемам в домашней деревенской жизни. Первые места в этот день принадлежат серебряной монете, соли и хлебу. Омочивый на Тайной вечери руку в солило в знак предстоящего отступничества и предательства, вызвал обычай очищать ту соль, которая некогда была осквернена прикосновением нечистых рук нечестивого Иуды. Пережженую, сероватого и черного вида, соль перемешивают с квасною гущею, кладут в старый лапоть и бросают в огонь. Пережженную соль столкут, просеют и затем считают настолько чистою и священною, что приписывают ей даже целебную силу, помогающую как людям, так и скоту. Эта соль считается в особенности пригодной для того, чтобы просолить ею первые, освященные после святой заутрени пасхальные яйца[1]. В память омовения Спасителем ног апостолов, предшествовавшего осквернению соли Иудой, умываться в тот день стараются «с серебра», для чего

[1] Во многих местах соблюдается обычай считать деньги, чтобы велись они круглый год, даже мальчишки спешат считать в этот день свои козны (игральные кости) с тою же целью корысти на выигрыши.

кладут в воду серебряную монету, преобразующую те серебренники, за которые совершено величайшее из всех людских преступлений[1]. Во многих случаях обычай омовения сопровождается довольно сложною обстановкою. Глухою ночью, далеко до света, чтобы ворон не успел выкупать своих птенцов, идут бабы на речку (вода для обряда должна быть непременно проточная) с ведрами и кувшинами. Черпают воду на восходе солнца и перед домом сначала обливаются сами, а потом будят мужа и взрослых детей, заставляя их также обливаться с головы (маленьких детей моют в гретой воде). Но сущности этого обычая оказывается женщинам мало. Они, еще до выхода на реку, в темноте ночной прядут катушку ниток, ссученых в обратную сторону и, по совершении омовения, перевязывают этими нитками руки на запястьях, ноги на предплюснах, и поясницу, как себе, так и каждому из членов семьи в уверенности, что все, исполнившие обряд, весь год не подвергнуться никакой болезни (носят эти перевязки обыкновенно до тех пор, пока они не изотрутся). В воспоминание о преломлении хлеба каждый крестьянин подает в церкви заздравную просфору, по силе своей равнозначащую с благовещенской. В иных местах этой просфоре (в Александровском у., Владимирской губ.) приписывается несколько иное значение, так как крестьяне верят, что в Великий четверг Господь невидимо благословляет тот хлеб, который в этот день подается к обеду. Поэтому крошки и куски, оставшиеся на столе, тщательно собираются и хранятся, как святыня, пригодная и полезная к употреблению во время болезни. Во всякой избе, в указанной местности, во всякое время можно найти хоть маленький ломоток четвергового хлеба[2].

[1] В некоторых местах вспоминают в этот день о петухах (в память евангельского петуха) и, вставши, по обыкновению, раньше утром, чем когда-либо, кормят их каленым горохом, чтобы они были злее. В вологодских краях, сверх того, стараются перемыть, а кое-где и окурить все крынки женскими волосами, в той уверенности, что всякая посуда сомнительна в чистоте, так как в этот день осквернены солоницы Иудиным прикосновением.

[2] Кроме просфоры, пекут кое-где и особые катышки из теста, которые и дают скоту по одному, а овцам по два, чтобы принесли двяток – ягнят.

Независимо от обычаев, находящих объяснение в христианских верованиях, к Великому четвергу отнесены и иные, ничего общего с верой не имеющие. Среди них на первом месте следует поставить обычай (исключительно приуроченный к этому подвижному церковному празднику) первого пострижения волос у тех малых ребят, у которых они с первого дня рождения еще не стриглись и успели вырасти настолько, что потребовались ножницы. В этот же день подстригают у овец шерсть на лбу, у кур, коров и лошадей – хвосты. Делается это в той уверенности, что от подобных пострижек у овец будет руно длиннее и гуще, лошади не станут скакать через изгороди и портить колья, а у коров не потеряется молоко и что, сверх того, сами животные не потеряются в лесных чащах, не заблудятся, не завязнут так, чтобы даться легкой добычей медведю или волку, и т. п.[1]

Из опасения таких домашних невзгод в некоторых лесных местах, особенно там, где еще не обзаводятся пастухами, добрые хозяева даже гадают о судьбе своей скотины, для чего в Великий четверг, до всхода солнца, примечают: если скотина лежит головой, обращенной на закат, то это добрый знак и такая животина благополучно прогуляет все лето; та же, которая стоит или лежит головой к воротам, – не надежна для дома и может пропасть. Чтобы этого не случилось, малым ребятам велят, с колокольцами в руках, три раза обегать во все лопатки кругом двора с криком: «около двора железный тын». А бегать надо так, чтобы не упасть, ни с кем не столкнуться и не поскользнуться. В глухой Новгородчине это гадание обставляется несколько иначе: бабы открывают печную трубу и, набравши в подол овса, взбираются на крышу и кричат в трубу: «Коровы-то дома»? Кто-нибудь из семейных подает им из избы успокоительный ответ, и бабы «уговаривают»: «Так-то вот, коровушки, в лесу не спите, домой ходите». Затем, уйдя на двор, скармливают овес скотине. Так ведется еще в белозерских и череповецких местах. А в прославленной

[1] Вообще, к меченой в этот день скотине не посмеют уже прикоснуться ни гад, ни зверь.

Уломе, в тех же видах сбережения скотины, прикармливают домового, для чего выпрядут нитку в левую сторону, обведут ею кругом двора три раза, спутают ноги цыпленка, также три раза, и обнесут его кругом стола с приговором: «Чужой домовой, ступай домой, а свой домовой, за скотиной ходи, скотину паси». Чтобы куры не теряли яиц, а неслись бы на своем дворе, кормят их зерном, насыпанным в обруче, а чтобы ястреб не таскал кур и цыплят, эту хищную и злобную птицу устрашают кринкой с выбитым дном, оставляя ее на огороде, к изгородям которого, по возможности ко всем кольям, привязывают, сверх того, нитки и, конечно, до восхода солнца, чтобы никто не видал, не сглазил и, таким образом, не утратили бы своей силы и могущества все эти заботы и хлопоты, заговорные слова, шепоты и действия. А чтобы заговорное слово было крепко, ходят в лес (также до солнечного восхода) за вересом или можжевельником, в который в лесных местах верят повсюду. Могуществом своим можжевельник уступает лишь сору из муравьиной кучи, а чудодейственная сила его зависит от уменья им пользоваться и доставать его. Прежде всего войти в лес надо с молитвой: «Царь лесной и царица лесная, дайте мне на доброе здоровье, на плод и род», затем идти надо не умывшись, не помолившись и соблюдать строжайшую тайну, чтобы никто не приметил. Дома же принесенное надо разбросать по двору и хлевам, и только в таком случае не постигнет семью никакая напасть и не стрясется никакой беды над скотиной. Впрочем, в некоторых местах, как, например, в старой Новгородчине, даже и этих мер считается мало, и для окончательного успокоения и уверенности соблюдается еще до сих пор такой прием: принесенный из лесу верес, ранним же утром, до восхода солнца, зажигают на сковороде или жестяном листе посредине избы, на полу, и все члены семи скачут через этот огонь, запасаясь на весь год здоровьем и окуриваясь от дьявольщины, которая в этот день в особенности хлопотлива и проказлива: у колдунов и ведьм в эту ночь бывают самые важные свидания с нечистой силой, против которой можжевельник владеет благодатной

охраняющей силой. И нет дня в году, наиболее удобного для тех, кто пожелает видеть нечистую силу и узнать от нее свое будущее. Вологжане советуют ночью придти в лес, снять с себя нагрудный крест, закопать его в землю и затем говорить: «Владыко лесной, есть у меня до тебя просьба», – и леший не замедлит явиться. Белозерские же крестьяне уверены в его появлении лишь в том случае, когда, сидя на старой березе, громко крикнуть три раза: «Царь лесной, всем зверям батько, явись сюда». И тогда смело спрашивай его о том, что тебе нужно, – он скажет все тайны и объяснит все будущее.

XIV. ПАСХА ХРИСТОВА

Величайший из христианских праздников – Св. Пасха является вместе с тем и любимейшим народным праздником, когда душа русская как бы растворяется и смягчается в теплых лучах Христовой любви и когда люди всего больше чувствуют живую, сердечную связь с великим Искупителем мира.

На церковном языке Св. Пасха называется торжеством из торжеств, и название это, как нельзя больше, соответствует общенародному воззрению на этот праздник. Еще загодя начинает православный люд готовиться к этому торжеству, чтобы встретить его достойным образом, с подобающим благолепием и пышностью. Но особенно деятельно хлопочет и приготовляется деревня, где живее чувствуется связь со старинными обычаями и где крепче стоит православная вера. В продолжение всей Страстной седьмицы крестьяне, что называется, не покладают рук, чтобы соскоблить, вымыть и вычистить обычную грязь трудовой обстановки бедных людей и привести свои убогие жилища в чистенький и, по возможности, нарядный вид. Мужики с первых же дней Страстной недели заготовляют хлеба и корму для скотины на всю Светлую седьмицу, чтобы в праздник не приходилось хлопотать и чтобы все было под рукою. А бабы и девушки хлопочут в избах: белят печи, моют лавки, скоблят столы, вытирают мокрыми

тряпками запыленные стены, обметают паутину. Разгар бабьих работ, как было сказано в предшествующей главе, выпадает на Чистый четверг, который признается не просто днем Страстной недели, а каким-то особенным угодником Божиим, покровительствующим чистоте и опрятности. В этот день, по народному убеждению, даже «ворона своих воронят в луже моет». На этом же основании и бабы считают своим долгом мыть ребят, а иногда и поросят, а также чистить избы. «Если в Чистый четверг вымоешь, – говорят они, – весь год чистота в избе водиться будет». Девушки моются в Чистый четверг со специальными целями, твердо веруя, что если на утренней заре хорошенько вымыться, вытереть тело полотенцем и отдать затем это полотенце «оброшнику» (об оброшниках см. ниже), то от женихов отбою не будет и в самом скором времени непременно выйдешь замуж. Кроме всеобщего мытья, крестьяне стараются приурочить к Чистому четвергу и убой скота и свиней, предназначенных для праздничного стола и для заготовления впрок. Это делается на том же основании, как и мытье избы: угодник Божий Чистый четверг сохраняет мясо от порчи, в особенности если к нему обратиться со следующей короткой молитвой: «Чистый четверг, от червей и от всякого гада сохрани и помилуй на долгое время».

Покончив с убранством избы, бабы приступают обыкновенно к стряпне. В богатых домах жарят и варят живность, пекут куличи, убирая их мармеладом, монпансье и другими цветными конфетами. В бедных же семьях эта роскошь считается не по карману и здесь куличи в виде обыкновенной, без всякой сдобы, булки покупаются у местных лавочников или калачников и барашников. Но так как калашники или барашники развозят по деревне свои куличи приблизительно за неделю или за 3–4 дня до праздников, то на пасхальном столе крестьянина-бедняка обыкновенно красуется плоская и твердая, как дерево, булка, ценою не свыше пятиалтынного или двугривенного. Но бывают, впрочем, случаи, когда крестьяне не могут позволить себе и этой роскоши, не выходя из бюджета. Таким беднякам обыкновенно приходят на помощь более богатые родственни-

ки, которые, из чувства христианского милосердия не допускают, чтобы Светлый праздник омрачался «голодными разговинами», да еще в родственной семье. Впрочем, и посторонние не отстают от родственников и в страстную пятницу совсем не редкость видеть шныряющих по селу баб, разносящих по домам бедняков всякие припасы: одна принесет молока и яиц, другая творогу и кулич, а третья, гляди, притащит под фартуком и кусок убоины, хотя и накажет при этом не проговориться мужу (в деревнях убоиной распоряжается мужик, и баба, без спросу, не смеет и подступаться к мясу).

Что касается мужиков среднего достатка, то они хотя и не прибегают к помощи зажиточных соседей, но редко обходятся без займов, а еще охотнее продают что-нибудь из деревенских продуктов (дрова, сено, мятая пенька и пр.), чтобы раздобыться деньжонками и купить четверть или полведра водки, пшеничной муки для лапши и пшена на кашу. Но вырученные деньги расходуются бережно, с таким расчетом, чтобы было на что «купить Богу» масла и свечей и заплатить попам.

Все хозяйственные хлопоты заканчиваются обыкновенно к вечеру Великой субботы, когда народ спешит в церковь слушать чтение «страстей». Читать «страсти» считается за честь, так как чтец перед лицом всего народа может засвидетельствовать свою грамотность. Но обыкновенно чаще всего читает какой-нибудь благочестивый старик, которого окружают слушатели из мужиков и целая толпа вздыхающих баб. Долго длится это монотонное, а иногда и просто неумелое чтение, и так как смысл читаемого не всегда доступен темному крестьянскому уму, то усталое внимание притупляется и многие покидают чтеца, чтобы помолиться где-нибудь в углу, или поставить свечку св. Плащанице (бабы уверяют, что Плащаница – это Матерь Божия), или же просто присесть где-нибудь в притворе и задремать. Последнее случается особенно часто, и наши корреспонденты из лиц духовного звания резко осуждают это неуважение к церковному Богослужению, замечая, что спать в церкви, да еще в Великую ночь – значит то же, что совершенно не понимать всего происходящего в храме.

Нам, однако, думается, что такой ригоризм едва ли можно признать справедливым, так как во всей стране нашей ни одно сословие не сохранило такой теплой и детски-наивной веры, как крестьянство. И если в церковных притворах и темных углах храма народ действительно спит, так что храп мешает иногда молящимся, то нужно же принять во внимание, что эти спящие люди истощены строгим деревенским постом, что многие из них приплелись из далеких сел по ужасной весенней дороге и что, наконец, все они донельзя утомлены предпраздничной суетой и хлопотами. К тому же спят сравнительно немногие, а большинство толпится в темноте церковной ограды и деятельно хлопочет над наружным украшением храма. Во всю пасхальную ночь здесь слышны говор и крики; народ расставляет смоляные бочки, приготовляет костры; мальчишки суетливой толпой бегают по колокольне и расставляют фонари и плошки, а самые смелые мужики и парни, с опасностью для жизни, лезут даже на купол, чтобы осветить и его. Но вот фонари расставлены и зажжены, вся церковь осветилась огнями, а колокольня горит, как исполинская свеча, в тишине пасхальной ночи. На площади перед церковью густая толпа народа глядит и любуется своим разукрашенным храмом и слышатся громкие восторженные крики. Вот послышался и первый, протяжный и звонкий удар колокола, и волна густого колеблющегося звука торжественно и величаво покатилась по чуткому воздуху ночи. Народная толпа заколыхалась, дрогнула, полетели с голов шапки, и радостный вздох умиления вырвался из тысячи грудей. А колокол тем временем гудит, гудит и народ валом валит в церковь слушать утреню. Через какие-нибудь пять минут в церкви делается так тесно, что негде яблоку упасть, а воздухе от тысячи горящих свечей становится жарким и душным. Особенная давка и толкотня наблюдается у иконостаса и около церковных стен, где «пасечники» расставили принесенные для освящения куличи, яйца и всякую пасхальную снедь. Когда отойдет утреня, ровно в 12 часов, по приказанию ктитора, в ограде палят из пушки или из ружей, все присутствующие в церкви осеняют себя крестным

знамением и под звон колоколов раздается первое «Христос Воскресе». Начинается процесс христосования: в алтаре христосуется причт, в церкви прихожане, затем причт начинает христосоваться с наиболее уважаемыми крестьянами и обменивается с ними яйцами. (Последнее обстоятельство особенно высоко ценится крестьянами, так как они верят, что яйцо, полученное от священника, никогда не испортится и имеет чудодейственную силу).

После окончания литургии все «пасечники», с куличами на руках, выходят из церкви и строятся в два ряда в ограде в ожидании причта, который в это время в алтаре освящает пасхи более зажиточных и чтимых прихожан. Ждут терпеливо, с обнаженными головами; у всех на куличах горят свечи, у всех открыты скатерти, чтобы святая вода попала непосредственно на куличи. Но вот причт освятил уже куличи в алтаре и во главе со священником выходит наружу. Ряды пасечников заколыхались, началась давка, крик, кое у кого вывалилась пасха из миски, кое-где слышится сдержанная брань рассерженной бабы, у которой выбили из рук кулич. А причт между тем читает молитву и, обходя ряды, кропит св. водой пасхи, за что ему в чашу швыряют гривны и пятаки.

Освятив куличи, каждый домохозяин считает своим долгом, не заходя домой, побывать на кладбище и похристосоваться с покойными родителями. Отвесив на родных могилках поклоны и поцеловав землю, он оставляет здесь кусок творогу и кулича для родителей и только потом спешит домой христосоваться и разговляться с домочадцами[1]. К разговенью матери всегда будят маленьких детей: «вставай, детеночек, подымайся, нам Боженька пасочки дал», – и заспанная, но все-таки довольная и радостная детвора садится за стол, где отец уже разрезывает пасху на куски, крошит освященные яйца, мясо или баранину и оделяет всех. «Слава Тебе, Господи, пришлось разговеться нам», – в умилении шепчет крестьянская семья, крестясь и целуя освященную пищу.

[1] Дети с родителями христосуются трижды и только с женами целоваться при всех считается за большое неприличие.

С первого же дня Св. Пасхи, на протяжении всей Светлой седьмицы, в деревнях обязательно служат так называемые пасхальные молебны, причем духовенство расхаживает по крестьянским избам непременно в сопровождении «оброшников» и «оброшниц», которые иначе называются «рогоносцами». «Оброшники» вербуются всего чаще из благочестивых стариков и старух, которые или дали обет всю пасхальную неделю «ходить под богами», или же желают своим усердием вымолить у Бога какую-нибудь милость: чтобы перестала трясти лихорадка, чтобы сына не взяли в солдаты, чтобы муж не пьянствовал, не дрался во хмелю и не бил домочадцев. Но очень многие из мужиков берутся «носить богов» с исключительною целью пьянствовать на даровщинку. Все оброшники, прежде чем приступить к своему делу, обязательно испрашивают благословения священника: «Благослови, батюшка, под богов стать», и только когда священник разрешит, принимаются за свои обязанности и «поднимают богов», причем один носит свечи для продажи, другой кружку, в которую собирает деньги «на Божью Матерь», третий несет другую кружку, куда причт складывает весь свой доход, предварительно записав его на бумаге, четвертый, наконец, носит кадило и подкладывает ладан (этот последний оброшник считается крестьянами самым почетным: в редком доме ему не поднесут стакана). Все оброшники подпоясаны белыми полотенцами, а оброшницы, кроме того, повязываются и белыми платками в память св. жен-мироносиц, которые, по мнению крестьян, были также покрыты белым. Когда все «богоносцы» выстроятся у церкви, появляется в облачении священник, и вся процессия с пением «Христос Воскресе» под колокольный трезвон шествует в первый, ближайший от храма двор. К этому времени в избе, перед «домашними богами», зажигаются свечи, стол покрывается белою скатертью, причем на стол кладут ковригу или две хлеба, а под угол скатерти насыпается горсть соли, которая, по окончании Богослужения, считается целебной и дается от болезней скоту. Домохозяин без шапки, с тщательно умащенной и прилизанной головой выходит навстречу «богам», а какая-нибудь молодайка, с пеленою

в руках, «сутречает» на пороге избы Божью Матушку и, приняв икону, все время держит ее на руках, пока духовенство служит молебен. Во время молебна мужики очень строго следят и считают, сколько раз пропели «Иисусе, Сыне Божий», и если меньше 12-ти раз, то хозяин, при расчете, не преминет выговорить священнику: «Ты, папаша, только деньги с нашего брата брать любишь, а сполна не вычитываешь». Но зато к чтению кондаков крестьяне относятся с большим равнодушием, и если священник не дочитывает до конца каждый кондак, то хозяева не обижаются: «Ведь и язык прибрешешь – в каждом дворе одно и то же», – говорят они и расстаются со своим священником самым миролюбивым образом, оделяя его деньгами и лепешками («одну лепешку тебе, папаша, а другую мамашечке отдай, пущай от нас гостинчик ей будет»).

Кроме молебна в избе многие крестьяне просят отслужить еще один молебен, уже на дворе, в честь святых, покровительствующих домашним животным: Власия, Мамонта, Фрола и Лавра. Для этой цели на дворе ставят столы, накрывают их скатертями, а поверх кладут «скотскую» пасху, предназначенную для домашних животных. После молебна эта пасха разрезывается на мелкие куски и скармливается домашним животным и птице, а скатерть, на которой стояла пасха, псаломщик, по просьбе баб, подбрасывает вверх, насколько может выше: чем выше он подбросит, тем выше уродится лен. По окончании же молебна наиболее благочестивые крестьяне пристают к священнику с просьбами благословить их «повеличать Вуспение Божью Матушку», и если священник благословит, поют следующую самодельную молитву, которая приводит их в умиление:

«О девица, Твое Успение славим,
Прими наше хваление
И подаждь нам радование,
О предстоящих со слезами, о Мати,
молись с нами,
Будь похвальна и избрана Ты, Царица
Небесная».

По окончании этого песнопения иконы выносят со двора, причем матери кладут в воротах детей для исцеления от болезней, а взрослые только нагибаются, чтобы над ними пронесли образа. Но если в каком-нибудь дворе богатый хозяин закажет молебен с водосвятием, то матери ни за что не упустят случая и непременно умывают детей св. водою, утирают полотенцем и «вешают его на Божью Матерь», (т. е. жертвуют) или же утирают концом холста, который также жертвуют на церковь. Кроме того, при водосвятных молебнах многие крестьяне снимают с себя кресты, погружают их в освященную воду и затем спускают эту воду прямо в рот или на глаза; старухи же, не ограничиваясь этим, берут самый венчик, которым кропит священник, и обрызгивают те места на своем теле, где чувствуют боль, но прежде всего брызгают в пазуху; молодицы же, которые кормят детей, обмывают св. водой грудь, чтобы больше было молока и чтобы люди не сглазили.

Не ограничиваясь молебном с водосвятием, многие крестьяне, в порыве благочестивого усердия, просят отслужить акафист таким святым, которых не существует в действительности: как, например, «Плакущей» Божией Матери (чтобы самому не плакать), «Невидимой» Божией Матери, «Великой Пятнице», «Воздвиженской Пятнице» (прогоняет нечистого духа и колдовство), «Св. Субботе», «Св. Средокрестию» и пр. Священники, разумеется, отказываются служить молебны этим несуществующим святым, но к такого рода отказам мужики относятся скептически: «Ой, смотри, батя, – говорят они, – грехто на тебе будет, коли ты Матушку Плакущую забыл».

Хождение с иконами продолжается по всем дворам до самого вечера первого дня Св. Пасхи. А на второй день после литургии, которая кончается очень рано, иконы несут на «поповку» (место, где расположены дома причта) и после молебна в доме священника крестьяне получают угощение от своего духовного отца. Само собой разумеется, что на «поповку» в таких случаях собирается все село. «Шум стоит на всю улицу, – говорит один из наших корреспондентов, описывая такого рода торжество, – кто благодарит, а кто ругается, оставшись

недоволен за малое или плохое угощение: “коли к нам, это значит, придет, – раздаются голоса по адресу батюшки, – пьет, ест, сколько сам хочет, покуль в нутро не пойдет, а как к нему придешь – стаканчик поднесет, да и иди с Богом”». «Впрочем, – прибавляет корреспондент, – недовольных бывает всегда очень мало, так как священники не скупятся на угощение, дорожа расположением прихожан и желая, в свою очередь, отблагодарить их за радушие и гостеприимство».

С «поповки» иконы идут по ближайшим и дальним деревням, обходя решительно весь приход, причем каждая деревня заранее предупреждается, когда к ней «боги придут», чтобы крестьяне успели изготовиться.

Как ни прекрасен сам по себе обычай пасхальных молебнов, но нельзя не заметить, что в его современном виде он не всегда стоит на той высоте, какая была бы желательна для благочестиво настроенного человека. По крайней мере, многие из наших корреспондентов горько жалуются и указывают, что пасхальные молебны омрачаются как поведением самих крестьян, так и в особенности оброшников и дьячков. «Мужики имеют обыкновение, – пишет нам один корреспондент, – не додавать денег, причитающихся духовенству за требы: если молебен с акафистом стоит рубль, то мужик, рассчитываясь, подает только 80 коп. Когда же причт заспорит, он прибавит гривенник, потом еще пятак, а пятак все-таки не додаст». Поэтому некоторые священники «в каждом доме садятся на лавку и, не снимая облачения, ждут пока отдадут все деньги сполна, а также и весь остальной доход: хлеб, яйца, лепешки». Что касается оброшников, то главное их несчастье состоит в слишком большой отзывчивости на деревенское хлебосольство и угощение: выпивая стаканчики в каждом доме, они к вечеру теряют всякий смысл и еле волочат ноги.

«Пьяные оброшники, – свидетельствует наш корреспондент, – часто приводят священника в искреннее негодование: они хватают и несут образа без всякого благословения, и когда ставят где, то стучат как обыкновенной доской; во время же молебна или с середины акафиста, не дождавшись окончания

богослужения, вдруг поднимают по нескольку икон сразу, кладут их одна на другую и несут из избы, распевая во всю глотку "Христос Воскресе". Прихожане, у которых служится молебны, бывают, разумеется, очень смущены таким поведением оброшников и спешат вырвать у них иконы, а самих оброшников оттаскивают прочь. Не лучше ведет себя и тот оброшник, который носит ладан и в каждом доме зажигает свечи: как только принесут образа и он, до прихода священника, явится осмотреть, все ли в порядке, то нередко падает на пороге, причем из кадила высыпаются горящие уголья».

Вообще, по общему отзыву наших корреспондентов, оброшники напиваются до того, что к вечеру валяются где-нибудь в сенях, на крыльце, а то и просто посреди деревенской улицы. Над такими оброшниками парни не упускают, конечно, случая поиздеваться: они кладут им в рот тертого хрену, завязывают глаза, надевают на голову бабьи повойники и покрывают худыми юбками. Эти злые шутки над пьяными вызывают, конечно, самые строгие внушения со стороны старших, хотя справедливость требует заметить, что и среди женатых мужиков попадаются такие, которые окачивают водой пьяных оброшников или льют им на голову квасную гущу, залепляя нос, глаза, уши. В таком виде оброшники под утро расползаются по селу, ища приюта у какой-нибудь кумы или у хороших знакомых, которые позволят проспаться и смыть с лица и головы всякую дрянь, которой их мазали. Иногда издевательства парней простираются настолько далеко, что шутки их кончаются очень печально. В одном селе, например, они раздели донага мертвецки пьяного дьячка и на всю ночь оставили его лежать на холодной сырой земле – результатом чего была сильнейшая простуда, а затем и смерть несчастного.

Чтобы закончить характеристику пасхальных молебнов, необходимо еще упомянуть, что иконы на ночь приносятся на хранение или в училище, или в дом какого-нибудь зажиточного и уважаемого крестьянина, который, обыкновенно, сам напрашивается на эту честь и просит священника: «Батюшка,

отпусти ко мне Богородицу почивать». Нередко случается, что по ночам в помещении, где хранятся иконы, прихожане уже сами от себя устраивают нечто вроде всенощного бдения: старухи со всей деревни, богомольные мужики и девушки, вымаливающие хороших женихов, собираются сюда и возжигают свечи, поют молитвы и коленопреклоненно молятся Богу. В прежнее время сюда же приносились так называемые кануннички (маленькие кувшинчики с медом), которые ставились перед образами на стол для поминовения умерших. Кануннички ставились с большими свечами, и бабы при этом рассуждали так, что, все, мол, главные боги (образа) здесь налицо, и если им зажечь по свечке каждому, то они сразу как начнут молиться за покойничка, так уж непременно вымолят для него у Господа прощение. «Кануннички», по всей вероятности, изобретение раскольников, которые в былое время охотно приносили к образам и свои кувшинчики и простаивали на молитве с православными всю ночь. Но теперь «кануннички» строжайшим образом запрещены высшими духовными властями и повсеместно вышли из употребления.

Пока духовенство не отслужило у крестьянина в доме молебна, ни он, ни его домочадцы ни под каким видом не смеют предаваться никаким праздничным развлечениям – это считается за большой грех. Но затем, когда «иконы прошли», в деревне начинается широкий пасхальный разгул. Взрослые «гостюют» друг у друга, без меры пьют водку, поют песни и с особенным удовольствием посещают колокольню, где и трезвонят с раннего утра до 4–5 час. вечера. Посещение колокольни, вообще, считается излюбленным пасхальным развлечением, так что в течение всей Светлой седмицы на колокольне толпятся парни, девушки, мужики, бабы и ребятишки: все хватаются за веревки и подымают такой трезвон, что батюшка то и дело посылает дьячков унять развеселившихся православных и прогнать их с колокольни. Другим, специально пасхальным развлечением служит катание яиц и отчасти качели и игра в орлянку и карты. Катают яйца преимущественно ребятишки, да разве еще девушки, которые соскучились

без хороводов и песен (на Пасху светские песни и хороводы считают неприличием и даже грехом). Зато на качелях катаются решительно все. Где-нибудь в конце деревенской улицы парни устраивают так называемые обчественные качели (в складчину), и возле этих качелей образуется нечто вроде деревенского клуба: девушки с подсолнухами, бабы с ребятишками, мужики и парни с гармониками и «тальянками» толпятся здесь с утра до ночи; одни только глядят да любуются на чужое веселье, другие веселятся сами. Первенствующую роль занимают здесь, разумеется, девушки, которые без устали катаются с парнями. Но так как толпа почти всегда приходит сюда изрядно подвыпивши и так как качели раскачиваются не самими катающимися, а зрителями, то очень нередки случаи, когда от пьяного усердия доска с катающейся парочкой перелетает через перекладину и происходят несчастья – увечья и даже смерть.

Что касается игры в орлянку и в карты, то обе эти забавы с каждым годом все более и более проникают в деревню и, под влиянием отхожих промыслов и трактирного просвещения, положительно становятся излюбленными играми не только молодежи, но и взрослых мужиков (об этом смотри подробности в главе «Святки»). Наконец, из числа пасхальных развлечений деревенского народа нельзя также не указать на обязательное приглашение в гости кумовьев и сватов. В этом отношении Пасха имеет много общего с масленицей, когда точно так же домохозяева считают долгом обмениваться визитами со сватами. Но на Пасху приглашают даже будущих сватов, то есть родня обрученных жениха и невесты приглашает друг друга в гости, причем, как и на масленицу, во время обеда и всякой трапезы жениха с невестой садят рядом в красном углу, поят их обоих водкой и, вообще, делают центром общего внимания. Обычай требует при этом, чтобы жених ухаживал за невестой, но так как ухаживание это носит, так сказать, ритуальный характер, то естественно, что в нем много натянутости и чего-то деланного, почти фальшивого: жених называет невесту обязательно на «вы», по имени-отчеству или просто «нареченная моя неве-

ста», сгребает руками сласти с тарелки и потчует ими девицу, а после обеда катается с нею по селу, причем опять-таки обычай требует, чтобы нареченные жених и невеста непременно катались, обнявшись за талию: он ее, а она его.

Как самый большой и наиболее чтимый христианский праздник, Пасха, естественно, группирует вокруг себя целый цикл народных примет, обычаев, суеверий и обрядов, неизвестных Церкви, но пользующихся большой популярностью в темной среде деревенского люда. Общая характерная черта всех этих народных праздников есть все то же двоеверие, которым и доныне пропитаны религиозные понятия русского простолюдина: крестная сила хотя и побеждает нечистую силу, но и до сих пор эта побежденная и поверженная во прах темная сила держит в своей власти робкие умы и наводит панический ужас на робкие души.

По мнению крестьян, в пасхальную ночь все черти бывают необычайно злы, так что с заходом солнца мужики и бабы боятся выходить на двор и на улицу: в каждой кошке, в каждой собаке и свинье они видят оборотня, черта, перекинувшегося в животное. Даже в свою приходскую церковь мужики избегают ходить в одиночку, точно так же как и выходить из нее. Злятся же черти в пасхальную ночь потому, что уж очень им в это время солоно приходится: как только ударит первый колокол к заутрене, бесы, как груши с дерева, сыплются с колокольни на землю, «а с такой высоты сверзиться, – объясняют крестьяне, – это тоже чего-нибудь да стоит». Сверх того, как только отойдет заутреня, чертей немедленно лишают свободы: скручивают их, связывают и даже приковывают то на чердаке, то к колокольне, то во дворе, в углу. Чертям это, разумеется, не нравится, тем более что заклятые враги их, православные люди, любят посмотреть, как мучаются привязанные черти, а посмотреть они имеют полную возможность, если только догадаются придти на чердак или в темный угол двора с той самой свечей, с которой простояли пасхальную утреню. Можно, впрочем, обойтись и без свечи, с той только разницей, что тогда не увидишь, а только

услышишь мучения нечистой силы, так как в ночь на Светлое Воскресенье чертей принудительно замуровывают в церковные стены, где они «шустятся», то есть возятся и мечутся, не будучи в состоянии убежать из тягостного плена. Наконец, в распоряжении людей имеется и еще один способ поглумиться над нечистой силой: для этого стоит только выйти с пасхальным яйцом на перекресток дорог и покатить яйцо вдоль по дороге – тогда черти непременно должны будут выскочить и проплясать трепака. Само собою разумеется, что чертям в Светлую Христову ночь бывает совсем не до пляски – им в пору бы удавиться, а тут, по капризу деревенского озорника, изволь пускаться в пляс и потешать его.

В таком же затруднительном положении бывают в пасхальную ночь и ведьмы, колдуны, оборотни и проч. нечисть. Опытные деревенские люди умеют не только опознавать ведьм, но могут даже с точностью определить весь их наличный состав в деревне: для этого нужно только с заговенным творогом встать у церковных дверей и держаться за дверную скобу – ведьмы будут проходить и по хвостам их можно сосчитать всех до единой.

Что касается колдунов, то опознавать их еще легче: не надо даже за дверную скобу держаться, а достаточно во время пасхальной заутрени обернуться и поглядеть на народ: все колдуны будут стоять спиной к алтарю.

Другая группа пасхальных суеверий раскрывает пред нами понятия крестьянина о загробной жизни и о душе. Повсеместно существует убеждение, что всякий, кто умрет в Светлую седьмицу, беспрепятственно попадет в рай, какой бы грешник он ни был. Столь легкий доступ в Царствие Небесное объясняется тем, что в пасхальную неделю врата рая не закрываются вовсе и их никто не охраняет. Поэтому деревенские старики, и в особенности старухи, мечтают как о величайшем счастье и просят у Бога, чтобы он даровал им смерть именно в пасхальную седьмицу.

Наряду с тем в крестьянской среде глубоко вкоренилось верование, что в пасхальную ночь можно видеться и даже

беседовать со своими умершими родственниками. Для этого следует во время крестного хода, когда все богомольцы уйдут из церкви, спрятаться в храме со страстною свечкою так, чтобы никто не заметил. Тогда души умерших соберутся в церковь молиться и христосоваться между собою, и тут-то и открывается возможность повидать своих усопших родственников. Но разговаривать в это время с ними нельзя. Для разговоров есть другое место – кладбище. Вот что сообщила на этот счет одна старушка-черничка нашему пензенскому корреспонденту из Городищенского уезда. «Я, батюшка мой, почитай, каждый год хожу на кладбище и окликаю покойничков, и всегда они мне ответ подают. Только страшно это: покойники говорят подземельным голосом и мурашки по телу у меня так и забегают, так и забегают, как только они голос подадут. Случается, говорят они глухо, тихо, а случается, как скажут – словно гром ударил». – «Но всегда они вам отвечают?» – допытывался наш корреспондент. – «Всегда, батюшка, всегда. Только, конечно, к ним, к покойникам-то, надо подходить умеючи, нельзя зря лезть. Чтобы с ними поговорить да побеседовать, надо вот что сделать: после причастия, в Великий четверг, не нужно ничего есть до самого разговенья Пасхи; всю пятницу и субботу надо провести в молитве и молчании, потому если это не исполнить, то покойники ни за что голоса не подадут. А как отойдет заутреня, то нужно идти на кладбище и первым долгом помолиться Богу, потом сотворить три земных поклона, лечь на землю и, что только есть духу, громким голосом закричать: “Христос Воскресе, покойнички!” Вот на это мертвецы и откликнутся: “Воистину Воскресе, бабушка”. И уж после этого подходи к любой могилке и спрашивай, о чем хочешь, – мертвец непременно ответ даст и никогда не соврет, всю правду скажет. Но я, одначе, никогда их не распутывала, а только похристосуешься, и марш домой: робость на меня нападала». Особняком от этих суеверий стоит целая группа пасхальных примет, которые можно назвать хозяйственными. Так, наш народ твердо убежден, что пасхальные яства, освященные церковною молит-

вою, имеют сверхъестественное значение и обладают силой помогать православным в трудные и важные минуты жизни. Поэтому все кости от пасхального стола тщательно сберегаются: часть из них зарывается в землю на пашнях, с целью предохранить нивы от градобития, а часть хранится дома и во время летних гроз бросается в огонь, чтобы предотвратить удары грома. Точно так же повсеместно сохраняется головка освященного кулича для того, чтобы домохозяин, выезжая в поле сеять, мог взять ее с собою и съесть на своей ниве, чем обеспечивает прекрасный урожай[1]. Но урожай обеспечивается точно так же и теми зернами, которые во время пасхального молебна стояли перед образами: поэтому богобоязненный домохозяин, приглашая в свой дом батюшку «с богами», непременно догадается поставить ведра с зернами и попросит батюшку окропить их св. водою.

Наряду с крестьянами-домохозяевами, создали свой цикл примет и бабы-хозяйки. Так, например, во всю Светлую неделю каждая хозяйка должна непременно прятать все освященное съестное таким образом, чтобы ни одна мышь не могла взобраться на пасхальный стол, потом что если мышь съест такой освященный кусочек, то у ней сейчас вырастут крылья и она сделается летучей мышью.

Точно так же во время пасхальной утрени хозяйки наблюдают: какая скотина в это время лежит смирно – та ко двору, а которая гомозится и ворочается – та не ко двору. Во время пасхальной же заутрени крестьянки имеют обыкновение «шугать» с насеста кур для того, чтобы куры не ленились, а пораньше вставали да побольше яиц несли. Но едва ли не наибольший интерес представляет обычай изгнания из избы клопов и та-

[1] В некоторых местностях обычай брать в поле головку пасхи превратился даже в своеобразный ритуал. Когда настанет ржаной сев, хозяин встает на заре, умывается и молится Богу, а хозяйка покрывает скатертью стол, приносит головку пасхи, ковригу хлеба, ставит соль и, собрав всех домашних, зажигает свечку, после чего все присутствующие кладут по три земных поклона и просят у Бога: «Зароди нам, Господи, хлебушка». Затем головка пасхи заворачивается в чистую тряпочку и торжественно передается хозяину, который и уезжает с ней в поле.

раканов, точно так же приуроченный к первому дню Пасхи[1]. Делается это таким образом: когда хозяин придет после обедни домой, он не должен входить прямо в избу, а должен сперва постучаться. Хозяйка же, не отворяя дверей, спрашивает: «Кто там?» – «Я, хозяин твой, – отвечает муж, – зовут меня Иван. Ну, что, жена, чем разговляться будем?» – «Мы-то разговляться будем мясом, сметаной, молоком, яйцами». – «А клопы-то чем?» – «А клопы клопами». Крестьяне уверены, что, подслушав этот диалог, клопы или испугаются и убегут из избы, или набросятся друг на друга и сами себя съедят. Есть еще и другой, более упрощенный способ изгнания клопов и всяких паразитов: когда хозяева идут от обедни с пасхами, какая-нибудь старуха берет веник и кричит: «Прусаки и тараканы и всякая гадина, выходите вон из избы – святая Пасха идет». Это восклицание должно быть повторено три раза, причем старуха усиленно метет веником к порогу и трижды машет им за порог. Когда же пасха придет уж на порог, старуха швыряет веник за порог, как можно дальше, и тем самым намечает путь отступления для всякой избяной нечисти.

Что касается деревенских девушек, то и у них имеются свои пасхальные приметы. Так, например, в дни Св. Пасхи не берут соли, чтобы руки не потели, умываются водою с красного яйца, чтобы быть румяной, притом становятся на топор, чтобы сделаться крепкой (топор, говорят, удивительно помогает, и девушка делается такой крепкой, что, по пословице, «хоть об дорогу ее бей – а ей все нипочем»). Сверх того, девушки верят, что все обычные «любовные» приметы на Пасху сбываются как-то особенно верно: если, например, девица ушибет локоть, то уж непременно ее вспомнит милый; если во щи упадет таракан или муха – наверняка жди свидания; если губа зачешется – не миновать поцелуев; если бровь чесаться станет – будешь кланяться с милым. Даже лихие люди – воры, бесчестные игроки в карты и пр. – и те создали своеобразные приметы, приуроченные к Пасхе. Воры, например, употребляют все усилия, чтобы во время пасхальной заутрени

[1] Об этом см. также статью «Семен-Летопроводец».

украсть какую-нибудь вещь у молящихся в церкви, и притом украсть так, чтобы никому и в голову не пришло подозревать их. Тогда смело воруй целый год, и никто тебя не поймает. Игроки же, отправляясь в церковь, кладут в сапог под пятку монету с твердой надеждой, что эта мера принесет им крупный выигрыш. Но чтобы сделаться непобедимым игроком и обыгрывать наверняка всех и каждого, нужно, отправляясь слушать пасхальную заутреню, захватить в церковь карты и сделать следующее святотатство: когда священник покажется из алтаря в светлых ризах и в первый раз скажет «Христос Воскресе», пришедший с картами должен ответить: «Карты здеся». Когда же священник скажет во второй раз «Христос Воскресе», безбожный картежник отвечает: «Хлюст здеся» и в третий раз: «Тузы здеся». Это святотатство, по убеждению игроков, может принести несметные выигрыши, но только до тех пор, пока святотатец не покается. Наконец, и охотники точно так же имеют свои пасхальные приметы, которые сводятся к одному главному требованию: никогда не проливать крови в великие дни Светлой седмицы, когда вся тварь земная, вместе с людьми, радуются Христову Воскресению и по-своему славит Бога. Нарушители этого христианского правила подчас жестоко наказываются Богом, и бывали случаи, когда охотник, снарядившись на охоту, или нечаянно убивал себя, или не находил дороги домой и без вести пропадал в лесу, где его мучила нечистая сила.

Чтобы закончить характеристику пасхальных суеверий, обычаев и примет, необходимо еще остановиться на той группе их, которая связана с пасхальным яйцом. Наши крестьяне повсеместно не знают истинного значения и символического смысла красного яйца и даже не догадываются, что оно знаменует собой мир, обагренный кровью Христа и через то возрождающийся для новой жизни. Объясняя происхождение этого христианского символа по-своему, крестьяне говорят, что яйцо ввели в употребление еще первые апостолы: «Когда Пилат распял Христа, – рассказывают они, – то апостолы очень испугались, что Пилат и до них доберется, и, чтобы

смягчить его сердце, накрасили яиц и принесли ему в подарок как еврейскому начальнику. С тех пор и пошел обычай красить на Пасху яйца». В других местностях (например, в Ярославской губ.) крестьяне, объясняя происхождение пасхального яйца, подходят ближе к истине, хотя далеко не все себе уясняют. «Перед Пасхой, – говорят они, – Христос был мертв, а потом в пользу христиан воскрес. Вот, и яйцо точно так же: оно мертвое, а, между прочим, из него может живой цыпленок выйти». Но на вопрос, почему же яйцо окрашивается в красный цвет, те же ярославские мужики отвечают: «Так, ведь, и сама Пасха красная, в Священном Писании прямо ведь сказано: “Пасха красная, праздник из праздников”. Ну, окроме того, и звон пасхальный тоже зовется “красным”». Зато несравненно обстоятельнее и подробнее отвечают крестьяне на вопрос о тех приметах, какие связаны с пасхальным яйцом. Таких примет целое множество. Нельзя, например, есть яйцо и выбрасывать (а тем более выплевывать) скорлупу за окошко на улицу, потому что, на протяжении всей Светлой седмицы сам Христос с апостолами, в нищенских рубищах, ходит по земле и, по неосторожности, в него можно попасть скорлупой (ходит же Христос с целью наблюдать, хорошо ли православные исполняют его завет – оделять нищую братию, и награждает тароватых и щедрых, а скупых и немилостивых наказывает). Затем крестьяне повсюду верят, что при помощи пасхального яйца души умерших могут получить облегчение на том свете. Для этого надо только сходить на кладбище, трижды похристосоваться с покойником и, положивши на его могилу яйцо, разбить его потом, покрошить и скормить его «вольной» птице, которая в благодарность за это помянет умерших и будет просить за них Бога. При помощи пасхального яйца получают облегчение и живые от всех болезней и напастей. Если яйцо, полученное при христосовании от священника, сохранить на божнице в течение трех и даже 12 лет, то стоит только такое яйцо дать съесть тяжело больным – и всю хворь с них как рукой снимет. Помогает яйцо и при тушении пожаров: если человек, отличающийся праведной жиз-

нью, возьмет такое яйцо и троекратно обежит горящее здание со словами: «Христос Воскресе», то пожар сразу же утихнет, а затем и прекратится сам собой. Но если яйцо попало в руки человеку сомнительного образа жизни, то пожар никоим образом не прекратится, и тогда остается только одно средство: бросить яйцо в сторону, противоположную направлению ветра и свободную от строений, – тогда ветер утихнет, изменит направление и сила огня ослабеет настолько, что возможно будет с ним бороться. Но всего больше помогает пасхальное яйцо в земледельческих работах: стоит только во время пасхального молебна зарыть такое яйцо в зерна и затем выехать с этим же яйцом и зерном на посев, чтобы обеспечить себе прекрасный урожай. Наконец, яйцо помогает даже кладоискателям, потому что всякий клад, как известно, охраняется специально приставленной к нему нечистой силой, а, завидев человека, приближающегося с пасхальным яйцом, черти непременно испугаются и кинутся врассыпную, оставив клад без всякой защиты и прикрытия, – тогда только бери лопату и спокойно отрывай себе котлы с золотом.

К числу оригинальных пасхальных обычаев, значение которых темно и неясно для народа, относятся, между прочим, так называемое, «хождение волочебников». Это та же коляда, странным образом приуроченная к Пасхе, с той только разницей, что «волочебниками» бывают не парни, а преимущественно бабы. Со всего села собираются они толпой и ходят из дома в дом, останавливаясь перед окнами и пискливыми, бабьими голосами распевая следующую песню:

Не шум шумит, не гром гремит,
Христос Воскресе Сын Божий (припев)
Шум-гремят волочебники –
К чьему двору, ко богатому,
Ко богатому – к Николаеву.
Хозяюшко, наш батюшко,
Раствори окошечко, посмотри немножечко,
Что у тебя в доме деется (и т. д.)

Смысл песни состоит в том, чтобы выпросить что-нибудь у хозяина дома: яиц, сала, денег, молока, белого хлеба. И хозяева, в большинстве случаев, спешат удовлетворить просьбы волочебников, так как по адресу скупого хозяина бойкие бабы сейчас же начинают высказывать не совсем лестные пожелания: «Кто не даст нам яйца – околеет овца, не даст сала кусок – околеет телок; нам не дали сала – коровушка пала». Суеверные хозяева очень боятся таких угрожающих песнопений, и потому бабы никогда не уходят из-под окон с пустыми руками. Все собранные продукты и деньги идут на специальное бабье пиршество, на которое не допускаются представители мужского пола.

XV.
КРАСНАЯ ГОРКА

Под таким названием известно в народе первое воскресенье, следующее после Пасхи. В этот день все девушки и молодые бабы, запастясь съестными припасами, собираются на каком-нибудь излюбленном месте деревенской улицы и поют песни-веснянки («заклинают» или «заигрывают» весну), водят хороводы и устраивают разнообразные игры и пляски.

Красная Горка считается девичьим праздником, и так как в этот день происходят свадьбы и идет усиленное сватовство, то на игры являются обыкновенно все девушки до единой (конечно, в лучших нарядах, потому что в этот день производится выбор женихами невест). Считается даже дурной приметой, если какой-нибудь парень или девушка просидят на Красную Горку дома: такой парень или совсем не найдет себе невесты, или возьмет рябую, уродину; а девушка или совсем не выйдет замуж, или выйдет за какого-нибудь последнего мужичонку-замухрышку. И во всяком случае оба они, и парень, и девушка, непременно умрут вскоре же после свадьбы.

Кроме матримониального значения, Красная Горка в некоторых местах приобретает совершенно особый характер бабьего заклинания. Так, в Пензенской губ., которая, наравне

с Вологодской, больше других придерживается старинных обрядов и обычаев, в первое воскресение после Пасхи устраивается «опахивание села».

Читатель уже знаком с этим языческим обычаем, и потому здесь мы лишь в нескольких словах отметим, каким образом языческий обряд этот приспособляется к христианским воззрениям народа.

В глухую полночь весь наличный состав деревенских женщин идет, с песнями, за околицу, где дожидаются три молодые бабы с сохой и три старухи с иконой Казанской Божьей Матери. Здесь девушки расплетают свои косы, а бабы снимают головные платки и начинается шествие: несколько баб садятся на доски, положенные поверх сохи, несколько девок берутся сзади за соху, чтобы ее придерживать, а остальные, взявшись за привязанные веревки, тащат соху таким образом, чтобы обвести бороздой все село и на перекрестках сделать сохою крест. Процессии предшествуют старухи с иконой и *молятся*, чтобы село не постигли какие-либо бедствия и напасти и чтобы эти напасти останавливались за бороздой и не смели ее переступать. В этом обряде принимают участие только одни женщины и девушки, парни же присоединяются к ним уже потом, когда бабы опишут круг около села и, возвратившись на прежнее место, устроят пирушку, распивая брагу и закусывая. Пирушка эта продолжается до третьих петухов (приблизительно до 3-го часа утра), а затем все расходятся по домам, так как гулять после петухов считается грешно.

XVI. ФОМИНО ВОСКРЕСЕНЬЕ

Фомино воскресенье, на языке народа, называется «вьюничным», потому что в этот день, после обедни, деревенская молодежь целыми толпами подходит к тем домам, где живут молодые супруги, обвенчанные в прошедший мясоед, и кричит: «Молодая, молодая, подай вьюнца (молодого), а не подашь вьюнца, будешь ветреница». Слова эти кричат до тех

пор, пока в избе не распахнется окошко и молодая не подаст крашеных яиц и пирогов.

В некоторых местах к молодежи примыкают и женатые мужики и бабы и тоже кричат: «Вьюн да вьюница, подайте кокурку да яйцо, – если не дадите, вломимся в крыльцо». Кокурка – это большой, круглой формы пшеничный пирог с изюмом; он печется теми молодушками, которые первый год живут замужем, и предназначается, собственно, для бывших подруг-девиц, которым и вручается с низкими поклонами и с безмолвной просьбой, чтобы девицы принимали гулять с собой и молодых, недавно обвенчавшихся женщин. Та девица, которая принимает кокурку из рук молодой, отдает треть этого каравая назад молодым, другую треть мужикам, старым женщинам и ребятишкам, а прочее уносится в дом и съедается девицами при пении песен, от которых воздерживались во всю пасхальную неделю.

Этот старозаветный обычай в некоторых селах Владимирской губернии сопровождается особыми ритуальными обрядами: после обедни где-нибудь на открытом месте деревенской улицы собираются бабы, а в некотором отдалении от них становятся все молодые парочки и начинают подзывать баб к себе. В ответ на этот зов бабы начинают петь песни и медленно подходить к «новоженям», которые и дают им по куску пирога и по одному яйцу.

XVII. РАДУНИЦА

Вторник Фоминой недели носит название «радуницы» или «радоницы». В этот день православная Русь обыкновенно поминает родителей. Еще загодя, крестьянские женщины пекут пироги, блины пшеничные, оладьи, кокурки, приготовляют пшенники и лапшевики, варят мясо, студень и жарят яичницу. Со всеми этими яствами они отправляются на погост, куда является и священник с причтом, чтобы служить на могилах панихиды. За панихиды бабы, собравшись

человек по пяти, платят в складчину духовенству пирогами, студнем и кашей. Так как во время богослужения бабы поднимают невообразимый рев и плач на голоса, с причитаниями и завываниями, то мужики во многих местах (например в Саратовской губ.) избегают ходить на панихиды, чтобы не глядеть на бабьи слезы, в искренность которых они не совсем верят. Зато, когда духовенство, отведав угощения, которое приготовляется для него особо, разойдется затем по домам, – на кладбище являются и мужики и начинается пир на могилках. Крестьяне христосуются с умершими родственниками, поминают их, зарывают в могилы крашеные яйца, поливают брагой, убирают их свежим дерном, поверх которого ставятся всевозможные лакомые блюда, а в том числе и водка, и пиво. Когда яства расставлены, поминальщики окликают загробных гостей по именам и просят их попить-поесть на поминальной тризне. Но, угощая покойников, крестьяне, разумеется, не забывают и себя, так что к концу поминания на кладбище обыкновенно бывает множество пьяных, которые еле стоят на ногах и путаются между могильными крестами, не будучи в состоянии найти дорогу домой. Такое же, если не большее, пьянство происходит и на городских кладбищах, куда в день «радуницы» для пресечения безобразий наряжаются даже усиленные наряды полиции.

XVIII.
МАРГОСКИ ИЛИ МАРГОСКИНА НЕДЕЛЯ

Так называется в черноземных губерниях (например в Орловской) вторая неделя по Пасхе – неделя жен-мироносиц. Это празднество установлено исключительно для женщин и приходится оно на воскресный день (первый после Фомина). Пасхальные яйца приобретают здесь особенное значение, занимая в праздничном обряде главное место. Под Москвой этот женский праздник выражается в том, что храмы бывают переполнены замужними женщинами, вдовами и девушками гораздо больше, чем во всякий иной праздничный день, и при

этом каждая из молящихся, подходя к кресту прикладываться после обедни, обязательно христосуется со священником и дает ему яйцо, подобно тому как на утрени Светлого Воскресенья тот же обряд исполняют исключительно мужчины. Где церквей и сел немного и приходы удалены на значительное расстояние, в то же воскресенье (в Орловской губ.) с утра бабы и девки забираются в ближний лесок или даже хотя бы на такое место, где завязались кусты ракиток, с обрядовыми приношениями в руках, карманах или за пазухой – парой сырых яиц и парой печеных и крашеных. Идут с песнями. По приходе смолкают в виду наступления торжественного священного обряда христосования и кумовства. Каждая сняла с шеи крест и повесила на дерево; к нему подошла другая, перекрестилась, поцеловала его и обменяла на свой крест, с владелицей его потом поцеловалась, покумилась – стали считаться и зваться «кумами», «кумушками» вплоть до Духова дня – нового женского праздника (на этот раз исключительно девичьего). Когда же все перекумятся, запевают снова песни и затевают пляски, а в это время ребята собирают хворост и раздувают огонь; на нем три бабы жарят яичницу, которая от множества вкладов выходит настолько густая, что ее едят руками, отламывая по куску и христосуясь яйцами, которые к этому дню нарочно красят[1]. Вместо водки, сидя кругом сковородки, угощаются из рюмок квасом с взаимными пожеланиями. Девушек-подростков приветствуют обыкновенно так: «Еще тебе подрасти, да побольше расцвести», а девице заневестившейся говорят: «До налетья (следующего года) косу тебе расплести на двое, чтобы свахи и сваты не выходили из хаты, чтобы не сидеть тебе по подлавочью» (в девушках), а бабам пожелания высказываются несколько иного характера: «На лето тебе сына родить, на тот год сам-третьей тебе быть». Девушки свои пожелания шепчут друг другу на ухо. Как бы то ни было, умилительный обычай этот вводит в обиходный

[1] Курянки (Обоянского у.) свои маргоски отличают тем, что, съевши яичницу, подбрасывают вверх ложки и кричат: «Родись лен такой-то здоровый и высокий». У кого ложка взлетела выше, у того и лен уродится лучше.

язык упрощенную форму ласкового привета в замену сухого величанья по имени и отчеству. В коренных и старых поселениях все либо кумы и свахи, либо кумовья и сваты, и не только по церковному благословению, но и по обычному обрядовому праву. В облегчение привета при взаимных ежедневных и ежечасных сношениях обычай этот повсеместен и неискоренним, как крепко излюбленный, веками взлелеянный.

В иных деревнях тех же местностей умеют оживить праздничный пир вводными обрядами из подлинной старины. Собравшись в лес кумиться или (что то же) крестить кукушку[1], идут, разбившись парами. Когда свяжут оборой от лаптей верхушки березок и подвесят кресты с шей и ленты с кос, начинают ходить кругом деревьев навстречу друг другу с припевом: «Вы, кумушки, вы, голубушки, – кумитеся, любитеся, не ругайтеся, не бранитеся, сойдитесь – полюбитеся, подружитеся». И затем, обойдя березки три раза, целуют подвешенные на них кресты, которыми, при взаимных поцелуях, и меняются. К яичнице допускают парней, обязанных принести водки, меду и сладких гостинцев. Когда съедят яичницу, каждая девушка выбирает себе парня и, обнявшись с ним, гуляет у всех на глазах. Родители девиц видят в этом только обычай и на этот день не находят в нем ничего предосудительного, хотя готовы переломать ребра за то же самое в другие, непоказанные дни. Начнет садиться солнце – все с песнями спешат но домам.

В Дмитровском уезде (той же Орловской губернии) этот праздник сопровождается еще «зазыванием снитки», от которой якобы зависит урожай хорошей капусты. Это то же самое растение, которое всюду называется подорожником, а также

---

1 «Кукушка» – это в иных местах просто ветка с дерева, воткнутая в землю, или подорожник, а в других – большая кукла, сшитая из лоскутов ситца, миткалю, ленточек и кружев на деньги, собранные всеми женщинами селенья в складчину (по 1 коп.) Наряженную куклу с крестиком на шее кладут в ящик, сколоченный наподобие гроба, и какая-нибудь умелая баба начинает голосить, как о покойнике, иные смеются, третьи поют и пляшут, и всем очень весело. На другой день кукушку зарывают где-нибудь в огороде и играют приличную случаю песню.

«кукушкой» (почему и самый праздник прозван «крещеньем кукушки»). Прибавленный обряд совершается после предыдущих и состоит в том, что девушки, поевши яичницы, разбиваются по соседним кустарникам и ищут там эту обетованную траву для того, чтобы вырвать ее с корнем, унести на другое место и там зарыть в землю. Посадке капусты, вообще, придают особое значение и даже там, где уже отстали от старых обычаев при посадке этого любимого овоща, играющего столь значительную роль и занимающего на крестьянском столе такое видное место во всей матушке России, один кочешок покрывают горшком и просаживают к нему туда же одну луковку. Самый горшок обвивают венком, принесенным из церкви на Троицын день и сберегаемым около образов до времени посадки капусты. Девичья снитка служит тому же делу и отливается теми же заветными хороводными песнями, которые еще не забыты и не затерты современными частушками (коротенькими куплетцами в четыре стиха[1]).

По Вятке (например в Яранском краю) тот же мироносицкий праздник справляется по-своему и называется «Шапшиха». Девушкам сюда нет доступа, женщины также стараются уклоняться, а придерживаются старого обычая только те из баб, которые любят погулять (на селение приходится таких баб 10–15). Самый обычай сводится к женской пирушке, устройство которой берет на себя одна из участниц, по жребию. Чаще всего, это или вдова, или малосемейная. Устроительницы бабьего пира варят пиво и из доставленных накануне в складчину (вместе с водкой) припасов приготовляют обед к тому времени, когда прочие складчицы вернутся из церкви, от обедни и от молебна мироносицам. Поздним вечером оканчивается этот пир плясками. «В старые годы (сообщает наш корреспондент г. Наумов) женщины, не стесняясь никем, благодаря отсутствию мужчин, веселились и плясали до того, что, под конец пира, сбрасывали с себя платки и, носимые

[1] В «Орловск. губ. ведом.», 1885 г. № 27, напечатаны семь прекрасных песен хороводных, приурочиваемых к этому весеннему обряду, который тогда переносится на Вознесенье, иногда же повторяется в Троицын день.

под ним каждою замужнею женщиной, чепчики («чехлики», по местному выражению) и пели и плясали простоволосыми. Являться в таком виде перед посторонними считалось и считается в высшей степени зазорным и непозволительным для всякой порядочной женщины. Вообще, это признак крайней разнузданности, и в некоторых деревнях этот обычай совершенно исчез, тогда как в прежнее время справлялся всеми женщинами и в нем (по свидетельству г. Наумова) принимала участие даже попадья».

XIX.
МАРИЯ ЕГИПЕТСКАЯ

С именем Марии Египетской, память которой празднуется 1 апреля, народ соединяет легендарное представление о загробном суде, на котором Мария будто бы будет судить всех блудниц. По воззрениям крестьян, Мария может «поставить на первую ступень» заблудшего сына и спасти, по молитве радетелей, от блудного жития и непотребства свихнувшуюся с истинного пути дочь. Эта милость Марии Египетской к раскаявшимся блудникам и блудницам объясняется тем, что «сама она пошла на блуд с 12 лет», а с 17-ти навсегда ушла в пустыню. Народ верит, что в пустыне Мария ходила совершенно нагая, прикрывая свое тело пальмовыми ветками, но не дает объяснения, почему эта святая бросила в море свои одежды, оставив на шее только крест, «с которым она родилась».

День Марии Египетской крестьяне проводят в воздержании. В Тамбовской губ., например, из уважения к великой подвижнице Христовой считается грехом есть что-либо, кроме пустых щей. То же наблюдается и в других губерниях.

Из числа обычаев, приуроченных ко дню 1 апреля, можно указать разве на практикуемый среди городских жителей обычай обманывать добрых знакомых. Предрассудком этим, в особенности, заражены девушки, которые стараются обмануть, как можно больше людей в той уверенности, что в та-

ком случае женихи не проведут их, а наоборот, они будут водить молодых людей за нос.

Но этот городской обычай совершенно незнаком нашему крестьянству.

XX.
ПРЕПОЛОВЕНИЕ

Праздник Преполовения принадлежит к числу тех, истинное значение которых почти совершенно непонятно для народа. Даже люди образованного круга на вопрос: что такое Преполовение, – отзываются, сплошь и рядом, полным неведением, и самое большее, если скажут, что Преполовение – это половина Пятидесятницы, подвижный праздник, приходящийся между Пасхой и Сошествием Св. Духа. Но зато на вопрос о том, откуда взято церковное название праздника и в чем состоят особенности церковного богослужения в этот день, – разве очень немногие ответят, что название праздника заимствовано из Евангелия и что в день Преполовения Церковь прославляет особенное учение о таинственной воде, под которой разумеется благодатное учение Христово и животворящие дары Св. Духа. Таким образом, нельзя удивляться, что в крестьянской среде об этом древнем христианском празднике только и знают, что в среду Преполовения священники совершают малое водосвятие на реках и источниках и что «деревья, из которых был сделан крест Господень, начали расти на Преполовение». Впрочем, в некоторых местах о возникновении этого праздника «душеспасительные девицы» (чернички) рассказывают целую легенду, сущность которой сводится к следующему: «Один раз гнались за Богородицей разбойники, а Она была с Младенцем на руках. Бежала, бежала Богородица, глядь – река. Она и бросилась в воду, рассчитывая переплыть на другую сторону и спастись от погони. Но с Младенцем на руках плыть было трудно, потому что грести приходилось только одной рукой. Вот и взмолилась Богородица Своему Младенцу: “Сын мой милый, дай ты мне третью

руку, а то плыть мне невмоготу". Младенец услышал молитву матери, и появилась у нее третья рука. Тогда уж плыть было легко, и Богородица благополучно достигла противоположного берега». Этим легендарным сказанием вполне объясняется, почему крестьяне всех великороссийских губерний праздник Преполовения называют «Преплавлением» (от слова переплыть). Надо думать, что в связи с этой же легендой стоит и происхождение иконы Божией Матери «Троеручицы».

XXI.
ПЧЕЛИНЫЙ ПРАЗДНИК

Соловецкие чудотворцы, святые Зосима и Савватий, издревле считаются покровителями пчел и заступниками всех православных пчеловодов. Существует даже легенда, что до времени жизни этих святых на Руси совсем не было пчел и что они первые принесли эту «Божью работницу» из земли Египетской, где разводили пчел окаянные измаильтяне. «По наущению Божию, – говорит легенда, – Зосима и Савватий набрали пчелиных маток, заключили их в тростниковую палочку и отправились из Египта в православную Русь. Святым угодникам сопутешествовал архангел Гавриил, который поднял в земле Египетской всю пчелиную силу и повелел ей лететь за угодниками Божиими в русскую землю. Измаильтяне же, когда увидели, что пчелы оставляют их горы и целым облаком вьются над головой удаляющихся чужестранцев, пустились в погоню и скоро настигли св. Зосиму и Савватия. Однако архангел Гавриил не попустил, чтобы Божьи угодники потерпели от руки нечестивых и, когда стала приближаться погоня, велел подальше бросить тростниковую палочку. Таким образом, при обыске окаянные измаильтяне ничего не нашли, и святые угодники невредимыми пришли в русскую землю и принесли свою тростниковую палочку с пчелиными матками».

Это предание хорошо известно всем верующим пчеловодам, которые не только имеют на пчельниках икону свв. Зоси-

мы и Савватия (отчего и улей, к которому прикреплена икона, называется «зосимою»), но придумали даже особую молитву, с которой обращаются к своим покровителям: «И Зосима и Савватий, помилуйте своими молитвами меня раба Божия (имя рек) во дворе, или в лесу, на пчельнике, и пчел молодых и старых, на выстановке, во всяком году, во всяком месяце, в четверти и полчетверти». Эта молитва записана в Пензенской губ., и весьма вероятно, что в других местах пчеляки не знают ее. Но зато повсеместно в день св. Зосимы (17 апреля), когда на пчельник выставляются ульи, крестьяне-пчеловоды служат молебны «пчелиному Богу»: богатые приглашают духовенство служить молебен на пчельнике, чтобы сам батюшка окропил ульи св. водой, бедные же молятся в церкви и затем сами кропят крещенской водой свои пчельники. В этот же день приносят в церковь мед для освящения и почти повсеместно кормят пчел благовещенскою просфорою.

День св. Савватия празднуется 27 сентября, когда ульи в большинстве губерний центральной России укутываются на зиму. Этот день точно так же считается праздничным для пчеловодов, которые не только сами молятся Божьему угоднику, но еще охотнее заставляют молиться детей, так как пчелиный промысел считается одним из тех, которые требуют нравственной чистоты и праведной жизни перед Богом. А так как дети до 12 лет считаются у крестьян как бы безгрешными, то и молитва их признается очень угодною Богу. «Дай, Господи, чтобы пчелки водились, мед носили и не умирали» – так, повторяя за родителями слова молитвы, шепчут крестьянские дети на всех наших пчельниках, кланяясь и крестясь перед образом соловецких чудотворцев.

XXII. ЕГОРИЙ

После Николая, Мирликийского чудотворца, из сонма святых греческой Церкви едва ли найдется в русском царстве имя более известное, как имя св. великомученика и победо-

носца Георгия, и притом чтимое с самых первых времен распространения христианства. Вторая, после Ильинской, церковь построена была в Киеве на городских воротах во имя этого святого, и когда она была возобновлена, понадобилось установление нового, второго в году, празднества в честь Георгия (в греческой Церкви этот праздник неизвестен). Кроме того, что в великокняжеских семьях имя это было излюбленным, день нового чествования в народной жизни, при крепостной неволе, получил экономическое и политическое значение. Особенно знаменательно оно было на лесном севере России, где само имя святого, по требованию законов наречения и слуха, изменилось сначала в Гюргия, Юргия, Юрья – в письменных актах и в Егорья – в живом языке, на устах всего простонародья. Для крестьянства, сидящего на земле и от нее во всем зависящего, новый осенний (23 ноября) Юрьев день до конца XVII века был тем заветным днем, когда для рабочих кончались сроки наймов и всякий черносошный человек на всем пространстве русской земли делался свободным с правом перехода к любому землевладельцу. Это право перехода, по всему вероятию, составляет заслугу того князя (Георгия Владимировича), который пал первою жертвою на р. Сити в битве с татарами, но успел положить начало русскому заселению на лесном севере и обеспечить его крепкою защитою в виде городов (Владимира, Нижнего, двух Юрьевых и проч.). Народная память окружила имя этого князя исключительным почетом. На притонах Верхней Волги, по Мологе и Сити, сбереглись курганы как следы его вооруженных усилий отстоять от басурманов родную землю, на притоне Средней Волги чествуют молебствиями то озеро, которое скрыло провалившийся город с церквами, жителями и князем в виду наступавших татарских полчищ. Для увековечения памяти князя потребовались легенды, сам он олицетворен в богатыря, подвиги его приравнены к чудесам, самое имя его смешали с именем победоносца «Егория, света, храбра, у которого по локоть руки в красной замше, по колено ноги в чистом серебре, а во лбу-то солнце, во тылу месяц, по

косицам звезды перехожие»[1]. Когда ветры буйные разметали насыпь с глубокого погреба, куда замуравлен был богатырь, выходил он на святую Русь увидать света белого, солнца красного и отправился вымещать обиды, нанесенные ему и отцу его в городе Чернигове царищем-кудрянищем. На пути наталкивается богатырь на разные неодолимые препятствия: то стоят крутые высокие горы, перед которыми ни беговому, ни удалому молодцу проезда нет, то течет река огненная от земли и до самого неба. Богатырь святорусский Егорий знал, что все эти препятствия встали не по Божьему велению, а по вражьему попущению, и могучим словом разрушал препоны: «Полно вам, горы, полно тебе, река, врагу веровать, веруйте вы в Господа Распятого», – и становились горы и реки по-старому и прежнему, и шел богатырь все дальше и достиг своей цели. Внушительно, в данном случае, именно то обстоятельство, что из святого греческой Церкви русский народ сделал нового, своего, приписавши ему такие деяния, о которых вовсе не упоминают византийские минеи. Если Егорий и ездит всегда на серой лошади с копьем в руках и пронзает им зеленого дракона (изображение, издревле вошедшее в употребление как герб московского царства), то тем же копьем, по русским легендам, он поразил и того волка, который выбежал ему на встречу и вцепился зубами в ногу его белого коня. Раненый волк заговорил человеческим голосом: «За что ты меня бьешь, коли я есть хочу?» – «Хочешь ты есть, спроси у меня. Вон возьми ту лошадь, ее хватит тебе на два дня»[2]. Легенда эта укрепляет в народе верование, что всякая, зарезанная волком или задавленная и унесенная медведем скотина обречена им как жертва Егорием – ведомым начальником и повелителем всех лесных зверей. Эта же легенда свидетельствует, что Егорий умеет говорить с зверями людским языком, что он если обречет на съедение корову, овцу или лошадь,

---

1 Былина эта известна по всему лесному северу, и пишущему эти строки удалось записать одну из таковых на берегах Белого моря.

2 Ходит еще в народе сказка «о портном и волке», свидетельствующая также о беспрекословном повиновении всех лесных и полевых зверей св. Георгию.

то всегда сделает так, что человек этого не увидит, и обреченная сама идет навстречу врагу и беззащитно останавливается перед ним, как бы в столбняке[1]. Оправдывая святого тем, что он отдает диким зверям тех животных, которые оказались бы вредными для человека, народ все-таки признает его покровителем домашнего скота, охранителем пасущихся стад, строго следящим за пастухами и наказующим беспечных из них и нечестных при исполнении обязательств, принятых перед деревенским миром.

Жив и повсеместен в черноземной Руси рассказ о том, как Егорий приказал змее ужалить больно того пастуха, который продал овцу бедной вдовы, а в свое оправдание сослался на волка. Когда виновный раскаялся, св. Георгий явился к нему, обличил во лжи, но возвратил ему и жизнь, и здоровье[2].

Однажды некий крестьянин, по имени Гликерий, пахал на воле поле. Старый вол надорвался и пал. Хозяин сел на меже и горько заплакал. На тот час подходит к нему юноша с вопросом: «О чем, мужичок, плачешь?» – «Был у меня, – отвечает Гликерий, – один вол-кормилец, да Господь наказал меня за грехи мои, а другого вола, при бедности своей, я купить не в силах». – «Не плачь, – успокоил его юноша, – Господь услышал твои молитвы. Захвати с собою “оброт” (недоуздок), бери того вола, который первый попадется на глаза и впрягай его пахать – этот вол твой».

– «А ты чей?» – спросил его мужик.

– «Я Егорий Страстотерпец», – сказал юноша и скрылся.

На этом повсеместном предании (с некоторыми изменениями в подробностях) основываются те трогательные обряды, которые можно наблюдать во всех без исключения русских деревнях в день 23 апреля. Иногда, в более теплых местах, это число весеннего месяца совпадает с «выгоном» скота в поле,

---

[1] Отсюда повсеместная поговорка-примета, «что у волка в зубах, то Егорий дал».

[2] Почитая Егория не только повелителем зверей, но и гадов, крестьяне в молитвах, обращаемых к нему в заветные дни, между прочим просят, чтобы он уберег от укушения змей и ядовитых насекомых, вроде тех роковых мух, которые переносят сибирскую язву, и т. п.

в суровых же лесных губерниях это только «обход скота» – обряд, который, впрочем, с равным удобством производится и в Великий четверг, и в день Вешнего Егорья, например, в Новгородчине. Во всех случаях и всюду обряд «обхода» совершается одинаково и заключается, главным образом, в том, что хозяева обходят с образом св. Победоносца Георгия всю домашнюю скотину, собранную в кучу на своем дворе, а затем сгоняют ее в общее стадо, собранное у часовен, где служится водосвятный молебен, после которого все стадо окропляется святою водою и гонится за околицу, какова бы ни была в тот день погода. Хозяйки гонят скот освященной в неделю Ваий вербой, а иные провожают его с хлебом и солью. Пастух, принимая стадо, делает свой обход с тем же образом и тоже с уверенностью, что такое дело его есть священнодействие[1]. В старой Новгородчине (в Череповецком, Боровическом и других уездах), где иногда скот пасется без пастухов, «обходят» сами хозяева с соблюдением древних обычаев. Хозяин для скотины своей рано утром приготовляет пирог с запеченным туда целым яйцом. Еще до солнечного восхода он кладет пирог в решето, берет икону, зажигает восковую свечу, опоясывается кушаком, затыкая спереди за него вербу, а сзади топор. В таком наряде, у себя на дворе, хозяин обходит скот по солнцу три раза, а хозяйка (в Уломе) подкуривает из горшочка с горячих угольев ладаном и поглядывает, чтобы двери на этот раз были все заперты. Пирог разламывается на столько частей, сколько в хозяйстве голов скота, и каждой дается по куску[2], а верба, судя по принятому обычаю той местности, либо бросается на воду речки, чтобы уплыла, либо втыкается под стреху (верба спасает во время грозы от молнии). Белозерцы придерживаются еще таких обычаев, что накануне Егорья убирают с глаз долой гребни, щетки и ножницы и (в Марковской волости)

[1] Егорьев день вместе с тем и пастуший праздник, когда оберегатели стад дают твердое обещание во все время пастьбы не стричь волос своих на голове, чтобы отвлекать от стада волков.

[2] Вологжане (кадниковские) кусочки этого хлеба уносят на село и после обедни раздают нищей братии: иным в одно это утро Егорьева дня удается собрать таких кусочков целый мешок.

кладут в воротах, на землю, шерстяной пояс, клещи и крюк, иногда шейный крест или топор и нож и выгоняют (как вологжане) скотину на улицу, а потом опять к ряду же и загоняют.

В глухой черноземной полосе (Орловской губ.) верят в Юрьеву росу, то есть стараются в Юрьев день возможно раньше, до восхода солнца, когда еще не высохла роса, выгнать скот со двора, особенно коров, чтобы они не болели и больше давали молока. В той же местности верят, что свечки, поставленные в церкви к Егорьеву образу, спасают от волков; кто забыл поставить, у того Егорий возьмет скотину «волку на зубы».

Чествуя «скотский» праздник, домохозяева не упускают случая превратить его в «пивной». Еще задолго до этого дня, рассчитывая, сколько выйдет ушатов пива, сколько сделать «жиделя» (пива низшего сорта), крестьяне озабочены мыслью, как бы не было «нетечи» (когда сусло не бежит из чана), и толкуют о мерах против такой неудачи. Подростки лижут ковши, вынутые из чанов с суслом; пьют отстой или гущу, осевшую на дне чана. Бабы пекут и варят и «обиходят» избы (моют). Девицы излаживают свои «баенны» (наряды). Когда пиво готово, к каждому родственнику в деревне несут бурак или «буртас»[1] и приглашают «гостить о празднике». Праздник Егорья начинается с того, что каждый большак несет в церковь сусло, которое на этот случай называется «кануном». Его на время обедни ставят перед иконой св. Георгия, а после обедни жертвуют причту. Первый день пируют у церковников (в Новгородчине), а потом идут пить по домам крестьян. Или так, по-вологодски: первый день угощаются сами домашние, на второй день угощают родных, а на третий – сосед соседа. В иных местностях около недели мотаются друг к другу, бродят из одной деревни в другую. Хорошего гостя водят прямо на погреб к самому чану – пей сколько влезет, если сумеешь потом сам вылезти.

Так как значительная часть удаленных и особо чтимых часовен, а равно тех ближних, которые охраняют избранные родники, указывают на места старых, лишь впоследствие

[1] Ведро из бересты, вместимостью около гранца.

освященных христианским именем святых, то и по занимающему нас вопросу часовнями с именем св. Георгия отмечены таковые же места, где обычно справлялся общий «скотский» или «коровий» праздник. Из множества таких часовен выделяется, между прочим, в Вольском уезде (Вологодской губ.) в глухой деревушке Першинской «Георгиевская часовня», известная в народе под названием «Спас в Раменье». Эта часовня, снабженная даже колокольней с тремя звонами, привлекает сюда из трех соседних уездов, Кадниковского, Тотемского и Вольского, до 10 тысяч богомольцев, стекающихся на первый Спас, празднуемый накануне всенощной, а в день 1 августа крестным ходом на р. Пургу (в полуверсте от деревни). После погружения креста некоторые сбрасывают с себя одежды и купаются. Одежду хватают на лету бедные крестьяне и берут себе. Во время бесчисленных молебнов, общих и частных, поступают пожертвования не только деньгами, но и льном, яйцами, а также домашним скотом. Все это оценивается и при чиновнике удельной конторы продается на сумму более тысячи рублей, поступающих в пользу архангельской приходской церкви. На улице, против каждого дома, выставляются столы с яствами и бочка или ушат пива и ведро водки для угощения.

Егорьев день, как и все старозаветные праздники, у домоседов черноземной России (например, в Чембарском уезде, Пензенской губ.) сохранил еще следы почитания Егорья как покровителя полей и плодов земных. Крепка уверенность в том, что Егорью были даны ключи от неба и он отпирает его, предоставляя силу солнцу и волю звездам. Многие еще заказывают обедни и молебны святому, испрашивая у него благословения нивам и огородам. А в подкрепление смысла древнего верования соблюдается особый обряд, выходящий из ряда обычных именно в этот Юрьев день.

Выбирают наиболее смазливого парня, украшают его всякою зеленью, кладут на голову круглый пирог, убранный цветами, и в целом хороводе молодежи ведут в поле. Здесь трижды обходят засеянные полосы, разводят костер, делят и

едят обрядовый пирог и поют в честь Юрья старинную священную молитву-песню («окликают»):

Юрий, вставай рано – отмыкай землю.
Напускай росу на теплое лето,
На буйное жито –
На ядренистое, на колосистое.

XXIII. ЛОШАДИНЫЙ ПРАЗДНИК

На второй день третьего Спаса пахал мужик свой «пар», чтобы посеять озимую рожь. Лошадь заартачилась и остановилась; принялся мужик хлестать ее кнутом, а потом стал из всех сил колотить палкой. Лошадь пала на колени и заржала. Хозяин осыпал ее бранью и проклятиями и пригрозил вспахать на ней целую десятину в один день. На этот сказ, откуда ни взялись, два странника с посохами.

«За что ты бьешь лошадь? – спрашивают они мужика. – Ведь ты ответишь за нее Богу, всякая животина на счету у Бога, а лошадь и сама умеет Ему молиться[1]. У вас, вот, на каждой неделе полагается для отдыха праздник, а у коня твоего в круглый год нет ни единого. Завтра наш день – Флора и Лавра: вот мы и пришли заступиться и посоветовать свести твою лошадь на село к церкви и соседям то же наказать, если хотят, чтобы лошади их были здоровы и в работе крепки и охотливы. Мы приставлены к лошадям на защиту. Бог велел нам быть их заступниками и ходатаями перед Ним».

Такова нехитрая пензенская легенда, свидетельствующая своим давним происхождением о повсеместном чествовании избранного святого дня Фрола и Лавра. По орловскому поверью, почитание этих святых мучеников вызвано следующим

[1] На основании этого поверья, и в черноземных губерниях соблюдается обычай вешать в конюшнях, с правой стороны, над яслями образ Фрола и Лавра; редкий решается (напр. в Пензенской губ.) там испражняться, и в редких стойлах не подвешена убитая сорока (чтобы лошади были веселее).

случаем. Оба брата, Фрол и Лавр, жили тем, что ходили по деревням и рыли колодцы. Один раз работа их была настолько неудачна, что обвалилась земля и похоронила обоих, и притом так, что никто этого не заметил. А колодец между тем завалился обычным порядком. Не обычна была лишь та лужица, которая стала протекать из обвала и обнаружила чудодейственную силу: ходившая сюда чахлая лошаденка одного мужика начала добреть – не с овса (так оказалось, по справке у хозяина), а именно от этого самого пойла. Стали гонять своих кляч сюда и другие и достигли того же. Тогда вздумали мужики рыть на этом месте колодезь и наткнулись там на Флора и Лавра: стоят оба брата с железными лопатами в руках, целы и невредимы. Замечательно при этом стремление легенд приурочить этих святых греческой Церкви к сонму святых русской Церкви как наиболее освоившихся с нуждами русского народа. В древней Смоленщине (Дорогобужского у.) существует, например, такая легенда. Святые Флор и Лавр были по ремеслу каменщики и находились в числе строителей стен Киево-Печерской лавры. Один раз, когда они обламывали камни, осколок одного отлетел так неудачно, что попал в глаз единственному сыну и наследнику князя, заведовавшему работами. Разгневанный князь приказал закопать обоих братьев по пояс в землю и держать в ней до тех пор, пока не исцелится глаз, а в случае, если глаз вытечет, то князь собирался виновных закопать совсем в землю живыми. По молитвам братьев, Господь исцелил больного и святые получили свободу.

Хотя эта легенда и оправдывает обычай прибегать к этим святым с молитвами при глазных болезнях, но такой обычай – исключительный и узкоместный. Главное же и основное верование не утрачивает своей силы на всем пространстве русской земли. В Москве, на Мясницкой, против почтамта и около старинной церкви Фроловской, вдоль стены бывшего Строгановского училища живописи, можно было любоваться выставкою первостепенных московских рысаков, приводимых сюда для молебствия и до сих пор составляющих любительскую слабость купечества, глубоко вкоренившуюся

в городские нравы. Другой такой разнообразной и блестящей выставки, не похвальбы, а мольбы ради, только один раз бесплатно предоставляемой для обозрения любителям, положительно нигде уже нельзя видеть на всем пространстве Великороссии. Праздные и шаловливые посетительницы кавказских вод в этот же день на обширной площадке казачьей станицы, подле православной церкви греческого стиля в Кисловодске, могут любоваться теми скакунами всякого роста и возраста, с довольно разбитыми ногами, на которых совершаются горные прогулки. Скакунов приводят сюда для служения молебна св. мученикам и окропления св. водою, освященною тут же на площади. Тот же обычай наблюдается и на севере. «До 300–400 голов лошадей приводят в село, – сообщает наш корреспондент из Никольского уезда, Вологодской губ., – для окропления св. водою». Лошади рабочие, местной мелкой породы, по большей части рыженькие; шерсть у них не лоснится, как у московских рысаков, а зачастую хохлатая, так что не расчистить ее самой крепкой скребницей; неказисты они видом, но похвальны обычаем: нетребовательны в пище и изумительно выносливы: им нипочем те лесные дороги, где всякая другая порода лошадей надрывается. На «лошадиный праздник» пригоняют их подкормленными овсецом и даже крутопосоленным ячным хлебцем[1]. Гривы и хвосты расчесаны, и в них вплетены девками ленточки, или лоскуточки кумача, или ситцев самых ярких цветов.

Для «конной мольбы» в некоторых местностях (Вологодской, Костромской, Новгородской губ.) существуют особые деревянные часовни, нарочито предназначенные для чествования мучеников в заветный их день. Некоторые часовни находятся в значительном удалении от сел, на лесных полянах (как, например, в лесах вологодских и ветлужских) и стоят в течение всего года совершенно забытыми, а на празд-

[1] В некоторых местах заведен обычай закапывать фроловскую просфору (ржаную). Каждый домохозяин несет на пазухой одну такую просфору, чтобы разломить дома на кусочки и дать по частице каждой дворовой скотине, начиная с коня и кончая поросенком.

ник мучеников привлекают поразительное многолюдство и получают особое оживление. После торжественной обедни, крестьяне кто верхом, кто пешком, кто в телеге – отправляются, по местному выражению, «к пиву». Лошадей набирается так много, что поляна перед часовней сплошь покрывается ими. За версту от часовни раскинулось ровное поле, где по окончании молебствия начинаются скачки (новое доказательство древности лошадиного праздника, а равно и того, что самые часовни представляют позднейшие сооружения, освятившие собою места древних игрищ). С постройкой одной из таких часовен, в ветлужских лесах, предание связывает явление иконы св. мучеников при источнике из горы (лет 300 тому назад). Из часовни впоследствии образовалась церковь, стоявшая одиноко в темном лесу, в 17 верстах от жилья. «За сто верст (свидетельствует корреспондент) со всех сторон съезжаются сюда служить водосвятный молебен после обедни, а также и после того, как все верхом, по три раза, успеют объехать кругом церкви. Священник выносит крест со святою водой, благословляет крестом и все время кропит, причем каждый, проводящий мимо него лошадей, старается о том, чтобы хотя одна капля св. воды попала на лошадь. Как только все объехали, священник осенит крестом и скажет: "с Богом" – тогда все разъезжаются по домам».

Обычные скачки на лошадях в перегонку (отчего кое-где и самый праздник получает название «скакалки») сохранились далеко не везде. Даже в той же Вологодской губ. (в Вольском уезде) «фролят» только любители из взрослых, то есть скачут в перегонку в первое воскресенье, следующее за Петровым днем. Оно называется «конною мольбой» именно потому, что в этот день установлено молебствие о лошадях и каждый хозяин приводит на площадь, если не всех, то по крайней мере одну лошадь. Зато повсюду установлено общим и неизменным правилом кормить в этот день лошадей в полную сыть и ни в каком случае на них не работать (даже на скачках седлать лошадей не принято). Во всяком случае, «Фролы» или, по крайней мере, самый день праздника отли-

чается в деревне особым торжеством, в лесных же губерниях этот день замечателен по обилию яств и питей. Избы к тому времени чисто вымыты, хозяева принаряжены, пива наварено вдосталь, гости не спесивы, а потому и пир легко и скоро идет в гору и доходит до тех криков, когда все галдят и никто друг друга не слушает, и даже до беспричинной ссоры и кровавой драки. «На Фролах» дают себе волю выпить лишнее и женщины, что составляет исключение сравнительно с прочими деревенскими праздниками. Это особенно заметно в вологодских краях: «Мужики, которые любят винцо, пьют очень мало, даже некоторые совсем отказываются, зато уж бабы пьют за себя и за мужиков, бабы и старухи уже поздно вечером еле плетутся домой».

И на этот раз, как при чествовании Власия, в стройный однообразный ряд обрядов христианского молитвенного чествования св. Флора и Лавра врываются кое-где, как осколок доисторической веры, обряд нелепых жертвоприношений, подобный тому, который замечен был в Пермской губ. и так описан самовидцем: «На вспаханном под пар поле, сплошь усеянном народом, лежат в крови и корчатся в предсмертных судорогах голов до 20-ти животных, издающих душераздирающие стоны и хрипение. Вот ведут на веревке к “жертвенному полю” молодого бычка. На него набрасывается, с криком и шумом, толпа народа, и через момент несчастное животное лежит уже распростертым на земле, придавленное толпой жертвователей. А в это время проходит жрец конца XIX века с невозможно тупым ножом и начинает пилить животному горло. Процесс пиления продолжается не менее четверти часа. Помощники жреца тотчас же приступают к потрошению. Таким образом, ко времени, когда у животного будет окончательно перерезано горло, с него успеют содрать всю шкуру и отрезать ноги. Затем начинается жаренье животных на кострах. Около двух часов ночи раздается удар в колокол, возвещающий, что жертвенное кушанье поспело, и толпа набрасывается на горячее мясо с криком и дракою, причем большинство желает получить мясо ради его “особо освященного свойства”. Обряд этот и пирше-

ство под общим именем "скотского праздника" совершается не иначе, как в день Флора и Лавра». «Не ирония ли это судьбы (справедливо замечают в газете «Уральская жизнь», сообщившей об этом событии), что подобное медленное истязание животных происходит в "скотский праздник"?»

XXIV. НИКОЛА ВЕШНИЙ

Никола Вешний, или «Никола с теплом», называется так потому, что с этого дня (9 мая) устанавливается теплая погода. «Никола осенний лошадь на двор загонит, а Никола весенний лошадь откормит», – говорят крестьяне, характеризуя приволье подножных кормов.

День Николы вешнего считается мужским праздником, так как в этот день парни первый раз едут в ночное и на лугах, при свете костров, справляют свой нехитрый пир: привозится водка, закуска, жарится неизменная яичница, а после заката солнца являются и девки. Надзора со стороны старших в этот день не полагается, и молодежь на полной свободе водит хороводы, поет песни и пляшет до утренней зари.

Что касается взрослого населения, то оно также считает Николу вешнего покровителем лошадей и заказывает в этот день молебны с водосвятием, чтобы св. Никола уберег коней от волков и медведей и даровал табунам здоровье. Вообще, св. Никола пользуется в народе огромным уважением за его любовь к крестьянам и почитается самым старшим и самым близким к Богу святым угодником. На этот счет в Пензенской губ., Краснослободского уезда, один крестьянин рассказал нашему корреспонденту следующую легенду. «Однова мужик посеял рожь и, как управился, пошел в воскресенье в храм Божий и взял с собою гривну (3 коп.) на свечку. Только, этта, купил мужик свечку и задумался: кому ее ставить. Видит он, что народ ставит Миколе, пошел и сам к Николаю. Поставил свечку, отвесил поклон и молится: "Микола, батюшка милостивый, отец родной! уроди ты мне ржицу". А пророк-то Илья

услышал мужикову молитву и осерчал. “И что это, – говорит, – мужик Миколу все просит, а не меня: чай, я не хуже Миколая-то? Вот погоди, придет лето, пущай Микола уродит мужику рожь, а я возьму да градом и выбью”. Услыхал эти слова Микола милостивый и тоже осерчал: “Ан, нет, не выбьешь”. – “Ан, выбью”. Вот они и заспорили. Послал Микола дождь, и рожь у мужика выросла лучше всех. Радуется мужик: “Ну, – думает, – и зашибу я деньгу”. А того и не знает, что пророк-то Илья на его рожь с неба посматривает и все норовит, как бы ее градом хватить. Только и Николай не дремлет: приходит, это, он к мужику и говорит: “Продай рожь не жамши”. Мужик послушался и продал: ржи в тот год у всех были плохи, и ему за его хорошую рожь эва сколько деньжищ сосед отвалил. Вот пришла жатва, а Илья-то не знал, что мужик продал рожь и такой ли град послал, такой град, что вся рожь полегла на землю. Тогда Микола опять является к мужику и говорит: “Ты, мужик, купи рожь-то свою побитую”. Мужик послушался и, почитай, задаром взял свою рожь назад. А Микола тем временем послал дождь и поднял рожь с земли, и опять у мужика стала хорошая рожь. Рассердился, разлютовался Илья, когда узнал, как его Николай обошел, и порешил на следующий год опять побить мужикову рожь, да только Никола опять наставил мужика продать рожь не жавши, и Илья так и остался ни с чем».

День Николы Вешнего не связывается в народном представлении с какими-нибудь особыми земледельческими приметами, если не считать того, что этот день признается временем среднего посева яровых хлебов. С Николина дня точно так же «заказываются» луга, что обыкновенно делается посредством древесных прутьев и веток, которые втыкаются в землю на межах – признак, что пасти скот на этих лугах возбраняется.

XXV.
ВОЗНЕСЕНЬЕ

Живое, образное представление евангельского события восхождения Спасителя на небо во всей Божественной сла-

ве Своей – в обиходной жизни русских деревень потребовало вещественного обрядового знака, подобного пасхальным куличам, сыру и яйцам и т. под. На этот раз чествование высказалось полнейшим простодушием, в умилительной форме самого верования. На праздник Вознесенья пекут пироги с зеленым луком, а главное, особенное кушанье – хлебные «лесенки» (в Ярославской губ.). Такие лесенки делаются обязательно с семью перекладинками, как бы ступеньками, по числу семи небес апокалипсиса. Прежде эти пироги и лесенки освящались в церкви, относились на колокольню и бросались вниз на землю. При этом, конечно, гадали о том, на какое из семи небес суждено попасть гадающему. Когда все семь ступенек оставались целы, это указывало гадальщику прямой путь на небо, и наоборот: если лесенка разбивала в мелкие куски, то тем самым обнаруживала страшного грешника, который ни на одно из небес не годится. В настоящее время гаданье это упростилось до того, что лесенки бросают прямо на пол, около печи, которая их испекла. Простодушие верования и стремление к образному выражению его на этом обычае не остановилось, а пошло далее. В Вологодской губ. (Кадниковском у.), например, к рогулькам из теста (которые также называются лесенками) прибавляют еще особое печенье – сочни с овсяной крупой, называемые «христовыми окутками» – всегдашней принадлежностью всякой крестьянской обуви, неизбежной при хождениях и восхождениях.

О путанице в переносе весеннего праздника, в виде Семика и Русальной, с венками и неизбежной яичницей, на разные праздники церковного календаря мы укажем в своем месте. Относительно же Вознесенья, между прочим, Ярославское Пошехонье представляет кой-какие дополнения и отличия. Так, например, тамошние девушки с готовой яичницей, завязанной в платок, обходят все деревенские поля одни (парни ни в каком случае не допускаются). Когда съедят обетное кушанье, девушки начинают кататься по траве и приговаривать:

«Расти, трава, в лесу, а рожь в овину».

Некоторые стараются объяснить этот языческий обычай почитания русалок самым днем, для того намеченным (четверг посвящается богу-громовнику), радуясь тому подходящему случаю для замены, что и христианский праздник всегда упадает на четверг.

XXVI.
СЕМИК И РУСАЛЬНАЯ

В память старой веры и дедовских обычаев, за «неделею всех святых» сохранилось название «русальной», а последнее весеннее воскресение, на том же основании, именуется «проводами весны и встречей русалок». Весну, впрочем, провожают накануне начала Петровского поста, вечером, когда обычно поют и пляшут, а в черноземной Руси (например, в Елатомском уезде, Тамбовской губ.) на другой день (и также вечером) совершают эти проводы в лицах: молодые крестьяне, женатые и неженатые, наряжаются в торпища[1] и прячутся около села во ржи, поджидая, когда выйдут сюда девушки и молодые бабы. Тогда, во ржи, где-нибудь раздается легкое хлопанье кнутов, которыми запаслись мужчины. Бабы и девушки испуганно вскрикивают: «Русалоцки... русалоцки» – и разбегаются в разные стороны. Вдогонку за ними пускаются наряженные, стараясь ударить оплошавших женщин кнутом. Бабы спрашивают: «Русалоцки, как лен?» (уродится). Ряженые же указывают на длину кнута, вызывая бабьи выкрики: «Ох, умильные русалоцки, какой хороший!» В Пензенской губернии к этому дню молодежь приготовляется еще за неделю, с самого Троицына дня, и хотя ряженых бывает немного, но все умеют быть веселыми и стараются быть забавными. Один наряжается козлом, другой надевает на руки и на ноги валеные женские сапоги и изображает собой свинью (самая трудная роль), третий шагает на высоких ходулях, четвертый наряжается лошадью (когда все 4 конца торпища увязаны

[1] Торпище – большая холщовая простыня или мешочная дерюга в виде полога.

соответствующим образом толстыми бичевами, то является подобие лошадиной головы, вполне удовлетворяющее зрение, если воткнуты два колышка в голову, в замену ушей, и все это прикреплено к палке). С этой палкой в руке, прикрытый торпищем, парень являет собой подобие коня, ставшего на дыбы. Есть еще один, более простой способ наряжаться лошадью, – для этого на палку (в два с половиной аршина) надевается головная лошадиная кость, а самую палку обивают пологом и скручивают веревкой, у которой один конец оставляется свободным. За этот повод уздечки берется ловкий молодец, изображающий вожака и руководящий скачками и пляской упрямой, норовистой лошади. Она брыкается, разгоняя хохочущую толпу девчонок и мальчишек, а тут же рядом с ней бодается козел, постукивая деревянными челюстями и позванивая подвязанным колокольчиком. Но самое большое удовольствие получает тот шут в маске, который забирается в бабью толпу, поталкивает и пощупывает, повертывает и обнимает. Все имеющиеся налицо музыкальные инструменты принесены сюда: заливаются гармошки, трынкают балалайки, пищит скрипка и, для полного восторга провожающих весну, раздаются громкие и звонкие звуки от ударов в печные заслонки и сковороды. Впрочем, ряженые иногда ограничиваются тем, что просто испачкаются сажей и с шумом и треском обходят всех состоятельных жителей, как обходили, не так давно, все помещичьи дворы, заслуживая пляскою трепака угощение водкой. Самая процессия проводов весны совершается так: впереди идут с лошадью русальщики, за ними бегут вприскочку перепачканные ребятки (это «помелешники» или «кочерыжники»), которые подгоняют кнутами передних. В поле, за деревней, делают несколько холостых выстрелов из ружей, а в честь русалок выделяется бойкая девушка, которая с палками в руках скачет взад и вперед. Затем лошадиную голову бросают в яму до будущего года – это и есть проводы русалки и прощание с весной. Надурачившись в своем селе, зачастую, переходят в соседние деревни, пока там, в глухую полночь, не свалятся

с ног. Но чаще (по свидетельству одного корреспондента из Саранского уезда. Пензенской губернии), бывает так: «Когда толпа поредеет и на улице остаются парни, девки да солдатки, парни подхватывают их и тащат в сторону к амбарам и погребам. Женщины сопротивляются, и все затеи женихов, к чести девушек, остаются безрезультатными. И это не в один какой-либо вечер, а всегда». Описывая своих, похваливая их нравственность, наш автор исполнил честно только добрый соседский обычай. Но в действительности веселый бог весны не так милостив и жалостлив к молодежи, как было бы желательно, по крайней мере не на то наводят, не о том говорят все эти «веснянки» – старинные песни, а особенно те из них, которым присвоено название семитских. Семик – тоже весенний праздник, и притом самый веселый и коренной, и также цельно и свято соблюдаемый с древних времен седой доисторической старины. С русальным праздником у Семика такое близкое родство, что, судя по самым основным приметам, их теперь и отделить очень трудно, а с широкой масленицей у Семика такое сходство и сродство, что оно не ускользнуло и из праздничных хвалебных песен. Разница тут только в том, что один праздник приспособлен к концу весны, другой к концу зимы, и оба в честь красного солнышка.

Основное ядро семитского праздника и существенная отличительная его особенность – завиванье венков, – осталось в прежней силе и неизменном порядке, но сроки отправления празднества перепутались. Так, например, в окрестностях города Углича для завиванья венков избран Вознесеньев день, в Калужской и Орловской губ. делают то же на Духов день, в Симбирской губернии Семик приходится еще за два дня до Троицына дня, а в Пошехоньи и вообще в Ярославской губ. – на Троицын день. В Симбирской губ. (хотя бы, например, в Буинском у.) особенно избранные девушки накануне Троицына дня ходят с раннего утра под окнами подруг и объявляют о наступлении Семика такими словами: «Троица по улицам, Семик по задам». Это значит, что когда каждая украсит свою избу березками вдоль всей деревенской улицы,

то им, деревенским девицам, придется идти за околицу, под предводительством избранной по жребию и одетой в мужское платье (это – Семик). Идут разодетые и с запасами: с печеными и сырыми яйцами для неизбежной яичницы, с лепешками и пирогами. В ближней роще выбирают кудрявую березу, срубают самую густую ветку, украшают ее лентами, втыкают в землю и, ухватившись за руки, сплетаются хороводом и поют известную песню: «Как из улицы в конец, шел удалый молодец», с припевом о Дунае-сыне-Ивановиче. Песни поют до обеда, то есть до той поры, когда дойдет очередь до принесенных яств, после чего с той же березы рвут ветки и плетут венки, с которыми опять водят хороводы и играют песни, спрашивая в одной из них: «Мне куда тебя, веночек, положить?» – и отвечают: «Положу тебя, веночек, на головку, ко душе милой девице – ко названой сестрице». Что споют, то и сделают, а придя на пруд или реку, с зажмуренными глазами бросают венки на воду и гадают: потонул венок – в тот год замуж не выдти, а пожалуй, даже и умереть, но очень хорошо считается, если венок всплывет, да еще и против течения.

В Ярославской губ. (Романском у.) через сплетенные из березы венки девицы целуются, обязуясь сохранить на целый год дружбу, до новых поцелуев, хотя бы и с другой девушкой. Близ Углича игра с разукрашенной березкой и яичницей применяется к гаданью на урожай ржи, так как березку ставят среди озимого поля, а яичницу едят не иначе, как бросая через голову часть ее и целые яйца в рожь, «чтобы она, кормилица, лучше уродилась» («колосок рожки уродился с ложку, а комелек рожки со Христову ножку»). Затем по ржаной полосе катаются, переваливаются с боку на бок, для того, чтобы не болела во время жнитва спина и не «расхваталась» (от схватки пучков ржи на серп) рука, перевязанная для устранения возможной беды на это время в запястье ниткой. Почествовав таким способом рожь, завивают венки на себя, на родителей, на жениха или просто на знакомых, оставляя их до Троицына дня, когда ходят «ломать венки», т. е., погадавши на них, бросать в воду.

XXVII. ТРОИЦЫН ДЕНЬ

Троицын день можно с полным основанием назвать «зелеными святками», и не только потому, что в этот день прихожане выстаивают в церквах обедни с букетами луговых цветов (в Ярославской губ. назыв. «духами») или ветками деревьев, но и по той причине, что как улицы, так и дома украшаются березками. Полевые цветы, побывавшие в церкви, засушивают и хранят за иконами для разных надобностей: их кладут под свежее сено и в житницу, чтобы не водились мыши, в норы на грядах от землероек и на чердак, чтобы устранить пожарные беды. Деревья свозят на деревенские улицы целыми возами и украшают не только двери, но и косяки окон, а, в особенности, свою «матушку-церкву», пол которой усыпается свежей травою: ее всякий при выходе от обедни, старается захватить из-под ног, чтобы примешать к сену, вскипятить с водой и пить как целебную. Из листьев деревьев, стоявших в церкви, иные вьют венки и кладут их в горшки при рассаживании капусты.

Таковы, в сущности, главнейшие специальные обычаи, приспособленные к троицкому празднику и благословленные Церковью, выделившею их на этот день из Семика и русальных чествований. Этим объясняется та путаница, которая замечается в различных местностях при установке обрядовых приемов на определенные сроки. Иные из этих приемов предшествуют, иные совпадают с Троицыным днем (как и указано нами в надлежащих статьях) и даже опережают его все на том же основании, что эти празднества в честь весны находятся в полной зависимости от ее позднего или раннего прихода, хотя бы и по отношении такого рода увеселений, которые представляют собою рели или качели, устраиваемые не для одних малых ребят, а вообще для всей молодежи[1].

[1] Напр., в Орловской губ. рели и качели начинают играть главную роль именно в первый раз в этот день, – во второй раз на следующий Духов день и в третий и последний – в всесвятское воскресенье (и на этот день в значительно уж меньшем числе). Все эти три обетные рели сопровождаются людными и веселыми гуляньями, с взаимными угощениями молодежи пряниками, подсолнухами и другими сластями.

В среде последней, в Новгородчине, сохранился, по-видимому, старинный обычай, приноровленный именно к Троицыну дню (точно так же, как и к масленице) и называемый «трясти порох». Состоит он в следующем. Во время гулянья, на лугу, среди хороводов и игр в «огарыши» (старозаветные «горелки»), кто-нибудь из мужчин схватывает картуз с молодого новожена, трясет им над головой и кричит во все горло и на целое поле: «Порох на губе, жена мужа не любит». На этот крик молодуха выделяется из толпы (и в том вся задача, чтобы сделать это возможно быстрее), становится перед мужем, кланяется ему в пояс, снимает тот картуз, который успевают положить ему на голову в момент ее появления, берет мужа за уши и трижды целует и снова кланяется ему и во все четыре стороны. При уходе молодой, а иногда при ее появлении, начинается вслух оценка ее качеств и разные площадные шутки, особенно над теми, которые в девушках имели грешки. Молодухи обыкновенно стесняются этим обычаем и говорят: «Когда трясут порох, лучше бы провалиться скрозь землю».

XXVIII.
ОЛЕНЫ-ЛЕННИЧИ

День свв. равноапостольных Константина и Елены (21 мая) на языке народа носит несколько странное название – «Олены-Ленничи». Но название это имеет самое простое объяснение: с 21 мая крестьяне начинают обыкновенно сеять лен и созвучие этого слова «лен» – со словом Олена (Елена) и дало повод к появлению особого названия «Олены-Ленничи». В таком же ходу и другое название этого праздника «Олена – длинные льны»[1].

Из числа народных обычаев, приуроченных к этому дню, более других представляют интереса те особые приемы, которыми обставляется посев льна. Для того чтобы лен родился хорошо, бабы кладут в мешок с семенем печеные яйца, а мужик, который будет сеять лен, должен подбрасывать эти

[1] День свв. Константина и Елены называется также «овсянником», так как с этого дня сеют овес.

яйца как можно выше, потому что чем выше будут подброшены яйца, тем выше вырастет и лен. Еще интереснее другой обычай, при помощи которого бабы «обманывают лен». Для этого при посеве льна баба раздевается донага, в том расчете, что лен, глядя на ее наготу, сжалится над ней подумает: «Это баба бедная – у нее даже рубашки на теле нет, надо будет пожалеть ее и получше уродиться». Очень характерно при этом, что сами бабы не отдают себе ясного отчета, кого, собственно, они имеют в виду разжалобить: лен ли, или св. Елену, в день которой этот злак сеется. Вернее, впрочем, предположить, что бабы имеют в виду не Елену, а именно лен, который в данном случае как бы олицетворяется.

XXIX.
АГРАФЕНА-КУПАЛЬНИЦА

«Купальницей» св. Аграфена называется потому, что день ее памяти падает как раз на канун Ивана Купалы (23 июня). Впрочем, некоторые обычаи и обряды, связанные с этим днем, позволяют заключить, что св. Аграфена получила эпитет «купальницы» сама по себе, без всякого отношения к Ивану Купале.

Так, по всему северу России, и в особенности в Вологодской губ., крестьяне заготовляют в этот день банные веники на целый год. Для этого бабы и девки, после обеда, запрягают лошадь и уезжают в лес ломать молодые березовые ветви. Иногда, впрочем, веники делаются из различных пород лиственных деревьев и растений, так что в каждый веник входит по ветке: от березы, ольхи, черемухи, ивы, липы, смородины, калины, рябины и по цветку разных сортов. Это уже, так сказать, ритуальные веники: одним из них парятся в этот день в бане, другими обряжают недавно отелившихся коров, третьи, наконец, перебрасывают через головы или бросают на крыши бань с целью узнать будущее (если веник упадет вершиной к погосту, то бросающий умрет, а если не вершиной, то останется жив).

Как и на Ивана-Травника, в день Аграфены-Купальницы лихие мужики и бабы, в глухую полночь, снимают с себя

рубахи и до утренней зари роют коренья или ищут в заветных местах кладов. А знахари, ложась спать, непременно читают самодельные молитвы, приуроченные к этому дню как к кануну Ивана Купалы. Вот образец таких молитв, записанных в Тамбовской губ.: «Лягу я помолясь, встану я перекрестясь, умоюсь иорданскою водою, утрусь духоверною травою (духовною или духоверною травою называется лен и конопля), пойду на восточную сторону. На восточной стороне стоит соборная церковь, войду я в эту церковь, Богу помолюсь, Ангелу доложусь, Ангел донесет Саваохву, Саваохв донесет Христу, Царю Небесному». В других молитвах смысла еще меньше, хотя попадаются между ними и такие, которые, по языку, несколько напоминают церковные возношения: «Буде верой ли раб Божий молиться, – говорится в одной такой молитве, – о грехах ли ты душа каешься, то душу твою я облачающе, душу твою я навещу и дом твой просвещу».

Достойно замечания, что в Вологодской губ. день св. Аграфены кое-где вызывает усиленное внимание к нищей братии, для которой среди деревни (например, в дер. Филяеве) ставятся столы с постными яствами. Нищих сюда является иногда человек до 300, и все они едят на счет деревни.

Очень оригинален также обычай, наблюдаемый в окрестностях города Кириллова. В день Аграфены-Купальницы все девушки, взрослые и подростки расхаживают в своих лучших нарядах по домам и говорят: «Умойте». В переводе на обыкновенный язык это значит: дайте что-нибудь из девичьих украшений – серег, ленточку, бус и проч.

XXX.
ИВАН КУПАЛА

Изучая народные купальские песни, польские историки XVII века вывели скороспелое заключение о существовании какого-то особого славянского бога Купалы. Но дальнейшие исследования ученых показали, что заключение это основано на простом искажении некоторых народных песен и что в

действительности купальские праздники совершались во времена язычества в честь свадьбы бога солнца, супругой которого являлась светоносная заря-зарница, красная девица. «Купальские игрища и праздники, – пишет наш корреспондент из Ярославской губ. А. В. Балов, – совершались в честь солнечной свадьбы, одним из актов которой было купанье солнца в водах. Отсюда и название этих праздников – «купальские».

«Впоследствии, под влиянием христианского вероучения, следы этого праздника во многих местах быстро исчезали. В других же местах следы эти сохранились и до настоящего времени, причем так как день св. Иоанна Предтечи совпадал с купальскими праздниками, то с распространением в народе христианства этот Иванов день, в отличие от других Ивановых дней (например Ивана Постного и т. д.), стал называться днем Ивана Купалы».

Вывод А. В. Балова подтверждается, до некоторой степени, и другими известиями, полученными из Нижегородской губ. Здесь, в окрестностях села Иванцева и даже в самом Лукоянове, до нашего времени сохранились следы древних языческих праздников в честь Ярилы. За неделю до Иванова дня в Лукоянове бывает торг и крестьянское гулянье, которое носит в народе название «молодой Ярило», а в следующий затем базарный день, перед самым Ивановым днем, бывает вновь большой базар и гулянье, известное под названием «старый Ярило».

В настоящее время от языческих празднеств, разумеется, сохранилось одно только название, но замечательно, что и на пространстве целых тысячелетий народ все-таки успел сохранить тот дух купальских празднеств и то веселье, которые были свойственны и языческой эпохе. Так, в песнях, которые распеваются в деревнях, Купала и сейчас называется «любовным», «чистоплотным», «веселым». В одной из купальских песен прямо говорится: «Ай, Купала наш веселый, князюшка наш летний, добрый».

Все эти эпитеты, которыми наделяет Купалу народная песня, находят свое объяснение в целом ряде обычаев, при-

уроченных к этому дню. Так, «любовным» Купала называется, между прочим, потому, что в его день, раз в году, расцветает папоротник, при помощи которого, по словам одной купальской песни, «сердце девичье огнями зажигают на любовь». Впрочем, сердца деревенской молодежи зажигаются и без папоротника, потому что еще накануне Купалы рощи, берега рек, леса и луга оглашаются веселыми хороводными песнями и парни и девушки вместе ищут чудодейственных трав, вдали от строгих глаз матерей и отцов.

«Чистоплотным» Иван Купала называется оттого, что на заре этого дня принято купаться, причем такого рода купанью приписывается целебная сила. С той же целью отыскать целебную силу, поутру Иванова дня, вологодские бабы «черпают росу»; для этого берется чистая скатерть и «бурак», с которыми и отправляются на луг. Здесь скатерть таскают по мокрой траве, а потом выжимают в бурак и этой росой умывают лицо и руки, чтобы прогнать всякую «болесть» и чтобы на лице не было ни угрей, ни прыщей. В той же Вологодской губернии накануне Ивана Купалы крестьянки обязательно моют у колодца или на реке так называемые квашенки, то есть кадушки, в которых водят тесто для ржаного хлеба. (По замечанию нашего корреспондента, эти квашенки только и моются один раз в году.)

В Пензенской губернии точно так же «черпают росу», хотя здесь она служит не только для здоровья, но и для чистоты в доме: купальской росой кропят кровати и стены дома, чтобы не водились клопы и тараканы. Впрочем, от клопов существует и другое, более радикальное средство: когда в дом придет священник и, окропивши св. водой, станет уходить, то нужно вслед ему мести пол, приговаривая: «куда поп, туда и клоп». После этого уже ни одного клопа не останется, так как все они перейдут в тот дом, куда далее направится священник.

В Орловской губернии (как, впрочем, и во многих других) с Иванова дня начинают ломать прутья березы для банных веников. Делается это в том предположении, что веники, срезанные до Иванова дня, приносят вред для здоровья («на теле

будет чес», то есть чесотка). Вообще, баня, купанье в реках и умыванье росой составляют один из наиболее распространенных в народе купальских обычаев. Местами этот обычай выродился даже в своеобразный обряд обливанья водой всякого встречного и поперечного. «Деревенские парни, – пишет об этом обряде наш орловский корреспондент, – одеваются в грязное, старое белье и отправляются с ведрами и кувшинами на реку, где наполняют их самою грязною, мутною водой, а то и просто жидкой грязью, и идут по деревне, обливая всех и каждого и делая исключение только для стариков и малолеток». Но всего охотнее, разумеется, обливают девушек: парни врываются даже в дома, вытаскивают и выносят девушек на улицу силой и здесь с ног до головы окачивают водой и грязью. В свою очередь, и девушки стараются отомстить парням и тоже бегут на реку за водой и грязью. Начинается, таким образом, общая свалка, полная веселья, криков и смеха. Кончается дело тем, что молодежь, перепачканная, мокрая, в прилипшей к телу одежде, гурьбой устремляется на реку и здесь, выбрав укромное местечко, подальше от строгих глаз старших, купается вместе, причем, разумеется, и парни, и девушки остаются в одеждах.

Относительно общенародного обычая – купаться в Иванов день – мы получили сведения почти со всей центральной и северной полосы России, и только А. В. Балов сообщает, что в некоторых уездах Ярославской губернии крестьяне признают такое купанье очень опасным, так как в Иванов день считается именинником сам водяной, который терпеть не может, когда в его царство лезут люди, и мстит им тем, что не только топит всякого неосторожного, но, затащивши в самую глубь речных омутов, глумится уже над мертвым телом.

Кроме эпитетов «любовный», «веселый» и «чистоплотный», Иван Купала повсеместно именуется еще и «травником». Последнее название указывает на общенародное верование, которое гласит, что все чудодейственные и целебные травы распускаются как раз в ночь на Ивана Купалу, когда творческие силы земли достигают своего наивысшего напря-

жения. Поэтому знающие и опытные люди, а особенно деревенские лекари и знахари, ни под каким видом не пропускают Ивановой ночи и собирают целебные коренья и травы на весь год. Наибольшим вниманием их пользуется: 1) «Петров-Крест» – трава, похожая на простой горох без стручков. (Крест находится в корне, на глубине двух аршин, и вполне предохраняет и от колдунов, и от нечистой силы.) 2) «Чертогон» – трава с теми же свойствами: ее втыкают в трещину над воротами и калиткой – от колдунов, и под крышами – для изгнания чертей. 3) «Чернобыль-трава». Эту траву заплетают в плети и кладут их «под Иванову росу» с приговором: «Мать-земля, отец-небо, дайте рабам вашим от этой травы здоровья». 4) «Зяблица» – помогает от ребячьего крика и от бессонницы, но для успешного действия ее нужно топить в молоке. 5) «Расперстьице» – трава эта сушится, и порошком ее присылаются больные места на теле (обрезы, нарывы, опухоли). В большом употреблении точно так же травы: «дивий сил», «мария магдалина» (от тоски), «богородская» трава (для окуривания отелившихся коров), а также специальный корень, носящий несколько рискованное название и предназначенный для снятия «порчи» с молодых.

XXXI.
ПЕТРОВ ДЕНЬ

29 июня, день святых апостолов Петра и Павла, считается праздником рыбаков, так как апостол Петр повсюду известен как покровитель рыбного промысла, а среди приречных и приозерных жителей носит даже название «рыболова». Рыбаки ему молятся, служат молебны, а в некоторых местах установили даже обычай ежегодно в день 29 июня собирать «Петру-рыболову на мирскую свечу», которая и ставится в храме перед его образом.

Что касается прочего населения, то оно хотя и празднует день свв. апостолов, но праздник этот не считается первостепенным и не связывается с какими-либо особыми религи-

озными обрядами. Местами же, как, например, в Вологодской губ., крестьяне даже скептически относятся к Петровскому посту, замечая, что пост этот выдумали попы вместе с бабами: «Первые для того, чтобы собирать «петровщину» (сбор яйцами, маслом, сметаной), а вторые – с целью накопить масла и яиц». Впрочем, пример вологодских скептиков надо признать исключением, так как в остальной России Петровский пост соблюдается в крестьянской среде во всей строгости церковного устава, а день «заговин» считается праздничным днем. Так, например, в Калужской губ. (Мещовском у.) к этому дню все семейные, кому только есть возможность, стараются быть дома, а на столе, после ужина, оставляют объедки неубранными на том основании, что в дом собираются все умершие предки тоже заговляться. Пожилые бабы уверяют при этом, что они много раз видели и слышали, «как упокойники заговляются, обгладывают кости и оставляют на столе раскрытую посуду, которая прежде была закрыта» (кошки словно и в счет не входят у этих суеверных баб).

С таким же почтением относятся крестьяне и к дню «разговин». В Вельском у. Вологодской губ. до двадцатых годов минувшего столетия существовал даже обычай общих разговин всем миром: прихожане приводили к церкви быка, тут же убивали его и, сварив в больших котлах мясо, разговлялись все сообща. Когда возник этот оригинальный обычай неизвестно, но уничтожен он, по сообщению нашего корреспондента, в 20-х годах вельским исправником.

В прочих местах Великороссии крестьяне хотя и не разговляются сообща, но каждая семья заблаговременно готовится к Петрову дню: печет, жарит и варит и припасает водки. Последняя припасается в возможно большом количестве, так как все имеют в виду прием гостей и родственников, которые в Петров день приезжают даже из дальних деревень. Но в этой праздничной выпивке принимают участие, главным образом, только женатые и старики, – деревенская же молодежь еще с вечера уходит в поле и здесь, вдали от родительского надзора, проводит всю ночь, «карауля солнышко»: по народному понятию,

солнце в день Петра и Павла, как и в день Светлого Христова Воскресенья, играет какими-то особенными цветами, которые переливаются и искрятся, как радуга (этот обычай караулить солнце первоначально был установлен с целью отогнать от села русалок, которые в Петров день своими злыми шалостями причиняли немало вреда посевам). Встретив солнышко, молодежь, обыкновенно, еще не расходится по домам, а заплетает венки на ветках деревьев, преимущественно на березе, – с теми же символами, какие придаются венкам на Троицын день.

В круговороте земледельческих работ Петров день хотя и считается началом покоса трав, но почти не связывается с какими-нибудь особыми приметами. Говорят только, что «с Петрова дня зарница хлеб зарит» и что «если просо в Петров день в ложку, то будет его и на ложку».

Что касается других, неземледельческих примет, то их почти не существует. Только в Тамбовской губ. верят, что речное купанье в Петров день очищает от любодейных грехов.

XXXII.
ИЛЬИН ДЕНЬ

На огненной колеснице могучий, седой старец с грозными очами разъезжает из конца в конец по беспредельным небесным полям, и карающая рука его сыплет с надзвездной высоты огненные каменные стрелы, поражая испуганные сонмы бесов и преступивших закон Божий сынов человеческих. Куда ни появится этот грозный старик, он всюду несет с собою огонь, ужас, смерть и разрушение. Его непреклонное сердце не смягчат ни вопли, ни стоны пораженных, и взор его грозных очей не остановится на зрелищах земных несчастий. Совершив правосудие неба, он, как бурный вихрь, мчится на своей сверкающей колеснице все дальше и дальше, и по могучим плечам его только рассыпаются седые кудри да по ветру развевается белая, серебристая борода.

Таков, по воззрениям народа, Илья-пророк, олицетворяющий собой праведный гнев Божий. Повсюду на Руси он име-

нуется «грозным», и повсюду день, посвященный его памяти (20 июля), считается одним из самых опасных. Во многих местах крестьяне даже постятся всю ильинскую неделю, чтобы предотвратить гнев пророка и спасти от его стрел свои поля, свои села и скотину. Самый же день 20 июля крестьяне называют «сердитым» и проводят его в полнейшей праздности, так как даже пустая работа считается великим грехом и может навлечь гнев Ильи. Если в этот день на небе появятся тучки, народ с боязнью следит за ними глазами; если дело доходит до грозы, то боязнь эта переходит в панический страх: все население забивается в дома, затворяет наглухо двери, занавешивает окна и, зажигая перед образом четверговые свечи, молит пророка сложить гнев на милость.

В некоторых местах предупредительные меры принимаются даже накануне Ильина дня. Так, в Никольске (Вологодской г.) крестьяне еще с вечера окуривают свой дом ладаном, а все светлые предметы, вроде самовара, зеркальца и тому подобных, – или закрывают полотном, или же вовсе выносят из избы на том основании, что будто бы пророк Илья считает такие предметы предосудительной роскошью, неприличной в крестьянском быту. В Вятской губ. пророка Илию умилостивляют дарами: крестьяне в этот день приносят в церковь «под свято» ногу барана, пчелиного меду, пиво, колосьев свежей ржи и зеленого гороха. Но по вопросу о том, что из этих предметов всего более угодно Илье, происходит разногласие. Одни стоят за пчелиный мед, другие доказывают преимущество баранины. На этот счет в Орловском у. Вятской губ. народная фантазия создала даже целую легенду. Двое соседей заспорили между собой, что следует приносить в жертву Илье-пророку, чтобы вовремя были дожди. Один из них, занимавшийся овцеводством, доказывал, что в жертву – или, как говорят в деревнях, «под свято» – следует приносить овец, а другой, водивший пчел, спорил, что дары следует приносить от пчел. Долго спорили соседи и наконец подрались. А подравшись, пошли к бурмистру судиться и рассказали ему о предмете спора. Бурмистр вызывал их на суд по нескольку раз, и каждый раз спорящие,

желая привлечь его на свою сторону, приносили ему – один баранов, другой меду. Наконец, бурмистр собрал народ, начал судить и сказал: «Вот, миряне, собрал я вас на совет: эти два человека спорили о том, что следует приносить Илье-пророку под свято: один говорит – от овцы свято, а другой говорит – от пчелы свято, а так как у меня с обоих взято, то пусть и будет от овцы свято, и от пчелы свято».

Кроме четверговой соли и умилостивительных даров, самым надежным средством для предотвращения гнева Ильи служат общественные молебствия, совершаемые в поле. Во многих деревнях такие молебствия совершаются ежегодно в силу общественного приговора, причем в основании приговоров, в большинстве случаев, лежит какое-нибудь несчастье, случившееся 20 июля: то молния зажжет деревню, то «громом убьет» человека или скотину, то градом выбьет хлеб. Такие же общественные приговоры составляются крестьянами с целью воспретить производство работ в Ильин день: предполагается, что в деревне всегда найдется один-другой безбожник, который, по легкомыслию или по отсутствию страха Божия, не побоится работать в «грозный» Ильин день, а так как отвечать за этот грех придется всем (потому что Илья может сжечь всю деревню), то общество и считает себя в праве налагать на таких нарушителей закона штрафы. В Калужской губ. и уезде были случаи, когда на крестьянина, выехавшего в Ильин день за снопами, набрасывалась целая толпа однодеревенцев и снимала с его лошади хомут, который немедленно же относился в кабак и пропивался всем обществом.

Приписывая пророку Илье власть производить гром и молнию и направлять тучи по своему усмотрению, то есть отдавая в его руки самые страшные и вместе самые благодетельные силы природы, наш народ твердо верит, что плодородие земли есть дело пророка и что без его воли не может быть урожая. Поэтому народ представляет себе Илью не только как вестника небесного гнева, но и как благодетеля человеческого рода, дарующего земле изобилие плодов и прогоняющего нечистую силу, эту виновницу человеческих

несчастий и болезней. По народному поверью, для нечистой силы страшен не только сам Илья, но даже дождь, который проливается в его день, имеет великую силу: ильинским дождем умываются от вражьих наветов, от напусков и чар. Сам же Илья наводит на бесов панический, беспредельный ужас: как только на небе раздастся грохот его колесницы, черти толпами бегут на межи, прячутся за спины людей или укрываются под шляпки ядовитых грибов, известных в народе под именем «яруйки». Даже сам сатана трепещет перед грозным Ильей и, застигнутый пророком в облаках, пускается на хитрости, чтобы избежать могучих ударов. «Я в христианский дом влечу и сожгу его», – грозится сатана. А Илья гремит ему в ответ: «Я не пощажу дома, поражу тебя». И ударяет в ту пору своим жезлом с такою силой, что трещат небесные своды и огненным дождем рассыпаются каменные стрелы. «Я в скотину влечу, а в человека войду и погублю их, я в церковь Божию влечу и сожгу ее», – снова грозится сатана. Но Илья неумолим: «Я и Церкви Святой не пощажу, но сокрушу тебя», – гремит он опять и все небо опоясывает огненной лентой, убивая скотину, людей, разбивая в щепки столетние деревья и сжигая избы и св. храмы.

При таком воззрении православного народа на Илью немудрено, что о пророке этом сложилось великое множество легенд и преданий. Почти в каждой деревне можно выслушать рассказ о каком-нибудь исключительном проявлении гнева или милости пророка, о каком-нибудь чуде или небесном знамении: почти в каждой волости, в каждом уезде и губернии можно встретить новые варианты старых преданий или натолкнуться на совершенно оригинальную легенду местного происхождения. Вот, например, что рассказывают о земной жизни пророка Илии крестьяне Орловского уезда и губернии: «до 33-х лет пророк Илья сидел сиднем и не мог ходить. Родители его были люди бедные и корчевали пни, прикармливая этой работой калеку-сына. Однажды шел по земле Господь с Николаем Угодником и, увидев Илью, сказал: “Поди, подай нам напиться”. – “Я бы рад подать, да не могу

идти”, – отвечал Илья. Господь взял его за руку, и он приподнялся с земли сам. Тогда Господь почерпнул в колодце полное ведро воды и велел выпить Илье, потом почерпнул еще одно и половину третьего и спросил у него: “Ну, как ты теперь?” – “Я могу поворотить весь свет по-иному, – отвечал Илья, – если бы был столб средь неба и земли, то разрушил бы я всю землю”. Услышав эти слова, Бог испугался и поспешил сбавить Илье силы наполовину и, сверх того, велел ему посидеть под землею 6 недель. Но затем, когда Илья, просидевши под землею, снова вышел на свет (вместе с пророком Онуфрием), то первое, что он увидел, была гробница. Илья вошел в эту гробницу, и тотчас же с неба спустилась огненная колесница с ангелами, которые и умчали Илью на небо, представив его пред лице Господа. “Ты, Илья, – сказал Господь, – владей этой колесницей, пока я не приду на землю, и пусть в твоих руках отныне будет гром и молния”». По народному поверью, на этой колеснице Илья перед кончиной мира спустится на землю и три раза объедет из одного конца земли в другой, предупреждая всех о страшном суде. Это орловское предание в некоторых местах уже варьируется, и крестьяне передают, что Господь возложил на голову Ильи камень в 40 десятин, чтобы убавить ему силы. Камень этот и сейчас цел и стоит на небе, перед престолом Божиим.

Мы нарочно привели эту сравнительно пространную легенду, чтобы показать, каким путем слагаются в народном воображении суеверные предания: сказание былины об Илье Муромце здесь перепутывается с библейским рассказом об Илье-пророке и осложняется фантастическими арабесками собственного творчества. А все, взятое вместе, создает неясный, туманный образ полубогатыря, полусвятого.

Такая же путаница и разноголосица наблюдается во всех рассказах крестьян, когда они начинают объяснять, отчего бывает дождь. Один мужик Смоленской губернии так объяснял причины дождя нашему корреспонденту: «Илья развозит по небу воду для всех святых, и если расплескает малость, так на земле дождь идет». Когда же этого мужика спросили,

отчего не бывает грозы с дождями зимой, он не задумываясь ответил: «А зимою святые без воды сидят». Во Владимирской губ. (Меленковского уезда) вопрос – почему на земле бывает дождь – облекся даже в форму легенды. Рассказывают, что один Владимирский мужик до такой степени заинтересовался этим вопросом, что в конце концов решил лично пойти на небо и на месте осмотреть, как это все там делается. На небе любознательный мужичок увидел батюшку-Илью, который разъезжал взад-вперед на своей колеснице, от которой происходил сильный гром, а из под копыт крылатых коней вылетала молния. «Подъехал, это, Илья-пророк к большому чану с водой, – передавал мужичок, – стал черпать из чана воду ковшом и ну поливать ею небо. От этого самого и полился на землю дождь. Потом батюшка-Илья подъехал ко мне и баит: “Ну что, мужичок, насмотрелся, отчего происходит гром и дождь? Теперь пойди, найди на небе дыру, в кою закатывается месяц, спустись на землю и расскажи всем людям, отчего бывает гром, молния и дождь”».

Считая Илью-пророка властителем ветров и дождевых туч, крестьяне связывают с днем этого святого множество календарных примет. «До Ильи, – говорят они, – облака ходят по ветру, а с Ильи начинают ходить против ветра». «До Ильи поп дождя не умолит, – после Ильи баба фартуком нагонит». «После Ильина дня, – говорят вологжане, – в поле сива коня не увидишь – вот до чего темны ночи». «С Ильина дня ночь длинна: коцап (работник) просыпается, а кони наедаются». «С Ильина дня вода стынет». То же наблюдение сделано и в Пошехонском уезде Ярославской губ., где так объясняют причину охлаждения речных вод: «Илья пророк ездит на конях по небу, и от быстрого бега одна из лошадей теряет подкову, которая падает в воду, и вода сразу холодеет».

Земледельческие приметы также связываются с днем Ильи: «Если в этот день с утра облачно, то сев должен быть ранний и можно ожидать обильного урожая; если облачно в полдень – средний сев, а если вечером – сев поздний и урожай плохой».

XXXIII. СПАС

Праздник Преображения Господня (6 августа), известный в народе под именем «Спаса», повсюду считается праздником урожая и плодов земных. Но так как ко дню 6 августа далеко еще не все плоды поспевают (иные же поспевают ранее), то крестьяне из одного праздника сделали три и повсеместно празднуют *первого* Спаса (1 августа), *второго* (6 августа) и *третьего* Спаса (16 августа).

Первый Спас всюду называется «медовым», а кое-где и «мокрым». Названия эти произошли оттого, что к первому Спасу пчеляки второй раз подрезывают ульи с медом и, выбрав лучший липовый сот, несут в церковь «на помин родителев». К этому же дню варят «медяные» квасы и угощают всех, пришедших в гости. «Мокрым» же первый Спас называется потому, что, по установлению Церкви, в этот день бывает крестный ход на реки и источники для водоосвящения. А так как крестьяне не только сами купаются после крестного хода, но имеют обыкновение купать в реках и всю скотину, которая будто бы здоровеет после этого, то неудивительно, что и самый праздник получил название «мокрого».

Второй Спас почти повсеместно называется «яблочным», так как с этого времени разрешается есть садовые плоды и огородные овощи. День этот крестьяне чтут как очень большой праздник, но редко отдают себе отчет в истинном значении того события, которое вспоминает церковь 6 августа. Только кое-где второй Спас называется «Спасом на горе» (название, которое позволяет заключить о знакомстве с Священным Писанием), в большинстве же случаев крестьяне не знают, что такое Преображение Господне, и считают второй Спас просто праздником земных плодов. Сообразно с этим, в день 6 августа вся паперть в приходских церквах бывает заставлена столами, на которых навалены горы гороха, картофелю, огурцов, репы, брюквы, ржи, ячменя, яблок и проч. Все эти плоды урожая священник благословляет после обед-

ни и читает над ними молитву, за что благодарные прихожане ссыпают ему в особые корзины так называемые начатки, то есть понемногу от каждого сорта принесенных плодов.

После освящения и благословения крестьяне набожно осеняют себя крестом и разговляются яблоками: есть плоды до этого времени считается большим грехом, и если кому случится, по забывчивости или невоздержанию, попробовать яблок раньше срока, то такой человек не должен есть их в течение сорока дней после Спаса, чтобы тем искупить свою вину. Особенно должны воздерживаться от преждевременного вкушения плодов те из крестьян, у которых умерли в младенческом возрасте дети, так как на том свете на серебряных деревьях растут золотые яблочки и эти яблочки раздаются только тем умершим детям, родители которых твердо помнят закон и строго воздерживаются от употребления плодов до второго Спаса.

В некоторых местах, например в Вольском у. Вологодской губернии, с днем Преображенья Господня связывается особый обычай, известный в народе под именем «столованья». На площади перед церковью ставят длинный ряд столов, покрывают их чистыми скатертями, и все деревенские хозяйки принимают на себя обязанность наполнить эти столы всевозможное снедью, которая и поедается прихожанами после обедни и крестного хода. В других уездах той же Вологодской губ. сохранился обычай всеобщих разговин горохом: отслужив в поле молебен, крестьяне всем селом устремляются на гороховое поле и до самого вечера лакомятся зелеными стручками, не различая своей полосы от чужой. Эти гороховые розговины составляют истинный праздник и величайшее наслаждение для деревенской детворы, которая целый день ныряет в зеленых кустах и наедается до того, что под конец уже на животе переползает с полосы на полосу.

Третий Спас празднуется в честь Нерукотворенного образа (17 августа). На языке крестьян он называется «Спас на полотне» или «ореховый» Спас. Последнее название дано потому, что к этому времени в центральной полосе России поспевает лесной орех, а первое указывает на самую идею

праздника («Спас на полотне», то есть образ, икона). Но третий Спас известен далеко не во всей России: там же, где его празднуют, день этот ничем почти не выделяется в ряду деревенских будней, если не считать церковных молебнов и обычая печь пироги из нового хлеба.

Таким образом, из трех Спасов наиболее почитается второй, совпадающий и с церковным праздником Преображения Господня. Первый же хотя и признается повсеместно, но почитается, главным образом, в южной полосе Великороссии, где ранее созревает хлеб и плоды и где этому празднику приписывается роль и значение второго Спаса, так как освящение хлеба и овощей на юге очень часто производится до Преображения Господня, именно 1 августа.

XXXIV.
УСПЕНЬЕ

В Никольском уезде Вологодской губ. крестьяне рассказывают следующую легенду о смерти Матери Божией: Божия Матерь прожила на свете шестьдесят два года: двадцати двух лет она родила сына Иисуса и умерла десять лет спустя после Его смерти. Объятая великой материнской скорбью, она после Голгофы ходила на гору Елеонскую и там просила у своего Божественного Сына последней милости – скорее освободить ее от тягостной земной жизни и принять к Себе, на небо. Там же, на горе Елеонской, явился к ней архангел и благовествовал: «Мати! Молитва Твоя услышана, и Ты будешь принята на небо». Но слова Божественного вестника сбылись только тогда, когда истек десятый год после кончины Искупителя мира.

В той же Вологодской губернии существует особая легенда и о похоронах Богоматери. Когда Ее в гробу несли на кладбище, то из какого-то дома выбежал еврей и хотел было опрокинуть гроб, чтобы тем оскорбить христианскую святыню и поколебать веру в сердцах тех, кто принимал участие в траурной процессии. Но Господь не допустил такого кощунства, и, по слову Божию, с небес слетел ангел с огненным

мечем и отсек дерзновенному еврею руки. Чудо это произвело глубокое впечатление на всех присутствующих, но всего больше на самого еврея, который сразу же уверовал в Богородицу и стал горячо молиться Ей, после чего у него снова приросли отсеченные руки.

На кладбище Божия Матерь была опущена в могилу, но тело Ее не осталось в земле, а нетленное было взято на небо. Об этом ученики Христовы узнали следующим образом. При похоронах Богоматери не было ученика Фомы, который, по свойственному ему маловерию, захотел разрыть могилу, чтобы собственными глазами убедиться, действительно ли Мать Иисуса скончалась и покоится в земле. Но когда могилу разрыли, там уже остались одни пелены, тела же не было – оно вознеслось на небо.

В крестьянском быту день Успения Пресвятой Богородицы (15 августа) считается днем окончания жатвы, и в церковь, на литургию, мужички считают долгом принести колосьев нового хлеба, чтобы «Успенье-Матушка» благословила их труды и помогла благополучно управиться с молотьбой, оградив свезенный хлеб от пожаров и всякого несчастья. Бабы же, покончившие с жнитвом, «купаются» в этот день по сжатой полосе и говорят: «Жнивка, жнивка, отдай ты мою силушку на пест, на колотило, на молотило, на кривое веретено». Этот обычай, характеризующий трудность женских полевых работ, во многих местах заканчивается крестьянскими пирушками, которыми жнецы как бы вознаграждают себя за изнурительную работу.

День Успенья считается не только постным, но даже траурным днем, по крайней мере старухи-крестьянки любят в этот день одеваться во все черное в воспоминание праведной кончины Богоматери.

XXXV.
ИВАН ПОСТНЫЙ

Под таким названием известен в народе день Усекновения главы Иоанна Крестителя (29 августа). Событие, которое

в этот день вспоминает в своих молитвенных возношениях церковь, очень хорошо известно крестьянам, что, между прочим, видно из целой массы обычаев и правил, которые с удивительной строгостью соблюдаются в крестьянской среде. Цель всех этих обычаев состоит в том, чтобы не вызывать никаких воспоминаний о мученической кончине великого праведника и всячески избегать таких действий и поступков, которые напоминали бы это грустное событие. На этом основании считается непростительным грехом брать в руки что-нибудь острое – ножи, топоры и пр., так как это напоминает тот меч, которым отсекли голову Крестителю. Точно так же считается грехом есть в этот день круглые предметы: картофель, капусту, лук, яблоки и пр., так как форма этих предметов напоминает голову. Избегают есть и красные предметы (например арбузы) на том основании, что это напоминает кровь, а также не принято есть что-нибудь на блюде, чтобы не вызывать воспоминаний о том блюде, на котором лежала голова Крестителя.

Все эти правила соблюдаются чрезвычайно строго, так что если хозяйка забыла накануне нарезать хлеб, то в день Иоанна Крестителя хлеб будут уже ломать, а не резать, из опасения, чтобы на хлебе не выступила кровь как немой укор нарушителям обычая. Для большей же крепости соблюдения этих правил, крестьяне повсюду верят, что нарушителей наказывает сам Иоанн, посылая неурожаи на плоды, а то так и просто отнимая руки и лишая языка. Хорошо зная суть события, которое вспоминается церковью 29 августа, крестьяне тем не менее путаются в подробностях земного жития Иоанна Крестителя. Они переделывают священную историю на свой лад, восполняя пробелы точного знания отчасти фантазией, отчасти теми картинками лубочного издания, которыми запрудил современную деревню Никольский рынок. Так, в Орловской губ. крестьяне убеждены, что Иоанн Креститель стал называться так только с того момента, когда сделался «крестным отцом» Иисуса Христа, – до этого же времени он назывался «еще как-то». В той же Орловской губ. о святой жизни

Иоанна рассказывают так: «Иоанн не ел хлеба, не пил вина и никак не ругался; весь он был в шерсти, как овца, и только после крещения шерсть с него свалилась». А о том, как Иоанн крестил народ, орловцы передают: «Кто приходил к Ивану креститься, он, первым долгом, бил того человека железным костылем, чтобы грехи отскочили, как пыль от платья, и потом уже крестил».

В Пензенской губ. крестьяне, передавая о кончине Иоанна, всегда присовокупляют, что голову Крестителя апостолы нашли в капусте, отчего, между прочим, и считается большим грехом ходить в этот день на огороды резать капусту, так как на ней, под ножом, непременно выступят алые пятна крови (в некоторых местах крестьяне считают даже за правило обрывать в день Ивана листья капусты, так как капля крови с головы Крестителя, брошенной в огород, будто бы упала на капустный лист).

При таком трогательном и благоговейном почитании Крестителя Господня крестьяне, само собою разумеется, проводят в строжайшем посте день, посвященный его священной памяти (отчего день этот и носит название Ивана Постного). Считается большим грехом даже есть рыбу (хотя и говорят, что на Ивана Постного рыбы в реках особенно много). Но в особенности непростительными считаются пьянство, песни и пляски. Первое потому, что Иоанн явил собой образец высокоподвижнической жизни и никогда не пил вина, второе – оттого, что песнями и плясками злая Иродиада добилась главы Иоанна. Кроме строгого поста, крестьяне в день Иоанна Крестителя считают своим долгом непременно побывать в церкви, где, между прочим, лица, страдающие головными болями, испрашивают себе у этого святого исцеление.

Все перечисленные особенности Иванова дня принадлежат к числу тех, которые можно наблюдать повсеместно в нашей деревенской Руси. Но есть и такие, которые усвоены не везде, а составляют исключительную принадлежность какой-нибудь одной, определенной местности. Так, например, в Вологодской губ. день Ивана Постного называется иначе «реп-

ным праздником», так как до этого дня «заказано» есть репу и засеянные ею полосы должны оставаться неприкосновенными под страхом «срамного» наказания. Самое наказание это тоже представляет собою вологодскую особенность. Оно состоит в том, что всякого, кого застанут в репище до Иванова дня, – будь это мужик, баба, парень или девка, – непременно разденут до нага, обмотают на голове одежду и в таком виде проведут вдоль всей деревенской улицы. При этом желающим предоставляется даже право бить наказываемого, хотя на практике никто этим правом не пользуется, а все ограничивается смехом и шутками.

XXXVI.
СЕМЕН-ЛЕТОПРОВОДЕЦ

День св. Симеона Столпника (1 сентября) на языке народа носит название «Семена-Летопроводца» или просто «Семина дня». Это срочный день для взноса оброков, пошлин и податей, и с этого же дня обыкновенно начинаются и прекращаются все условия и договоры, заключаемые поселянами между собой и с торговыми людьми (отдача в наем земли, рыбных ловель и других угодий). В условиях так и пишут: «На Семин день я, нижеподписавшийся, обязуюсь» и т. д.

Название «летопроводца» присвоено Семину дню потому, что около этого времени наступает конец лета, о чем можно заключить и по народным земледельческим поговоркам: «Семин день – севалка с плеч» или «Семин день – семена долой» (т. е. конец посеву). «В Семин день до обеда паши, а после обеда пахаря с поля гони» (намек на то, что с наступлением сентябрьских дней ясная утренняя погода к полудню часто сменяется холодом и ненастьем). Время с Семина дня по 8 сентября называется «бабьим летом» – это начало бабьих сельских работ, так как с этого дня бабы начинают «засиживать» вечера.

Во многих местах с днем Семена-Летопроводца связывается «потешный» обычай хоронить мух, тараканов, блох и прочую нечисть, одолевающего крестьянина в избе. Похороны

устраивают девушки, для чего вырезывают из репы, брюквы или моркови маленькие гробики. В эти гробики сажают горсть пойманных мух, закрывают их и с шутливой торжественностью (а иногда с плачем и причитаниями) выносят из избы, чтобы предать земле. При этом во время выноса кто-нибудь должен гнать мух из избы «рукотерником» (полотенцем) и приговаривать: «Муха по мухе, летите мух хоронить», или: «Мухи вы мухи, комаровы подруги, пора умирать. Муха муху ешь, а последняя сама себя съешь».

Обычай хоронить мух и тараканов наблюдается по всему северу России, причем даже детали его везде одни и те же, и только кое-где вместо «рукотерника» советуют изгонять мух штанами, в полной уверенности, что это средство неизмеримо действительное, так как муха, выгнанная штанами, навсегда теряет охоту возвращаться в избу снова[1].

С изгнанием мух связана и специальная примета: «Убить муху до Семина дня – народится семь мух; убить после Семина дня – умрет семь мух».

Как ни комична сама по себе ритуальная обстановка борьбы с насекомыми и паразитами, но она дает полное основание заключить, что при бедности нашего крестьянства и при той грязи, которая повсеместно царит в избах, сожительство с паразитами причиняет крестьянам истинное страдание: «сыпной» таракан и «сыпной» клоп, даже при загрубелости кожи, лишают обитателей изб спокойного сна и нормального отдыха; дети же страдают от насекомых невыразимо, поднимая по ночам полные отчаяния вопли.

XXXVII. ОСПОЖИНКИ

Оспожинки, Спожинки или Госпожинки приурочены к празднику в честь Рождества Пресвятой Богородицы (вторая Пречистая на северо-западе) и составляют ближайшее к

[1] Обычай хоронить мух, тараканов и клопов практикуется не только на Семин день, но и на Воздвиженье, и на Покров, и на некоторые другие праздники.

этому двунадесятому празднику время. Празднество это, в зависимости от урожая, отличается большим разгулом. При видимо благополучном результате жатвы оспожинки справляются иногда в течение целой недели: чем урожайнее было лето, тем продолжительнее праздник. Приноровленное к празднествам церковного цикла и обнимающее собой период времени от Успения Богородицы до Покрова, это деревенское «пировство» развертывается по всем правилам хлебосольства и со всеми приемами гостеприимства по преданию и заветам седой старины и, по возможности, широко и разгульно. В прежние времена все, у кого был покрепче достаток и веселее на душе, делали приготовления заранее и, прежде всего, пользовались древним правом времен св. Владимира, отнятым в недавние времена царствования на Руси винного откупа, то есть варили пиво по числу ожидаемых гостей и достатку (от 10 до 15 корчаг), кололи овцу или барана из своих, покупали говядины, голову и ноги бычачьи для студня, доставали рыбы для кулебяки, хотя избранный день и упадал на скоромный, и пекли пирог из домашней пшеничной муки с примесью купленной крупчатки.

За день, за два до праздника бегут по селу малолетки с зовом на пировство родственников, предпочитая тех из них, которые сами в состоянии отплатить угощением на своем празднике. Исключение составляют зятья, особенно молодые: ни тесть, ни теща не обходят их приглашением, хотя бы сами и не рассчитывали на ответное. Для обоих очень важно, чтобы между ними и свекором и свекровью дочери существовали добрые, мирные хлебосольные отношения, по пословице: «не для зятя-собаки, а для милого дитяти». Неприглашенный свекор может не отпустить своего сына и его жены к родителям снохи, вот почему сват и сватья у тестя и тещи их сына – главные гости, которые и залезают за стол в передний угол, под самые образа. Впрочем, такие отношения продолжаются до семейного раздела: как только зятнин отец выделил сына, он ни в каком случае не может уже рассчитывать на зов к своему свату, то есть к сыновнему тестю. «Здешние крестьяне (как сообщает

г. Наумов из Яранского у. Вятской губ.) в соблюдении праздничного хлебосольства принимают в расчет еще и равенство семьи: если в одной число взрослых членов значительно превышает число таких же в другой семье, то последняя нередко уклоняется от хлебосольных отношений к первой. Но раз между двумя семьями установились хлебосольные отношения, то они уже поддерживаются долгое время до крупных изменений в семейном строе. На праздники приглашается прежде всего глава родственной семьи, его жена и старшие сыновья с женами и детьми: это из дома тестя в гости к зятю, если он самостоятельный хозяин. Если же зять в своей семье имеет второстепенное значение, – тогда только один его тесть с женой. Приглашение целой семьи происходит только тогда, когда обе семьи чересчур сдружились и когда они приблизительно равночисленны. Из дома свата в первые годы после свадьбы тесть приглашает самого свата с женою и старшего сына, если таковой есть, и затем и других членов семьи, пользующихся в ней особенным влиянием. Дети зятьев в гости к своему деду берутся все без исключения: они пользуются особенно нежным уходом и заботливостью со стороны своей бабушки по матери. Они нередко остаются у дедушки и бабушки на несколько дней после праздника. Вообще, для детей это самое приятное время в течение целого года, а в гостях у бабушки и деда они чувствуют себя полными хозяевами».

Конечно, веселье усугубляется и разнообразится там, где храмовые праздники самого дня 8 сентября вызывают ярмарочные съезды и торжки.

XXXVIII.
ДЕНЬ СВ. ФЕОДОРЫ

11 сентября, день Феодоры Александрийской, или, по крестьянскому произношению, – «Александровской», считается началом осени. «Осень ездит на пегой кобыле», – говорит народ, характеризуя неустойчивость погоды в это время, то есть падающий хлопьями мокрый снег и сменяющую его

грязь. В это время, по народному представлению, осень с зимой спорит. Осень говорит: «Я поля хлебом уряжу», а зима ей отвечает: «А я еще погляжу».

Никаких особых торжеств и церковных празднеств в день св. Феодоры не бывает. Исключение представляет разве Пошехонский уезд Ярославской губернии, где в село Федоринское стекается множество богомольцев. По преданию, близ этого села находится тот самый камень, на котором во сне явилась одному благочестивому старцу преподобная Феодора. В настоящее время тут выстроена часовня, которая и служит сборным пунктом для всех молящихся. Имея, таким образом, чисто местное значение, день св. Феодоры нигде не связывается с какими-нибудь народными поверьями, легендами и приметами, если не считать опять-таки того же Пошехонского уезда, где о преподобной мученице народ сложил целые рассказы, не имеющие ничего общего с действительным житием св. Феодоры. Один из таких легендарных рассказов удалось слышать нашему корреспонденту А. В. Балову из уст крестьянки Марии Васильевой. Приводим этот рассказ в несколько сокращенном виде: «В одной деревне жил крестьянин и у него была жена Феодора, женщина лицом красивая, а нравом распутная: при муже жила она в блуде со своим соседом... И захотел, видно, Бог взыскать грешницу: напала на нее тоска, опротивел сосед, опостылел муж, надоела и прежняя греховная жизнь, – совесть, как зверь, и днем, и ночью грызла Феодору. А недалеко от Феодориной деревни был скит женский, и игуменья там была старица святая, много приходило к ней народу за советом и молитвой. Пошла туда же, потихоньку от мужа, и Феодора. Пришла к старице, покаялась в своих грехах и стала просить совета. И повелела ей старица одеться мужчиной, идти в дальний мужской монастырь и там, среди монахов, спасаться во образе мужчины. Послушалась Феодора св. старицы: ушла тихонько от мужа, остригла свою длинную косу, оделась мужчиною, назвалась Феодором и пошла в тот дальний монастырь, про который сказывала ей игуменья. Однако в монастырь ее сразу не впустили: игумен

в виде послушания приказал ей провести ночь у ворот монастыря, посреди опасностей от зверя дикого и всякого гада. Но Феодора не устрашилась опасностей и безропотно подчинилась приказанию. Наутро же, когда она была принята в монастырь, игумен, опять-таки в виде послушания, приказал ей чистить помойные ямы и сорные места. Но и тут Феодора осталась верной себе и много лет несла эту работу со смиренством: никого не было в монастыре кротче, благочестивее и смиреннее ее. Смиренство инока Феодора заметил, наконец, игумен и начал его возвышать, а затем настолько приблизил к себе, что доверял ему закупать всю провизию, нужную для монастыря. Но тут и случилась с иноком беда. Проезжая за провизией в город, инок Феодор всегда останавливался по дороге у одного купца, у которого была дочь-красавица. Эта-то дочь и послужила причиной несчастья инока. Она слюбилась с каким-то молодцом, забеременела от него и родила сына, а когда старик отец допытывался у дочери, кто был ее обидчиком, она всю вину взвалила на инока Феодора. Взял купец младенца, поехал в монастырь и рассказал все игумену. Игумен же оставил у себя младенца и, созвав всю братию, привел Феодора на суд. Долго думала братия, но так как Феодор не оправдывался ни в чем, то все и решили, что он согрешил, и постановили его наказать: закласть вместе с младенцем в пустой каменный чулан, замуровать камнями и подавать скудную пищу через маленькое оконце.

Семь лет провел Феодор в этом чулане. На восьмом году однажды принес ему монах ежедневную пищу и увидал, что и вчерашняя трапеза осталась нетронутой. Побежал монах к игумену, созвал братию, и решили иноки разломать дверь. Когда же они вошли в чулан, то увидели, что на полу лежит умерший брат Феодор, а на персях у него умерший мальчик. Стали братья приготовлять тела для погребения, стала раздевать их для омовения. Но тут-то все и увидели, что Феодор был не мужчина, а женщина и что перед ними не грешник, а великая праведница. Сделал игумен пышные похороны новопреставленной рабе Божией, собрал народ, и тут выяснилось

все: на погребение прибыл и купец с дочерью, и муж Феодоры, от которых братия и узнала всю правду.

XXXIX.
ВОЗДВИЖЕНЬЕ

Судя по некоторым народным поверьям, наши крестьяне совсем не знают, в чем состоит истинный смысл и значение церковного праздника – Воздвиженья Честного и Животворящего Креста Господня (14 сентября).

По мнению орловцев, разделяемому тамбовцами и владимирцами, в день Воздвиженья все змеи, ужи и вообще все пресмыкающиеся «сдвигаются», то есть сползаются в одно место, под землю, к своей матери, где и проводят всю зиму вплоть до первого весеннего грома, который служит как бы сигналом, разрешающим гадине выползать из чрева матери-земли и жить на воле. Вот почему на праздник Воздвиженья, или, по крестьянскому выражению, «Сдвижения» мужики на весь день тщательно запирают ворота, двери и калитки из боязни, чтобы гады, ползущие к своей матери под землю, не заползли, по ошибке, на мужичий двор и не спрятались там под навозом или в соломе и нарах. Впрочем, крестьяне верят, что, начиная с Воздвижения, змеи не кусаются, так как каждая гадина, ужалившая в это время человека, будет строго наказана: всю осень, до первого снега и даже по снегу, будет ползать зря, не находя себе места, пока не убьют ее морозы или не проткнут мужичьи вилы.

Наряду с гадиной, и лешие, вместе с оборотнями и прочей нежитью, считают день Воздвиженья каким-то срочным для себя днем. Лешие, например, сгоняют в этот день в одно место все подвластное им зверье, как бы делая ему смотр перед наступающей зимою. Крестьяне, впрочем, не объясняют, с какой именно целью лешие делают такие парады, но это не мешает им твердо верить, что в день Воздвиженья ни под каким видом нельзя ходить в лес, так как оборотни, и особенно лешие, бывают в это время крайне бесцеремонны и в лучшем

случае могут только побить, а то так и просто отправить мужика на тот свет.

В других местах слово «Воздвиженье» находит себе несколько иное объяснение: говорят, например, что в этот день хлеб с поля на гумно «сдвинулся», так как к половине сентября обыкновенно оканчивается уборка хлеба и начинается молотьба. Говорят еще, что Воздвиженье «сдвинет зипун, надвинет шубу» или что на Воздвиженье «кафтан с шубой сдвинулся и шапка надвинулась».

Относительно обычая хоронить в день Воздвижения мух и тараканов мы уже упоминали в статье «Семен-Летопроводец», а из других обычаев и поверий можем указать только на одно: крестьяне повсюду верят, что день Воздвижения принадлежит к числу тех, в которые не следует начинать никакого важного и значительного дела, так как все начатое в этот день или окончится полной неудачей, или будет безуспешно и бесполезно.

XL.
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Так как свадьба в крестьянском быту требует значительных расходов, то в деревнях девушек выдают замуж обыкновенно тогда, когда уже закончились полевые работы и вполне определился итог урожая. Таким временем повсюду считается Покров Пресвятой Богородицы (1 октября). Поэтому и праздник Покрова считается покровителем свадеб. (Существует даже примета, что если в день Покрова будет очень ветрено, то это предвещает большой спрос на невест.) А так как о свадьбах и женихах всего больше толкуют девушки, то естественно, что и самый праздник Покрова приобретает, до некоторой степени, значение девичьего праздника. В этот день всякая девушка-невеста считает непременным долгом побывать в церкви и поставить свечку перед образом Покрова Богородицы, причем повсюду сохраняется уверенность, что девушка, первая поставившая свечу, и замуж выйдет раньше всех. Кроме умилостивительной свечи, перед образом Покрова чита-

ются и особые молитвы: «Батюшка-Покров, мою голову покрой. Матушка Пятница Параскева, покрой меня поскорее»[1]. Такую же самодельную молитву читают девушки и отходя ко сну: «Покров-праздничек, покрой землю снежком, а мою голову венцом». С Покрова же во всей Великороссии девицы начинают устраивать беседы.

Что касается прочего населения, то день 1 октября оно считает «первым зазимьем» (началом зимы). В этот день начинают топить в жилых горницах печи, причем бабы не упускают случая, чтобы произнести особую молитву: «Батюшка-Покров, натопи нашу хату без дров». С Покрова же крестьяне начинают конопатить свои избы (опять-таки с приговором: «Батюшка-Покров, покрой избу тесом, а хозяев добром») и «закармливают» на зиму скот. Последний обычай обставляется довольно торжественно, так как скотине скармливают особый сноп овса, называемый «пожинальником». Пожинальник, или последний сноп с последней полосы, обыкновенно вяжется из тех колосьев, которые оставляются «Илье на бороду». (Делается это с целью умилостивить грозного пророка: «Вот тебе, Илья, борода, а нам хлеба вороха».) Эту «бороду Ильи» крестьяне дожинают непременно всей семьей, храня во время работы гробовое молчание. Из «бороды» вяжется отдельный сноп, который ставится на лавку в переднем углу, где и стоит до Покрова. На Покров же его торжественно выносят на двор и дают скотине с целью предохранить ее от зимней бескормицы и от всех бед и напастей, связанных с самым суровым и тяжелым временем года.

XLI.
ДВЕНАДЦАТЬ ПЯТНИЦ

Среди захолустных обывателей и доныне пользуется большой популярностью так называемая рукописная духовная литература. Правда, духовенство всеми мерами старается изъять из обращения эти остатки старины, но благочестиво

[1] Параскева-Пятница точно так же считается покровительницею брака.

настроенные мещанки, просвирни, начетчицы и малограмотные кутни все-таки переписывают и «сны Богородицы», и «поучение, иже во святых отца нашего Климента, папы Рымского о дванадесятницах» (о двенадцати пятницах). Замечательно при этом, что переписчики тщательно прячут свою литературу не только от лиц духовного звания, но и вообще от интеллигентных людей, которые-де хотят ознакомиться с рукописями только из «праздного любопытства», а не по усердию истинно верующих христиан. Наши корреспонденты, по крайней мере, сообщают из разных мест, что им лишь с величайшим трудом удалось достать нижеследующий текст поучения Климента о двенадцати пятницах.

1-я Пятница – на первой неделе Великого поста. Кто сию пятницу постится, тот человек от внезапной смерти не умрет.

2-я Пятница – перед Благовещением (в эту пятницу Каин убил Авеля). Кто сию пятницу постится, тот человек от напрасного убийства избавлен будет (по другим спискам: тот до убожества великого не дойдет и от меча сохранен будет).

3-я Пятница – на Страстной неделе Великого поста. Кто сию пятницу постится, тот человек от разбойников сохранен будет (вариант: от мучения вечного и от нечистого духа сохранен будет).

4-я Пятница – перед Вознесением Христовым, когда погубил Господь Содом и Гоморру. Кто в эту пятницу постится, тот без св. Таин Христовых не умрет и от великого недостатка сохранен будет.

5-я Пятница – перед сошествием Св. Духа. Кто сию пятницу постится, тот от потопления избавлен будет (вариант: тот при кончине жизни смерть свою узрит и от смертных грехов сохранен будет).

6-я Пятница – перед днем св. Иоанна Предтечи. Кто сию пятницу постится, тот человек сохранен будет от сухоты и трясавиц (лихорадок).

7-я Пятница – перед днем пр. Илии. Кто сию пятницу постится, тот человек от грома, молнии, града и голода сохранен будет.

8-я Пятница – перед Успением Пресвятой Богородицы (когда Моисей на горе Синайской принял закон). Кто сию пятницу постится, тот человек, перед смертию своей, Богородицу узрит.

9-я Пятница – перед днем Косьмы и Дамиана. Кто сию пятницу постится, тот человек от великого грехопадения сохранен будет.

10-я Пятница – перед днем Архангела Михаила. Кто сию пятницу постится, душа того человека через огненную реку перенесется.

11-я Пятница – перед Рождеством Христовым (когда 14 тысяч младенцев, от царя Ирода в Вифлееме Иудейском убиены были). Кто сию пятницу постится, имя того человека будет записано у самой Пресвятой Богородицы на престоле.

12-я Пятница – перед Богоявлением. Кто сию пятницу постится, имя того человека в книгах животных записано будет.

Кто же эти «Пятницы», которые столь щедрой рукой раздают постящимся в их честь разнообразные дары и милости? По понятиям народа, это живые существа, к которым можно обращаться с молитвой и прошениями. Существа эти, в воображении крестьян, рисуются в виде девиц, причем 10-я «пятница» считается самой старшей вместе с 9-й «пятницей», она приносит Богу все наши молитвы прежде всех других «пятниц», так как стоит ближе к Богу, а равно и к святым его угодникам и Богородице.

Что крестьяне действительно олицетворяют свои пятницы, тому имеется много доказательств. Так, и в настоящее время в захолустных деревнях о нарушителях клятвы говорят: «И как его девятая пятница не убила?» или: «Хоть бы его матушка Ильинская пятница покарала». Об олицетворении свидетельствует и распространенный в народе рассказ о том, как три святые женщины – среда, пятница и суббота – видели все страсти Господни и поведали об этих страстях миру. Наконец, об олицетворении говорит и целое множество других рассказов, в которых действующими лицами являются то просто «пятницы», то Параскева-Пятница. Вот один из таких рассказов, записанный

в Любимском уезде Ярославской губернии, со слов одной крестьянки. «В одной деревне жила женщина. Женщина эта была хорошая работница, только совсем она не почитала пятницы: и пряла, и ткала в пятницу, и белье мыла, и всякую работу в пятницу делала. Вот раз осталась она в избе одна-одинешенька, а дело было в пятницу вечером. Сидит баба да прядет. Только вдруг, слышит она, по сеням кто-то идет. А двери с улицы в сени были заперты. Спужалась баба не на шутку – сидит ни жива, ни мертва. Вдруг тихонько начала отворяться из сеней дверь в избу, и вошла женщина, страшная и безобразная. На ней были все лохмотья да дыры; голова вся платками рваными укутана, из-под них клочья волос повылезли растрепками; ноги у ней были все в грязи, руки тоже в грязи, и вся она, с головы до ног, была осыпана всякой нечистью и мусором. Вошла эта страшная женщина в горницу, начала молиться на образа и плакать. Потом подошла к хозяйке и говорит:

“Вот ты, женщина негодная, как ты меня обрядила. Прежде я в светлых ризах ходила, да в цветах, да в золотом одеянии, а твое непочтение вот до какой одежи меня довело. Громом бы тебя разразить мало. Ты преступила закон, и за это будет тебе огонь неугасимый и тьма кромешная. До чего ты меня довела? Я через твой поступок в такой горести состою, что целый день не пью, не ем, не сплю, не почиваю – все слезами обливаюсь. А ты, безумная баба, никакой жалости ко мне не имеешь и дня моего не почитаешь”.

Тут баба догадалась, что в избу к ней вошла сама Пятница и стала было прощения просить. А Пятница: “Нет, – говорит, – тебе моего прощения”, да взяла железную спицу, которой кудель льну к копылу привязывают, и стала тыкать ей бабу. Тыкала, тыкала, пока до полусмерти не истыкала. Утром нашли бабу всю в крови и насилу в чувство привели. Да только с тех пор баба по пятницам уж работать – ни-ни: стала почитать праздничный-то день».

Столь же распространен и другой рассказ, в котором обиженная пятница превратила «бабу-непочетницу» в лягушку, – с тех пор будто бы и лягушки на земле пошли.

Наряду с такого рода рассказами, несомненное олицетворение двенадцати пятниц, попавших в «свиток иерусалимского знамения», доказывается духовными стихами, обрядами, обычаями и приметами. В том же «поучении иже во святых отца нашего Климента, папы Рымского» о непочтении к 12-й «пятнице» сказано: «…аще который человек в сию Великие Пятницы с женою своею или с девицею сотворит блуд и от них зачнется, то будет (младенец) слеп, или нем, или глух, или тать, или разбойник, или всякому делу злому начальник. Аминь».

Своеобразные кары за непочитание пятниц устанавливают и народные приметы. Кто прядет в пятницу, у того на том свете слепы будут отец с матерью. Кто в пятницу много смеется, тот в старости много будет плакать. Кто в пятницу моет полы, тот после смерти в помоях валяется. (Последнее наблюдение сделано людьми «обмиравшими» и, стало быть, побывавшими на том свете.)

Из обычаев, свидетельствующих об олицетворении пятниц, укажем только на один. Деревенские бабы считают за правило никогда не купать ребят по пятницам из опасения, чтобы на ребенка не напал «сушец». Если же, по забывчивости, иная баба все-таки искупает дитя в пятницу, то, в предотвращение болезни, она прибегает к следующему обряду: позвав к себе соседку, она передает ей ребенка и становится ждать у окна. Соседка же с улицы *продает* ей ребенка за грош, причем мать, взявши через окно своего ребенка, тут же и платит деньги. Смысл обряда понятен сам собой: отдавая ребенка в чужие руки и как бы уступая другому лицу все свои права на него, баба тем самым дает понять Пятнице, что наказывать этого ребенка было бы бесполезно, так как ребенок уже не ее и принадлежит другой бабе. Покупая же затем ребенка обратно, баба опять-таки дает понять Пятнице, что посылать кару на вновь купленного ребенка нет никаких оснований, так как ребенок, в сущности, чужой, только сию минуту купленный. А чтобы эта военная хитрость удалась вполне, обычай предписывает, чтобы баба, получившая грош за ребенка, истратила этот грош непременно в пользу Пятницы и тем окончательно

загладила ту маленькую неприятность, которую доставила Пятнице купаньем ребенка в ее день.

XLII. ПАРАСКЕВА-ПЯТНИЦА

«Орловские епархиальные ведомости» (1884 г. № 157) следующим образом характеризуют народное представление о св. мученице Параскеве, нареченной Пятнице: «Св. Параскева считается покровительницею воды и имеет, по народному взгляду, особую близость к ней. На это верование указывают существующее в народе предание о том, что образ св. Параскевы чудесно являлся иногда на воде, на реке или в колодце, вследствие чего вода приобрела особую силу. На этом основании и теперь нередко ставится икона св. Параскевы при источниках, над ключами и колодцами. Далее, она считается покровительницей главной у простого народа женской зимней работы – пряжи. Это видно из того, что в народе она носит название “льняницы”, и со дня ее памяти, то есть с 28 октября, повсюду обыкновенно начинают мять лен. Но главное в народных верованиях относительно св. Параскевы то, что она считается покровительницей соименного ей дня недели – пятницы, и потому все поверья, какие существуют в народе насчет пятницы, относятся и к лицу св. Параскевы».

Параскева-Пятница с полным основанием может быть названа «бабьей святой», так как повсюду наши крестьянки считают ее своей заступницей и покровительницей. Даже народные легенды рисуют Параскеву-Пятницу простой бабой, которая занималась повоем. Вот одна из таких легенд (записанная в Меленковском уезде Владимирской губ.), из которой видно, за что преимущественно чтут и как объясняют святость Параскевы наши крестьянки: «Лежит однажды св. мученица Прасковья на печи со своим мужем и баит ему: “Теперь бы, баит, кто-никто позвал бы меня на повой, а то давно я не была на повоях-то”. А муж и говорит: “Напрасно ты, баба, ходишь по эфтим самым повоям-то: там всяко может случиться,

пожалуй, еще согрешишь”. А матушка-то Прасковья и говорит ему: “Эй, мужик, только ходи с молитвой, да делай, как Бог велит, так и не будет ничего”. Лежат это они на печке да уговариваются, – ан, глядь, входит к ним в избу какой-то парень и баит: “Тетка Прасковья, пойдем к нам на повой”. Дело было ночью, Прасковья не разглядела, что за парень пришел к ней, встала с печи, оделась и пошла с ним. Парень привел ее в баню. А в бане-то на всех полках и повсюду сидят черти. Испугалась Прасковья, хотела было убежать да одумалась: если, мол, Бог не попустит, так черти не съедят. Сказала этак-то матушкаПрасковья и видит, что на полке лежит девка и мучается родами. Подошла к ней Прасковья, помолилась Богу и стала опрастывать. А старшой-то сатана и баит ей: “Смотри ты, баба! повивать повивай, а только чтобы без молитвы, а не то я тебе такого перцу задам!”… Одначе матушка Прасковья не испугалась и, как только девка опросталась, погрузила с молитвой ребенка в воду и тихонько, чтобы не видали черти, надела на него крест. В это самое время пропели кочета, и баню вдруг как вихрем подняло: все окаянные и девка пропали, а матушка Прасковья осталась с ребенком одна. Взяла это она ребенка, принесла домой, а муж опять на нее напустился: “Эй, баба! говорил я тебе, чтобы ты не ходила. Молись теперь Богу, чтобы он заступился за тебя и спас от чертей”... Только черти на том не помирились, и задумали они за то, что Прасковья взяла у них ребенка, сделать ей штуку: стали они смущать царя, чтобы он замучил Прасковью. А царь-то был нечестивый. Призвал, это, он матушку к себе и стал ее улещать, чтобы она покинула хрестьянскую веру, а когда на эти царевы слова Прасковья согласия своего не дала, он взял да и велел отрубить ей голову. Это случилось в пятницу, поэтому и зовется мученица Парасковья “Пятницей”».

В других губерниях эта легенда, сколько можно судить, неизвестна. Но зато почти повсюду можно услышать бесконечные рассказы женщин о каком-нибудь чуде, связанном с именем Прасковьи-Пятницы. Так, в Пензенской губ., Саранского уезда крестьяне рассказывают о явленной иконе Пятни-

цы. Икона эта будто бы явилась на роднике, в пяти верстах от села Посопа, но когда народ толпами повалил с приношениями (приношения эти клались возле иконы и Параскева раздавала их бедным), то начальство распорядилось икону увезти, а крестьяне на том месте построили часовенку.

XLIII. КУЗЬМИНКИ

Кузьма и Демьян известны в народе под именем «курятников» и «кашников», потому что в день 1 ноября, когда празднуется память этих святых, в деревнях носят в церковь «под свято» кур и варят кашу, отведать которую приглашаюсь и свв. угодников: «Кузьма-Демьян, – говорят крестьяне, усаживаясь за трапезу, – приходите к нам кашу хлебать».

Трудно сказать, каким образом Косьма и Дамиан, известные, по церковным преданиям, как врачи-бессребреники, даром лечившие людей, – превратились, в глазах темного народа, в «курятников» и «кашников». Но несомненно, что эпитеты эти распространены по всей России, причем в некоторых местах народная фантазия придумала им даже легендарное объяснение. Так, в Вологодской губ., Тотемском у. рассказывают, что свв. Кузьма и Демьян были простыми работниками, которые охотнее всего нанимались молотить, но при этом никогда не требовали платы, а ставили лишь условием, чтобы хозяева вволю кормили их кашей. Это вологодское предание породило далее своеобразный обычай, в силу которого на домолотках крестьяне считают как бы правилом варить кашу, а работники требуют ее у хозяев как нечто должное, освященное преданием. Домолачивая последний овин, они обыкновенно говорят: «Хозяину ворошок, а нам каши горшок». В Курской губ., наряду с кашей, крестьяне считают необходимым бить 1 ноября трех куренков и есть их утром, в обед и вечером, «чтобы птица водилась». По словам нашего корреспондента, трапеза в здешних местах сопровождается всегда специальной молитвой: «Кузьма-Демьян-сребреница! Зароди, Господи, чтобы писклятки водились».

Наблюдают также, чтобы за трапезой отнюдь не ломались кости, а то цыплята будут уродливые. Последнее правило еще строже наблюдается в Тамбовской губ.: местные хозяйки твердо убеждены, что если в день Кузьмы и Демьяна зарезать двух петухов или петуха и курицу и, съевши их, провертеть на кобылках их дыры и затем бросить в курятник, то на следующий год неминуемо все куры будут с дырявыми кобылками.

Считаясь защитниками кур по преимуществу, свв. Кузьма и Демьян в то же время известны и как покровители семейного очага и супружеского счастья. День, посвященный их памяти, особенно чтится девушками: в некоторых местах существует даже обычай, в силу которого девушка-невеста считается в этот день как бы хозяйкой дома, она приготовляет для семьи кушанья и угощает всех, причем в качестве почетного угощения подается куриная лапша, отчего и праздник этот известен в народе под именем «кочетятника» (от кочет – петух). Вечер этого дня деревенская молодежь проводит в весельи: девушки собираются в какой-нибудь большой избе и делают так называемые ссыпки, то есть каждая приносит что-нибудь из съестного в сыром виде: картофель, масло, яйца, крупу, муку и пр. Из этих продуктов, в ознаменование начала зимних работ, устраивается пиршество, к которому в качестве гостей приглашаются парни. Такие пирушки называются «кузьминками» и продолжаются до света, причем парни обыкновенно успевают вторично проголодаться и отправляются на фуражировку, воруя соседских кур, которых девушки и жарят им в «жировой» избе. При этом, конечно, сохраняется в полной тайне, сколько и у кого было украдено кур, хотя к покражам такого рода крестьяне относятся довольно снисходительно, и если бранятся, то только для порядка.

Вышеописанные «кузьминки» в некоторых местах (как, например, в Пензенской губ., Городищенском у.) сопровождаются особым обычаем, известным под именем «похорон Кузьмы-Демьяна»: в жировой избе девушки приготовляют чучело, то есть набивают соломой мужскую рубашку и шаровары и приделывают к нему голову; затем надевают на чучело «чапан», опоясывают кушаком, кладут на носилки и несут в

лес, за село, где чучело раздевается и на соломе идет веселая пляска. Чтобы закончить характеристику народных воззрений на Кузьму и Демьяна, необходимо сказать, что оба эти святые называются еще «рукомесленниками» и считаются покровителями ремесел и, главным образом, женских рукоделий. Это объясняется тем, что с 1 ноября (день Кузьмы и Демьяна) женщины вплотную принимаются за зимнюю пряжу: «Батюшка Кузьма-Демьян, – говорят они, садясь за прялку, – сравняй меня позднюю с ранними», то есть помоги не отстать от других, которые начали работу раньше.

XLIV.
МИХАЙЛОВ ДЕНЬ

Орловский мужик из Карачевского уезда так объяснял причину и повод чествования своего Михайлова дня. Храм в его селе построен во имя Троицы, но главный праздник не этот:

– Троица-Матушка и так праздничек Божий: работать не пойдешь. Михайлов день не то: люди работают, а мы гуляем, да и гульба не та. Вот теперь Яшное (деревня) Тройцу празднует – беда: до праздника все в подборе – хлеба своего нет, о деньгах и не спрашивай. С первого дня у них уж и водки нет. – А наш-то Михайло Архангел – куда вольней. Хлеб, почитай, у всех свой. Конопелька продана, овесец тоже. Денежки есть и должишки, что за зиму накопляли, – заплачены, и сборщику глотку заткнули: покуда дескать не пойдет, – вот и сгульнуть можно.

За несколько дней до праздника священник с причтом ходит по приходу, служат молебны и поздравляют с преддверием праздника. За это хозяева соизволяют по ковриге хлеба и деньгами от 5 до 15 коп. со двора.

Вот и праздник и по деревням пиры, в избах везде гости.

– Ну, старуха, сажай! – говорит хозяин, рассаживая гостей за столом и наблюдая при этом степень родства и требования почета.

– Присядьте, присядьте, гости дорогие! – отвечает хозяйка, ставя на стол чашку со студнем и раскладывая каж-

дому по пирогу и по ложке: – Милости просим! Рады приветить, чем Бог послал.

– С праздником, будьте здоровы, – говорит первый, выпивший первую чарку.

– Просим приступить, – говорит хозяин, и по его слову в торжественном молчании совершается уничтожение студня. Подается лапша и перед ней опять по стаканчику. На столе является целая часть какого-либо домашнего животного: свиньи, барана, теленка. Один из гостей, ближайший родственник, разламывает мясо руками (мясо варено, а потом в печи обжарено). Перед первыми кусками опять винное подношение в том же порядке.

– Кушайте, потребляйте: не всех по именам, а всех по ровням.

– То и делаем, – отвечают откланиваясь.

Подали кашу, за кашей полагается по две рюмки.

– Выпью семь и семь каш съем, – острит иной гость ухмыляясь, весь красный от потребленного, от духоты в избе и оттого, что у всех на плечах овчинные полушубки или теплые поддевки.

Кончили обед – вышли из-за стола, помолившись, благодарят и прощаются:

– Куда вы? – сейчас чай, аль от нас не чаете? – останавливает хозяин.

К чаю поданы баранки, пироги. Перед чаем и за чаем водка.

«Все встали из-за стола (пишет г. Морозов из Карачевского уезда Орловск. губ.), идут к другому, к третьему. Толпа гостей пьяна и начинает редеть: в одном дворе кум спьянился, а в другой сват под святыми заснул. Остальные или несвязно гуторят, или песню хотят затянуть, но никак не могут сладить и бросят неоконченною. В последнем дворе гостей уже человека четыре: все пьяны. Заночевали в селе, опохмелившись, спешат ко дворам, захватив с собою гостей. Приглашены только те, у которых сами угощались вчера».

Из села Посопа (Саранского у. Пензенск. губ.) сообщают о том же, что к Михайлову дню каждая семья готовится за

несколько дней и пирует также несколько дней, покупая от 2 до 3 ведер вина (семья среднего достатка) и от 5 до 7 ведер (богатые). Духовенство с молебнами начинает ходить за неделю до праздника и кончает первым днем, который проводят не очень шумно. Главное празднество начинается со второго дня, но зато очень рано, часа в 4 утра: начинают похмелье после вчерашнего почина и ходят друг к другу в гости без особого приглашения; ходят, пока носят ноги. На другой день приезжают гости из соседних деревень и вчерашний пир между своими превращается в общую свалку и в общий хаос. Между своими посещениями не разбираются и претензий никаких не предъявляют, но приезжих гостей считают, и кто не приехал, к тому и сами не поедут. Угощение чаем в этих местах считается наивысшим и очень почетным: угощают чаем лишь избранных.

XLV.
НИКОЛЬЩИНА

Под именем «Никольщины» следует разуметь неопределенный числом праздничных дней период времени, предшествующий и следующий за зимним Николой (6 декабря). Это празднество всегда справляют в складчину, так как одному не по силам принимать всех соседей. В отличие от прочих, – это праздник стариковский, большаков семей и представителей деревенских и сельских родов. Общее веселье и охота на пиво длятся не менее 3 и 4 дней, при съезде всех ближайших родственников, но в избранном и ограниченном числе. Неладно бывает тому, кто отказывается от складчины и уклоняется от празднования: такого домохозяина изводят насмешками в течение круглого года, не дают проходу от покоров и крупной брани и отстают и прощают, когда виновный покается: призовет священника с молебном и выставит всем обильное угощение. После этого он может уже являться в многолюдных собраниях и не надо ему на ходу огрызаться от всяких уколов и покоров – стал он «душев-

ным» человеком. На самой окраине Великороссии, где она приближается к границам Белороссии – а именно в Смоленщине (т. е. в Вяземском у. Смоленской губ.), в среде стариков наблюдается старинный (в Белоруссии повсеместно) обычай «свечу сучить». Он состоит в том, что посреди праздничных кушаний подается (по обычаю) сотовый мед. Поедят и начнут лакомиться сотовым медом, жуют соты и выплевывают воск в чашку с водой. Из этого воска выйдет потом мирская свеча Николе Угоднику, толстая-претолстая. Обычай требует, чтобы перед тем, как начать есть мед, все молились Николе Угоднику, чтобы умолить у Бога для дома достаток, на скотину – приплод, на хлеба – урожай, в семье – согласие. Крест кладут истово, поклоны кладут земные.

Никольщине в иных местах предшествует такой же веселый и сытый праздник – Михайлов день, о котором было сказано в предшествующей главе.

ПРИМЕЧАНИЯ

Из книги «Год на Севере»

При жизни С. В. Максимова книга «Год на Севере» вышла четырьмя отдельными книжными изданиями:

Максимов С. В. Год на Севере: В 2 т. Т. 1. Белое море и его Прибрежья. – СПб.: Изд. книгопродавца Д. Е. Кожанчикова, 1859. – 638, IV с.

Максимов С. В. Год на Севере: В 2 т. Т. 2. Поездка по северным рекам. – СПб.: Изд. книгопродавца Д. Е. Кожанчикова, 1859. − 514, IV с.

Максимов С. В. Год на Севере. Ч. 1. Белое море и его Прибрежья. − 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: Тип. Т-ва «Общественная польза», 1864. – 608 с.

Максимов С. В. Год на Севере. − 3-е изд., доп. – СПб.: Тип. А.Траншеля, 1871. − 690 с.

Максимов С. В. Год на Севере: В 2 ч. Ч. 1. Белое море и его Прибрежья. − 4-е изд., доп. – М.: Изд. П. И. Прянишникова, 1890. – 698 с.

V. Поездка в Соловецкий монастырь

Публикуется (в сокращении) по: *Максимов С. В.* Собрание сочинений. В 20 т. Т. 8. Год на Севере. Ч. 1. – СПб.: Т-во «Просвещение», 1909. – 6, 327 с.

Частично сохранена дореволюционная орфография и пунктуация.

Слова в разрядку заменены курсивом.

Часть примечаний дана составителем в постраничных сносках.

[1] Речь идет о событиях Крымской войны 1853–1856 гг. Весной 1854 г. англо-французский флот блокировал Балтийское море и начал локальные военные действия в Белом и Балтийском морях.

[2] *Константин Николаевич* (1827–1892) – Великий князь, второй сын императора Николая I, генерал-адмирал. Управлял Морским министерством с 1853 г., провел ряд реформ на флоте.

[3] См. *Досифей*. Географическое, историческое и статистическое описание Соловецкого монастыря. – СПб., 1836.

[4] Денисов Семен (1682–1741) вместе с братом Андреем (1674–1730) разработали богословскую и обрядовую сторону поморской ветви раскольнического движения. Семен Денисов – автор 49 сочинений, среди которых особое распространение имел «Виноград российский», посвященный жизни главных деятелей раскола.

Из книги «Бродячая Русь Христа ради»

Впервые опубликовано: Отечественные записки. – 1874. – № 9, 10; 1875. – № 1; 1876. – № 7, 8, 10, 11, 12.

Первое отдельное издание книги: *Максимов С.* Бродячая Русь Христа ради. – СПб.: Тип. т-ва «Общественная польза», 1877. – [2], 465, [2] с.

III. Нищая братия. 1. Побирушки и погорельцы

Печатается (в сокращении) по первому отдельному книжному изданию: *Максимов С.* Бродячая Русь Христа ради. – СПб.: Тип. т-ва «Общественная польза», 1877. [2], 465, [2] с.

Очерк впервые опубликован: Отечественные записки. – 1875. – № 1. – Отд. I. – С. 101–140.

Курсив – авторский. Примечания – составителя.

[1] *…из судогодских лесовиков...* – Речь идет о жителях района реки Судогды, богатого лесом.

[2] *Цокун* – человек, говорящий «ц» вместо «ч».

[3] *Животина* и *лопатина* – домашний скот и одежда.

[4] *Голбец* – припечье со ступеньками для входа на печь и на полати, с лазом в подызбицу (подполье).

[5] *Нижний стан* – нижняя рубашка.

Куль хлеба и его похождения

Печатается (в сокращении) по первому отдельному изданию (с исключением иллюстраций): *Максимов С. В.* Куль хлеба и его похождения. – СПб.: Изд. книгопродавца К. Н. Плотникова, 1873. – 297 с.

Свои очерки автор писал для детей (прежде всего своих), однако пользовались они большим успехом и у взрослых у читателей.

Впервые публикация очерков, позднее составивших отдельную книгу, началась в 1872 году в журнале «Школьная жизнь» (№ 11–13) под названием «Происхождение хлебного куля».

Книга при жизни автора отдельным изданием выходила четырежды (в 1873, 1875, 1881, 1894).

Сверено по последующим досоветским изданиям.

Слова в разрядку заменены курсивом.

Примечания составителя размещены в постраничных сносках.

Крылатые слова

Статьи С. В. Максимова, посвященные отдельным речениям народа, печатались начиная с 1883 г. в различных газетах и журналах («Новости», «Задушевное слово», «Осколки» и др.)

Первое отдельное издание: *Максимов С. В.* Крылатые слова. – СПб.: А. С. Суворин, 1890. – XVI, 486 с.

Сочинение С. В. Максимова наряду с положительными откликами вызвало и критику со стороны Д. Никольского[1] и А. И. Соболевского (в «Русском филологическом вестнике»).

Отметив, что труд С. В Максимова по своим заданиям очень полезен, Д. Никольский указывал, что «насколько основательно автор знает живую речь и современный быт нашего народа, настолько же мало, не в обиду будь ему сказано, знаком с историею языка и с теми сторонами прежней жизни народа, с которым ему пришлось обращаться при толковании крылатых слов»[2]. В упрек автору было поставлено еще и то, что он не воспользовался всеми необходимыми источниками и пособиями, а в том случае, когда пользовался, брал только то, что казалось ему подходящим, умалчивая об остальном.

Кроме того, рецензенты упрекали автора также в пристрастии к анекдотам, балагурной речи. Именно по этой причине в книге наряду с удачными толкованиями, по мнению рецензентов, встречаются малоубедительные, не совсем верные и вовсе ошибочные.

Следует отметить, что критика в ряде случаев была чрезмерно резкой и не бесспорной.

С. В. Максимов отчасти согласился с рецензентами и во второе издание внес ряд поправок, сократил анекдоты и исключил ряд крылатых слов. Вместе с тем на страницах этого издания, он вступил в полемику с Д. Никольским, отстаивая свою точку зрения.

Печатается по: *Максимов С. В.* Крылатые слова. Изд. 2-е. – СПб.: А. С. Суворин, 1899. – XV, 3, 500 с.

Слова в разрядку заменены курсивом.

Примечания составителя размещены в постраничных сносках.

---

1 Сначала в газете «Южный край», а потом дословно в воронежских «Филологических записках». – 1891. – Вып. V.

2 *Никольский Д.* «Крылатые слова» С. Максимова (Рецензия) // Филологические записки. – 1891. – Вып. V. – С. 2.

Недовесок к «Крылатым словам»

Продолжая работу над сборником «Крылатых слов», С. В. Максимов в 1901 г. начал печатать в журнале «Живописная Россия» дополнение к нему под названием «Недовесок к «Крылатым словам», но успел опубликовать лишь несколько статей, в частности «Щелкопер» (№ 24).

НЕЧИСТАЯ, НЕВЕДОМАЯ И КРЕСТНАЯ СИЛА

Нечистая сила

Впервые опубликовано: *Максимов С. В.* Нечистая сила. Ответы на вопросы программы под № 192–202 и 204. – СПб: Типография Министерства внутренних дел, 1899. – 202 с.

Публикуется по: *Максимов С. В.* Нечистая, неведомая и крестная сила. – СПб.: Тов-во Голике и Вельворг, 1903. – 528 с.

Сверено по: *Максимов С. В.* Собрание сочинений: В 20 т. Т. 18. Нечистая сила. – Неведомая сила. – СПб.: Книгоиздат. т-во «Просвещение», 1912. – 6, 295 с.

Слова в разрядку заменены курсивом.

Все постраничные примечания – автора.

Сокращенные автором названия уездов и губерний составителем даны полностью.

Неведомая сила

Впервые опубликовано: *Максимов С. В.* Нечистая, неведомая и крестная сила. – СПб.: Тов-во Голике и Вельворг, 1903. – 528 с.

Публикуется по первому изданию.

Сверено по: *Максимов С. В.* Собрание сочинений: В 20 т. Т. 18. Нечистая сила. – Неведомая сила. – СПб.: Книгоиздат. т-во «Просвещение», 1912. – 6, 295 с.

Слова в разрядку заменены курсивом.

Все постраничные примечания – автора.

Сокращенные автором названия уездов и губерний составителем даны полностью.

Крестная сила

Впервые опубликовано: *Максимов С. В.* Нечистая, неведомая и крестная сила. – СПб.: Тов-во Голике и Вельворг, 1903. – 528 с.

Публикуется по первому изданию.

Сверено по: *Максимов С. В.* Собрание сочинений: В 20 т. Т. 17. Крестная сила. Рассказы из истории старообрядчества. – СПб.: Книгоиздат. т-во «Просвещение», 1912. – VI, 332 с.

Все постраничные примечания и слова курсивом – автора.

Сокращенные автором названия уездов и губерний составителем даны полностью.

СОДЕРЖАНИЕ

Институт русской цивилизации создан в октябре 2003 г. для осуществления идей и в память великого подвижника православной России митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева). Предшественником Института был Научно-исследовательский и издательский центр «Энциклопедия русской цивилизации» (1997—2003).

Целью Института является творческое объединение ученых и специалистов, занимающихся изучением истории и идеологии русского народа, проведение научных исследований, конференций, семинаров и систематизация знаний по всем вопросам русской цивилизации, истории, философии, этнографии, культуры, искусства и других научных отраслей, связанных с жизнедеятельностью русского народа с древнейших времен до начала XXI века. Приоритетным направлением деятельности института является создание 30-томной «Энциклопедии русского народа» (вышло 14 томов), а также научная подготовка и публикация самых великих книг русских мыслителей, отражающих главные вехи в развитии русского национального мировоззрения и противостояния силам мирового зла, русофобии и расизма (вышло более 100 томов).

Редактор Л. К. Молотилова
Корректор А. А. Полякова
Компьютерная верстка Д. Е. Поляков
Институт русской цивилизации. Тел.: 8-495-605-25-35

Подписано в печать 27.12.2012 г. Формат 84 x 108 $^{1}/_{32}$.
Гарнитура «Times». Объем 46,2 изд. л.
Печать офсетная. Заказ №
Отпечатано в ОАО «Тверской полиграфический комбинат».

ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ ВЫПУСКАЕТ БОЛЬШУЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ РУССКОГО НАРОДА

Главный редактор О. А. Платонов

Энциклопедия включает следующие тома:

Русская цивилизация *(вышел)*
Русское Православие в трех томах *(вышли)*
Русское государство *(вышел)*
Русский патриотизм *(вышел)*
Русское мировоззрение *(вышел)*
Русский образ жизни *(вышел)*
Русская география
Русское хозяйство *(вышел)*
Международные отношения
Национальные отношения
Русская литература *(вышел)*
Русская икона и религиозная живопись в двух томах *(вышли)*
Русская архитектура и скульптура
Русская живопись
Русский театр
Русская музыка
Русская наука
Русская школа
Русское воинство
Памятники Отечества
Русские за рубежом
Противники русской цивилизации

Каждый том Энциклопедии посвящен определенной отрасли жизни русского народа и будет завершенным сводом энциклопедических знаний по этой отрасли от «А» до «Я». Читатели могут в зависимости от потребностей подбирать либо полный комплект Энциклопедии, либо необходимые один или несколько томов.

К подготовке издания привлекаются лучшие русские ученые и специалисты, используются опыт и наиболее ценные материалы предыдущих русских энциклопедий и словарей. Критерием подготовки и отбора статей для Энциклопедии являются православные и национальные традиции русской науки, соответствие сделанных оценок национальным интересам русского народа.

Редакция Энциклопедии привлекает к сотрудничеству всех заинтересованных русских людей и организации. Будем признательны за любую помощь в подготовке нашего издания.

Настоящая Энциклопедия является первой попыткой создания всеобъемлющего свода православных и национальных сведений о жизни русского народа. После выхода первого издания Энциклопедии предполагается ее совершенствование и подготовка нового издания.

Приглашаем к сотрудничеству всех русских людей, разделяющих идеи Святой Руси, русской цивилизации.

Будем благодарны за любые отзывы, замечания, поправки и дополнения.

Просим направлять их по адресу: 121170, Москва, а/я 18. Платонову О. А., e-mail: info@rusinst.ru

Электронную версию Энциклопедии можно получить на нашем сайте: www.rusinst.ru.

ВЫШЛИ В СВЕТ КНИГИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ИНСТИТУТОМ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ:

СЕРИЯ «РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ»

Митр. Иоанн. Самодержавие духа, 528 с.
Киреевский И. Духовные основы русской жизни, 448 с.
Гиляров-Платонов Н. П. Жизнь есть подвиг, а не наслаждение, 720 с.
Аксаков И. С. Наше знамя – русская народность, 640 с.
Гоголь Н. В. Нужно любить Россию, 672 с.
Тихомиров Л. А. Руководящие идеи русской жизни, 640 с.
Филиппов Т. И. Русское воспитание, 448 с.
Григорьев Ап. Апология почвенничества, 688 с.
Данилевский Н. Я. Россия и Европа, 816 с.
Хомяков А. С. Всемирная задача России, 800 с.
Самарин Ю. Ф. Православие и народность, 720 с.
Катков М. Н. Идеология охранительства, 800 с.
Булгаков С. Н. Философия хозяйства, 464 с.
Аксаков К. С. Государство и народ, 680 с.
Концевич И. М. Стяжание Духа Святого, 864 с.
Флоровский Г. В. Пути русского богословия, 848 с.
Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство, 496 с.
Страхов Н. Н. Борьба с Западом, 576 с.
Мещерский В. П. За великую Россию. Против либерализма, 624 с.
Свт. Филарет митр. Московский. Меч духовный, 720 с.
Зеньковский В. В. Христианская философия, 1072 с.
Ламанский В. И. Геополитика панславизма, 928 с.
Черкасский В. А. Национальная реформа, 592 с.
Достоевский Ф. М. Дневник писателя, 880 с.
Солоневич И. Л. Народная монархия, 624 с.
Валуев Д. А. Начала славянофильства, 368 с.
Фадеев Р. А. Государственный порядок. Россия и Кавказ, 992 с.
Лешков В. Н. Русский народ и государство, 688 с.
Иван Грозный. Государь, 400 с.
Лобанов М. П. Твердыня духа, 1024 с.
Безсонов П. А. Русский народ и его творческое слово, 608 с.
Леонтьев К. Н. Славянофильство и грядущие судьбы России, 1232 с.
Щербатов А. Г. Православный приход – твердыня русской народности, 496 с.
Шафаревич И. Р. Русский народ в битве цивилизаций, 936 с.
Беляев И. Д. Лекции по истории русского законодательства, 896 с.
Коялович М. О. История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям, 688 с.
Погодин М. П. Вечное начало. Русский дух, 832 с.
Шишков А. С. Огонь любви к Отечеству, 672 с.
Хомяков Д. А. Православие. Самодержавие. Народность, 576 с.
Кошелев А. И. Самодержавие и Земская дума, 848 с.
Черняев Н. И. Русское самодержавие, 864 с.
Победоносцев К. П. Государство и Церковь в 2-х томах, т. 1 – 704 с.; т. 2 – 624 с.
Венелин Ю. И. Истоки Руси и славянства, 864 с.

Преп. Иосиф Волоцкий. Просветитель, 432 с.
Преп. Нил Сорский. Устав и послания, 240 с.
Трубецкой Е. Н. Смысл жизни, 656 с.
Ломоносов М. В. О сохранении русского народа, 848 с.
Митр. Иларион. Слово о Законе и Благодати, 176 с.
Ильин И. А. Путь духовного обновления, 1216 с.
Тютчев Ф. И. Россия и Запад, 592 с.
Святые черносотенцы. Священный Союз Русского Народа, 1136 с.
Шарапов С. Ф. Россия будущего, 720 с.
Св. Иоанн Кронштадтский. Я предвижу восстановление мощной России, 648 с.
Суворин А. С. Россия превыше всего, 912 с.
Меньшиков М. О. Великорусская идея в 2-х томах, т. 1 – 688 с.; т. 2 – 720 с.
Розанов В. В. Народная душа и сила национальности, 992 с.
Архиепископ Аверкий (Таушев). Современность в свете Слова Божия, 720 с.
Иларион Троицкий. Преображение души, 480 с.
Митр. Антоний (Храповицкий). Сила Православия, 688 с.
Соловьев В. С. Оправдание добра, 656 с.
Бердяев Н. А. Философия неравенства, 624 с.
Киреев А. А. Учение славянофилов, 640 с.
Феофан Затворник. Добротолюбие, 752 с.
Кожинов В. В. Россия как цивилизация и культура, 1072 с.
Миллер О. Ф. Славянство и Европа, 880 с.
Архиепископ Никон (Рождественский). Православие и грядущие судьбы России, 640 с.
Пушкин А. С. Россия! встань и возвышайся!, 976 с.
Князь Александр Васильчиков. Русское самоуправление, 960 с.
Святитель Игнатий (Брянчанинов). Особенная судьба народа русского, 752 с.

СЕРИЯ «РУССКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ»

Ильин И. Национальная Россия: наши задачи, 464 с.
Нилус С. Царство антихриста «Близ есть при дверех...», 528 с.
Шарапов С. Ф. После победы славянофилов, 624 с.
Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские!, 544 с.
Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма, 400 с.
Пасхалов К. Н. Русский вопрос, 720 с.
Платонов. О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Почему погибнет Америка, 528 с.
Бутми Г. Кабала или свобода, 400 с.
Жевахов Н. Еврейская революция, 480 с.
Никольский Б. В. Сокрушить крамолу, 464 с.
Величко В. Л. Русские речи, 400 с.
Архимандрит Фотий (Спасский). Борьба за веру. Против масонов, 400 с.
Булацель П. Ф. Борьба за правду, 704 с.
Дубровин А. И. За Родину. Против крамолы, 480 с.
Бондаренко В. Г. Русский вызов, 688 с.
Марков Н. Е. Думские речи. Войны темных сил, 704 с.
Шмаков А. С. Международное тайное правительство, 944 с.
Чванов М. А. Русский крест. Очерки русского самосознания, 608 с.
Осипов В. Н. Возрождение русской идеологии, 720 с.

Нечволодов А. Д. Император Николай II и евреи, 400 с.
Бабурин С. Н. Возвращение русского консерватизма, 832 с.
Крупин В. Н. Книга для своих, 512 с.
Шиманов Г. М. Записки из красного дома, 1024 с.
Жеденов Н. Н. Гроза врагов русского народа, 704 с.
Книга Русской Скорби. Памятник русским патриотам, погибшим в борьбе с внутренним врагом, 1136 с.
Сенин А. А. Служить правде, 416 с.
Личутин В. В. Размышления о русском народе, 576 с.
Куняев С. Ю. Русский дом, 912 с.
Замысловский Г. Г. В борьбе с ненавистниками России, 720 с.
Проханов А. А. Слово к народу, 896 с.

СЕРИЯ «РУССКАЯ ЭТНОГРАФИЯ»

Максимов С. В. По Русской земле, 960 с.
Зеленин Д. К. Русская (восточнославянская) этнография, 672 с.

СЕРИЯ «ИССЛЕДОВАНИЯ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ»

Лебедев С. В. Слово и дело национальной России, 576 с.
Платонов О. А. Экономика русской цивилизации, 800 с.
Антонов М. Ф. Экономическое учение славянофилов, 416 с.
Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов, 400 с.
Романов И. Стратегия восточных территорий, 320 с.
Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации, 480 с.
Крыленко А. К. Денежная держава, 368 с.
Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.
Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.
Морозова Г. А. Третий Рим против нового мирового порядка, 272 с.
Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы, 480 с.
Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия, 688 с.
Русские святые и подвижники Православия. Историческая энциклопедия, 896 с.
Васильев А. А. Государственно-правовой идеал славянофилов, 224 с.
Игумен Даниил (Ишматов). Просветительская и педагогическая деятельность преподобного Сергия Радонежского, 192 с.
Сохряков Ю. И. Русская цивилизация: философия и литература, 720 с.
Олейников А. А. Политическая экономия национального хозяйства, 1184 с.
Черевко К. Е. Россия на рубежах Японии, Китая и США (2-я половина XVII – начало XXI века), 688 с.
Виноградов О. Т. Очерки начальной истории русской цивилизации, 544 с.
Олейников А. А. Экономическая теория. Политическая экономия национального хозяйства. Учебник для высших учебных заведений, 1136 с.
Каплин А. Д. Славянофилы, их сподвижники и последователи, 624 с.
Бухарин С. Н., Ракитянский Н. М. Россия и Польша. Опыт политико-психологического исследования феномена лимитрофизации, 944 с.
Ягодинский В. Н. Космология духа и циклы истории, 320 с.
Очерки истории русской иконы, 592 с.
Мокеев Г. Я. Русская цивилизация в памятниках архитектуры и градостроительства, 480 с.
Стогов Д. И. Черносотенцы: жизнь и смерть за Великую Россию, 672 с.

Евдокимов А. Ю. Русская цивилизация: экологический аспект, 672 с.
Синодикъ или Куликовская битва в лицах, 736 с.
Русский государственный календарь, 728 с.
Пецко А. А. Великие русские достижения. Мировые приоритеты русского народа, 560 с.
Русская артель, 672 с.
Русская община, 1376 с.
Платонов О. А. Русский народ. История – Душа – Победы, 808 с.
Катасонов В. Ю. Капитализм. История и идеология «денежной цивилизации», 1072 с.
Минаков А. Ю. Русская партия в первой четверти XIX века, 528 с.

СЕРИЯ «ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ РОССИИ»

Платонов О. История русского народа в XX веке в 2-х томах, т. 1 – 804 с.; т. 2 – 1040 с.
Платонов О. Тайная история масонства, 912 с.
Платонов О. История масонства. Документы и материалы в 2-х томах, т. 1 – 720 с.; т. 2 – 736 с.
Платонов О. Пролог цареубийства, 496 с.
Платонов О. История цареубийства, 768 с.
Платонов О. Святая Русь. Открытие русской цивилизации, 816 с.
Башилов Б. История русского масонства, 640 с.
Шевцов И. В борьбе с дьяволом, 656 с.
Лютостанский И. Криминальная история иудаизма, 992 с.
Платонов О. Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против христианской цивилизации, 880 с.
Платонов О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Заговор цареубийц, 528 с.
Платонов О. Николай II в секретной переписке, 800 с.

ПЛАТОНОВ О. А. СОБРАНИЕ ТРУДОВ В 6 ТОМАХ

Платонов О. А. Русская цивилизация. История и идеология русского народа, 944 с.
Платонов О. А. Россия и мировое зло. Труды по истории тайных обществ и подрывной деятельности сионизма, 1120 с.
Платонов О. А. Масонский заговор в России. Труды по истории масонства. Из архивов масонских лож, полиции и КГБ, 1344 с.
Платонов О. А. Разрушение Русского царства, 912 с.
Платонов О. А. Война с внутренним врагом, 1296 с.